ГЕНРИ ДЖЕЙМС

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

Женский портрет
Генри Джеймс

Аннотация
Генри Джеймс. Женский портрет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47
48
49
50
51
52
53
54
55
Дополнения. Статьи Генри Джеймса
Предисловие к роману «Женский портрет» в нью-йоркском издании 1907–1909 гг.
Иван Тургенев
«Новь» Ивана Тургенева
Иван Тургенев
Иван Тургенев (1818–1883)
Приложения
М. А. Шерешевская. Генри Джеймс и его роман «Женский портрет»

Аннотация

Генри Джеймс – признанный классик американской литературы. Его книги широко издают и переводят на иностранные языки, творческое наследие усиленно изучают и исследуют. Ему воздают должное как романисту и теоретику романа, как автору рассказов и путевых очерков, критику и мемуаристу.

«Женский портрет» – один из лучших романов Джеймса. Изабель, главная героиня повествования, познает прелести брака с никчемным человеком. Ее судьба – стечение роковых обстоятельств. Будучи бесприданницей и оказавшись в Европе, она отказывает вполне достойным претендентам на руку, а получив состояние, связывает жизнь с проходимцем Осмондом, женившимся на ней только для того, чтобы обеспечить внебрачной дочери Пэнси, рожденной от куртизанки, приличное существование. Иллюзии рушатся, надежды на счастье никакой, но Изабель со стоическим мужеством переносит все выпавшие на ее долю беды.

Издание содержит статьи Генри Джеймса,

перевод, примечания и заключительная статья М.А.Шерешевской.

Генри Джеймс
Женский портрет

1

При известных обстоятельствах нет ничего приятнее часа, посвященного церемонии, именуемой английским вечерним чаепитием.[1] И независимо от того, участвуете вы в ней или нет — разумеется, не все любят пить в это время чай, — сама обстановка чаепития удивительно приятна. Простая история, которую я собираюсь здесь рассказать, начиналась в чудесной атмосфере этого невинного времяпрепровождения. Необходимые принадлежности маленького пиршества были вынесены на лужайку перед старинным английским домом, меж тем как чудесный летний день достиг, если позволено так выразиться, своего зенита. Большая часть его уже миновала, но в этом убывающем дне оставалось еще несколько часов, исполненных редкостного очарования. До сумерек было еще далеко, но потоки летнего света уже скудели, воздух посвежел, а на шелковистую густую траву легли длинные тени. Впрочем, удлинялись они

[1] Примечания: 1

...английское чаепитие — т. е. традиционное английское чаепитие в пять часов вечера.

не торопясь, и вокруг было разлито ощущение предстоящего покоя, что, пожалуй, и составляет особенную прелесть такой картины в такой час. В иных случаях это время суток — от пяти до восьми — тянется бесконечно, на сей раз оно сулило лишь бесконечное удовольствие. Те, о ком пойдет здесь речь, предавались ему весьма сдержанно, они не принадлежали к тому полу, который, как принято считать, горячо привержен помянутой церемонии. Тени на безупречно подстриженной лужайке были прямыми и угловатыми; то были тени старого джентльмена, сидевшего в глубоком плетеном кресле подле низкого столика, накрытого для чая, и двух молодых людей, которые прохаживались тут же, беседуя о том, о сем. Старый джентльмен держал чашку в руке; она была весьма вместительной и отличалась от сервиза рисунком и яркостью красок. Сидя лицом к дому, он подносил чашку к губам и не спеша, с расстановкой, потягивал чай. Молодые люди, то ли уже покончив с чаем, то ли равнодушные к этому несравненному напитку, предпочитали прогуливаться и дымить сигаретами. Один из них то и дело посматривал на старика, который, не замечая его озабоченных взглядов, любовно созерцал темно-красный фасад своего жилища.

Дом этот, высившийся в конце лужайки, и в самом деле заслуживал внимания — он был самой колоритной деталью той сугубо английской картины, которую я попытался набросать.

Он стоял на пологом холме над рекой — рекой этой была Темза — милях в сорока от Лондона. Продолговатый, украшенный фронтонами фасад, над чьим цветом изрядно потрудились два живописца — время и непогода, что лишь украсило и облагородило его, смотрел на лужайку затканными плющом стенами, купами труб и проемами окон, затененных вьющимися растениями. Дом этот имел и свое имя, и свою историю; старый джентльмен, попивавший на лужайке чай, с удовольствием поведал бы вам, что он был построен при Эдуарде VI,[2] что великая Елизавета провела в нем ночь[3] (разместив свою августейшую особу на огромной, пышной и на редкость неудобной кровати, которая и по сей день составляла главную достопримеча-

---

[2] Примечания: 2

Эдуард VI (1537–1553) — король Англии с 1547 по 1553 г.

[3] Примечания: 3

Великая Елизавета — Елизавета I Тюдор (1533–1603), королева Англии (1558–1603). Вводя эту деталь, Джеймс иронизирует над тем, что многие владельцы английских замков, поместий, постоялых дворов и т. д. охотно рассказывали, что их владение посетил тот или иной монарх или крупный деятель.

тельность спальных покоев), что его порядком изрешетили во время кромвелевских войн,[4] а потом, при Карле II,[5] подлатали и расширили и что после бесчисленных переделок и неказистых пристроек в XVIII в. он попал наконец в заботливые руки деятельного американского банкира, который поначалу купил этот дом потому, что обстоятельства (слишком сложные, чтобы излагать их здесь) позволили приобрести его баснословно дешево, купил, браня за уродливость, отсутствие комфорта и ветхость, а потом, спустя без малого двадцать лет, пленился его красотой и, изучив во всех подробностях, мог, не задумываясь, указать, откуда он лучше всего открывается взгляду и в какое время дня тени от многочисленных выступов, мягко ложась на теплый потемневший от времени кирпич, производят самое выгодное впечатление. Кроме того, как я уже говорил, он мог бы перечислить по порядку почти всех владельцев и обитателей, многие из которых носили громкие имена, и

[4] Примечания: 4

Имеется в виду гражданская война в период английской буржуазной революции 1640–1660 гг. между сторонниками английской республики и защитниками свергнутой монархии.

[5] Примечания: 5

Карл II (1630–1685) — сын казненного английского короля Карла I (1600 — *1649), король Англии с 1660 по 1685 г.

при этом ненавязчиво дать понять, что и теперь поместье находится в столь же достойных руках. Дом выходил на лужайку не парадной стороной; главный его подъезд находился в другой части здания. Здесь же все предназначалось только для семейного круга, и широкий муравчатый ковер на макушке холма был продолжением изысканного убранства дома. Величественно застывшие дубы и буки отбрасывали не менее плотную тень, чем тяжелые бархатные портьеры, а стеганые кресла, яркие тканые коврики, разбросанные по лужайке книги и газеты придавали ей сходство с гостиной. Река текла поодаль, и у ее пологого берега лужайка обрывалась, но и спуск к воде был по-своему живописен.

Старый джентльмен, сидевший у чайного столика, приехал из Америки лет тридцать назад и вместе со всей кладью привез сюда свою американскую внешность, и не только привез, но и сохранил в наилучшем виде, так что при случае мог бы совершенно спокойно возвратить ее любезному отечеству. Правда, теперь он вряд ли решился бы на поездку; свое он уже отъездил и в преддверии вечного покоя наслаждался покоем земным. Выражение его узкого, чисто выбритого лица с правильными чертами являло

смесь благодушия и проницательности. По всей видимости, это было лицо, которое обычно не передавало чувств, владевших старым господином, а потому нынешнее сочетание довольства и прозорливости было уже достаточно выразительно. Оно говорило о том, что в жизни ему всегда сопутствовал успех и вместе с тем успех этот не был чрезмерен, никого не задевал, а потому в некотором смысле казался столь же безобидным, как и неудача. Он, безусловно, превосходно разбирался в людях, но что-то по-детски простодушное проскользнуло в чуть заметной улыбке, морщившей его худое широкоскулое лицо и вспыхивавшей насмешливыми искорками во взгляде, когда он медленно и осторожно поставил на стол вместительную и теперь уже порожнюю чашку. Он был опрятно одет в безукоризненно вычищенную черную пару, но на коленях у него лежала сложенная шаль, а ноги покоились в теплых расшитых домашних туфлях. На траве у кресла растянулась красавица колли, которая почти с таким же обожанием смотрела на физиономию своего хозяина, с каким тот созерцал еще более величавый фасад своего дома; маленький терьер, повизгивая и суетясь, бесцельно сновал вокруг молодых людей.

Один из них был господин лет тридцати пяти, превосходно сложенный, с типично английским лицом, настолько же английским, насколько лицо пожилого джентльмена, о котором выше шла речь, принадлежало к совсем иному типу. Очень красивое, свежее, румяное, открытое лицо это, с твердыми правильными чертами и живыми серыми глазами, весьма украшала густая, каштановая бородка. Все в нем говорило о том, что он человек блестящий, принадлежит к избранному кругу — иначе говоря, баловень судьбы, чьи природные дарования взросли на почве высокой цивилизации, — словом, счастливец, которому нельзя не позавидовать. Он был в высоких сапогах при шпорах, словно только что спешился после долгой верховой езды, и в белой шляпе, чуть-чуть великоватой для его головы; руки он заложил за спину, зажав в одной из этих больших холеных белых рук запачканные лайковые перчатки.

Его собеседник, шагавший рядом с ним по лужайке, был совершенно другого склада и, хотя тоже мог бы приковать к себе любопытный взгляд, вряд ли, в отличие от первого господина, внушил бы кому-нибудь желание немедленно поменяться с ним местами: долговязый, худой,

нескладный, хилого сложения, с некрасивым, нездоровым, но одухотворенным и по-своему привлекательным лицом, которому придавали известное своеобразие, хотя отнюдь не украшали щетинистые усы и бакенбарды. Судя по всему, он был человеком умным и болезненным — сочетание далеко не из самых удачных. На нем была коричневая бархатная куртка; руки держал он в карманах, что, видимо, давно уже вошло у него в привычку. В походке проскальзывала какая-то неуверенность и развинченность; казалось, он не крепко стоит на ногах. Как я уже говорил, каждый раз, минуя старого господина в кресле, он бросал на него озабоченные взгляды, и в этот миг, сопоставив их лица, нетрудно было заметить, что перед нами — отец и сын. Старый джентльмен, перехватив наконец взгляд сына, ответил ему мягкой дружеской улыбкой.

— Мне хорошо, — промолвил он.

— Ты допил свой чай? — спросил сын.

— Да, и с удовольствием.

— Налить еще?

— Нет, — благодушно ответил старый джентльмен после недолгой паузы. — Может быть, потом.

Он говорил с сильным американским акцен-

том.

— Тебе не холодно? — осведомился сын.

— Право, не знаю, — сказал отец, проводя рукой по ноге. — Пока я не испытываю такого чувства…

— А тебе хочется испытывать чувства? — засмеялся сын. — Может, ты хочешь, чтобы к тебе испытывали чувства?

— Почему бы нет? Надеюсь, всегда найдется человек, готовый ответить мне сочувствием. Разве вы не сочувствуете мне, лорд Уорбертон?

— Всей душой, — мгновенно отозвался джентльмен, которого назвали лордом Уорбертоном. — Я готов не только сочувствовать вам, но и разделять ваши чувства. Тем более что у вас такой довольный вид.

— Почему же мне не быть довольным, ведь у меня всего вдоволь! — И старик, переведя глаза на зеленую шаль, расправил ее на коленях. — Что и говорить, я так давно живу в полном довольстве, что, кажется, перестал замечать его.

— Да, это обратная сторона медали, — сказал лорд Уорбертон. — Мы замечаем, что нам было хорошо, только когда становится плохо.

— Вот-вот, нам с вами нелегко угодить, — заметил его собеседник.

— Несомненно, — откликнулся лорд Уорбертон, — угодить нам с вами нелегко.

Все трое помолчали. Молодые люди выжидательно смотрели на пожилого джентльмена, который наконец попросил еще чаю.

— По-моему, эта шаль только мешает вам, — заметил лорд Уорбертон, пока молодой человек в бархатной куртке наливал отцу чай.

— Напротив, — воскликнул тот, — она отцу совершенно необходима. И, пожалуйста, не внушайте ему еретических мыслей.

— Это шаль моей жены, — пояснил старик.

— Ну, если здесь замешаны чувства… — И лорд Уорбертон, как бы прося прощения, развел руками.

— Мне, наверно, придется отдать шаль жене, когда она вернется.

— Ни в коем случае. Ты оставишь ее себе. Тебе необходимо держать в тепле твои старые больные ноги.

— Пожалуйста, не придирайся к моим ногам, — обиделся старик. — Они нисколько не хуже твоих.

— Ну, что касается моих, ругай их себе на здоровье, — ответил сын, подавая ему чай.

— Да, мы с тобой — пасынки судьбы. Что ты,

что я.

— Весьма признателен за сравнение. Как чай?

— Спасибо, горячий.

— Это, надо понимать, достоинство?

— И большое притом, — пробормотал старик, улыбаясь. — Мой сын — превосходная сиделка, лорд Уорбертон.

— Он, кажется, не слишком расторопен? — заметил лорд.

— Что вы! Очень расторопен… для больного. Он — превосходный брат милосердия. Я зову его брат во болезни. Ведь сам он тоже болен.

— Полно, отец, — взмолился молодой человек.

— Что есть, то есть. Хотя я дорого дал бы, чтобы ты был здоров. Но выше себя не прыгнешь.

— Может, мне попытаться? Превосходная мысль! — усмехнулся молодой человек.

— Болеть — очень тошно, — продолжал старик. — С вами, лорд Уорбертон, такого, наверно, никогда не приключалось?

Лорд Уорбертон на минуту задумался.

— Нет, отчего же. Однажды в Персидском заливе… мне было очень тошно.

— Он смеется над тобой, отец, — сказал молодой человек в бархатной куртке. — Он любит шутить.

— Да, все мы нынче шутим, каждый на свой манер, — добродушно отозвался старик. — Только по вашему виду никак не скажешь, чтобы вы когда-нибудь болели.

— Он болен сплином. Только что жаловался мне и горько сетовал на свой недуг, — вставил друг лорда Уорбертона.

— Неужто это правда, сэр? — участливо протянул старик.

— Ну, если и правда, ваш сын не облегчит мои страдания. С ним невозможно разговаривать — законченный циник. Ни во что, кажется, не верит.

— Это он снова шутит, — заметил молодой человек, обвиненный в цинизме.

— Все оттого, что он слаб здоровьем, — сказал старый джентльмен лорду Уорбертону. — Настроил себя на такой лад и теперь все видит в мрачном свете. Считает, наверно, что жизнь его обделила. Только это все в теории, а на самом деле душою он вполне здоров. Я, право, не помню дня, когда он не был бы весел. Вот как сегодня. И меня развеселить умеет.

Молодой человек, которого так аттестовали, взглянул на лорда Уорбертона и рассмеялся.

— Что это? Похвала беспечности или обвине-

ние в легкомыслии? Уж не хочешь ли ты, отец, чтобы я применил свои теории на деле?

— Клянусь, — воскликнул лорд Уорбертон, — нам было бы на что по смотреть!

— Надеюсь, ты еще не окончательно усвоил себе этот насмешливый тон, — сказал старый джентльмен.

— Тон Уорбертона хуже моего. Он делает вид, будто все время скучает. А мне не бывает скучно. Жизнь представляется мне безмерно интересной.

— Вот именно. *Безмерно.* А тебе надо во всем соблюдать меру.

— В вашем доме я никогда не скучаю, — сказал лорд Уорбертон. — О каких только интересных предметах мы с вами ни толкуем.

— Надо понимать, вы опять шутите? — спросил старый джентльмен. — Вам вообще непростительно скучать. В ваши годы я понятия не имел что такое скука.

— Вероятно, вы поздно повзрослели.

— Напротив, очень рано. И в этом все дело. В двадцать лет я был уже вполне взрослый и работал не разгибая спины. Будь у вас чем себя занять, вы не томились бы от скуки. Но у вас, молодых людей, слишком много досуга, а в мыслях — одни

развлечения. Вы слишком избалованы, слишком праздны, слишком богаты.

— Вот мило! — воскликнул лорд Уорбертон. — Вам-то уж никак не пристало корить ближних за богатство.

— Это почему же? Потому что я банкир? — спросил старик.

— Отчасти, если угодно, но главным образом потому, что вы располагаете — не станете же вы отрицать этого — огромными средствами.

— Отец не так уж богат, — сказал, словно защищая старика, его сын. — Он роздал кучу денег.

— Что ж, он раздавал собственные деньги, — сказал лорд Уорбертон, — а это лишь подтверждает, что их много. Тем, кто занимается благотворительностью, не приходится упрекать других за любовь к удовольствиям.

— Отец очень любит получать удовольствия… доставляя их другим. Старый джентльмен покачал головой.

— Я отнюдь не настаиваю на том, что доставил много удовольствия своим современникам.

— Дорогой отец, ты слишком скромен!

— Однако, милый Ральф, вы тоже шутник, — сказал лорд Уорбертон.

— Слишком много вы шутите, молодые люди.

Отними у вас ваши шутки, с чем вы останетесь?

— К счастью, в мире всегда есть над чем шутить, — заметил его некрасивый сын.

— Ты так думаешь? А по-моему, дела принимают весьма серьезный оборот. Когда-нибудь, молодые люди, вы в этом сами убедитесь.

— Чем хуже дела, тем больше поводов для шуток.

— Как бы ни пришлось смеяться сквозь слезы, — возразил старик. — Я убежден, что мы живем в канун великих перемен и, увы, не все они будут к лучшему.

— Вполне согласен с вами, сэр, — заявил лорд Уорбертон. — Я более чем уверен, что нас ждут большие перемены и всяческие неожиданности. Поэтому мне так затруднительно воспользоваться вашим советом. Помните, на днях вы сказали, что мне нужно к чему-нибудь «привязаться». Не знаю, стоит ли привязываться к тому, что в любую минуту может взлететь на воздух.

— Привяжитесь к хорошенькой женщине, — сказал его приятель. — Чего только он не делает, чтобы влюбиться! — добавил он, обращаясь с этим пояснением к отцу.

— Хорошенькие женщины весьма воздушны: их сдует первым порывом ветра, — сказал лорд

Уорбертон.

— Ну нет, вот уж кто прочно стоит на земле, — откликнулся старый джентльмен. — Их не коснутся ни социальные, ни политические бури, которых я опасаюсь.

— Вы хотите сказать, они неистребимы? Что ж, превосходно! Завтра же уцеплюсь за одну из наших дам и навяжу себе на шею… как спасительный балласт.

— Женщины — это наша опора, — промолвил старик. — Разумеется, хорошие женщины. Потому что среди них бывают разные. Найдите хорошую женщину, женитесь, и жизнь ваша станет намного интереснее.

Минутная пауза, последовавшая за этими словами, говорила, должно быть, о том, что внимавшие старому джентльмену слушатели отдавали должное его великодушию, поскольку ни для его сына, ни для гостя не было тайной, что собственный его матримониальный опыт не увенчался успехом. Однако, как выразился старик, среди женщин «бывают разные», и в этой оговорке, возможно, заключалось признание, в ошибке, хотя, разумеется, молодые люди не посмели бы заметить вслух, что его избранница не принадлежала к лучшим представительницам

своего пола.

— Если я правильно понял вас, сэр, женившись на интересной женщине, я сам смогу обрести в жизни интерес? — спросил лорд Уорбертон. — Но ваш сын представил меня в неверном свете — я вовсе не собираюсь жениться, хотя, кто знает, может быть, интересная женщина сумела бы изменить мою судьбу.

— Хотел бы я видеть эту интересную женщину. Ваш идеал, так сказать…

— Увидеть идеал, мой друг, невозможно. Особенно столь возвышенный и воздушный, как мой. Я сам был бы счастлив его увидеть — тогда для меня многое бы прояснилось.

— Влюбляйтесь в ту, что понравится, только не в мою племянницу, — сказал старый джентльмен.

Сын весело рассмеялся.

— Лорд Уорбертон решит, что ты хочешь его заинтриговать! Ах, отец, ты живешь с англичанами тридцать лет и усвоил многое из того, что они говорят, но ты так и не усвоил, что о многом они умалчивают.

— Я говорю, что хочу, — отозвался старый джентльмен с присущим ему благодушием.

— Не имею чести знать вашу племянницу, —

сказал лорд Уорбертон. — И, кажется, впервые о ней слышу.

— Это племянница моей жены. Миссис Тачит везет ее с собой в Англию.

— Моя мать, как вам известно, — пояснил Ральф, — провела зиму в Америке и едет домой. Она написала нам, что встретила свою племянницу и пригласила ее погостить.

— Вот как… Ваша матушка очень добра, — сказал лорд Уорбертон. — А что, юная леди из породы интересных женщин?

— Мы знаем о ней не больше вас. Моя мать не любит длинных посланий и шлет нам только телеграммы, а расшифровывать их — нелегкое дело. Говорят, женщины не умеют составлять телеграммы, но моя мать вполне овладела искусством писать сжато. «Жара ужасно утомлена Америкой тчк возвращаюсь Англию племянницей первом пароходе пристойной каютой». Это ее последняя криптограмма, а до этого была еще одна, где, кажется, впервые упоминалась племянница. «Переехала отель наглый коридорный пишите упомянутому тчк забрала дочь сестры умер прошлым летом зпт еду Европу две сестры вполне самостоятельно». Над этим посланием мы с отцом до сих пор ломаем себе головы, ведь

толковать его можно и так и этак.

— Одно, впрочем, ясно, — заметил старый джентльмен. — Коридорный получил отменный нагоняй.

— Я даже в этом не уверен — поле боя осталось все-таки за ним. Сначала мы думали, что речь идет о сестре коридорного, но упоминание о племяннице в следующей телеграмме говорит скорее за то, что имеется в виду кто-то из родственников. Потом мы гадали, что это за две сестры. По всей вероятности, дочери моей покойной тетушки. Но что «вполне самостоятельно»? Или, вернее, кто? И в каком смысле? Тут мы пока не нашли ответа. Относится ли это к молодой особе, которую опекает моя мать, или в равной мере к двум другим сестрам? «Самостоятельно» в моральном или финансовом смысле? Значит ли это, что они располагают собственными средствами или не хотят ни у кого одолжаться, или просто привыкли поступать по своему усмотрению?

— Ну что бы это ни означало, последнее значение здесь несомненно присутствует, — заметил мистер Тачит.

— Вы скоро узнаете разгадку, — сказал лорд Уорбертон. — Когда приезжает миссис Тачит?

— Мы в полном неведении. Как только ей

предоставят пристойную каюту, каковой она, возможно, дожидается по сю пору. Впрочем, может статься, она уже высадилась в Англии.

— В этом случае она наверняка послала бы телеграмму!

— Она никогда не посылает телеграмм, когда их ждут, — только, когда этого никто не ждет. Она любит нагрянуть неожиданно — полагает, что поймает меня на чем-нибудь недозволенном. Правда, до сих пор ей не везло, но она не теряет надежды.

— Это наследственная семейная черта — пресловутая самостоятельность. — Судя по тону сына, материнские причуды раздражали его меньше, чем отца. — Впрочем, каким бы своенравием ни отличались молодые особы, с моей матушкой им не тягаться. Она полагается только на себя и считает, что никто другой ей помочь не может. От меня она ждет не больше проку, чем от использованной марки. Вовек бы мне не простила, если бы я дерзнул встретить ее в Ливерпуле.[6]

— Но мне вы, надеюсь, дадите знать, когда по-

[6] Примечания: 6

Через Ливерпуль, порт на западном побережье Англии, осуществлялись все, в том числе и пассажирские, морские рейсы в западное полушарие.

явится ваша кузина, — сказал лорд Уорбертон.

— Только при оговоренном условии — что вы не станете в нее влюбляться, — ответил мистер Тачит-старший.

— Не слишком ли это сурово? Вы решительно считаете, что я недостаточно хорош для нее?

— Нет, даже слишком хороши, а потому я не хотел бы, чтобы она вышла за вас замуж. Полагаю, она не за тем сюда едет, чтобы найти себе мужа. Увы, многие ее соотечественницы приезжают сюда именно за этим. Будто нельзя сделать хорошую партию в Америке! И потом у нее, наверно, есть жених. По-моему, у каждой молоденькой американки непременно есть жених. А главное, я не убежден, лорд Уорбертон, что из вас получится примерный супруг.

— Весьма возможно, что у нее есть жених. Я знавал многих американок, и все они были помолвлены. Только, поверьте, это ничему не мешало, — заметил гость мистера Тачита. — А вот смогу ли я быть примерным мужем, на этот счет у меня тоже возникают сомнения. Но надо же хоть попытаться!

— Пытайтесь, сколько душе угодно, но не с моей племянницей, — улыбнулся старый мистер Тачит, чьи возражения носили явно шутливый

характер.

— Кроме того, — сказал лорд Уорбертон в еще более шутливом тоне, — а что если племянница мне вовсе не понравится!

2

Пока эти двое перебрасывались остротами, Ральф Тачит обычной своей нетвердой походкой отошел в сторону, все так же держа руки в карманах. Непоседа терьер крутился под ногами, а Ральф, повернувшись к дому, сосредоточенно разглядывал лужайку, не замечая, что за ним внимательно следит некая особа, внезапно возникшая в проеме широких дверей. Ральф поднял глаза на незнакомку только потому, что его собака вдруг кинулась вперед, заливаясь отрывистым лаем, скорее, впрочем, Дружелюбным, нежели задиристым. Неизвестная особа оказалась юной леди, которая, по-видимому, сразу поняла, что пес приветствует ее, и когда тот стремительно бросился ей под ноги и замер, подняв голову и оглушительно лая, она нагнулась, подхватила его и, не обращая внимание на тявканье, поднесла к самому лицу. Подоспевшему к тому времени хозяину оставалось лишь удостовериться в том, что новой приятельницей Банчи была высокая девушка в черном платье, весьма привлекательная на первый взгляд. Она была без шляпы,

как если бы приехала к ним погостить, и это обстоятельство не на шутку озадачило молодого мистера Тачита, поскольку из-за недомогания хозяина дома они последнее время никого не принимали. Между тем два других джентльмена тоже заметили незнакомку.

— Помилуйте, кто эта девушка? — изумился мистер Тачит-старший.

— Не племянница ли это вашей супруги — пресловутая самостоятельная молодая леди? — заметил лорд Уорбертон. — Судя по тому, как она укротила Банчи, должно быть, это она и есть.

Колли тоже одарила своим величественным вниманием все еще стоявшую в дверях гостью и направилась к ней, добродушно помахивая хвостом.

— В таком случае где, скажите на милость, моя жена? — промолвил старый джентльмен.

— Очевидно, для вящей самостоятельности ваша племянница поспешила от нее отделиться.

Девушка, не выпуская из рук терьера, улыбнулась Ральфу и спросила:

— Это ваш песик, сэр?

— Минуту назад был моим, но вы поразительно ловко им завладели.

— А мы не могли бы владеть им совместно? —

промолвила девушка. — Такой милый пес!

Ральф окинул молодую леди внимательным взглядом — она была на редкость хороша собой.

— Владейте им безраздельно, — сказал он.

Незнакомка была, по-видимому, вполне уверена в себе и полна доверия к другим, но этот широкий жест заставил ее покраснеть.

— Должна сообщить вам, что, вероятно, я ваша кузина, — сказала она, спуская собаку на землю. — А вот еще одна! — быстро добавила она, любуясь подошедшей колли.

— Вероятно? — воскликнул, смеясь, молодой человек. — По-моему, сомневаться не приходится. Ведь вы приехали с моей матушкой?

— Да, полчаса назад.

— И что же? Она привезла вас сюда, а сама снова уехала?

— Нет, просто сразу же ушла к себе, попросив передать вам при встрече, что без четверти семь ждет вас на своей половине.

Молодой человек взглянул на часы.

— Сердечно вас благодарю. Постараюсь не опоздать. — И он снова взглянул на кузину. — Мы все очень вам рады, а я в особенности.

Девушка огляделась, бросая умные, все примечающие взгляды — на собак, на собеседника, на

джентльменов под деревьями и на живописный вид, открывшийся перед нею.

— В жизни не видала такого живописного места! Я уже прошлась по дому и должна сказать, он чудесный!

— Простите, что оставили вас так долго без внимания, но мы не знали о вашем приезде.

— Тетушка сказала, что в Англии не принято встречать гостей, поэтому я нисколько не удивилась. Скажите, этот джентльмен ваш отец?

— Да, тот, что постарше и сидит в кресле, — ответил Ральф.

Девушка рассмеялась.

— Я не имела в виду его собеседника. А он кто, позвольте спросить?

— Наш друг, лорд Уорбертон.

— Я так и знала, что он окажется лордом — прямо, как в романе! А вот и ты, моя прелесть! — воскликнула она, снова взяв на руки подбежавшего терьера.

Она по-прежнему стояла в дверях, никак не выражая желания познакомиться с мистером Тачитом-старшим, и Ральф невольно подумал — уж не ждет ли эта прелестная, тоненькая девушка, что пожилой джентльмен сам подойдет к ней засвидетельствовать почтение. Молодые

американки вообще избалованы вниманием, а эта, судя по ее лицу, особенно своенравна. Тем не менее, набравшись смелости, он сказал:

— Позвольте, я представлю вас моему отцу. Он стар, очень болен и почти не встает с кресел.

— Бедный! Как мне его жаль! — воскликнула девушка и решительно устремилась вперед. — Из того, что я знаю от тетушки, он был всегда весьма… весьма деятельным человеком.

— Она не видела отца целый год, — помолчав, ответил Ральф.

— Хорошо, что он живет в таком чудесном месте. Пойдем, песик.

— Мы любим наш старый дом, — сказал молодой человек, искоса поглядывая на девушку.

— Как его зовут? — вдруг спросила она, всецело поглощенная терьером.

— Отца?

— Ну, конечно! — лукаво улыбнулась она, — Только не говорите ему, что я вас об этом спрашивала.

Тем временем они приблизились к пожилому джентльмену, и он, желая приветствовать гостью, с трудом поднялся им навстречу.

— Матушка приехала, — сказал Ральф, — а это мисс Арчер.

Мистер Тачит обнял девушку за плечи и, с величайшей доброжелательностью поглядев на нее, галантно поцеловал.

— Очень рад, что вы уже здесь. Жаль, что вы не дали нам возможности встретить вас, как подобает.

— Что вы! Нас чудесно приняли, — возразила девушка. — В холле собралось не меньше десятка слуг, а какая-то пожилая женщина даже сделала нам реверанс, когда мы входили в дом.

— Знай мы о вашем приезде заранее, мы встретили бы вас не только реверансом. — Старик с улыбкой смотрел на девушку, потирая руки и чуть заметно покачивая головой. — Но миссис Тачит не любит, когда ее встречают.

— Да, она сразу же ушла к себе.

— И, конечно, заперлась изнутри. Такое уж у нее обыкновение. Ничего, не пройдет и недели, как мы ее увидим. — И супруг миссис Тачит неторопливо опустился в кресло.

— О нет, гораздо раньше, — заметила мисс Арчер. — В восемь часов она спустится к ужину. Не забудьте — без четверти семь, — с улыбкой бросила она Ральфу.

— А что произойдет без четверти семь?

— Я должен предстать перед матушкой, — от-

ветил Ральф.

— Ах, счастливчик! — вздохнул пожилой джентльмен. — Посидите же с нами, выпейте чашечку чаю, — предложил он племяннице своей супруги.

— Мне принесли чай, как только я поднялась в свою комнату, — ответила юная леди. — Как жаль, что вам нездоровится, — добавила она, не сводя глаз с почтенного хозяина дома.

— Я уже стар, дорогая, а в старости люди болеют. Но от того, что вы здесь, мне непременно станет лучше.

Мисс Арчер снова оглядела все окрест — лужайку, огромные деревья, серебристую Темзу, окаймленную тростником, величественный старинный дом. Не обошла она вниманием и новых своих знакомцев, то и дело бросая на них взгляды, полные живого интереса, понятного у молодой особы, явно проницательной и к тому же в данную минуту взволнованной. Она опустила собаку наземь и присела на стул, сложив на коленях руки, белизну которых подчеркивало черное платье. Глаза у нее блестели, голову она держала прямо, легко и непринужденно поглядывая то туда, то сюда, на лету ловя новые впечатления. Они были многочисленны и все отражались в ее

ясной, спокойной улыбке.

— В жизни не видала ничего прекраснее! — воскликнула она.

— Место живописное, ничего не скажешь, — заметил мистер Тачит. — Знаю, что у вас дыханье перехватило — я это на себе испытал. Но вы и сами красавица, — добавил он. В его комплименте не было ни тени развязной шутливости, а слышалась лишь счастливая уверенность в том, что в своем преклонном возрасте он может расточать подобные любезности даже юным девушкам, не опасаясь, что это их смутит. Пожалуй, нет нужды останавливаться на том, в какой мере его комплимент смутил Изабеллу; так или иначе она сразу же поднялась с места; впрочем, вспыхнувший на ее щеках румянец не означал, что она не согласна с мистером Тачитом.

— Конечно, я не дурнушка! — засмеявшись, ответила она. — Скажите, когда построили ваш дом? Наверное, еще при Елизавете?

— Нет, при первых Тюдорах,[7] — сказал Ральф Тачит.

Девушка, обернувшись, обратила взгляд на него.

---

[7] Примечания: 7

Тюдоры — королевская династия, правившая Англией с 1485 по 1603 г.

— При первых Тюдорах? Какая прелесть! В Англии, должно быть, много таких чудесных домов.

— Да. И даже красивее.

— Не говори так, сын, — возразил мистер Тачит. — Я не знаю ни одного дома красивее нашего.

— Мой дом тоже недурен и в некоторых отношениях может поспорить с вашим, — вставил лорд Уорбертон, который до сих пор не вступал в беседу, но не отводил внимательных глаз с мисс Арчер. Улыбнувшись, он слегка поклонился ей. Лорд Уорбертон умел обходиться с женщинами, И мисс Арчер это сразу оценила. Она не забыла, что перед ней стоит настоящий лорд. — Буду рад показать вам свое поместье, — добавил он.

— Не верьте ему, — воскликнул старик, — и не вздумайте туда ехать. Жалкая развалина! Смешно даже сравнивать.

— Чего не видала, о том судить не могу, — ответила девушка, улыбнувшись лорду Уорбертону.

Ральф Тачит не принимал участия в споре; держа руки в карманах, он стоял с таким видом, словно дожидался случая возобновить давешний разговор с благоприобретенной кузиной.

— А вы любите собак? — осведомился он, чув-

ствуя, что столь неловкое начало недостойно умного человека.

— Да, очень.

— Можете располагать этим терьером, — промолвил он, все еще не находя правильного тона.

— С удовольствием — пока я тут.

— Надеюсь, вы у нас погостите подольше.

— Вы очень любезны, но, право, не знаю. Это как тетушка решит.

— Это мы решим с ней без четверти семь, — и Ральф снова посмотрел на часы.

— И прекрасно. Мне здесь нравится, — сказала мисс Арчер.

— Думаю, вы не из тех, кто позволяет решать за себя.

— Отчего же? Если решение совпадает с моими желаниями.

— Я постараюсь, чтобы оно совпало и с моими, — ответил Ральф. — Просто диву даюсь, как это мы раньше не были знакомы.

— Вам стоило лишь приехать к нам и разыскать меня.

— К вам? Куда же?

— В Америку. В Нью-Йорк, в Олбани, в другие наши города.

— Я исколесил Америку вдоль и поперек, но

вас там не видел. Не понимаю, как это могло произойти.

— Очень просто, — помедлив, сказала мисс Арчер. — Ваша матушка не поладила с моим отцом. Они повздорили после смерти моей матери, когда я была еще девочкой. Потому-то мы никогда и не помышляли о знакомстве с вами.

— Я вовсе не намерен ссориться со всеми, с кем ссорится матушка! — воскликнул молодой человек. — Вы потеряли недавно отца? — спросил он участливым тоном.

— Уже больше года. С тех пор тетушка подобрела ко мне и даже предложила поехать с ней в Европу.

— Вот как, — сказал Ральф. — Она удочерила вас?

— Удочерила? Меня? — девушка широко открыла глаза, опять залилась густым румянцем, и на лице ее мелькнула скорбная тень, немало огорчившая ее кузена. Он не предполагал, что его слова возымеют такое действие. В это время лорд Уорбертон, которому не терпелось поближе разглядеть мисс Арчер, подошел к ним, и девушка перевела на него свои словно расширившиеся глаза.

— Нет, она меня не удочеряла. Я вряд ли гожусь

в приемные дочери.

— Простите меня великодушно, — пробормотал Ральф, — я думал… я думал… — впрочем, он сам не знал, о чем думал.

— Вы думали, она взяла меня под свою опеку. Да, ваша матушка любит опекать людей. Она была очень добра ко мне, но, — добавила она, явно желая быть понятой до конца, — я очень дорожу своей свободой.

— Вы говорите о миссис Тачит? — раздался голос старого джентльмена из кресел. — Подойдите сюда, дорогая, поделитесь новостями о ней. Я всегда признателен людям, которые рассказывают мне о моей жене.

Девушка снова помедлила, потом ответила с улыбкой:

— Она и вправду очень добра ко мне. — И мисс Арчер подошла к дядюшке, которого весьма развеселили ее слова.

После некоторой паузы лорд Уорбертон, все это время молча стоявший подле Ральфа, вдруг сказал ему:

— Кажется, вы хотели увидеть мой идеал интересной женщины? Смотрите — он перед вами!

3

Миссис Тачит, вне всякого сомнения, была особа со многими странностями, и свидетельство тому — ее поведение в доме мужа, куда она вернулась после многомесячного отсутствия. Что бы миссис Тачит ни делала, она все делала по-своему: трудно подобрать другие слова, чтобы аттестовать эту натуру, отнюдь не лишенную отзывчивости, но, даже при желании, не способную проявить обходительность. Миссис Тачит была способна на добрые поступки, но не умела быть приятной. Эта ее страсть все делать по-своему, которой она так гордилась, была по сути вполне безобидной — просто миссис Тачит во всем поступала не так, как другие. Казалось, она вся состоит из острых углов, и чувствительные души, натыкаясь на них, нередко ранили себя. Ее изощренный ригоризм не замедлил обнаружиться в первые же часы по приезде из Америки. Любая другая женщина на ее месте захотела бы немедленно обнять мужа и сына, но миссис Тачит, как всегда в подобных случаях, обрекла себя неприступному уединению и по причинам, весьма веским в ее

глазах, ртложила трогательную церемонию до мой минуты, когда ее туалет будет доведен до необходимого совершенства, что, право же, не имело смысла, поскольку тщеславие было так же чуждо этой даме, как и красота. Старая, некрасивая женщина, она не уделяла никакого внимания изысканности манер или изяществу нарядов, зато с чрезвычайным вниманием относилась к собственным причудам и весьма охотно — стоило попросить ее об этом одолжении — объясняла мотивы своих поступков, причем неизменно выходило, что движима она вовсе не теми побуждениями, которые ей приписывались. С мужем она по существу жила врозь и, видимо, полагала, что такая семейная жизнь в порядке вещей. Уже в первую пору супружества стало ясно, что их желания никогда и ни в чем не совпадут, и это открытие толкнуло миссис Тачит на серьезный шаг, благодаря которому семейные разногласия были вырваны из-под власти грубой случайности. Со всей решимостью она возвела эти разногласия в незыблемый закон — более того, в каменную непреложность, купив себе дом во Флоренции и переехав туда на постоянное жительство; супругу же она предоставила полную свободу заниматься лондонским отделением его банка. Такая рас-

становка сил устраивала ее в высшей степени — отношения с мужем приобрели теперь благодатную ясность. Ему они представлялись в том же свете: в туманном Лондоне отъезд жены был порой единственным фактом, который он ясно различал; правда, он предпочел бы, чтобы столь противоестественная определенность прикрывалась хотя бы пеленой недомолвок. Приладиться к разладу стоило ему немалых усилий: он был готов приладиться к чему угодно, только не к этому, и никак не мог взять в толк, почему согласие или разногласие между супругами следует возвещать столь громогласно. Миссис Тачит, напротив, не ведала сомнений или угрызений и обычно раз в год приезжала к мужу на месяц и весь этот месяц только и делала, что с жаром доказывала ему, сколь разумны такие семейные порядки. Ей был не по душе английский образ жизни, и она неизменно находила в нем существенные изъяны, которые, правда, не затрагивали основ этого многовекового уклада, но в устах миссис Тачит звучали неопровержимым доказательством того, что жить в Англии невозможно. Во-первых, она не выносила хлебной подливки, которая, по ее словам, напоминала клейстер и отдавала мылом; во-вторых, ей претило, что горничные

потребляют пиво, и, наконец, английские прачки — а миссис Тачит была крайне взыскательна по части белья — не владели своим ремеслом. К себе на родину она ездила по строгому расписанию, но последний ее визит затянулся дольше обычного.

Она задержалась из-за племянницы — на этот счет теперь уже почти не было сомнений. Однажды сырым весенним вечером, месяца за четыре до начала нашей истории, сия юная особа сидела уединившись с книгой в руках. Она с головой погрузилась в чтение, и это говорит о том, что одиночество не тяготило ее: любознательность подстегивала ее ум, а воображение не знало пределов. Однако в ту пору ей недоставало свежих впечатлений и появление нежданной посетительницы пришлось как нельзя кстати. О гостье никто не доложил, но в соседней комнате вдруг явственно раздались чьи-то шаги. Дело происходило в Олбани,[8] в просторном, старом, квадратном доме, перестроенном из двух; судя по объявлению в одном из окон нижнего этажа, он был назначен к продаже. С улицы в дом вели два

[8] Примечания: 8

В Олбани, столице штата Нью-Йорк, в 1793 г. поселился дед писателя Уильям Джеймс (1771–1832), эмигрировавший в Америку из Ирландии в 1789 г. Описание дома бабушки героини носит автобиографический характер.

входа, и хотя давно уже пользовались только одним, второй так и не удосужились заделать. Они ничем не отличались друг от друга — массивные белые двери, укрепленные в сводчатых проемах, с широкими смотровыми окошками и низкими красного камня ступеньками, спускавшимися чуть наискось к убитому кирпичом тротуару. Когда-то оба дома слили воедино, разделявшую их капитальную стену снесли, а комнаты соединили. Во втором этаже, над лестницей, их выстроилось великое множество, и все они были крашены одной желтоватой краской, изрядно слинявшей от времени. На третьем этаже между зданиями протянули нечто вроде сводчатой галереи, которую Изабелла с сестрами окрестили туннелем, и хотя он был недлинный и достаточно светлый, этот переход, особенно в зимние сумерки, казался девочкам загадочным и жутковатым. Ребенком Изабелла не раз гостила в этом доме, где в ту пору еще жила ее бабушка, старая миссис Арчер, потом она не была там лет десять и возвратилась в Олбани незадолго до смерти отца.

В те далекие годы двери бабушкиного дома были гостеприимно открыты — главным образом для родни, и внучки живали у нее неделями, о которых Изабелла сохранила самые счастливые

воспоминания. В этом доме жили совсем иначе, чем в ее собственном, — более широко, более вольготно — словом, более празднично. Детей не угнетали строгими правилами, и они могли вволю слушать разговоры взрослых (что очень нравилось Изабелле). Беспрестанно кто-то приезжал и уезжал: бабушкины сыновья и дочери со своим потомством наслаждались тут безотказным гостеприимством, умудряясь нагрянуть в любое время и на любой срок, и дом чем-то напоминал бойкую провинциальную гостиницу, которую держала сердобольная старушка, поминутно вздыхавшая, но никогда не предъявлявшая постояльцам счетов. Изабелла, разумеется, понятия не имела о счетах, но даже в детстве ощущала, что в бабушкином доме есть что-то романтическое. С задней стороны к дому примыкала крытая веранда с качелями, от которых заходились детские сердца, а за верандой до самых конюшен тянулся персиковый сад, где каждое дерево было девочке родным. Изабелла гостила у бабушки и зимой, и весной, и летом, и каждый раз все здесь отдавало персиком. По другую сторону улицы возвышалось старинное здание — Голландский

Дом[9] — причудливое строение времен первых переселенцев, сложенное из крашенного желтой краской кирпича, под щипцовой крышей, которую показывали всем приезжим; укрывшееся за валким деревянным забором, оно стояло торцом к улице. В нем помещалась начальная школа для мальчиков и девочек, делами которой управляла или, вернее, пренебрегала некая представительная дама, — Изабелла помнила о ней только то, что она закалывала волосы на висках диковинными «ночными» гребенками и была вдовой какого-то значительного лица. Девочку послали в это заведение овладеть начатками знаний, но, проведя день в его стенах, Изабелла взбунтовалась против тамошних порядков, и ее, разжалобившись, оставили дома; в сентябрьские дни, когда окна Голландского Дома были распахнуты настежь, до нее доносился гул детских голосов, твердивших таблицу умножения, — и в эти минуты радость свободы и горечь отторгнутости смешивались в ее душе воедино. Что же до

[9] Примечания: 9

...*Голландский Дом* — первыми европейцами-колонистами на северо-восточном побережье Северной Америки были голландцы. Голландский Дом — школа в Олбани, в которой должен был учиться пятилетний Генри Джеймс и которую, так же как его героиня, он отказался посещать. Эпизод этот описан в автобиографии Г. Джеймса (*Henry James.* A small boy and others. N. Y., 1913).

начатков знаний, то она овладела ими сама, живя на приволье в бабушкином доме, где беспрепятственно — благо прочие его обитатели не питали любви к чтению — пользовалась богатой библиотекой с множеством иллюстрированных книг, до которых добиралась, вскарабкавшись на табурет. Отыскав книгу по вкусу — в своем выборе она руководствовалась главным образом фронтисписом, Изабелла уносила ее в таинственную залу, примыкавшую к библиотеке, которую издавна почему-то называли «конторой». Чья это была контора и когда здесь была контора, Изабелла не знала, с нее хватало и того, что голосу там вторило эхо и приятно пахло старьем — туда, словно в ссылку, отправляли отслужившую свой срок мебель, иногда еще крепкую, без видимых изъянов, отчего изгнание казалось незаслуженным, а сама мебель — жертвой несправедливости. Изабелла — так уж водится у детей — относилась к ссыльным, как к живым существам, и, конечно же, изливала им душу. Особую ее благосклонность снискал старый волосяной диван, которому она поверяла свои многочисленные детские обиды. От этой комнаты еще и потому веяло неизъяснимой грустью, что прежде сюда входили прямо с улицы, через вторую, ныне осужденную на

бездеятельность дверь, накрепко закрытую на засовы, которые было не под силу отодвинуть хрупкой девочке. Изабелла знала, что этот немой, неподвижный портал ведет прямо на улицу. Если бы смотровое окошко не было закрыто зеленой бумагой, она могла бы любоваться потемневшим крыльцом и выщербленным кирпичным тротуаром. Но ей и не хотелось выглядывать наружу — это разрушило бы ее выдумку: там лежала неведомая страна, которая по прихоти детского воображения превращалась то в край сплошных удовольствий, то в царство всяческих ужасов.

Именно в «конторе» расположилась Изабелла в тот хмурый весенний вечер, о котором я уже упоминал. В ее распоряжении был весь дом, но она предпочла уединиться в его самом унылом уголке. Она ни разу не пыталась отодвинуть засовы и открыть входную дверь или убрать бумагу с окна (ее меняли другие руки); у нее не было охоты удостовериться в том, что за ними обычная улица. Холодный дождь лил как из ведра. Весна в тот год откровенно и злобно испытывала людское терпение, но Изабелла не придавала особого значения предательским шуткам природы. Она сидела, прикованная взглядом к книге, и старалась сосредоточить на ней свои мысли. Совсем недавно

выяснив, что мысли ее склонны рассеиваться и блуждать, она принялась изобретательно муштровать их, и, покорные ее приказам, они маршировали, останавливались, наступали, отступали, выполняя другие еще более сложные артикулы и маневры. В тот вечер она двинула их полки по зыбучим пескам немецкой философии, которую уже некоторое время штурмовала, как вдруг услышала шаги, ступавшие явно не в такт с ее мысленным шагом. Прислушавшись, она поняла, что кто-то ходит в библиотеке, смежной с «конторой». Поначалу ей показалось, что это человек, который собирался навестить ее, но тут же поняла, что там женщина, к тому же ей неизвестная, а она ждала в гости мужчину, и доброго знакомого. В поступи незваной гостьи чувствовалось что-то настороженно-пытливое, и было ясно, что она не замедлит переступить порог. И точно, в следующее мгновение в дверях появилась дама в просторной непромокаемой накидке и вперила в нашу героиню строгий взор. Дама эта была немолода и нехороша собой, а лицо ее отражало нрав властный и неукротимый.

— Гм, — начала она с места в карьер, оглядывая сбродную мебель в комнате, — вы всегда здесь сидите?

— Только не при гостях, — ответила Изабелла, подымаясь ей навстречу, и сразу же направилась в библиотеку, увлекая за собой незваную посетительницу, продолжавшую глазеть по сторонам.

— Кажется, у вас предостаточно других комнат, и в лучшем состоянии. Хотя все здесь изрядно запущено.

— Вам угодно осмотреть дом? — спросила Изабелла. — Сейчас я позову служанку.

— Не трудитесь посылать за ней. Я не собираюсь покупать ваш дом. А служанка, должно быть, ищет вас наверху. Не слишком-то сообразительная девица. Лучше крикните ей, чтоб попусту не усердствовала.

Изабелла в нерешительности и недоумении смотрела на эту неведомо откуда взявшуюся хулительницу.

— Вы, верно, одна из дочек? — выпалила та.

— Несомненно, — сказала Изабелла, озадаченная странными повадками дамы. — Только чьих дочек вы имеете в виду?

— Покойного мистера Арчера и моей бедняжки сестры.

— А-а, — протянула Изабелла. — Так вот вы кто — наша сумасбродная тетушка Лидия.

— Это ваш папенька научил вас называть меня

так? Да, я твоя тетка, и зовут меня Лидией, но я не сумасбродка, можешь мне поверить. Ты которая из трех?

— Младшая, Изабелла.

— Ну да, старшие — Лилиан и Эдит. Ты самая хорошенькая?

— Вот уж не знаю, — ответила девушка.

— Думаю, я не ошибаюсь.

Таковы были обстоятельства, при которых тетка и племянница впервые познакомились и коротко сошлись.

Уже много лет, после смерти сестры, миссис Тачит находилась в ссоре с зятем. Она вздумала отчитать мистера Арчера за то, что тот дурно воспитывает дочерей, а он, человек горячий и вспыльчивый, предложил ей не совать нос в чужие дела, и она, буквально исполнив его совет, навсегда прекратила с ним отношения. После его кончины она ни строчки не написала племянницам, воспитанным в явном неуважении к ней, что Изабелла — как мы могли заметить — уже успела выказать. Действия миссис Тачит были, как всегда, от начала до конца продуманы. Она давно уже намеревалась отправиться в Америку, чтобы выяснить, хорошо ли помещены ее капиталы (к которым ее муж, известный финансист, не

имел никакого касательства), а заодно разузнать о состоянии дел своих племянниц. Писать им она считала излишним, поскольку пренебрегала сведениями, почерпнутыми из переписки: она верила только тому, что видела сама. Однако тетка, как убедилась Изабелла, знала о них более чем достаточно: знала о замужестве старших сестер, знала, что отец оставил им ничтожно мало денег и поэтому решено было продать бабушкин дом, перешедший к отцу по наследству, а вырученные деньги поделить; знала, наконец, что муж Лилиан, Эдмунд Ладлоу, взял на себя это дело, а посему молодая чета, приехавшая в Олбани во время болезни мистера Арчера, осталась в городе и вместе с Изабеллой поселилась в старом доме.

— Какую сумму вы рассчитываете выручить? — спросила миссис Тачит у племянницы, перешедшей с ней в парадную гостиную, которая, по всей очевидности, не вызвала у гостьи восхищения.

— Вот уж не знаю, — ответила девушка.

— Второй раз слышу от тебя такой ответ, — заметила тетка, — а с виду ты совсем не глупа.

— Я не глупа, но в деньгах вправду ничего не смыслю.

— Плоды папенькиного воспитания. Словно он припас для тебя миллион. Сколько же он тебе

оставил?

— Право, не знаю. Спросите Эдмунда и Лилиан. Они скоро вернутся.

— Во Флоренции за такой дом не дали бы и ломаного гроша, — сказала миссис Тачит, — но в вашей глуши, полагаю, за него можно взять приличный куш. Каждой из вас достанется кругленькая сумма. Ну, и потом ты, нужно думать, получишь еще кое-что. Как это ты ничего не знаешь — поразительно! Дом стоит на бойком месте. Его, надо полагать, снесут и построят торговые ряды. Вам и самим не дурно бы этим заняться — лавки можно выгодно сдать.

Изабелла с изумлением уставилась на тетку — мысль о лавках была ей в диковину.

— Нет, зачем же… зачем сносить дом, — сказала она. — Я так его люблю!

— Не знаю, с чего тебе любить его, — здесь умер твой отец.

— Да, но от этого я не разлюбила его, — несколько неожиданно возразила девушка. — Мне нравятся места, с которыми многое связано — пусть даже печальное. Эти стены видели много смертей: в них всегда кипела жизнь.

— Ну, если это называть «кипела жизнь»…

— Я хотела сказать — они полны воспоминаний.

Здесь любили, страдали. И не только страдали. Ребенком я была здесь очень счастлива.

— Если ты любишь дома, с которыми многое связано, в особенности много смертей, поезжай во Флоренцию. В старинном дворце, где я живу, было убито трое. Трое, о которых известно. И бог знает, сколько еще!

— В старинном дворце, — повторила Изабелла

— Да, милочка. Не то, что этот дом, где пахнет провинцией.

Изабелла пришла в волнение: в ее глазах бабушкин дом всегда был лучшим из лучших. Но это было волнение особого рода — и у нее невольно вырвалось:

— Как бы мне хотелось повидать Флоренцию!

— Что ж, — заявила тетушка. — Будешь умницей, будешь слушаться меня во всем, и я возьму тебя с собой.

Изабелла еще больше поддалась волнению, даже раскраснелась и, молча улыбаясь, взглянула на тетку.

— Слушаться во всем? — сказала она, помедлив. — Вряд ли я могу это обещать.

— Вряд ли. Ты не такая. Ты — своевольница. Впрочем, не мне тебе пенять.

— И все-таки, чтобы попасть во Флоренцию, —

воскликнула девушка, — я на многое готова!

Эдмунд и Лилиан все не возвращались, и миссис Тачит уже больше часа без помех разговаривала с племянницей, которая нашла в ней личность необычную, интересную, но прежде всего личность — пожалуй, первую, с которой ей случилось встретиться. Тетушка, как и полагала Изабелла, оказалась весьма эксцентрической особой, а такие люди, в представлении Изабеллы, были неприятны и даже отталкивали. Само это слово связывалось с чем-то гротескным, даже зловещим. Но применительно к тетушке оно обретало ироническую, даже комедийную окраску, и Изабелла невольно сравнивала свою родственницу с людьми обычными, к которым привыкла, и находила, что она намного занимательнее. Во всяком случае, никому еще не удавалось так завладеть вниманием Изабеллы, как этой маленькой чужеземного облика женщине с тонкими губами и живыми глазами, чье чувство собственного достоинства с избытком искупало ее невзрачную внешность. Эта женщина в поношенном плаще говорила о королевских дворах Европы, словно ее принимали там как своего человека! Причем здесь не было ни капли рисовки: миссис Тачит не признавала за аристократией превосходства,

а потому вовсю судила и рядила сильных мира сего, не без удовольствия отмечая, что производит впечатление на наивную, восприимчивую головку. Она засыпала Изабеллу вопросами и по ее ответам заключила, что племянница весьма неглупа. Затем Изабелла в свой черед расспросила тетку о разных разностях, и ее ответы, порой весьма неожиданные, поразили девушку, дав пищу для глубоких размышлений. Миссис Тачит дожидалась старшей племянницы ровно столько, сколько полагала сообразным, но, когда пробило шесть, а миссис Ладлоу не появилась, решила удалиться.

— Твоя сестрица ужасная болтушка, как я посмотрю. Она всегда часами сидит в гостях?

— Но вы просидели у нас ровно столько же, — возразила Изабелла. — Ведь Лилиан могла уйти из дому как раз перед вашим приходом.

Миссис Тачит взглянула на племянницу, пропустив дерзость мимо ушей. Бойкий ответ, видимо, пришелся ей по вкусу, к тому же ей хотелось быть великодушной.

— Боюсь, у нее не столь веские причины для оправдания. Во всяком случае, передай ей, что жду ее сегодня в вашей мерзкой гостинице. Вместе с мужем, если угодно. А тебе приходить

незачем. С тобой мы еще вволю наговоримся.

4

Миссис Ладлоу была старшей и, по единодушному мнению, самой рассудительной из сестер Арчер: считалось, что Лилиан отличается практическим умом, Эдит — красотой, а Изабелла — «духовностью». Миссис Кейс, вторая по счету, была женой саперного офицера, и, поскольку наш рассказ пойдет не о ней, достаточно будет упомянуть, что красавицей она слыла по праву и украшала собою многие гарнизоны, преимущественно в глухих городках на Западе, куда, к ее великому огорчению, неизменно назначали ее супруга. Лилиан вышла замуж за нью-йоркского стряпчего, молодого человека с зычным голосом и горячей любовью к юриспруденции. Партия эта, как и брак Эдит, не считалась блестящей, но Лилиан, о чем нередко шептались за ее спиной, и такому супружеству могла быть рада — из трех сестер она одна была нехороша собой. Впрочем, она чувствовала себя вполне счастливой и теперь, благославляя судьбу за эту удачу, наслаждалась ролью матери двух сорванцов и хозяйки клиновидного особнячка из дешевого бурого из-

вестняка, с трудом втиснутого в ряд домов на 53-й улице. Маленькая, коренастая, она отнюдь не притязала на стройность, некоторая осанистость у нее, впрочем, была, но величавости — никакой. Правда, многие утверждали, что замужество пошло ей весьма на пользу. Сама она более всего гордилась двумя вещами — полемическим талантом мужа и оригинальностью младшей сестры.

— Где мне угнаться за Изабеллой, — частенько говаривала она. — У меня бы никакого времени на это не хватило.

Вместе с тем она с легкой завистью следила за сестрой, наблюдая за каждым ее шагом, как следит обремененная потомством такса за ничем не связанной борзой.

— Я хочу видеть ее замужем за хорошим человеком. Вот все, чего я хочу, — не раз повторяла она мистеру Ладлоу.

— Признаться, не стал бы я добиваться чести быть ее мужем, — неизменно отвечал ей на это мистер Ладлоу чрезвычайно громко и четко.

— Конечно, тебе бы только спорить. Ты всегда говоришь наперекор. И чем только она тебе не угодила? Единственно тем, что так оригинальна.

— Ну а я не охотник до оригиналов, я люблю переводы, — обычно парировал мистер Лад-

лоу. — Твоя сестрица — книга на иностранном языке. Она мне непонятна. Ей бы в пору выйти замуж за армянина или португальца.

— Этого-то я и боюсь! — восклицала Лилиан, которая считала Изабеллу способной на все.

Миссис Ладлоу с большим интересом выслушала известие о прибытии миссис Тачит и стала готовиться предстать пред ее очи. До нас не дошло точных сведений о том, что сообщила сестре Изабелла, но, несомненно, ее рассказ подсказал тему беседы, которая завязалась между супругами Ладлоу, когда они в тот же вечер одевались к предстоящему визиту.

— Я так надеюсь, что она сделает для Изабеллы что-нибудь существенное. Она явно очень расположилась к сестре.

— Чего ты ждешь от нее? — спросил Эдмунд Ладлоу. — Дорогих подарков?

— Вовсе нет. Ничего похожего. Я хочу, чтобы она обратила на Изабеллу внимание, полюбила ее. Кому как не ей оценить Изабеллу. Она полжизни провела среди иностранцев — она уже много успела рассказать об этом Изабелле. А ведь ты и сам говорил — наша Изабелла почти иностранка.

— Значит, ты хочешь, чтобы тетка одарила

твою сестрицу любовью на иностранный лад. Разве здесь ей не хватает любви?

— Но ей непременно надо съездить в Европу, — сказала миссис Ладлоу. — Кому как не ей.

— И хочешь, чтобы тетка взяла ее с собой?

— Это она ей уже предложила — просто не чает увезти Изабеллу. Но я жду от нее большего — чтобы там, в Европе, она открыла перед Изабеллой все возможности. Нашей Изабелле, — сказала миссис Ладлоу, — надо только предоставить возможности.

— Возможности для чего?

— Чтобы совершенствоваться.

— Силы небесные! — воскликнул Эдмунд Ладлоу. — Куда ей еще совершенствоваться.

— Ну, конечно, — тебе лишь бы затеять спор. А ведь я могу и обидеться, — отвечала ему жена. — Только ты и сам знаешь, что любишь ее.

— А ты *знаешь*, что я люблю тебя? — спросил шутливо мистер Ладлоу Изабеллу час спустя, водя щеткой по шляпе.

— Вот уж что мне решительно все равно, — отвечала Изабелла, смягчая улыбкой и тоном заносчивость слов.

— Ох, как мы заважничали, познакомившись с миссис Тачит, — вступила в разговор старшая

сестра.

Но Изабелла с полной серьезностью отвергла сие утверждение.

— Неправда, Лили. Ничуть я не заважничала.

— Да на здоровье. Что тут дурного? — примирительно сказала Лили.

— А почему нужно важничать, познакомившись с миссис Тачит?

— Та-та-та! — воскликнул Ладлоу. — Заважничала! Заважничала! Еще больше, чем всегда!

— Если я когда и заважничаю, — отвечала Изабелла, — то по более нажной причине.

Каковы бы ни были ее чувства, однако она чувствовала себя иначе, чем всегда, словно с ней действительно что-то произошло. Вечером, оставшись одна, она сначала посидела возле лампы, сложа руки, забыв о привычных своих занятиях. Затем встала, прошлась по комнате, прошла из комнаты в комнату, держась ближе к стене, куда не достигал свет лампы. На душе у нее было смутно, тревожно, ее чуть-чуть лихорадило. То, что произошло, было намного важнее, чем могло бы показаться на первый взгляд, — ее жизнь круто менялась. Что сулила ей эта перемена, оставалось пока неизвестным, но в ее положении любой поворот судьбы был желанным. Ей хотелось — так

говорила себе Изабелла — подвести черту под своей прошедшей жизнью и начать сызнова. Она давно вынашивала эту мечту, сжилась с ней, как с шумом стучавшего по ставням дождя, и не раз уже делала попытку начать сызнова.

Укрывшись в полумраке тихой гостиной, Изабелла опустилась в кресло и закрыла глаза, но не для того, чтобы забыться в дреме. Напротив, сна не было ни в одном глазу; она старалась сосредоточить свое внутреннее зрение на чем-нибудь одном. Ее воображение всегда было до чрезвычайности стремительно, и если пред ним захлопывали дверь, оно устремлялось в окно. Изабелла не умела ставить ему преграды и в критические минуты, когда лучше было бы положиться всецело на разум, расплачивалась за поблажки этой своей склонности видеть, накапливать не просеянные рассудком впечатления. Теперь, когда она знала, что стоит на пороге больших перемен, картины той жизни, которую она покидала, обступили ее со всех сторон. Часы и дни прошедшей поры вернулись к ней вновь и в тишине гостиной, нарушаемой лишь тиканьем больших бронзовых часов, проносились перед ней длинной чередой. Жизнь ее сложилась хорошо, а сама она была счастливицей — такой

вывод напрашивался сам собой. Она получала все самое лучшее, а в мире, где столько людей ведут незавидное существование, быть избавленной от всего тягостного — немалое преимущество. Изабелла даже считала, что ее опыту, пожалуй, недостает тягостных впечатлений, которые, как она знала из книг, могут быть иной раз не только содержательны, но и поучительны. Отец всегда оберегал ее от невзгод — ее обожаемый красавец отец, который и сам питал отвращение ко всему неприятному. Быть дочерью такого отца казалось Изабелле великим счастьем; она искренне гордилась своим родителем. Лишь после его смерти она наконец поняла, что дочерям он открывался своей праздничной стороной, на деле же, а не в мечтах ему отнюдь не всегда удавалось избегать столкновений с уродствами жизни. Однако это открытие только удвоило ее нежность к нему: ее вовсе не угнетала мысль, что он был слишком великодушен, слишком добр, слишком безразличен к низменным расчетам. Правда, многие полагали, что в этом безразличии он заходил чересчур далеко, особенно те — а таковых нашлось немало, — кому он не платил долгов. Они не делились с Изабеллой своим мнением об ее отце, но читателю, возможно, небезынтересно будет узнать,

что они думали о нем: по их мнению, у покойного мистера Арчера была отличная голова и талант занимать друзей (или, как сказал один острослов, занимать у друзей), но за всем тем жизнью своей он распорядился крайне неразумно. Он пустил на ветер изрядное состояние, отличался, увы, излишним пристрастием к веселому застолью и, что греха таить, к картам. Некоторые не в меру злые языки даже обвиняли его в том, что он пренебрег воспитанием собственных дочерей. Девочки не получили систематического образования, и у них никогда не было настоящего дома; их баловали, но толком ничему не учили. Они росли под присмотром служанок и гувернанток (обычно никуда не годных); иногда их отдавали в какую-нибудь второсортную французскую школу, откуда в конце первого же месяца они в слезах возвращались домой. Дойди эти пересуды до Изабеллы, они вызвали бы крайнее ее возмущение: в ее представлении отец открывал им блестящие возможности. Даже в том, что он на три месяца оставил ее с сестрами в Нев-шатале на попечении бонны-француженки, а та вскоре сбежала с каким-то русским аристократом, проживавшим в том же отеле, — даже в пору этой столь неблаговидной истории (случившейся, когда Изабелле

минуло одиннадцать лет) она не почувствовала ни страха, ни стыда, напротив, сочла этот эпизод весьма романтическим и вполне отвечающим духу свободного воспитания. Отец был человеком широких взглядов, а его непоседливость и даже непоследовательность в поступках лишь служили тому доказательством. Он полагал, что его девочкам с самого раннего возраста необходимо как можно больше повидать свет, а потому, еще до того как Изабелле исполнилось четырнадцать лет, отец уже трижды возил ее с сестрами за океан — правда, всякий раз давая им насладиться зрелищем обещанной Европы всего каких-нибудь несколько месяцев, так что эти путешествия только разжигали в Изабелле аппетит, не давая возможности утолить его. Она не могла не защищать своего отца, ибо принадлежала к его трио, «искупавшему» те досадные стороны жизни, о которых он так не любил говорить. В последние годы его готовность уйти из этого мира, где с приближением старости он уже не мог с привычной легкостью следовать своим прихотям, сильно поуменьшилась под влиянием горестной мысли о разлуке с его необыкновенной, с его замечательной дочерью. Позднее, когда поездки в Европу прекратились,

мистер Арчер все равно умел наполнить жизнь своих дочерей всевозможными радостями; если самого его и тревожило состояние его финансовых дел, девушки искренне считали, что владеют очень многим. Изабелла превосходно танцевала, хотя, помнилось ей, не пользовалась особенным успехом на балах в Нью-Йорке; ее сестра Эдит — таково было единодушное мнение — завоевала там куда больше сердец. На долю Эдит выпал такой разительный успех, что у Изабеллы тотчас открылись глаза и на то, в чем за^ ключался секрет неотразимости сестры, и на то, чего ей самой недоставало: ее умение резвиться, скакать и вскрикивать — притом с должным эффектом — было весьма ограничено. Девятнадцать человек из двадцати (включая и самое Изабеллу) полагали Эдит намного привлекательнее младшей сестры, зато двадцатый не только не соглашался с подобным приговором, но, более того, дерзал обвинять других в вульгарности вкуса. В тайниках души наша юная леди даже больше Эдит жаждала успеха, но тайники эти были так глубоко запрятаны, что сообщение между ними и внешним миром было весьма затруднительным. Изабелла встречалась с множеством молодых людей, осаждавших Эдит, но они по большей

части сторонились ее, полагая, что разговор с ней требует серьезной подготовки. Слава «читающей девицы» сопутствовала ей, как облако Гомеровой богине, и создавало вокруг нее завесу; считалось, что такая репутация обязывает собеседника касаться сложных вопросов и держаться в строгих рамках. Бедняжке нравилось слыть умной, но вовсе не хотелось прослыть книжным червем; она стала читать тайком и, обладая превосходной памятью, не позволяла себе блистать цитатами. Ею владела неутолимая жажда знаний, но утолять ее она предпочитала не с помощью книг, а из любых других источников. Ею владел огромный интерес к жизни, и она не переставала зорко всматриваться в нее и размышлять. В ней самой таился великий запас жизненных сил; для нее не было большего наслаждения, чем чувствовать неразрывную связь между движениями собственной души и бурными событиями окружающего мира. Поэтому ей нравились людские толпы и бескрайние просторы, книги о войнах и революциях, картины на исторические сюжеты — картины, которым, сознательно идя на этот грех, прощала плохую живопись ради их содер-

жания. Во время войны Юга и Севера[10] Изабелла была еще девочкой; тем не менее все эти годы она жила в крайнем возбуждении и нередко (к величайшему своему смущению) в равной мере восхищалась доблестью обеих армий. Разумеется, бдительность ее недоверчивых кавалеров никогда не заходила так далеко, чтобы объявить Изабеллу вне закона: у тех, кто приближался к ней, не настолько сильно бились сердца, чтобы они теряли голову, и наша героиня все еще не прикоснулась к тем главным наукам, которые соответствуют ее возрасту и полу. У нее было все, что только могла пожелать молодая девушка: родительская ласка, восхищение, конфеты, букеты, сознание неотъемлемого права пользоваться всеми привилегиями своего круга, неограниченные возможности танцевать на балах, ворох модных платьев, лондонский «Спектейтор»,[11] книжные

[10] Примечания: 10

…во время войны Юга и Севера… — имеется в виду Гражданская война между промышленными северными штатами и рабовладельческими южными штатами США, длившаяся с 1861 по 1865 г.

[11] Примечания: 11

Лондонский «Спектейтор» — общественно-литературный еженедельник, выходивший в Лондоне с 1826 г. и имевший распространение в США; публиковал наряду с текущими общественными и политическими новостями рецензии на новые художественные произведения и книги по различным отраслям знаний.

новинки, музыка Гуно,[12] стихи Браунинга[13] и романы Джордж Элиот.[14]

Все это, оживленное игрою памяти, мелькало перед нею пестрой смесью сцен и лиц. Многое, уже забытое, воскресало вновь, другое, еще не так давно казавшееся особенно значительным, стерлось и исчезло. Она словно смотрела калейдоскоп и только тогда остановила его движение, когда вошла горничная и доложила, что ее желает видеть некий джентльмен. Этим джентльменом был Каспар Гудвуд, прямодушный молодой бостонец, который познакомился с мисс Арчер год назад и считал ее красивейшей девушкой своего времени; согласно правилу, упомянутому нами выше, он бранил это время за крайнюю глупость. Каспар Гудвуд нет-нет да писал Изабелле, и недели две назад прислал из Нью-Йорка

---

[12] Примечания: 12

Гуно, Шарль Франсуа (1818–1893) — французский композитор; его оперы «Фауст» (1859), «Ромео и Джульетта» (1865) и другие, а также кантаты и музыка к спектаклям пользовались большой известностью.

[13] Примечания: 13

Браунинг Роберт (1812–1889) — английский поэт. Стихи Браунинга отличаются психологической и философской глубиной; написанные сложным языком, они считались трудными для восприятия.

[14] Примечания: 14

Элиот Джордж (псевдоним Мэри Энн Эванс, 1819–1880) — английская писательница. Романы Джордж Элиот отличались серьезной социально-философской проблематикой.

письмо. Изабелла предполагала, что он вполне может появиться перед ней, и в этот пасмурный день, не отдавая себе в том отчета, ждала его. Однако, услышав, что он уже здесь, не обнаружила большого желания его видеть. Каспар Гудвуд был самым достойным из всех ее поклонников, он был превосходнейший молодой человек и внушал ей чувство глубокого, необычайного уважения. Никто из ее знакомых не вызывал в ней подобного чувства. Толковали, что он хочет жениться на Изабелле, но об этом, разумеется, лучше было знать им двоим. Доподлинно же было известно только то, что, приехав на несколько дней в Нью-Йорк в надежде застать там мисс Арчер и узнав, что она все еще в Олбани, он отправился туда с единственной целью повидать ее. Изабелла не поспешила ему навстречу; еще несколько минут она ходила по комнате в предчувствии новых сложностей. Когда наконец она вышла в гостиную, Каспар Гудвуд стоял возле лампы. Высокого роста, крепкого сложения, он держался слишком прямо, был сухощав и смугл лицом. Природа наделила его не столько романтической, сколько неприметной красотой, но что-то в его физиономии остановило бы ваше внимание, и, если вас привлекают голубые глаза с особенно присталь-

ным взглядом — глаза словно с другого, более светлокожего лица — и почти квадратный подбородок, который, как принято считать, говорит о решительном характере, это внимание было бы вознаграждено. Изабелла отметила про себя, что и на сей раз подбородок его говорит о принятом решении, однако полчаса спустя Каспар Гудвуд, явившийся к ней действительно полный надежд и решимости, вернулся к себе с горьким чувством человека, потерпевшего поражение. Остается добавить, что он не принадлежал к числу тех, кто легко мирится с поражением.

5

Ральф Тачит относился ко всему на свете философски; однако он не без волнения постучал (без четверти семь) в комнату матери. Даже у философов бывают свои пристрастия, и, не будем скрывать, из двух людей, которым он был обязан жизнью, сладость чувства сыновней привязанности даровал ему отец. Отец — как нередко отмечал про себя Ральф — питал к нему скорее материнские, а мать — напротив, отеческие чувства или даже, выражаясь нынешним языком, начальнические. Вместе с тем она была вполне расположена к своему единственному чаду и неизменно настаивала на том, чтобы сын проводил с нею три месяца в году. Ральф отдавал должное ее материнской нежности, не закрывая, однако, глаза на то, что в ее безупречно налаженном и обслуженном доме он занимал второстепенное место — после ее присных, на которых лежала обязанность неукоснительно и в мельчайших подробностях исполнять ее волю. Когда он вошел, миссис Тачит уже оделась к обеду, тем не менее обняла сына затянутой

в перчатку рукой и, усадив возле себя на софу, принялась расспрашивать о здоровье мужа и его собственном. Получив не слишком утешительный ответ, она сказала, что лишний раз убедилась в мудрости своего решения не подвергать себя превратностям английской погоды. В этом ужасном климате она, пожалуй, и сама бы сдала. Ральф улыбнулся при мысли, что его мать может в чем-либо или кому-либо сдаться, и счел излишним напоминать ей о том, что климат Англии вряд-ли повинен в его недуге, поскольку большую часть года он проводил вне ее пределов.

Ральф был еще ребенком, когда его отец, Дэниел Трэси Тачит, уроженец города Ранленда в штате Вермонт, прибыл в Англию в качестве одного из компаньонов того самого банка, который он возглавил десять лет спустя. Дэниел Тачит понимал, что в новом отечестве ему предстоит прожить долгие годы и отнесся к этому обстоятельству просто, здраво и с готовностью к нему приноровиться. Однако он решил ни в коем случае не вытравливать в себе американца и не обнаружил желания обучать сему тонкому искусству своего единственного сына. Он не видел ничего мудреного в том, чтобы жить в Англии, применяясь,

но не переменяясь, и считал само собой разумеющимся, что после его смерти Ральф поведет дела в старом угрюмом здании банка все на тот же новый американский лад. Он приложил усилия, чтобы настроить мальчика на этот лад, отправив его учиться на родину. Ральф пробыл в Америке несколько лет, закончив там сначала школу, а затем университет; когда он вернулся, отец решил, что от него даже слишком отдает американцем, и поместил на три года в Оксфорд. Гарвард был поглощен Оксфордом,[15] и Ральф наконец стал достаточно англичанином. Внешне он как нельзя лучше вошел в окружающую его среду, однако это было лишь маской, под которой скрывался независимый ум, легко отбрасывавший чужие влияния и по природе своей склонный дерзать, иронизировать и предаваться безграничной свободе суждений. Ральф подавал немалые надежды; в Оксфорде, к несказанному удовольствию отца, он шел среди первых, и все вокруг не переставали сожалеть, что перед таким талантливым юношей

[15] Примечания: 15

Гарвард — старейший американский университет, основанный Джоном Гарвардом (1607–1638) в 1636 г. Оксфорд — один из старейших английских университетов, основанный в 1167 г.

закрыта политическая карьера.[16] Он мог бы ее сделать, возвратившись на родину (хотя трудно сказать, как сложилась бы там его судьба), но, даже если бы мистер Тачит согласился расстаться с сыном (чего он вовсе не хотел), Ральф и сам не пошел бы на то, чтобы между ним и отцом, которого он считал лучшим своим другом, всегда лежала бы водная пустыня. Ральф не только любил отца, он восторгался им и почитал за счастье быть свидетелем его успехов. Он считал Дэниела Тачита человеком гениальным и, хотя не питал ни малейшего интереса к тайнам банковского дела, изучил его единственно для того, чтобы иметь возможность оценить, до каких вершин поднялся в нем его отец. Но более всего он восхищался в старом джентльмене его умением хоронитьея в тончайшую, словно отшлифованную воздухом Англии, слоновой кости броню, которая при любых обстоятельствах оставалась непроницаемой. Дэниел Тачит не кончал ни Оксфорда, ни Гарварда; ему некого было винить, кроме самого себя, что в руках его сына оказался ключ к современному скептицизму. Однако Ральф, в чьей голове

[16] Примечания: 16

...закрыта политическая карьера... — имеется в виду, что, как гражданин США, Ральф Тачит не мог баллотироваться в английскую палату общин.

роились сотни мыслей, о которых понятия не имел его отец, бесконечно уважал его за самобытный ум. Американцы, по праву или нет, славятся легкостью, с какой они приноравливаются к жизни в чужой стране; но мистер Тачит не шел в своей гибкости дальше определенных пределов, чем отчасти и создал почву для своего успеха. Он сохранил в первозданной свежести большинство свойственных ему изначально черт и, к неизменному удовольствию сына, говорил по-английски в образном стиле, характерном для склонных к красноречию районов Новой Англии.[17] К концу жизни он не переменился, но обрел мягкость, равную разве его богатству; он сочетал совершенное знание людей с умением держаться со всеми как ровня, и его «общественная репутация», ради которой он не шевельнул и пальцем, была без единого изъяна, как налившийся соком нетронутый плод. То ли из-за недостатка воображения, то ли из-за отсутствия так называемого «чувства

[17] Примечания: 17

Новая Англия — шесть северо-восточных штатов США: Мэн, Вермонт, Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. Культурным центром Новой Англии на протяжении первой половины XIX в. был Бостон. Поселенцы района Новой Англии сохранили в языке традиции шекспировского периода с его свободным словообразованием, большим числом заимствований и отсутствием пуризма. Американский английский язык подвергался насмешкам со стороны английских пуристов.

истории», многие особенности английского образа жизни, обычно поражающие образованных иностранцев, остались для него за семью печатями. Некоторых различий он так и не заметил, некоторых обычаев так и не усвоил, в некоторых темных сторонах так и не стал копаться. Впрочем, что касается последних, он много утратил бы в мнении сына, если бы *стал* в них копаться.

По выходе из Оксфорда Ральф на несколько лет отправился путешествовать, а затем ему пришлось взгромоздиться на высокий табурет в банке отца. Важность и значительность подобного поста определяются, надо полагать, не высотой табурета, а иными соображениями; поэтому Ральф, на редкость длинноногий, с удовольствием стоял и даже прохаживался в часы работы. Однако ему не суждено было посвятить этому занятию долгие годы: восемнадцать месяцев спустя он серьезно занемог: сильная простуда, которую он схватил, поразила легкие и привела их в плачевное состояние. Пришлось оставить банк и, подчинившись печальной необходимости, в буквальном смысле заняться собой. Вначале Ральф отнесся к этой задаче спустя рукава — ему казалось, что занимается он отнюдь не собой, а какой-то никому не интересной и ничем не

интересующейся личностью, с которой у него, Ральфа, решительно нет ничего общего. Однако, сойдясь с незнакомцем поближе, он смягчился к нему и кончил тем, что научился скрепя сердце терпеть его и даже до некоторой степени уважать. Кого только не роднит несчастье! Ральф, понимая, как много поставлено на карту, и сам поражаясь своему благоразумию, стал исполнять свои безрадостные обязанности с достаточным вниманием. Усилия его не остались втуне и были вознаграждены: бедняга по крайней мере остался жив. Правое легкое начало заживать, левое обещало последовать его примеру, и, по уверению врачей, проводя зимы в теплых странах, куда стекаются страдающие грудной болезнью, он мог рассчитывать еще на десяток и более лет. И хотя Ральф нежно полюбил Лондон и клял судьбу, обрекшую его на изгнание, но сколько бы он ее ни клял, другого выхода у него не было, поэтому, мало-помалу убедившись, что его больные легкие благодарны даже за скудные милости, он стал на них не в пример щедрей. Зимовал, как говорится, в теплых краях, грелся на солнце, в ветреную погоду не покидал дома, в дождливую — постель, и несколько раз, когда ночью выпадал снег, чуть было не уснул в ней навеки.

Он призвал себе на выручку безразличие, и этот скрытый ресурс — словно большой кусок сладкого пирога, украдкой сунутого в детский ранец доброй старушкой няней, — помогал ему мириться с утратами; ведь при всем том он был серьезно болен, и сил хватало лишь на то, чтобы вести свою нелегкую игру. Он говорил себе, что в мире нет дел, которые привлекали бы его всерьез, и поприща славы ему, во всяком случае, не пришлось отринуть. Но теперь на него снова нет-нет да веяло ароматом запретного плода, напоминая, что подлинная радость дана нам только в кипучей деятельности. Жизнь, которую он вел, походила на чтение хорошей книги в плохом переводе — жалкое занятие для человека, понимавшего, что в нем пропадает блестящий лингвист. У него бывали хорошие зимы и плохие зимы, и когда болезнь отпускала его, он даже тешил себя надеждой на полное выздоровление. Но за три года до событий, с которых мы начали наше повествование, надежда эта окончательно рухнула: он задержался в Англии дольше обычного, и холода настигли его прежде, чем он укрылся в Алжире. Он прибыл туда еле живой и несколько недель находился между жизнью и смертью. Он чудом поднялся на ноги, но при первых же шагах

понял, что второму чуду не бывать. Он сказал себе, что час его близок и нужно жить, помня о нем, но по крайней мере в его власти провести остаток дней с наибольшей — насколько это удастся в таком положении — приятностью. В ожидании близкого конца возможность просто пользоваться способностями, которыми наградила его природа, стала для него величайшим наслаждением; ему даже казалось, что он первый открыл радость созерцания. Время, когда ему горько было расставаться с мечтой о славе — мечтой навязчивой при всей ее неясности, мечтой обольстительной, несмотря на постоянную борьбу с весьма здравыми вспышками критического отношения к себе, — осталось далеко позади. Друзья нашли, что он повеселел, и, приписывая эту перемену уверенности в скором выздоровлении, многозначительно качали головами. На самом деле безмятежность его была лишь диким цветком, пробившимся среди развалин.

Запретный плод, как известно, сладок, и, надо думать, именно это обстоятельство послужило причиной того, что появление молодой леди, явно не относившейся к разряду скучных, вызвало в Ральфе внезапный интерес. Что-то говорило ему: если распорядиться собою с умом, здесь его

ждет занятие на много дней вперед. Добавим мимоходом, что возможность любви — т. е. любить, а не быть любимым — все еще значилась в его урезанной жизненной программе. Он только запретил себе бурное проявление чувств. К тому же, было мало вероятно, чтобы он мог внушить кузине пламенную страсть, да и она вряд ли смогла бы, даже если бы попыталась, возбудить в нем подобное чувство.

— А теперь расскажите мне о нашей гостье, — сказал он, обращаясь к матери. — Что собственно вы намерены с ней делать?

Миссис Тачит не замедлила с ответом.

— Я намерена просить твоего отца пригласить ее провести несколько недель в Гарденкорте.

— К чему такие церемонии, — заметил Ральф. — Отец и без того ее пригласит.

— Не знаю, не знаю. Она — моя племянница, а не его.

— Однако, матушка, вы стали изрядной собственницей! Тем больше у отца оснований ее пригласить. Ну, а потом? После этих нескольких месяцев — невозможно ведь приглашать такую милую девушку всего на несколько жалких недель? Что вы намерены с ней делать потом?

— Взять с собой в Париж и заняться ее туале-

тами.

— Разумеется. Ну, а кроме туалетов?

— Пригласить на осень к себе во Флоренцию.

— Это все частности, дорогая мама, — сказал Ральф. — Я спрашиваю, что вообще вы намерены делать с ней.

— Исполнить свой долг! — провозгласила миссис Тачит. — Ты, надо думать, очень ее жалеешь.

— Вовсе нет. Она не произвела на меня впечатления особы, которую нужно жалеть. Скорее я ей завидую. Впрочем, чтобы мне решить этот вопрос, объясните хотя бы в общих чертах, в чем вы видите свой долг.

— В том, чтобы показать ей четыре европейских страны — две из них пусть сама выберет — и дать возможность в совершенстве выучить французский. Она уже и так его неплохо знает.

— Звучит суховато, — слегка нахмурился Ральф. — Даже при том, если две страны она выберет сама.

— Суховато? — сказала миссис Тачит, смеясь. — Предоставим Изабелле сбрызнуть наше путешествие живою водой. Ее присутствие освежает, как летний дождь.

— Вы считаете ее одаренным существом?

— Не знаю, одаренное ли она существо, но де-

вица она умная, с характером и пылким нравом. Она понятия не имеет, что такое скука.

— Охотно верю, — сказал Ральф и вдруг добавил: — А как вы ладите между собой?

— Не хочешь ли ты сказать, что со мной скучно? Она так не считает. Другие девушки — возможно, но не она — она слишком умна для этого. По-моему, ей очень занятно со мной. И мы превосходно ладим, потому что я ее понимаю; я знаю девушек этой породы. Она во всем прямодушна — я тоже. Мы обе знаем, чего нам друг от друга ждать.

— Милая мама! — воскликнул Ральф. — Кто же не знает, чего ждать от *вас.* Меня вы ни разу не удивили. Разве что сегодня, подарив мне хорошенькую кузину, о существовании которой я даже не подозревал.

— Ты и в самом деле считаешь ее хорошенькой?

— Прехорошенькой. Впрочем, это не главная ее прелесть. В ней есть что-то необычное, что-то свое — вот это-то меня и поразило. Кто эта своеобразная девушка? Что она такое? Где вы нашли ее? Как познакомились?

— Я нашла ее в старом доме в Олбани. Шел дождь, и она сидела в мрачной зале с толстенной книгой в руках и умирала от скуки. Правда, она не

понимала, что скучает, но, когда я уходила, она, по-моему, была весьма благодарна мне за то, что я открыла ей на это глаза. Ты скажешь, незачем было это делать — незачем было вмешиваться в ее жизнь. Возможно, ты и прав, но я сделала это намеренно: мне показалось, она предназначена для лучшей доли. И я подумала, что сослужу ей добрую службу, если возьму с собой и покажу белый свет. Она считает себя весьма осведомленной особой — как и многие девицы в Америке. Однако, как и многие девицы в Америке, она глубоко заблуждается. Кроме того, если хочешь знать, я подумала, что с ней не стыдно показаться на люди. Приятно, когда о тебе существует хорошее мнение, а в моем возрасте ничто так не красит женщину, как хорошенькая племянница. Ты знаешь, я много лет не встречалась с дочерьми моей сестры: у них был отвратительный отец. Но я всегда намеревалась что-нибудь для них сделать, как только он переселится туда, где всем найдется местечко. Я навела о них справки и без предупреждения отправилась к ним сама. И объявила, кто я. Кроме Изабеллы, там еще две сестры, обе замужем; я познакомилась только со старшей и ее мужем — крайне неприятный субъект, к слову сказать. Его жена, по имени Лили, очень обрадо-

валась, узнав, что я заинтересовалась Изабеллой; она утверждает, будто ее сестре как раз и нужно, чтобы ею заинтересовались. Лили говорила о ней так, точно это непризнанный талант, который нуждается в поощрении и поддержке. Возможно, Изабелла и в самом деле непризнанный талант, только я еще не разобралась, какой. Миссис Ладлоу пришла в восторг, когда я сказала, что возьму ее сестру в Европу. Они все там смотрят на Европу как на прибежище для эмигрантов, для ищущих спасения, как на край, куда можно сбыть излишек населения. Изабелла с радостью откликнулась на мое приглашение, и дело сладилось без хлопот. Правда, некоторые затруднения возникли, когда речь зашла о деньгах — Изабелла, насколько я могу судить, решительно не желает ни у кого одолжаться. Но у нее есть небольшие средства, и она думает, что путешествует на собственный счет. Ральф внимательно выслушал этот пространный отчет, который, однако, только в незначительной мере утолил его любопытство.

— Что ж, если у нее есть талант, — сказал он, — нам остается выяснить — к чему. Может быть, ее талант в том, чтобы покорять сердца?

— Не думаю. При беглом знакомстве ее, пожалуй, можно принять за кокетку, но это ошибочное

впечатление. Во всяком случае, разгадать ее, по-моему, не просто.

— Значит, Уорбертон пошел по неверному пути, — воскликнул Ральф. — А он-то гордится своим открытием.

Миссис Тачит покачала головой.

— Лорду Уорбертону ее не понять. Пусть и не пытается.

— Он очень умен, — возразил Ральф. — Однако вовсе неплохо заставить его иногда поломать себе голову.

— Изабелла с удовольствием заставит английского лорда поломать себе голову.

Ральф снова нахмурился.

— А что она знает о лордах?

— Ровным счетом ничего. А это тем более не сможет уложиться в его голове.

При этих словах Ральф рассмеялся и, взглянув в окно, спросил:

— Вы не собираетесь спуститься к отцу?

— Спущусь, без четверти восемь, — отвечала миссис Тачит.

Сын посмотрел на часы.

— В таком случае у вас еще целых четверть часа. Расскажите мне еще об Изабелле.

Но миссис Тачит отклонила эту просьбу, сказав,

что ему придется самому разбираться в кузине.

— Да, — продолжал тем не менее Ральф, — с ней, безусловно, не стыдно показаться на люди. А вот не причинит ли она вам беспокойства?

— Надеюсь, нет. Ну а если и причинит, я все равно не отступлюсь. Я никогда не меняю своих решений.

— Она показалась мне очень непосредственной, — сказал Ральф.

— От непосредственных людей еще не так много беспокойства.

— Безусловно, — сказал Ральф. — И вы первая тому доказательство. Я не знаю никого непосредственнее вас, но, уверен, вы никогда никому не причиняли беспокойства. Ведь, беспокоя других, надо обеспокоить *себя.* Но вот что еще скажите — мне это только что пришло в голову: умеет она давать отпор?

— Хватит! — воскликнула мать. — Конца нет твоим вопросам. Изволь разбираться сам.

Но Ральф еще не исчерпал своих вопросов.

— А ведь вы так и не сказали, что намерены с ней делать, — напомнил он.

— Делать? Ты говоришь об этом так, словно Изабелла штука ситца. Ничего я не собираюсь делать ни с ней, ни тем паче из нее. Она будет

делать, что ей заблагорассудится. Это было ее непременное условие.

— Значит, в той телеграмме вы хотели сказать, что характер у нее самостоятельный.

— Я никогда не знаю, что хочу сказать в телеграммах, особенно в тех, которые посылаю из Америки. Ясность обходится слишком дорого. Пойдем вниз, к отцу.

— А разве уже без четверти восемь? — спросил Ральф.

— Я могу снизойти к его нетерпению, — ответила миссис Тачит. Ральф имел свое мнение на этот счет, но возражать не стал. Вместо этого он предложил матери руку, что позволило ему, спускаясь с нею по лестнице — просторной, пологой, с широкими мореного дуба перилами, считавшейся одной из достопримечательностей Гарденкорта, на минуту задержаться на площадке.

— Вы, кажется, собираетесь выдать ее замуж?

— Замуж? Мне было бы жаль сыграть с ней такую шутку. К тому же она и сама вполне может выйти замуж. У нее для этого есть все возможности.

— Вы хотите сказать, что она уже избрала себе мужа?

— Ну, мужа, не мужа, а какой-то молодой чело-

век из Бостона существует!

Ральф снова двинулся вниз — он не испытывал ни малейшего желания слушать о молодом человеке из Бостона.

— Как говорит отец, у каждой американки непременно есть жених. Мать отказалась удовлетворить любопытство сына, отослав его к первоисточнику, и вскоре ему представилась возможность воспользоваться ее указанием. Оставшись в гостиной вдвоем со своей юной родственницей, Ральф мог вволю наговориться с ней. Лорд Уорбертон, прискакавший из своего поместья за десять миль, уехал еще до обеда, а мистер и миссис Тачит, которые за это время успели, по-видимому, исчерпать интерес друг к другу, под благовидным предлогом усталости удалились каждый на свою половину. Ральф целый час болтал с кузиной, которая вовсе не казалась измученной, хотя первую часть дня провела в пути. Она на самом деле была очень утомлена, знала это и знала, что назавтра заплатит дорогой ценой. Однако она взяла себе в привычку не сдаваться, пока окончательно не выбивалась из сил и не сознавалась в усталости, пока могла выдержать роль. Сейчас это маленькое притворство не стоило большого труда: ей было интересно, и она,

говоря ее же словами, «плыла по течению». Изабелла попросила Ральфа показать ей картины; картин в доме было великое множество, и почти все они были приобретены Ральфом. Лучшие висели в дубовой галерее, продолговатой зале превосходных пропорций, с двумя гостиными по оба конца. По вечерам в ней обычно горел свет, однако это освещение было недостаточным, чтобы как следует разглядеть картины, и лучше было бы отложить осмотр на завтра. Так Ральф и посоветовал кузине, и лицо ее тотчас — несмотря на улыбку — выразило разочарование.

— Я хотела бы, если можно, — сказала она, — взглянуть на них сегодня.

Изабелла была нетерпелива, знала это за собой, но ничего не могла поделать, и сейчас тоже не сумела справиться с собой.

«Ого, — подумал Ральф, — здесь обходятся без советов». Однако досады он не почувствовал. Напротив, ее настойчивость показалась ему забавной и даже милой.

Закрепленные на кронштейнах светильники помещались на некотором расстоянии друг от друга и давали неяркий, зато мягкий свет. Он падал на чистые краски картин, на тусклую позолоту тяжелых рам, бросая отблески на тщательно

навощенный пол. Ральф взял шандал и повел кузину по зале, показывая ей то, что особенно любил. Изабелла переходила от одной картины к другой, выражая восторг негромкими восклицаниями и чуть слышными замечаниями. Она явно понимала толк в живописи, обнаружив, к немалому удивлению Ральфа, природный вкус. Взяв второй шандал, она подолгу рассматривала то одно, то другое. Она высоко поднимала шандал, и тогда Ральф, отступая к середине галереи, смотрел не столько на картину, сколько на Изабеллу. По правде говоря, он ничего не терял, обращая взор в эту сторону — его кузина могла заменить многие произведения искусства. Она, несомненно, была тонка, бесспорно воздушна и, безусловно, высока. Недаром знакомые, сравнивая младшую мисс Арчер с сестрами, всегда добавляли слово «тростинка». Ее темные, почти черные волосы вызывали зависть многих женщин, а светло-серые глаза, которые иногда, в минуты сосредоточенности, выражали, быть может, чрезмерную твердость, пленяли всеми оттенками мягкости.

Ральф и Изабелла дважды медленно прошлись по галерее из конца в конец.

— Ну вот, — сказала она, — теперь я намного

больше знаю.

— Вы, я вижу, стремитесь как можно больше знать, — сказал Ральф.

— Да, я хочу много знать. Большинство девушек так ужасающе невежественны.

— На мой взгляд, вы не похожи на большинство.

— Многим хотелось бы стать иными… и как их за это бранят, — сказала Изабелла, явно предпочитая пока не задерживать внимания на своей особе. И тут же, чтобы придать разговору другой оборот, спросила: — Скажите, а у вас здесь водятся привидения?

— Привидения?

— Ну, духи, те, что являются людям по ночам. В Америке мы зовем их привидениями.

— Мы здесь тоже. Когда они нам являются.

— Значит, они вас посещают? В таком романтическом старинном доме их не может не быть.

— Наш дом вовсе не романтический, — сказал Ральф. — Боюсь, вы будете разочарованы, если на это рассчитываете. Он убийственно прозаичен, никакой романтики здесь нет, разве что вы привезли ее с собой.

— Конечно, и очень много. И, по-моему, я привезла ее туда, куда нужно.

— Несомненно, если ваша цель — сохранить ее в неприкосновенности. Мы с отцом ей вреда не причиним.

Изабелла посмотрела на него.

— Разве, кроме вашего отца и вас, здесь никто не бывает?

— Почему? Моя матушка.

— А-а. С ней я хорошо знакома. Она не романтическая натура. А гости к вам приезжают?

— Очень редко.

— Жаль! Я люблю встречаться с людьми.

— В таком случае ради вас мы пригласим сюда все графство.

— Вы смеетесь надо мной, — сказала девушка строго. — А кто тот джентльмен, который гулял с вами по лужайке, когда я приехала?

— Наш сосед. Он не часто приезжает сюда.

— Жаль. Он мне понравился, — сказала Изабелла.

— Но вы, кажется, не успели перемолвиться с ним и двумя словами, — возразил Ральф.

— Ну и что же? Все равно он мне понравился. И ваш батюшка тоже. Очень понравился.

— Рад это слышать. Отец — чудеснейший человек.

— Как жаль, что он болен, — сказала Изабелла.

— Вот и помогите мне ухаживать за ним. Из вас, надо думать, выйдет отличная сиделка.

— Боюсь, что нет. Говорят, я для этого не гожусь. Слишком много рассуждаю. Но вы так и не рассказали мне о привидении, — вдруг напомнила она.

Ральф, однако, не пожелал вернуться к этой теме.

— Вам понравился отец, понравился лорд Уорбертон. Полагаю, вам нравится и моя матушка.

— Очень нравится, потому что… потому что… — Изабелла запнулась, пытаясь найти причину, объясняющую ее привязанность к миссис Тачит.

— В таких случаях никогда не знаешь — почему, — сказал Ральф смеясь.

— Я всегда знаю — почему, — ответила девушка. — Потому что она не старается нравиться. Ей безразлично, нравится она или нет.

— Значит, вы любите ее из чувства противоречия? Знаете, а ведь я очень похож на нее, — сказал Ральф.

— По-моему, нисколько не похожи. Вам как раз очень хочется нравиться людям, и вы стараетесь этого добиться.

— Однако вы видите человека насквозь! — воскликнул Ральф с испугом, не вовсе наигранным.

— Но вы мне все равно нравитесь, — успокоила

его кузина. — И если хотите всегда мне нравиться, покажите мне привидение.

Ральф с грустью покачал головой.

— Я-то показал бы его вам, да вы его не увидите. Немногие удостаиваются этой чести. Незавидной чести. Привидения не являются таким, как вы, — молодым, счастливым, не искушенным жизнью. Тут надобно пройти через страдания, жестокие страдания, познать печальную сторону жизни. Тогда вам начнут являться привидения. Я свое уже давно встретил.

— Но я сказала вам — я хочу все знать, — настаивала Изабелла.

— Да, но о счастливой, о радостной стороне жизни. Вам не пришлось страдать, да вы и не созданы для страданий. Надеюсь, вы никогда не встретитесь с привидением.

Она слушала внимательно, с улыбкой на губах, но глаза ее были серьезны. Ральф подумал, что при всем своем очаровании она, пожалуй, излишне самоуверенна; хотя, может быть, в этом отчасти и состояло ее очарование? Он с нетерпением ждал, что она скажет в ответ.

— А я, знаете, не боюсь, — заявила она, и слова ее именно так и прозвучали — самоуверенно.

— Не боитесь страданий?

— Страданий — боюсь, а привидений — нисколько. И вообще я считаю, люди проявляют слишком большую готовность страдать.

— Ну *вы*, я думаю, не из их числа, — сказал Ральф и взглянул на нее, не вынимая рук из карманов.

— Я не считаю, что это плохо, — ответила Изабелла. — Разве человек непременно должен страдать? Разве мы созданы для страданий?

— Вы, несомненно, нет.

— Я не о себе говорю, — сказала она, делая шаг к двери.

— Я тоже не считаю, что это плохо, — сказал Ральф. — Быть сильным — прекрасно.

— Да, только про того, кто не страдает, люди говорят — какой бессердечный, — возразила Изабелла.

Они вышли из маленькой гостиной, куда вернулись после осмотра галереи, и теперь стояли в холле у подножья лестницы. Ральф достал из ниши заготовленную на ночь свечу и протянул ее своей спутнице.

— А вы не думайте о том, что говорят. Про того, кто страдает, те же люди говорят — какой болван. В жизни нужно быть по возможности счастливым. В этом все дело.

Она снова внимательно посмотрела на него. В руке у нее была свеча, и одной ногой она уже стояла на ступеньке.

— Я для. того и приехала в Европу, чтобы стать по возможности счастливой. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Желаю вам успеха и буду рад помочь, чем смогу. Она отвернулась и начала медленно подыматься по дубовой лестнице, а он смотрел ей вслед. Затем, держа по обыкновению руки в карманах, вернулся в пустую гостиную.

6

Изабелла Арчер слишком много рассуждала, и у нее было неуемное воображение. Природа наделила ее более тонкой восприимчивостью, чем большинство тех, с кем свела ее судьба, способностью видеть шире, чем они, и любопытством ко всему, что было ей внове. В своем кругу она слыла необычайно глубокой натурой, ее знакомые — превосходные все люди — не скрывали восхищения ее недюжинным умом, о котором не могли судить, и говорили о ней как о чуде учености — шутка сказать, она читала древних авторов… в переводах. Миссис Вэриен, ее тетка с отцовской стороны, даже как-то пустила слух, что Изабелла пишет книгу — миссис Вэриен питала безмерное уважение к книгам, — и утверждала, что племянница прославится в печати. Миссис Вэриен чрезвычайно ценила литературу, относясь к ней с тем почтением, которое обычно бывает вызвано чувством обделенности. В обширном доме миссис Вэриен, стяжавшем известность коллекцией мозаичных столиков и лепными потолками, не нашлось места для библиотеки, и изящная сло-

весность была представлена в нем каким-нибудь десятком романов в бумажных переплетах, которые умещались на полочке в комнате одной из мисс Вэриен; знакомство миссис Вэриен с литературой исчерпывалось чтением нью-йоркского «Интервьюера», который, по справедливому замечанию той же миссис Вэриен, окончательно убивал в читателе веру в духовные ценности. Именно поэтому, надо полагать, она держала «Интервьюер» подальше от взора своих дочерей; она положила воспитать их в строгих правилах, и они вообще ничего не читали. Ее прозрения относительно Изабеллы были, однако, плодом фантазии. Изабелла и в мыслях не имела браться за перо и вовсе не стремилась к писательским лаврам. Она не умела облекать чувства и мысли в слова, да и не ощущала в себе призвания, однако считала справедливым, что окружающие обращались с нею так, словно она была на голову выше их. Как бы там ни было, но поскольку они признавали за ней превосходство, значит, восхищение их вполне справедливо, тем более что ей и самой нередко казалось, будто она намного сообразительнее других, а это рождало в ней нетерпение, которое так легко принять за превосходство. Изабелла, не будем скрывать, грешила

самовлюбленностью: она часто, и не без удовольствия, окидывала взором все возможности, которые предоставляла ей собственная натура, имела обыкновение всегда и во всем, даже без особого на то основания, считать себя правой и охотно принимала поклонение. А между тем ей случалось делать промахи и ошибки, которые любой биограф, пекущийся о доброй славе своей героини, постарался бы обойти молчанием. Клубок ее туманных мыслей ни разу не подвергся суду людей сведущих. Она руководствовалась исключительно собственными мнениями, а потому нередко попадала впросак. Время от времени, уличив себя в какой-нибудь глупой оплошности, Изабелла предавалась страстному самоуничижению, но спустя неделю еще выше поднимала голову — ею владело неистребимое желание сохранять о себе высокое мнение. Только при этом условии — таково было ее убеждение — стоило жить: быть одной из лучших, сознавать, что обладаешь тонкой организацией (Изабелла, разумеется, не сомневалась, что обладает тонкой организацией), обитать в царстве света, разума, счастливых порывов и благодатно неиссякаемого вдохновения. Сомневаться в себе? Так же ненужно, как сомневаться в лучшем друге: стань

лучшим другом самому себе, и тогда ты сможешь находиться в самом избранном обществе. Изабелле нельзя было отказать в возвышенном воображении, которое не раз оказывало ей добрые услуги и столько же раз играло с нею злые шутки. Половину своего времени она проводила в размышлениях о красоте, бесстрашии и благородстве, нимало не сомневаясь, что мир полон радости, неисчерпаемых возможностей, простора для действия, и считала отвратительным чего-либо страшиться или стыдиться. Она твердо надеялась, что никогда не совершит ничего дурного, казнила себя за малейшее заблуждение чувств (и если обнаруживала его, содрогалась, будто боялась угодить в готовый захлопнуться и придушить капкан), а при мысли — при одном только предположении, — что могла бы намеренно причинить другому боль, у нее занималось дыхание. Ничего хуже этого с ней не могло случиться! В общем, умозрительно она знала, что считать дурным. Она не любила обращать взор в эту сторону, но, коль скоро устремляла его туда, умела распознать дурное. Дурно делать низости, быть завистливым, вероломным, жестоким. В своей жизни она почти не сталкивалась с настоящим злом, но встречала женщин, которые

лгали и пытались уязвлять друг друга. Это еще больше разжигало в ней гордыню — не презирать их было недостойно. Но человека, ослепленного гордыней, подстерегает опасность оказаться непоследовательным, опасность сдать крепохть, оставив на ней свой флаг, — поступок настолько бесчестный, что пятнает самый этот флаг. Изабелла, не ведая о том, какую артиллерию пускают в ход при осаде хорошеньких женщин, мнила, что эта опасность ей не грозит. Она всегда будет вести себя соответственно тому приятному впечатлению, какое на всех производит, будет такой, какой кажется, и казаться такой, какая есть. Порою она заходила даже так далеко, что мечтала попасть в трудные обстоятельства, чтобы иметь удовольствие проявить подобающий случаю героизм. Словом, с ее скудным опытом и выспренными идеалами, с ее убеждениями, столь же наивными, сколь и категоричными, с ее нравом, столь же взыскательным, сколь и снисходительным, с этой смесью любознательности и разборчивости, отзывчивости и холодности, с этим ее стремлением всегда казаться хорошей, а быть еще лучше, с желанием все увидеть, все испытать, все познать, с ее тонкой, трепетной, легко воспламеняющейся душой, доставшейся

своевольной и самолюбивой девушке из хорошей семьи, — словом, со всеми этими качествами наша героиня вполне могла бы стать предметом сурового критического разбора, но, представляя ее читателю, мы, напротив, имеем в виду расположить его к ней и вызвать в нем интерес к дальнейшей ее судьбе.

Изабелла Арчер считала — таково было еще одно ее убеждение — счастьем свою свободу и полагала, что надлежит воспользоваться ею на просвещенный лад. Ей и в голову не приходило сетовать на то, что она осталась одна, тем паче на одиночество — в ее глазах это было бы малодушием; к тому же ее сестра Лили постоянно и очень настойчиво уговаривала ее поселиться у нее в доме. Незадолго до смерти отца у Изабеллы появилась новая приятельница, которая с успехом трудилась на благо общества, и Изабелла видела в ней достойный подражания образец. Генриетта Стэкпол обладала завидным даром: она нашла свое призвание в журналистике, и ее «письма» из Вашингтона, Ньюпорта, с Белых гор и из прочих городов и весей, публиковавшиеся в «Интервьюере», были у всех на языке. Изабелла, с присущей ей самонадеянностью, называла их «легковесными», что, однако, не мешало ей

отдавать должное мужеству, энергии и жизнерадостности молодой писательницы, которая одна, без родни и без достатка, взяла на себя воспитание троих племянников — детей своей больной овдовевшей сестры — и платила за их обучение из денег, заработанных литературным трудом. Генриетта придерживалась самых передовых взглядов и почти на все имела точный ответ. Она давно уже мечтала отправиться в Европу, чтобы в серии писем в «Интервьюере» рассказать о Старом Свете с новых позиций — задача не столь уж трудная, поскольку Генриетта знала наперед, каковы будут ее мнения и какие претензии вызовут у нее большинство европейских установлений. Узнав, что Изабелла собирается в путь, она тотчас же решила ехать, полагая, естественно, что путешествовать вдвоем будет особенно приятно. Однако с отъездом ей пришлось повременить. Генриетта считала Изабеллу исключительной натурой и уже не раз, не называя по имени, живописала в своих письмах, но ни слова не говорила подруге, не слишком прилежной читательнице «Интервьюера», которая вряд ли бы этому обрадовалась. Генриетта же, в мнении Изабеллы, служила живым примером женщины независимой и притом счастливой. В случае

Генриетты источник независимости лежал на поверхности, но, даже если молодая девушка не обнаруживает способностей к журналистике и не обладает необходимым, как утверждала Генриетта, даром угадывать, что нужно публике, это вовсе не означает, будто у нее нет никакого призвания, никаких полезных талантов и ей только и остается, что быть ветреной и пустой. Изабелла решительно не желала быть пустой. Если набраться терпения, непременно найдется какое-нибудь дело по плечу. Разумеется, среди убеждений нашей героини имелось немало идей и по вопросу о браке. Первый пункт этого перечня гласил, что слишком много думать о замужестве вульгарно– И уж боже упаси гоняться за женихами. По мнению Изабеллы, всякая женщина, кроме разве самых хрупких, должна уметь жить сама по себе и вполне может быть счастлива, не деля существования с неким более или менее грубым представителем противоположного пола. Ее молитвы были услышаны: свойственные ей чистота и гордость — холодность и сухость, сказал бы какой-нибудь отвергнутый вздыхатель, склонный к анализу, — не позволяли ей строить тщеславных планов относительно возможного мужа. Немногие в кругу знакомых ей мужчин

казались ей достойными такой разорительной траты сил, а мысль, что один из них мог бы вдруг разжечь в ней надежды и вознаградить за терпение, заставляла ее улыбаться. В глубине души — в самых ее глубинах — она верила: если бы ее озарил свет любви, она сумела бы отдать себя безоглядно, но видение это было слишком грозное — ив конечном счете скорее пугало ее, чем манило. Изабелла то и дело возвращалась к нему, но почти никогда на нем не задерживалась — оно сразу же вызывало в ее душе тревогу. Ей казалось, что она слишком много думает о себе, и, если бы кто-нибудь назвал ее заядлой эгоисткой, она бы тотчас покраснела. Она без конца искала путей развить себя, жаждала достичь совершенства и беспрестанно проверяла, чего уже успела добиться. Ее внутренний мир представлялся ее тщеславному воображению чем-то вроде сада, где шумят ветви, в воздухе разлит аромат, где много тенистых беседок и уходящих вдаль аллей; погружаясь в него, она словно совершала прогулку на свежем воздухе, а забираясь в самые сокровенные его уголки, не видела в том ничего дурного — ведь она возвращалась оттуда с охапками роз. Правда, жизнь часто напоминала ей, что в мире есть много других садов, иных,

чем сад ее необыкновенной души, кроме того, есть множество мрачных, зловонных пустырей, густо поросших уродством и бедой. Уносимая с недавних пор потоком вознагражденной любознательности, который уже увлек ее в старую добрую Англию, а мог умчать и дальше, она часто ловила себя на мысли о тысячах обездоленных, и тогда ее собственная утонченная, наполненная до краев душа начинала казаться ей весьма нескромной. Но что делать? Какое место отвести существующим в мире страданиям в планах о радужном будущем? Скажем прямо, предмет этот недолго удерживал ее внимание. Она была слишком молода, слишком торопилась жить, слишком мало знала, что такое боль. Она уверила себя, что молодой женщине, к тому же всеми признанной умнице, необходимо прежде всего составить себе представление о жизни в целом. Без этого не уберечься от ошибок, и, только обретя такое представление, можно будет серьезно заняться вопросом о незавидном положении других людей.

Англия явилась для нее откровением; она захватила ее, как ребенка пантомима. Прежде, когда еще девочкой ее привозили в Европу, она видела только страны континента, и видела их из

окна своей детской; Париж, а не Лондон, был Меккой ее отца,[18] к тому же дочери, естественно, не могли разделять большей части его увлечений. Образы той далекой поры потускнели и стерлись, и отпечаток Старого Света на всем, что сейчас она наблюдала, имел для нее прелесть новизны. Дом Тачитов казался ей ожившей картиной; ни одна мелочь его изысканного комфорта не ускользнула от ее взгляда; и в своем прекрасном совершенстве Гарденкорт открывал целый мир, удовлетворяя в то же время всем потребностям. Большие низкие комнаты с потемневшими потолками и укромными закоулками, глубокие оконные проемы и причудливые переплеты, ровный свет, густая зелень за окном, словно подсматривающая за обитателями дома, возможность благоустроенного уединения в центре этих «владений» — места, где почти ничто не нарушало благодатной тишины, где сама земля

[18] Примечания: 18

Мекка — место рождения Магомета, основателя магометанства, священный город мусульман и основной центр их паломничества. Американские туристы в Европу избрали Париж центром своего паломничества, что вызвало шутливое высказывание: «Когда умирают добродетельные американцы, они отправляются в Париж», принадлежащее американскому писателю и художнику Томасу Г. Аплтону (1812–1884), основателю Бостонского музея изобразительных искусств. Сам Аплтон сорок раз посетил Европу с целью изучения европейских памятников искусства и культуры.

поглощала звук шагов, а туманный ласковый воздух смягчал острые углы в человеческих отношениях и резкость человеческих голосов, — все это пришлось весьма по вкусу нашей героине, в чувствах которой вкус играл не последнюю роль.

Она быстро подружилась с дядюшкой и часто сидела возле его кресла, когда мистера Тачита вывозили на лужайку. Он много времени проводил на свежем воздухе — сидел сложа руки, — тихий, уютный бог домашнего очага, бог повседневных забот, который, исполнив все свои обязанности и получив вознаграждение за труды, теперь пытается приучить себя к неделям и месяцам сплошного досуга. Изабелла весьма развлекала его — куда больше, чем сама о том догадывалась (она нередко производила на людей совсем не то впечатление, на какое рассчитывала), и он охотно вызывал ее на болтовню, как про себя определял рассуждения Изабеллы. В них присутствовало «нечто», свойственное всем молодым американкам, к словам которых относились не в пример с большим интересом, чем к тому, что говорилось их заокеанскими сестрами. Подобно большинству ее соотечественниц, Изабеллу с детства поощряли делиться своими мыслями; к ее замечаниям прислушивались, причем счита-

лось само собой разумеющимся, что у нее есть и свои суждения, и чувства. Конечно, суждения эти отнюдь не всегда отличались глубиной, а чувства испарялись по мере их выражения, тем не менее след они оставляли: Изабелла приобрела привычку пытаться по крайней мере думать и чувствовать и, что еще важнее, ее ответы — особенно когда предмет разговора задевал за живое — стали находчивы и пылки, а это, по мнению многих, является признаком духовного превосходства. Мистер Тачит не раз ловил себя на мысли, что она напоминает ему его жену, какой та была в молодости. Именно эта естественность и свежесть, эта способность схватывать и отвечать на лету пленили тогда его сердце. Самой Изабелле он ни словом не обмолвился об этом сходстве: если миссис Тачит была когда-то такой, как Изабелла, то Изабелла вовсе не была такой, как миссис Тачит. Старый джентльмен проникся нежностью к племяннице: давно уже, по его собственным словам, их дом не оживляла молодость, и наша живая, стремительная, звонкоголосая героиня была приятна ему, словно журчащий ручеек. Он с радостью сделал бы для нее что-нибудь и только ждал, чтобы она обратилась к нему с просьбой. Но она обращалась к нему лишь с

вопросами, правда, им не было конца. Ответов у него тоже нашлось в избытке, хотя порою ее неуемная любознательность ставила его в тупик. Особенно много она расспрашивала об Англии, ее конституции, английском характере, политике, о нравах и привычках королевской семьи, обычаях аристократии, об образе жизни и мыслей его соседей и, прося разъяснить ей то или это, не упускала случая осведомиться, соответствует ли подлинное положение вещей тому, как оно описано в книгах. Мистер Тачит обыкновенно бросал на нее лукавый взгляд и, улыбаясь с чуть заметной иронией, расправлял на коленях шаль.

— В книгах? — ответил он как-то. — Как вам сказать? Книги — не по моей части. Об этом лучше спросить Ральфа. Я всегда доходил до всего сам — узнавал все естественным путем, так сказать. Даже вопросов не задавал — просто помалкивал да поглядывал. Конечно, у меня были большие возможности — молодые девицы обычно такими возможностями не располагают. По натуре я человек наблюдательный, хотя, пожалуй, по мне это и не видно. Сколько бы вы ни присматривались ко мне — все равно я высмотрю в вас больше. К англичанам я присматриваюсь уже добрых тридцать пять лет и могу с уверенностью сказать,

что знаю о них предостаточно. В целом Англия — замечательная страна, замечательнее, чем мы признаем это за океаном. Кое-что я, пожалуй, здесь подправил бы, но англичане, по-видимому, пока не чувствуют в этом надобности. Когда появляется надобность в переменах, они умеют их добиться. Но никогда не спешат и до поры до времени спокойно ждут. Прямо скажу, я здесь прижился куда лучше, чем поначалу ожидал. Вероятно, потому, что мне сопутствовал успех. Где человеку сопутствует успех, там он, естественно, и приживается.

— Значит, я тоже приживусь здесь, если буду иметь успех? — спросила Изабелла.

— Вполне вероятно. Вас, несомненно, ждет здесь успех. Англичане очень любят молодых американок[19] и превосходно их принимают. Впрочем, вам не к чему так уж стараться прижиться здесь.

— О, я совсем не уверена, что в Англии мне *понравится,* — задумчиво сказала Изабелла, ставя ударение на последнем слове. — Страна мне

---

[19] Примечания: 19

Англичане очень любили молодых американок... — намек на то, что большинство европейско-американских браков, по наблюдениям Джеймса, происходило между американками и европейцами. Этой теме Джеймс посвятил несколько своих рассказов и повестей.

вполне по душе, но придутся ли по душе люди — не знаю.

— Люди здесь очень хорошие; особенно если они вам по душе.

— Что они сами по себе хорошие, я не сомневаюсь, — возразила она. — А вот каковы они с другими? Конечно, меня не обворуют и не прибьют, но будут ли они мне рады? Я люблю, когда люди мне рады. Я говорю об этом прямо, потому что очень ценю в людях радушие. А в Англии, по-моему, не очень-то хорошо обходятся с молодыми девушками. Во всяком случае, если судить по романам.[20]

— Я мало понимаю в романах, — проговорил мистер Тачит. — Сдается мне, в них все очень ловко сказано, но, боюсь, они нередко грешат против правды. У нас как-то гостила дама, которая пишет романы. Она была в дружбе с Ральфом, и он пригласил ее сюда. Все-то она знает, скажет — как отрежет. Но ее свидетельствам я не стал бы доверять. Слишком богатая фантазия — вот в чем, наверное, причина. Потом она напечатала книгу, в которой, думается мне, хотела живопи-

---

[20] Примечания: 20

Ссылка на романы английских писательниц Ш. Бронте (1818–1848), Э. Бронте (1818–1848), Джордж Элиот, в центре которых стояла тяжелая судьба молодой героини.

сать — вернее, изобразить в карикатурном виде — вашего покорного слугу. Я не стал читать это сочинение, но Ральф отчеркнул кое-какие места и принес его мне. Она, по-видимому, пыталась изобразить мою манеру говорить: американские словечки, произношение в нос, благоглупости янки, звезды и полосы.[21] Так вот, все это было совсем на меня не похоже; наверно, она не очень-то внимательно меня слушала. Я не возражал бы, если бы она передала мою манеру говорить. Пусть себе, если ей хочется. Но мне очень не понравилось, что она даже не дала себе труда меня послушать. Конечно, я говорю, как американец, — не говорить же мне, как готтентот. При всем при том меня здесь все понимают. Но, как старый джентльмен из романа этой дамы, я не говорю. Он не американец, и нам в Штатах таких даром не нужно. А рассказываю я вам об этом, чтобы показать — романисты нередко грешат против правды. Конечно, дочерей у меня нет, а миссис Тачит живет во Флоренции, поэтому я не очень-то знаю, как здесь обращаются с молодыми

[21] Примечания: 21

Звезды и полосы изображены на государственном флаге США (число звезд по количеству штатов в любое данное время и 13 полос по количеству первоначальных штатов). В переносном смысле означает США или типичного американца, приверженного американскому образу жизни.

девушками. Кажется, в низших классах с ними и в самом деле обходятся не слишком хорошо, но в высших и даже до некоторой степени в средних их положение, мне думается, намного лучше.

— Помилуйте, сколько же в Англии классов? — воскликнула Изабелла. — Не меньше пятидесяти, наверное?

— Право, не знаю: я их не считал. И вообще, как-то не обращал на них внимание. В этом преимущество американцев: мы здесь вне классов.

— Надеюсь, что так, — сказала Изабелла. — Только этого недоставало — принадлежать к какому-нибудь английскому классу.

— Как сказать! Среди них, пожалуй, есть совсем неплохие, особенно те, что повыше. Впрочем, для меня существует всего два класса людей: те, которым я доверяю, и те, которым не доверяю. Вы, дорогая, относитесь к первому.

— Весьма признательна, — быстро проговорила Изабелла. — Она имела обыкновение очень сухо отвечать на комплименты и торопилась по возможности их пресечь. Поэтому ее часто понимали превратно: многие считали, что она глуха к ним, меж тем как на самом деле Изабелла просто старалась не показать, до какой степени они ей приятны. Ведь это значило бы показать

слишком много.

— А они здесь не слишком привержены условностям? — спросила она.

— Да, здесь все твердо установлено, — подтвердил мистер Тачит. — Все заранее известно. Англичане не любят ничего оставлять на волю случая.

— Терпеть не могу, когда все заранее известно, — заявила Изабелла. — Мне куда больше нравятся неожиданности.

Такая безапелляционность, по-видимому, немало позабавила мистера Тачита.

— Так вот, заранее известно, что вы будете иметь здесь большой успех, — улыбнулся он. — Надеюсь, это вам нравится.

— Вряд ли я буду иметь успех, если они здесь слишком привержены условностям. Я этих глупых правил не признаю. Я поступаю наоборот. Англичанам это не понравится.

— Тут-то вы и ошибаетесь, — возразил ей дядюшка. — Никогда не знаешь, что им понравится. Они весьма непоследовательны. В этом их главное очарование.

— Тем лучше, — сказала Изабелла; она стояла перед мистером Тачитом, держась за пояс своего черного платья и скользя взглядом по лужай-

ке. — Это как раз по мне.

7

Старый джентльмен и его юная гостья еще не раз с удовольствием толковали о порядках, заведенных в английском обществе, словно Изабелле предстояло не сегодня-завтра покорить его, хотя на самом деле английское общество пока что положительно оставалось безразличным к мисс Изабелле Арчер, которая волею судьбы оказалась заброшенной в скучнейший, если верить Ральфу, из всех домов на Британских островах. Ее страдающего подагрой дядю редко кто навещал, а миссис Тачит, которая не сочла нужным завести знакомство с соседями, не имела оснований ожидать, что они станут наносить ей визиты. У нее, однако, была одна слабость: она любила получать визитные карточки. Не находя вкуса в том, что именуется светской жизнью, она тем не менее безмерно радовалась при виде столика в холле, белого от засыпавших его символических кусочков продолговатого картона. Она мнила себя образцом справедливости и твердо усвоила ту высокую истину, что в мире ничто не дается даром; а коль скоро миссис Тачит пренебрегла

ролью хозяйки Гарденкорта, трудно было предположить, что в графстве стали бы пристально следить за ее приездами и отъездами. Со всем тем нельзя с полной уверенностью сказать, что она принимала это невнимание к своим передвижениям как должное и что ее желчные нападки на новую родину мужа не были вызваны отказом соседей (право же, совершенно неосновательным) предоставить ей видное место в своем кругу. Изабелле чуть ли не сразу — при всей несообразности такого положения — пришлось защищать от тетушки английскую конституцию, ибо миссис Тачит усвоила себе привычку вонзать шпильки в этот почтенный документ. Изабелла невольно бросалась их вытаскивать, и не столько из страха, как бы они не продырявили видавший виды старинный пергамент, сколько от досады на то, что тетушка не находит им лучшего применения. Изабелла и сама относилась ко всему критически — это было свойственно ее возрасту, полу и американскому происхождению, однако сердце у нее было полно высоких чувств и сухость миссис Тачит задевала ее за живое.

— Ну а каковы ваши принципы? — спрашивала она тетушку. — Раз вы все здесь критикуете, значит, вы исходите из каких-то принципов. Но

судите вы не как американка — в Америке вам тоже все не нравится. Когда я что-нибудь критикую, я исхожу из своих принципов. Я сужу как американка.

— Милочка моя, — ответила миссис Тачит, — в мире столько же принципов, сколько людей, способных их иметь. Ты скажешь — значит, их не так уж много? Возможно. Судить как американка? Нет уж, уволь. Такая узость не по мне. У меня, слава богу, есть свои собственные принципы.

Ответ этот пришелся Изабелле весьма по нраву, хотя она и не подала вида, — он вполне отвечал тому, что она сама думала, но ей навряд ли подобало высказывать свои суждения вслух. Только женщина в летах и с не меньшим, чем у миссис Тачит, жизненным опытом могла позволить себе подобного рода заявление: в любых других устах оно прозвучало бы самонадеянно, даже высокомерно. Тем не менее в разговорах с Ральфом, с которым они вели нескончаемые беседы и вели их в тоне, допускавшем многие вольности, Изабелла рисковала высказываться начистоту. Ее двоюродный брат взял себе за правило, так сказать, подтрунивать над ней. Он очень скоро приобрел в ее глазах репутацию насмешника и не собирался отказываться от выгод подобной репу-

тации. Изабелла обвиняла его в возмутительном отсутствии серьезности, в вышучивании вся и всех, начиная с себя самого. Действительно, та капля почтительности, которую он еще сохранил, была полностью отдана им отцу; что же касается Остального, то он с чрезвычайной легкостью иронизировал по поводу собственной персоны, своих слабых легких, своего бесполезного существования, своей экстравагантной матушки, своих друзей (особенно лорда Уорбертона), своей новой, равно как и старой, родины и не щадил также своей прелестной, только что обретенной кузины.

— У меня в прихожей, — заявил он однажды, — всегда играет музыка. Я распорядился, чтобы оркестр играл без перерыва. Музыка оказывает мне двойную услугу: заглушает другие звуки, не давая миру проникнуть на мою половину, и создает впечатление, что у меня всегда танцуют.

И в самом деле из комнат Ральфа беспрестанно долетала танцевальная музыка: вальсы, притом из самых быстрых, казалось, кружились в воздухе. Изабеллу порою раздражало это неумолчное пиликанье, ей хотелось, миновав так называемую прихожую, попасть в его личные апартаменты. Ее не пугало, что они, если верить Ральфу, на

редкость унылы и мрачны. Она охотно прибрала бы их и привела в порядок. Нельзя сказать, что он оказал ей должное гостеприимство, ни разу не пригласив к себе. В отместку Изабелла не скупилась на щелчки, изощряя ради них свой прямолинейный юный ум. Следует оговориться, что она пускалась на это главным образом в целях самозащиты, так как ее кузен, забавляясь, называл ее «мисс Колумбия» и уверял, будто от ее пылкого патриотизма пышет нестерпимым жаром. Он нарисовал на нее карикатуру, изобразив хорошенькую девицу, драпирующуюся — согласно последнему слову моды — в американский флаг. Изабелла же именно в эту пору своей жизни более всего боялась показаться — даже больше, чем оказаться — ограниченной. Тем не менее она не обинуясь стала подыгрывать Ральфу и выступать в роли ярой американки, коль скоро ему угодно было считать ее таковой, но, если он принимался вышучивать ее, не оставалась у него в долгу. Она защищала Англию от нападок его матери, но когда Ральф — намеренно, чтобы, как она выражалась, раззадорить ее, — начинал петь своей новой родине хвалу, она находила, что возразить ему по многим пунктам. На самом деле эта небольшая, достигшая полной зрелости стра-

на была на ее вкус не менее сладка, чем спелая октябрьская груша; жизнь здесь доставляла ей удовольствие; это приводило ее в хорошее расположение духа, и она легко принимала насмешки кузена и платила ему той же монетой. Но иногда добродушие изменяло ей, и не потому, что она досадовала на Ральфа, а потому, что ей вдруг становилось жаль его. Ей казалось, он говорит, как человек, пораженный слепотой, говорит лишь бы говорить.

— Не понимаю, чего вы все-таки хотите, — сказала она ему однажды. — По-моему, вы просто ужасный зубоскал.

— Зубоскал та «зубоскал, — ответил Ральф, который не привык выслушивать о себе такие суждения.

— Не понимаю, что вас вообще привлекает. По-моему, вообще ничто. Англия не привлекает, хотя вы и превозносите ее до небес, Америка — тоже, хотя вы и браните ее напропалую.

— Меня ничто не привлекает, кроме вас, моя дорогая кузина.

— Если бы я могла хоть в это поверить. Право, я была бы довольна.

— Надеюсь, что так, — заметил он.

Поверь Изабелла его словам, она была бы неда-

лека от истины. Ральф постоянно думал о ней; она не выходила у него из ума. С некоторых пор его мысли стали для него тяжелым бременем, и ее неожиданное появление, которое, ничего ему не суля, оказалось щедрым подарком судьбы, освежило и оживило их, дало им крылья и цель для полета. В последнее время бедный Ральф впал в глубокую меланхолию: его виды на будущее, и без того достаточно унылые, заволокла грозившая бедой туча. Ральф страшился за жизнь отца. Подагра, еще недавно гнездившаяся только в ногах, поразила теперь куда более важные органы Всю весну старый джентльмен тяжело болел, и врачи намекнули Ральфу, что с новым приступом справиться будет нелегко. Сейчас боли, по-видимому, не мучили отца, но Ральф не мог отделаться от ощущения, что эта передышка лишь вражеский маневр в расчете усыпить его внимание. Если бы этот ход удался, сопротивление почти наверняка было бы сломлено. Ральф всегда был убежден, что отец переживет его и что имя Тачита-младшего первым появится в траурной рамке. Они были очень близки с отцом, и сознание, что ему придется в одиночестве дотягивать свою безрадостную жизнь, угнетало молодого человека, который всегда и во всем безотчетно полагался на отца,

помогавшего ему не падать духом в его беде. При мысли, что в недалеком будущем он лишится главного стимула к существованию, Ральф сразу терял охоту жить. Если бы волею судьбы они оба умерли одновременно, все решилось бы как нельзя лучше, но без поддержки отца вряд ли у него достанет терпения дожидаться своего часа. Его могла бы поддержать мысль о матери, но он знал, что она обойдется и без него; миссис Тачит давно положила себе за правило ни о чем и ни о ком не сожалеть. В глубине души Ральф, конечно, знал, что не очень-то благородно по отношению к отцу желать, чтобы в их союзе вся боль утраты досталась деятельной, а не пассивной стороне; он помнил, что отец всегда выслушивал его разговоры о близкой смерти как тонкий софизм, который он не без удовольствия опровергнет, сойдя в могилу первым. Однако Ральф не считал грехом надеяться на то, что из двух возможностей торжествовать победу — уличить в ошибке своего хитроумного сына или же продлить собственное существование, все же, при всех ограничениях доставлявшее ему радость, — мистеру Тачиту-старшему будет дарована вторая.

Вот какие приятные мысли одолевали Ральфа, когда приезд Изабеллы пресек их течение. Ему

вдруг показалось, что ее присутствие, возможно, заполнит невыносимую пустоту, которая ожидала его со смертью добрейшего из отцов. «Уж не закралась ли в его сердце „любовь“ к этой молоденькой и непосредственной кузине из Олбани?» — спрашивал он себя и приходил к выводу, что, пожалуй, влюблен он не был. После недельного знакомства он вполне убедился в правильности такого вывода, а каждый последующий день это только подтверждал. Лорд Уорбертон верно оценил его кузину — она, без сомнения, была весьма необычна. Ральф дивился лишь тому, как быстро их сосед сумел это увидеть, но, поразмыслив, решил, что подобная проницательность — еще одно свидетельство недюжинных способностей его друга, которыми Ральф не переставал восхищаться. Даже если кузина, думал он, просто развлечет его, развлечение это самого высшего порядка. «Что может быть прекраснее, — рассуждал он сам с собой, — чем наблюдать такой характер, такую поистине пламенную душу! Это прекраснее, чем созерцание прекраснейшего произведения искусства — греческого барельефа, картины Тициана, готического собора. Приятно быть обласканным судьбой, когда от нее уже ничего не ждешь! За неделю до приезда кузины все мне опостылело,

я совсем было опустил голову и меньше чем когда-либо надеялся на приятные перемены. И вдруг — мне присылают по почте Тициана, чтобы я повесил его в своей комнате, греческий барельеф, чтобы поставил его на камин, мне вручают ключи от великолепного здания и говорят: входи, любуйся. Друг мой, ты оказался на редкость неблагодарным субъектом. Так что помалкивай и впредь не ропщи на судьбу!»

Эти рассуждения были, несомненно, правильны, и заблуждался Ральф лишь насчет врученных ему ключей. Его кузина была девушкой весьма блестящей, и, как он сам говорил, нужно было потрудиться, чтобы узнать ее, а узнать ему очень хотелось, он же смотрел на нее вдумчиво и критически, но не беспристрастно. Обозрев здание снаружи и придя от него в восхищение, он заглянул в окна, и ему показалось, что перед ним те же безупречные пропорции. Однако он чувствовал, что видел все только мельком, а вовнутрь и вообще не попал. Входная дверь оставалась наглухо закрытой, и, хотя в кармане у него лежала связка ключей, Ральф был уверен, что ни один из них не подойдет. Изабелла была умна, великодушна; тонкая, вольнолюбивая натура, но как она намеревалась распорядиться собой?

Вопрос необычный, потому что большинству женщин не имело смысла его задавать. Большинство женщин никак не распоряжалось собой, они просто неподвижно ждали, кто в более, кто в менее изящной позе, чтобы пришел какой-нибудь мужчина и устроил их судьбу. Самобытность Изабеллы как раз в том и состояла, что у нее, по всей очевидности, были собственные планы. «Хотел бы я быть рядом, когда она примется их осуществлять», — думал Ральф.

Разумеется, обязанности хозяина дома он взял на себя; мистер Тачит был прикован к креслу, его жена предпочитала роль довольно угрюмой гостьи, так что сама судьба повелевала молодому человеку гармонично сочетать желание и долг. Он быстро уставал от ходьбы, тем не менее исправно сопровождал кузину в ее прогулках по парку; погода неизменно благоприятствовала им, вопреки ожиданиям Изабеллы с ее мрачными представлениями об английском климате, и промежуток между ленчем и чаем они, если таково было желание мисс Арчер, проводили в лодке, катаясь по Темзе, по этой милой речушке, как ее теперь величала Изабелла, любуясь противоположным берегом, простиравшимся перед ними, словно передний план пейзажа, или же кружили

по окрестностям в фаэтоне — низкой, поместительной, устойчивой коляске, которая некогда так нравилась мистеру Тачиту, а теперь уже не доставляла ему удовольствия. Зато Изабелла от души наслаждалась ею и, ловко перебирая вожжи — даже кучер признавал, что она «справляется», — без устали погоняла отменных дядиных лошадей по извилистым дорогам и дорожкам, где все, что открывалось взору, оправдывало ее лучшие ожидания: крытые соломой и обшитые тесом домишки, пивные лавки с зарешеченными окнами и гравиевой площадкой у входа, общинные выгоны и безлюдные парки, живые изгороди, такие густые в разгар лета. Обычно они возвращались домой, когда на лужайке уже был сервирован чай, а миссис Тачит, подчиняясь жестокой необходимости, уже успела вручить мужу его чашку. Супруги по большей части сидели молча: мистер Тачит полулежал, откинув голову и закрыв глаза, а его жена занималась вязанием, и лицо ее хранило выражение того крайнего глубокомыслия, с каким многие дамы следят за движением спиц.

И вот однажды в Гарденкорт пожаловал гость. Возвращаясь после часовой прогулки по реке, молодые люди еще издали увидели лорда

Уорбертона, который сидел в тени деревьев и непринужденно — это видно было даже на расстоянии — болтал с миссис Тачит. Он прибыл из своего поместья с дорожной сумкой и заявил, что рассчитывает на обед и ночлег, поскольку отец и сын неоднократно приглашали его погостить. Изабелла, видевшая его всего полчаса в день приезда, успела, несмотря на столь короткий срок, решить, что лорд ей нравится; он и точно оставил в ее восприимчивом воображении заметный след, и она не раз его вспоминала. Ей хотелось снова встретиться с ним — впрочем, не только с ним. Она не скучала в Гарденкорте: поместье было сказочное, дядя с каждым днем все больше напоминал ей доброго волшебника, а Ральф нисколько не походил ни на одного из известных ей кузенов, которые в ее представлении были скучнейшими личностями. К тому же она получала столько новых впечатлений и они так быстро сменялись, что в ближайшее время ее жизни вряд ли грозила пустота. Однако пора было напомнить себе, что ее занимает человеческая природа и что главная цель предпринятого ею заграничного путешествия состоит в знакомстве с множеством людей. Когда Ральф говорил ей (а говорил он это неоднократно): «Поражаюсь,

как вы не умираете от скуки. Вам нужно познакомиться с нашими соседями и друзьями. Они у нас все-таки есть, хотя, вероятно, это трудно предположить», когда он предлагал пригласить, как он выражался, «тьму народа» и ввести ее в английское общество, она охотно поддерживала в нем порыв гостеприимства и, в свою очередь, грозилась броситься в «самую гущу». Однако время шло, а обещания оставались обещаниями, Ральф не торопился выполнять их, и на это существовала своя причина, которую мы доверительно раскроем: он не считал взятый на себя труд по развлечению гостьи настолько обременительным, чтобы искать посторонней помощи. Изабелла часто напоминала ему об «образчиках» — слово это заняло важное место в ее лексиконе и давала понять, что хотела бы познакомиться с английским обществом в лучших его образцах.

— Вот вам и образчик, — сказал Ральф, когда, подымаясь по береговому склону, узнал в госте лорда Уорбертона.

— Образчик чего? — откликнулась его кузина.

— Английского джентльмена.

— Вы хотите сказать, что они все в таком же роде.

— Отнюдь нет. Далеко не все.

— Значит, он принадлежит к лучшим образцам, — сказала Изабелла, — потому что, несомненно, очень мил.

— Да, очень мил. И родился под счастливой звездой.

Родившийся под счастливой звездой лорд Уорбертон пожал руку нашей героине и осведомился о ее здоровье.

— Впрочем, это излишний вопрос, — тут же добавил он, — раз вы сидели на веслах.

— Да, я гребла немного, — ответила Изабелла. — Но как вы догадались?

— Нет ничего легче. Он же не станет грести, — сказал его светлость, с улыбкой кивая на Ральфа. — Он известный бездельник.

— У него серьезная причина для безделья, — возразила Изабелла, слегка понизив голос.

— О да! У него на все серьезные причины, — воскликнул лорд Уорбертон все также весело и звонко.

— Причина, по которой я не стал грести, проста — моя кузина сама гребет превосходно, — сказал Ральф. — Она все делает превосходно. Эти руки украшают все, чего бы они ни коснулись.

— Остается лишь пожелать, чтобы они и нас коснулись, — заявил лорд Уорбертон.

— Когда человека что-нибудь по-настоящему трогает, это ему только на пользу, — сказала Изабелла, которая, хотя и с удовольствием выслушивала похвалы своим многочисленным достоинствам, могла, к счастью, все же сказать себе, что подобное тщеславие не свидетельствует о недостатке ума, поскольку кое в чем она действительно выделялась. При ее желании всегда сохранять о себе высокое мнение она не была лишена по крайней мере известной доли смирения и поэтому постоянно нуждалась в свидетельствах со стороны.

Лорд Уорбертон не только провел в Гарденкорте ночь, но дал уговорить себя остаться и на следующий день, а по истечении этого дня решил отложить отъезд до завтра. За эти полутора суток пребывания в Гарденкорте он несколько раз беседовал с Изабеллой, которая весьма милостиво принимала знаки его внимания. Он очень нравился ей, в чем не последнюю роль играло первое благоприятное впечатление, а к концу вечера, проведенного в его обществе, новый знакомый начал казаться нашей юной американке чуть ли не романтическим — за вычетом смертельной бледности — героем. Она отправилась спать с сознанием, что судьба благоволит к ней,

с предчувствием возможного счастья. «Чудесно быть знакомой с двумя такими очаровательными людьми», — думала она, имея в виду своего кузена и его друга. А между тем — и об этом нельзя не упомянуть — в этот вечер произошел некий эпизод, который вполне мог бы нарушить ее радостное настроение. В половине десятого мистер Тачит отправился к себе, а миссис Тачит оставалась еще некоторое время в гостиной. Понаблюдав за молодыми людьми около часа, она встала и заметила Изабелле, что пора пожелать джентльменам спокойной ночи. Изабелле вовсе не хотелось спать; в этом вечере было что-то праздничное, а праздники никогда не кончаются так рано. Поэтому она, не долго думая, сказала.

— Уже, дорогая тетушка? Я, пожалуй, еще полчаса посижу.

— Я не стану ждать тебя, — ответила миссис Тачит.

— И не надо, — радостно согласилась Изабелла. — Ральф зажжет мне свечу.

— Разрешите, я зажгу вам свечу, мисс Арчер, — воскликнул лорд Уорбертон. — Только, пожалуйста, побудьте с нами до полуночи.

Миссис Тачит не спускала с него своих умных пронзительных глаз, потом холодно посмотрела

на племянницу.

— Ты не можешь оставаться одна в мужском обществе, — сказала она. — Ты не… ты не в своем захолустье, дорогая.

Изабелла покраснела.

— И очень жаль, — сказала она, вставая.

— Зачем же так, мама! — не сдержался Ральф.

— Дорогая миссис Тачит! — пробормотал лорд Уорбертон.

— Не я устанавливала обычаи в вашей стране, милорд, — величественно произнесла миссис Тачит. — Но я вынуждена им следовать.

— Неужели мне нельзя остаться в обществе собственного кузена? — спросила Изабелла.

— Я не знала, что лорд Уорбертон твой кузен.

— Пожалуй, это *мне* следует пойти спать, — вставил гость. — Тогда все решится само собой.

— Хорошо. Раз так, я готова сидеть здесь хоть до полуночи! — сказала миссис Тачит, с трагическим видом опускаясь в кресло.

Тогда Ральф подал Изабелле свечу. Он все время наблюдал за ней, и ему показалось, что она вот-вот выйдет из себя, — сцена обещала быть интересной. Но его постигло разочарование, взрыва не последовало: Изабелла мило рассмеялась и, пожелав джентльменам спокойной ночи,

удалилась в сопровождении тетки. Поведение матери было неприятно Ральфу, хотя он и считал ее правой.

Наверху у двери в спальню миссис Тачит тетка и племянница попрощались. Пока они поднимались по лестнице, Изабелла не обронила ни слова.

— Ты, конечно, сердишься на меня, зачем я вмешалась, — сказала миссис Тачит.

— Нет, не сержусь, — сказала, подумав, Изабелла. — Но удивлена… даже озадачена. Неужели я поступила бы дурно, если бы осталась в гостиной?

— Безусловно. В Англии молодые девушки — разумеется, в приличных домах — не сидят допоздна в обществе молодых людей.

— Вот как. Тогда спасибо, что вы мне об этом сказали, — проговорила Изабелла. — Я не понимаю, что здесь дурного, но мне надо знать, какие в этой стране порядки.

— Я и впредь буду тебе говорить, — ответила тетка, — если увижу, что ты, на мой взгляд, поступаешь слишком вольно.

— Пожалуйста. Но не обещаю, что всегда сочту ваши наставления правильными.

— Скорее всего, нет Ты же любишь все делать

по-своему.

— Пожалуй, что люблю. Но все равно я хочу знать, чего здесь делать не следует.

— Чтобы именно это и сделать?

— Нет, чтобы иметь возможность выбора, — сказала Изабелла.

8

Изабелла была привержена ко всему романтическому, и лорд Уорбертон позволил себе высказать надежду, что она не откажется когда-нибудь посетить его дом, прелюбопытное старинное владение. Он заручился обещанием миссис Тачит привезти племянницу в Локли, Ральф тоже выразил согласие сопровождать обеих дам, если только отец сможет без него обойтись. Лорд Уорбертон заверил нашу героиню, что до этого его сестры нанесут ей визит. Изабелла уже изрядно знала о его сестрах, так как, подолгу беседуя с ним, пока он гостил в Гарденкорте, успела выведать немало подробностей о его семье. Если нашу героиню что-то интересовало, она не скупилась на вопросы, а так как ее собеседник оказался неутомимым рассказчиком, то, побуждая его говорить, она потратила время не зря. Лорд Уорбертон поведал ей, что среди своих близких числит четырех сестер и двух братьев, родителей же лишился давно. Братья и сестры были людьми превосходными. «Не то что бы очень умны, но исключительно пристой-

ны и милы», — сказал он и выразил надежду, что мисс Арчер познакомится с ними поближе. Один из его братьев, приняв сан, обосновался в их же семейном майорате, большом богатом приходе; он прекрасный малый, хотя и расходится во взглядах с лордом Уорбертоном по всем мыслимым и немыслимым вопросам. Лорд Уорбертон тут же привел некоторые его воззрения, которые, насколько Изабелла могла судить, были общепринятыми и, как она полагала, вполне устраивали большую часть рода человеческого. Она, пожалуй, и сама придерживалась таких же взглядов, хотя лорд Уорбертон заявил, что мисс Арчер ошибается, что этого быть не может и что ей, несомненно, только кажется, будто она их разделяет, а если она немного поразмыслит, то непременно обнаружит их несостоятельность. Изабелла возразила, что не раз уже обстоятельно размышляла над многими из этих вопросов, но немедленно услышала в ответ, что это только лишний раз подтверждает поразительный, по мнению лорда Уорбертона, факт, а именно, что американцы, как ни один другой народ в мире, набиты предрассудками. Они все поголовно отъявленные консерваторы и ханжи, ретрограды из ретроградов. И не надо далеко ходить за приме-

ром — взять хотя бы ее дядю и кузена — от многих их высказываний так и веет средневековьем; они отстаивают мнения, в которых большинство англичан постеснялись бы признаться, и при этом еще имеют дерзость полагать, сказал его светлость, смеясь, что разбираются в нуждах и бедах доброй глупой старушки Англии лучше, чем он — человек, который здесь родился и владеет отменным куском этой земли, к вящему его стыду! Из всей этой тирады Изабелла сделала вывод, что лорд Уорбертон принадлежит к аристократам нового толка — радикалам, реформаторам и ненавистникам старых порядков. Второй его брат, офицер, служивший в Индии, шалопай и упрямый осел; он до сих пор только тем и занимается, что делает долги, платить которые приходится лорду Уорбертону — бесценная привилегия старшего брата.[22] «Впрочем, впредь я не стану платить по его счетам, — сказал лорд Уорбертон. — Он живет в сто крат лучше меня, купается в неслыханной роскоши, считает себя истым джентльменом и смотрит на меня сверху вниз. Ну а я демократ и стою за равенство. Я про-

[22] Примечания: 22

...Привилегия старшего брата... — имеется в виду, что в аристократическом роде старший сын наследовал титул, место в Палате лордов и все имущество нераздельно.

тив привилегий младших братьев». Две из его сестер, вторая и самая младшая, вышли замуж — одна, как говорится, сделала хорошую партию, другая же так себе. Муж старшей — лорд Хейкок — славный малый, но, к сожалению, ярый консерватор, а его жена, по доброй старой традиции, пошла в этом отношении еще дальше мужа. Вторая сестра сочеталась браком с мелким сквайром из Норфолка, и, хотя они женаты без году неделя, обзавелись уже пятью детьми. Все эти сведения и многие другие лорд Уорбертон сообщил нашей юной американке, стремясь раскрыть и объяснить ей некоторые особенности английского образа жизни. Изабеллу порою забавляла обстоятельность его объяснений, вызванная, очевидно, некоторым недоверием к ее жизненному опыту и воображению. «Он полагает, что я дикарка, — говорила она себе, — и что в глаза не видела ножа и вилки». И она забрасывала его наивными вопросами с единственной целью — услышать, как он будет всерьез на них отвечать, а когда он попадался в ловушку, восклицала:

— Какая жалость, что я не могу показаться вам в воинской раскраске и перьях! Знай я, как вы добры к нам, бедным индейцам, я захватила бы с собой мой национальный костюм.

Лорд Уорбертон, который не раз бывал в Соединенных Штатах и знал о них намного больше Изабеллы, с присущей ему вежливостью тут же заявлял, что Америка самая очаровательная в мире страна, но, по его воспоминаниям, американцам отнюдь не лишне растолковать кое-что относительно Англии.

— Я был бы рад, если бы вы тогда оказались рядом и растолковали мне кое-что относительно Америки, — сказал он. — Многое, очень многое вызывало мое недоумение, более того, повергало в смущение. И, что хуже всего, объяснения только еще больше меня смущали. Знаете, по-моему, мне часто намеренно говорили все наоборот. У вас в Америке умеют очень ловко дурачить человека. Но мои объяснения вполне заслуживают доверия — все в точности так, как я говорю, — можете не сомневаться.

В одном по крайней мере можно было не сомневаться — лорд Уорбертон был умен, образован и осведомлен чуть ли не обо всем на свете. Он приоткрывался Изабелле с самых интересных и неожиданных сторон, однако она не чувствовала в нем ни малейшей рисовки; к тому же, располагая невиданными возможностями и будучи осыпан, как выразилась Изабелла, всеми жиз-

ненными благами, не ставил себе этого в заслугу. Он располагал всем, что может дать человеку жизнь, но не утратил представления о мере вещей. Богатый жизненный опыт — так легко ему доставшийся! — не заглушил в нем скромности, порою почти что юношеской, и сочетание это, приятное и благотворное — отменного вкуса, как какое-нибудь лакомое блюдо, — нисколько не теряло в своей прелести от того, что было сдобрено разумной добротой.

— Мне нравится ваш образчик английского джентльмена, — сказала Изабелла Ральфу после отъезда лорда Уорбертона.

— Мне тоже нравится. Я искренне его люблю, — ответил Ральф. — И еще больше жалею.

— Жалеете? — искоса взглянула на него Изабелла. — По-моему, единственный его недостаток — что его нельзя, даже чуть-чуть, пожалеть. Он, кажется, всем владеет, все знает и всего достиг.

— Увы, с ним дело плохо.

— Плохо со здоровьем? Вы это хотите сказать?

— Нет, он здоров до неприличия. Я говорю о другом. Он из тех высокопоставленных лиц, которые полагают, что можно играть своим положением. Он не принимает себя всерьез.

— Вы хотите сказать — относится к себе с на-

смешкой?

— Хуже. Он считает себя наростом, плевелом.

— Возможно, так оно и есть.

— Возможно, хотя я, в сущности, придерживаюсь другого мнения. Но если это верно, то что может быть более жалким, чем человек, считающий себя плевелом — плевелом, который был кем-то посажен и успел пустить глубокие корни, но терзается сознанием несправедливости своего существования. На его месте я держался бы величаво, как Будда.[23] Он занимает положение, о котором можно только мечтать: огромная ответственность, огромные возможности, огромное уважение, огромное богатство, огромная власть, прирожденное право вершить дела огромной страны. Он же пребывает в полной растерянности, не зная, что ему делать с собой, со своим положением, со своей властью и вообще со всем на свете. Он жертва скептического века: веру в себя он утратил, а чем заменить ее — не знает. Когда я пытаюсь ему подсказать (потому что будь я лордом Уорбертоном, уж я знал бы, во что мне

[23] Примечания: 23

Будда (563? — 483? до н. э.) — религиозный философ, наставник., основатель буддистской религии. Последователи Будды почитают его как воплощение добродетели и мудрости. Изображения Будды отличаются величавостью.

верить!), он называет меня изнеженным лицемером и, кажется, всерьез считает неисправимым филистером. Он говорит — я не понимаю, в какое время живу. Я-то отлично понимаю, чего нельзя сказать о нем — о человеке, который не решается ни упразднить себя как помеху, ни сохранить как национальный обычай.

— . Но он вовсе не выглядит таким уж несчастным.

— Да, не выглядит. Хотя при его превосходном вкусе у него, надо полагать, часто бывает тяжело на душе. И вообще, когда о человеке с его возможностями говорят, что он не чувствует себя таким уж несчастным, этим многое сказано. К тому же, по-моему, он все-таки несчастен.

— А по-моему, нет, — сказала Изабелла.

— Ну если нет, то напрасно, — возразил Ральф.

После обеда Изабелла провела час в обществе дяди, который по обыкновению расположился на лужайке с пледом на коленях и чашкой слабого чая в руках. Беседуя с племянницей, он не преминул спросить, как ей понравился их давешний гость.

Изабелла не замедлила с ответом:

— По-моему, он — прелесть.

— Он — славный малый, — сказал мистер Та-

чит, — однако влюбляться в него я бы тебе не рекомендовал.

— Хорошо, дядя, я не стану. Я буду влюбляться исключительно по вашей рекомендации. К тому же, — добавила Изабелла, — мой кузен рассказал мне о нем много печального.

— Вот как? Право, не знаю, что он тебе сообщил, но не забывай, у Ральфа язык без костей.

— Он считает, что ваш славный Уорбертон то ли слишком большой радикал, то ли недостаточно большой радикал. Я так и не поняла, что из двух, — сказала Изабелла.

Мистер Тачит слегка покачал головой и поставил чашку на столик.

— И я не понимаю, — улыбнулся он. — С одной стороны, он заходит очень далеко, а с другой — вполне возможно, недостаточно далеко. Кажется, он хочет очень многое здесь упразднить, но сам, кажется, хочет остаться тем, что он есть. Это вполне естественно, но крайне непоследовательно.

— И пусть остается, — сказала Изабелла. — Зачем упразднять лорда Уорбертона? Друзьям очень бы его не хватало.

— Что ж, скорее всего, он и останется на радость своим друзьям, — заметил мистер Тачит. — Мне,

безусловно, в Гарденкорте его бы очень не хватало. Он всегда развлекает меня, когда приезжает, и, смею думать, развлекается сам. В здешнем обществе много таких, как он, — нынче на них мода. Не знаю, что они там собираются делать — революцию или что еще, во всяком случае, я надеюсь, они повременят, пока я не умру. Они, видишь ли, хотят устранить частную собственность, а у меня здесь некоторым образом большие владения, и я вовсе не хочу, чтобы меня от них отстраняли. Знай я, что они тут такое затеют, ни за что бы сюда не поехал, — продолжал мистер Тачит в шутливом тоне. — Я потому и поехал, что считал Англию надежной страной. А они собрались здесь все менять. Это же чистое надувательство. Не я один, многие будут очень разочарованы.

— А хорошо бы, если бы они здесь устроили революцию! — воскликнула Изабелла. — Вот на что я с удовольствием бы посмотрела!

— Постой, постой! — сказал дяда, потешаясь. — Что-то я все забываю — то ли ты за старое, то ли за новое. Ты, помнится, высказывалась и за то, и за другое.

— А я и в самом деле за то и за другое. Пожалуй, за все сразу. При революции — если бы она удалась — я стала бы ярой роялисткой и ни за что не

склонила бы головы. Роялисты вызывают больше сочувствия, к тому же они иногда ведут себя так красиво — так изысканно, я хотела сказать.

— Красиво? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Но тебе, по-моему, это всегда удается.

— Дядя — вы чудо! Только вы, как всегда, трунните надо мной, — прервала его Изабелла.

— Боюсь все же, — продолжал мистер Тачит, — здесь тебе вряд ли скоро предоставится возможность изящно взойти на эшафот. Если ты жаждешь посмотреть, как разразится буря, тебе придется погостить у нас подольше. Видишь ли, когда дойдет до дела, этим господам, скорее всего, не понравится, что их ловят на слове.

— Каким господам?

— Ну лорду Уорбертону и иже с ним — радикалам из высшего класса. Разумеется, я, быть может, ошибаюсь. Сдается мне, они шумят о переменах, не разобравшись толком в том, о чем хлопочут. Ты и я, ну, мы знаем, что такое жить при демократических порядках: мне они впору, но я с рождения к ним привык. И потом, я — не лорд. Ты, дорогая, несомненно леди, но я — не лорд. Ну а здешние господа, как мне кажется, знают о демократии только понаслышке. А им придется жить при ней ежедневно и ежечасно, и, боюсь,

она окажется им вовсе не по вкусу в сравнении с их нынешними порядками. Разумеется, если им так не терпится, пусть их. Но, надеюсь, они не будут усердствовать чересчур.

— А вы не думаете, что они искренни? — спросила Изабелла.

— Отчего же. Они *считают*, что стараются всерьез, — согласился мистер Тачит. — Но по всему видно, что демократия прельщает их главным образом в теории. Радикальные взгляды для них своего рода забава. Надо же чем-то забавляться, и, право, они могли придумать забавы куда хуже. Видишь ли, живут они в роскоши, а передовые идеи — самая большая роскошь в их обиходе — удовлетворяют нравственное чувство и не грозят пошатнуть положение в обществе. Ведь они очень пекутся о своем положении. Не верь, если кто-нибудь из этих господ станет убеждать тебя в обратном. Попробуй задень их, тебя тут же осадят.

Изабелла внимательно следила за ходом дядиных мыслей, которые он излагал с присущей ему своеобразной четкостью, и, хотя она мало что знала об английской аристократии, находила, что взгляды мистера Тачита вполне отвечают ее собственным представлениям о человеческой

натуре. Все же она позволила себе взять лорда Уорбертона под защиту.

— Мне не верится, что лорд Уорбертон просто фразер. Остальные меня не интересуют. Но вот его мне хотелось бы испытать на деле.

— Избави меня бог от друзей![24] — процитировал мистер Тачит. — Лорд Уорбертон отличный молодой человек, я бы даже сказал, превосходнейший. У него сто тысяч годового дохода. На этом малом острове ему принадлежит пятьдесят тысяч акров земли, не считая многого другого. У него с полдюжины собственных домов, постоянное место в парламенте — как у меня за моим обеденным столом. У него изысканнейшие вкусы: он любит литературу, искусство, науку, милых женщин. Но верх изысканности — приверженность к новым взглядам. Последнее доставляет ему несказанное удовольствие — пожалуй, большее, чем все остальное, исключая, разумеется, милых женщин. Старинный дом, в котором он здесь живет — как бишь его? Локли, — очень хорош, хотя наш, по-моему, приятнее. Впрочем, какое это имеет значение? У него столько других!

---

[24] Примечания: 24

Избави меня бог от друзей! — неполная цитата известного изречения: «Избави меня бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь», приписываемого Вольтеру.

Его взгляды, насколько могу судить, никому не причиняют вреда и меньше всего ему самому. И даже если бы здесь произошла революция, он отделался бы пустяками. Его не тронут, оставят целым и невредимым — к нему здесь слишком хорошо относятся.

— Значит, при всем желании мучеником ему не бывать, — вздохнула Изабелла. — Тяжелое у него положение.

— Нет, мучиться ему не судьба — разве что из-за тебя, — сказал старый джентльмен.

В ответ Изабелла покачала головой — не без некоторой меланхолии, что выглядело, пожалуй, даже забавно.

— Из-за меня никому не придется мучиться.

— Надеюсь, тебе тоже.

— Надеюсь. Значит, вы, в отличие от Ральфа, не испытываете к лорду Уорбертону жалости?

Дядя посмотрел на нее долгим проницательным взглядом.

— Пожалуй, все-таки да, — мягко сказал он.

9

Обе мисс Молинью, сестры вышеупомянутого лорда, не замедлили пожаловать с визитом, и Изабелле очень понравились эти милые леди, на которых, как ей показалось, лежала печать своеобразия. Правда, когда она поделилась этим наблюдением со своим кузеном, он заявил, что подобное выражение к ним решительно не подходит: в Англии наберется тысяч пятьдесят точно таких же молодых особ. Однако, хотя ее гостьям и было отказано в своеобразии, некоторые достоинства за ними все-таки остались — удивительная мягкость и застенчивость в обхождении и большие круглые глаза, которые, как подумала Изабелла, походили на два озерца, два декоративных пруда, посреди партера, усаженного геранью.

— Во всяком случае, на здоровье им не приходится жаловаться, — отметила про себя Изабелла, решив, что это большое достоинство: среди подруг ее детства многие, к сожалению, были хилого сложения (от чего немало теряли), да и самой Изабелле случалось опасаться за свое здоровье.

Сестры лорда Уорбертона были уже не первой молодости, однако сохранили яркий, свежий цвет лица и почти детскую улыбку. Большие круглые глаза, так восхитившие Изабеллу, светились ровным спокойствием, а облеченный в котиковый жакет стан отличался приятной округлостью. Благожелательность переполняла их через край, так что они даже стеснялись ее выказывать, к тому же обе, видимо, страшились нашей юной героини, прибывшей с другого конца света, а потому изливали свое расположение к ней не столько словами, сколько взглядами. Тем не менее они достаточно ясно выразили надежду, что Изабелла не откажется пожаловать на завтрак в Локли, где они жили с братом, и что впредь они будут видеться очень, очень часто. Они также пожелали узнать, не согласится ли Изабелла приехать к ним на целые сутки: двадцать девятого у них собирается небольшое общество, и, возможно, ей будет приятно присоединиться к другим гостям.

— Никого особенно интересного мы не ждем, — сказала старшая сестра. — Но, смею надеяться, вы полюбите нас такими, какие мы есть.

— Я уверена, мне будет очень приятно в вашем доме. Вы прелестны именно такие, как есть, —

ответила Изабелла, которая имела обыкновение не скупиться на похвалы.

Гостьи зарделись, а после их отъезда Ральф заметил кузине, что, если она будет расточать подобные комплименты этим бедным девицам Молинью, они подумают, что она решила попрактиковаться на них в ехидном остроумии: их в жизни никто не называл прелестными.

— У меня это вырвалось само собой, — оправдывалась Изабелла. — Как славно, когда люди спокойны, разумны и всем довольны. Хотела бы я быть такой, как они.

— Упаси господь! — воскликнул Ральф с жаром.

— Непременно постараюсь стать на них похожей, — сказала Изабелла. — Интересно взглянуть, какие они у себя дома.

Несколькими днями позже желание ее исполнилось: в сопровождении Ральфа и его матушки она отправилась в Локли. Когда они туда прибыли, обе мисс Молинью сидели в просторной гостиной (одной из многих в их доме, как выяснилось позже) среди моря блеклого ситца и сообразно обстоятельствам были одеты в черные бархатные платья. У себя дома они понравились Изабелле даже больше, чем в Гарденкорте. Она

еще раз подивилась их здоровому виду, и, если при первом знакомстве ей показалось, что им недостает живости ума — немалый недостаток в ее глазах, здесь, в Локли, она признала за ними способность к глубоким чувствам. Она провела с ними все время до ленча, меж тем как лорд Уорбертон в другом конце гостиной беседовал с миссис Тачит.

— Неужели ваш брат такой непримиримый радикал? — спросила Изабелла. Она знала, что он радикал, но, питая, как мы видели, неодолимый интерес к человеческой натуре, решила вызвать сестер на откровенность.

— О да, он придерживается самых передовых взглядов, — сказала Милдред, младшая сестра.

— Вместе с тем Уорбертон очень разумен, — добавила старшая мисс Молинью.

Изабелла перевела взгляд на противоположный конец гостиной и посмотрела на лорда Уорбертона, который, видимо, изо всех сил старался занять миссис Тачит. Ральф, примостившийся у камина, где полыхал огонь, отнюдь не лишний в огромной старинной зале при прохладном английском августе, охотно отвечал на заигрывание одной из борзых.

— Вы полагаете, он искренне их придержива-

ется? — спросила с улыбкой Изабелла.

— Несомненно, а как же иначе? — незамедлительно отозвалась Милдред, тогда как старшая сестра устремила на Изабеллу удивленный взгляд.

— И вы полагаете, он не дрогнет, когда дойдет до дела?

— До дела?

— Я хочу сказать… ну, например, он отдаст все это?

— Отдаст Локли? — спросила мисс Молинью, когда снова обрела дар речи.

— Да и все остальные свои владения — не знаю, как они называются.

Сестры обменялись чуть ли не испуганным взглядом.

— Вы хотите сказать… вы имеете в виду… из-за расходов? — спросила младшая сестра.

— Пожалуй, он сдаст один или два дома, — сказала старшая.

— Сдаст или отдаст? — уточнила Изабелла.

— Мне не думается, что он отдаст свою собственность, — сказала мисс Молинью-старшая.

— Так я и знала! — воскликнула Изабелла. — Все только поза. Вам не кажется, что это ложное положение?

Ее собеседницы пришли в явное замешательство.

— Положение брата? — переспросила мисс Молинью-старшая.

— Его положение считается очень хорошим, — сказала младшая. — Он занимает самое высокое положение в графстве.

— Право, я, наверно, кажусь вам ужасно дерзкой, — сказала Изабелла, воспользовавшись паузой. — Вы, конечно же, боготворите своего брата и, возможно, даже боитесь его.

— Разумеется, брата нельзя не уважать, — совсем просто сказала мисс Молинью.

— Он, наверно, очень хороший человек, потому что вы обе чудо какие хорошие.

— О, он необыкновенно добрый. Никто даже не представляет себе, сколько он делает добра.

— Но все знают, как много он может сделать, — добавила Милдред. — Он очень многое может.

— О да, о да, — согласилась Изабелла. — Правда, на его месте, я стояла бы на смерть… я хочу сказать, стояла бы на смерть за наследие прошлого. Я отстаивала бы его всеми силами.

— Ну что вы! Надо быть шире… Мы всегда, с самых ранних времен, держались самых широких взглядов.

— Что ж, — сказала Изабелла, — у вас это отлично получается. Неудивительно, что вам это нравится. Вы, я вижу, любите вышивать гладью?

После ленча лорд Уорбертон повел ее осматривать дом — безупречный по благородству, как она и ожидала, но не более того. Внутри он был очень модернизирован, и многое, лучшее в его облике, потеряло свою первозданную прелесть. Но потом они вышли из дому, и перед ними, подымаясь прямо из широкого полузаросшего рва, встала величественная серая громада, отмытая капризами непогоды до нежнейших, до самых глубоких оттенков, и тогда жилище лорда Уорбертона показалось Изабелле сказочным замком. День был прохладный, неяркий, чувствовалось приближение осени; слабые бледные солнечные лучи ложились на стены размытыми неровными бликами, словно намеренно согревая те места, где острее ощущалась боль от вековых ран. К ленчу приехал брат хозяина, викарий, и Изабелла улучила пять минут для беседы с ним — время вполне достаточное, чтобы попытаться обнаружить истового сына церкви и убедиться в тщетности таковой попытки. Локлийский викарий отличался огромным ростом, атлетическим телосложением, открытым простоватым

лицом, неистовым аппетитом и склонностью к внезапным взрывам смеха. Позже Изабелла узнала от Ральфа, что до принятия сана он был первоклассным борцом и даже сейчас при случае — разумеется, в узком семейном кругу — мог уложить противника на обе лопатки. Изабелле он очень понравился — в этот день ей все нравилось, но воображению ее пришлось немало потрудиться, чтобы представить его в роли духовного пастыря. Покончив с завтраком, общество направилось в парк, и лорд Уорбертон, проявив некоторую находчивость, предложил своей чужеземной гостье прогулку отдельно от других.

— Я хочу, чтобы вы здесь все как следует, по-настоящему осмотрели, — сказал он. — А если вас будут отвлекать праздной болтовней, ничего не получится.

Беседа, которою лорд Уорбертон занимал Изабеллу, — притом, что он сообщил ей множество подробностей о доме и его любопытной истории, — касалась, однако, не только археологических подробностей; иногда он обращался к сюжетам более личным — личным как в отношении Изабеллы, так и в отношении себя самого. Однако в конце прогулки, выдержав долгую паузу, он вернулся к отправной точке.

— Право, я искренне рад, если вам пришлась по вкусу эта старая развалина. Жаль, что вы так бегло ее осмотрели — что не можете погостить у нас подольше. Мои сестры просто влюбились в вас — может быть, это приманит вас в наш дом.

— О, приманок в нем более чем достаточно. Но, увы, я не считаю себя вправе принимать приглашения. Я целиком отдала себя в руки тетушки.

— Простите, если я позволю себе не совсем поверить вам. Напротив, я убежден — вы поступаете, как вам хочется.

— Жаль, что я произвожу на вас такое впечатление. Такое дурное впечатление, не правда ли?

— Для меня, во всяком случае, тут есть свои достоинства. Это позволяет мне надеяться.

И лорд Уорбертон умолк.

— Надеяться? На что?

— Что впредь я смогу видеть вас чаще.

— Вот как? — сказала Изабелла. — Ну, чтобы доставить вам это удовольствие, мне вовсе нет нужды становиться такой уж эмансипированной девицей.

— Разумеется, нет. И все же, при всем том, ваш дядюшка, мне кажется, не слишком меня жалует.

— Напротив, он очень хорошо о вас отзывался.

— Рад слышать, что вы говорили обо мне, — сказал лорд Уорбертон. — И все же, мне кажется, он был бы недоволен, если бы я зачастил в Гарденкорт.

— Я не могу быть в ответе за дядюшкины вкусы, — сказала Изабелла, — хотя, мне думается, я не должна ими пренебрегать. Что же касается меня — я всегда рада вас видеть.

— А мне приятно слышать это от вас. Я счастлив это от вас слышать.

— Однако вас легко сделать счастливым, милорд, — сказала Изабелла.

— Нет, меня не легко сделать счастливым, — сказал он и вдруг запнулся. — Но видеть вас для меня большое счастье, — закончил он.

При этих словах голос его неуловимо изменился, и Изабелла насторожилась: за этой прелюдией могло последовать что-то серьезное. Она уже однажды слышала такую же интонацию и узнала ее. Однако сейчас ей менее всего хотелось, чтобы подобная прелюдия имела продолжение, и, поборов, насколько могла, охватившее ее волнение, поспешила ответить в самом безмятежном тоне.

— Боюсь, мне не удастся снова приехать сюда.

— Никогда?

— Отчего же «никогда». Это звучит так мело-

драматично.

— Могу ли я приехать к вам на следующей неделе?

— Конечно. Что может вам помешать?

— Практически ничего. Но я не знаю, как вы это воспримите. У меня такое чувство, что вы все время судите людей.

— Если даже и так, вы при этом нимало не проигрываете.

— Весьма благодарен за доброе мнение, но, хотя я и в выигрыше, суровый глаз судьи мне не очень по нраву. Вы собираетесь с миссис Тачит за границу?

— Да, надеюсь, она возьмет меня с собой.

— Вам не нравится Англия?

— Что за макиавеллевский вопрос?.[25] Право, он не заслуживает ответа. Я просто хочу повидать как можно больше стран.

— Чтобы судить и сравнивать?

— Ну и чтобы получать удовольствие.

— Мне кажется, именно это и доставляет вам наибольшее удовольствие. Мне не совсем ясно, к

---

[25] Примечания: 25

…*макиавеллевский вопрос* — коварный вопрос (по имени итальянского политического деятеля и писателя Никколо Макиавелли (1469–1527), считавшего, что во имя высокой цели политик может пользоваться любыми, в том числе и вероломными, средствами).

чему вы стремитесь, — сказал лорд Уорбертон. — У меня создалось впечатление, что у вас какие-то таинственные цели, обширные планы.

— Как мило! Да у вас целая теория на мой счет, которой я вовсе не соответствую. Право, в моих целях нет ничего таинственного. Пятьдесят тысяч моих соотечественников ежегодно, ни от кого не таясь, преследуют те же цели — они совершают заграничное путешествие, чтобы развить свой ум.

— Вам решительно не к чему развивать ваш ум, мисс Арчер, — заявил ее собеседник. — Он и без того достаточно грозное оружие: держит нас всех на прицеле и разит наповал своим презрением.

— Презрением? Вас? Да вы смеетесь надо мной, — сказала Изабелла уже серьезно.

— Нисколько. Вы считаете нас, англичан, людьми «с причудами». Разве это не то же самое? Я вовсе не хочу слыть «чудаком» и не принадлежу к подобным людям. Я протестую.

— Ну знаете. Ничего чуднее, чем это ваше «протестую», я в жизни не слышала, — сказала Изабелла с улыбкой.

Последовала пауза.

— Вы судите всегда со стороны, — снова начал он. — Вы ко всему равнодушны. Не равнодушны

вы лишь к тому, что занимает вас.

В голосе его вновь появилась та же интонация, и к ней примешался явный оттенок горечи — горечи столь внезапной и неоправданной, что Изабелла испугалась, уж не обидела ли она его. Она часто слышала, что англичане весьма эксцентричны, и даже у какого-то остроумца читала, что в глубине души они самый романтичный из всех народов. Неужели у лорда Уорбертона приступ романтического настроения и он устроит ей «сцену» в собственном доме, видя ее всего в третий раз? Но, вспомнив, как он безупречно воспитан, она тут же успокоилась, и даже тот факт, что, выражая свое восхищение юной леди, доверившейся его гостеприимству, он дошел до предела, дозволенного приличиями, не пошатнул ее доброго мнения о нем. Она оказалась права, полагаясь на его воспитанность, так как он улыбнулся и словно ни в чем не бывало возобновил разговор; в голосе его не осталось и следа той интонации, которая так смутила ее.

— Я не хочу сказать, что вы тратите время на пустяки. Вас интересуют высокие материи — слабости и несовершенства человеческой натуры, особенности отдельных народов.

— Ну, что до последнего, — сказала Изабел-

ла, — мне вполне хватило бы занятий на всю жизнь в собственной стране. Но нам предстоит долгий путь, и тетушка, наверное, вскоре захочет уехать.

Она повернула назад, чтобы присоединиться к остальному обществу; лорд Уорбертон молча шел с нею рядом. Но, прежде, чем они поравнялись с остальными, он сказал:

— Я буду у вас на следующей неделе.

Ее словно что-то ударило, но, оправляясь от удара, она подумала, что не могла бы, положа руку на сердце, сказать, будто ощущение это было так уж ей неприятно. Тем не менее ответ ее прозвучал достаточно сухо.

— Как вам будет угодно.

Сухость эта не была расчетом кокетства — игра, которой она предавалась значительно реже, чем в это сочли бы возможным поверить ее недоброжелатели. Ей просто стало немного страшно.

10

На следующий день после визита в Локли Изабелла получила письмо от своей приятельницы, мисс Стэкпол, и это письмо, на котором вместе с ливерпульским штемпелем красовались ровные буквы, выведенные проворными пальчиками Генриетты, произвело в ней приятное волнение.

«А вот и я, милая моя подруга, — писала мисс Стэкпол. — Наконец-то удалось вырваться. Все решилось за день до моего отъезда из Нью-Йорка: в „Интервьюере" согласились наконец ассигновать мне требуемую сумму. Я, как бывалый журналист, побросала вещи в сак и помчалась на конке к причалу. Где ты сейчас и как нам встретиться? Ты, наверно, гостишь в каком-нибудь старинном замке и уже выучилась говорить с настоящим английским произношением. А, может быть, ты уже вышла аамуж за лорда? Я втайне на это надеюсь: мне нужно получить доступ *в* самые высокие круги, и я рассчитываю на твои знакомства. В „Интервьюере" ждут новых фактов об аристократии. Мои первые впечатления (об англичанах вообще) не самые радужные, но мне хотелось бы

обсудить их с тобой — ты ведь знаешь, при всех моих недостатках, поверхностными мнениями я не грешу. Да! У меня для тебя интересные новости. Пожалуйста, постарайся ускорить нашу встречу. Может быть, ты приедешь в Лондон (чудесно было бы вместе осмотреть этот город)? Или же пригласи меня к себе, *где бы ты сейчас ни жила.* Я охотно приеду — ты же знаешь, как я всем интересуюсь и как жажду заглянуть поглубже в частную жизнь англичан».

Изабелла сочла за лучшее не показывать это письмо дяде, а лишь ознакомить с его содержанием, и мистер Тачит, как она и предполагала, тут же попросил от его имени заверить мисс Стэкпол, что будет очень рад видеть ее в Гарденкорте.

— Правда, она из пишущих дам, — сказал он. — Но она американка и, надеюсь, в отличие от ее предшественницы не станет делать из меня посмешище. Ей такие субъекты, как я, конечно, не внове.

— Такие милые, несомненно, внове! — ответила Изабелла.

Но на душе у нее было неспокойно: она не знала, куда может завести подругу писательский зуд, т. е. та сторона ее характера, которая менее всего удовлетворяла Изабеллу. Все же она написала

мисс Стэкпол, что ее с радостью примут под гостеприимный кров мистера Тачита, и быстрая на решения молодая американка тотчас сообщила о скором своем прибытии. Она успела к этому времени добраться до Лондона и уже в столице села на поезд, шедший через ближайшую от Гарденкорта станцию, куда Изабелла с Ральфом и явились ее встречать.

— Интересно, полюблю ли я ее или возненавижу? — спросил Ральф, пока они прохаживались по платформе.

— И то и другое ей будет безразлично, — ответила Изабелла. — Она совершенно равнодушна к тому, что думают о ней мужчины.

— В таком случае мне как мужчине она не может понравиться. Она, верно, страшна как смертный грех. Что, она очень дурна собой?

— Напротив, прехорошенькая.

— Женщина-журналист! Репортер в юбке! Любопытно будет взглянуть на нее, — сказал снисходительно Ральф.

— Легко смеяться над ней, но вовсе нелегко быть такой смелой, как она.

— Несомненно. Чтобы учинять насилие над людьми и нападать на них врасплох, нужно немало дерзости. Как вы думаете, она и *у меня*

захочет взять интервью?

— Конечно, нет. Вы для нее недостаточно крупная персона.

— Посмотрим, — сказал Ральф. — Уверен, что она распишет нас всех, включая Банчи, в своем листке.

— Я попрошу ее не делать этого, — ответила Изабелла.

— Стало быть, она способна на такие штуки?

— Вполне.

— И вы избрали ее ближайшей своей подругой?

— Она не ближайшая моя подруга, но она мне нравится, несмотря на все свои недостатки.

— Ну-ну, — сказал Ральф. — Боюсь, мне она не понравится, несмотря на все свои достоинства.

— Погодите, не пройдет и трех дней, как вы уже будете вздыхать по ней.

— А потом мои любовные письма появятся в «Интервьюере»? Нет уж, слуга покорный! — воскликнул молодой человек.

Тем временем поезд подошел к станции, и мисс Стэкпол, ловко спустившаяся с подножки вагона, оказалась, как и обещала Изабелла, особой весьма миловидной, хотя и несколько в провинциальном вкусе, невысокого роста, складной и

пухленькой: лицо у нее было круглое, рот маленький, кожа нежная, с затылка спадал целый каскад русых кудряшек, а широко распахнутые глаза всегда словно о чем-то вопрошали. Самой примечательной чертой ее наружности была странная неподвижность этих глаз, которые не то чтобы дерзко или вызывающе, а с полным сознанием своего права вперялись в каждый оказавшийся перед ними предмет. Теперь они вперились в Ральфа, немало озадаченного приятной и даже привлекательной внешностью мисс Стэкпол, явно говорившей о том, что будет довольно трудно не расположиться к ней. Она вся шелестела и мерцала в своем сизо-сером, с иголочки, платье, и при виде ее Ральфу невольно пришла на мысль хрустящая, свежая, напичканная новостями газетная полоса, только что сошедшая с печатного станка. От головы до пят в ней, судя по всему, не было ни единой опечатки. Она говорила звонким высоким голосом — не глубоким, но громким. Однако, когда они расселись в экипаже, Ральф нашел, что, вопреки его ожиданиям, она все же не столь криклива, как набранные крупным шрифтом — ох уж этот крупный шрифт! — газетные заголовки. На расспросы Изабеллы, к которым позволил себе присоединиться и ее кузен, она от-

вечала с исчерпывающей полнотой и ясностью, а позднее, когда в библиотеке Гарденкорта ее представили мистеру Тачиту (миссис Тачит сочла излишним спускаться вниз), ее уверенность в себе проявилась с еще большей очевидностью.

— Скажите, вы считаете себя американцами или англичанами? — выпалила она. — А то я не знаю, как мне с вами разговаривать.

— А это как вам угодно, — сказал смиренно Ральф. — Мы за все будем благодарны.

Она остановила на нем свои неподвижные глаза, и они чем-то напомнили ему большие блестящие пуговицы — пуговицы, которые неподвижно стоят в эластичных петлях какого-нибудь туго набитого вместилища: ему казалось, что в ее зрачках он видит отражение стоящих вблизи предметов. Пуговице вряд ли свойственно выражение человеческих чувств, но во взгляде мисс Стэкпол присутствовало нечто такое, от чего он, при его крайней застенчивости, чувствовал себя менее защищенным от вторжения, более разоблаченным, чем ему бы хотелось. Правда, потом, проведя в ее обществе несколько дней, он частично превозмог это ощущение, однако так и не избавился от него до хонца.

— Думаю, вы не станете уверять меня, что *вы*

— американец, — сказала она.

— Ради вашего удовольствия я готов стать не только англичанином, но даже турком.

— Ну, если вы так легко меняете кожу, что ж, это ваше дело, — парировала мисс Стэкпол.

— Уверен, что с вашей способностью все понимать, национальные различия не будут для вас преградой, — продолжал Ральф.

Мисс Стэкпол все еще не сводила с него глаз.

— Вы имеете в виду различия в языке?

— Ну что там языки! Я имею в виду дух — гений нации.

— Не уверена, что вполне вас понимаю, — сказала корреспондентка «Интервьюера», — но надеюсь, что пойму, прежде чем покину Гарден-корт.

— Он — то что называется космополит, — вставила Изабелла.

— То есть от всех наций понемножку и не от одной ничего всерьез. Должна сказать, что, на мой взгляд, патриотизм — как любовь к ближнему — начинается с родного дома.

— А где начинается родной дом, мисс Стэкпол? — осведомился Ральф.

— Не знаю, где он начинается, но знаю, где его пределы. Далеко за пределами здешних мест.

— Вам здесь не нравится? — спросил мистер Тачит старчески-невинным тоном.

— Как вам сказать, сэр. Я еще не определила свою точку зрения. Здесь я все время чувствую, будто меня что-то давит. Это ощущение появилось уже на пути из Ливерпуля в Лондон.

— Может быть, вы ехали в переполненном вагоне? — высказал предположение Ральф.

— Да, он был переполнен, но друзьями — в нем ехали американцы, с которыми я познакомилась еще на пароходе. Милейшие люди из Литл Рока, штат Арканзас. И все-таки что-то меня давило — угнетало, а что — сама не знаю. С самого начала я почувствовала себя в чужой атмосфере. Надеюсь, мне все же удастся создать свою атмосферу. Это единственный выход — иначе я не смогу свободно дышать. Ваш дом стоит в замечательном месте, сэр.

— Да, и живут в нем тоже милейшие люди, — сказал Ральф. — Подождите немного, и вы в этом убедитесь.

Мисс Стэкпол была вполне расположена ждать и явно приготовилась надолго обосноваться в Гарденкорте. Утро она посвящала литературным трудам, но это отнюдь не лишало Изабеллу общества подруги, которая, закончив дневной урок,

решительно возражала и даже восставала против одиночества. У Изабеллы почти сразу появился повод попросить приятельницу воздержаться от желания прославить в печати радости их совместного пребывания в Гарденкорте: уже на второй день после приезда Генриетты Изабелла застала ее за письмом в «Интервьюер», заглавие которого, выведенное на редкость ровным и четким почерком (точь-в-точь как на прописях, памятных Изабелле со школьных лет), гласило: «Американцы и Тюдоры — заметки о Гарденкорте». Мисс Стэкпол, не испытывая и намека на угрызения совести, протянула это письмо Изабелле, которая тотчас же заявила ей свой протест.

— По-моему, тебе не следует этого делать, по-моему, тебе не следует писать об этом доме.

Генриетта по обыкновению уставилась на нее.

— Но почему? Это как раз то, что всегда нравится читателям. И дом такой милый.

— Слишком милый, чтобы писать о нем в газетах. И дяде это совсем не понравится.

— Какие глупости! Я не знаю человека, который не был бы потом доволен.

— Только не дядя и не Ральф. Они сочтут, что ты злоупотребила их гостеприимством.

Мисс Стэкпол не выказала ни малейшего сму-

щения. Она просто аккуратно обтерла перо о маленькую изящную перочистку — специальное приспособление, которое она привезла с собой — и убрала рукопись.

— Разумеется, я не стану этого делать, раз ты протестуешь. Но я жертвую отличной темой, так и знай.

— Разве мало других тем? Их полным-полно кругом. Мы поедем с тобой по окрестностям. Здесь есть такие удивительные ландшафты.

— Ландшафты — не по моей части. Мне интересен человек. Ты же знаешь, ничто человеческое мне не чуждо и никогда не было чуждо, — заявила мисс Стэкпол. — А мне гак хотелось изобразить твоего кузена. Американец — отщепенец. Самый ходкий сюжет, а твой кузен на редкость интересный образец такого отщепенца. Я осудила бы его со всей суровостью.

— Да он бы умер! — воскликнула Изабелла. — Не от суровости, от гласности.

— И прекрасно, если б мое письмо его убило, пусть не до конца, хоть чуть-чуть. А с каким удовольствием я вывела бы твоего дядю. Он, на мой взгляд, не в пример более положительный тип — все еще верный сын Америки. Великолепный старик. Неужели он может обидеться, если я воз-

дам ему должное?

Изабелла с нескрываемым удивлением посмотрела на подругу: ее поражало, что такая натура, во многом вызывавшая ее восхищение, сплошь и рядом не выдерживала испытания.

— Ах, Генриетта, — сказала она, — в тебе совсем нет чувства скромности.

Генриетта густо покраснела, а ее блестящие глаза на мгновение наполнились слезами, что показалось Изабелле верхом непоследовательности.

— Ты очень несправедлива ко мне, — сказала мисс Стэкпол с достоинством. — Я никогда и слова не написала о себе.

— Нисколько не сомневаюсь! Однако, мне кажется, нужно быть скромным и в отношении других.

— Прекрасно сказано! — воскликнула Генриетта, вновь хватаясь за перо. — Дай-ка я запишу этот афоризм и после куда-нибудь вставлю.

Добродушнейшее существо, она уже полчаса спустя вновь обрела хорошее расположение духа, насколько оно может быть хорошим у пишущей дамы, которой не о чем писать.

— Я обещала освещать нравы, — сказала она Изабелле. — Как же мне теперь быть? Где взять

идеи? Раз ты не даешь мне писать об этом доме, укажи какой-нибудь другой, который можно описать.

Изабелла обещала подумать, а назавтра в разговоре с мисс Стэкпол ненароком упомянула о своей поездке в старинное поместье лорда Уорбертона.

— Вот куда ты должна меня отвезти! — воскликнула мисс Стэкпол. — Это как раз то, что нужно. Мне просто необходимо посмотреть, как живут аристократы.

— Отвезти тебя туда я не могу, — сказала Изабелла. — Но лорд Уорбертон на днях будет здесь, и ты сможешь познакомиться с ним и приглядеться к нему. Но, если ты собираешься воспроизвести все его речи, придется мне предупредить его.

— Не надо, — взмолилась Генриетта. — Я хочу, чтобы он вел себя естественно.

— Для англичанина нет ничего естественнее, как держать язык за зубами, — сказала Изабелла.

Прошло три дня, однако никаких признаков того, что Ральф, как предсказывала ему кузина, потерял из-за американской гостьи голову, не обнаруживалось, хотя он проводил в ее обществе добрую половину дня. Они вместе бродили по парку и сидели под деревьями, а в послеполуден-

ные часы, когда так приятно кататься по Темзе, мисс Стэкпол занимала место в лодке, в которой до недавних пор у Ральфа была лишь одна спутница. Ральф, в понятной своей растерянности от того размягчения, которое испытывал в обществе кузины, был уверен, что мисс Стэкпол не затронет ни единой его чувствительной струнки, — и ошибся: корреспондентка «Интервьюера» веселила его, а он уже давно решил, что постарается увенчать свои угасающие дни идущим crescendo весельем. С другой стороны, поведение Генриетты не всегда свидетельствовало в пользу утверждения Изабеллы, будто ее подруга полностью безразлична к мнению о себе мужчин: бедный Ральф, надо думать, представлялся ей досадной загадкой, и нравственный долг повелевал ей эту загадку решить.

— Чем он занимается? — спросила она Изабеллу в первый же вечер. — Так и ходит весь день, засунув руки в карманы?

— Ничем, — улыбнулась Изабелла. — Он рыцарь праздности.

— Какой срам! И это когда я вынуждена работать не разгибая спины, — заявила мисс Стэкпол. — Ах, как мне хочется выставить его на всеобщее обозрение.

— Он очень слаб здоровьем; работать ему не по силам, — вступилась за Ральфа Изабелла.

— Фу, какие глупости! Я же работаю, когда больна! — ответила ей подруга.

Позднее, усаживаясь в лодке, чтобы принять участие в прогулке по Темзе, она вдруг заявила Ральфу, что тот, должно быть, ненавидит ее и рад бы утопить.

— Ну что вы, — сказал Ральф. — Я люблю изводить свои жертвы медленной пыткой. Тем более что вы такой интересный экземпляр.

— Вот именно. Вы всячески изводите меня. Одно утешение — я возмущаю все ваши предрассудки.

— Помилуйте! Какие предрассудки? У меня, к несчастью, нет ни единого предрассудка. Перед вами человек абсолютно нищий духом.

— Нашли чем хвастаться! У меня их тьма, и преприятнейших. Конечно, я мешаю вам флиртовать, или как это там у вас называется, с вашей кузиной. Но меня это мало трогает. Зато я оказываю ей добрую услугу — помогаю разобраться в вас до конца. Она увидит, как мало в вас содержания.

— Да-да, вы уж разберитесь во мне, прошу вас! — воскликнул Ральф. — Так мало желающих

взять на себя столь тяжкий труд.

И, взявшись за этот труд, мисс Стэкпол не жалела усилий, прибегая, как только ей предоставлялась такая возможность, к наиболее естественному в таких случаях способу — к опросу. На следующий день погода испортилась, и Ральф, желая как-то развлечь гостью в пределах дома, предложил осмотреть картины. Генриетта расхаживала по длинной галереи, а сопровождавший ее Ральф указывал на все лучшее, что составляло коллекцию его отца, называя художников и разъясняя сюжеты. Мисс Стэкпол глядела на картины молча, никак не выражая своего мнения, и Ральф с благодарностью отметил про себя, что она не исторгает штампованных возгласов восхищения, которые так охотно расточали другие посетители Гарденкорта. Надо отдать справедливость молодой американке — она не была падка на трафаретные фразы; говорила вдумчиво и небанально, хотя порою напряженно и чуть выспренно, словно образованный человек, объясняющийся на чужом языке. Уже потом Ральф узнал, что когда-то она вела раздел по искусству в одном заокеанском журнале, однако, несмотря на это обстоятельство, в ее карманах не водилось разменной монеты восторгов. И вот, после того

как он подвел ее к очаровательному пейзажу Констебля,[26] она вдруг обернулась и принялась, словно картину, разглядывать его самого.

— Вот так вы и проводите время? — спросила она. — Я редко провожу его столь приятно.

— Оставьте. Вы знаете, о чем я говорю, — у вас нет постоянного занятия.

— Ах, — сказал Ральф, — перед вами самый большой в мире бездельник.

Мисс Стэкпол перевела взор на Констебля, и Ральф привлек ее внимание к висевшей тут же небольшой картине Ланкре,[27] изображавшей юношу в алом камзоле, чулках и брыжах; прислонившись к пьедесталу, на котором стояла статуя нимфы, он играл на гитаре двум дамам, сидящим на траве.

— Вот мой идеал постоянного времяпрепровождения, — сказал Ральф.

Мисс Стэкпол снова обернулась, и, хотя глаза ее были устремлены на картину, Ральф заметил, что она не уловила, в чем смысл сюжета; она

---

[26] Примечания: 26

Констебль Джон (1776–1837) — английский живописец, известный пейзажист.

[27] Примечания: 27

Ланкре Никола (1690–1743) — французский живописец, представитель французского искусства рококо.

обдумывала куда более важный вопрос.

— Не понимаю, как вас не заест совесть.

— У меня *нет* совести, дорогая мисс Стэкпол.

— Советую ее обрести. Она вам понадобится, когда вы в следующий раз вздумаете поехать на родину.

— Мне, скорее всего, уже не придется туда поехать.

— Что, стыдно будет там показаться?

Ральф помедлил с ответом.

— У кого нет совести, — сказал он с мягкой улыбкой, — у того, надо полагать, нет и стыда.

— Ну и самомнение у вас, однако! — заявила Генриетта. — Вы считаете, что хорошо делаете, отказываясь от родной страны?

— От родной страны нельзя отказаться, как нельзя отказаться от родной бабушки. Ни ту ни другую не выбирают — они составляют неотъемлемую часть каждого из нас, и уничтожить их нельзя.

— То есть вы пытались, но у вас ничего не вышло? Интересно, как к вам относятся здесь.

— Англичане от меня в восторге.

— Потому что вы подделываетесь к ним.

— Ах, — вздохнул Ральф. — Согласитесь отнести мой успех, хоть частично, за счет врожденного

обаяния.

— Не вижу у вас никакого врожденного обаяния. Если оно и есть, то заимствованное — по крайней мере, живя здесь, вы немало потрудились, чтобы его позаимствовать. Не скажу, что вам это удалось. Я, во всяком случае, не придаю такому обаянию цены. Займитесь чем-нибудь стоящим, вот тогда нам найдется, о чем поговорить.

— Превосходно. Только научите меня, что мне делать.

— Прежде всего вернуться на родину.

— Вернулся. А потом?

— И сразу найдите себе серьезное занятие.

— В какой области?

— Да в какой угодно. Лишь бы это было настоящее дело. Придумайте что-нибудь новое, возьмитесь за какую-нибудь большую работу.

— И ее так легко найти? — спросил Ральф.

— Конечно, если принять это близко к сердцу.

— Ах к сердцу, — сказал Ральф. — Значит, все зависит от моего сердца…

— А что, сердца у вас тоже нет?

— Было. Еще несколько дней назад. Но с тех пор его у меня похитили.

— В вас нет ни капли серьезности, — сказала

мисс Стэкпол, — вот в чем ваша беда.

При всем том несколькими днями позже она снова позволила ему завладеть своим вниманием и на этот раз попыталась: объяснить его загадочные выверты новой причиной.

— Я поняла, в чем ваша беда, мистер Тачит, — сказала она. — Вы считаете, что слишком хороши для брака.

— Я считал так, мисс Стэкпол, пока не встретил вас. — отвечал Ральф. — С тех пор я стал считать иначе.

— Фу, — фыркнула Генриетта.

— Я стал считать, что недостаточно хорош, — закончил Ральф.

— Женитьба сделает вас другим человеком. Не говоря уж о том, что жениться — ваша обязанность.

— Ах, — воскликнул молодой человек, — в жизни столько обязанностей! Неужели и жениться нужно по обязанности?

— Конечно. Вы этого не знали? Все люди должны вступать в брак.

Ральф помолчал — неужели он обманулся? Некоторыми своими чертами мисс Стэкпол как раз начинала ему нравиться. Если она не была очаровательной женщиной, то по крайней мере

«высокой пробы». Ей не хватало своеобразия, зато, как сказала Изабелла, ей нельзя было отказать в смелости. Она входила в клетки и, как заправский укротитель львов, взмахивала хлыстом. Она казалась ему неспособной на пошлые ухищрения, меж тем в этих последних ее словах прозвучала фальшивая нота. Когда незамужняя женщина принимается убеждать холостого мужчину в необходимости брака, сам собой напрашивается вывод, что побуждают ее к этому отнюдь не альтруистические мотивы.

— По этому поводу многое можно сказать, — ответил Ральф уклончиво.

— Можно, но суть останется та же. Должна сказать, ваше блестящее одиночество отдает чванством — вы, видимо, считаете, что ни одна женщина вам не пара. Думаете, вы лучше всех на свете? В Америке все женятся.

— Предположим, жениться — моя обязанность, — сказал Ральф. — Но в таком случае ваша, по аналогии, выйти замуж?

Зрачки мисс Стэкпол, не дрогнув, отразили солнце.

— Лелеете надежду найти в моих рассуждениях брешь? Разумеется, я так же, как все, вправе вступить в брак.

— Вот видите, — сказал Ральф. — И меня не возмущает, что вы незамужем. Напротив, радует.

— Да будьте же вы хоть сколько-нибудь серьезны. Нет, вы никогда не станете серьезны.

— Что вы! Неужели в тот день, когда я скажу вам, что хочу расстаться с одиночеством, вы не поверите в серьезность моих намерений?

Мисс Стэкпол посмотрела на него с таким видом, словно собиралась дать ответ, который на матримониальном языке именуется благосклонным. Но вдруг, к величайшему удивлению Ральфа, лицо ее выразило тревогу и даже негодование.

— Даже тогда, — бросила она. Повернулась и вышла.

— Увы, я не воспылал нежной страстью к вашей подруге, — сказал Ральф в тот же вечер Изабелле, — хотя мы с ней все утро толковали на эту тему.

— И вы сказали ей нечто весьма неучтивое.

Ральф пристально посмотрел на кузину.

— Она на меня жаловалась?

— Она сказала, что, по ее мнению, есть что-то очень уничижительное в тоне, каким европейцы разговаривают с женщинами.

— А я в ее представлении европеец?

— Да, и худший из худших. Она добавила, вы сказали ей нечто такое, чего ни один американец никогда не позволил бы себе сказать, и даже не повторила, что именно.

Ральф отвел душу взрывом веселого смеха.

— Она — редкостный набор свойств, ваша Генриетта. Неужели она думает, что я волочусь за ней?

— Нет, хотя в этом бывают повинны и американцы. Но она явно думает, что вы переиначили ее слова, истолковали их в дурную сторону.

— Просто я подумал, что она делает мне предложение и принял его. Разве это дурно?

— Дурно по отношению ко мне, — улыбнулась Изабелла. — Я вовсе не хочу, чтобы вы женились.

— Ах, дорогая кузина, как угодить вам обеим? — сказал Ральф. — Мисс Стэкпол заявляет мне, что жениться — мой первейший долг, а ее прямой долг — проследить, чтобы я не уклонялся от его выполнения.

— В ней очень сильно сознание долга, — сказала Изабелла серьезно. — Да, очень сильно, и все, что она говорит, подсказано им. За это я ее и люблю. Она считает недостойным вас — тратить такое богатство на себя одного. Больше она ничего не

хотела сказать. Если же вам показалось, будто она пытается… завлечь вас, то вы ошиблись.

— Вы правы, я перемудрил, но мне и в самом деле показалось, будто она пытается завлечь меня. Простите — это все мое испорченное воображение.

— Вы страшно самонадеянны. Генриетта не имела на вас никаких видов, и ей в голову не могло прийти, что вы способны ее в этом заподозрить.

— Н-да, с такими женщинами, как она, надо быть тише воды, ниже травы, — смиренно сказал Ральф. — Поразительная особа. Она невероятно обидчива — особенно если учесть, что другие, по ее мнению, обижаться не должны. Она входит в чужие двери, не постучав.

— Да, — согласилась Изабелла, — она не хочет признавать дверные молоточки. Или, скорее всего, считает их излишней роскошью. Она считает, двери должны быть распахнуты настежь. Но я все равно люблю ее.

— А я все равно считаю крайне бесцеремонной, — откликнулся Ральф, естественно несколько смущенный тем, что дважды уже ошибся относительно мисс Стэкпол.

— Знаете, — улыбнулась Изабелла, — боюсь,

она оттого мне так и нравится, что в ней есть что-то плебейское.

— Она была бы польщена, услышав ваши слова!

— Ну, ей я выразила бы это иначе. Я сказала бы — оттого, что в ней много от «народа».

— Народ? Что вы знаете о народе? Что она о нем знает, если уж на то пошло?

— Генриетта — очень много, а я достаточно, чтобы почувствовать, что она в какой-то степени порождение великой демократии, Америки, американской нации. Я не утверждаю, будто она воплощает все ее стороны, но этого нельзя и требовать. Тем не менее она ее выражает, дает о ней весьма живое представление.

— Значит, мисс Стэкпол нравится вам из патриотических соображений. Ну а у меня, боюсь, по тем же соображениям, вызывает решительный протест.

— Ах, — сказала Изабелла, как-то радостно вздыхая, — мне очень многое нравится: я принимаю все, что забирает меня за живое. Если бы это не звучало хвастливо, я, пожалуй, сказала бы, что у меня очень разносторонняя натура. Мне нравятся люди, во всем противоположные Генриетте, — хотя бы такие, как сестры лорда

Уорбертона. Пока я смотрю на этих милых сестер Молинью, они кажутся мне чуть ли не идеалом. А потом появляется Генриетта, и сразу же побеждает меня, и не столько тем, что она есть, как всем тем, что стоит за нею.

— Вы хотите сказать, что вам нравится ее вид сзади, — вставил Ральф.

— А она все-таки права, — ответила ему кузина. — Вы никогда не станете серьезным человеком. Я люблю мою большую страну, раскинувшуюся через реки и прерии, цветущую, улыбающуюся, доходящую до зеленых волн Тихого океана. От нее исходит крепкий, душистый, свежий аромат. И от одежды Генриетты — простите мне это сравнение — веет тем же ароматом.

К концу этой речи Изабелла чуть зарделась, и румянец вместе с внезапным пылом, который она вложила в свои слова, был ей так к лицу, что, когда она кончила, Ральф еще несколько секунд стоял улыбаясь.

— Не знаю, зелены ли волны Тихого океана, — сказал он, — но у вас очень живое воображение. Что же касается вашей Генриетты, то от нее разит

Будущим,[28] и запах этот только что не валит с ног.

[28] Примечания: 28

Ироническая ссылка на известное высказывание американского философа-трансценденталиста Р, У. Эмерсона: «…юная, свободная, здоровая, сильная земля тех, кто трудится и верует, земля демократов, филантропов, святых, она (Америка. — *М. Ш.)* должна говорить от имени всей человеческой расы. Это страна Будущего!» (из лекции «Молодой Американец», 1744).

11

После этого случая Ральф принял решение не перетолковывать высказываний мисс Стэкпол, даже когда они будут прямым выпадом против него. Он напомнил себе, что люди в ее представлении простые, однородные организмы, он же, являясь образцом извращенной человеческой натуры, вообще не имеет права общаться с нею на равных. Решению своему он следовал с таким тактом, что, возобновив с ним беседы, эта юная американка получила возможность беспрепятственно упражнять на нем свой талант по части дотошных опросов, в которых главным образом и выражалось ее доверие к избранному лицу. Таким образом, если принять во внимание, что Изабелла, как мы видели, ценила Генриетту, сама же Генриетта высоко ценила свободную игру ума, свойственную, по ее мнению, им обеим, так же как вполне одобряла спокойное достоинство мистера Тачита и его благородный, употребляя ее собственное определение, тон, — итак, если принять все это во внимание, жизнь мисс Стэкпол в Гарденкорте была бы весьма отрадной,

если бы она не ощущала острую неприязнь со стороны маленькой пожилой дамы, с которой, как она сразу поняла, ей придется «считаться», как с хозяйкой дома. Правда, Генриетта быстро обнаружила, что ее обязанности по отношению к ней будут необременительны: миссис Тачит нимало не заботило поведение гостьи. Она заявила Изабелле, что приятельница ее — авантюристка и к тому же скучна — авантюристки, как правило, куда занятнее, — и выразила удивление, что та подружилась с подобной особой, однако тут же добавила, что Изабелла вольна сама выбирать себе друзей и что она отнюдь не требует, чтобы они все ей нравились, так же как не собирается навязывать Изабелле тех, кто нравится ей.

— Если бы ты встречалась только с теми, кто мне по нраву, круг твоих знакомых был бы очень мал, — откровенно призналась миссис Тачит. — Мне редко кто нравится, во всяком случае не настолько, чтобы рекомендовать тебе кого-нибудь в друзья. Рекомендация — дело серьезное. А твоя мисс Стэкпол мне не по вкусу — мне все в ней претит: и говорит она излишне громко, и смотрит на вас так, словно вам приятно смотреть *на нее,* когда вам этого вовсе не хочется. Не сомневаюсь, она всю жизнь провела в меблированных комна-

тах и гостиницах, а я не выношу развязных манер и бесцеремонности подобных общежительств. Ты, верно, считаешь, что мои собственные манеры тоже оставляют желать много лучшего, тем не менее мне они куда больше нравятся. Мисс Стэкпол знает, что я не терплю гостиничного уклада жизни, и не выносит меня за то, что я его не терплю, — ведь она считает его высшим достижением человечества. Будь Гарденкорт гостиницей или пансионом, он показался бы ей намного милей. А по мне, в нем, пожалуй, одним постояльцем больше, чем следует! Нам с ней не сойтись ни в чем, да не стоит и пробовать.

Миссис Тачит не ошиблась, предположив, что не внушает приязни Генриетте, однако не вполне точно определила причину ее нерасположения. Дня два спустя после приезда мисс Стэкпол хозяйка Гарденкорта поделилась с присутствующими своими воспоминаниями — весьма язвительными — об американских гостиницах, вызвав поток возражений со стороны корреспондентки «Интервьюера», которая, будучи по долгу службы хорошо знакома со всеми видами караван-сараев в западном полушарии, решительно заявила, что американские гостиницы — лучшие в мире. Миссис Тачит, еще не остывшая после недавних

схваток с коридорными, выразила убеждение, что хуже их нет на свете. Ральф, со своей выработанной опытом мягкостью, попытался перекинуть мост через разверзшуюся пропасть, высказав предположение, что истина лежит посередине, и предложив аттестовать обсуждаемые заведения как вполне удовлетворительные. Однако мисс Стэкпол с возмущением отвергла эту попытку содействовать разрешению спора. Удовлетворительные! Как бы не так! Если американские гостиницы не желают признать лучшими в мире, пусть считают худшими! Американская гостиница удовлетворительной быть не может!

— Мы, очевидно, судим с противоположных позиций, — сказала миссис Тачит. — Я люблю, чтобы со мной обходились как с личностью, вы — чтобы вас принимали как представительницу «большинства».

— Не знаю, что вы хотите этим сказать, — отозвалась Генриетта. — Я люблю, чтобы со мной обходились, как с американской леди!

— Какие еще американские леди! — рассмеялась миссис Тачит. — Рабыни рабов — вот они кто!

— Подруги свободных граждан, — парировала Генриетта.

— Подруги собственной челяди — горничной-ирландки и лакея-негра, с которыми они работают наравне.

— Вы называете домочадцев американской семьи «рабами»? — переспросила Генриетта. — Ничего удивительного, что в Америке вам не нравится.

— Без хорошей прислуги жизнь несносна, — спокойно возразила миссис Тачит. — В Америке она никуда не годится. Вот у меня во Флоренции пятеро отличных слуг.

— Зачем вам столько? — невольно воскликнула Генриетта. — Вот уж ни за что не хотела бы видеть около себя пять человек на положении лакеев.

— Мне они в этом положении куда больше нравятся, чем в каком-либо ином, — многозначительно заявила миссис Тачит.

— Значит, дорогая моя, в роли дворецкого я бы тебе больше нравился? — спросил мистер Тачит.

— Не думаю: для этой роли тебе не хватало бы tenue.[29]

— Подруги свободных граждан — хорошо сказано, мисс Стэкпол, — похвалил Ральф. — Пре-

---

[29] Примечания: 29
выправка *(фр.).*

восходное определение.

— Говоря о свободных гражданах, я не имела в виду вас, сэр! И это было все, что услышал Ральф в благодарность за комплимент. Разговор этот поверг мисс Стэкпол в смятение. Почему миссис Тачит защищала существование класса людей, который она, мисс Стэкпол, считала необъяснимым пережитком феодализма? Тут был явный выпад против Америки! Возможно, именно оттого, что мысль об этом предательстве всецело завладела ею, прошло несколько дней, прежде чем она заговорила с Изабеллой на весьма важную тему.

— Милая Изабелла, я начинаю подозревать тебя в неверности.

— В неверности? Тебе, Генриетта?

— Это был бы для меня тяжкий удар, но я не это имею в виду.

— В таком случае моей родине? Ты это хочешь сказать?

— Этого, я надеюсь, с тобой никогда не произойдет. Послушай, в письме из Ливерпуля я сообщила, что у меня есть для тебя важные новости. А ведь ты даже не удосужилась спросить меня, какие. Может, ты догадываешься?

— Догадываюсь? О чем? Я не очень догадли-

ва, — сказала Изабелла. — Помнится, в твоем письме действительно была такая фраза, но, сознаюсь, я попросту забыла о ней. Так что же ты хотела мне сообщить?

В неподвижном взгляде Генриетты выразилось разочарование.

— Ты как-то не так об этом спрашиваешь — словно тебе неинтересно. Нет, ты переменилась, ты думаешь совсем о другом.

— Скажи мне, в чем дело, и я стану об этом думать.

— Действительно, станешь думать? Хотелось бы верить, что это так.

— Я не очень властна в своих мыслях, но постараюсь, — сказала Изабелла.

Генриетта молча воззрилась на нее и так долго не спускала с нее глаз, что Изабелла начала терять терпение и, не выдержав, спросила:

— Уж не хочешь ли ты сообщить мне, что собираешься замуж?

— Замуж? Не раньше, чем посмотрю Европу! — заявила мисс Стэкпол. — Чему ты смеешься? — продолжала она. — Дело в том, что на одном пароходе со мной ехал мистер Гудвуд.

— Что ты говоришь?! — только и произнесла Изабелла.

— Вот *теперь* ты сказала, как надо. Мы без конца беседовали с ним. Он отправился сюда вслед за тобой.

— Он сам тебе это сказал?

— Ничего он мне не сказал — оттого-то я и поняла, — заявила проницательная Генриетта. — Он говорил о тебе очень мало, зато я — без конца.

Изабелла молча ждала продолжения. Услышав имя Гудвуда, она слегка побледнела. Наконец она сказала:

— Напрасно ты говорила с ним обо мне.

— Мне это было приятно, тем более что он так слушал! Когда так слушают, я способна говорить часами: он весь обратился в слух и вбирал в себя каждое слово.

— Что же ты говорила ему обо мне?

— Я сказала, что в общем прелестнее девушки я не знаю.

— Напрасно ты это сказала. Он и так слишком высокого мнения обо мне, и вовсе не нужно его в этом поощрять.

— А он так жаждет, чтобы его поощрили, хоть чуть-чуть. Я как сейчас вижу его лицо и тот серьезный сосредоточенный взгляд, с каким он меня слушал. В жизни не видела, чтобы некрасивый мужчина вдруг так преобразился.

— Он очень прост душой, — сказала Изабелла. — И не так уж некрасив.

— Ничто так не опрощает, как большая страсть!

— Большая страсть? Это не то — я убеждена.

— Однако ты сказала это не слишком уверенно.

— Хорошо, в разговоре с мистером Гудвудом я постараюсь сказать это яснее, — холодно улыбнулась Изабелла.

— Он вскоре даст тебе такую возможность, — сказала Генриетта.

Изабелла ничего не ответила на это замечание, которое ее приятельница сделала весьма уверенным тоном.

— Он найдет тебя очень изменившейся, — продолжала Генриетта. — Твое новое окружение очень повлияло на тебя.

— Вполне возможно. На меня все влияет.

— Кроме мистера Гудвуда! — воскликнула мисс Стэкпол с несколько наигранной веселостью.

Изабелла даже не улыбнулась и, немного помолчав, сказала:

— Он просил тебя поговорить со мной?

— Словами — нет. Он просил взглядом, рукопожатием, когда прощался со мной.

— Спасибо, что ты мне все рассказала, — произнесла Изабелла и отвела глаза в сторону.

— Да, ты переменилась. Ты набралась здесь новых идей, — не унималась ее подруга.

— Надеюсь, — ответила Изабелла. — Надо обогащать свой ум, чем больше новых идей, тем лучше.

— Конечно. Но пусть они не вытесняют старых, особенно когда те благотворны.

Изабелла вновь отвела глаза.

— Если ты хочешь сказать, что у меня были идеи насчет мистера Гудвуда… — начала она, но осеклась, так негодующе сверкнули глаза ее подруги.

— Милая моя, ты принимала его ухаживания.

Изабелла открыла было рот, чтобы опровергнуть это обвинение, но неожиданно для себя сказала:

— Да, принимала.

И тут же спросила Генриетту, говорил ли ей мистер Гудвуд, что он намеревается делать в Англии. Любопытство взяло в ней верх над нежеланием обсуждать этот предмет с подругой, чье поведение она находила бестактным.

— Я задала ему этот вопрос, и он сказал, что намерен ничего не делать, — ответила мисс Ст-

экпол. — Но мне как-то не верится: он не из тех, кто способен ничего не делать. Он очень деятельный человек и не боится идти на риск. В любых обстоятельствах он всегда занят делом и, что бы ни делал, все делает правильно.

— Вполне с тобой согласна.

Генриетте, конечно, недоставало такта, но все равно такое заявление не могло не тронуть нашу героиню.

— Ага! Значит, ты *все-таки* интересуешься им! — вскричала ликующая гостья.

— Что бы он ни делал, он все делает правильно, — повторила Изабелла. — Человеку такого безупречного склада должно быть безразлично, как к нему относятся другие.

— Ему, возможно, и безразлично. А как насчет других?

— Ну, безразлично ли это мне… впрочем, речь сейчас идет не обо мне, — сказала Изабелла, холодно улыбаясь.

На этот раз ее собеседница помрачнела.

— Как тебе угодно. Ты и вправду очень переменилась. Совсем не та, какой была всего несколько недель назад, и мистер Гудвуд это поймет. Я жду его со дня на день.

— Теперь, надеюсь, он возненавидит меня.

— Думаю, ты так же этого хочешь, как он на это способен.

Последнюю реплику наша героиня оставила без ответа; ее не на шутку встревожил брошенный Генриеттой намек — Каспар Гудвуд намерен нанести ей визит в Гарденкорте. Правда, про себя она решила считать, что он на это не отважится, и немного спустя так и сказала Генриетте. Тем не менее последующие сорок восемь часов она все время ждала, что ей доложат о прибытии Каспара Гудвуда. Это угнетало ее; воздух казался душным, словно что-то менялось в атмосфере, а атмосфера — в переносном смысле слова — за все время пребывания Изабеллы в Гарденкорте отличалась такой приятностью, что любое изменение было бы только к худшему. На третий день напряжение спало. Изабелла вышла в парк в сопровождении общительного Банчи и, побродив по аллеям с полурассеянным, полурастерянным видом, уселась под раскидистым буком в виду дома, откуда ее фигурка в белом с черными бантами платье на фоне перемежающихся теней казалась особенно гармоничной и грациозной. Сначала Изабелла поболтала с Банчи, чьим расположением именно потому, что кузен предложил владеть терьером совместно, она старалась пользоваться, соблюдая

справедливость — ту степень справедливости, какую это допускал несколько ветреный и переменчивый нрав самого Банчи. Сейчас, когда на сердце у нее было тревожно, Изабелле впервые пришло на мысль, что ум собаки ограничен, хотя до сих пор она всегда восхищалась широтой собачьего ума. Наконец она решила, что ей станет легче, если приняться за книгу: прежде в подобных обстоятельствах удачно выбранный том всегда помогал ей переключить сознание на регистр чистой мысли. Не станем, однако, отрицать — в последнее время чтение утратило для нее былую занимательность, и теперь, даже напомнив себе, что на дядюшкиных полках стоят все без исключения книги, которым полагается украшать библиотеку джентльмена, она не двинулась с места и продолжала сидеть как сидела, устремив взор на свежую зелень раскинувшейся перед ней лужайки. Но вскоре ее вывел из задумчивости слуга, принесший ей письмо. На конверте стоял лондонский штемпель, адрес был написан знакомой рукой, и в ее воображении, и без того прикованном к автору письма, тотчас ожило его лицо и даже голос. Послание оказалось кратким и может быть приведено здесь без изъятий.

Дорогая мисс Арчер!

Не знаю, дошла ли до Вас весть, что я в Англии, но даже если Вам об этом ничего неизвестно, Вы вряд ли удивитесь моему приезду. Вы, конечно, помните, что, когда три месяца назад, в Олбани, ответили мне отказом, я не принял его. Я возражал. В сущности, Вы согласились с моими возражениями и признали справедливость моих доводов. Тогда я приезжал к Вам в надежде склонить Вас на свою сторону и у меня было достаточно оснований надеяться на успех. Но Вы не оправдали моих надежд. Вы переменились ко мне, но причину этой перемены назвать не смогли. Правда, Вы признали, что поведение Ваше неразумно, но и только, между тем это очень неосновательное объяснение, и поступать так Вам вовсе не свойственно. Вы никогда не были, да и впредь не будете, своенравны или капризны. Поэтому я не теряю надежды, что Вы позволите мне увидеть Вас вновь. Вы сами сказали мне, что не питаете ко мне неприязни, и я полагаю, так оно и есть: ибо я не вижу для нее никаких оснований. Я всегда буду

думать о Вас; я не смогу думать ни о ком другом. Сюда я приехал просто потому, что Вы здесь. Я не мог оставаться в Америке после того, как Вы оттуда уехали: без Вас мне все там опостылело. Если сейчас мне нравится Англия, то только потому, что в Англии живете Вы. Мне не раз приходилось сюда приезжать, но никогда прежде особенно не нравилось. Надеюсь, Вы позволите мне увидеться с Вами и поговорить, хотя бы полчаса? В настоящее время это самое заветное желание преданного Вам Каспара Гудвуда.

Изабелла так была поглощена этим посланием, что не расслышала, как шелестят по мягкой траве приближающиеся шаги. Когда она, машинально складывая листок, подняла глаза, перед ней стоял лорд Уорбертон.

12

Изабелла спрятала письмо в карман и встретила гостя приветливой улыбкой, не обнаруживая даже тени волнения и сама немного дивясь своему спокойствию.

— Мне сообщили, что вы в парке, — сказал лорд Уорбертон. — В гостиной никого не оказалось, а так как приехал я в сущности, чтобы повидать вас, то без лишних церемоний прошел прямо сюда.

Изабелла встала: ей почему-то не хотелось, чтобы он сейчас сел возле нее.

— А я как раз собиралась домой, — сказала она.

— Погодите, прошу вас — на свежем воздухе гораздо приятнее! Я приехал из Локли верхом. Чудесный выдался день!

Он улыбался необыкновенно дружеской, располагающей улыбкой и весь, казалось, излучал радость отменного самочувствия и отменной про? гулки верхом — радость жизни, которая произвела на Изабеллу столь чарующее впечатление в первый день их знакомства. Она окружала его, словно теплый июньский воздух.

— Тогда походим немного, — предложила Изабелла.

Ее не оставляла мысль, что он приехал с определенным намерением, и желание избежать объяснения боролось "в ней с не меньшим желанием удовлетворить свое любопытство. Его намерения уже однажды приоткрылись ей и, как мы знаем, вселили в нее немалую тревогу. Тревога эта была вызвана многими чувствами, отнюдь не всегда неприятными; она потратила два дня, разбираясь в них, и сумела отделить то, что было для нее привлекательным в «ухаживаниях» лорда Уорбертона, от того, что ее тяготило. Иной читатель, пожалуй, заключит, что наша героиня была не в меру тороплива и вместе с тем чересчур разборчива; но второе обвинение, если оно справедливо, очистит ее, пожалуй, от пятна, которое налагает на нее первое. Изабелла вовсе не спешила убедить себя, что этот земельный магнат, как при ней не раз называли лорда Уорбертона, сражен ее красотой; предложение, исходившее от такого лица, не столько разрешало трудности, сколько их создавало. Все говорило за то, что лорд Уорбертон — «персона», и она старалась разобраться, что это значит. Рискуя лишний раз навлечь на нашу героиню упрек в самонадеянно-

сти, мы все же не можем утаить тот факт, что сама возможность обожания со стороны «персоны» порою казалась Изабелле поползновением на ее личность, чуть ли не оскорбительным и, уж во всяком случае, в высшей степени неприятным. До сих пор среди ее знакомых не было «персон». Они не встречались на ее жизненном пути, возможно, потому, что такого рода лица не водились в ее родной стране. В основе личного превосходства, полагала Изабелла, лежит характер и ум — то, что может привлечь в мыслях человека и его речах. Она сама обладала характером, о чем прекрасно знала, а потому истинно высокая духовность в ее представлении определялась прежде всего нравственными категориями — т. е. качествами, в оценке которых она исходила из того, откликнется на них или нет ее возвышенная душа. Лорд Уорбертон маячил перед ней как нечто огромное и ослепительное, сочетающее в себе такие свойства и возможности, к которым ее простые мерки были неприложимы: здесь вступала в силу иная шкала ценностей — шкала, которую она, с ее обыкновением судить о вещах легко и быстро, не находила в себе терпения построить. Он словно требовал от нее чего-то такого, чего еще никто не осмеливался требовать. Этот земельный магнат,

этот политический туз возымел, как ей казалось, намерение вовлечь ее в свою орбиту, в которой существовал и вращался по собственным законам. Какой-то внутренний голос, не то что бы требовательный, а скорее убеждающий, говорил ей: не поддавайся! у тебя есть свой мир, своя орбита. Он нашептывал ей и другие слова, которые одновременно и перечеркивали и подкрепляли друг друга — слова о том, что она сделает неплохой выбор, доверив себя такому человеку, и что ей будет интересно войти в его мир и взглянуть на него его глазами, но что, с другой стороны, мир этот, несомненно, полон таких вещей, которые будут ежечасно лишь усложнять ей жизнь и вообще в своей косности и неразумности лягут на нее бременем. К тому же тут замешался некий молодой человек, который только что приехал из Америки; своей орбиты у него не было, но был характер, и она знала, что бесполезно даже пытаться убеждать себя, будто он не оставил следа в ее душе. Письмо в ее кармане свидетельствовало как раз об обратном. И все же — осмелюсь повторить — не смейтесь над этой простодушной девушкой из Олбани, раздумывавшей, принять ли ей предложение руки и сердца английского пэра — предложение, которое еще не было

сделано, — и склонной считать, что ей может представиться и лучший выбор. Изабелла верила в свою звезду, и если в ее умных рассуждениях было немало безрассудства, то, к радости строгих судей, спешим сообщить: позднее она набралась ума, но ценою таких безрассудств, что остается только взывать к милосердию.

Лорд Уорбертон был, по-видимому, готов ходить, сидеть — словом, делать все, что угодно Изабелле, в чем он тотчас заверил ее как джентльмен, для которого нет ничего приятнее исполнения светских обязанностей. Тем не менее он не вполне владел собой и, когда он молча шел с нею рядом, то и дело украдкой поглядывая на нее, эти взгляды и смех невпопад выдавали смущение. И раз мы снова коснулись этой темы, повторим уже сказанное нами — да, безусловно, англичане самый романтический в мире народ, и лорд Уорбертон намеревался подтвердить это собственным примером. Он намеревался сделать шаг, который должен был вызвать удивление всех и недовольство большинства его друзей, тем паче что на первый взгляд шаг этот мог показаться крайне необдуманным. Молодая особа, ступавшая с ним рядом по лужайке, приехала из несуразной заокеанской страны, которую

он достаточно изучил; о ее семье, о ее близких он имел самое смутное представление и знал о них только то, что они типичные американцы, а следовательно, люди незначительные и ему чуждые. Сама мисс Арчер не могла похвастать ни состоянием, ни тем типом красоты, от которой, по мнению толпы, мужчине простительно терять голову, к тому же, как он подсчитал, он провел в ее обществе каких-нибудь двадцать шесть часов. Итак — стойкость вспыхнувшего чувства, не желавшего уняться, несмотря на все имевшиеся к тому основания, и всеобщее осуждение, особенно со стороны той половины человечества, которой не терпится судить других, — таковы были итоги. И, взвесив все эти обстоятельства, лорд Уорбертон решительно отогнал от себя мысли о них, они так же мало значили для него, как розан в петлице. Счастлив тот, кому большую часть жизни удавалось без особых усилий не навлекать на себя неудовольствия друзей, потому что, когда понадобится пойти по иной стезе, это не будет скомпрометировано досадными воспоминаниями.

— Надеюсь, прогулка верхом доставила вам удовольствие, — сказала Изабелла, от которой не ускользнуло замешательство ее спутника.

— Огромное. Хотя бы потому, что она привела меня сюда.

— Вам так нравится Гарденкорт? — спросила Изабелла, все больше и больше убеждаясь, что он приехал объясниться; не желая побуждать его к этому, если он еще не решился, она вместе с тем старалась сохранить ясность мысли на случай, если он все же заговорит. Ей вдруг пришло на ум, что всего несколько недель назад она сочла бы подобную сцену чрезвычайно романтичной: парк в старинном английском поместье, на переднем плане — «знатнейший», как она полагала, лорд, признающийся в любви молодой особе, которая при ближайшем рассмотрении обнаруживала черты несомненного сходства с нею самой. Теперь, оказавшись героиней этой сцены, она тем не менее весьма успешно наблюдала ее со стороны.

— Гарденкорт нисколько меня не привлекает. Меня привлекаете здесь только вы.

— Но вы слишком мало меня знаете, чтобы иметь право так говорить, и я не верю в серьезность ваших слов.

Произнося такую фразу, Изабелла несколько кривила душой: она не сомневалась в искренности лорда Уорбертона, но, вполне сознавая это,

платила дань предвзятому мнению большинства людей, у которых столь скоропалительное признание вызвало бы удивление. Более того, если ей нужны были какие-то доказательства — а она и без того знала, что лорд Уорбертон не принадлежит к числу тех, кого называют вертопрахами, — тон, каким он произнес свой ответ, мог в полной мере послужить этой цели.

— Право в таких вопросах дает не время, мисс Арчер, а глубина чувств. Знай я вас три месяца, это ничего бы не изменило: я был бы так же уверен в своих чувствах, как теперь. Да, я видел вас очень мало, но мое впечатление о вас сложилось в первый же час нашего знакомства. Не теряя времени, я сразу же влюбился в вас. С первого взгляда, как пишут в романах: теперь-то я знаю, что это не просто образное выражение, и впредь буду относиться к романам с большим доверием. Два дня, что я провел здесь, решили все; не знаю, заметили ли вы это, но я с величайшим вниманием наблюдал — мысленно, разумеется, — за каждым вашим шагом. От меня не ускользнуло ни одно ваше слово, ни один ваш жест. А когда позавчера вы приехали в Локли — вернее, когда вы уехали, — у меня уже не осталось ни малейших сомнений. И все же я положил еще раз проверить

себя и строжайше допросить. Я это сделал — все эти дни я только этим и занимался. В таких вещах мне не свойственно ошибаться: я из разряда очень разумных животных. Я не легко загораюсь, но если сердце мое задето, это навсегда. Навсегда, мисс Арчер, навсегда, — повторил лорд Уорбертон так дружески, так ласково, так нежно, как никогда еще никто с Изабеллой не говорил, и глаза его, полные любви — любви, очищенной от всего низменного, от жара страсти, от исступления, от безрассудства, — сияли ровным тихим светом, точно защищенная от ветра свеча.

Пока он говорил, они, словно по молчаливому согласию, все замедляли и замедляли шаг, потом совсем остановились, и он взял ее руку в свою.

— Ах, лорд Уорбертон, вы так мало меня знаете! — сказала Изабелла очень мягко. И так же мягко отняла руку.

— Не корите меня этим, мне и без того грустно, что я недостаточно знаю вас и столько из-за этого упустил. Но я хочу наверстать упущенное и, мне кажется, избираю самый верный путь. Согласитесь стать моей женой, и я узнаю вас, и когда мне захочется сказать вам все то хорошее, что я о вас думаю, вы не сможете возразить, будто я говорю так по неведению.

— Вы мало меня знаете, — повторила Изабелла, — а я вас и подавно.

— Вы имеете в виду, что, в отличие от вас, я вряд ли выиграю при более близком знакомстве? Вполне возможно. Но поверьте, если уж я осмелился так говорить с вами, значит, я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вы были мною довольны. Ведь вы неплохо относитесь ко мне, не правда ли?

— Я очень хорошо к вам отношусь, лорд Уорбертон, — ответила Изабелла, и в эту минуту он и в самом деле был ей очень мил.

— Благодарю вас. Стало быть, в ваших глазах я не совсем чужой.

Право, я всегда вполне сносно справлялся со всеми другими своими обязанностями и не думаю, что оплошаю в той, которую беру на себя по отношению к вам, тем более что она мне приятней всех прочих. Спросите обо мне тех, кто меня знает: у меня много друзей, и они скажут вам обо мне доброе слово.

— Мне не нужны поручительства ваших друзей, — сказала Изабелла.

— Очень рад это слышать. Стало быть, вы доверяете мне?

— Всецело, — кивнула она, и на душе у нее ста-

ло как-то особенно светло, потому что это было действительно так.

Лицо ее спутника просияло улыбкой, он глубоко и радостно вздохнул.

— Пусть я лишусь всего, что у меня есть, если не оправдаю вашего доверия, мисс Арчер!

«Неужели он сказал это, чтобы напомнить мне, как он богат?» — подумала Изабелла, но тут же решительно отвергла эту мысль. Лорд Уорбертон, по собственному его выражению, «заминал» это обстоятельство, и, в самом деле, он мог быть вполне спокоен, что оно не ускользнет из памяти его собеседника, тем паче собеседницы, которой он предлагал руку и сердце. Изабелле, которая с самого начала напрягала все силы, чтобы не разволноваться, удавалось сохранять ясную голову, так что даже слушая его и соображая, как лучше ему ответить, она нет-нет да позволяла себе удовольствие оценить его несколько критически. «Что же сказать?» — спрашивала она себя. Ей от души хотелось сказать ему что-нибудь не менее ласковое, чем то, что сказал ей он. Слова его не оставляли сомнений: Изабелла чувствовала, что — по какой-то непостижимой причине — в самом деле была ему дорога.

— Не знаю, как выразить вам мою призна-

тельность, — решилась она наконец. — Ваше предложение — большая честь для меня.

— Только не это! — вырвалось у него. — Я так и знал, что вы скажете что-нибудь в таком роде. Зачем вы это говорите? Зачем выражаете мне признательность? Напротив, это я должен вас благодарить за то, что вы согласились выслушать меня: ведь мы едва знакомы, а я уже обрушиваю на вас свои излияния. Что и говорить, это серьезный вопрос, и я понимаю, мне легче задать его, чем вам на него ответить. Но то, как вы слушали меня — или хотя бы то, что вы вообще выслушали меня, — позволяет мне надеяться.

— Не надо слишком надеяться, — сказала Изабелла.

— О мисс Арчер! — пробормотал лорд Уорбертон, снова улыбаясь, но сохраняя всю свою серьезность, словно такого рода предостережение вполне могло быть вызвано игрой ликующих чувств, бьющей ключом радостью.

— А если я скажу, что не надо надеяться, совсем не надо, это вас очень поразит?

— Поразит? Не знаю, что вы разумеете под этим словом. Это не поразит меня, а сразит.

Изабелла опять двинулась по дорожке, минуту другую она хранила молчание.

— Я уверена, что, хотя и так очень ценю вас, познакомься мы покороче, вы только выросли бы в моих глазах. Но я отнюдь не уверена, что вас не постигнет разочарование. Я говорю так не из ложной скромности, а совершенно искренно.

— Я готов пойти на риск, мисс Арчер, — возразил ее спутник.

— Это, как вы сказали, серьезный вопрос. Очень трудный вопрос

— А я и не рассчитываю, что вы тотчас дадите мне ответ. Думайте, сколько считаете нужным. Если я выиграю от ожидания, я с радостью готов ждать и ждать. Только помните: от вашего ответа зависит счастье всей моей жизни.

— Мне не хотелось бы держать вас в неопределенности.

— Ну что вы! Я предпочту услышать добрую весть через полгода, чем дурную сейчас.

— Но вполне возможно, что и через полгода весть не будет доброй в вашем понимании.

— Но почему? Вы же сами сказали, что относитесь ко мне хорошо

— Вне всяких сомнений, — подтвердила Изабелла.

— За чем же дело стало? Чего еще вам искать?

— Дело не в том, чего я ищу, а в том, смогу ли

я дать вам то, чего ищете вы. Мне кажется, я не подхожу вам, право же, не подхожу.

— Пусть вас это не беспокоит. Позвольте мне решать. К чему быть большим роялистом, чем сам король?

— И не только это, — продолжала Изабелла. — Я еще не знаю, хочу ли вообще выйти замуж.

— Наверное, не знаете. Не сомневаюсь, что многим молодым женщинам поначалу вовсе не хочется выходить замуж, — возразил его светлость, хотя, кстати сказать, вовсе не считал это утверждение аксиомой, а просто пытался скрыть охватившее его волнение. — Но они почти всегда дают себя уговорить.

— Да, но потому что хотят этого, — усмехнувшись, сказала Изабелла Лорд Уорбертон изменился в лице и несколько мгновений молча смотрел на нее.

— Боюсь, что причина ваших колебаний иная, — вдруг сказал он. — Я — англичанин, а ваш дядюшка, как мне известно, считает, что вам следует выйти замуж у себя на родине.

Изабелла не без интереса выслушала эту новость: ей и в голову не приходило, что мистер Тачит станет обсуждать ее матримониальные планы с лордом Уорбертоном.

— Он сам вам это сказал?

— Да, он как-то высказался в этом духе. Но, возможно, речь шла об американках вообще.

— Однако ему самому жизнь в Англии как будто очень нравится. Хотя по тону высказывание это звучало несколько строптиво, означало оно только то, что по ее наблюдениям дядя, по крайней мере внешне, вполне доволен своей судьбой, — и еще, что она отнюдь не склонна придерживаться какой-либо одной, ограниченной точки зрения. Но в лорда Уорбертона ее слова вселили надежду, и он тут же с живостью воскликнул:

— Ах, дорогая мисс Арчер, поверьте, наша старая добрая Англия — отличная страна. И станет еще лучше, когда мы ее чуть-чуть подновим.

— Не надо ее подновлять, лорд Уорбертон, не надо ничего трогать. Мне она нравится такая, какая есть.

— Но, если вам здесь нравится, тогда я уже совсем отказываюсь понять, почему вы не хотите принять мое предложение.

— Боюсь, я не сумею вам это объяснить.

— Но попытайтесь хотя бы. Я довольно понятлив. Может быть, вас пугает… пугает климат? Мы можем поселиться в другой стране. Вы выберете себе какой угодно климат, в любой ч"-.с" и света.

В этих словах была такая безмерная искренность и доброта, как в объятиях сильных рук, — Изабелле даже показалось, что вместе с его чистым дыханием на нее повеяло запахом неведомых садов, крепкой свежестью ветра. Она многое отдала бы сейчас, чтобы ей захотелось прямо и просто сказать ему: «Лорд Уорбертон, в этом удивительном мире я не знаю для себя лучшей доли, чем с благодарностью довериться вашей любви». Но хотя успех кружил ей голову, она все же сумела отступить и укрыться от его лучей в густую тень, как попавший в неволю дикий зверек, запертый в просторной клетке. «Великолепная» будущность, которую ей предлагали, *не была* пределом ее мечты. И слова, которые она наконец произнесла, были совсем иными — они просто отдаляли необходимость одним ударом разрубить этот узел.

— Надеюсь, вы не посетуете на меня, если я попрошу больше не говорить об этом сегодня.

— Конечно, конечно! — поспешил согласиться ее спутник. — Я ни за что на свете не хотел бы докучать вам.

— Мне придется о многом подумать, и, обещаю вам, я отнесусь к вашему предложению очень серьезно.

— Только об этом я и прошу вас, только об этом. И еще, помните: мое счастье всецело в ваших руках.

Изабелла с должным вниманием выслушала его слова, что, однако, не помешало ей минутой спустя добавить:

— Не скрою, что буду думать о том, какими словами сказать вам, почему ваша просьба невыполнима, — как сказать вам это, не слишкем вас огорчив.

— Таких слов нет, мисс Арчер. Не буду утверждать, что ваш отказ убьет меня, нет, я не умру от этого. Но мне не для чего будет жить, а это еще хуже.

— Вы будете жить и женитесь на женщине, которая лучше меня

— Пожалуйста, не надо, — очень серьезно сказал лорд Уорбертон. — Вы несправедливы и к себе, и ко мне.

— Ну тогда на женщине, которая хуже меня.

— Возможно, есть женщины лучше вас, — продолжал он, не меняя тона, — но мне они не по нраву. Вот все, что я могу сказать. У каждого свой вкус.

Его серьезность сообщилась ей, и высказала она это тем, что снова попросила его пока не

касаться этой темы.

— Я сама вам отвечу — очень скоро. Может быть, напишу.

— Как вам удобнее, как вам удобнее, — ответил он. — Время будет тянуться для меня медленно, но ничего не поделаешь, придется набраться терпения.

— Я не буду долго держать вас в неизвестности, вот только соберусь с мыслями.

Он с грустью вздохнул и, остановившись, посмотрел на нее долгим взглядом; в его заложенных за спину руках нервно ходил стек.

— Знаете, я начинаю бояться — да, бояться вашего необыкновенного характера.

При этих словах — хотя биограф нашей героини вряд ли сумеет растолковать почему — Изабелла вздрогнула и покраснела. Подняв на своего спутника глаза, она тоном, чуть ли не молившим о сочувствии, произнесла:

— Я тоже, милорд!

Однако это странное восклицание не вызвало в нем отклика: вся жалость, какой он располагал, нужна была сейчас ему самому.

— Помилосердствуйте! — чуть слышно сказал он.

— Мне кажется, сейчас нам лучше расстать-

ся, — сказала Изабелла. — Я напишу вам.

— Благодарю. Но что бы вы ни написали — я все равно приеду еще раз вас повидать.

Он постоял в раздумье, устремив взгляд на пытливую мордочку Банчи, который всем своим видом выражал, что понял, о чем шла речь, и теперь готов искупить подобную нескромность утроенным интересом к корням векового дуба.

— И еще я хочу вам сказать, — снова начал он. — Если вам не нравится Локли… если дом кажется вам сырым и вообще… вы можете вовсе не бывать там. Кстати сказать, дом не сырой: я велел осмотреть его от подвалов до чердака — он вполне надежен и прочен. Но если он не по душе вам, нет нужды даже и думать о нем. Нам есть где жить и помимо Локли — домов хватит. Впрочем, это все к слову. Видите ли, многих людей тяготит ров. До свидания.

— Что вы, я от него в восторге. До свидания.

Он протянул руку, и на какое-то мгновенье она дала ему свою — мгновенье, которого было достаточно, чтобы, сняв шляпу и склонив свою красивую голову, он коснулся ее пальцев губами. Затем, сдерживая волнение, которое выдавали только резкие взмахи стека в его руке, он быстро пошел прочь. Он явно был очень расстроен.

Изабелла сама была расстроена, и все же это объяснение взволновало ее куда меньше, чем она того ожидала. Ни чувства ответственности, ни страха перед сложностью выбора она не испытывала. Выбирать собственно было не из чего: она не могла выйти замуж за лорда Уорбертона, потому что такое замужество не вязалось с ее просвещенным идеалом свободного познания жизни, которому она уже начала или, во всяком случае, получила теперь возможность следовать. Вот это-то ей нужно будет ему написать, убедить его — задача сравнительно простая. Ее тревожило, вернее, поражало другое: как мало ей стоило отказаться от такой великолепной «будущности». Что ни говори, а предложение лорда Уорбертона открывало перед ней огромные возможности, и пусть союз с ним, несомненно, мог иметь свои недостатки, свои теневые стороны и стеснительные неудобства, мог даже окутать душу тяжелым дурманом, Изабелла нисколько не грешила против женщин, полагая, что девятнадцать из двадцати, не колеблясь, вступили бы в этот брак. Почему же для нее он не имел никакой притягательной силы? Кто она и по какому праву ставит себя над другими? Чего хочет от жизни, чего ждет от судьбы, какого счастья ищет, если

мнит себя выше такого высокого, такого сказочного положения? Если она отказывается сделать этот шаг, значит, должна сделать в жизни что-то очень большое, что-то неизмеримо большее. У бедняжки были основания то и дело напоминать себе о грехе гордыни, и она искренне молила бога отвести от нее этот грех: отчужденность и одиночество гордых вселяли в ее душу не меньший ужас, чем безлюдная пустыня. Нет, она отвергала лорда Уорбертона не из гордыни, такая betise[30] была бы непростительна, а так как Изабелла и в самом деле питала к нему искреннюю симпатию, то и пыталась уверить себя, что не принимает его предложения из самых лучших побуждений и добрых к нему чувств. Дело в том, что она слишком хорошо относится к нему, чтобы выйти за него замуж; сердце говорит ей, что в очевидной — с *его* точки зрения — логичности рассуждений таится какая-то ошибка, хотя она и не может в точности на нее указать; наконец, просто бесчестно наградить человека, предлагающего так много, скептически настроенной женой. Она обещала ему подумать и теперь, вернувшись после его ухода на ту скамью, где он застал ее,

[30] Примечания: 30
глупость *(фр.)*.

погрузилась в раздумье. Казалось, она старается сдержать свое слово, но это было не так. Изабелла спрашивала себя, неужели она черствая, самовлюбленная ледышка? Наконец она поднялась и быстро пошла к дому, чувствуя, как позже призналась подруге, что в самом деле боится себя.

13

Именно это чувство, а не желание получить совет, которого она вовсе не искала, побудило Изабеллу рассказать дяде о предложении лорда Уорбертона. Ей необходимо было излиться кому-то, чтобы почувствовать себя более простой, более человечной, и для этой цели она избрала дядю, а не тетушку или свою подругу Генриетту. Разумеется, она могла бы избрать поверенным и Ральфа, но ей стоило бы больших усилий открыть ему именно этот секрет. И вот на следующее утро после завтрака она напросилась на аудиенцию к дяде. Мистер Тачит имел обыкновение не выходить до обеда, но его «закадычным», как он выражался, не возбранялось к нему заглядывать. Изабелла вполне могла числить себя среди этих избранных, к которым, помимо нее, относились сын старого джентльмена, его личный врач, его лакей и даже мисс Стэкпол. Миссис Тачит в этом списке не значилась, и следовательно, из тех, кто мог бы помешать Изабелле поговорить с дядей наедине, было одним лицом меньше. Когда Изабелла вошла в гостиную, дядя сидел у рас-

пахнутого окна в кресле сложной конструкции и, обратив взгляд на запад, любовался парком и Темзой; газеты и стопка писем лежали рядом, он был свежевыбрит, тщательно одет, и на его гладком задумчивом лице обозначалось выражение доброжелательного интереса.

Изабелла не стала ходить кругом да около.

— Я думаю, мне следует сказать вам, что лорд Уорбертон сделал мне предложение. Наверное, мне следует сказать об этом и тетушке, но я предпочитаю сообщить вам первому.

Дядя не выразил удивления, поблагодарил за доверие, которое она ему оказала, и, помолчав, спросил:

— А можно, если не секрет, узнать, что ты ему ответила?

— Я не сказала ни «да», ни «нет» и попросила дать мне время подумать; мне кажется, так учтивее. Но я не пойду за него.

Мистер Тачит ничего не сказал ей на это, и по выражению его лица можно было заключить, что при всем живейшем интересе к ее делам он не считает себя вправе в них вмешиваться.

— Вот видишь, я недаром предсказывал тебе большой успех. Американки здесь высоко ценятся.

— Да, очень высоко, — сказала Изабелла. — Но даже если меня обвинят в дурном вкусе и неблагодарности, за лорда Уорбертона я вряд ли пойду.

— Разумеется, в моем возрасте, — продолжал ее дядя, — трудно смотреть на мир глазами молодой девушки. Я рад, что ты пришла ко мне не за советом, а уже приняв решение. Наверное, мне тоже следует сказать тебе, — произнес он медленно, но как бы не придавая этому большого значения, — что я уже три дня об этом знаю.

— О намерениях лорда Уорбертона?

— О серьезности его намерений, как здесь принято говорить. Он написал мне милейшее письмо и все в нем изложил. Может, ты хочешь его прочесть? — любезно предложил дядя.

— Нет, благодарю. Мне, пожалуй, незачем его читать. Но я рада, что лорд Уорбертон написал вам, ведь он должен был это сделать, а он, наверное, все делает, как должно.

— Однако он тебе нравится, как я погляжу! — сказал мистер Тачит. — И пожалуйста, не вздумай отпираться.

— Очень нравится. Я охотно в этом сознаюсь. Просто я сейчас еще не хочу выходить замуж.

— Думаешь встретить другого, кто тебе больше понравится? Что ж, это вполне может случить-

ся, — сказал мистер Тачит, который, по-видимому, хотел обласкать племянницу, оправдав ее в принятом решении и подыскав для него разумную причину.

— Дело не в том, кого я встречу. Мне и лорд Уорбертон очень нравится.

И Изабелла сразу же напустила на себя такой вид, будто решительно переменила прежнюю точку зрения, — вид, который нередко вызывал удивление и даже раздражение у ее собеседников. Но у ее дядюшки это не вызвало ни того ни другого.

— Лорд Уорбертон — превосходный человек, — продолжал он тоном, который вполне можно было счесть одобрительным. — Такого милого письма я уже давно не читал. И, что мне особенно понравилось, оно все посвящено тебе — разумеется, кроме той части, где он пишет о себе самом. Но он, вероятно, уже сказал тебе об этом?

— Он сказал бы мне все, о чем бы я его ни спросила, — ответила Изабелла.

— Но ты не проявила любопытства?

— Это было бы праздное любопытство — ведь я решила не выходить за него замуж.

— Его предложение показалось тебе недостаточно заманчивым? — спросил мистер Тачит.

Изабелла помолчала.

— Нет, оно заманчиво, — вдруг призналась она. — Только не знаю чем.

— К счастью, девушки не обязаны давать объяснения, — сказал дядя. — Конечно, в таком предложении много заманчивого, но я никак не возьму в толк, зачем англичанам сманивать нас из нашей родной страны? Когда мы стараемся заполучить их к себе — это понятно: у нас не хватает населения. А здесь, знаешь ли, и так слишком тесно, впрочем, для очаровательных девушек, надо полагать, везде найдется место.

— Для вас здесь тоже нашлось место, — сказала Изабелла, обводя взглядом разбитый на английский лад огромный парк.

Мистер Тачит улыбнулся с лукавой многозначительностью.

— Тому, кто платит, дорогая, всюду найдется место. Иногда мне кажется, я заплатил за все это слишком дорого. Возможно, тебе тоже придется за все платить дорогой ценой.

— Возможно, — откликнулась Изабелла.

Последнее замечание дядюшки дало больше пищи ее уму, чем собственные мысли: он отнесся к ее дилемме мягко, но весьма проницательно, а это, как ей казалось, служило доказательством

того, что владевшие ею чувства естественны и разумны, подсказаны жизнью, а не досужими умствованиями или тщеславными помыслами — помыслами, уводящими от заманчивого предложения лорда Уорбертона к чему-то неясному и, кто знает, не очень похвальному. Говоря о чем-то неясном, мы отнюдь не имеем в виду, что Изабеллой руководило в этот момент желание, пусть даже неосознанное, соединиться с Каспаром Гудвудом; напротив, отказываясь отдать себя в большие надежные руки английского претендента, она в равной мере не была склонна позволить молодому человеку из Бостона завладеть ее персоной. Прочитав его письмо, она почти с досадой подумала о его появлении за границей и попыталась в этом чувстве найти защиту от него; влияние Каспара Гудвуда на нее частично в том и заключалось, что при нем она словно утрачивала свою свободу. Он вторгался в ее жизнь с чересчур неуемной напористостью, с какой-то тупой навязчивостью. Временами ее преследовала, даже сковывала мысль, что она может вызвать его неодобрение, и она — никогда особенно не обращавшая внимание на то, что скажут другие, — вдруг спрашивала себя, а понравятся ли ему ее поступки? Противостоять

ему было трудно еще и потому, что больше всех других знакомых ей мужчин, больше бедного лорда Уорбертона (Изабелла уже наградила его светлость этим эпитетом) Каспар Гудвуд казался ей воплощением энергии — а она уже понимала, что энергия есть источник силы, — проникавшей весь его состав. Тут дело было не в его «преимуществах», а в том одушевлении, которое глядело из его блестящих глаз, словно неутомимый дозорный из окна. Нравилось ли это Изабелле или нет, Каспар Гудвуд неизменно стоял на своем, пуская в ход всю свою напористость, весь свой вес, и даже в самых обыденных вещах приходилось считаться с ним. И сейчас, когда она так твердо провозгласила свою независимость, не побоявшись сначала всесторонне рассмотреть, а затем отвергнуть огромную взятку, которую протягивал ей лорд Уорбертон, мысль о стесненной свободе была ей особенно невыносима. Порой Изабелле казалось, что именно Каспар Гудвуд назначен ей судьбой, что он — упрямейший факт ее жизни, и в такие минуты она говорила себе: если даже удастся на время ускользнуть от него, все равно, рано или поздно, придется принять его условия — условия, которые, несомненно, будут выгодны для него. Она бессознательно цеплялась

за все, что могло бы воспрепятствовать такому договору, и это сыграло не последнюю роль в том, с какой готовностью она приняла приглашение тетушки: получив его как раз в то время, когда к ней со дня на день должен был явиться Гудвуд, она с радостью ухватилась за возможность иметь наготове ответ на предложение, которое он, несомненно, ей сделает. Когда в тот вечер в Олбани после посещения миссис Тачит, предложившей ей «Европу», она, ошеломленная открывшимися перед ней возможностями, сказала ему, что не может сейчас решать столь сложные вопросы, он отказался принять такой ответ и теперь пересек океан в надежде получить более благоприятный. Молодой романтической девице, многое принимавшей на веру в Каспаре Гудвуде, простительно убедить себя, что он — ее рок, но читатель вправе получить о нем представление более подробное и отчетливое.

Он был сыном владельца широко известных массачусетских бумагопрядильных фабрик, составившего себе на них изрядное состояние, и в последнее время управлял отцовскими предприятиями, причем с такой хваткой и умом, что они, невзирая на жестокую конкуренцию и застой в делах, продолжали процветать. Образование

он получил главным образом в Гарварде, где, впрочем, отличался не столько усердием в сборе колосьев на ниве знаний, сколько отменными успехами в гимнастике и гребле. Позднее, правда, он понял, что и развитый ум способен ловко поворачиваться, делать прыжки, напрягаться, способен даже ставить рекорды, воспитав себя для высоких свершений. И тогда, обнаружив в себе дар проникать в тайны механики, он нашел способ усовершенствовать прядильный процесс, и это усовершенствование стали широко применять и назвали его именем, которое вы, возможно, встречали на страницах газет, немало писавших о выгодном изобретении Гудвуда. Во всяком случае, Каспар не преминул показать Изабелле номер нью-йоркского «Интервьюера» с большой статьей о своем патенте — статьей, подготовленной, кстати сказать, не мисс Стэкпол, несмотря на все ее дружеское участие к его более задушевным делам. Ему доставляли удовольствие сложные, головоломные задачи, он любил организовывать, состязаться, руководить, умел заставить других исполнять его волю, верить в него, пролагать ему путь и оправдывать его действия. В этом, по общему мнению, и состоит искусство управлять людьми, которое в случае

Каспара Гудвуда поддерживалось дерзким, но вполне практичным честолюбием. Те, кто знал его короче, считали, что он способен на большее, чем возиться с «нитками-тряпками», — чем-чем, а тряпкой он не был, и друзья ни минуты не сомневались, что когда-нибудь и где-нибудь он еще впишет свое имя в историю большими буквами. Но на это его, очевидно, должно было подвигнуть столкновение с чем-то огромным и хаотичным, с чем-то темным и уродливым: Каспар в общем был не в ладу с окружающим его миром самодовольной успокоенности, алчности и наживы, с образом жизни, альфой и омегой которого стала всепроникающая реклама. Изабелле приятно было думать, что он мог бы нестись на стремительном коне в вихре великой войны — такой, как Гражданская война, омрачившая первые годы ее сознательного существования и его ранней юности.

Во всяком случае, ей нравилось считать, что по складу характера, да и по образу действий Каспар Гудвуд — вожак, предводитель, и это импонировало ей больше всех других его свойств и статей. Бумагопрядильные фабрики Гудвуда нисколько ее не интересовали, а патент оставлял и вовсе равнодушной. Она ценила в нем муже-

ственность, но при этом считала, что, будь у него слегка иная внешность, он выглядел бы куда привлекательней. Слишком тяжелый квадратный подбородок и не в меру прямая, деревянная осанка выдавали натуру, не способную слышать глубинные ритмы жизни. И его манера одеваться всегда на один и тот же лад не вызывала ее одобрения. Не то что бы он подолгу носил одно платье — напротив, вещи его имели даже слишком новый вид, но все они казались одинаковыми: из скучного-прескучного сукна и все одного и того же кроя. Вначале Изабелла не раз корила себя, напоминая, что к столь значительному человеку смешно придираться по пустякам, но позже решила, что не права: эти придирки мало чего стоили бы, будь она влюблена в него. Но она не была в него влюблена и, стало быть, имела право критиковать любые его недостатки, малые равно как и крупные, к числу которых она относила прежде всего его чрезмерную серьезность — вернее, не серьезность как таковую, ибо это свойство не может быть чрезмерным, а то, как он ее проявлял. Он слишком прямо и откровенно заявлял о своих желаниях и намерениях, слишком много говорил об одном и том же, оставшись с ней наедине, а на людях говорил слишком мало.

И все же он был в высшей степени сильный и чистый человек, что само по себе уже очень много: Изабелла видела все его свойства по отдельности, как в музеях и на портретах видела отдельные, хотя и плотно пригнанные части рыцарских доспехов — бронь из стальных, искусно инкрустированных золотом пластин. Но, странное дело, ее поступки не определялись ее впечатлениями. Каспар Гудвуд никогда не отвечал ее идеалу джентльмена, и оттого она естественно весьма критически относилась к нему. Но вот теперь лорд Уорбертон, который не только воплощал, но во многом превосходил этот идеал, домогался ее признания, а она по-прежнему чувствовала какую-то неудовлетворенность. И это поистине было непонятно.

Как бы там ни было, но сознание собственной непоследовательности не помогало сочинить письмо мистеру Гудвуду, и она решила пока не удостаивать его ответом. Он осмелился преследовать ее, так пусть и не ропщет, пусть знает, как мало прельщает ее перспектива видеть его в Гарденкорте. Она уже подверглась здесь атакам одного поклонника, а как ни приятно вызывать восхищение столь несхожих лиц, тем не менее ей казалось несколько вульгарным отвечать

двум страстным просителям одновременно, даже если в обоих случаях ответ сводился к тому, что она отклоняла их домогательства. Она так и не откликнулась на послание мистера Гудвуда, но к концу третьего дня написала лорду Уорбертону, и письмо это неотделимо от нашей истории.

Дорогой лорд Уорбертон!

Сколько я ни думала над предложением, которым третьего дня Вы удостоили меня, решение мое осталось прежним. Я не могу, по чести и совести не могу, избрать Вас спутником своей жизни, как не могу считать Ваш дом – любой из Ваших домов – местом, где мне хотелось бы поселиться навсегда. Спорить о таких вещах бесплодно, и я очень прошу Вас не касаться более этой темы, которую мы уже полностью обсудили. Каждый из нас смотрит на жизнь со своей точки зрения – это право, которым пользуются даже самые слабые, самые ничтожные люди, – и я никогда не смогу сменить ее на ту, которую предлагаете Вы. Прошу Вас удовлетвориться этим объяснением и поверить, что я отнеслась к Вашему пред-

ложению с тем глубочайшим вниманием, какого оно заслуживает. Неизменно и искренне расположенная к Вам.

Изабелла.

Пока сочинительница сей эпистолы раздумывала, отослать ее или нет, Генриетта Стэкпол предприняла некие шаги, правильность которых не вызывала у нее ни малейших сомнений. Она пригласила Ральфа Тачита пройтись с ней по парку и, тут же получив согласие, которое как будто свидетельствовало о его великих упованиях, сообщила ему, что намерена просить об услуге. Не смеем скрывать, что при этом сообщении сердце молодого человека ушло в пятки: мы знаем, что он считал Генриетту способной добиваться цели любой ценой. Однако, не видя оснований для опасений (ибо пределы ее нескромных притязаний были ему известны не более, чем их глубины), он самым галантным образом выразил желание быть ей полезным. Генриетта внушала ему подлинный страх, о чем он не преминул тут же ей сообщить:

— Когда вы смотрите на меня так, у меня начинают дрожать колени и язык прилипает к гортани, я трепещу и молю только о том — чтобы

у меня хватило сил исполнить ваши приказы. Ни одна женщина не умеет отдавать их так, как вы.

— Ну-ну, — добродушно отозвалась Генриетта. — Я отлично знаю, что вы из кожи лезете, чтобы смутить меня, не знай я этого раньше, так поняла бы сейчас. Конечно, со мной это вам легко удается: я ведь с детства воспитана в других понятиях и привычках. Мне странны ваши вольные нравы, и в таком тоне, как вы, со мной у нас никто не разговаривал. Если бы какой-нибудь джентльмен в Америке позволил себе заговорить со мной так, даже не знаю, как я с ним поступила бы. У нас люди естественнее и, если хотите, не в пример проще. Признаюсь, я и сама человек простой. Конечно, если вам нравится потешаться над моей простотой, сделайте одолжение, но, как бы там ни было, я предпочитаю быть собою, а не вами. Я вполне довольна тем, какая я есть, и не намерена меняться. И очень многим людям я нравлюсь такая, как есть. Правда, это все мои добрые простодушные соотечественники — свободнорожденные американцы. — В последнее время Генриетта усвоила себе тон оскорбленной невинности и благодушной уступчивости. — Так вот, я прошу вас помочь мне, — продолжала она. — Мне совершенно все равно, будете ли

вы, выполняя мою просьбу, забавляться на мой счет или нет, вернее, я согласна позабавить вас, и пусть это будет вам наградой. Я хочу, чтобы вы помогли мне в одном деле, которое касается Изабеллы.

— Она чем-нибудь обидела вас? — спросил Ральф.

— В этом случае я простила бы обиду и уж вряд ли стала бы обращаться к вам. Я опасаюсь другого — чтобы она себя не обидела.

— Ваши опасения вполне основательны, — сказал Ральф.

Его собеседница остановилась посреди дорожки и устремила на него тот самый взгляд, от которого он неизменно терялся.

— Наверно, это тоже доставило бы вам случай позабавиться. Послушать только, как бы говорите о таких вещах! В жизни не встречала более равнодушного человека!

— Равнодушного к Изабелле? Ну нет.

— Надеюсь, вы не влюблены в нее?

— Как можно! Ведь я влюблен в другую!

— Вы влюблены в самого себя. В другого, а не в другую! — заявила мисс Стэкпол. — Только много ли вам от этого проку. Но если вы способны хоть раз в жизни попытаться быть серьезным, вот вам

случай. И если вы действительно хотите вашей кузине добра, вот вам возможность доказать это делом. Я не рассчитываю, что вы поймете ее — это было бы слишком большое усилие с вашей стороны, но чтобы выполнить мою просьбу, никакого усилия не требуется. Я растолкую вам все, что нужно.

— Сделайте милость! — воскликнул Ральф. — Я буду Калибаном,[31] а вы — Ариэлем.[32]

— Какой из вас Калибан! Вы все мудрите, а Калибан был прост. К чему тут вымышленные образы! Я говорю об Изабелле, а Изабелла вполне реальна. И я хотела сказать вам, что нашла ее сильно изменившейся.

— После вашего приезда, хотите вы сказать?

— И после моего приезда, и до моего приезда. Она не та чудесная девушка, какой была прежде.

— Не та, что была в Америке?

— Да, в Америке. Полагаю, вам известно, что она оттуда родом. С этим ничего не поделаешь, хоть она и пытается.

— Вам хотелось бы сделать ее снова такой, ка-

---

[31] Примечания: 31

Калибан — персонаж из драмы Шекспира «Буря», дикарь, олицетворяющий злое начало в человеке, злой дух.

[32] Примечания: 32

Ариэль — персонаж из той же драмы Шекспира, добрый дух.

кой она была?

— Конечно. И вы должны мне в этом помочь.

— Увы, — сказал Ральф. — Я только Калибан, а не Просперо.[33]

— В вас достало Просперо, чтобы сделать ее такой, какая она сейчас. Это вы повлияли на Изабеллу Арчер. Вы все время старались влиять на нее, с самого ее приезда сюда, мистер Тачит.

— Я, моя дорогая мисс Стэкпол? Помилуйте! Это Изабелла Арчер повлияла на меня, как она на всех здесь влияет. Но я — я был совершенно пассивен.

— В таком случае вы чересчур пассивны. Не мешало бы проснуться и протереть глаза. Изабелла меняется с каждым днем, она отдаляется, уходит все дальше и дальше. Уж я-то вижу, что с ней происходит. В ней уже почти ничего не осталось от прежней жизнелюбивой американки. Новые мысли, новые взгляды, забвение прежних идеалов. Нужно спасти ее идеалы, мистер Тачит, и вот тут-то вы и должны сыграть свою роль.

— Надеюсь, не в качестве идеала?

---

[33] Примечания: 33

Просперо — персонаж из той же драмы Шекспира — мудрец, владеющий тайнами белой магии, которую он использует для того, чтобы пробуждать добрые чувства, обращать злых в добрых, утверждать любовь и согласие между людьми.

— Разумеется, нет, — отрезала Генриетта. — Я все время боюсь, как бы она не выскочила замуж за какого-нибудь бездушного европейца, и хочу помешать этому.

— А, понимаю! — воскликнул Ральф. — Вы хотите помешать этом} и просите меня вмешаться, женившись на ней самому?

— Вовсе нет — такое лекарство хуже болезни, потому что вы — воплощение тех бездушных европейцев, от которых я хочу спасти ее. Нет, я стремлюсь возродить в ней интерес к другому лицу — к молодому человеку, к которому она раньше очень благоволила, а теперь решила, что он ей не пара. Превосходнейший человек, к тому же ближайший мой друг, и я хочу, чтобы вы пригласили его сюда.

Ходатайство это показалось Ральфу более чем странным, и поначалу он — что вряд ли свидетельствует о бескорыстии его помыслов — не сумел принять его за чистую монету. Он заподозрил какой-то подвох и, следовательно, был сам виноват, если не понял, что просьба, подобная просьбе мисс Стэкпол, могла быть вполне искренней. И в самом деле, когда молодая женщина просит создать возможность молодому мужчине, которого называет своим ближайшим другом, добиваться

благосклонности другой женщины, свободной от привязанностей и намного красивее ее самой, не истолковать столь противоестественный поступок в дурную сторону очень нелегко. Читать между строк легче, чем разбираться в тексте, и если бы Ральф счел, что, прося пригласить американца в Гарденкорт, мисс Стэлпол хлопочет о себе самой, он проявил бы даже не пошлость, а скорее заурядность ума, но он сумел уберечься от подобной заурядности — пусть даже простительной в его обстоятельствах, — уберечься благодаря тому, что я затрудняюсь назвать иначе, как наитием. Не располагая никакими сведениями, кроме уже имевшихся, он вдруг пришел к убеждению, что было бы в высшей степени несправедливо приписывать поступкам корреспондентки «Интервьюера» какую-нибудь корыстную цель. И это убеждение быстро укоренялось в его душе — возможно, под воздействием сияющих и невозмутимых глаз Генриетты Стэкпол. На мгновенье он принял их вызов, скрестив с ней взгляды и стараясь не щуриться — как щурился бы всякий глядящий в упор на яркий светильник.

— Как зовут этого джентльмена, о котором вы говорите?

— Мистер Каспар Гудвуд, из Бостона. Он был

всегда чрезвычайно внимателен к Изабелле, предан ей всей душой. Он приехал сюда вслед за ней и сейчас находится в Лондоне. Адрес мне неизвестен, но, думаю, его можно узнать.

— Я никогда не слышал об этом джентльмене, — сказал Ральф.

— А разве вы о всех слышали? Вероятно, он тоже о вас никогда не слышал, но это еще не причина, почему ему не жениться на Изабелле.

— Однако у вас просто страсть женить людей, — чуть иронически улыбнулся Ральф. — Не далее как позавчера вы советовали *мне* жениться. Помните?

— Я оставила эту мысль. Вы плохо воспринимаете такие советы. В отличие от Каспара Гудвуда: он принимает их как надо, и вот это-то мне в нем мило. Он великолепный человек и настоящий джентльмен. Изабелла это знает.

— Он очень ей нравится?

— Если нет, то нужно, чтобы понравился. Он просто бредит ею.

— И вы хотите, чтобы я пригласил его сюда, — сказал Ральф задумчиво.

— Вы проявили бы подлинное радушие.

— Каспар Гудвуд, — продолжал Ральф. — Зна-

менательное имя.[34]

— Дело не в имени. Если бы его звали Иезекииль Дженкинс, я говорила бы о нем так же. Он единственный из всех известных мне мужчин, которого я считаю достойным Изабеллы.

— Вы исключительно преданный друг, — сказал Ральф.

— Несомненно. Если вы сказали это, чтобы задеть меня, так знайте: ваше мнение мне безразлично.

— Я не собирался задевать вас. Просто я поражен.

— И еще более сардоничен, чем всегда! Не советую вам смеяться над мистером Гудвудом.

— Уверяю вас, я совершенно серьезен, неужели вы этого не понимаете, — сказал Ральф.

И его собеседница поняла.

— Да, по-видимому, даже слишком серьезны.

— Вам трудно угодить.

— Вы и в самом деле очень серьезны. Вы реши-

---

[34] Примечания: 34

Каспар Гудвуд… Знаменательное имя. — Гудвуд (Goodwood) — буквально означает «хорошее (доброе) дерево». Джеймс широко использует в романе «говорящие имена». Так, фамилия главной героини Арчер (Archer) буквально означает «лучница» — имя, за которым угадывается намек на римскую богиню Диану, символ женской независимости. Мерль — французское дрозд, английское blackbird — черная птица. Пэнси (Pansy) — буквально «анютины глазки», столичный врач носит фамилию Хоуп (Hope) — «надежда», и т. д.

ли не приглашать мистера Гудвуда.

— Не знаю, — сказал Ральф. — От меня можно ждать чего угодно. Расскажите мне немного о мистере Гудвуде. Что он из себя представляет?

— Полную противоположность вам. Он управляет бумагопрядильной фабрикой, очень хорошей кстати.

— А человек он воспитанный?

— Он великолепно воспитан — в лучших американских традициях.

— И вполне войдет в наш кружок?

— Не думаю, что его заинтересует наш кружок. Он сосредоточит свое внимание на Изабелле.

— А кузине это будет приятно?

— Возможно, нет. Зато будет полезно. Он отвлечет ее мысли и направит их в прежнее русло.

— Отвлечет? От чего?

— От иноземных стран и чуждых ей мест. Три месяца назад у мистера Гудвуда были все основания полагать, что Изабелла остановила свой выбор на нем, и с ее стороны недостойно идти на попятный, отвергать верного друга только потому, что она сменила окружение. Я тоже сменила окружение, однако мои старые привязанности стали для меня тем дороже. Убеждена, чем скорее Изабелла вернется к прежним своим

привязанностям, тем лучше для нее. Я достаточно знаю ее, чтобы с полной уверенностью сказать: она никогда не будет по-настоящему счастлива здесь, и я от души желаю ей заключить прочный союз с американцем — союз, который будет ей защитой.

— А вы не слишком спешите? — спросил Ральф. — Не кажется ли вам, что не дурно бы дать ей возможность поискать счастья и в бедной старой Англии?

— Возможность загубить свою прекрасную молодую жизнь! Я — слишком спешу! Когда тонет бесценный человек, спешат изо всех сил!

— А, понимаю! — воскликнул Ральф. — Вы хотите, чтобы я бросил ей мистера Гудвуда в качестве спасательного круга. Но знаете, — добавил он, — ведь я ни разу не слышал от нее его имени.

Генриетта просияла ослепительной улыбкой:

— Приятно это слышать! Лишнее свидетельство, как много она думает о нем.

Ральфу ничего не оставалось, как согласиться с серьезностью этого довода, и, пока он обдумывал ответ, собеседница его искоса наблюдала за ним.

— Если я и приглашу сюда вашего Гудвуда, — произнес он наконец, — то только затем, чтобы поспорить с ним.

— Не советую — победа останется за ним.

— Как вы стараетесь возбудить во мне ненависть к этому джентльмену. Нет, лучше не стану его приглашать. Боюсь, я буду недостаточно вежлив с ним.

— Как знаете, — сказала Генриетта. — Вот уж не думала, что вы сами по уши в нее влюблены.

— Вы серьезно так полагаете? — спросил молодой человек, подымая брови.

— О, наконец-то вы заговорили человеческим языком! — воскликнула Генриетта, хитро взглянув на него. — Конечно, серьезно.

— Ах так! — бросил Ральф. — В таком случае я приглашу его. Чтобы доказать, как сильно вы ошибаетесь. Приглашу ради вас.

— Он приедет сюда не ради меня, и вы пригласите его вовсе не для того, чтобы мне доказать, что я ошибаюсь, — вы себе хотите это доказать.

В этой последней реплике мисс Стэкпол (после которой наши собеседники сразу расстались) заключалась немалая доля истины, и Ральф не мог не признать этого, но пока она еще не слишком бередила его душу, и, хотя не сдержать обещание было бы, по-видимому, разумнее, чем сдержать, он все-таки написал мистеру Гудвуду письмо в шесть строк, где говорилось о том, какое удоволь-

ствие он доставил бы мистеру Тачиту-старшему, если присоединился бы к небольшому обществу, собравшемуся в Гарденкорте и украшенному присутствием мисс Стэкпол. Отослав письмо (на адрес некоего банкира, указанного Генриеттой), он не без волнения стал ждать ответа. Имя этого новоявленного грозного претендента на руку Изабеллы он услышал впервые, так как, когда его матушка возвратилась из Америки и упомянула о дошедших до нее слухах, будто у Изабеллы есть там «поклонник», это слово не обрело для него реального воплощения и Ральф даже не дал себе труда порасспросить о нем, понимая, что ответы будут или уклончивы, или неприятны. И вот теперь этот американский поклонник его кузины обрел плоть и кровь, приняв вид молодого человека, последовавшего за нею в Лондон, управлявшего бумагопрядильной фабрикой и воспитанного в лучших американских традициях. У Ральфа сложились две концепции по поводу этого неизвестного героя. Либо его любовь к Изабелле была сентиментальной выдумкой мисс Стэкпол (кто же не знает, что женщины по молчаливому согласию, рожденному солидарностью, постоянно отыскивают или изобретают друг для друга поклонников), и тогда он не представляет

опасности и, скорее всего, отклонит приглашение приехать в Гарденкорт, либо он его примет, и в этом случае проявит себя как человек весьма неразумный, а стало быть, не стоящий внимания. Последний довод в построениях Ральфа, возможно, грешил нелогичностью, но в нем выразилось его убеждение: если мистер Гудвуд всерьез увлечен Изабеллой, как утверждает мисс Стэкпол, он ни за что не пожелает явиться в Гарденкорт по приглашению вышеупомянутой леди.

— Если верно второе предположение, — рассуждал сам с собою Ральф, — она для него все равно что шип на стебле розы: он не может не знать, насколько этой его посреднице не хватает такта.

Два дня спустя Ральф получил от Гудвуда короткое письмо, в котором тот благодарил его за приглашение, сетовал, что неотложные дела не позволяют ему посетить Гарденкорт, и просил кланяться мисс Стэкпол. Ральф вручил это письмо Генриетте, которая, прочитав его, воскликнула:

— В жизни не встречала такой непреклонности!

— Боюсь, не так уж он влюблен в кузину, как вы расписывали, — заметил Ральф.

— Дело не в этом, а в другой, более тонкой

причине. Каспар — очень глубокая натура. Но я выясню все до конца, напишу ему и спрошу, что это значит.

Отказ Гудвуда воспользоваться приглашением несколько встревожил Ральфа. Этот американец, не пожелавший приехать в Гарденкорт, приобрел теперь в глазах нашего друга куда большее значение. Правда, Ральф спрашивал себя, не все ли ему равно, к какому стану относятся поклонники Изабеллы — к «лишенным наследства» или к «неповоротливым»,[35] поскольку сам он не собирается соперничать с ними, пусть совершают все, на что они способны. Все же его разбирало любопытство относительно того, выполнила ли мисс Стэкпол свое намерение осведомиться у Гудвуда о причине его непреклонности, — любопытство, которое, увы, так и не было удовлетворено, ибо, когда тремя днями позже он поинтересовался, написала ли она в Лондон, ей пришлось признаться, что написала, но впустую: мистер Гудвуд так и не откликнулся.

---

[35] Примечания: 35

...к «лишенным наследства» или к «неповоротливым»... — в романе Вальтера Скотта «Айвенго» на королевском турнире борьба за честь преподнести венок королеве турнира, главной героине романа Ровене, ведется между рыцарями во главе с Айвенго, сражающимся под девизом «лишенный наследства», и рыцарями, предводимыми Ательстаном по кличке «неповоротливый». Оба они претендуют на руку леди Ровены.

— Он, наверное, обдумывает ответ, — сказала она. — Он *ничего* не делает необдуманно, горячность вовсе не в его натуре. Но я не привыкла, чтобы ответ на мои письма откладывали в долгий ящик.

Она тут же стала убеждать Изабеллу, что, как бы там ни было, но им необходимо посмотреть на Лондон.

— Откровенно говоря, — заявила она, — я почти никого и ничего здесь не вижу, да и ты, насколько могу судить, тоже. Я даже не познакомилась с этим аристократом — как его имя? — да, с этим лордом Уорбертоном. Он не очень-то докучает тебе своим вниманием.

— Лорд Уорбертон, как мне случайно стало известно, будет здесь завтра, — ответила Изабелла, получившая ответ от владельца Локли на свое письмо. — У тебя будет полная возможность вывернуть его наизнанку.

— Что же, это даст мне тему хотя бы для одного письма, а мне их нужно сочинить пятьдесят! Я уже расписала все местные ландшафты и излила бочку восторгов по поводу всех местных старушек и осликов. Как хочешь, но из ландшафтов не выжмешь толковой корреспонденции. Мне нужно вернуться в Лондон, окунуться в живую

жизнь и набраться впечатлений. Я провела там три дня перед тем, как ехать сюда, а за такой срок не проникнешься лондонской атмосферой.

Так как на пути из Нью-Йорка в Гарденкорт Изабелла видела столицу Англии и того меньше, предложение Генриетты предпринять вдвоем увеселительную поездку в Лондон весьма пришлось ей по вкусу. Мысль эта приводила ее в восторг — ее занимал густой колорит большого и богатого города, каким ей всегда представлялся Лондон. Вместе с Генриеттой они обдумывали все подробности, строя романтические планы. Они поселятся в живописной старинной гостинице, одной из тех, которые описывал Диккенс, и будут ездить по городу в прелестных кабриолетах. Генриетта была литературной дамой, а литературные дамы пользуются правом бывать где угодно, и делать что угодно. Они будут обедать вдвоем в каком-нибудь ресторанчике, потом ходить по театрам; будут усердно посе-

щать Аббатство[36] и Британский музей[37] и непременно отыщут дома, где жили Сэмюэль Джонсон,[38] и Голдсмит,[39] и Аддисон.[40] Изабелла так увлеклась этими чудесными планами, что, не удержавшись, поведала о них Ральфу, вызвав у того взрыв веселого хохота, вовсе не похожего на знак одобрения, на которое она рассчитывала.

— Прелестный план, — сказал он. — Еще советую вам побывать в кабачке «Герцогская голова» в Ковент Гардене[41] — милейшее, беспардоннейшее, старомодное заведение. Ну и я попрошу, чтобы вам разрешили посетить мой клуб.

— Вы считаете, что ехать нам вдвоем неприлично? — спросила Изабелла. — Здесь что ни сделаешь, все неприлично! Но с Генриеттой я, конечно, могу ездить повсюду, ее не останавливают

---

[36] Примечания: 36

Аббатство — Вестминстерское аббатство, одно из старейших зданий Лондона; усыпальница английских королей, знаменитых писателей, поэтов, государственных деятелей.

[37] Примечания: 37

Британский музей — один из крупнейших в мире музеев, находящийся в центре Лондона; в здании Британского музея, помимо богатейшей коллекции памятников первобытной и античной культуры, культуры Древнего Востока, собрания гравюр, керамики и т. д., размещается также одна из крупнейших в мире библиотек.

[38] Примечания: 38

Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — английский писатель, критик и лексикограф. Почитался современниками как величайший авторитет в области языка и литературы. Английские историки культуры обычно

именуют вторую половину XVIII в. «веком Джонсона». Жил в Лондоне.

[39] Примечания: 39

Голдсмит Оливер (1726–1774) — английский поэт, драматург, публицист и романист; автор знаменитой комедии «Ошибки одной ночи» (1773), романа «Векфильдский священник» (1766), философских эссе «Гражданин мира» (1760–1761), вошедших в золотой фонд мировой литературы. Жил в Лондоне.

[40] Примечания: 40

Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский эссеист и драматург, один из основателей сатирико-нравоописательных журналов, оказавших большое влияние на просветительскую литературу XVIII в. Жил в Лондоне.

[41] Примечания: 41

Ковент Гарден — район главного рынка фруктов, овощей и цветов, существовавший в Лондоне до 1974 г. Обещая сводить американок в кабачок «Герцогская голова», Ральф иронизирует над стремлением большинства американских туристов знакомиться не только с достопримечательностями, но и с местами низкопробных увеселений.

условности. Она исколесила всю Америку, а уж на этом крохотном острове и подавно сумеет не сбиться с пути.

— В таком случае, — сказал Ральф, — позвольте и мне поехать с вами в Лондон под ее защитой. Когда еще предоставится случай совершить столь безопасное путешествие!

14

Мисс Стэкпол тотчас отправилась бы в путь, но Изабелла, получившая, как мы знаем, известие от лорда Уорбертона, что он снова приедет в Гарденкорт, сочла своим долгом дождаться его. Он не отвечал ей несколько дней, а затем прислал письмо, очень краткое, в котором сообщал, что приедет через два дня к ленчу. Эти промедления и отсрочки тронули Изабеллу, лишний раз подчеркнув его старания быть сдержанным и терпеливым, только бы у нее не возникло ощущения, будто он оказывает на нее давление, тем более что сдержанность эта была напускная: Изабелла твердо знала, что «очень, очень нравится» ему. Она сказала дяде о письме лорда Уорбертона, упомянув о его визите в Гарденкорт, и старый джентльмен, покинув свои апартаменты раньше обычного, уже в два часа вышел к столу. В его намерения вовсе не входило доглядывать за племянницей, напротив, он по доброте душевной полагал, что его присутствие поможет скрыть временное исчезновение некой пары, коль скоро Изабелла захочет еще раз выслушать

их высокорожденного гостя. Последний прибыл из Локли вместе со старшей сестрой, которую взял с собой, возможно, из соображений, сходных с теми, какими руководствовался мистер Тачит. Брат и сестра были представлены мисс Стэкпол, занимавшей за столом место рядом с лордом Уорбертоном. Изабелла, терзавшаяся мыслью, что ей вновь предстоит говорить с ним о предмете, который он столь преждевременно затронул, невольно восхищалась его благодушной невозмутимостью, скрывавшей даже признаки волнения, естественного, как она полагала, в ее присутствии. Он не смотрел в ее сторону и не обращался к ней, выдавая свои чувства разве только тем, что упорно избегал встречаться с нею взглядом, зато охотно беседовал с остальными и ел с удовольствием и аппетитом. Мисс Молинью — лоб у нее был чист, как у монахини и с шеи свисал большой серебряный крест — сосредоточила все свое внимание на Генриетте Стэкпол, которую то и дело окидывала взглядом, словно чувство глубокой настороженности боролось в ее душе с жадным любопытством. Из двух сестер Уорбертона, живших в Локли, старшая особенно нравилась Изабелле: в ней было такое редкое, выработанное веками спокойствие.

К тому же в сознании Изабеллы этот чистый лоб и серебряный крест связывались с какой-то необыкновенной, типично английской, тайной — например, с возобновлением какого-нибудь старинного установления, вроде загадочного сана канониссы. Любопытно, что бы подумала о ней мисс Молинью, если бы узнала, что она, мисс Арчер, отказала ее брату? Но Изабелла тут же отмела эту мысль, решив, что мисс Молинью никогда не узнает об этом: лорд Уорбертон ни в коем случае не станет говорить с сестрой о подобных вещах. Он любит ее, заботится о ней, но не посвящает в свои дела. Такова была теория, построенная Изабеллой, — если за столом никто не занимал ее беседой, она занимала себя сама, строя различные концепции по поводу своих сотрапезников. Итак, согласно ее теории, если бы мисс Молинью все-таки почему-либо узнала о том, что произошло между мисс Арчер и лордом Уорбертоном, она, по всей вероятности, была бы возмущена неспособностью подобной девицы оказаться на высоте положения или скорее решила бы (на этом и остановилась Изабелла), что юной американке присуще должное понимание того, каким неравным был бы этот брак.

Худо ли, хорошо ли распорядилась Изабелла

имевшимися у нее возможностями, Генриетта Стэкпол, во всяком случае, не собиралась упускать свои, которые наконец-то ей представились.

— Знаете, а ведь вы первый лорд, которого я встречаю в жизни, — поспешила она сообщить своему соседу по столу. — И вы, конечно, считаете, что я прозябаю во мраке невежества.

— Вовсе нет. Вы просто избежали случая встретить десяток-другой весьма уродливых мужчин, — отвечал лорд Уорбертон, окидывая стол рассеянным взглядом.

— Уродливых? А в Америке нас уверяют, что все они — красавцы и рыцари и носят чудесные мантии и короны.

— Мантии и короны нынче вышли из моды, — сказал лорд Уорбертон, — как ваши томагавки и револьверы.

— Очень жаль! По-моему, аристократы должны сохранять величие, — заявила Генриетта. — Без величия что они собой представляют!

— Знаете, даже в лучшем случае ничего особенного, — согласился ее сосед. — Положить вам картофель?

— Нет. Ваш европейский картофель ужасно безвкусен. А я не отличила бы вас от обычного американца.

— Вот и обращайтесь со мной, как если бы я и впрямь *был* таковым, — сказал лорд Уорбертон. — Не понимаю, как вы обходитесь без картофеля. Вам, наверно, здесь вообще мало что по вкусу.

Генриетта ответила не сразу. У нее зародилось сомнение в его искренности.

— У меня здесь совсем пропал аппетит, — сказала она наконец, — так что не трудитесь угощать меня. Знаете, а ведь я против вас. По-моему, я обязана сказать вам об этом.

— Против меня?

— Да. Наверно, вам никто еще не говорил об этом так прямо? Не говорил ведь? Я против лордов, против самого этого института. Я считаю, история оставила его позади, далеко позади.

— Знаете, я тоже так считаю. И решительно против себя, самого. Иногда мне даже приходит на мысль — с каким удовольствием я выступил бы против себя — если бы я был не я. Кстати, это даже хорошо — исцеляет от тщеславия.

— Тогда почему бы вам не отказаться? — осведомилась мисс Стэкпол.

— Отказаться?... — переспросил лорд Уорбертон, смягчая своим английским произношением то, что у нее прозвучало по-американски жестко.

— Отказаться от лордства!

— Во мне и так от него почти ничего не осталось! Кто вообще помнил бы здесь о титулах, если бы вы, несносные американцы, беспрестанно о них не напоминали. Тем не менее я всерьез подумываю в самом недалеком будущем отказаться даже от той малости, что осталась.

— Хотела бы я увидеть это воочию! — воскликнула Генриетта несколько воинственным тоном.

— Я приглашу вас на церемонию; мы устроим ужин с танцами.

— Да-да, — сказала мисс Стэкпол. — Я, знаете, люблю видеть каждое явление с разных сторон. Я против привилегированных классов, но я хочу знать, что они могут сказать в свое оправдание.

— Очень немногое, как видите.

— Мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов, — продолжала Генриетта. — Но вы глядите куда-то в сторону. Избегаете смотреть мне в глаза. Вы, я вижу, хотите уклониться.

— Ничуть. Я просто ищу презираемый вами картофель.

— А! Тогда, пожалуйста, просветите меня относительно этой молодой особы, вашей сестры. Я не понимаю, кто она. Она тоже носит титул?

— Она? Очень славная девушка.

— Как вы нехорошо это сказали! Словно вам

не терпится переменить тему! Она ниже вас по положению?

— Мы не занимаем никакого особого положения, ни она, ни я. Но ей живется лучше, чем мне: у нее нет моих забот.

— Да, судя по ее виду, у нее немного забот. Хотела бы я, чтобы у меня их было столько же. Не знаю, как насчет всего прочего, но спокойствия вам не занимать.

— Просто мы легко смотрим на жизнь, — сказал лорд Уорбертон. — К тому же мы, видите ли, люди скучные. На редкость скучные, особенно когда хотим.

— Советую хотеть что-нибудь повеселее. Мне трудно было бы найти тему для разговора с вашей сестрой: она не такая, как все. Скажите, этот крест какая-нибудь эмблема?

— Эмблема?

— Символ ранга.

При этих словах лорд Уорбертон оторвал взгляд от другого конца стола и посмотрел своей соседке в глаза.

— Да, — сказал он, чуть помедлив, — женщины падки до таких вещей. Крест носят старшие дочери виконтов. — Эта выдумка была безобидной местью за то, что в Америке не раз злоупотребля-

ли его доверчивостью.

После ленча он предложил Изабелле осмотреть картины в галерее, и она, ничего не сказав по поводу столь неудачного предлога — он видел эти картины несчетное число раз, — сразу согласилась. На душе у нее было легко: с тех пор как она отослала письмо, к ней вернулась безмятежность.

Он медленно прошелся по галерее из конца в конец, окидывая взглядом полотна и не говоря ни слова. Наконец у него вырвалось:

— Не на такое письмо я надеялся!

— Оно не могло быть иным, лорд Уорбертон, — сказала Изабелла. — Поверьте — это так.

— Не могу — иначе я не стал бы долее докучать вам. Не могу поверить, сколько ни стараюсь, и прямо говорю — не понимаю! Если бы я не нравился вам… да, это можно понять, я понял бы. Но вы сами признались…

— В чем призналась? — перебила его Изабелла, слегка побледнев.

— В том, что считаете меня добрым малым. Разве не так? — Она промолчала, он продолжал: — Вы отказываете мне без видимой причины, а это несправедливо.

— У меня есть причина, лорд Уорбертон, — ска-

зала Изабелла таким тоном, что у него упало сердце.

— Так скажите же, в чем она.

— Когда-нибудь в другой раз, в более подходящих обстоятельствах.

— Простите за резкость, но до тех пор я отказываюсь в нее верить.

— Вы делаете мне больно, — сказала Изабелла.

— Больно? Что ж, может, благодаря этому вы поймете, что я сейчас чувствую. Позвольте задать вам еще один вопрос. — Изабелла не сказала ни «да», ни «нет», но, очевидно, он что-то прочел в ее глазах, и это дало ему смелость продолжать: — Вы предпочитаете мне кого-то другого?

— На такой вопрос я позволю себе не отвечать.

— Значит, так оно и есть, — пробормотал он с горечью. Сердце Изабеллы дрогнуло, и она воскликнула:

— Нет, никого я не предпочитаю!

Он опустился на скамью, забыв о приличиях, сжав зубы, как человек, сраженный несчастьем, и, оперев локти о колени, уставился в пол.

— Я даже этому не могу радоваться, — произнес он и, распрямившись, прислонился к стене. — Будь я прав, это служило бы оправданием.

— Оправданием? — Изабелла удивленно под-

няла брови. — Я должна оправдываться?

Но он оставил ее вопрос без ответа. В голову ему, по-видимому, пришла новая мысль.

— Может быть, дело в моих политических взглядах? Вы считаете их слишком крайними?

— Я не могу возражать против ваших взглядов, потому что ничего в них не понимаю.

— Да, вам безразлично, что я думаю! — воскликнул он, вставая. — Вам это все равно.

Изабелла пошла к выходу и остановилась в начале галереи, повернувшись к нему своей прелестной спиной: он видел ее тонкий стройный стан, изгиб белой чуть склоненной шеи, тугие темные косы. Она стояла, уставившись на небольшую картину, и, казалось, внимательно разглядывала ее, и в каждом ее движении было столько юной, непринужденной грации, что сама эта легкость невольно язвила его. На самом деле она ничего не видела: глаза ее заволокло слезами. Однако, когда в следующее мгновение он присоединился к ней, она успела смахнуть их, и только лицо, которое она обратила к нему, побледнело, а глаза смотрели с необычным выражением.

— Я не хотела называть вам причину… но, извольте, назову ее. Я не могу сворачивать со своего пути.

— Со своего пути?

— Да. Выйти за вас замуж означало бы свернуть с него.

— Не понимаю. Разве, выйдя за меня замуж, вы не избираете определенный жизненный путь? Почему этот путь не ваш?

— Потому что не мой, — сказала Изабелла с чисто женской логикой. — Я знаю — не мой. Я не могу пожертвовать… знаю, что не могу.

Бедный лорд Уорбертон буквально вытаращил на нее глаза, в каждом зрачке стояло по вопросу.

— Вы называете брак со *мной* жертвой?

— Не в тривиальном смысле. Я обрела бы… обрела бы очень много. Но мне пришлось бы пожертвовать другими возможностями.

— Какими же?

— Я не имею в виду… возможности лучше выйти замуж, — сказала Изабелла, и на щеках ее снова заиграл румянец. Она замолчала и, нахмурившись, потупилась — словно отчаиваясь найти слова, которые могли бы прояснить ее мысль.

— Полагаю, что не слишком много возьму на себя, если скажу, что вы выиграете больше, чем потеряете, — заметил ее собеседник.

— Нельзя убегать от несчастья, — сказала Изабелла, — а если я выйду за вас замуж, я как бы

попытаюсь укрыться от него.

— Не знаю, пытаетесь ли, но укроетесь непременно — в этом я честно сознаюсь! — воскликнул он, как-то судорожно улыбаясь.

— А это дурно! Это нельзя! — вскричала Изабелла.

— Ну, если вам так хочется страдать, зачем же причинять страдания *мне.* Вас прельщает жизнь, полная страданий, меня же она не манит ничуть.

— Меня они тоже не прельщают. Мне всегда хотелось быть счастливой, и мне всегда верилось, что я буду счастлива. И всем так говорила — спросите кого угодно. Но иногда мне начинает казаться, что я не найду счастья на необычных путях, отворачиваясь, отгораживаясь.

— Отгораживаясь? От чего?

— От жизни. От ее обычных возможностей и опасностей, от того, что знает и через что проходит большинство людей.

На лице лорда Уорбертона мелькнула улыбка — проблеск надежды.

— Ах, дорогая мисс Арчер, — принялся он убеждать ее с жаром, — я отнюдь не берусь укрыть вас от жизни, от ее возможностей и опасностей. Увы, это не в моих силах. Иначе, поверьте, я бы

это сделал. Вы, я вижу, превратно судите обо мне. Помилуйте, я не китайский богдыхан. Все, что я вам предлагаю, — это разделить со мной общий для всех удел в его относительно приятном варианте. Общий удел! Поверьте, ничего иного я для себя не ищу! Заключите со мной союз, и обещаю вам — вы в полной мере испытаете все, что выпадает на человеческую долю. Вам ничем не придется жертвовать — даже вашей дружбой с мисс Стэкпол.

— Вот уж кто будет против! — попыталась улыбнуться Изабелла, хватаясь, как за якорь спасения, за эту побочную тему и презирая себя за подобное малодушие.

— Вы имеете в виду мисс Стэкпол? — спросил его светлость с досадой. — В жизни не встречал особы, которая судила бы обо всем с таких вымученных теоретических позиций.

— Кажется, сейчас вы имеете в виду меня, — покорно согласилась Изабелла, снова отворачиваясь: в галерею в сопровождении Генриетты и Ральфа входила мисс Молинью.

Мисс Молинью не без робости обратилась к брату, напоминая ему, что ей нужно вернуться в Локли к вечернему чаю, к которому она ждет гостей. Но, погруженный в свои мысли, на что у

него было достаточно оснований, лорд Уорбертон, очевидно, не расслышал ее. Он ничего не ответил, и она стояла перед ним, словно фрейлина перед его величеством королем.

— Ну, это уж из рук вон, мисс Молинью! — вмешалась Генриетта Стэкпол. — Уж если бы мне нужно было уехать, он уехал бы со мной немедленно. Уж если я о чем-то попросила бы брата, он сделал бы это немедленно.

— О, Уорбертон делает все, о чем бы его ни попросили, — тотчас отозвалась мисс Молинью, застенчиво улыбаясь. — Сколько у вас картин! — продолжала она, поворачиваясь к Ральфу.

— Это только кажется, что их много, потому что они все собраны в одном месте, — сказал Ральф. — И это вовсе не так уж хорошо.

— А мне как раз очень нравится. Жаль, что у нас в Локли нет своей галереи. Я очень люблю картины, — продолжала мисс Молинью, обращаясь к Ральфу; она словно боялась, как бы мисс Стэкпол вновь не стала наставлять ее. Генриетта явно не только привлекала, но и отпугивала ее.

— Да, иметь картины очень удобно, — сказал Ральф, который, по-видимому, понимал, какой образ мыслей приемлем для его гостьи.

— Так приятно смотреть на них, особенно в

дождь, — подхватила мисс Молинью. — Последнее время дожди идут почти каждый день.

— Жаль, что вы уезжаете, лорд Уорбертон, — сказала Генриетта. — Я собиралась куда больше выудить из вас.

— Я еще не уезжаю, — ответил он.

— Ваша сестра говорит, что вам пора. В Америке мужчины подчиняются дамам.

— У нас гости к чаю, — сказала мисс Молинью, глядя на брата.

— Хорошо, дорогая. Едем.

— Я думала, вы станете артачиться! — воскликнула Генриетта. — А я бы посмотрела, что станет делать мисс Молинью.

— Я никогда ничего не делаю, — сказала эта леди.

— Да, видимо, в вашем положении вам достаточно просто существовать, — заметила мисс Стэкпол. — Хотелось бы мне посмотреть, как вы живете у себя дома.

— Надеюсь, вы еще приедете к нам в Локли, — как-то особенно ласково сказала мисс Молинью Изабелле, оставляя слова ее подруги без внимания.

На мгновение Изабелла встретилась взглядом с ее спокойными серыми глазами, и за это

мгновение увидела в их глубине все, от чего отказывалась, отказывая лорду Уорбертону: покой, согласие, почет, богатство, полное благополучие, избранное положение в обществе. Она поцеловала мисс Молинью и сказала:

— Боюсь, я уже не приеду.

— Как? Никогда?

— Я уезжаю.

— Очень, очень жаль, — сказала мисс Молинью. — По-моему, вам вовсе не надо уезжать.

Лорд Уорбертон наблюдал эту сцену, затем отвернулся и уставился на первую попавшуюся картину. Все это время Ральф, опершись на решетку перед ней и держа по обыкновению руки в карманах, наблюдал за ним.

— Посмотреть бы, как вы живете, — сказала Генриетта, оказавшаяся вдруг рядом с лордом Уорбертоном. — И поговорить бы с вами еще часок. У меня к вам столько вопросов.

— Всегда рад вас видеть, — ответил владелец Локли. — Только не уверен, что сумею ответить на ваши вопросы. Когда вы приедете?

— Как только мисс Арчер возьмет меня с собой. Мы собираемся в Лондон, но раньше съездим к вам. Я не отстану от вас, пока все у вас не выведаю.

— Ну, если вы рассчитываете на мисс Арчер, боюсь, вам это не удастся. Она не поедет в Локли; ей это место не пришлось по вкусу.

— А мне она сказала, что у вас прелестно! — возразила Генриетта.

Лорд Уорбертон заколебался.

— Нет, она все равно не поедет в Локли. Так что приезжайте-ка одна, — добавил он.

Генриетта выпрямилась, ее большие глаза стали еще больше.

— А вашу соотечественницу вы тоже так пригласили бы? — бросила она с тихой яростью.

Лорд Уорбертон удивленно взглянул на нее.

— Да, если бы достаточно хорошо относился к ней.

— Вы прежде трижды подумали бы! Так, значит, мисс Арчер больше к вам не поедет, только бы не брать меня с собой. Я знаю, что она считает — да и вы, полагаю, тоже: я, видите ли, не должна касаться личностей!

Лорд Уорбертон, который понятия не имел о профессии мисс Стэкпол, смотрел на нее во все глаза: он не улавливал смысла ее намеков.

— Мисс Арчер поспешила предостеречь вас! — не унималась Генриетта.

— Меня? О чем?

— Зачем же она уединялась здесь с вами? Разве не за тем, чтобы вы были со мной настороже.

— Уверяю вас, нет, — сказал лорд Уорбертон металлическим голосом. — Наша беседа не носила столь серьезного характера.

— Но вы все время настороже, и еще как! Хотя вы, верно, всегда такой — вот это-то я и хотела проверить. И ваша сестрица, мисс Молинью, она тоже умеет не выдавать своих чувств. Вас уж точно предостерегли, — продолжала Генриетта, оборачиваясь к поименованной леди, — и, кстати, без всякой надобности.

— Мисс Стэкпол собирает материал, — сказал Ральф примирительно. — У нее огромный сатирический талант, она видит нас насквозь и жаждет разделать под орех.

— Должна сказать, такого никуда не годного материала мне в жизни не попадалось, — заявила Генриетта, переводя взгляд с Изабеллы на лорда Уорбертона, а с этого джентльмена на его сестру и Ральфа. — С вами со всеми что-то происходит: ходите мрачные, будто вам вручили телеграмму с дурным известием.

— Вы и впрямь видите нас насквозь, — сказал Ральф, понижая голос, и, понимающе кивнув корреспондентке «Интервьюера», повел гостей

из галереи. — С нами со всеми, безусловно, что-то происходит.

Изабелла шла позади Ральфа и Генриетты, и мисс Молинью, которая явно чувствовала к ней искреннее расположение, взяла ее под руку, чтобы, ступая по натертому полу, держаться рядом. Лорд Уорбертон, заложив руки за спину и опустив глаза, молча шел с другой стороны.

— Правда, что вы едете в Лондон? — вдруг спросил он.

— Да, кажется, это решено.

— А когда вернетесь?

— Через несколько дней, но, думаю, ненадолго. Мы с тетушкой едем в Париж.

— Когда же я снова увижу вас?

— Нескоро, — сказала Изабелла. — Но, надеюсь, мы все-таки еще увидимся.

— В самом деле, надеетесь?

— От всей души.

Несколько шагов он прошел, не говоря ни слова, потом, остановившись, протянул ей руку:

— До свидания, — сказал он.

— До свидания, — сказала Изабелла.

Мисс Молинью еще раз поцеловалась с Изабеллой, и брат с сестрой уехали. Проводив гостей и предоставив Генриетте и Ральфу коротать время

вдвоем, Изабелла удалилась в свою комнату, где незадолго до обеда ее посетила миссис Тачит, заглянувшая к ней по пути в столовую.

— Могу между прочим сообщить тебе, — сказала эта леди, — что твой дядя рассказал мне о твоих делах с лордом Уорбертоном.

— Делах? — не сразу откликнулась Изабелла. — У меня нет с ним никаких дел. И самое странное — он и видел-то меня всего считанное число раз.

— Почему ты предпочла рассказать обо всем дяде, а не мне? — спросила миссис Тачит как бы невзначай.

Изабелла снова помолчала.

— Он лучше знает лорда Уорбертона.

— Да? А я лучше знаю тебя.

— Вы так думаете? — улыбнулась Изабелла.

— Теперь уже не думаю. Особенно когда ты смотришь на меня с такой, я бы сказала, самонадеянностью. Можно подумать, ты страшно довольна собой: завоевала первый приз! Уж если ты пренебрегаешь таким предложением, как предложение лорда Уорбертона, надо полагать, ты рассчитываешь на лучшую партию.

— Вот дядя мне этого не сказал! — воскликнула Изабелла, все еще улыбаясь.

15

Решено было, что наши молодые леди отправятся в Лондон в сопровождении Ральфа, хотя миссис Тачит смотрела на эту затею весьма косо. Подобное предприятие, заявляла она, могло прийти в голову только мисс Стэкпол, и спрашивала, не собирается ли корреспондентка «Интервьюера» поселить всю компанию в столь любимых ею меблированных комнатах.

— Мне все равно, куда она нас поселит, — отвечала Изабелла, — лишь бы там был местный колорит. Именно за этим мы и едем в Лондон.

— Конечно, — говорила тетушка, — для девицы, отказавшей пэру Англии, нет ничего недозволенного. После такого поступка можно уже не обращать внимания на мелочи.

— А вы хотели бы, чтобы я вышла за лорда Уорбертона?

— Разумеется.

— Мне казалось, вы не жалуете англичан.

— Не жалую. Тем больше причин их использовать.

— Вот уж не предполагала, что вы так смотрите

на брак, — сказала Изабелла и осмелилась прибавить, что по ее наблюдениям сама тетушка почти не пользуется услугами мистера Тачита.

— Ваш дядюшка не английский лорд, — отвечала миссис Тачит. — Впрочем, даже в этом случае, полагаю, я все равно предпочла бы жить во Флоренции.

— Вы думаете, брак с лордом Уорбертоном сделал бы меня лучше? — спросила Изабелла, оживляясь. — Нет, я не хочу сказать, что считаю себя совершенством! Просто… просто я не питаю к лорду Уорбертону тех чувств, при которых выходят замуж.

— Тогда ты умница, что отказала ему, — сказала миссис Тачит самым мягким, самым сдержанным тоном, на какой только была способна. — И все-таки надеюсь, что, когда в следующий раз тебе сделают столь же блестящее предложение, ты сумеешь примирить его со своим идеалом.

— Подождем, пока его сделают. Мне очень не хотелось бы выслушивать сейчас новые предложения. Мне от них как-то не по себе.

— Ну, если ты решила вести богемный образ жизни, тебя вряд ли станут беспокоить. Ах да, я обещала Ральфу помолчать на этот счет.

— Я во всем буду слушаться Ральфа, — отвечала

Изабелла. — Ральфу я бесконечно доверяю.

— Его мать кланяется и благодарит, — сухо улыбнулась упомянутая леди.

— По-моему, вам есть за что, — не осталась в долгу Изабелла.

Ральф заверил кузину, что приличия не пострадают, если они — втроем — поедут осмотреть столицу Англии, хотя миссис Тачит придерживалась иного мнения. Подобно другим американкам, по много лет живущим в Европе, она полностью утратила чувство меры, присущее в таких случаях ее соотечественникам, и в своем отношении, в целом не столь уж неразумном, к известным вольностям, которые позволяла себе молодежь за океаном, проявляла необоснованную и чрезмерную щепетильность. Ральф отвез девушек в Лондон и поселил их в тихой гостинице на улице, выходившей под прямым углом на Пикадилли.[42] Поначалу он предполагал поместить их в отцовском особняке на Уинчестер-сквер, в большом мрачном доме, который в летнее время был погружен в молчание и темные холщовые чехлы, однако, вспомнив, что повар находится в Гарденкорте, а стало быть, некому будет го-

---

[42] Примечания: 42

Пикадилли — одна из главных улиц в центральной части Лондона.

товить еду, решил избрать для их пребывания гостиницу Прэтта. Сам Ральф, знавший худшие беды, чем холодный очаг в кухне, обосновался на Уинчестер-сквер, где у него была «берлога», которую он очень любил. Впрочем, он не гнушался пользоваться удобствами, предоставляемыми гостиницей Прэтта, и начинал день с визита к своим спутницам, которым мистер Прэтт в широком, болтавшемся на нем белом жилете самолично снимал крышки с утренних блюд. Ральф приходил к ним, как он утверждал, после завтрака, и они вместе составляли программу увеселений на день. В сентябре праздничный грим уже почти смыт с лика Лондона, и нашему молодому человеку беспрестанно приходилось под саркастические улыбки Генриетты извиняющимся тоном напоминать дамам, что в городе ни души нет.

— То есть вы хотите сказать, — иронизировала Генриетта, — в нем нет аристократов. По-моему, трудно сыскать лучшее доказательство тому, что, не будь их совсем, этого никто бы не заметил. На мой взгляд, город живет полной жизнью. Нет ни души — всего-навсего три-четыре миллиона человек. Как вы их здесь называете? Низшие слои среднего класса? Так? Они-то и населяют Лондон,

но разве стоит принимать их во внимание!

Ральф отвечал, что общество мисс Стэкпол целиком заменяет ему отсутствующих аристократов и что вряд ли можно сыскать человека, более довольного, чем он. Последнее было правдой: блеклый сентябрь в полупустом городе таил в себе несказанное очарование, как таит его пыльный лоскут, в который обернут яркий самоцвет. Возвращаясь поздним вечером в пустой дом на Уинчестер-сквер после долгих часов, проведенных в обществе своих отнюдь не молчаливых спутниц, он проходил в большую сумрачную столовую, единственным освещением которой служила взятая им в передней свеча. На площади было тихо, в доме тоже было тихо, и когда, впуская свежий воздух, он открывал окно, до него доносилось ленивое поскрипывание сапог расхаживавшего снаружи констебля. Собственные его шаги звучали в пустой комнате громко и гулко: ковры почти везде были убраны, и стоило ему пройтись по комнате, как раздавалось грустное эхо. Он садился в кресло: свеча бросала отблески на темный обеденный стол; картины на стене, густо-коричневые, выглядели неясными, размытыми. Казалось, в этой комнате витает дух давно уже прошедших трапез, дух

застольных бесед, ныне утративших смысл. Эта особая, словно потусторонняя атмосфера, надо полагать, действовала на его воображение, и он сидел и сидел в кресле, хотя давно уже миновал час, когда следовало лечь спать, сидел, ничего не делая, даже не листая вечернюю газету. Я говорю — сидел, ничего не делая, и настаиваю на этой фразе, ибо все это время он думал об Изабелле. Мысли эти были для него пустым занятием — они никому ничего не могли дать. Никогда еще кузина не казалась ему столь очаровательной, как в эти дни, которые они, подобно всем туристам, проводили, исследуя глубины и мели столичной жизни. Изабеллу переполняли планы, умозаключения, чувства: она приехала в Лондон в поисках «местного колорита» и находила его повсюду. Она задавала Ральфу больше вопросов, чем у него находилось ответов, и выдвигала смелые теории относительно исторических причин и социальных последствий, которые он в равной степени не мог ни принять, ни отвергнуть. Они уже несколько раз посетили Британский музей

и тот, другой, более светлый дворец искусств,[43] который, захватив огромное пространство под шедевры древности, раскинулся в скучном предместье; провели целое утро в Вестминстерском аббатстве, а потом, уплатив по пенни, спустились по Темзе к Тауэру;[44] осмотрели картины в Национальной и частных галереях[45] и не раз отдыхали под раскидистыми деревьями в Кенсингтон-гарденз.[46] Генриетта не знала устали, осматривая достопримечательности Лондона, и снисходительность ее суждений намного превзошла самые смелые надежды Ральфа. Правда, ей пришлось испытать немало разочарований, и на фоне ярких воспоминаний о преимуществах американского идеального города Лондон сильно терял в ее глазах, однако она старалась извлечь

---

[43] Примечания: 43

…другой более светлый дворец искусств… — речь идет о Музее Виктории и Альберта, национальном музее изящных и прикладных искусств, в котором размещены богатые коллекции скульптуры, акварелей, миниатюр, а также собрание картин Дж. Констебля. Открыт в 1857 г.

[44] Примечания: 44

Тауэр — средневековая крепость на северном берегу Темзы в центре Лондона. Возведена в XI в. как королевская резиденция; впоследствии тюрьма для государственных преступников, а затем музей.

[45] Примечания: 45

…картины в Национальной и частных галереях. — Национальная галерея — крупнейшее в Великобритании собрание картин западноевропейских художников. Многие частные галереи в Англии открыты для посетителей за соответствующую плату.

[46] Примечания: 46

Кенсингтон гарденз — большой парк в западной части Лондона, примыкающий к Гайд-парку.

что могла из его прокопченных прелестей и только изредка позволяла себе какое-нибудь «н-да», остававшееся без последствий и постепенно уходившее в небытие. По правде говоря, она, по собственному ее выражению, была не в своей стихии.

— Меня не волнуют неодушевленные предметы, — заявила она Изабелле в Национальной галерее, продолжая сетовать на скудость впечатлений, полученных от частной жизни англичан, в которую ей до сих пор так и не удалось проникнуть. Ландшафты Тернера[47] и ассирийские быни[48] не могли заменить ей литературные вечера, где она рассчитывала встретить цвет и славу Великобритании.

— Где ваши общественные деятели, где ваши блестящие мужчины и женщины? — наступала она на Ральфа посреди Трафальгарской площади, словно он привел ее туда, где естественно было встретить десяток-другой великих умов. — Вот

---

[47] Примечания: 47

Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) — английский художник, пейзажист.

[48] Примечания: 48

…ассирийские быки… — речь идет о памятниках культуры Древнего Востока из коллекций Британского музея.

тот на колонне[49] — лорд Нельсон? Он тоже был лорд? Ему, видно, недоставало росту, что пришлось поднять его на сто футов над землей? Это ваш вчерашний день, а прошлым я не интересуюсь. Я хочу видеть, какие звезды светят вам сегодня. О вашем будущем я не говорю — не думаю, что оно у вас есть.

Бедный Ральф числил очень мало звезд среди своих знакомых и только изредка имел счастье перемолвиться словом с какой-нибудь знаменитостью, что, по мнению Генриетты, только лишний раз свидетельствовало о прискорбном отсутствии у него всякой инициативы.

— Будь я сейчас по ту сторону океана, — заявляла она, — я отправилась бы к такому джентльмену, кто бы он ни был, и сказала бы ему, что много слышала о нем и хочу лично убедиться в его достоинствах. Но, судя по вашим словам, здесь это не в обычае. Здесь тьма бессмысленных обычаев и ни одного полезного. Что и говорить, мы, американцы, шагнули *далеко* вперед! Боюсь, мне придется отказаться от мысли рассказать о

---

[49] Примечания: 49

Имеется в виду статуя английского флотоводца Горацио Нелсона (1758–1805), венчающая колонну-памятник, воздвигнутый в центре одной из главных лондонских площадей, названной Трафальгарской в память одержанной Нелсоном победы над наполеоновским флотом в Трафальгарской битве (1805).

жизни английского общества. — Хотя Генриетта не выпускала путеводитель и карандаш из рук и уже отослала в «Интервьюер» письмо о Тауэре (поведав в нем о казни леди Джейн Грей[50]), чувство, что она оказалась недостойной своей миссии, не покидало ее.

Сцена, предшествовавшая отъезду из Гарденкорта, оставила в душе Изабеллы мучительный след: вновь и вновь ощущая на лице, словно от набегавшей волны, холодное дыхание обиды лорда Уорбертона, она только ниже опускала голову и ждала, когда оно рассеется. Она не могла смягчить удар, это не вызывало у нее сомнений. Но жестокосердие, пусть даже вынужденное, было в ее глазах столь же неблаговидным, как физическое насилие при самозащите, и она не испытывала желания гордиться собой. И все же с этим не слишком приятным ощущением мешалось сладостное чувство свободы, и, когда она бродила по Лондону в обществе своих во всем несогласных спутников, оно нет-нет да выплескивалось неожиданными порывами. Гуляя по

[50] Примечания: 50

Джейн Грей (1537–1554) — претендентка на английский престол после смерти Эдуарда VI, казненная в Тауэре. История Джейн Грэй неоднократно пересказывалась американскими очеркистами в путевых заметках об Англии.

Кенсингтон-гарденз, Изабелла вдруг подбегала к игравшим на лужайке детям (тем, что победнее) и, расспросив, как кого зовут, давала каждому шестипенсовик, а хорошеньких еще и целовала. Эта странная благотворительность не ускользнула от Ральфа, как не ускользала от него любая мелочь, касавшаяся Изабеллы. Желая развлечь своих спутниц, он пригласил их на чашку чая в Уинчестер-сквер и ради их визита как мог привел в порядок дом. В гостиной их ждал еще один гость — приятного вида джентльмен, давнишний приятель Ральфа, случайно оказавшийся в городе, который тут же и, по-видимому, без особых усилий и без страха вступил в общение с мисс Стэкпол. Мистер Бентлинг, грузноватый, сладковатый, улыбчивый холостяк, лет сорока, безукоризненно одетый, всесторонне осведомленный и неистощимо благожелательный, без устали потчевал Генриетту чаем, неуемно смеялся каждому ее слову, осмотрел в ее обществе все безделушки — их немало нашлось в коллекции Ральфа, а когда тот предложил выйти в сквер, как если бы у них был fête-champêtre,[51] сделал с нею несколько кругов по этому огороженному

[51] Примечания: 51
пикник *(фр.).*

пространству, сменил с полдюжины тем и с видимым удовольствием, как истый любитель тонкой беседы, откликнулся на ее замечания по поводу частной жизни.

— Конечно, конечно. Осмелюсь предположить, Гарденкорт показался вам унылым местом. Естественно: какая же светская жизнь в доме, где столько болезней. Тачит, знаете ли, очень плох; доктора вообще запретили ему жить в Англии, и он приехал только из-за отца. А старик чем только не болен. Говорят, у него подагра, но я доподлинно знаю, что организм его совсем подточен и, можете мне поверить, он доживает последние дни. Разумеется, при таких обстоятельствах у них должно быть ужасно тоскливо, и могу только удивляться, как они вообще решаются приглашать гостей — ведь им нечем их занять. К тому же мистер Тачит, мне кажется, не в ладах с женой и, знаете, она ведь, согласно вашим странным американским обычаям, живет отдельно от мужа. Нет, если вы хотите попасть в дом, где жизнь, как говорится, бьет ключом, советую съездить в Бедфордшир к моей сестре, леди Пензл. Завтра же отправлю ей письмо, и она, без сомнения, будет рада пригласить вас к себе. Я знаю, что вам нужно — вам нужен дом, где любят спектакли, пикники

и все такое прочее. Моя сестра как раз то, что вам нужно: она постоянно что-нибудь устраивает и всегда рада тем, кто готов ей помочь. Она, несомненно, уже с обратной почтой пришлет вам приглашение: знаменитости и писатели — ее страсть. Она, знаете, и сама пописывает, но, сознаюсь, я не все читал. У нее все больше стихи, а я до них не охотник, исключая, конечно, Байрона. У вас в Америке, если не ошибаюсь, его высоко ценят, — говорил не переставая мистер Бентлинг, распускаясь в теплой атмосфере внимания, с которым его слушала мисс Стэкпол. Нанизывая фразу на фразу и с невероятной легкостью перескакивая с предмета на предмет, он, однако, то и дело изящно возвращался к сразу же увлекшей Генриетту мысли отправить ее погостить к леди Пензл из Бедфордшира.

— Я понимаю, что вам нужно: вам нужно приобщиться к настоящим английским развлечениям. Тачиты, знаете, вообще не англичане, у них свои привычки, свой язык, своя кухня, даже, кажется, какая-то своя религия, как я полагаю. Старик, мне говорили, осуждает охоту! Вам непременно нужно попасть к сестре, когда она готовит какой-нибудь спектакль. И, не сомневаюсь, она с радостью даст вам роль. Вы, несомненно, пре-

красно играете, я вижу — у вас и к этому талант. Сестре уже сорок, и у нее семеро детей, но она берется за главные роли. И притом, что она далеко не красавица, подавать себя умеет превосходно — не могу не отдать ей *в этом* должное. Разумеется, если вам не захочется играть, то и не нужно.

Так изливался мистер Бентлинг, прогуливая мисс Стэкпол по газонам Уинчестер-сквер, хотя и припудренным лондонской сажей, но вызывавшим желание замедлить шаг. Этот пышащий здоровьем, словоохотливый холостяк, питающий должное уважение к женским достоинствам, неистощимый в советах, показался Генриетте весьма приятным мужчиной, и она вполне оценила его предложения.

— Пожалуй, я съездила бы к вашей сестре — разумеется, если она меня пригласит. По-моему, это *просто* мой долг. Как, вы сказали, ее зовут?

— Пензл. Необычное имя, но не из плохих.

— По мне, так все имена одинаково хороши. А какое положение она занимает в обществе?

— Она — жена барона: очень удобное положе-

ние.[52] Достаточно высокое и в то же время не слишком.

— Пожалуй, мне оно по плечу. Где, вы сказали, она живет — в Бедфордшире?

— Да, в самой северной части графства. Унылые места, но, смею думать, вас это не остановит. А я постараюсь наведаться к сестре, пока вы будете у нее гостить.

Слушать все это было чрезвычайно приятно, но, как ни жаль, обстоятельства принуждали мисс Стэкпол расстаться с обязательным братом леди Пензл. Как раз днем раньше она случайно встретила на Пикадилли двух соотечественниц, сестер Клаймер из города Уилмингтона, штат Делавэр, с которыми не виделась целый год; все это время сестры путешествовали по Европе и теперь собирались в обратный путь. Три дамы долго беседовали посреди тротуара и, хотя говорили все разом, не исчерпали и половины новостей. Поэтому они решили, что назавтра Генриетта приедет на Джермин-стрит, где остановились сестры, в шесть часов к обеду. Сейчас, вспомнив о

---

[52] Примечания: 52

Барон — один из низших по рангу аристократических титулов. Намек на то, что, будучи титулованной особой, леди Пензл не принадлежит к высшему свету и свободна от необходимости соблюдать все правила этикета.

данном обещании и объявив, что отправляется с визитом, Генриетта пошла проститься с Ральфом и Изабеллой, расположившимися на садовых стульях в другой части сквера и занятых — если здесь допустимо это слово — обменом любезностей, правда далеко не столь содержательных, как практическая беседа, состоявшаяся между мисс Стэкпол и мистером Бентлингом. Изабелла условилась с подругой, что обе они вернутся к Прэтту до темноты, а Ральф посоветовал Генриетте нанять кеб: не идти же ей пешком до Джермин-стрит.

— Вы, кажется, хотите сказать, что мне неприлично идти одной! — воскликнула Генриетта. — Ну, знаете! До чего уже дошло!

— Вам и не нужно идти одной, — радостно вмешался мистер Бентлинг. — Я буду счастлив вас проводить.

— Я просто хочу сказать, — пояснил Ральф, — что вы опоздаете к обеду. И эти милые леди решат, что в последний момент мы отказались пожертвовать вашим обществом.

— Право, Генриетта, лучше воспользоваться кебом, — сказала Изабелла.

— Я с вашего разрешения, найму вам кеб, — не отставал мистер Бентлинг. — Мы можем немного

пройтись, а потом по дороге нанять кеб.

— В самом деле, почему бы мне не довериться мистеру Бентлингу? — спросила Генриетта, обращаясь к Изабелле.

— Не понимаю, зачем тебе утруждать мистера Бентлинга? — быстро проговорила Изабелла. — Хочешь, мы пойдем с тобой, пока не встретится кеб?

— Нет, нет, мы вполне справимся сами. Пойдемте, мистер Бентлинг, но уж извольте нанять мне самый лучший кеб.

Мистер Бентлинг обещал сделать все возможное и невозможное, и они отбыли, оставив Изабеллу и Ральфа вдвоем в сквере, уже окутанном прозрачными сентябрьскими сумерками. Вокруг было совсем тихо, в большом прямоугольнике обступивших площадь темных домов из-под опущенных жалюзи и штор не светилось ни одно окно, никто не прогуливался по тротуарам, и, если не считать двух маленьких оборвышей, которые, привлеченные необычным оживлением в сквере, пробрались сюда из соседних трущоб и сейчас прильнули мордочками к ржавым пру-

тьям ограды,[53] единственным ярким пятном здесь был красный почтовый ящик, укрепленный в юго-западном углу Уинчестерсквер.

— Генриетта пригласит его доехать с нею до Джермин-стрит, — заметил Ральф. Он всегда называл мисс Стэкпол Генриеттой.

— Вполне возможно, — откликнулась Изабелла.

— Хотя, пожалуй, нет, она не станет приглашать его. Мистер Бентлинг сам вызовется доставить ее туда.

— Это тоже вполне возможно. Хорошо, что они так быстро подружились.

— Генриетта одержала победу. Он считает ее блестящей женщиной. Поживем — увидим, чем все это кончится.

— Я тоже считаю Генриетту блестящей женщиной, — отвечала Изабелла с заминкой, — только, скорее всего, это ничем не кончится. Они не способны узнать друг друга по-настоящему. Он и представления не имеет, какая она на самом деле, а она и вовсе не понимает мистера Бентлинга.

— И превосходно: почти все союзы заключают-

---

[53] Примечания: 53

Ряд улиц и скверов Лондона находятся в частном владении; их посещение и проезд по ним возможен только с разрешения собственника, многие обнесены оградами и запираются.

ся на прочной основе взаимного непонимания. Впрочем, понять Боба Бентлинга не так уж и трудно. Весьма несложная натура.

— Да, но Генриетта еще проще. А что мы с вами будем делать? — спросила Изабелла, окидывая взглядом сквер; в меркнувшем свете дня это маленькое произведение садового искусства казалось большим садом и выглядело очень эффектно. — Ведь вы, наверно, не захотите развлекать меня поездкой по Лондону в кебе?

— Не вижу причины, почему нам не остаться здесь… если вы против этого ничего не имеете. Здесь тепло, до темноты еще полчаса, и я выкурю сигарету, если позволите.

— Пожалуйста, делайте что угодно, только займите меня чем-нибудь до семи часов, — сказала Изабелла. — В семь часов я вернусь в отель Прэтта и съем мой скромный одинокий ужин — два яйца-пашот и сдобную булочку.

— А нельзя мне поужинать с вами?

— Ни в коем случае. Вы поужинаете в клубе.

Они снова сели на стулья в середине сквера, и Ральф закурил сигарету. С каким наслаждением он разделил бы с нею ее скромную, как она сказала, вечернюю трапезу, но она не велела, и даже это радовало ему душу. А какой радостью было

сидеть с нею в сгущающихся сумерках, наедине посреди многолюдного города и воображать, что она зависит от него, что она в его власти. Власть была призрачная и годилась разве на то, чтобы покорно исполнять желания Изабеллы, но даже такая власть волновала кровь.

— Почему вы не хотите, чтобы я поужинал с вами?

— Не хочу и все.

— Видно, я успел наскучить вам.

— Нет еще, но ровно через час наскучите. Видите, у меня дар предвидения.

— А пока я постараюсь позабавить вас, — сказал Ральф и умолк. Изабелла тоже не поддержала разговор, и некоторое время они сидели в полном молчании, что вовсе не вязалось с его обещанием развлечь ее. Ему казалось, она поглощена своими мыслями, и Ральф гадал — о чем; кое-какие предположения на этот счет у него были.

— Вы отказываете мне в своем обществе, потому что ждете сегодня вечером другого гостя?

Она обернулась и взглянула на него своими ясными, светлыми глазами.

— Другого гостя? Какого?

Он никого не мог назвать, и теперь его вопрос показался ему не только нелепым, но и грубым.

— У вас тьма друзей, о которых я ничего не знаю. Целое прошлое, из которого я полностью исключен.

— Вы принадлежите моему будущему. А что до моего прошлого, оно осталось по ту сторону океана. В Лондоне его нет и следа.

— В таком случае все прекрасно, раз ваше будущее здесь, подле вас. Что может быть лучше, чем иметь свое будущее у себя под рукой. — И Ральф закурил еще одну сигарету. «Очевидно, это значит, что Каспар Гудвуд отбыл в Париж», — решил он, затянулся, пустил колечки дыма и продолжал: — Я обещал развлечь вас, но, увы, как видите, оказался не на высоте. Я поступил опрометчиво, такое предприятие мне не по плечу. Разве вас могут удовлетворить мои жалкие усилия при ваших огромных требованиях и высоких критериях? Мне следовало бы пригласить настоящий оркестр или труппу комедиантов.

— Достаточно и одного: вы прекрасно справляетесь с вашей ролью. Прошу вас, продолжайте; еще минут десять и мне уже захочется смеяться.

— Поверьте, я вовсе не шучу, — сказал Ральф. — У вас на самом деле огромные требования.

— Не знаю, что вы имеете в виду. Я ничего не требую.

— Но все отвергаете, — сказал Ральф.

Изабелла покраснела — только сейчас она поняла, что он, по-видимому, имел в виду. Но зачем он заговорил с ней об этом?

Мгновенье Ральф оставался в нерешительности, затем продолжал:

— Мне хотелось бы сказать вам кое-что. Вернее, задать один вопрос. Мне кажется, я вправе его задать, потому что в некотором роде лично заинтересован в том, каков будет ответ.

— Извольте, — сказала Изабелла мягко. — Постараюсь вас удовлетворить.

— Благодарю. Надеюсь, вас не оскорбит, если я скажу, что Уорбертон рассказал мне о том, что между вами произошло.

Изабелла внутренне сжалась; она пристально смотрела на свой раскрытый веер.

— Нисколько. Мне думается, это только естественно, что он рассказал вам.

— Он разрешил мне не скрывать это от вас. Он все еще надеется, — сказал Ральф.

— Все еще?

— По крайней мере надеялся несколько дней назад.

— Сейчас он, наверное, думает иначе, — сказала Изабелла.

— Вот как? Мне очень жаль его: он в высшей степени достойный человек.

— Простите, это он просил вас поговорить со мной?

— Конечно, нет. Он рассказал мне, потому что это было выше его сил. Мы старые друзья, а ваш отказ был для него большим ударом. Он прислал мне коротенькую записку с просьбой приехать к нему, и я виделся с ним в Локли за день до того, как он с сестрой завтракал у нас. Он был очень удручен — он только что получил ваше письмо.

— Он показал вам мое письмо? — не без надменности спросила Изабелла, подымая брови.

— Разумеется, нет. Но не скрыл, что вы наотрез ему отказали. Мне было очень жаль его, — повторил Ральф.

Изабелла молчала.

— А вы знаете, сколько раз он видел меня? — сказала она наконец. — Всего каких-то пять или шесть раз.

— Это только делает вам честь.

— Я не то имела в виду.

— А что же? Что у бедного лорда Уорбертона ветер в голове? Право, вы вовсе так не думаете.

Изабелла, разумеется, не могла сказать, что так думает, и сказала совсем другое.

— Стало быть, лорд Уорбертон не просил вас уговаривать меня, и вы взялись за это из чистого великодушия или, может быть, из любви к спорам?

— Я не имею ни малейшего намерения спорить с вами. Вы вправе решать, как считаете нужным. Мне просто очень хочется знать, какие чувства вами руководили.

— Премного благодарна за такой интерес ко мне! — воскликнула Изабелла с нервным смешком.

— Вы, конечно, считаете, что я суюсь не в свое дело. Но почему мне нельзя поговорить с вами об этом, не вызывая у вас раздражения, а у себя неловкости? Какой смысл быть вашим кузеном и не иметь хотя бы маленьких привилегий? Какой смысл обожать вас без надежды на взаимность и не иметь права хотя бы на маленькое вознаграждение? Быть больным и немощным, обреченным на роль стороннего наблюдателя жизни и даже не видеть спектакля, хотя за билет на него плачено такой дорогой ценой? Скажите мне, — продолжал Ральф, глядя на Изабеллу, слушавшую его с живейшим вниманием, — скажите, что было в ваших мыслях, когда вы отказывали лорду Уорбертону?

— В мыслях?

— Какие мотивы… что побудило вас, при вашем положении, на этот удивительный шаг?

— Я не хочу выходить за него — вот и все мотивы.

— Это не мотив… это я и раньше знал. Это, знаете ли, просто отговорка. Что вы сказали тогда себе? Ведь сказали же вы что-то еще.

Изабелла на мгновенье задумалась и ответила вопросом на вопрос:

— Почему вы называете мой отказ Уорбертону удивительным шагом? Ваша матушка тоже так считает.

— Потому что лорд Уорбертон во всех отношениях безупречная партия. Я не знаю, можно ли найти за ним недостатки. К тому же в нем, как здесь выражаются, бездна обаяния. И он несметно богат — в его жене будут видеть высшее существо. В Уорбертоне соединились все достоинства, и внешние и внутренние.

Изабелла с интересом смотрела на кузена, словно любопытствуя, как далеко он зайдет в своих похвалах.

— В таком случае я отказала ему потому, что он чересчур совершенен. Сама я не совершенна, и он слишком хорош для меня. Его совершенство

действовало бы мне на нервы.

— Изобретательно, но непохоже на правду, — сказал Ральф. — Уверен, вы считаете себя достойной любого совершенства в мире.

— Вы полагаете, я такого высокого мнения о себе?

— Нет, но вы очень разборчивы независимо от того, какого вы мнения о себе. Впрочем, девятнадцать женщин из двадцати, даже самых разборчивых, удовлетворились бы лордом Уорбертоном. Вы и представить себе не можете, как за ним охотятся.

— И не хочу представлять. Однако, — продолжала Изабелла, — помнится, как-то в разговоре вы упомянули, что за ним водятся кой-какие странности.

Ральф затянулся, размышляя.

— Надеюсь, мои слова не повлияли на ваше решение: я не имел в виду ничего дурного и вовсе не хотел чернить его, просто указал на необычность его позиции. Знай я, что он сделает вам предложение, я в жизни бы об этом и словом не обмолвился. По-моему, я сказал, что он относится к своему положению скептически. Что ж, в вашей власти внушить ему веру в себя.

— Не думаю. Я ничего не смыслю в его делах,

да и миссия эта не по мне. Признайтесь — вы явно разочарованы, — добавила Изабелла, бросая на кузена сочувственно-лукавый взгляд. — Вам хотелось бы, чтобы я вышла замуж за лорда.

— Ничего подобного. Вот уж где у меня нет никаких желаний. Я не пытаюсь давать вам советы и вполне довольствуюсь ролью наблюдателя, к тому же весьма заинтересованного.

Изабелла несколько нарочито вздохнула:

— Жаль, что себе я не столь интересна, как вам.

— А вы опять кривите душой: вы относитесь к себе с чрезвычайным интересом. Впрочем, знаете, — продолжал Ральф, — если вы и в самом деле отказали Уорбертону, я этому, пожалуй, даже рад. Я не хочу сказать, что рад за вас, не говоря уж о нем. Я рад за себя.

— Уж не собираетесь ли *вы* сделать мне предложение?

— Ни в коем случае. В свете того, о чем я говорил, это было бы роковым поступком: я убил бы курицу, которая несет яйца для моих непревзойденных омлетов. Эта птица служит символом моей сумасбродной мечты. Иными словами, я мечтаю увидеть, какой путь изберет молодая особа, отвергнувшая лорда Уорбертона.

— Ваша матушка тоже рассчитывает насладиться этим зрелищем, — сказала Изабелла.

— О, зрителей будет предостаточно! Мы все будем с жадностью следить за вашей дальнейшей карьерой. Правда, мне не увидеть ее конца, но лучшие годы я захвачу. Разумеется, если бы вы стали женой нашего друга, вы тоже сделали бы свою карьеру — очень удачную, блестящую даже, смею сказать. Но в некотором отношении она была бы заурядной. Тут все известно заранее и нет возможности ни для каких неожиданностей. А я, знаете ли, необычайно люблю неожиданности и теперь, когда все в ваших руках, вы, надеюсь, покажете нам что-нибудь в высшей степени захватывающее.

— Я не вполне понимаю вас, — сказала Изабелла, — но все же достаточно, чтобы предупредить: если вы ждете от меня чего-то захватывающего, вы будете разочарованы.

— Да, но и вы вместе со мной — а вам трудно будет с этим смириться.

Она ничего не ответила: в том, что он сказал, была доля правды.

— Не вижу ничего дурного в том, что мне не хочется себя связывать, — резко сказала она наконец. — Мне не хочется начинать жизнь с

замужества. Женщина способна быть не только женой.

— Но это у нее лучше всего получается. Правда, вы не однобоки.

— Да, боков у меня несомненно два, — сказала Изабелла.

— Я хотел сказать, вы прелестнейший в мире многогранник! — отшутился Ральф, но, встретившись с ее взглядом, тотчас вновь принял серьезный тон. — Вы хотите посмотреть жизнь — вкусить ее в полной мере, черт возьми, как говорят молодые люди.

— Нет, совсем не так, как молодые люди. Но я хочу знать, что происходит вокруг.

— Испить до дна чашу опыта?

— Вовсе нет, я не хочу даже касаться этой чаши. Она наполнена ядом! Я просто хочу увидеть жизнь сама.

— Увидеть, но не испытать, — заметил Ральф.

— Для чувствующей души здесь, по-моему, трудно провести грань. Я точь-в-точь как Генриетта. Как-то я спросила у нее, не собирается ли она замуж, и она ответила: «Не раньше, чем посмотрю Европу». Вот и я не хочу выходить замуж, пока не посмотрю Европу.

— Не иначе как вы рассчитываете вскружить

какую-нибудь коронованную голову.

— Фу! Вот уж что было бы даже хуже, чем выйти замуж за лорда Уорбертона. Однако уже совсем стемнело, — сказала Изабелла, — и мне пора домой.

Она поднялась, но Ральф продолжал сидеть и смотреть на нее. Видя, что он не встает, она остановилась подле него, взгляды их встретились, и каждый, особенно Ральф, вложил в них все, что было еще слишком смутно и потому не укладывалось в слова.

— Вы ответили на мой вопрос, — произнес он наконец. — Вы сказали мне то, что я хотел знать. Я очень признателен вам за это.

— По-моему, я почти ничего не сказала.

— Нет, очень многое: вы сказали, что вам интересна жизнь и что вы решили окунуться в нее.

Ее глаза серебристо блеснули в вечернем сумраке.

— Ничего подобного я не говорила.

— Но подразумевали. Не отпирайтесь. Ведь это так хорошо!

— Не знаю, что вы мне там приписываете, но я вовсе не искательница приключений. Женщины не похожи на мужчин.

Ральф медленно поднялся со стула, и они напра-

вились к калитке, на которую запирался сквер.

— Да, — сказал он, — женщины редко кричат, какие они смелые. Мужчины же — без конца.

— Им есть о чем кричать.

— Женщинам тоже. Вот вы, например, — смелости в вас хоть отбавляй.

— Да как раз хватает, чтобы доехать в кебе до гостиницы Прэтта. Но не более того.

Ральф отпер калитку и, когда они вышли из сквера, снова запер ее.

— Попробуем найти вам кеб, — сказал он, направляясь с нею на соседнюю улицу, где было больше вероятности решить эту задачу, и еще раз предложил проводить Изабеллу до гостиницы.

— Ни в коем случае, — решительно отказалась она. — Вы и так устали; вам надо вернуться домой и сейчас же лечь в постель.

Они нашли свободный кеб, Ральф усадил ее и постоял у дверцы.

— Когда люди забывают о моей немощи, — сказал он, — мне тяжело, но еще тяжелее, когда они помнят об этом.

16

У Изабеллы не было никаких тайных причин отказывать Ральфу в удовольствии проводить ее, просто ей пришло на ум, что она и без того несколько дней нещадно злоупотребляет его вниманием, а так как юным американкам присущ дух независимости и излишняя опека быстро начинает их тяготить и казаться чрезмерной, она решила ближайшие несколько часов обойтись собственным обществом. К тому же Изабелла очень любила время от времени побыть в одиночестве, которого с момента приезда в Англию была почти полностью лишена. Дома она беспрепятственно наслаждалась этим благом и сейчас остро ощущала, насколько ей не хватает его. Однако вечер ознаменовался неким происшествием, и — познай о нем недоброжелатель — оно сильно обесценило бы наше утверждение, будто только желание остаться наедине с собой побудило Изабеллу отклонить услуги своего кузена.

Часов около девяти, расположившись в тускло освещенной гостиной и поставив подле себя два

высоких шандала, Изабелла пыталась погрузиться в пухлый, привезенный из Гарденкорта том, но, несмотря на все усилия, вместо напечатанных на странице слов видела другие — сказанные ей в тот вечер Ральфом. Внезапно раздался негромкий стук в дверь и появившийся вслед за тем слуга, словно бесценный трофей, преподнес ей визитную карточку гостя. Переведя взгляд на сей сувенир и обнаружив там имя Каспара Гудвуда, Изабелла ничего не сказала, и слуга, не получая распоряжений, продолжал стоять перед ней.

— Прикажете проводить джентльмена сюда, мадам? — спросил он, склоняясь в поощряющем поклоне.

Изабелла все еще раздумывала и, раздумывая, посмотрелась в зеркало.

— Просите, — сказала она наконец и в ожидании гостя не столько оправляла прическу, сколько заковывала в броню свое сердце.

Мгновенье спустя Каспар Гудвуд молча жал ей руку, дожидаясь, чтобы слуга закрыл за собою дверь.

— Почему вы не ответили на мое письмо? — проговорил он, как только они остались вдвоем, громко и даже слегка повелительно, тоном человека, привыкшего четко ставить вопросы и

добиваться прямого ответа.

Но у Изабеллы и у самой был наготове вопрос:

— От кого вы узнали, что я здесь?

— От мисс Стэкпол, — ответил он. — Она известила меня, что сегодня вечером вы, по всей вероятности, будете дома одна и согласитесь принять меня.

— Когда же она виделась с вами, и… и сообщила вам это?

— Мы не виделись. Она написала мне.

Изабелла молчала. Она не садилась, не садился и он. Они стояли друг против друга, словно противники, готовые ринуться в бой или по крайней мере помериться силами.

Генриетта и словом не обмолвилась о вашей переписке, — сказала наконец Изабелла. — Это дурно с ее стороны.

— Вам так неприятно видеть меня? — произнес молодой человек.

— Я не ожидала вас. А я не охотница до подобного рода сюрпризов.

— Но вы же знали, что я в Лондоне. Мы вполне могли встретиться случайно.

— Это называется случайно? Я не предполагала встретить вас здесь. В таком большом городе нам вовсе не так уж непременно было встретиться.

— Даже написать мне было вам, очевидно, в тягость, — сказал он. Изабелла ничего не ответила. Вероломство Генриетты — как она аттестовала поступок подруги — вот что занимало ее мысли.

— Генриетту никак не назовешь образцом деликатности! — воскликнула она с горечью. — Она слишком много себе позволила.

— Я, надо полагать, тоже не образец — ни этой, ни многих других добродетелей. Я виноват не меньше, чем она.

Изабелла бросила на него взгляд: никогда еще его подбородок не казался ей таким ужасающе квадратным. Уже одно это могло бы ее рассердить, но она сдержалась:

— Ее вина больше вашей. *Вы,* пожалуй, не могли поступить иначе.

— Разумеется, не мог! — воскликнул Каспар Гудвуд, принужденно смеясь. — А теперь, раз я уже здесь, позвольте мне по крайней мере остаться!

— Да, конечно. Садитесь, пожалуйста.

Она вернулась на прежнее место, а он с видом человека, привыкшего не придавать значения тому, как его принимают, занял первый попавшийся стул.

— Я каждый день ждал ответа от вас. Вы не удо-

сужились написать мне даже несколько строк.

— Мне нетрудно написать несколько строк и даже страниц. Я молчала намеренно, — сказала Изабелла. — Я считала, так будет лучше.

Он слушал, глядя ей прямо в глаза, но, когда она умолкла, потупился и уставился в одну точку на ковре — казалось, он напрягал все силы, чтобы не сказать лишнего. Он был сильный человек, к тому же достаточно умный и, даже сознавая себя неправым, понимал — действуя напролом, он только резче подчеркнет, насколько шатка его позиция. Изабелла вполне могла оценить преимущества над подобным противником и, хотя у нее не было желания козырять ими, в душе, надо думать, радовалась возможности сказать: «А зачем вы писали ко мне?» — и сказать это с торжеством.

Наконец Каспар Гудвуд вновь поднял на нее глаза — казалось, они сверкают сквозь забрало. Он обладал острым чувством справедливости и был готов всегда и везде, денно и нощно отстаивать свои права.

— Да, вы сказали: «Я надеюсь, вы никогда не станете напоминать мне о себе». Я не забыл ваших слов, но я не счел это требование законным. Я предупреждал, что очень скоро напомню о себе.

— Я не сказала — *никогда.*

— Ну в ближайшие пять, десять, а то и двадцать лет. Это одно и то же.

— Вы так полагаете? А, по-моему, это большая разница. Я вполне могу себе представить, что лет через десять между нами завяжется самая милая переписка. К тому времени я уже овладею эпистолярным стилем.

Она знала, насколько ее слова не соответствуют серьезному выражению лица собеседника, и, произнося их, отвела глаза в сторону. Когда она вновь устремила их на Гудвуда, тот как ни в чем не бывало спросил:

— Как вам нравится в гостях у дяди?

— Очень нравится, — обронила Изабелла, но тотчас снова вспыхнула: — Зачем вы преследуете меня? Какой в этом смысл?

— Тот смысл, что я не потеряю вас.

— Кто дал вам право так говорить? Вы не можете потерять то, чем не владеете! Даже исходя из ваших собственных интересов, — добавила она, — вам следовало бы знать, что иногда лучше оставить человека в покое.

— До чего же я вам опостылел! — сказал Каспар Гудвуд мрачно, но произнес эти слова не так, как если бы пытался вызвать в ней сострадание к

несчастному, осознавшему столь горький факт, а как человек, решивший до конца представить себе размеры постигшей его беды и действовать с открытыми глазами.

— Да, я не в восторге от вас, — заявила Изабелла. — Вы здесь лишний, с какой стороны ни возьми, особенно сейчас, а ваши попытки во что бы то ни стало убедиться в этом и совсем уж ни к чему.

Он не отличался тонкой кожей, и булавочные уколы не могли его уязвить, поэтому с первого же дня их знакомства Изабелле то и дело приходилось обороняться от его манеры обходиться с нею так, словно он лучше нее самой разбирается в том, что ей нужно, и она твердо усвоила: лучшее против него оружие — полная откровенность. Любого другого противника, не столь упорно преграждавшего ей путь, она старалась бы щадить, обойти стороной, но в отношении Каспара Гудвуда, цеплявшегося за каждый оставленный ему рубеж, такая деликатность была пустой тратой сил. Не то что бы он был вовсе лишен чувствительных мест, но они приходились на очень большую и почти непробиваемую поверхность, а свои раны он, без сомнения, умел, если нужно, врачевать сам. И, хотя она признавала, что он,

весьма возможно, страдает и мучается, к ней снова вернулось ощущение, будто сама природа закалила его, наделила панцирем, вооружила для нападений.

— Я не могу согласиться с этим, — сказал он просто.

Он вел себя великодушно, но это было опасное великодушие, так как теперь ему, конечно же, открыт следующий ход: он может заявить, что не всегда казался ей постылым.

— Я тоже не могу согласиться с этим, потому что не такие отношения должны быть между нами. Если бы вы только постарались не думать обо мне несколько месяцев. А там увидите, мы снова станем добрыми друзьями.

Ну нет! Выкиньте меня из головы на указанный срок, а там, увидите, вам вовсе нетрудно будет забыть меня навсегда.

Зачем же навсегда. Столько я не прошу. Да и не хочу.

— Вы отлично понимаете — то, что вы просите, неисполнимо, — сказал молодой человек, произнося последнее слово таким непререкаемым тоном, что в ней поднялось раздражение.

— Неужели вы не способны на разумное усилие воли? У вас на все хватает сил. Почему же здесь

вы не можете заставить себя?

— Заставить себя? Ради чего? — Она не нашлась, что ответить, и он продолжал: — Я ничего не могу, когда дело касается вас. Могу только любить вас до исступления. Чем сильнее человек, тем он и любит сильнее.

— Тут вы, пожалуй, правы. — Она сознавала силу его чувства, сознавала, что, перенесенное в область поэзии и высоких истин, оно вполне способно покорить ее воображение. Но Изабелла тотчас овладела собой. — Хотите — забудьте меня, хотите — помните, только оставьте меня в покое.

— На сколько?

— Ну, на год, на два.

— На год или на два? Между годом и двумя — существенная разница.

— Стало быть, на два, — отрезала Изабелла с наигранной живостью.

— А что я на этом выгадаю? — спросил ее друг, не моргнув и глазом.

— Вы окажете мне большую услугу.

— А каково будет вознаграждение?

— Вы ждете вознаграждение за великодушный поступок?

— Конечно — коль скоро я иду на большую

жертву.

— Великодушие всегда требует жертвы. Вы, мужчины, этого не понимаете. Принесите мне эту жертву, и вы заслужите мое восхищение.

— Что мне в вашем восхищении! Грош ему цена, ломаный грош, если вы ничем его не подтверждаете. Когда вы станете моей женой — вот единственный мой вопрос?

— Никогда! — если вы и впредь будете возбуждать во мне только такие чувства, как сегодня.

— А что я выиграю, если не буду пытаться пробудить в вас иные чувства?

— Ровно столько же, сколько надоедая мне до смерти!

Каспар Гудвуд снова опустил глаза — казалось, он весь ушел в созерцание подкладки собственной шляпы. Густая краска залила ему лицо; Изабелла видела — наконец-то его проняло. И в тот же миг он приобрел для нее интерес — классический? романтический? искупительный? — трудно сказать. Во всяком случае, «сильный человек, терзаемый болью», — категория, которая всегда взывает к участию, невзирая на всю неприглядность данного ее представителя.

Зачем вы заставляете меня говорить резкости? — сказала она прерывающимся голосом. — Я

хочу быть с вами мягкой, быть доброй. Разве мне приятно убеждать человека, которому я нравлюсь, что он должен ко мне перемениться. Но, по-моему, другим тоже следует щадить мои чувства: будем же всех мерить одинаковой мерой. Я знаю, вы щадите меня, насколько можете, и у вас достаточно оснований поступать так, как вы поступаете. Но, поверьте, я на самом деле не хочу сейчас выходить замуж, даже слышать об этом не хочу. Может быть, вообще не выйду — никогда. Это мое право, и невеликодушно так донимать женщину, так приступать к ней, не считаясь с ее волей. Если я причиняю вам страдания, — могу только сказать, что мне очень жаль, но это не моя вина. Я не могу выйти замуж ради вашего удовольствия. Не скажу, что всегда буду вам другом — когда женщины в подобных обстоятельствах говорят о дружбе, это звучит как насмешка. Но испытайте меня когда-нибудь.

На протяжении этой речи Каспар Гудвуд не отрывал глаз от этикетки с именем шляпника и, после того как она кончила говорить, поднял их не сразу. Но, когда он взглянул на ее прелестное, раскрасневшееся лицо, от его намерения опровергнуть ее доводы почти ничего не осталось.

— Хорошо, я уеду, завтра же уеду. Не стану

больше докучать вам, — сказал он наконец. — Только, — добавил он с болью, — страшно мне терять вас из виду.

— Не бойтесь: ничего со мною не произойдет.

— Вы выйдете замуж, непременно выйдете! — заявил Каспар Гудвуд.

— Вы считаете, вы этим мне льстите?

— А что тут такого? У вас отбоя не будет от женихов.

— Я же сказала вам — я не собираюсь замуж и почти наверное никогда не выйду.

— Сказали. Меня особенно трогает это ваше «почти наверное». Только не могу я положиться на ваши слова.

— Весьма вам признательна. Вы обвиняете меня в том, что я лгу, что просто хочу отделаться от вас? Любезные слова вы говорите.

— А как же их не говорить? Вы не даете мне никаких гарантий.

— Этого еще недоставало! Гарантии здесь вовсе не нужны.

— Сами вы, конечно, считаете, что вполне можете на себя положиться — поскольку вам этого очень хочется. Только это не так, — упорствовал молодой человек, настраиваясь, видимо, на самое худшее.

— Ну и прекрасно. Будем считать, что на меня нельзя положиться. Считайте, как вам угодно.

— Я даже не уверен, — сказал Каспар Гудвуд, — что мое присутствие сможет чему-нибудь помешать.

— Вот как? Конечно, я же вас очень боюсь! Вы полагаете, меня так легко завоевать? — вдруг спросила она, меняя тон.

— Отнюдь. И постараюсь утешиться хотя бы этим. Но в мире немало блестящих мужчин, а в данном случае достаточно одного. Они-то вас сразу и заприметят. Человеку не очень блестящему вы, разумеется, не поддадитесь.

— Ну, если под блестящим мужчиной вы изволите подразумевать того, кто блистает умом — впрочем, кого еще? — могу вас успокоить: я не нуждаюсь в умнике, который станет учить меня жить. Я сумею во всем разобраться сама.

— Разобраться, как жить одной? Что ж, когда вам это удастся, научите и *меня.*

Изабелла взглянула на него, и на губах ее мелькнула улыбка:

— Вот *вам* как раз непременно нужно жениться, — сказала она.

Можно простить Каспару Гудвуду, что в такое мгновенье совет этот показался ему чудовищ-

ным; к тому же нигде не засвидетельствовано, какие чувства побудили нашу героиню пустить такого рода стрелу. Впрочем, одно из них, несомненно, ею владело — *желание,* чтобы он не ходил неприкаянным.

— Да простит вам бог! — пробормотал сквозь зубы Каспар Гудвуд, отворачиваясь.

Она поняла, что неудачно выбрала тон, и, подумав немного, сочла нужным исправить ошибку. Это легче всего было сделать, поменявшись с ним ролями.

— Как вы несправедливы ко мне! — воскликнула она. — Вы судите о том, чего не знаете! Меня вовсе не так легко прельстить — я доказала это на деле.

— Мне — несомненно.

— И другим тоже. — Она помолчала. — На прошлой неделе мне сделали предложение и я отказала. Я отказалась от того, что называют блестящей партией.

— Весьма рад это слышать, — угрюмо сказал молодой человек.

— Я отказалась от предложения, которое очень многие девушки приняли бы, — оно заманчиво во всех отношениях. — Изабелла не предполагала посвящать Гудвуда в это событие, но, начав

говорить, уже не могла остановиться — так приятно ей было отвести душу и оправдаться в собственных глазах. — У этого человека высокое положение, огромное состояние, и сам он очень мне нравится.

Каспар слушал с глубочайшим вниманием.

— Он — англичанин?

— Да. Английский аристократ.

Каспар встретил это известие молчанием. Потом сказал:

— Очень рад, что он получил отказ.

— Видите, у вас есть собрат по несчастью, так что вам должно быть не так обидно.

— Какой он мне собрат, — сказал Каспар мрачно.

— Почему же? Ему я отказала наотрез.

— От этого он не стал мне собратом. К тому же он — англичанин.

— Помилуйте, разве англичане не такие же люди, как мы с вами?

— Эти? Здесь? Во всяком случае, *мне* он чужой и до его судьбы мне дела нет.

— Вы очень ожесточены, — сказала Изабелла. — Не будем больше говорить об этом.

— Да, ожесточен. Каюсь. Виноват.

Она отвернулась от него, подошла к открыто-

му окну, и взгляд ее погрузился в пустынный сумрак улицы, где только бледный газовый свет напоминал о городской суете. Некоторое время оба молчали; Каспар застыл у каминной полки, вперив в нее сумрачный взгляд. В сущности, она предложила ему уйти — он понимал это, но, даже рискуя стать ей ненавистным, не мог заставить себя сдвинуться с места. Она была самым заветным его желанием, он не мог отказаться от нее, он пересек океан в надежде вырвать у нее хотя бы намек на обещание. Внезапно она оторвалась от окна и вновь оказалась перед ним.

— Вы не оценили мой поступок — тот, о котором я сейчас вам рассказала. Напрасно рассказала, для вас это, видимо, мало что значит.

— Если бы вы отказали ему из-за *меня]*... — воскликнул молодой человек и осекся, со страхом ожидая, что сейчас она опровергнет так неожиданно пришедшую к нему счастливую мысль.

— Чуть-чуть и из-за вас, — сказала Изабелла.

— Чуть-чуть! Не понимаю. Если бы вы сколько-нибудь дорожили моими чувствами, вы не сказали бы «чуть-чуть».

Изабелла только покачала головой, словно отметая его заблуждение.

— Я отказала очень хорошему, очень благород-

ному человеку. Вам этого мало?

— Нет, я вам признателен, — сказал Каспар Гудвуд угрюмо. — Бесконечно признателен.

— А теперь вам лучше вернуться домой.

— Позвольте мне еще раз увидеть вас.

— А нужно ли это? Вы опять будете говорить все о том же, а к чему это ведет, вы сами видите.

— Обещаю не досадить вам и словом. Изабелла помедлила, затем сказала:

— Я не сегодня-завтра возвращаюсь в Гарденкорт. А туда мне невозможно вас пригласить, я и сама там только гостья.

Теперь Гудвуд, в свою очередь, помедлил.

— Оцените и вы мой поступок, — сказал он. — Неделю назад я получил приглашение приехать в Гарденкорт, но не воспользовался им.

Изабелла не могла сдержать удивления.

— Приглашение? От кого?

— От мистера Ральфа Тачита — вашего кузена, я полагаю. А не поехал я, потому что не имел вашего согласия. Думаю, это мисс Стэкпол надоумила мистера Тачита послать мне приглашение.

— Во всяком случае, не я, — сказала Изабелла и добавила: — Нет, право, Генриетта чересчур много на себя берет.

— Не будьте к ней слишком строги: здесь за-

мешан и я.

— Вы? Нимало. Вы же не поехали и правильно сделали, и я от души благодарна вам за это. — Она содрогнулась при мысли, что лорд Уорбертон и мистер Гудвуд могли бы столкнуться в Гарденкорте: это было бы так неприятно лорду Уорбертону!

— Куда же вы потом, после Гарденкорта? — спросил гость.

— Мы с тетушкой едем за границу — во Флоренцию и еще в разные города.

Спокойствие, с каким это было сказано, отозвалось болью в его сердце — он словно видел воочию, как светский вихрь уносит ее в недоступные ему круги. Тем не менее он не замедлил задать следующий вопрос:

— Когда же вы вернетесь в Америку?

— Не скоро, наверно. Мне очень нравится здесь.

— Вы намерены отказаться от родной страны?

— Какие глупости!

— Все равно — я потеряю вас из виду! — вырвалось у Гудвуда.

— Как знать, — отвечала Изабелла не без значительности в тоне. — Мир, где теперь все так благоустроенно, а города так связаны между со-

бой, стал, кажется, очень мал.

— Но для *меня* он, увы, необозримо велик! — воскликнул молодой человек с таким простодушием, что, не будь наша героиня категорически против каких бы то ни было послаблений, его тон, несомненно, растрогал бы ее. Но с недавних пор она следовала твердой системе, некоей теории, исключавшей любые уступки, а посему, желая поставить все точки над i, сказала:

— Не сердитесь, но должна признаться, меня *только* радует возможность не быть у вас на виду. Будь вы рядом, я беспрестанно чувствовала бы, что вы наблюдаете за мной, а я не выношу, когда за мной следят, — я слишком люблю свободу. Если я действительно чем-то дорожу, — продолжала она, впадая в несколько приподнятый тон, — так это своей независимостью.

При всей высокомерности этого заявления Каспару оно понравилось, а ее заносчивый тон нимало его не отпугнул. Он всегда знал, что у нее есть крылья и потребность летать, красиво и вольно, но у него и самого был широкий размах — ив руках, и в шагах, так что он не боялся ее силы. Если она рассчитывала своей тирадой сразить его, то не попала в цель и лишь вызвала у него улыбку: на этой почве они скорее всего

могли сойтись.

— Кто-кто, а я не посягаю на вашу свободу. Напротив, для меня не может быть ничего приятнее, чем видеть вас полностью независимой. Для того я и хочу жениться на вас — чтобы вы стали независимы.

— Какой прелестный софизм! — воскликнула Изабелла, даря его не менее прелестной улыбкой.

— Незамужняя женщина, тем более молодая девушка не бывает независимой. Ей слишком многого нельзя. Препятствия стоят перед ней на каждом шагу.

— Ну, все зависит от того, как она сама на это смотрит, — горячо возразила Изабелла. — Я уже не девочка и могу делать то, что считаю нужным, — я из породы независимых. Надо мной нет ни отца, ни матери, я бедна, настроена на серьезный лад и не принадлежу к тем, кого называют «хорошенькими». Мне нет нужды изображать из себя застенчивую примерную девицу — да я просто и не могу себе этого позволить. Я положила за правило судить обо всем самой: лучше уж иметь ложные суждения, чем не иметь их вовсе. Я не желаю быть овечкой в стаде — хочу сама распоряжаться собой и знать о мире и людях мно-

го больше, чем это принято сообщать молодым девушкам. — Она перевела дыхание, но Каспар Гудвуд не успел вставить и слова, как она продолжала: — Позвольте еще вот что сказать вам, мистер Гудвуд. Вы упомянули, что боитесь, как бы я не вышла замуж. Так вот, если до вас дойдут слухи, будто я намерена совершить этот шаг — о девушках их часто распространяют, вспомните, что я сказала вам о моей любви к свободе, и рискните в них усомниться.

Она говорила с такой страстной убежденностью, а глаза светились такой искренностью, что он поверил ей. И по тому, как живо он откликнулся на ее слова, можно было заключить, что у него отлегло от сердца.

— Стало быть, вы решили просто попутешествовать год-другой? Ну два года я вполне согласен ждать; можете делать все это время, что вам угодно. Так бы с самого начала и сказали. Я вовсе не жажду видеть вас примерной тихоней — я ведь и сам не из таких. Вам хочется развить свой ум? По мне вы и так достаточно умны, но если вам этого хочется — что ж, поездите по свету, посмотрите на разные страны, я буду только счастлив помочь вам всем, чем смогу.

— Вы очень великодушны, и я всегда это знала.

А если вы и в самом деле хотите мне помочь — сделайте так, чтобы нас разделяли сотни миль Атлантического океана.

— Не иначе как вы задумали что-то ужасное, — заметил Каспар Гудвуд.

— Все может быть! Я хочу быть свободной, совсем свободной — пусть даже чтобы совершить что-то ужасное, коль скоро мне взбредет это на ум.

— Хорошо, — сказал он медленно. — Я возвращаюсь домой.

И он протянул ей руку, стараясь сделать вид, что вполне доволен и уверен в ней.

Однако она была уверена в нем больше, чем он в ней. Не то что бы Гудвуд и в самом деле считал ее способной сделать «что-то ужасное», но при всем желании он не мог не видеть: то упорство с каким она отстаивала свое право на выбор не сулило ему ничего хорошего. Изабелла же взяла его руку с чувством глубокого уважения; она знала, как сильно он любит ее, и ценила его благородство. Они стояли, глядя друг на друга, рука в руке, и с ее стороны это было не только привычное рукопожатие.

— И прекрасно, — сказала она ласково, почти нежно. — Вы ничего не потеряете, поступив

разумно.

— Но через два года я разыщу вас, где бы вы ни были, — ответил он с присущим ему мрачным упорством.

Наша юная леди, как мы видели, не отличалась последовательностью и, услышав подобную декларацию, тотчас изменила тон.

— Помните: я ничего не обещала — ровным счетом ничего! — И уже более мягко, желая дать ему возможность спокойно уйти, добавила: — И помните: меня не так-то легко прельстить.

— Вам скоро опротивеет ваша независимость.

— Может быть, даже наверное. Вот тогда я буду рада вас видеть.

Положив ладонь на ручку двери, ведущей в спальню, она стояла, дожидаясь, когда гость наконец откланяется. Но Каспар не находил в себе сил уйти: его поза выражала упорное нежелание расстаться с ней, а в глазах затаилась глубокая обида.

— Мне придется оставить вас, — сказала Изабелла и, толкнув дверь, крылась в спальне.

Там было темно, но через окно из двора гостиницы, разрежая темноту, проникал слабый свет, и Изабелла различила очертания мебели, тусклый отсвет зеркала и большую, с пологом на

четырех столбиках, кровать. Она стояла недвижно, вслушиваясь: наконец Каспар Гудвуд вышел из гостиной, и дверь за ним закрылась. Изабелла постояла еще немного и вдруг в неудержимом порыве опустилась возле кровати на колени и уронила голову на руки.

17

Она не молилась, она дрожала — дрожала всем телом. Ее вообще легко бросало в трепет — пожалуй, даже слишком легко, а сейчас она вся звенела, как растревоженная ударом пальцев арфа. Правда, в таких случаях достаточно было закрыть крышкой футляр, натянуть снова полотняный чехол, но Изабелле хотелось самой подавить волнение, а коленопреклоненная поза, казалось, помогала унять дрожь. Она ликовала — Гудвуд ушел, она избавилась от него и теперь испытывала такое ощущение, словно уплатила давно тяготевший над нею долг и получила заверенную по всей форме расписку. Облегчение было огромное, а между тем голова ее клонилась все ниже и ниже: сознание торжества не покидало Изабеллу, заставляя сильнее колотиться сердце и наполняя его ликованием, но она знала, что это постыдное чувство — дурное, неуместное. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем она встала с колен и вернулась в гостиную, и даже тогда ее еще всю трясло. Состояние это объяснялось двумя причинами — отчасти долгим препира-

тельством с Каспаром Гудвудом, но в основном, боюсь, наслаждением, которое она испытала, проявив свою силу. Она уселась в то же кресло и взяла в руки ту же книгу, но не раскрыла ее даже для виду. Откинувшись на спинку, она напевала про себя что-то тихое, мелодичное, мечтательное — это был ее обычный ответ на события, добрый смысл которых не лежал на поверхности, — и не без удовлетворения думала о том, что за истекшие две недели отказала двум пламенным поклонникам. Любовь к свободе, которую она так ярко расписывала Гудвуду, носила пока для нее только умозрительный характер: до сих пор она не имела возможности проявить ее. Однако кое-что, как ей казалось, она уже совершила — испытала радость если не битвы, то по крайней мере победы и сделала первый шаг на пути к исполнению своих планов. В свете этих радужных мыслей образ мистера Гудвуда, печально бредущего по закопченному Лондону, бередил ей совесть, и, когда дверь в гостиную внезапно отворилась, она вскочила в страхе, что сейчас увидит его вновь. Но это была возвратившаяся из гостей Генриетта Стэкпол.

*М*исс Стэкпол тотчас заметила, что с нашей юной леди что-то «стряслось» — правда, для

такого открытия не требовалось особой проницательности. Она поспешила подойти к подруге, но та встретила ее молчанием. Разумеется, не явись мистер Гудвуд с визитом, ей не представилось бы счастливого случая отослать его в Америку — обстоятельство, которое ее очень радовало, но в то же время она ни на минуту не забывала, что Генриетта не имела права расставлять ей ловушку.

— Он был здесь? — спросила Генриетта, сгорая от нетерпения.

Изабелла отвернулась.

— Ты поступила очень дурно, — сказала она после долгого молчания.

— Я поступила наилучшим образом. Надеюсь, и ты тоже.

— Ты плохой судья. Я не могу доверять тебе, — сказала Изабелла.

Это было нелестное заявление, но Генриетта, слишком бескорыстная, чтобы думать о себе, не придала значения содержавшемуся в нем обвинению: в этих словах ее взволновало лишь то, что они раскрывали в подруге.

— Изабелла Арчер! — изрекла она, торжественно чеканя каждый слог. — Если ты выйдешь замуж за одного из этих господ, я порву с тобой

навсегда.

— Прежде чем бросать такие страшные угрозы, подожди хотя бы, чтобы кто-нибудь из них сделал мне предложение, — отвечала Изабелла.

Она и прежде ни словом не обмолвилась мисс Стэкпол о признании лорда Уорбертона, а сейчас и подавно не собиралась поведать о своем отказе английскому лорду, чтобы оправдаться перед ней.

— О, за этим дело не станет, как только ты переправишься через Ла-Манш. Анни Клаймер — на что уж дурнушка — и той в Италии трижды делали предложение.

— Но если Анни Клаймер не соблазнилась, что может соблазнить меня?

— Ее вряд ли так уж добивались. А тебя будут.

— Ты очень мне льстишь, — сказала Изабелла с полной безмятежностью.

— Я не льщу тебе, Изабелла, я говорю, что есть, — возразила ей подруга. — Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что не оставила Каспару Гудвуду никакой надежды?

— Ас какой стати я вообще должна тебе что-то говорить? Я же сказала, что не могу тебе доверять. Но раз ты так интересуешься мистером Гудвудом, не скрою — он немедля возвращается в Америку.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что прогнала его! — почти крикнула Генриетта.

— Я попросила его оставить меня в покое. И о том же прошу тебя, Генриетта.

В глазах мисс Стэкпол отразилось глубокое разочарование, но уже в следующее мгновение она подошла к висевшему над камином зеркалу и сняла шляпку.

— Надеюсь, ты осталась довольна обедом? — спросила Изабелла.

Но пустые любезности не могли сбить Генриетту Стэкпол.

— Да знаешь ли ты, куда ты идешь, Изабелла Арчер?

— В настоящую минуту — спать, — сказала Изабелла, не меняя тона.

— Да знаешь ли ты, куда тебя несет? — не унималась Генриетта, простирая руки, хотя и не без оглядки на шляпку.

— Нет, не знаю и не желаю знать. Экипаж, запряженный четверкой резвых коней, которые мчатся ночью по незримым дорогам, — вот мое представление о счастье.

— Уж, конечно, не мистер Гудвуд научил тебя говорить так, словно ты героиня безнравственного романа, — сказала мисс Стэкпол. — Тебя несет

прямо в пропасть!

Хотя Изабеллу коробило от подобной бесцеремонности, все же она на минуту задумалась, нет ли в тираде подруги крупицы правды, но, не найдя ни одной, сказала:

— Ты, наверно, очень привязана ко мне, Генриетта, если позволяешь себе так нападать на меня.

— Да, я по-настоящему люблю тебя, Изабелла! — воскликнула Генриетта с глубоким чувством.

— Ну, если ты по-настоящему любишь меня, дай мне быть по-настоящему свободной. Я уже просила об этом мистера Гудвуда, а теперь прошу тебя.

— Смотри, эта свобода может плохо для тебя кончиться.

— Мистер Гудвуд уже пугал меня. Но я ответила, что готова рискнуть.

— Ты рискуешь стать искательницей приключений! Я просто в ужасе от тебя! — возопила Генриетта. — Когда мистер Гудвуд уезжает в Америку?

— Не знаю — он мне не сказал.

— Вернее, ты не поинтересовалась, — сказала Генриетта не без справедливой иронии.

— Я так мало порадовала его, что, по спра-

ведливости, не сочла себя вправе задавать ему вопросы.

Мисс Стэкпол просто подмывало прокомментировать эту реплику, но она сдержалась.

— Ну, Изабелла! — воскликнула она. — Не знай я тебя, я решила бы, что ты бессердечна.

— Смотри, — ответила Изабелла, — ты меня испортишь.

— Боюсь, я уже тебя испортила! Надеюсь, — добавила мисс Стэкпол, — что на обратном пути он хотя бы встретится с Анни Клаймер!

На следующее утро она сообщила Изабелле, что решила не возвращаться в Гарденкорт (двери которого, по словам мистера Тачита, будут по-прежнему перед нею открыты), а дождаться в Лондоне обещанного мистером Бентлингом приглашения от его сестры, леди Пензл. Мисс Стэкпол, не скупясь на подробности, пересказала состоявшийся между нею и общительным другом мистера Тачита разговор и заявила, что уверена — наконец-то заполучила то, из чего можно хоть что-то извлечь. Она немедленно отправится в Бедфордшир, как только получит от леди Пензл письмо — поступление сего документа мистер Бентлинг, можно сказать, гарантировал, — и, если Изабеллу интересуют ее впечатления,

она, безусловно, найдет их на страницах «Интервьюера». Уж на этот раз Генриетте удастся познакомиться с частной жизнью англичан.

— Да знаешь ли ты, Генриетта Стэкпол, куда тебя несет? — спросила Изабелла, в точности повторяя интонацию, с которой ее подруга произнесла ту же фразу вчера.

— Еще бы. На высокий пост. На пост Королевы американской прессы. Я не я буду, если все наши газеты не перепечатают мое следующее письмо.

Она договорилась пойти с мисс Клаймер — с той самой молодой особой, которая была взыскана таким вниманием в Европе, а теперь покидала восточное полушарие, где ее по крайней мере оценили по заслугам, — за прощальными покупками и, не мешкая, отбыла на Джермин-стрит. Не успела она уйти, как слуга доложил о Ральфе Тачите, и, едва тот вошел, Изабелла по выражению его лица догадалась, что он чем-то удручен. Ральф почти сразу объяснил кузине, в чем дело: от матери пришла телеграмма, сообщавшая, что с отцом приключился тяжелый приступ его давнишней болезни; она крайне обеспокоена и просит Ральфа немедленно вернуться в Гарденкорт. Во всяком случае, в данных обстоятельствах любовь миссис Тачит к телеграфу не давала по-

вода для возражений.

— Я решил первым делом снестись с сэром Мэтью Хоупом, крупнейшим лондонским врачом, — сказал Ральф. — К счастью, он оказался в городе. Он назначил мне прийти в половине первого, и я буду просить его поехать в Гарденкорт, в чем он, конечно, не откажет, — он уже не раз пользовал отца и в Лондоне, и там. Я отправлюсь скорым поездом в два сорок пять. А вы — как пожелаете — хотите, едем вместе, хотите, останьтесь здесь еще на несколько дней.

— Я, разумеется, поеду с вами, — ответила Изабелла. — Не знаю, смогу ли я быть чем-нибудь полезной дяде, но, если он болен, я хочу быть рядом с ним.

— Стало быть, вы полюбили его, — сказал Ральф, и лицо его осветилось тихой радостью. — Вы оценили его по достоинству, а это мало кто сумел сделать. Слишком он тонкий человек.

— Я просто его боготворю, — сказала Изабелла, помолчав.

— Как это хорошо! Мой отец самый горячий ваш поклонник, если не считать его сына.

Изабелла с удовольствием выслушала эти уверения и втайне облегченно вздохнула при мысли, что мистер Тачит принадлежит к числу тех ее

поклонников, которые не станут претендовать на ее руку и сердце. Однако вслух она этого не сказала, а объяснила Ральфу, что есть еще ряд причин, побуждающих ее поспешить с отъездом из Лондона. Город ее утомил, и у нее нет охоты оставаться тут, к тому же и Генриетта собирается уехать — собирается погостить в Бедфордшире.

— В Бедфордшире?

— У леди Пензл, сестры мистера Бентлинга, — он попросил ее прислать приглашение.

Несмотря на всю свою тревогу, Ральф не смог удержаться от смеха. Но внезапно снова принял серьезный вид.

— Бентлингу не откажешь в храбрости. А что если приглашение затеряется в пути?

— Но британская почта, кажется, безупречна.

— И на солнце есть пятна, — сказал Ральф. — Впрочем, — продолжал он чуть веселее, — на Бентлинге их нет, и, что бы ни случилось, он позаботится о Генриетте.

Ральф ушел на прием к сэру Мэтью Хоупу, а Изабелла принялась собираться к отъезду. Опасный недуг дяди сильно ее встревожил; она стояла у раскрытого чемодана и растерянно оглядывала комнату, соображая, что следует уложить в него, а глаза ее то и дело наполнялись слезами. Пожа-

луй, именно поэтому в два часа, когда вернулся Ральф, чтобы везти ее на вокзал, она еще не была готова. В гостиной Ральф застал мисс Стэкпол, которая только что кончила завтракать, и эта леди не замедлила выразить ему свое сочувствие по поводу болезни его отца.

— Такой великолепный старик! — воскликнула она. — Верен себе до конца. И если это конец — простите, что я так прямо говорю, но вы, несомненно, не раз уже думали о таком исходе, — мне бесконечно жаль, что я буду вдали от Гарденкорта.

— Вам будет куда веселее в Бедфордшире.

— Какое веселье в таких обстоятельствах, — как и приличествовало, сказала Генриетта, но тут же добавила: — Как жаль, что я не смогу запечатлеть эти прощальные минуты.

— Мой отец, дай бог, еще поживет, — только и сказал на это Ральф и, тут же перейдя к более радужным предметам, осведомился у мисс Стэкпол, каковы ее планы на будущее.

Теперь, когда на Ральфа свалилась беда, Генриетта сочла возможным сменить гнев на милость и выразила ему признательность за то, что он познакомил ее с мистером Бентлингом.

— Он рассказал мне именно то, что я хотела

узнать, — заявила она.

— Рассказал о всех здешних обычаях, о королевской семье. Не уверена, что его рассказы делают ей честь, но, как говорит мистер Бентлинг, у меня на такие вещи своеобразный взгляд. Пусть так. Мне бы только получить от него факты. Были бы факты, а уж связать их я и сама сумею.

И она добавила, что мистер Бентлинг любезно обещал вывезти ее вечером в свет.

— Куда именно? — осмелился спросить Ральф.

— В Букингемский дворец.[54] Он хочет показать мне дворец, чтобы я получила представление, как они там живут.

— Ну, мы оставляем вас в хороших руках и, наверно, в ближайшее время услышим, что вы приглашены в Виндзор,[55] — сказал Ральф.

— Что ж, я непременно пойду, если меня позовут. Страшен только первый шаг, а там уже я не боюсь. Но все-таки, — добавила Генриетта, — не могу сказать, чтобы я всем была довольна. Мне очень тревожно за Изабеллу.

— Что она еще натворила?

---

[54] Примечания: 54

Букингемский дворец — главная королевская резиденция в Лондоне.

[55] Примечания: 55

Виндзор — королевский замок в предместье Лондона, одна из резиденций английских королей.

— Ну, поскольку я уже ввела вас в курс дела, не беда, если расскажу вам еще кое-что. Уж если я берусь за тему, то довожу ее до конца. Вчера здесь был мистер Гудвуд.

У Ральфа округлились глаза, он даже покраснел немного — верный признак глубокого волнения. Он вспомнил, как вчера, прощаясь с ним, Изабелла отвергла высказанное им предположение, будто она торопится покинуть Уинчестер-сквер, потому что ждет кого-то в гостинице Прэтта, и теперь его больно кольнула мысль о ее двоедушии. «Но, с другой стороны, — поспешил он сказать себе, — почему она должна была сообщать мне, что назначила кому-то свидание? Испокон века девушки окружали такие свидания тайной, и это всегда считалось только естественным». И Ральф дал мисс Стэкпол весьма дипломатический ответ.

— А я-то думал, что при тех взглядах, какие вы излагали мне на днях, это должно было вас только порадовать.

— Что Гудвуд виделся с ней? Конечно. Я сама все и подстроила: сначала сообщила ему, что мы в Лондоне, а когда оказалось, что я проведу вечер в гостях, отправила ему еще одно письмецо — умный да разумеет. Я надеялась, что он застанет

ее одну, хотя, признаться, боялась, как бы вы не увязались провожать ее. Вот он и явился сюда, но мог с тем же успехом остаться дома.

— Изабелла дурно обошлась с ним? — Лицо Ральфа просветлело, для него было большим облегчением узнать, что Изабелла не повинна в двоедушии.

— Не знаю в точности, что между ними произошло, только ничего хорошего она ему не сказала и отослала прочь, обратно в Америку.

— Бедный мистер Гудвуд, — вздохнул Ральф.

— Она, по-видимому, только и думает, как бы избавиться от него.

— Бедный мистер Гудвуд, — повторил Ральф. Слова эти, по правде говоря, произносились им машинально и никак не выражали его мыслей, которые текли совсем в ином направлении.

— Говорите вы одно, а чувствуете другое. Вам, полагаю, нисколько его не жаль.

— Ах, — отвечал Ральф, — соблаговолите вспомнить, что ваш замечательный друг мне вовсе незнаком — я ни разу его даже не видел.

— Зато я вскоре его увижу и скажу ему: не отступайтесь! Я уверена, что Изабелла опомнится, — добавила мисс Стэкпол, — иначе сама отступлюсь. Я хочу сказать — от нее.

18

Полагая, что в сложившихся обстоятельствах прощание подруг может выйти несколько натянутым, Ральф спустился к выходу, не дожидаясь кузины, которая присоединилась к нему немного времени спустя; мысленно — так по крайней мере ему казалось — она все еще возражала на брошенный ей упрек. Путь до Гарденкорта прошел почти в полном молчании: встретивший путешественников на станции слуга не порадовал их добрыми известиями о самочувствии мистера Тачита, и Ральф благословил судьбу, что заручился обещанием сэра Мэтью Хоупа прибыть вслед за ними пятичасовым поездом и остаться в Гарденкорте на ночь. Миссис Тачит, как доложили Ральфу по приезде домой, неотлучно находилась при больном, сейчас тоже она дежурила у его постели, и, услышав это, он подумал, что его матери недоставало только повода проявить себя. Истинно благородные натуры сказываются в дни испытаний. Изабелла прошла к себе; она не могла не обратить внимания на царившую в доме гнетущую тишину — предвестницу несчастья.

Подождав около часа, она решила спуститься вниз, разыскать тетушку и расспросить ее о состоянии мистера Тачита. В библиотеке, куда она прежде всего направилась, никого не оказалось, а так как погода, и без того сырая и холодная, теперь совсем испортилась, вряд ли можно было предположить, что миссис Тачит отправилась на свою обычную прогулку в парк. Изабелла протянула было руку к звонку, чтобы послать на половину миссис Тачит служанку, когда слуха ее коснулся неожиданный звук — вернее, звуки негромкой музыки, доносившиеся, по-видимому, из гостиной. Изабелла не помнила, чтобы тетушка когда-нибудь открывала фортепьяно, — стало быть, играл скорее всего Ральф, иногда музицировавший для собственного удовольствия. И если в такую минуту он позволил себе развлечься, это могло означать только одно — он уже не страшился за жизнь отца, и наша героиня, сразу же повеселев, устремилась к источнику гармонии. Под гостиную в Гарденкорте была отведена просторная зала, фортепьяно стояло в конце, противоположном от двери, в которую вошла Изабелла, и сидевшая за инструментом особа не заметила ее появления: оказалось, это не Ральф и не его мать, а какая-то дама, совер-

шенно ей незнакомая, как сразу же определила Изабелла, хотя та и сидела к ней спиной. Несколько мгновений Изабелла с удивлением взирала на эту спину — плотную и облеченную в красивое платье. Несомненно, она принадлежала какой-то гостье, которая прибыла в Гарденкорт во время отсутствия Изабеллы и о которой никто из слуг — в том числе и тетушкина горничная, прислуживавшая ей после приезда, — не сказал ни слова. Впрочем, Изабелла уже усвоила, что неукоснительное исполнение чужих приказаний может сочетаться с глубокой сдержанностью, а тетушкина горничная, к чьим рукам Изабелла питала некоторое недоверие, хотя, может быть, именно по этой причине они доводили ее нарядное оперение до полного блеска, держалась с нею — Изабелла ощущала это на каждом шагу — особенно сухо. Появление гостьи само по себе нисколько не огорчило Изабеллу, так как она еще не утратила свойственной юным существам веры, что каждое новое знакомство оставит в их жизни значительный след. Но, еще прежде чем все эти мысли мелькнули у нее в голове, она уже поняла, что сидящая за фортепьяно дама играет удивительно хорошо. Она играла Шуберта — что именно, Изабелла не знала, но, несомненно, это

был Шуберт, — и в ее туше ощущалась особая мягкость, в нем было мастерство, в нем было чувство. Бесшумно опустившись на ближайший стул, Изабелла слушала, пока не замерли последние аккорды. Когда незнакомка кончила играть, Изабелле захотелось ее поблагодарить. Но не успела она встать, как та круто обернулась, словно почувствовала ее присутствие.

— Прекрасная вещь, а ваше исполнение делает ее еще прекраснее, — сказала Изабелла со всей горячностью молодости, с которой она неизменно изливала свои идущие от сердца восторги.

Ведь я не потревожила мистера Тачита, как вы думаете? — откликнулась музыкантша со всей учтивостью, какой заслуживал подобный комплимент. — Дом такой большой, а его комната так далеко, что я осмелилась на это, тем более что играла только du bout des doigts.[56]

«Француженка, — подумала Изабелла, — она произнесла это, как настоящая француженка». В глазах нашей любознательной героини это придало незнакомке особый интерес.

— Надеюсь, дяде сейчас лучше, — сказала она. — От такой чудесной музыки ему, право,

---

[56] Примечания: 56
кончиками пальцев *(фр).*

сразу должно стать лучше.

Дама улыбнулась, но позволила себе выразить иное мнение.

— Боюсь, — сказала она, — бывают минуты, когда даже Шуберт не говорит нам ничего. Правда, надо признаться, это худшие минуты в нашей жизни.

— В таком случае у меня сейчас другая минута! — воскликнула Изабелла. — Я готова слушать вас еще и еще.

— Пожалуйста, если вам это доставляет удовольствие.

И обходительная дама вновь повернулась к фортепьяно и взяла несколько аккордов, а Изабелла пересела поближе к инструменту. Внезапно незнакомка перестала играть и, не снимая пальцев с клавиш, в пол-оборота через плечо взглянула на Изабеллу. Ей было лет сорок, не красавица, но с выражением лица поистине очаровательным.

— Простите, пожалуйста, — проговорила она, — но вы, должно быть, племянница — юная американка?

— Да, тетушкина племянница, — простодушно ответила Изабелла.

Дама за фортепьяно, не меняя позы, с интере-

сом взирала на Изабеллу через плечо.

— Прекрасно, — сказала она, — мы с вам соотечественницы.

И она снова принялась играть.

— Стало быть, не француженка, — сказала себе Изабелла.

Первоначальная гипотеза настроила ее на романтический лад, и, казалось бы, после этого открытия интерес ее должен был погаснуть. Однако случилось обратное: американка столь необычного склада показалась ей даже еще более занимательной, чем француженка.

Гостья продолжала играть все так же негромко и проникновенно, и, пока она играла, в комнате сгущались тени. Наступили осенние сумерки, и со своего места Изабелла видела, как дождь, зарядивший уже не на шутку, хлестал по словно озябшей лужайке, а порывы ветра гнули высокие деревья. Наконец дама кончила играть, встала, подошла к Изабелле и, прежде чем та успела вновь поблагодарить ее, сказала, улыбаясь:

— Как я рада, что вы возвратились. Я столько слышала о вас. Изабелле очень нравилась эта дама, тем не менее слова ее прозвучали несколько резко:

— Слышали? От кого?

Дама на мгновенье замялась.

— От вашего дяди, — ответила она. — Я здесь уже три дня, и в первый день он позволил мне посидеть с ним в его спальне. Он говорил почти только о вас.

— А так как вы меня не знали, вам, наверно, было до смерти скучно.

— Напротив, мне захотелось познакомиться с вами. Тем более что тетушка ваша не отходит от мистера Тачита, я совсем одна и порядком себе надоела. Неудачное время я выбрала для визита.

Слуга принес лампы, за ним вошел другой — с подносом. Появилась миссис Тачит, которой, очевидно, доложили, что чай подан, и сразу же направилась к чайнику. Изабеллу она приветствовала мимоходом, с тем же безучастным видом, с каким приподняла крышку упомянутого сосуда, знакомясь с его содержимым: ни в том, ни в другом случае не подобало выказывать особого интереса. На вопрос о здоровье мужа она не смогла дать утешительного ответа, однако сказала, что при нем находится местный врач и что большие надежды возлагают на те указания, которые этот джентльмен получит от сэра Мэтью Хоупа.

— Надеюсь, вы уже успели познакомиться, — продолжала она. — Если нет, советую это сделать.

Пока мы оба — Ральф и я — прикованы к постели мистера Тачита, вам, видимо, придется обходиться обществом друг друга.

— Я знаю о вас лишь то, что вы замечательная музыкантша, — сказала Изабелла, обращаясь к гостье.

— К этому еще немало что найдется прибавить, — заверила ее миссис Тачит в своей обычной суховатой манере.

— Но очень немногое, без сомнения, может представлять для мисс Арчер интерес, — сказала гостья с легкой усмешкой. — Я старинная приятельница вашей тетушки. Подолгу живала во Флоренции. Я — мадам Мерль.

Она произнесла свое имя так, словно называла лицо, пользующееся достаточной известностью. Однако Изабелле оно ничего не говорило, и ясно ей было только одно — ни у кого в жизни не видела она таких чарующих манер.

— Она вовсе не иностранка, несмотря на имя, — сказала миссис Тачит. — Она родилась… вечно я забываю, где вы родились.

— Так стоит ли напоминать?

— Очень даже стоит, — заявила миссис Тачит, которая никогда не упускала случая довести мысль до логического конца. — Вот если бы я

помнила, это было бы излишне.

Мадам Мерль подарила Изабеллу всеобъемлющей улыбкой — улыбкой, ломавшей любые барьеры.

— Я родилась под сенью американского государственного флага.

— Мадам Мерль любит говорить загадками, — заметила миссис Тачит. — Это ее большой недостаток.

— Ах, — возразила мадам Мерль, — у меня тьма недостатков, но только не этот. Во всяком случае, этот не самый большой. Я увидела свет на Бруклинских военных верфях.[57] Мой отец был моряк и служил в американском военном флоте. Он занимал высокий пост — весьма важный по тем временам. Мне полагалось бы любить море, но я его ненавижу. Поэтому-то я и не возвращаюсь в Америку. Я люблю сушу. Главное в жизни — что-нибудь любить.

Изабелла, как беспристрастная свидетельница, не нашла меткой характеристику, которую тетушка дала своей гостье, чье живое, приветливое, выразительное лицо вовсе не наводило, по ее мнению, на мысль о скрытности. Лицо это

---

[57] Примечания: 57

Бруклинские военные верфи. — Бруклин — район Нью-Йорка, расположенный в западной части острова Лонг-Айленд.

говорило о широте чувств, стремительных и свободных движениях души и, хотя не отличалось красотой в общепринятом смысле, было на редкость привлекательным и интересным. Высокая холеная блондинка, мадам Мерль имела фигуру округлую и пышную, но без излишней полноты, придающей женщине грузность. Ее несколько крупные черты были гармоничны и соразмерны, а цвет лица блистал здоровой свежестью. Серые глаза ее были невелики, но полны жизни и вовсе чужды выражения глупости — чужды, правда, если верить людям, также и слез. Большой, хорошо очерченный рот при улыбке чуть кривился влево, что почти все ее знакомые находили весьма необычным, кое-кто жеманным и лишь немногие — неотразимым. Изабеллу, пожалуй, следовало причислить к последним. Густые белокурые волосы мадам Мерль убирала в «античной» манере — точь-в-точь, подумала Изабелла, как на мраморном бюсте какой-нибудь Ниобеи или

Юноны,[58] — а ее большие белые руки были совершенной формы, столь совершенной, что их владелица не любила украшать их и не носила драгоценных колец. Изабелла, как мы знаем, поначалу приняла мадам Мерль за француженку, но при более длительном наблюдении ее скорее можно было бы счесть немкой — высокопоставленной немкой или австриячкой, баронессой, графиней, княгиней. Менее всего можно было предположить, что она родом из Бруклина, хотя хотелось бы посмотреть на того, кто сумел бы доказать, будто такое происхождение несовместимо с изысканностью, в высшей степени ей присущей. Государственный флаг Соединенных Штатов действительно реял над ее колыбелью, и, может быть, вольно развевающиеся звезды и полосы еще тогда определили ее взгляды на жизнь. Тем не менее ей явно не было свойственно колебаться и трепетать, как полотнищу на ветру; ее манеры отличались спокойствием и уверенно-

[58] Примечания: 58

Ниобея — в греческой мифологии мать многочисленных детей, сраженных стрелами Артемиды и Аполлона в наказание за то, что она смеялась над их матерью Лето, родившей только двоих детей. Образ Ниобеи увековечен в античном искусстве в виде величественной женщины зрелых лет. Позднее Ниобея стала олицетворением горя и страдания. Юнона (греч. Гера) — в римской мифологии богиня брака, царица богов; изображалась в античном искусстве высокой женщиной с величественной осанкой.

стью, дающимися в результате большого опыта. Но, накопив опыт, она не утратила молодости, а лишь обрела благожелательность и гибкость. Словом, это была женщина сильных чувств, умевшая держать их в узде. Изабелле такое сочетание представлялось идеальным.

Изабелла предавалась этим размышлениям, пока они втроем сидели за чаем, но это приятное занятие вскоре было прервано, так как из Лондона прибыл знаменитый врач. Его сразу же проводили в гостиную, и миссис Тачит, желавшая поговорить с сэром Хоупом наедине, удалилась с ним в библиотеку, а вслед за тем мадам Мерль и Изабелла расстались до следующей трапезы. Мысль, что она еще увидится с этой столь привлекательной женщиной, помогла Изабелле немного приглушить в себе то гнетущее ощущение печали, которое сейчас охватило весь Гарденкорт.

Перед обедом Изабелла спустилась в гостиную, там еще никого не было, однако почти сразу вслед за ней вошел Ральф. Его тревога за жизнь отца несколько рассеялась: сэр Мэтью Хоуп смотрел на положение мистера Тачита не столь мрачно. Он посоветовал в ближайшие три-четыре часа оставить больного на попечение одной лишь

сиделки, так что Ральф, его мать, да и сама лондонская знаменитость получили возможность спуститься в столовую. Вскоре появились миссис Тачит и сэр Мэтью, последней вошла мадам Мерль.

Но еще до ее прихода Изабелла успела поговорить о ней с Ральфом, расположившимся у камина.

— Скажите, что представляет собой мадам Мерль?

— Самая умная женщина на свете, не исключая вас, — ответил Ральф.

— Она показалась мне удивительно приятной.

— Не сомневался, что она покажется вам удивительно приятной.

— Вы поэтому и пригласили ее сюда?

— Я не приглашал ее, более того, когда мы вернулись из Лондона, я понятия не имел, что она здесь. Ее никто не приглашал. Она матушкина приятельница, и сразу после нашего отъезда от нее пришло письмо. Она сообщала, что прибыла в Англию — обычно она живет за границей, хотя немало времени проводит и здесь, — и желала бы погостить у нас несколько дней. Она принадлежит к тому разряду женщин, которые спокойно могут позволить себе подобное письмо:

ей везде рады. А уж о моей матушке и говорить нечего: мадам Мерль — единственный человек на свете, к которому она относится с восхищением. После себя самой — себе она все-таки отдает предпочтение — она согласилась бы быть только мадам Мерль. Перемена и впрямь оказалась бы разительной.

— В мадам Мерль действительно бездна очарования, — сказала Изабелла. — И играет она бесподобно.

— Она все делает бесподобно. Она — само совершенство. Изабелла бросила на кузена быстрый взгляд.

— А вы ее недолюбливаете.

— Напротив. Я даже был в нее влюблен.

— И она не ответила вам взаимностью, поэтому вы ее и недолюбливаете.

— О взаимности не могло быть и речи. Тогда был еще жив мосье Мерль.

— Он умер?

— Так говорит мадам Мерль.

— Разве вы ей не верите?

— Верю, поскольку это утверждение весьма правдоподобно. Муж мадам Мерль непременно должен был уйти в небытие.

Изабелла вновь взглянула на кузена.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать. Вы хотите сказать нечто такое, чего вовсе не хотите сказать. Кем он был, этот мосье Мерль?

— Мужем мадам.

— Вы просто несносны. У нее есть дети?

— Ни единого ребенка. Даже намека. К счастью.

— К счастью?

— К счастью для ребенка. Она, несомненно, его избаловала бы.

Изабелла собралась было в третий раз объявить кузену, какой он несносный, но появление той самой особы, которую они обсуждали, прервало их беседу, Мадам Мерль быстро вошла в гостиную, шелестя шелковыми юбками, и, застегивая на ходу браслет, попросила прощения за то, что опоздала; глубокий вырез синего платья обнажал белую грудь, не слишком успешно прикрытую затейливым серебряным ожерельем. Ральф тотчас преувеличенной готовностью отставного поклонника предложил ей руку. Однако, даже если бы он все еще искал ее милостей, сейчас ему было не до того. Переночевав в Гарденкорте, знаменитый лекарь наутро вернулся в Лондон, но, переговорив вторично с домашним врачом мистера Тачита согласился, снисходя к просьбе

Ральфа, повторить свой визит. На следующий день сэр Мэтью Хоуп снова навестил больного, но в этот второй приезд его взгляд на состояние хозяина дома оказался куда менее радужным: за истекшие сутки пациенту стало хуже. Он очень ослабел, и Ральфу, почти не отходившему от постели отца, уже не раз казалось, что вот-вот наступит конец. Местный врач, человек весьма здравомыслящий, которому Ральф в глубине души доверял даже больше, чем его прославленному коллеге, не покидал Гарденкорт, а сэр Мэтью Хоуп еще неоднократно приезжал из Лондона. Мистер Тачит подолгу оставался в полузабытье: он много спал и почти ничего не говорил. Изабелле, которая от всего сердца стремилась как-то быть полезной дяде, разрешали иногда посидеть с ним, когда другие ходившие за больным (среди которых миссис Тачит занимала отнюдь не последнее место) нуждались в отдыхе. Старик, по-видимому, не узнавал ее, а она, замирая, твердила про себя: «Только бы он не умер, пока я здесь одна», и эта мысль так пугала ее, что прогоняла сон. Однажды он открыл глаза и посмотрел вполне осмысленно, но не успела Изабелла подойти к нему, надеясь, что он узнает ее, как, закрыв глаза, он снова впал в беспамятство.

Однако на следующий день сознание вернулось к нему и уже на более длительное время, у постели же его на этот раз был Ральф. Старик, к радости сына, заговорил, и тот стал уверять больного, что не сегодня-завтра ему позволят сесть.

— Сесть? — повторил мистер Тачит. — Нет, мой мальчик. Разве что по обычаю древних — кажется, был у древних такой обычай? — меня похоронят сидя.

— Зачем ты так говоришь, папа, — пробормотал Ральф. — Ведь тебе лучше, не станешь же ты это отрицать.

— Не стану, если ты не будешь утверждать, что мне лучше. Нам ли под конец кривить душой друг с другом? Мы ведь никогда этим не занимались. Умереть все равно неизбежно — так не лучше ли умереть больным, чем полным сил? Я очень болен — серьезнее, чем когда-либо. Надеюсь, ты не станешь убеждать меня, что мне может стать еще хуже? Это было бы слишком тяжко. Не станешь? Вот и хорошо.

Приведя эти веские основания, мистер Тачит умолк, однако некоторое время спустя, когда около него снова оказался Ральф, он опять заговорил с ним. Сиделка ушла ужинать, и Ральф один дежурил у постели больного, сменив на этом по-

сту миссис Тачит, просидевшую возле него весь вечер. Комнату еле освещал мерцавший в камине огонь, который в последние дни постоянно поддерживали, и длинная тень, отбрасываемая фигурой Ральфа, подымалась по стене к потолку, принимая то и дело новые, но неизменно причудливые очертания. — Кто со мной? Это ты, сын? — спросил старик.

— Да, папа, с тобой твой сын.

— Здесь больше никого нет?

— Никого.

Помолчав немного, мистер Тачит чуть слышно продолжал:

— Давай поговорим.

— А тебя это не утомит? — озабоченно спросил Ральф.

— Пусть утомит. Какое это теперь имеет значение. У меня впереди долгий отдых. Я хочу поговорить о *тебе.*

Ральф еще ближе подвинулся к постели и, склонившись над отцом, накрыл его руку своей:

— Ты бы уж выбрал предмет поинтереснее.

— А ты всегда был интересен. Я гордился тем, какой ты интересный человек. Мне так хотелось бы думать, что ты кое-что сделаешь в жизни.

— Если ты покинешь нас, — ответил Ральф, —

мне нечего будет делать, останется только тосковать по тебе.

— Вот это как раз и не нужно, об этом я и хочу потолковать с тобой. Тебе нужно заполнить свою жизнь чем-нибудь новым.

— К чему мне новое, когда я и со старым не знаю как быть.

Старик лежал в полутьме, глядя на сына; лицо его было лицом умирающего, но глаза были глазами Дэниела Тачита. Казалось, он весь отдался мыслям о будущем сына.

— У тебя, конечно, есть мать, — сказал он наконец. — Ты будешь заботиться о ней.

— Матушка сама о себе позаботится, — обронил Ральф.

— Не говори, — отвечал отец, — со временем она постареет, и тогда ей понадобится твоя помощь.

— Мне этого не дождаться. Она меня переживет.

— Да, пожалуй, но это еще не причина… — Мистер Тачит умолк, не закончив фразу, и не то что бы жалобно, а как-то беспомощно вздохнул.

— Не тревожься о нас, — сказал сын. — Мы с матушкой, право, прекрасно ладим между собой.

— Да, ладите, потому что всегда живете врозь.

А это неестественно.

— Если ты покинешь нас, мы, возможно, будем видеться чаще.

— Да, — выдохнул старик, уносясь мыслями куда-то в сторону, — нельзя сказать, что моя смерть многое изменит в ее жизни.

— Наверно, много больше, чем ты думаешь.

— У нее будет больше денег, — сказал мистер Тачит. — Я определил ей хорошую вдовью долю, как если бы она была мне хорошей женой.

— Она и была тебе хорошей женой — по своим понятиям: никогда не доставляла тебе никаких забот.

— Иные заботы приятны, — чуть слышно сказал мистер Тачит. — Хотя бы те, что были связаны с тобой. Но твоя мать… она стала меньше… меньше… как бы это выразить… меньше сторониться меня, с тех пор как я слег. Думаю, она знает, что я заметил в ней перемену.

— Непременно скажу ей об этом. Я рад, что ты обратил на это внимание.

— А, ей это безразлично: она не для меня старается. Она старается… старается… — и он умолк, пытаясь определить для себя причину замеченной в жене перемены. — Она старается, потому что ей самой так приятнее. Но я не о ней хотел

с тобой говорить, — добавил он, — а о *тебе.* Ты будешь хорошо обеспечен.

— Знаю, — сказал Ральф. — Надеюсь, ты не забыл, о чем мы беседовали год назад. Я тогда назвал точную сумму, которая мне понадобится, и попросил употребить остальное на что-нибудь достойное.

— Да, помню. Я тогда же составил новое завещание. Наверно, это первый случай, когда наследник — да еще молодой — добивается, чтобы завещание изменили ему во вред.

— Вовсе не во вред, — запротестовал Ральф, — напротив, мне было бы во вред оказаться с большими деньгами на руках. При моем здоровье я не могу много тратить. Лишние деньги — лишние хлопоты, так что лучше иметь ровно столько, сколько нужно.

— У тебя и будет столько, сколько нужно… и еще сверх того. Твоего капитала вполне хватит и на двоих.

— Это слишком много, — сказал Ральф.

— Не говори так! Послушайся моего совета — женись, когда меня не станет.

Ральф знал, к чему отец сведет речь, ничего нового тут не было. Мистер Тачит уже давно прибегал к этой уловке, стараясь утвердиться

в утешительной мысли, что сын его еще долго будет жить. Обыкновенно Ральф отшучивался, но в нынешних обстоятельствах шутка выглядела бы неуместно. Он только откинулся на спинку стула и посмотрел в молящие глаза отца таким же умоляющим взглядом.

— Уж если я с моей женой, которая не очень-то любила меня, прожил вполне счастливую жизнь, — проговорил мистер Тачит, не отступаясь от своей мысли, — как счастливо жил бы ты, женившись на девушке, не похожей на миссис Тачит. Ведь куда больше женщин, не похожих на нее, чем похожих. — Ральф продолжал отмалчиваться, и, подождав немного, отец мягко спросил: — Как тебе нравится твоя кузина?

Ральф вздрогнул.

— Если я правильно понял, — сказал он с натянутой улыбкой, — ты советуешь мне жениться на ней.

— Пожалуй, что так. Разве Изабелла тебе не нравится?

— Очень нравится. — Ральф встал и отошел к камину. Мгновенье он стоял, глядя в огонь, потом наклонился и машинально помешал уголья.

— Изабелла мне очень нравится, — повторил он.

— Вот и прекрасно, — сказал отец. — Ты, я знаю, ей тоже нравишься. Она говорила мне, что ты ей очень нравишься.

— И говорила, что выйдет за меня замуж?

— Нет, но что она может иметь против тебя? А она, право, прелестная Девушка, прелестнейшая. И тебе было бы с ней хорошо. Я много об этом думал.

— Я тоже, — сказал Ральф, снова садясь возле постели. — Как видишь, я не боюсь признаться в этом.

— Стало быть, ты и впрямь в нее влюблен? Я так и думал. Сама судьба послала ее сюда.

— Нет, не влюблен. Но, вероятно, влюбился бы… не будь в моей жизни некоторых обстоятельств.

— А, обстоятельства нашей жизни всегда складываются не так, как нам хочется, — сказал старик. — Если ты ждешь, что жизнь сама пойдет тебе навстречу, ты ничего не добьешься. Не знаю, известно ли тебе… — продолжал он, — а если неизвестно… все равно, не беда, если я проговорюсь в такую минуту… Не далее как несколько дней назад один джентльмен просил ее руки, но она не дала согласия.

— Я знаю, она отказала Уорбертону, он сам мне об этом сказал.

— Ну, стало быть, есть шанс у следующего.

— Следующий уже попытал свой шанс в Лондоне — и остался ни с чем.

— Ты? — взволнованно спросил мистер Тачит.

— Нет, один ее давний знакомый. Бедняга приехал сюда из Америки в надежде добиться ее согласия.

— Жаль его, кто бы он ни был. Но это только подтверждает то, о чем я говорил, — путь для тебя открыт.

— Возможно, дорогой отец, и тем печальнее, что я по этому пути не пойду. У меня не так уж много убеждений, но теми, какие есть, я дорожу. Одно из них — на близких родственницах лучше не жениться, другое — людям с больными легкими лучше не жениться ни на ком.

Старик приподнял ослабевшую руку и протестующе провел ею у самого лица.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты всегда выбираешь особую точку зрения, и все предстает в превратном виде. Какая она тебе близкая родственница? Девушка, которую ты за двадцать лет ее жизни ни разу не видал. Мы все друг другу родственники, и если из-за этого не жениться, род человеческий прекратил бы свое существование. То же и с твоими больными легкими. Тебе теперь

намного лучше, чем было раньше. Нужно только вести разумный образ жизни. И куда более разумно жениться на хорошенькой девушке, в которую влюблен, чем остаться одиноким из-за каких-то ложных принципов.

— Но я не влюблен в Изабеллу, — возразил Ральф.

— Только сейчас ты сказал: влюбился бы в нее, если бы не считал, что это дурно. Так вот, я хочу доказать, здесь нет ничего дурного.

— Ты лишь утомишь себя, отец, — сказал Ральф, поражаясь его упорству и не понимая, откуда у него берутся силы. — И что тогда будет?

— А что будет с тобой, если я не подумаю о тебе? Делами банка ты не хочешь заниматься и не хочешь, чтобы я позаботился о тебе. Ты утверждаешь, будто у тебя тысяча интересов, только я не вижу каких.

Ральф снова откинулся на спинку стула и, скрестив руки, некоторое время в раздумье смотрел перед собой. Вдруг, словно наконец собравшись с духом, сказал:

— Меня очень интересует моя кузина, но не в том смысле, в каком тебе бы этого хотелось. Меня ненадолго хватит, но я надеюсь еще несколько лет прожить и увидеть, что станется с Изабеллой.

Она ни в чем от меня не зависит, и вряд ли я смогу всерьез вмешиваться в ее судьбу. Но я хотел бы кое-что для нее сделать.

— Что же?

— Наполнить ветром ее паруса.

— Каким образом?

— Я хотел бы дать ей возможность осуществить хотя бы часть того, о чем она мечтает. Скажем, повидать мир. Я хотел бы наполнить ее кошелек.

— Рад слышать, что ты подумал об этом, — сказал старик, — Я тоже об этом подумал и отказал ей в завещании пять тысяч фунтов.

— Это превосходно. И очень великодушно с твоей стороны. Но мне хотелось бы сделать для нее еще кое-что.

Даже тяжкий недуг не убил в мистере Тачите финансиста, и теперь на его лице появилось то затаенное выражение настороженности, с каким он всегда выслушивал любое предложение, касавшееся денег.

— Я готов обсудить это с тобой, — сказал он мягко.

— Видишь ли, Изабелла бедна. Матушка сказала, что у нее всего несколько сот долларов в год. Мне хотелось бы сделать ее богатой.

— Что ты понимаешь под этим?

— Я считаю человека богатым, если он может удовлетворять прихоти своего воображения. У Изабеллы пылкое воображение.

— У тебя тоже, сын мой! — сказал мистер Тачит, выслушав его очень внимательно, хотя и с некоторым недоумением.

— Ты сам сказал: моих денег хватит на двоих. И вот о чем я прошу тебя — согласись избавить меня от лишней половины в пользу Изабеллы. Раздели мою долю на две равные части и одну отдай ей.

— И она сможет делать, что ей вздумается?

— Да, все, что ей вздумается.

— Ничего не требуя взамен?

— Что можно требовать взамен?

— То, о чем я говорил.

— Поставить ей условие, чтобы она вышла замуж? Но это как раз свело бы на нет весь мой план. Если она получит состояние, ей не будет нужды искать опоры в замужестве. Именно от этого я и хочу ее избавить, но так, чтобы она ничего не знала. Она жаждет быть свободной, и деньги, которые ты откажешь ей, сделают ее свободной.

— Да, кажется, ты все продумал, — сказал мистер Тачит. — Не понимаю только, зачем ты

вмешиваешь сюда меня. Мои деньги переходят к тебе, и ты сам с тем же успехом можешь дать ей любую сумму.

Ральф в изумлении уставился на отца.

— Я? Но, отец, я не могу предложить Изабелле деньги.

Старик тяжело вздохнул.

И ты говоришь мне, что не влюблен в Изабеллу! Хочешь выставить ее благодетелем *меня?*

— Да. Я хотел бы, чтобы ты вписал в завещание еще один пункт без всяких ссылок на меня.

— Ты хочешь, чтобы я сделал новое завещание?

— Нет. Достаточно добавить несколько слов. Ты можешь приписать их в любой день, когда будешь в силах.

— Тебе придется телеграфировать мистеру Хилери — я ничего не делаю без своего поверенного.

— Мистер Хилери завтра же будет здесь.

— Он решит, что мы с тобой поссорились, — сказал старик.

— Вполне возможно. Но мне это только на руку, — ответил Ральф, улыбаясь. — И чтобы утвердить его в этом мнении, ты уж прости, я буду с тобой резок и вести себя буду отвратительно

и ни с чем несообразно.

Комизм такой ситуации, по-видимому, произвел впечатление на старика, и некоторое время он мысленно осваивался с ней.

— Я сделаю все, о чем ты просишь, — произнес он наконец. — Но не уверен, что поступаю правильно. Ты сказал, что хочешь наполнить ветром ее паруса, а ты не боишься, что этот ветер окажется слишком сильным?

— Пусть мчится с попутным ветром! А я на это погляжу, — ответил Ральф.

— Ты говоришь так, словно тебя это забавляет.

— Так оно, по сути дела, и есть.

— Н-да, моему уму это недоступно, — сказал мистер Тачит, вздыхая. — Нынешние молодые люди иные, чем в мое время. Если мне — в твои годы — нравилась девушка, мне было мало только наблюдать за ней. Тебя останавливает то, на что я не обратил бы внимания, тебе приходят в голову мысли, которых я никогда не знал. Ты говоришь — Изабелла хочет быть свободной и богатство позволит ей не выходить замуж ради денег. Ты полагаешь, она из тех, кто способен на такой шаг?

— Ни в коем случае. Но у нее их теперь еще меньше, чем раньше. Раньше отец исполнял

все ее желания: он, не задумываясь, тратил их состояние. Ей от этого пиршества остались лишь крохи — она даже не знает, какие жалкие крохи, ей еще предстоит узнать. Матушка мне все объяснила. Изабелла обнаружит, что у нее ничего нет, когда окажется полностью предоставленной самой себе, и мне будет горько видеть, каково ей вдруг понять, что она не может исполнить и ничтожной части своих желаний.

— Я оставляю ей пять тысяч фунтов. Этого достаточно, чтобы удовлетворить немало желаний.

— Несомненно. Но этих денег, надо полагать, хватит ей на два, от силы на три, года.

— Ты считаешь ее такой расточительной?

— Конечно, — безмятежно улыбаясь, сказал Ральф.

Выражение настороженности на лице мистера Тачита уступило место полному недоумению.

— Стало быть, она растратит и большую сумму, дело только во времени.

— Не думаю; хотя вначале она, наверно, даст себе волю и, возможно, богато одарит обеих сестер. Но потом она опомнится, поймет, что впереди у нее целая жизнь, и научится жить по средствам.

— Н-да, ты действительно *все* продумал, — сказал старик, сдаваясь. — Что и говорить, твоя

кузина тебя интересует, и очень.

— Ты хочешь сказать, что я захожу слишком далеко? Но ведь ты предлагал мне зайти еще дальше.

— Не знаю, не знаю, — отвечал мистер Тачит. — Я не вполне понимаю тебя. По-моему, в этом есть что-то безнравственное.

— Безнравственное?

— Видишь ли, я не знаю, хорошо ли настолько облегчать человеку его путь.

— Смотря какому человеку. Если это достойный человек, облегчить ему путь — поступок во славу добродетели. Помочь осуществиться добрым порывам — что может быть благороднее!

Старик с трудом поспевал за ходом мысли сына и некоторое время лежал молча, раздумывая. Потом сказал:

— Изабелла — прелестная девушка. Но ты уверен, что она окажется достойной твоего дара?

— Она окажется на высоте своих возможностей.

— Н — да, — сказал мистер Тачит, — чтобы быть достойной шестидесяти тысяч фунтов, надо обладать большими возможностями.

— Не сомневаюсь, что они у нее есть.

— Я, конечно, сделаю, как ты хочешь, — сказал

старик. — Только мне хотелось бы понять.

— Как, дорогой папа, ты все еще не понял? — нежно спросил сын. — Ну и не стоит об этом больше говорить. Оставим эту тему.

Мистер Тачит долго молчал, и Ральф подумал было, что отец снова впал в полузабытье. Но вдруг он вполне сознательно спросил:

— Скажи мне еще вот что. Тебе не приходило в голову, что девушка с состоянием в шестьдесят тысяч легко может стать добычей охотников за богатыми невестами?

— Если и станет, то не больше, чем одного.

— Одного больше чем достаточно.

— Да, риск здесь есть, но это входит в мои расчеты. Риск существует, но он невелик, и я готов на него пойти.

Если раньше выражение настороженности на лице бедного мистера Тачита уступило место озадаченности, озадаченность теперь сменилась восхищением.

— Ничего не скажешь, ты все обдумал, — повторил он. — И все-таки не могу понять, какой тебе от этого прок.

Ральф склонился над подушками, на которых покоилась голова отца, и осторожно их поправил; он сознавал, что недопустимо затянул разговор.

— Тот прок, о котором я только что сказал, когда просил передать мои деньги Изабелле, — я удовлетворю прихоть своего воображения. Но я безобразно злоупотребил твоей добротой.

19

Из-за болезни хозяина дома Изабелле и мадам Мерль приходилось, как и предсказывала миссис Тачит, большую часть времени проводить вдвоем, а в подобных обстоятельствах не сойтись покороче означало бы проявить невоспитанность. Обе они были образцом воспитанности, к тому же пришлись друг другу по вкусу. Не стану преувеличивать, утверждая, будто они поклялись в дружбе навек, но каждая, по крайней мере в душе, полагала сохранить приязнь к другой и в будущем. Изабелла считала так совершенно искренне, хотя и не могла бы, положа руку на сердце, сказать, что близка с мадам Мерль в том высоком смысле, какой вкладывала в это слово. Впрочем, она нередко задавалась вопросом: а была ли она и сможет ли быть с кем-нибудь по-настоящему близка? До сих пор она еще ни разу в жизни не имела случая утверждать, что сложившийся в ее представлении идеал дружбы, как и других высоких чувств, полностью осуществился. Правда, она без конца напоминала себе, что по понятным причинам идеал и не может

стать действительностью. Идеал — это то, что мы исповедуем, но что увидеть нам не дано, это — предмет веры, а не опыта. Опыт, однако, подносит нам иногда весьма точные имитации этого идеала, а разум велит не пренебрегать ими. Изабелла, без сомнения, никогда еще не встречала женщины привлекательнее и интереснее, чем мадам Мерль, никогда еще не знала человека, в такой степени свободного от недостатка, более всех других мешающего дружбе, — т. е. свойства быть зеркальным отражением самых докучных, самых закоснелых, до оскомины знакомых черт своих друзей. Изабелла, как ни перед кем прежде, распахнула перед новой знакомой душу, доверяя ее доброжелательному слуху то, о чем никому еще не говорила ни слова. Порою она даже пугалась своей откровенности — словно отдала чужому человеку ключи от шкатулки с драгоценностями. Сокровища души составляли все ее богатство — тем больше было оснований как можно тщательнее их оберегать. Однако позднее она неоднократно напоминала себе, что бессмысленно сожалеть о своих великодушных заблуждениях — если она ошиблась в мадам Мерль и та не обладает всеми достоинствами, какие она ей приписывала, тем хуже для мадам

Мерль. В том же, что эта дама обладает множеством достоинств, не могло быть сомнений: она была очаровательна, отзывчива, умна, образованна. Сверх того (ибо на своем жизненном пути нашей героине посчастливилось встретить несколько представительниц своего пола, которых можно было аттестовать не менее лестно), мадам Мерль была исключительной, выдающейся женщиной, на голову выше других. На свете много приятных людей, но мадам Мерль была не просто обыденно добродушна и навязчиво остроумна. Она умела думать — достоинство редкое в женщине, — и думать, доводя мысль до логического конца. Чувствовать она, несомненно, тоже умела — в чем Изабелла убедилась в первую же неделю их знакомства. Собственно говоря, в этом и заключался величайший талант мадам Мерль, ее бесподобный дар. Жизнь многому ее научила, она глубоко ее чувствовала, и удовольствие от общения с мадам Мерль объяснялось отчасти тем, что, когда Изабелла заговаривала с ней о серьезных, в ее представлении, предметах, та понимала ее с полуслова. Правда, эмоции отошли для мадам Мерль в прошлое, и она не скрывала, что тот источник страстей, из которого она в свое время безустанно черпала, уже не изливался с

прежней силой. Более того, она не только намеревалась, но и твердо решила навсегда отказаться от увлечений, откровенно признаваясь, что в прошлом вела себя безрассудно, теперь же считала, себя образцом благоразумия.

— Теперь я сужу обо всем охотнее, чем прежде, — говорила она Изабелле, — но, по-моему, с годами мы получаем на это право. До сорока невозможно здраво судить: в нас слишком много горячности, непреклонности, жестокости, да и о жизни мы знаем слишком мало. Мне жаль вас, дорогая, — вам еще *так* далеко до сорока. Правда, приобретая в одном, мы теряем в другом. Я часто думаю, что после сорока мы уже просто не *можем* по-настоящему чувствовать. Нет уже той свежести, той непосредственности. Вы сохраните их дольше, чем другие. Хотела бы я встретить вас через несколько лет — любопытно посмотреть, что из вас сделает жизнь. Одно я могу сказать наверное — ей вас не испортить. Потеребить вас она, возможно, потеребит, и изрядно, но, смею утверждать, сломить никогда не сможет.

Изабелла принимала эти заверения, как принимает новобранец, еще не остывший от первой схватки, из которой он вышел с честью, похвалу полковника, похлопывающего его по плечу. И ей

казалось, что подобное признание ее достоинств много стоит. Да и как можно было отнестись иначе к словам, пусть даже мимолетным, исходящим из уст женщины, которая, о чем бы ни говорила Изабелла, могла сказать: «Ах, дорогая, все это со мной уже было и прошло, как пройдет все». Многих своих собеседников мадам Мерль, пожалуй, даже раздражала — ее ничем невозможно было удивить. Но Изабелла, отнюдь не чуждая желания блистать, сейчас вовсе его не испытывала. Она была для этого слишком искренней, слишком дорожила обществом своей умудренной опытом собеседницы. К тому же мадам Мерль никогда не высказывала своих сентенций победоносным или хвастливым тоном — они просто сами, беспристрастными признаниями слетали с ее губ.

Наступила пора осенних непогод; дни стали короче, и прелестным чаепитиям на лужайке пришел конец. Но наша молодая леди не скучала, проводя время за приятной беседой с другой гостьей Тачитов, или же, презрев дождь, обе дамы отправлялись на прогулку под защитой того замечательного приспособления, которое английский климат вкупе с английским гением довели до возможного совершенства. Мадам Мерль нравилось в Англии все без изъятия, даже

дождь.

— Здесь всегда моросит, но никогда не льет, — говорила она. — Промокнуть невозможно, а воздух прямо благоухает.

Она, по ее утверждению, наслаждалась запахами Англии, заявляя, что на этом неповторимом острове воздух напоен смесью тумана, сажи и пива и что этот аромат, как ни странно, и есть национальный дух Англии, который ласкает ей ноздри; пряча нос в рукав пальто, она С Удовольствием вдыхала чистый, терпкий запах шерсти.

С первыми же приметами осени Ральф Тачит оказался запертым в четырех стенах; в плохую погоду ему нельзя было выходить из дому и он ограничивался тем, что, подойдя к окну и по обыкновению засунув руки в карманы, провожал своим полускорбным, полуироническим взглядом Изабеллу и мадам Мерль, которые под двумя зонтами удалялись по главной аллее парка. Несмотря на ненастную погоду, дороги вокруг Гарденкорта не развезло, наши приятельницы возвращались домой разрумянившиеся и, отирая подошвы своих ладных, добротных башмаков, в один голос утверждали, что прогулка подействовала на них удивительно благотворно. Предобеденное время мадам Мерль неизменно

посвящала многочисленным занятиям. Изабелла восхищалась ею и завидовала твердому распорядку первой половины ее дня. Она и сама всегда считалась недюжинной особой и немало этим гордилась, но до мадам Мерль ей было далеко, и она, словно сквозь ограду чужого сада, любовалась заключенными в той талантами, совершенствами и возможностями. Она ловила себя на желании посостязаться с этой леди, которая казалась ей образцом в самых разных областях. «Ах, если бы я была такой, *как* она!», — втайне вздыхала Изабелла всякий раз, когда мадам Мерль поворачивалась к ней одной из своих блестящих граней, очень скоро осознав, что получает уроки у настоящего мастера. Ей также не понадобилось много времени, чтобы понять, что она, как принято говорить, подпала под влияние мадам Мерль. «Разве это плохо? Ведь я учусь у нее хорошему, — решила Изабелла. — Благой пример всегда на пользу. Надо только видеть, куда ступаешь, — разбираться в том, куда и как идешь. А уж это мне, без сомнения, вполне по силам. Нечего бояться, что я окажусь чересчур податливой. Податливости мне как раз и недостает». Говорят, нет более искренней лести, чем подражание, и если при виде приятельницы у

Изабеллы порою глаза вспыхивали чаянием и отчаянием, то вовсе не потому, что ей хотелось блистать самой, а чтобы озарять путь мадам Мерль. Она восхищалась ею бесконечно, но не столько была увлечена ею, сколько ослеплена. Иногда она спрашивала себя, как отнеслась бы Генриетта Стэкпол к тому, что мысли ее подруги поглощены этим причудливым плодом их родной почвы, и отвечала: «Она бы осудила меня». Генриетта не одобрила бы мадам Мерль — а почему, Изабелла не знала, хотя не сомневалась, что это было бы именно так. С другой стороны, она была точно так же убеждена, что ее новая приятельница, случись ей встретить старую, не отказала бы последней в добром слове: мадам Мерль с ее чувством юмора и наблюдательностью несомненно отдала бы Генриетте должное, а узнав ее поближе, проявила бы ту меру такта, о которой корреспондентка «Интервьюера» и мечтать не могла В богатом опыте мадам Мерль имелись, надо думать, образцы на все случаи жизни, и, порывшись в обширных кладовых своей удивительной памяти, она, конечно, извлекла бы нужную мерку и оценила бы Генриетту по достоинству. «В этом все дело! — размышляла Изабелла. — Самое важное, самый высший дар

— уметь оценить других лучше, чем они способны оценить тебя». И тут же добавляла, что в этом, если разобраться, и заключается сущность аристократизма. Хотя бы в таком смысле нужно стремиться к аристократичности.

Позволю себе не перечислять всех звеньев логической цепи, которая привела Изабеллу к мысли, что мадам Мерль подлинная аристократка — мнение, которое сама эта леди никоим образом никогда не высказывала. Мадам Мерль была свидетельницей больших событий, знавала больших людей, но сама не играла большой роли. Она принадлежала к малым мира сего, не была рождена для славы и, превосходно зная мир, не питала бессмысленных иллюзий относительно своего места в нем. На своем веку она встречала многих избранников судьбы и очень хорошо понимала, в чем их судьба отличается от ее. Но, если по собственной, хорошо выверенной мерке мадам Мерль не преувеличивала своей значительности, воображение нашей героини наделяло ее чуть ли не величием. В глазах Изабеллы женщина, столь образованная и изысканная, столь умная и простая в обращении и при этом столь скромная, была настоящей леди, тем более что она и весьма искусно держалась как таковая. Казалось, все

общество было ей подвластно, все его искусства и добродетели, — или, быть может, напротив, это оно, даже на расстоянии, возлагало на *нее*, мадам Мерль, приятные обязанности и, где бы она ни находилась, ожидало от нее маленьких услуг? После завтрака она отвечала на письма, которые пачками поступали на ее имя, и, когда наши приятельницы иногда вместе отправлялись в почтовую контору, чтобы вручить ее служителям очередное приношение мадам Мерль. Изабелле оставалось только удивляться обширности ее переписки. По словам мадам Мерль, она знала больше людей, чем могла упомнить, к тому же ей всегда было о чем писать. Она очень любила заниматься живописью; набросать этюд требовало от нее не больше усилий, чем стянуть с руки перчатку. И если солнце появлялось над Гарденкортом хотя бы на час, она неизменно выходила из дому, захватив складной стул и ящичек с акварельными красками. Какой она была отличной музыкантшей, мы уже знаем — добавим только, что когда она садилась за рояль — а делала она это каждый вечер, — присутствующие без единого слова протеста соглашались пожертвовать тем удовольствием, какое доставляла им ее беседа. Теперь, после знакомства с мадам Мерль, Изабелла

стала стесняться своей игры на фортепьяно, которая, как ей казалось, никуда не годится; и в самом деле, хотя на родине ее считали чуть ли не гениальной пианисткой, общество, пожалуй, больше теряло, чем выигрывало, когда, повернувшись к нему спиной, она опускалась на круглый табурет. Если мадам Мерль не писала, не рисовала, не музицировала, она занималась вышиванием, украшая чудесными узорами подушки, занавесы, дорожки для каминной полочки, и в этом удивительном искусстве смелый полет ее фантазии не уступал проворству ее иглы. Она никогда не сидела без дела и если не проводила время за одним из упомянутых выше занятий, то читала (по мнению Изабеллы она прочла «все стоящее») или гуляла, раскладывала пасьянс или беседовала с кем-нибудь из обитателей Гарденкорта. Но при всем том она всегда оставалась воплощением светскости — не обижала отсутствием там, где ее ждали, и не засиживалась в гостях, когда это было неуместно. Любое свое занятие она оставляла с той же легкостью, с какой за него принималась, работала и разговаривала одновременно и, по всей видимости, не придавала своим трудам особой цены, раздаривая рисунки и вышивки, переставая или продолжая играть в зависимости

от удобства слушателей, которое она всегда безошибочно угадывала. Короче говоря, трудно было найти человека, с которым было бы приятнее, полезнее и необременительнее жить под одной кровлей. Изабелла находила в ней только один изъян — ей недоставало естественности: наша юная героиня разумела под этим вовсе не претенциозность или манерность — мадам Мерль, как никакой другой женщине, были чужды эти вульгарные недостатки, — а то, что ее природа слишком сглажена светскими условностями, все углы слишком смягчены и стерты. Она сделалась слишком обтекаемой, слишком податливой, слишком зрелой и безупречной. Словом, она была тем слишком совершенным «общественным животным», каким, по принятому мнению, должны были бы стать все мужчины и женщины; в ней не осталось даже следа той живительной дикости, которой в былые времена — до того, как загородные виллы вошли у нас в моду, — обладали даже самые привлекательные люди. Изабелла не могла представить себе мадам Мерль вне общества, наедине с самой собой: она существовала исключительно в общении, прямом или косвенном, с себе подобными. Глядя на нее, невольно возникал вопрос: а в каких она отношениях со своей

собственной душой? Но в итоге неизменно возникала мысль, что за блестящей внешностью не всегда скрывается пустота — этому заблуждению как раз в юности мы еще не успеваем поддаться. Мадам Мерль не была пустой — отнюдь. Она была достаточно глубока, и ее природа выражалась в ее поведении никак не меньше лишь оттого, что выражалась условным языком. «Что такое язык, как не условность? — думала Изабелла. — У нее достаточно вкуса, чтобы не оригинальничать, подобно многим моим знакомым».

— Вам, наверно, немало пришлось пережить? — сказала она как-то мадам Мерль, воспользовавшись прозвучавшим в речи приятельницы намеком.

— Почему вы так думаете? — спросила мадам Мерль с милой усмешкой, словно это была игра в отгадки. — Надеюсь, я не хожу с кислой миной непонятого совершенства.

— Нет. Но иногда высказываете мысли, какие вряд ли придут в голову людям, которые всегда были счастливы.

— Я не всегда была счастлива, — сказала мадам Мерль, по-прежнему улыбаясь, но теперь уже с той напускной серьезностью, с какой доверяют ребенку секрет. — Как это ни странно.

Изабелла уловила иронию.

— Многие люди — таково мое впечатление — никогда в жизни не испытывали вообще никаких чувств.

— Очень правильное впечатление: на свете куда больше чугунных горшков, чем фарфоровых ваз. Но, поверьте мне, на каждом свои отметины; возьмите самый крепкий чугунный горшок — на нем вы тоже найдете где царапинку, где дырочку. Я имею смелость считать себя очень прочным сосудом, но, честно говоря, щербин и трещин на мне предостаточно. Правда, в дело я еще гожусь: Мei я ловко починили, и я, по мере возможности, стараюсь не покидать кухонный шкаф — тихий темный кухонный шкаф, насквозь пропахший лежалыми пряностями. Но когда меня снимают с полки и выставляют на яркий свет — брр, дорогая, что за ужасный вид!

Не знаю, в этот или в другой раз, но, когда разговор принял такой же оборот, мадам Мерль обещала Изабелле рассказать ей историю своей жизни. Изабелла тут же выразила горячее желание услышать ее повесть и потом неоднократно ей об этом напоминала. Но мадам Мерль всякий раз просила отсрочки и наконец чистосердечно призналась, что желала бы отложить исполнение

данного ею обещания до той поры, когда они лучше узнают друг друга. Они не могли не сойтись покороче — им, по всей видимости, предстояло еще долго дружить. Изабелла согласилась с ее доводами, однако позволила себе спросить, не заслуживает ли она уже теперь доверия — разве похоже на нее, что она способна разглашать чужие признания?

— Я вовсе не боюсь, как бы вы не пересказали того, что я вам расскажу, — ответила мадам Мерль. — Напротив, я боюсь, что вы примете мои слова слишком серьезно. В вашем жестоком возрасте вы станете судить меня слишком сурово.

И она предпочитала говорить с Изабеллой об Изабелле, проявляя глубочайший интерес к ее делам, чувствам, мнениям и планам. Она то и дело заставляла ее болтать о себе и с бесконечным доброжелательством слушала ее болтовню. Внимание женщины, знавшей столько выдающихся людей и вращавшейся, по выражению миссис Тачит, в высшем европейском обществе, льстило нашей героине и подзадоривало ее. Она чувствовала себя на голову выше, завоевав благосклонность особы, владевшей столь богатым материалом для сравнений, и, возможно, именно желание почувствовать, что она нимало не

проигрывает от сравнения, побуждало ее часто обращаться к неисчерпаемым воспоминаниям своей блестящей подруги. Мадам Мерль побывала во множестве мест и сохраняла светские связи с людьми, жившими в десятке различных стран.

— Я не считаю себя образованной женщиной, — заявляла она, — но Европу, мою Европу, мне думается, изучила.

Сегодня она мимоходом роняла, что собирается проведать старинную приятельницу в Швеции, завтра — что хочет навестить новую знакомую на Мальте. Англию, где она часто гостила, она знала как свои пять пальцев, и Изабелла с немалой пользой для себя слушала ее рассказы об обычаях этой страны и характере ее обитателей, с которыми «при всем том», как любила повторять мадам Мерль, удобнее жить, чем с любой Другой породой людей.

— Может быть, тебя удивляет, почему мадам Мерль не уезжает из Гарденкорта, зная, что мистер Тачит при смерти? — спросила жена этого джентльмена свою племянницу. — Не думай — с ее стороны здесь Нет никакого промаха, она самая тактичная женщина в мире. Своим пребыванием в Гарденкорте она делает мне честь — ведь ее ждут сейчас в лучших домах Англии, — сказала

миссис Тачит, которая ни на минуту не забывала, что в английском обществе ее собственные акции ценились на несколько пунктов ниже, чем в других местах. — Перед нею распахнуты многие двери, и в крове она не нуждается. Но я просила ее побыть здесь сейчас, чтобы ты могла узнать ее поближе. Я считаю, это будет тебе весьма на пользу.'Серена Мерль во всем безупречна.

— Она мне очень понравилась, иначе меня бы сильно насторожило то, что вы о ней говорите, — отвечала Изабелла.

— У нее нет дурной манеры «уходить в себя», даже на мгновение. Я привезла тебя сюда и хочу сделать для тебя все, что могу. Твоя сестра Лили выразила надежду, что я предоставлю тебе большие возможности. Вот первая — знакомство с мадам Мерль. Она — одна из самых блестящих женщин в Европе.

— Мне она нравится куда больше, чем то, что вы о ней говорите, — повторила Изабелла.

— Вот как! Думаешь найти в ней недостатки? Не поленись сказать мне, если тебе это удастся.

— Это было бы жестоко… по отношению к вам.

— Можешь не беспокоиться. Ты не сыщешь на ней и пятнышка.

— Пожалуй. Но осмелюсь сказать, меня это не

огорчит.

— Она знает решительно все на свете — все, что стоит знать, — заключила миссис Тачит.

Изабелла не преминула рассказать приятельнице, что миссис Тачит — о чем мадам Мерль, надо полагать, и сама знает — превозносит ее как верх совершенства.

— Благодарю вас, — отвечала мадам Мерль. — Но, боюсь, ваша тетушка не видит или, вернее, не учитывает отклонений, которые не лежат на поверхности.

— Вы хотите сказать, что в вашей душе есть необузданные стороны, о которых она ничего не знает?

— О нет. Боюсь, самые темные стороны моей души как раз и есть самые смирные. Я хочу сказать, что не иметь недостатков, в понимании вашей тетушки, означает не опаздывать к столу — к столу в *ее* доме. (Кстати, позавчера, когда вы воротились из Лондона, я не опоздала, я вошла в гостиную, когда часы показывали ровно восемь, а вот вы все пришли до времени.) Это означает, что, получив письмо, вы отвечаете на него в тот же день, что отправляясь к ней в гости, не набираете много вещей и, упаси бог, не болеете, находясь под ее кровом. В этом, по мнению миссис Тачит,

и заключается добродетель. Блажен, кто может разложить это понятие на составные части!

Как видим, в своих речах мадам Мерль не скупилась на смелые, свободно брошенные мазки, нередко придававшие ее словам обратный смысл, но даже и тогда Изабелла не ощущала яда. Ей просто в голову не могло прийти, что изысканная гостья миссис Тачит прохаживается на счет хозяйки, — и причины такого непонимания вполне очевидны. Во-первых, она жадно ловила оттенки значений в ее словах, во-вторых, мадам Мерль давала понять, что сказала далеко не все, а в-третьих, кто же не знает, что говорить без околичностей о ваших ближайших родственниках — несомненный знак особого к вам расположения. По мере того как шли дни, этих знаков дружества становилось все больше, и в особенности льстили Изабелле те, из которых явствовало, что мадам Мерль предпочла бы сделать предметом их бесед самое мисс Арчер. Правда, нередко она ссылалась на случаи из собственной жизни, но никогда на них не задерживалась: грубый эгоизм был столь же мало ей свойствен, как и склонность к пустым сплетням.

— Я старая, скучная, отцветшая женщина, — не раз повторяла она. — И так же неинтересна,

как прошлогодняя газета. Вы молоды, свежи, пронизаны настоящим. В вас есть главное: вы — сегодняшний день. Когда-то и я им была, в свой час. У вас он продлится дольше. Вот и поговорим о вас, мне интересно каждое ваше слово. Я люблю говорить с теми, кто моложе меня, — явный признак того, что старею. Наверное, в этом есть своего рода возмещение: когда нет молодости в себе самом, окружаешь себя ею извне и, знаете, убеждаешься, что так, со стороны, видишь и ощущаешь ее даже лучше. Мы, несомненно, должны быть на стороне молодых, и я всегда буду на их стороне. Не думаю, что старики ста…и бы раздражать меня — надеюсь, этого не случится: есть старики, которых я просто обожаю. Но душою я с молодежью — молодость трогает и волнует меня бесконечно. А вам я даю carte blanche.[59] Можете даже дерзить мне, если вздумается, я пропущу это мимо ушей и, конечно, немыслимо вас избалую. Что? Я говорю так, словно мне сто лет? Мне именно столько, если угодно, даже больше — ведь я родилась до Французской революции. Ах, дорогая моя, je viens de loin[60] — я принадлежу старому,

[59] Примечания: 59
Зд неограниченные права *(фр.).*

[60] Примечания: 60
Зд. я из прошлого (фр.).

старому миру. Но я не хочу говорить о нем, будем говорить о новом. Расскажите мне еще об Америке, мне всегда мало того, что вы о ней говорите. Меня привезли сюда совсем малюткой, с тех пор я здесь, и как это ни возмутительно, просто ужасно, но я почти ничего не знаю об этой великолепной, этой чудовищной, этой нелепой стране — воистину самоет великой и самой забавной на свете. В Европе много таких отрезанных ломтей, как я, и, скажу откровенно, по-моему, мы все несчастные люди. Человек должен жить в своей стране, там его место, какая бы она ни-была. Здесь мы плохие американцы и никуда не годные европейцы, повсюду не на месте. Ползучие растения, паразиты, стелющиеся по верху и не имеющие корней в земле. Я по крайней мере знаю, что я такое, и не питаю на свой счет иллюзий. Для женщины такое положение — еще куда ни шло. У женщины вообще нет своего места в жизни. Ей везде суждено стелиться по верхам и ползти — где больше, где меньше. Вы не согласны со мной, дорогая? Вам это претит? Вы никогда не станете ползать? Это верно, вы — не ползаете, вы держитесь прямо, прямее многих женщин. Что ж, превосходно, вы, пожалуй, действительно ползать не будете. Но мужчины, американцы, je vous demande un

peu,[61] — что им дает жизнь здесь? Их положение весьма незавидно. Взгляните хотя бы на Ральфа Тачита — как прикажете его аттестовать? К счастью, у него чахотка — я говорю «к счастью», потому что болезнь хоть как-то его занимает. Его чахотка — это его carriere,[62] своего рода положение в обществе. О нем можно сказать: «Мистер Тачит печется о своих больных легких, он как никто разбирается в климате». А иначе кем бы он был, что представлял бы собой? «Мистер Ральф Тачит, американец в Европе». Это же ни о чем не говорит — ровным счетом ни о чем. Еще о нем известно — «он очень образован» и «у него замечательная коллекция старинных табакерок». Только этой коллекции и недоставало! Я просто слышать о ней не могу. Какое убожество! С его отцом, с этим бедным стариком, дело обстоит иначе, у него есть свое лицо, и весьма солидное. Он представляет здесь солидное финансовое учреждение, а в наши дни такое занятие не хуже любого другого. Американцу, во всяком случае, оно вполне под стать. Но что касается вашего кузена, поверьте, ему очень повезло с его больными

---

[61] Примечания: 61
Скажите на милость *(фр.)*.

[62] Примечания: 62
жизненное поприще *(фр.)*.

легкими — поскольку он от этого не умирает. Лучше уж заниматься легкими, чем табакерками. Вы думаете, не будь он болен, пн стал бы что-нибудь делать, возглавил бы банк, сменив отца? Сомневаюсь, дитя мое, сомневаюсь, по-моему, банк его нисколько не интересует. Правда, вы знаете его лучше, хотя когда-то и я превосходно его знала, но все равно оправдаем его за недостаточностью улик. Самый тягостный пример в этом роде — это один мой знакомый, наш соотечественник, поселившийся в Италии (куда его тоже привезли еще несмышленым младенцем). Прелестнейший человек — вы непременно должны с ним познакомиться. Я представлю его вам, и вы сами увидите, почему я так говорю. Его зовут Гилберт Озмонд, он живет в Италии, и это все, что можно сказать о нем или извлечь из него. Он необыкновенно умен и мог бы прославить свое имя, но, как вы слышали, он — мистер Озмонд, живущий tout betement[63] в Италии, и этим все исчерпывается. Ни поприща, ни имени, ни положения, ни состояния, ни прошлого, ни будущего — ни-че-го. Ах да! Он занимается живописью, пишет акварелью — как я, только лучше. Но картины его немногого

[63] Примечания: 63
Зд. попросту (фр.).

стоят, чему я, впрочем, только рада. К счастью, он чудовищно ленив — так ленив, что это может сойти за жизненную позицию. Он может сказать: «Да, я ничего не делаю, но мне и не хочется. Чтобы что-то успеть за день, надо встать в пять утра». Этим он хоть чем-то выделяется из общего ряда: поневоле веришь, что, встань он в пять утра, он свернул бы горы. О своих занятиях живописью он предпочитает не говорить даже близким знакомым — о, он очень умен. Еще у него есть дочь — прелестное дитя — вот о *ней* он охотно говорит. Он очень привязан к ней, и, если бы исполнение отцовских обязанностей считалось поприщем для мужчины, Гилберт Озмонд составил бы себе имя. А так, боюсь, это занятие можно оценить не выше, чем собирание табакерок, пожалуй, даже ниже. Расскажите же мне об Америке, — продолжала мадам Мерль, которая, заметим в скобках, отнюдь не сразу излила все эти соображения, представленные здесь, для удобства читателя, в виде единого потока. Она говорила о Флоренции, где жил упомянутый мистер Озмонд и где миссис Тачит владела средневековым палаццо, и о Риме, где у нее самой был небольшой pied-a-terre с мебелью, обитой старинной камкой. Она говорила о городах и людях и иногда даже, как выражаются

нынче, касалась «больных вопросов», время от времени говорила и о милом хозяине Гарденкорта, у которого гостила, и о том, есть ли надежда на его выздоровление. Она с самого начала придерживалась мнения, что надежды почти нет, и у Изабеллы щемило сердце всякий раз, когда мадам Мерль уверенно и досконально, со знанием дела рассуждала о том, сколько ему остается жить. Наконец мадам Мерль решительно заявила, что дни его сочтены.

— Сэр Мэтью Хоуп сказал мне это со всей возможной откровенностью сегодня перед обедом, когда мы стояли с ним у камина, — объявила она. — Он умеет быть приятным, наш великий лекарь. Я не имею в виду этот последний разговор. Но даже столь печальное известие он сумел облечь в самые деликатные формы. Я сказала ему, что чувствую себя здесь неловко в такое время, что мое пребывание в Гарденкорте неоправданно — ведь в сиделки я вряд ли гожусь «Вам надобно остаться, надобно остаться, — сказал он, — скоро найдется дело и для вас». Понимаете, с каким тактом он разом дал мне понять и что дни мистера Тачита сочтены, и что моя миссия — утешать миссис Тачит. Правда, тут он ошибается — мои услуги вашей тетушке не понадобятся.

Она утешится сама — только она сама и знает, какая порция утешений ей нужна. Вряд ли другой сумеет отмерить в точности ту дозу, какая ей требуется. Вот ваш кузен — иное дело: он будет очень горевать по отцу. Но я никогда в жизни не решусь отирать слезы Ральфу Тачиту — мы не в таких отношениях.

Мадам Мерль уже не впервые намекала на то, что между нею и Ральфом Тачитом существует скрытая неприязнь, и Изабелла, воспользовавшись случаем, задала ей вопрос: разве они с Ральфом не добрые друзья?

— Несомненно, только он меня не любит.

— Вы его чем-нибудь обидели?

— Нет, ничем. Впрочем, чтобы любить или не любить не надобно причины.

— Чтобы не любить вас? Для этого, мне думается, нужна серьезнейшая причина.

— Вы очень великодушны. Но не забудьте обдумать, какую причину вы назовете, когда меня разлюбите.

— Я? Вас? Никогда!

— Надеюсь, что нет. Ведь неприязнь беспредельна: ей нет конца, стоит только невзлюбить человека. Вот как ваш кузен: ему уже не преодолеть неприязни ко мне. Какое-то врожденное

отталкивание натур — если можно назвать так чувство, которое испытывает только одна сторона. Я-то ничего не имею против него и не таю никакого зла, хотя он несправедлив ко мне. Справедливое отношение — вот все, что мне надо. Тем не менее он джентльмен, в этом ему не откажешь: я знаю, *он* никогда не позволит сказать себе обо мне ничего дурного за моей спиной. Cartes sur table![64] — и, помолчав, закончила: — Я не боюсь его.

— Надеюсь, что нет! — воскликнула Изабелла и добавила, что Ральф добрейшее в мире существо. Однако ей вспомнилось, что при ее первых расспросах о мадам Мерль Ральф употребил выражения, которые эта леди могла бы счесть для себя обидными, хотя прямо ничего сказано не было. «Какая-то кошка между ними пробежала», — только и позволила сказать себе Изабелла. Если за всем этим крылось что-то серьезное, к их ссоре следовало отнестись с уважением, если же нет, не стоило и задумываться над нею. При всей ее любознательности Изабелле по самой ее природе всегда претило отодвигать завесы или заглядывать в неосвещенные углы. Жажда знать

---

[64] Примечания: 64
Карты на стол! *(фр.).*

сочеталась в ней со счастливой способностью оставаться в полном неведении.

Но порою мадам Мерль бросала фразы, которые немало ее удивляли, заставляя подымать тонкие брови и потом еще долго размышлять над ее словами.

— Я много бы дала, чтобы вернуть себе ваши годы, — вдруг вырвалось однажды у мадам Мерль с такой горечью, что ее не могла скрыть даже пелена светской легкости, в которую эта леди обычно все облекала. — Если бы я могла начать все сначала и жизнь моя не была бы уже прожита!

— Но ваша жизнь еще вовсе не прожита, — тихо сказала Изабелла, исполненная чуть ли не благоговения.

— Увы, лучшие годы уже прошли, и прошли бесплодно.

— Почему же бесплодно? — возразила Изабелла.

— Почему? А что у меня есть? Ни мужа, ни детей, ни состояния, ни положения, ни даже следов Сылой красоты, поскольку таковой и не было.

— Но у вас так много друзей!

— Друзей? Я в этом не убеждена! — воскликнула мадам Мерль.

— Вы ошибаетесь. А ваши воспоминания, репу-

тация, таланты… Но мадам Мерль прервала ее.

— Что дали мне мои таланты? Ничего, кроме необходимости прибегать к ним вновь и вновь — чтобы убивать часы, убивать годы, обманывая себя видимостью деятельности, пытаясь найти в них забвение. Что же до моей репутации и воспоминаний — чем меньше о них говорить, тем лучше. Вы будете питать ко мне дружеские чувства, пока не найдете им лучшего применения.

— Я не изменюсь к вам. Вот увидите! — воскликнула Изабелла.

— Да, вас я постараюсь сохранить. — И мадам Мерль устремила на Изабеллу печальный взгляд. — Когда я говорю, что хотела бы вернуть себе ваши годы, я имею в виду — со всеми присущими вам свойствами: прямотой, великодушием, искренностью. С такими свойствами я, возможно, лучше бы распорядилась своей жизнью.

— Что же вы сделали бы из того, что не сумели?

Мадам Мерль сняла с пюпитра ноты — она сидела у фортепьяно — и, заговорив с Изабеллой, резко повернулась к ней на вертящемся табурете, машинально листая страницы.

— Я очень честолюбива, — проговорила она наконец.

— И ваши честолюбивые планы не исполнились. Они, наверное, были грандиозны.

— Да, *грандиозны.* Я показалась бы смешной, если бы стала говорить о них.

«Интересно, что это было, — подумала Изабелла, — уж не надеялась ли мадам Мерль носить корону?»

— Не знаю, что вы понимаете под успехом, — сказала она вслух. — Но вам он, конечно, сопутствовал. Мне, во всяком случае, вы кажетесь олицетворением успеха.

Мадам Мерль с улыбкой отложила ноты.

— А что *вы* понимаете под успехом?

— Вы явно ждете услышать очень скромные требования. Извольте. Успех — это когда сбываются мечты нашей юности.

— Ах, — сказала мадам Мерль, — у меня они так и не сбылись. Но мои мечты были так грандиозны… так немыслимы. Да простит меня бог, я не отучилась мечтать и сейчас. — И, повернувшись снова к фортепьяно, заиграла что-то возвышенное.

Назавтра она сказала Изабелле, что ее определение успеха — спору нет — прелестно, но пугающе пессимистично. Если мерить такой мерой, кто же тогда знал успех? Мечты нашей юности, что

и говорить, упоительны, они — божественны! Но где тот человек, у которого они сбылись?

— У меня… то есть не все, конечно, — осмелилась заявить Изабелла.

— Уже? Ну это, наверное, те мечты, которым вы предавались не далее как вчера.

— Я начала мечтать в очень раннем возрасте, — улыбнулась Изабелла.

— Ну, если вы имеете в виду детские мечты — розовый бант и куклу с закрывающимися глазами…

— Нет, я вовсе не это имею в виду.

— Значит, молодого человека с усиками, стоящего перед вами на коленях.

— Нет, и не это, — горячо запротестовала Изабелла.

Горячность эта, по-видимому, не ускользнула от мадам Мерль. — О, я, кажется, попала в точку. В жизни каждой женщины был молодой человек с усиками. Неизбежный молодой человек. Он не в счет.

Изабелла помолчала немного и затем с крайней — весьма характерной — непоследовательностью сказала:

— Почему не в счет? Молодой человек молодому человеку рознь.

— Ваш, конечно, идеален, не так ли? — спросила мадам Мерль, смеясь. — Ну, если в нем воплотились ваши мечты, мне остается только поздравить вас. Это огромный успех. Но почему, скажите на милость, вы не умчались с ним в его замок в Апеннинах?

— У него нет замка в Апеннинах.

— А что у него есть? Уродливый кирпичный дом на Сороковой улице? Помилуйте, какой же это идеал.

— Мне все равно, какой у него дом, — сказала Изабелла.

— Что значит молодость! Поживите с мое, и вы поймете, что у каждого человеческого существа есть своя раковина и пренебрегать ею ни в коем случае нельзя. Под раковиной я разумею все окружающие нас жизненные обстоятельства. На свете нет просто мужчин и женщин — мы все состоим из целого набора аксессуаров. Что такое наше «я»? С чего оно начинается? Где кончается? Оно охватывает все, что нам принадлежит, — и, наоборот, все, что нам принадлежит, определяет нас. Для меня не подлежит сомнению, что значительная часть моего «я» — в платье, которое я себе выбираю. Я с большим почтением отношусь к *вещам.* Ваше «я» — для других людей — в

том, что его выражает: ваш дом, мебель, одежда, книги, которые вы читаете, общество, в котором вращаетесь, — все они выражают ваше «я».

Все это было сплошной метафизикой, впрочем, как и многое другое в прежних рассуждениях мадам Мерль. Изабелле очень нравилась метафизика, тем не менее она не сочла возможным подписаться под смелым анализом человеческой личности, представленным ее приятельницей.

— Я не согласна с вами, — объявила она. — По-моему, все как раз наоборот. Не знаю, умею ли я выражать свое «я», но знаю, что, кроме меня, никто и ничто этого сделать не может. По моим вещам никак нельзя судить обо мне, напротив, они скорее препятствие, преграда, к тому же еще совершенно случайная. Платья, которые, как вы сказали, я себе выбираю, вовсе не выражают моего «я». Не дай бог, чтобы это было так!

— Вы одеваетесь с большим вкусом, — не преминула вставить мадам Мерль.

— Возможно, и все-таки мне не хотелось бы, чтобы обо мне судили по платью. Мои наряды говорят не обо мне, а о вкусе моей портнихи. К тому же я их не выбираю — они навязаны мне обществом.

— А вы предпочли бы обходиться без них? —

осведомилась мадам Мерль таким тоном, который по сути дела клал конец дискуссии.

Вынужден признаться — хотя в известной мере рискую разрушить нарисованную выше картину девической привязанности, которую испытывала наша героиня к этой во всех отношениях совершенной женщине, — вынужден признаться, что Изабелла не сказала ей ни слова о лорде Уорбертоне и хранила столь же упорное молчание по поводу Каспара Гудвуда. Правда, она не скрыла от мадам Мерль, что у нее были возможности выйти замуж, и даже не утаила, сколь блестящими они были. Лорд Уорбертон уехал из Локли и находился сейчас в Шотландии, куда взял с собою сестер, и, хотя он часто писал Ральфу, справляясь о состоянии мистера Тачита, письма его не тяготили Изабеллу; другое дело, если бы он жил по соседству и считал своим долгом лично наведываться в Гарденкорт. Конечно, он превосходно умел держать себя, но Изабелла не сомневалась, что, посещая Гарденкорт, он встретился бы с мадам Мерль, а встретившись с мадам Мерль, почувствовал бы расположение к ней и непременно рассказал бы о своей любви к ее юной подруге. Случилось так, что пока означенная леди гостила в Гарденкорте — а прежние ее

визиты были намного короче нынешнего, — лорд Уорбертон либо находился в отъезде, либо не наезжал к Тачитам. Поэтому, хотя мадам Мерль была немало наслышана о нем, как о первом лице графства, ничто не давало ей оснований подозревать в нем искателя руки только что вывезенной из Америки племянницы миссис Тачит.

. — У вас еще все впереди, — сказала она в ответ на полупризнания нашей героини, которая в данном случае вовсе не стремилась к полноте и совершенству и, как мы видели, даже несколько угрызалась тем, что сказала лишнее. — Я очень рада, что вы не сделали последнего шага, что он вам еще предстоит. Для девушки только хорошо отказаться от двух-трех серьезных предложений — разумеется, когда они не лучшие из тех, на которые она может рассчитывать. Простите, если это звучит так пошло, но иногда бывает полезно взглянуть на вещи с обыденной точки зрения. Только не следует увлекаться и отказывать ради удовольствия отказывать. Что и говорить, приятно чувствовать свою власть, но принять предложение — это, если угодно, тоже значит проявить свою власть. К тому же, когда слишком часто отказываешь, есть опасность просчитаться. Этой ошибки я как раз избежала — я слишком

редко отказывала. Вы — удивительное создание, и я хотела бы видеть вас женой премьер-министра. Но, честно говоря, вы — переходя на язык свах — не parti.[65] Вы необыкновенно хороши собой и необыкновенно умны — словом, сами по себе вы — чудо. Но у вас, по-видимому, нет ни малейшего понятия, владеете ли вы хоть какими-нибудь земными благами, а насколько мне известно, доходами вы не отягчены. Жаль, что у вас нет денег.

— Да, жаль! — сказала Изабелла, забыв, видимо, на мгновение, что два благородных джентльмена не считали ее бедность таким уж великим грехом.

Не вняв благожелательному совету сэра Мэтью Хоупа, мадам Мерль не стала ждать развязки смертельной болезни, как теперь, уже не обинуясь, называли состояние мистера Тачита. У нее были обязательства перед другими людьми, которые она не могла нарушить, и мадам Мерль покинула Гарденкорт — само собой разумеется, с тем, чтобы перед отъездом из Англии непременно навестить миссис Тачит, если не здесь, то в Лондоне. Ее прощание с Изабеллой говорило

---

[65] Примечания: 65
выгодная партия *(фр.)*

о зарождении дружбы даже больше, чем первая их встреча:

— Я еду в шесть домов подряд, но не найду в них никого, кто был бы мне так же мил, как вы. Правда, там ждут меня старые друзья — в моем возрасте уже не заводят новых. Я сделала для вас исключение — невероятное. Не забывайте об этом и поминайте меня добром. Ваша вера в меня будет мне наградой.

Изабелла только поцеловала ее в ответ; но, хотя иные женщины легко раздают свои поцелуи, есть поцелуи и поцелуи, и эта ласка вполне Удовлетворила мадам Мерль. После ее отъезда наша юная леди почти неизменно оставалась одна: с тетушкой и кузеном она встречалась только за столом, хотя и обнаружила, что миссис Тачит, которую она теперь почти не видела, посвящала уходу за мужем лишь незначительное время. Ьольщую часть дня она проводила на своей половине, куда не допускала Даже племянницу, и занималась чем-то непостижимо таинственным. За столом она хранила сосредоточенное молчание, и торжественность эта не была позой, а, как видела Изабелла, шла из глубины души. Наверное, думала Изабелла, тетушка теперь терзается тем, что злоупотребляла своей независимостью.

Однако внешне это ничем не подтверждалось — она не плакала, не вздыхала, не выказывала большего рвения, чем, по ее мнению, требовалось. Казалось, миссис Тачит просто чувствовала необходимость обдумать все происходящее и подвести итоги, словно она вела бухгалтерскую книгу своей нравственности — с безупречно выверенными колонками цифр и острыми стальными застежками — и содержала ее в идеальном порядке. Вслух же она высказывала только то, что имело — по крайней мере, с ее точки зрения, — практическое значение.

— Знай я, что все так сложится, — сказала она Изабелле после отъезда мадам Мерль, — я не стала бы предлагать тебе ехать со мной в Европу, а подождала бы и вызвала тебя в будущем году.

— И я, может быть, так никогда не познакомилась бы с дядей. Я счастлива, что приехала.

— Превосходно. Но я везла тебя сюда не для того, чтобы познакомить с дядей.

Замечание это было вполне справедливым, но, как невольно подумала Изабелла, не вполне уместным. У нее оставалось достаточно досуга, чтобы подумать и об этом, и о многом другом. День за днем, побродив в одиночестве по парку, она часами сидела в библиотеке, листая книги.

Среди других предметов, занимавших ее мысли, были также и приключения ее подруги, мисс Стэкпол, с которой она находилась в постоянной переписке. Частные письма мисс Стэкпол нравились Изабелле несравненно больше тех, которые та публиковала в «Интервьюере»; вернее, ей и эти, рассчитанные на публику, письма мисс Стэкпол показались бы превосходными, не будь они напечатаны. Дела Генриетты, даже личные ее интересы, складывались пока менее удачно, чем ей того бы хотелось: частная жизнь британцев, с которой она так жаждала ознакомиться, ускользала от нее, как ignis fatuus.[66] Приглашение леди Пензл по каким-то таинственным причинам так и не прибыло, и даже бедный мистер Бентлинг при всей его благожелательности и находчивости не мог, как ни старался, объяснить, где заблудилось послание, которое, вне всяких сомнений, было ей отправлено. Он, видимо, очень близко к сердцу принял дела Генриетты и считал себя обязанным возместить ей несостоявшийся визит в Бедфордшир. «Он говорит, — писала Генриетта, — я должна, как ему кажется, отправиться на континент, а так как он и сам туда собирается,

[66] Примечания: 66
блуждающий огонек *(лат.).*

совет этот, надо полагать, вполне искренен. Он не видит оснований, почему бы мне не познакомиться с французским образом жизни — кстати, мне и в самом деле очень хочется посмотреть, что такое Новая республика.[67] Мистер Бентлинг не питает особого интереса к республике, тем не менее в Париж он съездить непрочь. Должна отметить — он очень предупредителен, так что один вежливый англичанин мне все-таки встретился. Я беспрестанно говорю ему, что ему следовало бы родиться в Америке, и видела бы ты, как он этим доволен. Каждый раз, когда я это повторяю, он восклицает: „Ну что вы!"». В письме, датированном несколькими днями позже, она сообщала, что решила выехать в Париж в конце недели и что мистер Бентлинг посадит ее в Лондоне на поезд — возможно, даже доедет с нею до Дувра, — и в конце добавляла, что будет ждать Изабеллу в Париже. Генриетта писала так, словно Изабелла предполагала путешествовать по континенту одна, и даже не упоминала о миссис Тачит. Памятуя интерес кузена к их недавней

[67] Примечания: 67

Новая республика. — Имеется в виду Третья республика, установившаяся во Франции после падения Луи Наполеона Бонапарта (Наполеон III, 1808–1873) в результате сентябрьской революции 1870 г… поставившей у власти буржуазных республиканцев.

спутнице, наша героиня не преминула показать некоторые пассажи из этой переписки Ральфу, который с интересом, можно сказать с волнением, следил за успехами посланницы «Интервьюера».

— Мне кажется, она процветает, — сказал он. — Едет в Париж с бывшим уланом. Если она ищет, о чем ей писать, — достаточно изобразить сей эпизод.

— Эта поездка, конечно, выходит за рамки того, что принято, — отвечала Изабелла, — но если вы хотите сказать, имея в виду Генриетту, что такое путешествие не вполне невинно, то вы глубоко заблуждаетесь. Вам, видно, никогда ее не понять!

— Прошу прощения, я превосходно ее понимаю. Вначале я, действительно, ее не понимал, но сейчас у меня сложилось о ней четкое представление. А вот у Бентлинга оно вряд ли есть, и, боюсь, его ждет немало сюрпризов. О, я вижу вашу Генриетту насквозь!

В последнем Изабелла отнюдь не была уверена, но воздержалась от дальнейших возражений — все эти дни она старалась обходиться с кузеном необычайно милостиво.

Однажды после полудня — не прошло еще недели с отъезда мадам Мерль — она сидела,

листая книгу, которая не слишком ее занимала. Из глубокой оконной ниши, в которой она расположилась, был виден унылый, залитый дождем сад, а так как библиотека помещалась в боковом крыле, расположенном под прямым углом к фасаду, то Изабелла видела и парадный подъезд с докторскими дрожками, стоявшими там уже более двух часов. Продолжительность его визита встревожила Изабеллу, но наконец он появился на пороге, постоял немного, медленно натягивая перчатки и уставив взгляд в колени лошади, потом сел в свои дрожки и уехал. Она продолжала сидеть в оконной нише еще с полчаса. В доме было необыкновенно тихо — так тихо, что когда она наконец услышала шаги, медленно приближавшиеся к ней по толстому ковру, она даже немного испугалась. Оторвав взгляд от окна, она обернулась и увидела Ральфа Тачита — он стоял перед ней, засунув по обыкновению руки в карманы, но неизменная затаенная улыбка исчезла с его лица. Изабелла встала, и в этом ее движении и в глазах замер вопрос.

— Все кончено, — сказал Ральф.

— Вы хотите сказать, что дядя… — Изабелла не договорила.

— Час назад его не стало.

— Бедный, бедный мой Ральф! — чуть слышным, прерывающимся голосом сказала она и протянула к нему обе руки.

20

Недели две спустя после описанных нами событий кабриолет доставил мадам Мерль к дому на Уинчестер-сквер. Сходя с подножки, она увидела висевшую между окнами столовой аккуратную черную дощечку, на свежевыкрашенной поверхности которой белели слова: «Этот великолепный особняк, не облагаемый налогом, продается»; ниже значилось имя агента, к которому следовало обращаться за справками. «Однако здесь не теряют времени даром», — подумала гостья и, постучав в дверь массивным медным молотком, стала ждать, когда ей откроют. «Вот уж, воистину, практическая страна!» И в самом доме, подымаясь в гостиную, она отмечала многочисленные свидетельства отречения: снятые со стен и громоздившиеся на диванах картины, незавешенные окна, незастланные коврами полы. Миссис Тачит сразу же ее приняла и в двух словах уведомила, что соболезнования разумеются сами собой.

— Знаю, вы скажете: он был превосходный человек. Но лучше меня это никто не знает — никто

другой не давал ему столько поводов выказать великодушие. Уж в чем, в чем, а в этом я была ему хорошей женой. — И миссис Тачит добавила, что к концу их супружества муж, видимо, и сам признал этот факт. — Он проявил ко мне большую щедрость, — сказала она. — Не скажу — большую, чем я рассчитывала, поскольку я и не рассчитывала. Я вообще, как вы знаете, никогда ни на что не рассчитываю. Но, насколько могу судить, он счел нужным признать тот факт, что, хотя я почти все время жила в чужих краях и вращалась среди чужих людей, никого другого я ему не предпочла.

— Никого, кроме себя самой, — мысленно подхватила мадам Мерль, но это ее соображение не достигло ничьих ушей.

— И ни разу не пожертвовала интересами мужа ради кого-то другого, — продолжала мадам Тачит, выражаясь по обыкновению решительно и кратко.

— О да, — подумала про себя мадам Мерль, — ты ни разу ничем не пожертвовала ради кого-то другого.

Немые реплики мадам Мерль, несомненно, отдавали цинизмом, и тут не обойтись без объяснений, тем более что они идут вразрез и с тем

представлением — быть может, поверхностным, — которое уже сложилось у нас об этой леди, и тем паче — с доподлинными фактами биографии миссис Тачит; к тому же мадам Мерль была твердо, и с полным на то основанием, убеждена, что, делая последнее замечание, ее приятельница менее всего могла иметь в виду ее самое. Просто в тот момент, когда мадам Мерль переступила порог дома на Уинчестер-сквер, ей вдруг открылось, что смерть мистера Тачита имела некие последствия и что последствия эти обогатили небольшую группу людей, среди которых она не числилась. Конечно, такое событие не могло остаться без последствий, к, еще находясь в Гарденкорте, мадам Мерль неоднократно рисовала в своем воображении все то, что произойдет. Но одно дело — предвидеть то, что должно случиться, совсем другое — оказаться свидетелем весьма ощутимых результатов происшествия. Мысль о разделе имущества — она чуть было мысленно не сказала «добычи» — угнетала ее, раздражая ощущением собственной непричастности. Я далек от намерения наделить мадам Мерль ненасытным чревом или завистливым сердцем, присущими обычным представителям людского стада, но, как мы знаем, в душе ее гнездились желания, ко-

торые так и не сбылись. Сама она — если бы к ней обратились с подобным вопросом — несомненно сказала бы, насмешливо улыбнувшись, что не имеет ни малейших притязаний на долю в наследстве мистера Тачита. «Между нами никогда ничего не было. Ни вот столько, — ответила бы она, приложив большой палец к кончику среднего. — Бедняга!» Сверх того, поспешим добавить, что, если в данный момент у нее все же разгорелись глаза, она умела не выдавать своих чувств, к тому же и в самом деле испытывала участие не только к приобретениям миссис Тачит, но и к ее утратам.

— Он оставил мне этот дом, — сказала новоявленная вдова, — но, разумеется, я не собираюсь в нем жить: мой, во Флоренции, несравненно лучше. Завещание вскрыли три дня назад, и я уже распорядилась о продаже. Ко мне переходит также часть капитала, но еще не знаю, должна ли я держать его в банке. Если нет, я, разумеется, его изыму. Ральф, естественно, унаследовал Гарденкорт; не уверена, однако, сумеет ли он содержать его в должном виде. Ральфу, конечно, достанет денег, но отец отказал большие суммы на сторону: оделил целый выводок родственниц в Вермонте. Правда, Ральф очень любит Гарденкорт

и, пожалуй, сможет жить там летом со служанкой и младшим садовником. В завещании мужа оказался один любопытный пункт, — добавила миссис Тачит. — Он оставил моей племяннице целое состояние.

— Состояние? — негромко повторила мадам Мерль.

— Он отказал Изабелле без малого семьдесят тысяч фунтов.

Услышав эту новость, мадам Мерль, которая сидела, сомкнув руки на коленях, подняла их не разнимая и с мгновенье держала перед грудью, смотря слегка расширившимися глазами прямо в глаза миссис Тачит.

— Какая умная девчонка! — вырвалось у нее. Миссис Тачит метнула на нее быстрый взгляд.

— Что вы хотите этим сказать?

Мадам Мерль зарделась и опустила глаза:

— Надо иметь умную голову, чтобы добиться таких результатов… не прилагая к тому усилий.

— Она не прилагала никаких усилий, а потому говорить, что она добилась чего-то, неуместно.

Мадам Мерль не имела глупой привычки отказываться от своих слов; она мудро предпочитала отстаивать их, несколько изменяя окраску и подавая в выгодном свете:

— Мой добрый друг, Изабелла вряд ли получила бы в наследство семьдесят тысяч, не будь она самой очаровательной девушкой в мире. А часть ее очарования — в незаурядном уме.

— Она, разумеется, и в мыслях не держала, что мужу вздумается ее об этом, — сказала миссис Тачит. — Она никак не могла на него рассчитывать. То, что она моя племянница, не слишком-то много для него значило. Всего, чего она добилась, она добилась, сама того не ведая.

— Ах, — подхватила мадам Мерль, — так и одерживают величайшие победы!

Миссис Тачит оставила свое мнение при себе.

— Не отрицаю, ей повезло. Но сейчас она просто как в дурмане.

— Вы хотите сказать, не знает, что ей делать с такими деньгами?

— Этим вопросом она, по-моему, еще не задавалась. Она не знает, что ей вообще обо всем этом думать. Словно кто-то выстрелил из пушки у нее за спиной, и она ощупывает себя, проверяя, целы ли кости. Три дня назад сюда приехал главный душеприказчик мужа — он был так любезен, что захотел самолично сообщить ей о наследстве. После он рассказывал мне, как она вдруг разрыдалась, когда он обратился к ней с кратким

словом. Капитал, разумеется, остается в банке, но она сможет брать проценты.

Мадам Мерль улыбнулась мудрой, а теперь еще и ласковой улыбкой:

— Какая прелесть! Ну ничего — стоит ей взять их из банка раз-другой, и это войдет у нее в привычку. — Помолчав, она внезапно спросила. — А что думает об этом ваш сын?

— Ральф уехал до того, как вскрыли завещание: он едва держался на ногах от усталости и горя. Он поспешил на юг и сейчас находится на пути в Ривьеру. У меня нет от него известий. Не думаю, чтобы он стал возражать против воли отца, какой бы она ни была.

— Вы, кажется, сказали, что его доля наследства сильно уменьшилась?

— Да, но, несомненно, с его согласия. Я знаю, он просил отца оделить американскую родню. Он вовсе не склонен думать о себе только как о персоне номер один.

— Все зависит от того, кого он считает персоной номер один, — сказала мадам Мерль и, уйдя на миг в свои мысли, опустила глаза. — Надеюсь, я увижу нашу счастливицу? — спросила она наконец, вновь подымая их.

— Разумеется. Только если вы думаете увидеть

Изабеллу счастливой, то напрасно. Все эти три дня у нее не менее скорбный вид, чем у мадонны Чимабуе.[68] — И миссис Тачит позвонила в колокольчик, чтобы послать слугу за племянницей.

Изабелла не заставила себя ждать, и, взглянув на нее, мадам Мерль решила, что сравнение миссис Тачит довольно точное. Девушка была бледна и удручена — и глубокий траур это особенно подчеркивал. Однако, едва она увидела мадам Мерль, лицо ее озарилось счастливейшей улыбкой. Мадам Мерль шагнула навстречу нашей героине, положила ей руку на плечо и, посмотрев в глаза долгим взглядом, поцеловала, словно возвращая тот поцелуй, который получила при отъезде из Гарденкорта. И это был единственный жест, которым гостья — образец безупречного вкуса — позволила себе намекнуть на доставшееся ее юной приятельнице наследство.

Миссис Тачит не видела причин дожидаться в Лондоне продажи дома. Отобрав из мебели то, что надлежало отправить в ее итальянское жилище, она препоручила остальное аукционеру и отбыла на континент. В этом путешествии ее, само собой

---

[68] Примечания: 68

Чимабуе Джованни (1240? — 1302?) — итальянский живописец. Мадонна Чимабуе — «Мадонна на троне» — экспонируется в Галерее Уффици (см. прим. 65).

разумеется, сопровождала племянница, получившая теперь более чем достаточно досуга, дабы измерять, взвешивать или иными возможными способами оценивать упавшее ей с неба богатство, с которым косвенно ее поздравила мадам Мерль. Изабелла много размышляла над переменой в своем положении, рассматривая ее с самых различных сторон, но мы не станем восстанавливать ход ее мыслей или искать объяснений тому, почему на первых порах она чувствовала себя подавленной. Но, если радость пришла к ней не сразу, все же период этот длился недолго: очень скоро она решила, что быть богатой хорошо, богатство давало возможность быть *деятельной,* а это необычайно приятно. Деятельность достойно противостояла никчемной слабости, особенно пресловутой женской слабости. В нежном юном существе слабость скорее благо, но, конечно же, рассуждала Изабелла, существует иная, высшая благодать. Правда, сейчас, после того как она отправила чеки Лили и бедняжке Эдит, ей больше нечего было делать, но Изабелла не сетовала на судьбу за тихие месяцы, которые ввиду ее траура и вдовства тетушки, только что потерявшей мужа, им должно было провести вместе. К открывшимся перед ней возможностям

она относилась очень серьезно, приглядывалась к ним с какой-то трепетной свирепостью, но пользоваться ими не спешила. Первые шаги в этом направлении она сделала только в Париже, куда приехала с тетушкой на несколько недель, и путь, который она избрала, разумеется, оказался крайне банальным. Он и не мог быть другим в городе, чьи магазины вызывают восхищение всего мира, куда ее неумолимо повлекла тетушка, которую в превращении племянницы из золушки в богатую наследницу интересовала прежде всею практическая сторона.

— Ты теперь самостоятельная женщина, изволь же войти в свою новую роль — и играть ее как следует, — заявила она Изабелле самым категорическим тоном, добавив, что первейшая ее обязанность окружать себя только красивыми вещами. — Ты не умеешь с ними обращаться, значит, надобно учиться. — И это была вторая предписанная Изабелле обязанность. Изабелла не возражала, хотя ни то ни другое не воспламеняло ее воображения. Она мечтала обрести большие возможности, но не те, которые сейчас перед ней открывались.

Миссис Тачит не любила менять свои планы, и коль скоро она, еще до смерти мужа, решила

провести часть зимы в Париже, то и не видела оснований лишать себя — тем паче племянницу — такого удовольствия. И хотя они предполагали жить уединенно, это не помешало ей ввести Изабеллу без излишней помпы в небольшой круг соотечественников, обитавших в соседстве Елисейских полей. С доброй половиной членов этой милой американской колонии миссис Тачит состояла в самых близких отношениях, разделяя их жизнь вдали от родины, взгляды, времяпрепровождение и скуку. Изабелла видела, с каким усердием они являлись к тетушке в отель, и осуждала их с беспощадностью, которую следует, по всей вероятности, объяснить ее тогдашним возвышенным представлением о человеческом долге. Она решила, что их существование, при всей окружающей их роскоши, совершенно пусто, и даже навлекла на себя неудовольствие, так как повторяла это каждое воскресенье, когда американские добровольные изгнанники увлеченно навещали друг друга. И хотя ее аудиторию составляли люди, слывшие верхом добродушия у своих поваров и портных, кое-кто все же нашел, что ее умные, по общему приговору, речи не шли ни в какое сравнение с остротами из новых комедий.

— Вы очень мило здесь живете, но куда это вас

приведет? — вздумалось ей однажды спросить. — На мой взгляд — никуда, и, по-моему, такая жизнь непременно должна наскучить.

Миссис Тачит сочла сей вопрос достойным Генриетты Стэкпол, которую наши дамы застали в Париже. Изабелла постоянно встречалась с ней, и миссис Тачит не без основания сказала себе, что, не будь ее племянница достаточно умна, чтобы и не такое измыслить, ее вполне можно было бы заподозрить в подражании своей приятельнице-журналистке, нередко подававшей реплики в этом стиле. Впервые Изабелла заговорила подобным образом в гостях у миссис Льюс, давней приятельницы миссис Тачит и единственной ее парижской знакомой, которой она отдавала визиты. Миссис Льюс жила в Париже со времени Луи Филиппа и, посмеиваясь, любила говорить, что принадлежит к людям 1830-х годов[69] — шутка, смысл которой улавливался далеко не всеми. В таких случаях миссис Льюс поясняла: «О да, я из когорты романтиков»; ей так и не удалось в совершенстве овладеть французским языком.

[69] Примечания: 69

Луи Филипп (1773–1850), король Франции с 1830 по 1848 г., возведенный на трон крупной Финансовой буржуазией, захватившей власть после июльской революции 1830 г. Шутка состоит в том, что «людьми 30-х годов» называли обычно тех, кто сражался на баррикадах за победу республики, тогда как миссис Льюс и ее муж сочувствуют монархии.

Воскресные дни она всегда проводила дома в кругу любезных своих соотечественников, неизменно одних и тех же. Впрочем, будние дни она тоже проводила дома, в этом заполненном подушечками уголке блестящей столицы, где сумела с удивительной точностью воспроизвести атмосферу своей родной Балтиморы. И мистеру Льюсу, ее достойному супругу, высокому сухопарому джентльмену с седоватой прилизанной головой, который носил очки в золотой оправе и сдвигал шляпу на самый затылок, оставалось только ограничиваться чисто платоническими похвалами парижским «рассеяниям», говоря его высоким стилем; впрочем, от каких именно забот они его отвлекали, понять было нелегко. В число занятий мистера Льюса входило ежедневное посещение конторы американского банка, где его интересовала почтовая экспедиция — учреждение столь же общительное и болтливое, как любая почта в любом американском захолустье. Около часа в день (в хорошую погоду) он коротал, посиживая на Елисейских полях, а обедал, и притом отменно, у себя дома, любуясь навощенным полом, которому, как полагала к полному своему удовольствию миссис Льюс, не было равных по блеску во всей французской столице. Иногда он отправлялся

обедать с одним-двумя приятелями в Cafe Anglais, предоставляя им приятную возможность насладиться его талантом составлять меню и вызывать восхищение самого метрдотеля. Других занятий за ним не значилось, но и этих вполне хватало, чтобы услаждать его дни на протяжении полувека и позволять ему без конца и с полным основанием повторять, что в мире нет места лучше, чем Париж. И действительно, в каком другом месте — при тех же условиях — мог бы мистер Льюс считать, что он наслаждается жизнью? Нет, в мире не было места лучше, чем Париж! Однако надобно сознаться, в последнее время мистер Льюс стал менее похвально отзываться об этой арене своих рассеяний. То ли было в прежние дни! Обозревая времяпрепровождение мистера Льюса, нельзя упускать из виду его раздумья на политические темы — источник, несомненно питавший многие его часы, которые поверхностному взгляду могли бы показаться праздными. Подобно многим своим соотечественникам, осевшим в Париже, мистер Льюс был крайним — вернее, безграничным — консерватором и не сочувствовал установившемуся во Франции

режиму.[70] Он не верил в его долговечность и уже который год предрекал ему скорый конец. «Французов надо держать в узде, сэр, держать сильной дланью — под железной пятой», — то и дело повторял он, превознося свергнутую империю как образец подлинной — блистательной и мудрой — власти. «Париж сейчас совсем не тот, что при императоре;[71] вот *он* умел придать городу блеск», — часто сетовал он, беседуя с миссис Тачит, которая, полностью разделяя его мнение, неизменно присовокупляла, что не знает, зачем им было пересекать эту мерзкую Атлантику, если они все равно не избавились от республики.

— Ах, мадам, прежде, когда я сидел на Елисейских полях против Дворца промышленности, я видел вереницы дворцовых карет, которые мчались то в Тюильри,[72] то из Тюильри, не меньше семи раз в день. А однажды даже все девять. А сейчас что я вижу? Да о чем тут говорить — ни широты, ни величия. Наполеон знал, что нужно

---

[70] Примечания: 70

Речь идет о Третьей республике

[71] Примечания: 71

Имеется в виду Луи Наполеон Бонапарт, император Франции с 1852 по 1870 г.

[72] Примечания: 72

Тюильри — королевский дворец в Париже, служивший резиденцией Наполеона III

французам, и пока они опять не установят империю, над Парижем, над *нашим* Парижем, будет висеть темная туча.

Среди тех, кто по воскресеньям посещал миссис Льюс, Изабелла встретила молодого человека и часто удостаивала его беседы, находя в нем кладезь весьма полезных сведений. Эдвард Розьер — Нед Розьер, как все его звали, — родился в Нью-Йорке, но вырос в Париже под неусыпным оком отца, который, как оказалось, был давнишним и близким другом покойного мистера Арчера. Эдвард Розьер помнил Изабеллу девочкой: не кто иной, как его отец пришел на помощь трем маленьким мисс Арчер в Невшательской гостинице (он случайно остановился там со своим сынишкой, оказавшись проездом в этом городе), когда их бонна исчезла с русским князем, а отец уже несколько дней находился неведомо где. Изабелла хорошо помнила изящного мальчика, чьи волосы сладко пахли помадой и чьей бонне, приставленной к нему, было строго-настрого приказано ни под каким видом не оставлять его одного. Изабелла пошла с ними на озеро и, глядя на Эдварда, решила, что он красив, словно ангел, — сравнение, как ей тогда казалось, не банальное, ибо, точно представляя себе, какими

должны быть ангельские черты, она воочию увидела их в своем новом приятеле. И еще много лет спустя розовое личико, увенчанное синим бархатным беретом, над крахмальным расшитым воротничком оставалось для нее предметом ее детских мечтаний, и она твердо верила, что и небожители объясняются друг с другом на таком же странном диалекте — смеси французского с английским — и изрекают такие же похвальные истины, как маленький Эдвард, сообщивший ей, что бонна ограждает его подходить к краю озера» и что бонну всегда надо слушаться. С тех пор Нед Розьер научился лучше говорить по-английски; во всяком случае, в его речи поубавилось французских выражений. Отец его умер, бонну рассчитали, но он остался верен духу их поучений и никогда не подходил к краю озера. В окружавшей его атмосфере что-то по-прежнему ласкало ноздри, не уязвляя, однако, и другие более важные органы чувств. Он был милый изящный юноша с изысканными, по общему мнению, вкусами: понимал толк в старинном фарфоре, хороших винах, книжных переплетах, листал «Almanach

de Gotha»,[73] а также знал лучшие магазины, лучшие отели и расписание поездов. По части умения заказать обед молодой Розьер не уступал, пожалуй, самому мистеру Льюсу и подавал надежды, что с годами и опытом станет достойным преемником этого джентльмена, чьи суровые политические прогнозы он охотно повторял своим нежным невинным голосом. В Париже он занимал прелестные апартаменты, украшенные старинным испанским кружевом, которое некогда плели для алтарей, — предмет зависти его приятельниц, уверявших, что каминная полка в его гостиной убрана богаче, чем плечи иных герцогинь. Тем не менее часть зимы он обычно проводил в По, и однажды даже отправился на несколько месяцев в Соединенные Штаты.

К Изабелле он отнесся с живым интересом и в мельчайших подробностях вспомнил прогулку в Невшатале, когда она во что бы то ни стало хотела подойти к самому краю озера. В ее язвительном вопросе, процитированном выше, ему послышались отголоски все той же направленности ума,

---

[73] Примечания: 73

«Almanach de Gotha» — генеалогический и дипломатический ежегодник, издаваемый на французском и немецком языках; помещал сведения о членах всех королевских фамилий, а также государственных и политических деятелей.

и он взял на себя труд ответить нашей героине с учтивостью, которую та вряд ли заслуживала:

— Куда это ведет, мисс Арчер? Все пути начинаются в Париже. Вы никуда не попадете, если вздумаете миновать Париж. Все, приезжающие в Европу, должны сначала посетить Париж. Ах, вы не это имели в виду? Вы хотите знать, какая польза человеку от такой жизни? Но кому же дано заглядывать в будущее? Кто может предсказать, что ждет впереди? Была бы дорога приятна, а куда она ведет — не все ли равно. Мне эта дорога нравится, мисс Арчер, я люблю милый старый асфальт. И наскучить он не может при всем вашем желании. Это только сейчас вам так кажется, а на самом деле вас всегда ждет здесь что-то новое и свежее. Возьмите хотя бы отель Друо — там по три, а то и по четыре распродажи на неделе. Где еще вы купите такие славные вещицы? И дешевые — что бы там ни говорили. Да-да, дешевые, я это утверждаю, надо только знать, где покупать. Я знаю несколько превосходнейших лавок, но приберегаю их для себя. Впрочем, для вас, если хотите, я готов сделать исключение — я вам их покажу, только с условием — не говорить никому другому. И, пожалуйста, не ходите никуда, не посоветовавшись прежде со мной. Старайтесь

избегать Бульваров — право, там нечего делать. По чести говоря — sans blague,[74] — вы вряд ли найдете человека, который знал бы Париж, как я. Вам с миссис Тачит непременно надо как-нибудь позавтракать у меня — я покажу вам, какие у меня есть вещицы; je ne vous dis que ça![75] Тут последнее время все кричат — Лондон, Лондон! Нынче модно превозносить Лондон. А что Лондон? Что в нем есть? Ничего в стиле Людовика XV[76] — нет даже ампира, всюду эти скучные вещи времен королевы Анны.[77] Ну, они еще годятся для спальни или, может быть, для ванной комнаты, но уж никак не для вашего salon.[78] Провожу ли я все свое время на распродажах? Вовсе нет, — продолжал мистер Розьер, отвечая на очередной вопрос Изабеллы, — у меня нет

---

[74] Примечания: 74

кроме шуток (фр).

[75] Примечания: 75

больше я ничего не скажу! *(фр.).*

[76] Примечания: 76

Людовик XV (1710–1774) — французский король с 1715 по 1774 г. На период его правления падает расцвет пластических и декоративных искусств стиля рококо.

[77] Примечания: 77

Анна Стюарт (1665–1714), королева Великобритании и Ирландии с 1702 по 1714 г.

[78] Примечания: 78

гостиная *(фр.).*

таких средств. К сожалению, нет. Вы определили меня в вертопрахи — вижу, вижу по выражению вашего лица, у вас на редкость выразительное лицо. Надеюсь, вы не станете досадовать на меня за мою откровенность — надо же вас предостеречь. Вы полагаете, я должен что-то делать, и я совершенно с вами согласен: что-то делать нужно. Непонятно только, что именно. Я не могу вернуться домой и стать лавочником. Вы считаете, у меня это получится? Ах, мисс Арчер, вы меня переоцениваете. Покупать я умею превосходно, но продавать — это не по моей части. Посмотрели бы вы на меня, когда я иногда пытаюсь избавиться от лишних вещей. Не так-то просто с толком покупать, но во много раз труднее заставить покупать других. Сколько ума и ловкости требуется продавцу, чтобы заставить меня у него что-нибудь купить! Ах нет, я не гожусь в лавочники, и в доктора тоже — преотвратительное занятие. И в священники не гожусь; во мне нет истовой веры. К тому же мне в жизни не выговорить всех этих библейских имен. Они невероятно трудны, особенно имена из Ветхого завета. В адвокаты я не гожусь — я не способен разобраться в этом — как

его там — американском procedure.[79] Какие там еще есть занятия? Нет, в Америке нет занятий для джентльмена. Я охотно бы стал дипломатом, но американская дипломатия — это тоже не для джентльмена. Уверен, если бы вы видели их предыдущего послан…

На этом месте его обычно прерывала Генриетта Стэкпол, которую мистер Розьер нередко заставал у Изабеллы по вечерам, когда являлся засвидетельствовать ей почтение и изложить свои мысли в манере, представленной выше, — прерывала и угощала краткой лекцией о долге американского гражданина. Она считала его чем-то противоестественным — хуже Ральфа Тачита. Правда, в эту зиму Генриетта, очень обеспокоенная судьбой подруги, была особенно критически настроена. Она не поздравила Изабеллу с новообретенным богатством, заявив, что поздравлять ее не с чем.

— Если бы мистер Тачит посоветовался со мной, — откровенно заявила она, — я бы сказала ему: «Ни в коем случае».

— Вот как! — отвечала Изабелла. — Ты считаешь, деньги таят в себе проклятье. Что ж, очень

---

[79] Примечания: 79
Зд. судопроизводство *(фр.).*

может быть.

— Оставьте их тому, кто менее вам дорог — вот что я сказала бы.

— Например, тебе? — шутливо заметила Изабелла и тут же спросила: — Ты всерьез полагаешь, что эти деньги погубят меня? — задав этот вопрос совсем иным тоном.

— Надеюсь, не погубят, но, несомненно, помогут развиться твоим опасным наклонностям.

— Любви к роскоши, ты хочешь сказать, — к расточительству?

— Нет, нет, — возразила Генриетта, — я имею в виду нравственную сторону. Любовь к роскоши — это только хорошо: мы, американки, должны выглядеть как можно элегантнее. Вспомни наши западные города — разве что-нибудь здесь может сравниться с ними по роскоши! Надеюсь, ты никогда не станешь гоняться за пошлыми удовольствиями, да к тому же этого я не страшусь. Твоя погибель в том, что ты слишком отдаешься миру своей мечты и слишком мало соприкасаешься с действительной жизнью — с ее трудом, борьбой, страданиями и, не побоюсь сказать этого, — с грязью, с подлинной жизнью вокруг тебя. Ты слишком привередлива и строишь себе слишком много красивых иллюзий. Эти тысячи,

которые вдруг свалились на тебя, только еще больше свяжут тебя с узким кругом эгоистических, бессердечных людей, заинтересованных в росте твоих капиталов.

Изабелла расширившимися глазами мысленно взирала на эту зловещую картину.

— Какие же иллюзии я себе строю? — спросила она. — Я всеми силами стараюсь уберечься от них.

— Изволь, — сказала Генриетта. — Ты воображаешь, что можешь жить романтической жизнью, доставляя удовольствие себе и другим. Ты увидишь, что ошибаешься. Какую бы жизнь ты ни вела, чтобы прожить ее не зря, надо вложить в нее душу — а как только ты встанешь на этот путь, она утратит всю свою романтичность и станет, поверь мне, жестокой реальностью. И еще — нельзя всегда доставлять себе удовольствие, иногда приходится доставлять его другим. К этому, я знаю, ты вполне готова, но существует и обратная сторона, более важная, — часто приходится делать то, что вызывает неудовольствие. К этому тоже надо быть готовой и не бояться нанести удар. А вот это тебе как раз претит — ты слишком любишь нравиться, вызывать восхищение. Ты воображаешь, что можно из-

бежать неприятных обязанностей, смотря на жизнь романтическим взглядом, но это иллюзия, это невозможно. Надо быть готовой во многих случаях делать то, что никому не доставляет удовольствия — даже тебе самой.

Изабелла с грустью покачала головой; в глазах ее выразились смятение и тревога.

— И сегодня тебе как раз предоставился такой случай, Генриетта! — сказала она.

Справедливость требует заметить, что мисс Стэкпол, для которой посещение Парижа оказалось, с профессиональной точки зрения, намного удачнее пребывания в Англии, жила вовсе не в мире мечты. Первые четыре недели в столице Франции она провела в обществе мистера Бентлинга, а мистер Бентлинг вовсе не принадлежал к числу мечтателей. Из слов подруги Изабелла узнала, что эти двое почти не разлучались — к вящей пользе Генриетты, поскольку партнер ее, ныне вернувшийся в Англию, превосходно знал Париж. Он все ей разъяснял, все показывал, безотказно исполняя при ней обязанности гида и переводчика. Они вместе завтракали, вместе обедали, вместе ходили в театр, вместе ужинали — словом, можно сказать, жили почти совместной жизнью. Он оказался подлинным другом,

неоднократно уверяла нашу героиню Генриетта; до знакомства с ним она не поверила бы, что англичанин может так прийтись ей по душе. Почему-то, хотя Изабелла затруднилась бы сказать почему, союз корреспондентки «Интервьюера» и братца леди Пензл настраивал нашу героиню на веселый лад, а при мысли, что союз этот характеризует каждого из них по достоинству, ей становилось еще веселей. Она не могла избавиться от ощущения, что они, сами того не сознавая, водят друг друга за нос, попавшись в ловушку собственного простодушия. При этом простодушие каждой стороны было самое искреннее. Генриетта чистосердечно верила, будто мистера Бентлинга волнует создание здоровой прессы и упрочение в ней представительниц женского пола, а ее кавалер не менее искренне полагал, что эти самые корреспонденции в «Интервьюере», о котором он так и не составил себе определенного мнения, если хорошенько подумать (что мистер Бентлинг считал вполне себе по силам), существовали единственно для того, чтобы мисс Стэкпол могла изливать в них свои бурные чувства. При всей своей непроницательности каждый из этих не связанных браком людей по крайней мере восполнял в жизни другого пробел, которым тот

тяготился. Мистер Бентлинг, с его медлительностью и осмотрительностью, был в восторге от быстрой, неугомонной, решительной женщины, покорившей его сияющим смелостью взором и какой-то первозданной свежестью, — женщины, сумевшей подбавить перцу в ту умственную пищу, которая давно уже казалась ему совершенно безвкусной. С другой стороны, Генриетта наслаждалась обществом джентльмена, который каким-то образом в результате сложного, дорогостоящего, прямо-таки фантастического процесса оказался словно специально для нее созданным и чья праздность, в целом, несомненно, предосудительная, была просто находкой для его занятой по горло спутницы, поскольку из него так и сыпались ясные, общедоступные, хотя отнюдь не исчерпывающие, ответы на все возникавшие у нее вопросы касательно общественной и частной жизни. Эти ответы нередко били в самую точку, и, торопясь с отправкой корреспонденции, она не раз подробно и эффектно излагала их читающей публике. Уж не несло ли Генриетту в бездну, в ту самую бездну, от которой Изабелла, добродушно обороняясь, однажды предостерегала ее? Такая опасность могла грозить Изабелле, но не мисс Стэкпол — вот уж о ком вряд ли можно

было подумать, что она согласится раз и навсегда успокоиться, переняв взгляды класса, над которым тяготели все грехи прошлого. Однако Изабелла продолжала добродушно предостерегать приятельницу, и имя любезного брата леди Пензл, сделавшись предметом непочтительных и ве. селых намеков, нет-нет да слетало у нее с языка. Но в этом вопросе кротости Генриетты не было предела: она беззлобно принимала иронию Изабеллы и с удовольствием вспоминала о часах, проведенных^ в обществе этого идеала светского человека, — выражение «светский человек», не в пример прежним временам, теперь вовсе не звучало в ее устах бранным словом. А несколько мгновений спустя она уже совсем не в шутку, а всерьез увлеченно рассказывала о своей очередной приятнейшей поездке с этим джентльменом.

— О, Версаль теперь я знаю как свои пять пальцев, я была там с мистером Бентлингом и осмотрела все самым основательным образом. Когда мы еще только собирались ехать туда, я предупредила его, что люблю во всем основательность; мы остановились в гостинице на три дня и обошли решительно все. Стояла прекрасная погода — настоящее бабье лето, только не такое

теплое. Мы просто не покидали парка. О да, Версалем меня теперь не удивишь!

По всей видимости, Генриетта договорилась со своим любезным спутником, что весной они встретятся в Италии.

21

В середине февраля миссис Тачит, которая еще до прибытия в Париж назначила день отъезда из этого города, снялась с места и отправилась на юг. Она прервала путешествие, чтобы навестить сына в Сан-Ремо на итальянском побережье Средиземного моря, где под колышущимся белым зонтом он как мог коротал унылую, хотя и солнечную зиму. Изабелла, само собой разумеется, поехала вместе с теткой, хотя та со свойственной ей неоспоримой логикой предложила ей и другие возможности.

— Ты теперь сама себе госпожа и свободна, как птица в небе. Свободы твоей не стесняли и прежде, но сейчас у тебя другая основа — собственность служит своего рода защитой. Богатый человек может позволить себе многое такое, за что сурово осудили бы бедняка. Ты можешь приходить и уходить когда угодно, путешествовать одна, жить собственным домом — при условии, конечно, что обзаведешься компаньонкой — какой-нибудь обнищавшей дамой с крашеными буклями и в штопаной кашемировой шали,

умеющей рисовать по бархату. Что? Тебе это не нравится? Разумеется, ты можешь поступать, как тебе угодно; я только хочу указать тебе пределы твоей свободы. Можешь пригласить в dame de compagnie[80] мисс Стэкпол — она кого хочешь от тебя отвадит. И все же, мне думается, лучше всего тебе остаться со мной, хотя ты и не обязана это делать. Так будет лучше по ряду причин, безотносительно к тому, нравится тебе это или нет. Я далека от мысли, что тебе так уж нравится быть со мной, но советую принести эту жертву. Разумеется, та новизна, которая делала мое общество интересным поначалу, уже иссякла, и ты видишь меня такой, какая я есть, — скучной, упрямой и ограниченной старухой.

— Только не скучной, — отвечала Изабелла.

— Но упрямой и ограниченной! Так ведь? А я что говорю! — воскликнула миссис Тачит, весьма довольная тем, что доказала свою правоту.

Изабелла решила пока остаться с теткой: при всех своих эксцентрических порывах она отнюдь не пренебрегала соблюдением общепринятых приличий, а девушка из хорошей семьи, но без единого имеющегося в наличии родственника

---

[80] Примечания: 80
компаньонка *(фр.).*

всегда представлялась ей цветком на лишенном зелени стебле. Что и говорить, речи миссис Тачит не казались уже ей столь блестящими, как в тот первый вечер в Олбани, когда, сидя перед ней в своей мокрой от дождя накидке, она расписывала, какие возможности открываются в Европе молодой особе со вкусом. Но тут нашей героине приходилось пенять лишь на себя: едва приобщившись к опыту миссис Тачит, Изабелла, с ее живым воображением, стала легко предугадывать суждения и чувства своей тетушки, почти не наделенной этим качеством. Зато миссис Тачит обладала другим великим достоинством — она была точна, как хронометр. Ее педантичность и неизменность привычек были удобны окружающим, всегда знавшим, где ее найти, и не опасавшимся случайных встреч и непредвиденных столкновений. Миссис Тачит была превосходно осведомлена обо всем, что касалось ее владений, и не слишком интересовалась тем, что творится во владениях соседей. И все же мало-помалу в душе Изабеллы зарождалось скрытое чувство жалости к тетке: было что-то унылое в существовании женщины, чья натура располагала столь ограниченной открытой поверхностью, оставляла так мало места для

приумножения человеческих привязанностей. Ничто нежное, ничто ласковое — будь то занесенное ветром семя цветка или старый добрый мох — не могло тут укрепиться. Другими словами, ее наружная, обращенная к людям грань была не шире бритвенного лезвия. И все-таки Изабелла имела основание полагать, что с годами тетушка все чаще уступала побуждениям, отнюдь не вызванным соображениями собственного удобства, — значительно чаще, чем сама в том признавалась. Она научилась жертвовать последовательностью во имя соображений более низменного порядка, если извинением тому служили особые обстоятельства. Она отправилась во Флоренцию кружным путем, только чтобы провести несколько недель со своим больным сыном, и уже этот факт свидетельствовал о ее измене обычной своей прямолинейности: прежде она твердо стояла на том, что, если Ральфу угодно ее видеть, он волен вспомнить о просторных апартаментах в палаццо Кресчентини, именуемых покоями синьорино.

— Мне хотелось бы задать вам один вопрос, — сказала Изабелла упомянутому молодому человеку день спустя после прибытия в Сан-Ремо. — Я не раз собиралась задать его вам в письме, но у

меня не хватало духу. А вот здесь, с глазу на глаз, спросить много легче. Скажите, вы знали, что ваш отец намерен оставить мне так много денег?

Ральф вытянул ноги еще дальше обычного и еще упорнее вперил глаза в гладь Средиземного моря.

— Какое это сейчас имеет значение, знал я или не знал? Мой отец, дорогая Изабелла, был очень упрям.

— Стало быть, знали, — сказала Изабелла.

— Да, он говорил мне. Мы с ним даже обсуждали какие-то мелочи.

Почему он это сделал? — быстро спросила Изабелла.

— В знак признания.

— Признания чего?

— Того, что вы существуете и что это прекрасно.

— Он чересчур меня любил, — возразила Изабелла.

— Так же, как и мы все.

— Если бы я думала, что это так, мне было бы очень не по себе. К счастью, я так не думаю. Я хочу, чтобы ко мне относились по справедливости — как я того стою, не лучше и не хуже.

— Отлично. Но учтите, что прелестное суще-

ство как раз и стоит высоких чувств.

— Я вовсе не прелестное существо. Как вы можете называть меня прелестной, когда я задаю вам такие отвратительные вопросы? Вы, верно, считаете, что я очень бестактна.

— Я считаю, что вы встревожены, — сказал Ральф.

— Да, встревожена.

— Но чем?

Она помолчала, потом сказала с жаром:

— Вы думаете, хорошо, что я вдруг стала богата? Генриетта говорит, что это плохо.

— Да пропади она пропадом, ваша Генриетта, — рассердился Ральф. — А вот я этому только рад.

— Не для того ли ваш батюшка и завещал мне эти деньги — чтобы доставить вам удовольствие?

— Я не согласен с мисс Стэкпол, — сказал Ральф, переходя на серьезный тон. — По-моему, очень хорошо, что у вас появились средства.

Изабелла внимательно посмотрела на него:

— Не знаю, в какой мере вы понимаете, что хорошо для меня, и в какой мере это вас волнует.

— Думаю, что понимаю, и можете быть уверены — волнует. Знаете, что для вас безусловно хорошо? Перестать мучить себя.

— Вы, видимо, хотите сказать — перестать мучить вас?

— А меня вы и не мучаете — тут я застрахован. Смотрите на вещи проще. Перестаньте без конца себя спрашивать, что для вас хорошо, а что плохо. Не терзайте вашу совесть — она станет звучать не в лад, как расстроенное фортепьяно. Поберегите ее для действительно серьезных случаев. И не старайтесь все время закалять свой характер — это все равно, что стараться до времени раскрыть плотный нежный бутон розы. Живите в полную силу, и ваш характер сложится сам собой. Для вас все хорошо — за редкими исключениями, — и порядочное состояние отнюдь не входит в их число. — Ральф остановился, улыбаясь Изабелле, которая слушала его, стараясь не проронить ни слова. — Вы слишком любите ломать себе голову, — продолжал он, — и слишком часто спрашиваете свою совесть. Уму непостижимо, чего только вы ни считаете предосудительным. Не сверяйте вашу жизнь по часам. Вы вечно в лихорадке. Расправьте крылья, подымитесь над землей. Это отнюдь не предосудительно — напротив.

Изабелла, как я уже сказал, слушала его очень сосредоточенно; она от природы все схватывала

на лету.

— Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что сейчас говорите. Ведь вы берете на себя огромную ответственность.

— Вот как? Вы меня пугаете. И все же, мне думается, я прав, — сказал Ральф все в том же шутливом тоне.

— Впрочем, все равно: то, что вы сказали, очень верно, — продолжала Изабелла. — Вернее и не скажешь. Я и в самом деле слишком поглощена собой — смотрю на жизнь, как на прописанный врачом рецепт. А почему, собственно, мы должны все время думать о том, что для нас полезно и что вредно, словно больные в лечебнице? Зачем мне бояться, правильно ли я поступаю? Словно мир перевернется от того, хорошо я поступаю или дурно.

— Вам стоит давать советы, — сказал Ральф. — Вы тут же обрезаете крылья *мне.*

Она взглянула на него, словно не слыша, словно всматриваясь в течение собственных мыслей, которым он же дал ход.

— Я пытаюсь думать о мире, а не только о собственной персоне, но все равно возвращаюсь к мыслям о себе. Потому что боюсь. — Она помолчала и продолжала чуть прерывающимся

голосом. — Даже сказать вам не могу, как я боюсь. Большое состояние — это свобода, а я боюсь ее. Это такая драгоценность, и надо суметь разумно распорядиться ею. Будет очень стыдно не суметь! Тут нужно думать и думать, постоянно делать усилия. Не знаю, может быть, куда большее счастье, когда у нас нет возможностей.

— Для человека слабого — несомненно. Надо много усилий, чтобы стать достойным больших возможностей, — а слабому это вряд ли по плечу.

— А почему вы решили, что я не слабая? — спросила Изабелла.

— Если это так, — отвечал Ральф, и Изабелла заметила, что он покраснел, — то я жестоко просчитался.

Знакомство со Средиземноморским побережьем только увеличило его очарование для нашей героини: это был порог Италии, ворота в царство восторгов. Италия, пока все еще недосягаемая для взора и чувств, лежала перед ней страной обетованной, страной, где любовь к прекрасному можно было утолить из неисчерпаемого источника знания. Фланируя по берегу моря с кузеном, которого она сопровождала в его ежедневных прогулках. Изабелла жадно вглядывалась в морскую даль, туда, где, как она знала,

находилась Генуя. И все же она была рада, что ей пришлось остановиться в преддверии огромных открытий: затянувшееся ожидание наполняло ее таким счастливым волнением! Более того, эта остановка казалась ей затишьем, мирной интерлюдией перед тем, как грянут трубы и зазвучат барабаны предстоящей ей жизни, которую она пока не смела считать захватывающей, хотя не переставала рисовать себе в свете своих надежд, страхов, иллюзий, честолюбивых помыслов и желаний, наполнявших драматическим трепетом ее настоящее. Как и предсказала мадам Мерль в разговоре с миссис Тачит, Изабелла, опустив раздругой руку в карман, примирилась с мыслью, что он наполнен сверхщедрым дядюшкой, к ее поведение только подтвердило, как уже неоднократно случалось, прозорливость упомянутой леди. Ральф Тачит похвалил кузину за восприимчивость, т. е. за то, что она не заставила его повторять дважды намек, содержавший добрый совет. Этот совет, возможно, сыграл решающую роль; во всяком случае, когда пришло время покинуть Сан-Ремо, Изабелла уже привыкла чувствовать себя богатой. Новое ощущение нашло достойное место в тесном кругу ее прочих, не слишком многочисленных, представлений о

себе, оказавшись весьма и весьма ей приятным. С ним как нечто само собой разумеющееся связывались тысячи благих намерений. Изабелла терялась от множества обступивших ее видений; добрые дела, которые она — богатая, независимая, великодушная, с самым гуманным взглядом на мир и свои обязанности в нем — совершит, были все как на подбор возвышенны и прекрасны. Богатство поэтому стало казаться ей частью того лучшего, что в ней было: оно сообщало ей значительность и даже — в ее собственных глазах — наделяло высшей красотой. Чем оно делало ее в глазах окружающих — иной вопрос, о котором мы поговорим в свое время. Видения, о которых я только что упомянул, перемежались с другими. Изабелла больше любила думать о будущем, чем вспоминать прошлое, но иногда, под рокот средиземноморских волн, ее мысленный взор обращался вспять, останавливаясь на двух фигурах, которые, несмотря на все увеличивающееся между нею и ими расстояние, оставались достаточно выпуклыми. В них нетрудно было узнать Каспара Гудвуда и Уорбертона. Поразительно, как быстро эти два столь ярких образа отошли в жизни нашей юной леди на задний план. Но такова была ее природа: все, что исчезало из ее

поля зрения, переставало для нее существовать; в случае нужды она умела, приложив усилия, оживить в памяти любые образы прошлого, но эти усилия тяготили ее, даже когда воспоминания были ей милы. Прошлое слишком часто выглядело мертвым, и его образы выступали в свинцовом свете судного дня. К тому же она отнюдь не была уверена, что продолжает жить в памяти других людей, — не так уж она самонадеянна, чтобы полагать, будто оставила там неизгладимый след! Известие о том, что она забыта, конечно, причинило бы ей боль; но из всех существующих прав самым сладостным она считала право забывать. Ни с Каспаром Гудвудом, ни с лордом Уорбертоном она, говоря языком сентиментальных романов, не делилась последним куском хлеба, тем не менее по ее внутреннему убеждению они оба были у нее в долгу. Конечно, она помнила о намерении Каспара Гудвуда явиться к ней вновь, но это должно было произойти лишь через полтора года, а за такой срок чего только не могло случиться. Нет, она вовсе не думала, что ее американский поклонник может встретить другую девушку, которая окажется к нему более благосклонной; хотя многие другие девушки, без сомнения, приняли бы его ухаживания, Изабел-

ла и в мыслях не держала, что это могло бы его прельстить. Зато ей приходило в голову, что сама она отнюдь не застрахована от превратностей судьбы и что праздник, где Каспару не было места, может внезапно оборваться (хотя пока этому празднику, казалось, не видно конца) и тогда она найдет опору в тех самых чертах Гудвуда, в которых сегодня видит помеху своему вольному движению вперед. Вполне возможно, настанет такой день, когда эта помеха окажется для нее скрытой благодатью — удобной тихой гаванью, оберегаемой несокрушимым гранитным молом. Но всему свой черед, и она не могла сидеть сложа руки в ожидании этого дня. Что касается лорда Уорбертона, то при всей его благородной скромности и усмиренной воспитанием гордыни она никак не могла рассчитывать, что остаток своей жизни он проведет в мыслях о ней. Она сама решительно постаралась стереть все следы того, что между ними произошло, и полагала в высшей степени справедливым соответствующие усилия и с его стороны. Это не было, как может показаться, лишь иронической фразой. Изабелла искренне считала, что его светлость сумеет, как говорится, утешиться в своем разочаровании. Он действительно был очень увлечен ею — в этом

она не сомневалась и все еще находила удовольствие в сознании такой победы, — но нелепо было полагать, что столь разумный и щедро наделенный судьбой джентльмен станет растравлять легко рубцующуюся рану. К тому же, говорила себе Изабелла, англичане ставят превыше всего душевный покой, а какой же душевный покой ждет лорда Уорбертона, если с течением времени он не перестанет думать о самонадеянной молодой американке, случайно встретившейся на его пути. Изабелла льстила себя надеждой, что, когда не сегодня, так завтра ей сообщат о женитьбе лорда Уорбертона на какой-нибудь его соотечественнице, приложившей некоторые усилия, дабы заслужить эту честь, известие это не вызовет у нее даже удивления. Его женитьба только показала бы, что он знает, насколько она непоколебима, — а именно такой она и хотела выглядеть в его глазах. Этого было бы достаточно, чтобы удовлетворить ее гордость.

22

В самом начале мая, полгода спустя после смерти старого мистера Тачита, небольшая, хорошо скомпонованная, как сказал бы художник, группа разместилась в одной из комнат старинной виллы, стоящей на вершине покрытого оливами холма у Римских ворот при въезде во Флоренцию. Вилла эта была вытянутым, почти слепым строением под излюбленной тосканцами нависающей крышей; если глядеть издали, такие крыши вместе со стройными, темными, резко очерченными кипарисами, которые растут подле них купами по три-четыре дерева в каждой, образуют на холмах, окружающих Флоренцию, идеальные прямоугольники. Фасадом дом выходил на небольшую зеленеющую травой и пустынную, как в деревне, площадь, занимавшую почти всю вершину холма; и этот фасад с редкими, неровно расположенными окнами и каменной, тянувшейся вдоль цоколя скамьей, служившей местом отдыха то тому, то другому жителю здешних мест, неизменно восседавшему на ней с тем благородным выражением непризнанного величия,

которое неведомо почему, но в той или иной мере всегда присуще итальянцу, погрузившемуся в состояние полного покоя, — этот многовековой, добротный, состарившийся, но все еще внушительный фасад имел какой-то нелюдимый вид. То было не лицо дома, а маска, безглазая, но с тяжелыми веками. На самом же деле дом смотрел в другую сторону — смотрел назад, на великолепные, залитые полуденным солнцем просторы. С этой стороны вилла нависала над склоном холма и узкой речной долиной Арно, игравшей сквозь дымку всеми своими итальянскими красками. К дому примыкал разбитый на длинной террасе сад, где буйно цвели одичавшие розы да стояло несколько поросших мхом каменных скамей, нагретых солнцем. Террасу окружал невысокий, в полчеловеческого роста парапет над склоном, утопавшим в оливковых рощах и виноградниках. Однако нам сейчас нет дела до внешнего облика дома; этим ярким утром в разгар весны обитатели виллы с полным основанием предпочитали оставаться в ее прохладных стенах. Со стороны площади окна цокольного этажа благодаря своим строгим пропорциям выглядели необычайно живописно, однако они, казалось, были предназначены не столько для

того, чтобы смотреть сквозь них на мир, сколько для того, чтобы мир не мог заглядывать внутрь. Прикрытые массивными крестообразными решетками, они были подняты на такую высоту, что любопытство — даже приподнявшись на цыпочки — иссякало, не успев до них дотянуться. В комнате, куда свет проникал через три таких сторожевых щели, расположенных в ряд, — одной из многих, ибо вилла была разделена на несколько апартаментов, населенных преимущественно разномастными иностранцами, осевшими во Флоренции, — находился некий джентльмен в обществе очень молоденькой девушки и двух почтенных монахинь одного из религиозных орденов. Несмотря на все сказанное нами выше, комната эта не казалась мрачной: широкая и высокая дверь, ведущая в запущенный сад, была распахнута настежь, да и зарешеченные окна все же пропускали достаточно итальянского солнца. Более того, все здесь производило впечатление уюта, даже роскоши — и тщательно продуманная обстановка, и как бы выставленные напоказ украшения: те занавеси из выцветшей камки и шпалеры, те резные рундуки и шкатулки из отполированного временем дуба, те образцы угловатого искусства художников-примитивистов

в таких же строгих старинных рамах, те странного вида средневековые реликвии из бронзы и керамики, многовековые запасы которых все еще не исчерпаны в Италии. Эти предметы соседствовали с вполне современной мебелью, изготовленной по вкусу праздного поколения: отметим, что кресла были глубокие, с очень мягкими сиденьями, а значительное пространство занимал письменный стол отменной работы, которая несла на себе печать Лондона и девятнадцатого века. В комнате было много книг, газет и журналов, а также несколько маленьких, не совсем обычных, тщательно выписанных, преимущественно акварелью, картин. Одно из таких творений стояло на небольшом мольберте, перед которым сейчас — как раз, когда пришла пора заняться ею, — сидела молоденькая девушка, упомянутая мною выше. Она молча смотрела на картину.

Трое старших не то что бы хранили молчание — полное молчание, но и разговор между ними шел как-то спотыкаясь. Монахини сидели на краешке стула; позы их выдавали крайнюю сдержанность, лица настороженно застыли. Обе они были некрасивые расплывшиеся женщины с мягкими чертами и своего рода деловитой скромностью,

которую еще больше подчеркивало невыразительное одеяние из накрахмаленного полотна и саржи, стоявшее на них торчком. Одна из них, особа неопределенного возраста, со свежими налитыми щеками, вела себя более уверенно, чем ее сестра во Христе, и, очевидно несла большую долю ответственности за порученное им дело, явно касавшееся молоденькой девушки. Виновница их озабоченности сидела в шляпке — украшении крайне простом и вполне соответствующем ее незамысловатому муслиновому платьицу, которое было ей не по возрасту коротко, хотя его, по всей видимости, уже однажды «выпускали». Джентльмен, который, судя по всему, старался занять монахинь беседой, несомненно понимал, насколько это трудная обязанность, ибо говорить с самыми смиренными мира сего так же трудно, как и с самыми сильными. Вместе с тем его внимание было явственно отдано их подопечной, и, когда она повернулась к нему спиной, он задумчиво окинул взглядом ее стройную фигурку. Ему было лет сорок, густые, коротко подстриженные волосы на яйцевидной, но красивых пропорций голове уже начали седеть. Единственным недостатком этого узкого, точеного, холодно-спокойного лица была некоторая преувеличенность

перечисленных черт, в чем немалую роль играла бородка, подстриженная, как на портретах XVI века. Эта бородка вкупе со светлыми, романтического вида усами, закрученными кверху, придавала ему характерный вид иностранца, изобличала в нем человека, понимавшего, что такое стиль. Однако пытливые, пронзительные глаза — глаза одновременно отсутствующие и внимательные, умные и жесткие, которые в равной мере могли принадлежать и мечтателю, и мыслителю, — говорили о том, что поиски стиля занимают его лишь в известных, поставленных им самим пределах и что в этих пределах он умел добиваться того, что хотел. Какого он рода и племени, вы затруднились бы сказать: он не обладал ни одной из тех отличительных черт, которые делают ответ на этот вопрос до скучного простым. Если в жилах его текла английская кровь, то скорее всего не без примеси итальянской или французской; впрочем, этот отличной чеканки золотой не носил на себе ни изображения, ни эмблемы, отмечающей ходовую монету, выпущенную для всеобщего употребления; он был безукоризненно изящной медалью, отлитой ради особого случая. Легкий, сухощавый, неторопливый в движениях, не слишком высокий,

но и не приземистый, он был одет, как одевается человек, заботящийся только о том, чтобы не носить вульгарных вещей.

— Ну, что скажешь, моя дорогая? — спросил он девочку.

Он говорил по-итальянски, и говорил на этом языке совершенно свободно, однако мы вряд ли приняли бы его за итальянца.

Девочка степенно повернула головку сначала вправо, потом влево.

— Очень красиво, папа. Ты это сам нарисовал?

— Конечно, сам. Ты полагаешь, я на это не способен?

— Нет, папа, ты очень способный. Я тоже умею рисовать картины.

Она повернула к нему маленькое нежное личико с застывшей на нем необыкновенно светлой улыбкой.

— Жаль, что ты не привезла с собой образцов своего мастерства.

— Я привезла, и даже много. Они в моем сундучке.

— Она очень, очень изрядно рисует, — вставила старшая монахиня по-французски.

— Рад это слышать. А кто давал ей уроки? Вы, сестра?

— О нет, — сказала сестра Катрин, слегка покраснев. — Ce n'est pas ma partie.[81] Я не даю им уроков — предоставляю это делать тем, кто умеет. Мы держим превосходного учителя рисования, мистера… мистера… как же его имя? — обратилась она ко второй монахине, упорно рассматривавшей ковер.

— У него немецкое имя, — отвечала та по-итальянски с таким видом, словно имя требовало перевода.

— Да, — продолжала первая сестра, — он — немец и дает у нас уроки много лет.

Девочка, которую не интересовал этот разговор, подойдя к открытой двери, любовалась садом.

— А вы — француженка? — спросил джентльмен.

— Да, сэр, — ответила гостья тихим голосом. — Я говорю с воспитанницами на моем родном языке: других я не знаю. Но наши сестры — из разных стран — есть и англичанки, и немки, и ирландки. Каждая говорит на своем языке.

Джентльмен улыбнулся:

— Кто же смотрел за моей дочерью? Уж не ирландка ли? — И увидев, что гостьи заподозрили в

---

[81] Примечания: 81
Это не по моей части (фр.)

его вопросе какую-то каверзу, смысл которой им непонятен, поспешил добавить: — Я вижу, дело поставлено у вас превосходно.

— О да, превосходно. У нас все есть, и все самое лучшее.

— Даже уроки гимнастики, — осмелилась вставить сестра-итальянка. — Но совсем не опасные.

— Надеюсь. Это *вы* их ведете?

Вопрос этот искренне рассмешил обеих женщин; когда они успокоились, хозяин дома, взглянув на дочь, сказал, что она очень вытянулась.

— Да, но, пожалуй, больше она не будет расти. Она останется небольшой, — сказал сестра-француженка.

— Меня это не огорчает. На мой вкус женщины, как и книги, должны быть хорошими, но не длинными. Впрочем, не знаю, — добавил он, — почему моя дочь маленького роста.

Монахиня слегка пожала плечами, словно давая понять, что такие вещи не дано знать человеку.

— У нее отменное здоровье, а это главное.

— Да, вид у нее цветущий, — подтвердил отец, окидывая девочку долгим взглядом. — Что ты там нашла в саду, дорогая? — спросил он по-французски.

— Цветы. Их там так много, — отвечала девочка своим нежным, тонким голоском, говоря по-французски с таким же безупречным выговором, как и ее отец.

— Да, только хороших немного. Впрочем, какие ни на есть, а ты можешь собрать из них букеты для ces dames.[82] Ступай же.

Лицо девочки засияло от удовольствия.

— Можно? Правда? — повернулась она к отцу, улыбаясь.

— Я же сказал тебе, — ответил отец. Девочка повернулась к старшей монахине:

— Можно? Правда, ma mére?[83]

— Делай, как велит тебе мосье, твой отец, дитя, — сказала монахиня, снова краснея.

Девочка, успокоенная санкцией своей наставницы, спустилась по ступеням и исчезла в саду.

— Однако вы их не балуете, — заметил отец, посмеиваясь.

— Они всегда должны спрашивать позволения. Такова наша система. Мы охотно даем его, но сначала они должны попросить.

— О, я вовсе не против вашей системы. Она, без

---

[82] Примечания: 82
этих дам *(фр.).*

[83] Примечания: 83
матушка *(фр.)*

сомнения, превосходна. Я отдал вам дочь, не зная, что вы из нее сделаете. Отдал, веря вам.

— У человека должна быть вера, — назидательно сказала старшая сестра, взирая на него сквозь очки.

— Значит, моя вера вознаграждена? Что же вы из нее сделали?

— Добрую христианку, мосье, — сказала монахиня, потупив глаза. Мосье тоже потупил глаза, но, пожалуй, по иным причинам:

— Это прекрасно. А что еще?

Он уставился на монашенку, ожидая, возможно, услышать, что быть доброй христианкой — венец всех желаний; но при всем своем простодушии она вовсе не была настолько прямолинейна:

— Очаровательную юную леди, маленькую женщину, дочь, которая украсит вам жизнь.

— Да, она кажется мне очень gentille,[84] — сказал отец. — И прехорошенькая.

— Она — само совершенство. Я не знаю за ней ни одного недостатка.

— У нее их и в детстве не было, и я рад, что она не приобрела их у вас.

— Мы все ее очень любим, — с достоинством

---

[84] Примечания: 84
милой *(фр.)*

сказала монахиня, блеснув очками. — А что до недостатков, как может она приобрести у нас то, чего мы не имеем? Le couvent n'est pas comme le monde, monsieur.[85] Она, можно сказать, дочь наша. Ведь мы печемся о ней с самых малых ее лет.

— Из всех, кто покинет нас в этом году, больше всего мы будем сожалеть о ней, — почтительно пробормотала сестра помоложе.

— Да, мы еще долго будем поминать ее добрым словом, — подхватила первая. — Ставить другим в пример.

При этих словах добрая сестра вдруг обнаружила, что очки ее затуманились, а вторая монахиня после секундного замешательства достала из кармана носовой платок из какой-то неимоверно прочной ткани.

— Возможно, она нынче не покинет вас; пока еще ничего не решено, — поспешил откликнуться отец — не столько с тем, чтобы предупредить их слезы, сколько торопясь высказать свое искреннее желание.

— Мы будем только счастливы. В пятнадцать лет ей слишком рано уходить от нас.

— О, это вовсе не для себя я жажду забрать ее

---

[85] Примечания: 85

В монастыре все иначе, нежели в миру, мосье *(фр.)*.

от вас, — воскликнул джентльмен с живостью несколько неожиданной. — Я с радостью оставил бы ее у вас навсегда!

— Ах, мосье, — улыбнулась старшая, вставая. — При всех своих добродетелях дочь ваша создана для жизни в миру. Le monde y gagnera.[86]

— Если бы все добрые люди ушли в монастыри, — негромко присовокупила вторая сестра, — что сталось бы с родом человеческим?

Вопрос этот мог быть истолкован шире, чем имела в виду эта добрая душа, и монахиня в очках поспешила сгладить впечатление, сказав умиротворяюще:

— Благодарение богу, везде есть добрые люди.

— Когда вы уйдете, под этой кровлей их станет двумя меньше, — галантно заметил хозяин дома.

На такой замысловатый комплимент простодушные гостьи не нашлись что ответить и только с должным смирением переглянулись; к счастью, появление их юной воспитанницы с двумя большими букетами — один из белых, другой из красных роз — развеяло их смущение.

— Вот, maman Катрин, выбирайте, — сказала девочка, — Они разные только по цвету, maman

---

[86] Примечания: 86
Мир от этого выиграет *(фр.)*.

Жюстин. А роз в них поровну.

Монахини повернулись друг к другу, улыбаясь, и в нерешительности заговорили разом:

— Какой вы хотите?

— Нет, выбирайте вы.

— Я возьму красный, — сказала монахиня в очках. — Я и сама такая же красная. Спасибо, дитя. Твои цветы будут нам утехой на обратном пути в Рим.

— Ах, до Рима они не доживут! — воскликнула девочка. — Жаль, что я не могу вам подарить что-нибудь, что осталось бы у вас навсегда.

— Ты оставляешь нам добрую память по себе, дочь моя. И она останется с нами навсегда.

— Жаль, что монахиням нельзя носить украшений, — продолжала девочка. — Я подарила бы вам мои голубые бусы.

— Вы сегодня же возвращаетесь в Рим? — осведомился отец.

— Да, ночным поездом. У нас столько дел labas.[87]

— Но вы, верно, устали.

— Мы никогда не устаем.

— Ах, сестра, иной раз… — чуть слышно прого-

---

[87] Примечания: 87

Зд. там *(фр).*

ворила младшая инокиня. — Que Dieu vous garde, ma fille.[88]

— Во всяком случае, не сегодня. Мы превосходно у вас отдохнули.

Пока монахини обменивались поцелуями с девочкой, ее отец подошел к входной двери и, распахнув ее, замер на пороге; чуть слышное восклицание слетело у него с губ. Дверь вела в переднюю с высоким, сводчатым, точно в часовне, потолком и выложенным красной плиткой полом. В противоположную дверь, которую открыл одетый в затасканную ливрею слуга, только что вошла дама, направлявшаяся теперь в те самые апартаменты, где– находились наши друзья. Излив свое изумление в восклицании, джентльмен у двери молчал, дама, также в полном безмолвии, продолжала свой путь. Не сказав ей ни слова приветствия и не протянув руки, он посторонился, пропуская гостью в комнату. Но, дойдя до порога, она в нерешительности замедлила шаг:

— Там есть кто-нибудь? — спросила она.

— Никого, с кем вы не могли бы встретиться.

Тогда она вошла и чуть было не столкнулась с двумя монахинями и их воспитанницей, которая

---

[88] Примечания: 88
Да хранит тебя господь, дочь моя *(фр.).*

шла между ними, держа обеих под руку. При виде новоприбывшей они остановились; гостья, также задержавшись, не сводила с них глаз.

— Мадам Мерль! — воскликнула девочка негромким своим голоском.

Посетительница было смешалась на миг, но тут же вновь обрела всю обворожительность своих манер.

— Да, это мадам Мерль приехала поздравить тебя с возвращением.

И она протянула обе руки девочке, которая тотчас подошла к ней и подставила лоб для поцелуя. Обласкав эту частицу ее прелестной маленькой особы, мадам Мерль повернулась к монахиням и одарила их улыбкой. Почтенные сестры ответили на ее улыбку низким поклоном, опустив глаза долу, дабы не видеть царственно великолепной женщины, которая, казалось, принесла с собой весь блеск мирской жизни.

— Эти добрые женщины привезли мне дочь и теперь возвращаются в монастырь, — пояснил джентльмен.

— Ах, вы уезжаете в Рим? Я недавно оттуда. Там сейчас чудесно, — сказала мадам Мерль.

Монахини, продолжавшие стоять, заложив руки в рукава, приняли это замечание без возра-

жений, а хозяин дома спросил гостью, давно ли она из Рима.

— Мадам Мерль приезжала ко мне в монастырь, — вставила девочка, прежде чем та, которой был адресован вопрос, успела на него ответить.

— И не раз, Пэнси, — заявила мадам Мерль. — Ведь в Риме я твой самый большой друг. Не так ли?

— Мне лучше всего запомнилось ваше последнее посещение, — отвечала Пэнси, — когда вы сказали, что мне пора распроститься с монастырем.

— Вот как? — заинтересовался отец девочки.

— Право, не помню. Наверно, мне просто захотелось сказать ей что-нибудь приятное. Я уже целую неделю во Флоренции. А вы так и не навестили меня.

— Я не преминул бы посетить вас, если бы знал, что вы здесь. Но откуда мне было знать? Разве что по наитию. Хотя, полагаю, мне следовало почувствовать это. Не угодно ли сесть.

Эти реплики как с той, так и с другой стороны были произнесены особым тоном, приглушенным и нарочито спокойным — правда, скорее по привычке, чем по необходимости.

— Вы, кажется, намеревались проводить ваших гостей, — сказала мадам Мерль, ища глазами кресло. — Не стану нарушать церемонию прощанья. Je vous salue, mesdames,[89] — прибавила она по-французски, обращаясь к монахиням с таким видом, словно отсылала их прочь.

— Мадам Мерль — наш большой друг, — пояснил хозяин дома. — Вы, должно быть, не раз видели ее в монастыре. Мы всегда прислушиваемся к ее советам, с ее помощью я и решу, возвращаться ли моей дочери после каникул в монастырь.

— Надеюсь, вы решите в нашу пользу, мадам, — смиренно сказала сестра в очках.

— Мистер Озмонд шутит: я ничего не решаю, — сказала мадам Мерль таким тоном, который позволил принять ее слова тоже за шутку. — У вас, несомненно, превосходный пансион, но друзья мисс Озмонд не должны забывать, что она предназначена для жизни в миру.

— Как раз это я и сказала мосье, — отвечала сестра Катрин. — Мы и хотим подготовить ее для жизни в миру, — добавила она негромко, переводя взгляд на Пэнси, которая, стоя поодаль,

---

[89] Примечания: 89
Приветствую вас, сударыни (фр.).

внимательно разглядывала элегантный туалет мадам Мерль.

— Слышишь, Пэнси? Ты предназначена для жизни в миру, — сказал отец девочки.

Девочка на мгновенье остановила на нем свой ясный взгляд.

— А не для жизни с тобой, папа?

Папа ответил коротким смешком:

— Одно другому не мешает! Я человек мирской.

— Позвольте нам откланяться, — сказала сестра Катрин. — Будь доброй и послушной, Пэнси. А главное — будь счастлива, дитя мое!

— Я, конечно, опять приеду к вам, — отвечала Пэнси, бросаясь вновь обнимать монахинь, но мадам Мерль прервала эти излияния чувств.

— Побудь со мной, дитя мое, а папа проводит почтенных сестер, — сказала она.

Взгляд Пэнси выразил разочарование, но она не посмела возражать. Послушание, очевидно, уже настолько вошло в ее плоть и кровь, что она подчинялась каждому, кто говорил с ней повелительным тоном, и пассивно наблюдала, как другие распоряжаются ее судьбой.

— Можно, я провожу maman Катрин до экипажа? — осмелилась чуть слышно попросить она.

— Мне было бы приятнее, если бы ты осталась со мной, — сказала мадам Мерль, между тем как мистер Озмонд распахнул дверь и монахини, вновь отвесив низкий поклон оставшейся в комнате гостье, проследовали в переднюю.

— Да, конечно, — ответила Пэнси и, подойдя к мадам Мерль, протянула ей свою ручку, которой эта леди тотчас завладела. Девочка отвернулась и посмотрела в окно полными слез глазами.

— Я рада, что тебя научили слушаться, — сказала мадам Мерль. — Хорошая девочка всегда должна слушаться старших.

— Я всегда слушаюсь, — с живостью, чуть ли не с гордостью, словно оечь шла об ее успехах в игре на фортепьяно, отозвалась Пэнси и тут же еле слышно вздохнула.

Мадам Мерль положила ее ручку на свою холеную ладонь и принялась, придерживая, рассматривать весьма придирчивым взглядом. Однако ничего дурного не обнаружила: ручка была нежная и белая.

— Надеюсь, в твоем монастыре следили за тем, чтобы ты не ходила без перчаток, — сказала она, немного помолчав. — Девочки обыкновенно не любят носить перчатки.

— Раньше я тоже не любила, а теперь люблю, —

отозвалась Пэнси.

— Вот и превосходно. Я подарю тебе дюжину пар.

— Спасибо, большое спасибо. А какого цвета? — с интересом спросила девочка.

Мадам Мерль помедлила с ответом.

— Разных немарких цветов.

— Но красивых?

— А ты любишь красивые вещи?

— Да. Но не слишком, — сказала Пэнси с ноткой самоотречения в голосе.

— Хорошо, они будут не слишком красивыми, — сказала мадам Мерль, посмеиваясь. Взяв девочку за другую руку, она притянула ее к себе и, пристально посмотрев на нее, спросила:

— Ты будешь скучать по maman Катрин?

— Да… когда буду вспоминать о ней.

— А ты постарайся о ней не вспоминать. Может быть, — добавила мадам Мерль, — у тебя скоро будет новая матушка.

— Зачем? Мне не нужно, — сказала Пэнси, снова вздыхая украдкой. — В монастыре их было у меня больше тридцати.

В передней раздались шаги мистера Озмонда, и мадам Мерль поднялась, отпустив девочку. Мистер Озмонд вошел, закрыл за собою дверь

и, не глядя на мадам Мерль, поставил на место несколько сдвинутых стульев. Гостья наблюдала за ним, ожидая, когда он заговорит. Наконец она сказала:

— Почему вы не приехали в Рим? Я полагала, вы захотите забрать Пэнси сами.

— Естественное предположение, но, боюсь, я уже не впервые обманываю ваши расчеты.

— Да, — сказала мадам Мерль, — я знаю вашу строптивость.

Еще какое-то время мистер Озмонд продолжал расхаживать по комнате, благо она была такая просторная, делая это с видом человека, хватающегося за любой повод, чтобы избежать неприятного разговора. Однако вскоре все поводы оказались исчерпанными — он мог разве что углубиться в книгу — и ему ничего не оставалось, как, остановившись и заложив руки за спину, обратить взгляд на Пэнси.

— Почему ты не вышла проститься с maman Катрин? — резко спросил он по-французски.

Пэнси в нерешительности взглянула на мадам Мерль.

— Я попросила ее остаться со мной, — сказала гостья, снова усаживаясь, но уже в другое кресло.

— С вами? Тогда, конечно, — согласился он и,

тоже опустившись в кресло, взглянул на мадам Мерль; он сидел, чуть наклонившись вперед, уперев локти в концы подлокотников и сцепив пальцы.

— Мадам Мерль хочет подарить мне перчатки, — сказала Пэнси.

— Об этом вовсе не нужно рассказывать, дорогая, — заметила мадам Мерль.

— Вы очень добры к ней, — сказал Озмонд. — Но у нее, право, есть все, что нужно.

— Мне думается, с нее уже достаточно монашек.

— Если вам угодно обсуждать этот предмет, я отправлю ее погулять.

— Пусть она останется с нами, — сказала мадам Мерль. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я не буду слушать, если мне нельзя, — предложила Пэнси с таким чистосердечием, что не поверить ей было невозможно.

— Можешь слушать, умница моя, — ответил отец, — ты все равно не поймешь.

Тем не менее девочка перебралась поближе к открытой двери, из которой виден был сад, и устремила туда тоскующий взгляд своих невинных глаз, а мистер Озмонд, обращаясь к гостье, сказал без видимой связи с предыдущим:

— Вы на редкость хорошо выглядите.

— По-моему, я всегда одинаково выгляжу, — ответила мадам Мерль.

— Да, вы *всегда* одинаковая. Вы не меняетесь. Вы — удивительная женщина.

— Да, по-моему, тоже.

— Но иногда вы меняете ваши намерения. Вы сказали мне, когда вернулись из Англии, что не станете выезжать из Рима в ближайшее время.

— И вы это запомнили! Как приятно! Да, я не собиралась выезжать. Но приехала сюда, чтобы повидать друзей, которые недавно прибыли. Тогда я еще не знала, какие у них дальнейшие планы.

— Весьма характерная для вас причина: вы всегда что-нибудь делаете для друзей.

Мадам Мерль посмотрела в глаза хозяину дома и улыбнулась:

— Ваше замечание еще характернее — кстати, оно весьма неискренне. Впрочем, не стану попрекать вас, — добавила она. — Вы сами не верите своим словам, потому что им нельзя верить. Я не гублю себя ради друзей и не заслуживаю ваших похвал. Я достаточно пекусь о собственной персоне.

— Вот именно. Только ваша собственная пер-

сона включает множество других персон — всех и вся. Я не знаю человека, чья жизнь так тесно переплеталась бы с чужими жизнями.

— А что вы понимаете под словом «жизнь»? — спросила мадам М ерль. — Заботы о собственной внешности? Путешествия? Дела? Знакомства?

– *Ваша* жизнь — это ваши честолюбивые помыслы.

Мадам Мерль посмотрела на Пэнси.

— Она понимает, о чем мы говорим, — сказала она, понизив голос.

— Видите — ей нельзя оставаться с нами! — И отец Пэнси безрадостно улыбнулся. — Пойди в сад, mignonne,[90] и сорви там несколько роз для мадам Мерль, — сказал он по-французски.

— Я и сама хотела. — Сказав это, Пэнси вскочила и бесшумно вышла.

Отец проводил ее до открытой двери, постоял недолго на пороге, наблюдая за дочерью, и вернулся в комнату, но так и не сел, предпочитая стоять или, вернее, ходить взад и вперед, словно это давало ему чувство. свободы, которого в другом положении ему, по-видимому, не хватало.

— Мои честолюбивые помыслы в основном ка-

---

[90] Примечания: 90
крошка *(ит).*

саются вас, — сказала мадам Мерль, не без вызова устремляя на него взгляд.

— Вот-вот! Именно об этом я и говорил. Я — часть вашей жизни, я и множество других. Вы не эгоистичны — в этом вас не обвинишь. Если вы эгоистичны, тогда что же я такое? Каким словом я должен определить себя?

— Вы — ленивы. Это худшее ваше свойство, на мой взгляд.

— Скорее уж лучшее, если на то пошло.

— Вы ко всему безразличны, — с грустью сказала мадам Мерль.

— Да, пожалуй, мне и вправду все более или менее безразлично. Как вы назвали этот мой изъян? Во всяком случае, я не поехал в Рим по причине своей лени, но не только по этой причине.

— Неважно почему — для меня по крайней мере; хотя я была бы рада видеть вас. Я еще более рада тому, что вы сейчас не в Риме, где могли бы быть и, верно, были бы, если бы поехали туда месяц назад. В настоящий момент я хотела бы, чтобы вы занялись кое-чем здесь, во Флоренции.

— Занялся? Вы изволили забыть о моей лени.

— Нет, не забыла, но вас прошу забыть. Вы обретете сразу и добродетель, и вознаграждение за нее. Для вас это не составит большого труда, а

интерес, возможно, огромный. Как давно вы не заводили новых знакомств?

— Кажется, с тех пор, как познакомился с вами.

— Пора познакомиться с кем-нибудь еще. Я хочу представить вас одной моей приятельнице.

Мистер Озмонд, не переставший шагать по комнате, тут подошел к открытой двери и, остановившись, устремил взгляд в сад, где под палящим солнцем бродила его дочь.

— Какой мне от этого будет прок? — бросил он с грубоватой снисходительностью.

Мадам Мерль ответила не сразу.

— Это вас развлечет, — сказала она. В ее ответе не было и намека на грубость; он был тщательно обдуман.

— Ну, если вы так говорите, как не поверить, — сказал Озмонд, направляясь теперь к ней. — В некоторых вещах на вас вполне можно положиться. Например, я точно знаю, что вы всегда отличите хорошее общество от дурного.

— Хорошего общества не существует.

— Прошу прощения, я не имел в виду прописных истин. Ваши знания приобретены другим путем, единственно верным, — путем опыта: у вас было множество случаев сравнивать между

собой более или менее несносных людей.

— Вот я и предлагаю вам извлечь пользу из моего опыта.

— Извлечь пользу? И вы уверены, что я в этом преуспею?

— Я очень на это рассчитываю. Все зависит от вас. Если бы я только могла подвигнуть вас на небольшое усилие.

— Ах вот оно что! Я так и знал — все сведется к чему-нибудь обременительному. Что на свете — особенно в здешних местах — стоит усилий?

Мадам Мерль вспыхнула, словно ее оскорбили в лучших намерениях.

— Не дурите, Озмонд. Кто-кто, а вы прекрасно понимаете, что на свете стоит усилий. Мы ведь не первый день знакомы!

— Ну, кое-что я признаю. Только в этой жалкой жизни все равно вряд ли оно достижимо.

— Под лежачий камень вода не течет, — заметила мадам Мерль.

— Доля истины в этом есть. Кто же она, ваша приятельница?

— Девушка, ради которой я и приехала во Флоренцию. Она приходится племянницей миссис Тачит — ее-то, я полагаю, вы помните.

— Племянницей? Слово «племянница» вызыва-

ет представление о чем-то юном и несмышленом. Мне ясно, к чему вы клоните.

— Да, она молода, ей двадцать три года. Мы с ней большие друзья. Я познакомилась с ней в Англии несколько месяцев назад, и мы близко сошлись. Мне она очень нравится, и, что редко со мной случается, я просто в восторге от нее. Вы, несомненно, тоже будете от нее в восторге.

— Ну нет, этого я постараюсь избежать.

— Охотно верю, но вам вряд ли удастся.

— Что ж, если она красива, умна, богата, обворожительна, обладает широким кругозором и беспримерно добродетельна — на таких условиях я, пожалуй, согласен познакомиться с ней. Я, как вы знаете, уже однажды просил вас не навязывать мне лиц, не соответствующих всем этим условиям. Вокруг меня достаточно бесцветных людей, и я вовсе не склонен увеличивать круг такого рода знакомств.

— Мисс Арчер вовсе не бесцветна; она — ярка, как утренний свет. И соответствует всем вашим условиям. Я потому и хочу познакомить вас с ней, что она отвечает вашим требованиям.

— Более или менее, разумеется.

— Нет, полностью. Она красива, образованна, великодушна и хорошего происхождения — для

американки. К тому же она умна и очень привлекательна, а сверх того обладает порядочным состоянием.

Озмонд выслушал этот перечень молча, не отрывая глаз от собеседницы и, очевидно, взвешивая его в уме.

Что же вы намерены делать с ней? — спросил он наконец.

— Вы же слышали — свести с вами.

— Неужели она не предназначена для чего-нибудь лучшего?

— Я не берусь предугадывать, кто для чего предназначен, — сказала мадам Мерль. — С меня достаточно знать, как я могу распорядиться человеком.

— Мне жаль эту вашу мисс Арчер! — воскликнул Озмонд. Мадам Мерль встала.

— Если это означает, что вы заинтересовались ею — что ж, я удовлетворена.

Они стояли лицом к лицу; она оправляла мантилью и, казалось, вся ушла в это занятие.

— Вы превосходно выглядите, — повторил Озмонд свой комплимент, еще менее к месту, чем прежде. — У вас появилась новая идея. А когда у вас появляются идеи, вы сразу хорошеете. Они вам очень к лицу.

Когда бы и где ни сходились эти двое, поначалу в их тоне и поведении, особенно если при этом кто-нибудь присутствовал, возникала какая-то принужденность и настороженность, словно они встретились, того не желая, и заговорили по необходимости. Казалось, каждый, смутившись, усиливал этим смущение другого. Разумеется, из них двоих мадам Мерль удавалось лучше справиться с замешательством, но сейчас даже мадам Мерль не сумела вести себя так, как ей бы хотелось, — с тем полным самообладанием, какое она старалась сохранить, беседуя с хозяином дома. Нельзя не указать, однако, что в какие-то моменты этого поединка владевшее ими чувство — какова бы ни была его природа — исчезало, оставляя их лицом к лицу так близко, как никогда не случалось с ними ни перед кем иным. Именно это и произошло сейчас. Они стояли друг против друга, и каждый, видя другого насквозь, искал в этом удовлетворение, полагая хотя бы таким путем возместить себе те или иные неудобства, которые возникают, когда вас видят насквозь.

— Жаль, что вы так черствы душой, — тихо произнесла мадам Мерль. — Ваша черствость всегда оборачивается против вас и сейчас тоже обернется против вас.

— Я вовсе не так уж черств, как вы думаете. Иногда и мою душу кое-что трогает: например, слова о том, что ваши честолюбивые помыслы касаются меня. Мне это непонятно; не знаю, как и почему они могут меня касаться. Но все равно, я тронут.

— Боюсь, в дальнейшем вам это станет еще непонятнее. Есть вещи, которые вам не дано понять. Да в этом и нет нужды.

— Что ни говори, а вы удивительная женщина, — сказал Озмонд. — В вас скрыто столько всего, как ни в ком другом. Не понимаю, почему вы считаете, что племянница миссис Тачит будет много значить для меня, когда… когда… — и он осекся.

— Когда я сама значила для вас так мало.

— Я, разумеется, не то хотел сказать. Когда я имел возможность узнать и оценить такую женщину, как вы.

— Изабелла Арчер лучше меня, — сказала мадам Мерль.

Ее собеседник рассмеялся.

— Невысокого же вы мнения о ней, если так говорите!

— Вы полагаете, я способна ревновать? Ответьте, прошу вас.

— Ревновать меня? В общем, не думаю.

— В таком случае я жду вас через два дня. Я остановилась у миссис Тачит — в палаццо Кресчентини. Ее племянница живет там же.

— Зачем же вы говорили мне о ней? Почему просто не попросили меня прийти? — спросил Озмонд. — Ведь она все равно никуда бы не делась.

Мадам Мерль взглянула на него с видом женщины, которую ни один его вопрос не может поставить в тупик.

— Хотите знать почему? Да потому, что я говорила с ней о вас. Озмонд, нахмурившись, отвернулся.

— Я предпочел бы об этом не знать. — Секунду спустя он спросил, указывая на мольберт: — Вы обратили внимание на то, что здесь стоит, — на мою последнюю?

Мадам Мерль подошла и посмотрела на акварель:

— Венецианские Альпы — один из ваших прошлогодних эскизов!

— Да. Удивительно, как вы все схватываете!

Она еще немного посмотрела на акварель и отвернулась.

— Вы же знаете — я спокойно отношусь к вашим картинам.

— Знаю и тем не менее всегда удивляюсь почему. Они намного лучше, чем то, что обычно выставляют.

— Вполне возможно. Но притом, что других занятий у вас нет… — право, это слишком мало. Я хотела бы для вас куда большего: в этом и заключались мои честолюбивые помыслы.

— Да, я уже много раз слышал это от вас. Вы хотели того, что было невозможно.

— Хотела того, что было невозможно, — повторила мадам Мерль и затем прибавила уже совершенно иным тоном: — Сами по себе ваши пейзажи очень недурны. — Она оглядела комнату: старинные шкатулки, картины, шпалеры, выцветшие шелка занавесей. — А вот комнаты ваши — великолепны. Я не устаю любоваться ими всякий раз, когда здесь бываю. Ничего подобного я ни у кого не видела. В такого рода вещах вы понимаете как никто другой. У вас восхитительный вкус.

— Надоел мне этот мой восхитительный вкус! — сказал Гилберт Озмонд.

— И тем не менее пригласите сюда мисс Арчер — пусть посмотрит. Я уже рассказывала ей обо всем этом.

— Я готов показывать мое собрание любому

— если только он не полный кретин.

— Вы очень мило это делаете. Роль чичероне в собственном музее вас очень красит.

В ответ на этот комплимент мистер Озмонд только еще холоднее и Пристальнее взглянул на нее.

— Вы сказали, она богата.

— У нее семьдесят тысяч фунтов.

— En écus bien comptés?[91]

— По поводу ее состояния можете не сомневаться. Я, так сказать видела его собственными глазами.

— Какая женщина! *Вы,* разумеется. А ее матушку я там тоже встречу?

— У нее нет матери — и отца тоже нет.

— В таком случае тетушку — как бишь ее — миссис Тачит?

— Могу без труда удалить ее на это время.

— Я против нее ничего не имею, — сказал Озмонд. — Миссис Тачит мне даже нравится. Она женщина этакой старомодной складки — таких теперь и не встретишь; яркая особа. А эта долговязая образина, ее сынок, — он тоже там?

— Да, там, но он вам не помешает.

---

[91] Примечания: 91
Чистоганом? *(фр.)*

— Редкостный осел.

— Вы ошибаетесь. Он очень умен. Но он не любит бывать в этом доме одновременно со мной: я не пришлась ему по вкусу.

— И после этого он не осел? Вы сказали, она недурна собой? — продолжал Озмонд.

— И весьма. Но я не стану вам ее расписывать, чтобы вы не разочаровались при встрече. Словом, приходите, нужно положить начало — вот все, чего я жду от вас.

— Начало? Чему? Последовала пауза.

— Я, разумеется, хочу, чтобы вы женились на ней.

— Стало быть, начало конца? Ладно, я сам решу. Вы ей это тоже сказали?

— За кого вы меня принимаете? Она не столь грубой выделки — и я тоже.

— Да, — сказал Озмонд, — мне не понять ваших честолюбивых помыслов.

— Поймете, когда познакомитесь с мисс Арчер. Повремените делать выводы. — С этими словами мадам Мерль направилась к двери, ведущей в сад, и, остановившись возле нее, поискала глазами девочку. — Пэнси и в самом деле стала очень хорошенькой, — вдруг сказала она.

— Да, и мне так кажется.

— Право, довольно держать ее в монастыре.

— Не знаю, — сказал Озмонд. — Мне нравится, как ее там воспитали. Она очень мило держится.

— Монастырь здесь ни при чем. Она такая от природы.

— Не скажите — тут сочетание того и другого. Она чиста, как алмаз.

— Что ж она не несет мне цветы? — спросила мадам Мерль. — Она не торопится.

— Мы можем выйти и взять ваш букет.

— Не по душе я ей, — пробормотала гостья, раскрывая зонтик, и они пошли в сад.

23

Мадам Мерль, приехавшая во Флоренцию вслед за миссис Тачит по приглашению этой леди — миссис Тачит предложила ей погостить месяц в палаццо Кресчентини, — умнейшая мадам Мерль не преминула, разговаривая с Изабеллой, упомянуть Гилберта Озмонда и выразила надежду, что теперь мисс Арчер сможет с ним познакомиться, хотя и не проявила особой настойчивости, с которой, как мы помним, рекомендовала нашу героиню вниманию Озмонда. Причиной этому, надо полагать, было то обстоятельство, что Изабелла нисколько не противилась ее предложению. В Италии, равно как и в Англии, у мадам Мерль было множество друзей и среди исконных жителей этой страны, и среди ее разномастных гостей. В длинном списке тех, с кем, по мнению вышеназванной леди, Изабелле следовало «свести знакомство» — хотя, разумеется, добавила мадам Мерль, она вольна знакомиться с кем угодно, — имя мистера Озмонда значилось одним из первых. Он был ее давнишний друг — они знакомы уже добрый десяток лет, — один из умнейших

и привлекательнейших людей, ну, скажем, в Европе. Он на голову выше добропорядочного большинства и вообще человек совсем иного пошиба. Мистера Озмонда никак не причислишь к разряду светских львов, отнюдь, и впечатление, которое он производит, во многом зависит от его душевного состояния и расположения. Когда не в духе, он заурядднее любой заурядности, разве что даже в такие минуты вид у него, как у принца в изгнании, который на все махнул рукой. Но если что-то захватывает его, или занимает, или задевает за живое — именно за живое, — тогда тотчас проявляются его ум и своеобычность. И дело здесь вовсе не в присущем большинству людей стремлении скрыть какие-то свои черты или же, напротив, выставить себя напоказ. Он человек не без странностей — со временем Изабелла поймет. что таковы все заслуживающие внимания люди, — и не желает озарять своим светом всех без разбора. Однако мадам Мерль брала на себя смелость утверждать, что перед Изабеллой он предстанет во всем блеске. Мистер Озмонд легко впадает в хандру, даже слишком легко, и скучные люди всегда выводят его из себя, но столь умная и рафинированная девушка, как Изабелла, не может не пробудить в нем

интерес, которого так недостает в его жизни. Во всяком случае, мимо подобного человека никак нельзя пройти. Как можно жить в Италии и не познакомиться с Гилбертом Озмондом, знающим эту страну, как никто другой! Может быть, он и уступает в этом двум-трем немецким профессорам, но если они могут похвалиться большими знаниями, то Озмонд — натура артистическая до мозга костей — превосходит их пониманием и вкусом. Изабелла вспомнила, что мадам Мерль уже называла это имя во время их долгих задушевных бесед в Гарденкорте, и ей захотелось понять, какие узы связывают эти две высокие души. Она чувствовала, за дружескими связями мадам Мерль всегда стоит неназванное прошлое — в этом как раз и таилась частица обаяния этой необыкновенной женщины. Однако, говоря об отношениях с мистером Озмондом, мадам Мерль ограничилась лишь упоминанием об их давней доброй дружбе. Изабелла сказала, что будет рада встретиться с человеком, который уже много лет взыскан столь высоким доверием.

— Вам нужно познакомиться со многими людьми, — говорила мадам Мерль, — узнать как можно больше людей, чтобы свыкнуться с ними.

— Свыкнуться? — повторяла Изабелла с та-

ким серьезным выражением лица, что ее порою можно было заподозрить в отсутствии чувства юмора. — Но я вовсе не боюсь людей. И свыклась с ними не меньше, чем кухарка с рассыльными из мясной лавки.

— Свыкнуться с ними настолько, хотела я сказать, чтобы научиться их презирать. Они по большей части ничего лучшего не заслуживают. А потом вы отберете себе тех немногих, кого не будете презирать.

Тут прозвучала циническая нота, что мадам Мерль не часто себе позволяла, но Изабеллу это не насторожило: она отнюдь не предполагала, что, по мере того как мы узнаем свет, восхищение им берет верх над прочими нашими чувствами. И все же именно это чувство вызвала в ней Флоренция, которая пришлась ей по душе даже больше, чем предсказывала мадам Мерль; к тому же, если бы наша героиня не сумела сама оценить все очарование этого великолепного города, под рукой у нее были просвещенные спутники — жрецы, причастные к тайне. В объяснениях не было недостатка: Ральф с наслаждением вновь взял на себя роль чичероне при своей любознательной кузине — роль, которая прежде так ему нравилась. Мадам Мерль осталась дома; она уже

столько раз видела сокровища Флоренции, и к тому же ее одолевали дела. Но она охотно разговаривала обо всем, что касалось Флоренции, проявляя при этом поразительную силу памяти — ей ничего не стоило вспомнить правый угол большого полотна Перуджино[92] и описать, как держит руки Святая Елизавета на картине, висящей рядом с ним. Она высказывала суждения о многих знаменитых произведениях, часто полностью расходясь в их оценке с Ральфом и отстаивая свои взгляды в равной мере остроумно и благожелательно. Слушая споры, которые эти двое беспрестанно вели между собой, Изабелла мысленно отмечала, что многое может из них извлечь и что вряд ли такая возможность представилась бы ей, скажем, в Олбани. Ясными майскими утрами, до общего завтрака, они бродили с Ральфом по узким сумрачным улочкам, изредка заходя отдохнуть в еще более густой полумрак какой-нибудь прославленной церкви или под своды кельи заброшенного монастыря. Она посещала картинные галереи и дворцы, любуясь полотнами и статуями, доселе известными

[92] Примечания: 92

Перуджино (Пьетро Ваннуччи 1446? — 1523?) — итальянский живописец раннего Возрождения. Речь, очевидно, идет о картине «Оплакивание Христа» (Галерея Уффици, Флоренция).

ей только по названию, и в обмен на сведения, порою лишь затемнявшие суть, отдавала образы своей мечты, которые чаще всего имели с этой сутью мало сходства. Она платила искусству Италии ту дань удивления и восторга, которую при первом знакомстве с этой страной платят все юные и пламенные сердца: замирала с учащенно бьющимся сердцем перед творением бессмертного гения и вкушала радость от застилавших глаза слез, сквозь которые выцветшие фрески и потемневшие мраморные изваяния проступали словно в тумане. Но больше всего, даже больше прогулок по Флоренции, она любила возвращаться домой — входить каждый день в просторный величественный двор большого дома, который миссис Тачит занимала уже много лет, в его высокие прохладные комнаты, где под резными стропилами и пышными фресками шестнадцатого столетия помещались привычные изделия нашего века рекламы. Миссис Тачит обитала в знаменитом здании на узкой улице, название которой вызывало в памяти средневековые междоусобные распри, мирясь с темным фасадом, поскольку этот недостаток, как она считала, вполне искупался умеренной платой и солнечным садом, где сама природа отдавала такой же стариной,

как и грубая кладка стен палаццо, и откуда в его покои вливались благоухание и свежий воздух. Живя в таком месте, Изабелла словно держала у уха большую морскую раковину — раковину прошлого. Ее еле уловимый, но неумолчный гул все время будил воображение.

Гилберт Озмонд посетил мадам Мерль, и она представила его нашей юной леди, тихо сидевшей в другой части комнаты. Изабелла почти не принимала участия в завязавшемся разговоре и даже не всегда отвечала улыбкой, когда ее пытались вовлечь в него: она держалась так, словно смотрела в театре спектакль, заплатив к тому же немало за билет. Миссис Тачит отсутствовала, и мадам Мерль с ее гостем могли разыгрывать пьесу на свой лад, добиваясь наивыгоднейшего эффекта. Они говорили о флорентийцах, о римлянах, о своем космополитическом кружке и вполне могли сойти за знаменитых актеров, выступавших на благотворительном вечере. Их речь лилась так свободно, словно была хорошо срепетирована. Мадам Мерль то и дело обращалась к Изабелле, как к партнерше по сцене, но та не отвечала на подаваемые ей реплики и, хотя не нарушала игры, все же сильно подводила приятельницу, которая, без сомнения, сказала

мистеру Озмонду, что на Изабеллу вполне можно положиться. Ничего, один раз куда ни шло; даже если бы на карту было поставлено большее, она все равно не сумела бы заставить себя блистать. Что-то в этом госте смущало ее, держало в напряжении — для нее было важнее получить впечатление, чем произвести его. К тому же она и не умела производить впечатления, когда заранее знала, что от нее этого ждут: что и говорить, Изабелле нравилось восхищать людей, но она упорно не желала сверкать по заказу. Мистер Озмонд — надо отдать ему справедливость — держался как благовоспитанный человек, который ни от кого ничего не ждет, со спокойствием и непринужденностью, окрашивавшей все, вплоть до блесток собственного его остроумия. Это было тем более приятно, что и лицо мистера Озмонда, и сама посадка головы говорили о натуре нервической; он не отличался красотой, но был аристократичен — аристократичен, как один из портретов в длинной галерее над мостом в музее Уффици.[93] Даже голос его звучал аристократич-

[93] Примечания: 93

Музей (галерея) Уффици — крупнейшая картинная галерея во Флоренции, основанная в 1576 г. Обладает богатейшей в мире коллекцией итальянской живописи XIII–XVIII вв., а также собранием автопортретов европейских художников.

но — что казалось неожиданным, так как при всей своей чистоте он почему-то резал слух. Это тоже сыграло известную роль в том, что Изабелле не хотелось вступать в беседу. Замечания гостя звенели, как вибрирующее стекло, а, протяни она палец, ее вмешательство, возможно, изменило бы тембр и испортило бы музыку. Тем не менее ей пришлось обменяться с мистером Озмондом несколькими словами.

— Мадам Мерль, — сказал он, — любезно согласилась взобраться ко мне на вершину холма на следующей неделе и выпить чашку чая у меня в саду. Вы доставили бы мне несказанное удовольствие, если бы соблаговолили пожаловать вместе с ней. Мое жилище называют живописным: из него открывается, как это принято говорить, общий вид. Моя дочь будет безгранично рада… вернее, так как она еще слишком мала для сильных чувств, я буду безгранично рад… — и мистер Озмонд умолк в видимом замешательстве, так и не закончив фразу. — Я буду бесконечно счастлив представить вам мою дочь, — добавил он секунду спустя.

Изабелла отвечала, что с удовольствием познакомится с мисс Озмонд и будет только благодарна, если мадам Мерль возьмет ее с собой, когда от-

правится к нему на холм. Получив эти заверения, гость откланялся, а Изабелла приготовилась выслушать от приятельницы упреки за нелепое поведение. Однако, к величайшему ее изумлению, эта леди, пути которой были воистину неисповедимы, чуть помедлив, сказала:

— Вы были очаровательны, моя дорогая. Держались так, что лучше просто невозможно. Вы, как всегда, выше всяких похвал.

Если бы мадам Мерль принялась корить Изабеллу, та, возможно, рассердилась бы, хотя, скорее всего, сочла бы ее упреки справедливыми, но слова, сказанные сейчас мадам Мерль, как ни странно, вызвали у нашей героини раздражение, которое до сих пор она еще ни разу не испытывала к своей приятельнице.

— Это вовсе не входило в мои намерения, — отвечала она сухо. — Не вижу, почему я обязана очаровывать мистера Озмонда.

Мадам Мерль заметно покраснела, однако, как мы знаем, не в ее привычках было бить отбой.

— Милое мое дитя, — сказала она, — я ведь не о нем говорила, а о вас. Разумеется, какое вам дело, понравились вы ему или нет. Вот уж что не имеет никакого значения! Но мне показалось, *он* понравился вам.

— Да, — честно призналась Изабелла, — хотя, право, это также не имеет значения.

— Все, что связано с вами, имеет для меня значение, — возразила мадам Мерль с обычным своим видом утомленного великодушия. — Особенно когда речь идет об еще одном моем старинном друге.

Была ли Изабелла обязана очаровывать мистера Озмонда или не была, но, надо сказать, она сочла необходимым задать Ральфу ряд вопросов об этом джентльмене. Суждения Ральфа были, как ей казалось, несколько искажены его дурным самочувствием, но она льстила себя надеждой, что уже научилась вносить в них необходимые поправки.

— Знаю ли я его? — сказал кузен. — О да! Я его «знаю»; не досконально, но достаточно. Общества его я никогда не искал, да и он, надо полагать, вряд ли не может жить без меня. Кто он, что он? Он американец, но какой-то невыразительный, ни то ни се, живет в Италии без малого уже лет тридцать. Почему я говорю «ни то ни се»? Да просто, чтобы прикрыть собственную неосведомленность. Я не знаю, ни откуда он родом, ни какая у него семья, ни кто его предки. Может статься, он переодетый принц, — кстати, он так и

выглядит — принц, который в припадке глупой блажи отказался от своих прав и теперь не может простить это миру. Он жил в Риме, но с некоторых пор переселился сюда; помню, он как-то сказал при мне, что Рим стал вульгарен. Мистер Озмонд питает отвращение ко всему вульгарному — это главное, чем он занят в жизни, — других дел я за ним не знаю. Живет он на какие-то свои доходы, не слишком, как полагаю, вульгарно обильные. Бедный, но честный джентльмен — так он себя величает. Женился он очень рано, жена его умерла, оставив, если не ошибаюсь, дочь. Еще у него есть сестра, которая вышла замуж за некоего третьесортного итальянского графа; помнится, я даже где-то ее встречал. Она показалась мне приятнее брата, хотя порядком невыносима. О ней, помнится, ходило немало сплетен. Пожалуй. я не стал бы советовать вам водить с ней знакомство. Однако почему вы не спросите о них мадам Мерль? Вот уж кто знает эту пару куда лучше, нежели я.

— Потому что меня интересует не только ее мнение, но и ваше, — сказала Изабелла.

— Что вам мое мнение! Станете вы с ним считаться, если, скажем, влюбитесь в Озмонда?

— Боюсь, что не слишком. Но пока оно еще

представляет для меня некоторый интерес. Чем больше знаешь об опасности, которая тебя стережет, тем лучше.

— По-моему, как раз наоборот. Чем больше знаешь об опасности, тем она опаснее. Нынче мы слишком много знаем о людях, слишком много слышим о них. Наши уши, мозги, рот набиты до отказа. Не слушайте, что люди говорят друг о друге. Старайтесь судить сами обо всех и обо всем.

— Я и стараюсь, — сказала Изабелла. — Но когда судишь только по собственному разумению, вас обвиняют в самонадеянности.

— А вы не обращайте на это внимание — такова моя позиция: не обращать внимания на то, что люди говорят обо мне, и уж подавно на то, что говорят о моих друзьях или врагах.

Изабелла задумалась.

— Наверно, вы правы. Но есть многое такое, на что я не могу не обращать внимания: например, когда задевают моих друзей или когда хвалят меня.

— Ну, вам никто не мешает разобрать по косточкам самих критиков. Только если вы разберете их по косточкам, — добавил Ральф, — от них живого места не останется.

— Я сама разберусь в мистере Озмонде, — ска-

зала Изабелла. — Я обещала навестить его.

— Навестить? Зачем?

— Полюбоваться видом из его сада, его картинами, познакомиться с его дочерью — впрочем, уже не помню зачем. Я еду к нему вместе с мадам Мерль. Она сказала, что у него бывает очень много дам.

— Ах с мадам Мерль! Ну, с мадам Мерль можно ехать хоть на край света de confiance,[94] — сказал Ральф. — Мадам Мерль знается только с самыми избранными.

Изабелла не стала больше упоминать об Озмонде, однако не преминула заметить кузену, что ей не нравится тон, каким он говорит о мадам Мерль.

— У меня создается впечатление, что вы в чем-то ее обвиняете. Не знаю, что вы против нее имеете, но, если у вас есть причины относиться к ней дурно, не лучше ли сказать о них прямо или уж не говорить ничего.

Однако Ральф отверг ее нарекания.

— Я говорю о мадам Мерль, — сказал он с необычной для себя серьезностью, — точно так же, как говорю с ней самой, — с преувеличенным

---

[94] Примечания: 94
с полным доверием *(фр.).*

даже почтением.

— С преувеличенным, вот именно. Это-то меня и коробит.

— Я не могу иначе. Ведь и достоинства мадам Мерль весьма преувеличены.

— Помилуйте, кем? Мной? Если так, я оказываю ей плохую услугу.

— Нет, нет. Ею самой!

— Неправда! — воскликнула Изабелла с жаром. — Уж если есть женщина, которая ни на что не притязает…

— Вы попали в точку, — прервал ее Ральф. — Мадам Мерль преувеличенно скромна. Она ни на что не притязает, когда могла бы притязать на очень многое.

— Стало быть, она обладает большими достоинствами. Вы сами себе противоречите.

— Нимало. Она обладает огромными достоинствами, — сказал Ральф. — Она немыслимо безупречна — просто непроходимые дебри сплошной добродетели; единственная женщина из всех, кого я знаю, которая не дает вам никаких шансов.

— Шансов? На что?

— Уличить ее в глупости. Единственная женщина из всех, кого я знаю, которая не страдает

даже этим маленьким недостатком.

Изабелла с досадой отвернулась.

— Я вас не понимаю: ваши парадоксы не для моего ограниченного ума.

— Позвольте, я объясню. Когда я говорю, что она преувеличивает свои достоинства, я не имею в виду вульгарные способы: нет, она не хвастает, не рисуется, не выставляет себя в выгодном свете. Я употребляю слово «преувеличивать» в буквальном смысле — она стремится к какому-то сверх совершенству, и все ее добродетели какие-то вымученные. Она слишком примерна, слишком благожелательна, слишком умна, слишком образованна, слишком воспитана, у нее — все слишком. Словом, она слишком безупречна. Признаюсь, она действует мне на нервы, и я, пожалуй, испытываю к ней такое же чувство, какое питал некий не чуждый ничему человеческому афинянин к Аристиду Справедливому.[95]

Изабелла внимательно посмотрела на Ральфа — если насмешка и таилась в этих словах, на его лице она не отразилась.

---

[95] Примечания: 95

Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — политический и военный деятель Афин. Согласно легенде, приводимой Плутархом, в 483 г. до н. э., когда Аристид подвергся остракизму, некий афинянин, подавая голос за его изгнание, заявил: «Сам я ничего против него не имею, но мне досадно слышать, как его всюду называют справедливым».

— Что ж, вы хотели бы изгнать мадам Мерль?

— Ни в коем случае! Лишиться такой собеседницы! Я наслаждаюсь обществом мадам Мерль, — ответил Ральф без тени иронии.

— Вы просто невозможны, сэр! — воскликнула Изабелла. Но в следующее мгновенье спросила, уж не знает ли он чего-нибудь бросающего тень на ее блестящую подругу.

— Ровным счетом ничего. Именно об этом я и толкую. Ни один человек не свободен от пятен — дайте мне полчаса на поиски, и я наверняка обнаружу пятнышко даже на вас. О себе я не говорю, я пятнист, как леопард. На мадам Мерль нет ни единого пятна. Понимаете, ни единого.

— Мне тоже так кажется, — сказала Изабелла, кивая. — Поэтому она мне так нравится.

— О, что до вас — это просто замечательно, что вы познакомились с ней! Ведь вы хотите узнать свет, а лучшей путеводительницы по нему вам не сыскать.

— Вы имеете в виду, что она вполне светская женщина?

— Светская женщина? Нет, — сказал Ральф, — она просто-напросто олицетворение этого света.

Слова Ральфа, что он наслаждается обществом мадам Мерль, менее всего объяснялись, как в

эту минуту хотелось думать Изабелле, его утонченным ехидством. Стараясь рассеяться любыми средствами, Ральф Тачит счел бы непростительным упущением, если бы вовсе отказался испытать на себе чары такого виртуоза светской беседы, какой была мадам Мерль. Симпатии и антипатии таятся в глубинах нашей души, и, вполне вероятно, при всей высокой оценке, какую он давал этой леди, ее отсутствие в доме его матери не слишком опустошило бы жизнь Ральфа. Но он приобрел привычку исподволь наблюдать за людьми, а ничто не могло бы лучше «питать» эту страсть, как наблюдения за повадками мадам Мерль. Он пил ее маленькими глотками, он давал ей настояться, проявляя такую выдержку и терпение, каким могла бы позавидовать сама мадам Мерль. Иногда она возбуждала в нем даже жалость, и в такие минуты он, как ни странно, переставал подчеркивать свое благорасположение к ней. Он не сомневался в том, что она чудовищно честолюбива и что все, чего достигла в жизни, было весьма далеко от целей, которые она себе ставила. Всю жизнь она гоняла себя на корде, но ни разу не выиграла приза. Она так и осталась просто мадам Мерль, вдовой

швейцарского négociant,[96] женщиной с весьма малыми средствами и большими знакомствами, которая подолгу жила то у одних, то у других своих друзей и пользовалась повсеместным успехом, совсем как только что изданная очередная гладенькая дребедень. В несоответствии между этим ее положением и любым из тех, которые она, без сомнения, в различные периоды своей карьеры рассчитывала занять, было что-то трагическое. Его мать полагала, что ее столь располагающая к себе гостья весьма ему по душе: двое людей, поглощенных сложными вопросами человеческого поведения — т. е. каждый своим собственным, — не могли, как ей казалось, не найти общего языка. Ральф много размышлял над близостью, установившейся между Изабеллой и досточтимой приятельницей своей матери, и, давно уже придя к заключению, что не сможет, не вызвав бурного протеста с ее стороны, сохранить кузину для себя, решил, как делал при более тяжких обстоятельствах, не падать духом. Их дружба, как он полагал, расстроится сама собой — не будет же она длиться вечно. Ни одна из этих двух примечательных женщин — что бы каждой

---

[96] Примечания: 96
купца *(фр.).*

из них ни казалось — не знала другую во всей полноте, и как только у одной из них или у обеих сразу откроются глаза, между ними непременно произойдет если не разрыв, то по крайней мере охлаждение. А пока он готов был признать, что беседы старшей приятельницы идут на пользу младшей, которой предстоит еще очень многому учиться, а раз так, ей лучше было поучиться у мадам Мерль, чем у любого другого наставника. Вряд ли эта дружба могла причинить Изабелле какой-нибудь вред.

24

Разумеется, трудно было предположить, что визит Изабеллы к мистеру Озмонду в его дом на холме мог как-то ей повредить. Ничего не могло быть прелестнее этой поездки теплым майским днем в разгар тосканской весны. Наши дамы проехали сквозь Римские ворота с их массивной глухой надвратной стеной, венчавшей легкую изящную арку портала и придававшей им суровую внушительность, и, поднявшись по петляющим улочкам, окаймленным высокими оградами, через которые выплескивалась зелень цветущих садов и растекались ароматы, достигли наконец маленького сельского вида площади неправильной формы, куда, составляя если не единственное, то по крайней мере существенное ее украшение, выходила длинная коричневая стена той самой виллы, часть которой занимал мистер Озмонд. Изабелла и мадам Мерль пересекли просторный внутренний двор, где внизу стелилась прозрачная тень, а наверху две легкие, расположенные друг против друга галереи подставляли солнечным лучам свои стройные

столбики и цветущие покровы вьющихся растений. От этого дома веяло чем-то суровым и властным: казалось, стоит переступить его порог, и отсюда уже не выйти без борьбы. Но Изабелле сейчас не было нужды думать о том, как выйти, — пока ей предстояло только войти. Мистер Озмонд встретил ее в передней, прохладной даже в мае, и повел вместе с ее спутницей в апартаменты, в которых мы уже однажды побывали. Мадам Мерль оказалась впереди и, пока Изабелла мешкала, болтая с хозяином, прошла, не церемонясь, в гостиную, где ее встретили ожидавшие там две особы. Одной из них была крошка Пэнси — мадам Мерль удостоила ее поцелуя, — другой — дама, которую Озмонд, представляя Изабелле, назвал своей сестрой, графиней Джемини.

— А это моя дочурка, — сказал он. — Она только что из монастыря.

На Пэнси было коротенькое белое платье, белые туфельки с тесемками на лодыжках, а светлые волосы аккуратно лежали в сетке. Подойдя к Изабелле, девочка слегка присела в чинном реверансе и подставила лоб для поцелуя. Графиня Джемини, не вставая с места, наклонила голову — пусть Изабелла видит, что перед нею светская женщина. Тощая и смуглая, она никак не могла

считаться красивой, а ее черты — длинный, похожий на клюв, нос, маленькие бегающие глазки, поджатый рот и срезанный подбородок — придавали ей сходство с тропической птицей. Однако выражение лица, на котором, проступая с различной силой, сменялись гонор и удивление, ужас и радость, было вполне человеческое, меж тем как внешний облик говорил о том, что графиня знает, в чем ее своеобразие, и умеет его подчеркнуть. Ее одеяние, пышное и воздушное, — изысканность так и била в глаза — казалось сверкающим оперением, а движения, легкие и быстрые, вполне подошли бы существу, привыкшему сидеть на ветках. Она вся состояла из манер, и Изабелла, которой до сих пор не встречались такие манерные особы, тотчас назвала ее про себя ломакой. Она помнила совет Ральфа избегать знакомства с графиней Джемини, но при беглом взгляде на нее не смогла обнаружить никаких чреватых опасностью омутов. Эта страшная особа, судя по ее поведению, выбросила белый флаг — шелковое полотнище с развевающимися лентами — и во всю им размахивала.

— Вы не поверите, как я рада познакомиться с вами! Ведь я и приехала сюда только потому, что узнала — здесь будете вы. Я не езжу к брату

— пусть он сам ездит ко мне. Забраться на такую невозможную гору! Ума не приложу, что он в ней нашел. Право, Озмонд, ты когда-нибудь станешь причиной гибели моих лошадей, а если они сломают себе здесь шею, тебе придется купить мне новых. Они сегодня так храпели! Я сама слышала. Понимаете, каково это — сидеть в экипаже и слышать, как храпят твои лошади! Начинаешь думать, что они вовсе не так уж хороши. А у меня всегда отменные лошади; я лучше откажу себе в чем-нибудь другом, но конюшня у меня всегда хороша. Мой муж мало в чем разбирается, но в лошадях знает толк. Итальянцы, как правило, ничего не смыслят в лошадях, но мой муж, даже при его слабом разумении, предпочитает все английское. Лошади у меня тоже английские — понимаете, как это будет ужасно, если они свернут себе шею. Должна вам сказать, — продолжала она, адресуясь непосредственно к Изабелле, — Озмонд редко приглашает меня сюда; сдается мне, ему не очень-то хочется меня здесь видеть. Вот и сегодня я приехала по собственному почину. Люблю новых людей, а уж вы, не сомневаюсь, самая что ни на есть последняя новинка. Ах, не садитесь на этот стул! Он только с виду хорош. Здесь есть очень крепкие стулья, а есть такие,

что просто ужас.

Графиня пересыпала свои замечания визгливыми руладами, сопровождая их улыбками и ужимками, а ее произношение свидетельствовало о том, какая жалкая участь постигла ее некогда вполне сносный английский, вернее, американский язык.

— Я не хочу видеть вас здесь, дорогая? — отвечал ей Озмонд. — Помилуйте, вы для меня неоценимы.

Не вижу здесь никаких ужасов, — возразила Изабелла, оглядывая комнату. — Все так красиво и изысканно, на мой взгляд.

— У меня есть несколько действительно хороших вещей, — скромно подтвердил Озмонд. — А плохих вообще нет. Но у меня нет того, что я хотел бы иметь.

Он держал себя несколько скованно, беспрестанно улыбался и поглядывал вокруг; в нем странно мешались отчужденность и сопричастность. Всем своим видом он, казалось, давал понять, что его занимают только истинные «ценности». Изабелла быстро пришла к выводу, что простота отнюдь не главное достоинство этого семейства. Даже маленькая монастырская воспитанница, которая в своем парадном белом

платьице стояла поодаль с таким покорным личиком и сложенными ручками, словно в ожидании первого причастия, даже эта миниатюрная дочка мистера Озмонда носила на себе печать законченности далеко не безыскусной.

— Вы хотели бы иметь вещи из музеев Уффици и Питти[97] — вставила мадам Мерль, — вот что вы хотели бы иметь.

— Бедняжка Озмонд! Вечно возится с какими-то шпалерами и распятиями! — провозгласила графиня Джемини, которая, по-видимому, называла брата не иначе, как по фамилии. Восклицание это было пущено просто так, в пространство: бросая его, она улыбалась Изабелле и оглядывала ее с головы до ног.

Брат не слышал ее слов; он, казалось, весь ушел в себя, обдумывая, что ему сказать Изабелле.

— Не хотите ли чаю? — придумал он наконец. — Вы, наверно, очень устали.

— Нет, нисколько. Мне не с чего было уставать.

Изабелла сочла необходимым держаться су-

---

[97] Примечания: 97

Музей (галерея) Питти — художественный музей во Флоренции, обладающий картинной галереей, где экспонируются преимущественно произведения итальянских и фламандских мастеров XV–XVII вв., и также собранием произведений прикладного искусства.

ховато и сдержанно; что-то в атмосфере дома, в общем впечатлении от него — хотя она вряд ли сумела бы определить, что именно, — удерживало ее от желания блистать. Само это место, обстановка, сочетание собравшихся здесь лиц явно заключало в себе больше, чем лежало на поверхности; она должна попытаться дойти до сути, она не станет мило произносить банальные любезности. Где ей было знать, что большинство женщин как раз стали бы произносить банальные любезности, чтобы под их покровом заняться пристальными наблюдениями. К тому же нельзя не признаться, ее гордость была несколько уязвлена. Человек, о котором ей говорили в выражениях, возбуждавших к нему интерес, и который, несомненно, умел быть обходительным, попросил ее, молодую леди, отнюдь не щедрую на милости, посетить его дом. Она пришла, и теперь на него, естественно, ложилась обязанность думать о том, как ее занять. Изабелла не стала менее взыскательной, тем паче, мы полагаем, более снисходительной, заметив, что Озмонд выполняет эту свою обязанность с меньшим рвением, чем того следовало ожидать. Ей казалось, что он говорит про себя: «Как глупо было навязываться с приглашением!..».

— Ну, если он примется показывать вам все свои побрякушки, — сказала графиня Джемини, — да еще рассказывать о каждой из них, вы отправитесь домой усталая до смерти.

— Этого я ке страшусь. Пусть я устану, зато по крайней мере чему-то научусь.

— Боюсь, не очень многому. Но моя сестра решительно не желает ничему учиться.

— О да, сознаюсь, это так. Не хочу я больше ничего знать — я и так слишком много знаю. Чем больше человек знает, тем он несчастнее.

— Нехорошо так неуважительно говорить о пользе знаний при Пэнси. Ведь она еще не кончила курс наук! — улыбаясь, вставила мадам Мерль.

— Ну, Пэнси не повредишь, — сказал отец девочки. — Она — цветок, взращенный в обители.

— О, святая обитель, святая обитель! — вскрикнула графиня, и все ее оборки пришли в неистовое волнение. — Мне ли не знать, что такое обитель! Чему только там не учат: я сама цветок, взращенный в обители. Но я-то не притязаю на добродетель, а вот монахини, те — да. Понимаете, что я хочу сказать? — обернулась она к Изабелле.

Изабелла не была в этом вполне уверена; она

ответила в том смысле, что не умеет следить за ходом споров. Графиня заявила, что сама их не выносит, не в пример брату, которому только бы спорить.

— Что до меня, — сказала она, — одно мне нравится, другое не нравится: не может же все нравиться. И зачем непременно выяснять — никогда ведь не знаешь, к чему это может привести. Иной раз самые хорошие чувства бывают вызваны дурными причинами, а порою наоборот: причины хорошие, а чувства дурные. Понимаете, что я хочу сказать? Я знаю, чю мне нравится — а по какой причине, мне безразлично.

— Да, это очень важно — знать, что нравится, — сказала, улыбаясь, Изабелла, а про себя подумала, что знакомство с этим порхающим существом не сулит ее уму покоя. Если графиня возражала против споров, то Изабелле в этот момент они и подавно были не нужны, и она протянула руку Пэнси с отрадной уверенностью, что в этом жесте нельзя усмотреть даже намека на несогласие с кем бы то ни было. Гилберт Озмонд которого, видимо, коробил тон сестры, повернул разговор в другое русло. Он подсел к дочери, робко касавшейся пальчиками руки Изабеллы, и, постепенно притягивая к себе, заставил подняться со стула,

поставил перед собой и привлек на грудь, обхватив рукой ее хрупкий стан. Девочка не спускала с Изабеллы своих немигающих безмятежных глаз, не выражавших никаких чувств и словно зачарованных. Мистер Озмонд говорил о многих предметах — как сказала мадам Мерль, он умел быть обходительным, когда хотел, а сейчас, после легкого своего замешательства, не только хотел, но, видимо, поставил себе это целью. Мадам Мерль и графиня Джемини, расположившиеся чуть поодаль, беседовали в той непринужденной манере, какая свойственна людям, давно знакомым между собой и чувствующим себя друг с другом вполне свободно, однако Изабелла то и дело слышала, как после очередной реплики мадам Мерль графиня кидалась вылавливать уплывающий от нее смысл — совсем как пудель за брошенной в воду палкой. Казалось, мадам Мерль проверяла, как далеко та способна доплыть. Мистер Озмонд говорил о Флоренции, об Италии, об удовольствии жить в этой стране и об оборотной стороне этого удовольствия. Жизнь в Италии имела свои прелести и свои недостатки; недостатков было очень много; только иностранцы могли представлять себе весь этот мир романтическим. Он был бальзамом для людей,

оказавшихся неудачниками в социальном смысле — таковыми Озмонд считал тех, кто в силу тонкости своей души не сумел, как это называется, «чем-то стать»: здесь они могли сохранить ее, эту тонкость, и, при всей своей нищете, не подвергаться насмешкам — сохранить, как сохраняют фамильную драгоценность или родовое гнездо, не удобное для жилья и не приносящее дохода владельцу. Словом, жизнь в стране, где больше прекрасного, чем в любой другой, имеет свои преимущества. Многие впечатления можно получить только здесь. Правда, иные, весьма полезные для жизни, начисто отсутствуют, а некоторые оказываются на редкость дурного свойства. Зато время от времени встречается нечто настолько значительное, что искупает все остальное. При всем том Италия многих погубила, он и сам порою имел глупую самонадеянность думать, что был бы не в пример лучше, не проживи он здесь чуть ли не весь свой век. Эта страна делает вас праздным дилетантом, человеком второго сорта; здесь не на чем воспитать характер, выработать, так сказать, ту счастливую светскую и прочую «бойкость», которая сейчас господствует в Лондоне и Париже.

— Мы милые провинциалы, — говорил Оз-

монд, — и я вполне сознаю, что и сам заржавел, как ключ, который лежит без дела. Вот я беседую с вами и очищаюсь понемногу — нет, не сочтите, будто я дерзаю подумать, что способен отомкнуть такой сложный замок, каким мне кажется ваша душа. Но вы уедете, прежде чем я еще раз-другой увижусь с вами, и, возможно, я больше не увижу вас никогда. Горькая участь каждого, кто живет в стране, куда другие только наезжают. Плохо, когда эти люди не милы вам, но во сто крат хуже, когда они вам милы. Не успеешь расположиться к ним, как их и след простыл. Я так часто оставался ни с чем, что перестал сходиться с людьми, запретил себе поддаваться чужому очарованию. Вы собираетесь поселиться здесь — остаться здесь навсегда? Как это было бы чудесно! Да, ваша тетушка может служить тому гарантией, уж на нее-то можно положиться. О, она старая флорентийка — именно старая, а не какая-нибудь залетная птица. Она кажется мне современницей Медичи:[98] верно, видела, как

[98] Примечания: 98

Медичи — могущественная флорентийская семья, игравшая значительную роль в политической и культурной жизни Италии, особенно Флоренции, в XV–XVI вв.

сжигали Савонаролу[99] и, пожалуй, даже бросила несколько веток в костер. У нее лицо точь-в-точь как на старинных портретах: маленькое, сухое, резко очерченное; необычайно выразительное лицо, хотя и не меняющее выражения. Право, я мог бы показать вам ее портрет на одной из фресок Гирландайо.[100] Надеюсь, вы не обижаетесь на тон, каким я говорю о вашей тетушке? Мне кажется — нет. Или, может быть, все-таки обижаетесь? Уверяю вас, в моих словах нет и тени неуважения ни к ней, ни к вам. Я, поверьте, большой поклонник миссис Тачит.

Пока хозяин дома старался, не щадя сил, занять Изабеллу этим разговором в несколько интимной манере, она нет-нет да поглядывала на мадам Мерль, которая на этот раз отвечала на ее взгляды рассеянной Улыбкой, не таившей никаких неуместных намеков на успех нашей героини. Улучив момент, мадам Мерль предложила графине Джемини спуститься в сад, и та, поднявшись с места и встряхнув своим оперени-

[99] Примечания: 99

Савонарола Джироламо (1452–1498) — итальянский монах и проповедник; был сожжен на костре.

[100] Примечания: 100

Гирландайо ди Томмазо Бигорди Доменико (1449–1494) — итальянский живописец, работавший во Флоренции. Фрески Гирландайо включают портреты его современников.

ем, шурша и шелестя, направилась к дзери.

— Бедная мисс Арчер! — воскликнула она, сочувственно обозревая группу в другом конце комнаты. — Ее уже включили в семейный круг.

— Мисс Арчер не может не отнестись с сочувствием к семье, к которой принадлежишь ты, — отвечал мистер Озмонд, посмеиваясь, но, несмотря на оттенок иронии, в словах его звучала скорее добрая терпимость.

— Не знаю, что ты хочешь этим сказать! Но уверена, что наша гостья не видит во мне ничего дурного — разве что ты наговорил на меня всякой чепухи. Я лучше, чем он меня изображает, мисс Арчер, — продолжала графиня. — Я только порядком глупа и скучна. Ничего хуже он вам обо мне не сказал? О, в таком случае ваше общество на него благотворно действует. Он уже качал разглагольствовать на свои излюбленные темы? Имейте в виду, у моего братца в запасе несколько таких тем и толкует он о них a fond.[101] Так что, если он оседлал этого своего конька, вам лучше снять шляпку.

— Боюсь, излюбленные темы мистера Озмонда мне пока неизвестны, — сказала Изабелла,

---

[101] Примечания: 101
Зд. со всеми подробностями *(фр.)*.

вставая.

Графиня изобразила глубокую задумчивость, приложив правую руку кончиками пальцев ко лбу.

— Минутку! Сейчас я их вам назову: первая — Макиавелли, вторая — Виттория Колонна,[102] третья — Метастазио.[103]

— Ах, — сказала мадам Мерль, беря графиню под руку и чуть-чуть подталкивая к выходу, — со мной Озмонд никогда не ударяется в разговоры об истории

— С вами! — воскликнула графиня, удаляясь вместе с мадам Мерль. — Вы сами — Макиавелли, вы сами — Виттория Колонна.

— Сейчас мы услышим, что мадам Мерль еще и Метастазио, — смиренно вздохнул Гилберт Озмонд.

Изабелла встала, полагая, что тоже спустится в сад, но Озмонд явно не изъявлял желания куда-либо идти: он стоял, держа руки в карманах, а

---

[102] Примечания: 102

Колонна Виттория (1490–1547) — итальянская аристократка и меценатка, дружила с Микеланджело и другими крупнейшими деятелями культуры итальянского Возрождения.

[103] Примечания: 103

Метастазио Пьетро (1698–1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист; крупнейшие итальянские и французские композиторы XVIII в. пользовались его либретто для своих опер, что сделало Метастазио очень популярным.

его дочурка, подхватив отца под локоть, льнула к нему, и подняв глаза, смотрела то на него, то на Изабеллу. Изабелла с молчаливой готовностью предоставила Озмонду решать, где протекать их беседе; ей нравилось, как он разговаривает с ней, нравилось его общество: она чувствовала — в ее жизни завязывается новая дружба, а это чувство всегда вызывало в ней внутренний трепет. Сквозь открытую дверь просторной гостиной она видела, как мадам Мерль и графиня Джемини прогуливаются по шелковистому газону; отведя взгляд, Изабелла обвела им окружавшие ее вещи. Она ехала сюда с мыслью, что мистер Озмонд покажет ей свои сокровища: его картины и шкатулки и в самом деле выглядели сокровищами. И Изабелла направилась к одной из картин, чтобы получше ее рассмотреть, но не успела сделать и двух шагов, как услышала вопрос:

— Что вы скажете о моей сестре, мисс Арчер? — отрывисто спросил мистер Озмонд.

Она не без удивления взглянула на него.

— Я, право, затрудняюсь с ответом — я слишком мало ее знаю.

— Да, вы мало ее знаете, тем не менее не могли не заметить, что и знать особенно нечего. Что вы скажете о принятом между нами тоне? —

продолжал он с принужденной улыбкой. — Мне хотелось бы знать, как все это выглядит на свежий, непредвзятый взгляд. О, я знаю, вы скажете — вы слишком мало видели нас вместе. Конечно, все это было весьма мимолетно. Но приглядитесь, пожалуйста, в следующий раз, когда представится случай. Мне иногда кажется, мы опустились, живя в чужой нам среде, с чужими людьми, без обязанностей, без привязанностей, не имея ничего, что объединяло бы и поддерживало нас, — мы вступаем в брак с иностранцами, развиваем в себе не свойственные нам вкусы, пренебрегаем нашим естественным назначением. Позволю себе оговориться: все это я отношу скорее к себе, чем к своей сестре. Она настоящая леди — куда в большей степени, чем кажется. Она не очень счастлива, а так как не принадлежит к серьезным натурам, то и склонна представлять свое положение скорее в комическом, чем в трагическом свете. У нее ужасный муж, хотя не могу с уверенностью сказать, что она со своей стороны правильно ведет себя с ним. Но, согласитесь, дурной муж — тяжкий крест для женщины. Мадам Мерль не оставляет ее своими советами, но советовать моей сестре — все равно что давать ребенку словарь в надежде, что он выучит по

нему язык. Он найдет в нем слова, но не сумеет составить из них фразы. Моей сестре нужна грамматика, но, увы, у нее не грамматический ум. Простите, что докучаю вам такими подробностями. Моя сестра права: я ввожу вас в круг семьи. Позвольте, я сниму картину — вам здесь темно.

Он снял картину, поднес ее к свету, рассказал о ней много любопытного. Изабелла осмотрела и другие его сокровища; он давал пояснения, сообщая подробности, которые могли бы показаться занимательными молодой леди, приехавшей с визитом в погожий летний день. Его картины, его медальоны и гобелены представляли несомненный интерес, но, как очень скоро пришло на мысль Изабелле, наибольший интерес, независимо от этих шедевров, обступавших его со всех сторон, представлял собой их владелец. Он отличался от всех, с кем ей до сих пор случалось сталкиваться: большинство известных ей людей укладывалось в пять-шесть типов. Исключение составляли лишь немногие — например, она затруднилась бы определить, к какой разновидности отнести тетушку Лидию. Еще она, в общем, готова была признать — и то скорее из вежливости — известное своеобразие за мистером Гудвудом, кузеном Ральфом, Генриеттой Стэкпол,

лордом Уорбертоном, мадам Мерль. Впрочем, даже и они, стоило только присмотреться к ним поближе, подходили по своей сути под ту или иную знакомую ей категорию. Но она не знала такого класса, в котором мог бы занять место мистер Озмонд, — он стоял особняком. Мысли эти не сразу пришли ей в голову; они выстроились постепенно.» тот момент она только сказала себе, что эта «новая дружба» может оказаться весьма и весьма обещающей. На мадам Мерль тоже лежала печать исключительности, но до какой степени выигрывал в значительности отмеченный ею мужчина! Не столько то, что говорил и делал Озмонд, сколько то, что оставалось несказанным, обнаруживало, на взгляд Изабеллы, его необычность — словно один из тех знаков, которые он показывал ей на обратной стороне старинных тарелок или в углу картин шестнадцатого века. Он не стремился выделиться из общего ряда, но был не такой, как другие, хотя и не казался странным. Изабелла никогда еще не встречала человека столь утонченного. Оригинальна была его внешность, оригинальны и самые неуловимые проявления душевного склада. Густые мягкие волосы, резкие, словно обведенные контуром, черты, чистое лицо, яркий, но не грубый румя-

нец, на удивление ровная бородка и та легкость, та изящная стройность фигуры, когда малейшее движение руки превращается в выразительный жест, — все эти особенности его облика казались нашей впечатлительной героине свидетельствами глубины, благородства и, во всяком случае, сулили много интересного. Мистер Озмонд был, несомненно, взыскателен и разборчив — вероятно, даже капризен. Он повиновался своей тонкой чувствительности — возможно, даже чересчур; ему претила пошлая суета, он создал себе свой мир — отобранный, просеянный, упорядоченный — и жил в нем, размышляя об искусстве, красоте, о событиях прошлого. Он следовал собственному вкусу — пожалуй, только ему он и следовал, как отчаявшийся выздороветь больной прислушивается под конец лишь к советам своего поверенного, и это-то делало Озмонда столь непохожим на всех других. Нечто подобное было и в Ральфе — он тоже, казалось, видел смысл существования в умении ценить прекрасное, но у Ральфа это выглядело аномалией, каким-то смешным наростом, а у Озмонда проходило лейтмотивом его жизни, звучавшим в гармонии со всем остальным. Она, конечно, далеко не все в нем понимала, смысл его речей подчас ускользал от

нее. Например, что он имел в виду, называя себя провинциалом, — чего-чего, а провинциализма в нем не было и следа! Что это — безобидный парадокс, которым он мнил озадачить ее, или верх утонченности высокой культуры? Ну ничего, со временем она, конечно, разберется в нем, ей интересно в нем разобраться. Уж если провинциален он — это чудо гармонии, — в чем же тогда столичный лоск? Она могла задать этот вопрос, хотя и сознавала, что собеседник ее непомерно робок, но робость подобного сорта — робость от чутких нервов и тонкого понимания вещей — не мешала самой большой изысканности. Собстэенно, она скорее служила доказательством особых принципов и правил, иных, чем у пошлой толпы: Озмонду необходимо быть уверенным, что в схватке с толпой победа останется за ним! Он не принадлежал к числу самоуверенных господ, что с легкостью поверхностных натур охотно судят и рядят обо всех и вся; взыскательный к себе не меньше, чем к другим, многое от них требуя, он, надо думать, с достаточной иронией взирал на то, что сам способен был дать, — и это тоже было лишним доказательством того, что самонадеянностью он не страдал. Да и не будь он робок, не было бы и той постепенной, едва заметной, чудес-

ной перемены, которая так понравилась ей в нем и так ее заинтриговала. А этот внезапный вопрос — каково ее мнение о графине Джемини — означал только одно: Озмонд заинтересовался ею; вряд ли ему нужна помощь, чтобы разобраться в собственной сестре. А такой интерес к ней говорил о пытливости его ума — правда, жертвовать своей любознательности братскими чувствами — это, пожалуй, чересчур. Да, это самое странное из всего, что он сказал или сделал.

Кроме гостиной, где ее принимали, оказалось еще две, также уставленных всякими редкостными вещами, и она провела там не меньше четверти часа. Все эти вещи были в высшей степени любопытны и ценны, а мистер Озмонд по-прежнему любезнейшим образом исполнял свою роль чичероне и вел ее от одного шедевра к другому, не выпуская руки своей дочки. Его любезность поразила нашу героиню, недоумевавшую, зачем он так усердствует ради нее; под конец обилие красивых предметов и сведений о них стало даже угнетать ее. На этот раз с нее было достаточно; она уже не воспринимала того, что он говорил, и, хотя слушала, не отводя от него внимательного взгляда, думала совсем о другом. Она думала, что он, должно быть, считает

ее во всех отношениях сообразительнее, умнее, образованнее, чем она была на самом деле. Наверное, мадам Мерль любезно преувеличила ее достоинства — и очень жаль, рано или поздно он все равно увидит, как обстоит дело, и тогда, возможно, даже поняв, насколько она незаурядна, не примирится с тем, что так в ней ошибся. Она отчасти потому и устала, что силилась казаться именно такой, какой, ей думалось, ее изобразила мадам Мерль, и еще от страха (весьма для нее необычного) обнаружить — не то что бы незнание (это ее не слишком заботило), но дурной вкус. Она не простила бы себе, если бы высказала восхищение тем, чем, с его просвещенной точки зрения, ей не следовало бы восхищаться, или прошла мимо того, что поразило бы всякий подлинно развитый ум. Ей было бы нестерпимо сесть в лужу — в ту лужу, где, как она не раз видела (весьма полезный урок!), простодушно и нелепо барахтались многие женщины. И поэтому она тщательно следила и за тем, что ей надо сказать, и за тем, на что обратить внимание, а на что — не обратить; тщательнее, чем когда-либо до сих пор.

Когда они возвратились в гостиную, там уже был сервирован чай, но, так как две другие гостьи

не вернулись из сада, а Изабелла еще не успела полюбоваться открывшимся оттуда видом — главной достопримечательностью владений мистера Озмонда, — он без дальнейших промедлений повел ее к ним. Мадам Мерль и графиня Джемини распорядились, чтобы им вынесли стулья, а так как день был на редкость хорош, графиня предложила устроить чаепитие на открытом воздухе. Тотчас послали Пэнси отдать слуге соответственные приказания. Солнце уже опустилось низко, золотые тона сгустились, горы и лежащая у их подножья долина полысели багрянцем не менее ярко, чем другая, обращенная к закатным лугам, сторона. Все полнилось особым очарованьем. Стояла почти торжест-енная тишина, и простиравшийся перед ними ландшафт — и утонувшие в адах благородные склоны, и оживленная долина, и волнистые холмы, гнездящиеся повсюду жилища, свидетельства присутствия человека, — представал сейчас во всей своей совершенной гармонии и классической грации.

— Вам, кажется, понравилось здесь, и, пожалуй, можно надеяться, что вы возвратитесь в эти места, — сказал Озмонд, подводя Изабеллу к краю террасы.

— Я, несомненно, сюда вернусь, — отвеча-

ла она, — хотя вы и утверждаете, что жить в Италии — дурно. Как это вы сказали о нашем естественном назначении? А я вот не уверена, что пренебрегу своим назначением, если поселюсь во Флоренции.

— Назначение женщины — быть там, где ее больше всего ценят.

— Все дело в том, чтобы найти это место.

— Совершенно справедливо… и она часто тратит на эти поиски слишком много времени. И поэтому, когда ценишь женщину, надо прямо говорить ей об этом.

— Мне, во всяком случае, надо говорить об этом прямо, — улыбнулась Изабелла

— По крайней мере рад слышать, что вы подумываете, где осесть. Из разговоров с мадам Мерль у меня сложилось впечатление, что вам нравится кочевать. Кажется, она упомянула, что вы намереваетесь совершить кругосветное путешествие.

— О, я каждый день меняю свои намерения. Мне даже совестно.

— Помилуйте, отчего же? Строить планы — величайшее из удовольствий.

— Да, но это выглядит несколько легкомысленно. Человек должен что-то выбрать и уже держаться выбранного.

— В таком случае я легкомыслием не грешу.

— Разве вы никогда не строили планов?

— Строил. Но я составил свой план много лет назад и с тех пор всегда ему следую.

— Надо полагать, ваш план весьма пришелся вам по душе, — позволила себе заметить Изабелла.

— О, он предельно прост: жить как можно тише.

— Тише? — переспросила Изабелла

— Ни о чем не тревожиться, ни к чему не стремиться, ни за что не бороться. Смирить себя. Довольствоваться малым.

Он проговорил это с расстановкой, делая паузы между фразами, задумчиво глядя на Изабеллу с сосредоточенным видом человека, решившегося на признание.

— Вы полагаете, это просто? — спросила она с мягкой иронией.

— Да, это ведь не действия, а отрицание действия.

— Значит, ваша жизнь была отрицанием?

— Назовите ее утверждением, если вам так угодно. Она утверждала меня в моем безразличии. Заметьте — отнюдь не прирожденном, потому что от природы я вовсе *не таков.* В умыш-

ленном, добровольном отречении.

Она подумала, что, наверно, не понимает его, не знает, шутит ли он или говорит всерьез. Не может быть, чтобы такой человек, поразивший ее своей сдержанностью, вдруг пустился с ней в откровенности. Впрочем, не ее это дело, а откровенности эти ей интересны.

— Не вижу, зачем это нужно было — от всего отречься? — сказала она, помолчав.

— Потому что ничего иного мне не оставалось. У меня не было никаких перспектив: я был беден и не был гением. Даже таланта за мной не водилось: я рано познал себе цену. Зато с юности я был неимоверно взыскателен. Только два, от силы три человека вызывали во мне зависть: скажем, русский царь или турецкий султан. Иногда я завидовал папе римскому — пиетету, которым он пользуется. Если бы ко мне относились с таким же пиететом, я был бы в восторге, но, так как это невозможно, я решил вообще не гоняться за славой. Самый нищий джентльмен всегда может сам относиться к себе с пиететом, а, к счастью, при всей нищете я джентльмен. В Италии мне не нашлось занятия — даже борцом за ее свободу я

стать не мог.[104] Чтобы им стать, я должен был бы уехать из Италии, а мне слишком нравилась эта страна, чтобы ее покинуть, не говоря уже о том, что в целом я был вполне доволен здешними порядками и не жаждал никаких перемен. Вот я и прожил тут много лет, следуя тому плану тихой жизни, о котором уже сказал. И вовсе не чувствовал себя несчастным. Не стану утверждать, будто меня ничто не интересовало, но я свел свои интересы до минимума, четко ограничил их круг. События моей жизни были заметны разве что мне самому; скажем, купил задешево (дорого я, разумеется, платить не мог) старинное серебряное распятье или, как оно однажды случилось, обнаружил набросок Корреджо[105] на замазанной каким-то вдохновенным идиотом доске.

Эта история мистера Озмонда в его собствен-

---

[104] Примечания: 104

На протяжении всего XIX в., особенно после того как по решению Венского конгресса 1814–1815 гг. Италия попала под власть Австрии, итальянские патриоты вели борьбу за освобождение страны от иноземного ига. Во второй половине XIX в. эта борьба вылилась в освободительную войну под предводительством Джузеппе Гарибальди (1807–1882), которая к 1870 г. завершилась объединением Италии в единое государство. В борьбе за независимость и объединение Италии принимали участие многие представители других европейских стран и Америки.

[105] Примечания: 105

Корреджо (Антонио Аллегри да Корреджо, 1494–1534) — итальянский живописец периода Высокого Возрождения.

ном изложении прозвучала бы весьма сухо, если бы Изабелла безоговорочно ей поверила; но воображение нашей героини поспешило внести в нее человеческие черты, которых там, как ей думалось, не могло не быть. Его жизнь, конечно, переплеталась с другими жизнями больше, чем он о том захотел упомянуть; естественно, нельзя было и ожидать, что он станет касаться этой стороны. Пока она решила не давать ему повода для новых откровений: намекнуть, что он не все сказал, означало бы придать их отношениям более тесный и менее сдержанный, чем ей того хотелось, характер — и, собственно говоря, было бы недопустимо вульгарно. Он, несомненно, сказал достаточно. Все же она сочла уместным произнести несколько одобрительных слов, похвалив за то, что он так искусно сумел сохранить свою независимость.

— Что может быть приятнее такой жизни! — воскликнула она. — Отречься от всего, кроме Корреджо!

— А я своей судьбой вполне доволен. Не думайте — я вовсе не жалуюсь. Человек сам виноват, если не умеет быть счастливым.

Он взял высокую ноту; она спустила на несколько тонов ниже.

— Вы с самого начала здесь живете?

— Нет. Долгое время я жил в Неаполе, потом несколько лет в Риме. Но сюда переехал давно. Возможно, мне снова придется подумать о перемене места, найти себе другие занятия. Я должен думать теперь не только о себе: у меня подрастает дочь, и, возможно, Корреджо и распятия не будут так ей по сердцу, как мне. Придется делать то, что нужно для Пэнси.

— Вы не пожалеете об этом, — сказала Изабелла. — Она такая милая девочка.

— Ах, — проникновенно воскликнул Гилберт Озмонд, — Пэнси ангел! Она — величайшее мое счастье!

25

Пока длилась эта весьма задушевная беседа (затянувшаяся еще на некоторое время, после того как мы перестали следить за ней), мадам Мерль и ее собеседница, нарушив недолгое молчание, снова стали обмениваться репликами. В их позах сквозило затаенное ожидание, особенно заметное у графини, которая, как натура более нервная, не вполне владела искусством маскировать нетерпение. Чего ждали эти леди, было неясно — возможно, они и сами не представляли себе этого со всей отчетливостью. Мадам Мерль ждала, когда Озмонд, завершив tête-a-tête, вернет ей ее юную подругу, а графиня ждала потому, что ждала мадам Мерль. Впрочем, помешкав еще немного, графиня решила, что настало время выпустить коготки. Ее уже несколько минут разбирало неодолимое желание найти им применение. Брат ее как раз проследовал с Изабеллой в дальний конец сада.

— Надеюсь, вы не рассердитесь на меня, дорогая, — заметила графиня, проводив их взглядом и обращаясь к мадам Мерль, — если я скажу, что

не поздравляю вас.

— Охотно, так как понятия не имею, с чем меня надо поздравлять.

— Кажется, вы составили маленький план и весьма им довольны? — и графиня кивнула в сторону удалявшейся пары.

Мадам Мерль посмотрела в том же направлении, затем перевела безмятежный взгляд на собеседницу.

— Знаете, я как-то никогда не могу понять вас до конца, — заметила она с улыбкой.

— Когда хотите, вы лучше любого другого умеете все понять. Просто вы сейчас не хотите.

— Вы говорите мне такие вещи, какие никто себе не позволяет, — ухо, но беззлобно возразила мадам Мерль.

— То есть то, что вам не по вкусу? А Озмонд? Разве он всегда гладит вас по шерстке?

— В том, что говорит ваш брат, всегда есть смысл.

— Да, и подчас весьма ядовитый. Если вам угодно подчеркнуть, что я не так умна, как он, право, вы напрасно думаете, будто ваша уверенность в этом меня огорчает. Однако вам куда полезнее понять, о чем я говорю.

— Зачем? — спросила мадам Мерль. — Какой

мне в этом прок?

— А затем, что, если я не одобрю ваш план, вам стоит об этом знать: мое вмешательство может оказаться опасным.

Судя по виду мадам Мерль, она, возможно, готова была признать уместность таких соображений, но уже в следующее мгновение последовал невозмутимый ответ:

— Вы считаете меня более расчетливой, чем оно есть на самом деле.

— Я считаю — плохо не то, что вы рассчитываете каждый свой шаг, но что ошибаетесь в своих расчетах. Вот как сейчас.

— Вам, верно, пришлось самой немало рассчитывать, чтобы прийти к такому выводу.

— Нет, у меня не было времени. Я вижу эту девушку впервые. — сказала графиня. — Просто меня вдруг осенило. Она пришлась мне очень по душе.

— Мне тоже, — заметила мадам Мерль.

— У вас странный способ выражать свои добрые чувства.

— Помилуйте! Ведь я дала ей возможность познакомиться с вами.

— Это, разумеется, далеко не худшее из того, что с ней может случиться, — прострекотала

графиня.

Некоторое время мадам Мерль молчала. До чего же дурно воспитана эта графиня, какие низкие у нее понятия! Впрочем, это давно известно. И, не отрывая взора от лиловевшего вдали склона Монте Морелло, мадам Мерль погрузилась в раздумья.

— Моя дорогая, — сказала она, наконец, — советую вам не волноваться понапрасну. Дело, на которое вы намекаете, касается трех людей, которые знают, чего хотят, куда лучше, чем вы.

— Трех? Вас и Озмонда, конечно. А что, мисс Арчер тоже знает, чего она хочет?

— В той же мере, в какой и мы.

— В таком случае, — сказала графиня, просияв, — если я объясню ей, что в ее интересах сопротивляться вам, она сумеет отбиться.

— Отбиться? Какое грубее выражение! Разве ее пытаются принудить или обмануть?

— Вполне возможно. Вы на все способны — вы и Озмонд. Озмонд сам по себе — нет, вы сами по себе — тоже нет, но вместе вы опасны — вроде какого-нибудь химического соединения.

— Стало быть, вам лучше оставить нас в покое, — улыбнулась мадам Мерль.

— Я и не собираюсь до вас касаться, но с этой

девушкой я поговорю.

— Бедная моя Эми, — проворковала мадам Мерль. — Что за вздор вы забрали себе в голову!

— Я хочу ей помочь — вот что я забрала себе в голову! Она мне нравится.

— Я не уверена, что вы ей нравитесь, — сказала мадам Мерль, помолчав.

Блестящие глазки графини расширились, лицо исказила гримаса:

— А вы и *впрямь* опасны — даже сами по себе!

— Если вы хотите, чтобы она хорошо относилась к вам, не оскорбляйте при ней вашего брата, — сказала мадам Мерль.

— Полагаю, вы не станете утверждать, что, поговорив с ним два раза, она влюбилась в него.

Мадам Мерль кинула быстрый взгляд на Изабеллу и хозяина дома. Он стоял лицом к гостье, прислонясь к парапету и скрестив на груди руки, а она, видимо, была поглощена не только созерцанием ландшафта, хотя и не отрывала от него взор В тот миг, когда мадам Мерль посмотрела на нее, Изабелла вдруг потупила глаза; она слушала, возможно, с некоторым смущением, опираясь на ушедший острием в землю зонтик. Мадам Мерль поднялась со стула.

— Да, я убеждена в этом! — заявила она.

Обтрепанный слуга, тот самый, за которым посылали Пэнси, совсем еще мальчик, — его ливрея так выцвела и весь облик был так своеобразен, что, казалось, он возник из неизвестного наброска старинного мастера, где его «запечатлела» кисть Лонги[106] или Гойи,[107] — вынес столик и поставил его на траву; затем возвратился в дом и снова появился уже с чайным прибором, еще раз исчез и вернулся с двумя стульями. Пэнси, с живейшим интересом наблюдавшая за этими манипуляциями, стояла, сложив ручки на своем коротеньком платьице, но не пыталась помочь. Однако, когда стол был накрыт, она тихонько подошла к тетушке.

— Как вы думаете, папа не рассердится, если я сама приготовлю чай?

Графиня осмотрела племянницу нарочито критическим взглядом и, не отвечая на вопрос, спросила:

— Это что — твое лучшее платье, бедное мое дитя?

---

[106] Примечания: 106

Лонги Пьетро (1702–1785) — итальянский живописец, мастер жанровых сцен.

[107] Примечания: 107

Гойя Франсиско (1746–1828) — испанский живописец. В панно Гойи для королевской шпалерной мануфактуры внесено много сцен из повседневной народной жизни.

— Нет, — отвечала Пэнси, — это так, простой toilette для обычных случаев.

— Значит, визит твоей тетки — обычный случай? Не говоря уже о визите мадам Мерль и этой прелестной леди, которая стоит вон там.

Обдумывая ответ, Пэнси очень серьезно обвела глазами всех поименованных особ. Затем лицо ее вновь озарилось светлой улыбкой.

— У меня есть парадное платье, но оно тоже совсем простое. Зачем же мне надевать его, если оно все равно не будет иметь вида рядом с вашим великолепным нарядом?

— Затем, что оно у тебя самое красивое. Ты должна надевать для меня все самое красивое, что у тебя есть. И в следующий раз изволь его надеть. Мне кажется, тебя недостаточно хорошо одевают.

Девочка любовно расправила свою детскую юбочку.

— Зато в этом удобно заваривать чай — разве нет? Вы думаете, папа не станет сердиться?

— Затрудняюсь тебе сказать, дитя. Взгляды твоего отца для меня загадка. Мадам Мерль в этом лучше разбирается. Спроси-ка у *нее.*

Мадам Мерль улыбнулась со своей неизменной благожелательностью.

— Это сложный вопрос — надо подумать По-моему, твой отец будет только рад, если его заботливая дочурка приготовит чай. Это входит в обязанности маленькой хозяйки — когда она становится взрослой.

— По-моему, тоже, мадам Мерль! — воскликнула Пэнси. — Я приготовлю очень вкусный чай — вот увидите. Положу по чайной ложке на каждую чашку.

И она захлопотала у столика.

— Мне — две ложки, — заявила графиня, которая, как и мадам Мерль, еще несколько минут наблюдала за девочкой. — Послушай, Пэнси, — вдруг сказала она после паузы, — что ты думаешь о твоей гостье?

— Она не моя — она папина, — возразила Пэнси.

— Мисс Арчер приехала и к тебе, — сказала мадам Мерль.

— Да? Я очень рада. Она была со мной очень мила.

— Стало быть, она тебе нравится? — спросила графиня.

— О, она — прелесть, прелесть, — проговорила Пэнси особенно нежным светским голоском. — Она мне чудо как понравилась.

— А твоему папе? Как ты думаешь — она ему тоже понравилась?

— Право же, графиня… — пробормотала мадам Мерль предостерегающе. — Пойди, позови их чай пить, — сказала она девочке.

— Мой чай им непременно понравится! Вот увидите! — воскликнула Пэнси и побежала звать отца и Изабеллу, все еще беседовавших у края террасы.

— Коль скоро вы прочите мисс Арчер ей в матери, мне думается, не безынтересно узнать, нравится ли она девочке, — сказала графиня.

— Если ваш брат пожелает жениться вторично, то не ради Пэнси, — ответила мадам Мерль. — Ей в ближайшее время минет шестнадцать, и не мачеха ей понадобится, а муж.

— А мужа вы ей тоже предоставите?

— Я, несомненно, постараюсь, чтобы она удачно вышла замуж. Как и вы, надеюсь.

— Вот уж нет! — воскликнула графиня. — Уж кто-кто, а я-то знаю, что такое замужество. В моих глазах ему не высока цена.

— Вы вышли замуж неудачно. Вот почему я об этом и говорю. Когда я произношу слово «муж», я имею в виду хорошего мужа.

— Таких не бывает. Озмонд не будет хорошим

мужем.

Мадам Мерль на мгновение закрыла глаза.

— Вы чем-то очень раздражены, — вдруг сказала она. — Не знаю, право, чем. Но я убеждена, что вы не станете возражать, если в свое время ваш брат женится или племянница выйдет замуж. Что касается Пэнси, то, не сомневаюсь, мы, когда придет пора, вместе будем иметь удовольствие приискивать ей мужа. Ваши знакомства придутся здесь очень кстати.

— Да, я раздражена, — отвечала графиня. — Вы часто меня раздражаете. От вашего хладнокровия с ума можно сойти. Вы — поразительная женщина!

— Нам лучше действовать заодно, — проговорила мадам Мерль.

— Это что? Угроза? — спросила графиня, вставая.

Мадам Мерль покачала головой с таким видом, словно подтрунивала над ней:

— Да, вам действительно не хватает моего хладнокровия!

Изабелла и Озмонд не спеша приближались к ним; Изабелла держала Пэнси за руку.

— И вы утверждаете, будто верите, что она будет с ним счастлива? — спросила графиня.

— Если Озмонд женится на мисс Арчер, он, полагаю, будет вести себя как джентльмен.

Графиня судорожно задвигалась, переменив несколько поз.

— Как большинство джентльменов, хотите вы сказать? Вот уж действительно одолжил бы! Да, Озмонд, слов нет, джентльмен, мне, его сестре, об этом не надобно напоминать. Но неужели он полагает, что ему ничего не стоит жениться на любой девушке — на любой, какая ему приглянется? Слов нет, он джентльмен, только, смею сказать, в *жизни* — да, да, в жизни — не встречала человека, у которого было бы столько претензий. А на чем они основаны — не знаю. Я ему родная сестра и уж, поверьте, знала бы, если было бы что знать. Кто он такой, позвольте спросить? Что такого совершил? Будь он отпрыском знаменитого рода — теки в его жилах голубая кровь, — мне, я полагаю, было бы об этом известно. Если бы наша семья прославилась подвигами или как-нибудь иначе отличилась. я бы первая кричала об этом на всех углах: такие вещи весьма по мне. Но ведь ничего же не было — ровным счетом ничего. Слов нет — наши родители были прелестные люди, но такими же, без сомнения, были и ваши. Нынче все — прелестные люди. Даже я попала в это чис-

ло; не смейтесь — мне недавно буквально так и сказали. Что же до Озмонда, он всю жизнь ходит с таким видом, будто он прямой потомок богов.

— Говорите, что хотите, — возразила мадам Мерль, которая внимала этому потоку красноречия с достаточным вниманием, хотя глаза ее глядели в сторону, а руки оправляли оборки на платье, — но вы, Озмонды, — благородный род, и кровь ваша, должно быть, течет из очень чистого источника. И ваш брат — человек незаурядного ума — убежден, что это так, хотя и нет тому доказательств. Пусть из скромности вы не хотите это признать, но вы и сами очень аристократичны. А ваша племянница? Это же маленькая принцесса! И тем не менее, — заключила мадам Мерль, — Озмонду будет не просто добиться руки мисс Арчер. Но его право попробовать.

— Надеюсь, она ему откажет. Это немного собьет с него спесь.

— Не будем забывать, что ваш брат — один из глубочайших людей на свете.

— Вы мне это уже не раз говорили, но я так и не обнаружила, что он все-таки сделал.

— Что он сделал? Он не сделал ничего, что пришлось бы переделывать. И умел ждать.

— Ждать денег мисс Арчер? Кстати, сколько у

нее на счету?

— Я не это имела в виду, — возразила мадам Мерль. — А на счету у мисс Арчер семьдесят тысяч фунтов.

— Жаль, что она так мила, — заявила графиня. — Для этой жертвы сгодилась бы любая девица. А она на голову выше других.

— Не будь она выше других, ваш брат и не взглянул бы на нее. Он должен иметь все самое лучшее.

— О да, — подтвердила графиня, когда они уже шли навстречу приближающейся группе. — Ему нелегко угодить. Оттого-то я и трепещу за счастье вашей протеже.

26

Гилберт Озмонд стал бывать у Изабеллы, иными словами, в палаццо Кресчентини. У него имелись там и другие знакомые, которым — как миссис Тачит, так и мадам Мерль — он всегда оказывал должное внимание; но первая из поименованных дам не преминула отметить, что за истекшие две недели сей джентльмен наведывался в ее дом пять раз, и тотчас сравнила этот факт с другими, вспомнить каковые ей не составило труда. До сей поры дань, которую Озмонд платил достоинствам миссис Тачит, не превышала двух визитов в год, к тому же они никогда не падали на те, регулярно повторявшиеся, периоды, когда под ее кровом гостила мадам Мерль. Стало быть, он бывал не ради мадам Мерль: эти двое были давними знакомыми, и ради нее он не стал бы себя утруждать. К Ральфу он не питал приязни — это ей сказал сам Ральф, — и трудно было предположить, что Озмонд вдруг воспылал нежностью к ее сыну. Ральф оставался невозмутим: он прикрывался какой-то мешковатой учтивостью, болтавшейся на нем, как сшитое не

по мерке пальто, которое он тем не менее носил, не снимая; он считал Озмонда человеком превосходно воспитанным и изъявлял готовность в любое время оказывать ему гостеприимство. Однако он не льстил себя мыслью, что визитами этого гостя обязан его желанию загладить прежнюю несправедливость; он читал сложившуюся ситуацию с достаточной четкостью. Озмонда привлекла Изабелла, и, по совести говоря, с полным основанием. Он был знатоком, любителем всего изысканного, и столь редкостное явление, естественно, его заинтересовало Поэтому, когда миссис Тачит поведала сыну, что ей ясно, о чем думает мистер Озмонд, Ральф ответил, что придерживается одного с ней мнения Миссис Тачит уже давно отвела этому джентльмену место в скудном списке своих знакомств, хотя и смутно удивлялась, с помощью каких ходов и уловок, разумеется неприметных и обдуманных, он всюду успешно проникает. Частыми посещениями он ее не утомлял и, значит, не грозил превратиться в обузу, но более всего к нему располагало то, что он так же явно мог обходиться без нее, как и она без него, — а это, неведомо почему, всегда казалось миссис Тачит достаточным основанием, дабы позволить свести с собою знакомство.

Однако ее вовсе не тешило, что сей джентльмен взял себе в голову жениться на ее племяннице. Для Изабеллы такой брак был бы просто чудовищной глупостью! Миссис Тачит не забыла, как эта юная особа отказала пэру Англии; и вот теперь девушка, которую не смог завоевать лорд Уорбертон, удовлетворится неким безвестным американским дилетантом, вдовцом средних лет с нелепой дочкой и сомнительным доходом! Нет, это не укладывалось в представлении миссис Тачит о том, что такое успех. Напомним, кстати, эта леди смотрела на брак не с чувствительной, а с деловой стороны — точка зрения, в пользу которой многое что говорит. «Надеюсь, ей не придет в голову блажь его слушать», — сказала она сыну. Но Ральф ответил, что слушать для Изабеллы — одно дело, а отвечать другое, и насколько ему известно, она уже дважды выслушивала, как сказал бы отец, другую договаривающуюся сторону, но, в свою очередь, заставила и ту кое-что выслушать. Ральф упивался мыслью, что знает Изабеллу всего несколько месяцев и вот опять станет свидетелем того, как очередной поклонник будет дожидаться милости у ее ворот. Она хотела узнать жизнь, и судьба шла ей в этом навстречу: вереница блестящих джентль-

менов, один за другим преклонявших пред ней колени, предоставляла не худшие возможности удовлетворить ее желание. Ральф предвкушал удовольствие увидеть четвертого, пятого, десятого рыцаря, штурмовавшего эту твердыню; он отнюдь не думал, что она остановится на третьем. Она откроет ворота и снизойдет до переговоров, но, конечно же, не позволит номеру третьему переступить порог. Примерно в подобном стиле он изложил свои соображения миссис Тачит, которая смотрела на него во все глаза, словно сын танцевал перед ней джигу. Он говорил столь образно и витиевато, что с тем же успехом мог бы обратиться к ней на языке жестов, на котором общаются между собой глухонемые.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать, — заявила миссис Тачит. — Ты употребляешь слишком много образных выражений, а с аллегориями я всегда была не в ладу. Я больше всего уважаю два слова — «да» и «нет». Если Изабелла захочет выйти за Озмонда, твои сравнения ее не остановят. Пусть уж сама подберет себе подходящие для этого случая. О молодом американце я мало что знаю, но вряд ли она день и ночь вспоминает о нем, да и он, подозреваю, давно устал ее ждать. Ничего не помешает Изабелле выйти за Озмонда,

если ей заблагорассудится взглянуть на него с определенной точки зрения. Ну и пускай: я первая считаю — пусть каждый делает то, что ему по вкусу. Но у нее странный вкус — она способна выйти замуж за Озмонда ради его прекрасных речей или потому, что ему принадлежит автограф Микеланджело. Она, видите \и, не хочет быть корыстной; можно подумать, опасность впасть в этот грех грозит ей одной. Посмотрим, насколько бескорыстным будет он, когда получит возможность тратить ее денежки. Она носилась с этой мыслью еще до смерти твоего отца, а сейчас совсем на ней помешалась. Ей следует выйти замуж за человека, чье бескорыстие несомненно, а рассеять все сомнения здесь может только то обстоятельство, что у ее избранника будут собственные средства.

— Дорогая матушка, я не разделяю ваших опасений, — отвечал на это Ральф. — Изабелла всех нас дурачит. Она, конечно, сделает то, что ей нравится, но ведь можно изучать человеческую натуру вблизи, не теряя при этом своей свободы. Кузина только-только вступила на путь исследований, и не думаю, чтобы ей захотелось тут же сойти с него по знаку какого-то Озмонда. Она, возможно, сбавила ход на час-другой, но не успеем

мы оглянуться, как уже снова помчится на всех парах. Прошу прощения за очередную метафору.

Метафору миссис Тачит, пожалуй, простила, но мнения своего не стала менять; во всяком случае, не настолько, чтобы не сообщить о своих опасениях мадам Мерль.

— Вы всегда все знаете, — сказала она, — стало быть, вам и это должно быть известно: как вы считаете, этот странный субъект и впрямь увивается вокруг моей племянницы?

— Гилберт Озмонд? — раскрыла свои ясные глаза мадам Мерль и, вникнув в суть дела, воскликнула: — Помилуйте! Откуда такая мысль?!

— А вам она не приходила на ум?

— Возможно, я очень глупа, но, признаюсь, — нет. Интересно, — добавила она, — а приходила ли она на ум Изабелле?

— Что ж, я задам этот вопрос ей самой, — заявила миссис Тачит.

Но мадам Мерль остановила ее:

— Зачем же вкладывать ей это в голову? Уж если кого спрашивать, так мистера Озмонда.

— Этого я не могу, — возразила миссис Тачит. — Я вовсе не жажду услышать в ответ — а он с его гонором, да притом еще, что Изабелла сама себе госпожа, вполне на это способен — мне-то какое

дело.

— Я сама его спрошу, — храбро заявила мадам Мерль.

— А вам, — скажет *он*, — какое дело?

— Решительно никакого; поэтому-то я и могу позволить себе задать ему подобный вопрос. Мне настолько нет до этого дела, что он вправе осадить меня, отговорившись любым путем. Но вот именно по тому, как он это сделает, я до всего и дознаюсь.

— О, прошу вас поделиться со мной плодами ваших дознаний, — сказала миссис Тачит. — С ним, правда, я не могу поговорить, зато по крайней мере могу поговорить с Изабеллой.

— Не спешите объясняться с ней. — В голосе мадам Мерль прозвучала предостерегающая нотка. — Не воспламеняйте ее воображение!

— Я ни разу в жизни не пыталась воздействовать на чье-то воображение. Но у меня такое чувство, будто она предпринимает что-то — ну, скажем, не в моем духе.

— Вам такой брак не понравился бы, — обронила мадам Мерль с интонацией, вряд ли подразумевавшей вопрос.

— Разумеется! Какие тут могут быть сомнения? Мистеру Озмонду решительно нечего ей пред-

ложить.

Мадам Мерль снова погрузилась в молчание; глубокомысленная улыбка еще очаровательнее, чем обычно, приподняла левый уголок ее губ.

— Ну, как сказать. Гилберт Озмонд все-таки не первый встречный. В подходящих обстоятельствах он вполне может произвести весьма благоприятное впечатление и, насколько мне известно, не раз уже производил.

— Не вздумайте рассказывать мне о его любовных приключениях — сплошь рассудочных, надо полагать; меня они не интересуют! — воскликнула миссис Тачит. — Ваши слова отлично объясняют, почему я хочу, чтобы он прекратил свои визиты. У него, насколько я знаю, ничего нет — разве что десяток-другой полотен старых мастеров и эта кривляка-дочка.

— Старые мастера сейчас весьма в цене, — сказала мадам Мерль, — ну а дочка его совсем юное, совсем невинное и безответное создание.

— То есть совершенно бесцветное существо. Вы это хотели сказать? Состояния у нее нет и, стало быть, по здешним нравам, нет и никакой надежды выйти замуж, а потому Изабелле пришлось бы либо содержать ее, либо снабдить приданым.

— Может быть, ей захочется обласкать бедняж-

ку. По-моему, девочка ей нравится.

— Тем больше оснований желать, чтобы Озмонд прекратил свои визиты. А то не пройдет и недели, как моя племянница, чего доброго, вообразит, будто ее жизненная миссия — доказать, что мачехи способны на самоотвержение. Ну а чтобы доказать это, надобно для начала самой стать мачехой.

— Из нее вышла бы очаровательная мачеха, — улыбнулась мадам Мерль. — Однако я вполне разделяю ваше мнение: в выборе цели жизни лучше не спешить. Изменить ее так же сложно, как форму носа. То и другое занимает слишком видное место в нашем существовании: первое — определяет характер, второе — лицо, и, чтобы переменить их, пришлось бы вернуться к истокам. Впрочем, я все разузнаю и сообщу.

Эти разговоры велись за спиной Изабеллы, нимало не подозревавшей о том, что ее отношения с Озмондом стали предметом обсуждений. Мадам Мерль не проронила ни слова, которое могло бы ее насторожить: она упоминала имя Озмонда не чаще, чем имена прочих джентльменов, коренных флорентийцев и заезжих, которые в большом числе являлись в палаццо Кресчентини выразить почтение тетушке мисс Арчер.

Сама Изабелла находила Озмонда интересным — первоначальное ее впечатление подтвердилось, и ей нравилось думать о нем. Из поездки на вершину холма она унесла с собой некий образ, который дальнейшее знакомство с Озмондом не только не перечеркнуло, но, напротив, привело в полную гармонию с тем, что она предполагала или угадывала и что составляло как бы рассказ внутри рассказа — образ тихого, умного, тонко чувствующего, достойного человека; он прогуливался по мшистому уступу над чудесной долиной Арно, держа за руку девочку, чей чистый, как колокольчик, голосок сообщал новое очарование поре, именуемой детством. Картина эта не поражала пышностью, но Изабелле нравились ее приглушенные тона и разлитая в ней атмосфера летних сумерек. Эта картина говорила о таком повороте человеческой судьбы, который более всего трогал Изабеллу: о выборе, сделанном между предметами, явлениями, связями — какое название придумать для них? — мало значащими и значительными, об уединенном, отданном размышлениям существовании в прекрасной стране; о старой ране, все еще дававшей о себе знать; о гордости, быть может, и чрезмерной, но все же благородной; о любви к красоте

и совершенству, столь же естественной, сколь и изощренной, под знаком которой прошла вся эта жизнь — жизнь, похожая на классический итальянский сад с его правильно разбитыми перспективами, ступенями, террасами и фонтанами, где непредусмотренной была лишь роса естественного, хотя и своеобразного отцовского чувства, тревожного и беспомощного. В палаццо Кресчентини Озмонд оставался все тем же: был застенчив — да, да, он, несомненно, робел, — но исполнен решимости (заметной только сочувственному взгляду) совладать с собой, а совладав с собой, начинал говорить — свободно, оживленно, весьма уверенно, несколько резко и всегда увлекательно. Он говорил, не стараясь блистать, что только красило его речь. Изабелла с легкостью верила в искренность человека, выказывавшего все признаки горячей убежденности, — например, он так открыто, с таким изяществом радовался, когда поддерживали его позицию, особенно, пожалуй, если поддерживала Изабелла. Ее по-прежнему привлекало и то, что, занимая ее беседой, он, в отличие от многих других, кого она слышала, не старался «произвести эффект». Он выражал свои мысли, даже самые необычные, так, словно свыкся и сжился с ними,

словно это были старые отполированные набалдашники, рукоятки и ручки из драгоценных материалов, хранимые, чтобы при случае поставить их на новую трость — не на какую-нибудь палку, срезанную с обычного дерева, которой пользуются по необходимости, зато размахивают чересчур элегантно. Однажды он привез с собой свою дочурку, и эта девочка, подставлявшая каждому лоб для поцелуя, живо напомнила Изабелле ingénue[108] французских пьес. Такие маленькие особы Изабелле еще не встречались: американские сверстницы Пэнси были совсем иными, иными и английские девицы. Пэнси была в совершенстве воспитана и вымуштрована для того крошечного места в жизни, которое ей предстояло занять, но душой — и это сразу бросалось в глаза — неразвита и инфантильна. Она сидела на диване подле Изабеллы в гренадиновой мантилье и серых перчатках — немарких перчатках об одну пуговку, подаренных мадам Мерль. Лист чистой бумаги — идеальная jeune fille[109] иностранных романов. Изабелла всем сердцем желала, чтобы эту превосходную глад-

---

[108] Примечания: 108
инженю *(фр.).*

[109] Примечания: 109
девушка *(фр.).*

кую страницу украсил достойный текст. Графиня Джемини также посетила Изабеллу, но с графиней дело обстояло совсем иначе. Она отнюдь не казалась чистым листом; сия поверхность была густо испещрена надписями, выполненными различными почерками, и, если верить миссис Тачит, вовсе не польщенной этим визитом, носила явные следы клякс. Посещение графини привело к спору между хозяйкой дома и ее гостьей из Рима: мадам Мерль (у которой хватало ума не раздражать людей, во всем поддакивая им) позволила себе — и весьма удачно — изъявить несогласие с миссис Тачит, и хозяйка милостиво разрешила гостье эту вольность, поскольку и сама широко ею пользовалась. Миссис Тачит считала наглостью со стороны этой столь скомпрометированной особы явиться среди бела дня в палаццо Кресчентини, где к ней — как ей давно уже было известно — относились без малейшего уважения. Изабеллу не преминули ознакомить с мнением, которое утвердилось в доме ее тетушки о сестре мистера Озмонда: означенная леди так дурно управляла своими страстями, что грехи ее перестали даже прикрывать друг друга — а уж меньше этого нельзя требовать от приличного человека! — и ее без того потрепанная

репутация превратилась в сплошные лохмотья, в которых неприлично было показываться в свете. Она вышла замуж по выбору матери — весьма предприимчивой особы, питавшей слабость к иностранным титулам, каковую ее дочь, в чем нельзя не отдать ей должное, в настоящее время, очевидно, уже не разделяет, — за итальянского графа, который, возможно, дал ей некоторые поводы пытаться утолить охватившее ее бурное возмущение. Однако графиня утоляла его слишком бурно, и перечень послуживших тому поводов намного уступал числу ее похождений. Миссис Тачит ни за что не хотела принимать графиню у себя, хотя та с давних пор пыталась ее умилостивить. Флоренция не отличалась суровостью нравов, но, как заявила миссис Тачит, где-то нужно провести черту.

Мадам Мерль защищала злополучную графиню с большим жаром и умом. Она отказывалась понимать, почему миссис Тачит отыгрывается на этой женщине, которая никому не сделала зла и даже делала много хорошего, хотя и дурными путями. Слов нет, где-то нужно провести черту, но уж если проводить ее, то прямо: между тем рубеж, за которым оставалась графиня Джемини, был весьма извилист. В таком случае пусть мис-

сис Тачит вовсе закроет свой дом, и это, право, наилучший выход, коль скоро она собирается оставаться во Флоренции. Нужно быть справедливым и не допускать произвола в выборе. Графиня, разумеется, вела себя опрометчиво — не то что другие, умные женщины. Она доброе существо, но отнюдь не умна, однако с каких пор этот недостаток закрывает двери в порядочное общество? К тому же о ней уже давно не слышно ничего такого, а лучшее доказательство того, насколько она сожалеет о былых ошибках — желание войти в кружок миссис Тачит. Изабелла не могла внести свой вклад в сей интересный спор, даже в роли терпеливой слушательницы, и удовлетворилась тем, что очень радушно приняла эту незадачливую леди, которая при всех своих недостатках обладала одним несомненным достоинством — была сестрой мистера Озмонда. Изабелле нравился брат, и она считала необходимым сделать все от нее зависящее, чтобы ей понравилась и сестра: при всей сложности данных обстоятельств Изабелла не утратила способности к простейшим умозаключениям. При первом знакомстве, на вилле, графиня не произвела на нашу героиню приятного впечатления, и теперь Изабелла благодарила судьбу,

пославшую ей случай исправить ошибку. Разве мистер Озмонд еще тогда не сказал, что сестра его вполне респектабельная особа? Такое утверждение, исходившее от Озмонда, было не слишком осмотрительно, но мадам Мерль навела на его слова подобающий глянец. Она сообщила Изабелле о бедной графине много больше, чем ее брат, посвятив нашу героиню в историю ее замужества и его последствий. Граф происходил из древнего тосканского рода, но располагал столь скудными средствами, что был рад заполучить Эми Озмонд, несмотря на ее сомнительную красоту — не мешавшую, однако, ее успехам — и то скромное приданое, какое давала за ней ее мать, приданое, составившее примерно такую же сумму, как и отошедшее к ее брату отцовское достояние. Позднее, правда, граф унаследовал кое-какой капитал, и теперь супруги жили в достатке — по итальянским понятиям, — хотя Эми чудовищно сорила деньгами. Граф оказался грубым животным, и его поведение служило его жене оправданием. Детей у нее не было: хотя она родила троих, ни один не дожил до года. Матушка ее, весьма кичившаяся своим тонким образованием, публиковавшая дидактические вирши и посылавшая письма об Италии в английские еженедельники, умер-

ла спустя три года после замужества дочери, а отец, затерявшийся где-то в рассветном сумраке американского предпринимательства, но слывший человеком некогда богатым и неистовым, скончался еще раньше. По мнению мадам Мерль, нетрудно было заметить, что обстоятельства эти сказались на Озмонде, — заметить, что он воспитан женщиной, однако — и это следует поставить ему в заслугу — явно куда более здравомыслящей, чем американская Коринна[110], как, к огромному ее удовольствию, иногда величали миссис Озмонд. После смерти мужа она привезла детей в Италию и миссис Тачит помнила ее такой, какой она была в первый год по приезде. Тетушка Изабеллы отзывалась о ней как об особе с невероятными претензиями, каковое суждение говорило лишь о непоследовательности самой миссис Тачит, ибо, как и миссис Озмонд, она всегда одобряла браки по расчету. С графиней вполне можно водить знакомство: она вовсе не такая пустельга, какой кажется на первый взгляд,

[110] Примечания: 110

Коринной называли известную французскую писательницу Жермену де Сталь (1766–1817), сыгравшую видную роль в становлении французского романтизма. В своих романах «Дельфина» (1802) и «Коринна, или Италия» (1807) мадам де Сталь провозглашала право женщины на любовь по свободному выбору, протестовала против социальных предрассудков и ханжества господствующей морали.

и, чтобы иметь с ней дело, следует соблюдать простейшее правило: не верить ни единому ее слову. Мадам Мерль всегда мирилась с ней ради ее брата, ценившего малейшее внимание к Эми, хотя он прекрасно понимал (если дозволено признаться в этом за него), что она не делает чести их родовому имени. Ему, естественно, претили ее манеры, ее громогласность, эгоизм, проявления дурного вкуса и, главное, лживость; она действовала ему на нервы и отнюдь не принадлежала к тем женщинам, какие *ему* нравились. Какие женщины ему нравились? О, во всем противоположные графине Джемини — те, для которых истина всегда священна. Изабелла, разумеется, не могла знать, сколько раз ее гостья всего за полчаса погрешила против истины; напротив, она показалась нашей героине неуместно откровенной. Говорила графиня почти исключительно о себе — как она жаждет сблизиться с мисс Арчер; как благодарила бы судьбу за настоящего друга, какие низкие люди флорентийцы; как опротивел ей этот город; как бы ей хотелось жить в другом месте — Париже, Лондоне, Вашингтоне; как трудно, просто невозможно, купить в Италии что-то элегантное, разве что старинные кружева; как все безумно вздорожало; какой страдальческой

и тяжкой жизнью она живет. Мадам Мерль с интересом выслушала эти излияния в передаче Изабеллы, но и без ее рассказа не ощутила бы беспокойства. В общем она не боялась графини и могла позволить себе соответственно держаться, а это и было наилучшей линией поведения.

Тем временем к Изабелле пожаловала новая гостья, покровительствовать которой, даже за ее спиной, было делом весьма нелегким. Генриетта Стэкпол, покинувшая Париж вскоре после отъезда миссис Тачит в Сан-Ремо и одолевшая, по ее выражению, города северной Италии, появилась на берегах Арно в середине мая. Мадам Мерль сразу же оценила ее и, обозрев с головы до ног, после короткого приступа отчаяния решила с ней примириться. Более того, она решила ею насладиться. Если не как розой, чей аромат приятно вдыхать, то как сорняком, который приятно искоренить. Мадам Мерль разнесла Генриетту в пух и прах, но весьма добродушно, чем показала, что, предвидя подобную широту взгляда, Изабелла верно судила об уме своей старшей подруги. Весть о прибытии Генриетты Стэкпол принес мистер Бентлинг: он приехал из Ниццы, ожидая встретить мисс Стэкпол во Флоренции, меж тем как она в это время все еще была в Венеции, и

явился в палаццо Кресчентини посетовать на постигшее его разочарование. Двумя днями позже объявилась и сама Генриетта, которой мистер Бентлинг несказанно обрадовался, в чем не было ничего удивительного, если вспомнить, что они не виделись с того дня, как совершили поездку в Версаль. Все понимали комизм его положения, но только Ральф Тачит, уединившись с гостем в своих апартаментах, позволил себе удовольствие, пока тот курил сигару, поиронизировать вслух над презабавной историей американской всезнайки и ее британского поклонника. Последний принял его шутки с полным благодушием и откровенно признался, что в отношениях с мисс Стэкпол его увлекает их глубокая интеллектуальность. Мисс Стэкпол ему чрезвычайно нравится; у нее, насколько он мог судить, поразительная голова на плечах, и он находит большую прелесть в обществе женщины, которая позволяет себе не думать о том, что кто скажет и как будут выглядеть ее поступки со стороны, их поступки — а *они* кое-что себе позволяли! Мисс Стэкпол была совершенно безразлична к тому, как что выглядит, а раз так — с какой стати волноваться ему? К тому же его разбирает любопытство: ему хочется знать, неужели она *всегда* будет столь же

безразлична? Он решил идти до того предела, до которого пожелает пойти она — во имя чего он должен был отступаться первый?

Генриетта же и не думала отступаться. Со времени отъезда из Англии дела ее пошли на лад, и сейчас она в полную меру наслаждалась предоставившимися ей богатыми возможностями. Правда, ей пришлось расстаться с надеждой познакомиться с частной жизнью жителей Европейского континента: социальные барьеры оказались там еще более непреодолимыми, чем в Англии. Зато на континенте существовала уличная жизнь, которая открыто и прямо давала о себе знать на каждом углу и которую было куда легче использовать в литературных целях, чем быт и нравы этих непроницаемых островитян. На континенте, по меткому замечанию самой мисс Стэкпол, занавеси смотрели на улицу лицевой стороной, а в Англии — тыльной, что не давало должного представления об их узоре. Такое открытие всегда ранит сердце историка, но Генриетта, отчаявшись добраться до скрытого внутри, перенесла свое внимание на видимое снаружи и уже два месяца изучала в этом плане жизнь Венеции, откуда слала в «Интервьюер» подробнейшие описания гондол, площади Св.

Марка, Моста вздохов, голубей и юного лодочника, напевавшего октавы Тассо.[111] И хотя в «Интервьюере», возможно, ждали большего, зато Генриетта по крайней мере познакомилась с Европой. В настоящий момент она спешила в Рим, дабы посетить его до малярийного сезона. Генриетта, очевидно, полагала, что сезон этот открывается в точно назначенный день, и поэтому не хотела задерживаться во Флоренции более чем на несколько дней. В Рим ее сопровождал мистер Бентлинг, который, на что Генриетта особенно упирала в разговоре с Изабеллой, уже бывал там и как человек военный, к тому же получивший классическое образование — он, сказала мисс Стэкпол, воспитывался в Итоне, где изучают только латынь и Уайэта Мелвилла,[112] — будет

---

[111] Примечания: 111

Площадь Св. Марка — центральная площадь в Венеции; Мост вздохов — мост, связывающий Дворец дожей со зданием тюрьмы; Тассо Торкват (1544–1595) — итальянский поэт, автор лирических и эпических поэм «Ринальдо» (1562), «Аминта» (1573), «Освобожденный Иерусалим» (1575) и др. Все перечисленное включает те итальянские, особенно венецианские, достопримечательности, которые многократно описывались американскими журналистами и очеркистами в путевых заметках об Италии.

[112] Примечания: 112

Итон — закрытое учебное заведение для мальчиков из аристократических семей. Уайэт-Мелвилл Джордж Джон (1821–1878) — третьестепенный английский романист, выпускник Итона. Ирония американской журналистики направлена на то, что в Итоне изучают мертвый язык — латынь — и Уайэта-Мелвилла, а не Германа Мелвилла (1819–1891),

американского романиста, автора романов «Белый бушлат» (1850), «Моби Дик или белый кит» (1852), «Израэль Поттер» (1855), достойных войти в сокровищницу мировой литературы.

ей очень полезен в городе цезарей. И тут у Ральфа явилась счастливая мысль предложить Изабелле тоже совершить паломничество в Рим, взяв его в провожатые. Она, правда, собиралась провести там часть будущей зимы — ну так что ж, ей будет только полезно осмотреться заранее. До конца мая — прелестного месяца мая, бесценного для всех влюбленных в Рим, — оставалось еще десять дней. Изабелла, конечно, влюбится в Рим — в этом не могло быть сомнений. Сама судьба посылает ей надежную спутницу, чье общество в силу того, что у этой леди немало других обязанностей, не будет, надо думать, слишком обременительным. Мадам Мерль останется с миссис Тачит: уехав на лето из Рима, она не выражает желания возвращаться туда. Действительно, мадам Мерль не раз заявляла, что наслаждается во Флоренции покоем; квартиру свою она заперла, а кухарку отправила домой, в Палестрину. Что же касается Изабеллы, то мадам Мерль принялась уговаривать ее принять приглашение Ральфа, убеждая, что нельзя пренебрегать такой прекрасной возможностью познакомиться с Римом. Впрочем, Изабеллу и не нужно было уговаривать, и четверо путешественников собрались в путь. На этот раз миссис Тачит примирилась с отсутствием

дуэньи: она, как мы помним, склонялась к мысли, что ее племяннице пора стоять на собственных ногах. Но среди прочих приготовлений Изабелла не преминула свидеться с мистером Озмондом и рассказать ему о своем намерении поехать в Рим.

— Как бы я хотел быть там с вами, — отозвался он. — Как бы хотел видеть вас в этом неповторимом городе.

— Так поезжайте тоже, — сказала она, не задумываясь.

— Но с вами будет тьма народу.

— Да, — согласилась Изабелла, — конечно, я буду там не одна.

Он ничего не отвечал.

— Вам понравится Рим, — сказал он наконец. — Его сильно изуродовали, но все равно вы будете от него без ума.

— Изуродовали? Бедный вечный город! Вселенская Ниобея.[113] Но разве от этого он должен мне не понравиться?

— Нет, не думаю. Его слишком часто порти-

---

[113] Примечания: 113

Вселенская Ниобея. — Вселенской Ниобеей (Ниобеей наций) называет Рим великий английский поэт Джордж Гордон Байрон (1788–1824) в поэме «Чайльд Гарольд» (Песня 4-я, строфа 79). Рим, лишенный былых прав, как Ниобея, лишенная детей оплакивает своих знаменитых сыновей.

ли, — улыбнулся он. — Я бы поехал, но что мне делать с Пэнси.

— Вы не могли бы оставить ее с кем-нибудь на вилле?

— Мне бы этого не хотелось. Правда, там есть одна добрая старушка, которая смотрит за ней. Гувернантка мне не по средствам.

— Тогда возьмите Пэнси с собой, — предложила Изабелла.

Озмонд с грустью взглянул на нее.

— Она провела в Риме всю зиму, в монастыре, да и мала она еще для увеселительных прогулок.

— Вы не торопитесь вывозить ее? — спросила Изабелла.

— По-моему, молоденькую девушку лучше держать от света подальше.

— Меня воспитывали в иных принципах.

— Вас? Ну, вам это пошло на пользу, потому что вы… это вы. Вы особенная.

— Я? Почему? — запротестовала Изабелла, хотя и не была уверена, что ее собеседник так уж неправ.

Мистер Озмонд уклонился от объяснений и продолжал:

— Если бы я полагал, что поездка в приятном обществе сделала бы ее такой, как вы, я завтра же

повез бы ее в Рим.

— Не надо делать ее такой, как я, — сказала Изабелла. — Оставьте ее такой, какая она есть.

— Я мог бы отослать ее к сестре, — обронил мистер Озмонд.

Казалось, он ждал от Изабеллы совета; ему, по-видимому, доставляло удовольствие обсуждать с мисс Арчер свои домашние дела.

— Конечно, — согласилась Изабелла. — Вот где ей меньше всего грозит опасность стать такой, как я.

Вскоре после отъезда Изабеллы Озмонд встретился с мадам Мерль у графини Джемини. Они были не одни; в гостиной графини, как всегда, было полно народу и разговор шел общий, однако, выждав немного, Озмонд поднялся со своего места и пересел на низкий пуф, стоящий чуть позади стула мадам Мерль.

— Она хочет, чтобы я поехал с нею в Рим, — проговорил он вполголоса.

— С нею в Рим?

— И пробыл там, пока она там будет. Она сама это предложила.

— Полагаю, это значит, что вы предложили, а она изъявила согласие.

— Разумеется, я навел ее на эту мысль. Но она и

сама непрочь, очень непрочь.

— Счастлива это слышать… но не торопитесь бить в литавры. А вот в Рим поезжайте непременно.

— Н-да, — сказал Озмонд, — немало у меня хлопот из-за этой вашей идеи.

— Только не притворяйтесь, что она вам не по вкусу. До чего же вы неблагодарны! Вас уже много лет ничто так не занимало.

— Вот как вы на это смотрите! Превосходно! — сказал он. — Как же мне не благодарить вас!

— Благодарите, но в меру, — улыбнулась мадам Мерль, откидываясь на спинку стула и обводя глазами комнату. — Вы произвели прекрасное впечатление, и, насколько могу судить, ваше впечатление не менее отрадно. Не для меня же вы семь раз посетили дом миссис Тачит.

— Да, девушка недурна, — бесстрастно подтвердил Озмонд.

Мадам Мерль взглянула на него и решительно поджала губы.

— И это все, что вы можете сказать о столь очаровательном существе?

— Все? Разве этого мало? Вы не часто слышали, чтобы я о ком-нибудь так отзывался.

Она ничего не ответила, хотя по ее виду можно

было заключить, что они ведут обычный светский разговор.

— Вы непостижимы! — пробормотала она наконец. — Я содрогаюсь при мысли о том, в какую бездну я ее толкаю.

Казалось, это замечание развеселило его:

— Вам нет пути назад — вы слишком далеко зашли.

— Прекрасно. Но остальное уже ваше дело.

— Несомненно, — сказал Гилберт Озмонд.

Мадам Мерль промолчала, и он снова поднялся и переменил место, однако, когда она собралась уходить, он тоже стал прощаться. Экипаж миссис Тачит ждал ее гостью во дворе; Озмонд подсадил в него мадам Мерль и остановился возле, не отпуская ее.

— Вы неосторожны, — сказала она усталым голосом. — Вам не следовало уходить вместе со мной.

Он снял шляпу и провел рукой по лбу.

— Я всегда забываю, отвык, знаете ли.

— Вы непостижимы, — повторила она, бросив взгляд на окна дома — современной постройки в новой части города.

Он оставил ее слова без внимания и заговорил о том, что не выходило у него из мыслей.

— Она и вправду очень хороша. Я, пожалуй, не встречал женщины грациознее.

— Я рада, если это так. Чем больше она нравится вам, тем лучше для меня.

— Она очень мне нравится. Точно такая, какой вы ее описали, и к тому же, мне кажется, способна на истинную преданность. У нее лишь один недостаток.

— Какой же?

— Чересчур много идей.

— Я предупреждала вас — она умна.

— К счастью, никуда негодных, — продолжал он.

— Отчего же «к счастью»?

– *Оттого,* сударыня, что ей придется расстаться с ними!

Мадам Мерль откинулась на спинку сиденья и, глядя прямо перед собой, приказала кучеру трогать, но Озмонд все еще не отпускал ее.

— Что мне делать с Пэнси, если я решу ехать в Рим?

— Я буду навещать ее, — сказала мадам Мерль.

27

Нет надобности подробно описывать, как отозвалось в душе моей героини величие Рима, с каким трепетом ступала она по мостовой Форума и как билось ее сердце на пороге храма Св. Петра. Достаточно сказать, что вечный город вызвал у нее именно те чувства, какие и следовало ожидать от столь впечатлительной и непосредственной натуры. Изабелла всегда любила историю — здесь же история жила в камнях мостовой, в брызгах солнечного света. Ее воображение воспламенялось от одного упоминания о великих деяниях — здесь же всюду, куда ни повернись, стояли свидетели этих деяний. Все это не могло не волновать Изабеллу, но ее волнение не выливалось наружу. Прежде словоохотливая, Изабелла теперь часто молчала, что не укрылось от ее спутников, и Ральф Тачит, который, казалось, с равнодушным и рассеянным видом посматривал по сторонам, на самом деле с удвоенным вниманием наблюдал за ней. По собственным своим меркам Изабелла была очень счастлива и, наверно, охотно признала бы эти

часы счастливейшими в своей жизни. Мысли о страшном человеческом прошлом бременили ей душу, но порою в них врывалось ощущение живого сегодняшнего дня, и тогда у нее словно вырастали крылья, готовые поднять ее в поднебесье. В ее голове все так перепуталось, что она и сама вряд ли знала, какое из этих двух настроений овладеет ею в следующую минуту, и непрерывно пребывала в безмолвном экстазе созерцания, зачастую видя в тех предметах, на которые смотрела, куда больше, чем в них заключалось, и не видя многие достопримечательности, отмеченные в ее Марри.[114] Недаром Ральф говорил, что Рим открывает свои тайны только тем, кому доступны минуты особого душевного подъема. Толпы перекликавшихся туристов рассеялись, и величавые памятники Рима вновь обрели свое величие. Небо полыхало синевой, и шелест фонтанов в поросших мхом мраморных нишах уже не сулил прохлады, но звучал особенно мелодично. На уличных перекрестках, залитых и прогретых солнцем, валялись букетики цветов. В тот день — третий по приезде в Рим — наши

[114] Примечания: 114

Марри — путеводитель, названный так по имени издательской фирмы, выпускавшей в середине XIX в. серию справочников и путеводителей по различным странам.

друзья отправились на Форум осмотреть раскопки, которые уже давно велись там, захватив немалую территорию. Спустившись по современной улице к Священной дороге, они пошли по ней, с разной долей почтения взирая вокруг. Генриетта Стэкпол, например, поражалась тому обстоятельству, что мостовые древнего Рима мало чем отличались от нью-йоркских, и даже находила сходство между все еще различимыми, некогда глубокими бороздами, проложенными посреди старинных улочек античными колесницами, и оглушительно звонкими рельсовыми колеями, воплощавшими всю стремительность американской жизни. Солнце клонилось к западу, в воздухе таяла золотистая дымка, и длинные тени от полуразбитых колонн с еле обозначенными основаниями прорезали неоглядное поле руин. Генриетта пошла бродить с мистером Бентлингом, который таял от восторга, когда она называла Цезаря «прытким молодчиком», а Ральф принялся давать Изабелле подробные объяснения, специально подготовленные им для ее внимательные ушей. Один из археологов — из той нищей братии, что всегда снует по Форуму, — не замедлил навязать им свои услуги и отрапортовал положенный урок с беглостью,

которая нимало не пострадала оттого, что сезон подходил к концу. Он не преминул привлечь внимание наших друзей к раскопкам, шедшим в дальнем конце Форума, присовокупив, что, если signori будет угодно пройти и взглянуть на них поближе, они, несомненно, увидят там много примечательного. Предложение это соблазнило больше Ральфа, нежели Изабеллу, утомившуюся от долгой прогулки, и, уговорив кузена удовлетворить свое любопытство и пройти туда одному, она осталась ждать его возвращения. И это место, и это время дня отвечали настрою ее души, и ей хотелось насладиться ими в одиночестве. Ральф послушно последовал за чичероне, а Изабелла присела на опрокинутую колонну, лежащую неподалеку от подножья Капитолия. Ей хотелось немного побыть одной, но наслаждаться уединением довелось ей недолго. При всем интересе нашей героини к обступавшим ее щербатым останкам древнего Рима, изъеденным веками и все же сохранившим столько живого своеобразия, мысли ее, поблуждав недолго среди этих реликвий, перенеслись в силу сцеплений и связей, которые не легко проследить, на области и предметы, обладавшие большей притягательностью. От канувшего в прошлое Рима до будущего

мисс Арчер — расстояние огромное, но воображение Изабеллы перемахнуло его единым скачком и теперь витало в более близких и многообещающих пределах. Потупив взор на уложенные в ряд, растрескавшиеся, но по-прежнему крепко вбитые в землю плиты, простиравшиеся у ее ног, она так увлеклась своими мыслями, что не расслышала шума приближавшихся шагов и только тогда очнулась от раздумий, когда чья-то тень упала на площадку, к которой был прикован ее взгляд. Подняв глаза, она увидела джентльмена — но это был не Ральф, который, осмотрев раскопки, вернулся бы со словами «какая адская скука!». Господин, представший ее взору, был поражен не меньше, чем она: обнажив голову, он замер, взирая на ее заметно побледневшее от изумления лицо.

— Лорд Уорбертон?! — вырвалось у Изабеллы, и она встала.

— Я никак не ожидал, что это вы. Забрести сюда совсем случайно — и вот, встретить вас!

— Я не одна! Мои спутники только что отлучились, — как бы объясняя, сказала Изабелла и посмотрела вокруг. — Ральфу захотелось взглянуть на раскопки.

— Вот как, — произнес лорд Уорбертон, об-

ращая рассеянный взор в ту сторону, куда она показала. Он уже оправился от неожиданности и, вновь обретя душевное равновесие, видимо, хотел пусть мягко, но дать ей это почувствовать.

— Не хочу мешать вам, — закончил он, опуская взгляд на простертую колонну, на которой она только что сидела. — Вы, наверно, устали.

— Да, немного устала, — и, помолчав, Изабелла снова присела на колонну. — Не хочу нарушать ваши планы.

— Помилуйте, я здесь один, а дел и вовсе никаких. Мне, знаете ли, и в голову не могло прийти, что вы — в Риме. Я и сам тут проездом — возвращаюсь с Востока.

— Да, ведь вы давно путешествуете, — сказала Изабелла, знавшая об этом от Ральфа.

— Уже с полгода. Я уехал из Англии вскоре после нашей последней встречи. Был в Турции, в Малой Азии и вот позавчера приехал сюда из Афин. — Он уже избавился от скованности, но держался все же недостаточно свободно и, только посмотрев на нее долгим изучающим взглядом, заговорил в присущей ему естественной манере. — Мне лучше уйти? Или можно побыть с вами?

— Зачем же уходить, — милостиво проронила Изабелла. — Я очень рада видеть вас, лорд Уор-

бертон.

— Благодарю вас, вы очень добры. Позволите сесть?

На каннелированном стволе колонны, облюбованном Изабеллой, достало бы места для нескольких человек, вполне хватило его и для одного, даже обремененного столь многими достоинствами англичанина. Этот великолепный представитель блистательной касты поместился возле нашей героини и в следующие пять минут задал ей наугад несколько вопросов, ответы на которые, судя по тому, как часто он переспрашивал, не всегда достигали его слуха; он также сообщил кое-какие сведения о себе, которые отнюдь не прошли мимо ее более уравновешенного женского ума. Он повторял, что не ожидал ее встретить — признание, несомненно говорившее о том, как полезно ему было бы подготовиться к такому волнующему свиданию. Сказав что-то о произвольности иных совпадений, он тут же стал говорить о глубоком их смысле, признав их пленительность, но заметил, что они все равно ни к чему не ведут. Он превосходно загорел, даже в густой его бороде играли отблески жаркого аравийского солнца. Свободная, разномастная одежда, характерная для путешествующего

англичанина, имеющего обыкновение руководствоваться только соображениями комфорта и ни при каких обстоятельствах не поступаться национальным своеобразием, была ему к лицу; спокойный взгляд красивых глаз, золотистый оттенок кожи, проступавший даже под темным загаром, мужественная осанка, сдержанные манеры — весь этот облик джентльмена-исследователя чуждых стран обличал в нем достойный образец британской расы, который в любых широтах не посрамил бы высокой репутации своих соотечественников в глазах тех, кто к ним привержен. Все это не ускользнуло от внимательных глаз Изабеллы, и она не без удовольствия отметила про себя, что он ей всегда нравился. Несмотря на постигший его удар, он не утратил ни одного из тех достоинств, что составляют, так сказать, неотъемлемую собственность старинных родов — собственность, чей состав, равно как и атрибуты, не подвластен обычным житейским невзгодам и может быть сокрушен разве что мировым катаклизмом. Разговор, естественно, коснулся всего по порядку: смерти мистера Тачита, здоровья Ральфа, того, как Изабелла провела зиму, ее поездки в Рим и скорого возвращения во Флоренцию, ее планов на лето и гостиницы, где она

стояла; в свою очередь, лорд Уорбертон рассказал о своих приключениях, путешествиях, намерениях, впечатлениях и нынешнем пристанище. Затем наступила пауза, более красноречивая, чем предшествовавшая беседа, — пауза, после которой заключительная фраза лорда Уорбертона была, пожалуй, излишней:

— Я много раз писал вам.

— Писали? Я не получила ни одного письма. [ч]

— Я ни одного не отослал. Все их сжег.

— Вот это мило! — рассмеялась Изабелла. — Вы предпочли избавить меня даже от этой заботы.

— Мне казалось, они вам ни к чему, — сказал он с такой простотой, что это не могло не тронуть Изабеллу. — Я полагал, что не вправе докучать вам моими письмами.

— Напротив, я была бы только рада. Вы же знаете, как я желала, чтобы… — и она осеклась: облеченная в слова, ее мысль прозвучала бы слишком банально.

— Я знаю, что вы хотели сказать: «как я желала, чтобы мы навсегда остались друзьями», — эта фраза прозвучала в его устах необычайно ходульно, но он как раз и стремился подчеркнуть ее банальность.

Изабелла не нашлась сказать ничего лучшего,

чем: — Пожалуйста, не нужно об этом… — хотя и понимала, что вряд ли исправила положение.

— Согласитесь, это слабое для меня утешение! — с глубоким чувством воскликнул лорд Уорбертон.

— А я и не думаю вас утешать! — ответила она и, внешне невозмутимая, не без торжества мысленно вернулась к тому дню, полгода назад, когда ее ответ так сильно задел его. Да, пусть он подкупающее мил, влиятелен, полон рыцарских чувств, пусть лучше него никого не сыскать, но ответ ему остается прежним.

— И хорошо делаете: вам все равно меня не утешить, — донеслось до Изабеллы сквозь волну подымающегося в ее душе неизъяснимого ликования.

— Мне хотелось снова встретить вас, потому что я считала, что могу быть уверенной — кто-кто, а вы не станете пытаться дать мне почувствовать, будто я сделала вас несчастным. Но раз вы взяли этот тон, право, мне скорее больно, чем приятно видеть вас. — И она встала — маленькая королева! — ища глазами своих спутников.

— У меня и в мыслях не было вас в чем-то обвинять, да мне и не в чем вас обвинять. Я только хочу, чтобы вы знали… я должен вам это сказать,

хотя бы из чувства справедливости к самому себе. Больше я к этой теме не вернусь. Мое признание в прошлом году не было сделано под влиянием минуты; чувство к вам захватило меня целиком. Я пытался забыть вас — всеми силами, всеми средствами. Пытался увлечься другой женщиной. Я говорю вам об этом, чтобы вы не думали, будто я не делал того, что должно. Но попытки мои не увенчались успехом. Я ведь и за границу поехал для того, чтобы быть как можно дальше от вас. Говорят, в путешествиях рассеиваешься, но меня они не рассеяли. С тех пор как мы расстались, я не переставал думать о вас. Чувства мои не изменились. Я по-прежнему люблю вас и готов слово в слово повторить то, что сказал тогда. И сейчас, разговаривая с вами, я ловлю себя на том, что, к несчастью, ваше очарование имеет надо мной необоримую власть. Вот и все… Простите, я не могу вам это не сказать. И больше не стану докучать вам. Я все сказал. Позволю себе только добавить, что, когда четверть часа назад неожиданно наткнулся на вас, я, сознаюсь, как раз думал, где вы и как бы мне об этом узнать.

Он уже овладел собой, а к концу своей речи обрел полное спокойствие. Можно было подумать, что он выступает в одном из парламентских

комитетов и, докладывая о важном деле, изредка справляется с запиской, спрятанной в шляпе, которую все еще держал в руке. И будь перед ним комитет, его доводы, надо полагать, возымели бы должное действие.

— Я тоже часто вспоминаю вас, лорд Уорбертон, — отвечала Изабелла. — И поверьте, всегда буду вспоминать, — и помедлив, добавила любезным тоном, стараясь позолотить пилюлю: — В этом же нет никакого вреда ни для той, ни для другой стороны.

Они прошлись немного; Изабелла не преминула осведомиться о его сестрах, попросив передать им, что интересовалась ими. Он больше не касался больного для обоих места, переведя разговор на менее скользкие и более спокойные темы, но между прочим спросил, когда Изабелла уезжает из Рима и, услышав, что это произойдет еще не очень скоро, откровенно обрадовался.

— Что-то я не пойму, — удивилась Изабелла. — Вы же сказали, что здесь только проездом.

— Да, но я вовсе не имел в виду миновать Рим, как какой-нибудь йоркширский железнодорожный узел. Проехать через Рим — значит остановиться на неделю, на две.

— Скажите уж прямо, что никуда не уедете,

пока не уеду я.

В его глазах мелькнула улыбка, секунду он словно изучающе вглядывался в ее лицо.

— А вам это не по вкусу. Боитесь, что придется видеть меня слишком часто.

— Мало ли что мне не по вкусу. Не могу же я требовать, чтобы из-за меня вы покинули этот дивный город. Но, признаться, я вас боюсь.

— Боитесь, что я вновь примусь за старое? Клянусь вам, буду держать себя в узде.

Замедлив шаг, они остановились и постояли, повернувшись друг к Другу.

— Бедный лорд Уорбертон! — сказала Изабелла с сочувствием, которое в равной мере относилось к ним обоим.

— Воистину бедный! Но он будет держать себя в узде!

— Если вам угодно страдать — на здоровье, но не смейте заставлять страдать *меня.* Я все равно вам не поддамся.

— Если бы я думал, что сумею заставить вас страдать, то, пожалуй, дерзнул бы попробовать. — Она шагнула вперед; он вслед за ней: — Не сердитесь, я больше не скажу вам ничего такого.

— Хорошо. Но если нарушите слово — нашей

дружбе конец.

— Может быть, когда-нибудь… погодя… вы позволите мне?…

— Позволю заставить меня страдать?

Он не сразу ответил:

— Позволите снова сказать вам… — но оборвал фразу. — Простите, не буду больше, никогда не буду…

Осматривая раскопки, Ральф встретил там мисс Стэкпол с ее поклонником, и теперь, вынырнув из-за земляного вала и груды камней, окаймлявших широкую яму, все трое предстали перед Изабеллой и ее спутником. При виде приятеля Ральф не смог сдержать возглас радостного удивления, а Генриетта в полный голос воскликнула: «Ба! Да это тот самый лорд!». Пока Ральф и его сосед обменивались сдержанными приветствиями, какими обычно обмениваются после долгой разлуки англичане, мисс Стэкпол не сводила с загорелого путешественника своих широко распахнутых умных глаз. Наконец она решила, что настало время заявить о себе:

— А меня вы, наверно, не помните, сэр.

— Разумеется, помню, — сказал лорд Уорбертон. — Я приглашал вас посетить мой дом, но вы так и не пожаловали.

— Я езжу не во все дома, куда меня зовут, — холодно отрезала мисс Стэкпол.

— Что ж, не смею настаивать, — рассмеялся хозяин Локли.

— А вы посмейте, и я приеду к вам. Можете не сомневаться!

Лорд Уорбертон, при всей своей показной веселости, по-видимому, и не сомневался. Теперь и мистер Бентлинг, до сих пор стоявший в стороне, воспользовался случаем, чтобы поздороваться с его светлостью.

— О, и вы здесь, Бентлинг! — радушно откликнулся лорд Уорбертон и протянул ему руку.

— Вот как! — удивилась Генриетта. — Не знала, что вы знакомы.

— А вы полагаете, что знаете всех, с кем я знаком? — шутливо осведомился Бентлинг.

— Я полагала, англичанин не упустит случая объявить, что знаком с настоящим лордом.

— Просто Бентлинг меня стыдится, — снова рассмеялся лорд Уорбертон.

Изабелла порадовалась этой перемене в его настроении и с облегчением вздохнула, когда компания направилась домой.

На следующий день было воскресенье, и она провела утро, сочиняя два длинных письма —

одно сестре Лили, другое мадам Мерль, но ни в одном из этих посланий не обмолвилась и словом о том, что отвергнутый ею поклонник вновь появился на ее горизонте. По воскресеньям все истые римляне (а самые истые римляне — это, как правило, северные варвары) обыкновенно отправляются к вечерне в собор Св. Петра, и наши друзья тоже решили всем обществом посетить этот прославленный храм. Днем, за час до прибытия экипажа, в Hótel de Paris явился с визитом лорд Уорбертон, застав там только дам; Ральф Тачит и мистер Бентлинг вышли пройтись вдвоем. Лорд Уорбертон, по-видимому, желал показать Изабелле, что намерен блюсти данное накануне слово, и держался открыто и ровно — без тени настойчивости, без намека на затаенное упорство, — предоставляя ей судить самой, способен ли он быть ей просто другом. Он рассказывал о своих путешествиях, о Персии и Турции, и на вопрос мисс Стэкпол, «стоит» ли ей посетить эти страны, отвечал, что, по его убеждению, она найдет там благодатную почву для женской предприимчивости. Изабелла не могла не отдать ему должное, хотя и недоумевала, зачем он так старается и чего мнит добиться, доказывая ей высшую меру своей искренности. Если он пола-

гал растопить лед ее сердца, демонстрируя, какой он славный малый, то тратил время зря. Она и без того знала, что он обладает всем в высшей мере, и ему нет нужды усердствовать, чтобы дорисовать ей свой портрет. Напротив, его пребывание в Риме только досадно все усложняло, а она не любила сложностей, которые ей досаждали. Тем не менее, когда в конце визита он заявил, что тоже непременно будет у Св. Петра и непременно разыщет там Изабеллу и ее спутников, ей только и оставалось ответить ему любезным «как вам будет угодно».

Едва ступив на неоглядные мозаичные полы святого храма, Изабелла столкнулась с лордом Уорбертоном. Наша героиня не принадлежала к сонму рафинированных туристов, утверждающих, что собор «разочаровывает» и что он куда меньше, чем о том говорят; в первый же раз, когда она прошла под огромной кожаной завесой в центральном проеме, натянутой и колышущейся, в первый же раз, когда очутилась под высоко взнесенной полусферой купола среди рассеянного света, сочащегося сквозь марево ладана и рассыпающего блики на мраморе, позолоте, мозаиках и бронзе, ее представление о том, что такое величие, поднялось на головокружительную

высоту. И поднявшись, уже навсегда осталось в этом необъятном просторе. Изабелла смотрела и смотрела во все глаза и дивилась, словно ребенок, словно простая крестьянка, отдавая молчаливую дань восхищения возведенному в камне идеалу возвышенного. Лорд Уорбертон не отходил от нее ни на шаг и, не переставая, рассказывал о константинопольской Св. Софии, Изабелла же со страхом ждала, что он вот-вот скажет: «Видите, как примерно я веду себя». Служба еще не началась, но в соборе было на чем остановить глаз, а при огромном, чуть ли не святотатственном, размере нефа, предназначенного, надо полагать, столько же для мирских, сколько и духовных утех, находившиеся в нем богомольцы — кто в одиночку, кто группами, — равно как и праздные зеваки, могли каждый следовать своим побуждениям, не раздражая и не задевая друг друга. В этой величественной безмерности тонут любые всплески крикливой суетности. Впрочем, Изабелла и ее спутники ничем подобным не согрешили, и если Генриетта в силу честности своей натуры не могла не заявить, что творение

Микеланджело[115] уступает куполу вашингтонского Капитолия, она сообщила об этом открытии на ухо мистеру Бентлингу, воздержавшись от броских выражений, которые решила приберечь для полосы в «Интервьюере». Обойдя весь собор в сопровождении лорда Уорбертона, Изабелла приблизилась к хорам слева от входа и остановилась послушать папских певчих, чьи голоса взлетали даже над теснившейся за дверьми толпой. Они стояли с краю, не смешиваясь с людской массой, состоявшей из римских простолюдинов вперемежку с любопытствующими иностранцами, и слушали молитвенное пение. Ральф вместе с Генриеттой и мистером Бентлингом находился, по-видимому, внутри собора, где над морем колыхавшихся голов трепетали полосы дневного света, посеребренные клубами ладана, который, словно напитавшись торжественным гимном, устремлялся к высоким лепным оконным нишам. Наконец певчие умолкли, и лорд Уорбертон повернулся к Изабелле, приглашая ее совершить с ним еще один круг. Изабелле оставалось лишь исполнить его желание, но не успела она сделать

[115] Примечания: 115

Купол собора Св. Петра выполнен по проекту и под наблюдением великого итальянского архитектора, художника, скульптора и поэта Микеланджело Буонаротти (1475–1564).

и шага, как оказалась лицом к лицу с Гилбертом Озмондом, который, по-видимому, уже некоторое время стоял неподалеку от нее. Теперь он приблизился во всеоружии светской учтивости, особенно утонченной ввиду столь торжественного случая и места.

— Итак, вы все-таки решились приехать, — сказала она, протягивая ему руку.

— Да, я приехал вчера вечером и сегодня пополудни справлялся о вас в вашей гостинице. Мне сказали, что вы отправились сюда, и вот я здесь.

— Все наши тоже здесь, — поспешила сообщить Изабелла.

— Я приехал не ради них, — быстро проговорил Озмонд.

Изабелла отвела взгляд; лорд Уорбертон не сводил с них глаз; возможно, он слышал последнюю фразу. Изабелла вдруг вспомнила, что точно то же сказал ей он сам в то утро в Гарденкорте, когда явился просить ее Руки. Слова Озмонда вызвали краску на ее щеках, и воспоминание о Гарденкорте отнюдь не согнало с них румянец. Чтобы никого никому не выдать, она поспешила представить джентльменов друг другу; к счастью, в этот момент с хоров спустился мистер Бентлинг, с истинно британской доблестью расчищая путь

для мисс Стэкпол и Ральфа Тачита, следовавших за ним. Мое «к счастью», боюсь, здесь не совсем уместно, ибо, узрев джентльмена из Флоренции, Ральф Тачит не выказал особого удовольствия. Правда, он не нарушил приличия, не повернулся спиной и лишь заметил Изабелле с должной мягкостью, что вскоре сюда съедутся все ее друзья. Мисс Стэкпол, встречавшая мистера Озмонда во Флоренции, уже имела случай заявить Изабелле, что этот ее воздыхатель ничем не лучше всех остальных — мистера Тачита, лорда Уорбертона, вкупе с парижским ничтожеством, мистером Розьером.

— Не знаю, твоя ли тут вина, — не без удовольствия комментировала она, — но, при всей твоей привлекательности, тобой прельщаются весьма странные люди. Из всех твоих поклонников один мистер Гудвуд внушает мне симпатию, но именно его ты ни во что не ставишь.

— Как вам понравился собор? — осведомился тем временем мистер Озмонд у корреспондентки «Интервьюера».

— Огромен и великолепен, — соблаговолила ответить она.

— Даже чересчур огромен; в нем чувствуешь себя ничтожной пылинкой.

— А как еще может чувствовать себя человек в величайшем из храмов? — спросила она, довольная удачной фразой.

— Несомненно. Именно так и должен чувствовать себя везде тот, кто и сам есть ничтожество. Но, на мой вкус, чувствовать себя ничтожеством так же тягостно в церкви, как и в любом другом месте.

— О, вам, действительно, следует быть папой! — воскликнула Изабелла, припоминая кое-какие его прежние речи.

— Ничего не имею против! — ответил Гилберт Озмонд.

Меж тем лорд Уорбертон подошел к Ральфу Тачиту, и они отошли в сторону.

— Что это за господин беседует с мисс Арчер? — спросил он.

— Некто Гилберт Озмонд; он живет во Флоренции, — ответил Ральф.

— А что он еще?

— Ровным счетом ничего. Ах да! Он — американец. Я как-то всегда забываю об этом: уж очень непохож.

— Мисс Арчер с ним давно знакома?

— Около месяца.

— И он ей нравится?

— Она как раз пытается себе это уяснить.

— Думаете, она способна?...

— Уяснить себе? — спросил Ральф.

— Увлечься им?

Вы хотите сказать — принять его предложение.

— Да, — подтвердил лорд Уорбертон после паузы — Именно эту ужасную возможность я имел в виду.

— Пожалуй, нет, если оставить ее в покое, — ответил Ральф.

Его светлость с удивлением уставился на него, стараясь понять.

— Значит, мы должны быть немы?

— Как могила. А там что будет, то будет, — добавил Ральф.

— Но она может сказать «да»!

— Но она может сказать «нет»!

Лорд Уорбертон помолчал, затем начал снова:

— Он, что же, чрезвычайно умен?

— Чрезвычайно, — сказал Ральф.

Лорд Уорбертон задумался.

— А сверх этого?

— А что еще вам нужно? — вздохнул Ральф.

— Вы хотите сказать — что *ей* еще нужно?

Ральф взял его под руку: пора было возвратить-

ся к остальным.

— То, что мы с вами можем дать, ей не нужно.

— Ну, если она отвергает даже вас!.. — великодушно посочувствовал его светлость, когда они двинулись к остальным.

28

Вечером следующего дня лорд Уорбертон вновь отправился в гостиницу навестить своих друзей, но ему сказали, что они уехали в оперу. Он поспешил за ними следом, полагая, что при непринужденности итальянских нравов вполне может нанести им визит в ложе, и, войдя в театр — один из второразрядных, — тут же принялся оглядывать большой, голый, тускло освещенный зал. Первый акт как раз кончился, и ничто не мешало ему в этом занятии. Обозрев два или три яруса лож, он наконец в одной из лучших увидел знакомый женский профиль. Мисс Арчер сидела лицом к сцене, наполовину скрытая портьерой; рядом откинулся в кресле Гилберт Озмонд. В ложе они, по-видимому, были одни, их спутники, наверное, воспользовались антрактом и поспешили окунуться в относительную прохладу фойэ. Лорд Уорбертон стоял, устремив взгляд на занимавшую его пару, и раздумывал, следует ли ему подняться в ложу, нарушив тем самым идиллию. Вдруг ему показалось, что Изабелла его заметила, и это решило дело. Она не должна думать, будто

он намеренно ее избегает! Поднимаясь по лестнице, он столкнулся с медленно спускавшимся Ральфом; цилиндр его уныло глядел вниз, руки по обыкновению были засунуты в карманы.

— Я только что увидел вас в партере и вот иду к вам. Мне адски одиноко, не с кем словом перемолвиться, — сказал он вместо приветствия.

— Помилуйте! А приятнейшее общество, которое вы только что покинули?

— Вы имеете в виду мою кузину? Она занята своим гостем, и я ей ни к чему. Ну, а мисс Стэкпол с Бентлингом отправились в кафе лакомиться мороженым: мисс Стэкпол до него большая охотница. Этим *двум* я, по-моему, тоже ни к чему. Опера ужасная: певицы похожи на прачек, а голоса у них павлиньи. Они нагнали на меня смертельную тоску.

— Так возвращайтесь в гостиницу, — предложил лорд Уорбертон.

— Оставив мою прелестную кузину в этом мрачном месте? А кто будет ее стеречь?

— Но у нее, кажется, нет недостатка в друзьях.

— Тем больше оснований ее стеречь, — возразил Ральф все в том же наигранно-меланхолическом тоне.

— Если вы ей ни к чему, то я, надо думать, и

подавно.

— Вы — другое дело. Подымитесь в ложу и побудьте там, а я тем временем немного пройдусь.

Когда лорд Уорбертон вошел в ложу, Изабелла встретила его с таким радушием, словно он был ее старинный закадычный друг, и он несколько смешался, не понимая, зачем ей понадобилось вторгаться в столь чуждую для себя область. Он раскланялся с мистером Озмондом, который был представлен ему накануне, а сейчас, при появлении его светлости, тотчас устранился и замолчал, как бы давая понять, что те темы, каких могут коснуться в беседе лорд Уорбертон и мисс Арчер, вне его компетенции. Лорда Уорбертона же поразило, что здесь, в театре, мисс Арчер вся так и сияла и была даже несколько возбуждена; впрочем, может быть, он и ошибался: такая девушка, как Изабелла, — при живости ее глаз и стремительности движений — всегда казалась полной огня. Да и разговор ее не наводил на мысль о душевном смятении: она осыпала его изысканными, хорошо обдуманными любезностями, которые явно показывали, что ум и находчивость ей ни в коей мере не изменили. Бедный лорд Уорбертон был совершенно ошеломлен! Она решительно — настолько, насколько

это доступно женщине, — отвергла его; зачем же теперь пускать в ход все эти ухищрения и уловки, зачем прибегать к этому тону «заглаживания-привораживания»? В ее голосе проскальзывали нежные нотки, но с какой стати испытывать их на *нем?* Антракт кончился, ложа заполнилась; со сцены вновь зазвучала знакомая, плоская, ничем не примечательная опера. В обширной ложе нашлось место и для лорда Уорбертона — правда, в дальнем и темном углу. С полчаса он томился за спиной Озмонда, который, уперев локти в колени и подавшись вперед, сидел прямо за Изабеллой. Из своего погруженного во тьму угла лорд Уорбертон ничего не слышал и ничего не видел, кроме точеного профиля молодой женщины, вырисовывавшегося в полумраке зрительного зала. Кончился второй акт, но в ложе никто не двинулся с места. Мистер Озмонд беседовал с Изабеллой, а лорд Уорбертон по-прежнему оставался в своем кресле; однако некоторое время спустя он поднялся и простился, пожелав дамам приятного вечера. Изабелла не стала его удерживать, и это снова вызвало в нем недоумение. Почему она так старательно подчеркивает в нем то, что не имеет никакого значения, и не желает ничего знать о том, что поистине значительно? Он рассердился

на себя за это свое недоумение, а затем на то, что позволяет себе сердиться. Музыка Верди доставляла ему мало удовольствия; он покинул театр и, не помня дороги домой, еще долго блуждал по извилистым, впитавшим в себя столько трагедий римским улицам, свидетелям печалей куда более безысходных, чем та, которую испытывал он.

— Что представляет собой этот господин? — спросил Озмонд у Изабеллы, когда тот откланялся.

— Безупречный джентльмен. Разве вы не видите?

— Он владеет чуть ли не половиной Англии — вот что он собой представляет, — вмешалась Генриетта. — И эти англичане еще толкуют о свободе!

— Так он помещик? Вот счастливец! — воскликнул Гилберт Озмонд.

— Счастливец? Потому что владеет несчастными бедняками? — возмутилась мисс Стэкпол. — Да, он владеет своими арендаторами, а у него их тысячи. Владеть чем-нибудь, конечно, приятно, но с меня достаточно неодушевленных предметов. Я не жажду распоряжаться живыми людьми из плоти и крови, их умами и душами.

— Одной душой, по крайней мере, вы, по-моему,

владеете, — шутливо заявил мистер Бентлинг. — Вряд ли Уорбертон так распоряжается своими арендаторами, как вы мной.

— Лорд Уорбертон придерживается очень передовых взглядов, — сказала Изабелла. — Он радикал, и притом твердокаменный.

— Ну, что у него твердокаменное, так это стены вокруг замка. А парк обнесен железной решеткой, миль тридцать в окружности, — пояснила Генриетта специально для сведения Озмонда. — Хотела бы я свести его с нашими бостонскими радикалами.[116] Они бы ему показали!

— А что, они не одобряют железных решеток? — осведомился мистер Бентлинг.

— Только когда за ними сидят закоснелые ретрограды, — отрезала мисс Стэкпол. — Признаться, разговаривая с *вами, я* всегда чувствую, будто между нами глухая стена с битым стеклом по верху.

— И вы близко знакомы с этим неисправимым исправителем социальных нравов? — спросил

---

[116] Примечания: 116

Бостонские радикалы. — Имеются в виду политические и общественные деятели Бостона, проявившие большую активность в период борьбы за освобождение американских негров от рабства и сыгравшие значительную роль при подготовке и во время Гражданской войны. После окончания войны они утратили влияние на политическую и общественную жизнь страны.

Озмонд у Изабеллы.

— Достаточно близко, чтобы ценить его общество.

— А вы очень цените его общество?

— Да, мне приятно, что он мне приятен.

— «Приятно, что приятен» — помилуйте, это уже похоже на любовь!

— Нет, — сказала Изабелла, подумав, — оставьте это определение для того случая, когда приятнее, чтобы был неприятен.

— Стало быть, вы хотите пробудить во мне любовь к нему? — засмеялся Озмонд.

Изабелла помолчала.

— Нет, мистер Озмонд, — сказала она с серьезностью, неоправданной в их легкой беседе. — Боюсь, я никогда не осмелюсь к чему-либо вас побуждать. Что же до лорда Уорбертона, — добавила она более непринужденным тоном, — он, право, милейший человек.

— И умен?

— О, да! И он действительно очень хороший.

— Так же хорош, как хорош собой, вы это хотите сказать? Он ведь очень хорош собой. Вот кому до безобразия повезло! Мало того, что он английский земельный магнат, к тому же умен и красив, он, в довершение всех благ, еще поль-

зуется вашим бесценным расположением. Нет, я ему положительно завидую.

Изабелла внимательно посмотрела на него.

— Вы, кажется, всегда кому-нибудь завидуете. Вчера это был Папа, сегодня — бедный лорд Уорбертон.

— Моя зависть неопасна: она никому не приносит вреда. Я же не желаю этим людям ничего плохого, я только хотел бы быть на их месте. Так что, как видите, если кому-то от этого плохо, так только мне самому.

— Вы серьезно хотели бы быть Папой? — спросила Изабелла.

— Не отказался бы… впрочем, мое время для этого уже ушло. Кстати, — вспомнил вдруг Озмонд, — почему вы называете своего друга «бедный»?

— Очень, очень добрые женщины нет-нет да начинают жалеть мужчин, с которыми дурно обошлись; это особый способ выражать свое великодушие, — впервые вступил в разговор Ральф, вкладывая в эту тираду столь тонкую иронию, что она выглядела вполне безобидной.

— Когда это я дурно обошлась с лордом Уорбертоном? — спросила Изабелла, удивленно вскидывая брови, словно такая мысль никогда не

приходила ей на ум.

— И поделом ему, если даже и так, — заключила Генриетта, меж тем как поднялся занавес и начался балет.

В течение следующих суток Изабелла не видела жертву своей мнимой жестокости, но через день после посещения оперы она встретила лорда Уорбертона в Капитолийском музее,[117] где тот стоял перед жемчужиной собранных там шедевров — «Умирающим галлом».[118] Изабелла пришла в музей со всей компанией, в которую и на этот раз вошел Гилберт Озмонд; поднявшись по лестнице, они начали осмотр с первой и самой примечательной залы. Лорд Уорбертон заговорил с Изабеллой достаточно свободно, но со второго слова сообщил, что уже покидает музей.

— Так же, как и Рим, — добавил он. — Я должен с вами проститься.

Изабеллу, как ни странно, огорчило это известие. Возможно, потому, что она уже не боялась возобновления его поползновений и думала со-

---

[117] Примечания: 117

Капитолийский музей — Римский музей античной скульптуры, расположенный на Капитолии, одном из семи холмов, на которых лежал древний Рим.

[118] Примечания: 118

«Умирающий галл» — один из шедевров античной скульптуры, экспонируемый в Капитолийском музее.

всем о другом. Она чуть было не сказала вслух, что сожалеет о его отъезде, но сдержалась и попросту пожелала ему счастливого пути, на что он ответил весьма сумрачным взглядом.

— Боюсь, вы сочтете меня «непостоянным». Не далее как позавчера я говорил вам, как мне хочется побыть в Риме.

— Ну, почему же, вы вполне могли передумать.

— Я именно передумал.

— В таком случае, bon voyage.[119]

— Как вы торопитесь избавиться от меня, — удрученно сказал его светлость.

— Ничуть. Просто я не выношу прощаний.

— Вам все равно, что бы я ни делал, — сказал он с грустью.

Изабелла пристально взглянула на него.

— Ах, — сказала она, — вы забыли о вашем обещании!

Он покраснел, как мальчишка.

— Виноват, но я не в силах его сдержать. Поэтому я и уезжаю.

— В таком случае, до свидания.

— До свидания, — сказал он, все еще мешкая. —

---

[119] Примечания: 119
счастливого пути *(фр.).*

Когда же я снова вас увижу?

Изабелла помедлила и вдруг, словно напав на счастливую мысль, сказала:

— Когда вы женитесь.

— Я не женюсь. Стало быть, когда вы выйдете замуж.

— Можно и так, — улыбнулась она.

— Вот и прекрасно. До свидания.

Они обменялись рукопожатием, и он вышел, оставив ее одну в прославленной зале среди поблескивающих белых мраморов. Усевшись в самом центре этого замечательного собрания, она неторопливо обводила его глазами, останавливая взгляд то на одном прекрасном недвижном лице, то на другом, и словно вслушивалась в вечное их молчание. Когда долго смотришь на греческие скульптуры, невозможно — по крайней мере в Риме — не проникнуться их возвышенным спокойствием, словно в зале с высокой дверью, закрытой для некой церемонии, окутывает вас необъятный белый покров умиротворения. Я говорю особенно в Риме, потому что сам воздух Рима на редкость способствует такого рода восприятию. Золотистый солнечный свет пронизывает мраморные тела, глубокая тишина прошлого, все еще столь живого — хотя, по сути,

оно лишь гулкая пустота, наполненная отзвуком имен, — сообщают им особую величавость. Жалюзи на окнах Капитолия были прикрыты, и теплые тени лежали на мраморных фигурах, придавая им почти человеческую мягкость. Изабелла долго сидела, зачарованная их застывшей грацией, думая о том, какие воспоминания теснятся перед их незрячими глазами и как звучала бы на наш слух их чуждая речь. Темно-красные стены служили им великолепным фоном, гладкий мраморный пол отражал их красоту. Изабелла уже не раз видела эти статуи, но сейчас вновь наслаждалась ими, и наслаждалась во сто крат сильнее — пусть на короткое время, но была с ними одна. Однако в конце концов внимание ее ослабело, отвлеченное вторжением живого мира. Вошел случайный посетитель и, постояв перед «Умирающим галлом», вышел, скрипя башмаками на зеркально-гладком полу. Спустя полчаса появился Гилберт Озмонд, очевидно опередивший своих спутников. Он медленно приблизился к Изабелле, держа руки за спиной и улыбаясь своей обычной чуть вопросительной, но отнюдь не просительной улыбкой.

— Как? Вы одна? — сказал он. — Я думал застать вас в блестящем обществе.

— И не ошиблись — в самом блестящем, — и она посмотрела на Антиноя[120] и Фавна.[121]

— Вы предпочитаете такое общество английскому пэру?

— Ах, мой английский пэр уже меня покинул, — сказала она намеренно суховатым тоном, вставая.

Сухость ее тона, не ускользнув от внимания мистера Озмонда, только удвоила его интерес к затронутому предмету.

— Так, значит, вчера говорили правду: вы и впрямь весьма суровы с этим джентльменом.

Изабелла перевела взор на поверженного галла.

— Нет, неправда. Я с ним в высшей степени любезна.

— Именно это я и имел в виду, — отвечал он таким откровенно радостным тоном, что эта шутливая фраза нуждается в пояснении. Читатель уже знает, насколько Гилберт Озмонд любил все

---

[120] Примечания: 120

Антиной — греческий юноша, любимец римского императора Адриана (76 — 138), увековеченный во множестве художественных произведений, одно из которых — античная статуя — экспонируется в Капитолийском музее.

[121] Примечания: 121

Фавн — римский бог лесов и полей, покровитель стад и пастухов, обычно изображавшийся в виде юноши с козлиными ногами и ушами.

оригинальное и редкостное, все самое лучшее и изысканное, и теперь, когда он познакомился с лордом Уорбертоном — совершенным, на его взгляд, представителем своего народа и ранга, — мысль завладеть молодой особой, которая, отвергнув столь благородную руку, вошла бы в его собрание раритетов, приобрела для него новую привлекательность. Гилберт Озмонд высоко ставил институт лордства, не столько за его достоинства, каковые, как он считал, ничего не стоит превзойти, сколько за непреложность его существования. Он не прощал провидению, что оно не сделало его английским пэром, и мог в полную меру оценить необычность поступка Изабеллы. Женщина, на которой он считал возможным жениться, и должна была совершить подобный шаг.

29

Ральф Тачит в разговоре со своим достойным другом, как мы знаем, весьма лестно отозвался о Гилберте Озмонде, отдавая должное его превосходным качествам, и тем не менее Ральфу следовало бы сказать себе, что он поскупился на похвалы, — в столь выгодном свете предстал этот джентльмен во время их последующего пребывания в Риме. Часть дня Озмонд неизменно проводил с Изабеллой и ее друзьями и в конце концов убедил их, что он — самый обходительный человек на свете. Можно ли было закрыть глаза на то, что к его услугам и живость ума, и такт? Очевидно, поэтому Ральф Тачит и ставил ему в вину прежнее его напускное равнодушие к обществу. Но даже сверхпристрастный кузен Изабеллы вынужден был признать теперь, что Гилберт Озмонд чрезвычайно приятный спутник. Дружелюбие его было неиссякаемо, а знание нужных фактов, умение подсказать нужное слово не менее своевременны, чем поднесенная к вашей сигарете услужливо вспыхнувшая спичка. Он явно развлекался в их кругу — разумеется, в

той мере, в какой способен развлекаться человек, уже не способный удивляться, — и даже не скрывал своего воодушевления. Внешне, однако, оно никак не проявлялось — в симфонии радости Озмонд не позволил бы себе и костяшкой пальца коснуться бравурного барабана: ему претили все резкие, громкие звуки, И он называл их неуместным неистовством. Иногда ему казалось, мисс Арчер слишком живо на все отзывается. Это единственное, что он moi бы поставить ей в упрек, в остальном же она была безупречна, в остальном все в ней так же гладко сходилось с его желаниями, как старый Набалдашник слоновой кости с ладонью. Но если Озмонду недоставало звонкости, это искупалось обилием приглушенных тонов, и в эти завершающие дни римского мая он изведал удовлетворение, созвучное медленным блужданиям под пиниями виллы Боргезе,[122] среди прелестных неброских полевых цветов и замшелых мраморных изваяний. Ему все доставляло удовольствие; еще никогда не бывало, чтобы столь многое доставляло ему удовольствие одновременно. Обновились полузабытые впечатления, полузабытые радости, и как-то вечером,

[122] Примечания: 122

Вилла Боргезе — один из замечательных дворцов в Риме, принадлежавших старинному роду Боргезе, окруженный парком.

вернувшись к себе в гостиницу, он сочинил изящный сонет, предпослав ему название: «Я вновь увидел Рим». Спустя несколько дней он показал эти, написание мастерски, с соблюдением всех правил, стихи Изабелле, пояснив, что в Италии принято в знаменательные минуты жизни приносить дань музам.

Доволен бывал Озмонд только оставаясь наедине с самим собой, слишком часто и — по его собственному признанию — слишком остро он ощущал присутствие чего-то чуждого, уродливого; благодатная роса доступного людям блаженства слишком редко орошала его душу. Но в данный момент он был счастлив — счастлив так, как, пожалуй, никогда в жизни, и счастье его покоилось на прочном основании. Это было просто сознание успеха — самое приятное из всех ведомых человеческому сердцу чувств. Озмонду вечно его не хватало, он никогда не был им сыт и знал это, и не упускал случая напомнить себе: «О нет, я не избалован, отнюдь не избалован, — мысленно твердил он. — Если мне удастся преуспеть, прежде чем я умру, это будет только заслуженно». Из его рассуждений выходило, что «заслуживание» вышеупомянутого блага главным образом сводится к тому, чтобы

втайне жаждать его всеми силами души, — в иных стараниях надобности нет. Однако нельзя сказать, что успех был вовсе Озмонду незнаком. На сторонний взгляд, ему не раз случалось почивать на каких-то несколько туманных лаврах. Но победы его — одни были слишком давние, другие слишком легкие. Нынешняя далась ему против ожидания без особого труда, но если она досталась ему легко, а точнее говоря, быстро, то только потому, что на сей раз Озмонд превзошел себя — он даже не предполагал, что способен совершить такое усилие. Желание так или иначе проявить свои «таланты», проявить их на том или ином жизненном поприще было мечтой всей его юности, но, по мере того как шли годы, обстоятельства, сопутствующие проявлению собственной незаурядности, представлялись ему все более грубыми и отталкивающими, ну, скажем, как пить кружку за кружкой пиво, дабы доказать свое «молодечество». Если бы выставленный в музее анонимный рисунок наделен был сознанием и наблюдательностью, он мог бы испытать это ни с чем не сравнимое наслаждение, — наконец-то и совершенно нежданно быть признанным работой великого художника, притом всего лишь на основании особенностей стиля, особенностей

столь высокого и столь неприметного свойства. «Стиль» Озмонда — вот что не без некоторой помощи открыла эта девушка, и теперь она не только сама будет наслаждаться им, но и оповестит об этом весь мир; ему не придется даже пошевелить пальцем. Она сделает все за него, и таким образом окажется, что он ждал не напрасно.

Незадолго до заранее намеченного дня отъезда Изабелла получила от миссис Тачит телеграмму следующего содержания: «4 июня уезжаю Флоренции Белладжо если не имеешь в виду ничего другого прихвачу тебя. Ждать пока прохлаждаешься Риме не намерена». «Прохлаждаться» в Риме было необычайно приятно, но Изабелла, имея в виду другое, известила тетушку, что тотчас же к ней присоединится. Когда она сообщила об этом Озмонду, он сказал, что уже не раз проводил зиму, а также и лето в Италии, поэтому предпочитает послоняться еще немного в прохладе под сенью Святого Петра. Во Флоренцию он вернется не раньше как дней через десять, к этому времени Изабелла будет уже на пути в Белладжо. Скорее всего, пройдут долгие месяцы, прежде чем он ее увидит снова. Эта светская беседа происходила в пышно убранной гостиной, предоставленной в

распоряжение наших друзей, час был поздний, назавтра Изабелла в сопровождении кузена уезжала во Флоренцию. Озмонд застал ее одну, — мисс Стэкпол, успевшая обзавестись друзьями в той же гостинице, отправилась по бесконечной лестнице с визитом на пятый этаж, где и проживало это милое американское семейство. Путешествуя, Генриетта обзаводилась друзьями с необыкновенной легкостью, в поездах у нее завязалось несколько знакомств, которыми впоследствии она очень дорожила. Ральф готовился к предстоящему отъезду, и Изабелла сидела одна, затерявшись в дебрях желтой обивки. Кресла и диваны в гостиной были оранжевые, стены и окна тонули в пурпуре и позолоте; картины и зеркала заключены были в затейливо разукрашенные рамы, а высокий сводчатый потолок расписан обнаженными нимфами и ангелочками. Озмонду эта комната казалась безобразной до головной боли: кричащие тона, поддельная роскошь были все равно что пошлое, назойливое, хвастливое вранье. Изабелла сидела, опустив на

колени руку с томиком Ампера,[123] подаренным ей по приезде в Рим Ральфом, но, придерживая рассеянно пальцем нужную страницу, она, судя по всему, не спешила приняться за чтение. Лампа, окутанная томно ниспадающей розовой шелковой бумагой, горела на столике рядом с ней, придавая всему вокруг тусклую неестественную розоватость.

— Вы говорите, что вернетесь, но как знать, — сказал Гилберт Озмонд. — Мне представляется более вероятным, что это начало вашего кругосветного путешествия. Что может заставить вас вернуться? Вы ни «чем не связаны, вольны поступать как вам вздумается, вольны блуждать по земным просторам.

— Италия тоже часть этих просторов, — ответила Изабелла. — Я могу заглянуть и сюда по пути.

— По пути вокруг света? Нет, нет, не стоит. Не стоит превращать час во вставной эпизод — посвятите нам отдельную главу. Я не хотел бы видеть вас во время ваших странствий, предпочитаю увидеть, когда с ними будет покончено, когда

[123] Примечания: 123

Речь, возможно, идет о книге «Promenade en Amérique» («Путешествие по Америке», 1852) Жана Жака Ампера (1800–1864), совершившего в 1851 г. поездку от Канады до Мексики и изложившего свои впечатления в путевых очерках.

вы будете усталой и пресыщенной. — Помолчав, Озмонд добавил: — Да, я предпочитаю вас такой.

Опустив глаза, Изабелла теребила кончиками пальцев страницы мосье Ампера. — Вы умеете все представить в смешном виде, — как бы помимо вашей воли, но не думаю, что вопреки ей. Вы ни во что не ставите мои путешествия. Они кажутся вам смешными.

— С чего вы это взяли?

Водя костяным ножом по обрезу книги, Изабелла тем же тоном продолжала:

— Вы видите, как я невежественна, видите все мои промахи и что я странствую по свету с таким видом, будто он мне принадлежит только потому… потому, что мне стало это доступно. Ведь вы считаете, что женщине вести себя так непристало, что это вызывающе и неизящно.

— Я считаю, что это прекрасно, — сказал Озмонд. — Вам же известны мои взгляды, я ими достаточно вам докучал. Помните, я как-то говорил вам, что надо попытаться сделать из своей жизни произведение искусства? Сначала вы были, по-моему, слегка шокированы, но потом я вам объяснил, что именно это и пытаетесь, мне кажется, сделать из своей жизни вы.

Изабелла оторвала глаза от книги.

— Но как раз больше всего на свете вы не выносите плохое, неумелое искусство.

— Пожалуй, но у вас все получается очень хорошо, очень прозрачно.

— И все же вздумай я вдруг будущей зимой отправиться в Японию, вы подняли бы меня на смех, — продолжала Изабелла.

Озмонд улыбнулся — улыбнулся не без иронии, но смеяться не стал: разговор по своему тону был совсем не шутливый. Изабелла настроена была чуть ли не торжественно, — Озмонду уже случалось видеть ее такой.

— Ну и воображение у вас, вы меня пугаете.

— Вот видите! Я права, вам это кажется вздорным.

— Чего бы я только не дал за то, чтобы отправиться в Японию. Это одна из тех стран, где мне так хотелось бы побывать. Можете ли вы в этом сомневаться, зная мое пристрастие к старинному лаку?

— Но я не питаю пристрастия к старинному лаку, у меня нет этого оправдания.

— У вас есть лучшее — возможность путешествовать. Вы напрасно думаете, что я над вами смеюсь. Не знаю, из чего вы это заключили.

— В этом не было бы ничего удивительного.

Такая нелепость, что у меня есть возможность путешествовать, а у вас нет, когда вы знаете все, между тем как я ничего не знаю.

— Тем больше у вас оснований путешествовать и узнавать, — снова улыбнулся Озмонд. — К тому же, — продолжал он, словно дойдя наконец до сути разговора, — я знаю далеко не все.

Изабеллу не поразила неожиданная серьезность, с какой это было сказано; она думала о том, что приятнейший эпизод ее жизни — так ей угодно было расценить эти слишком недолгие дни в Риме, которые она мысленно могла бы уподобить портрету какой-нибудь маленькой принцессы в парадном облачении былых времен, затерявшейся в своей царственной мантии, влачащей за собой шлейф, в чьих складках способны были не запутаться лишь пажи и историки, — что блаженство это подходит к концу. Понять, что дни в Риме обрели особый интерес благодаря мистеру Озмонду, сейчас не составляло для нее труда, она уже вполне отдала должное сему обстоятельству. Но она говорила себе, что если случится так, что они никогда больше не увидятся, в конце концов, может быть, оно и к лучшему. Счастливые мгновения не повторяются, и приключение ее, меняя облик, уже преображалось в видимый с моря ро-

мантический остров, от которого, насладившись румяной кистью винограда, она вот-вот отдалится с попутным ветром. Она могла вернуться в Италию и найти его изменившимся, этого странного человека, которого не хотела видеть иным, — лучше уж совсем не возвращаться, чем идти на подобный риск! Но если она не вернется, остается лишь пожалеть, что глава эта дописана. На мгновение Изабелла ощутила боль, острую до слез. Это заставило ее умолкнуть — молчал и Гилберт Озмонд; он смотрел на нее.

— Побывайте всюду, где вам вздумается, — проговорил он наконец негромко и ласково, — делайте все, что вам вздумается, получите от жизни все, что мыслимо. Будьте счастливы — торжествуйте.

— Торжествовать — что это значит?

— Исполнять все свои желания.

— Тогда, мне кажется, торжествовать — это терпеть поражение. Исполнять все свои прихоти порой так утомительно.

— Совершенно верно, — спокойно подхватил Озмонд. — Как я только что имел честь намекнуть вам, в один прекрасный день вы устанете. — Помолчав немного, он продолжал: — Пожалуй, мне лучше подождать до тех пор и тогда уже сказать

вам то, что я хочу.

— Мне трудно вам советовать, ведь я не знаю, о чем идет речь. Но я становлюсь очень противной, когда устаю, — добавила Изабелла с женской непоследовательностью.

— Никогда в это не поверю. Вы можете вспылить, в это я готов еще поверить, хотя и не видел вас такой. Но я убежден, что вы не можете быть «несносной».

— Даже когда выхожу из себя?

— Вы не выходите из себя, вы себя обретаете, и как это, должно быть, прекрасно! — проговорил Озмонд с благородной горячностью. — Хотел бы я видеть вас в одну из таких великолепных минут.

— Если бы мне обрести себя сейчас! — воскликнула Изабелла взволнованно.

— Я не испугался бы. Я скрестил бы руки на груди и любовался вами. Говорю это вполне серьезно. — Он подался вперед, опираясь ладонями о колени, и сидел так, устремив взгляд на ковер. — Вот что я хотел сказать вам, — произнес он наконец, поднимая голову. — Как оказалось, я в вас влюблен.

В следующее мгновение Изабелла была уже на ногах.

— Подождите с этим до тех пор, пока я *и вправду*

не устану.

— Устанете выслушивать это от других? — Он продолжал сидеть, глядя ей в глаза. — Нет уж, как хотите, сейчас или никогда. И, с вашего Разрешения, это будет сейчас. — Она хотела было отвернуться, но сдержалась и, стоя в полуоборот, посмотрела на Озмонда. Некоторое время они двигались, словно прикованные друг к другу взглядом — глубоким, наполненным значения взглядом, которым обмениваются в решающие минуты жизни. Потом Озмонд встал и подошел к ней; он сделал это чрезвычайно почтительно, как будто опасаясь, что позволяет себе слишком большую вольность. — Я в вас влюблен без памяти.

Он объявил это снова тоном почти бесстрастного раздумья, как человек, который ни на что не рассчитывает и говорит только для того, чтобы облегчить душу. На глазах у нее выступили слезы; на этот раз их было не удержать, боль была так остра, что Изабелле вдруг показалось, будто в очень сложном замке сдала какая-то пружинка, отпирающая или запирающая — она и сама не знала. Слова, которые он, глядя на нее, произнес, прекрасные и рыцарственные, словно придали ему золотой ореол ранней осени, но, в сущности, продолжая стоять с Озмондом лицом к лицу, она

перед ними отступила, как всякий раз отступала в подобных случаях.

— Пожалуйста, не говорите мне этого, — ответила она с настоятельностью в голосе, показывающей, что и теперь ее страшит необходимость решать, делать выбор. И больше всего страшит та самая сила, которая, казалось бы, должна отмести все страхи, — ощущение в себе, в глубине своего существа, того, что, по предположению Изабеллы, было истинной и высокой страстью. Она хранилась там, как положенная в банк крупная сумма — когда и помыслить нельзя, что надо начать ее тратить. Ведь стоит к ней прикоснуться, и придется выложить все до последнего гроша.

— Я никак не думал, что это может для вас что-то значить, — сказал Озмонд. — Я так мало могу предложить вам. То, чем я располагаю, довольно для меня, но недовольно для вас. У меня нет ни состояния, ни громкого имени, ни каких-либо иных внешних преимуществ. Так что я не предлагаю вам ничего. Я потому только позволил себе сказать это, что, потому, вас это не должно обидеть, а возможно, даже когда-нибудь порадует. Меня это радует, поверьте, — продолжал он, почтительно перед ней склонившись и вертя в руках шляпу движением, исполненным приличествующего

случаю трепета, но лишенным какой бы то ни было неловкости, и обратив к ней свое решительное, тонкое, с легким отпечатком прожитых лет лицо. — Я нисколько не страдаю, все так просто. Для меня вы всегда будете значить больше, чем все женщины на свете.

Изабелла разглядывала себя в этой новой для нее роли — разглядывала очень добросовестно и находила, что исполняет ее не без изящества. Но в том, что она произнесла, не было и тени довольства собой:

— Нет, вы меня не обидели, но вы должны понимать, что, и не обидев, можно взволновать, причинить неудобство.

Едва произнеся слово «неудобство», она услышала, как смешно оно прозвучало. До чего глупо, что оно пришло ей в голову.

— Я прекрасно это понимаю. Конечно, вы удивлены, вы даже слегка напуганы, но эти чувства не в счет, они пройдут без следа. А если и оставят в вашей душе след, то, верю, не такой, чтобы я его стыдился.

— Право, я не знаю, какой это оставит след. Во всяком случае, как вы сами видите, я не в смятении, — сказала Изабелла с подобием улыбки, — и не настолько взволнована, чтобы потерять спо-

собность думать. И я думаю — хорошо, что мы расстаемся, что завтра я покидаю Рим.

— В этом я позволю себе с вами не согласиться.

— Я ведь вас *совсем* не знаю, — вырвалось вдруг у Изабеллы, и, не успев договорить, она залилась краской, вспомнив, что повторила фразу, которую почти год назад сказала лорду Уорбертону.

— Останьтесь, и вы сможете лучше меня узнать.

— Когда-нибудь в другой раз.

— Не буду терять надежды, тем более что узнать меня совсем не трудно.

— Нет, нет, в этом вы неискренни, — возразила Изабелла горячо — Узнать вас очень трудно. Труднее, чем кого бы то ни было.

— Я сказал это потому, — рассмеялся Озмонд, — что сам себя я отлично знаю. Это действительно так, я не хвастаюсь.

— Очень может быть, но вы необыкновенно умны.

— Вы тоже, мисс Арчер, — воскликнул Озмонд.

— В данную минуту я этого не чувствую. И все же у меня хватает ума понять, что сейчас вам лучше уйти. Спокойной ночи.

— Да хранит вас бог! — сказал Озмонд, завладевая той самой рукой, которую она не решилась

ему отдать. Помолчав немного, он добавил: Если мы встретимся снова, вы убедитесь, что я все тот же. Если мы никогда больше не встретимся, знайте, что это всегда будет так.

— Я очень благодарна вам. До свидания.

Было в собеседнике Изабеллы некое скрытое упорство: он мог уйти по собственному побуждению, но его нельзя было отослать.

— И вот что еще я хотел сказать вам. Я ни о чем вас не просил — даже вспомнить обо мне когда-нибудь; оцените хотя бы это. Но мне хотелось бы попросить вас о небольшой услуге. Я вернусь домой не раньше как через несколько дней. Рим восхитителен, для человека в моем состоянии духа нет места лучше. Я знаю, что и вам жаль с ним расставаться, но вы правы, поступая так, как того хочет ваша тетушка.

— Она вовсе этого и не хочет, — вырвалось невольно у Изабеллы.

Озмонд собрался уже ответить ей в тон, но, видно, передумал и просто сказал:

— Очень похвально, что вы решили сопровождать вашу тетушку. Очень похвально. Всегда поступайте так, как подобает, я приветствую это всей душой. Простите мне мой наставительный тон. Когда вы узнаете меня лучше, вы увидите,

как благоговейно я отношусь к соблюдению приличий.

— Но вы не слишком привержены условностям? — спросила его Изабелла очень серьезно.

— Как мило это у вас прозвучало. Нет, я не привержен условностям, я их в себе воплощаю. Вам это непонятно? — Он помолчал, улыбаясь. Как бы мне хотелось вам это объяснить! — Затем с внезапной проникновенной покоряющей искренностью он взмолился: — Возвращайтесь поскорее! Нам еще столько всего нужно с вами обсудить.

Изабелла стояла перед ним, не поднимая глаз.

— Вы просили меня о какой-то услуге?

— Перед отъездом из Флоренции навестите, пожалуйста, мою дочурку. Она там совсем одна на нашей вилле; я решил не отправлять ее *к* сестре, мы с ней слишком во многом расходимся. Передайте моей девочке, пусть непременно любит своего не очень счастливого отца, — проговорил Гилберт Озмонд с нежностью.

— Я с радостью ее навещу, — ответила Изабелла. — И передам ей ваши слова. А теперь еще раз до свидания.

Не задерживаясь больше, Озмонд почтительно откланялся. После его ухода она с минуту

продолжала стоять, озираясь, потом, поглощенная своими мыслями, медленно опустилась в кресло. Так она и сидела до прихода своих спутников, сложив на коленях руки, устремив взгляд на уродливый ковер. Ее волнение — а оно не уменьшалось — было очень глубоким, очень затаенным. То, что произошло, не представлялось ей неожиданным, вот уже неделю как, забегая вперед, воображение готовило ее к этому, но в нужную минуту она растерялась и изменила своему высокому принципу. Душевные движения нашей юной героини сложны, и я могу лишь изобразить их такими, какими они видятся мне, не надеясь убедить вас, что они вполне естественны. Итак, сейчас ее воображение было бессильно, — перед ним расстилалось некое смутно видимое пространство, которое ему было не одолеть, — этот последний неясный отрезок пути казался трудным, даже чуть-чуть коварным, как в зимние сумерки поросшее вереском болото. И все же он был неминуем.

30

Назавтра Изабелла в сопровождении своего кузена вернулась во Флоренцию, и Ральф Тачит, тяготившийся, как правило, стеснительным железнодорожным распорядком, остался очень доволен часами, проведенными в поезде, уносившем его спутницу прочь от города, отмеченного отныне печатью Гилберта Озмонда, — часами, которые должны были послужить вступлением к обширной программе путешествий. Мисс Стэкпол к нашим друзьям не присоединилась, ей хотелось побывать в Неаполе, и она собиралась осуществить свое желание при содействии мистера Бентлинга. До намеченного миссис Тачит для отъезда, приходившегося на 4 июля, Изабелла располагала во Флоренции тремя днями и последний из них решила посвятить выполнению своего обещания — проведать Пэнси Озмонд. Однако ей чуть было не пришлось изменить свое намерение в угоду мадам Мерль. Дама эта по-прежнему гостила в Каза Тачит, но и она должна была вот-вот покинуть Флоренцию и перебраться в старинный замок в горах Тоска-

ны, принадлежавший одному из знатнейших итальянских семейств, знакомство с которым (по словам мадам Мерль, она знала владельцев замка «с незапамятных времен») стало казаться Изабелле поистине великой честью, после того как благодаря любезности мадам Мерль она получила возможность полюбоваться фотографиями сего величественного, прорезанного бойницами обиталища. Она сказала счастливой избраннице, что мистер Озмонд просил ее проведать его дочь, но не сказала, что, кроме этого, он объяснился ей в любви.

— Ah, comme cela se trouve![124] — воскликнула мадам Мерль. — Я и сама подумываю, что хорошо было бы перед отъездом из Флоренции заехать хотя бы на полчаса к этой девочке.

— В таком случае мы можем отправиться туда вдвоем, — ответила рассудительно Изабелла: «рассудительно» — поскольку сказано это было без всякого воодушевления. Она думала совершить свое маленькое паломничество одна; ей было бы это больше по душе, однако из уважения к своей приятельнице она готова была пожертвовать владевшим ею мистическим чувством.

---

[124] Примечания: 124
Такое совпадение! *(фр.).*

Но эта мудрая особа тут же заметила:

— Впрочем, с какой стати мы поедем туда вдвоем, когда и вам и мне надо столько еще успеть за оставшиеся часы.

— Прекрасно, тогда я отправлюсь одна.

— Я не убеждена, что вам можно отправиться одной в дом красивого холостяка. Правда, когда-то он был женат, но очень давно.

Изабелла посмотрела на нее с изумлением.

— Но какое это имеет значение, раз мистера Озмонда во Флоренции нет?

— Они могут не знать, что его нет.

— Они? Кого вы имеете в виду?

— Всех. Хотя, пожалуй, это не столь уж существенно.

— Но вы ведь собирались туда, почему же мне нельзя?

— Потому что я старая мегера, а вы прелестная молодая женщина»

— Допустим, но ведь обещали не вы?

— Не слишком ли серьезно вы относитесь к своим обещаниям? — спросила чуть-чуть насмешливо старшая из собеседниц.

— Я отношусь к ним очень серьезно. Вас это удивляет?

— Нет, вы правы! Очевидно, вы в самом деле

хотите быть доброй к этой девочке?

— Хочу этого всей душой.

— Тогда поезжайте проведайте ее, и будем надеяться, что никто ничего не пронюхает. Скажите ей, что если бы к ней не приехали вы, то приехала бы я. А впрочем, — добавила мадам Мерль, — не говорите, не стоит. Ей это безразлично.

Когда Изабелла на виду у всех в открытом экипаже следовала извилистым путем на вершину холма к дому мистера Озмонда, она с недоумением спрашивала себя, что означает брошенная ее приятельницей фраза: никто ничего не пронюхает. Изредка, через большие промежутки времени, дама эта, которая, как правило, избегала опасных проливов и без околичностей держала курс в открытое море, роняла двусмысленное замечание, брала фальшивую ноту. Ну, могут ли задевать Изабеллу Арчер пошлые суждения каких-то неведомых ей людей, и неужели мадам Мерль предполагает, что она вообще способна делать то, что надо делать тайком? Нет, этого не может быть, она хотела сказать что-то другое — что в предотъездной спешке не удосужилась объяснить. Когда-нибудь Изабелла к этому еще вернется, есть такие вещи, в которых она предпочитает полную ясность. Входя в гостиную мистера

Озмонда, она услышала, как Пэнси где-то бренчит на рояле; девочка «упражнялась», и Изабеллу порадовало, что она так неуклонно выполняет свой долг. Пэнси не заставила себя ждать, она вошла, одергивая на себе платье, и тотчас же с простодушной серьезностью принялась развлекать гостью. Изабелла провела там полчаса, и все это время Пэнси оставалась на высоте, как маленькая крылатая фея в пантомиме, которая парит с помощью скрытой проволоки, — она не болтала, она поддерживала разговор, проявляя такой же почтительный интерес к делам своей гостьи, какой та любезно проявляла к ее делам. Изабелла не могла на нее надивиться: впервые ей поднесен был к самому носу белоснежный цветок столь искусно выращенного очарования. Как хорошо эту девочку воспитали, думала про себя восхищенная Изабелла, как прекрасно ее направили и отполировали и как удалось при этом сохранить в ней такую простоту, такую естественность, такую невинность! Изабелла любила размышлять над проблемой человеческих характеров и свойств, погружаться, так сказать, в глубину непостижимой тайны личности, и вплоть до этой минуты она позволяла себе сомневаться, действительно ли сей нежный росток столь несведущ? Что это

— беспредельная наивность или совершенное владение собой? Притворство ради того, чтобы угодить гостье своего отца, или истинное проявление непорочной натуры? Час, который Изабелла провела в доме мистера Озмонда, в его прекрасных пустынных сумрачных комнатах — окна были затенены, чтобы уберечься от зноя, и в широкие щели то тут, то там заглядывал роскошный летний день, выхватывая своим лучом поблекшие краски, потускневшую позолоту, заставляя их мерцать в густом полумраке, — так вот, свидание ее с юной дочерью хозяина дома исчерпывающе ответило на эти вопросы. Пэнси в самом деле была чистая страница, поверхность безукоризненной белизны, которую удалось сохранить нетронутой. Не было у нее ни ловкости, ни хитрости, ни характера, ни талантов, лишь два-три тончайших инстинкта: умение распознать друга, избежать ошибки, сберечь старую игрушку или новое платье. Но как уязвима была она в своей нежной беззащитности, как легко могла стать жертвой судьбы! У нее не окажется в нужную минуту ни воли, ни решимости бороться, ни сознания своего права постоять за себя, ее легко будет обмануть, легко сломить; ее спасение — лишь в твердом знании, где и к чему прите-

питься. Она неотступно сопровождала гостью, которая попросила разрешения снова пройти по всем комнатам, раз или два высказывала свое мнение о произведениях искусства, говорила о своих планах и занятиях, о намерениях своего отца; Пэнси не страдала самомнением, просто ей представлялось уместным сообщить все эти сведения столь высокой гостье.

— Скажите, пожалуйста, — спросила она, — был папа у мадам Катрин? Он обещал, что пойдет к ней, если ему хватит на это времени. Может быть, ему не хватило. Папе нужно, чтобы у него было очень много времени Он хотел поговорить о моем образовании: понимаете, оно еще не закончено. Уж не знаю, что со мной можно делать еще, но мое образование, оказывается, совсем не закончено. Папа как-то сказал мне, что он закончит его сам, ведь учителя, которые последний год, даже два года учат в монастыре взрослых девочек, берут очень дорого. А папа не богат, и мне так не хочется, чтобы он тратил на меня много денег. По-моему, я этого не заслуживаю, я не очень способная, и у меня плохая память. Когда мне рассказывают, я запоминаю хорошо, особенно если это интересно, а вот то, что в книгах написано, я никак не могу запомнить. В монастыре у

нас была одна девочка, моя лучшая подруга, ее, как только ей исполнилось четырнадцать лет, взяли из монастыря, чтобы — как это в Англии говорят? — чтобы сколотить ей приданое. Ах, в Англии так не говорят? Но ведь в этом нет ничего дурного, просто я хотела сказать — чтобы сберечь деньги и выдать ее замуж. Может быть, папа тоже хочет сберечь деньги и выдать *меня* замуж. Выдавать замуж так дорого стоит! — вздохнув, продолжала Пэнси. — Мне кажется, папа мог бы на этом сэкономить. Во всяком случае, я слишком мала, чтобы думать о замужестве, и мне еще ни один джентльмен не нравился, не считая, конечно, папы. Если бы он не был моим отцом, я хотела бы выйти за него замуж. Лучше быть его дочерью, чем женой какого-нибудь незнакомого человека. Я очень по нему скучаю, но не так, как вы могли бы подумать, ведь я очень долго жила без него. Папа всегда был главным образом для каникул. По мадам Катрин я скучаю чуть ли не больше, но вы ему этого не говорите. Вы уже не увидите его? Мне очень жаль. И ему будет очень жаль. Из всех, кто у нас бывает, мне никто так не нравится, как вы. Это не такой уж комплимент, — у нас бывает совсем немного людей. Как любезно было с вашей стороны приехать ко мне сегодня

в такую даль, — я ведь всего лишь девочка, и занятия у меня детские. А когда *вы* забросили свои детские занятия? Мне хотелось бы спросить вас, сколько вам лет, но не знаю, прилично ли это? В монастыре нас учили никогда не спрашивать о возрасте. Мне было бы неприятно сделать что-нибудь такое, чего никто не ждет: это производит плохое впечатление, как будто человек дурно воспитан. Да я и сама… мне и самой не хотелось бы, чтобы меня захватили врасплох. Папа насчет всего распорядился. Спать я ложусь рано. Когда солнце с этой стороны уходит, я иду в сад. Папа строго-настрого велел мне беречься загара. Я всегда любуюсь этим видом, горы так прелестны! В Риме из нашего монастыря видны были только крыши и колокольня. Три часа я играю на рояле. Играю я не очень хорошо. А вы играете? Я так хотела бы вас послушать; папа считает, что мне полезно слушать, когда хорошо играют. Мне Несколько раз играла мадам Мерль — это мне в ней нравится больше Всего: у нее такое мягкое туше. У меня никогда не будет мягкого туше.

И голоса у меня нет, так, какой-то писк, будто грифель скрипит, когда делаешь росчерк.

Изабеллу удовлетворило столь учтиво выраженное желание: она сняла перчатки и села за

рояль, а Пэнси тем временем, стоя возле, не сводила глаз с белых рук, летавших по клавишам. Окончив играть, Изабелла притянула к себе девочку и поцеловала ее на прощание; она крепко ее обняла, долго на нее смотрела.

— Будьте всегда очень хорошей, — сказала она. — Радуйте своего отца.

— Мне кажется, для того я и живу на свете, — ответила Пэнси. — У него не очень много радостей, он все больше грустит.

Изабелла выслушала это утверждение с таким интересом, что скрыть его было для нее настоящей пыткой. Но она должна была скрыть его, должна — из гордости, из чувства приличия. Сколько еще всего хотела бы она — но тут же воспрещала себе — сказать Пэнси, сколько всего хотелось бы ей услышать из уст этой девочки, заставить эту девочку поведать ей. Но стоило какому-нибудь вопросу мелькнуть в ее сознании, как воображение Изабеллы в ужасе отступало перед возможностью воспользоваться доверчивостью ребенка, — потом она казнила бы себя за это, — и выдохнуть хотя бы единый звук о тайной своей зачарованности в комнатах, где мистер Озмонд, быть может, невольно это ощутит. Да, она выполнила его просьбу — приехала сюда, но

пробыла всего лишь час. Она быстро встала из-за рояля, но снова помедлила, удерживая возле себя свою маленькую собеседницу, притягивая ближе по-детски милую, изящную фигурку и глядя на нее почти с завистью. Изабелла не могла не признаться себе, что ей страстно хотелось бы поговорить о Гилберте Озмонде с этим столь близким ему миниатюрным существом. Но она не проронила ни слова. Только еще раз поцеловала Пэнси, и они вышли вместе в прихожую, направляясь к двери, которая вела во двор; здесь юная хозяйка дома остановилась и с грустью посмотрела за ограду.

— Дальше мне нельзя. Я обещала папе не выходить за эту дверь.

— Вы правы, что слушаетесь его во всем. Если он вас о чем-то просит, значит у него есть причины.

— Я всегда буду его слушаться. А когда вы снова к нам приедете?

— Боюсь, что не скоро.

— Приезжайте, как только сможете, — сказала Пэнси. — Я всего лишь девочка, но я всегда вас буду ждать. — Пэнси, стоя в высоком и темном дверном проеме, смотрела, как Изабелла пересекла прозрачный полумрак двора и растворилась

в сиянии за большими portone,[125] которые, приоткрывшись, впустили ослепительный свет.

[125] Примечания: 125
Воротами *(ит.).*

31

Изабелла возвратилась во Флоренцию, но лишь много месяцев спустя. Этот промежуток времени был достаточно насыщен событиями, но мы не станем следовать за ней по пятам, наше пристальное внимание снова обращено на нее в некий день, один из последних весенних дней, вскоре после ее возвращения в палаццо Кресчентини год спустя после событий, о которых мы только что повествовали. На этот раз Изабелла была одна в наиболее скромной из многочисленных комнат, предназначенных миссис Тачит для приема гостей, и что-то в ее позе и выражении лица говорило, что она ожидает посетителя. Хотя зеленые жалюзи были приспущены, в высокое распахнутое окно свободно лился из сада свежий воздух, наполняя комнату теплом и благоуханием. Некоторое время Изабелла стояла У окна, сжимая заложенные за спину руки, и взгляд ее, устремленный вдаль, был отсутствующим, как у человека, охваченного беспокойством. Пересилить волнение и сосредоточиться она не могла, ей не вырваться было из тревожного круга мыс-

лей. При этом она вовсе не рассчитывала увидеть своего гостя издали, прежде чем он войдет в дом: вход во дворец был прямо с улицы, и ничто не нарушало тишины и уединения сада. Скорее, она пыталась предварить его появление всевозможными догадками, что, судя по выражению ее лица, оказалось задачей не из легких, Изабелла настроена была на серьезный лад, она чувствовала себя как бы отягощенной грузом опыта этого года, потраченного на то, чтобы повидать мир. Она блуждала, как выразилась бы она сама, по земным просторам, наблюдая людей и нравы, и оттого в своих собственных глазах была далеко уже не той легкомысленной молодой женщиной из Олбани, которая два года назад, стоя на лужайке в Гарденкорте, начала постигать Европу. Изабелла льстила себя надеждой, что набралась за это время ума и узнала о жизни гораздо больше, чем тому беспечному созданию могло бы прийти в голову. Если бы мысли ее обратились вспять, вместо того чтобы трепетать взволнованно крыльями по поводу предстоящего, они оживили бы в ее памяти множество примечательных картин. Это были бы и ландшафты, и портреты, причем преобладали бы, несомненно, портреты. С иными лицами, которые могли бы

появиться на этом полотне, мы уже знакомы. Например, добродушная Лили, сестра нашей героини и жена Эдмунда Ладлоу, прибывшая из Нью-Йорка с тем, чтобы провести полгода со своей родственницей. Муж ее остался в Нью-Йорке, но она привезла с собой детей, по отношению к которым Изабелла с большой нежностью и не меньшей щедростью исполняла роль незамужней тетки. Под конец и мистер Ладлоу, урвав несколько недель от своих полемических триумфов, переправился с необыкновенной быстротой через океан и, прежде чем увезти жену домой, провел в Париже месяц с упомянутыми дамами. Так как маленькие Ладлоу, даже с американской точки зрения, не достигли еще надлежащего для туристов возраста, Изабелла, пока при ней находилась ее сестра, двигалась в пределах довольно ограниченного круга. Лили с детьми присоединилась к ней в Швейцарии в июле месяце, и они провели безоблачное лето в Альпах, где луга пестрели цветами и где можно было, укрывшись в тени огромного каштана, передохнуть во время восхождения на горы, если позволительно так назвать прогулки, предпринимаемые дамами с детьми в жаркий день. Позже сии добрались До французской столицы, и Лили поклонялась ей,

соблюдая весь дорогостоящий ритуал, между тем как Изабелла находила эту столицу шумной и пустой, — для нее воспоминания о Риме были в эти дни все равно что Для человека, оказавшегося в душной, набитой людьми комнате, зажатая в платке склянка с нашатырным спиртом.

У миссис Ладлоу, которая, как я уже сказал, рьяно приносила жертвы Парижу, были тем не менее сомнения и тревоги, никак с этим алтарем не связанные, и к ним присоединилась еще и досада, когда прибывший из-за океана мистер Ладлоу не проявил ни малейшей охоты рассуждать с ней на тему, столь ее волновавшую. Темой, разумеется, была Изабелла, и Эдмунд Ладлоу, следуя своему обыкновению, наотрез отказался удивляться, сокрушаться, теряться в догадках или ликовать по поводу того, что могла бы или чего не пожелала сделать его свояченица. Душевные движения миссис Ладлоу были в достаточной мере противоречивы. То ей казалось, что ничего не может быть естественнее для Изабеллы, чем вернуться в Нью-Йорк и купить там дом, хотя бы дом Рос-ситеров с великолепным зимним садом, в двух шагах от ее собственного, то она не могла понять, почему Изабелла не выходит замуж за какого-нибудь отпрыска знатного рода.

Одним словом, повторяю, голова у нее шла кругом от всех этих необыкновенных возможностей. Превращение Изабеллы в богатую наследницу было для нее радостью — большей, чем если бы деньги достались ей самой; Лили полагала, что они послужат достойным обрамлением для, быть может, излишне тонкой, но оттого не менее замечательной фигуры ее сестры. Однако Изабелла обманула ее ожидания, она не достигла той полноты расцвета, которая каким-то непостижимым образом связывалась в представлении Лили с утренними визитами и вечерними приемами. Ум Изабеллы, безусловно, очень развился, но, судя по всему, она не одержала тех светских побед, плодами которых хотелось бы восторгаться миссис Ладлоу. Правда, она не совсем ясно представляла себе, как эти плоды должны выглядеть, но на то и была Изабелла, чтобы придать им форму, облечь их в плоть. Все, чего Изабелла достигла, она могла с равным успехом достичь и в Нью-Йорке: имелось ли хотя бы одно преимущество, взывала к своему мужу миссис Ладлоу, которым Изабелла располагала бы в Европе и которое не сумело бы предоставить ей общество этого города? Нам с читателем известно, что Изабелла одержала победы; были они по своему достоинству вы-

ше или ниже тех, что она могла бы одержать в своей родной стране, я судить не берусь, это вопрос щекотливый, и если снова упоминаю, что она не предала их гласности, то делаю это вовсе не для того, чтобы снискать ей похвалы. Она не рассказала своей сестре о предложении лорда Уорбертона и ни словом не обмолвилась о чувствах мистера Озмонда по одной единственной причине — ей просто не хотелось об этом говорить. Романтичнее было молчать и втайне от всех читать запоем свой любовный роман: Изабелла была не более расположена просить совета у бедняжки Лили, чем захлопнуть драгоценный том и отложить его навсегда. Но Лили, не зная ничего о скрытых пристрастиях своей сестры, могла лишь прийти к выводу, что взлет ее кончился и начался спад, — впечатление это усиливалось еще и оттого, что чем чаще Изабелла вспоминала мистера Озмонда, тем упорнее она молчала. И поскольку вспоминала она его достаточно часто, то миссис Ладлоу иногда казалось, что Изабелла окончательно пала духом. Столь ни с чем несообразный результат такого головокружительного события, как получение наследства, разумеется, ставил в тупик жизнелюбивую Лили и способствовал тому, что она еще больше утвер-

ждалась в мнении, будто Изабелла не похожа на всех остальных людей.

Что же до настроения духа моей героини, то оно необычайно поднялось после отъезда домой упомянутых родственников. У нее хватило бы духа на большее, чем на зимний сезон в Париже — Париж во многих отношениях напоминал ей Нью-Йорк, — он был все равно что элегантная, отточенная проза; к тому же постоянная переписка с мадам Мерль тоже весьма способствовала ее душевному подъему. Никогда еще Изабелла с такой остротой не чувствовала полной своей независимости, всей безграничности и безудержности свободы, как в тот момент, когда в последних числах ноября сошла с платформы Юстонского вокзала, после того как тронулся поезд, увозивший бедняжку Лили, ее мужа и ее детей в Ливерпуль. Так хорошо было снова вздохнуть полной грудью. Изабелла очень ясно это ощущала, ибо всегда знала, — для нас это уже не новость, — что для нее хорошо, и стремилась к еще лучшему. Чтобы вкусить всю прелесть нынешнего своего преимущества, она сопровождала отъезжающих, которым отнюдь не завидовала, от Парижа до Лондона. Сопровождала бы их и дальше, до Ливерпуля, если бы Эдмунд Ладлоу не

попросил ее в виде одолжения не делать этого, а то Лили все время суетится и задает немыслимые вопросы. Изабелла проводила взглядом поезд; она послала воздушный поцелуй старшему из своих малолетних племянников, который с удивительной непосредственностью и отвагой высунулся из окна, предаваясь по случаю расставания бурному веселью, и ступила на окутанную туманом лондонскую улицу. Перед ней был весь мир, — она могла делать все, что пожелает. От одного этого захватывало дух, но пока желания ее были сравнительно скромными, она желала всего лишь пройти пешком от Юстонской площади до своей гостиницы. На город уже спустились ранние ноябрьские сумерки, и в густом коричневом тумане уличные фонари светили слабым красноватым светом. Нашу героиню никто не сопровождал, а путь от Юстонской площади до Пикадилли немалый; тем не менее Изабелла проделала его, наслаждаясь всеми подстерегающими путника опасностями, вплоть до того, что пыталась для большей остроты ощущений заблудиться, и была чуть ли не разочарована, когда услужливый полицейский с легкостью указал ей дорогу. Так привлекало Изабеллу зрелище человеческой жизни, что она готова была

наслаждаться даже видом лондонских улиц в сгущающихся сумерках — Движущейся толпой, проносившимися мимо кебами, освещенными лавками, пестрыми лотками и темным глянцем сырости на всем вокруг. Придя к себе в гостиницу, она в тот же вечер написала мадам Мерль, что через два-три дня отправится в Рим. Изабелла прибыла в Рим, не заезжая во Флоренцию, — добралась сначала до Венеции, потом двинулась через Анкону на юг. Она совершила это путешествие только в сопровождении горничной, так как все, кто обычно составлял ее эскорт, как нарочно, отсутствовали. Ральф проводил зиму на острове Корфу, а мисс тэкпол еще в минувшем сентябре была отозвана телеграммой из «Интервьюера» в Америку. Журнал предлагал своей выдающейся корреспондентке для приложения ее талантов более плодотворное поле деятельности, нежели одряхлевшие города Европы, и Генриетта полна была бодрости, тем более что заручилась обещанием мистера Бентлиша в самом скором времени пожаловать к ней в гости. Изабелла написала миссис Тачит письмо с просьбой извинить ее за то, что она не тотчас явится во Флоренцию, и получила ответ, который был очень в духе ее тетушки. Да будет ей

известно, писала Изабелле миссис Тачит, что в извинениях не больше проку, чем в мыльных пузырях, а до них она не охотница. Человек либо что-то делает, либо не делает, а все, что он «бы» сделал, принадлежит тому же не идущему к делу кругу понятий, что идея загробной жизни или вопрос о происхождении мира. Письмо было в достаточной мере откровенным, но (редкий случай с миссис Тачит) не настолько, как это могло бы показаться. Она с легкостью прощала своей племяннице, что та не побывала во Флоренции, ибо приняла это как знак, что Гилберт Озмонд теперь не такая уж злоба дня. Разумеется, она с пристальным вниманием следила, не отлучится ли он под благовидным предлогом в Рим, и вздохнула с облегчением, убедившись, что в этом он был неповинен.

Изабелла, со своей стороны, не пробыв в Риме и двух недель, предложила мадам Мерль немного пострансствовать по Востоку. Мадам Мерль заметила, что приятельнице ее не сидится на месте, но тут же добавила, что давно уже мечтает посетить Афины и Константинополь. Итак, наши дамы пустились в путь и провели три месяца в Греции, Турции и Египте. Изабелла увидела в этих странах много для себя интересного, но мадам

Мерль по-прежнему замечала, что даже в самых прославленных местах, как бы предназначенных склонять к безмятежности и созерцанию, героиней нашей вопреки всему владеет беспокойство. Изабелла путешествовала быстро и безоглядно: точно томимый жаждой человек, поглощающий воду чашка за чашкой. Тем временем мадам Мерль в качестве фрейлины при странствующей инкогнито принцессе, чуть запыхавшись, замыкала шествие. Приняв приглашение Изабеллы, она придала соответствующую величавость нашей растерявшей кортеж героине. Она играла свою роль с присущим ей неизменным тактом, держась в тени, как и пристало спутнице, чьи расходы щедро оплачиваются. Однако в этом положении не было ничего тягостного, и люди, встречавшие на своем пути двух этих весьма сдержанных, но оттого не менее примечательных дам, вряд ли взялись бы определить, кто здесь патронесса, а кто — опекаемое лицо. Сказать, что мадам Мерль выиграла от более близкого знакомства, значит выразить весьма недостаточно впечатление, сложившееся у ее приятельницы, которой с самого начала она казалась верхом обходительности и совершенства. После трех месяцев тесного общения Изабелла почувствовала,

что знает ее лучше, — характер мадам Мерль в достаточной мере обнаружился; к тому же удивительная женщина выполнила наконец обещание и рассказала свою историю с собственной точки зрения — завершение тем более желательное, что Изабелла слышала ее не раз с точки зрения других. История была очень печальная (особенно в той части, где речь шла о покойном мосье Мерле, отъявленном, так сказать, авантюристе, который когда-то, много лет назад, сумел вкрасться к ней в Доверие, воспользовавшись ее юным возрастом и неопытностью, хотя людям, узнавшим ее только теперь, поверить в это, разумеется, трудно) и изобиловала такими поразительными и горестными стечениями обстоятельств, что слушательнице оставалось только удивляться, как женщина столь éprouvée[126] могла сохранить подобную жизнерадостность и интерес к окружающему миру. Что касается жизнерадостности мадам Мерль, то Изабелла получила возможность присмотреться к ней более пристально, — несколько заученная, несколько, по мнению Изабеллы, профессиональная, она либо в футляре, как скрипка маэстро, либо в попоне и на

[126] Примечания: 126
много перенесшая (фр.).

поводу, как «фаворит» жокея, сопровождала мадам Мерль повсюду. Изабелле нравилась мадам Мерль ничуть не меньше, чем прежде, но был уголок занавеса, который так и не приподнялся; казалось, она всегда в какой-то мере играет для публики, словно навек обречена появляться лишь в гриме и театральном костюме. Когда-то в начале их знакомства она сказала Изабелле, что прибыла издалека, что принадлежит «старому, старому» миру, и у Изабеллы так и запечатлелось в сознании, что она порождена иным, отличным от ее собственного, общественным и нравственным климатом, что она выросла под иными звездами.

Изабелла полагала, что у мадам Мерль в самом деле другие нравственные основы. Конечно, у людей цивилизованных основы эти во многом совпадают, но Изабелла не могла избавиться от чувства, что понятие ценностей у нее сместилось или, как в лавках говорят, упало в цене. Со свойственным юности высокомерием Изабелла считала, что нравственные основы, отличные от ее собственных, неизбежно будут сортом ниже, и уверенность эта способствовала тому, что ей нет-нет да и удавалось уловить нотку жестокости или обнаружить уклонение от истины в словах

женщины, которая изысканную доброжелательность возвела в степень искусства и была слишком горда, чтобы идти избитыми путями обмана. Некоторые ее представления о мотивах человеческих поступков могли быть почерпнуты лишь при каком-нибудь княжеском дворе времен упадка; в этом перечне числилось и такое, о чем моя героиня никогда не слышала. Не обо всем же на свете она слышала, это было очевидно, как очевидно и то, что существуют вещи, о которых лучше не слышать вовсе. Раз или два Изабелла была просто напугана своей приятельницей, и напугана так сильно, что невольно воскликнула: «Боже, прости ей, она совсем меня не понимает!» Как ни смешно, но открытие это потрясло Изабеллу До глубины души, даже вселило смутную тревогу, к которой примешалось что-то вроде дурного предчувствия. Тревога, разумеется, улеглась, стоило мадам Мерль внезапно блеснуть незаурядностью своего ума, но она знаменовала собой высшую точку приливной волны доверия. Когда-то мадам Мерль заявила, что, согласно ее опыту, дружба, как только перестает возрастать, тут же начинает убывать, — чаши весов с «нравиться больше» и «нравиться меньше» никогда не приходят в равновесие. Иными сло-

вами, устойчивых привязанностей не бывает — они всегда в движении. Как бы там ни было, Изабелла находила множество применений духу романтики, владевшему ею в эти дни как никогда. Я имею в виду не то чувство, которое волновало ее, когда она ездила из Каира смотреть на пирамиды или когда стояла среди сломанных колонн Акрополя[127] устремляя взор туда, где, если верить указаниям, находился Саламинский пролив,[128] хотя чувство это было глубоким и памятным. В конце марта, на обратном пути из Египта и Греции, она снова задержалась в Риме. Несколько дней спустя из Флоренции приехал Гилберт Озмонд, пробыл в Риме три недели, и, так как Изабелла поселилась в доме его старинной приятельницы мадам Мерль, он, словно волей обстоятельств, каждый день неизбежно встречался с ней. Когда апрель подходил к концу, Изабелла написала миссис Тачит, что с радостью примет теперь ее давнее приглашение и приедет

---

[127] Примечания: 127

Акрополь — имеется в виду Афинский акрополь, в котором сохранились древние произведения архитектуры и скульптуры (примерно V в. до н. э.).

[128] Примечания: 128

Саламинский пролив — находится к юго-западу от Афин. В 480 г. до н. э. во время греко-персидской войны в Саламинском проливе произошло морское сражение, завершившееся победой греков над персами.

погостить в палаццо Кресчентини. Мадам Мерль на этот раз задержалась в Риме. Изабелла застала свою тетушку в одиночестве: Ральф был все еще на Корфу. Однако во Флоренции его ждали со дня на день, и Изабелла, которая вот уже почти год, как не виделась с ним, готовилась со всей нежностью встретить своего кузена.

32

Однако не о нем она думала, стоя у распахнутого окна, где мы с ней совсем недавно расстались, и не обо всем прочем, бегло мною упомянутом. Мысли ее не были обращены к прошлому, они заняты были тем, что неминуемо предстояло ей сейчас. По всей видимости, ее ожидала сцена, а Изабелла не любила сцен. Она не спрашивала себя, что скажет своему гостю, — на этот вопрос она уже ответила. Ее волновало другое, что ее гость скажет ей. Во всяком случае, ничего приятного, — тут сомневаться не приходилось, и, вероятно, именно эта уверенность ложилась облаком на ее лицо. В остальном Изабелла была сама ясность; покончив с трауром, она выступала в неком мерцающем великолепии. Правда, она чувствовала, что стала старше — намного старше, но оттого словно бы «больше стоила», точно какая-нибудь редкостная вещь в коллекции антиквара. Как бы там ни было, ее тревожному предвкушению скоро был положен конец, в комнату вошел лакей с визитной карточкой на подносе.

— Просите, — сказала она, продолжая после

ухода лакея смотреть в окно, и только когда закрылась дверь за тем, кто не замедлил войти, Изабелла обернулась.

Перед ней был Каспар Гудвуд. Всем своим существом ощутил он на мгновение ее холодно сверкнувший взор, которым она окинула его, не столько приветствуя, сколько отстраняя. Вступил ли он тоже в пору зрелости, поспевая за моей героиней, это мы скоро увидим; пока я лишь позволю себе сказать, что даже на ее взыскательный взгляд время не нанесло ему ни малейшего ущерба. Он был прям, тверд, неутомим, и ничто в его наружности достоверно не говорило ни о молодости, ни о зрелых годах; напрасно было бы искать в нем следы слабости или невинности души, как, впрочем, и приметы житейской мудрости. Все так же решительно вскинут был волевой подбородок, но, естественно, что подобный поворот судьбы наложил на его лицо отпечаток мрачности. Судя по виду, Каспар проделал весь путь, не переводя духа, и теперь молчал, словно вначале ему надо бы отдышаться. За это время Изабелла успела подумать: «Бедняга, он способен совершать подвиги. Как жаль, что он так чудовищно растрачивает свои могучие силы; как жаль, что нельзя удовлетворить всех сразу!» Более того, она

даже успела сказать:

— Господи, как я надеялась, что вы не приедете!

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

Каспар огляделся, отыскивая, где бы ему сесть. Он не только приехал, он намерен был прочно обосноваться.

— Вы, должно быть, очень устали? — спросила Изабелла, опускаясь в кресло с сознанием, что великодушно предоставляет ему такую возможность.

— Нет, я не устал. Вы разве видели меня когда-нибудь усталым?

— К сожалению, нет. Когда вы приехали?

— Вчера вечером, точнее, ночью; поездом, который ползет, как черепаха, хоть и называется здесь экспрессом. Скорость этих итальянских поездов все равно что в Америке у похоронных процессий.

— Видите, как все сошлось, — наверное, у вас было такое чувство, будто вы едете меня хоронить.

Изабелла заставила себя улыбнуться, словно призывая гостя не принимать все так близко к сердцу. Она до тех пор разбирала этот сложный вопрос, пока окончательно не убедилась, что не

нарушила слова и не обманула доверия, но все же боялась своего гостя. Она стыдилась этого страха и притом была от души благодарна судьбе, что больше ей стыдиться нечего. Каспар смотрел на нее с неотступным упорством — с упорством, лишенным малейшей деликатности, особенно когда в его взгляде загорался тусклый угрюмый огонь, который был ей непереносимо тяжел.

— Нет, такого чувства у меня не было. К сожалению, я не могу думать о вас как об умершей, — сказал он чистосердечно.

— Благодарю вас от всей души.

— Мне легче было бы, чтобы вы умерли, чем вышли замуж за другого.

— Как это эгоистично! — воскликнула с искренним негодованием Изабелла. — Если вы сами несчастливы, так уж и никто не должен быть счастлив!

— Эгоистично, не спорю. Вы можете говорить все, что вам вздумается, мне это глубоко безразлично, — я к этому нечувствителен. Ваши самые Жестокие слова для меня все равно, что булавочные уколы. После того что вы сделали, я стал ко всему нечувствителен, т. е. ко всему, кроме этого. Это я буду чувствовать до конца своих дней.

Он делал эти отрывочные признания с нарочи-

той сухостью, тем свойственным американцам медлительно-твердым тоном, который отнюдь не прикрывает воздушным покровом грубую прямоту слов. Его тон не растрогал, а скорее разозлил Изабеллу, что было, пожалуй, к лучшему, поскольку теперь у нее появилась лишняя причина держать себя в узде. Поневоле повинуясь этой узде, она, немного выждав, спросила без всякой связи:

— Давно вы из Нью-Йорка?

Он вскинул голову, как бы подсчитывая.

— Нынче семнадцатый день.

— Вы добрались сюда очень быстро, хоть и жалуетесь на поезда.

— Я очень спешил. Если бы это только от меня зависело, я был бы здесь пять дней назад.

— От этого ничего бы не изменилось, мистер Гудвуд, — сказала она с холодной улыбкой.

— Для вас, — но не для меня.

— Не вижу, что вы могли бы выиграть.

— Об этом лучше судить мне.

— Безусловно. Но мне кажется, вы понапрасну мучаете себя.

Желая переменить тему, она спросила, видел ли он Генриетту Стэк-пол. Он посмотрел на нее так, словно хотел сказать, что приехал из Бостона

во Флоренцию не для того, чтобы говорить о мисс Стэкпол, но все же вполне вразумительно ответил, что видел эту молодую особу перед самым своим отъездом.

— Она была у вас? — спросила Изабелла.

— Она приехала в Бостон и навестила меня в конторе. Как раз в тот день, когда я получил ваше письмо.

— Вы сказали ей? — спросила с некоторым беспокойством Изабелла.

— Нет, — ответил Каспар просто. — Мне не хотелось. Но скоро она узнает сама. Она всегда все узнает.

— Я напишу ей, и она пришлет письмо, в котором меня разбранит, — проговорила Изабелла, снова пытаясь улыбнуться.

Но Каспар был все так же неумолимо серьезен.

— Думаю, она скоро сама сюда явится.

— Чтобы разбранить меня?

— Этого я не знаю. Она как будто считает, что недостаточно изучила Европу.

— Хорошо, что вы меня предупредили, — сказала Изабелла. — Мне надо к этому заранее подготовиться.

Уставившись в пол, Каспар сидел некоторое время молча; наконец, подняв глаза, он спросил:

— Она знакома с мистером Озмондом?

— Да, немного. Он ей не нравится. Но, разумеется, я не для того выхожу замуж, чтобы доставить удовольствие Генриетте, — добавила она. Бедный Каспар, насколько было бы лучше для него, если бы она чуть больше старалась угодить мисс Стэкпол. Однако этого он не сказал, а лишь спросил, когда предполагается свадьба. Изабелла ответила, что точно еще не знает. — Одно могу сказать — скоро. Я никому пока об этом не говорила, кроме вас и еще… еще старинной приятельницы мистера Озмонда.

— Вы думаете, ваши друзья не одобрят ваш выбор?

— Право, не имею представления. Я уже сказала вам, что не для того выхожу замуж, чтобы доставить удовольствие друзьям.

Он продолжал задавать вопросы — без восклицаний, без комментариев, но и без малейшей деликатности.

— Что из себя представляет мистер Озмонд? Кто он и что он?

— Кто он и что он? Да никто и ничто, просто очень хороший, очень достойный человек, — сказала Изабелла. — Он не занимается коммерцией, не богат, ничем не знаменит.

Вопросы мистера Гудвуда были неприятны ей, но она сказала себе, что ее долг — удовлетворить его по мере сил. Однако бедный Каспар отнюдь не выглядел удовлетворенным; он сидел очень прямо и не сводил с нее глаз.

— Откуда он взялся? Из каких он мест?

Изабеллу еще больше, чем всегда, покоробило от его манеры выговаривать слово «взялся».

— Ниоткуда. Большую часть жизни он провел в Италии.

— Так, что ж, он не знает, в каком городе родился?

— Он забыл. Он уехал оттуда мальчиком.

— И ни разу не возвращался?

— Зачем ему было возвращаться? — спросила, воинственно разгораясь Изабелла. — У него нет там никаких дел!

— Он мог бы поехать туда ради удовольствия. Или ему не по душе Соединенные Штаты?

— Он их не знает. Мистер Озмонд человек очень тихий и скромный: он довольствуется Италией.

— Италией и вами, — докончил Каспар Гудвуд. Он сказал это с мрачной простотой, не имея в виду съязвить. — Что же он такого сделал? вырвалось у него вдруг.

— Чтобы я согласилась выйти за него замуж?

Ровным счетом ничего, — ответила Изабелла, ожесточаясь и только поэтому не теряя терпения. — А если бы за ним и числились какие-нибудь подвиги, разве вы смогли бы мне простить? Отступитесь от меня, мистер Гудвуд. Человек, за которого я выхожу замуж, полнейший нуль. Не пытайтесь проникнуться к нему интересом. Вы не сможете.

— Не смогу его оценить, вы это хотели сказать? И сами вы вовсе не считаете, что он нуль, вы считаете, что он светлая, что он незаурядная личность, хотя, кроме вас, никто так не считает.

Румянец на щеках у Изабеллы сделался гуще; она подумала, что собеседник ее выказал немалую проницательность и что страсть, как видно, обостряет все чувства, поскольку раньше она никогда не замечала за ним подобной тонкости.

— Почему вы все время возвращаетесь к тому, что думают другие? Я не могу обсуждать с вами мистера Озмонда.

— Вы правы, — согласился благоразумно Каспар.

Он сидел и смотрел на нее в каком-то беспомощном оцепенении, словно не только это было правдой, но что вообще не осталось ничего, о чем они могли бы друг с другом говорить.

— Видите, как мало вы выиграли! — не замедлила воскликнуть Изабелла. — Как мало я способна вас утешить и успокоить.

— А я на многое и не рассчитывал.

— Не понимаю тогда, зачем вы приехали?

— Приехал потому, что хотел еще раз вас увидеть — пусть даже так.

— Я очень это ценю, но не лучше ли было чуть-чуть подождать, ведь рано или поздно мы все равно бы с вами встретились, встретились бы при обстоятельствах более приятных для нас обоих.

— Подождать, пока вы выйдете замуж? Этого я и не хотел. Вы будете уже другая.

— Не настолько. Вам я по-прежнему буду другом. Вот увидите.

— Тем хуже, — мрачно сказал мистер Гудвуд.

— Как вы несговорчивы! Не могу же я обещать, что невзлюблю вас, только чтобы помочь вам поставить на мне крест.

— А хотя бы и так, мне все равно!

Изабелла поднялась, излив в этом порывистом движении сдерживаемое нетерпение, и подошла к окну. Некоторое время она глядела в сад, а когда обернулась, гость ее сидел все так же неподвижно. Она снова приблизилась к нему и встала рядом, опершись рукой о спинку кресла,

на котором перед тем сидела.

— Значит, вы приехали лишь для того, чтобы увидеть меня? А вы подумали, каково это будет мне?

— Я хотел услышать ваш голос.

— Вы услышали, он ничем не порадовал ваш слух.

— Все равно, для меня это радость, — с этими словами Каспар встал.

Она испытала тяжелое и неприятное чувство, когда утром узнала, что он во Флоренции и желал бы, с ее разрешения, навестить ее в ближайший час. Она была удручена, раздосадована, но это не помешало ей ответить с его же нарочным, что он может прийти, как только пожелает. Точно так же она нисколько не обрадовалась, когда увидела его перед собой: уже самое его появление здесь полно было скрытого значения. Оно означало многое такое, с чем она никак не могла согласиться, — предъявление на нее прав, упреки, протест, осуждение и, наконец, надежду, что она изменит свое решение. Однако все вышеозначенное так и осталось в скрытом виде, ничем себя не обнаружив, и моя юная героиня вдруг, как это ни странно, вознегодовала на поразительное умение гостя владеть собой. Что-то в его молчаливом

отчаянии раздражало ее; что-то в его мужественной выдержке заставляло ее сердце биться чаще. Почувствовав, что волнение ее растет, она сказала себе, что злится так, как злятся женщины, когда они виноваты. Она не была виновата, эта горькая чаша ее миновала, и все же ей хотелось бы услышать от него хоть слово упрека. Утром она хотела лишь одного — чтобы его визит был как можно короче: он был против всех правил, он был бесцелен; но теперь, когда Каспар готов был откланяться, она пришла вдруг в ужас от того, что он так и уйдет, не проронив ни слова, позволившего бы ей сказать в свое оправдание больше, чем в том письме, которое она написала месяц назад, извещая его несколькими скупыми, тщательно обдуманными фразами о своей помолвке. Но если она ни в чем не виновата, откуда в ней это желание оправдываться? Не чрезмерное ли с ее стороны великодушие — желать, чтобы мистер Гудвуд на нее рассердился? И если бы мистер Гудвуд не держал себя все время в руках, ему пришлось бы теперь призвать на помощь всю свою твердость, когда она вдруг воскликнула таким тоном, словно обвиняла его в том, что он обвиняет ее:

— Я не обманула вас! Я ничем не была связана!

— Я это знаю, — сказал Каспар.

— Я вас прямо предупредила, что буду делать все, что мне будет угодно.

— Вы сказали, что, скорее всего, никогда не выйдете замуж, и сказали так, что я поверил.

Изабелла на секунду задумалась.

— Я сама больше всех удивлена своим решением.

— Вы сказали, — даже если я услышу, что вы выходите замуж, чтобы я этому не верил, — продолжал Каспар. — Я услышал это двадцать дней назад от вас самой. Я подумал, а может быть, здесь какая-то ошибка, потому отчасти и приехал.

— Если вы хотите услышать это из моих уст, что ж, я готова повторить. Во всяком случае, никакой ошибки здесь нет.

— Я понял это, как только вошел в комнату.

— Вам-то что за прок, если бы я никогда не вышла замуж? — спросила она с каким-то ожесточением.

— Все лучше, чем это.

— Я уже говорила вам, вы очень эгоистичны.

— Да, знаю. Эгоистичен, как железный истукан.

— Даже железо иногда плавится и мягчает. Если вы будете вести себя благоразумно, мы еще

увидимся с вами.

— Разве теперь я веду себя не благоразумно?

— Не знаю, что вам и сказать, — проговорила она вдруг смиренно.

— Я не долго буду досаждать вам, — продолжал Каспар. Он сделал шаг к двери и остановился. — Другая причина, по которой я приехал, это желание услышать, как вы объясните то, что изменили свое решение.

От смирения ее вмиг не осталось и следа.

— Как объясню? Вы полагаете, я должна объяснять?

Он снова посмотрел на нее долгим молчаливым взглядом.

— Вы так твердо тогда сказали, что я поверил.

— Я тоже. Неужели вы думаете, я могла бы объяснить, даже если бы пожелала?

— Нет, не думаю. Что ж, — сказал он, — я сделал, что хотел. Повидал вас.

— Как легко вы переносите эти ужасные путешествия, — сказала она, понимая всю скудость своих слов.

— Если вы боитесь, что меня можно подобным образом сбить с ног, — пусть это вас не тревожит.

Он отвернулся, на этот раз окончательно, и

направился к двери; так они и расстались, не обменявшись рукопожатием, не кивнув друг другу на прощание. Держась за ручку двери, он остановился.

— Завтра же я уеду из Флоренции, — проговорил он недрогнувшим голосом.

— Как я этому рада! — воскликнула она горячо.

Через пять минут после его ухода она разрыдалась.

33

Однако плакала Изабелла недолго, от ее слез не осталось и следа, когда час спустя она преподнесла свою великую новость тетушке. Сказав «преподнесла», я не оговорился. Изабелла знала наверное, что миссис Тачит будет недовольна; но не это удерживало ее, — она хотела сперва повидаться с мистером Гудвудом. По какой-то непонятной причине ей казалось неблагородным огласить свою помолвку прежде, чем она услышит, что скажет по этому поводу мистер Гудвуд. Он сказал меньше, чем она ожидала, и теперь она досадовала на то, что напрасно потеряла время. Но впредь она не намерена была терять ни минуты. Когда незадолго до второго завтрака миссис Тачит вошла в гостиную, Изабелла была уже там и сразу же обратилась к ней со словами:

— Тетя Лидия, мне надо сказать вам кое-что.

Миссис Тачит вздрогнула и посмотрела на нее чуть ли не с яростью — Можешь не говорить, я и без того знаю.

— Не знаку, каким образом вы могли это узнать.

— Таким же, как узнаю, что в комнате открыто окно — оттуда дует. Ты решила выйти замуж за этого человека.

— Кого вы имеете в виду? — спросила Изабелла с большим достоинством.

— Друга мадам Мерль — мистера Озмонда.

— Не знаю, почему вы называете его другом мадам Мерль. Разве это главное, чем он известен.

— Если он не ее друг, так должен им стать после того, что она для него сделала! — вскричала миссис Тачит. — Вот уж никак этого от нее не ожидала, я очень разочарована.

— Если вы хотите сказать, что мадам Мерль имеет какое-то отношение к моей помолвке, вы глубоко заблуждаетесь, — заявила с ледяной горячностью Изабелла.

— Ты хочешь сказать, что и без того достаточно привлекательна и этого господина не надо было подстегивать? Совершенно верно. Привлекательность твоя огромна, и он не смел бы о тебе и помыслить, если бы она его не надоумила. Он очень высокого о себе мнения, но затруднять себя не любит. *За него* потрудилась мадам Мерль.

— Он и сам потрудился немало, — воскликнула Изабелла, принужденно смеясь.

Бросив на нее острый взгляд, миссис Тачит

кивнула.

— Надо думать, что ему пришлось в конце концов, раз он сумел так тебе понравиться.

— Мне казалось, что и *вы* к нему были расположены.

— Одно время была, оттого и сержусь на него.

— Сердитесь лучше на меня, а не на него.

— На тебя я сержусь постоянно, от этого мне не легче. Так **вот** ради чего ты отказала лорду Уорбертону?

— Прошу вас, не будем к этому возвращаться. Если мистер Озмонд нравился другим, почему бы ему не понравиться мне?

— Другим никогда не приходила в голову дикая мысль выйти за него замуж. Он *ничего* собой не представляет, — пояснила миссис Тачит.

— В таком случае я ничем не рискую.

— И ты воображаешь, что будешь счастлива? Никто еще не бывал счастлив, затеяв такое.

— Ну, так я заведу эту моду. Для чего люди вообще вступают в брак?

— Для чего это делаешь *ты*, одному богу известно. Люди обычно вступают в брак, как в деловое содружество, — чтобы создать домашний очаг. Но в твоем содружестве весь пай вносишь ты.

— Это вы о том, что мистер Озмонд небогат?

Правильно я вас поняла?

— У него нет денег, нет имени, нет положения в обществе. Всему этому я придаю большое значение и имею мужество заявлять об этом вслух. Я считаю, что такие преимущества надо ценить. Многие люди считают точно так же и доказывают это на деле. Но выставляют другие причины.

Подумав немного, Изабелла сказала:

— Мне кажется, я умею ценить все, что имеет цену. Деньги, по-моему, прекрасная вещь, оттого я и хочу, чтобы у мистера Озмонда они были.

— Вот и дай их ему, а замуж выходи за другого.

— Меня вполне устраивает имя Озмонд, — продолжала Изабелла. — Оно очень приятно для слуха. И разве у меня самой такое уж громкое имя?

— Тем больше у тебя оснований попытаться изменить его на лучшее. В Америке всего-то и есть что десяток имен. Ты, что ж, выходишь за него замуж с благотворительной целью?

— Тетя Лидия, я считала долгом сообщить вам о своих намерениях, но не считаю долгом их объяснять. Да и не смогла бы, даже если бы хотела. Поэтому, пожалуйста, не нападайте на меня, я в невыгодном положении, я не могу защищаться.

— Никто на тебя не нападает, должна же я

ответить тебе и как-то показать, что не лишена разума. Я ведь видела, к чему все клонится, и молчала. Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела.

— Могу это подтвердить и очень вам за это благодарна. Вы были просто бесподобны.

— Не бесподобна, а удобна, — сказала миссис Тачит. — Но с мадам Мерль я еще поговорю.

— Не понимаю, почему вы все время ее примешиваете. Она была мне верным другом.

— Возможно. Зато мне никуда не годным.

— Чем она перед вами провинилась?

— Тем, что обманула меня. Она, можно сказать, обещала мне не допустить твоей помолвки.

— Ей это не удалось бы.

— Ей все удается, тем она мне и нравилась. Я всегда знала, что она способна играть любую роль, но думала — она играет их поочередно, и никак не предполагала, что она станет играть две роли сразу.

— Не знаю, какую роль она играла по отношению к вам, это ваше с ней дело. Мне она была добрым, искренним, преданным другом.

— Еще бы ей не быть! Она хотела, чтобы ты вышла замуж за ее кандидата. Мне она говорила, что не спускает с тебя глаз и в нужную минуту вмешается.

— Это говорилось только для того, чтобы вы были довольны, — сказала Изабелла, понимая всю неубедительность своих слов.

— Довольна ценой обмана? Не такого она низкого обо мне мнения. Разве сегодня я довольна?

— По-моему, вы почти никогда не бываете довольны, — вынуждена была ответить Изабелла. — Но если мадам Мерль понимала, что рано или поздно вы узнаете правду, что выиграла она своей неискренностью?

— Выиграла время — разве тебе не ясно? Пока я ждала, что она вмешается, ты быстро шагала к своей цели, а она между тем трубила в фанфары.

— Прекрасно, но, по вашим же собственным словам, вы тоже видели, куда я шагаю. И пусть бы она даже подала сигнал тревоги, вы все равно не попытались бы меня остановить.

— Я — нет, но кто-нибудь другой попытался бы.

— Кого вы имеете в виду? — спросила Изабелла, глядя на нее в упор.

Маленькие блестящие глазки миссис Тачит, такие всегда выразительные, на этот раз лишь выдержали взгляд, никак на него не ответив.

— Ну, а к Ральфу ты прислушалась бы?

— Если бы он ополчился на мистера Озмон-

да, — нет.

— Ральф не ополчается на людей, ты прекрасно это знаешь. Ты очень ему дорога.

— Знаю, — сказала Изабелла, — и сейчас смогу оценить его отношение ко мне в полной мере. Ральф знает, если я что-то делаю, значит у меня есть на то причины.

— Он никак не думал, что ты проделаешь такую штуку. Я говорила ему, что ты на это способна, а он спорил со мной и доказывал обратное.

— Он спорил из духа противоречия, — сказала Изабелла с улыбкой. — Его вы не обвиняете в том, что он обманул вас, почему же обвиняете мадам Мерль?

— Он никогда не обещал, что этого не допустит.

— Как я рада! — весело воскликнула Изабелла. — Мне очень хотелось бы, — тут же добавила она, — чтобы, когда он приедет, вы сразу ему сказали о моей помолвке.

— Можешь в этом не сомневаться, — ответила миссис Тачит. — Ты о ней больше не услышишь от меня ни слова, но предупреждаю, с другими я молчать ие намерена.

— Как вам угодно. Я только хотела сказать, что, пожалуй, лучше, если объявление о моей

помолвке будет исходить не от меня, а от вас.

— Полностью с тобой согласна. Так будет куда приличнее!

После чего тетушка и племянница отправились завтракать, и миссис Тачит, верная своему обещанию, ни разу не упомянула Гилберта Озмонда. Несколько минут помолчав, она спросила Изабеллу, кто посетил ее за час до завтрака.

— Мой старый друг — американский джентльмен, — ответила, слегка покраснев, Изабелла.

— Ну, что он американский джентльмен, это очевидно. Кому еще придет в голову являться с визитом в десять часов утра.

— Не в десять, а в половине одиннадцатого, к тому же он очень спешил, он сегодня вечером уезжает.

— Почему он не нанес тебе визит вчера, в приличное время?

— Он только вчера приехал.

— И проведет во Флоренции всего сутки? — воскликнула миссис Тачит. — Вот уж истинный американский джентльмен.

— Вы правы, истинный, — сказала Изабелла, вопреки всякой логике восхищаясь в душе тем, на что он ради нее оказался способен.

Еще через два дня приехал Ральф, и, хотя Иза-

белла нисколько не сомневалась, что миссис Тачит поспешила поделиться с ним чрезвычайной новостью, первое время он никак не обнаруживал, что ему что-либо на этот счет известно. Неотложной темой было, естественно, состояние его здоровья; кроме того, Изабелла расспрашивала его о Корфу. Она успела уже забыть, как Ральф болен, и когда он вошел в комнату, была потрясена его видом. Несмотря на свое длительное пребывание на Корфу, в этот день он выглядел из рук вон плохо, и она не могла понять, действительно ли ему стало хуже, или просто она отвыкла видеть возле себя неизлечимо больного человека. По мере того как шли годы, бедный Ральф не становился, в общепринятом смысле этого слова, краше, и нынешняя, как видно, окончательная потеря здоровья вовсе не смягчила природное своеобразие его облика. Измученное, изможденное, хотя по-прежнему выразительное, по-прежнему ироническое лицо Ральфа было как залатанный бумагой зажженный фонарь в чьей-то дрожащей руке; редкие бакенбарды меланхолично обрамляли худые щеки; еще резче обозначался горбатый нос. Да и весь он был невозможно худой — худой, длинный, развинченный, словно составленный как

попало из одних углов. Бархатная коричневая куртка стала его бессменным одеянием; руки почти не покидали карманов; он спотыкался, шаркал, волочил ноги, как бывает с людьми при полном бессилии. Пожалуй, причудливая походка больше, чем что бы то ни было, выдавала насмешливый нрав больного, который даже свои недуги рассматривал как часть извечной шутки. Возможно, недуги эти и явились главной причиной того, что он несерьезно воспринимал мир, где его собственное затянувшееся пребывание казалось неразрешимой загадкой. Изабелла постепенно прониклась нежностью к его безобразной наружности, полюбила его нескладность. И она совсем примирилась с ними, когда вдруг ей стало ясно: они-то и придают Ральфу такое очарование. Очарование настолько неотразимое, что до сих пор мысль о его болезни содержала в себе нечто успокоительное: то, что он слаб здоровьем, казалось не столько недостатком, сколько своего рода духовным преимуществом, так как, освобождая от всех должностных и общественных забот, давало ему счастливую возможность целиком сосредоточиться на вещах личного порядка. Выкристаллизовавшаяся в результате личность была восхитительна; Ральф отнюдь

не погряз в своих недугах и, хоть вынужден был признать себя неизлечимо больным, не пожелал записаться в инвалиды. Таким представлялся Изабелле ее кузен, и если ей случалось жалеть его, то лишь по здравому размышлению. Но поскольку размышляла она немало, то и склонна была время от времени уделять ему крупицу сострадания — крупицу, не больше, потому что всегда боялась истощить запас сего драгоценного вещества, которое никому так не дорого, как дающему. Однако не надо было обладать особой чувствительностью, чтобы ощутить, что сейчас связь с жизнью у Ральфа совсем ослабела. Это был блестящий, независимый, благородный дух, это был светлый ум без тени педантизма, но, как ни прискорбно, дни этого человека были сочтены. В который раз Изабелла отметила про себя, что иным людям жизнь дается тяжело, и не без краски стыда тут же подумала, какой легкой обещает теперь стать ее собственная жизнь. Она допускала, конечно, что Ральф выразит недовольство ее помолвкой, но, несмотря на всю свою к нему привязанность, несклонна была допустить, чтобы это обстоятельство чему-либо помешало. Как, впрочем, несклонна была — или ей казалось, что несклонна, — вознегодовать, не встретив в

Ральфе сочувствия: критическое отношение к любой ее попытке выйти замуж было его законным правом, естственной для него позицией. Кузены всегда делают вид, что ненавидят мужей своих кузин, это принято, соответствует классическим образцам, как бы неотделимо от того, что кузены имеют обыкновение делать вид, будто они этих самых кузин боготворят. И уж кто-кто, а Ральф готов критиковать все на свете; и хотя, разумеется, она, при прочих равных условиях, рада была бы угодить своим замужеством всем и в особенности Ральфу, нельзя же в самом деле серьезно принимать в расчет, отвечает ее выбор его понятиям или нет. Да и каковы были его понятия? Он делал вид, будто, по его мнению, ей следовало выйти замуж за лорда Уорбертона, но потому только, что этого превосходного человека она отвергла. Пожелай она сделаться его женой, Ральф заговорил бы иначе, просто из свойственного ему духа противоречия. Раскритиковать можно любой брак — он самой своей сущностью как бы напрашивается на критику. Настройся она на этот лад, ей ничего не стоило бы раскритиковать свой собственный брачный союз! Но у нее довольно других занятий, так что пусть уж эту заботу возьмет на себя Ральф. Изабелла склонна

была проявить и терпение и кротость. Ральф не мог этого не видеть, — тем непонятнее было его молчание. Когда по прошествии трех дней он так и не заговорил о предстоящем событии, нашей героине наскучило ждать: даже если ему очень не по душе объяснение с нею, должен же он в конце концов через это пройти, хотя бы приличия ради. Мы, зная о бедном Ральфе больше, чем его кузина, легко можем представить себе, через что он прошел с момента своего возвращения в палаццо Кресчентини. Миссис Тачит буквально на пороге обрушила на него великую новость, пронзившую Ральфа таким холодом, что с ним ни в какое сравнение не шел прохладный материнский поцелуй. Ральф был потрясен, унижен, все его расчеты оказались неверны, и та, что так много значила для него в этом мире, потеряна навсегда. Он блуждал по дому, как корабль без руля среди мелей и рифов, или сидел в саду в огромном плетеном кресле, вытянув ноги, откинув назад голову и надвинув шляпу на самые глаза. Он чувствовал, как у него леденеет сердце, — ведь хуже ничего себе и представить было нельзя. Что мог он сделать? Что сказать? Если кузина безвозвратно потеряна, мог ли он делать вид, что ему это по душе? Добиваться ее возвращения стоило лишь

при твердой уверенности, что этого добьешься. Попытаться убедить ее в том, что человек, чьему искусному обольщению она поддалась, низок и недостоин ее, простительно было лишь, если бы такая попытка безусловно удалась. Иначе он просто себя погубит. Ему одинаково трудно было и выказать свои чувства, и скрыть их; невозможно было примириться, не кривя душой, как невозможно было и противиться без тени надежды на успех. Между тем он знал или, вернее, догадывался, что помолвленная пара изо дня в день обменивается клятвами верности. Озмонд почти не показывался в палаццо Кресчентини, что не мешало Изабелле ежедневно видеться с ним, так как теперь, когда о помолвке их было объявлено, это стало ее законным правом. Она нанимала помесячно карету, чтобы не быть обязанной тетушке за предоставление возможности следовать путем, который та не одобряла, и по утрам отправлялась в Кашины. В эти ранние часы запущенный пригородный парк был совершенно безлюден, и наша юная героиня вместе со своим возлюбленным, присоединявшимся к ней в самой уединенной части Кашин, прогуливалась в пепельно-серой тени итальянских рощ и слушала соловьев.

34

Как-то утром, возвратившись с прогулки за полчаса до завтрака, Изабелла вышла из кареты и вместо того, чтобы сразу же подняться по величественной лестнице, пересекла дворцовый двор, прошла под сводами еще одной арки и очутилась в саду. В этот час он был несказанно прекрасен. Полдень разлил над ним свое безмолвие, и беседки, полные неподвижной тени, казались глубокими пещерами. Ральф сидел в прозрачном сумраке у подножья статуи Терпсихоры — танцующей нимфы с удлиненными пальцами и раздувающимися одеждами в манере Бернини;[129] во всей позе Ральфа была такая расслабленность, что Изабелле показалось сначала, будто он спит. Ее легкие шаги, заглушённые травой, его не потревожили, но, прежде чем уйти, она на секунду приостановилась и бросила на него взгляд. В то же мгновение Ральф открыл глаза, и Изабелла, не долго думая, опустилась в

[129] Примечания: 129

Бернини Джованни Лоренцо (1598–1680) — итальянский архитектор и скульптор. Мастерски владел искусством обрабатывать и полировать мрамор. Бернини добивался почти натуралистического эффекта в изображении тела, фактуры тканей и т. д.

плетеное кресло — полное подобие того, в котором сидел он. Хотя, досадуя на своего кузена, она упрекала его в равнодушии, все же она не могла не видеть, что его угнетают какие-то мысли. Но она объясняла его рассеянный вид отчасти томительной и все растущей слабостью, отчасти неприятностями, связанными с унаследованным от отца состоянием — их причиной были эксцентричные распоряжения Ральфа, неодобренные его матерью и, как сказала она Изабелле, встретившие теперь противодействие со стороны совладельцев банка. Ральфу следовало бы, по мнению миссис Тачит, отправиться вместо Флоренции в Лондон; он не был там целую вечность и проявлял к делам банка не больше интереса, чем, скажем, к Патагонии.

— Жаль, что я вас разбудила, — сказала Изабелла. — У вас такой усталый вид.

— Так оно и есть. Но я не спал. Я думал о вас.

— И это вас утомило?

— Очень! Как любые бесплодные усилия. Сколько я не бьюсь, все равно ни к чему не могу прийти.

— А к чему бы вы хотели прийти? — спросила она, закрывая зонтик.

— К пределу ясности, когда можно будет, хотя

бы для самого себя, облечь в слова то, что я думаю о вашей помолвке.

— Стоит ли вам так много об этом думать? — обронила она полушутя.

— Вы хотите сказать, что меня это не касается?

— Если и касается, то только до известного предела.

— Этот предел я и желал бы установить. Полагаю, я дал вам повод обвинять меня в неучтивости. Я так вас и не поздравил.

— Конечно, я обратила на это внимание. И мне было непонятно, почему вы молчите.

— На это есть много причин. Сейчас я вам все объясню, — сказал Ральф.

Сняв шляпу, он положил ее возле себя на землю и некоторое время молча смотрел на Изабеллу. Потом откинулся назад, под защиту Бернини, и сидел, прислонившись головой к мраморному подножью; плечи у него были опущены, ладони лежали на подлокотниках огромного кресла. Видно было, что ему неуютно, неловко, что он не может собраться с духом. Изабелла молчала; если кто-то в ее присутствии испытывал смущение, она обычно преисполнялась сочувствия, но сейчас ей нисколько не хотелось облегчить Ральфу возможность нелестно высказаться о ее благом

решении.

— Я все еще не могу прийти в себя от изумления, — проговорил он наконец. — Вот уж никогда бы не поверил, что вас можно так поймать.

— Не понимаю, почему вы называете это «поймать»?

— Потому что вас посадят в клетку.

— Раз клетка мне по душе, вам не о чем беспокоиться, — ответила она.

— Вот этого-то я и не могу понять, над этим все время и думаю.

— Если над этим думаете вы, можете вообразить, как над этим думала я. Пока не убедилась, что поступаю правильно.

— Значит, вы изменились до неузнаваемости. Год назад превыше всего вы ценили свободу и хотели одного — видеть жизнь.

— Я видела достаточно, — сказала Изабелла. — Должна признаться, что жизненные просторы не кажутся мне столь уж заманчивыми.

— Кто же говорит, что они заманчивы. Но я полагал, что, обратив на них благосклонный взор, вы решили обозреть все поле жизни.

— . Я убедилась, что нельзя задаваться такой недостижимой целью. Надо выбрать какой-то уголок и его возделывать.

— Совершенно с вами согласен. Но уголок надо выбрать, по возможности, тщательнее. Когда я читал этой зимой ваши прелестные письма, мог ли я предположить, что вы в это время выбираете? Вы не обмолвились об этом ни словом, и мое внимание было усыплено.

— Могли ли вы ожидать, что я стану писать вам о подобных вещах? Да и кроме того, я не заглядывала вперед. Все решилось совсем недавно. А что бы вы сделали, если бы внимание ваше не было усыплено?

— Сказал бы вам: «Подожди еще немного».[130]

— Подождать чего?

— Чтобы все прояснилось, — проговорил с какой-то нелепой улыбкой Ральф, засовывая руки в карманы.

— Кто же должен был прояснить мне это? Не вы ли?

— Возможно, мне удалось бы пролить луч-другой.

Изабелла успела уже снять перчатки, теперь она разглаживала их у себя на коленях. Но ласко-

---

[130] Примечания: 130

«Подожди еще немного» — цитата из известного детского стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892) «Что говорит птенец». Неоперившийся птенец просит позволить ему взлететь, «подожди еще немного, пока у тебя окрепнут крылья», — отвечает птица-мать.

вость жеста была машинальной, выражение ее лица вовсе не отличалось миролюбием.

— Вы ходите вокруг да около, Ральф. Мистер Озмонд вам не нравится, вы это хотите сказать и вместе с тем боитесь.

— «Ударил бы — и все-таки боюсь!».[131] Да, ударил бы, но *его,* не вас. А боюсь я вас. Если вы выйдете за него замуж, все, что я скажу, будет очень для меня неблагоприятно.

– *Если* я выйду за него замуж? Неужели вы надеетесь меня отговорить?

— Вам, конечно, это кажется в высшей степени бессмысленным?

— Нет, — ответила Изабелла, помолчав, — мне кажется это в высшей степени трогательным.

— Что, в сущности, одно и то же. Я так смешон, что вы меня жалеете.

Она снова принялась разглаживать свои длинные перчатки.

— Я знаю, как сильно вы ко мне привязаны, и не могу от этого отрешиться.

— Бога ради, не надо. Имейте это всегда в виду.

---

[131] Примечания: 131

«Ударил бы, да все-таки боюсь» — цитата из известного стихотворения английского поэта Александра Попа (1688–1744) «Послание к доктору Арбетноту», строка 199. Как и многие другие стихотворные изречения Попа, стала крылатым выражением.

Пусть это убедит вас, как горячо я желаю вам добра.

— И как мало мне доверяете!

Последовала секунда молчания — казалось, даже теплый полдень замер и слушает.

— Вам я доверяю, но не ему, — ответил Ральф.

Изабелла подняла глаза и посмотрела на него настороженно, испытующе.

— Вот вы и сказали наконец. Я рада, что вы так ясно выразили свою мысль. Но вы за это поплатитесь.

— Надеюсь, что нет — если только вы будете справедливы.

— Я очень справедлива, — сказала Изабелла, — и вот лучшее тому доказательство — я на вас не сержусь. Не сержусь, нет, хотя сама не понимаю, как это возможно. Когда вы начали говорить, я сердилась, а потом перестала. Пожалуй, мне и следовало бы, но мистер Озмонд на этот счет другого мнения. Он хочет, чтобы я все знала; этим он мне и нравится. Я знаю, вы не стремитесь ничего выиграть. Я никогда не обнадеживала вас, поэтому вам незачем желать, чтобы я не выходила замуж. И советы ваши хороши, я не раз в этом убеждалась. Нет, я очень спокойна, и я верю в проницательность вашего ума, — продолжала она,

гордясь своим спокойствием, а между тем с трудом сдерживая возбуждение. Изабелле страстно хотелось быть справедливой, и Ральфа тронуло это до глубины души, подействовало на него, как ласка от существа, которому он причинил боль. Ему захотелось прервать разговор, успокоить Изабеллу; какое-то мгновение он был чудовищно непоследователен, готов был взять назад все, что уже сказал, но она лишила его этой возможности, она продолжала, ибо, уловив, как ей казалось, в чем суть ее героической роли, желала доиграть ее до конца. — Насколько я понимаю, у вас есть какие-то особые соображения, и мне хотелось бы их услышать. Верю, все, что вы скажете, будет вполне бескорыстно, — я это чувствую. Странно, казалось бы, обсуждать вещи, не подлежащие обсуждению, и, конечно, я заранее предупреждаю вас, что, если вы надеетесь меня отговорить, вам лучше сразу от этого отказаться. Вы не сдвинете меня ни на волос, — слишком поздно. Как вы сами изволили сказать, я поймана. Разумеется, потом вам неприятно будет вспоминать наш разговор, но это будет делом вашей собственной совести. От меня вы не услышите ни слова упрека.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал Ральф. — Мне и в голову не приходило, что вы можете так

выйти замуж.

— А как, по-вашему, я должна выйти замуж?

— Едва ли я, смогу ответить на ваш вопрос. У меня на этот счет не столько положительное, сколько отрицательное мнение. Я никогда не думал, что вы отдадите предпочтение человеку *такого* типа.

— Чем же вам не нравится тип мистера Озмонда, если только выражение это здесь уместно? Я в мистере Озмонде вижу прежде всего независимую, оригинальную личность, — заявила Изабелла. — Что вы знаете о нем плохого? Да вы и самого-то его почти не знаете.

— Не спорю, — сказал Ральф, — я знаю его недостаточно и признаюсь, что не располагаю ни единым фактом, который изобличал бы в нем злодея, тем не менее меня не покидает чувство, что вы готовы совершить очень рискованный шаг.

— Брак всегда очень рискованный шаг; мистер Озмонд тоже рискует многим, не я одна.

— Это дело его! Если ему страшно, пусть он от вас отступится, и я возблагодарю судьбу.

Изабелла откинулась в кресле и, сложив руки, смотрела на своего кузена.

— Боюсь, что не понимаю вас, — холодно проговорила она наконец. — Не понимаю, что вы этим

хотите сказать.

— Я думал, вы выйдете замуж за человека более значительного.

Тон ее, как я уже сказал, был холоден, но при этих словах краска бросилась ей в лицо и разлилась, как пламя.

— Для кого более значительного? Мне кажется, достаточно того, что муж значителен для своей жены.

В свою очередь покраснел и Ральф; положение его было чрезвычайно неловким. Внешне он тут же из него вышел: распрямился, подался вперед, оперся ладонями о колени. Он сидел, не поднимая глаз, с таким видом, будто о чем-то почтительно раздумывает.

— Сейчас я объясню вам, что я хотел сказать.

Ральф был взволнован, полон нетерпения; теперь, когда первое слово было уже произнесено, ему хотелось высказать все. Но хотелось сделать это как можно деликатнее. Изабелла подождала немного, потом заговорила очень свысока.

— Во всем, что заставляет нас ценить людей, мистер Озмонд заслуживает пальмы первенства. На свете, может быть, и есть натуры более благородные, но мне их видеть не довелось. Мистер Озмонд превосходит всех, кого я знаю; для меня

он достаточно хорош, и достаточно умен, и достаточно интересен. То, чем он наделен, что он являет собой, неизмеримо важнее для меня, чем то, чего ему недостает.

— Какими пленительными красками я рисовал ваше будущее, — проговорил, не отзываясь на ее слова, Ральф, — как тешил себя, предназначая вам высокий удел. Он был так непохож на нынешний. Вы не должны были так легко и так быстро упасть.

— Высказали — «упасть»?

— Да, таков для меня смысл того, что произошло с вами. Мне казалось, вы летите высоко в небе. Парите в сияющей лазури над головами людей. Вдруг кто-то швырнул вверх увядший розан — снаряд, который не мог и не должен был достать вас, — и вы стремглав падаете на землю. Мне больно, — продолжал бесстрашно Ральф, — больно так, как если бы упал я сам.

Глаза его собеседницы смотрели на него с еще большим недоумением и обидой.

— Я совершенно не понимаю вас, — повторила она, — вы говорите, что тешили себя мыслями о моем заманчивом будущем, мне это непонятно. Смотрите, как бы я не вообразила, что вы тешитесь надо мной.

Ральф покачал головой.

— Этого я не боюсь; вы не можете усомниться в том, что я придумывал для вас самое блестящее будущее.

— Вы говорите «парить», «летать». Но я никогда еще не была на такой высоте, как сейчас. Что может быть выше для девушки, чем выйти замуж за… за человека, который ей по душе, — проговорила бедняжка Изабелла, впадая в сентенциозность.

Вот эту вашу душевную склонность к человеку, о котором мы толкуем, я и осмеливаюсь критиковать, моя дорогая кузина. Я бы сказал, что ваш муж должен быть натурой более яркой, независимой, крупной. — Помедлив немного, Ральф добавил: — Я не могу избавиться от чувства, что Озмонд в какой-то мере… ну, скажем, мелок.

Последнее слово он проговорил с запинкой, боясь, как бы она снова не вспыхнула. Но Изабелла приняла его на удивление спокойно; у нее был такой вид, будто она что-то обдумывает.

— Мелок? — в ее устах это прозвучало необыкновенно приподнято.

— Мне кажется, он ограничен, себялюбив. А как серьезно он к себе относится!

— Просто он глубоко себя уважает. Я не став-

лю ему это в вину, — сказала Изабелла, — тем больше оснований думать, что он будет уважать и других.

Поверив ее рассудительному тону, Ральф почти успокоился.

— Да, но все ведь относительно, надо ощущать свою связь, свое соотношение со всем вокруг, с другими людьми. Не думаю, что мистер Озмонд на это способен.

— Мне главным образом приходится иметь дело с его отношением ко мне. Оно выше всяких похвал.

— Он образец хорошего вкуса, — продолжал Ральф, напряженно думая о том, как лучше всего определить зловещие черты Гилберта Озмонда, не впадая в резкость и не ставя тем самым под удар себя. Ральфу хотелось охарактеризовать его бесстрастно, как это сделал бы ученый. — Он судит, оценивает, одобряет, осуждает, руководствуясь исключительно своим вкусом.

— Тогда счастье, что у него такой безупречный вкус.

— Вкус у него и в самом деле безупречный, раз он выбрал себе в жены вас. Но доводилось ли вам наблюдать за подобными людьми, когда их вкус — действительно безупречный — бывает

чем-нибудь задет?

— Надеюсь, я всегда смогу угодить своему мужу, и несчастье это меня минует.

При этих словах Ральфу кровь бросилась в голову.

— В вас говорит упрямство, это недостойно вас! Не для того вы предназначены, чтобы вас подобным образом оценивали… чтобы вечно быть настороже, оберегая чувствительность бездарного дилетанта.

Изабелла мгновенно поднялась, следом за ней Ральф, и они несколько секунд стояли, глядя друг на друга, словно он бросил ей вызов, оскорбил се. Но она лишь еле слышно промолвила:

— Вы слишком далеко зашли.

— Я сказал то, что думаю, сказал потому, что люблю вас.

Она побледнела; неужели и его следует занести в этот тягостный список? Ей вдруг захотелось перечеркнуть все, им сказанное.

— Выходит, вы не бескорыстны.

— Я люблю вас, но люблю без тени надежды, — проговорил Ральф торопливо, заставляя себя улыбнуться, чувствуя, что этим вырвавшимся У него под конец признанием сказал больше, чем намеревался.

Изабелла отошла на несколько шагов и стояла, вглядываясь в солнечное безмолвие сада, потом она снова повернулась к Ральфу.

— Боюсь, что ваши слова продиктованы отчаянием! Я их не понимаю, но это ведь не существенно. Я не собираюсь с вами спорить; для меня это совершенно невозможно; я хотела только выслушать вас. Я весьма вам признательна за желание все мне объяснить, — проговорила она спокойно, словно гнев, заставивший ее за минуту до того вскочить с места, уже улегся. — Вы очень добры, что попытались предостеречь меня, если вы на самом деле встревожены; но не обещаю подумать над вашими словами, — напротив, постараюсь как можно скорей их забыть. И вам советую их забыть; вы свой долг исполнили, большего никто бы не сделал. Я не способна объяснить вам, что я чувствую, во что всей душой верю. Да я и не стала бы, даже если бы смогла. — Немного помолчав, она продолжала с непоследовательностью, которую Ральф невольно отметил, хотя одержим был желанием уловить лишь одно — удалось ли ему ее поколебать. — Я не разделяю вашей точки зрения на мистера Озмонда и потому не могу оценить по достоинству. Я вижу мистера Озмонда совсем иначе. Он незначителен, да,

конечно, незначителен. Он просто не придает никакого значения подобным вещам. Если вы это имели в виду, сказав, что он «мелок», тогда пусть он будет мелок, сколько вашей душе угодно. Я называю такие натуры крупными — ничего крупнее этого я не знаю. Я не собираюсь с вами спорить о человеке, за которого выхожу замуж, — повторила Изабелла. — И меньше всего думаю о том, как мистера Озмонда защитить, — он в моей защите не нуждается, не настолько он слаб. Даже вам должно показаться странным, что я говорю о нем так холодно, так спокойно, словно речь идет о ком-то постороннем. Но я и не стала бы говорить о нем ни с кем, кроме вас, да и с вами, после того, что вы сказали… сейчас я отвечу вам раз и навсегда. Скажите, вы что же, предпочли бы, чтобы я вышла замуж по расчету, сделала партию, которая отвечала бы так называемым честолюбивым мечтам? У меня есть только одна честолюбивая мечта — свободно следовать лучшим своим побуждениям. Были у меня и другие мечты когда-то, но они все развеялись. Вы не оттого ли не жалуете мистера Озмонда, что он не богат? Но этим он мне особенно мил. К счастью, у меня у самой достаточно денег, никогда еще я не была так благодарна за них, как теперь.

Бывают минуты, когда мне хочется упасть на колени перед могилой вашего отца; даже он не мог предположить, какое совершил доброе дело, когда подарил мне возможность выйти замуж за бедного человека — человека, который переносил свою бедность так стоически, с таким достоинством. Мистер Озмонд не лез из кожи вон, не тщился преуспеть, — он был в высшей степени безразличен ко всем житейским благам. Если в этом состоит ограниченность, себялюбие, что ж, тогда лучших качеств и представить себе нельзя. Так что слова эти меня не пугают, даже не вызывают неудовольствия, мне грустно только, что вы так ошиблись. Другим это было бы простительно, но *от вас* я этого не ждала. Как могли вы, увидев перед собой истинного джентльмена, не узнать его — не узнать высокую душу! Мистер Озмонд таких ошибок не делает. Он все знает, все понимает; он самый добрый, самый деликатный, самый великодушный человек на свете. Вы просто находитесь во власти заблуждения. Это очень прискорбно, но я тут ничем помочь не могу. Это касается вас, а не меня. — Изабелла на секунду умолкла, устремив на своего кузена взгляд, который светился чувством, противоречившим нарочитой сдержанности ее речей, — трудно

сказать, чего в нем было больше: гневной ли досады на слова Ральфа или уязвленной гордости, что приходится оправдывать своего избранника, когда для нее самой он был воплощением чистоты и благородства. Хотя Изабелла молчала, Ральф не спешил заговорить, он понимал, что она еще не все сказала. Она была высокомерна, но как старалась убедить в своей правоте; хотела казаться равнодушной, но как при этом пылала гневом. — За кого же вы хотели бы, чтобы я вышла замуж?... — спросила она вдруг. — Вы говорите «парить», «летать», но когда выходят замуж, всегда спускаются на землю. Есть человеческие желания, чувства, есть веления сердца, наконец; и замуж выходят за какого-то вполне определенного человека. Ваша матушка так до сих пор и не простила мне, что я отвергла предложение лорда Уорбертона, она в ужасе от того, что я готова довольствоваться мужем, у которого нет ни владений, ни титулов, ни почетных званий, ни домов, ни угодий, ни высокого положения в обществе, ни славного имени — ни одного из этих блистательных преимуществ. Но мистер Озмонд тем мне и нравится, что у него ничего этого нет. Он просто очень одинокий, очень просвещенный, очень достойный человек, а не владелец

огромного состояния.

Ральф слушал Изабеллу с таким видом, словно все ею сказанное заслуживает глубоких размышлений, но на самом деле не вдумывался в смысл ее слов, а занят был главным образом тем, что пытался превозмочь тяжесть своего впечатления в целом — впечатления от ее страстной искренности: она была не права, но верила; она обманывалась, но была убийственно последовательна. Как это в ее духе — выдумать великолепную теорию относительно Гилберта Озмонда и любить его не за те достоинства, которыми он обладал, но за самые его недостатки, щеголяющие в ризах добродетели. Ральф вспомнил, как он сказал своему отцу, что желал бы дать Изабелле возможность исполнить все, что подскажет ей воображение. Он предоставил ей эту счастливую возможность, и она не преминула воспользоваться ею в полной мере. Бедный Ральф был подавлен, был посрамлен. Изабелла произнесла последнюю фразу торжественным полушепотом в полном сознании своей правоты, что, по сути дела, положило конец их дебатам, но она прекратила их и по всей форме, так как тут же повернулась и направилась к дому. Ральф шел рядом с ней, и они вместе пересекли двор.

У широкой лестницы Ральф остановился, приостановилась *v* Изабелла, обратив к нему лицо, вне всякого сомнения и вопреки всему озаренное благодарностью. Его возражения привели к тому, что она еще яснее поняла, чем продиктовано ее решение.

— А вы разве не позавтракаете с нами? — спросила она.

— Нет, мне не хочется, я не голоден.

— Вам надо побольше есть, — сказала Изабелла, — вы питаетесь одним воздухом.

— Зато в свое удовольствие; сейчас я пойду в сад и как следует там угощусь. Весь этот путь я проделал вот с какой целью. В прошлом году я сказал вам, что, если с вами приключится беда, у меня будет такое чувство, будто я чудовищно просчитался. Именно такое чувство у меня сегодня.

— Вы находите, что со мной приключилась беда?

— Заблуждение само по себе беда.

— Что же, — сказала Изабелла, — вам на свои беды я никогда не пожалуюсь.

Она начала подниматься по лестнице. Ральф стоял внизу, засунув руки в карманы, и провожал ее взглядом, потом холод, притаившийся в обнесенном высокой стеной дворе, пронизал его

дрожью, и он направился в сад отведать флорентийского солнца.

35

У Изабеллы во время ее утренних прогулок в Кашинах ни разу не возникло желания рассказать своему возлюбленному, как неодобрительно относятся к нему в палаццо Кресчентини. Сдержанные возражения против ее замужества со стороны тетушки и кузена не произвели на нее большого впечатления, единственный извлеченный урок заключался в том, что и миссис Тачит, и Ральф просто питают неприязнь к Гилберту Озмонду. Неприязнь их ничуть не встревожила Изабеллу, даже не огорчила, поскольку позволила лишний раз убедиться, что замуж она выходит с одной как нельзя более похвальной целью — угодить самой себе. Многое можно делать в угоду другим, но замуж выходят ради собственного удовольствия. И удовольствие Изабеллы было полным, поскольку возлюбленный ее держался восхитительно. Озмонд был влюблен, и в эти тихие, ясные, все до одного памятные дни, предшествовавшие осуществлению его надежд, он меньше, чем когда бы то ни было, заслуживал резкого приговора, вынесенного ему Ральфом.

Впечатление, которое приговор этот произвел на Изабеллу, свелось в общих чертах к тому, что любовь обрекает свои жертвы на страшное одиночество, включающее в свой круг лишь предмет любви. Она словно высокой стеной была отгорожена от всех, кого близко знала: от двух своих сестер, выразивших, как и следовало ожидать, в своих письмах надежду, что она будет счастлива, и удивление, сквозившее между строк, по поводу избрания в супруги героя ничем не примечательного; от Генриетты, которая, по ее мнению, должна была во что бы то ни стало явиться со своими запоздалыми увещаниями; от лорда Уорбертона, который, несомненно, рано или поздно утешится; от Каспара Гудвуда, который, пожалуй, так и останется безутешен; от тетушки, чьи взгляды на брак были до такой степени трезвы и плоски, что Изабелла не считала нужным скрывать своего к ним пренебрежения; и, наконец, от Ральфа, чьи разговоры о приуготовленном ей блестящем будущем были не более чем причудливым покровом, наброшенным на собственное разочарование. Ральфу, скорей всего, хотелось, чтобы она вообще не выходила замуж, — вот что он на самом деле имел в виду; ему хотелось тешить себя и впредь, предугадывая, что еще

она предпримет в роли незамужней женщины. Разочарованием и были продиктованы его злые слова о том, кого она предпочла даже ему. Изабелла убеждала себя, будто верит, что Ральф на нее зол, поверить в это ей было не так уж трудно, ибо неиспользованный запас чувств, которым располагала она теперь для второстепенных нужд, был, повторяю, ничтожно мал; поэтому она восприняла как должное, вернее, как дар судьбы, самую мысль, что отдать вот так предпочтение Гилберту Озмонду — значило поневоле разорвать все остальные узы. Вкусив эту сладость предпочтения, она чуть ли не с благоговейным ужасом поняла, насколько жестока и беспощадна захлестывающая волна очарованного, одержимого состояния, хотя испокон веку все в один голос твердят, что удостоиться любить это величайшее благо. У счастья есть и своя трагическая сторона; для кого-то другого оно всегда оборачивается бедой.

Восторг, порожденный в Озмонде успехом и, безусловно, горевший в нем сейчас ярким пламенем, казался на удивление бездымным для такого ослепительного огня. Довольство жизнью никогда не проявлялось у Озмонда в грубой форме, волнение у этого безупречно владевшего

собой человека было, по существу, не чем иным, как торжеством самообладания. Но именно подобный душевный механизм делал Озмонда прекрасным возлюбленным, вид у него неизменно был такой, будто он сражен, повержен ниц. Он никогда, как я уже сказал, не забывался, и оттого никогда не забывал быть изящным и нежным, казаться — что, право же, не составляло труда — потерявшим голову, поглощенным одним лишь чувством. Озмонд был чрезвычайно доволен своей избранницей: мадам Мерль сделала ему бесценный подарок. Всегда видеть возле себя существо с возвышенной душой, настроенной мягко и созвучно, — ну что может сравниться с этим? Ибо кого же, как не его, будет услаждать созвучная мягкость, а все порывы высокой души достанутся обществу, готовому преклоняться перед любым проявлением превосходства. Может ли у повседневной подруги быть дар более счастливый, чем слитый с пылким воображением живой ум, избавляющий вас от повторений, отражающий вашу мысль на своей блестящей изысканной поверхности? Озмонд терпеть не мог, когда мысли его воспроизводили слово в слово, — в чужих устах они звучали так плоско, так избито. Куда приятнее, если мысли ваши в чужих

устах вновь обретают свежесть, как, например, «слова», когда они положены на музыку. Озмонд не желал бы видеть возле себя тупую жену, самовлюбленность никогда не проявлялась у него в такой грубой форме; ум его избранницы должен быть не глиняным, а серебряным блюдом, куда он поместит спелые плоды, которым это блюдо послужит к украшению. Так что разговор станет для него отныне чем-то вроде дежурного десерта. Озмонд обнаружил в Изабелле серебро самого высокого достоинства: стоило только костяшкой пальца легонько постучать по ее воображению — и раздавался серебряный звон. Хотя Озмонду никто ничего не говорил, он прекрасно знал, что родные его невесты смотрят на предстоящий брак весьма неблагосклонно, но он с первого же дня обращался с Изабеллой как с лицом совершенно независимым и потому не считал нужным выражать по этому поводу свои сожаления. Тем не менее как-то утром он безо всяких предисловий сказал:

— Им не по вкусу, что в имущественном отношении брак неравный, они думают, что я влюблен в ваши деньги.

— Вы говорите о моей тетушке и о моем кузене? Откуда вы знаете, что они думают?

— Я ни разу не слышал от вас, что они довольны, а когда на днях я написал несколько слов миссис Тачит, она мне не ответила. Будь они в восторге, они как-то бы мне это показали, и поскольку я беден, а вы богаты, само собой напрашивается мысль, что этим-то обстоятельством они и недовольны. Но когда человек бедный женится на богатой, он должен ожидать, что ему поставят это в вину. Впрочем, мне все это глубоко безразлично, мне важно только — чтобы не было и тени сомнения у вас самой. Мне неважно, что думают обо мне те, от кого я ничего не жду, — скорей всего, я просто не способен заинтересоваться их мыслями. Видит бог, меня никогда это не заботило, так с какой стати должен я вдруг изменить себе, да еще сейчас, когда наконец за все вознагражден? Я не собираюсь делать вид, будто мне неприятно, что вы богаты, напротив, я в восторге. Я в восторге от всего, что принадлежит вам, о чем бы ни шла речь, о деньгах ли ваших или о достоинствах. Гоняться за деньгами отвратительно, но иметь их чрезвычайно приятно. Полагаю, однако, я достаточно доказал, какой я до них охотник: за всю свою жизнь не заработал ни гроша — даже никогда и не пытался, следовательно, я должен в меньшей мере внушать подозрения, чем чуть

ли не все люди на свете, которые только тем и заняты, что корпят да гребут. Но, конечно, если им угодно подозревать меня — я разумею ваших родных, — в общем-то им это даже приличествует. Со временем они лучше узнают меня и оценят, как, впрочем, и вы. Мое же дело — не разжигать в себе злобы, а быть благодарным судьбе за жизнь, за любовь.

— С тех пор, как я полюбил вас, я сделался лучше, — сказал он ей как-то в другой раз. — Да, не стану отрицать, я сделался умней и снисходительней, добрей и веселей, даже в чем-то сильней. Раньше мне очень многого недоставало, и я сердился на то, что у меня всего этого нет. Рассуждая отвлеченно, я был вполне доволен, как уже говорил вам когда-то. Я льстил себя надеждой, что мне удалось ограничить свои желания. Но временами я приходил в раздражение, у меня бывали мерзкие, злобные, бесплодные приступы голода, неутоленности. А теперь я в самом деле доволен, даже не знаю, чего бы я мог еще пожелать. Представьте себе человека, который пытался в сумерках читать книгу, — и вдруг вносят лампу. Я проглядел глаза, изучая книгу жизни, и не нашел в ней ничего, что вознаграждало бы меня за все усилия, но теперь я читаю ее так, как надлежит,

и вижу, что повесть эта восхитительна. Моя дорогая девочка, где найти слова, чтобы описать вам, какая, мне кажется, нас ожидает жизнь, какой у нас впереди долгий летний день. Итальянский день или, вернее, его послеполуденная пора, когда все окутано золотистой дымкой и начали удлиняться тени, когда в воздухе, освещении, ландшафте — во всем решчтелыю — разлита божественная нега, которую я люблю, сколько себя помню, которую теперь полюбили и вы. Клянусь, я просто не допускаю мысли, что мы с вами не уживемся. У нас есть все, чего может желать душа, не говоря уже о том, что мы обрели друг друга. У нас есть способность восхищаться прекрасным, есть и твердые убеждения. Мы не глупы, не мелочны, не обязаны платить дань скуке или невежеству. Вы чрезвычайно свежи, я чрезвычайно умудрен. Есть у нас и развлечение — моя дочурка; мы постараемся помочь ей свить себе гнездышко. Все так светло, тепло — как краски Италии.

Они без конца строили планы, оставляя при этом за собой право на бесконечную свободу действий; само собой разумеется, обосноваться они решили пока в Италии. В Италии они встретились, Италия была свидетельницей того, что

они полюбили друг друга, Италия должна стать свидетельницей их счастья. Озмонд предан был Италии, как старинной знакомке, для Изабеллы знакомство это обладало всей прелестью новизны и обещало вознести ее в будущем на высшую ступень приобщения к прекрасному. Тяга Изабеллы к беспредельным просторам сменилась теперь сознанием, что жизнь пуста, если в ней нет личных обязанностей, нет цели, которая заставляет собрать воедино все душевные силы. Изабелла сказала Ральфу, что за прошедшие два года «видела жизнь достаточно» и 'ей это наскучило — наскучило наблюдать жизнь, вместо того чтобы жить. Куда девались все ее порывы, надежды, теории, жажда столь высоко ценимой ею независимости, зарождающаяся уверенность, что она так никогда и не выйдет замуж? Все поглотила более простая и насущная потребность, и ответ на нее разом отмел бесчисленные вопросы, утолил безудержные мечты. Он в единый миг все упростил, был ниспослан свыше, как свет звезд, и не нуждался ни в каких пояснениях. Достаточно и того, что она любит, что возлюбленный ее всегда будет с ней, что она может ему быть полезна. Она предалась ему со смирением, она выйдет за него замуж с гордостью; она не только брала, у

нее было, что ему дать.

Несколько раз Озмонд привозил с собой в Кашины Пэнси, которая за год почти не выросла и почти совсем не повзрослела. Отец был, по-видимому, твердо убежден, что она так навсегда и останется ребенком; хотя ей минуло уже шестнадцать лет, он вел ее за руку и отсылал поиграть, пока он посидит и побеседует с этой красивой дамой. На Пэнси всякий раз было коротенькое платье и длинное пальто, и всегда казалось, что шляпа слишком для нее велика. Она с явным удовольствием шла быстрыми мелкими шажками до конца аллеи, потом возвращалась, глядя на наших собеседников с улыбкой, словно просила, чтобы ее похвалили. Изабелла раздавала похвалы щедрой рукой, привнося в них тот личный оттенок, который любящей детской душе необходим как воздух. За движениями этой Души Изабелла наблюдала так, будто и для нее самой многое от них зависело, — Пэнси уже воплощала в себе для нее часть предстоящего служения, часть той ответственности, которую она готова была на себя возложить. Отец Пэнси мерил дочь такой детской меркой, что не соблаговолил еще объяснить ей новый характер своих отношений с прелестной мисс Арчер.

— Она не знает, она даже не догадывается и находит вполне естественным, что мы с вами встречаемся здесь и прогуливаемся, как добрые друзья, — какая чарующая наивность! Такой я и желал видеть свою дочь. О нет, теперь я не назову себя неудачником, я дважды преуспел! Я женюсь на женщине, которую боготворю, и мне удалось воспитать дочь так, как я и хотел, в старом духе.

Он очень любил «старый дух» во всем без исключения; Изабеллу покоряла эта нота, звучавшая в нем особенно искренне, изящно, спокойно.

— По-моему, до тех пор, пока вы не сказали ей, вы не можете утверждать, что преуспели. Неизвестно еще, как она воспримет вашу новость. Она может прийти в ужас, почувствовать ревность.

— Этого я не боюсь. Вы и сами по себе ей достаточно нравитесь. Я хотел бы подержать ее еще немного в неведении и посмотреть, придет ли ей в голову, что если мы с вами не помолвлены, то нам следует поскорее это сделать.

Такое живописное, такое, можно сказать, пластическое понимание наивности Пэнси произвело глубокое впечатление на Изабеллу, которая больше была обеспокоена нравственной стороной. Это не помешало ей, однако, очень обрадоваться, когда несколько дней спустя он

сказал, что поставил свою дочь в известность и что она очень мило по этому поводу изрекла: «Какая у меня будет чудесная сестра!» Она не выразила притом ни удивления, ни тревоги и даже, вопреки его ожиданиям, не расплакалась.

— Вероятно, она уже догадывалась, — сказала Изабелла.

— Упаси бог! Мне отвратительна даже мысль о такой возможности. Я ожидал, что для нее это будет известным потрясением, но то, как моя дочь приняла эту новость, доказывает, что она — олицетворение благовоспитанности. Следовательно, все обстоит так, как я и хотел. Завтра, когда она принесет вам поздравления, вы сможете убедиться в этом сами.

Назначенная на завтра встреча состоялась в доме графини Джемини, куда Пэнси и была препровождена своим отцом, знавшим, что Изабелла будет там непременно с ответным визитом: графиня уже приезжала в Каза Тачит поздравить свою будущую невестку, но не застала ее тогда дома. Как только Изабеллу проводили в гостиную, появилась Пэнси со словами, что тетушка сейчас выйдет. Пэнси предстояло пробыть весь день у этой дамы, считавшей, что девушка уже достигла того возраста, когда ей пора научиться

держать себя в обществе. Изабелла, находившая, что племянница могла бы с легкостью преподать своей тетушке урок хороших манер, получила возможность еще раз в этом удостовериться, пока дожидалась вместе с Пэнси появления графини. Отец девочки год назад принял в конце концов решение послать ее в монастырь, чтобы с помощью святых сестер придать законченность всем ее совершенствам, и мадам Катрин, исходя из убеждения, что Пэнси предназначена для света, должным образом ее к этому подготовила.

— Папа сказал мне, что вы любезно согласились выйти за него замуж, — промолвила ученица этой достойной женщины. — Как это чудесно! По-моему, вы очень подходите.

— По-вашему, я *вам* подхожу?

— Мне — просто необыкновенно! Но я хотела сказать другое: вы и папа очень друг другу подходите. Оба вы такие серьезные, спокойные. Конечно, вы не такая спокойная, как он или хотя бы мадам Мерль, но зато вы спокойнее, чем многие. Он ни за что, например, не ужился бы с такой женой, как моя тетушка: она вечно суетится, волнуется, а уж сегодня особенно. Когда она придет, вы сами это увидите. В монастыре нас учили, что нельзя судить старших, но, если судишь о них

хорошо, мне кажется, в этом нет греха. Вы будете папе чудесной подругой.

— Надеюсь, и вам тоже, — проговорила Изабелла.

— Я нарочно начинаю с него. Я ведь вам еще в тот раз сказала, что я о вас думаю. Вы сразу мне понравились. Я восхищаюсь вами. Мне кажется, для меня большое счастье всегда видеть вас. Вы будете служить для меня образцом; я постараюсь во всем вам подражать, хотя мне, наверное, это не удастся. Я очень рада за папу, — одной меня ему было мало; если бы не вы, даже и не знаю, как бы он получил то, что ему нужно. Вы будете моей мачехой, но мы не станем вас так называть. Го-Еорят, они злые-презлые, а я не думаю, что вам когда-нибудь захочется ущипнуть меня или хотя бы дернуть за руку. Так что выходит, мне нечего бояться.

— Милая моя Пэнси, — проговорила Изабелла ласково, — я постараюсь быть вам всегда добрым другом.

У нее вдруг ни с того ни с сего возникло ощущение, что в один прекрасный день это может понадобиться, и почему-то привело в дрожь.

— Чудесно! Тогда я могу ничего не бояться, — откликнулась Пэнси со своей неизменной

готовностью. Как же они ее вышколили, эту девочку, — как ей, должно быть, страшно было кому-нибудь не угодить!

Ее описание тетушки оказалось очень точным: никто при виде графини Джемини, когда она вошла в гостиную, не сказал бы, что ее крылья опущены. Она появилась, распространяя в воздухе трепет, и, словно выполняя древний ритуал, поцеловала Изабеллу сначала в лоб, затем в обе щеки. Усадив свою гостью на диван, она, склоняя голову то вправо, то влево, поглядывала на нее и без умолку говорила, — казалось, сидя перед мольбертом с кистью в руке, она накладывает продуманные мазки на полузаконченные фигуры.

— Если вы ожидаете услышать от меня поздравления, прошу вас заранее меня извинить. Правда, вам, наверное, все равно, поздравлю я вас или нет; ведь вы так умны, что вам полагается быть выше всех этих мелочей. Но мне не все равно, я не люблю привирать, разве что когда этим можно добиться чего-то уж очень стоящего. Но я не вижу, чего бы я могла добиться от вас, — тем более что вы мне еще и не поверите. Словом, я на это не мастерица — как не мастерица делать бумажные розы и абажуры с воланами. Мои

абажуры мигом сгорят, а мои розы, как и мое вранье, покажутся весьма неправдоподобными. Если говорить обо мне, то я очень рада, что вы выходите замуж за Озмонда, но не намерена притворяться, будто я рада за вас. Вы блестящи — о вас никто иначе не говорит — вы богатая наследница, вы хороши собой и при этом еще оригинальны, ничуть не banal,[132] поэтому я страшно рада, что вы войдете в нашу семью. Как вам известно, мы из хорошей семьи, Озмонд вам, наверное, об этом говорил; наша матушка была весьма выдающейся личностью — ее называли американской Коринной. Правда, на мой взгляд, мы ужасно опустились, — надеюсь, с вашей помощью мы снова поднимемся. Я в вас верю, но мне о многом хотелось бы с вами поговорить. Я еще ни одну девушку не поздравила с тем, что она выходит замуж; давно пора хоть как-то изменить этот страшный стальной капкан. Пожалуй, мне не следовало бы говорить всего этого при Пэнси, но она затем и приехала ко мне, чтобы усвоить принятый в обществе тон. И потом, пусть знает, какие ее подстерегают кошмары. Как только я поняла, что у Озмонда есть на ваш счет планы, я

[132] Примечания: 132
банальны (фр.).

хотела написать вам и недвусмысленно посоветовать ни в коем случае ему не поддаваться. Но я подумала, это похоже будет на предательство, а я таких вещей не терплю. К тому же, как я уже сказала вам, со своей стороны я в восторге, — ничего не поделаешь, я страшная эгоистка. Кстати, вы не будете уважать меня ни на грош, и мы никогда с вами не подружимся. Не я — вы не захотите. Но когда-нибудь мы все же сблизимся с вами больше, чем вы могли бы сейчас предположить. Мой муж сам явится вас поздравить, хотя с Озмондом они, как вам, должно быть, известно, в весьма прохладных отношениях. Муж очень любит наносить визиты хорошеньким женщинам, но вас я не боюсь. Во-первых, что бы он ни делал, мне это глубоко безразлично, ну а, кроме того, вы никогда в его сторону и не посмотрите. Он ни при каких обстоятельствах не может стать героем вашего романа, и, как он ни глуп, он сразу поймет, что и вы не его героиня. Когда-нибудь, если вы способны будете это выдержать, я расскажу вам о нем подробнее. Вам не кажется, надо отослать из комнаты мою племянницу? Пэнси, ступай в маленькую гостиную, поиграй там на рояле.

— Прошу вас, пусть она останется здесь, — сказала Изабелла. — Я не хотела бы слышать ничего

такого, чего не должна слышать Пэнси!

36

Как-то под вечер — дело было осенью 1876 г. — молодой человек приятной наружности дернул шнурок дверного колокольчика небольшой квартирки, расположенной на третьем этаже одного из старинных домов в Риме. Когда дверь открыли, молодой человек осведомился, может ли он видеть мадам Мерль; служанка, некрасивая, чрезвычайно опрятная женщина, лицом француженка, повадками камеристка, проводив его в миниатюрную гостиную, спросила, как он прикажет о себе доложить.

— Мистер Эдвард Розьер, — ответил молодой человек, затем он сел и стал дожидаться появления хозяйки дома.

Читатель, может быть, еще не забыл, что мистер Розьер был звездой первой величины американской колонии в Париже, и, возможно, даже помнит, что звезда эта время от времени исчезала с парижского небосклона. Несколько зим мистер Розьер провел частично в По и, так как имел привычку следовать раз заведенному обыкновению, то, скорее всего, продолжал бы и

впредь посещать зимой этот великолепный курорт. Однако летом 1876 г. произошла случайная встреча, изменившая не только течение его мыслей, но и весь распорядок жизни. Пробыв с месяц в Верхнем Энгадине, он встретил в Сент Морице прелестную девушку. Мистер Розьер сразу удостоил ее своим вниманием: он с первого взгляда узнал в ней ту маленькую богиню домашнего очага, которую давно уже искал. Поскольку он никогда не поступал опрометчиво и всегда вел себя крайне осторожно, то воздержался от объяснения в любви, но, когда они расстались, — юная леди возвратилась в Италию, а ее поклонник проследовал в Женеву, где, как это было заранее условлено, присоединился к своим друзьям, — он почувствовал, что если больше ее не увидит, то сердце его будет навек разбито. Проще всего было отправиться осенью в Рим, где в кругу семьи проживала мисс Озмонд. Мистер Розьер пустился в путь и в первых числах ноября прибыл в итальянскую столицу. Вся затея оказалась как нельзя более приятной, хотя и потребовала от молодого человека известного героизма. Поселившись в Риме в столь неурочное время, он легко мог стать жертвой миазмов, таившихся в римском воздухе, который в ноябре, как известно, пагубен. Но сме-

лым сопутствует удача, и по прошествии месяца наш искатель приключений, принимавший три грана хинина в день, не имел причин сетовать на свое безрассудство. Он провел этот месяц весьма плодотворно — тщетно пытался отыскать в Пэнси Озмонд хотя бы малейший изъян. Все в ней было так прелестно закруглено, во всем чувствовалась такая законченность — право же, она была настоящим произведением искусства. Подолгу предаваясь любовным грезам, он мечтал о ней, совсем как о пастушке из дрезденского фарфора. И, безусловно, в мисс Озмонд, которую он узнал в расцвете ее юной прелести, был некий оттенок рококо; Розьер, питавший к упомянутому стилю особое пристрастие, не замедлил его оценить. Что Розьер предпочитал творения этой в общем легкомысленной эпохи всем прочим, можно было заключить уже из того, с каким вниманием он рассматривал гостиную мадам Мерль, где, хоть и имелись образцы всех стилей, полнее всего были представлены последние два столетия. Не теряя времени, Розьер вставил в глаз монокль, и, оглядевшись, воскликнул: «Ого! А вещи у нее очень и очень недурны». Небольшая комната была вся заставлена мебелью; в глаза прежде всего бросались поблекшие шелка и бесчисленные

маленькие статуэтки, грозившие при каждом неосторожном движении полететь на пол. Розьер встал с места и начал мягкой поступью бродить по комнате, склоняясь то над столиком с всевозможными безделушками, то над подушечками с рельефно выступающими на них княжескими гербами. Когда в комнату вошла мадам Мерль, Розьер стоял чуть ли не уткнувшись носом в прикрепленный к камчатной салфетке на камине волан из венецианских кружев. Приподняв его кончиками пальцев, молодой человек словно бы к нему принюхивался.

— Старинные венецианские, — сказала мадам Мерль. — Неплохие кружева.

— Они слишком хороши для камина. Вам следует их носить.

— Говорят, на вашем камине в Париже и не то еще видали.

— Но я, к сожалению, не могу носить свои кружева, — ответил с улыбкой гость.

— Почему бы и нет! А у меня, если я пожелаю носить кружева, найдется кое-что и получше.

Розьер обвел любовным взглядом комнату.

— У вас очень хорошие вещи!

— Не спорю, но я их ненавижу.

— Не хотели бы вы от них избавиться? — спро-

сил без промедления гость.

— Нет. Хорошо, когда есть что ненавидеть, можно дать выход дурным чувствам.

— Я свои вещи люблю, — сказал Розьер, все еще разгоряченный сделанными им только что открытиями. — Но я не для того пришел к вам, чтобы говорить о ваших или моих вещах. — Немного помолчав, он с большой нежностью произнес: — Мисс Озмонд дороже мне всех драгоценных bibelots[133] Европы.

Мадам Мерль широко открыла глаза.

— Вы пришли с тем, чтобы мне это сообщить?

— Я пришел просить у вас совета.

Она смотрела на него дружелюбно насупившись, поглаживая крупной белой рукой подбородок.

— Влюбленный мужчина в советах, как известно, не нуждается.

— Не скажите, он может попасть в затруднительное положение. С влюбленными мужчинами такое происходит сплошь и рядом. Я бывал влюблен, и по себе это знаю. Но я никогда не был так влюблен — никогда! Мне крайне важно знать, что вы думаете о моих шансах? Боюсь, в глазах

---

[133] Примечания: 133
безделушек *(фр.)*.

мистера Озмонда я не слишком… не слишком ценное приобретение.

— Вы хотите, чтобы я вам посодействовала? — спросила, скрестив на груди свои великолепные руки и чуть вздернув левый уголок красиво очерченного рта, мадам Мерль.

— Если бы вы замолвили за меня словечко, я был бы бесконечно вам признателен. Мне не хотелось бы нарушать покой мисс Озмонд, пока я не буду уверен в согласии ее отца.

— Вы очень осмотрительны, это говорит в вашу пользу. Но вы довольно самонадеянно решили, что в *моих* глазах вы настоящее сокровище.

— Вы всегда были так добры ко мне, — сказал молодой человек, — оттого я к вам и пришел.

— Я всегда добра к тем, у кого хороший Людовик Четырнадцатый. В наше время это большая редкость, чего только за него не получишь.

Хоть мадам Мерль и вздернула левый уголок рта в знак того, что это шутка, Розьер смотрел на нее очень настороженно, даже опасливо.

— А я-то воображал, что нравлюсь вам сам по себе.

— Так оно и есть, но, с вашего разрешения, мы не будем вдаваться в подробности. Прошу простить меня, если мои слова звучат несколько

покровительственно, — я нахожу, что вы милы и с головы до ног джентльмен. Но хочу напомнить вам, что не я решаю судьбу Пэнси Озмонд.

— Этого я и не предполагал. Но мне казалось, вы близки с ее семьей, и у меня явилась мысль, что вы можете на них повлиять.

Мадам Мерль задумалась.

— Кого вы называете ее семьей?

— Ее отца, естественно, и, простите, не знаю как перевести, ее belle-mère.[134]

— Мистер Озмонд, несомненно, ее отец, но жену его вряд ли можно назвать членом семьи Пэнси. Во всяком случае, замужество девочки не имеет к ней никакого отношения.

— Жаль, — вздохнув, сказал с подкупающим чистосердечием Розьер. — Думаю, миссис Озмонд отнеслась бы ко мне благосклонно.

— Очень может быть — особенно, если бы муж ее отнесся к вам неблагосклонно.

— Они так по-разному на все смотрят? — Он удивленно поднял брови.

— На все. Ни в чем не сходятся.

— Жаль, — сказал Розьер. — Мне очень жаль, что так все обстоит. Но это ее дело. Она очень

---

[134] Примечания: 134
мачеху *(фр.)*.

привязана к Пэнси.

— Да, к Пэнси она очень привязана.

— И Пэнси ее очень любит. Она сказала мне, что любит ее совсем как родную мать.

— Значит, вы все же вели с бедной малюткой задушевные разговоры. Сообщили ли вы ей о своих намерениях?

— Упаси бог! — вскричал Розьер, воздевая свою облитую перчаткой руку. — Упаси бог! Сначала я должен знать, совпадают ли они с намерениями ее родных.

— Вы всегда так примерно ведете себя? У вас превосходные принципы, вы во всем следуете правилам хорошего тона.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной, мадам Мерль, — пробормотал молодой человек, откидываясь на спинку кресла и разглаживая свои усики. — Этого я от вас не ожидал.

Она покачала головой с видом человека, который знает, что говорит.

— Вы ко мне несправедливы. По-моему, поведение ваше свидетельствует об отменном вкусе; вы подражаете лучшим образцам. Таково, по крайней мере, мое мнение.

— Зачем же я стану волновать ее понапрасну? Я слишком ее люблю, — сказал Нэд Розьер.

— В общем, я рада, что вы решили посоветоваться со мной, — сказала мадам Мерль. — Предоставьте на время все это дело мне; думаю. я смогу вам помочь.

— Выходит, я правильно поступил, что пришел к вам! — радостно воскликнул гость.

— Да, вы поступили умно, — проговорила значительно более прохладным тоном мадам Мерль. — Но, сказав, что я могу вам помочь, я имела в виду — только при условии, если ваши притязания того заслуживают.

Давайте разберем, есть ли у вас для этого основания.

— Видите ли, я человек крайне добропорядочный, — ответил вполне серьезно Розьер. — Не буду утверждать, что у меня нет недостатков, но пороков у меня нет.

— Пока вы перечислили то, чего у вас нет. При этом неизвестно еще, что считать пороками. А каковы ваши добродетели? Что у вас есть? Чем вы располагаете, помимо ваших испанских кружев и дрезденских чашек?

— Кругленькой суммой — у меня небольшое состояние, которое дает мне около сорока тысяч франков годового дохода. При моем умении распорядиться тем, что у меня есть, мы сможем жить

припеваючи.

— Припеваючи — нет; сносно — пожалуй. Но и это в зависимости от того, где вы обоснуетесь.

— В Париже, разумеется. Я, во всяком случае, предпочел бы жить в Париже.

Мадам Мерль вздернула левый уголок рта.

— Блистать там вы не сможете — иначе пришлось бы пустить в ход ваши чашки, а они, как известно, бьются.

— Но мы и не хотим блистать. Достаточно того, что мисс Озмонд всегда будет окружена милыми вещами. Когда сама девушка так мила, она может позволить себе даже дешевый faience.[135] И носить она должна только муслин — белый, без намека на узор, — проговорил Розьер мечтательно.

— Ну, намек-то вы могли бы уж ей разрешить. Впрочем, сама она была бы чрезвычайно признательна вам за ваши идеи.

— Уверяю вас, мои идеи правильные, и я уверен, она бы их одобрила. Она все понимает. За то я ее и люблю.

— Она очень хорошая девочка — опрятна донельзя и к тому же весьма грациозна. Но, на-

---

[135] Примечания: 135
фаянс *(фр.)*.

сколько мне известно, отец ничего не может дать за ней.

Розьер и глазом не моргнул.

— А я ни на что и не претендую. И все же позволю себе заметить, что живет он как человек со средствами.

— Деньги принадлежат его жене; у нее большое состояние.

— Миссис Озмонд очень любит свою падчерицу; вероятно, ей захочется что-нибудь для нее сделать.

— Для томящегося от любви пастушка у вас весьма трезвый взгляд! — воскликнула, рассмеявшись, мадам Мерль.

— Я знаю цену dot.[136] Могу обойтись и без него, но цену ему знаю.

— Миссис Озмонд, — продолжала мадам Мерль, — предпочтет, наверное, приберечь деньги для собственных детей.

— Для собственных? У нее их нет.

— Но могут появиться. У нее был уже мальчик, правда, бедняжка умер шестимесячным младенцем два года назад. Так что, возможно у нее еще будут дети.

---

[136] Примечания: 136
приданому *(фр.)*.

— Желаю ей этого от всей души, — только бы она была счастлива. Она прекрасная женщина.

Мадам Мерль ответила не сразу.

— О ней многое можно сказать. Зовите ее прекрасной, если вам так угодно! Но, строго говоря, у нас еще нет доказательств, что вы — parti.[137] Отсутствие пороков вряд ли служит источником дохода.

— Извините меня — иногда служит, — проявив немалую проницательность, возразил Розьер.

— Супруги, живущие на доходы с невинности, как это трогательно!

— Мне кажется, вы меня недооцениваете.

— Вы не столь уж невинны? — проговорила мадам Мерль. — Но шутки в сторону. Сорок тысяч франков в год и добрый нрав впридачу, безусловно, заслуживают внимания. Не скажу, что за это следует ухватиться, но бывают предложения и хуже. Однако мистер Озмонд склонен, вероятно, думать, что может рассчитывать на лучшее.

– *Он-то* может, но может ли его дочь? Что может быть лучше для нее, чем выйти замуж за человека, которого она любит? А дело в том, что она ведь любит, — докончил, разгорячась,

---

[137] Примечания: 137
угодная партия *(фр.).*

Розьер.

— Да. Я это знаю.

— Значит, я правильно сделал, что пришел к вам, — вскричал молодой человек.

— Но *вы* откуда это знаете, если не спрашивали ее?

— В таких случаях не надо ни спрашивать, ни говорить. Как вы сами сказали, мы невинная пара. А вот как это узнали *вы?*

— Хотя я отнюдь не невинна? Благодаря своей искушенности. Предоставьте это дело мне. Я разузнаю для вас, как все обстоит.

Розьер поднялся с места и стоял, поглаживая шляпу.

— Отчего же так безучастно? Не только разузнайте, но, пожалуйста, помогите сделать так, чтобы все обстояло как надо.

— Я сделаю, что могу. Постараюсь представить ваши достоинства в самом выгодном свете.

— Буду бесконечно вам благодарен. А я тем временем попытаю счастья у миссис Озмонд.

— Gardez-vous-en bien![138] — Мадам Мерль вмиг поднялась. — Не вмешивайте ее в это, иначе вы все испортите.

---

[138] Примечания: 138
Воздержитесь от этого *(фр.).*

Разглядывая дно шляпы, Розьер думал о том, так ли уж *правильно* он поступил, обратившись к мадам Мерль.

— Боюсь, я не совсем понимаю вас. Я старый друг миссис Озмонд и не сомневаюсь в ее сочувствии.

Вот и отлично, оставайтесь ей другом, чем больше у нее старых Друзей, тем лучше, не очень-то она ладит кое с кем из новых. Но не пытайтесь привлечь миссис Озмонд на свою сторону. Неизвестно еще, какую позицию займет ее муж, и я, как человек желающий ей добра, не советую вам множить их разногласия.

Судя по выражению лица, бедный Розьер не на шутку встревожился. Получить руку Пэнси Озмонд оказалось делом куда более сложным, чем допускало его пристрастие к тому, чтобы все у него шло без сучка без задоринки. Но скрывавшийся за безупречной, как «парадный сервиз» бережливого хозяина, внешностью здравый смысл, которым Розьер был в высшей степени наделен, тут же пришел к нему на помощь.

— Я не убежден, что мне следует так уж считаться с чувствами мистера Озмонда! — воскликнул он.

— Да, но с ее чувствами вы считаться должны.

Вы называете себя ее старым другом. Неужели вам захочется причинить ей боль?

— Ни за что на свете!

— Тогда будьте крайне осторожны и, пока я не разведаю почвы, ничего не предпринимайте.

— Легко сказать — ничего не предпринимайте! Вы забываете, что я влюблен, дорогая моя мадам Мерль.

— Не свеча, не сгорите! Зачем же вы тогда пришли ко мне, если не хотите внять моим советам?

— Вы очень добры, я буду очень послушен, — пообещал молодой человек. — Но боюсь, мистер Озмонд из числа тех людей, на которых ничем не угодишь, — добавил он обычным своим кротким тоном.

— Не вы первый это говорите. Но и жена его не из покладистых, — с сухим смехом заметила мадам Мерль.

— Она прекрасная женщина! — повторил еще раз на прощание Нэд Розьер.

Он решил вести себя отныне так, чтобы поведение его, которое и без того было верхом благоразумия, оказалось выше всяких похвал, но, хотя Розьер твердо помнил обещание, данное им мадам Мерль, он не видел ничего предосудительного в том, что будет изредка для поддержания

бодрости духа являться с визитом в дом Пэнси Озмонд. Молодой человек все время размышлял над словами мадам Мерль, обдумывал впечатление, оставшееся от ее весьма настороженного тона. Он пришел к ней, как в Париже говорят, de confiance,[139] но, возможно, поступил опрометчиво. Он никак не мог назвать себя неосмотрительным — ему не часто случалось давать себе повод для подобных обвинений, но нельзя не признать, что знаком он с мадам Мерль всего лишь месяц, а то обстоятельство, что он считает ее очаровательной женщиной, еще не дает оснований предполагать, будто ей так уж захочется толкнуть Пэнси Озмонд к нему в объятия, сколь ни изящно он их для этого распростер. Спору нет, мадам Мерль относилась к нему приязненно и в окружении Пэнси, судя по всему, играла весьма значительную роль, поражая своим умением (Розьер не раз спрашивал себя, как ей это удается) поддерживать близость без малейшего намека на фамильярность. Но, возможно, он преувеличивал все эти преимущества, и потом, с чего он взял, что она пожелает ради него затрудняться? Очаровательные женщины, как правило, в рав-

---

[139] Примечания: 139
с полным доверием *(фр)*

ной мере очаровательны со всеми; Розьер вдруг представил себе, до чего глупо он выглядел, когда взывал к ней о помощи на том основании, что она к нему благорасположена. Очень может быть, хотя мадам Мерль и постаралась обратить все это в шутку, на самом деле она думает только о его bibelots.[140] Не мелькнула ли у нее мысль, что он мог бы подарить ей две-три жемчужины из своей коллекции? Пусть только она поможет ему жениться на Пэнси Озмонд, и он отдаст ей весь свой музей. Вряд ли можно сказать ей что-либо подобное прямо, это слишком походило бы на грубый подкуп. Но хорошо бы довести это как-то до ее сведения.

Пребывая в кругу все тех же мыслей, он снова направил стопы в дом Озмондов, воспользовавшись тем, что у миссис Озмонд были в этот вечер гости — она всегда принимала по четвергам — и присутствие его можно будет объяснить обычной данью учтивости. Пэнси Озмонд, предмет его нежной, хотя и упорядоченной страсти, жила в самом центре Рима в высоком внушительном и сумрачном доме, выходившем на веселую

---

[140] Примечания: 140
безделушках *(фр.).*

piazetta[141] неподалеку от палаццо Фарнезе.[142] В палаццо жила и сама Пэнси — в палаццо, по римским понятиям, а по мнению бедного Розьера, склонного теперь во всем усматривать недоброе, в темнице. Розьер видел дурное предзнаменование в том, что юная леди, на которой он мечтал жениться, почти не надеясь при этом снискать расположение ее разборчивого отца, заточена в подобии крепости, в твердыне, носившей старинное и грозное итальянское наименование, где слышался отзвук былых подвигов, преступлений, коварства и насилия, упомянутой в «Марри» и посему привлекавшей туристов, которые после беглого осмотра выходили оттуда разочарованными и подавленными, хотя piano nobile[143] украшали фрески Караваджо,[144] а под величественными сводами просторной лоджии, окружающей сырой двор с бьющим фонтаном в замшелой нише, выстроились в ряд изувеченные

---

[141] Примечания: 141
небольшую площадь *(ит.)*

[142] Примечания: 142
Палаццо Фарнезе — одна из архитектурных достопримечательностей Рима. Построен в начале XVII в. архитектором Антонио Сангалло.

[143] Примечания: 143
бельэтаж *(ит.)*.

[144] Примечания: 144
Караваджо — итальянский живописец (1573–1610).

статуи и пыльные урны. Не будь Розьер в столь озабоченном расположении духа, он мог бы, вероятно, отдать должное палаццо Рокканера, мог бы проникнуться теми же чувствами, что и миссис Озмонд, сказавшая ему как-то, что, решив поселиться в Риме, они с мужем избрали это жилище из любви к местному колориту. Местного колорита в нем было более чем достаточно: являясь таким великим знатоком лиможских эмалей, но отнюдь не архитектуры, Розьер тем не менее улавливал несомненное величие и в пропорциях окон, и даже в деталях карнизов. Но его преследовала мысль, что в красочные исторические эпохи юных девушек держали взаперти, чтобы разлучить с любимыми, и. угрожая заточением в монастырь, вынуждали иногда вступать в омерзительные браки. Правда, одному Розьер неизменно отдавал должное всякий раз, как оказывался в расположенных на третьем этаже теплых блистающих великолепием гостиных миссис Озмонд: он признавал, что хозяева дома знают толк в «хороших вещах». Во всем чувствовался вкус самого Озмонда, миссис Озмонд была к этому непричастна, так, во всяком случае, она сама заверила его во время первого визита, когда после пятнадцатиминутной внутренней

борьбы, твердо сказав себе, что их французские приобретения лучше — и намного, — чем у него в Париже, и подавив в себе, как и пристало истинному джентльмену, зависть, он выразил хозяйке дома теперь вполне уже от чистого сердца свое восхищение ее сокровищами. Вот тогда миссис Озмонд и поведала ему, что муж ее собрал большую коллекцию еще до того, как на ней женился, и что, хотя за последние три года коллекция его пополнилась несколькими прекрасными вещами, лучшие его находки относятся к той поре, когда он не мог еще воспользоваться ее советами. Розьер истолковал эти сведения по-своему: слово «советы» он мысленно заменил словами «звонкая монета», а то обстоятельство, что наибольшие удачи Гилберта Озмонда пришлись на время его безденежья, принял как подтверждение своей излюбленной теории, которая гласила: было бы у коллекционера терпение, а все остальное приложится. Появляясь здесь по четвергам, Розьер обычно прежде всего удостаивал вниманием стены большой гостиной: там висело несколько предметов, по которым тосковал его взор, но после разговора с мадам Мерль он оценил всю серьезность положения и потому, войдя, стал тут же отыскивать глазами юную дочь хозяина дома,

вложив в это занятие столько пыла, сколько может позволить себе молодой человек, который, переступая порог, улыбкой своей выражает уверенность в том, что все обстоит как нельзя лучше.

37

Пэнси в первой гостиной не оказалось; в этой огромной комнате со сводчатым потолком и затянутыми старинной алой камкой стенами сидела, как правило, миссис Озмонд, — сегодня она, правда, покинула почему-то свое обычное место; здесь же у камина собирался кружок завсегдатаев дома. Комната, вся мерцавшая в мягком, рассеянном свете, наполнена была самыми крупными из коллекции вещами и почти всегда — благоуханием цветов. Пэнси, скорее всего, находилась в следующей из расположенных амфиладой гостиных, где собирались гости помоложе, где подавали чай. Озмонд стоял спиной к камину и, заложив назад руки, приподняв согнутую в колене ногу, грел ее. Пять-шесть человек гостей, расположившись вокруг, о чем-то беседовали, но он в их разговоре участие не принимал; в глазах его застыло весьма характерное для них выражение, долженствующее, по всей вероятности, означать, что они заняты созерцанием предметов более достойных, нежели эти навязанные им докучные лица. Розьер, о чьем приходе никто не

доложил, тщетно пытался привлечь к себе внимание хозяина дома; молодой человек привык строго соблюдать этикет, и, хотя он больше чем когда бы то ни было сознавал, что явился с визитом к жене, а не к мужу, направился к Озмонду, желая с ним поздороваться. Тот, не меняя позы, протянул ему левую руку.

— Мое почтение. Жена где-то тут.

— Не беспокойтесь, я найду ее, — заверил его жизнерадостно гость. Озмонд между тем оглядел его оценивающе с ног до головы. Розьер не помнил случая, чтобы кто-нибудь смерил его взглядом с таким знанием дела. «Мадам Мерль сообщила ему, и он не в восторге», — рассуждал про себя молодой человек. Он надеялся встретить здесь и мадам Мерль, но пока ее нигде не было видно; впрочем, она могла находиться в других гостиных, а могла пожаловать и позже. Розьер никогда не был слишком очарован Гилбертом Озмондом, считая его заносчивым. Но Нед Розьер не принадлежал к числу людей чрезмерно обидчивых, а когда речь шла о проявлении учтивости, ему в первую очередь важно было самому оказаться на высоте. Оглядевшись по сторонам, он, несмотря на полную безучастность хозяина дома, с улыбкой произнес:

— Я видел сегодня отличного Капо-ди-Монте.[145]

Сначала Озмонд никак на это не отозвался, потом, продолжая греть подошву, процедил:

— Мне ваш Капо-ди-Монте и даром не нужен.

— Надеюсь, вы не утратили интереса?

— К горшкам и плошкам? Утратил.

На миг Розьер забыл всю сложность своего положения.

— Не намерены ли вы с чем-нибудь… с чем-нибудь расстаться?

— Нет, я ни с чем не намерен расставаться, — ответил Озмонд, все так же глядя своему гостю прямо в глаза.

— А! Вы хотите сохранить то, что у вас есть, и ничего не добавлять, — обрадовался своей догадливости Розьер.

— Вы правильно изволили заметить. Следовательно, сватать мне что-либо бессмысленно — я ни в чем не нуждаюсь.

Бедный Розьер почувствовал, как краснеет, — его удручала собственная неуверенность в себе.

---

[145] Примечания: 145

Капо-ди-Монте — национальный музей в Неаполе, коллекции которого наряду с произведениями живописи XIII–XIX вв. включают также европейскую и восточную керамику, мебель, оружие, художественные ткани.

— Да, но я нуждаюсь, — пробормотал он, понимая, что и эти его слова наполовину потеряны, так как произнес он их уже отвернувшись.

Розьер устремился в соседнюю комнату, но увидел, что навстречу ему из глубокого дверного проема выходит миссис Озмонд. В своем черном бархатном платье она была, как он сказал уже, прекрасна и горделива, но при этом как одухотворенно нежна! Мы знаем, что думал о ней мистер Розьер и какими словами он выразил свое восхищение ею мадам Мерль. Как и умение оценить ее милую маленькую падчерицу, оно было прежде всего порождено его художественным чутьем, его влечением ко всему неподдельному, но он обладал еще и пониманием необозначенных в каталоге ценностей, той способности «сиять», которую невозможно утратить или вновь обрести и которую Розьер, несмотря на свое пристрастие к бьющимся изделиям, не разучился пока распознавать. В данную минуту миссис Озмонд, бесспорно полностью отвечала его вкусам. Время если и коснулось ее, то лишь для того, чтобы украсить, цветок ее юности не увял, а только спокойнее высился на стебле. Она утратила отчасти свой нетерпеливый пыл, который некогда вызывал у ее мужа тайное неодобрение; ее вид

говорил о том, что она способна ждать. Сейчас, по крайней мере, выходя из золоченой рамы дверей, она показалась Розьеру воплощением изысканной светской дамы.

— Видите, как я исправен? — сказал он. — Кому же, однако, и быть исправным, как не мне.

— Да, я никого здесь не знаю так давно, как вас. Но не будем предаваться чувствительным воспоминаниям. Я хочу представить вас одной молодой особе.

— Извольте. Где она?

Розьер был необыкновенно любезен, хотя пришел он сюда с другой целью.

— Та, что у камина, в розовом — она скучает, ей не с кем поговорить.

Розьер слегка замялся.

— А не мог бы с ней поговорить мистер Озмонд? Он от нее в двух шагах.

На миг замялась и миссис Озмонд.

— Она не из очень находчивых, а мистер Озмонд не терпит скучных собеседников.

— А я стерплю все? Меня вам не жаль?

— Просто я подумала, что у вас хватит живости ума на двоих. А потом, вы так любезны.

— Разве ваш муж не любезен?

— По отношению ко мне — нет, — сказала с

загадочной улыбкой миссис Озмонд.

— Тогда ему следовало бы удвоить любезность по отношению к другим дамам.

— Это же говорю ему я, — ответила она, по-прежнему улыбаясь.

— Но мне хочется чаю, — поглядывая с тоской на соседнюю комнату, взмолился Розьер.

— Вот и прекрасно. Идите, напоите чаем мою протеже.

— Согласен, но знайте, затем я брошу ее на произвол судьбы. Дело в том, что я мечтаю перемолвиться словечком с мисс Озмонд.

— Тут я ничем вам не могу помочь, — сказала Изабелла и отвернулась.

Протягивая пять минут спустя чашку чая молодой особе в розовом — он уже препроводил ее в соседнюю гостиную, — Розьер спрашивал себя, не погрешил ли он, объявив Изабелле о своем желании видеть Пэнси, если не против буквы, то против духа обещания, данного им мадам Мерль. Молодой человек мог подолгу размышлять на подобные темы. Но в конце концов он, так сказать, на все махнул рукой: теперь он готов был нарушить любые обещания. Судьба, на произвол которой он грозил бросить молодую особу в розовом, оказалась не столь ужасной, ибо

Пэнси Озмонд, — она все так же любила разливать чай, — вручив ему чашку чая для его дамы, вскоре подошла к ней сама и вступила в разговор. Розьер в их безобидном обмене репликами почти не участвовал, он сидел с задумчивым видом и смотрел не отрываясь на милую его сердцу Пэнси. Если мы взглянем на нее сейчас его глазами, мы в первую минуту едва ли узнаем в ней ту послушную маленькую девочку, которую три года назад отсылали погулять по аллее в Кашинах, в то время как ее отец и мисс Арчер беседовали на темы столь дорогие сердцам взрослых. Но пройдет еще несколько минут, и мы увидим, что Пэнси, хотя она и стала наконец в девятнадцать лет юной леди, на самом деле до этой роли не доросла; что ей, несмотря на всю ее миловидность, самым прискорбным образом недоставало некоего весьма ценного в существах женского пола свойства, о счастливых обладательницах которого говорят — у нее есть свой стиль; что ее изящные, всегда блещущие свежестью наряды производят впечатление взятых на прокат, — так откровенно она их оберегает. Казалось бы, кто-кто, а Розьер должен был заметить подобные недостатки, и, по правде говоря, ни одно качество этой юной леди не осталось им незамеченным,

но вот определял он их по-своему, иногда весьма даже удачно: «Нет, она неповторима — она совершенно неповторима!» — твердил он себе, и вздумай кто-нибудь заикнуться, что ей недостает стиля, он ни за что бы не согласился. Недостает стиля? Да у нее стиль маленькой принцессы, тем хуже для вас, если вы этого не видите. В нем нет ничего современного, ничего нарочитого, и на Бродвее он, конечно, успеха бы не имел; эта тоненькая серьезная барышня в накрахмаленном платье напоминает инфанту Веласкеса,[146] только и всего. Эдварду Розьеру, во всяком случае, этого было вполне достаточно; он находил Пэнси пленительно старомодной. Тревожный взгляд ее глаз, ее прелестный рот, ее воздушная фигурка — все в ней было не менее трогательно, чем молитва в детских устах. Желание поскорее узнать, насколько он ей нравится, овладело им с такой силой, что он с трудом мог усидеть на месте. Его бросило в жар, пришлось даже отереть платком лоб; никогда еще он не чувствовал себя так

[146] Примечания: 146

Речь идет об изображении инфанты Маргариты, дочери короля Филиппа IV Габсбургского (1605–1665), неоднократно на протяжении многих лет служившей моделью испанскому живописцу Диего Родригесу де Сильва Веласкесу (1599–1660). Портреты инфанты Маргариты — хрупкой белокурой девочки — находятся в Венской галерее и в музее Прадо (Мадрид). Портрет в Прадо — наиболее известный — изображает инфанту Маргариту в возрасте 12 лет.

неловко. Пэнси была безупречной jeune fille,[147] а можно ли наводить у jeune fille справки по столь щекотливому вопросу? Розьер давно мечтал о jeune fille — притом, чтобы эта jeune fille не была родом француженка, ибо, по мнению Розьсра, последнее обстоятельство могло все осложнить. Он поручился бы, что Пэнси ни разу не держала в руках газеты и что по части романов Вальтер Скотт, если только она его, конечно, прочла, был для нее пределом дозволенного. Jeune fille, но родом американка — лучше ничего и придумать нельзя! Она будет всегда весела, открыта, но re станет гулять в одиночестве, получать письма от мужчин и ходить в театр на комедию нравов. Розьер не дерзнул бы отрицать, что при существующем положении вещей взять и прямо обратиться к столь неискушенному созданию значило нарушить законы гостеприимства; но он был на волосок от того, чтобы спросить себя — неужели надо ставить законы гостеприимства превыше всего? Не важнее ли во сто крат чувства, которые он питает к мисс Озмонд? Для него они, разумеется, были важнее, а вот для хозяина дома — вряд ли. Розьер утешал себя тем, что, даже если

[147] Примечания: 147
юная девушка *(фр.).*

Озмонд после разговора с мадам Мерль насторожился, едва ли он счел нужным предостеречь Пэнси; ведь не в его интересах было сообщать дочери, что некий приятный молодой человек в нее влюблен. Но он действительно был влюблен в нее, сей приятный молодой человек, и все стеснительные преграды в результате привели к тому, что он вознегодовал. Что имел в виду Гилберт Озмонд, протянув ему два пальца левой руки? Озмонд позволил себе быть грубым, — в таком случае он позволит себе быть смелым. И Розьер почувствовал себя отчаянно смелым после того, как скучная молодая особа, так безуспешно старавшаяся предстать перед всеми в розовом свете, откликнулась на призыв своей матушки, которая с предназначенной Розьеру жеманной и многозначительной улыбкой явилась оповестить дочь, что должна увлечь ее к новым победам. Обе дамы удалились, и теперь только от Розьера зависело, сделает ли он попытку остаться с Пэнси наедине. Он никогда еще не оставался с ней наедине — никогда еще не оставался наедине с jeune fille. Наступила решающая минута, Розьер опять отер платком лоб. За той гостиной, где они сидели, имелась еще одна, поменьше; двери в ней были распахнуты и лампы зажжены,

но, так как общество собралось не очень многочисленное, туда за весь вечер ни разу никто не вошел. Там и сейчас не было ни души. Комната отделана была в желтоватых тонах, в ней горело несколько ламп, — смотревшему снаружи она могла бы показаться храмом узаконенной любви. Розьер с минуту смотрел в открытую дверь; он боялся, что Пэнси от него убежит, и даже готов был схватить ее за руку и удержать. Но Пэнси не стремилась покинуть его по примеру особы в розовом и не порывалась присоединиться к кружку гостей в дальнем конце гостиной. Розьер вообразил было, что она испугана — испугана так, что не в силах шелохнуться, но, взглянув на нее снова, убедился, что ни о каком испуге нет и речи, и сказал себе, что она для этого слишком невинна. Отбросив последние сомнения, он спросил, нельзя ли ему посмотреть желтую комнату, которая кажется такой манящей и вместе с тем такой недоступной. Озмонд как-то раз уже водил его туда полюбоваться французским гарнитуром времен Первой Империи,[148] и главным образом часами (Розьеру вовсе не захотелось ими любоваться) — громоздким сооружением в столь

[148] Примечания: 148

...*Первая империя* — империя Наполеона I, провозглашенная в 1804 г. и просуществовавшая до 1814 г.

характерном для той эпохи классическом стиле. Итак, молодой человек почувствовал, что первый ловкий ход сделан.

— Конечно, можно. Если хотите, я покажу ее вам, — сказала Пэнси, она совсем не была испугана.

— Я и надеялся, что вы мне это предложите — вы ведь так добры, — пробормотал Розьер.

Они вместе вошли туда; комната, по мнению Розьера, была на редкость безобразной, в довершение всего там оказалось еще и холодно. По-видимому, Пэнси тоже пришло это в голову.

— Зимой здесь не так хорошо, как летом, — сказала она. — Это папин вкус; у него столько вкуса!

Да, у него бездна вкуса, подумал Розьер, но иногда очень дурного. Он окинул взглядом комнату, не совсем представляя себе, что в таких случаях принято говорить.

— А разве миссис Озмонд безразлично, как отделаны ее комнаты? Неужели у нее нет вкуса? — спросил он.

— Что вы! У нее прекрасный вкус, — сказала Пэнси. — Но больше по части литературы… разговоров, а папа любит и такие вещи. По-моему, он знает все на свете!

Розьер немного помолчал.

— Одно он во всяком случае знает, в этом у меня нет сомнения, — вымолвил он наконец. — Он знает, что при всем уважении к нему, при всем моем уважении к миссис Озмонд, которая так обворожительна, на самом деле я прихожу сюда ради вас!

— Ради меня?

Пэнси обратила к нему слегка тревожный взгляд.

— Ради вас, только ради этого, — повторил Розьер, опьяненный мыслью, что поступает наперекор всем правилам и велениям.

Пэнси смотрела на него просто, внимательно, открыто; ей незачем было краснеть, она и без того была сама скромность.

— Так я и думала, — вымолвила она.

— И вам не было это неприятно?

— Как же я могу сказать? Я ведь не знала. Вы ничего мне не говорили.

— Я боялся вас обидеть.

— В этом нет ничего для меня обидного, — ответила она чуть слышно, улыбаясь так, будто ее поцеловал ангел.

— Значит, я нравлюсь вам, Пэнси? — спросил Розьер очень мягко, чувствуя себя очень счастливым.

— Да… вы мне нравитесь.

Дойдя до камина, где высились большие неприветливые часы времен Первой Империи, они остановились; здесь, в глубине комнаты, они были скрыты от посторонних глаз. Он взял ее руку, задержал на мгновение в своей, потом поднес к губам — единственное, чем он мог ответить на эти четыре слова, прозвучавшие естественно, как дыхание. Пэнси не противилась, она по-прежнему смотрела на него с чистой, доверчивой улыбкой, в которой сквозила бесконечная покорность. Он нравился ей, давно уже нравился; теперь все может сбыться! Она согласна, все это время была согласна и только ждала, чтобы он заговорил. Она способна была ждать так всю жизнь, но стоило его словам прозвучать — и Пэнси сдалась, как сдается персик, падая с дерева, когда его трясут. Розьер чувствовал, что, если притянет ее к себе, прижмет к сердцу, она безропотно ему покорится, замрет у него на груди. Правда, с его стороны было бы слишком рискованно проделать этот эксперимент в желтом salottino[149] в стиле Первой Империи. Оказывается, Пэнси знала, что он приходит ради нее, но, как истая маленькая леди,

---

[149] Примечания: 149
маленьком салоне *(ит.).*

она и вида не показывала!

— Вы очень мне дороги, — проговорил он, стараясь изо всех сил убедить себя, что законы гостеприимства все же существуют.

Она секунду смотрела на свою руку, туда, где он запечатлел поцелуй.

— Вы говорите, папа знает?

— Вы же сами только что утверждали, что он знает все.

— По-моему, вы должны поскорее в этом увериться.

— Ну, теперь, когда я уверен в *вас,* дорогая… — шепнул он ей на ушко, после чего Пэнси устремилась в первую гостиную, всем своим видом как бы мягко давая ему понять, что дело их не терпит отлагательств.

В первую гостиную между тем пожаловала мадам Мерль, чье появление никогда не оставалось незамеченным. Как удавалось ей этого достичь, не взялся бы сказать даже самый наблюдательный человек, ибо говорила она негромко, смеялась не часто, двигалась не быстро, да и одевалась неброско, — словом, не делала видимых усилий, чтобы привлечь к себе внимание общества. Крупная, белокурая, улыбающаяся, невозмутимая, она словно распространяла спо-

койствие, и люди оглядывались от того, что вдруг все стихало. На этот раз она вела себя особенно тихо. Обняв миссис Озмонд, что было весьма необычно, она опустилась на небольшой диванчик и вступила в беседу с хозяином дома. Обменявшись с ним несколькими банальными фразами, — встречаясь в обществе, эти двое проформы ради всегда платили дань банальности, — мадам Мерль, окинув взглядом гостиную, поинтересовалась, не появлялся ли в этот вечер милейший Розьер.

— Он появился с час назад, потом куда-то исчез.

— А где Пэнси?

— В соседней комнате, там еще несколько гостей.

— В числе которых и он, вероятно, — сказала мадам Мерль.

— Вы хотели бы его видеть? — спросил нарочито бесстрастным тоном Озмонд.

Мадам Мерль несколько секунд на него смотрела: она знала все его интонации — до последней, еле уловимой нотки.

— Да, я хотела бы сказать ему, что сообщила вам о его желании и что вы проявили к нему весьма прохладный интерес.

— Этого ему не говорите! Он попытается разогреть мой интерес, чего я вовсе не жажду. Скажите ему лучше, что я слышать не хочу о его предложении.

— Но ведь это не так.

— Какое это имеет значение. Мне оно не по вкусу. Я и сам сегодня дал ему это понять. Был с ним намеренно груб. В общем, все это так нудно. К чему спешить.

— Я скажу ему, что вам требуется время, чтобы обдумать его предложение.

— Ни коим образом! От него потом не отделаться.

— Если я отниму у него всякую надежду, результат будет тот же.

— Да, но в одном случае он будет лезть с разговорами и объяснениями, а это в высшей степени утомительно, в другом — будет помалкивать и пустится на какие-нибудь хитрости. Следовательно, меня он оставит в покое. Терпеть не могу разговаривать с ослами.

— Вы так именуете бедного Розьера?

— Он просто невыносим… с этой вечной своей майоликой.

Мадам Мерль опустила глаза; на губах ее промелькнула улыбка.

— Он джентльмен, у него благородный характер, ну и как-никак сорок тысяч франков годового дохода.

— Это нищенство — «благородное» нищенство, — перебил ее Озмонд. — Нет, не об этом я мечтал для Пэнси.

— Что ж, тем лучше. Он обещал мне не говорить с ней.

— И вы ему верите? — спросил с рассеянным видом Озмонд.

— Вполне. Кстати, Пэнси только о нем и думает, но этому вы, вероятно, не придаете никакого значения.

— Ровным счетом никакого, и я не верю, что она вообще о нем думает.

— Такая точка зрения удобнее, — тихо проговорила мадам Мерль.

— Она сказала вам, что влюблена в него?

— За кого вы ее принимаете? И за кого вы принимаете меня? — добавила после секундной паузы мадам Мерль.

Озмонд вскинул ногу и оперся тонкой своей лодыжкой о колено другой ноги; привычным жестом обхватил лодыжку рукой — его длинный изящный указательный палец без труда сомкнулся с большим, — он сидел, глядя прямо

перед собой.

— Здесь нет ничего для меня неожиданного. Я и воспитывал ее, готовя к этому. Да, я готовил ее именно к этому… чтобы в подобных обстоятельствах она поступила так, как я найду нужным.

— Она так и поступит, на этот счет у меня нет никаких сомнений.

— Тогда не понимаю, в чем загвоздка?

— Ни в чем. И все же мой вам совет — не спешите избавиться от мистера Розьера. Попридержите его, он может еще пригодиться.

— Я на это не способен. Попридержите его вы.

— Хорошо, я буду держать его на привязи и кормить обещаниями.

Мадам Мерль чуть ли не все время, что они говорили, смотрела по сторонам; ей свойственно было вести себя так в этих случаях, как свойственно было и прерывать разговор частыми паузами. После только что приведенной мною фразы как раз и воцарилась одна из таких долгих пауз, и, прежде чем молчание было нарушено, мадам Мерль увидела, как из соседней комнаты выходит Пэнси, а следом за ней Эдвард Розьер. Пэнси сделала несколько шагов и остановилась, неотрывно глядя на мадам Мерль и своего отца.

— Он признался ей, — обращаясь к Озмонду,

сказала мадам Мерль.

Озмонд не повернул головы.

— Вот чего стоит ваша вера в его обещания; его следовало бы высечь.

— Бедняжка, он жаждет покаяться.

Озмонд встал; он успел уже за это время бросить испытующий взгляд на дочь.

— Впрочем, все это не имеет значения, — обронил он, уходя.

Спустя несколько секунд подошла Пэнси и с обычной своей милой, но сдержанной благовоспитанностью поздоровалась с мадам Мерль. Дама эта проявила не намного больше сердечности; поднявшись с дивана, она просто дружески улыбнулась Пэнси.

— Как вы сегодня поздно, — сказала та своим нежным голоском.

— Я всегда прихожу не позже, чем намереваюсь, мое дорогое дитя.

Мадам Мерль поднялась не из желания проявить любезность по отношению к Пэнси; она тут же направилась к Розьеру, который, сделав несколько шагов ей навстречу, торопливо, словно желая поскорее облегчить душу, пробормотал:

— Я признался ей.

— Я знаю, мистер Розьер.

— Она вам сказала?

— Да. Постарайтесь до конца вечера не делать больше глупостей, а завтра приходите ко мне; я жду вас в четверть шестого.

Она обошлась с ним строго, и в том, как она повернулась к нему спиной, выразилось столько пренебрежения, что у него само собой слетело с губ проклятие — правда, вполне пристойное.

Розьер не собирался говорить сейчас с Озмондом, — это было бы и не ко времени, и не к месту; невольно он потянулся к Изабелле, которая сидела и беседовала с пожилой дамой. Розьер подсел к Изабелле с другой стороны; пожилая дама оказалась итальянкой, и он не усомнился, что, кроме своего родного языка, она никакими другими не владеет.

— Вы вот сказали, что не станете мне помогать, — обратился он к миссис Озмонд. — Но, быть может, вы передумаете, когда узнаете… когда узнаете…

Изабелла пришла ему на помощь.

— Когда я узнаю — что?

— Что с ней все обстоит благополучно.

— Я не совсем вас понимаю.

— Мы обо всем с ней договорились.

— В таком случае с ней все обстоит неблагопо-

лучно, — сказала Изабелла. — Из этого ничего не выйдет.

Бедный Розьер смотрел на нее просительно и вместе с тем негодующе; он был настолько оскорблен, что краска бросилась ему в лицо.

— Я не привык, чтобы со мной так обращались. Из-за чего в конце концов я так неугоден? Обыкновенно на меня смотрят совсем иначе. Я мог бы уже двадцать раз жениться.

— Жаль, что вы этого не сделали. Я не хочу сказать — двадцать раз, но один и притом удачно, — добавила, приветливо ему улыбнувшись, Изабелла. — Для Пэнси вы недостаточно богаты.

— Да она не придает никакого значения деньгам.

— Но ее отец придает.

— Это он доказал, — воскликнул молодой человек.

Изабелла поднялась и ушла, даже не извинившись перед своей пожилой собеседницей, а Розьер последующие десять минут делал вид, будто изучает коллекцию миниатюр Гилберта Озмонда, изящно размещенную на фоне черного бархата. Но он смотрел на миниатюры, не видя их, лицо у него пылало, он был глубоко оскорблен. С ним и в самом деле никогда еще так не

обращались; никто никогда не позволял себе думать о нем, что он недостаточно хорош. Сам-то он знал, насколько он хорош, и, не будь заблуждение мистера Озмонда столь пагубным, просто бы над ним посмеялся. Розьер снова бросился искать Пэнси, но она исчезла, и теперь он хотел только одного — поскорее покинуть этот дом. Но до того он еще раз обратился к Изабелле; его мучила мысль, что он сказал ей грубость, — единственное, что могло бы теперь подтвердить дурное мнение о нем.

— Я не должен был говорить так о мистере Озмонде, — начал он, — но вы ведь помните, в каком я положении.

— Я не помню, что вы сказали, — отвечала Изабелла сухо.

— Вы обиделись и не захотите мне теперь помочь.

Секунду она молчала, потом у нее словно бы из глубины души вырвалось:

— Не в том дело, захочу я или нет. Просто я не могу.

— Но если бы вы *постарались*, ну хотя бы самую малость, я бы вашего мужа иначе как ангелом не называл.

— Перед этим, конечно, устоять трудно, —

ответила Изабелла с серьезным или, как он позже поправил себя, с непроницаемым видом и посмотрела ему прямо в глаза взглядом тоже непроницаемым. Почему-то он заставил Розьера вспомнить, что он знал ее еще ребенком; однако взгляд ее был что-то слишком уж пронзителен. С тем Розьер и ушел.

38

Назавтра Розьер отправился к мадам Мерль, которая, к его удивлению, сравнительно легко отпустила ему вину. Но она взяла с него обещание, что, пока все тем или иным образом не решится, он ничего больше не предпримет. Мистер Озмонд рассчитывал на партию более блестящую, и, хотя расчеты его, коль скоро он не собирается давать за своей дочерью приданое, конечно, ничего не стоит подвергнуть критике и даже, если угодно, осмеянию, она не советует Розьеру вставать на этот путь. Он может надеяться на желанное счастье, только если вооружит свою душу терпением. Мистер Озмонд смотрит на его сватовство неблагосклонно, но не исключена возможность, что постепенно он сменит гнев на милость. Пэнси никогда не ослушается отца, Розьеру это следует твердо помнить, все его попытки ускорить события ни к чему не приведут. Мистеру Озмонду нужно свыкнуться со столь непредвиденным предложением, что, естественно, должно произойти само собой, тут навязчивостью ничего не добьешься. Розьер сказал, что тем временем его

собственное положение будет просто невыносимо, и мадам Мерль не преминула выразить ему свое сочувствие. Но, как справедливо заметила она, нельзя требовать от жизни всего сразу, ей ли этого не знать. Писать Гилберту Озмонду бесполезно, он поручил ей передать это. Пусть на несколько недель все заглохнет, а потом он сам напишет мистеру Розьеру, если, разумеется, сможет сообщить ему что-либо обнадеживающее.

— Он очень недоволен тем, что вы объяснились с Пэнси. Очень! — сказала мадам Мерль.

— Готов предоставить ему случай мне это высказать.

— Приготовьтесь к тому, что заодно он выскажет и многое другое, что вряд ли придется вам по вкусу. Постарайтесь бывать там по мере возможности редко и предоставьте остальное мне.

— По мере возможности? Кто же определит меру этой возможности?

— Да хотя бы я. Можете бывать там по четвергам, тогда же, когда и все, но не вздумайте искать встреч с Пэнси в неурочное время. Не тревожтесь за нее, я ей все объясню. У малютки спокойный нрав, она примет все так, как надо.

Эдвард Розьер, хоть он и очень тревожился за Пэнси, внял совету и до следующего четверга не

показывался в палаццо Рокканера. В этот день у них был званый обед, и Розьер, несмотря на то, что пришел рано, застал там уже довольно многочисленное общество. Озмонд стоял, по своему обыкновению, в первой гостиной у камина и смотрел на дверь, так что Розьеру, не желавшему быть подчеркнуто невежливым, ничего не оставалось, как подойти и с ним заговорить.

— Я рад, что вы способны прислушаться к намеку, — сказал, полузакрыв свои умные проницательные глаза, отец Пэнси.

— К намекам я не прислушиваюсь. Я, судя по всему, прислушался к пожеланию.

— К пожеланию? От кого вы его слышали?

Бедному Розьеру казалось, что его намеренно оскорбляют, и несколько секунд он молчал, спрашивая себя, сколько должен верный возлюбленный вытерпеть во имя любви.

— Мадам Мерль передала мне, если я правильно ее понял, ваше пожелание, чтобы я не искал случая поговорить с вами, сказать вам то, к чему я стремлюсь.

Розьер льстил себя надеждой, что произнес это достаточно твердо.

— Не понимаю, какое отношение к этому имеет мадам Мерль. Почему вы обратились к мадам

Мерль?

— Я спросил ее мнение, только и всего. Я обратился к ней, так как полагал, что она хорошо вас знает.

— Не так хорошо, как ей кажется.

— Жаль, она оставила мне крупицу надежды.

Несколько секунд Озмонд смотрел в камин.

— Я очень высоко ценю мою дочь.

— Не выше, чем я. Разве моя просьба выдать ее за меня замуж не доказывает этого?

— Я хочу выдать ее замуж хорошо, — продолжал Озмонд с такой холодной наглостью, что, будь бедный Розьер в ином расположении духа, он непременно бы восхитился.

— Разумеется, я уповаю на то, что, выйдя замуж за меня, она хорошо выйдет замуж. Она не может выйти замуж за человека, который любил бы ее больше, чем я, и которого она, позволю себе добавить, любила бы больше.

— Я не обязан выслушивать ваши домыслы насчет того, кого моя Дочь любит, — взглянув на него, Озмонд холодно усмехнулся.

— Это не домыслы. Ваша дочь сказала это.

— Не мне, — продолжал Озмонд, наклоняясь вперед и рассматривая носки ботинок.

— Она дала мне согласие, сэр! — воскликнул

доведенный до крайности Розьер.

Разговор велся до сих пор вполголоса, и исторгнутая у Розьера громкая нота невольно привлекла к себе внимание гостей. Подождав, пока легкое волнение улеглось, Озмонд с самым невозмутимым видом сказал:

— Думаю, она этого уже не помнит.

Они стояли все это время лицом к камину, но после того, как хозяин дома изрек последнюю фразу, он круто повернулся к гостям. Розьер собрался было ответить, но увидел, что какой-то незнакомый ему джентльмен, появившийся в гостиной, как принято в Риме безо всякого оповещения, направляется к Озмонду. Тот смотрел на него с любезной, но ничего не говорящей улыбкой. У гостя было красивое лицо, большая светлая борода, и похож он был на англичанина.

— Вы, очевидно, не узнаете меня, — сказал он с улыбкой более выразительной, чем у хозяина дома.

— Вот теперь я вас узнал. Никак не ожидал вас увидеть.

Розьер оставил их и бросился отыскивать Пэнси. Он думал найти ее, как и всегда, в соседней гостиной, но снова столкнулся на своем пути с миссис Озмонд. Вместо того чтобы поздороваться

с хозяйкой дома, — Розьер полон был справедливого негодования, — он сказал ей в сердцах:

— Ваш муж бесчувственный человек.

Она опять улыбнулась загадочной улыбкой, которую он подметил у нее еще в тот раз.

— Нельзя требовать от всех вашей пылкости чувств.

— Да, я не бесчувственный, не отрицаю, но я и не безрассуден. Что он сделал со своей дочерью?

— Не имею представления.

— Вас, что ж, это не интересует? — спросил Розьер, готовый возроптать и на нее.

Она помолчала.

— Нет! — ответила она резко, тут же опровергнув эту резкость тревожно заблестевшими глазами.

— Простите, но я вам не верю. Где мисс Озмонд?

— Там, и уголке, поит гостей чаем. Пусть она там и остается.

Розьер сейчас же увидел свою маленькую подругу, которую заслонили от него стоявшие между ними гости. Он пристально на нее посмотрел, но она была всецело поглощена своим занятием.

— Боже мой, что он с ней сделал? — снова взмо-

лился Розьер. — Он говорит, что она от меня отступилась.

— Нет, она не отступилась от вас, — не глядя на него, тихо сказала Изабелла.

— Как мне вас благодарить! Теперь я готов оставить ее в покое на тот срок, какой вы сочтете необходимым.

Не успел Розьер кончить фразу, как заметил, что Изабелла вдруг изменилась в лице, и увидел, что к ней приближается Озмонд в сопровождении джентльмена, который перед тем вошел в гостиную. Несмотря на свои неоспоримые преимущества — счастливую наружность и безусловную светскость — джентльмен этот, на взгляд Розьера, держался несколько смущенно.

— Изабелла, — сказал ей муж, — я привел вам вашего старинного друга.

Хотя миссис Озмонд и улыбалась, в ее лице, как и в лице ее старинного друга, была какая-то растерянность.

— Я очень рада лорду Уорбертону, — сказала она.

Розьер отошел от них; поскольку его разговор с миссис Озмонд прервали, он почувствовал себя свободным от данного им сгоряча зарока. Тем более что он сразу ощутил — миссис Озмонд будет

сейчас не до него.

И действительно, надо отдать ему справедливость, Изабелла на время о нем забыла. Она была поражена, приятно или неприятно, этого она и сама пока что не понимала. Лорд Уорбертон, однако, теперь, когда оказался с ней лицом к лицу, был, очевидно, вполне уверен в своих чувствах, его серые глаза не утратили еще своего прекрасного свойства искренне обо всем свидетельствовать. Он немного «раздался» по сравнению с прежними временами, казался старше и стоял перед ней очень внушительный, благоразумный.

— Думаю, вы не ожидали меня увидеть, — сказал он. — Я без преувеличения только сейчас приехал. Я прибыл в Рим нынче вечером и поспешил засвидетельствовать вам свое почтение. Я знал, что по четвергам вы принимаете.

— Видите, слух о ваших четвергах долетел и до Англии, — заметил, обращаясь к жене, Озмонд.

— Очень любезно со стороны лорда Уорбертона пожаловать к нам так сразу, мы очень польщены, — сказала Изабелла.

— Ну, это все же лучше, чем сидеть в какой-нибудь мерзкой гостинице, — продолжал Озмонд.

— Отель, на мой взгляд, превосходный; мне кажется, это тот самый, где четыре года назад я

видел вас. Мы ведь встретились с вами впервые здесь, в Риме; да много воды утекло с тех пор. А помните, где я с вами распрощался? — спросил его светлость хозяйку дома. — В Капитолии, в первом зале.

— И я это помню, — сказал Озмонд. — Я тоже был там в это время.

— Да, я помню и вас там. Мне очень жаль было тогда покидать Рим — настолько, что у меня от него осталось какое-то гнетущее воспоминание, и до нынешнего дня я не стремился вернуться сюда. Но я знал, что вы живете в Риме, — продолжал, обращаясь к Изабелле, ее старинный друг, — и, поверьте, я часто о вас думал. Наверное, жить в этом дворце восхитительно, — сказал он, окидывая ее парадные покои взглядом, в котором она могла бы, пожалуй, уловить слабый отблеск былой грусти.

— Приходите, когда вам вздумается, мы всегда будем рады, — сказал учтиво Озмонд.

— От души благодарю. С тех пор я так ни разу и не выезжал за пределы Англии. Право же, еще месяц назад я думал, что покончил с путешествиями.

— Я время от времени слышала о вас, — сказала Изабелла, которая успела уже благодаря особой

своей душевной способности понять, что значит для нее встретиться с ним снова.

— Надеюсь, вы не слышали ничего дурного? Моя жизнь с тех пор была на редкость бедна событиями.

— Как времена счастливых царствований в истории, — подал голос Озмонд. Он считал, по-видимому, что исполнил до конца долг хозяина дома, исполнил его на совесть. Прием, оказанный им старинному другу жены, был как нельзя более пристойным, как нельзя более в меру любезным. В нем была светскость, безукоризненный тон, словом, в нем было все, кроме искренности, чего лорд Уорбертон, будучи сам по натуре человеком искренним, вряд ли мог не заметить. — Я оставляю вас вдвоем с миссис Озмонд, — добавил он. — У вас есть воспоминания, к которым я не причастен.

— Боюсь, вы много от этого теряете! — воззвал уже ему вслед лорд Уорбертон голосом, выражавшим, быть может, несколько чрезмерную признательность за великодушие. После чего гость устремил на Изабеллу взгляд, полный глубокого, глубочайшего внимания, и взгляд этот постепенно становился все более серьезным.

— Я в самом деле очень рад вас видеть.

— Это очень с вашей стороны любезно. Вы очень добры.

— А знаете, вы изменились… чуть-чуть.

Она ответила не сразу.

— Да… даже очень.

— Я, конечно, не хочу сказать, что к худшему, но сказать, что к лучшему, у меня, право, не хватит духу.

— Думаю, я не побоюсь сказать этого *вам,* — смело ответила Изабелла.

— Ну, что касается меня… прошло много времени. Было бы жаль, если бы оно прошло для меня бесследно. — Они сели, Изабелла стала расспрашивать его о сестрах, задала еще несколько весьма поверхностных вопросов. Он отвечал на них с оживлением, и спустя несколько минут она поняла — или уверила себя в этом, — что натиск будет не так настойчив, как прежде. Время дохнуло на его сердце и, не оледенив, охладило, как струя свежего воздуха. Изабелла почувствовала, что давнее ее уважение к всемогущему времени возросло во сто крат. Ее друг, вне всякого сомнения, держался как человек вполне довольный жизнью, как человек, желающий слыть таковым в глазах людей, во всяком случае в ее глазах. — Мне надо сказать вам одну вещь, не

откладывая, — продолжал он. — Я привез с собой Ральфа Тачита.

— Привезли его с собой?

Изабелла была поражена.

— Он в гостинице. Он так устал, что не в силах был никуда идти, и лег.

— Я навещу его, — сказала она в то же мгновение.

На это я, признаться, и надеялся. Мне казалось, вы с ним реже виделись после вашего замужества и отношения ваши стали несколько… несколько прохладнее. Вот я и медлил по своей неуклюжей британской манере.

— Ральф мне все так же дорог, — ответила Изабелла, — но зачем он приехал в Рим?

Утверждение прозвучало очень нежно, вопрос — резковато.

— Потому что дела его не блестящи, миссис Озмонд.

— Тогда тем более Рим не место для него. Он писал мне, что решил отказаться от своего обыкновения уезжать в теплые страны и перезимует в Англии, не выходя из дома, в искусственном климате, как он выразился.

— Он, бедняга, не очень-то в ладу со всем искусственным. Недели три назад я наведался к нему

в Гарденкорт и застал его там совсем больным. Ему с каждым годом становилось хуже, и сейчас силы его на исходе. Он даже и от сигарет своих отказался, больше не курит. Да, он развел у себя искусственный климат, ничего не скажешь, жара в доме стояла, как в Калькутте. И тем не менее он почему-то вдруг вбил себе в голову, будто ему пойдет на пользу климат Сицилии. Я ни на минуту в это не верил, как, впрочем, и его врачи, и все его друзья. Матушка его, как вы, вероятно, знаете, в Америке, и остановить Ральфа было некому. А он ухватился за мысль, что зима в Катании спасительна для него. Он пообещал взять с собой слуг, взять мебель и расположиться со всеми удобствами, но на самом деле ничего с собой не взял. Я уговаривал его по крайней мере добираться морем, все же это менее утомительно, но он заявил, что море терпеть не может и по дороге хочет наведаться в Рим. После чего я, хоть и считал всю эту затею вздорной, решил отправиться с ним. Я выступаю в роли, как это в Америке говорят, «утишителя». Бедный Ральф, сейчас он совсем притих. Мы выехали из Англии две недели назад, и в пути ему было очень плохо. Он все никак не мог согреться, и чем дальше мы продвигались на юг, тем ему становилось холоднее. У него

превосходный слуга, но боюсь, никто на этом свете ему уже не в силах помочь. Я хотел, чтобы он прихватил с собой какого-нибудь малого с головой, я имею в виду какого-нибудь толкового молодого врача, но он наотрез отказался. Миссис Тачит, позволю себе сказать, выбрала для своего путешествия чрезвычайно неподходящее время.

Изабелла слушала его, затаив дыхание, лицо ее отражало боль и смятение.

— Моя тетушка заранее определяет даты своих путешествий и твердо им следует. Приходит срок, и она пускается в путь. Боюсь, она пустилась бы в путь, даже если бы Ральф был при смерти.

— Мне иногда кажется, он *уже* при смерти, — сказал лорд Уорбертон.

Изабелла вмиг поднялась.

— Тогда я немедленно иду к нему.

Он остановил ее порыв; его несколько ошеломил столь молниеносный отклик на его слова.

— Я не имею в виду, что это случится нынче вечером. Напротив, сегодня в поезде он чувствовал себя почти хорошо: мысль о том, что мы подъезжаем к Риму — он, как вы знаете, очень любит Рим, — придала ему силы. Час назад, когда я пожелал ему доброй ночи, он признался, что очень устал, но очень счастлив. Навестите его завтра

утром — я только это имел в виду. Я не сказал ему, что собираюсь к вам, — решил это уже после того, как с ним расстался. Тут я вспомнил, — он мне когда-то говорил, — по четвергам вы принимаете, а сегодня как раз четверг. Вот я и надумал сообщить вам, что он здесь и что лучше вам не дожидаться, пока он явится с визитом. Помнится, он говорил, что не написал вам. — Изабелле не надо было заверять лорда Уорбертона, что последует его совету, вид у нее был такой, словно она полетела бы к Ральфу на крыльях, не будь они связаны. — Не говоря уже о том, что мне и самому хотелось вас видеть, — добавил любезно гость.

— Мне непонятно решение Ральфа, по-моему, это чистейшее безумие, — сказала она. — У меня было куда спокойнее на душе, пока я знала, что он за крепкими стенами Гарденкорта.

— Он был там один, как перст, за этими крепкими стенами; они составляли все его общество.

— К нему приезжали вы, вы приняли в нем такое участие.

— Помилуйте, мне просто нечем себя занять, — сказал лорд Уорбертон.

— Мы слышали, что вы, напротив, заняты очень важными делами, о вас все говорят, что вы важный государственный муж. Ваше имя не

сходит со страниц «Таймса», где, кстати сказать, оно не очень-то в чести. Вы, как видно, все такой же неистовый радикал.

— Я совсем не чувствую себя неистовым; теперь все на свете разделяют мои взгляды. У нас с Ральфом, как только мы сели в поезд, началось что-то вроде парламентских дебатов, которые так всю дорогу и не прекращались. Я утверждал, что он — последний оставшийся на земле тори, а он называл меня королем готтов и твердил, что во всем, вплоть до моей наружности, я сущий варвар. Так что, видите, он еще полон жизни.

Как ни хотелось Изабелле расспросить его подробнее о Ральфе, она от этого воздержалась. Завтра она увидит его сама. Она понимала, лорду Уорбертону наскучит в конце концов толковать об одном и том же, и он пожелает коснуться других тем. Она все с большей уверенностью говорила себе, что он выздоровел и более того — говорила без всякой горечи. В ту далекую пору он был для нее воплощением упорства и настойчивости; его приходилось непрерывно останавливать, непрерывно призывать к благоразумию, и, когда он вдруг предстал перед ней, она в первую минуту испугалась, что это грозит ей новыми осложнениями. Но сейчас она

успокоилась, она увидела — ему просто хочется быть с ней в добрых отношениях, хочется дать ей понять, что он простил ее и никогда не проявит дурного вкуса, не позволит себе никаких многозначительных намеков. Это не было с его стороны местью; она ни в коей мере не подозревала лорда Уорбертона в желании наказать ее подчеркнутым равнодушием, она слишком высоко его ставила. Просто он решил: ей приятно и радостно знать, что он совсем смирился с судьбой. Смирился, как здоровый и мужественный человек, у которого сердечные раны проходят без нагноения. Как она и предвидела, его вылечило занятие британской политикой. Она с завистью подумала о том, насколько удел мужчин счастливее: они всегда могут погрузиться в целительные воды какой-нибудь деятельности. Лорд Уорбертон, как и следовало ожидать, заговорил о прошлом, но заговорил о нем без всяких недомолвок, заминок и даже пошел так далеко, что, упомянув их последнюю встречу в Риме, сказал: «Славное было время». И еще он сказал, что с большим интересом услышал о ее замужестве и рад познакомиться с мистером Озмондом, — ту их встречу вряд ли можно назвать знакомством. Правда, он не писал ей на протяжении всех этих лет, но

извинения просить не стал. Словом, в мыслях у него было лишь одно: они старые друзья, близкие друзья. И совсем уже тоном близкого друга, с улыбкой оглядевшись по сторонам, как человек, которому в числе прочих провинциальных развлечений предложили позабавиться невинной игрой в догадки, лорд Уорбертон после недолгого молчания неожиданно спросил:

— Что ж, полагаю, вы счастливы и все тому подобное?

Изабелла не замедлила рассмеяться в ответ: вопрос показался ей почти что комическим.

— Неужели вы думаете, я сказала бы вам, если бы это было не так?

— Право, не знаю. Впрочем, не вижу, почему бы и нет.

— Зато я вижу. К счастью, однако, я очень счастлива.

— Дом у вас превосходный.

— Да, здесь хорошо. Но это заслуга не моя… а моего мужа.

— Вы хотите сказать, что это он придал всему такой вид?

— До нас здесь было полное запустение.

— У него просто талант.

— У него дар по части убранства и драпировок.

— Сейчас на этом все помешались. Но у вас ведь и у самой есть вкус.

— Я способна любоваться тем, что сделано, но у меня нет никаких собственных идей. Я ничего не могу предложить.

— Значит, вы принимаете то, что предлагают другие?

— Как правило, с большой охотой.

— Теперь буду знать и непременно вам что-нибудь предложу.

— С вашей стороны это будет очень любезно. Но должна вас предупредить, что в мелочах я тоже иногда способна проявить волю. Так, например, мне хотелось бы представить вам кое-кого из гостей.

— Нет, прошу вас, не надо. Я предпочитаю посидеть с вами. Разве что вы представите меня той юной леди в голубом. У нее такое прелестное личико.

— Той, что говорит с румяным молодым человеком? Это дочь моего мужа.

— Он просто счастливец, ваш муж. Какая милая барышня.

— Вы должны с ней познакомиться. — С удовольствием… через несколько минут. Мне приятно смотреть на нее отсюда. — Скоро, однако, он

перестал на нее смотреть; его взор снова и снова обращался к миссис Озмонд. — А знаете, я был неправ, Когда сказал, что вы переменились, — продолжал он, несколько секунд Помолчав. — В общем, на мой взгляд, вы все та же.

— И, однако, я убедилась, что замужество все меняет, — подхватила шутливым тоном Изабелла.

— Как правило, это очень сильно сказывается, но на вас нет. А я, как видите, не последовал вашему примеру.

— Меня это удивляет.

— Вам-то это должно быть понятно, миссис Озмонд. А впрочем, я хотел бы жениться, — добавил он уже с большей непринужденностью.

— Что может быть легче, — сказала, поднимаясь с места Изабелла, и вдруг со жгучим, пожалуй, слишком уж неприкрытым раскаянием подумала, кому-кому, но не ей бы это говорить. Оттого, быть может, что лорд Уорбертон угадал раскаяние, он великодушно промолчал и не спросил ее, почему же в таком случае она не облегчила ему задачи.

Эдвар Розьер тем временем пристроился на диване возле чайного столика Пэнси. Сначала он заговорил с ней о пустяках, и она поинтересова-

лась, что за джентльмен беседует с ее мачехой.

— Он английский лорд, — сказал Розьер. — Это все, что мне о нем известно.

— Наверное, ему надо предложить чаю. Англичане ведь любят чай.

— Да не думайте вы об этом. Я должен сказать вам кое-что очень важное.

— Не говорите так громко, вас могут услышать, — сказала Пэнси.

— Никто ничего не услышит, если вы будете сидеть с таким видом, словно единственная в вашей жизни забота — скоро ли закипит чайник.

— Его только что долили, с прислуги нельзя спускать глаз. — И, чувствуя всю тяжесть ответственности, Пэнси вздохнула.

— Знаете, что заявил мне сейчас ваш отец? Будто вы уже не помните того, что сказали мне неделю назад!

— Конечно, всего, что я говорю, я не помню. Какая же девушка может помнить все? Но то, что я сказала *вам,* я помню.

— Он говорит, что вы меня забыли.

— Нет, нет, я не забыла вас, — сказала Пэнси, и ее жемчужные зубки блеснули в заученной улыбке.

— Значит, все остается по-прежнему?

— Нет, не совсем. Папа был страшно строг со мной.

— Что он с вами сделал?

— Он спросил меня, что со мной сделали *вы*, и я все ему рассказала. И тогда он запретил мне выходить за вас замуж.

— А вы не обращайте внимания.

— Нет, нет, это невозможно. Я не могу ослушаться папу.

— Даже ради того, кто любит вас так, как я, и кого вы делали вид, что любите?

Приподняв крышку чайника, в котором заваривался чай, и глядя в сей сосуд, Пэнси обронила шесть слов в его ароматные глубины.

— Я вас люблю все так же.

— Какой мне от этого прок?

— Не знаю, — сказала Пэнси, поднимая свои милые затуманившиеся глаза.

— Этого я от вас не ожидал, — простонал бедный Розьер.

Отослав слугу с чашкой чая, она произнесла после паузы:

— Пожалуйста, больше со мной не говорите.

— Это все, что вы можете сказать мне в утешение?

— Папа не велел мне с вами разговаривать.

. — И вы готовы мной пожертвовать? Нет, это уж чересчур!

— Если бы вы немного подождали! — сказала она еле слышным голосом, в котором нетрудно было, однако, расслышать предательскую дрожь/

— Конечно, я буду ждать, если вы не отнимете у меня надежды. Но знайте, вы меня убиваете.

— Я не отступаюсь от вас, нет, нет, — сказала Пэнси.

— Он постарается выдать вас замуж за кого-нибудь другого.

— Я ни за кого не выйду.

— Тогда, чего мы ждем?

Она снова в нерешительности помолчала.

— Я поговорю с миссис Озмонд, она нам поможет.

Так она чаще всего называла свою мачеху.

— Она не поможет нам. Она боится.

— Боится чего?

— Вашего отца, надо полагать.

Пэнси покачала головой.

— Она никого не ооится. Нам надо набраться терпения.

— Какое убийственное слово, — простонал с потерянным видом Розьер; забыв про все правила

благовоспитанности, он подпер обеими руками поникшую с какой-то меланхолической грацией голову и сидел, уставившись на ковер. Вскоре, однако, он ощутил, что вокруг него все пришло в движение, и, подняв глаза, увидел, как Пэнси присела в реверансе — это был все тот же ее милый монастырский реверанс — перед английским лордом, которого подвела к ней миссис Озмонд.

39

Вдумчивый читатель, вероятно, не удивится, узнав, что после замужества своей кузины, Ральф видел ее значительно реже, чем до сего события — события, воспринятого им таким образом, что это вряд ли могло способствовать установлению между ними большей близости. Ральф высказал, как мы знаем, все, что у него было на душе, и потом к этой теме не возвращался, ибо Изабелла не предлагала ему продолжить разговор, который составил в их отношениях эпоху и все изменил — изменил так, как Ральф и опасался, а не так, как втайне надеялся. Ничуть не охладив желания Изабеллы вступить в брак, разговор этот едва не погубил их дружбы. Они никогда больше ни словом не касались мнения Ральфа об Озмонде и, обходя эту тему нерушимым молчанием, умудрялись сохранять видимость взаимной откровенности. Тем не менее все изменилось, как часто говорил себе Ральф, увы, все изменилось. Изабелла не простила ему, она вовек ему не простит, — вот все, чего он добился.

Она верила, что простила, думала, что ничто не

может ее задеть, и поскольку кузина его была и очень великодушна, и очень горда, уверенность эта отчасти соответствовала истине. Но независимо от того, оправдаются ли его предсказания или нет, он все равно нанес ей обиду, причем из числа тех обид, что женщины помнят дольше всего. Став женой Озмонда, она никогда уже не сможет быть ему другом. Если в новой своей роли она обретет ожидаемое счастье, что же, как не презрение, будет испытывать она к тому, кто пытался заранее отравить столь дорогое ее сердцу блаженство? Если, напротив, предостережения Ральфа оправдаются, данный ею зарок, что он никогда об этом не узнает, будет тяготить ее душу, и Изабелла рано или поздно возненавидит своего кузена. Весь год после замужества Изабеллы таким беспросветным представлялось Ральфу будущее, и если мысли его покажутся читателю болезненно мрачными, то пусть он все же вспомнит, что Ральф не был во цвете здоровья и сил. Он утешал себя по мере возможности тем, что держался (как он полагал) великолепно и даже присутствовал на церемонии, соединившей Изабеллу с Озмондом, состоявшейся в июле месяце во Флоренции. Ральф знал от миссис Тачит, что кузина его собиралась сначала сочетаться браком

у себя на родине, но, так как она в первую очередь стремилась к наибольшей простоте, то, несмотря на очевидную готовность Озмонда совершить любое, самое далекое путешествие, в конце концов решила, что лучше всего осуществит свое стремление, если, недолго думая, обвенчается в ближайшей церкви у первого же священника. Посему все это произошло в очень жаркий день в маленькой американской церквушке, и присутствовали на бракосочетании только миссис Тачит, ее сын, Пэнси Озмонд и графиня Джемини. Обряд носил, как я только что упомянул, весьма скромный характер, что отчасти объяснялось отсутствием двух лиц, которых можно было бы надеяться там увидеть и которые, несомненно, придали бы происходящему большую пышность. Мадам Мерль была приглашена, но мадам Мерль, ввиду невозможности отлучиться из Рима, прислала в свое оправдание наилюбезнейшее письмо. Генриетта Стэкпол не была приглашена, так как по обстоятельствам служебного порядка ее отъезд из Америки, вопреки тому, что сообщил Изабелле Каспар Гудвуд, откладывался; Генриетта прислала письмо, менее любезное, чем мадам Мерль, где, между прочим, писала, что, если бы их не разделял океан, она присутствовала бы не

столько в качестве свидетельницы, сколько в качестве критика. Она возвратилась в Европу позднее и встретилась с Изабеллой уже осенью, в Париже, где, пожалуй, слишком уж дала волю своему критическому таланту. Бедный Озмонд, в которого главным образом были направлены ее стрелы, протестовал очень резко, и она вынуждена была заявить Изабелле, что предпринятый ею шаг воздвиг между ними преграду.

— Дело вовсе не в том, что ты вышла замуж, а в том, что вышла замуж за него, — сочла она своим долгом заметить, даже не подозревая, как близко сошлась на этот раз во мнении с Ральфом Тачитом, не испытывая, однако, в отличие от него ни сомнений, ни угрызений. Второй приезд Генриетты Стэкпол в Европу был, однако, судя по всему, не напрасен, ибо в тот момент, когда Озмонд заявил Изабелле, что, право же, он больше не в силах выносить эту газетчицу, а Изабелла ответила, что, на ее взгляд, он слишком строг к бедной Генриетте, ча сцене появился милейший мистер Бентлинг и предложил мисс Стэкпол прокатиться с ним в Испанию. Письма Генриетты из Испании оказались наиболее занимательными из всего ею до сих пор опубликованного, в особенности же одно — помеченное Альгамброй

и озаглавленное «Мавры и лавры», считавшееся впоследствии ее шедевром. Изабелла была втайне разочарована тем, что ее муж не встал на единственно правильный путь, т. е. не отнесся к бедняжке Генриетте как к чему-то смешному. Она даже подумала, а способен ли он вообще смеяться над смешным, способен ли чувствовать смешное, иными словами, уж не лишен ли он, чего доброго, чувства юмора? Сама она, разумеется, с высоты своего нынешнего счастья не видела причин быть в обиде на оскорбленную до глубины души Генриетту. Озмонду их дружба представлялась чем-то чудовищным; он отказывался понять, что у них может быть общего. По его мнению, партнерша мистера Бентлинга по путешествиям была просто самой вульгарной женщиной на свете, да еще и самой отпетой. Против последней статьи приговора Изабелла восстала так горячо, что Озмонд лишний раз подивился странным пристрастиям жены. Изабелла могла объяснить это только тем, что ей нравится сближаться с людьми совсем на нее непохожими. «Тогда почему бы вам не подружиться с вашей прачкой?» — спросил Озмонд, и Изабелла ответила, что прачке своей она вряд ли придется по душе, а Генриетте она по душе и даже очень.

Ральф не видел Изабеллу после ее замужества без малого два года; зиму, которая положила начало ее пребыванию в Риме, он провел в Сан-Ремо, где весной к нему присоединилась и миссис Тачит, отправившаяся с ним вслед затем в Англию посмотреть, как идут дела в банке, — подвигнуть на это сына ей так и не удалось. Ральф, который нанимал в Сан-Ремо небольшую виллу, провел там и следующую зиму, но на второй год весной приехал в конце апреля в Рим. Впервые после замужества Изабеллы он встретился с ней лицом к лицу; его желание видеть ее никогда еще не было таким неодолимым. Время от времени она писала ему, но в письмах ни словом не касалась того, что он хотел знать. Он спросил миссис Тачит, хорошо ли Изабелле живется, и та коротко ответила: должно быть, как нельзя лучше. Миссис Тачит не была наделена воображением, способным проникать в невидимое, и она не скрывала, что не близка теперь со своей племянницей и видится с ней редко. Изабелла вела, судя по всему, вполне достойный образ жизни, но миссис Тачит по-прежнему считала, что племянница вышла замуж глупейшим образом, и о ее доме думала без удовольствия, нисколько не сомневаясь, что там все идет вкривь и вкось.

Во Флоренции миссис Тачит, как ни старалась она этого избежать, приходилось иной раз сталкиваться с графиней Джемини и та, приводя ей на ум Озмонда, невольно наводила на мысль об Изабелле. О графине Джемини теперь ходило меньше сплетен, но миссис Тачит не усматривала тут ничего хорошего: это лишь показывало, сколько о ней ходило сплетен раньше. Более прямым напоминанием об Изабелле могла бы служить мадам Мерль, но отношения ее с мадам Мерль круто переменились. Тетушка Изабеллы заявила без обиняков этой даме, что она сыграла весьма неблаговидную роль, и мадам Мерль, которая никогда ни с кем не ссорилась, не считая, по-видимому, кого-либо этого достойным, которая умудрилась прожить немало лет, можно сказать, бок о бок с миссис Тачит, не проявляя ни малейших признаков раздражения — мадам Мерль встала вдруг в гордую позу и заявила, что не снизойдет до того, чтобы защищать себя от подобного обвинения. И тут же, однако, добавила (разумеется, не снисходя), что обвинить ее можно только в излишней наивности, ибо она верила тому, что видела, а видела она, что Изабелла вовсе не стремится выйти замуж за Озмонда, равно как Озмонд вовсе не стремится ей понра-

виться (его частые визиты ни о чем не говорили, просто он изнывал там у себя на холме от скуки и приходил в надежде развлечься). Изабелла же о своих чувствах помалкивала, а их совместное путешествие по Греции и Египту окончательно ввело ее спутницу в заблуждение. Мадам Мерль приняла вышеупомянутое событие, как свершившийся факт, в котором, между прочим, она не находит ничего скандального, говорить же, что она сыграла в нем какую бы то ни было роль, все равно, двусмысленную или недвусмысленную, значит пытаться ее очернить, а этого она не потерпит. Несомненно, вследствие такой позиции миссис Тачит и урона, нанесенного тем самым привычкам мадам Мерль, освященным многими беспечальными зимами, она предпочитала после этого проводить большую часть года в Англии, где ее доброе имя ничем не было опорочено. Миссис Тачит сделала ей несправедливый упрек; есть вещи, которые не прощают. Мадам Мерль, однако, страдала молча и держалась по своему обыкновению с изысканным достоинством.

Ральф Тачит хотел, как я уже сказал, увидеть все своими глазами, и он снова при этом почувствовал, какую совершил великую глупость, попытавшись предостеречь Изабеллу. Он сде-

лал неверный ход и проиграл. Теперь ему уже ничего не увидеть, ничего не узнать, при нем она всегда будет в маске. Насколько было бы разумнее с его стороны притвориться, будто он в восторге от ее выбора, чтобы потом, когда, по его выражению, все с треском провалится, она могла бы не без удовольствия бросить ему упрек в том, что он осел. Он с радостью согласился бы прослыть ослом, только бы узнать, как живется Изабелле на самом деле. Так или иначе, сейчас она не склонна была высмеивать его ошибочные предсказания, как не склонна была и делать вид, что ее собственная уверенность оправдалась, и если носила маску, то маска закрывала ее лицо полностью. Было что-то застывшее, заученное в нарисованной на ней безмятежности; нет, это не выражение, говорил себе Ральф, это изображение или даже вывеска. У нее умер ребенок; ее постигло горе, но она о нем почти не упоминала, горе было так глубоко, что Изабелла не могла поделиться им даже с Ральфом. К тому же оно принадлежало прошлому, это случилось полгода назад, и она была уже не в трауре. Судя по всему, она вела светскую жизнь, Ральф слышал, как о ней говорят, что ее положение в обществе «восхитительно». Он невольно уловил, что на нее

прежде всего смотрят с завистью, и даже знакомство с нею многими почитается за честь. Ее дом был открыт далеко не для всех; раз в неделю она устраивала приемы, на которые почти никого не приглашали. Изабелла жила в достаточной мере роскошно, но для того, чтобы оценить это, надо было принадлежать к ее кружку, ибо вы не обнаружили бы ничего такого в повседневном обиходе мистера и миссис Озмонд, чему можно подивиться, что можно осудить или от чего можно хотя бы прийти в восторг. Во всем этом Ральф угадывал руку мастера — он отлично знал, что Изабелла не способна заранее обдумать, как произвести наибольшее впечатление. Она поразила его желанием беспрерывно двигаться, веселиться, засиживаться допоздна, совершать далекие прогулки, доводить себя до изнеможения; она жаждала, чтобы ее занимали, чтобы ее развлекали, даже, если угодно, докучали ей, жаждала заводить знакомства, встречаться с людьми, чьи имена у всех на устах, разведывать окрестности Рима, выискивать наиболее замшелые обломки его одряхлевших родов. Во всем этом было гораздо меньше разборчивости, чем в прежнем ее стремлении к всестороннему совершенствованию, по поводу которого он так любил изощрять

свое остроумие. В иных ее порывах чувствовалась даже некая неистовость, в иных развлечениях некая безоглядность что было для Ральфа полной неожиданностью. Она как бы двигалась быстрее, говорила быстрее, дышала быстрее, чем до своего замужества; нет, безусловно, она грешила преувеличениями, — она, которая так любила чистую правду во всем! И если раньше Изабелла находила огромное удовольствие в благожелательном споре, в этой веселой умственной игре (о, как она бывала прелестна, когда в пылу сражения получала вдруг сокрушительный удар прямо в лоб и смахивала его, как пушинку), теперь она, очевидно, считала, что на свете не существует таких вещей, которые стоили бы согласия или разногласия. Раньше все возбуждало ее интерес, теперь все стало безразличным, но, несмотря на это безразличие, она была необыкновенно деятельна. Такая же стройная, как прежде, и как никогда пленительная, она не казалась на вид более зрелой; однако блеск и великолепие обрамления придали оттенок надменности ее красоте. Бедная, отзывчивая душой Изабелла, что на нее нашло? Ее легкие шаги увлекали за собой вороха материи, ее умная головка поддерживала величественный убор. Живая, непринужденная

девушка изменилась до неузнаваемости; Ральф видел перед собой изысканную даму, которая должна была, по-видимому, что-то изображать, представительствовать. Но от чьего лица представительствовала Изабелла? — спросил себя Ральф, и единственный ответ на этот вопрос гласил — от лица Гилберта Озмонда. «Бог мой, ну и обязанность!» — горестно воскликнул Ральф, потрясенный тем, сколько в этом мире непостижимого.

Ральф, как я уже сказал, угадывал руку Озмонда на каждом шагу. Это Озмонд держал все в рамках, это он все упорядочивал, предопределял, был вдохновителем их образа жизни. Озмонд оказался в своей стихии — наконец-то он получил материал, из которого мог творить. Он и всегда был большим охотником до эффектов, и они были у него очень точно рассчитаны. Он достигал их не какими-нибудь грубыми средствами: искусство его было столь же велико, сколь побуждения — низменны. Окружить свой домашний очаг вызывающим ореолом неприкосновенности, терзать общество, закрыв перед ним двери, внушать людям мысль, что дом его отличается от всех других, являть свету лицо, исполненное холодного сознания собственной оригинальности, — вот к

чему сводились искусные ухищрения сего господина, которому Изабелла приписала высоту души и благородство! «Он творит из благородного материала, — говорил себе Ральф, — это несметное богатство по сравнению с прежней его скудостью средств». Ральф был умен, но никогда еще он — в своих собственных глазах — не был так умен, как заметив, in petto,[150] что, выдавая себя за человека, для которого существуют лишь духовные ценности, Озмонд живет исключительно для общества. Но не в качестве его властелина — это он только воображал, а всего лишь в качестве его покорного слуги: степень внимания общества являлась для Озмонда единственным мерилом успеха. Он просто день и ночь не сводил с него глаз, а общество по глупости своей не догадывалось, что его морочат. Все, что делал Озмонд, всегда было pose,[151] продуманной до такой тонкости, что, если не держать ухо востро, ничего не стоило принять ее за естественное движение души. Ральф не встречал еще человека, у которого каждый жест отличался бы такой продуманностью. Его вкусы, занятия, достоинства, коллекции

---

[150] Примечания: 150
здесь — мысленно (ит.).

[151] Примечания: 151
позой *(фр.).*

— все было заранее расчислено. Отшельническая жизнь на холме во Флоренции так же была не более чем многолетней преднамеренной позой. Уединенное существование, скучающий вид, любовь к дочери, учтивость, неучтивость — все это составляло разные грани образа, который как некий идеал заносчивости и загадочности постоянно присутствовал в его мыслях. Однако целью Озмонда было не столько угодить обществу, сколько, возбудив любопытство и отказавшись его удовлетворить, таким образом угодить себе. Он вырастал в собственных глазах оттого, что ему так неизменно удавалось всех морочить. Но раз в жизни он угодил себе и более непосредственно — тем, что женился на мисс Арчер, хотя, пожалуй, и в этом случае бедняжка Изабелла, которую ему удалось заинтриговать сверх всякой меры, воплощала для него все то же легковерное общество. Ральф, конечно, не мог не быть последовательным: он исповедывал определенные убеждения, пострадал за них и почел бы недостойным себя от них отречься, мое же дело, бегло пересказав их по пунктам, отдать на ваш суд. Несомненно одно — Ральф очень умело подгонял к своей теории все факты, в том числе и тот, что в течение месяца, проведенного им тогда в Риме, муж женщины,

которую он любил, отнюдь не смотрел на него как на своего врага.

В глазах Гилберта Озмонда Ральф утратил это свое значение, не значился он у него и в друзьях, скорее всего, в глазах Озмонда он теперь ровным счетом ничего не значил. Он был кузен Изабеллы, который к тому же пренеприятно болен, — соответственно Озмонд и обходился с ним. Он задавал ему приличествующие вопросы, справлялся о его здоровье, о миссис Тачит, о том, где в зимнее время наиболее благоприятный климат и удобно ли Ральфу в гостинице. В тех редких случаях, когда они встречались, Озмонд не обращался к нему ни с единым лишним словом, хоть и держался с отменной вежливостью, как, впрочем, и пристало заведомо удачливому человеку держаться с заведомым неудачником Несмотря на все это, Ральф отчетливо понял под конец: Изабелле очень и очень несладко приходится из-за того, что она продолжает принимать мистера Тачита, Озмонд не ревновал, — у него не было этого оправдания, да и кто стал бы ревновать к Ральфу. Но он заставлял Изабеллу расплачиваться за ее былую доброту, которая и теперь далеко еще не иссякла; Ральф не подозревал вначале, что ей приходится так дорого платить, но едва эта мысль у него яви-

лась, он тут же убрался с глаз. И таким образом лишил Изабеллу весьма интересного занятия: она не переставала недоумевать, какая сила удерживает Ральфа в живых. В конце концов она решила, что это — его пристрастие к беседе, ибо в беседах Ральф блистал, как никогда. Он отказался от своего обыкновения ходить и не был уже ходячим насмешником. Весь день он сидел в кресле — чаще всего в первом попавшемся на его пути — и так зависел от окружающих, что если бы каждое его слово не свидетельствовало о глубокой проницательности, ничего не стоило бы принять его за слепого. Читателю, знающему уже больше о нем, чем когда-либо будет знать Изабелла, можно вручить ключ к пониманию и этой тайны. Ральфа удерживало в живых одно: он еще не досыта нагляделся на ту, что так много значила для него в этом мире, он не был удовлетворен. Столько еще было впереди, как же он мог себя этого лишить? Ему хотелось знать, она ли возьмет верх над своим мужем или он над ней. Шел только первый акт драмы, и Ральф решил досидеть на этом представлении до конца. Решение его было так твердо, что помогло ему продержаться почти полтора года, до самого его возвращения с лордом Уорбертоном в Рим. Именно благодаря этому ре-

шению вид у Ральфа был такой, будто он намерен жить вечно, поэтому миссис Тачит, которая больше чем когда-либо терялась в догадках по поводу своего ущербного — да и ей в ущерб — сына, не побоялась отправиться за океан. Если Ральфа удерживала в живых неизвестность, то и Изабелла испытывала весьма похожее чувство, — ей не терпелось знать, в каком он состоянии, когда на следующий день после того, как лорд Уорбертон сообщил о приезде ее кузена в Рим, поднималась в апартаменты Ральфа.

Она пробыла у него не меньше часа; за первым визитом последовали и другие. Гилберт Озмонд в свою очередь исправно его навещал, а когда за Ральфом присылали карету, он и сам отправлялся в палаццо Роккане-ра. Так прошло две недели; по истечении этого срока Ральф объявил лорду Уорбертону, что в общем-то он раздумал ехать в Сицилию. Они вместе обедали, лорд Уорбертон, проведя весь день в Кампании, незадолго до того возвратился. Друзья только что поднялись из-за стола, и лорд Уорбертон, стоя перед камином, закуривал сигару, которую тут же вынул изо рта.

— Раздумали ехать в Сицилию? Куда же вы тогда поедете?

— Скорее всего, никуда, — отозвался с дивана,

ни мало не смущаясь, Ральф.

— Вы хотите вернуться в Англию?

— Ни за какие блага. Я хочу остаться в Риме.

— Климат Рима вреден для вас. Здесь слишком холодно.

— Придется ему сделаться полезным. Я сделаю его полезным. Видите, как хорошо я себя здесь чувствую.

Лорд Уорбертон несколько секунд молча курил, глядя на Ральфа так, будто старался это увидеть.

— Чувствуете вы себя, безусловно, лучше, чем во время нашего путешествия. До сих пор не понимаю, как вы его выдержали. И все-таки я не уверен в состоянии вашего здоровья. На вашем месте я все же попытал бы счастья в Сицилии.

— Рад бы, да не могу, — сказал бедный Ральф. — Со всеми попытками покончено. Я не могу двинуться дальше. Просто подумать не могу о путешествии. Представьте себе меня между Сциллой и Харибдой.[152] Я не желаю умереть на сицилийских равнинах, чтобы и меня, как Прозерпину, — ведь именно там с ней это и

---

[152] Примечания: 152

...между Сциллой и Харибдой... — иносказательное выражение, означающее «подвергаться опасности с двух сторон одновременно» (По греческому мифу, Сцилла — чудовище, обитающее по одну сторону пролива между Италией и Сицилией, Харибда — чудовище, обитающее по другую его сторону).

приключилось — Плутон утащил в царство теней.[153]

— Тогда какая нелегкая принесла вас сюда? — спросил его светлость.

— Просто мне показалось это вдруг заманчивым, а теперь я вижу, что из моей затеи ничего не выйдет. Впрочем, там я или тут, дела не меняет. Я испробовал все средства, заглотал все климаты. И раз уж я оказался здесь, здесь я и останусь. Ведь у меня в Сицилии нет кузин, ни одной-одинешенькой, уже не говоря о замужних.

— Ваша кузина, конечно, серьезный довод. А что говорит врач?

— Я его не спрашивал, это все вздор. Если я здесь умру, миссис Тачит меня похоронит. Но я не умру здесь.

— Надеюсь, что нет, — сказал лорд Уорбертон, продолжая задумчиво курить. — Что ж, — добавил он вскоре, — признаться, я рад, что вы не настаиваете на Сицилии. Я с ужасом думал об этом путешествии.

— Но о вас во всех случаях и разговору не было

---

[153] Примечания: 153

Согласно античному мифу римская богиня земного плодородия Прозерпина (греч. Персефона) была похищена владыкой подземного царства Плутоном (греч. Аидом), который заточил ее в преисподней, сделав своей женой.

бы. Я не собирался тащить вас с собой в своем кортеже.

— Разумеется, я не отпустил бы вас одного.

— Мой дорогой Уорбертон, я никогда не предполагал, что вы последуете за мной и дальше! — воскликнул Ральф.

— Я поехал бы только затем, чтобы посмотреть, как вы там устроитесь, — сказал лорд Уорбертон.

— Вы истинный христианин. И поистине добрый человек.

— Потом я возвратился бы сюда.

— А потом отправились бы в Англию?

— Нет, нет, я бы задержался здесь.

— Что ж, — сказал Ральф, — коль скоро у нас С вами одно на уме, тогда причем тут Сицилия?

Собеседник Ральфа сидел некоторое время молча и смотрел на огонь. Наконец он поднял глаза.

— Послушайте, — воскликнул он вдруг негодующе, — вы, что же, с самого начала не собирались в Сицилию?

— Ну, vous m'en demandez trop![154] Позвольте, сперва спрошу у вас я: а вы проделали со мной это путешествие вполне… вполне платонически?

— Не понимаю, что вы имеете в виду. Мне захо-

---

[154] Примечания: 154
нельзя ли задать вопрос полегче! *(фр.).*

телось прокатиться заграницу.

— Подозреваю, мы оба пустились в путь не без задней мысли.

— Ко мне это не относится, я не скрывал своего желания на некоторое время здесь задержаться.

— Да, помнится, вы говорили, что хотите повидать министра иностранных дел.

— Я с ним уже три раза виделся. Чрезвычайно занятный человек.

— Мне кажется, вы забыли, зачем вы приехали, — сказал Ральф.

— Очень возможно, — ответил вполне серьезно его собеседник.

Оба джентльмена принадлежали к той расе, которую, как известно, нельзя упрекнуть в отсутствии сдержанности, и за всю дорогу от Лондона до Рима они старательно умалчивали о том, что больше всего занимало их мысли. Существовала некая тема, которая не была когда-то запретной, но потом утратила свое законное право на их внимание, и даже после того, как они оказались в Риме, где многое их к этой теме возвращало, они продолжали все так же хранить свое застенчиво-беззастенчивое молчание.

— Советую вам во всех случаях получить разрешение врача, — сказал наконец после затя-

нувшейся паузы лорд Уорбертон.

— Разрешение врача все испортит. При малейшей возможности я обхожусь без него.

— А что думает об этом миссис Озмонд? — спросил Ральфа его друг.

— Я еще не говорил ей. Вероятно, она скажет, что в Риме слишком холодно и даже предложит поехать со мной в Катанию. Она на это способна.

— . На вашем месте я был бы доволен.

— Ее муж будет недоволен.

— Могу себе представить, но вы ведь не обязаны заботиться о его удовольствиях. Это его дело.

— Но я не хочу внести между ними еще больший разлад, — сказал Ральф.

— Вы думаете, он и без того велик?

— Во всяком случае почва для него подготовлена. Если Изабелла поедет со мной, последует взрыв. Озмонд не слишком-то жалует кузена своей жены.

— Он, конечно, встанет на дыбы. Но не произойдет ли взрыв и в том случае, если вы застрянете здесь?

— Вот это я и хочу узнать. В прошлый раз, когда я был в Риме, он встал на дыбы, и тогда я счел своим долгом удалиться. Теперь я считаю своим долгом остаться и оборонять ее.

— Мой дорогой Тачит, уж ваши-то оборонительные способности!.. — начал было с улыбкой лорд Уорбертон, но, увидев что-то в лице Ральфа, осекся и вместо этого произнес: — Ну, вопрос о том, в чем состоит ваш долг в сих владениях, представляется мне весьма и весьма сомнительным.

Ральф помолчал.

— Не спорю, мои оборонительные способности ничтожны, — ответил он наконец, — но поскольку мои наступательные еще более ничтожны, быть может, Озмонд все же решил, что на меня не стоит тратить пороху. Как бы то ни было, — добавил он, — мне любопытно знать, что будет дальше.

— Стало быть, вы жертвуете здоровьем, чтобы удовлетворить свое любопытство?

— Меня не очень-то интересует мое здоровье, а миссис Озмонд интересует чрезвычайно.

— Меня тоже. Но иначе, нежели раньше, — быстро добавил лорд Уорбертон, которому впервые к слову пришлось сказать то, о чем они до сих пор умалчивали.

— Как по-вашему, она счастлива? — осмелев после этого признания, спросил Ральф.

— Право, не знаю. Я об этом как-то не думал. На днях она сказала мне, что счастлива.

— Еще бы ей не сказать этого *вам!* — воскликнул, улыбаясь, Ральф.

— Ну, не знаю. По-моему, как раз мне она могла бы и пожаловаться.

— Пожаловаться? Она ни за что не станет жаловаться. Она сделала шаг… который *сделала*… и она это знает. Вы последний человек, кому она станет жаловаться. Она очень осторожна.

— И напрасно. Я не собираюсь снова за ней ухаживать.

— Счастлив это слышать. Насчет того, в чем состоит *ваш* долг, во всяком случае, сомнений нет.

— Нет, — сказал лорд Уорбертон. — Ни малейших.

— Позвольте задать вам еще один вопрос, — продолжал Ральф. — Не с целью ли довести до ее сведения, что не собираетесь за ней ухаживать, вы так любезны с этой малюткой?

Лорд Уорбертон чуть заметно вздрогнул. Поднявшись с места, он стоял и не отрываясь смотрел на огонь.

— Вам кажется это смешным?

— Смешным? Нисколько — если она в самом деле вам нравится.

— Она необыкновенно мила. Не помню, чтобы девушка ее возраста была мне когда-нибудь так

по душе.

— Она очаровательное создание. И по крайней мере то, за что себя выдает.

— Конечно, разница в возрасте велика… больше двадцати лет.

— Мой дорогой Уорбертон, — сказал Ральф, — вы это серьезно?

— Вполне… насколько я могу быть серьезным.

— Я очень рад. Господи! — воскликнул Ральф. — Как старина-то Озмонд возликует.

Собеседник Ральфа нахмурился.

— Послушайте, не отравляйте мне всего. Я собираюсь сделать предложение дочери не для того, чтобы обрадовать сего господина.

— А он на зло вам все равно обрадуется.

— Я не настолько ему по вкусу, — сказал лорд Уорбертон.

— Не настолько? Вся невыгода вашего положения, мой дорогой Уорбертон, заключается в том, что вы можете и вовсе быть не по вкусу, но это не помешает людям жаждать с вами породниться. Вот мне в подобном случае можно было бы пребывать в блаженной уверенности, что любят меня самого.

Но лорд Уорбертон, очевидно, не расположен был в настоящую минуту отдавать должное об-

щеизвестным истинам, он занят был какими-то своими мыслями.

— Как вы думаете, она обрадуется?

— Сама девушка? Еще бы, она будет в восторге.

— Нет, нет, я говорю о миссис Озмонд.

Ральф пристально посмотрел на него.

— Она-то какое к этому имеет отношение, мой друг?

— Самое прямое. Она очень привязана к Пэнси.

— Ваша правда… ваша правда. — Ральф с трудом поднялся. — Интересно… как далеко заведет ее привязанность к Пэнси. — Несколько секунд он стоял с помрачневшим лицом, засунув руки в карманы. — Надеюсь, вы, как говорится, вполне… вполне уверены… а черт! — оборвал он себя. — Не знаю, как и сказать это.

— Ну, кто-кто, а вы всегда знаете, как сказать все на свете.

— Да вот, язык не поворачивается. В общем, надеюсь, вы уверены, что из всех достоинств Пэнси то, что она… она… падчерица миссис Озмонд, не самое главное?

— Боже правый, Тачит! — гневно вскричал лорд Уорбертон. — Хорошего же вы обо мне мнения!

40

Изабелла после своего замужества почти не виделась с мадам Мерль, так как эта дама подолгу отсутствовала из Рима. Раз она пробыла шесть месяцев в Англии, другой — чуть ли не всю зиму в Париже. Она без конца наносила визиты своим далеким друзьям, заставляя тем самым предположить, что впредь будет не столь верна Риму, как это было прежде. Поскольку ее прежняя верность сводилась главным образом к тому, что она нанимала квартирку в одном из самых солнечных уголков на Пинчо — квартирку, которая, как правило, пустовала, — это едва ли не наводило на мысль о постоянном отсутствии, и Изабелла склонна была одно время очень по сему поводу сокрушаться. При близком знакомстве ее первое впечатление от мадам Мерль отчасти утратило свою силу, но в сущности не изменилось: оно все так же содержало в себе немало восторженного изумления. Мадам Мерль всегда была во всеоружии, невозможно было не восхищаться особой, столь полно экипированной для светских битв. Знамя свое она несла с большой

осторожностью, зато оружием ей служила отточенная сталь, и пользовалась она им с таким умением, что Изабелле все чаще виделся в ней испытанный воин. Мадам Мерль никогда не поддавалась унынию, никогда не преисполнялась отвращением, казалось, она не нуждается ни в утешении, ни в отдыхе. У нее были свои представления о жизни, когда-то она охотно посвящала в них Изабеллу, знавшую, между прочим, и то, что за величайшим внешним самообладанием у ее наделенной столькими совершенствами приятельницы скрывается способность сильно чувствовать. Но мадам Мерль все подчинила воле: была своего рода доблесть в том, как стойко она держалась, точно ей удалось разгадать секрет, точно искусство жить — не более чем ловкий трюк, которым она овладела. Сама Изабелла, по мере того как шли годы, познала и разочарование и отвращение; бывали дни, когда ей казалось, что в мире все черным-черно, и она с достаточной беспощадностью спрашивала себя: а собственно говоря, чего ради она продолжает жить? Раньше ею двигало воодушевление, она жила, то и дело загораясь мыслью о внезапно открывающихся возможностях, надеждой на предстоящее. Ей так привычно было в ее юные годы переходить от

одного порыва восторга к другому, что между ними почти не оставалось скучных пробелов Но мадам Мерль подавила воодушевление, она уже не загоралась ничем — жила только благоразумием, только рассудком. Бывали минуты, когда Изабелла многое отдала бы за несколько уроков подобного искусства; окажись тогда ее блистательная приятельница поблизости, она непременно бы к ней воззвала. Изабелла лучше, чем когда-либо раньше, понимала, как выгодно быть такой, как важно обрести неуязвимую поверхность, подобную серебряным латам.

Но я уже сказал, что лишь нынешней зимой, после того как недавно мы снова возобновили знакомство с нашей героиней, вышеупомянутая дама опять задержалась в Риме на долгий срок. Изабелла виделась с ней сейчас чаще, чем во все предыдущие годы замужества, однако стремления и нужды нашей героини претерпели к этому времени глубокие изменения. Она уже не стала бы теперь обращаться за наставлениями к мадам Мерль; у нее пропала всякая охота перенять ловкий трюк у этой дамы. Если ей суждены невзгоды, она должна справляться с ними сама, и, если жизнь трудна, Изабелла не облегчит ее себе, расписавшись перед кем-то в своем поражении.

Мадам Мерль, несомненно, была очень полезна самой себе, была украшением любого общества, но могла ли она — желала ли она быть полезной другим в минуты их душевных затруднений? Не лучший ли способ почерпнуть кое-что у блистательной приятельницы — право же, Изабелла и раньше так думала — попытаться ей подражать, сделаться столь же блестящей и неуязвимой, как она. Мадам Мерль не признавала никаких затруднений, и, глядя на нее, Изабелла едва ли не в сотый раз решила отмахнуться от своих. И еще ей казалось, после того как их, в сущности, прерванное общение возобновилось, что прежняя ее союзница изменилась или, вернее говоря, отстранилась, доведя до крайности свои совершенно необоснованные опасения — допустить неосторожность. Ральф Тачит был, как известно, того мнения, что мадам Мерль склонна преувеличивать, излишне усердствовать или, попросту говоря, хватать через край. Изабелла никогда с этим обвинением не соглашалась, даже не понимала толком, о чем идет речь; на ее взгляд, поведение мадам Мерль всегда было отмечено печатью хорошего вкуса, всегда было «выдержанным». Но на сей раз Изабелле впервые пришло наконец в голову, что в своем нежелании

вмешиваться в семейную жизнь Озмондов мадам Мерль, и правда, слегка «хватает через край». Это уже отнюдь не было в наилучшем вкусе, а явно грешило неумеренностью. Она слишком все время помнила, что Изабелла замужем, что теперь у нее другие интересы и что она, мадам Мерль, хотя и знает Гилберта Озмонда и крошку Пэнси очень хорошо, чуть ли не дольше, чем все остальные, тем не менее не принадлежит к их тесному кругу. Она постоянно была настороже: не заговаривала никогда об их делах до тех пор, пока ее об этом не просили или, точнее, пока ее к этому не вынуждали, что и происходило в тех случаях, когда желали слышать ее мнение… Она жила в вечном страхе — а вдруг покажется, будто она сует нос в чужие дела. Мадам Мерль, насколько мы могли в этом убедиться, отличалась прямотой, и однажды она прямо высказала свои страхи Изабелле.

— Я *должна* быть настороже, — сказала она. — Я могу очень легко, сама того не подозревая, задеть вас, и вы будете правы, почувствовав себя задетой, сколь бы ни были мои побуждения чисты. Я не должна забывать, что знаю вашего мужа намного дольше, чем вы, и не должна допускать, чтобы это меня подвело. Будь вы неумной жен-

щиной, вы стали бы ревновать ко мне. Но вы умны, я прекрасно это знаю. Но ведь и я умна, поэтому я твердо решила не навлекать на себя недовольство. Ничего не стоит сделать промах; не успеешь оглянуться, а ошибка уже совершена. Конечно, если бы мне хотелось затеять роман с вашим мужем, в моем распоряжении было для этого целых десять лет и никаких преград на пути, так что едва ли я предприму это сейчас, когда далеко уже не так привлекательна. Однако, если мне случится досадить вам тем, что якобы я посягаю на место, которое принадлежит не мне, вряд ли вы пуститесь в подобные рассуждения, нет, вы просто скажите, что я забылась. Так вот, я твердо решила не забываться. Разумеется, добрые друзья не всегда об этом думают: нехорошо подозревать своих друзей в несправедливости, и я ни в чем не подозреваю вас, моя дорогая, но я подозреваю человеческую натуру. И не считайте, что я зря создаю неудобства, да и потом, не всегда же я слежу за каждым своим словом. По-моему, своим разговором с вами я достаточно это сейчас доказала. В общем, я хочу сказать одно; если бы вам вздумалось ревновать ко мне, — а это приняло бы именно такую форму — я сочла бы, что в этом есть доля моей вины. Но никак не вашего мужа.

У Изабеллы было три года, чтобы обдумать слова миссис Тачит, будто брак Гилберта Озмонда — дело рук мадам Мерль. Мы знаем, как Изабелла восприняла это утверждение. Даже если брак Гилбе" рта Озмонда и дело рук мадам Мерль, уж брак Изабеллы Арчер, во всяком случае, не ее рук дело. А дело… но Изабелла и сама не знала, какие силы тут участвовали: природа, провидение, случай — словом, все извечно непостижимое. Тетушка Изабеллы сетовала ведь не столько на действия мадам Мерль, сколько на ее двуличность, на то, что, будучи виновницей сего удивительного события, она отказалась признать свою вину. Вина ее, по мнению Изабеллы, была не слишком велика. Она не видела большого греха в том, что мадам Мерль положила начало самой глубокой ее сердечной приязни. Так думала Изабелла незадолго до своего замужества, вскоре после легкой стычки с тетушкой, в ту пору, когда способна была еще рассуждать пространно и непредубежденно, на манер философствующего историка, о скудных событиях своей юной жизни. Если мадам Мерль возымела вдруг желание видеть ее замужней дамой, Изабелла могла только сказать, что ей пришла в голову счастливая мысль. Тем более что с ней мадам Мерль нисколько не кри-

вила душой, она вовсе не скрывала, как высоко ставит Гилберта Озмонда. После того как Изабелла вступила в брак, она обнаружила, что муж ее менее на этот счет благорасположен. Перебирая в разговоре, как четки, круг их знакомых, он редко прикасался к этой самой гладкой, самой крупной жемчужине.

— Разве вам не нравится мадам Мерль? — спросила его как-то Изабелла. — А она очень высокого о вас мнения.

— Я отвечу вам раз и навсегда, — сказал Озмонд. — Когда-то она нравилась мне больше, чем сейчас. Но я устал от нее и стыжусь этого. Она слишком, она почти неправдоподобно добра. Я рад, что она не в Италии, это сулит некоторую передышку, своего рода нравственное detente.[155] Не будем много говорить о ней, это как бы возвращает ее. Она и без того возвратится, дайте срок.

Мадам Мерль в самом деле возвратилась прежде, чем стало слишком поздно, я имею в виду слишком поздно для того, чтобы снова обрести все преимущества, какие она могла бы в противном случае утратить. Но если она, как я уже сказал, заметно изменилась, то и чувства Изабеллы были

---

[155] Примечания: 155
Ослабление напряженности *(фр.).*

далеко не прежние. Ее ощущение происходящего сохранило всю свою остроту, только в нем появилась еще большая неудовлетворенность. Ну а, как известно, человеческой душе не надо искать причин для неудовлетворенности, — в чем, в чем, а в причинах у нее недостатка нет, они растут кругом, как лютики в июне. То обстоятельство, что мадам Мерль приложила руку к женитьбе Гилберта Озмонда, уже не ставилось ей в заслугу, пришло, пожалуй, время и написать, что благодарить ее особо было не за что. И чем дальше, тем поводов для благодарности становилось меньше, и однажды Изабелла сказала себе, что, если бы не мадам Мерль, всего этого, возможно, и не случилось бы. Она, правда, тут же задушила в себе эту мысль, ужаснувшись, как ей это могло прийти в голову: «Нет, что бы меня в дальнейшем ни ожидало, я должна быть справедливой, — повторяла она, — должна сама нести свои тяготы, не сваливать на других». Это ее умонастроение в конце концов подверглось серьезному испытанию, когда мадам Мерль сочла нужным столь хитроумно, как я сейчас вам это изобразил, оправдывать свое нынешнее поведение, ибо в четкости ее разграничений, в ясности ее рассуждений было что-то раздражающее, чуть ли не какой-то

оттенок издевки. У самой Изабеллы было очень смутно на душе: одни лишь путаные сожаления да нагромождение страхов. Отвернувшись от своей приятельницы после того, как та произнесла все вышесказанное, Изабелла почувствовала себя совершенно потерянной; знала бы мадам Мерль, о чем она думает! Но вряд ли она и способна была бы это объяснить. Ревновать к ней — ревновать к ней Гилберта? Мысль эта в настоящую минуту представлялась Изабелле невероятной. Она едва ли не готова была пожалеть, что о ревности нет и речи; наверное, ревность подействовала бы в некотором роде живительно. Разве не являлось это чувство в некотором роде признаком счастья? Мадам Мерль, однако, была умна настолько, что смело могла бы утверждать: она знает Изабеллу лучше, чем сама Изабелла. Наша героиня и всегда была преисполнена всевозможных намерений — намерений, как правило, очень возвышенного толка, — но никогда еще не цвели они в тайниках ее души так пышно, как нынче. Спору нет, у них имелось фамильное сходство, и сводились они все, главным образом, к твердому решению, что, если ей суждено быть несчастной, пусть это будет не по ее вине. Ее бедная крылатая душа, вечно жаждавшая оказаться на высоте, пока еще

по-настоящему не отчаялась. Оттого Изабелла и стремилась не отступать от справедливости, не вознаграждать себя мелкой местью. Отнести на счет мадам Мерль свое разочарование было бы мелкой местью, неспособной еще к тому же доставить истинное удовлетворение, ибо питала бы в ней лишь горечь, но не ослабила бы ее пут. Ну, могла ли Изабелла делать перед собой вид, будто шла на это не с открытыми глазами? Да ни одна девушка не располагала в такой степени свободой, как она. Правда, влюбленная девушка всегда несвободна, но ведь причина ее ошибки кроется не в ком ином, как в ней самой. Никто не злоумышлял против нее, не расставлял ей ловушки, она смотрела и думала, и выбирала. Если женщина сделала подобную ошибку, у нее есть только одна возможность ее поправить — всецело (о, со всем душевным величием!) примириться с ней. Довольно и одного безумного шага, да еще такого, что совершается на всю жизнь, второй — вряд ли поможет делу. В этом молчаливом зароке было немало благородства, что и давало Изабелле силы держаться, но при всем том мадам Мерль была права, приняв свои меры предосторожности.

Как-то раз — к этому времени Ральф уже около месяца жил в Риме — Изабелла возвратилась

домой после прогулки с Пэнси. Не только потому, что Изабелла твердо решила во всем следовать справедливости, была она сейчас так благодарна судьбе за Пэнси, но и потому, что всегда испытывала нежность ко всему чистому и слабому. Пэнси пришлась ей по сердцу, да и что еще в ее жизни отличалось такой безусловностью, как привязанность к ней этого юного существа, и такой сладостной ясностью, как ее собственная в этом вопросе уверенность. На нее это действовало, как бальзам, как вложенная в руку детская ручонка; со стороны Пэнси тут, помимо любви, была и своего рода горячая слепая вера. Если же говорить о ней самой, то, помимо радости, которую доставляло ей доверие девочки, оно являлось еще и неоспоримым доводом, когда казалось, что все остальные доводы уже исчерпаны. Изабелла говорила себе: нечего привередничать, надо выполнять свой долг, это единственное, к чему мы должны стремиться. Привязанность Пэнси служила прямым указанием, как бы говорила: вот и благоприятная возможность, пусть и не из ряда вон выходящая, зато бесспорная. Правда, Изабелла затруднилась бы сказать, в чем состоит эта благоприятная возможность, скорее всего, быть для девочки большим, чем она способна

быть для себя. Изабелла лишь улыбнулась бы сейчас, если бы вспомнила, что ее маленькая подопечная возбуждала в ней когда-то сомнения, — теперь она прекрасно знала, что сомнения ее проистекали от грубого несовершенства собственного зрения. Она просто поверить не могла, что можно так сильно — до такой невероятной степени — стремиться угодить. Но впоследствии ей дано было постоянно наблюдать проявление этого деликатного душевного свойства, и теперь она знала наверное, что о нем думать. В нем сказалась вся Пэнси, это был своего рода дар, и его развитию ничто не препятствовало, поскольку Пэнси лишена была гордости, и хоть одерживала все больше и больше побед, не ставила их себе в заслугу. Миссис Озмонд редко видели без ее падчерицы, они всюду появлялись вместе. Изабелле приятно было общество Пэнси, как приятен нам подчас букетик, составленный из одних и тех же цветов. А кроме того, не забрасывать Пэнси, ни при каких обстоятельствах не забрасывать Пэнси — это правило Изабелла возвела теперь в свой священный долг. И Пэнси, судя по всему, чувствовала себя с нею счастливее, чем с кем бы то ни было, не считая отца, который не случайно являлся кумиром девочки: Гилберт Озмонд,

получавший от своего отцовства утонченное удовольствие, был безмерно снисходителен к дочери. Изабелла знала, до какой степени Пэнси дорожит ее обществом и как старается ей угодить. В конце концов Пэнси пришла к выводу, что наилучший способ угодить Изабелле — не стараться ничем угодить, а просто не причинять огорчений; разумеется, это не распространялось на огорчения, существующие независимо от нее. Поэтому Пэнси была самым изобретательным образом бездеятельна и чуть ли не изощренно послушна; соглашаясь на предложения Изабеллы, она так тщательно умеряла свой восторг, что вообще становилось неясно, довольна ли она. Пэнси никогда не перебивала, не задавала праздных вопросов и, хотя для нее не было большего счастья, чем снискать одобрение, — вплоть до того, что когда ее хвалили, она бледнела, — никогда не напрашивалась на похвалы. Она просто с мечтательным видом ждала, и глаза ее благодаря этому выражению стали с годами совершенно прелестны. Когда во вторую зиму их пребывания в палаццо Рокканера Пэнси начала выезжать в свет, посещать балы, она, чтобы не утомлять миссис Озмонд поздним бдением, всегда первая предлагала ехать домой. Изабелла ценила эту

жертву: она знала, как нелегко отказываться от последних танцев ее молоденькой спутнице, которая обожала это занятие и выделывала па под музыку не хуже, чем какая-нибудь прилежная фея. Тем более что, на взгляд Пэнси, светская жизнь не имела недостатков, ей нравились даже наиболее докучные ее стороны: духота бальных залов, скука обедов, толчея при разъезде, томительное ожидание кареты. Днем в этом самом экипаже Пэнси обычно сидела рядом со своей мачехой, неподвижная, в скромно-признательной позе; чуть наклонившись вперед, она слегка улыбалась, как будто ее первый раз в жизни взяли кататься.

В тот день, о котором идет речь, они выехали за городские ворота, потом полчаса спустя вышли из кареты и, оставив ее дожидаться на обочине, сами направились в сторону по невысокой траве Кампании, усеянной даже в зимние месяцы мелкими изящными цветочками. Пешие прогулки сделались чуть ли не повседневной привычкой Изабеллы, впрочем, она всегда любила ходить и ходила легким стремительным шагом правда, теперь уже не столь стремительным, как в те далекие времена, когда только приехала в Европу. Нельзя сказать, чтобы и Пэнси была охотницей до

ходьбы, но, все равно, ей нравилось это занятие, как нравилось вообще все на свете. Она семенила рядом с женой своего отца, которая затем на обратном пути, отдавая дань вкусам падчерицы, проезжала с ней круг по саду Пинчо или по парку виллы Боргезе. Нарвав в одной из солнечных ложбинок, вдали от стен Рима, немного цветов, Изабелла, как только они добрались до палаццо Рокканера, направилась прямо к себе, чтобы поставить их сразу в воду. Она переступила порог гостиной, той, в которой обычно проводила дни, второй по счету от огромной передней, куда вела лестница и где, несмотря на все ухищрения Гилберта Озмонда, продолжала царить величественная нагота. Переступив, как я уже сказал, порог, Изабелла внезапно остановилась. Произошло это в результате некоего впечатления, хотя, строго говоря, в нем не было ничего необычного, просто Изабелла по-новому все восприняла, а так как ступала она беззвучно, это позволило ей разглядеть представившуюся глазам сцену прежде, чем она ее прервала. Она увидела не снявшую шляпу мадам Мерль и беседующего с ней о чем-то Гилберта Озмонда; с минуту они не знали, что она вошла. Конечно, Изабелла видела это много раз и раньше, но чего она еще ни разу не видела или,

чего, во всяком случае, не замечала, было то, что беседа их перешла в непринужденное молчание, которое, как Изабелла мгновенно поняла, она неминуемо своим появлением нарушит. Мадам Мерль стояла на коврике возле камина; Гилберт Озмонд сидел, откинувшись в глубоком кресле, и смотрел на нее. Голову она держала, как и всегда, прямо, но взгляд свой склонила к нему. Изабеллу прежде всего поразило, что он сидит, в то время как она стоит; это было такое нарушение всех правил, что Изабелла буквально застыла на месте. Потом она поняла, что в ходе разговора у них, очевидно, возникло неожиданное затруднение, и они задумались, глядя друг на друга со свободой старых друзей, которые могут обмениваться мнениями и без помощи слов. Казалось бы, это не должно было ее потрясти, они ведь и в самом деле были старые друзья. Однако все вместе сложилось в некую картину, мелькнувшую лишь на мгновение, подобно внезапной вспышке света. Их позы, их поглощенные одним и тем же слившиеся взгляды поразили Изабеллу так, будто она что-то подсмотрела. Но едва она успела это разглядеть, как все разом исчезло. Мадам Мерль заметила ее и, не двигаясь с места, поздоровалась; муж ее, напротив, сразу вскочил и, пробормотав

что-то о своем желании прогуляться, извинился перед гостьей и тут же их покинул.

— Я зашла повидать вас, думала, вы уже дома, и так как вас еще не было, решила подождать, — сказала мадам Мерль.

— Он, что ж, не предложил вам сесть? — спросила, улыбаясь, Изабелла.

Мадам Мерль посмотрела вокруг.

— Ах, и правда, но я собралась уходить.

— Надеюсь, теперь вы останетесь?

— Безусловио. Я пришла к вам не просто так, меня кое-что беспокоит.

— Я однажды уже сказала вам, — проговорила Изабелла, — в этот дом вас может привести только какое-нибудь чрезвычайное событие.

— А помните, что *вам* ответила я? И в тех случаях, когда я прихожу, и в тех, когда не прихожу, я руководствуюсь лишь одним… моими к вам добрыми чувствами.

— Да, вы это говорили.

— У вас такой вид, будто вы мне не верите, — сказала мадам Мерль.

— Нет, нет, — возразила Изабелла, — в том, что вы руководствуетесь глубокими соображениями, я нисколько не сомневаюсь.

— Скорее вы готовы усомниться в искренности

моих слов?

Изабелла спокойно покачала головой.

— Я помню, как вы всегда были добры ко мне.

— Всегда, когда вы мне это позволяли, а так как позволяете вы далеко не всегда, то поневоле приходится оставлять вас в покое. Но сегодня я пришла к вам вовсе не затем, чтобы проявить доброту, а напротив, чтобы избавиться от собственных забот, переложить их на вас. Об этом я как раз и говорила с вашим мужем.

— Меня это удивляет; он не очень-то любит заботы.

— Особенно чужие; я хорошо это знаю. Впрочем, думаю, вряд ли и вы их любите. Но независимо от того, любите вы их или нет, вы должны мне помочь. Это касается бедного мистера Розьера.

— А! — протянула Изабелла задумчиво. — Значит, речь идет о его заботах, не о ваших.

— Ему удалось навьючить их на меня. Он чуть ли не десять раз в неделю является ко мне поговорить о Пэнси.

— Он хочет на ней жениться. Я все знаю.

Мадам Мерль на секунду замялась.

— Со слов вашего мужа я поняла, что. быть может, вы не знаете.

— Откуда ему знать, что я знаю? Он ни разу со

мной об этом не говорил.

— Скорее всего, он не знает, как приступить к этому разговору.

— В такого рода вещах он, как правило, не испытывает затруднений.

— Потому что знает обычно, как отнестись к тому или иному обстоятельству, а вот на сей раз — не знает.

— Разве вы только что ему этого не сказали? — спросила Изабелла.

Мадам Мерль сверкнула своей неизменно оживленной улыбкой.

— А вы что-то нынче сурово настроены.

— Что поделаешь, мистер Розьер говорил и со мной.

— Вполне понятно, вы ведь из числа наиболее близких девочке лиц.

— Ах, не очень-то я его порадовала, — сказала Изабелла. — Если вы считаете, что я сурово настроена, интересно, что же тогда должен считать *он*.

— Думаю, он считает, что вы можете сделать больше, чем сделали.

— Я ничего не могу.

— По крайней мере — больше, чем я. Не знаю, какую таинственную связь мистер Розьер усмот-

рел между мной и Пэнси, но с самого начала он явился ко мне с таким видом, будто в моих руках решение ее судьбы. И с тех пор все ходит и, ходит, пришпоривает меня, допытывается, есть ли надежда, изливает свои чувства.

— Он очень влюблен, — сказала Изабелла.

— Очень — для него.

— Очень — в равной мере и для Пэнси.

Мадам Мерль на секунду опустила глаза.

— Вы не находите ее привлекательной?

— Милей ее никого нет на свете… но она очень ограниченна.

— Тем легче, должно быть, мистеру Розьеру любить ее, он и сам, как известно, не без границ.

— О да, — сказала Изабелла, — он вполне умещается в пределах носового платка — я имею в виду такие маленькие обшитые кружевом платочки. — Юмор ее в последнее время все чаще смахивал на злую иронию, но через секунду Изабелла уже устыдилась, что избрала для своей иронии столь безобидную мишень, как обожатель Пэнси. — Он очень добрый, очень порядочный человек, — тут же добавила она. — И совсем не так глуп, как это кажется.

— Он уверяет меня, что она от него без ума, — сказала мадам Мерль.

— Не знаю, я ее не спрашивала.

— Вы не пытались разведать почву? — спросила мадам Мерль.

— Это не моя обязанность, а ее отца.

— Не слишком ли вы педантичны?

— Я поступаю так, как считаю нужным.

Мадам Мерль снова сверкнула улыбкой.

— Вам нелегко помочь.

— Помочь мне? — спросила очень серьезно Изабелла. — Что вы этим хотите сказать?

— Вам очень легко досадить. Теперь вы видите, как умно я делаю, что веду себя осмотрительно? Так или иначе, предупреждаю вас, как предупредила сейчас и Озмонда: во всем, что касается любовных дел мисс Пэнси и мистера Розьера, я умываю руки. Je n'y рейх rien, moi.[156] Не могу же я говорить о нем с Пэнси. Тем более, — добавила мадам Мерль, — что не считаю его идеалом мужа.

Немного подумав, Изабелла с улыбкой сказала:

— Значит, вы не умываете рук! — И уже другим тоном добавила. — Вы не можете, вы слишком заинтересованное лицо.

Мадам Мерль медленно поднялась; она бросила

---

[156] Примечания: 156
Тут я бессильна *(фр.).*

на Изабеллу взгляд столь же мгновенный, как и мелькнувшая перед моей героиней несколько минут назад многозначительная картина. Но на этот раз Изабелла ничего не заметила.

— А вы спросите у него, когда он в следующий раз придет, и вы в этом убедитесь.

— Я не могу его спросить, он больше здесь не показывается. Гилберт дал ему понять, что он неугоден.

— Ах да, я совсем забыла, — сказала мадам Мерль. — Хотя сейчас это главное, на что он сетует. Он говорит, что Озмонд его оскорбил. Но все-таки Озмонд не настолько нерасположен к нему, как он думает.

Встав с кресла как бы в знак того, что разговор окончен, мадам Мерль тем не менее медлила, оглядываясь по сторонам, — ей явно хотелось сказать что-то еще. Изабелла поняла это и даже догадалась, что у нее на уме, но наша героиня не спешила прийти на помощь гостье, у нее были на это свои причины.

— Представляю, как он обрадовался, если только вы ему это сказали, — ответила она, улыбаясь.

— Разумеется, я ему это сказала; я вообще стараюсь всячески его ободрить. Призываю его набраться терпения, говорю, что не все еще по-

теряно, что надо только придержать язык и на время притихнуть. Но, к несчастью, ему вздумалось ревновать.

— Ревновать?

— Ревновать к лорду Уорбертону, который, по его словам, здесь днюет и ночует.

— А! — только и сказала Изабелла; устав за время прогулки, она продолжала сидеть, но сейчас тоже поднялась и медленно направилась к камину. Мадам Мерль не спускала с нее глаз, пока она шла и пока, приостановившись на секунду перед висевшим над камином зеркалом, поправляла выбившуюся прядь волос.

— Бедный мистер Розьер твердит одно: вполне возможно, что лорд Уорбертон влюбится в Пэнси, — продолжала мадам Мерль.

Изабелла ответила не сразу; она отошла от зеркала.

— Правда… это вполне возможно, — сказала она наконец, хотя и сдержанным, но более мягким тоном.

— Так мне и пришлось сказать мистеру Розьеру. И ваш муж тоже так думает.

— Этого я не знаю.

— Спросите его и вы убедитесь.

— Я не стану его спрашивать, — сказала Иза-

белла.

— Простите, я и забыла, что вы мне это уже говорили. Конечно, у вас куда больше случаев, чем у меня, — добавила мадам Мерль, — наблюдать за поведением лорда Уорбертона.

— Собственно говоря, не вижу, почему я должна скрывать от вас, что ему очень нравится моя падчерица.

Мадам Мерль опять метнула на нее взгляд.

— Вы имеете в виду — нравится в том смысле, в каком это имеет в виду мистер Розьер?

— Не знаю, что имеет в виду мистер Розьер, но лорд Уорбертон дал мне понять, что он очарован Пэнси.

— И вы не сказали ни звука Озмонду? — вопрос этот, столь непосредственный и столь поспешный, как бы сам собой сорвался у мадам Мерль с губ.

Изабелла пристально на нее посмотрела.

— Думаю, он в свое время узнает. У лорда Уорбертона есть язык, он способен выражать свои желания.

Мадам Мерль мгновенно почувствовала, что против обыкновения поспешила с вопросом, и от этой мысли ее бросило в жар. Дав время предательскому жару схлынуть, она, словно еще раз

все взвесив, сказала:

— Это лучше, чем выйти замуж за бедного Розьера.

— Конечно, гораздо лучше.

— Это было бы прямо чудесно. Лорд Уорбертон блестящая партия. И с его стороны, право же, очень благородно…

— Благородно с его стороны?

— Удостоить вниманием такую простушку.

— Не нахожу.

— Это очень с вашей стороны мило. Но в конце концов ведь Пэнси Озмонд…

— В конце концов Пэнси Озмонд самая привлекательная девушка из всех, кого он знал! — воскликнула Изабелла.

Мадам Мерль смотрела на нее с изумлением. Она имела все основания быть озадаченной.

— Но мне казалось, несколько секунд назад вы совсем ее развенчали?

— Я сказала, что она ограниченна. Так оно и есть. С тем же успехом это можно сказать и про лорда Уорбертона.

— Да и про всех нас, коли на то пошло. Что ж, если Пэнси достаточно хороша для такого удела, тем лучше. Но если она отдаст свое сердце мистеру Розьеру, я не соглашусь признать, что такой

удел доста; точно для нее хорош. Это будет просто ни на что не похоже.

— Мистер Розьер несносен! — воскликнула вдруг Изабелла.

— Совершенно с вами согласна. И я рада, что не должна больше поддерживать в нем пыл. Впредь, когда бы он ни пришел, двери моего дома будут для него закрыты.

Запахнув пелерину, мадам Мерль собралась отбыть. Но уже на полпути к двери она была остановлена неожиданно вырвавшейся у Изабеллы просьбой.

— А все же будьте с ним подобрее.

Подняв брови и плечи, мадам Мерль стояла и смотрела на свою приятельницу.

— Вы сами себе противоречите. Как же я могу быть с ним подобрее? Это была бы фальшивая доброта. Я хочу видеть ее замужем за лордом Уорбертоном.

— Надо еще, чтобы он ей это предложил.

— Если то, что вы говорите, правда, предложит Особенно, — добавила, помолчав, мадам Мерль, — если на него повлияете вы.

— Если на него повлияю я?

— Это вполне в вашей власти. Ваше слово много для него значит. Изабелла слегка нахмурилась.

— С чего вы это взяли?

— Я знаю об этом от миссис Тачит. Не от вас, разумеется, — ответила, улыбаясь, мадам Мерль.

— Разумеется, ничего подобного я вам не говорила.

— А ведь *могли бы,* благоприятный случай представлялся не раз в те времена, когда нам случалось с вами откровенничать. Но вы почти ничего не говорили мне о себе, я часто потом об этом думала.

Хотя Изабелла в свою очередь часто думала о том же, и порой не без удовольствия, сейчас она в этом не призналась, не желая, очевидно, показать, как она по сему поводу ликует.

— Я вижу, моя тетушка прекрасно вас обо всем осведомляла.

— Она сообщила мне, что вы отказали лорду Уорбертону, поскольку была чрезвычайно этим раздосадована и никак не могла успокоиться. Положим, я считаю, что вы от этого только выиграли. Но, раз уж сами вы не пожелали выйти замуж за лорда Уорбертона, загладьте свою вину и помогите ему жениться на другой.

Изабелла молча слушала мадам Мерль, и лицо ее упорно не отражало радужного оживления собеседницы. Но спустя несколько секунд она

ответила ей рассудительным и в достаточной мере мягким тоном.

— Право же, я была бы очень рада, если бы, я имею в виду Пэнси, это удалось.

После чего мадам Мерль, расценив, вероятно, ее слова как добрый знак, обняла Изабеллу нежнее, чем можно было ожидать, и торжествующе удалилась.

41

В тот же вечер Озмонд впервые заговорил с ней на эту тему, войдя в достаточно поздний час в гостиную, где Изабелла сидела одна. Вечер она провела дома, и Пэнси уже отправилась спать, сам Озмонд сидел все время после обеда в небольшой комнате, которую, расставив там книги, называл своим кабинетом. Часов в десять заезжал лорд Уорбертон, как он теперь постоянно делал, если только знал от Изабеллы, что она будет дома; лорд Уорбертон пробыл всего с полчаса, от них ему предстояло ехать еще куда-то. Расспросив его о Ральфе, Изабелла намеренно не поддерживала разговор; она хотела, чтобы он беседовал с ее падчерицей; для вида она взяла в руки книгу и несколько минут спустя даже подошла к роялю; она спрашивала себя: нельзя ли ей совсем уйти из комнаты. Изабелла все более сочувственно думала о том, что Пэнси станет женой владельца прекрасного Локли, хотя отнеслась сначала к этой мысли без всякого воодушевления. Мадам Мерль поднесла в этот день спичку к скоплению легковоспламеняемого материала. Когда Иза-

белла бывала несчастлива, она принималась, как правило, — отчасти невольно, отчасти сознательно — искать какую-нибудь полезную деятельность. Ее не покидало чувство, будто несчастье это своего рода недуг, будто страдание равносильно ничегонеделанию. Поэтому делать что-нибудь, неважно что, уже само по себе выход, возможно, даже целительный. Ну а затем, ей надо было убедить себя, что она сделала все от нее зависящее, — лишь бы муж остался ею доволен; она не желала потом всю жизнь быть мученицей из-за того, что в нужный момент не откликнулась на его просьбу. Озмонду доставит большое удовольствие видеть Пэнси замужем за английским лордом — удовольствие вполне оправданное, поскольку лорд этот личность очень достойная. Изабелле казалось, что, если она вменит себе в обязанность способствовать этому событию, она выступит в роли хорошей жены. Ей очень хотелось быть хорошей женой, хотелось искренне с полным правом верить, что все обстоит именно так. Побуждало ее к этому и многое другое. Ее это займет, а она давно мечтала найти себе занятие. Ее это даже развлечет, а если бы ей в самом деле удалось развлечь себя, возможно, она была бы спасена. И, наконец, это услуга лорду Уорбертону,

который, судя по всему, совершенно очарован Пэнси. Подобный выбор, конечно, не совсем «вяжется» с ним — с таким человеком, как он; но ведь известно, сердцу не прикажешь. А Пэнси мог плениться кто угодно, — правда, кто угодно, но только не лорд Уорбертон. Изабелла считала, что девушка слишком для этого хрупка, слишком незначительна, пожалуй даже слишком искусственна. В ней всегда было что-то слегка кукольное, а он как будто искал совсем иного. Хотя кто их ведает, этих мужчин, чего они ищут? Скорее всего, они ищут то, что находят: понять, что им нравится, они способны лишь, когда на это наткнутся. Отвлеченные рассуждения тут ничего не стоят, и все всегда в одинаковой мере и непредвиденно, и естественно. Если в свое время он был влюблен в нее, странно, казалось бы, ему влюбиться в Пэнси, у которой нет с ней ничего общего. Но, значит, не настолько он был влюблен в нее, как ему это представлялось, а если и был, то теперь полностью излечился, и, раз прошлая его попытка не увенчалась успехом, вполне естественно, что, решив попытать счастья снова, он избрал нечто совсем в другом духе. Изабелла, как я уже сказал, прониклась воодушевлением не сразу, но когда прониклась, почувствовала себя

почти счастливой. Просто удивительно, какой счастливой ее все еще делает надежда, что она доставит удовольствие мужу. Жаль только, что на их пути встретился Эдвард Розьер. Стоило ей о нем подумать — и свет, забрезживший было на этом пути, померк. К своему сожалению, Изабелла была совершенно уверена, что, по мнению Пэнси, нет в мире более достойного молодого человека, чем Эдвард Розьер, — уверена так, как если бы слышала это из уст самой Пэнси. До чего же досадно быть настолько уверенной, когда она всячески избегала ясности в этом вопросе, — едва ли не менее досадно, чем то, что мистер Розьер вообще возымел подобные намерения. Ему, безусловно, далеко было до лорда Уорбертона, он уступал ему не только в знатности и богатстве, но и в человеческих качествах; молодой американец был, право же, очень легковесен. Он гораздо больше напоминал праздного дэнди, чем английский лорд. Конечно, у Пэнси нет особых причин стремиться выйти замуж за государственного мужа, — но коль скоро государственный муж от нее в восторге, это его дело, а уж Пэнси в роли жены пэра будет сущий маленький перл.

Читателю может показаться, что миссис Озмонд сделалась вдруг странным образом ци-

нична, ибо она в конце концов сказала себе, что никакой особенной сложности тут нет. Помеха в лице бедного мистера Розьера не может таить в себе опасности, всегда найдется способ так или иначе устранить второстепенное препятствие. Изабелла не скрывала от себя, что ей неизвестна степень упорства Пэнси, и оно может весьма все затруднить, но, легко допуская, что Пэнси сразу сдастся на уговоры, Изабелла почти не допускала, что, встретив осуждение, она все же будет стоять на своем, — способность соглашаться была развита в девушке гораздо больше, чем способность протестовать. Ей необходимо к чему-то прильнуть, совершенно необходимо, но к чему она прильнет, право, не столь уж существенно. Лорд Уорбертон годится для этой цели ничуть не хуже, чем мистер Розьер. Тем более что он, по-видимому, достаточно ей нравится, — Пэнси заявила об этом Изабелле без всякого стеснения, добавив, что он очень интересный собеседник и все-все рассказал ей об Индии. Лорд Уорбертон держался с Пэнси очень правильно, очень непринужденно; Изабелла видела это со стороны, к тому же она несколько раз слышала, как он говорит с Пэнси — совсем не покровительственно, словно все время снисходя к ее молодости и простодушию, а

так, будто она способна следить за предметами, о которых он толкует, с не менее пристальным вниманием, чем за сюжетами модных опер, — что, кстати, зачастую заменяет интерес к музыке и баритону. Он только старался быть очень добрым с ней, таким же добрым, как когда-то в Гарденкорте с другой взволнованной девчонкой. Это не могло не тронуть девичье сердце, она помнит, как ее самое это тронуло; и тут Изабелла сказала себе, что, будь она так же проста душой, как Пэнси, подобная доброта, наверное, произвела бы на нее еще более глубокое впечатление. Она совсем не была проста душой, когда отказала ему, — все протекало так же непросто, как и потом, когда она согласилась на предложение Озмонда. Пэнси же, несмотря на ее простодушие, все отлично понимала и радовалась тому, что лорд Уорбертон говорит с ней не о ее партнерах по танцам и букетах, а о положении в Италии, условиях жизни крестьян, пресловутом налоге на зерно, пеллагре и своих впечатлениях от римского общества. Продолжая вышивать, Пэнси обычно смотрела на него своими милыми, кроткими глазами, а когда опускала их, то украдкой бросала короткие косвенные взгляды на его руки, ноги, платье, точно пыталась оценить его наружность. Даже

наружностью своей, могла бы сказать ей в такие минуты Изабелла, он привлекательнее мистера Розьера, но ограничивалась тем, что гадала, куда этот джентльмен исчез; он совсем не появлялся в палаццо Рокканера. Нет, просто удивительно, говорю я, как завладела ею мысль — сделать все, чтобы муж остался ею доволен.

Удивительно это было по самым разным причинам, и вскоре я их коснусь. В тот вечер, о котором идет речь, Изабелла, когда у них сидел лорд Уорбертон, чуть было не решилась на героический шаг, чуть было не ушла из гостиной и не оставила их вдвоем. Я сказал «героический», поскольку именно так расценил бы его Гилберт Озмонд, а Изабелла всеми силами старалась стать на точку зрения мужа. В какой-то мере ей это удалось, и все же на вышеупомянутый шаг она так и не отважилась. Ей просто не подняться было до таких высот, что-то ее останавливало, воздвигало неодолимую преграду. И не потому, что ей это казалось низостью или вероломством; женщины обычно со спокойной совестью прибегают к подобным уловкам, а что касается безотчетных порывов, наша героиня была, скорее, верна, нежели неверна духу своего пола. Удерживало ее смутное сомнение — сознание, что она не до конца уверена.

Итак, она осталась в гостиной, и лорд Уорбертон спустя некоторое время откланялся, пообещав назавтра представить Пэнси подробный отчет о предстоящем ему званом вечере. Как только он ушел, Изабелла спросила себя, не помешала ли она тому, что могло бы произойти, отлучись она на четверть часа из комнаты, и ответила — все так же мысленно, — если их высокий гость пожелает, чтобы она удалилась из комнаты, он найдет способ намекнуть ей на это. Пэнси после его ухода ни словом не обмолвилась о нем, и Изабелла умышленно тоже ничего не сказала: она дала зарок хранить молчание до тех пор, пока он не объяснится. Что-то слишком он медлил, — это несколько противоречило тому, как он говорил Изабелле о своих чувствах. Пэнси отправилась спать, а Изабелла вынуждена была признаться себе, что не в состоянии угадать теперь мысли своей падчерицы. Прежде видная насквозь, та стала нынче непроницаема.

Она сидела одна, глядя на огонь в камине, пока полчаса спустя в гостиную не вошел ее муж. Сперва он молча прохаживался по комнате, наконец усевшись, стал смотреть, как она, в камин. Но Изабелла перевела сейчас взгляд с колеблющегося пламени на лицо Озмонда и наблюдала за

ним все время, что он молчал. Наблюдать тайком вошло у нее теперь в привычку, и не будет преувеличением сказать, ее породило нечто, весьма похожее на инстинкт самозащиты. Изабелле хотелось как можно точнее знать, о чем он думает, что он скажет, знать заранее, чтобы подготовить ответ. Когда-то она была не мастерица подготавливать ответы, обычно дело не шло у нее дальше того, чтобы, вовремя не найдясь, придумывать остроумные возражения задним числом. Но она научилась осторожности, и научило ее этому выражение лица мужа. Это было то же самое лицо, на которое она смотрела не менее, пожалуй, внимательным, хотя и не столь проницательным взглядом на террассе некой флорентийской виллы, разве что после женитьбы Озмонд слегка располнел. И все же он мог бы и сейчас поразить воображение своим изысканным видом.

— Лорд Уорбертон заезжал? — спросил он наконец.

— Заезжал; он пробыл с полчаса.

— С Пэнси они виделись?

— Виделись; он сидел возле нее на диване.

— Он с ней разговаривал?

— Он почти все время разговаривал только с ней.

— По-моему, он оказывает ей внимание; вы, как будто, так это называете?

— Я никак это не называю, — сказала Изабелла. — Я жду, чтобы этому дали название вы.

— Вы далеко не всегда бываете столь предупредительны, — сказал, немного помолчав, Озмонд.

— На этот раз я решила попытаться вести себя так, как этого хотели бы вы. Слишком часто мне это не удавалось.

Озмонд, медленно повернув голову, посмотрел на нее.

— Вы пытаетесь со мной поссориться?

— Нет, я пытаюсь жить с вами в мире.

— Что может быть проще; сам я, как вы знаете, никогда не ссорюсь.

— А когда вы пытаетесь вывести меня из себя, как вы это называете? — спросила Изабелла.

— Я не пытаюсь, а если так получается, то неумышленно. Во всяком случае, сейчас я не пытаюсь с вами ссориться.

Изабелла улыбнулась.

— Мне все равно. Я решила никогда больше не выходить из себя.

— Похвальное намерение. Характер у вас неважный.

— Да… неважный. — Она отбросила книгу и взя-

ла со стула оставленное там Пэнси вышивание.

— Потому отчасти я и не говорил с вами о делах моей дочери, — так Озмонд чаще всего называл Пэнси. — Я боялся, что вы имеете на этот счет свое собственное суждение. А я милейшего Розьера попросту спровадил.

— Вы боялись, что я заступлюсь за мистера Розьера? Разве вы не обратили внимания, что я ни разу не упомянула его имени?

— Я ни разу не предоставил вам возможности. Мы с вами в последнее время почти не разговариваем. Но мне известно, что он — ваш старый друг.

— Вы не ошиблись, он мой старый друг. — Розьер интересовал Изабеллу немногим больше, чем очутившееся у нее в руках вышивание, но он действительно был ее старым другом, а имея дело с мужем, она старалась никогда не преуменьшать значения подобных дружеских связей. Он умел так выказать свое неуважение, что ее верность им мгновенно возрастала, даже если сами по себе они были, как в данном случае, малозначительны. Она часто испытывала нежность к каким-то своим воспоминаниям уже за одно то, что они принадлежали ее незамужней поре. — Но в отношении Пэнси, — добавила она, — я его не

поощряла.

— Это хорошо, — заметил Озмонд.

— Хорошо для меня, вы имеете в виду? Для него ведь это ничего не меняет.

— Нам незачем говорить о нем, — ответил Озмонд. — Я сказал вам уже, что выставил его за дверь.

— Влюбленный и за дверью остается влюбленным. Иногда его чувства от этого только разгораются. Мистер Розьер не теряет надежды.

— Ну и пусть себе тешится на здоровье! Моей дочери надо сидеть смирно, и она, даже пальцем не пошевелив, станет леди Уорбертон.

— А вы этого хотели бы? — спросила Изабелла с простодушием, которое было совсем не таким уж напускным, как могло бы показаться. Она не собиралась строить на этот счет предположения, ибо Озмонд умел неожиданно обращать их против нее. То, как страстно он хотел, чтобы дочь его стала леди Уорбертон, служило в последнее время отправной точкой всех ее размышлений. Но их она оставляла при себе и не намерена была делиться ими с Озмондом. До тех пор, пока он не выскажется, ни за что нельзя было ручаться, даже за то, что он считает лорда Уорбертона крупным призом, ради которого стоит приложить усилия,

хотя прилагать усилия было не в обычае Озмонда. Гилберт постоянно давал понять, что в его глазах ничто на свете не является крупным призом, что на самых взысканных судьбой избранников он смотрит как на равных и дочери его надо только оглядеться по сторонам и найти себе принца. Сказать без околичностей, что он мечтает о лорде Уорбертоне, что, если сей знатный англичанин ускользнет, ему вряд ли удастся подыскать замену, значило расписаться в собственной непоследовательности, а ведь он всегда утверждал, что непоследовательностью не грешит. Он предпочел бы, конечно, чтобы жена его обошла это обстоятельство молчанием. Но как это ни странно, Изабелла, которая час назад изобретала способ ему угодить, теперь, оказавшись с ним лицом к лицу, была крайне необходительна и не желала ничего обходить молчанием. А она прекрасно знала, как подействует на него ее вопрос: он примет его как унижение. Ну и что с того; он же способен был смертельно унижать ее, и, мало того, способен ждать, пока представится какой-нибудь из ряда вон выходящий случай, проявляя подчас непонятное равнодушие к случаям менее значительным. Она же, быть может, потому и не пропустила этот незначительный случай, что

более значительным не воспользовалась бы. Озмонд пока с честью вышел из положения.

— Я чрезвычайно бы этого хотел; лорд Уорбертон блестящая партия. К тому же в его пользу говорит еще одно: он ваш старый друг. Ему приятно будет с нами породниться. Как удивительно, что поклонники Пэнси все ваши старые друзья.

— Ничего не может быть естественнее; они приезжают повидаться со мной и видят Пэнси. Ну, а увидев Пэнси, они естественно в нее влюбляются.

— Думаю, так оно и есть, но вы ведь так думать не обязаны.

— Я буду очень рада, если она выйдет замуж за лорда Уорбертона, — сказала со всей искренностью Изабелла. — Он прекрасный человек. Но вы вот говорите, что ей надо сидеть для этого смирно. А что, если она не пожелает? Если, потеряв мистера Розьера, она вдруг взбунтуется.

Озмонд как будто и не слышал ее, он смотрел в камин.

— Пэнси приятно будет стать знатной дамой, — немного помолчав, заметил он не без нежности в голосе. — Ну, и прежде всего она жаждет угодить, — добавил он.

— Быть может, угодить мистеру Розьеру?

— Нет, угодить мне.

— Думаю, что и мне немного.

— Да, она о вас лестного мнения. Но поступит она так, как хочу я.

— Что ж, если вы в этом уверены, тогда все хорошо, — сказала она.

— Между прочим, — обронил Озмонд, — хотел бы я, чтобы наш высокий гость заговорил.

— Он говорил… говорил со мной. По его словам, он был бы счастлив, если бы смел надеяться, что она его полюбит.

Озмонд быстро повернул голову; сначала он ни звука не произнес, потом резким тоном спросил:

— Почему вы мне этого не сказали?

— Не имела возможности. Сами знаете, как мы живем. Я воспользовалась первым же случаем.

— Вы говорили ему о Розьере?

— Да, в двух словах.

— Никакой необходимости в этом не было.

— Я подумала, лучше ему знать, чтобы… чтобы… — Изабелла заменила.

— Чтобы — что?

— Чтобы он мог вести себя соответственно.

— Чтобы мог отступить, — вы это имеете в виду?

— Нет, чтобы перешел в наступление, пока еще

не поздно.

— Отчего же это не возымело действия?

— Надо запастись терпением, — сказала Изабелла, — англичане очень застенчивы.

— Только не этот. Не был же он застенчив, когда ухаживал *за вами* Она боялась, что Озмонд рано или поздно об этом упомянет. Ей это было неприятно.

— Простите, вы не правы, — возразила она, — он был застенчив, даже очень.

Некоторое время Озмонд молчал, взяв в руки книгу, он перелистывал страницы; Изабелла тоже молчала, продолжая начатое Пэнси вышивание.

— Для него должно много значить ваше мнение, — сказал наконец Озмонд. — Если вы действительно этого захотите, он начнет действовать.

Это было еще более оскорбительно, но она понимала, как естественно с его стороны сказать это; ведь в конце концов почти то же самое сказала себе и она.

— Почему мое мнение должно много для него значить? — спросила она. — Что я такого сделала, чтобы он обязан был со мной считаться?

— Вы отказали ему, — проговорил, не отрывая

глаз от книги, Озмонд.

— Я не могу возлагать на это слишком большие надежды, — ответила она.

Озмонд через несколько секунд отбросил книгу и поднялся; заложив руки за спину, он стоял перед камином.

— Так или иначе, на мой взгляд, все в ваших руках. Я все перепоручаю вам. Если будет на то ваша добрая воля, вы с этим справитесь. Подумайте о том, что я сказал, и помните, я рассчитываю на вашу помощь.

Он постоял немного, чтобы дать ей время ответить, но она ничего не ответила, и он не спеша вышел из комнаты.

42

Она не ответила, потому что он представил ей в нескольких словах обстоятельства дела, и Изабелла с величайшим вниманием их обдумывала. Было в его словах что-то такое, отчего ее бросило в дрожь, и, не доверяя себе, она не решалась заговорить. Как только Озмонд ушел, она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза; долгое время, до глубокой ночи, до предрассветного часа, сидела она в затихшей гостиной, поглощенная своими мыслями. Вошел слуга, чтобы подбросить дрова в камин. Она попросила его принести свечи, потом он может ложиться спать. Озмонд предложил ей подумать о том, что он сказал; вот она и думала — и заодно обо всем остальном. Высказанное вслух утверждение, будто она способна повлиять на лорда Уорбертона, послужило толчком, как это чаще всего и бывает при любом неожиданном открытии. Правда ли, что между ними все еще существует что-то, чем можно воспользоваться и заставить его объясниться с Пэнси, — повышенная с его стороны чувствительность к ее мнению, желание

поступить так, как угодно ей? Изабелла до сих пор не задавала себе этого вопроса, поскольку ее ничто к этому не вынуждало, но теперь, когда вопрос был поставлен в лоб, на него сразу же последовал ответ, и ответ этот напугал ее. Да, что-то между ними еще существовало — что-то со стороны лорда Уорбертона. Когда он только приехал в Рим, она решила, что связующая их нить окончательно порвалась, но мало-помалу убедилась, что временами она почти осязаема. И пусть это был всего-навсего тончайший волосок, минутами ей казалось, будто она ощущает, как он вибрирует. В ней самой ничего не переменилось, она думала о лорде Уорбертоне то же, что думала всегда; да и незачем было ее отношению меняться, сейчас оно было в общем-то особенно уместно. Ну а он? Неужели ему все еще мнится, что она значит для него больше, чем все остальные женщины на свете? Неужели он хочет воспользоваться воспоминанием о выпавших им когда-то недолгих минутах душевной близости? Кое-какие признаки подобного расположения духа Изабелла — у него подметила. Но на что он надеялся, на что притязал и как могло подобное чувство уживаться в нем с безусловно искренним восхищением бедняжкой Пэнси? Действительно

ли он влюблен в жену Гилберта Озмонда, и если так, на что он рассчитывает? Если он влюблен в Пэнси, он не влюблен в ее мачеху, а если влюблен в ее мачеху, то не влюблен в Пэнси. Так что же, воспользоваться своим преимуществом и заставить его жениться на Пэнси, зная, что он делает это ради нее, а не ради бедной девочки — не об этой ли услуге просил ее муж? Во всяком случае, так выглядела возложенная на нее обязанность с той минуты, как она призналась себе, что лорд Уорбертон по-прежнему питает неискоренимое пристрастие к ее обществу. Поручение было не из приятных; по правде говоря, оно было просто отвратительно. В отчаянии она спрашивала себя, неужели лорд Уорбертон делает вид, что влюблен в Пэнси, полагая воспользоваться этим, чтобы обрести потом иные радости, уповая, так сказать, на счастливый случай? Но она тут же сняла с него обвинение в столь изощренном вероломстве; она предпочитала верить в полное его чистосердечие. Но, если его отношение к Пэнси всего лишь заблуждение, а не притворство, так ли уж это меняет дело? Изабелла до тех пор плутала среди всех этих возможностей, пока окончательно не сбилась с пути; некоторые из них, когда она внезапно на них наталкивалась, казались ей

поистине чудовищными. Наконец она вырвалась из лабиринта и, протерев глаза, сказала себе, что ее воображение делает ей мало чести, а уж воображение ее мужа и вовсе ему чести не делает. Лорд Уорбертон настолько безразличен к ней, насколько ему следует быть, и она значит для него ровно столько, сколько ей следует желать. На том она и остановится, пока ей не докажут обратного — докажут более убедительно, чем Озмонд своими циническими намеками.

Решение это, однако, не принесло немедленного успокоения ее душе, осаждаемой всевозможными ужасами, которые, как только их допустили на авансцену мысли, хлынули туда потоком. Что заставило их так взыграть, она и сама не знала, разве только нынешнее впечатление, будто муж ее теснее связан с мадам Мерль, чем она предполагала. Впечатление это возникало снова и снова, и она удивлялась теперь одному: как могло оно не возникнуть у нее раньше. Ну а состоявшийся сейчас короткий разговор с Озмондом был разительным примером способности ее мужа губить все, к чему бы он ни прикасался, отравлять для нее все, на что бы ни упал его взгляд. Да, она, конечно, хотела доказать ему свою преданность, но стоило ей, по совести говоря, узнать, что он

от нее чего-то ждет, как начинала относиться к этому с опаской, точно у него дурной глаз, точно само его присутствие наводит порчу, а расположение навлекает беду. Он ли был тому виной, ее ли глубокое к нему недоверие? Недоверие оказалось единственным очевидным итогом их недолгой супружеской жизни; между ними словно разверзлась пропасть, поверх которой они обменивались взглядами, говорившими, что каждый из них был введен в обман. Странное это было отталкивание, ничего подобного ей не могло привидеться и во сне; отталкивание, когда жизненные принципы одного становятся оскорблением для другого. Но произошло это не по ее вине, она не прибегала к обману; она только восхищалась и верила. Первые шаги были сделаны ею с величайшей доверчивостью, а потом вдруг оказалось, что все многообразие жизни с беспредельными ее просторами не что иное, как тесный и темный тупик с глухой стеной в конце. Вместо того, чтобы привести ее на вершину счастья, где мир словно расстилается у ног и можно, взирая на него с восторженным сознанием собственной удостоенности, судить, выбирать, жалеть, он привел ее вниз, в подземелье, в царство запретов и угнетенности, куда глухо долетают

сверху отголоски чужих, более легких и вольных жизней, лишь усугубляя сознание собственной непоправимой беды. Глубокое неверие в мужа — вот что помрачило для нее белый свет. Чувство это, которое так просто назвать, но далеко не так просто объяснить, было настолько по своей природе сложным, что потребовалось немало времени и еще больше душевных страданий, чтобы довести его до нынешнего совершенства. Страдание было у Изабеллы состоянием деятельным и проявлялось не в оцепенении, столбняке, отчаянии, а в кипучей работе ума, воображения, в отклике на малейший нажим. Она льстила себя надеждой, что тайна ее пошатнувшейся веры скрыта от всех — от всех, кроме Озмонда. Он-то, разумеется, знал, и порой ей даже казалось, что он этим тешится. Все произошло не сразу — только когда первый год их совместной жизни, полный сначала такой восхитительной близости, подошел к концу, она ощутила тревогу. Потом начали собираться тени, словно Озмонд намеренно, даже можно сказать злонамеренно, стал гасить один за другим огни. Сперва сумрак был редким, полупрозрачным, и ей еще видна была дорога. Но постепенно он все больше сгущался, и пусть то тут, то там иногда появлялись

просветы, но существовали в открывавшейся перед ней перспективе и такие закоулки, где всегда царил беспросветный мрак. Изабелла твердо знала — тени эти не были ее измышлением, она сделала все, чтобы остаться справедливой, терпимой, видеть правду незамутненными глазами. Тени были неотъемлемой принадлежностью, были порождением и следствием присутствия ее мужа. Речь шла не о его злодеяниях или пороках; она ни в чем его не обвиняла — ни в чем, кроме одного, что вовсе не являлось преступлением. Насколько ей известно было, он не совершил за свою жизнь ничего дурного; он не истязал ее, не был с ней жесток; просто она полагала, что Озмонд ее ненавидит. Вот все, в чем она могла его обвинить, и как раз самым прискорбным было то, что это не являлось преступлением, ибо, будь оно так, она сумела бы защитить себя. Озмонд убедился, что она не та, что она другая, чем он рассчитывал. Сначала он думал, что ему удастся ее изменить, и она старалась изо всех сил стать такой, какой он хотел ее видеть. Но ведь в конце-то концов она могла быть только собою, тут ничего не поделаешь; и теперь уже не имело смысла надевать маску, рядиться, он знал ее до последней жилки, и ничто не могло его поко-

лебать. Она не боялась Озмонда, не опасалась каких-либо враждебных выпадов; недоброжелательство его по отношению к ней было совсем иного рода. Он постарается не сделать ни одного промаха, постарается всегда выглядеть правым. Всматриваясь трезвым неотступным взглядом в свое будущее, Изабелла видела, что в этом он, несомненно, возьмет над ней верх. Она-то сделает много промахов, много раз будет неправа. Иногда она чуть ли не готова была жалеть его, понимая, что пусть неумышленно, но все же кругом его обманула. Она стушевалась, когда только с ним познакомилась, умалила себя, притворилась, что ее меньше, чем это было на самом деле. И все оттого, что сверх всякой меры поддалась очарованию, которое он, не пожалев усилий, пустил в ход. Он не изменился с тех пор; он не пытался в тот год, что за ней ухаживал, выдать себя за другого — по крайней мере ничуть не больше, чем она сама. Но ей видна' была лишь половина его натуры, как видится нам диск луны, частично скрытый тенью от земли. Теперь же она видела полную луну — видела человека целиком. А ведь она для того, так сказать, и притаилась тогда, чтобы предоставить ему простор; и все же, несмотря на это, ошиблась: приняла часть за целое.

Ах, как безмерно поддалась она очарованию! Оно и сейчас еще не развеялось. Она и сейчас еще знает, чем муж ее, когда хочет, может быть так неотразим. А он этого хотел, когда за ней ухаживал, и поскольку она хотела быть очарованной, надо ли удивляться, что ему это удалось? Удалось потому, что он был искренним, ей и сейчас никогда не пришло бы в голову в этом сомневаться. Он восхищался ею и объяснял почему: впервые он встретил женщину, наделенную таким воображением. Что правда, то правда, воображение у нее в самом деле пылкое — сколько оно в те месяцы создало всего, чего и не существовало вовсе. Она возвела Озмонда в ранг идеального героя, ее очарованные чувства, ее воспламененная — и как воспламененная! — фантазия явили его в ложном свете. Некое сочетание качеств тронуло ее сердце, и ей представилась необыкновенная личность. Он был беден, одинок и притом наделен душевным благородством — вот что вызвало в ней интерес, и она усмотрела в этом перст судьбы. Было что-то бесконечно прекрасное в обстоятельствах его жизни, в складе его ума, в самом его облике. И вместе с тем она чувствовала, он беспомощен, бездеятелен, и чувство это пробудило в ней нежность, увенчавшую

собой уважение. Он напоминал изверившегося путника, который бродит по берегу в ожидании прилива и лишь поглядывает на море, не решаясь пуститься в плавание. В этом она и увидела свое назначение. Она спустит на воду его челн, станет его земным провидением; хорошо бы ей полюбить его. И она его полюбила и отдала ему себя так трепетно, так пылко — за то, что нашла в нем, но в равной мере и за то, что смогла принести ему в придачу к самой себе. Оглядываясь назад на свое достигшее в те недели полноты страстное чувство, она различала в нем и некий материнский оттенок — счастье женщины, способной одарить, знающей, что она пришла не с пустыми руками. Теперь-то она понимала, не будь у нее денег, ей было бы ни за что не решиться на брак с Озмондом. И тут мысли ее устремились к покоившемуся под английским зеленым дерном бедному мистеру Тачиту, ее благодетелю и виновнику ее неизбывного горя. Ибо при всей невероятности все обстояло именно так. По сути, деньги с самого начала легли бременем на ее душу, жаждавшую освободиться от их груза, оставить его на чьей-нибудь более приуготовленной к этому совести. А мог ли быть лучший способ облегчить собственную совесть, чем доверить их

человеку с самым безупречным в мире вкусом? Не считая того, что она могла отдать их больнице, лучше ничего нельзя было и выдумать; но ведь ни в одном благотворительном учреждении она не была заинтересована так, как в Гилберте Озмонде! Он найдет применение ее богатству, и оно перестанет ее тяготить, освободившись от налета вульгарности, неотделимой от удачи в виде неожиданно свалившегося наследства. Унаследование семидесяти тысяч фунтов не содержало в себе ничего изысканного; изысканность была только в мистере Тачите, оставившем ей эти деньги. Но выйти замуж за Гилберта Озмонда и принести их ему в качестве приданого будет тоже до некоторой степени изысканно — теперь уже с ее стороны. С его стороны это будет, конечно, менее изысканно, но тут пусть решает он; и если он любит ее, то не станет возражать против ее богатства. Достало же у него мужества сказать: да, он рад, что она богата.

С горящим лицом Изабелла спросила себя, неужели она вышла замуж из ложных побуждений для того лишь, чтобы благородным жестом распорядиться своими деньгами? Но почти сразу ответила, что если это и правда, то лишь наполовину. Произошло это потому, что ум ее был

помрачен верой в глубину чувства Озмонда к ней и восхищением его личностью. Он был лучше всех на свете. Это счастливое убеждение наполняло ее жизнь долгие месяцы; да и сейчас еще его оставалось достаточно, чтобы мысленно повторить — иначе она поступить не могла. Самый совершенный — в смысле тонкости организации — мужчина из всех, когда-либо ею виденных, стал ее собственностью, и при мысли, что он — ее, что ей надо только протянуть к нему руки, она в первое время испытывала нечто сродни благоговению. Она не ошиблась насчет его ума, она в полной мере изучила теперь этот великолепный орган. С ним, вернее, чуть ли не *в нем* она жила — он сделался ее обиталищем. Если ее и поймали, то, во всяком случае, чтобы ее схватить, понадобилась уверенная рука; заключение это, пожалуй, говорило о многом. Изабелле никогда не встречался более гибкий, более изобретательный, более образованный и приспособленный для столь блистательных упражнений ум; и вот с этим-то изощренным орудием ей предстояло теперь сводить счеты. С бесконечным отчаянием думала она о том, как *жестоко* обманулся Озмонд. Надо только удивляться, что, учитывая это, он не возненавидел ее еще больше. Она прекрасно

помнила, как он впервые подал сигнал, — словно то был звонок, возвещающий поднятие занавеса и начало подлинной драмы их жизни. Он сказал ей как-то, что у нее слишком много идей, что ей следует от них избавиться. Он говорил ей это и раньше, до брака, но тогда она не обратила внимания на его слова и вспомнила о них только потом. Но теперь как было не обратить на них внимание, ведь он отнюдь не шутил. Слова его на первый взгляд могли показаться пустяком, но, когда она пересмотрела их в свете уже немалого опыта, они обрели свой грозный смысл. Озмонд отнюдь не шутил, он в самом деле хотел, чтобы, кроме привлекательной внешности, у нее не осталось ничего своего. Она всегда знала, что у нее слишком много идей, гораздо больше, чем он предполагал, больше, чем она высказала к тому времени, когда он попросил ее выйти за него замуж. Да, она *в самом деле* была притворщицей, но ведь он так ей нравился. У нее слишком много идей даже для нее самой, но разве не затем и выходят замуж, чтобы поделиться ими с кем-то другим? Нельзя же взять и вырвать их с корнем, хотя можно постараться скрыть, не выражать их вслух. Но дело вовсе не в том, что он возражал против каких-то ее мнений, это бы еще ничего.

Не было у нее таких мнений — ни единого, которым она не пожертвовала бы во имя радости чувствовать себя за это любимой. Но он-то ведь имел в виду все, вместе взятое, — и ее характер, и то, как она чувствует, и как думает. Вот что у нее было припасено для него, вот чего он не знал до тех пор, пока не столкнулся с этим лицом к лицу после того, как дверь за ним, образно выражаясь, захлопнулась. Оказалось, что у нее есть какие-то свои взгляды на жизнь, которые Озмонд воспринял как личное оскорбление. Хотя, видит бог, она, по крайней мере теперь, стала на редкость уступчива. Странно только, что она с первой минуты не заподозрила, насколько его взгляды отличаются от ее собственных. Она-то думала — они у него широкие, просвещенные, взгляды поистине порядочного человека и джентльмена. Разве он не заверил ее, что ни в коей мере не страдает предубеждениями, скучной ограниченностью, какими-либо предрассудками, утратившими первозданную свежесть. Разве весь его облик не свидетельствовал о том, что человек этот дышит вольным воздухом мира, чужд всем мелким расчетам, дорожит лишь правдой и подлинным пониманием жизни и полагает, что два мыслящих существа должны доискиваться их

вместе и что независимо от того, обретут они их или нет, по крайней мере обретут в ходе поисков немного счастья? Он сказал ей, что привержен условностям, любит все традиционное, но в известном смысле это звучало вполне благородно, и в этом смысле, т. е. в смысле любви к гармонии, порядку, пристойности, ко всем высоким установлениям жизни, ей легко было следовать за ним и предостережение его не содержало в себе ничего зловещего. Но по мере того, как шли месяцы, она следовала за ним и дальше, и он привел ее в результате в свою собственную обитель, и вот *тогда-то*, только тогда она увидела наконец, куда попала.

Она и сейчас еще остро ощущала тот недоверчивый ужас, с каким рассматривала свое жилье. Меж этих четырех стен она и существовала с тех пор, до конца дней они будут окружать ее, в этом царстве мрака, царстве немоты, царстве удушья. Великолепный ум Озмонда не снабдил его ни светом, ни воздухом; великолепный ум Озмонда как бы заглядывал туда сверху сквозь маленькое окошечко, издеваясь над ней. Разумеется, речь шла не о каких-либо физических мучениях, от них она сумела бы себя оградить. Она вольна была уходить и возвращаться; никто

не лишал ее свободы; муж ее был отменно учтив. Но как серьезно он к себе относился — от этой серьезности мороз пробегал по коже. Под всей его культурой, разнообразными способностями, приятным обхождением, под всем внешним благодушием, непринужденностью, знанием жизни притаился эгоизм, как змея на поросшем цветами склоне. Она относилась к нему серьезно, но все же не настолько. Да и как она могла бы — тем более теперь, когда лучше его узнала? Она должна была думать о нем так же, как думал о себе он сам: что он — первый джентльмен Европы. Она так и думала о нем сначала; собственно говоря, именно поэтому она и вышла за него замуж; но, когда стала яснее понимать, что это в действительности означает, она отшатнулась. Под таким обязательством она не собиралась подписываться. Оно означало высокомерное презрение ко всем, кроме двух-трех избранников судьбы, которым он завидовал, и ко всему на свете, кроме нескольких его собственных убеждений. Это бы еще тоже ничего, она последовала бы за ним даже в такую даль, ибо он показал ей всю низость и убожество жизни, открыл глаза на тупость, порочность и невежество всего рода человеческого и уже было надлежащим обра-

зом внушил, как бесконечно пошло все вокруг и как важно самому остаться незапятнанным. Но в конце концов вдруг оказалось, что грубое и низменное общество и есть то, ради чего следует жить, что с него не следует спускать глаз ни днем ни ночью, и не ради того, чтобы просвещать, обращать, спасать, но чтобы добиться от него признания собственного превосходства. С одной стороны, это общество было достойно презрения, а с другой — принималось за образец. Озмонд говорил ей когда-то о своей отрешенности, безразличии, о том, с какой легкостью он отказался от обычных средств для достижения успеха, и она им восхищалась, она именовала это безразличие высоким, эту независимость великолепной. Но ни о какой независимости на самом деле не было и речи: она не встречала еще человека, который бы так часто оглядывался на других. Сама она никогда не скрывала интереса к человеческому обществу, неизменной страсти к изучению ближних. Однако она охотно отрешилась бы и от своей любознательности, и от всех других пристрастий во имя личной жизни, если бы только муж не оказался личностью, способной убедить, что он того заслуживает. Такова, во всяком случае, была ее теперешняя точка зрения; несомненно одно:

это далось бы ей куда легче, чем столь сильная приверженность обществу, как у Озмонда.

Он просто жить без него не мог, и она поняла, что так это всегда и было; он смотрел на него из своего окошечка даже в ту пору, когда казалось, что совсем от него отвернулся. Озмонд создал себе идеал, как пыталась создать его и она. Но до чего странно, что люди молятся столь разным богам! Идеалом в его понимании был верх благополучия и благопристойности, некий аристократический образ жизни, который он, на свой взгляд, в общем-то всегда и вел. Он не отступал от него ни на шаг — считал бы себя навек опозоренным, если бы отступил. И это бы еще ничего, и на это она могла бы согласиться, да только одно и то же понятие связывалось у них с совсем разными идеями, разными представлениями, разными устремлениями! По ее мнению, аристократический образ жизни сочетал в себе высшую степень понимания с высшей степенью свободы, ибо в понимании и коренится чувство долга, а свобода одаряет радостью. Но для Озмонда аристократизм сводился к соблюдению этикета, к сознательной, рассчитанной позе. Он любил все старинное, освященное веками, унаследованное, она тоже это любила, но предпочитала не вносить ра-

болепства в свою любовь. Он питал безмерное уважение к традициям, как-то он сказал ей, что самое лучшее, когда они у вас есть, но, если вам не посчастливилось и у вас их нет, надо немедленно ими обзавестись. Она поняла, что он хотел этим сказать: у нее их нет, ему в этом отношении повезло куда больше, хотя где он почерпнул свои традиции, она так никогда и не уразумела. Во всяком случае, набралось их у него достаточно, тут не могло быть сомнений — постепенно ей это стало ясно. Главное, сообразовывать с ними каждое свое действие, главное — не только для него, но и для нее. И хотя Изабелла убеждена была, что лишь самые возвышенные традиции заслуживают того, чтобы их придерживались все, она тем не менее согласилась на предложение мужа торжественно шествовать с ним под церемониальные марши, доносящиеся из каких-то неведомых пространств его прошлого, — это она-то, которая всегда ступала так легко, так непринужденно, так сама по себе, так не в ногу с чинной процессией! Следует делать то-то и то-то; высказывать такие-то мнения; с такими-то людьми водить знакомство, а с такими-то нет. Когда она почувствовала, как эти железные установления, пусть и задрапированные узорными

тканями, сомкнулись вокруг нее, ей стало, как я уже сказал, нечем дышать, в глазах потемнело, словно ее заперли в помещении, где нет ни проблеска света, где пахнет гнилью и плесенью. Конечно, она пробовала протестовать; сперва шутливо, насмешливо, нежно, потом, по мере того как положение становилось все серьезнее, горячо, страстно, настойчиво. Она отстаивала дело свободы, право поступать по собственному усмотрению, не заботясь о внешней, показной стороне их жизни, — словом, отстаивала иные стремления, иные склонности, совсем иной идеал.

И вот тут-то личность ее мужа, небывало уязвленная, выступила вперед и выпрямилась. Что бы Изабелла ни говорила, он на все отвечал ей презрением, и она видела, как ему безмерно стыдно за нее. Что же он думает о ней?... Что она низменна, пошла, груба душой? По крайней мере он понял теперь, что у нее нет традиций! Он просто никогда не мог предположить, что ее суждения так плоски, что ее взгляды под стать какой-нибудь радикальной газетенке или проповеднику-унитарию! Истинным оскорблением, как она потом поняла, явилось то, что у нее вообще обнаружился собственный ум. Ее ум должен

быть продолжением, вернее даже, приложением к его уму, быть чем-то вроде цветничка в оленьем заповеднике. Он бы осторожно взрыхлял там клумбы, поливал цветы, выпалывал сорную траву, изредка нарезал букетик цветов. Это был бы недурной клочок земли у владельца, у которого и без того вдоволь владений. Он вовсе не хотел иметь глупую жену. Она тем ему и понравилась, что понимала все с полуслова. Но он рассчитывал, что мысль ее всегда будет работать в его пользу; не на скудоумие он уповал, а, напротив, на величайшую восприимчивость. Озмонд ожидал, что Изабелла будет чувствовать с ним заодно, будет ему сочувствовать, разделять его воззрения, честолюбивые помыслы, пристрастия; и она не могла не признать, что это не такая уж великая дерзость со стороны человека, наделенного столь многочисленными достоинствами, и мужа — по крайней мере вначале — столь нежного. Но были у него убеждения, которые она никак не могла принять. Прежде всего из-за их чудовищной нечистоплотности. Она не какая-нибудь пуританка и тем не менее верила, что на свете существует чистота и даже скромность. Озмонд, как оказалось, отнюдь в это не верил; среди его традиций числились и такие, что Изабелле приходилось

подбирать юбки, чтобы не запачкаться. Неужели все женщины имеют любовников? Неужели все они лгут и даже лучших можно купить? Неужели всего лишь две-три ни разу не обманывали своих мужей? Изабелла слушала эти речи с еще большим презрением, чем слушала бы пересуды старых кумушек, — с презрением, сохранявшим всю свою свежесть в весьма осквернённом воздухе, где витал душок ее золовки. Что же, значит, ее муж судит обо всех по графине Джемини? Дама эта часто лгала, и своего мужа она обманывала не только на словах. Достаточно и того, что сии факты числятся среди предполагаемых традиций Озмонда, вполне достаточно, зачем же приписывать их всем и каждому? Вот это ее презрение к подобным предположениям мужа, вот оно-то и заставило Озмонда распрямиться и встать во весь рост. У него у самого был изрядный запас презрения, и жене его тоже, разумеется, надлежало иметь некоторую толику, но что она обратит жгучие лучи своего негодования против его собственного образа мыслей — этой опасности он не предусмотрел. Он полагал, что ему удастся своевременно упорядочить ее душевные движения. Изабелла легко могла представить себе, как он бесновался, когда обнаружил, что слишком

на себя понадеялся. Если жена заставляет мужа испытать такого рода ощущения, ему ничего не остается, как возненавидеть ее. К несчастью, она была твердо уверена, что чувство ненависти, в котором он искал сначала утешения и успокоения, сделалось теперь главным его занятием, усладой его жизни. Чувство это отличалось большой глубиной, так как было искренним: Озмонда вдруг осенило, что в конце концов она может от него избавиться. Если ее самое эта мысль потрясла, если ей самой она показалась сначала чуть ли не черной изменой, кощунством, то трудно даже представить себе, как она должна была подействовать на *него.* Все обстояло очень просто: он ни во что ее не ставит, у нее нет традиций, у нее нравственный кругозор священника-унитария.[157] Бедная Изабелла, которая так никогда и не могла понять, что же такое унитаризм! С этой уверенностью она и жила теперь бог знает сколько времени, она потеряла ему счет. Что у нее впереди? Что их ожидает? — беспрестанно спрашивала она себя. Что сделает он? Что следует

[157] Примечания: 157

Унитарии — протестантская секта, отвергавшая догмат троицы, учение о грехопадении и таинстве. Существовала в Польше и Венгрии в XVI–XVII вв. В первой половине XIX в. распространилась в США, где имела много сторонников. Центром этого движения был Гарвардский университет.

делать ей? Когда муж ненавидит жену — к чему это может привести? Она не ненавидела его, в этом она была убеждена, иначе не испытывала бы порой такого страстного желания сделать ему приятное. Но куда чаще она испытывала страх, и еще ее постоянно мучило то, о чем я уже упомянул, — сознание, что она с самого начала обманула Озмонда. Во всяком случае, они были странной супружеской парой, и жизнь, которую они вели, была ужасна. Перед этим он почти неделю с ней не разговаривал, был холоден, как потухший камин. Она знала, что у него есть на то особые причины; он недоволен был затянувшимся пребыванием в Риме Ральфа Тачита. Озмонд считал, что его жена слишком часто видится со своим кузеном. Неделю назад он сказал: неприлично ей ходить к нему в гостиницу. Он бы еще и не то сказал, если бы, при состоянии здоровья Ральфа, обвинение во всех грехах не звучало чересчур уж вопиюще; Ко необходимость сдерживаться еще больше разъяряла Озмонда. Изабелла видела это не менее ясно, чем, глядя на циферблат часов, мы видим, который час. Она знала, внимание, оказываемое ею кузену, приводит ее мужа в бешенство, знала это так же твердо, как если бы Озмонд запер ее в комнате, о чем он, по ее

мнению, безусловно мечтал. Она искренне считала, что в общем не проявляет непокорности, но не могла же она делать вид, будто равнодушна к Ральфу. Она считала, что пробил наконец его час, что он умирает, что ей больше никогда не увидеть его, и оттого исполнилась к нему невероятной нежности. Ей все было не в радость теперь, да и могло ли быть что-нибудь в радость женщине, знающей, что она понапрасну загубила свою жизнь? На сердце у нее была вечная тяжесть, на всем лежал какой-то мертвенный отблеск. Но встречи с Ральфом были светом во мраке: в тот короткий час, что она сидела с ним, душа ее болела не за себя, а *за него.* Ей стало казаться, будто он ее брат. У Изабеллы не было брата, но, будь он у нее и случись в ее жизни беда, а брат в это время умирал бы, он не был бы ей дороже, чем Ральф. О да, Гилберт, пожалуй, имел некоторые основания ревновать — он отнюдь не выигрывал в ее глазах за те полчаса-час, что она проводила с Ральфом. И не потому, что они говорили о нем, и не потому, что она жаловалась. Они даже его имени никогда не произносили. Просто Ральф был благороден, а ее муж — нет. Слова Ральфа, его улыбка, уже одно его присутствие в Риме словно раздвигали пределы порочного круга, в котором

она вращалась. Ральф заставлял ее поверить, что в мире существует добро, поверить, что все могло быть иначе. Он ведь не уступал в уме Озмонду — притом, что был намного лучше. И вот из какого-то благоговейного чувства к нему ей казалось, она должна скрывать свои горести. Она скрывала их очень тщательно и, беседуя с Ральфом, непрерывно опускала занавес и расставляла ширмы. В ней все еще живо было воспоминание — оно так и не успело умереть — о том утре в саду, когда он предостерегал ее против Озмонда. Стоило только закрыть глаза — и она видела этот сад, слышала голос Ральфа, вдыхала теплый благоуханный воздух. Откуда он мог знать? Какая поразительная, непостижимая мудрость! Так же умен, как Озмонд? Нет, намного умнее, раз сумел до этого додуматься, Гилберт не способен судить так глубоко, так справедливо. Она пообещала тогда Ральфу, что, даже если он окажется прав, от нее он, во всяком случае, этого не узнает, и теперь изо всех сил старалась сдержать обещание. Это доставляло ей немало забот, она делала это страстно, истово, как бы исполняя благочестивый долг. Из чего только женщины не способны порой создавать себе долг благочестия! Изабелла, притворяясь сейчас перед своим кузеном,

воображала, что совершает милосердное деяние. Возможно, так оно и было бы, если бы ей удалось хоть на миг его провести. А в действительности милосердие ее сводилось преимущественно к тому, что она пыталась внушить Ральфу, будто когда-то он жестоко ее ранил и весь дальнейший ход событий его посрамил, но так как она очень великодушна, а он очень болен, то она не помнит обиды, более того — великодушно остерегается выставлять напоказ свое счастье. Ральф, лежа на диване, только улыбался про себя в ответ на это удивительное проявление милосердия, но прощал ее — за то, что она простила его. Она не хотела, чтобы он знал, как она несчастлива, не хотела причинять ему боль; вот это и есть главное, а что такое знание могло бы оправдать его в собственных глазах, не столь уж существенно.

И теперь Изабелла сидела одна в затихшей гостиной, хотя огонь в камине давно уже потух. Ей не грозила опасность замерзнуть, она горела как в лихорадке. Раз от разу бой часов становился все долгозвучнее, но в своем бдении она осталась к этому глуха. Ум ее, осаждаемый видениями, был страшно возбужден, и пусть лучше видения эти посетят ее здесь, где она для того и не спит, чтобы встретить их, а не там, где хоть она и опустит го-

лову на подушку, все равно они, будто издеваясь, не дадут ей сомкнуть глаз. Повторяю, она не считала себя непокорной женой, и нужны ли тому иные подтверждения, если она засиделась почти до утра, пытаясь убедить себя, что, собственно говоря, Пэнси вполне можно выдать замуж так, как отправляют по почте письмо. Когда часы пробили четыре, Изабелла поднялась; она решила, наконец, отправиться спать — лампа уже давно погасла, свечи догорели до основания. Но, дойдя до середины гостиной, она снова замерла на месте и стояла, вглядываясь в неожиданно возникшее перед ней еще одно видение: ее муж и мадам Мерль, так безотчетно и так тесно связанные.

43

Три вечера спустя она повезла Пэнси на великосветский бал; они ехали вдвоем, без Озмонда, который балов не посещал. Пэнси отправилась на бал так же охотно, как и всегда: она не склонна была к обобщениям и не распространяла на все радости жизни запрет, наложенный на любовь. Если она думала выиграть время или надеялась усыпить внимание отца, то, очевидно, рассчитывала на успех. Изабелле это казалось маловероятным; вероятнее всего, Пэнси просто решила быть послушной дочерью. О более благоприятном случае отличиться по части послушания нельзя было и мечтать, а Пэнси относилась к благоприятным случаям с должным почтением. Она была не менее предупредительна, чем обычно, и с обычной заботливостью оберегала свои воздушные юбки; в руке она сжимала букетик и по меньшей мере в двадцатый раз пересчитывала цветы. Изабелла рядом с ней невольно чувствовала себя старой, она и забыла, когда в последний раз на балу испытывала радостный трепет. У Пэнси, пользовавшейся несомненным успехом, никогда

не было недостатка в кавалерах, и едва лишь они вошли в зал, как она передала свой букетик не собиравшейся нынче танцевать Изабелле. Прошло несколько минут, и охотно оказавшая ей эту услугу Изабелла увидела поблизости от себя Эдварда Розьера, и вот он уже стоял перед ней. От его приятной улыбки не осталось и следа, весь облик дышал воинственной отвагой. Столь неожиданная метаморфоза вызвала бы, наверное, у Изабеллы улыбку, если бы она не понимала, что по существу все обстоит крайне серьезно, поскольку обыкновенно от этого джентльмена пахло гелиотропом, а не порохом. Он посмотрел на нее с каким-то подобием свирепости, словно давая ей понять» что опасен, но тут заметил в руке у Изабеллы букетик, и взгляд его, задержавшись на нем, заметно смягчился.

— Одни анютины глазки; должно быть, это ее.

Изабелла приветливо улыбнулась ему.

— Вы угадали, она оставила его мне на время танца.

— Дайте мне хоть секунду подержать его, миссис Озмонд, — взмолился бедный молодой человек.

— Нет; я вам не доверяю, вы мне его не вернете.

— Вы правы, я за себя не ручаюсь, я могу тут же с ним сбежать. Но дайте мне хотя бы один цветок.

Изабелла несколько мгновений колебалась, потом, все так же улыбаясь, протянула ему цветы.

— Вот, выберите сами, — сказала ока. — Страшно даже подумать, что я для вас делаю.

— И это все, и больше вы ничего не сделаете, миссис Озмонд? — вставив в глаз монокль и тщательно выбирая цветок, воскликнул Розьер.

— Не смейте вдевать его в петлицу, — сказала она. — Не смейте, слышите!

— Мне хотелось бы, чтобы она увидела. Она отказывается со мной танцевать, но я желал бы показать ей, что все равно в нее верю.

— Показать это ей куда ни шло, но нельзя показывать этого другим. Отец запретил ей танцевать с вами.

— И это все, что *вы* для меня сделаете? Я ожидал от вас большего, миссис Озмонд, — проговорил молодой человек с какой-то многозначительной укоризной. — Ведь мы с вами столько лет знакомы, чуть ли не со времен нашего невинного детства.

— Не внушайте мне, что я так стара, — терпеливо ответила Изабелла. — Зачем постоянно возвращаться к тому, чего я не отрицаю? Но хоть

мы с вами и старые друзья, если бы вы оказали мне честь и просили моей руки, я бы вам, не задумываясь, отказала.

— Значит, вы ни во что меня не ставите. Уж признались бы тогда сразу, что считаете меня просто-напросто парижским мотыльком.

— Я очень высоко вас ставлю, но нисколько не влюблена в вас. Конечно, я имею в виду, не влюблена в вас как в претендента на руку Пэнси.

— Что ж, понятно. Вы меня жалеете, только и всего. — И, не вынимая монокля из глаза, он почему-то огляделся по сторонам. Для Эдварда Розьера было новостью, что он может прийтись не по вкусу, и у него по крайней мере хватило гордости не показать вида, что он готов принять это за общее правило.

Изабелла ответила не сразу. В его манере держаться, в его наружности не было ничего от настоящего трагического величия; чего стоил хотя бы один его монокль. Но неожиданно она почувствовала себя растроганной — в конце концов их несчастья были чем-то сродни; впервые она так ясно увидела, что перед ней если и не в очень романтической, то в очень убедительной форме самое что ни есть берущее за душу — борющаяся с превратностями юная любовь.

— Вы, правда, будете к ней очень добры? — спросила она наконец, понизив голос.

Благоговейно опустив глаза, он поднес к губам зажатый в пальцах цветок, потом посмотрел на Изабеллу.

— Меня вам жаль, но неужто вам ничуть не жаль ее?

— Не знаю, не уверена. Жизнь всегда будет доставлять ей радость.

— Все зависит от того, что вы называете жизнью! — произнес очень выразительно мистер Розьер. — Вряд ли ей доставит радость, если ее будут мучить.

— Это ей не грозит.

— И на том спасибо. Но она-то знает, чего хочет. Вы скоро в этом убедитесь.

— Думаю, что знает; она никогда не ослушается отца. Но вот и она сама, — добавила Изабелла. — Я должна просить вас уйти.

Розьер помедлил до тех пор, пока к ним не подошла об руку со своим кавалером Пэнси; он задержался ровно настолько, чтобы посмотреть ей в лицо. Потом с высоко поднятой головой удалился, и то, какого труда ему стоило внять голосу благоразумия, еще раз показало Изабелле, насколько он влюблен.

Пэнси, нимало не разгоряченная танцами, остававшаяся после этих упражнений неизменно свежей и прохладной, подождав немного, забрала свой букетик. Наблюдая за ней, Изабелла увидела, как она пересчитывает цветы, и сказала себе, что здесь, безусловно, задеты более глубокие струны, чем ей казалось. Пэнси видела, как удалился Розьер, но она ни словом о нем не обмолвилась, а говорила только о своем кавалере, когда тот, откланявшись, отошел от них, о музыке, о паркете и о том, что ей ужасно не повезло — она уже порвала платье. Изабелла, однако, могла бы поручиться — Пэнси обнаружила, что ее возлюбленный похитил цветок, хотя из этого обстоятельства никак не вытекала заученная любезность, с которой она откликнулась на приглашение следующего кавалера.

Приятность, доведенная до совершенства, сохранявшаяся и в крайних обстоятельствах, входила в систему ее воспитания. Пэнси, на сей раз взявшую свой букетик, снова увлек за собой раскрасневшийся юноша. Прошло несколько минут, и Изабелла заметила, как сквозь толпу к ней пробирается лорд Уорбертон. Оказавшись наконец перед ней, он поздоровался. Они с позавчерашнего вечера не виделись. Лорд Уорбертон,

оглядевшись по сторонам, спросил:

— А где наша маленькая барышня?

Он усвоил себе невинную привычку так именовать мисс Озмонд.

— Танцует, — сказала Изабелла. — Приглядитесь и вы увидите. Обратив взгляд на танцующих, он встретился глазами с Пэнси.

— Она смотрит на меня, но замечать не желает, — сказал он. — А вы почему не танцуете?

— Как видите, я в числе подпирающих стену.

— Не желаете ли потанцевать со мной?

— Благодарю, но я предпочитаю, чтобы вы танцевали с маленькой барышней.

— Одно не исключает другого, тем более что она уже приглашена.

— Она приглашена не на все танцы. Попросите ее приберечь какой-нибудь для вас, а сами приберегите силы. Она танцует, не зная устали, вам надо быть ей под стать.

— Она чудесно танцует, — сказал лорд Уорбертон, следя глазами за Пэнси. — Ну вот, наконец-то, — добавил он, — наконец-то она мне улыбнулась. — Он был при этом настолько красив, непринужден, значителен, что, взглянув на него, Изабелла в который уже раз подумала: как странно, что человек подобного разбора обратил

внимание на маленькую барышню. В этом было такое несоответствие, что ни простодушное обаяние Пэнси, ни безусловная доброта самого лорда Уорбертона, ни даже его постоянная и ненасытная жажда развлечений не могли, по мнению Изабеллы, этого объяснить. — Мне хотелось бы потанцевать с вами, — сказал он секунду спустя, снова повернувшись к Изабелле. — Но еще больше, пожалуй, хотелось бы с вами поболтать.

— Вам это как-то больше к лицу, более достойно вашего высокого сана. Государственным мужам вальсировать не пристало.

— Не будьте так жестоки. Почему же в таком случае вы только что советовали мне пригласить мисс Озмонд?

— Это совсем другое дело. Если вы пригласите танцевать ее, это будет выглядеть как проявление доброты с вашей стороны, как желание доставить удовольствие ей. Если же пригласите меня, это будет выглядеть как желание доставить удовольствие себе.

— А я, что же, не вправе доставлять себе удовольствие?

— Разумеется, нет, — ведь у вас на руках дела всей британской империи.

— Да пропади она пропадом, эта британская

империя! Вечно вы над ней смеетесь.

— Давайте лучше поболтаем, если это доставит вам удовольствие.

— Я не уверен, что это сулит мне отдохновение. Вы слишком остры; мне предстоит все время обороняться. А нынче вечером вы, на мой взгляд, особенно опасны. Так вы решительно отказываетесь танцевать?

— Я не могу отсюда уйти. Пэнси будет искать меня здесь.

— Вы очень к ней добры, — внезапно сказал он после паузы.

С легким удивлением посмотрев на него, Изабелла, улыбаясь, спросила:

— А вы допускаете, что к ней можно быть недоброй?

— Нет, нет; мне ли не знать, как она очаровательна. Но вы столько для нее сделали.

— Я просто брала ее всюду с собой, — продолжала, все так же улыбаясь, Изабелла, — и следила за тем, чтобы у нее был достаточный запас туалетов.

— Для нее ваше общество большое благо. Вы беседовали с ней, наставляли ее, развивали ее ум.

— О да, она пусть и не роза, но близ нее цвела.

Изабелла рассмеялась, рассмеялся и ее собесед-

ник, но по лицу его пробежала тень озабоченности, несовместимая с истинной веселостью.

— Мы все стремимся быть к ней поближе, — сказал он, немного поколебавшись.

Она отвернулась; вот-вот должна была возвратиться Пэнси, и Изабелла радовалась, что их разговор прервется. Мы знаем, как нравился ей лорд Уорбертон; он казался ей даже еще приятнее, чем это предопределялось совокупностью его достоинств; дружба с ним была как некий резервный фонд на случай непредвиденных нужд, что-то наподобие текущего счета в банке на крупную сумму. У Изабеллы становилось легче на душе, когда он входил в комнату, его присутствие действовало на нее обнадеживающе, звук его голоса был так же благотворен, по ее мнению, как сама природа. Но при всем том ей ни в коем случае не хотелось, чтобы он слишком к ней приближался, слишком рассчитывал на ее доброе отношение. Она боялась этого, старалась избежать, всей душой надеялась, что он воспретит себе это. Она чувствовала, что, позволь он себе, образно говоря, слишком к ней приблизиться, ей пришлось бы сурово приказать ему держаться на почтительном расстоянии. Пэнси вернулась с еще одной дырой в воздушных юбках, которая

была неизбежным следствием первой и которую она весьма озабоченно продемонстрировала Изабелле. В зале полным-полно джентльменов в мундирах, и они носят эти гадкие шпоры, губительные для платьев барышень. После чего Изабелла доказала, что возможности женщин неисчерпаемы. Она сосредоточилась на пострадавшем туалете Пэнси и, найдя после недолгих поисков булавку, быстро поправила беду, слушая в то же время с улыбкой рассказ Пэнси о ее злоключениях. Внимание Изабеллы, ее сочувствие были неподдельны, действенны и так сказать, прямо пропорциональны ее нисколько не связанным с ними мыслям. Она живо обсуждала сама с собой, уж не пытается ли, чего доброго, лорд Уорбертон за ней ухаживать? Навели ее на эту мысль не только произнесенные им сейчас слова, но и многое другое, некая непрерывность и последовательность поведения. Вот о чем она думала, закалывая булавкой платье Пэнси. Если ее опасения основательны, то, конечно, получается это у него невольно; он сам не ведает, что творит. Но пусть так, от этого ведь ничуть не легче, положение все такое же невозможное. Чем скорее он отдаст себе отчет в происходящем, тем лучше. Он сразу же вступил в разговор с Пэнси и одарил

ее с высоты своего роста улыбкой, выразившей, как это ни невероятно, чистейшую преданность. Пэнси ответила ему со всегдашней своей милой и послушной готовностью. Разговаривая с ней, ему приходилось все время наклоняться, и взгляд ее скользил, как и всегда, вверх и вниз, разглядывая собеседника — точно его особа нарочно была выставлена для обозрения. При этом Пэнси неизменно казалась немного напуганной, но испуг ее не содержал в себе ничего тягостного, ничего, что говорило бы о неприязни; напротив, она смотрела на него с таким видом, точно знала: он знает, что он ей нравится. Изабелла отошла от них, оставив их вдвоем. Она направилась к попавшейся ей на глаза приятельнице и болтала с ней до тех пор, пока звуки музыки не возвестили начало следующего танца, который, как Изабелла знала, тоже был уже кому-то отдан. К ней сейчас же в порыве легкого волнения подлетела Пэнси, и Изабелла, строго придерживаясь взглядов Озмонда, что дочь его должна быть совершенно несамостоятельна, предоставила ее, как какую-нибудь драгоценность, как краткосрочный заем, заранее назначенному кавалеру. У Изабеллы были на сей счет свои соображения, свои оговорки; минутами из-за крайней послушливости

Пэнси обе они, на ее взгляд, выглядели весьма глупо. Но Озмонд составил нечто вроде расписания ее обязанностей в роли дуэньи его дочери, предписывавшего благодетельное чередование поблажек и ограничений; а относительно некоторых его распоряжений она предпочитала быть твердо уверенной, что выполняет их буквально. Возможно, иногда это происходило потому, что она доводила их тем самым до абсурда.

Не успел кавалер увести Пэнси, как Изабелла увидела — лорд Уорбертон снова устремляется к ней. Она пристально смотрела на него, ей хотелось прочитать его мысли. В нем не заметно было ни малейшего смущения.

— Она обещала потанцевать со мной потом, — сказал он.

— Рада это слышать. Вы пригласили ее на котильон, надеюсь?

— Нет, — ответил он с некоторым замешательством, — я пригласил ее не на котильон, а на кадриль.

— Как же вы недогадливы, — сказала не без раздражения Изабелла. — А я-то велела ей не отдавать никому котильон на случай, если вы ее пригласите.

— Да ну! Ах она бедняжка! — И лорд Уорбертон

от души рассмеялся. — Разумеется, я приглашу ее, если вы этого хотите.

— Если этого хочу я? Ну, если вы танцуете с ней только оттого, что этого хочу я…

— Я боюсь ей наскучить. По-моему, у нее нет недостатка в кавалерах, молодые люди просто ее осаждают.

Опустив глаза, Изабелла стремительно раздумывала. Лорд Уорбертон стоял и смотрел на нее, и она чувствовала на своем лице его взгляд и чувствовала, как в ней растет желание попросить лорда Уорбертона отвести его. Подавив в себе, однако, это желание, она, в свою очередь, подняла глаза и промолвила:

— Будьте добры, объясните мне, пожалуйста.

— Что объяснить?

— Десять дней назад вы сказали мне, что хотите жениться на моей падчерице. Или, быть может, вы это забыли?

— Забыл? Я нынче утром написал об этом мистеру Озмонду.

— Вот как, — сказала Изабелла. — А он и словом не обмолвился, что получил ваше письмо.

Лорд Уорбертон слегка замялся.

— Я… я его еще не отослал.

— Быть может, вы *забыли* о нем?

— Нет. Я просто им неудовлетворен. Не так-то легко, знаете, написать такое письмо. Но я его тотчас же отправлю.

— В три часа утра?

— Я имею в виду позже, в течение дня.

— Прекрасно. Значит, вы по-прежнему хотите на ней жениться?

— Даже очень.

— И не боитесь наскучить ей? — Поскольку лорд Уорбертон в ответ на этот вопрос только удивленно на нее посмотрел, Изабелла добавила: — Если она не может протанцевать с вами каких-нибудь полчаса, не соскучившись, как же сможет потом танцевать с вами всю жизнь?

— Ну, — ответил, не задумываясь, лорд Уорбертон, — я разрешу ей танцевать с другими. А что касается котильона, дело в том, что я рассчитывал, что вы… что вы…

— Соглашусь танцевать его с вами? Я ведь сказала уже — я ни на **что** не соглашусь.

— Совершенно верно; поэтому я постараюсь найти какой-нибудь укромный уголок, и пока танцуют котильон, мы с вами посидим и поболтаем.

— О, — сказала Изабелла без улыбки, — не слишком ли вы обо мне заботитесь?

Когда наступила очередь котильона, который Пэнси, смиренно полагая, что у лорда Уорбертона нет на нее никаких видов, уже, как оказалось, кому-то обещала, Изабелла посоветовала ему пригласить какую-нибудь другую даму, но он заявил, что ни с кем, кроме нее, танцевать не желает. Так как Изабелла, несмотря на уговоры хозяйки дома, отклонила все приглашения под тем предлогом, что нынче не танцует, то ей невозможно было сделать исключение для лорда Уорбертона.

— Признаться, я не большой охотник до танцев, — сказал он. — Это варварская забава. Я предпочитаю болтать.

И лорд Уорбертон намекнул Изабе лле, что нашел как раз такой уголок, о каком мечтал, — тихое прибежище в одной из комнат поменьше, где музыка чуть слышна и не врывается в разговор. Изабелла решила не препятствовать ему в этом замысле; ей хотелось окончательно удостовериться. Она двинулась вместе с ним к выходу из бального зала, хоть и знала — ее муж рассчитывает, что она ни на минуту не упустит из виду Пэнси, но поскольку речь шла о prétendant[158] на руку его дочери, то надеялась, что в глазах Озмон-

[158] Примечания: 158
претенденте (фр).

да это послужит ей оправданием. Выходя из зала, она натолкнулась в дверях на Эдварда Розьера, который стоял там, скрестив руки на груди, и с видом изверившегося во всем человека смотрел на танцующих. Изабелла, приостановившись, спросила его, почему он не танцует.

— Потому что не могу танцевать с *ней*, — ответил он.

— Тогда, наверное, вам лучше уйти, — дала ему благой совет Изабелла.

— Я уйду, только когда уйдет она. — И он посторонился, пропуская лорда Уорбертона, так в его сторону ни разу и не взглянув.

Лорд Уорбертон обратил, однако, внимание на печального молодого человека и спросил Изабеллу, кто этот ее мрачный друг, добавив, что где-то уже его встречал.

— Это тот самый молодой человек, про которого я вам говорила, что он влюблен в Пэнси.

— Как же, помню. Выглядит он неважно.

— У него есть причины. Мой муж знать его не желает.

— Что так? — спросил лорд Уорбертон. — Он кажется вполне безобидным.

— Но недостаточно богат и недостаточно умен.

Лорд Уорбертон слушал с интересом; его, оче-

видно, немало поразил этот отзыв.

— Неужели? А вид у него вполне состоятельного молодого человека.

— Так оно и есть. Но моему мужу угодить нелегко.

— Понятно. — Лорд Уорбертон немного помолчал. — Какой же у него доход? — решился он спросить наконец.

— Сорок тысяч франков годовых.

— Тысяча шестьсот фунтов? Это, знаете ли, очень и очень недурно.

— Я тоже так считаю. Но мой муж претендует на большее.

— Да, я заметил, что ваш муж претендует на очень многое. Ну и что ж, этот молодой человек — непроходимый осел?

— Осел? С чего вы взяли? Он очень даже мил. Я сама была влюблена в него, когда ему было двенадцать лет.

— Он и сейчас кажется немногим старше. — Оглядываясь по сторонам, ответил с отсутствующим видом лорд Уорбертон. После чего он, заметно оживившись, спросил:

— Как вы смотрите на то, чтобы расположиться здесь?

— Где вам будет угодно. — В комнате, подобии

будуара, царил мягкий розовый полумрак; как только они переступили порог, из нее вышли дама и господин. — Вы очень добры, вы проявляете столько участия к мистеру Розьеру.

— На мой взгляд, с ним обошлись жестоко. У бедняги такое вытянутое лицо, что разве слепой не заметит. Вот я и подумал, чем это он так угнетен.

— Да вы просто праведник, — сказала Изабелла. — Готовы доброжелательствовать даже сопернику.

Резко повернувшись, лорд Уорбертон изумленно на нее посмотрел.

— Сопернику? Вы называете его моим соперником?

— А как же его назвать, если оба вы хотите жениться на одной и той же девушке?

— Да… но ведь у него нет никаких шансов.

— Пусть так, и все же вы нравитесь мне тем, что способны поставить себя на его место. Это доказывает, что у вас есть воображение.

— Я вам этим нравлюсь? — спросил, посмотрев на нее с некоторой неуверенностью, лорд Уорбертон. — Думаю, вы хотите сказать, что я вам этим смешон.

— Слегка. Но мне нравится над вами смеяться.

— Что ж, тогда я желал бы войти в его положение более обстоятельно. Как вы полагаете, можно ему чем-нибудь помочь?

— Я так превозносила сейчас ваше воображение, что предоставляю решать это вам самому. И Пэнси вы тоже очень бы этим понравились, — заметила Изабелла.

— Мисс Озмонд? Но я льщу себя надеждой, что и без того ей немного нравлюсь.

— Думаю, даже очень.

Он помолчал, все так же вопросительно глядя на нее.

— Тогда я вас не понимаю. Не хотите же вы сказать, что она к нему неравнодушна.

— Я, безусловно, говорила вам, что, по-моему, неравнодушна.

Его лицо мгновенно залилось краской.

— Вы говорили мне, что она во всем послушна отцу. И коль скоро он, насколько я понял, относится ко мне благосклонно, то… — Помявшись, он, все еще с краской в лице, спросил: — Разве не так?

— Все так. Я говорила вам, что она жаждет угодить своему отцу и ради этого способна на многое.

— На мой взгляд, подобные чувства делают ей

честь, — сказал лорд Уорбертон.

— Разумеется, это делает ей честь. — Изабелла несколько секунд молчала; они по-прежнему сидели одни в комнате, музыка доносилась до них приглушенно, утратив по пути свою полнозвучность. — Но мне кажется, мужчине вряд ли приятно знать, что жену он обрел только благодаря таким ее чувствам.

— Отчего же, если жена преданная и он считает, что ее брак из удачных.

— Ну, конечно, вы должны так считать.

— Ничего не могу с этим поделать. Вы скажете, конечно, что во мне говорит англичанин.

— Нет, не скажу. Я думаю, для Пэнси такой брак большая удача. Кто-кто, а уж вы-то вправе так считать. Но вы не влюблены в нее.

— . Уверяю вас, миссис Озмонд, влюблен.

Изабелла покачала головой.

— Вам хочется, сидя здесь со мной, так думать. Но у меня иное впечатление.

— Да, на молодого человека в дверях я не похож, не спорю. Но что ж в этом удивительного? И потом мисс Озмонд так мила, что ее просто нельзя не любить.

— Наверное, нельзя, но любовь не считается с доводами рассудка.

— Тут мы с вами расходимся. Я рад, что мое решение подкреплено доводами рассудка.

— Кто же в этом сомневается. Вот будь вы по-настоящему влюблены, вам не было бы до них никакого дела.

— По-настоящему влюблен… по-настоящему влюблен! — воскликнул лорд Уорбертон и, скрестив на груди руки, откинув на спинку голову, вытянулся в кресле. — Не забывайте, мне сорок два года. Я уже не тот, что был.

— Ну, если вы так уверены, — сказала Изабелла, — тогда все обстоит хорошо.

Ничего не ответив, он продолжал сидеть, откинув назад голову, глядя прямо перед собой. Потом, неожиданно переменив позу, быстро повернулся к Изабелле.

— Почему вы так этого не хотите, так скептически к этому относитесь?

Их взгляды скрестились, и несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Если ей хотелось удостовериться, то кое в чем она сейчас удостоверилась, кое что увидела: в его взгляде промелькнула догадка, что, может быть, она тревожится за себя, может быть, даже боится. Взгляд говорил о подозрении, не о надежде. Но так или иначе он сказал, то, что она желала знать. Лорд

Уорбертон никоим образом не должен заподозрить, что она угадала в его видах на падчерицу скрытое стремление быть ближе к мачехе и, обнаружив это стремление, ужаснулась. Коротким, но очень обнаженным взглядом они открыли друг другу больше, чем сами в тот момент сознавали.

— Дорогой лорд Уорбертон, — ответила она, улыбаясь, — если речь обо мне, то вы можете поступать, как вам вздумается.

С этими словами она встала и направилась в соседнюю комнату, где тут же, на глазах у своего собеседника, вступила в разговор с двумя господами из числа самой родовитой римской знати, словно нарочно явившимися туда с целью ее разыскать. Беседуя с ними, она в то же время пожалела, что поднялась и ушла от него: ее уход чуть-чуть походил на бегство, тем более что лорд Уорбертон за ней не последовал. Однако она рада была этому обстоятельству, и, во всяком случае, она наконец удостоверилась. Удостоверилась настолько, что, увидев при входе в бальный зал точно приросшего к порогу Эдварда Розьера, остановилась и снова с ним заговорила:

— Вы правильно сделали, что не ушли, у меня есть для вас кое-какие утешительные вести.

— Я очень в них нуждаюсь, — откликнулся мо-

лодой человек жалобным тоном. — Каково мне было видеть, что вы так к *нему* благоволите.

— Не будем говорить о нем. Я сделаю для вас все, что могу. Боюсь, правда, это не очень много. Но все, что могу, я сделаю.

Он мрачно на нее покосился.

— Почему это вы вдруг передумали?

— Потому, что вы стали постоянной помехой в дверях, — ответила она с улыбкой и прошла в зал. Полчаса спустя, собравшись ехать домой, она вместе с Пэнси и толпой других гостей стояла внизу у подножья лестницы в ожидании кареты. Как только ее подали, на крыльцо вышел лорд Уорбертон и подсадил в нее обеих дам. Задержавшись у дверцы, он спросил Пэнси, хорошо ли она повеселилась; ответив ему, она со слегка усталым видом откинулась назад. После чего, поманив его пальцем из окна, Изабелла шепнула:

— Не забудьте же отправить письмо ее отцу.

44

Графиня Джемини часто скучала — скучала, по ее собственному выражению, до полного изнеможения. Однако она не изнемогла, напротив, весьма храбро сражалась с судьбой, по милости которой оказалась женой несговорчивого флорентийца, упорствовавшего в своем нежелании покинуть родной город, где он пользовался уважением настолько, насколько может им пользоваться человек, чья способность проигрывать в карты объясняется чем угодно, но отнюдь не его любезным правом. Графа Джемини не любили даже те, кто у него выигрывал, и если имя его было еще в какой-то цене во Флоренции, то, подобно монете местной чеканки в старых итальянских городах, оно на всем остальном полуострове хождения не имело. В Риме его считали всего лишь тупым флорентийцем, поэтому следует ли удивляться, что он не стремился туда, где, дабы ему сошла с рук его тупость, требовались основания более веские, чем мог предъявить граф. Графиня меж тем жила, так сказать, не спуская глаз с Рима, и одним из самых больших ее огорчений было то,

что у нее там нет собственного дома. Она стыдилась признаться, как редко наезжает в этот город, и ее нисколько не утешала мысль, что многие самые родовитые флорентийцы вообще ни разу не побывали в Риме. Она отправлялась туда, как только выпадал случай, — вот все, что она могла сказать в свое оправдание, вернее, все, что, по ее словам, позволяла себе сказать. На самом деле она могла бы сказать по этому поводу гораздо больше и часто излагала причины, по которым ненавидела Флоренцию и мечтала окончить дни под сенью Святого Петра. Причины эти, не имеющие прямого отношения к нашему повествованию, сводились в итоге к тому, что Рим это Вечный город, а Флоренция просто славный городок, не хуже и не лучше любого другого. По всей видимости, графине необходимо было привнести в свои развлечения понятие вечности. Она утверждала, что общество в Риме куда интереснее, что на вечерних сборищах там всю зиму напролет угощают знаменитостями. Во Флоренции не было знаменитостей, по крайней мере таких, о которых доводилось бы слышать. После женитьбы брата раздражение графини чрезвычайно возросло: его жена ведет жизнь более блестящую, чем она, в этом сомнений не было. Разумеется, она не отли-

чается столь возвышенным умом, как Изабелла, и все же у нее хватило бы ума отдать должное Риму, если не его руинам, катакомбам, памятникам, музеям и, пожалуй, даже не его богослужениям и пейзажам, то уж всему остальному, во всяком случае. До нее со всех сторон доносились слухи о невестке, и она прекрасно знала, каким Изабелла пользуется успехом. Да она и сама это видела в тот единственный раз, когда гостила в палаццо Рокканера. В первую зиму после женитьбы брата она провела там неделю, предложения повторить это удовольствие не последовало. Озмонду претит ее общество, это она отлично понимала, но все равно поехала бы — что ей в конце-то концов за дело до Озмонда? Все упиралось в графа, не желавшего ее отпускать, и, по обыкновению, в отсутствие денег. Изабелла приняла ее в тот раз очень радушно. Графиня с первого же взгляда одобрила невестку, ее не ослепила зависть к привлекательным свойствам Изабеллы. Она всегда утверждала, что лучше ладит с умными женщинами, чем с такими же глупенькими, как она сама; глупенькие не способны оценить всю меру ее мудрости, тогда как умные, по-настоящему умные, вполне способны оценить всю ее безмерную глупость. Ей казалось, что, как ни разнятся они

с Изабеллой и внешне, и по всему складу, тем не менее есть у них некий клочок общей почвы, который рано или поздно их объединит. И пусть он невелик, но почва, несомненно, твердая: стоит им только ступить на нее, и они обе это сразу почувствуют. Ну и затем, живя возле Изабеллы, графиня непрерывно находилась в состоянии приятного изумления: она все время ждала, что Изабелла начнет смотреть на нее «свысока» и все время недоумевала, почему это откладывается. Она спрашивала себя, когда же это наконец начнется, словно речь шла о фейерверке, или великом посте, или об оперном сезоне. Нельзя сказать, чтобы графиня Джемини придавала этому большое значение, нет, но она не могла понять, за чем же дело стало. Невестка была с ней неизменно ровна и не проявляла ни презрения, ни восторга. По правде говоря, Изабелле просто не приходило в голову ее осуждать — не обвиняем же мы в отсутствии нравственных правил кузнечика. Однако Изабелла не относилась к сестре своего мужа безразлично, скорей она слегка ее побаивалась и не переставала ей удивляться, как чему-то из ряда вон выходящему. По мнению Изабеллы, у графини не было души: она напоминала яркую диковинную раковину с отшлифованной

поверхностью и невероятно розовым краем, в которой, если ее встряхнуть, что-то побрякивает. Вот это побрякивание и являло собой, очевидно, духовный мир графини — маленький орешек, который свободно перекатывается у нее внутри. Ну можно ли было негодовать на нее, когда она казалась до такой степени странной, или с кем-то ее сравнивать, когда она ни с кем ни в какое сравнение не шла? Изабелла пригласила бы ее снова (о том, чтобы пригласить графа, не было и речи), но Озмонд после женитьбы сказал Изабелле со всей откровенностью, что Эми дура, причем дура наихудшего толка, и так разнуздана в своих безумствах, что это граничит уже с гениальностью. В другой раз он сказал, что у Эми нет сердца, и тут же добавил: она раздала его все без остатка по маленьким кусочкам, как глазированный свадебный пирог. Итак, приглашений не следовало, и это являлось еще одним обстоятельством, удерживавшим графиню от поездки в Рим, но тут мы подошли в нашем повествовании как раз к той блаженной минуте, когда наконец ее пригласили провести несколько недель в палаццо Рокканера. Предложение исходило от самого Озмонда; при этом он предупреждал сестру, что ей надлежит вести себя очень тихо. Уразумела

ли графиня до конца смысл, вложенный им в эту фразу, я сказать не берусь, но она готова была принять приглашение на любых условиях. Помимо всего прочего, ее еще мучило любопытство, поскольку из первого своего визита она вынесла впечатление, что брат нашел жену себе под стать. До того, как Озмонд женился на Изабелле, она ее жалела, жалела настолько, что одно время серьезно подумывала — в той мере, в какой вообще способна была думать серьезно, — не должна ли она ее предостеречь. Но графиня не поддалась этому порыву и очень скоро успокоилась. Озмонд держался все так же высокомерно, как и всегда, но жена его была не из тех, кого легко сломить. Графиня не отличалась в своих оценках большой точностью, тем не менее ей казалось, что, если Изабелла встанет во весь рост, силой духа она возвысится над мужем. Теперь графине очень хотелось выяснить, встала ли уже Изабелла во весь рост: ей доставило бы огромное удовольствие видеть, как над ее братом кто-то взял верх.

За несколько дней до отъезда графини в Рим слуга вручил ей визитную карточку со следующей скромной надписью: «Генриетта Стэкпол». Графиня приложила ко лбу кончики пальцев: насколько она помнила, среди знакомых ей Ген-

риетт такой не числилось. Но тут слуга доложил: дама просила передать, что если графиня забыла ее имя, то ее самое узнает с первого же взгляда. К тому моменту, когда графиня вышла к своей гостье, она уже припомнила, что действительно однажды у миссис Тачит познакомилась с некой пишущей дамой — единственной когда-либо виденной ею писательницей, вернее, единственной из ныне здравствующих, поскольку ее усопшая матушка была поэтессой. Она мгновенно узнала мисс Стэкпол, тем более что та ни капли не изменилась; отличавшаяся редким добродушием графиня почувствовала себя весьма польщенной визитом особы, пользующейся подобной известностью. Одновременно она стала обдумывать — что же привело к ней мисс Стэкпол; скорей всего, та прослышала о покойной американской Коринне. Матушка ее ничем не походила на приятельницу Изабеллы, графине достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, насколько дама эта современнее; у графини создалось впечатление, что в облике (литературном облике) писательниц, главным образом из дальних стран, произошли весьма благоприятные изменения. Ее матушка носила римскую шаль, которой окутывала свои обнаженные плечи,

трепетно выступавшие из черного облегающего стан бархата (ох уж эти старомодные платья), а множество шелковистых локонов украшал золотой лавровый венок. Говорила она туманно и томно с выговором, унаследованным от предков «креолов», — в чем охотно признавалась; она постоянно вздыхала и была совсем не предприимчива. А от Генриетты, на редкость подтянутой, причесанной волосок к волоску, веяло на графиню чем-то свежим, чем-то в высшей степени дельным. И держалась она чуть ли не с подчеркнутой простотой; ее так же невозможно было представить себе томно вздыхающей, как, скажем, письмо, отправленное по почте без адреса. Графиня сразу почувствовала, что, не в пример американской Коринне, корреспондентка «Интервьюера» прекрасно обо всем осведомлена. Мисс Стэкпол объяснила, что пришла к графине с визитом, так как во Флоренции у нее нет знакомых, а когда она приезжает в чужую страну и чужой город, то хочет увидеть там больше, чем верхогляды-путешественники. Правда, она знакома с миссис Тачит, но миссис Тачит сейчас в Америке; впрочем, даже будь она во Флоренции, Генриетта не стала бы наносить ей визит, поскольку от миссис Тачит она не в восторге.

— Вы хотите сказать, что от меня вы в восторге? — спросила любезно графиня.

— Во всяком случае, вы нравитесь мне больше, чем она, — ответила мисс Стэкпол. — Помнится, когда я видела вас в тот раз, мне показалось, что вы очень интересны; не знаю, следует ли отнести это за счет случайности, или таков ваш обычный стиль. Как бы то ни было, меня поразили ваши высказывания. Я даже потом их напечатала.

— Бог мой! — округлив глаза и слегка всполошившись, вскричала графиня. — Вот уж не думала, что хоть раз за всю жизнь сказала что-нибудь замечательное. Как жаль, что в ту минуту я этого не подозревала.

— Речь шла о положении женщин в вашем городе, — заметила мисс Стэкпол. — Вы очень меня на этот счет просветили.

— Женщинам здесь приходится туго. Вы это имеете в виду? И вы записали мои слова и потом опубликовали их? — продолжала графиня. — Ах, как мне хочется увидеть эту газету!

— Если желаете, я попрошу прислать вам ее. Ваше имя не упомянуто, — сказала Генриетта. — Я просто написала «одна знатная дама» и дальше привела ваши взгляды.

Быстро откинувшись назад, графиня всплесну-

ла руками.

— Знаете, пожалуй, мне жаль, что вы не упомянули мое имя. Мне, пожалуй, хотелось бы видеть свое имя напечатанным! Я забыла уже, какие у меня взгляды — их ведь столько! Но я не стыжусь их. Я совсем не похожа на брата — вы, наверное, знакомы с моим братом? Он считает, что быть упомянутым в газете — это чуть ли не позор. Если бы вы привели его слова, он в жизни бы вам этого не простил.

— Ему нечего опасаться. Я никогда не напишу о нем ни слова, — сказала мисс Стэкпол с сухой вежливостью. — Кстати, — добавила она, — это еще одна причина моего визита к вам. Вы знаете, мистер Озмонд женат на моей самой близкой подруге.

— Ах да, вы же подруга Изабеллы. Я все стараюсь вспомнить, что мне о вас известно.

— Очень рада, что именно этому обстоятельству обязана своей известностью, — заявила Генриетта. — Но вашему брату это вряд ли пришлось бы по вкусу. Он пытался положить конец нашей дружбе.

— Не поддавайтесь ему, — сказала графиня.

— Об этом я и хотела с вами поговорить. Я еду в Рим.

— Я тоже! — вскричала графиня. — Поедем вместе!

— С превеликим удовольствием. И когда я буду описывать эту поездку, я упомяну вас как свою спутницу и назову ваше имя.

Вскочив с кресла, графиня подсела на диван к своей гостье.

— Смотрите же, не забудьте прислать мне газету! Мужу это едва ли понравится, но ему незачем ее видеть. К тому же он не умеет читать.

Глаза Генриетты, и без того большие, стали еще больше.

— Не умеет читать? Могу я упомянуть об этом в моем письме?

— В письме?

— В письме в «Интервьюер». Это моя газета.

— О да, пожалуйста, и непременно с его именем. Вы будете жить у Изабеллы?

Генриетта вскинула голову и несколько секунд молча смотрела на хозяйку дома.

— Она мне этого не предложила. Я написала ей, что собираюсь приехать, и она ответила, что снимет мне комнату в pension,[159] не объясняя причины.

---

[159] Примечания: 159
пансионе *(фр.)*.

Графиня слушала ее с чрезвычайным интересом.

— Причина — Озмонд, — произнесла она многозначительно.

— Изабелле следовало проявить волю, — сказала мисс Стэкпол. — Боюсь, она очень изменилась. Я ей это предсказывала.

— Жаль, если это так, Я надеялась, что она сумеет постоять за себя. А почему мой брат вас не любит? — спросила простодушно графиня.

— Не знаю и не желаю знать. Может не любить сколько его душе угодно. Я и не хочу, чтобы меня все любили; если бы некоторые люди меня любили, я гораздо хуже думала бы о себе. Немного проку от журналиста, который не сумел навлечь на себя ненависть: только по ней он и узнает, что добился успеха. То же самое справедливо и в отношении женщин. Но от Изабеллы я этого не ожидала.

— Вы хотите сказать, что она вас ненавидит? — полюбопытствовала графиня.

— Не знаю, хочу это выяснить. Для того и еду в Рим.

— Бог мой, какая тягостная задача! — воскликнула графиня.

— Я получаю теперь от Изабеллы совсем другие

письма. Они так непохожи на прежние, что это сразу бросается в глаза. Если вам что-нибудь известно, — продолжала мисс Стэкпол, — мне хотелось бы знать это заранее, чтобы решить, как себя вести.

Выпятив нижнюю губу, графиня медленно пожала плечами.

— Мне почти ничего не известно об Озмонде; как правило, от него ни слуху ни духу. Он любит меня немногим больше, чем судя по всему, любит вас.

— Но вы ведь не журналистка, — протянула Генриетта задумчиво.

— Ну, причин у него достаточно. И все же меня они пригласили — я буду жить у них! — Графиня улыбнулась какой-то свирепой улыбкой. Торжество ее было так безгранично, что ей и в голову не пришло посчитаться с разочарованием мисс Стэкпол, которая отнеслась к этому, недосказать, весьма снисходительно.

— Даже если бы они меня *пригласили,* я все равно не согласилась бы у них жить, так мне по крайней мере кажется, и я рада, что избавлена от необходимости решать. Я была бы в большом затруднении. Мне тяжело было бы отказать ей, но в ее доме я чувствовала бы себя очень неуютно.

Меня вполне устраивает pension. Но дело ведь не только этом.

— В Риме сейчас очень хорошо, — сказала графиня. — Кого там только нет — бездна блестящих людей. Вы слышали когда-нибудь о лорде Уорбертоне?

— Слышала ли о нем? Я прекрасно его знаю. Вы находите его блестящим? — поинтересовалась Генриетта.

— Я с ним незнакома; но, говорят, он настоящий, что называется, grand seigneur.[160] Он ухаживает за Изабеллой.

— Ухаживает?

— Так говорят; подробностей я не знаю, — обронила небрежно графиня. — Но за Изабеллу можно не опасаться.

Генриетта очень внимательно смотрела на свою собеседницу; несколько секунд она молчала.

— Когда вы едете в Рим? — отрывисто спросила она.

— Увы, не раньше, чем через неделю.

— Я еду завтра же, — сказала Генриетта. — По-моему, мне следует поторопиться.

---

[160] Примечания: 160
вельможа *(фр)*

— Ах, как жаль; мои платья не будут еще готовы. Говорят, у Изабеллы собирается цвет общества. Но мы там с вами увидимся, я приду к вам в pension. — Генриетта сидела молча, о чем-то размышляя. Графиня же неожиданно воскликнула: — Да, но, если мы едем не вместе, вы не сможете описать нашу поездку!

Мисс Стэкпол осталась, по-видимому, глуха к этому доводу; мысли ее заняты были другим, что сказалось в следующем вопросе:

— Я не уверена, что правильно поняла вас насчет лорда Уорбертона?

— Не поняли меня? Я хотела сказать, что он очень любезен, только и всего.

— Вы считаете, что ухаживать за замужней женщиной любезно? — спросила Генриетта с какой-то невероятной отчетливостью.

Графиня сперва широко открыла глаза, потом расхохоталась.

— Но ведь все любезные мужчины только этим и занимаются! Выходите замуж, и вы сами в этом убедитесь, — добавила она.

— От одной этой мысли у меня пропадает всякая охота, — сказала мисс Стэкпол. — Мне чужие мужья не нужны, мне нужен будет только мой собственный. Вы хотите сказать, что Изабелла

виновна… виновна в…? — и, подбирая слова, она замолкла.

— Виновна? Ну что вы, надеюсь, пока еще нет. Я только хочу сказать, что Озмонд невозможен, а лорд Уорбертон, если верить слухам, у них частый гость. Боюсь, вы скандализованы?

— Нет, я просто встревожена, — сказала Генриетта.

— Это не слишком лестно для Изабеллы. Вам следовало бы питать к ней больше доверия. Так вот, — быстро добавила графиня, — чтобы вас успокоить, я постараюсь его отбить.

В ответ мисс Стэкпол посмотрела на нее еще более серьезным взглядом.

— Вы не так меня поняли, — сказала она после паузы. — У меня и в мыслях не было того, что, по-видимому, предположили вы. В этом смысле я за Изабеллу не боюсь. Я только боюсь, что она несчастна. Это я и пытаюсь выяснить.

Графиня по меньшей мере раз десять качнула головой нетерпеливо и саркастически.

— Очень может быть. Но что касается меня, то я хотела бы знать, несчастен ли Озмонд.

Мисс Стэкпол уже слегка ей наскучила.

— Если она в самом деле переменилась, причина, должно быть в этом, — продолжала Ген-

риетта.

— Вы сами все увидите, она вам скажет, — заверила ее графиня.

— Да нет, она может *не сказать;* этого я и боюсь.

— Ну, если только Озмонд не развлекается на обычный свой манер, уж я-то это сразу обнаружу, — успокоила ее графиня.

— Меня его развлечения не интересуют, — сказала Генриетта.

— А меня — чрезвычайно! Если Изабелла несчастна, мне ее жаль, но я ничем тут помочь не могу. Я могла бы сказать ей кое-что, от чего ей сделалось бы еще тошнее, но ничего утешительного сказать не могу. И что это ей вздумалось выходить за него замуж? Послушалась бы меня, быстро бы от него отделалась. Но так и быть, я готова простить ее, если увижу, что она в состоянии дать ему отпор. А вот если она позволяет помыкать собой, тогда не уверена даже, что у меня найдется для нее хоть капля жалости. Но этого я просто не допускаю. Раз он отравляет ей жизнь, надеюсь, она по крайней мере платит ему той же монетой.

Генриетта поднялась; упования графини, естественно, казались ей чудовищными. Она

искренне верила, что не желает видеть Озмонда несчастным; да и, по правде говоря, он ни в коей мере не занимал ее воображения. В общем Генриетту весьма разочаровала графиня, чей круг мыслей оказался значительно уже, чем она думала, и даже в сих ограниченных пределах грешил пошлостью.

— Лучше бы им любить друг друга, — сказала она назидательным тоном.

— Они не могут; он не способен никого любить.

— Так я и предполагала. И от этого мне еще страшнее за Изабеллу. Нет, решено, я еду завтра.

— Изабелла не может пожаловаться на недостаток в преданных сердцах, — сказала, ослепительно улыбаясь, графиня. — Так знайте же, мне ее ничуть не жаль.

— Возможно еще, окажется, что я ей не в силах помочь, — продолжала мисс Стэкпол, как бы предпочитая не строить иллюзий.

— Но желание у вас есть, а это уже немало. Вероятно, для того вы и приехали из Америки, — добавила вдруг графиня.

— Да, мне захотелось присмотреть за ней, — ответила совершенно невозмутимо Генриетта.

Уперев в нее свои блестящие глазки, свой

исполненный любопытству нос, хозяйка дома стояла и улыбалась, а ее щеки все больше и больше разгорались.

— Ах как это мило, c'est bien gentil! Это, кажется, и зовется настоящей дружбой?

— Не знаю, как это зовется. Я просто подумала, что мне лучше приехать.

— Какая она счастливица, как ей повезло, — продолжала графиня. — И вы у нее не одна, есть и другие. — Тут ее словно прорвало. — Насколько же ей больше повезло, чем мне! Я не менее несчастна, чем она, у меня очень плохой муж, он гораздо хуже Озмонда. А друзей у меня нет. Я думала, что есть, но они все куда-то подевались. Никто, ни один мужчина, ни одна женщина не сделали бы для меня то, что сделали для нее вы.

Генриетта была тронута, в этом горестном словоизлиянии слышался вопль души. Посмотрев на свою собеседницу, она сказала:

— Послушайте, графиня, я сделаю для вас все, что вы пожелаете. Я подожду вас, и мы поедем вместе.

— Это ни к чему, — ответила графиня, мгновенно изменив тон. — Только опишите меня в газете.

Однако Генриетта, прежде чем уйти, вынужде-

на была объяснить ей, что не может опубликовать в газете вымышленное описание своей поездки в Рим. Мисс Стэкпол принадлежала к числу репортеров, ни на шаг не отступающих от истины.

Расставшись с графиней, она направилась к Лунг Арно, солнечной набережной грязно-желтой реки, где стоят, вытянувшись в ряд, знакомые всем путешественникам приветливые гостиницы. Генриетта еще раньше изучила улицы Флоренции (она была в этом отношении на редкость сообразительна) и потому очень решительно свернула с маленькой площади перед мостом Сайта Тринита налево и пошла в сторону Понте Веккио,[161] где и остановилась вскоре возле одной из гостиниц, окна которой смотрят на это восхитительное сооружение. Вынув записную книжку, она извлекла из нее визитную карточку и карандаш, секунду подумала, потом написала несколько строк. Нам позволено взглянуть из-за плеча Генриетты на эту карточку, и если мы воспользуемся своим правом, то прочтем там следующую немногословную просьбу: «Нельзя ли мне сегодня вечером увидеться с вами на несколько минут по очень важному делу?».

---

[161] Примечания: 161
Понте Веккио — мост через р. Арно в центре Флоренции.

Генриетта добавила, что завтра уезжает из Флоренции в Рим. Вооружившись посланием, она направилась к швейцару, успевшему к этому времени занять свой пост в дверях, и осведомилась у него, дома ли мистер Гудвуд. Швейцар ответил так, как испокон веков отвечают все швейцары, т. е. что минут двадцать назад он ушел, после чего Генриетта вручила ему свою визитную карточку и попросила передать ее мистеру Гудвуду, как только тот вернется. Покончив с этим, Генриетта продолжала путь по набережной до строгого портика Уффици и, пройдя под ним, оказалась перед входом в знаменитую картинную галерею. Она вошла и поднялась по ведущей в верхние залы высокой лестнице. Застекленный с одной стороны, украшенный античными бюстами длинный переход, который открывает доступ в эти залы, был пустынен; в ясном зимнем свете поблескивал мраморный пол. В галерее очень холодно, и на протяжении нескольких недель в середине зимы туда почти никто не заглядывает. Пожалуй, вы вправе будете сказать, что не ожидали от мисс Стэкпол такой приверженности к изящным искусствам, но в конце концов могут же у нее быть свои пристрастия, свои предметы поклонения. Одним из таковых являлся маленький

Корреджо в зале Трибуна[162] — мадонна на коленях перед лежащим на соломенной подстилке божественным младенцем: мать хлопает в ладоши, а младенец восторженно смеется и радуется. У Генриетты эта умиляющая душу сцена вызывала особое благоговение — по ее мнению, не было на свете картины прекраснее. И хотя на этот раз она по пути из Нью-Йорка в Рим всего лишь на три дня задержалась во Флоренции, тем не менее решила, что не должна упустить возможность снова полюбоваться любимым произведением искусства. Она поклонялась прекрасному во всех видах, и это налагало на нее множество духовных обязательств. Генриетта собралась было уже свернуть в зал Трибуна, но оттуда навстречу ей вышел джентльмен, и она, издав негромкий возглас, остановилась перед Каспаром Гудвудом.

— Я только что заходила к вам в гостиницу и оставила там визитную карточку, — сказала она.

— Благодарю за оказанную честь, — сказал Каспар Гудвуд так, словно в самом деле был ей благодарен.

— Я приходила не для того, чтобы оказать вам честь; я ведь у вас не первый раз и знаю, что вам

---

[162] Примечания: 162

Имеется в виду картина итальянского живописца Антонио Аллегри да Корреджо (см. прим. 75), экспонируемая в галерее Уффици.

это неприятно. Но мне надо с вами поговорить.

Он несколько секунд смотрел на пряжку, украшавшую ее шляпу.

— Я охотно выслушаю все, что вы пожелаете мне сказать.

— Знаю, разговор со мной не будет вам приятен, — повторила Генриетта, — но мне это все равно, я разговариваю с вами не для вашего удовольствия; я оставила вам записочку с просьбой меня навестить, но, раз уж мы встретились, можем поговорить и здесь.

— Я собирался уходить, — заметил Гудвуд. — Теперь, разумеется, останусь.

Он был вежлив, не более. Но Генриетта на большее и не рассчитывала; настроена она была очень серьезно и радовалась уже тому, что он вообще согласился ее выслушать; однако сначала она спросила, все ли картины он видел.

— Все, что хотел. Я здесь около часа.

Интересно, видели ли вы моего Корреджо, — сказала Генриетта. — Я пришла нарочно на него посмотреть.

Они вошли в зал Трибуна; Каспар Гудвуд медленно следовал за ней.

— Думаю, я его видел, только не знал, что он ваш. Как правило, я картины не запоминаю —

особенно такие.

Она показала ему своего любимца, и Каспар Гудвуд спросил, не о Корреджо ли она намерена с ним говорить.

— Нет, — ответила Генриетта, — о чем-то куда менее гармоничном. — Блистательный маленький зал, эта прославленная на весь мир сокровищница, был, если не считать кружившего у Венеры Медицейской сторожа, всецело предоставлен им. — Я хочу просить вас об одолжении, — продолжала мисс Стэкпол.

Каспар Гудвуд слегка нахмурился, но, видимо, его не смущало, что он проявляет так мало рвения. Выглядел он гораздо старше, чем наш давнишний знакомец.

— Уверен, что мне это не доставит удовольствия, — сказал он довольно громко.

— Думаю, что нет — иначе я не просила бы вас об одолжении.

— Что же, я вас слушаю, — проговорил он тоном человека, вполне понимающего всю меру своего долготерпения.

— Вы можете спросить меня, почему, собственно говоря, вы должны оказывать мне одолжение. Пожалуй, только потому, что, если бы вы мне разрешили, я с радостью оказала бы его *вам.* — Ее

мягкий сдержанный голос, в котором не было ничего нарочитого, звучал так искренне, что собеседник ее, несмотря на свою крепкую броню, невольно растрогался. Но, когда Каспар Гудвуд был растроган, он обычно ничем этого не выдавал: не краснел, не отводил взгляда — словом, и вида не показывал. Он лишь удваивал внимание и как бы преисполнялся еще большей решимости. Поэтому Генриетта все так же сдержанно и без особой надежды на успех продолжала. — Сейчас, мне кажется, самое подходящее время сказать вам, что, быть может, вы из-за меня и попадали в трудное положение (думаю, это случалось иногда), но и я готова была поставить себя ради вас в положение не менее трудное. Не спорю, я не раз причиняла вам беспокойство, но ведь и я охотно обеспокоила бы себя ради вас.

— И сейчас вы чем-то обеспокоены?

— Да, пожалуй. Мне хотелось бы обсудить с вами, стоит ли вам ехать в Рим?

— Я так и знал, что вы это скажете, — ответил он напрямик.

— Значит, вы *тоже* об этом думали?

— Еще бы! Много думал, обсуждал со всех сторон. Иначе не зашел бы так далеко, не очутился бы здесь. Я для того и пробыл два месяца в Пари-

же, чтобы как следует все взвесить.

— Боюсь, вы решили так, как вам хотелось. Решили, что поехать стоит, потому что вас тянет туда.

— Стоит с чьей точки зрения? — спросил он.

— Ну в первую очередь с вашей и только во вторую — с точки зрения миссис Озмонд.

— О, *ей* это не доставит радости! Я нисколько на этот счет не обольщаюсь.

— Не доставило бы ей это печали — вот ведь что важно.

— Не вижу, каким образом это вообще может задеть ее? Я для миссис Озмонд ничто. Но, если хотите знать, я и в самом деле хочу ее видеть.

— Вот-вот, оттого и едете.

— Да, конечно. Более веских причин не бывает.

— Чем вам это поможет, хотела бы я знать? — спросила мисс Стэкпол.

— Тут я вам ничего сказать не могу. Об этом я и думал в Париже.

— Вам станет от встречи с ней еще горше.

— Почему вы говорите «еще горше»? — спросил весьма сурово Гудвуд. — Откуда вы знаете, что мне горько?

— Ну, — сказала нерешительно Генриетта, —

вам после нее ни одна ведь не пришлась по душе.

— Почем вы знаете, что мне по душе? — вскричал он, вспыхнув до корней волос. — Сейчас мне по душе ехать в Рим.

Генриетта лишь молча смотрела на него печальным, но ясным взглядом.

— Что ж, — заметила она наконец, — я только хотела сказать вам свое мнение. Мне это не давало покоя. Конечно, по-вашему, меня это не должно касаться, но, если так рассуждать, нас ничто на свете не должно касаться.

— Вы очень любезны. Я очень признателен вам за вашу заботу, — сказал Каспар Гудвуд. — Я поеду в Рим и ничем не повредю миссис Озмонд.

— Быть может, и не повредите. Но поможете ли… вот в чем дело?

— А она нуждается в помощи? — спросил он медленно и так и впился в Генриетту взглядом.

— Женщины почти всегда в этом нуждаются, — ответила она уклончиво, изрекая против своего обыкновения не очень отрадную истину. — Если вы поедете в Рим, — добавила она, — надеюсь, вы будете ей настоящим другом, не эгоистом! — И, отойдя от него, принялась рассматривать картины.

Каспар Гудвуд за ней не последовал, но все время, что она бродила по залу, не спускал с нее глаз; вскоре, однако, он не выдержал и снова подошел к Генриетте.

— Вы здесь что-то о ней услышали, — подвел он итог своим мыслям. — Я хотел бы знать, что вы о ней слышали?

Генриетта ни разу в жизни не солгала, и хотя в данном случае это было бы, пожалуй, уместно, она, подумав, решила, что не стоит ей так легко отступать от своих правил.

— Да, слышала, — ответила она, — но я не хочу, чтобы вы ехали в Рим, и потому ничего вам не скажу.

— Как вам будет угодно. Я увижу все сам. — Потом с несвойственной ему непоследовательностью продолжал: — Вы слышали, что она несчастна?

— Ну, этого вы, во всяком случае, не увидите! — воскликнула Генриетта.

— Надеюсь, что нет. Когда вы едете?

— Завтра, утренним поездом. А вы?

Каспар Гудвуд замялся — ему совсем не улыбалось ехать в Рим вместе с мисс Стэкпол. Но, если он и отнесся к чести побыть в ее обществе не менее холодно, чем в тех же обстоятельствах

отнесся бы Озмонд, холодность его в настоящую минуту объяснялась совсем иными причинами; она скорее была данью добродетелям мисс Стэкпол, нежели знаком осуждения ее пороков. Он находил Генриетту женщиной и замечательной, и блестящей; к тому же он в принципе ничего не имел против пишущей братии. Журналистки казались ему неотъемлемой принадлежностью установленного во всяком прогрессивном государстве естественного порядка вещей, и хоть сам Каспар Гудвуд не читал никогда их корреспонденции, он считал, что эти дамы способствуют благу общества. Но именно из-за их высокого положения он предпочел бы, чтобы мисс Стэкпол не принимала так много на веру. Уверовав, что он готов в любую минуту говорить о миссис Озмонд, она соответствующим образом и вела себя, когда спустя полтора месяца после его приезда в Европу впервые встретилась с ним в Париже, и продолжала вести себя так во всех последующих случаях. У него не было ни малейшего желания говорить о миссис Озмонд, и он твердо знал, что не *всегда* о ней думает. Каспар Гудвуд был самым замкнутым, самым неразговорчивым человеком в мире, а эта пытливая писательница беспрестанно направляла свой фонарь в глухой

мрак его души. Он предпочел бы, чтобы она не удостаивала его своим вниманием, чтобы, как это ни грубо с его стороны, она оставила его в покое. И, однако, при всем том мысли его тотчас же приняли другой оборот, что показывает, насколько даже в дурном расположении духа он отличался от Гилберта Озмонда. Он жаждал немедленно отправиться в Рим и предпочел бы ехать туда один ночным поездом. Он ненавидел европейские железнодорожные вагоны, где часами вы вынуждены, чуть ли не упираясь носом в нос, коленями в колени, сидеть напротив какого-нибудь иностранца, которого, как вскоре выясняется, вы не выносите с редкостным пылом, разожженным вдобавок желанием немедленно открыть окно; и если ночью в этих вагонах еще хуже, чем днем, то ночью по крайней мере можно спать и видеть во сне американский салон-вагон. Но не мог же он ехать ночным поездом, если мисс Стэкпол предполагала выехать утренним; это значило бы обидеть беззащитную женщину. Не мог он и дожидаться, пока она уедет, на это у него просто не хватило бы терпения. Невозможно ведь пуститься в путь сразу же следом за ней. Она тяготила его, она действовала на него угнетающе; день, проведенный с ней в европейском железно-

дорожном вагоне, сулил уйму дополнительных поводов для раздражения. Тем не менее она дама и путешествует в одиночестве. Его долг предложить ей свои услуги. Это не подлежит сомнению, это диктуется прямой необходимостью. Несколько секунд он смотрел на нее с очень серьезным видом, потом чрезвычайно отчетливо, хотя и без тени галантности, произнес:

— Раз вы едете завтра, разумеется, я тоже еду завтра, вероятно, я смогу вам быть чем-нибудь полезен.

— Конечно, мистер Гудвуд, иначе я себе и не мыслю, — ответила с полной невозмутимостью Генриетта.

45

Мне пришлось уже упомянуть, что Изабелла знала, как недоволен ее муж затянувшимся пребыванием в Риме Ральфа Тачита. И она ни на минуту не забывала об этом, направляясь в отель к своему кузену назавтра после того, как предложила лорду Уорбертону представить веские доказательства его искренности. Сейчас, как, впрочем, и раньше, она очень ясно понимала, чем вызван протест мужа: Озмонд желал лишить ее духовной свободы, а ведь он прекрасно знал, что Ральф — истинный апостол свободы. Вот почему, говорила себе Изабелла, пойти повидать его — это все равно что испить живой воды. И, надо сказать, она позволяла себе это удовольствие, позволяла, несмотря на все отвращение мужа к оному напитку, — правда, строго держась, как ей казалось, в пределах благоразумия. До сих пор она еще не решалась открыто противиться воле Озмонда; он был ее законным супругом и повелителем. Иногда она размышляла об этом обстоятельстве с каким-то недоверчивым недоумением, тем не менее оно постоянно над ней

тяготело. В ее сознании неизменно присутствовали все укоренившиеся представления о святости и нерушимости брака, и одна мысль о том, что можно пренебречь этими священными узами, наполняла ее стыдом и ужасом, ибо, отдавая себя Озмонду, она не думала никогда о подобной возможности, твердо веря, что стремления ее мужа не менее благородны, чем ее собственные. И, однако, она не могла избавиться от чувства, что недалек день, когда ей придется взять назад все так торжественно ею дарованное. Эта процедура представлялась ей настолько недопустимой, настолько чудовищной, что Изабелла предпочитала пока закрывать на нее глаза. Озмонд ведь первым не начнет, он ничем не облегчит ей задачи, он возложит всю тяжесть на нее — до самого конца. Он еще не запретил ей навещать Ральфа, но она нисколько не сомневалась, что, если Ральф в скором времени не уедет, запрет не заставит себя ждать. А как мог бедный Ральф уехать? В такую погоду об этом нечего было и думать. Она прекрасно понимала, как жаждет ее муж ускорить это событие, да и, по совести говоря, разве не очевидно, что ему *не могут* быть приятны ее встречи с кузеном? Пусть Ральф ни разу не сказал о нем ни единого нелестного слова, и все

же злой молчаливый протест Озмонда вполне обоснован. Если Озмонд начнет возражать против их встреч, если он прибегнет к супружеской власти, ей придется решать, и решение будет не из легких. Стоило ей только подумать об этом, и у нее, как я уже говорил, заранее начинало колотиться сердце и к щекам приливала кровь; минутами желание избежать прямого разрыва рождало другое желание: чтобы Ральф, даже с риском для жизни, немедленно уехал из Рима. И хотя, поймав себя на такой мысли, она возмущалась собственным слабодушием и трусостью, суть дела от этого не менялась. А ведь любила она сейчас Ральфа ничуть не меньше, и тем не менее она готова была согласиться почти на все, только бы не отречься от самой серьезной, от единственной своей священной обязанности. Жизнь, которая начнется после подобного отречения, представлялась ей окончательно изуродованной. Раз порвав отношения с Озмондом, она порвет с ним навсегда: открыто признать несовместимость душевных нужд — значит расписаться в крушении их общей попытки. Возвраты, примирения, легко давшееся забвение, видимость благополучия — все это не для них. Попытка их преследовала одну только цель — оказаться

счастливой. И, коль скоро счастливыми они не стали, тут уж ничем не поможешь; нет на свете ничего, что можно было бы предложить взамен. Между тем Изабелла посещала Hótel de Paris настолько часто, насколько считала возможным: мерилом приличия служили правила хорошего тона — какие еще нужны доказательства тому, что мораль была, так сказать, плодом глубокого обдумывания? Нынешний свой визит Изабелла отмерила себе щедрой рукой, ибо, помимо той очевидной истины, что не могла же она бросить умирающего Ральфа, ей надо было кое-что спросить у него. В конце концов это важно было не только для нее, в такой же степени тут затронуты были интересы Гилберта.

Изабелла почти сразу заговорила о том, что занимало ее мысли.

— Я хочу задать вам один вопрос. Это касается лорда Уорбертона.

— Думаю, я угадал ваш вопрос, — ответил Ральф; он полулежал в кресле, и его худые ноги казались еще длиннее, чем обычно.

— Очень может быть. В таком случае ответьте мне на него.

— Я ведь не сказал, что могу на него ответить.

— Вы такие с ним близкие друзья, — сказала

она, — и сейчас он все время у вас на глазах.

— Вы правы. Но не забывайте, что ему приходится скрывать свои чувства.

— Зачем ему их скрывать? Это на него не похоже.

— Но вы должны помнить, что здесь примешиваются особые обстоятельства, — сказал Ральф, и видно было по его лицу, что про себя он посмеивается.

— До какой-то степени — да. Ну а все-таки, как вы думаете, он в самом деле влюблен?

— Думаю, даже очень. Что-что, а это я разглядеть могу.

— Вот как! — сказала суховатым тоном Изабелла.

Ральф обратил к ней взгляд, по-прежнему чуть насмешливый, но с оттенком недоумения.

— Вы сказали это так, будто вы разочарованы.

Изабелла поднялась и с задумчивым видом стала разглаживать перчатки.

— Ну, в общем-то, меня это не касается.

— Вот уж поистине философское отношение, — сказал ее кузен и через секунду спросил: — Могу я все же полюбопытствовать, о чем идет речь?

Изабелла удивленно на него посмотрела.

— Я думала, вы знаете. Лорд Уорбертон сказал

мне, что хочет жениться, вообразите себе, на Пэнси. Да я уже говорила вам об этом и не услышала в ответ ни слова. Быть может, сегодня вам угодно будет как-то на это отозваться. Вы, правда, верите, что он в нее влюблен?

— В кого — в Пэнси? Нисколько! — воскликнул очень убежденно Ральф.

— Но вы только что сами утверждали, что он влюблен.

Ральф помолчал.

— Он влюблен в вас, миссис Озмонд.

Изабелла покачала головой без тени улыбки.

— Ну согласитесь, это просто глупо.

— Конечно, глупо. Глупо со стороны Уорбертона, я тут ни при чем.

— До чего же это некстати, — обронила она, полагая, что держится, как тонкий политик.

— Должен, между прочим, добавить, — сказал Ральф, — что в разговоре со мной он это решительно отрицал.

— Как мило, что вы ведете между собой подобные разговоры! Ну а сказал он вам при этом, что влюблен в Пэнси?

— Он говорил о ней очень тепло, очень одобрительно. И, естественно, выразил надежду, что в Локли ей будет хорошо.

— Он в самом деле так думает?

— Ну, что Уорбертон думает в самом деле… — и Ральф развел руками.

Изабелла снова принялась разглаживать перчатки — длинные, просторные, они предоставляли ей обширное поле деятельности. Вскоре, однако, она подняла глаза.

— Ах, Ральф, вы ничем не хотите мне помочь! — воскликнула она горячо, порывисто.

Изабелла впервые признала, что нуждается в помощи, и кузен ее был потрясен страстностью этого признания. У него вырвался негромкий возглас — облегчения, жалости, нежности. Ему показалось, что разделявшая их пропасть исчезла, оттого он в следующее мгновение воскликнул:

— Как же вы, должно быть, несчастны!

Ральф не успел договорить, а Изабелла уже опомнилась и, овладев собой, сочла за благо притвориться, будто не слышала его слов.

— До чего глупо с моей стороны просить вас о помощи, — проговорила она с поспешной улыбкой, — Недоставало еще, чтобы я докучала вам своими мелкими домашними затруднениями! В сущности все обстоит очень просто. Придется лорду Уорбертону действовать самостоятельно.

Он не должен на меня рассчитывать.

— Думаю, ему это удастся без труда.

— Не скажите, — возразила Изабелла, — ему не всегда все удавалось.

— Вы правы. Но вы же знаете, как меня всегда это удивляло. А мисс Озмонд тоже способна нас удивить?

— Скорее это следует ожидать от него. Я почему-то думаю, что он так ничего и не предпримет.

— Он никогда не позволит себе поступить непорядочно.

— Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Но с его стороны будет в высшей степени порядочно оставить бедную девочку в покое. Пэнси любит другого, и разве не жестоко подкупать ее блестящими предложениями, чтобы она от него отказалась?

— Жестоко по отношению к другому, к тому, кого она любит, не спорю, но лорд Уорбертон не обязан с этим считаться.

— Нет, жестоко по отношению к ней, — сказала Изабелла. — Она будет очень несчастна, если покорится и откажет бедному мистеру Розье-ру. Вам, я вижу, все это смешно, но вы ведь не влюблены в него. В глазах Пэнси он обладает тем несомненным достоинством, что влюблен в нее,

а ей совершенно ясно, что лорд Уорбертон в нее не влюблен.

— Он будет очень добр к ней.

— Он и сейчас очень добр к ней. К счастью, однако, он ничем не смутил ее покоя. Он мог бы завтра прийти и проститься с ней, не нарушив притом приличий.

— А как это понравится вашему мужу?

— Совсем не понравится, и он будет по-своему прав. Но он должен сам заботиться о своих интересах.

— Не поручил ли он этого вам? — рискнул спросить Ральф.

— Так как мы с лордом Уорбертоном давние друзья, во всяком случае более давние, чем они с Гилбертом, то, зная о его намерениях, я, разумеется, не осталась безучастна.

— То есть приняли участие в том, чтобы он от них отказался, вы это имеете в виду?

Изабелла, слегка нахмурившись, помолчала.

— Следует ли понимать вас так, что вы ему сочувствуете?

— Ничуть. Я от души рад, что он не женится на вашей падчерице. Это связало бы его с вами по меньшей мере странными отношениями, — сказал, улыбаясь, Ральф. — Но меня беспокоит, как

бы ваш муж не счел, что вы недостаточно его на это подталкивали.

Изабелла нашла в себе силы улыбнуться.

— Мой муж достаточно хорошо меня знает и ничего подобного от меня не ждет. Я полагаю, он и сам не склонен никого подталкивать. Нет, я не боюсь, что не смогу перед ним оправдаться, — сказала она легким тоном.

На мгновение она сбросила маску, но тут же к великому разочарованию Ральфа надела ее снова. Перед ним промелькнуло настоящее лице Изабеллы, и ему страстно хотелось заглянуть в него. Он был буквально одержим желанием услышать, как она жалуется на своего мужа, услышать из ее собственных уст, что за отступничество лорда Уорбертона предстоит держать ответ ей. Ральф не сомневался, что все обстоит именно так, и шестым чувством угадывал, в какой форме проявится в этом случае недовольство Озмонда. В форме самой мелкой, самой жестокой. Ему хотелось бы предостеречь Изабеллу или хотя бы дать ей понять, как верно он все предугадывает — как много знает. И неважно, что сама она знает все еще лучше, — он ведь не столько ради нее, сколько ради собственного удовлетворения рвется показать ей свою проницательность. Он снова

и снова пытался заставить ее предать Озмонда, и пусть он называл себя при этом бесчувственным, жестоким, чуть ли даже не подлым, все это тоже было неважно, коль скоро его попытки ни к чему не привели. Тогда чего ради она пришла к нему, зачем поманила его возможностью нарушить их молчаливый уговор? Зачем просит у него совета, если лишает его права ответить? Разве могут они говорить о ее «мелких домашних затруднениях», как она, словно в насмешку, изволила выразиться, когда нельзя упомянуть главную их причину? Эти противоречия уже сами по себе выдавали смятение Изабеллы; нет, единственное, что он должен принимать в расчет, — это ее прозвучавший только что крик о помощи.

— Все равно вам не избежать столкновения, — сказал Ральф несколько секунд спустя, и поскольку она молчала с таким видом, будто не понимает, о чем идет речь, он продолжал: — Увидите, вы разойдетесь с ним во мнении.

— Это часто бывает даже у самых дружных супругов! — Она взяла в руки зонтик; он видел, как она взволнована, как боится того, что он может сказать еще. — Не думаю, что мы станем с ним по этому поводу ссориться, — добавила она. — Здесь ведь главным образом затронуты его интересы.

Это вполне естественно. В конце концов Пэнси его дочь, не моя.

Она протянула Ральфу руку, собираясь уйти.

Ральф твердо решил, что не отпустит ее, пока не доведет до сведения, что все знает. Непростительно было бы упустить столь благоприятный случай.

— А знаете, что он скажет вам, исходя из этих своих интересов? — спросил он, беря ее протянутую руку. Изабелла покачала головой, не столько протестующе, сколько холодно, и Ральф продолжал: — Он скажет: ваше малое усердие объясняется ревностью. — Ральф на мгновение запнулся, потрясенный выражением ее лица.

— Ревностью?

— Ревностью к его дочери.

Густо покраснев, она вскинула голову.

— Как же вы недобры, — сказала она; такого тона он никогда у нее не слышал.

— Будьте откровенны со мной и вы увидите, — сказал он.

Но она ничего на это не ответила, она только высвободила руку из его руки, все еще пытавшейся ее удержать, и поспешно ушла. Изабелла решила поговорить с Пэнси и в тот же день, улучив незадолго до обеда удобную минуту,

вошла в комнату к падчерице. Пэнси успела уже переодеться; эта способность все делать заблаговременно являлась как бы еще одним свидетельством того милого терпения, того изящного спокойствия, с каким она умела сидеть и ждать. Сейчас она в наисвежайшем наряде сидела перед камином; завершив туалет, она задула свечи, следуя привычке к бережливости, привитой с детства и соблюдавшейся теперь с особенной неуклонностью, поэтому в комнате всего и было света, что от двух поленьев. Покои в палаццо Рокканера были столь же просторны, сколь и многочисленны, и девическая спальня Пэнси представляла собой огромную комнату с тяжелым, обшитым темным деревом потолком. Миниатюрная хозяйка этой спальни казалась там не более чем затерявшейся одушевленной пылинкой, и когда она с живейшей почтительностью поднялась, приветствуя Изабеллу, та была как никогда потрясена ее застенчивой искренностью. Перед Изабеллой стояла трудная задача, и единственное, что ей оставалось, — выполнить ее с наибольшей простотой. Она полна была раздражения, полна горечи, но заранее внушала себе — главное, это сохранить хладнокровие. Она боялась даже, как бы выражение ее лица не

показалось слишком серьезным или, во всяком случае, слишком строгим, боялась вселить тревогу. Но Пэнси, как видно, сразу догадалась, что Изабелла пришла к ней словно бы с намерением ее исповедать, ибо, как только, пододвинув свое кресло поближе к огню, усадила в него Изабеллу, она тут же оперлась коленями на маленькую подушечку и замерла перед мачехой, подняв глаза, уронив сжатые руки ей на колени. Изабелла хотела одного — услышать из уст самой Пэнси, что лорд Уорбертон не занимает ее мыслей, но, как ни хотелось ей в этом увериться, она ни в коей мере не считала себя вправе вынуждать у Пэнси признание; отец девочки счел бы это гнусным предательством. В общем Изабелла знала твердо, что, если Пэнси обнаружит хотя бы в зачатке подобие желания поощрить лорда Уорбертона, ее долг — помалкивать. Трудно, задавая вопросы, невольно не подсказывать ответы; величайшее простодушие Пэнси, ее наивность, даже большая, чем до сих пор думала Изабелла, придавали самому беглому опросу характер некоего внушения. При слабом свете камина стоящая на коленях девочка в смутно поблескивающем очаровательном платье, то ли умоляюще, то ли смиренно сложившая маленькие руки и неподвижно

устремившая вверх кроткий взгляд, исполненный понимания всей серьезности положения, казалась Изабелле убранной для предстоящего жертвоприношения юной мученицей, которая не смеет надеяться, что эта чаша ее минует. Когда Изабелла сказала, что ни разу не говорила с ней по поводу замужества, но что молчание ее объясняется не безразличием или неведением, а стремлением не стеснять ничем ее свободы, Пэнси, все больше наклоняясь и приближая лицо к Изабелле, с тихим возгласом, показывающим, несомненно, как давно она об этом мечтает, ответила, что очень хочет, чтобы Изабелла поговорила с ней, и просит помочь ей советом.

— Мне трудно вам советовать, — сказала Изабелла. — Я не уверена, что могу себе это позволить. Это дело вашего отца, спросите у него и, разумеется, поступайте, как советует он.

Опустив глаза, Пэнси несколько секунд молчала.

— Думаю, ваш совет подойдет мне больше, чем папин.

— Вы не должны так думать, — сказала Изабелла сухо. — Я очень вас люблю, но отец любит еще больше.

— Это не потому, что вы меня любите, а пото-

му, что вы дама, — ответила Пэнси, всем видом выражая уверенность в разумности своего довода. — Дама всегда может лучше посоветовать девушке, чем мужчина.

— В таком случае я советую вам во всем считаться с волей вашего отца.

— Да, конечно, — сказала Пэнси с готовностью. — Это я знаю.

— Если я говорю с вами сейчас о замужестве, то делаю это скорее для себя, чем для вас, — продолжала Изабелла. — И спрашиваю о ваших надеждах, ваших желаниях только для того, чтобы вести себя согласно с ними.

Широко открыв глаза, Пэнси быстро спросила:

— Вы сделаете все, о чем я вас попрошу?

— Прежде чем ответить «да», я должна знать, о чем вы меня попросите.

Тогда Пэнси сказала, что у нее только одно желание — выйти замуж за мистера Розьера. Он просил ее об этом, и она ему ответила, что согласна, если папа ей разрешит. Но папа не разрешает.

— Что ж, значит, это невозможно, — объявила Изабелла.

— Значит, невозможно, — даже не вздохнув, подтвердила Пэнси с тем же выражением глубо-

кого внимания на ясном личике.

— В таком случае надо подумать о чем-нибудь другом, — продолжала Изабелла, и Пэнси, вздохнув на сей раз, призналась, что, как она ни старалась, у нее все равно ничего не получается.

— Мы думаем о тех, кто думает о нас, — добавила она с робкой улыбкой. — А я знаю, что мистер Розьер обо мне думает.

— Ему не следует о вас думать, — заявила высокомерным тоном Изабелла. — Ваш отец сказал ему вполне недвусмысленно, что он должен вас забыть.

— Он не может меня забыть, он знает, что я гоже о нем думаю.

— Вы не должны о нем думать. Ему еще можно найти оправдание, а вот вам — оправдания нет.

— Не могли бы вы подыскать и мне хоть какое-нибудь! — взмолилась девочка так, словно обращалась к мадонне.

— Это было бы с моей стороны очень дурно, — ответила мадонна с несвойственной ей суровостью. — Ну а если бы вы знали, что кто-то другой о вас думает, стали бы вы о нем думать?

— Никто не может думать обо мне так, как мистер Розьер, никто не имеет на это права.

— Но я не признаю этого права за мистером

Розьером! — лицемерно возмутилась Изабелла.

Озадаченная Пэнси безмолвно на нее смотрела, и, воспользовавшись этим, Изабелла принялась рисовать самыми зловещими красками, что ожидает ее, если она ослушается отца. Но тут Пэнси, прервав Изабеллу, заверила ее, что никогда его не ослушается, никогда без его согласия не выйдет замуж. И с величайшей простотой и спокойствием сказала, что хоть она и не выйдет замуж за мистера Розьера, но думать о нем никогда не перестанет. По-видимому, она примирилась с мыслью о своем вечном одиночестве, но Изабелла вольна была размышлять о том, что Пэнси просто не понимает, каково это на самом деле. Пэнси была сама искренность, она и вправду готова была отказаться от своего возлюбленного. Казалось бы, это первый шаг к тому, чтобы обзавестись другим, но, судя по всему, Пэнси он в этом направлении не вел. Она не испытывала по отношению к отцу ни малейшей горечи, в ее душе вообще не было горечи, лишь сладостная верность Эдварду Розьеру и странное, ни с чем не сравнимое чувство, будто, обрекая себя на одиночество, она еще лучше докажет ему свою верность, чем даже если бы вышла за него замуж.

— Ваш отец мечтает о лучшей партии для

вас, — сказала Изабелла. — Мистер Розьер не очень богат.

— Зачем лучшая, раз и эта достаточно хорошая? У меня и у самой мало денег. Мне не следует гоняться за богатством.

— Именно потому, что у вас их мало, вам следует стремиться к большему, — сказала Изабелла, благославляя царящий в комнате полумрак: она не могла отделаться от чувства, что по ее лицу видно, как чудовищно она кривит душой. Вот что она делает ради Озмонда. Вот что приходится делать ради Озмонда! Серьезные, не отрывающиеся от ее собственных глаза Пэнси повергали ее в смущение. Она не могла без стыда думать о том, как легко отмахивается от сердечной склонности падчерицы.

— Как по-вашему я должна поступить? — кротко спросила Пэнси.

Вопрос был так страшен, что, спасаясь от него и трепеща, Изабелла уклонилась от прямого ответа.

— Помнить о том, что в вашей власти порадовать отца.

— Выйти замуж за другого, если он мне это предложит, — вы это хотите сказать?

Ответ Изабеллы заставил себя ждать, и наконец

она услышала, как в тишине, словно сгустившейся из-за напряженного внимания Пэнси, раздался ее собственный голос:

— Да, выйти замуж за другого.

Глаза девочки смотрели на нее еще более испытующе; Изабелла подумала, что Пэнси сомневается в ее искренности, и впечатление это еще усилилось, когда Пэнси медленно поднялась с колен. Она постояла, опустив маленькие руки, потом прерывающимся голоском сказала:

— Что ж, надеюсь, никто мне этого не предложит.

— Речь об этом уже шла. Другой готов сделать вам предложение.

— Не думаю, что он готов, — сказала Пэнси.

— И все же, как будто бы это так… если бы только он был уверен в успехе.

— Если бы он был уверен? Тогда он не готов.

Изабелла подумала, что это очень тонкое наблюдение; она тоже поднялась и стояла несколько секунд, глядя в камин.

— Лорд Уорбертон оказывает вам большое внимание, — сказала она. — Вы, конечно, поняли, что я говорю о нем. — Против ожидания Изабелла вдруг почувствовала себя в положении человека, которому приходится оправдываться, и поэтому

заговорила о лорде Уорбертоне куда более прямо, чем намеревалась.

— Он очень добр ко мне и очень мне нравится. Но, если вы имеете в виду, что он хочет сделать мне предложение, думаю, вы ошибаетесь.

— Возможно. Но вашего отца это чрезвычайно порадовало бы.

С милой умудренной улыбкой Пэнси покачала головой.

— Лорд Уорбертон не станет делать предложение, чтобы порадовать папу.

— Ваш отец хотел бы, чтобы вы его поощрили, — продолжала машинально Изабелла.

— Как я должна поощрять его?

— Не знаю. Спросите об этом вашего отца.

Пэнси несколько секунд молчала; она не переставала улыбаться — будто прониклась вдруг радужной уверенностью.

— Тут мне ничего не грозит! — объявила она наконец.

Пэнси говорила с такой убежденностью, ей так отрадно было в это верить, что Изабелла пришла в еще большее замешательство. Ей казалось, что ее уличили в нечестности, и мысль эта была ей невыносима. Чтобы укрепить пошатнувшееся самоуважение, она чуть было не сказала: угроза

существует, сам лорд Уорбертон дал ей это понять. Но она удержалась и лишь весьма некстати, просто от крайней неловкости заметила, что он, безусловно, очень добрый и отзывчивый человек.

— Да, он очень добр ко мне, — ответила Пэнси. — Тем он мне и нравится.

— За чем же тогда дело стало?

— Я с самого начала чувствовала — он знает, что я не хочу — как вы это назвали? — не хочу поощрять его. Он знает, я не хочу выходить замуж, и хочет, чтобы я знала: раз так, он не станет меня понапрасну тревожить. В этом и состоит его доброта. Он как будто говорит: «Вы очень мне нравитесь, но, если вам не по душе, я никогда больше этого не повторю». Что может быть добрее и благороднее? — продолжала с еще большей убежденностью Пэнси. — Вот и все, что мы сказали друг другу. И он тоже меня не любит. Нет, нет, мне ничего не грозит.

Изабелла не могла надивиться глубокому пониманию, которое обнаружила вдруг эта смиренная девочка; устрашенная мудростью Пэнси, она начала сдавать позиции.

— Вы должны сказать это вашему отцу, — сказала она сдержанно.

— Думаю, мне не стоит этого делать, — без всякой сдержанности сказала Пэнси.

— Нехорошо, чтобы он тешил себя ложными надеждами.

— Наверное, нехорошо, но для меня лучше, чтобы он себя ими тешил. Пока он верит, что лорд Уорбертон подумывает о том, о чем говорите вы, папа никого другого не предложит, а это в моих интересах, — сказала просто и ясно Пэнси.

В этой ясности было что-то поистине ослепительное, и собеседница ее с облегчением вздохнула. Таким образом с нашей героини снимался тяжкий груз ответственности. Пэнси, как оказалось, сама в достаточной мере наделена светом разума, между тем как у Изабеллы все было сейчас так беспросветно, что она не могла уделить ей ни единого луча. И, однако, Изабеллой все еще владело чувство, что она должна стоять на стороне Озмонда, должна честно соблюдать в отношении его дочери принятые ею обязательства. Под влиянием этого чувства Изабелла, прежде чем уйти, высказала еще одно пожелание, после чего вправе была бы, положа руку на сердце, сказать: «Я сделала все, что могла».

— Ваш отец не сомневается, что вы по крайней мере выйдете замуж за аристократа.

— По-моему, мистер Розьер настоящий аристократ, — ответила с величайшей серьезностью Пэнси, стоя на пороге и придерживая рукой портьеру, пока Изабелла выходила из комнаты.

46

Лорд Уорбертон вот уже несколько дней не показывался в гостиной миссис Озмонд, и она не могла не обратить внимание на то, что муж ее, если и получил от него письмо, ни словом об этом не обмолвился. Обратила она внимание и на то, как томится Озмонд ожиданием и, хотя ему неприятно это обнаруживать, находит, что лорд Уорбертон испытывает его терпение. На четвертый день вечером Озмонд заговорил об исчезновении их знатного гостя.

— Куда пропал Уорбертон? Так сбегают от лавочника, который собирается предъявить счет.

— Не имею представления, — ответила Изабелла. — В последний раз я видела его в прошлую пятницу, на балу у немецкого посланника. Он сказал, что хочет написать вам.

— Никаких писем я от него не получал.

— Так я и поняла, иначе вы сказали бы мне.

— А он, видно, с чудачествами, — заметил многозначительно Озмонд и, поскольку Изабелла ничего ему не возразила, осведомился, неужели его светлости требуется пять дней, чтобы сочи-

нить письмо.

— Он с таким трудом выражает свои мысли?

— Не знаю, — вынуждена была ответить Изабелла. — Я ни разу не получала от него писем.

— Ни разу? А у меня сложилось впечатление, что одно время вы состояли с ним в сердечной переписке.

Она ответила, что впечатление его ошибочно, и прекратила разговор. Назавтра, однако, муж ее, войдя под вечер к ней в гостиную, опять его возобновил.

— Когда лорд Уорбертон сообщил вам о намерении написать мне, что вы ему сказали?

На секунду она замялась.

— По-моему, я сказала ему, пусть только не забудет.

— Вам показалось, что такая опасность существует?

— Как вы сами говорите, он с чудачествами.

— Тем не менее он, очевидно, забыл, — сказал Озмонд. — Потрудитесь, пожалуйста, ему напомнить.

— Вам угодно, чтобы я написала ему? — спросила Изабелла.

— Ничего не имею против.

— Вы ждете от меня слишком многого.

— О да, я многого от вас жду.

— Боюсь, я должна буду вас разочаровать.

— Я уже не раз бывал разочарован сверх всякого ожидания.

— Мне ли этого не знать! Но подумайте о том, какое разочарование постигло меня. Если вы в самом деле так жаждете прибрать к рукам лорда Уорбертона, придется вам делать это собственными руками.

Последовало долгое молчание; наконец Озмонд сказал:

— Это будет нелегко, если учесть, что вы действуете против меня.

Изабелла внутренне сжалась; ее стала бить дрожь. Он умел так смотреть на нее из-под прикрытых век, будто, думая о ней, ее не видит; Изабелле чудилось в этом что-то очень злонамеренное. Словно он покорялся досадной необходимости думать о ней, но замечать ее присутствие не желал. Сейчас он преуспел в этом, как никогда.

— По-моему, вы обвиняете меня в какой-то страшной низости, — ответила она.

— Я обвиняю вас в том, что вы не заслуживаете доверия. Если он так и не доведет начатое до конца, то лишь потому, что его удержали вы. Не

знаю, низость ли это; женщины обычно проделывают такого рода вещи не задумываясь. Я не сомневаюсь, что вы приписываете себе самые высокие побуждения.

— Я вам сказала, я сделаю все, что могу, — продолжала она.

— Да, чтобы выиграть время.

Как только он это произнес, ее вдруг пронзила мысль, что когда-то он казался ей прекрасным.

— До чего же вам, должно быть, хочется завладеть им!

Не успев еще договорить, она поняла весь подспудный смысл своих слов, хотя, начав фразу, еще сама его не понимала. Она как бы невольно сопоставила себя с Озмондом, напомнила о том, что было время, когда она держала это вожделенное сокровище в руках и сочла себя достаточно богатой, чтобы его обронить. На миг она возликовала, испытала какой-то безобразный восторг оттого, что удалось его ранить, ибо лицо его сразу же сказало Изабелле, что ее восклицание донеслось до него во всей своей полноте. Он не стал ее разубеждать, а только быстро сказал:

— Да, мне хочется этого чрезвычайно.

В эту минуту в комнату вошел слуга и доложил о приходе гостя, а следом за ним появился и лорд

Уорбертон, который, увидев Озмонда, приостановился. Он быстро перевел взгляд с хозяина дома на хозяйку, будто не желал вторгаться в их разговор и даже отчасти понимал, как зловеще накалена обстановка. Потом он подошел к ним со своей английской приветливостью, с той мягкой застенчивостью, что служит как бы порукой благовоспитанности, и поставить в упрек ей можно лишь одно — трудность перехода к последующему общению. Озмонд был смущен, он не нашелся что сказать, но Изабелла, быстро овладев собой, воскликнула, что лорд Уорбертон легок на помине. После чего муж ее добавил, что они гадали, куда он пропал, и подумали, уж не уехал ли он, чего доброго.

— Нет, только еще собираюсь, — ответил тот, глядя с улыбкой на Озмонда. И он сообщил им, что его срочно призвали в Англию; придется ему выехать не позже, чем через день-два. — Я так огорчен, что бросаю здесь беднягу Тачита! — заявил он в заключение.

Собеседники его какое-то время молчали. Озмонд, откинувшись на спинку кресла, слушал; Изабелла не смотрела в его сторону, но она очень ясно представляла себе, какой у него при этом вид. Глаза ее были устремлены на лицо гостя, где

им предоставлен был полный простор, поскольку его светлость прилагал все старания, чтобы не встретиться с ней взглядом. Но Изабелла ни минуты не сомневалась, что, если бы встреча эта произошла, взгляд его оказался бы достаточно красноречив.

— Захватили бы вы лучше беднягу Тачита с собой, — услышала она, как сказал несколько секунд спустя ее муж довольно непринужденным тоном.

— Ему лучше дождаться тепла, — ответил лорд Уорбертон. — Я не рекомендовал бы ему пускаться в путь сейчас.

Он посидел у них с четверть часа, беседуя с ними так, словно не предполагал их скоро увидеть, разве что они надумают приехать в Англию, — он очень бы им это советовал. И правда, почему бы им не приехать осенью в Англию? Какая счастливая мысль! Ему было бы так приятно принять их, пригласить к себе, они провели бы у него, ну, скажем, месяц. Озмонд, по его собственному признанию, был в Англии всего лишь раз; для человека с его умом, с его досугом это совершенно непростительно. Тем более что страна эта просто для него создана — он готов поручиться, что Озмонд будет чувствовать себя там превосходно.

Тут лорд Уорбертон спросил у Изабеллы, помнит ли она, как славно ей там жилось, и не хочется ли ей повторить это удовольствие? Неужели ей не хочется снова увидеть Гарденкорт? Гарденкорт по-настоящему хорош. Тачит, конечно, не заботится о нем должным образом, но Гарденкорт такое место, что его даже и беспечностью не испортишь. Почему они до сих пор не навестили Тачита? Ведь он, безусловно, приглашал их к себе. Как! Не приглашал? Ну и невежа! И лорд Уорбертон пообещал, что хозяин Гарденкорта получит от него нагоняй. Это, разумеется, чистая случайность — Тачит счастлив был бы видеть их у себя. Если они месяц проведут у Тачита, а месяц у него и повидают всех, кто того заслуживает, быть может, они и не умрут от скуки. И мисс Озмонд это тоже развлечет, добавил лорд Уорбертон, она говорила ему, что никогда в Англии не была, и он заверил ее, что страну эту стоит посмотреть. Конечно, чтобы собрать дань восхищения, ей не надо ехать в Англию. Мисс Озмонд самой судьбой предназначено повсюду вызывать восторг — но там она будет, вне всякого сомнения, пользоваться огромным успехом, быть может, это все же покажется ей приманчивым? Он спросил, дома ли она и нельзя ли ему с ней попрощаться?

В общем-то, он не охотник до прощаний — он всегда их избегал. Уезжая нынче из Англии, он не попрощался ни с одной живой душой. Он решил было уехать из Рима, не докучая миссис Озмонд прощальным визитом. Что может быть скучнее прощальных визитов? О чем собирался говорить, все вылетает из головы — вспоминаешь об этом уже час спустя. А с другой стороны, говоришь тьму вещей, которые говорить не следовало, говоришь только от сознания, что надо же что-то произносить. Сознание это сбивает с толку, от него просто теряешь голову. Оно и сейчас в нем присутствует, и вот к чему это привело. Если миссис Озмонд находит, что он говорит не то, что следует, пусть отнесет это за счет его волнения; расстаться с миссис Озмонд нелегко. Ему, право же, очень жаль, что он уезжает. Сначала он думал не приходить, а написать ей, но это он сделает во всех случаях; он напишет ей, чтобы сказать тьму вещей, которые, несомненно, придут ему в голову, как только он ступит за порог их дома. Нет, они должны серьезно подумать о том, чтобы приехать в Локли.

Если и была какая-то неловкость в обстоятельствах, сопутствующих его визиту и сообщению об отъезде, наружу это не вышло. Лорд Уорбертон,

хоть и говорил о своем волнении, ничем иным его не обнаружил, и Изабелла убедилась, что коль скоро он решился на отступление, то произведет сей маневр самым доблестным образом. Ее это радовало; она настолько была к нему расположена, что желала ему успешно выйти из положения. Ничего иного и быть не могло, но объяснялось это не беззастенчивостью лорда Уорбертона, а вкоренившейся привычкой к успеху; и Изабелла прекрасно понимала, что муж ее бессилен здесь что-либо изменить. В Изабелле шла все это время сложная работа мысли. С одной стороны, она слушала гостя, подавала уместные реплики, читала все, сказанное им более или менее между строк, и думала о том, как бы он говорил, если бы застал ее одну. С другой — она очень ясно представляла себе, каково приходится Озмонду. Она чуть ли не жалела его: он обречен вынести всю боль утраты, а облегчить душу проклятиями не может. Он лелеял высокие мечты, и, когда сейчас они на глазах развеялись как дым, ему приходится сидеть сложа руки и улыбаться! Правда, нельзя сказать, что он утруждал себя слишком уж сияющей улыбкой — на обращенном к их гостю лице хотя и было отсутствующее выражение, но, в общем, лишь в той мере, в какой

мог это позволить себе такой умный человек, как Озмонд. Ум его, собственно говоря, отчасти и состоял в способности выглядеть всегда совершенно неуязвимым. Так или иначе его вид вовсе не свидетельствовал о разочаровании: Озмонд имел обыкновение казаться тем незаинтересованнее, чем больше он был целеустремлен. А в данном случае он с самого начала нацелился на этот крупный приз, однако ни разу не допустил, чтобы его изысканное лицо зажглось пылом нетерпения. Он обращался со своим возможным зятем в точности так же, как и со всеми прочими, словно давая ему понять, что если и проявляет к нему интерес, то делает это ради его, а никак не ради собственного удовольствия, ибо какая может быть в ком-то корысть человеку и вообще и в частности столь взысканному судьбой, как Гилберт Озмонд? Нет, он ничем не выдаст сейчас, как из-за улетучившихся надежд на выигрыш его душит ярость, ни единым словом, ни единым жестом. В этом у Изабеллы не было сомнений, если только подобна. : уверенность могла принести ей хоть каплю удовлетворения. Как ни странно, но дело обстояло именно так. Ей хотелось, чтобы лорд Уорбертон казался победителем ее мужу и вместе с тем, чтобы муж ее казался лорду Уор-

бертону совершенно безупречным. По-своему Озмонд был великолепен: подобно их гостю, он тоже усвоил себе некую весьма полезную привычку. И пусть речь идет не о привычке к успеху, а о привычке к отказу от посягательств на него — в сущности, одна вполне стоит другой. Когда, откинувшись на спинку кресла, он рассеянно слушал дружеские предложения и сдержанные объяснения их гостя, точно они, как и следовало ожидать, обращены были главным образом к его жене, он мог по крайней мере утешаться (поскольку другого выбора у него не было) тем, что самому ему удалось остаться в стороне и что написанное на его лице безразличие имеет еще дополнительную прелесть оправданности. У него все основания сидеть сейчас с таким видом, будто расшаркивания явившегося распрощаться гостя никак не связаны с течением его собственных мыслей, а это уже немало. Гость справился со своей ролью прекрасно, но игра Озмонда по самой сути своей отличалась большей законченностью. Положение лорда Уорбертона в конце концов весьма просто — что, собственно говоря, мешает ему уехать из Рима? Да, он был в известном смысле благорасположен, но расположение его зашло не слишком далеко и не принесло плодов;

он не брал на себя никаких обязательств, и честь его незапятнана. Озмонд, судя по его лицу, без особого интереса выслушал приглашение лорда Уорбертона приехать к нему в гости и намек на выгоды этого визита для Пэнси, которой гость их предрекал успех. Пробормотав что-то в знак признательности, Озмонд предоставил Изабелле объяснять, что вопрос этот требует серьезного обсуждения. Но, говоря это, она очень ясно представляла себе, какая открылась вдруг перед мысленным взором ее мужа перспектива с маленькой фигуркой Пэнси на переднем плане.

Хотя лорд Уорбертон выразил желание попрощаться с Пэнси, ни Изабелла, ни Озмонд не спешили за ней послать. Гость их вел себя, как человек, пришедший с коротким визитом; присев на низенький стул, он не выпускал из рук шляпы, точно собирался через минуту уйти. Тем не менее он все сидел и сидел, и Изабелла недоумевала, чего он дожидается. Едва ли он надеется увидеть Пэнси; скорей он предпочел бы, казалось ей, так с Пэнси и не увидеться. Ну конечно же, это ее, Изабеллу, он хочет увидеть наедине — ему надо что-то ей сказать. Но она вовсе не жаждала это услышать, она боялась, что он пожелает объясниться, а она прекрасно обой-

дется без объяснений. Но вот Озмонд поднялся, как и приличествует воспитанному человеку, которому пришло вдруг в голову, что столь упорствующий гость желает, вероятно, сказать на прощание несколько слов дамам.

— Мне нужно успеть до обеда написать письмо, — сказал он, — прошу меня извинить. Я посмотрю, что делает моя дочь, и, если она не занята, передам ей, что вы здесь. Разумеется, когда бы вы ни приехали в Рим, милости просим; миссис Озмонд поговорит с вами о поездке в Англию, такие вещи решает она.

Кивок, которым вместо рукопожатия он заключил свою немногословную речь, пожалуй, был несколько суховатой формой прощального приветствия, но, в общем, это все, что при данных обстоятельствах требовалось. Изабелла подумала, что после его ухода у лорда Уорбертона не будет оснований задать более чем неприятный вопрос: «Ваш муж очень сердится?». Но если бы он все же обратился к ней с этим вопросом, она ответила бы: «Вам беспокоиться нечего. Он не *вас* ненавидит, а меня».

Только когда они остались вдвоем, ее старый друг обнаружил признаки неловкости: пересел на другой стул, повертел в руках две-три попав-

шиеся на глаза безделушки.

— Надеюсь, он пришлет мисс Озмонд, — заметил он, помолчав. — Мне очень хотелось бы ее увидеть.

— Я рада, что это в последний раз, — сказала Изабелла.

— Я тоже. Она ко мне равнодушна.

— Да, она к вам равнодушна.

— И неудивительно, — сказал он и тут же со всей непоследовательностью добавил: — Так вы приедете в Англию?

— Думаю, не стоит.

— Но за вами остался визит. Разве вы не помните, что пообещали мне когда-то приехать в Локли и так и не приехали?

— С тех пор все изменилось, — сказала Изабелла.

— Ну, разумеется, не к худшему же, если говорить о нас с вами. Увидеть вас в моем доме было бы… — на миг он замялся, — очень приятно.

Она напрасно боялась объяснений, потому что этим все и ограничилось. Они поговорили немного о Ральфе, и тут появилась успевшая уже переодеться к обеду Пэнси; щеки ее пылали. Она протянула лорду Уорбертону руку и стояла, глядя ему в лицо с застывшей улыбкой, предвещавшей

— что было хорошо известно Изабелле и чего совсем не подозревал лорд Уорбертон — незамедлительный поток слез.

— Я уезжаю, — сказал он. — И хотел с вами проститься

— Прощайте, лорд Уорбертон. — Голос Пэнси заметно дрожал.

— И еще я хотел сказать, что желаю вам счастья.

— Спасибо, лорд Уорбертон, — ответила Пэнси.

Секунду он помедлил, бросив взгляд на Изабеллу.

— Вы должны быть очень счастливы, у вас есть ангел хранитель.

— Я не сомневаюсь, что буду счастлива, — сказала Пэнси тоном, каким говорят, когда в-нереди все безоблачно.

— Такая уверенность уже сама по себе залог успеха. Но если когда-нибудь она вам вдруг изменит, то помните… помните… — собеседник Пэнси запнулся. — Думайте обо мне иногда — ладно? — сказал он со смущенным смехом. Потом, молча пожав Изабелле руку, ушел.

Изабелла предполагала, что, как только гость их скроется за дверью, у ее падчерицы хлынут слезы из глаз, но Пэнси, как оказалось, готовила

ей совсем другое.

— Вы и *вправду* мой ангел хранитель! — воскликнула она очень нежно.

Изабелла покачала головой.

— Я совсем не ангел, — сказала она. — Если хотите, я просто ваш добрый друг.

— Тогда очень добрый друг… Вы упросили папу обращаться со мной помягче.

— Я ни о чем не просила вашего отца, — сказала с недоумением Изабелла.

— Он только что велел мне идти в гостиную и ласково меня поцеловал.

— Нет, — сказала Изабелла, — это он решил сам.

Она в миг поняла, что за этим решением кроется; в нем весь Озмонд, и ведь до конца еще далеко, ей многое предстоит увидеть. Даже с Пэнси он держится так, чтобы его ни в чем нельзя было упрекнуть. В этот день они были приглашены на обед, после обеда снова отправились в гости, так что до позднего вечера Изабелла ни разу не оставалась с ним с глазу на глаз. Когда Пэнси поцеловала его перед тем, как идти спать, объятья, в которые он ее заключил, были как никогда любвеобильны, и Изабелла подумала, уж не хочет ли он дать ей понять, что дочь его пала

жертвой коварства мачехи. Так или иначе он как бы выразил ими то, чего продолжал ожидать от своей жены. Она собралась было уйти следом за Пэнси, но он попросил ее остаться, заявив, что ему надо с ней поговорить. Озмонд несколько раз прошелся по комнате, а она тем временем стояла, не снимая накидки, и ждала.

— Я не понимаю, что вы намерены делать, — сказал он вскоре. — И хотел бы это знать, чтобы знать, как мне себя вести.

— Сейчас я намерена лечь спать. Я очень устала.

— Садитесь и отдохните, я задержу вас недолго. Нет, не там, устраивайтесь удобнее. — И он сгреб раскиданные по огромному дивану в живописном беспорядке подушечки и уютно их расположил. Но она не воспользовалась его предложением, а опустилась на ближайший стул. Камин погас, в комнате горело всего несколько свечей. Изабелла запахнула плотнее накидку, ей было смертельно холодно. — Думаю, вы пытаетесь меня унизить, — продолжал Озмонд. — В высшей степени вздорная затея.

— Я совершенно не представляю себе, что вы имеете в виду.

— Вы вели сложную игру, и вам это прекрасно

удалось.

— Что же мне удалось?

— Правда, это еще не конец; мы его увидим снова. — Он остановился перед Изабеллой, держа руки в карманах, глядя на нее в задумчивости так, как он умел, — словно желая показать, что если она и занимает его мысли, то не сама по себе, а всего лишь как затесавшееся в них досадное обстоятельство.

— Если вы имеете в виду, что лорд Уорбертон должен по какой-то причине вернуться, вы ошибаетесь; он ничего не должен.

— Как раз на это я и ропщу. Но говоря «он вернется», я не имел в виду, что он сделает это из чувства долга.

— Что же еще может его побудить? Думаю, он исчерпал Рим вполне.

— Какое плоское суждение! Рим неисчерпаем. — Озмонд снова принялся ходить по комнате. — Но что касается этого, — добавил он, — время терпит. А ему пришла недурная мысль, что нам следует побывать в Англии. Если бы я не боялся встретить там вашего кузена, я попробовал бы вас к этому склонить.

— Очень может быть, что вы его там не встретите, — сказала Изабелла.

— Хотелось бы увериться в этом. Впрочем, я и уверюсь, насколько возможно. И вместе с тем мне хочется увидеть его дом, вы так мне его в свое время расписали; как он называется — как будто Гарденкорт? Там должно быть прелестно. И потом, знаете, я чту память вашего дядюшки, вы очень меня к нему расположили. Я хотел бы посетить те места, где он жил и умер. Но это, разумеется, не главное. Ваш друг прав, Пэнси должна увидеть Англию.

— Не сомневаюсь, ей там понравится, — сказала Изабелла.

— Ну, до этого много еще воды утечет, до будущей осени далеко, — продолжал Озмонд. — А между тем есть вещи, более близко нас касающиеся. Скажите, я что, кажусь вам таким уж гордецом? — спросил он вдруг.

— Вы кажетесь мне очень странным.

— Вы меня не понимаете.

— Нет, даже когда вы пытаетесь меня оскорбить.

— Я не пытаюсь вас оскорбить. На это я не способен. Я просто говорю о кое-каких фактах, и если упоминание о них вас задевает, это уж не моя вина. Вы ведь не станете отрицать, что все было в ваших руках.

— Вы решили вернуться к лорду Уорбертону? — спросила Изабелла. — Я устала от звука его имени.

— Вам придется снова услышать его, прежде чем мы с этим покончим.

Она сказала, что он ее оскорбляет, но внезапно это перестало ее мучить. Он падал все ниже и ниже; от столь головокружительного падения ей чуть было не стало дурно, вот и вся мука. Он был слишком странным, слишком чуждым, он больше уже ее не задевал. Тем не менее способность Озмонда видеть все в отвратительном свете была так беспримерна, что Изабелле стало даже интересно, каким образом удастся ему быть правым в своих глазах.

— Я могла бы ответить вам: все, что вы собираетесь сказать мне, наверное, слушать не стоит. Но, пожалуй, это не так; есть одна вещь, которую мне стоит услышать. Скажите просто и ясно, в чем вы меня обвиняете?

— В том, что вы расстроили брак Пэнси с лордом Уорбертоном. Это достаточно ясно?

— Напротив, я отнеслась к возможности этого брака с большим участием. Я так вам и сказала, и когда вы сказали мне, что рассчитываете на меня — насколько я помню, таковы были ваши

слова, — я согласилась возложить на себя эту обязанность. Конечно, я сделала непростительную глупость, но я ее сделала.

— Вы только притворились, вы притворились даже, что беретесь за это неохотно, чтобы я проникся к вам большим доверием. После чего пустили в ход все свое искусство и отвадили его.

— Думаю, я понимаю, что вы имеете в виду, — сказала Изабелла.

— Где то письмо, которое он, по вашим словам, написал мне? — настойчиво спросил ее муж.

— Не имею представления; я его об этом не спрашивала.

— Вы остановили письмо на полпути, — сказал Озмонд.

Изабелла медленно поднялась; в окутывавшей ее сверху донизу белой накидке она стояла перед ним, точно ангел презрения — ближайший родственник жалости.

— О Гилберт, для человека, отличавшегося такой тонкостью...! — воскликнула тихо и горестно она.

— Мне далеко до вашей тонкости. Вы добились всего, чего хотели, ловко его отвадили и притом так, с таким видом, словно к этому непричастны! А меня поставили в положение, в каком вам угод-

но было меня видеть, — в положение человека, пытавшегося выдать свою дочь замуж за лорда и потерпевшего неудачу.

— Пэнси к нему равнодушна. Она рада, что он уехал, — сказала Изабелла.

— Это к делу не относится.

— И он к ней равнодушен тоже.

— Э нет, позвольте! Вы сами говорили мне обратное. Не знаю, почему вам именно таким, а не каким-либо иным образом захотелось уязвить меня, — продолжал Озмонд. — По-моему, я не был излишне самонадеян, не возомнил невесть что, напротив, проявил примерную скромность. Мысль принадлежит не мне; он начал оказывать ей знаки внимания до того, как мне вообще пришло это в голову. И я все препоручил вам.

— Вы были очень рады все препоручить мне. Впредь вам предстоит взять эту заботу на себя.

Он несколько секунд смотрел на нее, потом отвернулся.

— Я думал, вы любите мою дочь.

— Сейчас больше, чем когда-либо.

— В вашем чувстве к ней многого недостает. Впрочем, это только естественно.

— Это все, что вы хотели мне сказать? — спросила Изабелла, взяв с одного из столиков свечу.

— Вы удовлетворены? Я в достаточной мере разочарован?

— Я не считаю, что вы разочарованы. У вас был прекрасный случай еще раз обвести меня вокруг пальца.

— Дело не в том. Я убедился, что Пэнси может метить высоко.

— Бедняжка Пэнси! — сказала Изабелла, направляясь со свечой в руке к двери.

47

О том, как Каспар Гудвуд приехал в Рим, она во всех подробностях узнала от Генриетты Стэкпол, и произошло это ровно через три дня после отъезда лорда Уорбертона. Последнему обстоятельству предшествовало еще одно, небезразличное для Изабеллы событие — очередная отлучка из Рима мадам Мерль, отправившейся ненадолго в Неаполь погостить у своей приятельницы, которая была счастливой обладательницей виллы в Позилиппо. Мадам Мерль не содействовала больше счастью Изабеллы, иной раз ловившей себя на мысли, уж не является ли эта самая осмотрительная на свете женщина, чего доброго, и самой опасной? Изабеллу осаждали порой по ночам странные видения: ей казалось, будто ее муж и ее приятельница — его приятельница — проносятся мимо нее в каких-то туманных неуловимых сочетаниях. И еще ей казалось, будто с ней не покончено, будто у той что-то еще припасено. Воображение Изабеллы живо устремлялось вслед за ускользающим образом, но то и дело замирало на лету от какого-то безымянного ужаса, поэтому

отсутствие в Риме сей очаровательной дамы Изабелла расценивала чуть ли ни как своего рода передышку. К этому времени она уже знала от мисс Стэкпол, что Каспар Гудвуд в Европе; встретив его в Париже, Генриетта сразу же письмом известила ее об этом. От него самого она ни разу не получала писем, и несмотря на то, что он находился в Европе, Изабелле представлялось вполне вероятным, что он так и не пожелает ее увидеть. Последнее их свидание почти накануне ее замужества носило характер окончательного разрыва; если память ей не изменяет, он даже сказал тогда, что хочет посмотреть на нее в последний раз. С тех пор он так и оставался самым неблагополучным воспоминанием ее юности — по существу, единственным, неизменно причинявшим боль. В то утро, когда они расстались, Каспар Гудвуд потряс ее до глубины души, и потрясение это было таким же нежданным и негаданным, как столкновение судов средь бела дня. Не было ни тумана, ни подводного течения — словом, ничто не предвещало катастрофы; и сама она стремилась лишь к одному: спокойно разминуться. И тем не менее, хотя рука ее лежала на румпеле, удар пришелся по самому носу легкого суденышка Изабеллы и — чтобы

завершить метафору — оказался столь сильным, что следствия его по сей день иногда давали о себе знать легким поскрипыванием. Ей было бы тяжело его видеть, он олицетворял единственное (насколько она могла судить) причиненное ею в этом мире зло, он был единственным человеком, который мог предъявить ей счет. Она принесла ему несчастье, и от этого никуда не денешься; Каспар Гудвуд несчастен — такова жестокая правда. Как только он ушел от нее тогда, у нее градом хлынули слезы, но, чем они были вызваны, она не знала, хотя и пробовала убедить себя, что его неделикатностью. Ведь он явился к ней со своим несчастьем, когда сама она была на вершине блаженства, и сделал все, чтобы омрачить сияние тех чистых лучей. Он не был ожесточен, тем не менее у нее почему-то осталось ощущение ожесточенности. Где-то в чем-то ожесточенность была — скорее сего, в ее собственных бурных рыданиях и в горьком осадке, не растворявшемся в течение нескольких дней.

Однако впечатление от его прощального призыва вскоре изгладилось, весь первый год ее замужества он был сброшен со счетов. Ей не хотелось возвращаться к этой неблагодарной теме: неприятно думать о человеке, которому из-за

вас горько и горестно и которому вы не в силах помочь. Все было бы иначе, если бы она могла хоть на секунду усомниться в его безутешности, как позволяла себе это в отношении лорда Уорбертона; но в том-то и беда, что безутешность Каспара Гудвуда не подлежала сомнению и из-за своего воинствующего, непримиримого характера была зрелищем весьма непривлекательным. Разве она посмеет когда-нибудь сказать — у этого страдальца есть чем себя вознаградить, как сказала по поводу своего английского поклонника? Всему, чем мог себя вознаградить Каспар Гудвуд, Изабелла не придавала никакой цены. Вряд ли кого-нибудь способна вознаградить прядильная фабрика, особенно за отвергнутую Изабеллой Арчер любовь. А что еще у него было, кроме этого, не считая, конечно, его силы духа? О, на силу своего духа он вполне мог опереться — она никогда не допускала мысли, что он станет искать себе какие-нибудь искусственные подпоры. Если он пожелает расширить свое предприятие — единственное, на что, по ее мнению, могли быть направлены его усилия, — то лишь потому, что это требует смелости или полезно для дела, а вовсе не потому, что сулит хоть какую-то надежду перечеркнуть прошлое. Все это

накладывало на облик Каспара Гудвуда печать особой незащищенности и неприкаянности, и оттого, наталкиваясь на него внезапно в своих воспоминаниях или опасениях, она всегда ощущала болезненный удар — для этого человека не существовало светских покровов, смягчающих в наш сверхцивилизованный век остроту человеческих столкновений. Его неизменное молчание, то обстоятельство, что она не только ни слова не получала от него, но почти не встречала упоминаний о нем в письмах друзей и близких, усугубляло ощущение полного его одиночества. Иногда она справлялась о нем у Лили, но Лили ничего не знала о Бостоне — если ее воображение и устремлялось на восток, то не дальше Мэдисон-авеню. По мере того как шло время, Изабелла все чаще думала о нем и все с меньшей сдержанностью, у нее не раз возникало желание ему написать. Она никогда не рассказывала о нем мужу, не говорила Озмонду о его приезде во Флоренцию; скрытность ее в те, первоначальные времена объяснялась не отсутствием доверия к Озмонду, а мыслью, что разочарование молодого человека — его тайна, а не ее. Она считала: очень дурно выдать чужую тайну другому, да и в какой степени могли интересовать Гилберта Озмонда

дела Каспара Гудвуда? Но она так ему и не написала; в последнюю минуту ее всегда что-то удерживало, скорей всего, сознание, что после того, как она нанесла ему такую обиду, надо по меньшей мере оставить его в покое. И, однако, ей хотелось быть как-то ближе к нему. Это вовсе не означало, будто она хоть раз пожалела, что не вышла за него замуж: даже когда последствия ее брака стали вполне очевидны, подобная мысль — хотя Изабелле многое приходило на ум — все же не посмела ей явиться. Но, когда наступила для нее бедственная пора, оказалось: Каспар Гудвуд принадлежит к тому разряду существ и явлений, перед которыми она должна быть чиста. Я уже говорил, как необходимо ей было знать, что не по своей вине она несчастна. Она не думала а близкой смерти и тем не менее желала восстановить с этим миром согласие, привести в порядок свои душевные дела. И время от времени Изабелла вспоминала, что не оплатила еще свой счет Каспару, по-прежнему в долгу перед ним, и чувствовала, она готова, она в состоянии рассчитаться с ним нынче на самых благоприятных для него условиях. Но, когда она узнала, что он едет в Рим, ее охватил страх; ему ведь, как никому другому, будет тягостно видеть — а уж

он-то увидит с такой же ясностью, как если бы ему пытались подсунуть подложный балансовый отчет или что-нибудь в этом роде, — как расстроены ее личные дела. Она в глубине души знала, что он все вложил в ее счастье, между тем как другие вложили всего лишь часть. Придется и от него скрывать, как трудно ей живется. Но после приезда Каспара Гудвуда в Рим она успокоилась, так как прошло уже несколько дней, а он все не появлялся.

Генриетта Стэкпол, в отличие от него, не заставила себя, разумеется, ждать, и Изабелла была щедро оделена обществом подруги. Она наслаждалась им в полной мере, ибо, взяв теперь за правило жить с чистой совестью, могла таким образом доказать: решение ее не пустой звук, тем более что время в стремительном течении скорее изощрило, нежели истощило те своеобразные черты, которые некогда подвергались осмеянию со стороны лиц менее пристрастных, чем Изабелла; они, эти черты, проявились теперь с такой отчетливостью, что верность себе обрела у нее оттенок героизма. Генриетта была по-прежнему полна энергии, живости, любознательности и по-прежнему подтянута, весела, прямодушна. Ее на редкость широко распахнутые глаза, светивши-

еся изнутри наподобие огромных застекленных вокзалов, никогда не прикрывались ставнями, наряды были все так же туго накрахмалены, мнения все так же окрашены сугубо американским колоритом. И, однако, нельзя было сказать, что она совсем не изменилась: Изабеллу поразила появившаяся в ней некая рассеянность. Раньше она не была рассеянна и, наводя самые разнообразные справки, умудрялась исчерпать каждый вопрос до конца и дойти до сути. Прежде, что бы она ни предпринимала, у нее на все были причины, она так и сыпала резонами на каждом шагу. В первый раз она приехала в Европу, чтобы ее повидать, но теперь, однажды повидав, не могла уже на это сослаться. Но она и не пыталась делать вид, будто ее теперешняя затея продиктована желанием изучить пришедшие в упадок цивилизации; нынешнее ее путешествие скорей было проявлением независимости от Старого Света, чем признанием дальнейших перед ним обязательств: «Подумаешь, экая важность — поехать в Европу, — сказала она Изабелле, — по-моему, на это особых причин не требуется. Другое дело остаться дома, это куда важнее». Поэтому, отнюдь не признавая, что совершает что-либо важное, позволила она себе предпринять еще одно па-

ломничество в Рим. Она побывала уже в Риме и достаточно его обследовала, и этот ее приезд скорей был знаком близости, знаком того, что она с Римом освоилась и имеет такое же право находиться здесь, как и любой другой. Так-то оно так, но Генриетта была неспокойна; впрочем, если на то пошло, она имела полное право быть неспокойной тоже. И в конце концов, помимо той причины, что для приезда в Европу особых причин не требуется, была у нее и причина посерьезнее, которую Изабелла сразу же оценила, а заодно — всю глубину преданности своей подруги. Догадавшись, что у Изабеллы тяжело на душе, Генриетта в зимнюю пору безбоязненно пересекла бурный океан. Она и раньше о многом догадывалась, но ее последняя догадка очень точно попала в цель. Ибо у Изабеллы было сейчас мало радостей, но, даже будь их у нее куда больше, сердце ее все равно втайне ликовало бы от сознания, что не напрасно она так высоко ставила Генриетту. Приняв ее далеко не безоговорочно, она тем не менее, невзирая на все оговорки, утверждала: Генриетте нет цены. Но дело было главным образом не в торжестве ее правоты — появился кто-то, кому она могла излить душу. Нарушив в первый раз печать молчания, Изабел-

ла призналась, что живется ей очень несладко. Генриетта почти сразу же по приезде сама затронула эту тему, заявив подруге без обиняков: она видит — та несчастлива. Перед Изабеллой была женщина, была сестра, а не Ральф, не лорд Уорбертон, не Каспар Гудвуд — и она заговорила.

— Да, я несчастлива, — сказала она кротко. Ей невыносимо было слышать, как она это произносит, и она постаралась произнести это совершенно бесстрастно.

— Что он с тобой делает? — спросила Генриетта, нахмурившись так, словно речь шла о деятельности врача-шарлатана.

— Ничего. Но я ему не по душе.

— Трудно же на него угодить! — вскричала мисс Стэкпол. — А почему ты от него не уйдешь?

— Я не могу так изменить себе, — сказала Изабелла.

— Хотела бы я знать почему? Ты просто не желаешь признаться, что совершила ошибку. Ты гордячка.

— Не знаю, гордячка ли я, но я не могу предать свою ошибку гласности. Я считаю это неприличным, уж лучше умереть.

— Не всегда ты так будешь считать, — возразила Генриетта.

— Не знаю, какие должны обрушиться беды, чтобы довести меня до этого, но, по-моему, мне всегда будет стыдно. Надо отвечать за свои поступки. Я взяла его в мужья перед всем светом, была совершенно свободна в своем выборе, сделала это по зрелом размышлении. Нет, так изменить себе невозможно.

— Ты *уже* изменила себе, несмотря на всю невозможность. Надеюсь, ты не хочешь сказать, что он тебе мил?

Изабелла несколько секунд колебалась.

— Нет, он мне не мил. Тебе я могу сказать это, я устала все время замыкаться в себе. Но больше никому — не могу кричать об этом на всех перекрестках.

Генриетта рассмеялась.

— А тебе не кажется, что ты излишне деликатна?

— Деликатна — но по отношению к себе, а не к нему, — ответила Изабелла.

Не удивительно, что Гилберт Озмонд не питал расположения к мисс Стэкпол; его не обмануло чутье, когда он ополчился на молодую леди, способную советовать его жене покинуть супружеский кров. Как только та приехала в Рим, Озмонд заявил Изабелле, что надеется, она будет

держать свою подругу-газетчицу на почтительном расстоянии; Изабелла ответила, что ему с этой стороны ничего не грозит. Она сказала Генриетте, что не станет приглашать ее обедать, поскольку Озмонд ее недолюбливает, но это нисколько не помешает им видеться. Изабелла постоянно принимала мисс Стэкпол у себя в гостиной и довольно часто брала ее кататься в своей карете вместе с Пэнси; та сидела напротив нее, чуть подавшись вперед, поглядывая на знаменитую писательницу с почтительным вниманием, подчас весьма раздражавшим Генриетту. Она жаловалась Изабелле, что у мисс Озмонд такой вид, словно она старается запомнить чужие разговоры от слова до слова: «А я не люблю, когда меня так запоминают, — заявила мисс Стэкпол. — Я считаю, мои слова, как утренние газеты, относятся лишь к данной минуте, а твоя падчерица сидит с таким видом, будто решила сохранить все старые номера и потом в один прекрасный день припереть меня к стенке». Она никак не могла приучить себя смотреть благосклонно на Пэнси, чья бездеятельность, бессловесность, безликость казались ей в двадцатилетней девушке чем-то противоестественным и даже чудовищным. Изабелла вскоре убедилась,

что Озмонд предпочел бы, чтобы она более горячо отстаивала свою подругу, больше упорствовала в своем желании приглашать ее к обеду, не лишив его тем самым возможности оказаться жертвой собственной благовоспитанности. А так, поскольку она сразу же согласилась с его возражениями, он попал в положение неправого — ведь одна из невыгод презрения к людям как раз и состоит в невозможности вменить себе при этом в заслугу свое доброе к ним отношение. Озмонд не хотел отказываться от своей правоты, но и не хотел отказываться от своих возражений, а примирить оба желания было трудно. Куда лучше, если бы мисс Стэкпол, явившись раз-другой пообедать в палаццо Рокканера, убедилась бы сама (несмотря на его неизменную внешнюю учтивость), как мало приятно ему ее общество. Но, коль скоро обе дамы проявили такую неподатливость, ему оставалось только пожелать, чтобы она как можно скорее убралась в свой Нью-Йорк. Поразительно, как мало удовольствия доставляли ему друзья его жены; разумеется, он не преминул обратить на это внимание Изабеллы.

— Вам, безусловно, очень не повезло с друзьями. Я советовал бы вам обновить вашу коллекцию, — сказал он ей как-то утром безо всякого видимого

повода, но таким тоном, каким говорят по зрелом размышлении, смягчив тем самым вопиющую неоправданность своего выпада. — Вы словно нарочно постарались выбрать тех, с кем у меня нет и не может быть ничего общего. Кузена вашего я всегда считал самонадеянным ослом, не говоря уж о том, что более отталкивающего двуногого я просто не встречал. И самое несносное, ему нельзя этого сказать, надо, изволите ли видеть, щадить его из-за плохого здоровья. Да его пресловутое здоровье, на мой взгляд, лучшее, что у него есть: оно дает ему такие преимущества, о каких никто не может и мечтать. Если он действительно безнадежно болен, есть только один способ доказать это, но он, как видно, с доказательством не торопится. И ваш великий Уорбертон из того же теста. Нет, скажите, что за неслыханная наглость — вести себя более беспардонно просто нельзя! Он является и рассматривает вашу дочь, как какую-нибудь сдающуюся внаймы квартиру, выглядывает из окон, нажимает дверные ручки, выстукивает стены и чуть было уже ни решает остановить на ней свой выбор. Будьте добры, набросайте договор о найме. А потом вдруг передумывает: дескать, комнаты слишком малы, и он не привык жить на третьем этаже; он поищет

себе piano nobile.[163] И, не долго думая, покидает бедную маленькую квартирку, где целый месяц бесплатно находил себе приют. Ну а мисс Стэкпол, уж это самая поразительная ваша находка. Она просто какой-то монстр; во мне при виде нее каждый нерв дрожит. Вы ведь помните, я всегда отказывался признавать ее за женщину. Знаете, что она напоминает мне? Новоизобретенное стальное перо — нет на свете ничего более мерзкого. Она рассуждает так, как пишет это стальное перо, — кстати, не строчит ли она свои письма на линованной бумаге? И она действует, ходит и выглядит в точности так же, как рассуждает. Конечно, вы вправе возразить мне, что, поскольку я ее не вижу, это не должно меня задевать. Да, я не вижу ее, но я ее слышу; я слышу ее с утра и до вечера. У меня все время звучит в ушах ее голос, я не могу от него отделаться. Я знаю в точности все, что она говорит, — и каким тоном, вплоть до последней ноты. Обо мне она говорит прелестные вещи, которые так вам по душе. Мне достаточно неприятно знать, что она вообще говорит обо мне, — все равно, как если бы я знал, что в моих шляпах разгуливает лакей.

---

[163] Примечания: 163
первый этаж *(ит.).*

Генриетта, однако, как Изабелла поспешила заверить своего мужа, говорила о нем гораздо реже, чем он предполагал. У нее было немало других тем, из которых две могут, вероятно, заинтересовать и читателя. Она сообщила своей подруге, что Каспар Гудвуд сам каким-то образом проведал, что Изабелла несчастна; но, право же, она, хоть убей, не может понять, как он думает помочь ей, если, будучи в Риме, ни разу не навестил ее. Они дважды видели его на улице, но он, судя по всему, их не заметил; они ехали в карете, а он, по своему обыкновению, шел глядя прямо перед собой, словно твердо решил сосредоточить внимание на чем-то одном. У Изабеллы было такое чувство, будто они только вчера расстались, должно быть, такой же походкой и с таким же лицом он вышел после их последнего свидания из дверей дома миссис Тачит. И одет он был точно так же, как в тот день; Изабелле запомнился цвет его галстука. И, однако, несмотря на его привычный вид, в облике Каспара Гудвуда появилось что-то незнакомое, заставившее ее заново почувствовать, как ужасно, что он приехал в Рим. Казалось, он стал еще выше ростом, еще больше возвышался надо всеми, хотя и до того был уже достаточно высок. Ей бросилось в глаза, как люди, мимо которых он

проходит, оборачиваются и глядят ему вслед, но он шел все так же прямо вперед, подняв голову, и лицо его было похоже на февральское небо.

Вторая тема мисс Стэкпол была совсем иного толка: Генриетта рассказывала Изабелле последние новости о мистере Бентлинге. Год назад он приезжал в Соединенные Штаты, и она просто счастлива, что смогла оказать ему должное внимание. Она не знает, была ли ему радость от этой поездки, но берет на себя смелость утверждать, что польза была немалая: он уехал из Америки совсем другим человеком. У него открылись глаза, он увидел, что Англия это еще далеко не все. Он произвел почти на всех очень хорошее впечатление и подкупил удивительной простотой, а простота, как известно, англичанам не слишком свойственна. Нашлись, правда, люди, которые заподозрили его в притворстве; она не ручается, но, скорей всего, они имели в виду, что подобная простота не может быть ничем иным, кроме притворства. Иногда он буквально ошеломлял ее своими вопросами — то ли принимал всех горничных за фермерских дочек, то ли всех фермерских дочек за горничных, точно она не помнит. Он, по-видимому, был не в состоянии постичь всю грандиозность их системы образова-

ния; для него это просто было чересчур. Вообще он вел себя так, будто для него все слегка чересчур, будто он способен охватить лишь малую часть. Вот он и решил ограничиться гостиницами и речным судоходством. От гостиниц он пришел в полный восторг и увез с собой фотографии всех, в которых побывал. Но самый большой интерес проявил он к речным пароходам; казалось, ничего ему на свете не надо, только бы плавать на этих огромных судах. Они пропутешествовали вместе от Нью-Йорка до Милуоки, останавливаясь по пути во всех наиболее интересных городах, и перед тем, как двинуться дальше, он каждый раз ее спрашивал, нельзя ли им сесть на пароход. Как выяснилось, он мало смыслит в географии, почему-то он воображал, что Балтимор на западе, и все ждал, когда они доберутся до Миссисипи. Он, очевидно, не слыхал никогда, что в Америке, кроме Миссисипи, существуют другие реки, и Гудзон явился для него полной неожиданностью, хотя в конце концов он вынужден был признать, что Гудзон нисколько не уступает Рейну. Они провели немало приятных часов в железнодорожных салон-вагонах, причем он то и дело просил цветного проводника принести ему мороженого. Мистер Бентлинг никак не мог

привыкнуть к мысли, что в поезде можно есть мороженое. В английских поездах, уж' конечно, ни мороженого, ни вееров, ни конфет нет и в помине. Он нашел, что жара у них неслыханная, и Генриетта выразила надежду, что большей жары ему нигде испытать не довелось. Сейчас он в Англии, отправился на охоту — «охота пуще неволи», сказала она ему. Развлечение, достойное наших американских краснокожих; сами-то мы давно уже забросили эти охотничьи забавы. В Англии, как видно, существует мнение, будто мы ходим с томагавками и украшаем себя перьями, но, право же, и то и другое больше под стать английским обычаям. Мистеру Бентлингу не удастся присоединиться к ней в Италии, но к тому времени, когда она вернется в Париж, он тоже предполагает туда приехать. Ему хочется снова увидеть Версаль, он поклонник старого régime.[164] На этот счет они никогда не сойдутся; ей самой тем и нравится Версаль, что в нем сразу видно: старый rйgime сметен. От всех герцогов и маркизов не осталось и следа; ей очень запомнилось, как однажды, когда она была там, по залам расхаживали по меньшей мере пять американ-

[164] Примечания: 164
режим *(фр.).*

ских семейств. Мистер Бентлинг мечтает, чтобы она снова занялась Англией: ему кажется, теперь она больше преуспеет, Англия, по его мнению, сильно изменилась за последние два-три года. Он собирается, как только она приедет, сразу же отправиться к своей сестре, леди Пензл, — и на этот раз приглашение не заставит себя ждать. Куда делось то первое приглашение, так, видно, навсегда и останется тайной.

Каспар Гудвуд появился наконец в палаццо Рокканера; предварительно он прислал Изабелле коротенькое письмецо, в котором просил разрешения прийти. Разрешение было ему тотчас же даровано: с шести часов вечера она нынче дома. Весь день она гадала, что побудило его приехать — на что он может надеяться? До сих пор он вел себя как человек, неспособный ни на какие компромиссы, которому подавай, что он просит, а другого ему ничего не надо. Радушие Изабеллы было, однако, образцовым, и, как оказалось, ей не составило труда притвориться счастливой — ровно настолько, чтобы его обмануть. По крайней мере она убеждена была — ей это удалось, и Гудвуду придется признать, что его ввели в заблуждение. Но, на ее взгляд, он не был этим разочарован, как был бы, по ее мнению, любой

другой; он приехал в Рим не за тем, чтобы воспользоваться благоприятным случаем. Впрочем, она так и не поняла, зачем он приехал; он не счел нужным вдаваться в причины. Да и какие тут еще могли быть причины, кроме самой простой, — желания видеть ее. Иными словами, он приехал ради собственного удовольствия. Ухватившись за эту мысль, Изабелла развивала ее с немалым прилежанием; она была в восторге от своего умозаключения, позволившего ей похоронить призрак былых обид этого джентльмена. Если он приехал в Рим ради собственного удовольствия, о нем можно не тревожиться, ибо, если он стремится к удовольствиям, стало быть, залечил свою сердечную рану. Ну, а если он ее залечил, значит, все обстоит прекрасно, и ее ответственность на этом кончается. Правда, глядя на него, никто бы не сказал, что ему очень весело, но Каспар Гудвуд никогда ведь не отличался легкостью и непринужденностью; и однако он был доволен тем, что увидел, — так по крайней мере считала Изабелла. Он не удостаивал своим доверием Генриетту — это только она удостаивала его своим, поэтому Изабелла ни прямыми, ни окольными путями не могла узнать, что делается у него в душе. Он способен был вести разговор лишь на общие темы;

ей припомнилось, как давным-давно она сказала о нем: «Мистер Гудвуд умеет разговаривать, но болтать не склонен». Вот и сейчас он не уклонялся от разговора, но явно не желал болтать, хотя, казалось бы, тем для болтовни в Риме достаточно. Конечно, она не могла надеяться, что его приезд упростит ее отношения с мужем: мистер Озмонд, как известно, не жаловал ее друзей, а мистер Гудвуд только потому и мог рассчитывать на его внимание, что числился самым давним ее другом. Да, он ее старый друг — больше она ничего не могла сказать о нем, сведя таким образом все факты к этому ничего не говорящему обобщению. Она вынуждена была представить его Гилберту; нельзя было не пригласить его на обед, на ее четверги, которыми она так теперь тяготилась, но за которые стоял горой ее муж не столько потому, что можно кого-то позвать на них, сколько потому, что можно не позвать.

Мистер Гудвуд являлся по четвергам исправно, с торжественным видом, рано; по-видимому, он относился к ним с величайшей серьезностью. Минутами у Изабеллы бывали вспышки раздражения: ну почему он так педантичен? По ее мнению, он просто обязан был знать, до какой степени она не знает, что ей с ним делать. Но

она никак не назвала бы его тупым; нет, он ни в коей мере не был туп, а был всего лишь невероятно честен. А когда человек так честен, это отличает его чуть ли не от всех остальных людей, и волей-неволей приходится быть с ним честной тоже. Она пришла к этому выводу именно тогда, когда возомнила, будто ей удалось убедить его, что она самая беззаботная женщина на свете. Он никогда не высказывал сомнений на этот счет, никогда не задавал ей щекотливых вопросов. С Озмондом против всякого ожидания они поладили. Озмонд терпеть не мог, когда на него в чем-то рассчитывали, он испытывал в таких случаях непреодолимую потребность вас разочаровать. Исходя из этого принципа, он и проникся, потехи ради, симпатией к этому прямолинейному бостонцу, к которому, безусловно, должен был бы проявить холодность. Он спросил Изабеллу, не хотел ли и мистер Гудвуд жениться на ней, и выразил удивление, что она не была к нему более благосклонна. Ведь лучше ничего и придумать нельзя, это все равно что жить под сенью высокой колокольни, которая отбивает часы и там, в вышине, удивительным образом сотрясает воздух. Озмонд заявил, что ему положительно нравится разговаривать с большим Гудвудом; сначала,

правда, приходится нелегко, надо карабкаться по бесконечным ступеням крутой лестницы до самого верха, но, когда вы туда уже взобрались, перед вами открываются просторы и вас обдает свежим ветром. У Озмонда, как известно, было немало достоинств, и он милостиво услаждал ими Каспара Гудвуда. Изабелла видела, что мистер Гудвуд лучшего мнения о ее муже, чем ему хотелось бы: в то утро во Флоренции у нее создалось впечатление, что никаким благоприятным впечатлениям он недоступен. Гилберт постоянно приглашал его обедать, и мистер Гудвуд выкуривал с ним послеобеденную сигару и даже выражал желание осмотреть его коллекцию. Гилберт сказал Изабелле, что ее друг большой оригинал; он так же надежен и такой же превосходной выделки, как английская дорожная сумка, — у него тьма ремешков и пряжек, которым нет сносу, и отменный патентованный замок. Каспар Гудвуд пристрастился ездить верхом по Кампании и посвящал этому занятию много часов, поэтому Изабелла видела его обычно лишь по вечерам. И как-то вечером она обратилась к нему с просьбой оказать ей услугу.

— Не знаю, впрочем, вправе ли я просить вас об услуге? — с улыбкой сказала она.

— Кто же тогда вправе, если не вы? — ответил он. — Я дал вам когда-то заверения, каких больше не давал никому.

Услуга состояла в том, что он должен был навестить ее больного кузена Ральфа, который в полном одиночестве лежал в Hótel de Paris, и проявить к нему живое участие. Мистер Гудвуд никогда его не видел, но, наверное, знает, кто этот бедняга; если она не ошибается, Ральф пригласил его когда-то погостить в Гарденкорте. Каспар Гудвуд помнил прекрасно это приглашение, и хотя предполагалось, что он не принадлежит к числу людей, наделенных воображением, у него оказалось его достаточно, чтобы поставить себя на место несчастного джентльмена, который лежит смертельно больной в римской гостинице. Он отправился в Hótel de Paris и, когда его провели к владельцу Гарденкорта, обнаружил там сидящую возле его дивана мисс Стэкпол. В отношениях этой леди с Ральфом Тачитом произошла неожиданная перемена. Изабелла не просила ее пойти его навестить, но, услыхав, что он болен, она сама сейчас же к нему явилась и с тех пор навещала его ежедневно на правах заклятого врага. «О да, мы с ней такие враги, что нас водой не разольешь», — говаривал Ральф и обвинял

ее без всякого стеснения — без стеснения, но не выходя из границ шутки, — что она является с целью замучить его до смерти. На самом же деле они стали большими друзьями, и Генриетта никак не могла понять, отчего он ей раньше не нравился. Ральфу же она всегда нравилась, он и прежде ни минуты не сомневался, что она — отличный товарищ. Они болтали обо всем на свете и ни в чем не сходились — обо всем, кроме Изабеллы; Ральф неизменно прикладывал худой указательный палец к губам, стоило упомянуть ее имя. Зато мистер Бентлинг оказался темой поистине неисчерпаемой. Ральф способен был обсуждать его с Генриеттой часами. Обсуждение протекало достаточно горячо, так как они по обыкновению не сходились во мнении: Ральф, забавы ради, настаивал на том, что милейший экс-гвардеец сущий Макиавелли. В этом споре Каспар Гудвуд не мог принять участие, но, когда гость и хозяин остались наедине, у них нашлось немало предметов для беседы. Следует, однако, отметить — удалившаяся только что дама не принадлежала к их числу: Каспар готов был заранее признать за мисс Стэкпол все ее несомненные достоинства, но к этому ему нечего было прибавить. И о миссис Озмонд они после первого

упоминания говорить избегали — Каспар Гудвуд, как и Ральф, предвидел на этом пути слишком много подводных рифов. Ему бесконечно жаль было этого недюжинного человека, ему тягостно было видеть этого приятного, несмотря на все его чудачества, джентльмена, для которого ничего уже нельзя сделать. Но Каспар Гудвуд был не из тех, кто сидит сложа руки, он и здесь нашел себе дело, продолжая навещать Ральфа в Нфtel de Paris. Изабелле казалось, что она очень умно распорядилась излишним присутствием Каспара Гудвуда. Она придумала ему занятие, приставила хранителем к Ральфу. У нее возникла даже мысль заставить его отправиться с ее кузеном на север, как только позволит погода; лорд Уорбертон привез Ральфа в Рим, пусть Каспар Гудвуд увезет его. В этом была отрадная симметрия; к тому же теперь она жаждала всей душой, чтобы Ральф уехал. Изабелла жила в вечном страхе, что он умрет у нее на глазах, и была в ужасе от того, что это может произойти в гостинице, в двух шагах от ее дома, порог которого он так редко переступал. Ральф должен обрести вечный покой в дорогом ему отчем доме, в одной из глубоких сумрачных спален Гарденкорта, где по краям смутно поблескивающих окон густо

вьется темный плющ. Для Изабеллы Гарденкорт стал теперь чем-то священным; ни одна глава ее прошлого не казалась ей такой невозвратимой. Когда она думала о проведенных там месяцах, к глазам ее подступали слезы. Изабелла, как я уже сказал, превозносила свое хитроумие, но никогда еще она не нуждалась в нем так, как сейчас, ибо одновременно произошло несколько событий, они обступили ее, они как бы бросали ей вызов. Прибыла из Флоренции графиня Джемини — прибыла со своими сундуками и туалетами, своим щебетом, своей лживостью, своей ветреностью и с вечно сопутствующим ей невообразимым списком любовников. Снова появился в Риме исчезнувший было куда-то — ни одна душа, даже Пэнси, не знала куда — Эдвард Розьер и засыпал ее длинными письмами, которые оставались безответными. Из Неаполя возвратилась мадам Мерль и сказала с непонятной улыбкой: «Помилуйте, куда вы девали Уорбертона?». Хотя ей-то какое до этого дело!

48

В последних числах февраля Ральф Тачит решился наконец возвратиться в Англию. У него были на это свей причины, в которые он не собирался никого посвящать, но, когда он упомянул о своем намерении сидевшей возле его дивана Генриетте Стэкпол, она подумала, что угадать их нетрудно. Однако воздержалась от рассуждений и просто сказала:

— Надеюсь, вы понимаете, что одному вам ехать нельзя.

— Я не собираюсь ехать один, — ответил Ральф. — Со мной будут люди.

— Кого вы разумеете под «людьми»? Слуг, которым вы платите?

— Ну, вообще-то говоря, — сказал Ральф шутливо, — они тоже человеческие существа.

— А есть среди них хотя бы одна женщина? — осведомилась мисс Стэкпол.

— Послушать вас, так можно вообразить, будто у меня дюжина слуг. Нет, субретки, признаюсь, я не держу.

— Вот что, — сказала невозмутимо Генриет-

та, — так ехать в Англию вам нельзя. Вы нуждаетесь в женской заботе.

— Я столько видел ее с вашей стороны за последние две недели, что мне надолго хватит.

— И все-таки ее было недостаточно. Пожалуй, я поеду с вами, — сказала Генриетта.

— Поедете со мной? — Ральф медленно привстал с дивана.

— Знаю, знаю, я вам не по вкусу, но хотите вы или нет, я с вами поеду. А сейчас вам лучше снова лечь.

Ральф несколько мгновений смотрел на нее, потом так же медленно опять опустился на диван.

— Вы очень мне по вкусу, — сказал он после короткой паузы.

Мисс Стэкпол рассмеялась, а это случалось с ней нечасто.

— Не думайте, что вам удастся так легко от меня откупиться. Я все равно с вами пседу и, более того, возьму на себя заботу о вас.

— Вы чудесная женщина, — сказал Ральф.

— Дайте мне сначала благополучно вас довезти, а потом уж говорите, что будет нелегко. Тем не менее ехать надо.

Прежде чем она ушла, Ральф еще раз спросил ее:

— Вы в самом деле хотите взять на себя заботу обо мне?

— Хочу попытаться.

— Тогда спешу поставить вас в известность, что покоряюсь. Да, да, покоряюсь.

Спустя несколько минут после ее ухода он громко расхохотался быть может, этим он и подтверждал свою покорность судьбе. Такое путешествие по Европе под присмотром мисс Стэкпол казалось Ральфу верхом нелепости, неопровержимым свидетельством отказа от всех обязательств, от всех усилий, а самое смешное было то, что оно представлялось ему заманчивым; полная бездеятельность — какая это благодать, какая отрада! Ему даже не терпелось пуститься в путь; он мечтал о минуте, когда снова увидит родной дом. Конец всему был близок, до него рукой подать; казалось, стоит лишь протянуть руку — и вот он, желанный предел. Но Ральфу хотелось умереть дома, только этого ему теперь и хотелось — вытянуться в просторной уединенной комнате, на той самой кровати, где он видел в последний раз своего отца, и летом на утренней заре навек уснуть.

Когда в этот же день его навестил Каспар Гудвуд, Ральф сообщил гостю, что мисс Стэкпол,

взяв его под свое крыло, собирается препроводить в Англию.

— Боюсь, тогда, — сказал Каспар Гудвуд, — я буду пятой спицей в колеснице. Я пообещал мисс Озмонд поехать с вами.

— Господи… прямо какой-то золотой век. Вы так все добры.

— Ну с моей стороны это не столько доброта по отношению к вам, сколько по отношению к ней.

— В таком случае как же добра *она!* — улыбнулся Ральф.

— Что посылает других ехать с вами? Да, пожалуй, это проявление доброты, — не поддержав шутливого тона, ответил Гудвуд. — Что же касается меня, то, признаться, я предпочитаю путешествовать с мисс Стэкпол и с вами, чем с одной мисс Стэкпол.

— Еще охотнее вы предпочли бы не делать ни того ни другого, а остаться здесь, — сказал Ральф. — Но, право же, вам незачем ехать, *в* этом нет никакой необходимости. У Генриетты бездна энергии.

— Не сомневаюсь. Но я уже пообещал миссис Озмонд.

— Она с легкостью освободит вас от вашего обещания.

— Она ни за что не освободит меня от него. Ей, конечно, хочется, чтобы я присмотрел за вами, но главное не это. Главное — ей хочется, чтобы я убрался из Рима.

— Думаю, вы преувеличиваете, — заметил Ральф.

— Я ей надоел, — продолжал Гудвуд. — Ей нечего сказать мне, вот она и придумала эту поездку.

— Ну, если ей так удобнее, я, разумеется, прихвачу вас с собой. Но я не понимаю, почему ей так удобнее? — тут же добавил Ральф.

— А потому, — ответил со всей прямотой Гудвуд, — что ей кажется, будто я за ней наблюдаю.

— Наблюдаете за ней?

— Пытаюсь уяснить себе, счастлива ли она.

— Уяснить это не трудно, — сказал Ральф. — Судя по виду, она самая счастливая женщина на свете.

— Именно так; я в этом удостоверился, — ответил Гудвуд очень сухо; тем не менее он продолжал: — Да, я за ней наблюдал; я старый ее друг и, по-моему, имею на это право. Она утверждает, что счастлива — еще бы, она ведь так старалась стать счастливой, вот я и подумал, посмотрю-ка я сам, чего оно стоит, ее счастье. Я посмотрел, — про-

должал он и в голосе его послышались горькие ноты, — и насмотрелся; с меня довольно. Теперь я вполне могу уехать.

— А знаете, мне кажется, вам в самом деле пора, — ответил Ральф.

И это был их первый и последний разговор о миссис Озмонд.

Между тем Генриетта Стэкпол, занимаясь приготовлениями к отъезду, сочла нужным сказать несколько слов графине Джемини, которая явилась к ней в пансион отдать нанесенный во Флоренции визит.

— А что касается лорда Уорбертона, вы были очень неправы, — заявила она графине Джемини. — Я просто должна вывести вас из заблуждения.

— По поводу того, что он ухаживает за Изабеллой? Голубушка, да он бывал у нее в доме по три раза в день. Там всюду следы его пребывания, — воскликнула графиня.

— Он хотел жениться на вашей племяннице, потому и бывал так часто.

Графиня воззрилась на нее, потом насмешливо хихикнула.

— Так вот что рассказывает Изабелла? Ну и ну! Неплохо придумано. Но, помилуйте, если он

хочет жениться на моей племяннице, что же ему мешает? Или, быть может, он отправился покупать обручальные кольца и вернется через месяц, когда меня здесь уже не будет?

— Нет, он не вернется. Мисс Озмонд не желает выходить за него замуж.

— До чего же она услужлива. Я знала, что она предана Изабелле, но не представляла себе — насколько.

— Я не понимаю вас, — холодно сказала Генриетта, размышляя о том, как неприятно упорствует графиня в своей неправоте. — И продолжаю настаивать на своем... Изабелла никогда не поощряла ухаживаний лорда Уорбертона.

— Ах, моя дорогая, что нам с вами известно об этом? Мы знаем только, что мой брат способен на все.

— Я не знаю, на что способен ваш брат, — ответила с достоинством Генриетта.

— Я ведь не на то ропщу, что она поощряла лорда Уорбертона, а на то, что услала из Рима. А мне больше всего хотелось увидеть именно его. Как вы думаете, не испугалась ли она, что я отобью у нее поклонника? — беззастенчиво гнула свое графиня. — Во всяком случае, она лишь на время удалила лорда Уорбертона. Дом полон им, можно

сказать, переполнен. Нет, нет, его след еще не остыл. Я наверняка с ним увижусь.

— Что ж, — сказала Генриетта в одном из тех порывов вдохновения, которыми и объяснялся успех ее писем в «Интервьюере». — Быть может, с вами ему повезет больше, чем с Изабеллой.

Когда Генриетта рассказала Изабелле о своем предложении Ральфу, то в ответ услышала, что вряд ли могла бы чем-нибудь сильнее ее обрадовать. Она всегда считала, что Генриетта и Ральф рано или поздно друг друга оценят.

— Мне все равно, оценит он меня или нет, — заявила Генриетта. — Важно одно — чтобы он не умер в поезде.

— Он себе этого не позволит, — покачав головой, сказала Изабелла с несколько преувеличенной уверенностью.

— Сделаю все возможное, чтобы не позволил. Я вижу, ты ждешь не дождешься, когда же наконец мы все уедем. Мне непонятно только, что ты хочешь делать дальше.

— Хочу остаться одна, — ответила Изабелла.

— Все равно это не получится, у тебя в доме изрядное общество.

— Они — участники комедии, а вы — зрители.

— По-твоему, это комедия, Изабелла Арчер? —

спросила весьма мрачно Генриетта.

— Ну, если тебе так угодно, трагедия. Вы все на меня смотрите, и мне от этого не по себе.

Несколько секунд Генриетта как раз тем и занималась, что смотрела на нее.

— Ты похожа на подстреленную лань, которая ищет тень погуще. Быть такой беспомощной! — вырвалось у нее наконец.

— Вовсе я не беспомощна. Я намерена много что сделать.

— Я говорю сейчас не о тебе, а о себе. Приехать нарочно за тем, чтобы тебе помочь, и так ни с чем и уехать.

— Ты очень мне помогла, — ответила Изабелла, — очень меня подбодрила.

— Нечего сказать, подбодрила! Точь-в-точь выдохшийся лимонад! Я хочу, чтобы ты дала мне одно обещание.

— Не могу. Никогда больше не дам. Четыре года назад я дала такое торжественное обещание и так плохо его сдержала.

— Тебя просто никто в этом не поощрял, а я обещаю тебе всяческое поощрение. Уйди от своего мужа, пока не случилось худшего.

— Худшего? Что ты называешь худшим?

— Пока ты не испортилась.

— Ты имеешь в виду, пока не испортился мой характер? — спросила улыбаясь Изабелла. — Он не испортится. Я очень за этим слежу. Меня поражает только, с какой легкостью ты советуешь женщине покинуть мужа, — добавила она, отвернувшись. — Сразу видно, что у тебя самой никогда его не было.

— Ну, — сказала Генриетта таким тоном, словно намеревалась открыть прения и доказать свою правоту, — в наших западных штатах это давно Уже стало рядовым явлением, а ведь, собственно говоря, они и есть наше будущее. — Доказательства ее, однако, не имеют прямого отношения к нашему повествованию, в ходе которого нам предстоит распутать еще немало нитей. Она объявила Ральфу Тачиту, что может ехать сразу же, как только он пожелает, и Ральф, собравшись с духом, стал готовиться к отъезду. Изабелла пришла повидаться с ним в последний раз, и он повторил ей слово в слово то, что сказала Генриетта: как видно, она ждет не дождется, чтобы они уехали.

В ответ она лишь нежно положила свою руку на его и с намеком на улыбку тихо сказала:

— Мой дорогой Ральф…

С него этого было достаточно; такой ответ вполне его удовлетворял. И, однако, он все с той

же шутливой откровенностью продолжал:

— Я видел вас меньше, чем хотел бы, но ведь это лучше, чем ничего. И потом я столько о вас слышал.

— Не понимаю от кого, при вашем-то образе жизни?

— От незримых собеседников. Нет, нет, ни от кого больше. Зримым я не позволяю говорить о вас, все они твердят, что вы «очаровательны». Это так банально.

— Я, конечно, тоже хотела бы видеться с вами чаще, — сказала Изабелла. — Но замужняя жизнь налагает много обязанностей.

— К счастью, у меня нет никаких обязанностей. И, когда вы приедете погостить ко мне в Англию, я смогу принимать вас со всей свободой холостяка.

Он и дальше вел разговор в таком тоне, будто им безусловно предстояло еще увидеться, и добился того, что это стало казаться почти вероятным. О том, что близится срок и, скорей всего, ему не протянуть до конца лета, он даже не заикнулся. Коль скоро Ральф предпочитал такую манеру держаться, Изабелла охотно ему вторила: по существу, все было настолько ясно, что они прекрасно могли обойтись без словесных указа-

тельных столбов. Раньше было иначе, хотя, надо сказать, Ральф в этом, как и во всем, что касалось его лично, был всегда на редкость неэгоистичен. Изабелла заговорила о его путешествии, о том, на какие этапы его следует разбить, какие, по ее мнению, следует принять меры предосторожности.

— Генриетта — вот лучшая моя мера предосторожности. У этой женщины непомерно развита совесть, — заметил он.

— Она будет чрезвычайно добросовестна.

— Будет? А разве сейчас она не добросовестна? Ведь мисс Стэкпол только потому и едет со мной, что считает это своим долгом. У кого еще такое чувство долга!

— Да, это очень благородно, — сказала Изабелла. — И мне из-за этого особенно стыдно. Ехать с вами должна была бы я.

— Но ваш муж вряд ли одобрил бы это.

— Вряд ли. И все же я могла бы поехать.

— Я просто потрясен смелостью вашего воображения. Подумать только: я — причина раздора между дамой и ее мужем!

— Оттого я и не еду, — сказала Изабелла просто, хотя и довольно туманно.

Ральф, однако же, все понял.

— Ну еще бы, притом что, как вы сами сейчас

сказали, у вас так много обязанностей.

— Дело не в этом. Я боюсь, — сказал она. И, немного помолчав, повторила — не столько ему, сколько себе: — Да, я боюсь.

Ральф не взялся бы определить, что означал ее тон, он был так нарочито спокоен… лишен какого бы то ни было чувства. Желание ли это вслух покаяться в том, в чем ее никто не обвинял? Либо же следует рассматривать ее слова, как попытку честно разобраться в самой себе? Так или иначе Ральф не мог упустить столь благоприятного случая.

— Боитесь вашего мужа?

— Боюсь себя! — сказала Изабелла и поднялась с места. Постояв несколько секунд, она добавила: — Бояться мужа всего лишь мой долг. Женщине это просто подобает.

— Ну еще бы, — рассмеялся Ральф. — Но, чтобы как-то это возместить, всегда найдется мужчина, который смертельно боится какой-нибудь женщины.

Изабелла не откликнулась на его шутку: мысли ее внезапно изменили направление.

— Но, если вашу маленькую компанию возглавит Генриетта, что же тогда достанется на долю мистера Гудвуда.

— Ах, моя дорогая Изабелла, — ответил Ральф, — мистер Гудвуд привык, что на *его* долю ничего не достается.

Она покраснела и тут же сказала, что ей пора. Еще несколько секунд они постояли вместе; он держал обе ее руки в своих.

— Вы были лучшим моим другом, — сказала она.

— Ради вас я и хотел… хотел жить. Но от меня вам никакой пользы.

Тут только ее пронзила мысль, что она никогда его больше не увидит. Она не могла с этим примириться, не могла расстаться с ним вот так.

— Если вы позовете меня, я приеду, — сказала она.

— Ваш муж не отпустит вас.

— Отпустит. Это я как-нибудь улажу.

— Такую радость я приберегу напоследок, — сказал Ральф.

Она просто поцеловала его в ответ. Было это в четверг, и вечером Каспар Гудвуд явился в палаццо Рокканера. Он пришел одним из первых и в течение некоторого времени беседовал с Гилбертом Озмондом, который неизменно присутствовал на приемах своей жены. Они уселись вдвоем; разговорчивый, общительный,

излучающий благожелательность Озмонд был преисполнен резвости ума. Откинувшись на спинку кресла, заложив ногу за ногу, он непринужденно болтал, между тем как неспокойный, но отнюдь не оживленный Гудвуд вертел в руках цилиндр и ерзал на маленьком диванчике, который то и дело поскрипывал под ним. На лице Озмонда играла тонкая вызывающая улыбка. Так обычно ведут себя люди, чьи чувства обострены нежданной доброй вестью. Он сказал Гудвуду, что им очень жаль будет его лишиться. Ему, Озмонду, будет его особенно недоставать. Умные собеседники — большая редкость — в Риме Их раз-два и обчелся. Гудвуд должен непременно приехать к ним снова; на него, заядлого римлянина, разговор с человеком другой породы действует очень освежающе.

— Как вы знаете, сам я всей душой предан Риму, но больше всего люблю разговаривать с теми, кто свободен от этого пристрастия. В конце концов современный мир совсем неплох. Вот вы, например, вполне современны и вместе с тем вас никак нельзя назвать заурядным. Ведь многие из этих современных господ форменные ничтожества. Если они — дети будущего, мы предпочитаем умереть молодыми. Старики, разумеется, тоже

подчас на редкость скучны. Мы с женой любим все новое, только действительно новое, а не потуги на него. Тупость и невежество, увы, не новость, а нас в избытке угощают и тем и другим, выдавая за откровения прогресса и просвещенности. Да это откровение пошлости! Пошлость, действительно, стала проявляться в такой форме, что я готов признать ее новым словом; не думаю, что прежде существовало что-либо подобное. На мой взгляд, пошлости до нынешнего века вообще не знали. В прошлом веке она, правда, изредка кое-где проскальзывала, но только в виде отдаленной угрозы, зато нынче так сгустилась в воздухе, что все поистине утонченное стало буквально неразличимо. Так вот, *вы* пришлись нам по душе… — Мягко положив руку на колено Каспару и улыбаясь вместе самоуверенно и смущенно, секунду помедлил: — Я намерен сказать вам кое-что в высшей степени обидное и покровительственное, вы уж простите мне эту маленькую вольность. Так вот, вы пришлись нам по душе, потому что… потому что примирили нас с будущим. Если можно рассчитывать на какое-то количество людей, подобных вам, — что ж, a la

bonne heure![165] Я говорю это не только от своего имени, но и от имени жены. Она ведь достаточно часто говорит от моего имени, почему бы и мне не позволить себе этого? Мы с ней, видите ли, все равно как шандал и щипцы для нагара, так же нерасторжимы. Я не слишком много возьму на себя, если скажу, что, насколько я понял, вы занимаетесь… коммерцией! Ну а занятие это таит в себе, как известно, опасность; и мы поражены тем, что вам удалось ее избежать. Прошу заранее извинить меня, если вам покажется, что комплимент мой весьма дурного вкуса. По счастью, меня не слышит жена. Я хочу сказать — и вы *могли бы* стать одним из тех… о ком мы сейчас говорили. Вся Америка толкала вас на этот путь Но что-то в вас помогло вам устоять, уберегло вас. И тем не менее вы так современны, так современны, самый современный человек из всех, кого мы знаем! Возвращайтесь, мы всегда вам будем рады.

Я упомянул уже, Озмонд был, что называется, в духе — приведенные высказывания как нельзя лучше это подтверждают. Он никогда еще не позволял себе так выходить из границ сдержанности, и Каспару, слушай он более вни-

[165] Примечания: 165
в добрый час (фр).

мательно, могло бы, пожалуй, прийти в голову, что защита утонченности находится в весьма не подходящих руках. Мы, однако, можем не сомневаться, Озмонд знал, что делает, и если он избрал этот покровительственный тон, дойдя в нем до несвойственной ему бесцеремонности, то, надо полагать, имел свои причины для подобной бравады. Гудвуд же лишь смутно ощущал, что собеседник его позволяет себе какие-то выпады, но не совсем понимал, куда тот метит. Он, вообще, не совсем понимал, о чем толкует Озмонд. Ему хотелось остаться наедине с Изабеллой, и желание это говорило в нем так громко, что заглушало даже удивительно внятный голос ее мужа. Он наблюдал за ней в то время, как она беседовала с другими, и думал, когда же она освободится и можно ли ему попросить ее пройти с ним в какую-нибудь другую комнату. В отличие от Озмонда он был чрезвычайно не в духе, и все вокруг возбуждало в нем глухую ярость. До этой минуты он не питал к Озмонду личной неприязни, он находил его очень сведущим, любезным и более, чем он предполагал, похожим на человека, за которого и должна была выйти замуж Изабелла Арчер. Хозяин дома в открытой борьбе одержал над ним верх, и у Гудвуда слишком развито было

чувство справедливости, чтобы из-за этого он позволил себе недооценить Озмонда. Он не пытался заставить себя хорошо к нему относиться. На такой порыв сентиментального благодушия Каспар Гудвуд был решительно неспособен даже в ту пору, когда почти убедил себя примириться со случившимся. В Озмонде он видел весьма выдающуюся личность дилетантского толка, господина, который страдает от избытка досуга и пытается заполнить его, изощряясь в пустой болтовне. Но Каспар ему не слишком-то доверял, он никак не мог понять, какого черта понадобилось Озмонду в чем бы то ни было изощряться перед *ним.* Он начал подозревать, что Озмонд находит в этом некое тайное удовольствие, и все больше укреплялся в мысли, что у его торжествующего соперника есть в натуре какая-то извращенность. Кто-кто, а он знает, что у Гилберта Озмонда нет причин желать ему зла, что тому нечего с его стороны опасаться. Раз и навсегда Озмонд одержал над ним верх и мог позволить себе быть добрым по отношению к тому, кто потерял все. Минутами, правда, он, Каспар, люто желал ему смерти, жаждал убить его, но ведь Озмонду это не могло быть известно — благодаря долгой привычке Каспар довел теперь до совершенства свое

умение казаться недоступным любым сильным чувствам. Он совершенствовался в нем для того, чтобы обмануть себя, но в первую очередь ему удавалось обмануть других. А ему самому это умение не помогло, о чем лучше всего свидетельствовало то глубокое молчаливое раздражение, которое овладело им, когда он услышал, что Озмонд говорит о мнениях своей жены так, будто вправе за них ручаться.

Это единственное, что Каспар способен был расслышать из всего сказанного в этот вечер хозяином дома. Он понимал, что Озмонд еще больше, чем всегда, упирает на царящее в палаццо Рокканера супружеское согласие, особенно подчеркивает, что они живут с женой душа в душу и каждому из них так же привычно говорить «мы», как «я». Все это было явно неспроста и оттого так злило и озадачивало нашего бедного бостонца, которому оставалось лишь утешать себя тем, что отношения миссис Озмонд с ее мужем ни в коей мере его не касаются. У него не было никаких доказательств, что муж представляет их в ложном свете. Если бы он судил об Изабелле только по виду, то вынужден был бы признать, что она вполне довольна жизнью. Он ни разу не заметил в ней ни малейшего при-

знака недовольства. От мисс Стэкпол он, правда, слышал, что она утратила свои иллюзии, но мисс Стэкпол, поскольку она писала для газет, любила сенсационные новости, И любила узнавать их первой. Кроме того, с момента приезда в Рим она держалась крайне осторожно, почти не светила ему своим фонарем. Мы, право же, можем смело утверждать, это было бы против ее правил. Теперь, когда она видела, как все обстоит у Изабеллы на самом деле, она обрела должную сдержанность. Если чем-то здесь и можно было помочь, то уж во всяком случае не тем, что она воспламенит бывших поклонников Изабеллы сообщением о ее неблагополучии. Мисс Стэкпол по-прежнему принимала живейшее участие в душевном состоянии Каспара Гудвуда, но проявлялось оно теперь лишь в том, что она снабжала его избранными статейками, как юмористическими, так и другого толка, из американских газет и журналов, каковые получала в количестве трех-четырех с каждой почтой и прочитывала обыкновенно от первого до последнего слова, вооружившись предварительно парой ножниц. Вырезанные статьи она вкладывала в конверт с написанным на нем именем мистера Гудвуда и сама относила к нему в гостиницу. Он никогда

не спрашивал ее об Изабелле — разве не для того проехал он пять тысяч миль, чтобы увидеть все своими глазами? Таким образом, у него не было никаких оснований считать миссис Озмонд несчастной, но как раз отсутствие оснований усиливало его раздражение и чувство острого отчаяния, с которым он, вопреки собственной теории, будто ему уже все равно, вынужден был признать теперь, что, поскольку речь идет об Изабелле, ему больше не на что надеяться. Даже в таком скромном удовлетворении, какое дает знание правды, ему и в этом было отказано; очевидно, не полагались даже на его почтительное отношение к ней, если бы все же оказалось, что она *несчастлива.* Он безнадежен, бессилен, бесполезен. Она с особой остротой заставила его ощутить собственную бесполезность, обязав с помощью хитроумного плана покинуть Рим. Он рад был по возможности помочь ее кузену, и все-таки скрежетал зубами при мысли, что из всех услуг, о каких она могла бы просить его, она соблаговолила выбрать именно эту. О нет, ему не грозила опасность, что она выберет ту, которая удержала бы его в Риме.

Нынче вечером он главным образом думал о том, что завтра ему предстоит с ней расстаться и

что, приехав в Рим, он так ничего и не выиграл — разве только узнал: он, как всегда, ненужен. О ней же самой он ничего не узнал. Она была невозмутима, непостижима, непроницаема. Он почувствовал, как былая горечь, которую такого труда ему стоило проглотить, снова подступает к горлу, и понял, есть разочарования, которые длятся всю жизнь. Озмонд продолжал говорить, и до Гудвуда смутно донеслось, что тот снова толкует о своем полном единодушии с женой Ему вдруг показалось, что человек этот наделен какой-то демонической проницательностью: иначе как злой волей невозможно было объяснить, почему он избрал столь необычную тему для разговора. А впрочем, какое имеет значение, демоническая он личность или нет, и любит она его или ненавидит? Даже если она смертельно ненавидит своего мужа, сам он от этого ничего не выиграет.

— Кстати, вы ведь едете вместе с Ральфом Тачитом? — спросил Озмонд. — Так что будете, очевидно, двигаться медленно.

— Не знаю, это как пожелает он.

— Вы очень любезны. Мы чрезвычайно вам признательны; нет уж, позвольте мне вам это сказать. Моя жена, наверное, выразила вам нашу благодарность. Всю эту зиму Ральф Тачит

очень заботил нас, нам не раз казалось, он уже не сможет уехать из Рима. Ему никоим образом не следовало приезжать сюда. Путешествовать при таком расстроенном здоровье не только неблагоразумно, но, я сказал бы, неделикатно. Я ни за что на свете не хотел бы стольким быть обязанным Тачиту, скольким он обязан… обязан моей жене и мне. Кому-то ведь неизбежно приходится брать его под опеку, а не все так великодушны, как вы.

— Я ничем не занят, — сказал Каспар сухо.

Озмонд искоса посмотрел на него.

— Вам надо жениться, и вы сразу окажетесь заняты выше головы! Правда, тогда уже вы будете менее доступны милосердию.

— Вы находите, в роли женатого человека вы так уж заняты? — машинально спросил Каспар Гудвуд.

— Видите ли, быть женатым уже само по себе занятие. Вы не всегда при этом деятельны, но ведь бездеятельность требует еще большего внимания. Ну а потом, у нас с женой столько общих интересов. Мы вместе читаем, углубляем наши знания, музицируем, гуляем, ездим кататься… и наконец, мы просто разговариваем, словно только вчера познакомились. Для меня и по сей день разговаривать с женой — наслаждение.

Если вам в один прекрасный день все наскучит, послушайтесь моего совета, женитесь. Конечно, в этом случае вам может наскучить ваша жена, но зато с самим собой никогда не будет скучно. У вас всегда найдется, что сказать себе… найдется, о чем поразмыслить.

— Мне не скучно, — ответил Каспар Гудвуд. — У меня есть о чем поразмыслить, есть, что сказать себе.

— Полагаю, больше, чем сказать другим! — рассмеялся Озмонд. Куда же вы потом? Я имею в виду, когда сдадите с рук на руки Ральфа Тачита тем, кому и надлежит о нем печься. Насколько мне известно, матушка его собирается наконец вернуться и взять на себя заботу о нем. Эта милейшая дама прямо-таки бесподобна! Так пренебрегать своими обязанностями!.. Вероятно, вы проведете это лето в Англии?

— Не знаю. У меня нет определенных планов.

— Счастливец! Пусть это чуть-чуть тоскливо, зато вы вольны располагать собой.

— О да, волен.

— И вольны вернуться в Рим, надеюсь? — сказал Озмонд, поглядывая на появившуюся в дверях новую стайку гостей. — Помните, когда бы вы ни приехали, мы на вас рассчитываем.

Гудвуд собирался уйти пораньше, но вечер был уже на исходе, а ему, не считая участия в общем разговоре, так и не удалось перемолвиться с Изабеллой хотя бы словом. Она с какой-то сознательной жестокостью уклонялась от этого. Неутоленная обида заставляла Каспара Гудвуда видеть предумышленность там, где как будто о ней не было и речи. Да, о ней, безусловно, не было и речи. Всякий раз, встречаясь с ним глазами, Изабелла ясно, приветливо улыбалась и точно приглашала помочь ей занимать гостей. Но с упрямым нетерпением он противостоял этим просьбам, бродил по гостиной и ждал, вступая время от времени в разговор с теми немногими, с кем был знаком, и впервые его собеседники приходили к выводу, что он сам себе противоречит. С ним это случалось нечасто — чаще он противоречил другим. В палаццо Рокканера почти всегда можно было услышать хорошую музыку. Под ее прикрытием Каспару кое-как удавалось держать себя в узде. Но, когда наконец гости начали расходиться, он подошел к Изабелле и, понизив голос, справился, нельзя ли ему поговорить с ней в какой-нибудь другой комнате: там уже нигде нет ни души, он это сейчас сам проверил. Она улыбнулась ему так, словно охотно оказала бы

эту любезность, но не имеет на то ни малейшей возможности.

— Боюсь, это не удастся. Перед уходом все хотят попрощаться с хозяйкой, и я должна быть на виду.

— Тогда я подожду, пока они не разойдутся. Секунду поколебавшись, она воскликнула:

— Вот и чудесно!

И он ждал, хотя ждать пришлось еще немало времени. Под конец осталось всего несколько человек, но они словно приросли к ковру. Оживавшая, по ее собственным словам, лишь к полуночи графиня Джемини будто и не подозревала, что вечер окончен. Она по-прежнему была центром расположившегося у камина тесного кружка джентльменов, которые то и дело разражались дружным смехом. Озмонд исчез, он никогда не прощался с гостями; и поскольку как раз в эту пору графиня обычно расширяла круг их тем, Изабелла поспешила отправить Пэнси спать. Сама Изабелла сидела в стороне, она тоже, как видно, предпочла бы, чтобы ее невестка угомонилась и дала этим досужим болтунам разойтись наконец по домам.

— А нельзя ли мне сказать вам несколько слов сейчас? — спросил Каспар Гудвуд.

Изабелла улыбнулась и сразу же поднялась с места.

— Конечно; если хотите, можем куда-нибудь отсюда уйти.

Они вышли из гостиной, оставив там графиню с ее тесным кружком, но и в соседней комнате оба некоторое время молчали. Изабелла сесть не пожелала; стоя посреди комнаты, она медленно обмахивалась веером, и каждое ее движение исполнено было для него прежнего очарования. Казалось, она ждет, чтобы он заговорил. Теперь, когда они остались вдвоем, страсть, которую ему так и не удалось затушить, вспыхнула с новой силой; у него мутилось в голове, все плыло перед глазами. Ярко освещенная пустынная комната вдруг словно померкла, заволоклась туманом, и сквозь эту колышущуюся завесу он видел только мерцающие глаза Изабеллы, ее полураскрытые губы. Будь зрение Каспара в эту минуту более отчетливым, он разглядел бы, как принужденно, насильственно улыбается Изабелла, как она напугана тем, что прочитала на его лице.

— Вы хотите, вероятно, попрощаться со мной, — сказала она.

— Да… но мне очень это не по душе. Я не хочу уезжать из Рима, — сказал он с какой-то жалоб-

ной прямотой.

— Ну еще бы. Вы поступаете на редкость благородно, не умею выразить, как меня трогает ваша доброта.

Несколько секунд он молчал.

— И это все, что вы мне можете сказать на прощание?

— Вы должны еще когда-нибудь приехать, — ответила она оживленным тоном.

— Когда-нибудь? Когда-нибудь в далеком будущем, вы это имеете в виду?

— О нет, я вовсе этого не имею в виду.

— Тогда что вы имеете в виду? Не понимаю! Но раз я обещал поехать, я поеду, — добавил Гудвуд.

— Возвращайтесь, когда вам вздумается, — обронила Изабелла с напускной легкостью.

— Что мне в конце концов ваш кузен! — воскликнул вдруг Каспар.

— Вы это и хотели мне сказать?

— Нет, нет, я ничего не хотел сказать вам. Я хотел спросить вас… — он помолчал, — что же вы все-таки сделали-то со своей жизнью? — продолжал он тихо и торопливо. Потом снова помолчал, словно дожидаясь ответа, но она ничего не ответила, и он продолжал: — Мне не понять, мне не разгадать вас! Чему я должен верить… что вы

хотите, чтобы я думал? — Она по-прежнему молчала; просто стояла и смотрела на него, уже не пытаясь казаться непринужденной. — Я слыхал, вы несчастливы; если это так, я хотел бы знать. Это дало бы мне хоть что-то. Но сами вы говорите, что счастливы, и вы так спокойны, ровны, неприступны. Вы стали просто неузнаваемой! Все прячете. Мне никак не подойти к вам близко.

— Вы подошли очень близко, — сказала Изабелла мягким и вместе с тем предостерегающим тоном.

— И все же мне никак не дотянуться до вас! Я хочу знать правду. Довольны вы своей жизнью?

— Вы многого хотите.

— Да, я всегда хотел многого. Ну конечно же, вы мне не скажете. От вас я никогда ничего не узнаю, впрочем, это и не должно меня касаться. — Он явно старался держать себя в руках, облечь в разумную форму владевшее им безумие. Но сознание, что это его последняя возможность, что он любит ее, что он ее потерял, что, говори он или не говори, в ее глазах он все равно останется глупцом, подействовало на него, как удар хлыста, его низкий голос задрожал еще сильнее. — Вы совершенно непроницаемы, это и наводит меня на мысль, что вам надо что-то скрывать. Я сказал,

мне нет дела до вашего кузена, но это не значит, что он мне не нравится. Это значит другое: пусть даже нравится, но еду я с ним не ради него. Я бы и со слабоумным поехал, если бы меня попросили об этом вы. Если бы вы попросили, я завтра же отправился бы в Сибирь. Почему вам хочется услать меня отсюда? У вас должны быть на это причины, будь вы так довольны жизнью, как стараетесь показать, вам было бы безразлично. Я предпочел бы знать о вас правду… даже самую убийственную, чем приехать вот так, понапрасну. Я не для того приехал сюда. Думал, мне будет все равно. Приехал, потому что хотел убедиться, что могу больше о вас не думать. Но ни о чем другом я думать не мог, и вы правы, желая, чтобы я уехал. Но, если я должен уехать, нет никакой беды в том, что я на минуту дам себе волю. Если вам в самом деле больно… если вам причиняет боль *он* — от *моих* слов вам больнее не станет. Когда я говорю, что люблю вас, то для этого ведь я и приехал. Я и сам не думал, что для этого, но, оказывается, — для этого. Я не сказал бы, если бы не был уверен, что больше никогда вас не увижу. Это в последний раз… так дайте же мне сорвать хотя бы один цветок. Я не вправе этого говорить, знаю, и вы не вправе меня слушать. Но

вы и не слушаете; вы никогда не слушаете, вы всегда думаете о чем-то другом. Теперь, конечно, я должен уехать, но хотя бы не без причины. Не может же служить причиной, настоящей причиной, то, о чем вы попросили меня. Я не способен составить мнение о вашем муже, — продолжал он как-то беспорядочно перескакивая с одного на другое, — я его не понимаю, он говорит, вы обожаете друг друга. Зачем ему понадобилось мне это говорить? Какое мне до этого дело? Вот я повторил это сейчас вам, и у вас такой странный вид. Но у вас все время странный вид. Да, вам приходится что-то скрывать. Это не мое дело… не спорю. Но я вас люблю, — сказал Каспар Гудвуд.

Вид у нее действительно был странный. Она перевела взгляд на дверь, в которую они вошли, и как бы в знак предостережения подняла веер.

— Вы так хорошо вели себя; не портите же всего, — промолвила она мягко.

— Меня никто не слышит. Нет, подумать только, как легко вы хотели от меня отделаться! Я люблю вас, как еще не любил никогда.

— Я это знаю. Знала с той минуты, когда вы согласились ехать.

— Вы ничем тут не можете помочь… нет, нет, ничем. Вы помогли бы, если бы только могли,

но, к несчастью, не можете. Я имею в виду — к моему несчастью. Я ничего у вас не прошу, то есть ничего недозволенного. Я прошу вас только об одной милости: скажите мне… скажите!..

— Сказать вам — что?

— Могу ли я вас жалеть?

— Вам этого хотелось бы? — спросила Изабелла, снова пытаясь улыбнуться.

— Жалеть вас? Еще бы! У меня по крайней мере было бы хоть какое-то занятие. Я посвятил бы этому жизнь.

Веером она закрыла лицо, но глаза ее секунду не отрывались от его глаз.

— Жизнь посвящать не надо, но иногда посвящайте этому несколько минут.

И она без промедления возвратилась к графине Джемини.

49

Мадам Мерль не появилась в палаццо Рокканера на том вечернем приеме, когда случились события, частично мною изложенные, и Изабелла, хотя обратила внимание на ее отсутствие, не была этим обстоятельством удивлена. Между ними произошло нечто такое, что отнюдь не усилило жажды общения, но понять это мы сможем, лишь оглянувшись назад. Как я уже упомянул, мадам Мерль возвратилась из Неаполя вскоре после отъезда лорда Уорбертона и во время первого же своего визита (который, надо отдать ей справедливость, она не замедлила нанести) первым делом спросила Изабеллу, куда девался сей знатный лорд, точно само собой разумелось, что дорогая ее приятельница должна быть за него в ответе.

— Прошу вас, не будем о нем говорить, — сказала Изабелла. — Мы и без того слишком много о нем за последнее время наслышались.

Мадам Мерль как бы в знак протеста склонила голову набок и улыбнулась левым уголком рта.

— Кто наслышался, а кто нет; не забывайте,

я была не здесь, а в Неаполе. Я рассчитывала, что, вернувшись, застану его и смогу поздравить Пэнси.

— Пэнси вы поздравить можете — правда, не с тем, что она выходит замуж за лорда Уорбертона.

— Легко вам говорить! Разве вы не знаете, как я мечтала об этом браке, — возразила мадам Мерль, хотя и весьма горячо, но по-прежнему дружелюбным тоном.

Изабелла была очень взволнована, но твердо решила оставаться дружелюбной тоже.

— Зачем же вы тогда уехали в Неаполь? Вам надо было задержаться здесь и следить за ходом событий.

— Я слишком доверилась вам. Как вы считаете, теперь уже слишком поздно?

— Спросите лучше Пэнси, — ответила Изабелла.

— Я спрошу у нее, что ей сказали вы.

Слова эти, пожалуй, вполне могут служить оправданием проснувшегося у Изабеллы инстинкта самозащиты, ибо она сразу же почувствовала, что гостья склонна ее осуждать. Мадам Мерль, как мы знаем, вела себя крайне осмотрительно, никогда ничего не осуждала, подчеркнуто

ни во что не вмешивалась. Но, по-видимому, она просто до поры до времени приберегала силы, так как теперь в ее глазах появился опасный блеск, да и вообще весь вид достаточно свидетельствовал о раздражении, — даже восхитительная непринужденность мадам Мерль бессильна была тут что-либо изменить. Ее постигло разочарование, для Изабеллы совершенно неожиданное: она никак не предполагала, что приятельница ее принимает так близко к сердцу замужество Пэнси, и то, в каких формах это обнаружилось, усилило тревогу миссис Озмонд. Яснее, чем когда-либо раньше, слышала Изабелла в окружавшей ее пустой мгле неизвестно откуда доносившийся бесстрастный издевательский голос, который твердил, что эта блестящая, сильная, решительная, умудренная жизнью женщина, это олицетворение трезвого, себялюбивого действенного начала, сыграла немалую роль в ее судьбе. Мадам Мерль стояла ближе к ней, чем Изабелла когда-либо предполагала; и близость эта вовсе не была, как это длительное время казалось, счастливой случайностью. Собственно говоря, ощущение случайности исчезло у нее в тот день, когда, потрясенная, она увидела, как эта замечательная женщина и ее собственный муж

держатся наедине друг с другом. Правда, оно не сменилось еще сколько-нибудь отчетливым подозрением, и тем не менее этого было достаточно, чтобы приятельница предстала перед Изабеллой в другом свете, чтобы во всех предшествующих действиях этой дамы ей почудилась куда большая преднамеренность, чем она считала прежде возможным. Ну конечно же, конечно, они были преднамеренными, сказала себе Изабелла, словно пробудившись от долгого пагубного сна. Что же вдруг внушило ей мысль, что намерения мадам Мерль были недобрыми? Да не что иное, как окрепшее за последнее время недоверие, к которому присоединилось сейчас и весьма плодотворное недоумение по поводу столь вызывающей попытки гостьи защищать интересы бедной Пэнси. Что-то в брошенном ей вызове с самого начала привело Изабеллу в негодование — скорее всего, необъяснимая горячность, совершенно несвойственная, насколько она помнила, ее приятельнице, чье поведение всегда являлось образцом сдержанности и деликатности. Мадам Мерль не желала ни во что вмешиваться, спору нет, но лишь пока в этом не было необходимости. Читателю, возможно, покажется, что Изабелла слишком уж спешила на основании одного

только подозрения усомниться в искренности, доказанной несколькими годами. Она в самом деле двигалась быстро, но у нее были на то причины, ибо сознание ее постепенно проникалось некой странной истиной: интересы Озмонда и мадам Мерль совпадают. Этого было достаточно.

— Думаю, то, что вы услышите от Пэнси, вряд ли разозлит вас еще больше, — сказала она в ответ на последнюю реплику гостьи.

— Я вовсе не злюсь. Просто очень хочу как-то поправить дело. Вы считаете, лорд Уорбертон уехал от нас навсегда?

— Откуда мне знать? Я вас не понимаю; с этим вопросом покончено, не надо к нему возвращаться. Озмонд столько толковал со мной по этому поводу, что ничего нового я уже не могу ни сказать, ни услышать. Убеждена, — добавила Изабелла, — Озмонд будет счастлив обсудить это с вами.

— Мне его мнение известно; он у меня вчера был.

— Сразу же, как вы приехали? Тогда вам, вероятно, все известно и незачем обращаться за сведениями ко мне.

— Мне не сведения нужны, скорее мне нужно сочувствие. Редко что вдохновляло меня так в

последнее время, как мысль об этом браке.

— Вас она вдохновляла, но не вдохновляла заинтересованных лиц.

— Под этим вы, конечно, подразумеваете, что я к их числу не принадлежу. Что ж, в прямом смысле, конечно, не принадлежу, но многолетняя дружба имеет свои права, и невольно чувствуешь себя задетой за живое. Не забывайте, как давно я знаю Пэнси. И конечно, вы в то же время подразумеваете, что сами вы к числу заинтересованных лиц принадлежите.

— Нет, я совсем этого не подразумеваю. Мне все это очень наскучило. Мадам Мерль помедлила.

— Еще бы, вы свое дело сделали.

— Не произносите неосторожных слов, — сказала Изабелла серьезно.

— О, я весьма осторожна и, наверное, более всего тогда, когда это меньше всего заметно. Ваш муж очень строго вас судит.

Несколько мгновений Изабелла ничего не отвечала; ее душила горечь. И не оскорбительность самого желания мадам Мерль довести до сведения Изабеллы, что Озмонд взял ее в поверенные своих разногласий с женой, всего сильнее потрясла Изабеллу — она не сразу восприняла это как оскорбление. Мадам Мерль не склонна была

оскорблять людей, а если иногда и оскорбляла, то лишь в тех случаях, когда это было вполне уместно. Сейчас это было неуместно, по крайней мере еще не стало уместным. Как капля сулемы на открытую рану, подействовало на нее известие о том, что Озмонд порочит ее не только про себя, но и вслух.

— Хотите знать, как сужу о *нем* я? — спросила она наконец.

— Нет; прежде всего вы никогда мне этого не скажете, а если скажете, мне будет больно это услышать.

Наступила пауза, и впервые с тех пор, как Изабелла узнала мадам Мерль, она почувствовала неприязнь к ней, захотела, чтобы гостья ее поскорее ушла.

— Вспомните, насколько Пэнси привлекательна и не отчаивайтесь, — сказала она решительным тоном, желая положить конец их разговору.

Но развернувшаяся во всю ширь мадам Мерль свернуться не пожелала; она лишь плотнее запахнула накидку, при этом в воздухе распространился еле уловимый тончайший аромат.

— Я вовсе не отчаиваюсь, напротив, полна надежд. И пришла я не с тем, чтобы вас бранить, а чтобы по возможности узнать правду. Уверена,

если я попрошу вас, вы мне скажете. Какое счастье, что, когда имеешь дело с вами, на это всегда можно рассчитывать. Вы даже представить себе не можете, как это меня окрыляет.

— О какой правде идет речь? — спросила, недоумевая, Изабелла.

— А вот о какой: отказался ли лорд Уорбертон от своих намерений по собственному побуждению или послушался вас? Иными словами, сделал он это потому, что так было угодно ему или хотел угодить вам? Нет, вы подумайте, как все же велико мое доверие к вам, пусть даже оно слегка и пошатнулось, — продолжала с улыбкой мадам Мерль, — если я задаю вам подобный вопрос! — Несколько секунд она молча смотрела на свою приятельницу, желая оценить впечатление, произведенное этими словами. — Только не становитесь, пожалуйста, в героическую позу, не теряйте благоразумия, не обижайтесь. Поймите, тем, что я говорю с вами так, я оказываю вам честь. Вы единственная в мире женщина, с кем я могу себе такое позволить. Я ни на секунду не допускаю, что кто-нибудь, кроме вас, способен был бы сказать правду. А ведь вам ясно, как важно вашему мужу ее знать. Он, как видно, не проявил должного такта, когда пытался у вас ее выведать,

слишком увлекся собственными необоснованными предположениями. Как бы то ни было, для того чтобы правильно расценить шансы дочери, ему необходимо знать, как все обстояло на самом деле. Очень прискорбно, если лорд Уорбертон просто остыл к бедной девочке, но это одно дело. Совсем другое дело, если он отказался от нее в угоду вам. Это тоже прискорбно, но уже по-иному. В таком случае вы, быть может, согласились бы не угождать себе… а просто выдать замуж свою падчерицу. Отпустите его… уступите его нам!

Мадам Мерль хладнокровно развивала свою мысль, не спуская при этом глаз с лица собеседницы; ей, очевидно, казалось, что она может спокойно продолжать. Изабелла же по мере того, как та говорила, все больше бледнела и все крепче сжимала лежащие на коленях руки. И не потому, что гостья ее, скорей всего, сочла, что сейчас вполне уместно нанести оскорбление, самым очевидным было не это. Все обстояло куда страшнее.

— Что вы?… Кто вы?… — прошептала Изабелла. — Что общего у вас с моим мужем? — Странно, но в эту минуту она до такой степени объединяла себя с ним, словно его любила.

— Значит, вы все же решили встать в героиче-

скую позу? Жаль! Не воображайте только, что я последую вашему примеру.

— Что общего у вас со мной? — продолжала Изабелла.

Мадам Мерль неторопливо поднялась, поглаживая муфту и по-прежнему не спуская глаз с Изабеллы.

— Все! — ответила она.

Изабелла замерла, она смотрела на мадам Мерль, и в лице ее была чуть ли не мольба о том, чтобы пролился свет. Но из глаз этой женщины лился не свет, а мрак. «Боже!» — прошептала она наконец и, откинувшись назад, закрыла лицо руками. Морским валом обрушилась на нее мысль, что миссис Тачит была права. Ее выдала замуж мадам Мерль. К тому времени, когда она открыла лицо, гостья успела уже исчезнуть.

В тот день Изабелла отправилась на прогулку одна; ей хотелось уехать как можно дальше — туда, где, выйдя из кареты, над головой видишь небо, а под ногами маргаритки. Она давно сделала старый Рим поверенным своих тайн, ибо в этом мире развалин ее собственное развалившееся счастье казалось не такой уж чудовищной катастрофой. Ей служили поддержкой в ее унынии эти руины, рушившиеся на протяжении

стольких веков и все же выстоявшие. Она погружала свою затаенную грусть в безмолвие самых пустынных уголков Рима, и та утрачивала свою остроту, делалась более отстраненной — настолько, что когда Изабелла присаживалась зимним днем где-нибудь на солнце или стояла в одной из обветшалых церквей, куда давно уже никто не заглядывал, она способна была смотреть на нее с подобием улыбки и думать о том, какая же это, в сущности, малость. В многотомных римских анналах это и вправду было ничтожной малостью, и не покидавшее Изабеллу ощущение непрерывности человеческих судеб позволяло ей легко переноситься от малого к великому. Она глубоко и нежно привязалась к Риму; он пропитал, он умерил ее страсти. Но постепенно он стал для нее главным образом местом, где люди страдали. Вот что открылось ей в заброшенных церквах, где перенесенные с развалин языческих храмов мраморные колонны словно предлагали ей вместе с ними терпеть и держаться, а застарелый запах ладана был как бы неотъемлемой частью давних безответных молитв. Более смиренной, более непоследовательной еретички, чем Изабелла, нельзя себе и представить; даже самые истовые богомольцы, глядя на потемнев-

шие запрестольные образа и на купы свечей, едва ли способны были глубже чувствовать заключенное в них указание или проникновеннее внимать голосу свыше. Ее, как мы знаем, почти всюду сопровождала Пэнси, а в последнее время их выезд украшала собой и графиня Джемини, покачивавшая над головой розовый зонтик, однако Изабелле все же изредка удавалось побыть одной там, где обстановка особенно отвечала расположению ее духа. У нее имелось на этот случай несколько излюбленных уголков; наиболее доступным из них был низкий парапет, что окаймляет поросшую травой обширную площадь перед высоким неприветливым фасадом собора Сан Джованни Латерано, где можно сидеть и смотреть поверх Кампании на замыкающие ее чуть видные вдали Альбанские горы и на саму эту необъятную равнину, по сей день исполненную былого величия. После отъезда кузена и его спутников Изабелла стала еще чаще выезжать на прогулки, влача свою омраченную душу от одной знакомой святыни к другой. Даже когда Пэнси и графиня Джемини были рядом, она все равно ощущала прикосновение исчезнувшего мира. Оставив позади стены Рима, карета катила по узким дорогам, где жимолость уже оплета-

ла живые изгороди, или дожидалась Изабеллы где-нибудь в укромном местечке поблизости от полей, в то время как сама Изабелла брела все дальше и дальше по усеянной цветами траве или, присев на какой-нибудь уцелевший обломок, смотрела сквозь дымку собственной грусти на величавую грусть расстилавшегося пейзажа, на густой теплый свет, на постепенные переходы и мягкое смешение красок, на фигуры пастухов, застывших в отрешенных позах, на холмы, куда тень от облаков набегала, как легкий румянец.

В тот день, о котором идет речь, Изабелла твердо решила не думать о мадам Мерль, но решение ее ни к чему не привело: образ этой дамы неотступно ее преследовал. Как-то по-детски пугаясь своего предположения, она спрашивала себя, уж не применимо ли к ближайшей ее приятельнице всех последних лет освященное древностью выражение «сосуд зла». О существовании этого понятия она знала из Библии и других литературных произведений. Насколько Изабелле было известно, ей так и не довелось каким-либо иным образом познакомиться со злом. Хотя она и стремилась к самому широкому знакомству с человеческой жизнью, хотя воображала, что ей это отчасти удалось, в столь элементарной ми-

лости ей было, однако, отказано. Но, возможно, в том древнем понимании вовсе и не считается злом даже глубоко вкоренившаяся фальшь. Ибо именно такой и была мадам Мерль — фальшива до самой, самой, самой глубины души. Тетушка Лидия давно уже сделала это открытие и сообщила о нем племяннице, но Изабелла ведь в ту пору воображала, что имеет более правильное представление обо всем вообще, и, уж во всяком случае» о внутренней независимости собственной судьбы, равно как о непогрешимости собственных суждений, чем бедная, страдающая косностью ума миссис Тачит. Мадам Мерль добилась того, чего хотела: сочетала браком двух своих друзей; следом за этой мыслью сам собой возник вопрос — а почему, собственно говоря, она так этого жаждала? Есть люди, одержимые жаждой сватать ближних, у них это своего рода страсть к искусству ради искусства. Но, хотя мадам Мерль была великая искусница, к числу таких людей она едва ли принадлежала. Слишком низкого мнения была она о браке, слишком низкого мнения даже просто о жизни, она не жаждала никаких других браков, кроме этого. Значит, в нем была для нее какая-то корысть, и Изабелла спрашивала себя, в чем же заключался предпола-

гаемый выигрыш? Открылось это ей, разумеется, не сразу и не до конца. Она припомнила, что хотя мадам Мерль расположилась к ней как будто бы с первой же их встречи в Гарденкорте, но особой симпатией прониклась после смерти мистера Тачита, главным образом когда узнала, сколь щедро облагодетельствована ее молодая приятельница своим старым дядюшкой. Корысть мадам Мерль была куда более изысканного свойства, нежели грубый расчет позаимствовать денег, и состояла в том, чтобы обратить внимание одного из своих близких друзей на неискушенную обладательницу нововбретенного богатства. Мадам Мерль избрала для этого, разумеется, ближайшего своего друга; Изабелле теперь было слишком ясно, что как раз Гилберту и принадлежало это место. Итак, ей пришлось волей-неволей убедиться, что тот, кого она считала самым благородным человеком на свете, женился на ней, точно пошлейший авантюрист, ради ее денег. Как ни странно, никогда раньше такая мысль не приходила ей в голову, и хотя что только она ни думала об Озмонде, подобной обиды она ему ни разу не нанесла. Это было самое плохое из того, до чего она пока что додумалась, повторяя себе, однако, что худшее еще впереди. Мужчина может

жениться на женщине ради денег, пусть так; Гилберт не первый и не последний. Но должен же он был по крайней мере поставить ее об этом в известность! Изабелла спросила себя — быть может, коль скоро ему нужны были ее деньги, он ими теперь и удовольствуется? Не согласится ли он оставить деньги себе, а ее отпустить на все четыре стороны? Если бы только щедрое даяние мистера Тачита помогло ей сейчас, оно было бы поистине благословенно! И почти сразу же у нее мелькнула мысль, что, если мадам Мерль хотела оказать Озмонду услугу, его признательность ей за поднесенный подарок, скорей всего, весьма поостыла. Каково же должно быть сейчас отношение ее мужа к своей излишне рьяной благодетельнице и сколь изощренно выражает его этот великий мастер язвить! Как нельзя более характерно, хотя и в высшей степени необычно, что во время своей молчаливой прогулки Изабелла один раз нарушила молчание, тихо воскликнув: «Бедная, бедная мадам Мерль!».

Она, пожалуй, убедилась бы в оправданности своего сочувствия, если бы к концу того же дня притаилась за одной из очень ценных, чуть поблекших от времени камчатных портьер в весьма примечательном маленьком салоне той самой

дамы, в отношении которой оно было проявлено, — в блиставшей продуманным убранством гостиной, где мы с вами как-то уже побывали вместе с благоразумным мистером Розьером. В этой комнате часов около шести вечера сидел Гилберт Озмонд, а хозяйка дома стояла перед ним, как стояла тогда, когда их увидела Изабелла, — мы позволили себе так подробно описать тот памятный случай лишь потому, что исходили не столько из его видимого, сколько из подлинного значения.

— Я не нахожу, что вы несчастливы, я нахожу, что вам это по душе, — сказала мадам Мерль.

— А разве я говорю, что несчастлив? — спросил Озмонд с таким видом, что легко могло показаться, будто так оно и есть.

— Нет, но вы не говорите и обратного, а вам следовало бы, хотя бы из чувства благодарности.

— О благодарности лучше помолчите, — ответил он сухо и добавил: — Не выводите меня из себя.

Мадам Мерль села, сложив на груди руки; одна из этих белоснежных рук служила как бы подставкой для другой, меж тем как та, в свою очередь, служила украшением для первой. Вид мадам Мерль являл собой образец сдержанности

и вместе с тем подчеркнутой грусти.

— А вы со своей стороны не пытайтесь меня запугать. Интересно, догадываетесь ли вы о кое-каких моих мыслях?

— Не утруждаю себя этим без крайней надобности. С меня вполне хватает моих собственных.

— Потому, вероятно, что они так упоительны?

Откинув на спинку кресла голову, Озмонд взглянул в глаза своей собеседницы с циничесой прямотой, сквозь которую проглядывало, однако, утомление.

— Вы решили все же вывести меня из себя, — заметил он, помолчав. — Я очень устал.

— Et moi donc![166] — воскликнула мадам Мерль.

— Вы сами себя утомляете. А я устал не по своей вине.

— Если я и утомляю себя, то ради вас. Я привнесла в вашу жизнь интерес, то есть сделала вам бесценный подарок.

— Вы называете это интересом? — спросил безучастным тоном Озмонд.

— А как же иначе, ведь это помогает вам убивать время.

---

[166] Примечания: 166
Но и я тоже! *(фр.).*

— Время никогда еще не тянулось так убийственно медленно, как нынешней зимой.

— Вы никогда так прекрасно не выглядели, никогда не были таким любезным, таким блестящим.

— На черта он мне нужен, этот блеск, — пробормотал погруженный в свои мысли Озмонд. — Как же вы, в сущности, плохо меня знаете.

— Если я плохо знаю вас, тогда, значит, я вообще не знаю ничего, — улыбнулась мадам Мерль. — Вы наконец уверились в том, что добились полного успеха.

— Я не уверюсь в этом до тех пор, пока вы не перестанете меня судить.

— Уже давно перестала, а говорю так просто по старой привычке. Но ведь и вы высказываетесь все более явственно.

— Хотел бы я, чтобы вы высказывались поменьше.

— Хотите обречь меня на молчание? Как вы помните, я никогда не отличалась болтливостью. Но есть несколько вещей, которые я должна вам сказать. Ваша жена не знает, что ей с собой делать, — продолжала она уже другим тоном.

— Вы ошибаетесь, она прекрасно знает. У нее есть вполне определенные идеи. И она намерена

их осуществить.

— Сейчас они у нее, вероятно, особенно светлые.

— Несомненно. И их больше, чем когда бы то ни было.

— Нынче утром я что-то этого не заметила, — сказала мадам Мерль. — Она показалась мне такой простушкой, только что не дурочкой. Она была в совершенной растерянности.

— Уж лучше скажите прямо, что она внушила вам жалость.

— О нет, не хочу слишком вас воодушевлять.

Он продолжал сидеть все в той же позе: откинув голову на спинку кресла и так высоко закинув ногу на ногу, что щиколотка одной ноги лежала на колене другой. Несколько секунд он молчал.

— Не понимаю, что с вами происходит, — сказал он наконец.

— Происходит… происходит! — Мадам Мерль замолкла, потом с неожиданной, как гром среди ясного неба, страстностью продолжала: — Происходит то, что я отдала бы правую руку за возможность выплакаться, но вот не могу.

— Зачем это вам вдруг понадобилось?

— Чтобы вернуться к себе такой, какой я была до встречи в вами.

— Если я осушил ваши слезы, это уже немало. Однако мне ведь случалось видеть, как вы их проливаете.

— О, я верю, вы еще заставите меня плакать, заставите волком выть. Я очень на это уповаю, мне очень это нужно. Нынче утром я была такой мерзкой, такой отвратительной, — сказала она.

— Если Изабелла была, как вы изволили выразиться, только что не дурочкой, она, скорей всего, этого не поняла, — ответил Озмонд.

— В том-то и дело, способность соображать она потеряла именно из-за моей злобной выходки. Я не в состоянии была сдержать себя. Во мне поднялось что-то дурное или, быть может, напротив — хорошее. Не знаю. Вы не только осушили мои слезы, вы иссушили мою душу.

— Следовательно, не я повинен в умонастроении моей жены, — сказал Озмонд. — Отрадно думать, что мне предстоит пожинать плоды вашей несдержанности. Разве вы не знаете, душа — бессмертное начало? Какие же она может претерпевать изменения?

Я не верю, что она — бессмертное начало; я верю, что ее прекрасным образом можно уничтожить. Это и случилось с моей душой, которая поначалу была очень даже хорошей. И всем этим

я обязана вам. Вы очень плохой человек, — добавила она с многозначительной серьезностью.

— Неужели мы с вами должны кончить на этом? — спросил Озмонд с той же нарочитой холодностью.

— Не знаю, на чем мы с вами должны кончить. А жаль! На чем обычно кончают плохие люди, да еще *соучастники* в преступлениях? Вашими стараньями я стала такой же плохой, как вы сами.

— Не понимаю вас. На мой взгляд, вы достаточно хороши, — сказал Озмонд, и намеренное безразличие тона придало его словам необыкновенную выразительность. Самообладание же мадам Мерль, напротив, с каждой минутой таяло, и она была ближе к тому, чтобы окончательно его потерять, чем в любом из тех случаев, когда мы имели счастье ее видеть. Блеск ее глаз омрачился; улыбка стоила немалых усилий.

— Достаточно хороша для всего, что я с собою сделала? Вы это, вероятно, имеете в виду?

— Достаточно хороши, чтобы быть неизменно очаровательной! — воскликнул, тоже улыбаясь, Озмонд.

— О боже! — прошептала его собеседница; она сидела перед ним в полном расцвете своей зрелости и вдруг повторила жест, на который

вынудила утром Изабеллу: опустила голову и закрыла лицо руками.

— Значит в конце концов вы все же собираетесь заплакать? — спросил Озмонд и, так как она сидела по-прежнему неподвижно, продолжал: — Я хоть раз вам пожаловался?

Она быстро отняла от лица руки.

— Нет, вы мстили иначе — вы вымещали все на *ней.*

Озмонд еще больше откинул назад голову и некоторое время смотрел на потолок, как бы таким несколько вольным образом призывая в свидетели небо.

— Ох уж это женское воображение! В основе своей оно всегда пошлое. Вы говорите о мести, как какой-нибудь третьеразрядный романист.

— Ну, разумеется, вы не жаловались. Вы слишком упивались своим торжеством.

— Любопытно узнать, что вы называете моим торжеством.

— Вы заставили вашу жену вас бояться.

Озмонд переменил позу; наклонившись вперед, он оперся локтями о колени и какое-то время рассматривал великолепный персидский ковер. Весь вид его, казалось, говорил о том, что он не намерен ни с кем и ни с чем считаться, что у него

есть свои собственные представления обо всем, в том числе и о времени, и что ими-то он и собирается руководствоваться. Ему не раз по причине этой его особенности случалось испытывать терпение собеседников.

— Изабелла не боится меня, и я совсем к этому не стремлюсь, — сказал он наконец. — На что вы меня стараетесь толкнуть подобными своими заявлениями?

— Я уже продумала, какой вы можете причинить мне вред, — ответила мадам Мерль. — Сегодня утром я увидела, что ваша жена меня боится, но на самом деле она в моем лице испугалась вас.

— Вероятно, вы позволили себе какие-нибудь высказывания в очень дурном вкусе; я в этом неповинен; я с самого начала был против вашего к ней визита. Вы вполне способны действовать без ее помощи. В *вас* я страх не вселил, это мне ясно. Как же в таком случае мог я вселить страх в нее? Она уж по меньшей мере такая же храбрая, как вы. Откуда вы взяли весь этот вздор? Пора бы уж вам, по-моему, знать меня. — С этими словами он поднялся, подошел к камину и несколько секунд рассматривал стоявшие на нем изящные безделушки из тончайшего фарфора, как будто

впервые их видел. Взяв с камина чашечку, он некоторое время ее изучал, потом, все так же держа ее в руке, облокотился этой рукой о край каминной доски и продолжал: — Вы любите сгущать краски. Все преувеличиваете и поэтому теряете ощущение реальности. Я намного проще, чем вам это кажется.

— Мне кажется, вы куда как просты, — проговорила мадам Мерль, не спуская глаз со своей чашечки. — Постепенно я в этом убедилась. Повторяю, судила я вас и раньше, но поняла до конца только после вашей женитьбы. На примере вашей жены я как никогда ясно увидела, чем вы были для меня. Прошу вас, обращайтесь с этой бесценной вещью осторожнее.

— К вашему сведению, в ней уже имеется трещинка, — сказал суховатым тоном Озмонд и поставил чашечку на место. — Если вы не понимали меня до моей женитьбы, с вашей стороны было по меньшей мере опрометчиво так загнать меня в угол. Правда, уголок мне самому понравился, я думал, мне там будет уютно. В сущности, мне ведь так мало нужно, мне нужно было только, чтобы она меня любила.

— Чтобы она безумно вас любила.

— А как же иначе, в таких случаях нам нужен

максимум. С вашего позволения, чтобы она меня боготворила. Я этого хотел, не отрицаю.

— Я никогда не боготворила вас, — сказала мадам Мерль.

— По крайней мере вы притворялись.

— Правда, вы никогда не подозревали меня в том, что я — уютный уголок, — продолжала мадам Мерль.

— Так вот, моя жена решительно этого не пожелала, — сказал Озмонд. — Если вы склонны видеть в этом трагедию, то вряд ли это трагедия для нее.

— Для меня это трагедия! — воскликнула мадам Мерль и встала, тяжело вздохнув, но не забыв при этом окинуть беглым взглядом предметы на каминной полке. — По-видимому, мне на собственном горьком опыте предстоит узнать всю невыгоду ложного положения.

— Вы говорите фразами из прописей. Нам следует искать утешения там, где мы можем его найти. Если моя жена не любит меня, то моя дочь во всяком случае меня любит. Пэнси за все меня вознаградит. По счастью, я ничего не могу поставить ей в упрек.

— Ах, — сказала она мягко, — если бы у меня была дочь…

Озмонд помолчал немного, потом с холодноватой учтивостью произнес:

— Дети наших друзей тоже могут вызывать у нас немалый интерес.

— Вы еще больше похожи на книгу прописей, чем я. Значит, нас с вами в конце концов что-то роднит.

— Уж не мысль ли о том, какой я могу причинить вам вред? — спросил Озмонд.

— Нет, мысль о том, какую я могу принести вам пользу. Вот из-за чего, — продолжала мадам Мерль, — я так завидую Изабелле. Я хотела, чтобы это было *моим* делом, — добавила она, и ее исполненное горечи и ожесточения лицо разгладилось и снова обрело свойственную ему приятность.

Друг ее взял в руки зонтик, шляпу и, проведя, несколько раз по ней обшлагом, сказал:

— В общем, думаю, вам лучше предоставить все это мне.

Как только он ушел, она прежде всего направилась к камину и взяла в руку ту сомнительную кофейную чашечку, в которой была обнаружена трещинка, но смотрела она на нее весьма рассеянным взглядом.

— Неужели же окажется, что я была такой мерзкой понапрасну? — посетовала она неизвестно

кому.

50

Графиня Джемини незнакома была с историческими памятниками Рима, поэтому Изабелла время от времени пыталась показать ей кое-что из этих удивительных реликвий и придать тем самым их послеполуденным катаньям до некоторой степени археологический характер. Графиня, заявлявшая во всеуслышание, что считает свою невестку чудом учености, никогда против подобных осмотров не возражала и разглядывала бесчисленные образцы римской кирпичной кладки столь же терпеливо, как если бы перед ней высились груды новомодных тканей. Историю она знала не слишком хорошо, разве что исторические анекдоты известного толка, и относилась к себе при этом вполне снисходительно; но жизнь в Риме казалась ей таким счастьем, что она желала лишь одного — плыть по течению. Да она каждый божий день охотно проводила бы по

часу в сыром мраке терм Тита,[167] если бы только от этого зависело ее дальнейшее пребывание в палаццо Рокканера! Но Изабелла была весьма нестрогим чичероне и разъезжала с ней по развалинам главным образом потому, что это давало повод коснуться иных тем, нежели любовные похождения флорентиек, о каковых ее спутница способна была повествовать без умолку. Следует при этом добавить, что графиня во время их экскурсий в прошлое отказывалась от каких бы то ни было действенных проявлений любознательности и предпочитала, сидя в карете, то и дело восклицать — до чего же это все интересно! Подобным образом осматривала она до сих пор и Колизей — к величайшему разочарованию племянницы, которая, при всем должном уважении к тетушке, не могла понять, почему бы той не выйти из экипажа и не заглянуть внутрь здания. Пэнси так редко выпадал случай послоняться, что мнение ее надо считать не вполне бескорыстным: возможно, она даже питала тайную надежду, что если гостья ее отца окажется внутри, то удастся

[167] Примечания: 167

Здания общественных бань, служивших также увеселительными и спортивными учреждениями во времена Рима, воздвигнутые римским императором Титом Флавием Веспасианом (39–81) на Эсквилинском холме г. Рима, одни из трех римских терм, сохранившиеся в развалинах до нашего времени.

уговорить ее подняться на верхние ярусы. Как-то в один из тех чудесных дней, когда ветреный март нежданно дохнет весною, графиня заявила о своей готовности совершить сей подвиг Три дамы вместе вошли в Колизей, но Изабелла сразу же отделилась от спутниц, желая побродить в одиночестве. Она не раз поднималась на эти полуразрушенные уступы, откуда некогда римская толпа ревом выражала одобрение и где теперь в глубоких трещинах растут лишь полевые цветы, если только им дают на это соизволение; нынче же Изабелла чувствовала себя утомленной и расположенной посидеть на разоренной арене. К тому же она нуждалась в передышке, ибо графиня чаще требовала внимания к себе, нежели удостаивала своим, и Изабелла рассчитывала, что, оказавшись вдвоем с племянницей, она позволит хотя бы легчайшему слою пыли осесть на скандальной летописи Арниды. Посему она осталась внизу, меж тем как Пэнси подвела свою сумасбродную тетушку к крутой кирпичной лестнице, у подножья которой сторож отпирает высокую деревянную дверь. Огромное замкнутое пространство наполовину тонуло в тени. Клонящееся к закату солнце возродило красноватый оттенок огромных травертиновых плит — только

он и говорил о жизни среди этой колоссальной руины. То тут, то там мелькала иногда фигура крестьянина или туриста, глядевшего, задрав голову, на далекую полосу неба, где в прозрачной тишине кружат и ныряют несметные ласточки. Изабелла вскоре заметила, что привлекла к себе внимание одного из посетителей; подобно ей, он обосновался в середине арены и, вскинув голову, смотрел на Изабеллу с неким характерным, запомнившимся ей несколько недель назад выражением неколебимой вопреки всем неудачам решимости. Так смотреть мог нынче только мистер Эдвард Розьер; действительно, то был он, занятый обдумыванием вопроса — не заговорить ли ему с ней? Убедившись, что она без спутников, упомянутый джентльмен подошел к Изабелле и сказал, что пусть она и не отвечает на его письма, но, быть может, все же не отвратит слух от его речей. Изабелла поставила его в известность, что падчерица ее здесь же, в Колизее, поэтому она способна уделить ему от силы пять минут. После чего, достав часы, он опустился на обломок плиты.

— Коротко говоря, — сказал Эдвард Розьер, — я продал все свои безделушки! — Изабелла невольно вскрикнула от ужаса — так, будто он сказал

ей, что ему выдернули все зубы. — Я продал их с аукциона у Друо, — продолжал он. — Это произошло три дня назад, и мне сообщили по телеграфу результаты. Они превзошли все ожидания.

— Я рада за вас, но предпочла бы, чтобы вы сохранили свои прелестные вещи.

— Зато теперь у меня есть наличные — пятьдесят тысяч долларов. Как, на взгляд мистера Озмонда, достаточно я теперь богат?

— Вы ради этого их и продали? — спросила Изабелла мягко.

— Ради чего же еще? Только об этом я и думаю. Я отправился в Париж и все подготовил. Присутствовать на аукционе я не мог: не мог бы смотреть на то, как все они уходят от меня, это бы меня убило. Я передал их в надежные руки, и они проданы по самой дорогой цене. Но знайте, эмали свои я сохранил. Итак, деньги у меня в кармане и теперь он не сможет уже сказать, что я беден! — воскликнул молодой человек.

— Он скажет теперь, что вы неразумны, — ответила Изабелла так будто Гилберт Озмонд не говорил этого и раньше.

Розьер внимательно посмотрел на нее.

— По вашему мнению, без моих безделушек я — ничто? По-вашему, они лучшее, что у меня

было? Так мне и заявили в Париже. О, на сей счет со мной были достаточно откровенны. Но они ведь не видели ее.

— Мой друг, как я желаю вам добиться успеха! — сказала очень ласково Изабелла. — Вы его заслужили.

— Вы сказали это так грустно, словно заранее знаете, что я его не добьюсь. — И он испытующе с нескрываемой тревогой посмотрел ей в глаза. Держался мистер Розьер как человек, который знает, что в течение недели о нем говорил весь Париж, и чувствует себя от этого на целых полголовы выше, но притом не без горечи подозревает, что, несмотря на подобное возвышение, кое-кто упрямо продолжает считать его мелковатым. — Я знаю, что произошло, пока меня не было, — продолжал он. — На что может мистер Озмонд надеяться, после того как она отказала лорду Уорбертону?

— На то, что она выйдет замуж за другого знатного жениха.

— За какого другого?

— За того, кого выберет ей он.

Розьер медленно поднялся и положил часы в кармашек жилета.

— Вы над кем-то смеетесь, миссис Озмонд, но

на сей раз, мне кажется, не надо мной.

— Я и не думала смеяться. Я вообще смеюсь очень редко, — сказала Изабелла. — А теперь вам пора идти.

— Мне нечего бояться! — заявил, не двигаясь с места, Розьер.

Пусть так; но, видно, для вящей уверенности он заявил об этом весьма громогласно, приподнимаясь с наилюбезнейшим видом на цыпочки и оглядывая Колизей, словно там была толпа зрителей.

Изабелла заметила, что мистер Розьер внезапно изменился в лице: зрителей оказалось больше, чем он предполагал. Она обернулась и увидела, что обе ее спутницы возвращаются после своего восхождения.

— Вам, правда, пора уходить, — сказала она торопливо.

— Ах, сударыня, сжальтесь надо мной! — прошептал Эдвард Розьер тоном, чрезвычайно не вяжущимся со сделанным им сейчас заявлением. Потом с неожиданным жаром, как одолеваемый невзгодами человек, напавший вдруг на счастливую мысль, добавил: — Эта дама не графиня ли Джемини? Я жажду быть ей представленным.

Изабелла пристально посмотрела на него.

— Ее брат нисколько не считается с ее мнением.

— Послушать вас, так он просто изверг!

Повернув голову, он встретился взглядом с графиней Джемини, которая приближалась к ним, опередив Пэнси, воодушевленная отчасти тем обстоятельством, что невестка ее, как она успела уже разглядеть, беседует с молодым человеком весьма приятной наружности.

— Я рада, что вы сохранили свои эмали! — сказала Изабелла, покидая его и направляясь прямо к Пэнси, которая при виде Эдварда Розьера, опустив глаза, застыла на месте. — Пойдемте, сядем в карету, — сказала она мягко. — а, нам пора возвращаться, — сказала еще более мягко Пэнси и двинулась к выходу, не возроптав, не дрогнув, не оглянувшись.

Изабелла же позволила себе эту последнюю вольность и увидела, как мгновенно состоялось знакомство графини Джемини и мистера Розьера. Сняв шляпу, молодой человек улыбался и кланялся; он явно только что отрекомендовался, и легкий изгиб выразительной спины графини был, на взгляд Изабеллы, весьма милостив. Все это, однако, тут же скрылось из виду, поскольку Изабелла и Пэнси снова заняли свои места в ка-

рете. Пэнси, сидевшая напротив мачехи, сначала не поднимала глаз, потом все же подняла их и посмотрела прямо в глаза Изабелле. В них блеснули жалобные лучи — искорки робкой страсти, растрогавшие Изабеллу до глубины души. И в то же время ее захлестнула волна зависти, когда она сравнила трепетное томление девочки по идеалу, имеющему вполне реальные очертания, с собственным иссушающим отчаянием.

— Бедняжка Пэнси! — сказала она с большой нежностью.

— Ничего! — поспешила успокоить ее виноватым тоном Пэнси.

Воцарилось молчание, графиня, судя по всему, не спешила к ним присоединиться.

— Вы все показали вашей тетушке? Ей понравилось? — спросила наконец Изабелла.

— Да, я показала ей все. По-моему, она осталась очень довольна.

— Надеюсь, вы не устали?

— Нет, я не устала. Спасибо.

Графиня все не шла, и Изабелла поручила лакею пойти в Колизей и напомнить графине, что ее ждут. Лакей вскоре возвратился и доложил,

что синьора Contessa[168] просит передать, чтобы ее не ждали. Она приедет в наемной карете.

Неделю спустя после того, как мистеру Розьеру удалось столь быстро завоевать расположение графини, Изабелла, войдя несколько позднее обычного к себе в спальню, чтобы переодеться к обеду, застала там Пэнси. Та, видимо, дожидалась ее и сразу же поднялась со скамеечки.

— Простите, что я позволила себе такую вольность, — сказала она тоненьким голоском. — Но на ближайшее время… это в последний раз.

Голос ее звучал необычно; в широко открытых глазах читались тревога и страх.

— Уж не уезжаете ли вы куда-нибудь?

— Я уезжаю в монастырь…

— В монастырь?

Пэнси придвигалась к ней все ближе, пока не оказалась рядом, и тогда, обняв Изабеллу, уткнулась ей головой в плечо. Так она и стояла несколько мгновений совсем неподвижно, но Изабелла чувствовала, что она вся дрожит. Эта дрожь, сотрясавшая всю ее хрупкую фигурку, выразила то, что Пэнси не смела сказать словами. Изабелла проявила, однако, настойчивость.

---

[168] Примечания: 168
графиня *(ит.).*

— Почему вы уезжаете в монастырь?

— Потому что папа считает, так будет лучше. Он говорит, девушке хорошо время от времени ненадолго удаляться от света. Он говорит, без конца вращаться в обществе плохо для девушки. И теперь как раз подходящий случай уединиться… чуть-чуть подумать. — Пэнси говорила короткими бесстрастными фразами, словно не очень полагалась на себя. Потом добавила, что было уже верхом самообладания: — По-моему, папа прав. Нынешней зимой я слишком много бывала в обществе.

Известие это так поразило Изабеллу, будто в нем сокрыт был более глубокий смысл, о котором сама Пэнси не догадывалась.

— Когда же это было решено? — спросила она. — Я ничего об этом не слышала.

— Папа сказал мне полчаса назад; он считает, чем меньше это будет заранее обсуждаться, тем лучше. Мадам Катрин приедет за мной без четверти семь. Я беру с собой всего два платья, ведь я пробуду в монастыре всего несколько недель; уверена, мне будет очень там хорошо. Я снова увижу всех дам, которые были так добры ко мне, и всех малышек, тамошних воспитанниц. Я очень люблю малышек, — заявила великодушно Пэнси

с высоты своего миниатюрного роста. — И очень люблю матушку Катрин. Я поживу там тихо-тихо и буду много думать.

Глубоко потрясенная Изабелла слушала ее, затаив дыхание, чуть ли не с благоговением.

— Думайте иногда и обо *мне.*

— Приезжайте поскорее навестить меня! — вскричала Пэнси, и этот крик души был так непохож на все ее героические фразы.

Изабелла ничего больше не могла сказать; она ничего не понимала, только чувствовала, как плохо еще знает своего мужа. Вместо ответа она лишь долгим и нежным поцелуем попрощалась с его дочерью.

Полчаса спустя она услышала от своей горничной, что приезжала в карете мадам Катрин и увезла с собой синьорину. Когда перед самым обедом Изабелла вышла в гостиную, она застала там графиню Джемини, которая, неподражаемо тряхнув головой, воскликнула по поводу случившегося: «Et voila, ma chire, une pose!».[169] Но если это был всего лишь жест, то Изабелла терялась в догадках относительно того, что именно хотел ее муж им выразить. Она только смутно

---

[169] Примечания: 169
Нет, вы подумайте, моя дорогая, каков жест *(фр.)*

понимала, что Озмонд еще больше привержен традициям, чем она до сих пор думала. У нее настолько вошло в привычку быть с ним крайне осторожной, что, когда он вошел в комнату, она, как это ни странно, несколько секунд колебалась, не решаясь упомянуть неожиданный отъезд его дочери, и заговорила о случившемся лишь после того, как они сели за стол. Но Изабелла уже давно запретила себе задавать Озмонду вопросы. Она могла позволить себе только какое-нибудь высказывание. И на сей раз она высказала то, что само слетело с языка.

— Я буду очень скучать по Пэнси.

Чуть наклонив голову, он несколько секунд созерцал стоявшую в центре стола корзину цветов.

— Разумеется, — сказал он наконец, — я об этом подумал. Видите ли, вы сможете ее навещать, но только не слишком часто. Полагаю, вам хочется узнать, почему я отправил ее к благочестивым сестрам, но вряд ли вы сможете уразуметь мои мотивы. Впрочем, неважно, не утруждайте себя понапрасну. Я оттого и не говорил вам ничего. Не верил, что найду у вас сочувствие. Но я-то всегда так думал, не мыслю без этого воспитания дочери. Дочь должна быть свежа и прекрасна, должна быть чиста и благовоспитанна. А при

нынешних нравах ничего не стоит измяться и запылиться. Пэнси слегка запылилась, слегка растрепалась, она слишком много бывала на людях. Этот оттирающий друг друга суетливый сброд, что зовет себя обществом… короче говоря, надо время от времени извлекать ее из этой сутолоки. Монастыри очень укромны, очень удобны, очень благотворны. Мне отрадно знать, что она там, в старинном саду, под сводами галереи, среди этих уравновешенных добродетельных женщин. Многие из них благородного происхождения; некоторые принадлежат к самой родовитой знати. Она сможет там читать, рисовать, играть на фортепьяно. Я распорядился, чтобы ее ни в чем не стесняли. Никаких запретов, всего лишь некое сознание отъединенности. У нее будет время, чтобы подумать; я хочу, чтобы она кое о чем подумала. — Озмонд рассуждал неторопливо, обстоятельно, все так же склонив голову набок, словно любуясь корзиной цветов. Тон его, однако, говорил не столько о желании что-либо объяснить, сколько о желании все это описать, даже, если угодно, живописать, чтобы самому посмотреть, какая получится картина. Некоторое время он рассматривал нарисованную им картину и остался, как видно, весьма ею доволен. Затем он

продолжал: — Одним словом, католики поистине мудры. Монастыри — великое установление, без них нам никак не обойтись: они отвечают самым насущным нуждам семьи, общества. Они и школа благовоспитанности, и школа душевной гармонии. Я ни в коей мере не хочу, чтобы моя дочь отрешилась от мира, — добавил он. — Отнюдь не хочу, чтобы она обратила свои мысли к миру иному. Для нее вполне хорош и этот. Она может думать о нем сколько ее душе угодно. Но думать так, как надлежит.

Изабелла с большим вниманием отнеслась к его наброску; она нашла его необыкновенно интересным. Он словно бы показал ей, как далеко способен зайти ее муж в желании добиться своего — вплоть до того, что готов проверять столь хитрые теоретические построения на своей хрупкой дочери. Изабелла не понимала, какую цель преследует Озмонд, вернее, понимала не до конца, но все же больше, чем он предполагал или желал бы, ибо нисколько не сомневалась, что вся эта тонкая мистификация затеяна ради нее, ради того, чтобы подействовать на ее воображение. Ему хотелось совершить что-нибудь внезапное и своевольное, что-нибудь непредвиденное и изощренное, подчеркнуть разницу между ее

чувствами и его собственными, показать, что коль скоро он считает свою дочь произведением искусства, то ему, разумеется, надо очень тщательно заботиться о завершающих штрихах. Он добился того, чего хотел. Изабелла ощутила, как у нее холодеет сердце. Пэнси монастырь знаком был с детства, в свое время она нашла в нем счастливый приют, она любила благочестивых сестер, и они платили ей тем же, поэтому в постигшей ее участи не было ничего особо тяжелого, но, несмотря на это, Пэнси испугалась; впечатление, которое желал таким образом произвести на нее отец, несомненно будет достаточно сильным. Старые протестантские традиции все еще живы были в сознании Изабеллы, и чем больше она вникала в этот разительный пример изобретательности мужа — как и он, она сидела, устремив глаза на корзину с цветами, — тем быстрее бедная маленькая Пэнси превращалась для нее в героиню трагедии. Озмонд хотел дать своей жене понять, что ни перед чем не остановится, и жена его почувствовала, как трудно ей хотя бы для вида прикоснуться к еде. Некоторое облегчение она испытала, лишь когда услышала высокий ненатуральный голос своей невестки. Графиня тоже, очевидно, обдумала случившееся, но при-

шла совсем к другому выводу.

— Как глупо, мой дорогой Озмонд, — заявила она, — изобретать столько благовидных предлогов для изгнания бедняжки Пэнси. Почему бы тебе прямо не сказать, что ты хочешь убрать ее подальше от меня? Разве ты не обнаружил еще, что я самого наилучшего мнения о мистере Розьере? Да, да, именно так; на мой взгляд, он simpaticissimo.[170] Он заставил меня поверить в идеальную любовь. Я никогда раньше в нее не верила! Конечно же, ты решил, что при таком убеждении я самое неподходящее общество для Пэнси.

Озмонд неспеша отпил вино; вид у него был на редкость добродушный.

— Моя дорогая Эми, — ответил он, улыбаясь так, словно собирался сказать ей какую-нибудь любезность. — Я ничего не знаю о твоих убеждениях, но, если бы только заподозрил, что они противоречат моим, мне было бы куда проще изгнать тебя.

---

[170] Примечания: 170
на редкость мил (ит.).

51

Графиня не была изгнана, однако почувствовала всю шаткость своих прав на гостеприимство брата. Неделю спустя после того, как случилось вышеизложенное, Изабелла получила телеграмму из Англии, помеченную Гарденкортом и носящую печать всех особенностей стиля миссис Тачит: «Дни Ральфа сочтены, — говорилось там, — хотел бы по возможности тебя видеть. Просит сказать, чтобы приехала, только если не удерживают другие обязанности. Скажу от себя, ты всегда любила толковать своих обязанностях, не могла решить, чем они состоят. Любопытно знать, удалось ли тебе установить. Ральф самом деле умирает, кроме меня, никого нет». Изабелла была подготовлена к этому известию: Генриетта Стэкпол подробно описала ей, как добиралась в Англию вместе со своим признательным подопечным. Ральф прибыл чуть живой, тем не менее ей удалось доставить его в Гарденкорт, где он тут же слег в постель и, по всей видимости, никогда уже с нее не встанет, писала мисс Стэкпол. Она добавила, что на ее попечении вместо одного

больного оказалось двое, так как мистер Гудвуд, от которого не было ровным счетом никакого толку, тоже занемог — по-другому, но ничуть не менее серьезно, чем мистер Тачит. Потом она написала, что вынуждена была уступить поле деятельности миссис Тачит — та вернулась на днях из Америки и не замедлила дать ей понять, что не потерпит в Гарденкорте никаких газетных писак. Вскоре после приезда Ральфа в Рим Изабелла сообщила своей тетушке об угрожающем состоянии его здоровья и рекомендовала, не теряя времени, возвратиться в Европу. Миссис Тачит поблагодарила ее телеграммой за совет, и единственное, что Изабелла получила от нее потом, была вторая телеграмма, та самая, которую я сейчас привел.

Изабелла постояла несколько секунд, глядя на эту депешу, затем, сунув ее в карман, направилась прямым путем к двери кабинета своего мужа. Тут она снова секунду помедлила и наконец, открыв дверь, вошла. Озмонд расположился за столом у окна; перед ним, прислоненный к стопке книг, стоял фолиант, раскрытый на странице с мелкими цветными гравюрами. Изабелла сразу же увидела, что Озмонд срисовывает изображенную там античную монету. Рядом на столе была ко-

робка с акварельными красками и кисточки; он уже перенес на безупречно чистый лист бумаги изысканный, искусно подцвеченный диск. Хотя Озмонд сидел спиной к двери, он, не обернувшись, узнал свою жену.

— Простите, что я помешала вам, — сказала она.

— Прежде чем войти к вам в комнату, я всегда стучу, — ответил он, продолжая срисовывать.

— Я забыла, голова занята была другим. Мой кузен при смерти.

— Полноте, я не верю, — сказал, разглядывая в лупу свой рисунок Озмонд. — Он был при смерти и тогда, когда я на вас женился. Он всех нас переживет.

Изабелла не разрешила себе потратить ни единой секунды, ни единой мысли на то, чтобы оценить по достоинству столь нарочитый цинизм; всецело поглощенная своим намерением, она без паузы продолжала.

— Тетушка вызывает меня телеграммой, я должна ехать в Гарденкорт.

— Почему вы должны ехать в Гарденкорт? — осведомился тоном бесстрастной любознательности Озмонд.

— Чтобы увидеться с Ральфом перед его смер-

тью.

Озмонд ничего на это не возразил; внимание его по-прежнему было главным образом сосредоточено на том, чем он занимался, поскольку при подобного рода занятии малейшая небрежность губительна.

— Не вижу в этом никакой необходимости, — сказал он наконец. — Ваш кузен приезжал сюда повидаться с вами. Мне это было не по вкусу, я считал его пребывание в Риме непозволительным. Но терпел, так как полагал, что вы видетесь с ним в последний раз. А теперь вы заявляете мне, что это было не в последний раз. Нет, вы положительно неблагодарны.

— За что я должна быть благодарна?

Гилберт Озмонд отложил свои миниатюрные рисовальные принадлежности, сдул с листа пылинку, не спеша поднялся и в первый раз взглянул на жену.

— За то, что я не препятствовал вам, пока он был здесь.

— Я благодарна, еще бы. Прекрасно помню, как недвусмысленно вы давали мне понять, что вам это не по вкусу. Я так рада была, что он уехал.

— Ну и оставьте его в покое. Незачем мчаться вслед за ним.

Изабелла отвела глаза, невольно обратив их на маленький рисунок Озмонда.

— Я должна ехать в Англию, — сказала она, вполне сознавая, что тон ее человеку с утонченной натурой, притом раздражительному, может показаться глупо упрямым.

— Если вы поедете, мне это будет не по вкусу, — обронил Озмонд.

— Что с того. Если я не поеду, вам и это будет не по вкусу. Вам не по вкусу все, что я делаю и чего не делаю. Вы предпочитаете думать, будто я лгу.

Озмонд слегка побледнел; он холодно улыбнулся.

— Так вот почему вам понадобилось ехать — не для того, чтобы увидеться с кузеном, а чтобы отомстить мне.

— Я не умею мстить.

— Зато я умею, — сказал Озмонд. — Не давайте мне повода.

— Вы готовы ухватиться за любой. Ждете не дождетесь, чтобы я совершила какое-нибудь безрассудство.

— В таком случае я был бы более чем удовлетворен, если бы вы не подчинились моему желанию.

— Если бы я не подчинилась? — сказала Иза-

белла таким ровным тоном, что его можно было счесть кротким.

— Надеюсь, вам вполне ясно: если вы сейчас уедете из Рима, это будет с вашей стороны не что иное, как в высшей степени обдуманное и рассчитанное стремление внести разлад.

— Как можете вы назвать его обдуманным. Телеграмму от тетушки я получила три минуты назад.

— Вы быстро думаете; это большое ваше достоинство. По-моему, нет смысла продолжать наш спор; вам мое желание известно.

Он стоял перед ней, словно ожидая, что она тут же уйдет.

Но она не двинулась с места, просто не могла, как это ни странно, двинуться; ей все еще хотелось оправдаться в его глазах — он обладал поразительной способностью так поворачивать разговор, что потребность эта становилась неодолимой. Ему неизменно удавалось, вопреки доводам рассудка, затронуть какие-то струны ее воображения.

— У вас нет никаких причин желать этого, а у меня есть все основания на то, чтобы ехать. Сказать вам не могу, как вы, на мой взгляд, несправедливы. Вероятно, вы и сами это знаете.

Не я стремлюсь внести разлад, а вы — и весьма обдуманно. Со злым умыслом.

Она никогда еще не высказывала мужу наихудших своих мыслей о нем, и Озмонд был, очевидно, поражен. Но он ничем этого не обнаружил его хладнокровие, скорей всего, говорило о твердой уверенности, что жена рано или поздно не устоит перед его ухищрениями вывести ее из себя.

— Тогда это тем более важно, — сказал он едва ли не с дружеским участием. — Дело обстоит очень серьезно. — Она мысленно согласилась с ним; она вполне сознавала значение происходящего, понимала, что для них наступила критическая минута. Острота положения сделала ее осторожной, заставила промолчать, и он продолжал. — Вы говорите, у меня нет причин. Напротив того, есть, и самые веские. Мне до последней степени претит то, что вы собираетесь предпринять. Это постыдно, это неделикатно, это неприлично. Да, мне ваш кузен никто и ничто, и я не обязан ради него чем бы то ни было поступаться. Я уже и так пошел на изрядные уступки. Пока он был здесь, я из-за ваших с ним отношений места себе не находил, но не вмешивался, поскольку ждал, что он вот-вот уедет. Я его всегда недолюбливал, а он всегда недолюбливал меня. Вы его за

то и любите, что он меня ненавидит, — чуть дрогнувшим голосом быстро проговорил Озмонд. — У меня есть вполне определенные представления о том, что должна и чего не должна делать моя жена. Она не должна, вопреки моим настояниям, мчаться в одиночестве из конца в конец Европы, чтобы сидеть у постели посторонних мужчин. Да кто он вам, этот ваш кузен? Он нам никто и ничто. Вы очень выразительно улыбаетесь, когда я говорю «нам», но уверяю вас, миссис Озмонд, для меня существует только *мы, мы.* Я смотрю на наш брак серьезно; вы, по-видимому, считаете возможным смотреть на него иначе. Насколько мне известно, мы с вами не разведены, не расстались; для меня мы неразрывно связаны. Вы ближе мне, чем любое другое человеческое существо, равно как и я — вам. Возможно, близость эта не из самых приятных, но как бы то ни было она возникла по нашей собственной с вами воле. Знаю, вы не любите, когда я об этом напоминаю, но я это делаю весьма охотно, потому что… потому что… — И он замолк с таким видом, будто намеревался привести неопровержимый довод. — Потому что, на мой взгляд, мы должны отвечать за свои поступки и за все вытекающие из них последствия; для меня это вопрос чести, а

честь я ценю превыше всего!

Он говорил сдержанно, почти что мягко; из голоса исчезли все язвительные нотки. Вот эта сдержанность и притушила душевное волнение его жены; решимость, с которой она вошла в комнату, запуталась в паутине тончайших хитросплетений. Последние фразы он произнес уже не повелительным, а скорее просительным тоном, и хотя она понимала, что любой знак уважения к ней всего лишь изощренное себялюбие, однако в словах его заключено было нечто высокое и непреложное, словно в крестном знамении или флаге отечества. Во имя того, что дорого и свято, он призывал ее… сохранять декорум. Всеми своими чувствами они были врозь, так врозь, как это бывает только с окончательно разочаровавшимися друг в друге любовниками, тем не менее фактически еще не расстались. Изабелла не изменилась, по-прежнему превыше всего она ставила справедливость и сейчас, покоряясь властному ее голосу, готова была признать временную победу мужа, хотя прекрасно понимала кощунственность озмондовских софизмов. Она вдруг подумала, что в своем желании соблюдать приличия он в конце концов вполне искренен и, если на то пошло, это уже само по себе досто-

инство. Десять минут назад она вкусила почти позабытую радость совершенного без раздумий поступка — и вот от пагубного прикосновения Озмонда поступок оборачивался для нее медленным самоотречением. Но, если ей предстоит самоотречение, пусть он по крайней мере знает — она не жертва обмана, а просто жертва.

— Мне ведь известно, какой вы мастер иронизировать, — сказала она. — Как можете вы говорить о неразрывной связи… как можете вы говорить о каком бы то ни было удовлетворении? Где она, наша неразрывная связь, если вы обвиняете меня в лицемерии? Где оно, ваше удовлетворение, если в душе у вас одни только черные подозрения?

— В том, что, несмотря на печальные недостатки нашей общей жизни, в ней есть пристойная совместность.

— Нет в ней пристойной совместности! — воскликнула Изабелла.

— Конечно, если вам вздумается уехать в Англию.

— Это еще что; это пустяки. Я способна на большее.

Он поднял брови и даже слегка — плечи: так долго живя среди итальянцев, он перенял у них этот жест.

— Ну, коль скоро дело дошло до угроз, я предпочитаю заняться рисованием. — Вернувшись к столу и взяв лист с рисунком, над которым трудился до ее прихода, он начал внимательно его разглядывать.

— Если я поеду, вы, полагаю, не будете ждать, что я вернусь, — сказала Изабелла.

Он мгновенно обернулся, и ей стало ясно, это движение было, во всяком случае, непреднамеренным. Несколько секунд он смотрел на нее и наконец спросил:

— В своем ли вы уме?

— Что же это, как не разрыв? — продолжала она. — В особенности если все, что вы сказали, правда. — Изабелла в самом деле не видела, как это может не привести к разрыву; она искренне хотела бы это понять.

Он сел за стол.

— Вы явно не желаете со мной считаться, о чем же тогда нам с вами говорить? — сказал он и снова взял в руку одну из кисточек.

Изабелла еще немного помедлила — ровно столько, чтобы окинуть взглядом его подчеркнуто безразличную, но вместе с тем весьма выразительную фигуру, после чего быстро вышла из комнаты. Ее душевные способности, силы, стрем-

ления — все пришло в разброд; казалось, на нее опускается холодная непроглядная мгла. Озмонд, как никто, умел обнаруживать малейшее проявление слабости. Возвращаясь к себе, она увидела в распахнутых дверях маленькой гостиной, где стояло небольшое собрание разношерстных книг, графиню Джемини с раскрытым томиком в руке; она, по-видимому, успела проглядеть страничку, которая не поразила ее воображения. Услыхав шаги– Изабеллы, графиня подняла голову.

— Ах, моя дорогая, вы ведь так у нас начитаны, умоляю, посоветуйте мне, какую взять книжку поувлекательней. Здесь все сплошная скука смертная! Как вы думаете, вот эта может меня развлечь?

Изабелла смотрела на название протянутой ей книги, но не в силах была его прочитать и уж тем более понять.

— Боюсь, я не смогу вам ничего посоветовать. Я получила печальную весть. Мой кузен Ральф при смерти.

Графиня отбросила томик.

— Ах, он был такой simpatico.[171] Мне ужасно вас жаль.

---

[171] Примечания: 171
милый *(ит.).*

— Вам было бы еще больше жаль меня, если бы вы знали…

— Если бы я знала — что? Да на вас лица нет, — добавила графиня. — Вы не иначе как от Озмонда.

Полчаса назад Изабелла отнеслась бы весьма недоверчиво к утверждению, что будет когда-либо нуждаться в сочувствии золовки, и не найти лучшего доказательства великого ее смятения, чем жадность, с какой она ухватилась за порхающее участие этой дамы.

— Да, я от Озмонда, — сказала она, между тем как устремленные на нее блестящие глазки графини так и сверкали.

— Не сомневаюсь, что он вел себя отвратительно! — вскричала графиня. — Уж не выразил ли он удовольствие по поводу того, что бедный мистер Тачит при смерти?

— Я хотела ехать в Англию, а он сказал, что это невозможно.

Там, где дело касалось ее собственных интересов, графиня была очень сообразительна; она сразу поняла, что праздничный блеск ее римского визита не сегодня завтра померкнет: Ральф Тачит умрет, Изабелла облачится в траур и тогда прощай все званые обеды. Подобная перспек-

тива заставила ее состроить гримаску, но этой мимолетной игрой лица исчерпалась ее дань разочарованию. В общем-то, размышляла графиня, спектакль все равно подходит к концу, она и так уже беспардонно загостилась. К тому же она настолько близко приняла к сердцу горести Изабеллы, что забыла о своих собственных, ибо чувствовала — источник этих горестей куда глубже, чем смерть кузена. Без малейших колебаний связала она выражение глаз невестки со своим невыносимым братом. У нее чуть ли не захватило дух от радостного предвкушения: если ей хотелось, чтобы над Озмондом взяли верх, то сейчас наиболее благоприятное для этого время. Конечно, как только Изабелла уедет в Англию, сама она тут же покинет палаццо Рокканера, ни за какие блага не останется там вдвоем с Озмондом. Тем не менее она жаждала всей душой услышать, что Изабелла в Англию поедет.

— Для вас нет ничего невозможного, дорогая, — сказала она вкрадчиво. — Иначе какой прок от того, что вы так богаты, и умны, и добры?

— В самом деле — какой прок? Я чувствую себя до смешного беспомощной.

— А почему Озмонд считает это невозможным? — спросила графиня, всем своим видом

давая понять, что она прямо ума не приложит.

Стоило графине начать расспросы, как Изабелла спохватилась и стала отступать; она высвободила руку, которую графиня сжимала в порыве доброжелательства. На вопрос она, однако, ответила с нескрываемой горечью.

— Потому что нам так хорошо вместе, что мы не в состоянии хотя бы на две недели расстаться.

— Ну и ну! — воскликнула графиня, между тем как Изабелла повернулась уже, чтобы уйти. — Когда я хочу куда-нибудь поехать, мой муж попросту говорит, что не даст мне денег.

Изабелла возвратилась к себе и не меньше часа ходила взад и вперед по комнате. Найдется, вероятно, немало читателей, которые скажут, напрасно она так горевала и, безусловно, для сильной духом женщины Изабелла слишком легко позволила сковать себя по рукам и ногам. Ей казалось, только теперь постигла она до конца, какое это отчаянное предприятье — связать себя браком. Супружество означало, что во всех случаях, когда приходится делать выбор, он, как нечто само собой разумеющееся, делается в пользу мужа. «Я боюсь… да, да, я боюсь», — повторяла она время от времени, замирая при этом на месте. Но не мужа она боялась, не его неудовольствия, нена-

висти, мести, даже не того строгого приговора, который, возможно, когда-нибудь себе вынесет, — соображение, нередко останавливавшее ее порывы, — нет, Изабелла боялась страстного ожесточения, а оно неминуемо, если наперекор желанию Озмонда она все же уедет. Между ними легла пропасть взаимного непонимания, и тем не менее он хотел, чтобы она осталась; ему невыносима мысль, что она собирается уехать. Она знала, с какой нервической остротой воспринимает он малейшее возражение. Что он о ней думает, она знала, что способен сказать ей, догадывалась, но при всем том они — супруги, а супружество означает, что жена должна прилепиться к мужу, которому дала торжественный обет, стоя с ним под венцом. Она опустилась на диван и уткнулась головой в ворох подушечек.

Когда она снова подняла голову, над ней склонялась графиня Джемини. Та вошла совсем неслышно; на ее тонких губах играла загадочная улыбка, да и все лицо за протекший час исполнилось многозначительной решимости. Как будто этот час она провела, стоя у окна и собираясь с духом, а теперь бесстрашно высунулась наружу.

— Я стучала, — начала она, — но вы не отозвались, и я рискнула войти. Вот уже пять минут,

как я смотрю на вас. Вы очень несчастливы.

— Очень, но вряд ли вы можете мне помочь.

— А все-таки попытаюсь, если вы не возражаете. — И графиня уселась рядом с ней на диване. Она продолжала улыбаться, лицо ее выражало восторженную готовность к излияниям. Ей, по-видимому, было что сказать, и Изабелле впервые почудилось, что золовка, возможно, в самом деле способна сказать что-нибудь осмысленное. Графиня несколько секунд сверкала глазами, и было в этой их игре нечто неприятно завораживающее. — В общем, — продолжала она, — прежде всего я должна признаться, мне непонятно, почему вы пришли в такое расстройство. Слишком уж вы щепетильны, слишком рассудительны, слишком связаны по рукам и ногам. Когда я десять лет назад убедилась, что мой муж жаждет отравить мне жизнь — в последнее время он просто оставил меня в покое, — вы и представить себе не можете, как восхитительно это сразу все упростило. Моя бедная Изабелла, вы недостаточно просты.

— Да, я недостаточно проста, — согласилась Изабелла.

— Мне хочется, чтобы вы кое-что узнали, — заявила графиня. — По-моему, вам следует это

знать. Возможно, вы уже знаете, возможно, уже догадались сами. Но, если это так, мне остается только сказать, я еще меньше понимаю, почему вы не поступаете, как вам вздумается.

— Что вы хотите, чтобы я узнала? — От дурного предчувствия у Изабеллы сильнее забилось сердце. Графиня *вознамерилась* каким-то образом доказать свою правоту, уже одно это предвещало недоброе.

Но графиня склонна была, как видно, поиграть в загадки.

— На вашем месте я бы уж давным-давно догадалась. Неужели вы так ничего и не заподозрили?

— Ничего. О чем я должна была догадаться? Я просто не понимаю, о чем идет речь.

— А все оттого, что вы так убийственно чисты душой. В жизни еще не встречала женщины, которая была бы так чиста душой! — вскричала графиня.

Изабелла медленно встала.

— Вы собираетесь рассказать мне что-то чудовищное?

— Ваше право назвать это, как вам заблагорассудится. — Графиня тоже поднялась, в нее точно вселился дух упрямства, он рос на глазах и все

больше буйствовал. Несколько секунд она стояла во всем, так сказать, блеске своего грозного и, как Изабелле уже тогда показалось, безобразного намерения. Наконец она произнесла: — У моей первой невестки не было детей.

Изабелла смотрела на нее непонимающим взглядом; она ожидала чего-то совсем другого.

— У вашей первой невестки?

— Надеюсь, вам по крайней мере известно, что Озмонд был уже, с вашего позволения, женат? Я никогда с вами о его жене не заговаривала, мне казалось, это было бы неприлично, даже неуважительно. Но другие, менее тактичные люди, наверное, говорили вам. Бедняжка не прожила с ним трех лет и умерла бездетной. Пэнси появилась после ее смерти.

Брови Изабеллы были так нахмурены, что почти сошлись у переносицы; побелевшие губы раскрылись от недоуменной растерянности. Она как бы силилась понять то, что, очевидно, было выше ее понимания.

— Значит, Пэнси не дочь моего мужа?

— Не извольте сомневаться — вашего! Не чьего-нибудь чужого. Но чьей-то чужой жены. Ах, милочка моя! — воскликнула графиня. С вами приходится ставить все точки над i.

— Не понимаю. Чьей жены? — спросила Изабелла.

— Жены мерзкого плюгавого швейцарца, который умер… постойте-ка, когда же это было?… По меньшей мере двенадцать, нет, больше пятнадцати лет назад. Он не признал мисс Пэнси; не пожелал иметь с ней никакого дела, уже кому-кому, а ему известно было, что у него нет на то причин; Озмонд, тот, как и следовало, признал ее, хотя потом ему пришлось изобрести всю эту галиматью, будто жена его умерла во время родов и он, не помня себя от горя и ужаса, изгнал несчастную малютку с глаз долой и держал ее, сколько мог, у кормилицы, прежде чем взял к себе. На самом же деле жена его умерла совсем не там и не оттого — в горах Пьемонта, куда они отправились как-то в августе, поскольку, оказалось, по состоянию здоровья она нуждается в горном воздухе, но там ей внезапно сделалось хуже… болезнь сделалась безнадежной. История эта вполне сошла с рук, ведь приличия были соблюдены, и никто не имел охоты что-либо уточнять. Но я-то, конечно, знала… хотя и не наводила справок, — продолжала со всей откровенностью графиня, — и хотя, как вы сами понимаете, мы ни разу слова не сказали об этом — я имею в виду себя и Озмонда. Вам ведь

легко представить себе, как он молча на меня смотрит — вот так, чтобы все поставить на место или, точнее говоря, чтобы поставить на место *меня*, если бы мне вздумалось пикнуть. Но я никогда даже не намекнула ни одной живой душе, если вы способны этому про меня поверить; клянусь вам, моя дорогая, вы первая, кому я рассказываю: с тех самых пор — ни с кем ни гу-гу. Прежде всего она моя племянница… дочь моего брата, этого мне было вполне достаточно. Что же касается ее настоящей матери!.. — Но тут поразительная тетушка Пэнси невольно осеклась, увидев лицо невестки, с которого на нее смотрели такие глаза, какие ей никогда еще не доводилось видеть.

Имя не было названо, и все же Изабелла едва удержала рвущееся с губ эхо неназванного. Она опять села на диван и опустила голову.

— Зачем вы мне это рассказали? — спросила она, и графиня с трудом узнала ее голос.

— Затем, что мне тошно было оттого, что вы не знаете. Мне, ей-богу, тошно было, дорогая, оттого, что я вам этого не рассказала давно; будто я по глупости все никак не могла улучить минуту! Не сердитесь, моя дорогая, но ça me dépasse,[172] как

---

[172] Примечания: 172
это выше моего понимания *(фр.)*.

вы, судя по всему, умудряетесь не видеть того, что творится прямо у вас под носом. Так вот, это ведь тоже своего рода услуга — оберегать простодушное неведение, хотя я всю жизнь не очень-то была способна на такие услуги; кстати, раз уже зашла об этом речь, о помалкивании ради интересов брата, мой запас добропорядочности на сей счет тоже, как видно, иссяк. Тем более что это ведь не какая-нибудь черная клевета, — добавила неподражаемая графиня. — Все обстоит именно так, как я говорю.

— У меня никогда и мысли не было, — сказала через несколько секунд Изабелла, и при всей очевидной неразумности этого признания взгляд, который она, подняв голову, устремила на графиню, полностью подтвердил его искренность.

— Верю, хотя верилось с трудом. Неужели вам никогда не приходило в голову, что шесть-семь лет он был ее любовником?

— Не знаю. *Кое-что* приходило, и, вероятно, как раз к этому все и сводилось.

— А в отношении Пэнси до чего же умно она вела себя, она вела себя просто непревзойденно! — воскликнула графиня, пораженная картиной, представшей ее глазам.

— Нет, нет — *такой* мысли у меня, безусловно,

никогда не было, — продолжала Изабелла, точно пытаясь восстановить в памяти что было, чего не было. — И все равно… я не понимаю.

Вид у нее был встревоженный, озадаченный; бедная графиня убедилась, по-видимому, что разоблачения ее не возымели ожидаемого действия. Она рассчитывала, что разожжет пламя, а ей едва удалось высечь искру. Изабелла казалась не более потрясенной, чем благонравная девица с умеренным воображением каким-нибудь зловещим эпизодом из всемирной истории.

— Разве вам не ясно, что девочку невозможно было выдать за дочь. ее мужа? То есть выдать *самому* мистеру Мерлю, — продолжала графиня. — Они расстались задолго до этого, и он уехал на другой конец света, как будто бы в Южную Америку. Если у нее и были когда-нибудь дети, в чем я очень сомневаюсь, она их потеряла. В минуту крайности (я имею в виду — крайне щекотливое положение) Озмонд согласился признать девочку. Жена его умерла, спору нет, но не так уж давно она умерла, чтобы совсем нельзя было подтасовать сроки — при условии, конечно, что подозрение не будет возбуждено, о чем они, разумеется, позаботились. Ну могло ли что быть естественнее в глазах равнодушного,

не снисходящего до мелочей общества, чем то, что бедная миссис Озмонд где-то там вдалеке оставила после себя, poverina,[173] плод стоившего ей жизни недолгого счастья? Озмонд поменял местожительство: перед тем как уехать в Альпы, они жили в Неаполе, спустя некоторое время он перебрался оттуда в Рим, и легенда эта была успешно пущена в ход. Бедная моя невестка не могла, лежа в гробу, оградить себя, настоящая же мать отказалась от всех явных прав на собственную дочь, чтобы спасти *свою* шкуру.

— Бедная, бедная женщина! — вскричала, заливаясь слезами, Изабелла. Ей давно уже не случалось проливать их, слишком дорого обходилось это потом. Но сейчас они просто хлынули у нее из глаз, чем она снова привела в замешательство графиню.

— Очень мило с вашей стороны жалеть ее! — И она невпопад рассмеялась. — Право же, не знаешь, чего и ждать от вас!..

— Значит, он изменил своей жене… и так скоро… — начала Изабелла и вдруг замялась.

— Только этого еще недоставало… чтобы вы сейчас болели душой *за нее!* Тем не менее я

---

[173] Примечания: 173
бедняжка *(ит.).*

вполне с вами согласна, это произошло, мягко говоря, слишком скоро.

— А мне… мне?… — И Изабелла помедлила, точно не расслышав своего вопроса, точно вопрос, который ничего не стоило прочитать в ее глазах, обращен был к ней самой.

— Вам? Был ли он верен вам? Как сказать, моя дорогая; все зависит от того, что вы называете верностью. Когда он женился на вас, он не был уже любовником другой женщины — *таким,* как прежде, сага mia,[174] в те годы, когда урывками, с вечным риском и предосторожностями, у них это длилось. Подобному положению вещей был положен конец; вышеупомянутая дама раскаялась или, во всяком случае, по каким-то своим соображениям решила поставить точку; она тоже всегда благоговейно относилась к соблюдению приличий — настолько, что даже Озмонду это в конце концов приелось. Можете себе представить, что бывало, когда они расходились во мнении и речь шла не о *тех* приличиях, к которым питает пристрастие он! Но их связывало все их прошлое.

— Да, — повторила машинально Изабелла, — их связывает все их прошлое.

---

[174] Примечания: 174
моя милая *(ит.).*

— Разумеется, все их недавнее прошлое — пустяки. Но, должна сказать, лет шесть-семь у них все было по-настоящему.

Изабелла несколько секунд молчала.

— Зачем тогда ей понадобилось женить его на мне?

— Ах, моя дорогая, в этом-то и сказалось ее превосходство! Затем, что у вас были деньги, и затем, что она не сомневалась в вашем добром отношении к Пэнси.

— Бедная женщина! Пэнси же ее не любит! — воскликнула Изабелла.

— Вот почему ей нужен был кто-то, кого Пэнси полюбит. Она это понимала. Она все понимает.

— Поймет она, что вы мне рассказали?

— Будет зависеть от того, скажете ли вы ей. Она к этому готова? а знаете, как она думает защищаться, на что рассчитывает? На то, что вы сочтете, будто я лгу. Возможно, вы так и считаете; тогда не стесняйтесь, скажите прямо. Но дело в том, что на сей раз я не лгу. Мне случалось привирать, плести всякий вздор, но этим я никому не вредила, кроме себя самой.

Изабелла сидела и с изумлением, точно на ворох причудливых товаров, выложенных из тюка на ковер бродячим цыганом, взирала на то, о чем

поведала ее золовка.

— Почему же Озмонд так и не женился на ней?

— Потому что у нее не было денег. — У графини на все был готов ответ, и если она лгала, то лгала очень умело. — Никто не знает, никто не знал никогда, на что она живет, откуда у нее все ее прекрасные вещи. Думаю, даже Озмонд этого не знает. Кроме того, она и не вышла бы за него замуж.

— Вы же утверждаете, что она его любит?

— Любит, но иначе. Сначала она любила его так, и тогда она, наверное, вышла бы за него замуж; но в то время жив был еще ее муж. А к тому времени, когда мосье Мерль, не смею сказать, отправился к праотцам, поскольку таковых у него никогда не имелось… ее отношения с Озмондом были уже не те и она стала намного честолюбивее. Тем более что она никогда, — продолжала графиня, предоставляя Изабелле возможность потом, при воспоминании об этом, трагически морщиться, — никогда не обольщалась насчет его так называемой *незаурядности.* Она надеялась выйти замуж за кого-нибудь из великих мира сего, это всегда было ее заветной мечтой. Она выжидала, выслеживала, расставляла сети и молила судьбу, и все попусту. В общем, я ведь

не назвала бы мадам Мерль удачливой. Не знаю, чего еще она в жизни добьется, но пока ей особо похвастаться нечем. Единственная ее удача — не считая, конечно, того, что она знает всех на свете и может месяцами гостить то тут, то там и не тратиться, — это ваш брак с Озмондом. Да, это дело ее рук, моя дорогая, и напрасно у вас такой вид, будто вы в этом сомневаетесь. Я не спускала с них глаз годы и годы, я знаю все… решительно все. Говорят, у меня в голове ветер, но там вполне хватило ума, чтобы уследить за этой парочкой. Она меня ненавидит и выражает это тем, что всегда якобы защищает мою репутацию. Когда при ней говорят, будто у меня было пятнадцать любовников, она ужасается и заявляет, что даже и о семерых этого с уверенностью не скажешь. Уж столько лет как она меня боится, потому и радуется гнусным, лживым слухам, которые обо мне распускают. Она боится, что я выдам ее тайну, даже пригрозила мне однажды, когда Озмонд только начал за вами ухаживать. Это было у него в доме, во Флоренции; помните тот вечер, когда она впервые привезла вас туда и мы пили чай в саду? Так вот, она дала мне понять, что, если мне вздумается сплетничать, она не останется в долгу. Она делает вид, будто про меня можно рассказать

больше, чем про нее. Занятное вышло бы сравнение! Может говорить все, что ей хочется, меня это ни капли не трогает хотя бы потому, что я знаю, — *вас* это ни капли не трогает. Вряд ли я еще больше проиграю в вашем мнении. Так что пусть себе мстит, сколько ее душе угодно, — не думаю, что она очень вас напугает. Сама она жаждала всегда быть сверхнепогрешимой — этакой лилией в полном цвету, воплощением благопристойности. Она всегда поклонялась этому идолу. Жена Цезаря, видите ли, должна быть вне подозрений, а я уже сказала, она всегда надеялась выйти замуж за Цезаря. Вот одна из причин, по которой она не пожелала выйти замуж за Озмонда: боялась, как бы, увидев ее рядом с Пэнси, люди что-нибудь не унюхали, чего доброго, не уловили сходства. Для нее вечным кошмаром было, как бы мать не выдала себя; она была безумно осторожна, и мать ни разу себя не выдала.

— Нет, нет, мать выдала себя, — сказала Изабелла; в лице ее уже не осталось ни кровинки. — Она выдала себя при мне несколько дней назад, но я не поняла. Пэнси как будто представилась возможность сделать блестящую партию, но из этого ничего не вышло, и она так была удручена, что почти сбросила маску.

— Тут поневоле сбросишь! — вскричала графиня. — Самой ей ужасно не повезло, и она решила — пусть хотя бы ее дочь все наверстает.

При словах «ее дочь», которые гостья произнесла как нечто само собой разумеющееся, Изабелла вздрогнула.

— Это так невероятно! — прошептала она, словно забыв, потрясенная всем услышанным, что история эта имеет прямое отношение к ней самой.

— Только смотрите, не ополчитесь на ни в чем неповинную девочку! — продолжала графиня. — Происхождение у нее прискорбное, но все равно она очень хорошая. Я всей душой привязана к Пэнси. Не потому, конечно, что она ее, а потому, что теперь стала вашей.

— Да, она стала моей. И как же, наверное, несчастная страдала, видя, что я… — вскричала Изабелла, заливаясь при мысли об этом краской.

— Не думаю, что она страдала, думаю, напротив, ликовала. Женитьба Озмонда пришлась ее дочери как нельзя более кстати. До того она жила в какой-то убогой дыре. А знаете, на что рассчитывала мать Пэнси? Что девочка окажется настолько вам по сердцу, что вы о ней позаботитесь. Озмонд, разумеется, не мог дать за ней

приданое. У него не было ни гроша, но вам это все, конечно, известно. Ах, моя дорогая, — воскликнула графиня, — зачем только вы унаследовали эти деньги! — Тут она замолкла, словно увидела в лице Изабеллы нечто неожиданное. — Только, пожалуйста, не заявляйте мне сейчас, что вы все равно дадите за ней dot.[175] С вас ведь станется. Но я отказываюсь в это верить. Да не старайтесь вы быть такой неслыханно хорошей, не сдерживайте себя, будьте сами собой, выпустите когти. Ну разозлитесь, что ли, в кои-то веки, облегчите душу!

— Поразительная история. Мне, вероятно, следует это знать, — к сожалению, — сказала Изабелла. — Я очень вам признательна.

— Оно и видно! — вскричала с язвительным смешком графиня. — Не знаю, признательны вы мне или нет, но я никак не ожидала, что вы так к этому отнесетесь.

— А как я должна была отнестись? — спросила Изабелла.

— Ну, я сказала бы, как женщина, которую использовали в чужих интересах. — Изабелла ничего на это не ответила, она просто молча

---

[175] Примечания: 175
приданое *(фр.)*.

слушала, и графиня продолжала: — Они всегда были неразрывно друг с другом связаны, так все и осталось, даже после того, как то ли она с ним порвала, то ли он с ней. Но он всегда значил для нее больше, чем она для него. Когда их веселый карнавальчик подошел к концу, они договорились, что предоставят друг другу полную свободу, но при этом будут всеми способами друг другу помогать. Вы можете спросить у меня, откуда я это знаю. А знаю я потому, что видела, как они себя вели. И смотрите, насколько женщины благороднее мужчин! Она приискала Озмонду жену, а он *ради нее* мизинцем не пошевелил. Она хлопотала ради него, злоумышляла ради него, страдала ради него, даже раздобывала ему не раз деньги, а в результате он от нее устал. Она что-то наподобие застарелой привычки, минутами нужна ему, но в общем-то он прекрасно мог бы без нее обойтись. И в довершение всего ей это теперь известно. Так что вам незачем ревновать, — добавила шутливо графиня.

Изабелла снова поднялась с дивана, она была вся разбита, ей нечем было дышать; в голове мутилось от услышанного.

— Я очень вам признательна, — повторила она. И потом вдруг совсем другим тоном добавила:

— А откуда вы все это знаете?

Графиню не столько, по-видимому, обрадовало выражение признательности, сколько раздосадовал вопрос. Посмотрев вызывающе прямо в глаза своей собеседнице, она воскликнула:

— Будем считать, что я все это выдумала! — Она тоже внезапно переменила тон и, положив Изабелле на плечо руку, сказала, блеснув своей понимающей язвительной улыбочкой. — Ну, откажетесь вы теперь от поездки?

Чуть заметно вздрогнув, Изабелла отошла от нее, но вдруг почувствовала такую слабость, что вынуждена была облокотиться о камин. Закрыв глаза, с побелевшими губами, она стояла так несколько секунд, потом опустила свою закружившуюся голову на руку.

— Напрасно я вам это рассказала… вот до чего я вас довела! — воскликнула графиня.

— Я должна увидеться с Ральфом! — тихо сказала Изабелла без негодования, без гнева, без всех тех чувств, которые надеялась возбудить в ней ее золовка, просто голосом, исполненным глубочайшей печали.

52

Поезд на Париж через Турин отправлялся вечером; как только графиня удалилась, Изабелла сейчас же призвала свою преданную, неболтливую, расторопную горничную и коротко, деловито с ней посовещалась. После чего (если не считать путешествия) она думала только об одном; ей надо перед отъездом навестить Пэнси. От нее она отвратиться не должна. Она ни разу еще не навестила свою падчерицу — Озмонд дал понять, что пока это преждевременно. В пять часов вечера карета Изабеллы остановилась на узенькой улице поблизости от площади Навона перед высокой дверью, и благодушная, услужливая монастырская привратница впустила ее. Изабелла бывала в обители и раньше: приезжала вместе с Пэнси повидать благочестивых сестер. Она знала, что монахини доброжелательны, что в просторных комнатах чисто и светло, а в монастырском саду все предусмотрено, чтобы летом было тенисто, а зимой — солнечно. Тем не менее ей чем-то неприятно было это место, чем-то оно задевало, чуть ли не пугало ее; ни за что на свете

не согласилась бы она провести там ночь. Сегодня обитель больше чем когда-либо напомнила ей благоустроенную тюрьму, ибо не имело смысла притворяться, будто Пэнси вольна оттуда уйти. Это невиннейшее существо предстало нынче перед Изабеллой в неожиданном и зловещем свете, и одним из побочных следствий такого открытия было желание тут же броситься ей на помощь.

Привратница пошла доложить, что к милой барышне пожаловала посетительница, оставив Изабеллу дожидаться в монастырской приемной — большом холодном помещении с новой на вид мебелью, огромной, блещущей белизной незатопленной кафельной печью, разнообразными восковыми цветами под стеклом и гравюрами религиозного содержания на стенах. Когда Изабелла приезжала сюда в прошлый раз, она подумала, этой приемной скорее место в Филадельфии, чем в Риме, но сейчас она не предавалась размышлениям, просто ей показалось, тут очень пустынно и тихо. Не прошло и пяти минут, как привратница возвратилась, и не одна. Изабелла поднялась, ожидая увидеть одну из благочестивых сестер, но к великому удивлению очутилась лицом к лицу с мадам Мерль. Впечатление было поразительное: мадам Мерль все время стояла у нее перед глаза-

ми, и теперь, когда она появилась во плоти, это было равносильно тому, что, оледенев от ужаса, внезапно увидеть, как задвигался нарисованный портрет. Целый день Изабелла думала о ее вероломстве, бестрепетности, ловкости, о возможных ее страданиях; и все, что было в этом темного, вдруг озарилось светом, когда она вошла. Одно то, что мадам Мерль была здесь, уже служило чудовищной уликой, собственноручной подписью, страшным вещественным доказательством из тех, что предъявляют в суде. Изабелла почувствовала полное изнеможение; если бы ей нужно было сразу же заговорить, скорей всего, она не смогла бы. Но она не испытывала в этом нужды; более того, у нее было такое чувство, что ей решительно нечего сказать мадам Мерль. Впрочем, при общении с этой дамой вы решительно ни в чем не испытывали нужды, ее уменье держаться с успехом восполняло любые недостатки не только ее, но и чужие. Сегодня, однако, она была не такая, как всегда; она медленно вошла следом за привратницей, и Изабелла мгновенно ощутила, что мадам Мерль едва ли может рассчитывать на обычную свою находчивость. Случай и для нее был из ряда вон выходящий и, видно, она решила вести себя так, как подскажут обстоятельства. Это

придало ее лицу непривычно серьезное выражение; она даже не попыталась улыбнуться, и хотя Изабелла прекрасно понимала, что мадам Мерль более чем когда-либо играет роль, никогда еще поразительная женщина не казалась ей такой естественной. Она оглядела свою молодую приятельницу с головы до ног, но без неодобрения, без вызова, даже, пожалуй, со своего рода холодной благожелательностью, в которой и намека не было на их последний разговор, словно хотела подчеркнуть различие: тогда она была раздосадована, теперь примирилась.

— Вы можете оставить нас одних, — сказала она привратнице. — Минут через пять эта дама вызовет вас колокольчиком. — Затем повернулась к Изабелле, которая, заметив все вышесказанное, вообще перестала что-либо замечать; взгляд ее блуждал так далеко, как позволяли пределы комнаты. Она предпочла бы никогда больше не видеть мадам Мерль. — Вы удивлены, застав меня здесь, и, боюсь, скорей всего неприятно, — продолжала та. — Вам непонятно, наверное, зачем я сюда явилась, как будто я постаралась опередить вас. Каюсь, я поступила опрометчиво, мне следовало бы попросить у вас позволения. — Мадам Мерль говорила без малейшей попытки ирони-

зировать, просто и мягко. Но, далеко отнесенная волной в море недоумения и боли, Изабелла не взялась бы определить, с какой целью это было сказано. — Я пробыла очень недолго, — продолжала мадам Мерль, — то есть пробыла очень недолго у Пэнси. Я пришла навестить ее, потому что мне сегодня пришло в голову, как ей, наверное, одиноко и даже тоскливо. Юной девушке, возможно, все это и на пользу. Я, признаться, почти ничего не знаю о юных девушках и не берусь утверждать. Как бы то ни было, здесь довольно уныло. Вот я и приехала… на всякий случай. Я, конечно, не сомневалась, что и вы к ней приедете, и ее отец; но никто ведь не говорил мне, что всем остальным ее посещать нельзя. Милейшая сестра… постойте, как же ее имя… мадам Катрин ничего не имела против. Я пробыла у Пэнси минут двадцать, у нее прелестная комнатка, ничуть не напоминает монастырскую келью — фортепьяно, цветы. Она так чудесно там все расставила, с таким вкусом; конечно, меня это не должно касаться, но мне стало легче после того, как я побывала у Пэнси. Даже горничная к ее услугам, если она пожелает; но, разумеется, у нее нет здесь повода наряжаться. Она ходит в скромненьком черном платье и так в нем пре-

лестна. Затем я зашла к мадам Катрин, у нее тоже прекрасная комната. Верите ли, я не усмотрела в бедняжках ничего монашеского. У мадам Катрин стоит ну прямо-таки кокетливый туалетный столик и на нем что-то чрезвычайно похожее на флакон одеколона. Она так чудесно говорит о Пэнси, говорит, что ее пребывание здесь для них величайшее счастье, что Пэнси неземной ангел и даже для самых почтенных из них может служить образцом. Я уже собиралась уходить, но в этот момент привратница доложила, что к синьорине приехала дама. Конечно, я сразу же поняла, что это вы, и попросила позволения у мадам Катрин встретить вас вместо нее. Мадам Катрин… не скрою от вас… долго колебалась, сказала, что следует известить настоятельницу, очень важно, чтобы с вами обошлись с должным уважением. Я посоветовала ей не беспокоить настоятельницу и даже спросила, а как, по ее мнению, обойдусь с вами я.

Она говорила с немалым блеском, как женщина давно уже овладевшая искусством поддерживать разговор. Но были в этом монологе кое-какие оттенки, и ни один из них не ускользнул от слуха Изабеллы, хотя глаза ее на мадам Мерль не смотрели. Длился он, однако, не так уж долго;

внезапно Изабелла уловила замирание голоса и некую бессвязность речи, что уже само по себе было подлинной трагедией. Эти еле заметные перебои знаменовали важное открытие — полностью переменившееся отношение к ней со стороны собеседницы. В одно мгновение мадам Мерль угадала, что между ними все кончено, в следующее же мгновение угадала причину: перед ней стояла не та женщина, с которой она была знакома до сих пор, а совсем другая — женщина, знавшая ее тайну. Открытие это потрясло ее до самого основания и в ту секунду, когда оно было сделано, эта совершенная особа дрогнула и пала духом. Затем опять вступило в действие ее давно выработанное умение держаться и уже не изменяло ей до самого конца. Но удалось это лишь потому, что конец был близок. Почувствовав прикосновение столь острого оружия, мадам Мерль пошатнулась, и понадобилась вся ее неусыпная воля, чтобы вновь собраться с силами. Не выдать себя — вот в чем было единственное спасение. Она выстояла, и только ее взволнованный голос отказывался ей повиноваться, с этим ничего нельзя было поделать, оставалось одно — слушать себя, произносящую неведомо что. Настал час отлива ее самоуверенности, которой хвати-

ло лишь на то, чтобы, задевая дно, доплыть до гавани.

Изабелла видела все так же отчетливо, как если бы оно отражалось в большом чистом зеркале. Для нее эта минута могла бы стать одной из самых значительных — минутой торжества. То, что мадам Мерль изменило мужество и она увидела перед собой призрак разоблачения, уже само по себе явилось отмщением, само по себе чуть ли не предвещало более светлые дни. И какой-то миг, стоя в полуоборот и будто бы глядя в окно, Изабелла наслаждалась этим сознанием. За окном тянулся монастырский сад, но она его не видела — не видела ни набухших почек, ни сияющего дня. В беспощадном свете разоблачения, ставшего уже неотъемлемой частью ее жизненного опыта и обретшего еще большую ценность из-за бренности сосуда, в котором оно было поднесено, она видела лишь голый, бьющий в глаза факт, что ею, как некой удобной, бесчувственной марионеткой, сделанной из дерева и железа, воспользовались, распорядились и повесили на гвоздик. От этого сознания душу ее снова захлестнуло горечью, она словно ощутила на губах вкус унижения. Был один такой миг, когда, если бы она повернула голову и заговорила, слова ее хлестнули бы не

хуже, чем бич. Но она закрыла глаза, и кошмар рассеялся — осталась только умнейшая на свете женщина, которая стояла в нескольких шагах от нее и, как последняя дурочка, не знала, что и думать. Единственной местью Изабеллы было молчание, длящее неизвестность. Она продержала мадам Мерль в этом немыслимом состоянии какое-то время, вероятно показавшееся этой даме достаточно долгим, ибо она в конце концов опустилась на стул, что уже само по себе являлось признанием в беспомощности. Тогда Изабелла медленно повернула голову и посмотрела на нее сверху вниз. Мадам Мерль была очень бледна, она, в свою очередь, впилась взглядом в лицо Изабеллы, но, что бы она там ни прочла, опасность для нее миновала. Изабелла никогда не бросит ей обвинения, не упрекнет — быть может, для того, чтобы не дать возможности оправдываться.

— Я пришла попрощаться с Пэнси, — сказала наконец Изабелла. — Сегодня вечером я уезжаю в Англию.

— Уезжаете сегодня вечером в Англию? — повторила, не двигаясь с места и подняв на нее глаза, мадам Мерль.

— Я еду в Гарденкорт. Ральф Тачит при смерти.

— Для вас это большая потеря. — Мадам Мерль

пришла в себя и поспешила выразить сочувствие.

— Вы едете одна?

— Да, без мужа.

Тихий невнятный возглас мадам Мерль означал, очевидно, что мир этот далек от совершенства.

— Мистер Тачит всегда меня недолюбливал, но мне жаль, что он умирает. А матушку его вы увидите?

— Да, она возвратилась из Америки.

— Было время, когда она очень меня жаловала, но потом переменилась ко мне. Другие тоже переменились, — добавила мадам Мерль со сдержанным благородным пафосом. Немного помедлив, она добавила: — Так вы снова посетите милый старый Гарденкорт.

— Вряд ли это доставит мне радость, — ответила Изабелла.

— Естественно… вы будете скорбеть. И все же, должна сказать, из всех виденных мною домов, а перевидела я их немало, больше всего мне хотелось бы жить в Гарденкорте. Не осмеливаюсь передать привет его обитателям, — продолжала мадам Мерль, — но самому Гарденкорту, если можно, от меня кланяйтесь.

Изабелла опять отвернулась.

— Пожалуй, мне пора к Пэнси. Мне ведь надо поспеть к поезду.

В то время как она оглядывалась по сторонам, отыскивая выход, дверь отворилась, впустив одну из преподобных хозяек дома; та вошла с осмотрительной улыбкой, легонько потирая под длинными широкими рукавами пухлые белые руки. Изабелла, узнав мадам Катрин, с которой была уже знакома, сказала, что ей хотелось бы как можно скорей повидаться с мисс Озмонд. Судя по виду мадам Катрин, осмотрительность ее удвоилась, тем не менее она ответила с приветливой улыбкой:

— Ей полезно будет повидаться с вами. Я сама вас к ней провожу. — Потом она обратила свое учтиво настороженное лицо к мадам Мерль.

— Могу я еще ненадолго остаться у вас? — спросила та. — Здесь так хорошо.

— Если хотите, можете остаться у нас навсегда! — воскликнула преподобная сестра с лукавым смехом.

Она увела Изабеллу из приемной и, миновав несколько коридоров, поднялась с ней по бесконечной лестнице. Все в этих помещениях было прочно и чисто, везде было голо и светло; веро-

ятно, так должны выглядеть, подумала Изабелла, образцовые места заключения. Мадам Катрин легонько толкнула дверь комнаты Пэнси и ввела посетительницу; скрестив на груди руки, она стояла и смотрела улыбаясь, как они подошли друг к другу и обнялись.

— Она очень вам рада, ей полезно повидаться с вами, — повторила она, заботливо пододвигая Изабелле самое удобное кресло. Сама она не садилась, намереваясь, очевидно, удалиться. — Как вы находите нашу дорогую девочку? — спросила она, задерживаясь еще на секунду.

— Немножко бледной, — ответила Изабелла.

— Это от счастья, что видит вас. Она очень довольна. Elle eclaire la maison,[176] — заявила милейшая сестра.

Пэнси, как и сказала мадам Мерль, была в скромненьком черном платье — возможно, оттого она и казалась такой бледной.

— Они очень добры ко мне… они обо всем подумали! — воскликнула она со свойственным ей стремлением всем угодить.

— Мы постоянно о вас думаем — вы наша любимая питомица, — заметила мадам Катрин;

---

[176] Примечания: 176
Она принесла в наш дом радость (фр.).

из ее тона явствовало, что благожелательность вошла у нее в привычку, а бремя любых забот она почитала своим священным долгом. Тон этот оледенил Изабеллу: он как бы означал полный отказ от собственного «я», всемогущество церкви.

Когда мадам Катрин оставила их одних, Пэнси опустилась на колени и спрятала лицо в складках платья мачехи. Некоторое время она не двигалась, между тем как Изабелла гладила ее по голове. Наконец Пэнси поднялась с колен и, отвернувшись, окинула взглядом комнатку.

— Вам нравится, как я все расставила? — спросила она. — У меня здесь все то же, что и дома.

— Да, очень мило, у вас очень уютно, — Изабелла не знала, что и сказать. С одной стороны, Пэнси ни коим образом не должна почувствовать, что она ее жалеет, с другой — было бы просто глупым издевательством делать вид, будто она в восторге. Поэтому мгновение спустя она просто добавила. — Я пришла с вами попрощаться. Я еду в Англию.

Бледное личико Пэнси вспыхнуло.

— В Англию? И больше не вернетесь?

— Не знаю, когда я вернусь.

— Ах, как жаль! — прошептала еле слышно Пэнси. Тон ее говорил о том, что она не смеет

критиковать, и, однако, выразил всю глубину разочарования.

— Мой кузен, мистер Тачит, очень болен; наверное, он умрет. Я еду повидаться с ним, — сказала Изабелла.

— Да, да, вы говорили мне, что, наверное, он скоро умрет. Конечно, вам надо ехать. А папа едет?

— Нет, я еду одна.

Девочка несколько секунд молчала. Изабелла не раз спрашивала себя, что думает Пэнси о подлинных отношениях своего отца и мачехи; никогда ни единым взглядом, ни единым намеком не дала она почувствовать, что, по ее мнению, им недостает душевной близости. Изабелла убеждена была, что Пэнси на эту тему размышляла, что не сомневалась в существовании мужей и жен, связанных большей душевной близостью. Но Пэнси не позволяла себе ни малейшей несдержанности даже в мыслях, она так же не смела судить свою ласковую мачеху, как и критиковать своего непревзойденного отца. Сердце у нее, должно быть, замирало ничуть не меньше, чем если бы она увидела, как двое святых на большой фреске в монастырской часовне вдруг поворачивают друг к другу свои нарисован-

ные головы и неодобрительно ими покачивают. Но подобно тому, как в последнем случае она из благоговейного страха никогда не упомянула бы о столь невероятном явлении, точно так же старалась не помнить все известные ей тайны мира взрослых.

— Вы будете очень далеко, — произнесла она.

— Да, я буду далеко. Но это не имеет особого значения, — объяснила Изабелла. — Пока вы здесь, я все равно не могу быть возле. вас.

— Но вы можете приезжать ко мне хотя бы изредка, как сейчас.

— Я не приезжала, потому что ваш отец запретил. Я ничего вам сегодня не привезла. Мне нечем вас порадовать.

— Я не должна радоваться. Папа этого не хочет.

— Тогда едва ли имеет значение, в Риме я или в Англии.

— Вы не счастливы, миссис Озмонд? — спросила Пэнси.

— Да, не очень. Но это не имеет значения.

— Вот и я себе говорю то же самое. Какое это имеет значение? И все-таки мне хотелось бы отсюда выйти.

— Как я вам этого желаю!

— Не оставляйте меня здесь, — продолжала Пэнси кротко.

Изабелла с полминуты молчала; у нее отчаянно колотилось сердце.

— Хотите уехать со мной сейчас? — спросила она.

Пэнси посмотрела на нее умоляюще.

— А папа велел вам привезти меня?

— Нет, это вам предлагаю я.

— Тогда, думаю, мне лучше подождать. Папа ничего не просил передать мне?

— Думаю, он не знал, что я к вам собираюсь.

— Он думает, что с меня этого еще недостаточно, — сказала Пэнси. — Он ошибается. Все дамы очень ко мне добры, и девочки часто забегают. Среди них есть совсем крошки., такие очаровательные. Ну, и комната у меня… сами видите. Все здесь чудесно. Но с меня достаточно. Папа хотел, чтобы я немного подумала… я думала очень много.

— Что же вы надумали?

— Что я никогда не должна сердить папу.

— Вы и раньше это знали.

— Знала, но теперь знаю еще тверже. Я все сделаю… я сделаю все, — сказала Пэнси.

И как только услышала собственные слова,

лицо ее залилось густым и чистым румянцем. Изабелла разгадала, что он означает, она видела: бедная девочка усмирена. Хорошо, что мистер Эдвард Розьер сохранил свои эмали. Изабелла заглянула Пэнси в глаза и прочла в них прежде всего мольбу о снисхождении. Она положила ладонь ей на руку, как бы желая этим подчеркнуть, что обращенный к падчерице взгляд исполнен ничуть не меньшего уважения, ибо быстрота, с которой было сломлено сопротивление девочки (пусть бессловесное, пусть еле приметное), казалась ей не более чем данью реальному положению вещей. Судить других Пэнси не осмеливалась, но себя она вправе была судить и честно посмотрела правде в глаза. Ей не под силу бороться с хитроумными ухищрениями; ее так внушительно от всех отгородили, что, потрясенная, она сдалась. Да, она склонила свою хорошенькую головку перед всемогуществом и просила только, чтобы с ней обошлись милостиво. Как хорошо, что Эдвард Розьер хотя бы что-то из своих вещей сохранил.

Изабелла встала; время шло быстро.

— Тогда прощайте. Сегодня вечером я уезжаю.

Пэнси уцепилась за ее платье, она вдруг изменилась в лице.

— У вас такой странный вид, вы меня пугаете.

— О, я вполне безобидна, — сказала Изабелла.

— Быть может, вы не вернетесь?

— Все может быть. Не знаю.

— Миссис Озмонд, вы ведь меня не бросите?

Изабелла поняла, что Пэнси обо всем догадалась.

— Моя дорогая девочка, чем же я могу вам помочь? — спросила она.

— Не знаю… но, когда я думаю о вас, у меня веселее на душе.

— Думать обо мне вы всегда можете.

— Не тогда, когда вы будете так далеко. Я чуточку побаиваюсь, — сказала Пэнси.

— Чего же вы боитесь?

— Папы… чуточку. И мадам Мерль. Она только что была здесь.

— Вы не должны так говорить, — сказала Изабелла.

— О, я сделаю все, что они хотят. Но, если вы вернетесь, мне будет легче это сделать.

Изабелла задумалась.

— Я вас не брошу, — сказала она наконец. — Прощайте, девочка моя.

Они постояли молча, обнявшись, как две сестры. Пэнси пошла проводить гостью до лестницы.

— Только что была мадам Мерль, — повторила

она, идя рядом с Изабеллой, и, поскольку Изабелла ничего не ответила, вдруг добавила: — Не люблю я мадам Мерль.

Изабелла замедлила шаг, потом остановилась.

— Вы не должны никогда говорить, что… что не любите мадам Мерль.

Пэнси недоумевающе на нее посмотрела, но, так как недоумение, на взгляд Пэнси, ни в коей мере не являлось поводом для ослушания, она тут же с необыкновенной кротостью сказала:

— Хорошо, больше не буду.

На верхней площадке они расстались, потому что одним из условий нестрогого, но неукоснительного распорядка жизни Пэнси был запрет спускаться в нижние этажи. Изабелла сошла с лестницы, и когда она была уже на последней ступеньке, неподвижно стоявшая наверху девочка крикнула «Вы вернетесь?» голосом, не раз вспоминавшимся ей потом.

— Да… вернусь.

Мадам Катрин встретила Изабеллу у подножья лестницы и проводила до двери приемной, перед которой они, задержавшись, обменялись несколькими фразами.

— Я не войду, — сказала преподобная сестра, — вас ждет там мадам Мерль.

Изабелла, услышав это, застыла на месте; она чуть было не спросила, нет ли в монастыре какого-нибудь другого выхода. Но после секундного размышления поняла, что лучше не обнаруживать перед достопочтенной монахиней своего желания избежать встречи со второй посетительницей Пэнси. Мадам Катрин очень мягко взяла ее за локоть и, устремив на нее умные благожелательные глаза, как бы тоном единомышленницы спросила:

— Eh bien, chere Madame, qu'en pensez-vous?[177]

— О моей падчерице? Ну, этого в двух словах не скажешь.

— Мы думаем, что достаточно, — сказала коротко и ясно мадам Катрин, распахивая дверь монастырской приемной.

Мадам Мерль сидела в той же позе, словно настолько была погружена в размышления, что ни разу за все время не шелохнулась. Едва лишь монахиня закрыла с той стороны дверь, как она поднялась, и Изабелла увидела, что размышляла она не напрасно. Она снова полностью владела собой, к ней вернулась вся ее находчивость.

— Мне захотелось дождаться вас, — сказала

---

[177] Примечания: 177

Так что вы, дорогая мадам, по этому поводу думаете? *(фр.).*

она как нельзя более любезно. — Но не для того, чтобы разговаривать о Пэнси.

Изабелла не очень представляла себе, о чем же им еще разговаривать, и, несмотря на заявление мадам Мерль, немного помолчав, ответила:

— Мадам Катрин находит, что достаточно.

— И я нахожу, что достаточно. Но мне хотелось спросить вас кое-что о бедном мистере Тачите, — добавила мадам Мерль. — Есть у вас основания считать, что его час в самом деле пробил?

— Я не располагаю никакими сведениями, кроме телеграммы. К сожалению, она подтверждает эту возможность.

— Я задам вам несколько странный вопрос, — сказала мадам Мерль. — Вы очень любите своего кузена? — И она улыбнулась не менее странной улыбкой.

— Да, очень. Но я не понимаю вас.

Мадам Мерль словно в нерешительности помедлила.

— Объяснить это довольно трудно. Мне кое-что пришло в голову, что, возможно, не приходило вам, и я спешу поделиться с вами своими мыслями. Ваш кузен оказал вам когда-то великую услугу. Неужели вы так и не догадались?

— Он оказал мне множество услуг.

— Да; но одна ни в какое сравнение не идет с остальными. Он сделал вас богатой женщиной.

– *Он*... меня?...

Мадам Мерль осталась, по-видимому, довольна произведенным впечатлением и теперь уже торжествующим тоном продолжала.

— Он придал тот блеск, которого вам недоставало, чтобы стать блестящей партией. По сути дела вам надо благодарить его. — Встретившись глазами с Изабеллой, она осеклась.

— Я не понимаю вас. Деньги завещал мне дядюшка.

— Вы правы; деньги завещал вам дядюшка, но идею подал ваш кузен. Это он внушил ее отцу. Да, моя дорогая, сумма-то была огромная.

Изабелла пристально смотрела на нее; ей казалось, что мир сегодня то и дело озаряется зловещими вспышками.

— Не знаю, зачем вы мне это говорите. Не знаю, откуда вы это знаете.

— Я знаю только то, о чем догадалась сама. Но об этом я догадалась.

Изабелла направилась к двери и, уже открыв ее, держась рукой за щеколду, несколько секунд помедлила. Потом она сказала:

— А я считала, что должна за все благодарить

вас. — И это было единственной ее местью.

Мадам Мерль стояла, опустив глаза, в позе гордого раскаяния.

— Знаю, вы несчастны. Но я еще несчастнее.

— Этому я верю. Пожалуй, я предпочла бы никогда вас больше не видеть.

Мадам Мерль подняла глаза.

— Я уеду в Америку, — негромко произнесла она, в то время как Изабелла переступила порог.

53

Не с удивлением, а скорее с чувством, которое при иных обстоятельствах можно было бы назвать радостью, Изабелла, выйдя из парижского почтового на Чэринг-Кросском вокзале, попала прямо в объятия или по крайней мере в руки Генриетты Стэкпол. Телеграфируя подруге из Турина, она далеко не была уверена, что Генриетта ее встретит, но знала, что телеграмму дает не напрасно. Весь долгий путь от Рима она проделала в полной растерянности, не пытаясь даже заглянуть в будущее. Невидящими, безразличными глазами смотрела она на мелькающие за окном края, не замечая, что земля уже везде облеклась в свежайший весенний убор. Мысли ее тем временем блуждали в совсем других краях — незнакомых, сумрачных, непроходимых, где всегда одно и то же время года: вечное уныние зимы. Изабелле было о чем подумать, но не размышления, не поиски здравых решений занимали ее ум. В нем проносились бессвязные видения, а порой вдруг тоскливо вспыхивали воспоминания и былые надежды. Образы про-

шлого и будущего приходили и уходили, как им заблагорассудится, они то возникали, то рассыпались с судорожной внезапностью, всегда следуя своей собственной логике. Чего только не припоминалось ей, просто поразительно! Теперь, когда она была посвящена в тайну, когда знала то, что имело к ней самое прямое отношение и что, будучи от нее сокрыто, превратило ее жизнь в попытку играть в вист неполной колодой карт, — истинный ход событий, их взаимосвязанность, их внутренний смысл и, главное, их ужас — все это предстало перед ней с некоей архитектурной протяженностью. Ей припомнились тысячи пустяков, они оживали в памяти так же непроизвольно, как по коже пробегает дрожь. В свое время они казались ей пустяками, но теперь давили, точно свинцовая тяжесть. Однако они как были, так и остались пустяками — в конце-то концов какая ей польза в том, что она поняла их суть? Ей все казалось теперь бесполезным. Никакой решимости, никаких стремлений у нее не осталось и никаких желаний тоже, кроме одного — добраться до спасительного прибежища. Гарденкорт послужил ей отправной точкой, и возвращение в его уединенные покои было хотя бы временным выходом. Она выпорхнула оттуда

полная сил, она возвращается туда совсем обессиленная. И если когда-то Гарденкорт был для нее местом отдохновения, отныне он стал святыней. Она завидовала Ральфу, что он умирает, ведь если уж думать об отдыхе, возможен ли отдых более полный? Совсем не быть — все отринуть, ничего больше не знать; самая мысль об этом была не менее сладостна, чем в жарких странах мечта о затененной комнате, где стоит мраморная ванна с прохладной водой.

Минутами во время этого ее путешествия из Рима ей чудилось, будто она и вправду умерла. С единственным ощущением, что ее куда-то везут, сидела она в углу, такая неподвижная, такая безвольная, такая далекая от надежд и сожалений, что напоминала себе этрусское изваяние на саркофаге с собственным прахом. Да и о чем теперь сожалеть, если со всем покончено? Не только время ее безумства, но время раскаяния давно миновало. Сожалеть можно только об одном: что мадам Мерль оказалась до того… до того невообразимой. Изабелла неспособна была объяснить, какой оказалась мадам Мерль, — это было выше ее понимания. Но какой бы она ни оказалась, пусть сама и предается сожалениям — возможно, этим она займется в Америке, ку-

да, по ее словам, намерена уехать. Изабеллу это больше не касается: у нее возникло впечатление, что она никогда уже не увидит мадам Мерль, и оно невольно перенесло ее в будущее, нет, нет, да урывками приоткрывавшееся ей. Она видела себя через многие годы по-прежнему в роли женщины, которой надо прожить жизнь, и прозрения эти противоречили нынешнему ее состоянию духа. Наверное, и хорошо было бы ото всего уйти, совсем уйти, — не в маленькую серо-зеленую Англию, а значительно дальше, но ей это, видно, не дано. В глубине души, намного глубже, чем тяга к небытию, укоренилось сознание, что впереди у нее долгая жизнь. И от этой уверенности она минутами почему-то приободрялась, чуть ли даже не оживала. Это было свидетельством силы, свидетельством того, что рано или поздно она опять станет счастливой. Неужели же ей жить, только чтобы страдать? Она ведь еще молода, еще так много всего может случиться. Жить, только чтобы страдать, только чтобы снова и с новой силой ощущать, как искалечена ее жизнь, — Изабелле казалось, что она представляет собой слишком большую ценность, слишком одарена для подобной участи. Потом она начинала думать, не суетно ли, не глупо ли с

ее стороны быть о себе такого высокого мнения? Но даже если оно справедливо — когда и кого это спасало? Разве вся история не есть нескончаемый пример уничтожения драгоценнейшего? И разве не ясно, что, если человек тонок душой, ему, скорей всего, предстоит страдать? Тогда, очевидно, следует признать в себе наличие известной душевной тупости. Как бы то ни было, Изабелла не могла не уловить скользнувшую перед ней тень будущих долгих лет. Нет, никуда она не убежит, она продержится до самого конца. Но тут к ней опять подступало ее настоящее, отгораживая от всего серой завесой безразличия.

Генриетта поцеловала подругу, как всегда, торопливо, словно боялась, что ее поймают на месте преступления, затем Изабелла остановилась среди движущейся толпы, взглядом отыскивая свою горничную. Она ни о чем не спрашивала, предпочитала ждать. У нее внезапно появилось ощущение, что ей помогут. Она очень обрадовалась Генриетте — на этот раз Лондон обдал ее жутью. Темный закоптелый бесконечно высокий свод вокзала, непривычное мертвенное освещение, густая, угрюмая, работающая локтями толпа вселила в нее панический страх, и она поспешила взять Генриетту под руку. Изабелле припомни-

лось, что было время, когда все это ей нравилось, казалось частью некоего грандиозного и по-своему привлекательного зрелища. Припомнилось, как пять лет назад она шла в зимних сумерках пешком по людным улицам от самого Юстонского вокзала; сегодня подобная прогулка была бы ей не под силу. Случай этот всплыл у нее в памяти так, будто речь шла о ком-то постороннем. — Умница, что ты приехала, — сказала Генриетта, поглядев на Изабеллу с таким выражением, словно ожидала, что та вступит с нею в спор. — Если бы ты не приехала, если бы ты не приехала… ну прямо даже не знаю, — заметила мисс Стэкпол, грозно намекая на степень своего неудовольствия.

Изабелла продолжала оглядываться, но горничной по-прежнему не обнаруживала. Тут она заметила человека, который смутно ей кого-то напомнил, и мгновение спустя узнала приветливое лицо мистера Бентлинга. Он стоял неподалеку от них, и напиравшая на него толпа не могла ни на шаг сдвинуть его с занятой позиции — позиции джентльмена, скромно отошедшего в сторонку, пока дамы заключают друг друга в объятия.

— А вон мистер Бентлинг, — сказала негромко и невпопад Изабелла; ей вдруг стало все равно, найдет она свою горничную или нет.

— Он всюду меня сопровождает. Идите же к нам, мистер Бентлинг! — воскликнула Генриетта, после чего учтивый холостяк приблизился к ним с улыбкой, притушенной, однако, серьезностью положения. — Правда, чудесно, что она приехала? — спросила Генриетта. — Он все про это знает, — добавила она. — Мы с ним поспорили. Он утверждал, что ты не приедешь, а я утверждала, что приедешь.

— Мне казалось, вы всегда во всем друг с другом соглашаетесь, — улыбнулась в ответ Изабелла. Она вдруг почувствовала, что может теперь улыбаться: правдивые глаза мистера Бентлинга как будто говорили, что для нее есть добрые вести, что пусть она помнит — он старый друг ее кузена… он все понимает, все в порядке. Изабелла протянула ему руку и тут же, впадая в крайность, мысленно произвела его в рыцари без страха и упрека.

— Я-то всегда соглашаюсь, — сказал мистер Бентлинг. — А вот она — нет.

— Говорила я тебе, с этими горничными одно беспокойство, — заметила Генриетта. — Скорей всего, твоя девица осталась в Калэ.

— Мне все равно, — сказала Изабелла, глядя на мистера Бентлинга, который никогда еще не вызывал у нее столь живого интереса.

— Побудьте с ней, пока я пойду и выясню, — скомандовала Генриетта, оставив их на короткое время вдвоем.

Сначала они стояли молча, потом мистер Бентлинг спросил, благополучно ли они переправились через Ла-Манш.

— Да, очень хорошо. То есть нет, вероятно, очень качало, — поправилась она к великому удивлению своего собеседника и затем добавила: — Вы недавно побывали в Гарденкорте, я знаю.

— Как вы это узнали?

— Не могу вам сказать… но, судя по вашему лицу, вы там недавно побывали.

— Вы находите, что у меня ужасно грустное лицо? Да, там ужасно грустно.

— Мне трудно представить себе, что лицо у вас может быть ужасно грустное. Нет, оно у вас ужасно доброе, — сказала Изабелла с величайшей щедростью, которая не стоила ей ни малейших усилий. Она подумала, что впредь уже никогда не будет попусту испытывать смущения.

Бедный мистер Бентлинг не достиг еще, однако, сих высот. Он густо покраснел, рассмеялся и поспешил заверить Изабеллу, что очень часто хандрит, когда же он хандрит, то делается ужасно свиреп.

— Можете спросить мисс Стэкпол. А в Гарденкорте я побывал два дня назад.

— Видели вы моего кузена?

— Очень недолго. Но, в общем-то, он видится с друзьями. Накануне к нему приезжал Уорбертон. Ральф такой же, как всегда, только лежит в кровати, и вид у него совсем больной, и он почти не может говорить, — продолжал мистер Бентлинг. — Но, несмотря ни на что, все такой же весельчак и насмешник, и все так же умен. Ужасная беда.

Даже на людном и шумном вокзале эта бесхитростная картина была необыкновенно выразительна.

— Вы там были под вечер?

— Я нарочно поехал попозже: нам казалось, вы захотите знать.

— Я так вам признательна. Могу я попасть туда сегодня же?

— Наверное, она вас не отпустит, — сказал мистер Бентлинг. — Она хочет, чтобы вы заехали к ней. Я взял со слуги Тачита обещание, что он мне протелеграфирует, и два часа назад получил в клубе телеграмму. «По-прежнему спокоен» — сказано в ней, время отправления — два часа дня. Так что видите, вы вполне можете подождать до

завтра. Наверное, вы ужасно устали?

— Да, ужасно устала. Еще раз благодарю вас.

— Полноте, — сказал мистер Бентлинг. — Просто мы не сомневались, что вы захотите знать последние новости.

Изабелла вскользь про себя отметила, что в конце концов они с Генриеттой пришли как будто к соглашению. Мисс Стэкпол возвратилась с горничной Изабеллы, застигнутой в тот момент, когда сия превосходная особа доказывала свою полезность. Она вовсе не потерялась в толпе, а просто-напросто получала багаж своей госпожи. Так что Изабелла могла теперь, не задерживаясь, уйти с вокзала.

— О том, чтобы ехать сегодня в Гарденкорт, и думать не смей, — сказала ей Генриетта. — Есть сейчас туда поезд или нет, ты все равно отправишься прямо ко мне, на Уимпол-стрит. В Лондоне буквально яблоку негде упасть, но все же я тебя пристроила. Это, разумеется, не римский палаццо, но на одну ночь вполне терпимо.

— Я сделаю все, что тебе будет угодно, — сказала Изабелла.

— Мне угодно, чтобы ты отправилась ко мне и ответила на несколько вопросов.

— Вы обратили внимание, миссис Озмонд, что

про обед она ни слова? — шутливо осведомился мистер Бентлинг.

Несколько секунд Генриетта внимательно его разглядывала.

— А вам, я вижу, не терпится приняться за еду. Завтра в десять часов утра будьте на Паддингтонском вокзале.

— Если это ради меня, то не затрудняйтесь, мистер Бентлинг, — сказала Изабелла.

— Он затруднится ради меня, — заявила Генриетта, усаживая Изабеллу в кеб. Потом в большой темноватой гостиной на Уимпол-стрит — обед там их ждал отменный, надо отдать мисс Стэкпол должное — она задала те вопросы, о которых упомянула на вокзале.

— Муж устроил тебе из-за отъезда сцену? — спросила мисс Стэкпол в первую очередь.

— Нет, не сказала бы, что он устроил сцену.

— Значит, он не возражал?

— Возражал, и даже очень. Но я не назвала бы это сценой.

— Что же это тогда было?

— Очень спокойный разговор.

Несколько секунд Генриетта пристально на нее смотрела.

— Наверное, это был сущий ад.

Изабелла не стала отрицать, что это был ад, просто ограничилась ответами на Генриеттины вопросы: это не составляло труда, так как они носили вполне конкретный характер. Никаких новых сведений она сейчас сообщать не собиралась.

— Что ж, — сказала мисс Стэкпол, — у меня только одно возражение. Я не понимаю, почему ты пообещала маленькой мисс Озмонд, что вернешься.

— Не уверена, что сама это теперь понимаю, — ответила Изабелла. — Но тогда я понимала.

— Если ты забыла, по какой причине ты это сделала, быть может, ты не вернешься.

— Быть может, у меня найдутся другие причины.

— Даже если и найдутся, то наверняка не основательные.

— Что ж, за неимением более основательных достаточно и моего обещания, — высказала в виде предположения Изабелла.

— Да, потому-то оно меня и бесит.

— Не стоит сейчас об этом говорить. У меня есть еще время. Отъезд дался мне нелегко, каково же будет возвращаться?

— Во всяком случае, тебе следует помнить, что

сцены он тебе не устроит, — сказала не без задней мысли Генриетта.

— Устроит, — сказала серьезно Изабелла. — Только не минутную, а сцену, которая продлится всю жизнь.

Некоторое время подруги созерцали эту неутешительную перспективу; затем мисс Стэкпол, перейдя по просьбе Изабеллы к другой теме, коротко сообщила:

— А я гостила у леди Пензл.

— Ах так! Приглашение пришло наконец.

— Да, оно шло целых пять лет. Но на сей раз она пожелала меня видеть.

— Вполне естественно.

— Вероятно, ты даже и не догадываешься, насколько естественно, — сказала Генриетта, глядя куда-то вдаль. И потом, посмотрев на подругу, добавила: — Я прошу у тебя прощения, Изабелла Арчер. Ты, конечно, не догадываешься за что. За то, что тебя я осуждала, а сама пошла еще дальше. Мистер Озмонд хотя бы родился по ту сторону океана.

Изабелла не сразу поняла, какой в этом кроется смысл, так скромно или во всяком случае так хитроумно он был припрятан, и хотя она не склонна была сейчас видеть что-либо в комиче-

ском свете, тем не менее в ответ на возникший у нее мысленный образ громко рассмеялась. Сразу же, однако, опомнившись, с преувеличенным жаром воскликнула:

— Генриетта Стэкпол, неужели ты собираешься покинуть свою родину?

— Да, бедная моя Изабелла, собираюсь. Не стану этого отрицать; надо смотреть правде в лицо; я собираюсь выйти замуж за мистера Бентлинга и обосноваться здесь, в Лондоне.

— Ну, ты меня и удивила, — сказала Изабелла, теперь уже откровенно улыбаясь.

— Удивила? Да, наверное. Я-то пришла к этому постепенно. Думаю, я знаю, что делаю, но не знаю, смогу ли тебе это объяснить.

— Браки всегда необъяснимы, — ответила Изабелла. — А твой нет нужды объяснять. Мистер Бентлинг не загадка.

— Отнюдь — и не какая-нибудь неудачная острота… И не перл американского юмора. У него прекрасная натура, — продолжала Генриетта. — Я уже много лет его изучаю и вижу насквозь. Он так же ясен, как слог хорошего путеводителя. Не сказала бы, что у него выдающийся ум, но чужой ум он ценить умеет. Правда, ценит в меру. Мне иногда кажется, что в Соединенных Штатах мы

переоцениваем значение ума.

— Ну и ну! — воскликнула Изабелла. — Ты в самом деле переменилась. Я впервые слышу от тебя такое замечание о родной стране.

— Я говорю только, что мы слишком превозносим умственные способности как таковые; во всяком случае, это не какое-нибудь низменное заблуждение. Но я и в *самом деле* переменилась. Чтобы выйти замуж, женщине нужно изрядно перемениться.

— Надеюсь, ты будешь очень счастлива. И тебе удастся наконец увидеть кое-что из частной жизни англичан.

Генриетта с многозначительным видом вздохнула.

— Вероятно, это и есть ключ к разгадке. Я просто не могла выдержать, что меня не подпускают близко. А теперь я в своем праве! — добавила она с неподдельной радостью.

Хотя Изабеллу и позабавил этот разговор, вместе с тем он навел ее на грустные размышления. В конечном счете Генриетта расписалась в том, что она всего лишь человек, всего лишь женщина, — та самая Генриетта, которую Изабелла до сих пор воспринимала как горячий подвижный пламень, как некий бесплотный голос. Досадно

было убедиться, что и она доступна слабостям, подвластна обыкновенным людским страстям, что в ее близости с мистером Бентлингом нет ничего особо оригинального. Выйти за него замуж до такой степени неоригинально, что, пожалуй, даже граничит с глупостью. На секунду мир показался Изабелле совсем уж беспросветным. Но потом ей пришло в голову, что мистер Бентлинг, тот, во всяком случае, оригинал. Однако она не понимала, как сможет Генриетта покинуть свою родную страну. Ее собственная связь с ней ослабела, но ведь Америка и не была никогда в такой мере ее страной, как Генриеттиной. Наконец Изабелла спросила подругу, получила ли та удовольствие от визита к леди Пензл.

— О да! — сказала Генриетта. — Она не знала, что обо мне и думать.

— И это доставило тебе удовольствие?

— А как же, ведь она славится своим умом и сама убеждена, будто знает все на свете; но ей никогда не понять современную женщину моего типа. Ей было бы куда легче, окажись я чуточку лучше или чуточку хуже. А так она крайне озадачена. По-моему, она считает, что я просто обязана немедленно сделать что-нибудь безнравственное. И хотя она считает безнравственным

мое намерение выйти замуж за ее брата, но в конце концов это все же недостаточно безнравственно. Ей никогда не понять, из какого я теста… никогда.

— Значит, она менее сообразительна, чем ее брат. Он, видимо, понял.

— Нет, ничуть не бывало! — убежденно воскликнула мисс Стэкпол. — Мне, право же, кажется, ради этого он и женится на мне… хочет понять, в чем тайна, — разложить ее на составные части. У него это превратилось в навязчивую идею, в своего рода одержимость.

— Очень мило с твоей стороны этому потворствовать.

— Дело в том, — сказала Генриетта, — что мне и самой надо кое-что понять.

Изабелле стало ясно, что Генриетта не только не отреклась от своих обязательств, а даже замыслила перейти в наступление. Наконец-то она не на шутку померяется силами с Англией.

Впрочем, оказавшись назавтра в десять часов утра на Паддингтонском вокзале в обществе мисс Стэкпол и мистера Бентлинга, Изабелла убедилась, что сей джентльмен справляется со своими недоумениями сравнительно легко. Если он не понял еще всего, то, во всяком случае, понял

самое главное — что мисс Стэкпол не страдает отсутствием предприимчивости. Очевидно, при выборе жены он прежде всего опасался именно этого недостатка.

— Генриетта сказала мне, и я очень рада — с такими словами Изабелла протянула ему руку.

— Вам кажется это, вероятно, ужасно странным, — ответил мистер Бентлинг, опираясь на свой изящный зонт.

— Да, мне кажется это ужасно странным.

— И все же не более, чем мне. Но я всегда предпочитал идти своим путем, — сказал с невозмутимым видом мистер Бентлинг.

54

Второй приезд Изабеллы в Гарденкорт прошел еще более незаметно, чем первый. Слуг у Ральфа Тачита было немного — новые не знали миссис Озмонд, поэтому проводили не в предназначенную ей комнату, а в гостиную и, оставив там с холодной учтивостью ждать, пошли доложить о ней миссис Тачит. Ждать пришлось долго; тетушка явно не спешила увидеться с племянницей. Изабелла стала наконец терять терпение, стала испытывать беспокойство и страх — такой страх, как будто все вещи вокруг нее, сделавшись вдруг одушевленными, начали с какими-то жуткими гримасами следить за ее растущей тревогой. День был хмурый, холодный, в огромных, обшитых дубом комнатах по углам сгустился мрак. Было неимоверно тихо — она помнила эту тишину, которая много дней подряд стояла в Гарденкорте перед смертью дяди. Выйдя из гостиной, она отправилась бродить по дому — зашла в библиотеку, оттуда — в картинную галерею; шаги ее гулко отдавались в царившем там полном безмолвии. Ничего не изменилось; она узнавала

все, что видела столько лет назад; казалось, она стояла здесь не далее как вчера. Она позавидовала драгоценным «предметам обстановки», их сохранности, тому, что, не меняясь ни на йоту, они обретают лишь большую ценность, в то время как их владельцы мало-помалу утрачивают молодость, счастье, красоту, — и вдруг подумала, что расхаживает сейчас по комнатам в точности так, как ее тетушка в тот день, когда явилась повидаться с ней в Олбани. Сама она достаточно с тех пор переменилась — с этого все и началось. И ей пришло в голову, что, не явись тетушка Лидия к ней в тот день и не застань ее одну, все могло бы быть по-другому. Жизнь ее могла бы сложиться иначе, и могла бы она стать женщиной, куда более обласканной судьбой. Она остановилась перед небольшой картиной — изысканным, очаровательным Бонингтоном[178] — и долго не отводила от нее глаз. Но думала при этом не о картине, а о том, вышла ли бы она замуж за Каспара Гудвуда, если бы тетушка не явилась в тот день в Олбани.

Едва Изабелла вернулась в огромную необитаемую гостиную, как появилась наконец миссис

[178] Примечания: 178

Боннингтон Ричард Паркс (1801–1828) — английский живописец и график; писал главным образом пейзажи и виды европейских городов.

Тачит. Она очень постарела, но глаза ее остались такими же ясными, и голову она держала так же прямо; ее тонкие губы точно затаили в себе все невысказанное. На ней было простого покроя, ничем не отделанное серое платье, и Изабелла, как в тот первый раз, спросила себя, кого больше напоминает тетушка: королеву-регентшу или тюремную надзирательницу?

Донельзя тонкая полоска губ коснулась пылающей щеки Изабеллы.

— Я заставила тебя ждать, потому что была у Ральфа, — сказала миссис Тачит. — Сиделка пошла завтракать, и я сменила ее. У него есть слуга, он обязан присматривать за хозяином, но этот отъявленный бездельник только и делает, что смотрит в окно, добро бы там было что увидеть! Ральф как будто заснул, я боялась двинуться, потревожить его и дожидалась сестры. Я помнила, что дом ты знаешь.

— Оказывается, я знаю его еще лучше, чем предполагала, я его весь обошла, — ответила Изабелла. Потом спросила, подолгу ли спит Ральф.

— Он лежит с закрытыми глазами, не шевелясь. Но не поручусь, что при этом он спит.

— Он узнает меня? Сможет со мной говорить?

Миссис Тачит уклонилась от прямого ответа.

— У тебя будет возможность проверить, — вот и все, что она соизволила сказать. После чего предложила Изабелле отвести ее в приготовленную ей комнату. — Я думала, туда тебя и проводили; дом ведь не мой, а Ральфа, я понятия не имею, какие тут порядки. Вещи твои по крайней мере, должно быть, уже там. Вероятно, у тебя их не очень много. А в общем, дело твое. Думаю, тебе предоставили ту же самую комнату, в которой ты жила. Ральф, как только услышал, что ты приезжаешь, сказал, чтобы тебя поместили там.

— А что он еще сказал?

— Он теперь не такой, как бывало, моя дорогая, не говорлив! — воскликнула миссис Тачит, поднимаясь впереди Изабеллы по лестнице.

Комната действительно была та же, и что-то сказало Изабелле — там после нее никто не жил. Вещи были уже внесены, их оказалось очень немного. Устремив на них взгляд, миссис Тачит присела на краешек стула.

— Неужели никакой надежды? — спросила, стоя перед ней, Изабелла.

— Ни малейшей. Да и не было никогда. Жизнь его нельзя назвать удачной.

— Да, нельзя… зато ее можно назвать прекрасной. — Изабелла поймала себя на том, что уже

перекается с тетушкой, которая раздражала ее своей бесчувственностью.

— Не знаю, что ты под этим разумеешь. Уж что там может быть прекрасного, когда нет здоровья? Какой у тебя странный дорожный костюм.

Изабелла взглянула на свое одеяние.

— У меня не было времени на сборы. Я надела первое попавшееся платье.

— Твои сестры расспрашивали меня в Америке про твои туалеты. Видно, это главное, что их интересует. Я не смогла им ответить… но у них, видно, правильное представление: даже твой скромный наряд сшит из черной парчи.

— Я кажусь им куда более блестящей, чем оно есть на самом деле; я не решаюсь открыть им правды, — сказала Изабелла. — Лили писала мне, что вы у нее обедали.

— Она четыре раза звала меня, один раз я приняла приглашение; ей следовало бы уже после второго раза оставить меня в покое. Обед был превосходный, стоил, вероятно, уйму денег. Муж ее страшно невоспитан. Довольна ли я своим пребыванием там? А почему, собственно говоря, я должна быть довольна? Я ездила туда не удовольствия ради.

Сообщив эти интересные подробности, мис-

сис Тачит сразу же рассталась с племянницей — через полчаса им предстояло встретиться за дневной трапезой. Во время завтрака дамы сидели друг против друга за весьма сократившимся столом в наводящей уныние столовой. Здесь Изабелла очень скоро убедилась, что тетушка ее совсем не так бесчувственна, как это кажется, и в ней пробудилась прежняя жалость к этой женщине, неспособной к взлетам, сожалениям, разочарованиям, прожившей жизнь сухарем. Каким для нее было бы сейчас благом, если бы в свое время она познала поражения, ошибки, даже раз-другой стыд. Уж не томится ли она по такому обогащающему сознание опыту, подумала Изабелла, и не пытается ли втайне ощутить вкус хотя бы похмелья, хотя бы оскомины, набитой пиршеством жизни: будь то свидетельства душевной боли или трезвые забавы раскаяния? С другой стороны, наверное, ей страшно становиться на путь раскаяния, неизвестно, куда он может завести. Так или иначе Изабелла поняла: тетушка ее начинает вдруг смутно прозревать — что-то она в жизни упустила и теперь ей предстоит старость, лишенная воспоминаний. Ее маленькое заострившееся личико казалось трагическим. Она сообщила племяннице, что Ральф все так

же неподвижен, но, скорей всего, Изабелла еще до обеда сможет с ним увидеться. Помолчав несколько секунд, она добавила, что накануне он виделся с лордом Уорбертоном. Известие это слегка встревожило Изабеллу, напомнив о близком соседстве его светлости и о возможности в любую минуту случайно оказаться с ним лицом к лицу. Такую случайность вряд ли можно счесть счастливой: не для того она приехала в Англию, чтобы снова вести борьбу с лордом Уорбертоном. Это не помешало ей, однако, сказать тетушке, что он очень заботлив по отношению к Ральфу; ей самой довелось наблюдать это в Риме.

— Сейчас у него другое на уме, — возразила миссис Тачит и замолчала. Она так и впилась в Изабеллу взглядом.

Изабелла поняла, что в ее словах есть какой-то скрытый смысл и тут же догадалась — какой. Но, отвечая, она постаралась ничем не обнаружить своей догадки; сердце у нее забилось сильнее, ей нужно было выиграть время.

— Ах да… палата лордов и все тому подобное.

— У него не лорды на уме, а леди. По крайней мере одна. Он оповестил Ральфа, что помолвлен и не сегодня-завтра женится.

— Женится — вот как! — воскликнула Изабелла

легким тоном.

— Ну разве что расторгнет помолвку. Он почему-то считал, что Ральфу это интересно. Бедный Ральф все равно не сможет пойти на свадьбу, хотя, по-моему, она состоится очень скоро.

— Кто же невеста?

— Девица знатного рода, леди Флора, леди Фелисия — словом, что-то в этом духе.

— Я очень рада, — сказала Изабелла. — Как видно, это внезапное решение?

— Насколько я понимаю, весьма: трехнедельный роман. Помолвку только что огласили.

— Я очень рада, — повторила уже более подчеркнуто Изабелла. Она знала, тетушка за ней наблюдает, пытаясь уловить признаки должной досады, и желание не выказать их помогло Изабелле произнести эту фразу с живейшим удовлетворением, чуть ли не со вздохом облегчения. Миссис Тачит разделяла ходячее мнение, будто женщины, даже замужние, рассматривают женитьбу своих бывших обожателей как личное оскорбление. Вот почему Изабелла прежде всего постаралась показать, что так это или не так, она, во всяком случае, ничуть не оскорблена. И правда, хотя сердце ее, как я уже сказал, забилось сильнее, хотя несколько секунд она просидела в

глубокой задумчивости, тут же забыв, что миссис Тачит не сводит с нее глаз, вызвано это было отнюдь не потерей поклонника. Воображение Изабеллы, миновав пол-Европы, остановилось наконец, запыхавшись и даже слегка трепеща, в городе Риме. Она представила себе, как сообщает мужу, что лорд Уорбертон повел невесту под венец, и, разумеется, не могла видеть, каким измученным от подобной игры воображения стало ее лицо. Наконец она опомнилась и сказала:

— Когда-нибудь это должно было произойти.

Миссис Тачит помолчала, потом, вскинув резким движением голову, воскликнула: — Ну, моя дорогая, ты для меня загадка! — После чего они продолжали завтракать молча. У Изабеллы было такое чувство, будто ей сообщили о смерти лорда Уорбертона. Она знала его только в роли влюбленного, претендующего на руку и сердце; этому теперь положен конец. Умер он и для бедняжки Пэнси, а ведь с помощью Пэнси мог бы продолжить свое существование. Слуга все не уходил. В конце концов миссис Тачит отослала его. Позавтракав, она осталась сидеть, сложив руки на краю стола.

— Мне хотелось бы задать тебе три вопроса, — заметила она, когда слуга ушел.

— Три вопроса — не слишком ли это много?

— Меньшим мне не обойтись, я хорошо все обдумала. Они как нельзя более уместны.

— Этого-то я и боюсь. Что может быть неуместнее самых уместных вопросов, — ответила Изабелла.

Миссис Тачит отодвинула стул, а племянница ее встала и не без умысла направилась к глубокой оконной нише, чувствуя, как неотступно следует за ней взгляд тетушки.

— Ты хоть раз пожалела, что не вышла замуж за лорда Уорбертона? — осведомилась миссис Тачит.

Изабелла покачала головой без горячности, но и без горечи.

— Нет, дорогая тетушка.

— Прекрасно. Должна тебе сказать, я намерена отнестись к твоим ответам с доверием.

— Ваше доверие — величайший соблазн, — объявила, по-прежнему улыбаясь, Изабелла.

— Соблазн солгать? Я бы тебе не советовала — когда меня вводят в заблуждение, я опаснее отравленной крысы. Злорадствовать на твой счет я не собираюсь.

— Не я, мой муж не может со мной ужиться, — опередила ее Изабелла.

— Могла бы заранее ему это предсказать. Но злорадствую я не на *твой* счет, — добавила миссис Тачит. — Ты все в таком же восторге от Серины Мерль?

— Нет, не в таком. Но это не имеет значения, она уезжает в Америку.

— В Америку? Должно быть, она сделала что-нибудь очень скверное.

— Да, очень.

— Могу я спросить что именно?

— Она использовала меня в своих интересах.

— А-а! — воскликнула миссис Тачит. — Так же она поступила и со мной. Так она поступает со всеми.

— Она и Америку использует в своих интересах, — сказала Изабелла, снова улыбаясь и радуясь тому, что вопросы тетушки исчерпаны.

С Ральфом ей удалось увидеться только вечером. Весь день он дремал, во всяком случае, лежал в забытьи. Приходил врач, пробыл какое-то время и ушел — местный врач, лечивший еще его отца и приятный Ральфу. Он навещал своего пациента три раза в день, тот вызывал у него глубокий интерес. Ральфа пользовал сэр Мэтью Хоуп, но больной устал от медицинского светила и попросил свою матушку известить сэра Мэтью,

что он уже умер, а посему впредь в услугах врача не нуждается. Вместо этого миссис Тачит написала сэру Мэтью, что он разонравился ее сыну. В день приезда Изабеллы Ральф, как я уже говорил, много часов подряд не подавал признаков жизни, но к вечеру очнулся и сказал, что знает, его кузина приехала. Как он узнал, осталось неясным, поскольку, не желая его волновать, никто ему этого не сообщал. Изабелла вошла и села возле погруженной в полумрак кровати — комнату освещала одна-единственная стоявшая в дальнем углу свеча. Сиделке Изабелла сказала, что та может идти, она сама побудет с Ральфом до конца вечера. Он открыл глаза, узнал ее и пододвинул свою бессильно лежавшую руку, чтобы Изабелле удобнее было ее взять. Но говорить Ральф не мог, он снова закрыл глаза и не шевелился, только держал ее руку в своей. Она сидела с ним долго, пока не возвратилась сиделка; но Ральф не подавал больше признаков жизни и мог бы скончаться прямо у нее на глазах — он уже являл собой образ и подобие смерти. Еще в Риме казалось — он так плох, что дальше некуда, но сейчас все обстояло куда хуже и невозможны были никакие другие изменения — кроме одного. На его лице застыло непонятное спокойствие; оно было неподвижно,

как крышка гроба. При этом от Ральфа остались только кожа да кости; когда он открыл глаза, чтобы поздороваться, у нее было такое чувство, будто она заглянула в бездонное пространство. Сиделка возвратилась около полуночи, но часы эти не показались Изабелле долгими; для того она ведь и приехала. Да, если она приехала, чтобы ждать, ей предоставлена была полная возможность, ибо на три дня он замер в каком-то благодарном молчании. Он узнавал ее и несколько раз как будто хотел заговорить, но голос ему не повиновался. И он снова закрывал глаза, словно тоже чего-то дожидаясь — чего-то, что рано или поздно должно было наступить. Он был так тих, что порой ей казалось, будто предстоявшее уже произошло, и тем не менее ее ни на секунду не покидало ощущение, что они все еще вместе. Но не всегда они были вместе. Выпадали другие часы, когда она бродила по опустелому дому и в ушах у нее звучал голос, который не был голосом бедного Ральфа. Она жила в постоянном страхе, ей представлялось вполне возможным, что муж пожелает ей написать. Но он хранил молчание, и она получила только письмо из Флоренции, от графини Джемини. Наконец Ральф заговорил — это было на третий вечер после ее приезда.

— Мне сегодня лучше, — прошептал он вдруг, прерывая ее сумеречно-безмолвное бдение. — Думаю, я смогу говорить. — Она опустилась на колени у изголовья, взяла его исхудалую руку в свою, попросила не делать усилий, не уставать. Лицо Ральфа, неспособное уже к игре мышц, рождающей улыбку, было серьезно, но сам он явно не утратил умения остро чувствовать все несообразное.

— Что с того, если я устану? Для отдыха у меня впереди вся вечность. Почему же мне не сделать усилия, когда оно последнее? Людям, по-моему, перед концом обычно становится лучше? Я часто об этом слышал. Этого-то я и ждал, ждал с той минуты, как вы появились. Несколько раз я даже пробовал… — боялся, вы устанете сидеть здесь. — Он говорил медленно, мучительно запинаясь, с долгими передышками; казалось, его голос доносится издалека. Во время пауз он лежал, обратив к Изабелле лицо, глядя огромными немигающими глазами прямо ей в глаза. — Какая вы милая, что приехали, — продолжал он. — Я так и думал, но не был уверен.

— Я сама не была уверена, пока не приехала, — сказала Изабелла.

— Вы сидели совсем как ангел у моей кровати.

Помните, что говорится про ангела смерти? Он самый из них прекрасный. Такой были вы; как будто вы меня дожидались.

— Я дожидалась не вашей смерти, я дожидалась… этого. Это не смерть, Ральф, дорогой мой.

— Не для вас… нет. Когда видишь, как умирают другие, с особой силой ощущаешь, что жив. Это само чувство жизни… сознание, что мы остаемся. И у меня оно было… даже у меня. А теперь я только на то и гожусь, чтобы внушать его другим. Для меня все кончено. — Он замолчал. Изабелла ниже и ниже склоняла голову, пока не уткнулась лицом в свои руки, сжимавшие обе его. Теперь она не видела Ральфа, зато его далекий голос звучал у самого ее уха. — Изабелла, — сказал вдруг Ральф, — хорошо, если бы и для вас все было кончено. — Она ничего не ответила — просто разрыдалась, по-прежнему стоя на коленях и спрятав лицо. Он молча лежал и слушал ее всхлипывания; наконец у него вырвалось наподобие скорбного стона: — Вот что вы для меня сделали!

— А что вы сделали для меня? — воскликнула она в крайнем волнении, приглушенном отчасти ее позой. Позабыт был всякий стыд, всякое желание скрыть что-либо. Он должен знать, она хочет, чтобы он знал, — тогда близость их будет полной,

а душевной боли он уже недоступен. — Вы сделали для меня… вы сами знаете. О Ральф, вы были для меня всем! А что я для вас сделала… что я могу сделать сейчас? Я готова умереть — только бы вы жили. Да я и не хочу жить. Я готова умереть, только бы нам не расставаться. — От слез и отчаяния у нее так же прерывался голос, как у него.

— Вы со мной не расстанетесь… вы сохраните меня. Сохраните в своем сердце. Я буду к вам еще ближе. Жизнь — лучше, Изабелла, в жизни есть любовь. Смерть хороша… но в ней нет любви.

— Я так и не поблагодарила… так ничего и не сказала… так и не стала той, какой следовало, — продолжала Изабелла. Ей страстно хотелось излить душу, покаяться, целиком отдаться горю. Все беды ее слились сейчас воедино, переплавились в эту душевную боль. — Что вы должны были думать обо мне? Но откуда мне было знать? Я никогда и не узнала бы, и если сейчас знаю, то потому, что не все же люди настолько глупы.

— Бог с ними, с людьми, — сказал Ральф. — Пожалуй, я рад с ними распрощаться.

Она подняла голову и руки со стиснутыми пальцами; какое-то мгновение она словно молилась глядя на него.

— Так это правда… правда? — спросила она.

— Правда, что вы глупы? О нет, — сказал Ральф, явно пытаясь острить.

— Что вы сделали меня богатой… что все, что у меня есть, — ваше? Он отвернулся и некоторое время молчал. Наконец ответил:

— Не стоит об этом говорить… это не принесло вам счастья. — Он опять медленно обратил к ней лицо; они снова смотрели друг на друга. — Не будь этого… не будь этого… — И он замолк. — Думаю, я погубил вас, — сказал он горестно.

Она была твердо уверена, что Ральф недоступен душевной боли, он как бы принадлежал уже тому миру. Но даже и без этой уверенности она продолжала бы говорить — ей все стало неважно сейчас, и единственным просветом в беспросветном ее отчаянии было сознание, что они вместе смотрят правде в глаза.

— Он женился на мне ради денег, — сказала она. Ей хотелось сказать все, она боялась, что он может умереть и ей это не удастся.

Он пристально взглянул на нее своими неподвижными глазами, а потом впервые за все время опустил веки. Но в следующее же мгновение снова поднял их и ответил:

— Он был очень в вас влюблен.

— Да. Но никогда не женился бы на мне, будь

я бедна. Это не в обиду вам, Ральф. Мне ли вас укорять! Я только хочу, чтобы вы поняли. Я всегда старалась скрыть от вас, но теперь это ни к чему.

— Я всегда понимал, — сказал Ральф.

— Я так и думала, но не хотела этого. А сейчас хочу.

— Для меня это — не укор… для меня — это счастье, — ответил Ральф, и голос его в самом деле был полон невыразимой радости. Она снова склонила голову и прижалась губами к его руке. — Я всегда понимал, — продолжал он, — хотя это было так дико, так горько. Вам хотелось видеть жизнь своими глазами, а вам не давали, вас за это наказывали, буквально перемалывали жерновами условностей.

— О да, я очень наказана, — плакала навзрыд Изабелла. Несколько секунд Ральф слушал, как она плачет, потом сказал:

— Он очень был взбешен вашим отъездом?

— Да, мне это далось нелегко. Но мне все равно.

— Значит, между вами все кончено?

— Нет, думаю, ничего не кончено.

— Неужели вы к нему вернетесь? — спросил, задыхаясь, Ральф.

— Не знаю… не решила. Я задержусь здесь, пока

можно будет. Ни о чем не хочу думать… да и к чему? Для меня существуете сейчас только вы, и этого пока довольно, еще немного это продлится. Вот я стою на коленях, держу вас, умирающего, в объятиях и так счастлива, как давно уже не была. Я хочу, чтобы и вы были счастливы… не думали ни о чем печальном, просто чувствовали бы, что я рядом и люблю вас. Зачем нам боль? В такие часы, как этот, что нам за дело до боли? Есть же нечто, более глубокое, чем самая глубокая боль.

Ральфу, очевидно, с каждой минутой все труднее становилось говорить; ему приходилось дольше пережидать, не сразу удавалось собраться с мыслями. Сначала он будто бы никак не откликнулся на ее слова; прошло немало времени, прежде чем он прошептал:

— Вы должны остаться здесь.

— Останусь… пока это будет прилично.

— Прилично… Прилично? — повторил он за ней. — Вы придаете этому слишком большое значение.

— А как же иначе? — сказала она. — Вы очень устали?

— Очень. Вы сказали сейчас, боль не самое глубокое. Да… да, но она очень глубока. Если бы я мог остаться…

— Для меня вы всегда будете здесь, — нежно прервала его Изабелла; теперь его ничего не стоило прервать. Но через секунду он продолжал:

— В конце концов боль проходит; она почти уже прошла. А любовь остается; не понимаю, почему мы должны столько страдать. Быть может, мне это откроется. В жизни так много всего. Вы еще очень молоды.

— Я чувствую себя очень старой, — сказала Изабелла.

— Вы снова станете молодой. Только такой я вас и вижу. Я не верю… не верю… — Он опять замолчал, силы его были на исходе.

Она просила его не продолжать.

— Мы и без слов понимаем друг друга, — сказала она.

— Не верю, что за такую великодушную ошибку, как ваша, вам придется долго расплачиваться…

— Ральф, я сейчас так счастлива, — воскликнула она сквозь слезы.

— И еще помните, — продолжал он, — что если вас ненавидели, то ведь и любили, Изабелла… *боготворили]* — растягивая каждый звук, чуть слышно выдохнул он.

— Ральф, брат мой! — воскликнула она, еще ниже склоняясь перед ним.

55

Он сказал в тот самый первый ее вечер в Гарденкорте, что, если ей выпадет на долю много страдать, в один прекрасный день она увидит привидение, которое, как и пристало, водится в этом старом доме. Очевидно, необходимое условие было выполнено, ибо назавтра, когда чуть занялась холодная заря, она почувствовала, что возле ее кровати стоит призрак. Вечером она прилегла, не раздеваясь, так как знала — Ральфу эту ночь не пережить. Спать ей не хотелось; она ждала, а такое ожидание бессонно. Но глаза она закрыла, убежденная, что под утро услышит стук в дверь. Стука Изабелла не услышала, но, как только темнота стала редеть, превращаясь в смутный сумрак, она вдруг подняла голову с подушки, словно ее позвали. Какое-то мгновение ей казалось, что возле кровати стоит он — смутная, зыбкая фигура в смутной предрассветной комнате. Секунду она смотрела на него, на его бледное лицо… в его любящие глаза, потом все исчезло. Она не испугалась, просто была уверена. Она вышла из комнаты и, не колеблясь, прошла

по темным коридорам, спустилась по ступеням дубовой лестницы, которая поблескивала в падавшем из окна смутном свете. У двери Ральфа она на миг остановилась, прислушалась, но ничего не услышала, кроме нерушимой тишины. Она открыла дверь такой осторожной рукой, будто приподнимала легчайшую вуаль с лица покойного, и увидела прямую, неподвижную миссис Тачит, которая сидела у ложа сына, держа его руку в своей. По другую сторону кровати стоял врач, сжимая своими многоопытными пальцами запястье второй руки бедного Ральфа. В ногах стояли две сиделки. Миссис Тачит не повернула головы, но врач взглянул на Изабеллу очень строго, потом осторожно выпрямил руку Ральфа и положил вдоль тела. Сиделка тоже строго на нее взглянула; никто не произнес ни слова, но Изабелла увидела то, что ожидала увидеть. Ральф казался благообразнее, чем при жизни, и лицо его стало удивительно похоже на лицо отца, которое шесть лет назад она видела на той же подушке. Подойдя к тетушке, она обняла ее, и миссис Тачит, не признававшая, как правило, никаких нежностей и не располагавшая к ним, на сей раз не только не отстранилась, а даже как бы привстала навстречу. Но была она окаме-

невшая, бесслезная, с бледным заострившимся невыразимо страшным лицом.

— Тетя Лидия, дорогая, — шепнула Изабелла.

— Иди и поблагодари бога, что у тебя нет детей, — сказала, высвобождаясь из ее объятий, миссис Тачит.

Три дня спустя немало людей сочло нужным, невзирая на разгар лондонского «сезона», приехать утренним поездом на тихую железнодорожную станцию в Баркшире и провести полчаса в скромной серой церкви, до которой было несколько минут ходу. Там, на зеленом погосте, предала миссис Тачит земле тело своего сына. Она стояла у самого края могилы, рядом с ней Изабелла, и, вероятно, даже могильщик не относился более деловито к происходящему, чем миссис Тачит. Церемония протекала торжественно, но не тягостно, не мучительно, все вокруг как-то размягчало душу. Прояснело — день, один из последних коварного месяца мая, выдался теплый, безветренный; воздух был полон пеньем дроздов и запахом цветущего боярышника. Пусть грустно было думать о бедном Тачите, но все же не чрезмерно грустно, ведь смерть вырвала его из жизни не грубой рукой. Он так давно умирал, был так к этому готов, все было давно предви-

дено, предрешено. В глазах у Изабеллы стояли слезы — но не те, что ослепляют. Сквозь них она видела и красоту дня, и великолепие природы, и очарование старого английского кладбища, и склоненные головы добрых друзей. Был там и лорд Уорбертон, были какие-то совсем незнакомые ей джентльмены — некоторые из них, как впоследствии она узнала, имели отношение к банку, и другие, знакомые ей лица. К числу последних принадлежали Генриетта Стэкпол с верным своим мистером Бентлингом и Каспар Гудвуд, чья голова возвышалась над всеми и склонялась реже, чем у всех. Изабелла постоянно чувствовала на себе его взгляд; он смотрел на нее более упорно, чем обычно позволял себе на людях, меж тем как остальные не отрывали глаз от кладбищенского дерна. Но она сделала вид, будто не видит его. Ее удивило присутствие Гудвуда на похоронах, только и всего. Почему-то она считала само собой разумеющимся, что, проводив Ральфа в Гарденкорт, он уехал из Англии: она помнила, как не по вкусу пришлась ему эта страна. Тем не менее он, вне всякого сомнения, был здесь, и что-то в его манере держаться говорило: его привели сюда сложные мотивы. Изабелла не желала встречаться с ним глазами, хоть знала наверное,

что прочтет в них сочувствие, но ей было при нем неловко. Когда кучка приезжих ушла с кладбища, исчез и он; подошла к ней только Генриетта Стэкпол — к миссис Тачит подходили многие. Глаза у Генриетты были заплаканы.

Ральф сказал Изабелле, что хочет верить — она останется в Гарден-корте, и пока она не собиралась уезжать, убеждая себя, что из элементарного чувства сострадания ей следует какое-то время побыть с тетушкой. Счастье, что у нее нашелся этот законный повод, другого ей, пожалуй, было бы не придумать. Миссия, ради которой она покинула мужа, выполнена. Да, у нее есть в чужой стране муж, он числит каждый час ее отсутствия, в таких случаях нужно иметь очень веские основания. Он, конечно, не лучший из мужей, но это не меняет дела. Замужество налагает известные обязательства, независимо от того, радует оно вас или нет. Она почти не вспоминала мужа; но теперь, будучи вдали от Рима и его чар, не могла без содрогания вспомнить этот город. У нее мороз пробегал по коже при одной мысли о нем, и она спешила укрыться в густой тени Гарденкорта. Так она и жила — изо дня в день, давая себе отсрочку, закрывая глаза, стараясь не думать. Она знала, пришла пора решать, и ничего не решала. Ее отъ-

езд тоже ведь не был решением. Она просто тогда пустилась в путь. Озмонд не подавал вестей, и теперь явно уже не подаст, все переложит на нее. От Пэнси она тоже ничего не получала, но это объяснялось просто: отец запретил ей писать.

Миссис Тачит охотно находилась в обществе Изабеллы, но помощи от тетушки ждать не приходилось; она была занята тем, что пыталась — без всякого воодушевления, но с полной ясностью — представить себе все преимущества своего нового положения. Не будучи оптимисткой, миссис Тачит умудрялась, однако, даже из самых удручающих обстоятельств извлечь какую-то пользу. В данном случае дело сводилось к размышлению о том, что в конце концов происшедшее произошло не с ней, а с другими. Смерть — вещь неприятная, но на сей раз умерла не она, умер ее сын; при этом миссис Тачит не строила себе иллюзий, что ее собственная смерть будет неприятна кому-нибудь, кроме самой миссис Тачит. Она сейчас в более благоприятном положении, чем бедный Ральф, оставивший позади все жизненные удобства и все гарантии, если на то пошло, ибо смерть, по мнению миссис Тачит, тем и плоха, что ваши интересы уже не ограждены и обстоятельством этим могут воспользовать-

ся. Что же касается ее — она тут, на прежнем своем месте, самом надежном. Вечером после похорон сына тетушка не замедлила сообщить Изабелле некоторые пункты завещания Ральфа. Он обо всем ее уведомил, все с ней обсудил. Денег он ей не оставил, у нее нет в них, разумеется, недостатка. Но оставил ей всю обстановку Гарденкорта, за исключением картин и книг, и право пользоваться домом в течение года, после чего Гарденкорт должен быть продан и на эти деньги будет учрежден фонд больницы для бедных, страдающих тем же недугом, от которого умер он сам. Душеприказчиком по этому пункту завещания назначается лорд Уорбертон. Все остальные его средства изымаются из банка и распределяются согласно отдельным завещательным отказам — часть пойдет вернонским кузинам, уже и без того щедро облагодетельствованным его отцом, ну и затем имеется целый ряд мелких распоряжений.

— Некоторые из них очень странные, — сказала миссис Тачит. — Он оставил значительные суммы лицам, о которых я никогда и не слыхала, дал мне целый список, а когда я спросила, кто они такие, объяснил, что этим людям в разные годы своей жизни он был по душе. Очевидно, он считал, что тебе по душе он не был, так как не

оставил ни гроша. Правда, по его мнению, тебя достаточно великодушно одарил его отец, с чем не могу не согласиться, хотя должна тебе сказать, я никогда не слышала от него по этому поводу ни одной жалобы. Картины будут раздарены, кому что, как маленькие сувениры. Самые ценные предназначаются лорду Уорбертону. А хочешь знать, как он распорядился своей библиотекой? Похоже на то, что он сделал это шутки ради. Он оставил ее твоей приятельнице, мисс Стэкпол, — в знак признания заслуг этой особы перед литературой. Разумел он под этим, что она следовала за ним по пятам из Рима? Но заслуга ли это перед литературой? В библиотеке немало редких, дорогих книг, и, поскольку она не может таскать их за собой по свету в сундуке, он рекомендует ей все распродать с аукциона! Она, конечно, распродаст их у Кристи и на вырученные деньги начнет издавать газету. Но будет ли это заслугой перед литературой?

Изабелла промолчала; вопрос не входил в число тех, на которые она, приехав в Гарденкорт, считала нужным отвечать. Тем более что литература никогда еще не возбуждала в ней столь малый интерес, как нынче, в чем она убеждалась каждый раз, когда брала с полки одну из тех ред-

ких, дорогих книг, которые упомянула миссис Тачит. Она совершенно неспособна была читать; ей просто не удавалось сосредоточиться. Как-то днем, около недели после похорон, она целый час, сидя в библиотеке, пыталась углубиться в чтение, но глаза ее то и дело отрывались от книги, устремляясь к окну, выходившему на длинную центральную аллею. Таким образом она и увидела подъехавшую к дому скромную пролетку и примостившегося там в углу лорда Уорбертона. Он всегда был образцом учтивости, не удивительно поэтому, что при нынешних обстоятельствах почел непременным долгом приехать из Лондона и нанести миссис Тачит визит. Разумеется же, он приехал повидать миссис Тачит, а не миссис Озмонд. Желая доказать себе правильность своего умозаключения, Изабелла выскользнула из дому и отправилась бродить по парку. Во время этого своего приезда она почти не выходила из дому, так как погода не располагала к прогулкам. Вечер, однако, был прекрасный, и сначала она похвалила себя за счастливую мысль пройтись. Хотя теория ее, о которой я упомянул, казалась вполне правдоподобной, сердце у Изабеллы все же было не на месте, и всякий, кто увидел бы, как она бродит взад и вперед, решил бы, что совесть

у нее нечиста. Так и не обретя душевного покоя, она через полчаса очутилась напротив дома и увидела, как из-под портика выходит миссис Тачит в сопровождении гостя. Тетушка, вероятно, предложила лорду Уорбертону вместе с ней поискать племянницу. Изабелла не настроена была принимать визитеров и, будь у нее на то малейшая возможность, сразу же укрылась бы за одним из огромных деревьев. Но она увидела, что ее заметили, и теперь ей ничего не оставалось, как пойти им навстречу. Пока Изабелла шла по лужайке, широко раскинувшейся перед домом, она успела разглядеть, что лорд Уорбертон идет рядом с миссис Тачит как-то скованно, заложив руки за спину и потупившись. Судя по всему, оба хранили молчание, но брошенный на нее исподволь острый взгляд тетушки даже на расстоянии был весьма красноречив. Он точно говорил с язвительной суровостью: «Вот чрезвычайно покладистый лорд, за которого ты могла выйти замуж». Когда же лорд Уорбертон поднял глаза, они сказали совсем не то. Они только и сказали: «Как вы сами понимаете, все получилось весьма неловко и я рассчитываю на вашу помощь». Держался он очень серьезно, очень чинно и впервые, с тех пор как они познакомились, поздоровался

с ней без улыбки. Даже в пору его отчаяния он всегда начинал с улыбки. Ему, как видно, было чрезвычайно не по себе.

— Лорд Уорбертон был так любезен, что приехал навестить меня, — сказала миссис Тачит. — Он, по его словам, не знал, что ты все еще здесь. Я знаю, вы с ним старые друзья, и так как мне сказали, что ты вышла погулять, я привела его в парк, чтобы он сам поискал тебя.

— О, я просто увидел, что есть подходящий поезд в шесть сорок, которым я поспею вернуться к обеду, — как нельзя более неуместно пояснил спутник миссис Тачит. — Я очень обрадовался, когда узнал, что вы еще не уехали.

— Я пробуду совсем недолго, — поспешила заверить его Изабелла.

— Так я и думал, но, надеюсь, хотя бы еще несколько недель… Вы приехали в Англию раньше… раньше, чем предполагали.

— Да, я приехала очень неожиданно.

Миссис Тачит отошла от них, будто бы для того, чтобы проверить, как содержится парк, надо сказать изрядно запущенный, а лорд Уорбертон между тем молчал в нерешительности. Изабелле пришло в голову, что он собирался было спросить ее о муже, но смешался… и не спросил.

Он по-прежнему был непреклонно серьезен то ли потому, что так, по его мнению, надлежало держаться в том месте, где недавно побывала смерть, то ли в силу более личных причин. Если последнее предположение правильно, очень удачно для лорда Уорбертона, что у него нашлось вышеупомянутое оправдание: он в полной мере мог им воспользоваться. Все эти мысли разом промелькнули в голове у Изабеллы. Лицо его было не то что бы грустно, нет, оно странным образом вообще ничего не выражало.

— Мои сестры с радостью бы приехали, если бы знали, что вы все еще здесь… если бы смели надеяться, что вы пожелаете с — ними увидеться, — продолжал лорд Уорбертон. — Окажите им любезность, повидайтесь с ними, прежде чем покинете Англию.

— С большим удовольствием. Я сохранила о них самые приятные воспоминания.

— А не приехали бы вы на день-два в Локли? Вы не забыли свое старое обещание? — При этих словах его светлость слегка покраснел и сразу стал больше похож на самого себя. — Наверное, я не вправе сейчас напоминать вам о нем; конечно, вам не до визитов. Но я хочу сказать, что это вовсе и не будет визитом. Мои сестры на троицу

проведут пять дней в Локли, и если бы вы согласились на это время приехать... вы ведь сами говорите, что долго в Англии не задержитесь, я бы позаботился о том, чтобы у нас в буквальном смысле больше никого не было.

Неужели даже его невесты с матушкой не будет, подумала Изабелла, но вслух этого не сказала, а ограничилась одной фразой:

— Я очень вам благодарна, но, боюсь, не совсем еще представляю себе, где я буду на троицу.

— Но ваше обещание остается за вами... остается ведь? Ну когда-нибудь в другой раз?

В его словах прозвучал вопрос, на который Изабелла не ответила. Она внимательно поглядела на своего собеседника, и итог ее наблюдений был тот же, что и всегда: ей стало его жаль.

— Смотрите, не опоздайте на поезд, — сказала она и потом добавила: — Желаю вам всяческого счастья.

Он снова, на этот раз еще сильнее, покраснел и взглянул на часы.

— Ах да, шесть сорок, времени в самом деле немного, но у подъезда меня ждет пролетка. От души благодарю вас. — Было не совсем понятно, благодарит ли он ее за напоминание о поезде или же за сердечное пожелание. — До свидания,

миссис Озмонд, до свидания.

Глядя куда-то в сторону, он пожал ей руку, затем повернулся к только что возвратившейся миссис Тачит. С ней его прощание было столь же кратким. И несколько мгновений спустя Он уже большими шагами удалялся по лужайке от обеих дам.

— Вы твердо уверены, что он женится? — спросила у тетушки Изабелла.

— Не тверже, чем он сам, но он как будто уверен. Я его поздравила, и он принял мои поздравления.

— Ну, тогда я ставлю на этом точку, — сказала Изабелла, после чего тетушка ее возвратилась в дом и возобновила прерванные приездом гостя занятия.

Хотя Изабелла и поставила точку, но все еще об этом думала — думала, прогуливаясь под огромными дубами, чьи длинные тени ложились на необозримый зеленый дерн. Через несколько минут она очутилась перед садовой скамьей, которая с первого взгляда показалась ей чем-то знакомой. И не только потому, что она видела скамью раньше или даже на ней сидела: нет, здесь что-то важное произошло, что-то с этим местом связано. И тут она вспомнила, что на этой

самой скамейке сидела шесть лет назад, когда слуга принес письмо, которым Каспар Гудвуд извещал, что последовал за ней в Европу, а как только, прочитав письмо, подняла глаза, увидела перед собой лорда Уорбертона, объявившего, что он хотел бы на ней жениться. Поистине это было историческое достопримечательное место! Изабелла стояла, глядя на скамью так, словно та могла ей что-то сказать. Она ни за что не села бы на нее сейчас — она прямо ее побаивалась. Она просто стояла не двигаясь и, пока стояла, все былое вдруг ожило, нахлынув волною чувств, как это подчас и случается с восприимчивыми душами. В результате она внезапно ощутила бесконечную усталость, — такую усталость, что, отбросив все колебания, опустилась на скамью. Как я уже сказал, Изабелла была неспокойна, не знала, куда девать себя, и даже если вышеупомянутая характеристика покажется вам несправедливой, вы по крайней мере должны будете согласиться, что в эту минуту она как бы олицетворяла собой жертву праздности. Сама ее поза свидетельствовала об отсутствии всякой цели: безвольно опущенные руки были скрыты складками черного платья, глаза безучастно глядели куда-то в пространство. Ей незачем было

возвращаться в дом: дамы, ведя затворническую жизнь, рано обедали, а чай пили когда придется. Вряд ли Изабелла смогла бы вам сказать, долго ли просидела в таком состоянии, но только уже заметно стемнело, когда вдруг почувствовала, что она не одна. Быстро выпрямившись, она огляделась и увидела, во что обратилось ее одиночество: его разделил с ней Каспар Гудвуд; он неслышно подошел по мягкому дерну и теперь, стоя чуть поодаль, пристально смотрел на нее. Ей сразу пришло в голову, что вот так же застиг ее когда-то врасплох и лорд Уорбертон.

Она мгновенно поднялась, и тут Гудвуд, увидев, что его увидели, бросился к ней. Не успела она встать, как жестом, похожим с виду на насилие, но по ощущению не похожим ни на что, он, сжав ей запястье, заставил снова опуститься на скамью. Изабелла закрыла глаза; он не сделал ей больно, она подчинилась всего лишь легкому прикосновению, но в лице его было что-то, чего она предпочитала не видеть. Так он смотрел на нее несколько дней назад на кладбище, но сейчас это было еще хуже. Сначала Гудвуд ничего не говорил; она только ощущала, что он рядом, совсем близко, и настойчиво к ней устремлен. Ей даже показалось, что за всю свою жизнь она никого не

чувствовала так близко от себя. Все это длилось, однако, какое-то мгновение, потом, высвободив запястье, она взглянула на гостя.

— Вы меня напугали, — сказала она.

— Я не хотел, — ответил Гудвуд, — но даже если чуть-чуть напугал, неважно. Я уже давно приехал поездом из Лондона, но не мог прийти сразу. Какой-то мужчина на станции меня опередил. Он сел в пролетку и приказал везти его сюда. Не знаю, кто он, но мне не захотелось с ним ехать. Я хотел видеть вас одну. Поэтому ждал и ходил вокруг, я тут все исходил и как раз направлялся к дому, когда увидел вас. Мне встретился лесничий, или кто он там, но все обошлось благополучно, я познакомился с ним, когда приехал с вашим кузеном. Джентльмен этот уехал? Вы в самом деле одна? Мне надо поговорить с вами. — Гудвуд говорил торопливо, он был все так же возбужден, как тогда, когда они расстались в Риме. Изабелла рассчитывала, что в нем это мало-помалу стихнет, и сейчас вся сжалась, убедившись, что, напротив, он распустил паруса. У нее появилось новое ощущение, какого он прежде никогда не вызывал, — ощущение опасности. И правда, в его решимости было что-то грозное. Изабелла смотрела прямо перед собой, а он сидел, упира-

ясь ладонями в колени, наклонившись вперед, и не сводил глаз с ее лица. Вокруг них как бы сгустились сумерки. — Мне надо с вами поговорить, — повторил он. — Надо сказать очень важную вещь. Я не хочу тревожить вас… как в тот раз в Риме. Тогда я только понапрасну вас огорчил, но ничего не мог с собой поделать… хотя знал, что неправ. Но сейчас я прав, пожалуйста, поймите это, — продолжал он, и его твердый низкий голос минутами смягчался и переходил в мольбу. — Я приехал с определенной целью. Сейчас все по-другому. Тогда мой разговор с вами не имел смысла, но сегодня я могу вам помочь.

То ли потому, что ей было страшно, то ли такой голос во мраке поневоле кажется ниспосланным свыше, она не могла сказать, но слушала она Каспара, как никогда и никого; слова его глубоко западали ей в душу. Все ее существо словно замерло, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы все же ответить.

— Как вы можете мне помочь? — секунду спустя тихо спросила она, точно придала большое значение его словам и желала, чтобы ее посвятили в подробности.

— Убедив вас довериться мне. Теперь я знаю — сегодня я знаю. Помните, о чем я спрашивал

вас в Риме? Тогда я был в полном неведении. Но сегодня я знаю из надежного источника; сегодня мне все ясно. Вы хорошо сделали, что заставили меня уехать с вашим кузеном. Он был хороший человек, благородный человек, таких людей на свете мало, и он рассказал, как у вас обстоит дело, все мне объяснил — он догадался о моих чувствах. Тачит был ваш близкий родственник, и он поручил мне… до тех пор, пока вы в Англии… вас опекать, — сказал Гудвуд так, будто довод этот и вправду был очень серьезен. — Знаете, что он сказал мне, когда я видел его в последний раз… уже на смертном одре? Он сказал: «Сделайте для нее все, что можете, все, что она вам разрешит».

Изабелла мгновенно поднялась со скамьи.

— Какое право вы имели говорить обо мне?

— Но почему же… почему не имели, если мы говорили так? — спросил он настойчиво, не давая ей опомниться. — Он ведь умирал… когда человек умирает, все по-другому. — Сделав было движение, чтобы уйти, она остановилась; она слушала его еще напряженнее: он в самом деле изменился с прошлого раза. Тогда его одолевала страсть, бесцельная и бесплодная, а сейчас — она чувствовала это всем своим существом — у него родился какой-то замысел. — Но и это неваж-

но! — вскричал он с еще большим напором, хотя и не коснувшись на сей раз даже края ее платья. — Если бы Тачит не проронил ни слова, я все равно узнал бы. Мне достаточно было посмотреть на вас, когда хоронили вашего кузена, чтобы понять, что с вами происходит. Вам меня уже не обмануть. Бога ради, будьте же вы прямодушны с тем, кто так прямодушен с вами. Ведь нет на свете женщины несчастнее вас, а ваш муж злобное исчадье ада. Она набросилась на него так, словно он ее ударил.

— Да вы сошли с ума! — вскричала она.

— Я никогда еще не был более разумен; мне все до конца понятно, не думайте, что вам нужно защищать его. Я больше не скажу о нем ни одного худого слова. Я буду говорить только о вас, — добавил Гудвуд быстро. — Зачем вам скрывать, как вы исстрадались. Вы не знаете, что вам делать… где искать защиты. Сейчас уже ни к чему притворяться, разве вы не оставили это позади, в Риме? Тачит все знал, и я тоже знал, чего вам стоило приехать сюда. Это может стоить вам жизни, ведь так? Ну ответьте же… — Он подавил вспышку гнева. — Ну скажите хоть слово правды! Когда я знаю весь этот ужас, могу ли я не рваться спасти вас? Чтобы вы думали обо мне, если бы я стоял и

спокойно смотрел, как вы возвращаетесь туда, где вас призовут к ответу? Страшно помыслить, как ей придется за это расплачиваться, вот что сказал мне Тачит. Это мне можно вам сказать… можно? Он был таким близким вашим родственником! — снова с угрюмой настойчивостью пустил он в ход свой непонятный довод. — Да я скорей дал бы пристрелить себя, чем позволил бы кому-нибудь говорить при мне такие вещи, но он другое дело, я считал, что он вправе. Это было уже после того, как Тачит возвратился домой… когда понял, что умирает, и когда я тоже это понял. Мне все ясно: вам страшно возвращаться назад. Вы совсем одна, вы не знаете, где искать защиты; вам негде ее искать, вы прекрасно это знаете. Вот почему я хочу, чтобы вы подумали обо *мне.*

— Подумала о вас? — спросила Изабелла, стоя перед ним в густых сумерках. Замысел, который смутно приоткрылся ей за несколько секунд до того, стал сейчас угрожающе понятен. Слегка откинув назад голову, она изумленно его рассматривала, как какую-нибудь комету на небе.

— Вы не знаете, где вам искать защиты. Вы найдете ее у *меня.* Я хочу убедить вас довериться мне, — повторил Гудвуд. Глаза у него сияли. Помолчав, он продолжал: — Зачем вам возвра-

щаться — зачем отдавать себя проформы ради на растерзание.

— Чтобы спастись от *вас!* — ответила она. Но это лишь в малой мере выразило ее ощущение. Главное заключалось в том, что ее никогда не любили. Она думала, что любили, но любовь, оказывается, совсем другое — любовь — это раскаленный ветер пустыни, который налетел и поглотил все прежнее, точно какие-нибудь доносящиеся из сада слабые дуновения. Он подхватил ее и приподнял с земли, и самый вкус его — что-то крепкого, жгучего, неизведанного — заставил ее разжать стиснутые зубы.

Сначала ей показалось, что ее слова привели его еще в большее неистовство. Но мгновение спустя Гудвуд стал совсем спокоен; так ему хотелось доказать ей, что разум у него не помрачен и все до конца продумано.

— Я хочу этому помешать и, по-моему, могу, если вы хоть раз в жизни меня выслушаете. Было бы чудовищно с вашей стороны снова обречь себя на эту муку, снова дышать отравленным воздухом. Не я — вы безумны! Доверьтесь мне так, будто вы на моем попечении. Зачем нам отказываться от счастья, когда вот оно нам протянуто, когда все так просто? Я ваш навеки, на веки

веков. Я весь перед вами и тверд, как скала. О чем вам заботиться? У вас нет детей, это могло бы, пожалуй, служить препятствием. А сейчас вам и думать не о чем. Вы должны спасать свою жизнь — то, что от нее осталось; нельзя же загубить ее всю до конца оттого, что какая-то часть уже загублена. Я не оскорблю вас предположением, что вас может заботить, как на это посмотрят, что об этом скажут люди — весь извечный, непроходимый идиотизм. Нам-то что за дело до этого, мы ведь с вами другой породы; нам важна суть, а не видимость. Самый трудный шаг уже сделан, вы уехали; следующий не составит труда, он всего лишь естественное следствие. Клянусь вам чем хотите, — женщина, которую умышленно заставляют страдать, во всем оправданна, что бы она ни сделала… даже если бы пошла на панель, если только ей это поможет! Я знаю, как вы страдаете, поэтому я здесь. Мы вольны поступать, как нам вздумается. На всем белом свете нет никого, кому мы обязаны отдавать отчет. Кто может нас удержать, у кого есть хоть малейшее право вмешиваться в такие вещи? Они касаются только нас двоих… а сказать это — значит уже все решить! Неужели же мы рождены, чтобы известись от тоски, чтобы всего бояться? Я не

помню, чтобы *вы* раньше чего-нибудь боялись! Вы только доверьтесь мне, и вам не придется об этом жалеть! Перед нами весь мир… а мир очень велик! Кое-что мне об этом известно.

Изабелла застонала, как стонут от раздирающей боли; настойчивость Гудвуда давила ей на грудь, словно непосильная тяжесть.

— Мир очень мал, — произнесла она первое, что пришло в голову: ей нужно было показать ему, что она сопротивляется. Она произнесла первое, что пришло ей в голову просто, чтобы что-то сказать. Но думала она другое; по правде говоря, мир никогда еще не казался ей таким огромным; простершись перед ней во все четыре стороны, он обратился в могучий океан, и она плыла по этой бездонной стихии. Она нуждалась в помощи — и помощь обрушилась на нее стремительным потоком. Не знаю, верила ли она всему, что он говорил, но в ту минуту она твердо верила, что оказаться в его объятиях почти так же хорошо, как умереть. От этой уверенности ее охватил восторг, и она погружалась в него все глубже и глубже. Но, погружаясь, стала как бы судорожно бить ногами, чтобы на что-то опереться, обрести твердую почву.

— Будьте моею, как я ваш, — услышала она

возглас Каспара. Он перестал вдруг ее убеждать, и голос его, хриплый, ужасный, доносился до нее сквозь какой-то смутный гул.

Все это, однако, было, если употребить выражение метафизиков, не более чем субъективной реальностью. Смутный гул, шум воды и все прочее существовало лишь в ее закружившейся голове. И через секунду она отдала себе в этом отчет.

— Окажите мне великую милость, — сказала она, задыхаясь. — Молк вас, уйдите!

— Не говорите этого, не убивайте меня! — вскричал он.

Она заломила руки, из глаз хлынули слезы.

— Если вы любите меня, если хоть сколько-нибудь жалеете, отпустите меня.

Глаза его в темноте бешено сверкнули, и в следующее мгновение она ощутила его руки, крепко ее охватившие, его губы на своих губах. Поцелуй Каспара был точно ослепительная молния, чья вспышка не гасла, а становилась ярче и ярче. И удивительно, что, пока он целовал ее, она чувствовала, как все, что в нем было жесткого, мужского, меньше всего ее в нем привлекавшего, как все, что было сокрушительно настойчивого в его лице, фигуре, существе, теперь оправдано в

своей упрямой целостности и словно создано для этого завладевшего ею поцелуя. Ей доводилось слышать, что в сознании человека, потерпевшего кораблекрушение и захлестнутого водой, прежде чем он окончательно погрузится на дно, проносится длинная вереница образов. Но вот снова наступила темнота, и Изабелле была возвращена свобода. Ни разу не оглянувшись, она стрелой помчалась к дому. Окна были освещены, они светились вдали за лужайкой. В невероятно короткий срок, ибо расстояние было немалое, она в полной тьме, ничего не видя, добралась до дверей. Тут только она остановилась. Огляделась по сторонам, прислушалась и взялась рукой за щеколду. Прежде она не знала, где искать защиты, — но теперь узнала. Перед ней был очень прямой путь.

Два дня спустя Каспар Гудвуд постучал в дверь дома на Уимпл-стрит, где Генриетта Стэкпол снимала меблированную квартиру. Не успел он выпустить из рук дверной молоток, как дверь распахнулась и на пороге появилась сама мисс Стэкпол. На ней была шляпка и жакет; как видно, она куда-то собралась.

— Добрый день, — сказал он. — Я к вам в надежде застать миссис Озмонд.

Генриетта заставила его несколько секунд томиться в ожидании, но лицо мисс Стэкпол, даже когда она молчала, было очень выразительно.

— Помилуйте, а почему вы решили, что она здесь?

— Я наведался нынче утром в Гарденкорт, и слуга сказал, что она в Лондоне. Он сказал, что, по-видимому, она уехала к вам.

Снова мисс Стэкпол — скорей всего, из самых добрых побуждений — заставила его, затаив дыхание, ждать.

— Она приехала вчера, провела у меня ночь. А сегодня утром уехала в Рим.

Каспар Гудвуд не смотрел на нее; глаза его устремлены были на ступеньку лестницы.

— Уехала?... — переспросил он, запинаясь, и, не кончив фразы, так и не подняв глаз, неловко отвернулся. Но сдвинуться с места не мог.

Генриетта переступила порог, закрыла за собой дверь и протянув руку, схватила его за плечо.

— Знаете, мистер Гудвуд, — сказала она. — А вы подождите.

Тут он поднял голову и посмотрел на нее, но лишь для того, чтобы по ее лицу с отвращением догадаться — она всего-навсего хочет этим сказать что он молод. Она стояла светя ему этим

жалким утешением, тут же состарившим его по крайней мере на тридцать лет. Тем не менее она так решительно увела Гудвуда с собой, словно только что вручила ему ключ к долготерпению.

Дополнения.
Статьи Генри Джеймса

Предисловие к роману «Женский портрет» в нью-йоркском издании 1907–1909 гг.[179]

«Женский портрет», как и «Родерик Хадсон», был начат во Флоренции, где в 1879 г. я провел три весенних месяца. Как «Родерик» и «Американец»,[180] роман этот должен был появиться в американском ежемесячнике «Атлантик мансли», и там его начали печатать в 1880 г. Однако в отличие от своих предшественников он получил доступ и в английский журнал «Мекмиленз мегезин», в котором шел выпусками из номера в номер; это оказалось для меня чуть ли не

---

[179] Примечания: 179

По замыслу Генри Джеймса, «нью-йоркское издание» его сочинений (полное название: Романы и повести Генри Джеймса, «нью-йоркское издание» — The novels and tales of Henry James, «New York edition» in 24 volumes. New York, Charles Scribner's Sons, 1907–1909) должно было познакомить читателя не только с его творчеством, но и творческим методом. С этой целью каждый том, за исключением тех, которые являлись продолжением больших романов, печатавшихся двумя выпусками, был снабжен предисловием. Джеймс написал 18 предисловий, в которых изложил свою теорию романа, коснувшись проблем, связанных с построением характеров, драматизацией повествования, введения единого воспринимающего сознания, и т. д. Предисловие к роману «Женский портрет» помещено в т. 3 указанного издания.
На русский язык переводится впервые.

[180] Примечания: 180

«Родерик Хадсон» и «Американец» — романы Джеймса, открывавшие «нью-йоркское издание» и шедшие соответственно первым и вторым томом.

последней возможностью — поскольку соглашение о печатании литературных произведений между Америкой и Англией не вошло еще в силу — публиковаться одновременно в обеих странах. «Женский портрет» — длинный роман, и писал я его долго; помню, я все еще работал над ним и год спустя, когда на несколько недель приехал в Венецию. Я поселился в верхнем этаже дома на Рива Скьявони неподалеку от церкви Сан Дзаккария; оттуда передо мной открывался вид на оживленную набережную, на несравненную лагуну, и неумолкающий гул венецианской болтовни поднимался к моим окнам, к которым меня ежеминутно, как мне сейчас кажется, влекло в моих бесплодных сочинительских потугах, словно я ожидал увидеть, как на голубой глади канала, словно гондола, скользнет верная мысль, или отточенная фраза, или новый поворот сюжета, новый верный мазок для моего полотна. Но, помнится, в ответ на мои непрестанные призывы я получал лишь суровую отповедь, сводившуюся к тому, что романтические и исторические места, которыми так богата земля Италии, вряд ли придут на помощь художнику в его усилиях сосредоточиться, если только сами не являются предметом его изображения. Они слишком полны

собственной жизнью, собственной значительностью, чтобы содействовать исправлению корявой фразы; они отвлекают внимание от его пустячных вопросов к своим куда более серьезным, и очень скоро он начинает понимать — просить их помочь ему справиться с затруднениями, все равно что призывать армию прославленных ветеранов, когда нужно задержать плута-разносчика, который смошенничал на сдаче.

Перечитывая иные страницы этой книги, я словно вновь вижу зыбящуюся дугу широкой Ривы, яркие цветные пятна домов с балконами, ритмичные изгибы горбатых мостиков, подчеркнутые уходящими вдаль волнами звонко шагающей по этим мостикам безостановочной толпы. Поступь венецианцев, их говор — где бы ни раздавался, он всегда гулок, точно крик на водной глади, — снова звучат под моим окном, возрождая те давние ощущения: восторженность чувств и бьющийся в тщетных усилиях ум. Возможно ли, чтобы места, обычно так много говорящие воображению в самом главном, отказали ему сейчас в такой малости? Помню, я не раз задавал себе этот вопрос и в других исполненных красотой и величием местах. А дело, мне кажется, в том, что, откликаясь на наши

призывы, они дают нам слишком много, неизмеримо больше, чем мы способны использовать для своей ближайшей цели, и в конце концов вдруг убеждаешься, что работаешь не так, как того заслуживает окружающая тебя красота, — хуже, чем в каком-нибудь скромном, сером уголке, который можно наделить светом собственного видения. Места, подобные Венеции, горды и не принимают подаяний: Венеция ни у кого не заимствуется, она лишь щедро одаряет сама. Для художника это великое благо, но, чтобы воспользоваться им, он должен либо не иметь никаких обязательств, либо иметь их перед ней одной. И все же, несмотря на эти неутешительные для автора воспоминания, и его книга, и «литературные усилия» в целом, несомненно, только выиграли. Напрасные, казалось бы, попытки сосредоточить внимание впоследствии, как ни странно, сплошь и рядом оказываются на редкость плодотворными. Все зависит от того, чем наше внимание прельстилось, чем оно рассеялось. Есть соблазны властные, дерзкие, а есть обволакивающие, вкрадчивые. Меж тем в любом, даже самом увлеченном, художнике всегда, увы, более чем достаточно глупой доверчивости, да и неутоленных страстей, и ему не устоять перед

подобными искушениями.

Теперь, когда, предаваясь воспоминаниям, я пытаюсь воссоздать зерно моего замысла, мне ясно, что в основе его лежала отнюдь не хитросплетенная «интрига» (одно слово чего стоит!) и не внезапно промелькнувшая в воображении цепь сложных отношений или одна из тех ситуаций, какие у искусного беллетриста сами собой приходят в движение, то мерное, то стремительное — будто дробь быстрых шагов**, а** нечто совсем иное: представление о неком характере, характере и облике привлекательной девушки, одной-единственной, вокруг которой предстояло выстроить все обычные элементы «сюжета» и, разумеется, фона. Но, позволю себе повторить, не менее интересным, чем сама девушка во всей ее прелести, кажется мне воскрешенный памятью автора процесс созревания в его сознании этого, так сказать, подобия побудительных причин. Вот они — очарования искусства повествователя: скрытые силы развития, неизбежность разрастания жизни в семени, удивительная решимость, с какой еще слабый росток вынашиваемого замысла тянется что есть мочи вверх, чтобы, пробившись к воздуху и свету, пышно в них расцвесть, и, с другой стороны, не менее привлекательная воз-

можность воссоздать — заняв удобную позицию на уже завоеванной земле — внутреннюю историю всего этого дела, проследить ее шаг за шагом, ступень за ступенью. Я всегда с благодарностью вспоминаю замечание Ивана Тургенева,[181] которое сам от него слышал, относительно того, как у него обычно зарождался художественный вымысел. В его воображении почти всегда сначала возникал персонаж или несколько персонажей: главных и второстепенных; они толпились перед ним, взывали к нему, интересуя и привлекая его каждый собственными своими свойствами, собственным обликом. Иными словами, он видел их как людей disponsibles,[182] подверженных всем случайностям и превратностям человеческого существования, видел необычайно живо; ему нужно было поставить их в правильные отношения — такие, где они наиболее полно раскрыли бы себя, т. е. нужно было вообразить, изобрести, отобрать и сгруппировать те ситуации, которые оказались бы наиболее полезными и благоприятными для самих персонажей, те сложности, которые они, скорее всего, могли бы и создавать

[181] Примечания: 181
См. ниже, прим. к статье «Иван Тургенев» (1884).

[182] Примечания: 182
Зд. ищущих места (фр.).

себе, и испытывать.

— Уяснить все это и означает для меня уяснить себе ход действия моей «истории», — сказал Тургенев. — Вот так я к ней иду. В результате мне часто ставят в вину, что у меня мало действия. А на мой взгляд, его ровно столько, сколько нужно, чтобы показать моих героев, дать им возможность проявить себя через отношение друг к другу, — я лишь этой мерой мерю. Если я подолгу их наблюдаю, я вижу, как они обретают цельность и становятся по местам, какие шаги предпринимают, какие трудности перед ними возникают. То, как они выглядят, действуют, говорят и ведут себя в тех обстоятельствах, в какие я их поставил, и есть мой рассказ о них, хотя, сознаюсь, увы, que cela manque souvent d'architecture.[183] Но по мне лучше пусть «архитектуры» будет меньше, чем ее будет слишком много, коль скоро это грозит нарушить мою меру правды жизни. Французам, разумеется, нравятся сложные построения — это у них в натуре и очень им удается; ну и превосходно: пусть каждый делает, что умеет. А что касается вашего вопроса, откуда берутся семена вымысла, каким ветром их

---

[183] Примечания: 183
при этом часто страдает архитектура *(фр.)*.

заносит к нам, то кто на это ответит? Пришлось бы возвращаться слишком далеко назад, в свое слишком далекое прошлое. Они падают на нас с неба, они тут как тут за каждым поворотом дороги — вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Они скапливаются, мы постоянно их сортируем, производим отбор. Они — веяние жизни, т. е. я хочу сказать, что так или иначе навеяны нам жизнью. Они некоторым образом нам предписаны и навеяны — занесены в наше воображение потоком жизни. Поэтому и получается такая чепуха, когда суетный критик, не имея достаточно ума, чтобы разобраться в сюжете, выражает свое несогласие с ним. А спросите его: может ли он указать другой, который следовало бы взять? Ведь это прямая обязанность критика — указывать. Il en serait bien embarrasse.[184] Вот когда он мне указывает, что я сумел и что не сумел сделать со своим замыслом, — тут он в своем праве. Так пусть себе бранит меня за «архитектуру» сколько его душе угодно, — закончил мой именитый друг.

Так считал этот замечательный художник, и мне поныне отрадно вспоминать, с какой благодарностью я подхватил его утверждение, что

---

[184] Примечания: 184
В каком бы он был замешательстве *(фр.)*.

случайная фигура, отдельно взятый характер, образ, так сказать en dis-ponibilite,[185] таят в себе неисчерпаемые возможности. Оно более всего до тех пор мною слышанного служило законным оправданием счастливой способности моего воображения — умению наделять вымышленное или подсмотренное в жизни лицо, двух или нескольких лиц свойствами и значением первичного ростка художественного организма. Образы моих героев рисовались мне намного раньше, чем окружающая их обстановка, — и то, что последняя интересует беллетристов прежде всего и раньше всего, всегда вызывало мое недоумение: мне казалось, что за дело берутся не с того конца. Я могу только позавидовать писателю, обладающему даром сначала изобретать фабулу, а потом уже вводить действующих лиц; мне до него далеко, я положительно не способен представить себе фабулу без действующих лиц, которые нужны хотя бы для того, чтобы дать ей ход, положительно не способен представить себе ситуацию, которая была бы интересна независимо от нрава тех, по чьей милости она создалась, а следовательно, и того, как они ее воспринима-

---

[185] Примечания: 185
ищущий своего места *(фр.).*

ют. Есть, разумеется, так называемые приемы — особенно у романистов, пользующихся успехом, — преподнести ситуацию так, чтобы она существовала сама по себе, ни на что не опираясь, но я всегда буду помнить, сколь ценно было тогда для меня свидетельство замечательного русского писателя, разрешавшее меня от необходимости проделывать в угоду устоявшимся канонам подобные гимнастические упражнения. Живы во мне и другие отзвуки, исходящие из того же источника; они не умолкают — скорее даже сливаются в единый всеобъемлющий отзвук. Можно ли было после этого не решить для себя — и с немалой пользой — этот затасканный, затертый, запутанный вопрос об объективной ценности «сюжета» в романе и, более того, не разобраться в мнении критики на этот счет?

В сущности, каждому из нас искони присуще верное понимание и подобных ценностей, и, стало быть, нелепости набившего оскомину спора о сюжетах «безнравственных» или «нравственных». Всегда признавая лишь одну меру в оценке достоинства сюжета, не сомневаясь, что если можно честно ответить — да, он значителен, т. е. достоверен, искренен, навеян непосредственным впечатлением и восприятием жизни, то все про-

чие вопросы отпадают, я, как правило, находил для себя мало поучительного в критике, которая с самого начала отказывалась исходить из каких бы то ни было основных положений, определять какие бы то ни было термины. Атмосфера моей юности вспоминается мне затемненной суесловием критики — да и сегодня различие, пожалуй, только в том, что у меня кончилось к ней терпение, иссяк интерес. Что же до упомянутого спора, то наиболее существенной и плодотворной представляется мне та истина, что «нравственный» смысл произведения искусства находится в прямой зависимости от того, сколько пропущенной через себя жизни вместил в него его создатель. Таким образом, все, очевидно, сводится к характеру и степени изначальной восприимчивости художника — к той почве, в которой прорастает его сюжет. Качество и возможности этой почвы, ее способность «взращивать» любое впечатление, сохраняя его первоначальную свежесть и непосредственность, обусловливают меру значительности вложенного в художественное произведение нравственного смысла. Этим понятием мы лишь обозначаем более или менее тесную связь между сюжетом и неким отпечатком в сознании художника, неким подлинным

его опытом. Говоря так, я, разумеется, вовсе не отрицаю, что тот всепроникающий дух личности художника, которым в конечном счете и определяется достоинство его работы, имеет необычайно широкие градации, являясь в одном случае средой богатой и возвышенной, а в другом — сравнительно скудной и низменной. В этом-то и заключается высокая ценность романа как литературной формы — его способность охватывать, притом целиком сохраняя свою форму, все различия индивидуального отношения к общей для всех теме, все многообразные взгляды на жизнь, все методы ее отражения и изображения, порожденные условиями и обстоятельствами, неизменно отличными от писателя к писателю (или, применительно к нашим временам, от писателя к писательнице), и, однако, оставаться самим собой, более того, тем лучше проявлять свою суть, чем больше автор укрепляет или, напротив, чуть ли не разрывает всяческими отклонениями от обычного его оболочку.

Другими словами, в доме литературы не одно окно, а тысячи и тысячи — столько, что со всеми теми, какие еще, возможно, появятся на его необозримом фасаде, их попросту не счесть, и каждое из них было или будет проделано в силу

потребностей индивидуальной точки зрения и силою индивидуальной воли. Эти отверстия, различные по форме и размеру, все расположены над сценой человеческой жизни, так что, казалось бы, свидетельства о ней должны больше сходиться, чем это происходит на самом деле. Но ведь перед нами в лучшем случае только окна, всего лишь пробоины в глухой стене, отделенные друг от друга, расположенные на большой высоте, а вовсе не двери, посаженные на петли и распахивающиеся прямо в жизнь. Однако у этих окон есть своя особенность: за каждым из них стоит человек, вооруженный парой глаз или на худой конец биноклем, а пара человеческих глаз — чему мы снова и снова находим подтверждение — непревзойденный для наблюдения инструмент, и тому, кто умеет им пользоваться, обеспечены единственные в своем роде впечатления. Он и его соседи смотрят все тот же спектакль, но один видит больше, а другой меньше, один видит черное, а другой белое, один — грандиозное там, где другой — ничтожное, один — грубое там, где другой — прекрасное, и так далее и тому подобное. Чего только не может открыться каждой паре этих глаз, смотрящей из своего окна! Предсказать это, к счастью, невозможно — «к

счастью» потому, что обзор из него всегда неповторим. Это широко раскинувшееся поле, сцена человеческой жизни, и есть «выбор сюжета», а проделанные в стене отверстия — то широкие с балконами, то щелевидные или низкие с нависающей перемычкой — «литературная форма», но и то и другое, порознь или вместе, ничто без, стоящего на посту наблюдателя, иначе говоря, без сознания художника. Скажите мне, кто этот художник, и я скажу вам, что он увидел и что осознал. И тем самым покажу и безграничность его свободы, и его «нравственные» критерии.

Все это, однако, затянувшаяся прелюдия к рассказу о том, как я сделал свой первый нетвердый шаг к «Портрету», заключавшийся в том, что в моем уме запечатлелся некий характер — приобретение, доставшееся мне при обстоятельствах, в которые нет смысла углубляться. Довольно сказать, что, как мне казалось, я полностью им владел, владел уже давно, и хотя по этой причине с ним очень сжился, он не утратил для меня своего очарования, и я, ни на минуту не забывая о нем и все время мучаясь им, видел его в развитии, так сказать, в становлении. Видел его, если угодно, решительно ступившим навстречу избранной судьбе, но какой из множества воз-

можных судеб, вот в чем был вопрос. Характер этот я представлял себе очень живо — да, живо, как ни странно, потому что он все еще рисовался мне в общих чертах, вне связи с какими бы то ни было условиями своего существования, вне какого бы то ни было клубка интриги, которая по общепринятому мнению более всего способна создать впечатление подлинности. Можно ли видеть живо туманный образ, которому еще только предстоит обрести свое место в ходе событий — поскольку именно таким методом чаще всего определяют значение подобной величины? На этот вопрос ничего не стоило бы ответить, если бы мы обладали тонким или, вернее сказать, противоестественным умением описывать происходящие в нашем воображении процессы. Тогда можно было бы описать, что же поразило его в ту или иную минуту, — например, более или менее внятно рассказать, как счастливый случай помог ему заимствовать (заимствовать у самой жизни) некую уже отлитую форму, одухотворенную фигуру. Заимствованная мною фигура обрела, как видите, в этом смысле свое место — в воображении, которое удерживает ее, хранит, лелеет и любуется ею, помня о ее присутствии в темной, набитой всякой всячиной кладовой

ума, подобно тому как осмотрительный торговец различными драгоценными вещицами, подчас дающий и ссуды под редкие изделия, помнит об оставленной ему в заклад таинственной светской дамой в стесненных обстоятельствах или антикваром-любителем «безделке», чьими достоинствами он может наслаждаться вновь и вновь, стоит только щелкнуть ключом в дверце шкафа.

Пусть грешит некоторой натянутостью уподобление, избранное мной для «ценности», о которой идет речь, т. е. для образа молодой женщины, находившегося столь необычно долгое время в моем единовластном распоряжении, но моей признательной памяти оно кажется вполне подходящим случаю, особенно если принять в расчет, как благоговейно я хотел поместить мое сокровище в самое подобающее для него место. Вот почему я весьма напоминал себе торговца, который вместо того, чтобы реализовать драгоценную вещицу, решается оставить ее на неопределенное время под замком, лишь бы не отдавать, сколько бы за нее ни предлагали, в недостойные руки. Ибо среди торговцев прекрасными формами, фигурами, сокровищами существуют люди, способные на такую тонкость чувств. Дело, однако, в том, что у меня в наличии только и был

поначалу, когда я приступил к сооружению столь огромного здания, как «Женский портрет», этот небольшой краеугольный камень, этот образ молодой женщины, бросающей вызов своей судьбе. И вот вырос большой просторный дом — по крайней мере таким он мне показался, когда сейчас я вновь прошелся по нему; но, какой бы он ни был сейчас, в те времена его нужно было возводить вокруг моей молодой женщины, стоявшей в полном одиночестве. Вот это-то обстоятельство и представляет интерес для художника; сознаюсь, я с головой окунулся в любопытнейшую вещь — в анализ всей постройки. Благодаря какому процессу логического приращения эта хрупкая «личность», эта пока еще бесплотная тень некой умной, но излишне самонадеянной девушки могла обрести высокое значение Сюжета? И как же искусно — и этим еще мало сказано! — нужно было производить кладку, чтобы не загубить такой сюжет? Тысячи и тысячи самонадеянных девиц, умных и неумных, ежедневно бросают вызов своей судьбе, какой же из ряда вон должна оказаться эта судьба, чтобы подымать вокруг нее много шума. Ибо что такое роман, как не «шум» — шум по тому или иному поводу, и чем длиннее роман, тем этого шума, разумеется, больше. Стало

быть, мне предстояло сознательно стремиться к тому, чтобы создать как можно больше шума вокруг Изабеллы Арчер.

Насколько помнится, задача, которую я поставил себе, казалась мне особенно притягательной именно потому, что я полностью отдавал себе отчет в ее необычности. Стоит только приложить к любой такой задаче чуть-чуть ума, и сразу становится ясным, насколько она богата содержанием, ибо, вглядываясь в жизнь, просто диву даешься, до чего жадно, до чего непомерно бессчетные Изабеллы Арчер и даже еще меньшие пушинки упорно желают хоть что-нибудь да значить. Это превосходно отметила Джордж Элиот: «В столь хрупких сосудах от века хранятся сокровища человеческого чувства». В «Ромео и Джульетте» Джульетта играет важнейшую роль, равно как и Хетти Соррел в «Адаме Биде», Мегги Талливер в «Мельнице на Флоссе», Розамонд Венси в «Миддлмарче» и Гвендолен Харлит в «Дэниеле Деронде»,[186] пусть им отведен небольшой кло-

[186] Примечания: 186

Хетти Соррел — героиня романа Джордж Элиот «Адам Вид» (1859), Мегги Талливер — героиня романа Джордж Элиот «Мельница на Флоссе» (1860), Розамонд Венси — героиня ее же романа «Миддлмарч» (187 1 — 1872), Гвендолен Харлит — героиня романа «Дэниел Деронда» (187b). Все эти героини отличаются сильным характером и стремлением к независимости.

чок земли, но он надежен, пусть уделено немного воздуху, но он не удушлив, тем не менее все они принадлежат к разряду героинь, на которых в каждом отдельном случае невероятно трудно сосредоточить интерес читателей, настолько трудно, что многие опытнейшие художники, как, например, Диккенс и Вальтер Скотт или даже такой, в общем тонкий мастер, как Стивенсон,[187] предпочли вовсе не ставить себе подобного задания. Конечно, немало писателей, которые, судя по всему, уклоняются от этой проблемы под тем предлогом, что она и не стоит того, чтобы за нее браться, и с помощью такой, по правде сказать, малодушной отговорки кое-как спасают свою честь. Разумеется, плохо изобразив ценный предмет, мы вряд ли утвердим его ценность или даже наше несовершенное понимание этой ценности, вряд ли внесем даже малую лепту в открытие истины. Художнику вряд ли удастся передать свои смутные прозрения, если у него получится художественно слабая вещь. Стало быть, ему следует искать иной путь — лучший, а что может

[187] Примечания: 187

Стивенсон Роберт Луис (1850–1894) — английский писатель — был личным другом Генри Джеймса, который с большим сочувствием относился к творческим поискам Стивенсона и неоднократно выражал свое восхищение им как мастером прозы (см. «Henry James and Robert Louis Stevenson. A record of friendship and criticism», ed. by J. A. Smith. L., 1948).

быть лучше, нежели браться за дело с умом?

Однако мне могут возразить по поводу ссылки на Шекспира и Элиот, что, когда они признают за своими Джульеттами, Клеопатрами и Порциями (особенно за Порцией, воплощающей в себе тип и образец умной, уверенной в себе молодой женщины), равно как за Хетти и Мегги, Розамонд и Гвендолен, «значительность», ни тот, ни другая все же не идут до конца: выступая в качестве основной опоры главной темы, тростинки эти неспособны одни нести на себе весь необходимый груз, и эта неспособность их восполняется и комическими эпизодами, и, как говорят драматурги, побочными сюжетными линиями, а то и всякими убийствами, сражениями и мировыми катаклизмами. Если эти молодые женщины и представлены «значительными» — в той мере, в какой они могут на это притязать, — то их значительность подтверждается посредством сотен других действующих лиц, вылепленных из куда более прочного материала и, сверх того, вовлеченных в сотни отношений, для них весьма значительных. Клеопатра безгранично много значит для Антония, но его соратники, его противники, Римское государство и предстоящее сражение значат для него не меньше; Порция

много значит для Антонио, и для Шейлока, и для принца Марокканского, и для пятидесяти прочих принцев — искателей ее руки, но все эти господа заняты не только ею, но и многим другим: так, для Антонио весьма важен Шейлок, и Бассанио, и постигшая его неудача в делах, и то безвыходное положение, в котором он оказался. Это его безвыходное положение, в свою очередь, много значит и для Порции, и для нас, хотя нам оно интересно лишь в связи с Порцией. И это последнее обстоятельство в совокупности с конечным возвращением действия пьесы все к той же Порции еще раз доказывает, насколько я прав, приводя ее как отменный пример того, что молодая девушка сама по себе может представлять значительную ценность. (Я говорю молодая девушка «сама по себе», так как убежден, что, хотя внимание Шекспира поглощали страсти королей и принцев, вряд ли и он сказал бы, что причиной его интереса к Порции было ее высокое положение в обществе.) Перед нами, несомненно, пример того, как художник преодолел одну из величайших– трудностей: если он и не приковал целиком наше внимание к тому «сосуду хрупкому», о котором говорит Джордж Элиот, то, во всяком случае, открыто и прямо к нему привлек.

Когда преданный своему делу художник видит, что другой не устрашился исключительной трудности, этот прекрасный пример бередит ему душу — бередит так глубоко и с такой силой, что вызывает желание потягаться с еще большей опасностью. Уж если трудность, то величайшая из возможных — за другую не стоит и браться! Помню, я чувствовал (хотя, по обыкновению, и сознавал всю шаткость своей позиции), что нужно искать какой-то иной, лучший, путь — самый лучший из всех! — и одержать на нем победу. Этот хрупкий сосуд, хранящий, по выражению Джордж Элиот, «сокровище» и оттого важный для тех, кому любопытно заглянуть в него, равно как, должно быть, и для себя самого, — этот сосуд наделен возможностями, которые, коль скоро их признали, не только допускают, но и диктуют необходимость истолкования. Однако всегда есть способ уйти от подробного анализа виновницы этих чар, перебросив спасительный мост для отступления и бегства, — иными словами, описав ее отношения с теми, кто ее окружает. Опиши в своем романе их отношения с ней, и дело будет сделано: ты передашь общее впечатление, которое производит твоя героиня, передашь его с необычайной легкостью и с той же легкостью

утвердишь на нем всю свою постройку. Но помню, как мало я прельщался этой легкостью и, уже держа главные нити в руках, как искал способы избавиться от нее, честно распределив груз между двумя чашами весов. «Помести центр сюжета в сознание твоей героини, — говорил я себе, — и вот тебе одна из интереснейших и привлекательнейших по трудности задач. Сделай ее сознание центром романа, и пусть больший груз ляжет на эту чашу — чашу, где сосредоточены ее отношения с самою собой. Разумеется, она должна также в достаточной мере интересоваться и тем, что ее окружает; у нее должны быть самые разнообразные отношения с внешним миром — этого страшиться не следует. А на другую чашу положи груз поменьше (хотя это и есть тот груз, которым обычно определяется читательский интерес); короче говоря, меньше упор на сознание тех, кто входит в ее орбиту, особенно на мужскую половину, они должны лишь дополнять основной интерес. Во всяком случае, попробуй, что у тебя получится на этом пути. Здесь хватит простора для должной изобретательности. Эта девушка пленительным видением неотступно стоит перед тобой, и все, что от тебя требуется, — это изобразить ее с помощью наиточнейших терминов

выведенной выше формулы, постаравшись ни единого не пропустить. Но помни, чтобы достичь цели, ты должен безраздельно положиться на свою героиню со всеми ее маленькими заботами, иначе она у тебя не получится».

Так я рассуждал, и, как теперь вижу, не что иное, как строгость художественного решения вселила в меня необходимую уверенность и позволила возвести на таком клочке земли кирпичную громаду; стройную, тщательно отделанную, пропорциональную, которой тогда еще только предстояло стать — я разумею принципы ее построения — неким литературным монументом. Именно с этой точки зрения я смотрю сегодня на «Портрет» — сооружение, созданное, как сказал бы Тургенев, с надлежащим знанием законов «архитектуры», что, по мнению самого автора, позволяет видеть в нем самое пропорциональное из всех его творений, исключая лишь «Послов» [5]— романа, последовавшего много лет спустя и, без сомнения, более соразмерного. Одно я решил твердо: хотя ради того, чтобы внушить к моему строению интерес, придется класть его по кирпичику, я не дам ни единого повода для упрека в нарушении чистоты линий, масштаба или перспективы. Я решил строить

с размахом, не скупясь, так сказать, на лепные своды и расписные арки, и, разумеется, сделать все возможное, чтобы читатель ни в коем случае не заподозрил, что мозаичные полы под его ногами не везде достигают основания стен. Этот дух осмотрительности, которым так и пахнуло на меня при перечитывании романа, — былая нота, очень меня тронувшая: в ней я услышал подтверждение тому, что я и впрямь усердно старался развлечь читателя. Я чувствовал, что сюжет мой, возможно, имеет свои уязвимые стороны и, стало быть, никакие старания не будут излишни; прилагая их, я просто следую тем путем, каким обычно ведутся такие поиски. Только так я и могу объяснить себе развитие моей фабулы, только на этот счет я могу отнести все происшедшие затем неизбежные приращения, все возникшие по ходу дела усложнения. Естественно, мне было крайне важно, чтобы моя героиня была натурой сложной — это разумелось само собой; во всяком случае, в таком свете Изабелла Арчер явилась передо мной впервые. Но его было недостаточно, и что только ни пришлось пустить мне в ход — самые разные источники света, пересекающиеся, сталкивающиеся, многокрасочные лучи всевозможных цветов, точь-в-точь как от ракет,

шутих и огненных колес во время большого фейерверка, — чтобы убедить в ее сложности и читателя. Я, несомненно, обладал чутьем по части запутанных ходов, так как решительно не могу проследить, каким образом я набрел на те, из которых сложилась моя фабула. Вот они все передо мной, какие ни на есть и сколько ни на есть, но, сознаюсь, я совершенно не помню, как и откуда они взялись.

Мне кажется, что, проснувшись однажды утром, я увидел их всех разом: Ральфа Тачита и его родителей, мадам Мерль, Озмонда с дочерью и сестрой, лорда Уорбертона, Каспара Гудвуда и мисс Стэкпол — парад участников истории Изабеллы Арчер. Я узнал их, они были мне знакомы, были непременными условиями моей задачи, зримыми пружинами моей «интриги». Они словно сами собой, по собственному почину, появились на моем горизонте с единственной целью — откликнуться на мучивший меня вопрос: что же она будет у меня делать? Ответ их, по-видимому, сводился к тому, что, если я согласен им довериться, они мне это покажут; и я им доверился, умоляя при этом только об одном: постараться придать повествованию возможно большую занимательность. Они были чем-то

вроде распорядителей и музыкантов, прибывших всей компанией на поезде в загородный дом, где собираются дать бал; их подрядили выполнить контракт, заключенный на устройство этого бала. Такие отношения с ними — даже со столь ненадежной (по причине непрочности ее связи с ходом событий) особой, как Генриетта Стэкпол, — вполне мне подходили. Какой писатель, особенно в решительный для себя час, не помнит о той истине, что в любом произведении одни элементы относятся к сути, другие — к форме, одни характеры и положения принадлежат сюжету, так сказать, непосредственно, другие — лишь косвенно, являясь в целом лишь частью механизма повествования. Однако какая ему от этой истины выгода, коль скоро она не находит подтверждения в критике, основанной на правильном понимании искусства, и такой критики у нас почти что и нет. Впрочем, позволю себе заметить, писателю не пристало думать о выгодах — на этом пути легко оступиться! — разве что об одной-единственной, именуемой вниманием в самой его простой, даже простейшей форме; ее-то он и должен подчинить своим чарам. Вот все, на что автор имеет право; он не имеет ни малейшего права — и вынужден себе в этом признаться —

ожидать от читателя ничего такого, что явилось бы результатом работы мысли или проницательной оценки. Конечно, он может удостоиться этой величайшей награды, но лишь на том условии, что примет ее как милостивое «подаяние», как чудесный дар, как плод, упавший с дерева, которое он и намерения не имел трясти. Против работы мысли, против проницательной оценки в пользу писателя ополчились, кажется, все силы земные и небесные, а потому, повторяю, он с самого начала должен приучить себя работать только ради «куска хлеба». Его кусок хлеба — это тот минимум внимания, который необходим, чтобы подействовали «чары» искусства. А все усилия читательского разумения сверх и свыше того — не более чем случайные, хотя и желанные «чаевые», золотое яблоко, свалившееся на колени к автору с растревоженных ветром ветвей. Разумеется, художник с его безудержной фантазией всегда будет мечтать о Рае (для искусства), где он мог бы на законных основаниях взывать непосредственно к разуму, и вряд ли можно надеяться, что его неуемная душа когда-нибудь совсем откажется от этой своей причуды. Пусть хотя бы помнит, что это только причуда, — большего от него нельзя и требовать.

Все это рассуждение лишь ловкий маневр, для того чтобы сказать, что Генриетта Стэкпол из «Портрета» является превосходным примером, подтверждающим ту истину, о которой шла речь, — я даже сказал бы превосходнейшим, если бы Мария Гострей из «Послов»,[188] тогда еще пребывавшая в зародыше, не была еще лучшим. Обе эти особы служат всего только колесами в нашей карете; ни та, ни другая не входит в ее корпус, равно как не удостаивается чести занять место внутри. Там располагается его величество Сюжет в лице «героя и героини» и тех привилегированных сановных особ, которые ездят вместе с королем и королевой. По многим причинам очень бы хотелось, чтобы читатель это почувствовал, как, впрочем, хотелось бы, чтобы он почувствовал и все остальное в романе совсем так, как чувствовал сам автор, когда его писал. Но мы уже видели, сколь бесполезно предъявлять подобное требование, и я отнюдь не собираюсь чрезмерно на нем настаивать. Итак, повторяю: и

[188] Примечания: 188

«Послы» — роман Генри Джеймса, опубликованный им в 1901 г. В этом романе повествование последовательно ведется с точки зрения главного героя — Стрезера. Джеймс, разрабатывавший метод передачи действительности через единое воспринимающее сознание, считал, что в романе «Послы» он достиг поставленной цели, с достаточной наглядностью и художественной убедительностью продемонстрировав новую технику письма.

Мария Гострей,[189] и мисс Стэкпол принадлежат к категории ficelle,[190] а не к подлинным движущим силам; они могут, что называется, «во весь опор» бежать бок о бок с каретой, могут льнуть к ней, пока хватает дыхания (как оно и происходит в случае с мисс Стэкпол), но ни той, ни другой не дано ни разу хотя бы поставить ногу на откидную ступеньку, ни та, ни другая даже на мгновение не покидает пыльной дороги. Напрашивается и еще одно сравнение — с женщинами из простонародья, которые в недоброй памяти день первых лет Французской революции помогали препровождать из Версаля в Париж экипаж с королевской семьей.[191] Согласен, мне вправе задать вопрос: почему же в таком случае я позволил Генриетте (с которой, не спорю, мы встречаемся слишком

---

[189] Примечания: 189

Мария Гострей — второстепенный персонаж из романа «Послы», от которой главный герой узнает ряд сведений, необходимых для полного понимания и правильной оценки описываемых в романе событий.

[190] Примечания: 190

Зд. винтик (фр.).

[191] Примечания: 191

В начале октября 1789 г. Людовик XVI и его семья, находившиеся в Версале, попытались осуществить побег из Франции. Революционный народ Парижа — в основном женщины — направился в Версаль и вынудил короля вернуться в столицу. Не доверяя отряду национальной гвардии, конвоировавшей пленников, женщины всю дорогу от Версаля в Париж бежали рядом с экипажем.

часто) так навязчиво, так необоснованно, так непостижимо разрастись. Ниже я постараюсь привести свои оправдания — объясниться самым исчерпывающим образом.

Но прежде мне хотелось бы задержаться на другом, более важном предмете: если с теми участниками моей драмы, которые в отличие от мисс Стэкпол были ее подлинными движущими силами, у меня благодаря оказанному им доверию сложились прекрасные отношения, то оставалось установить отношения с читателем, а это уже дело совсем иного рода, и его, я чувствовал, нельзя доверить никому. Мне самому надлежало взять на себя заботу о нем, и выразилась она в изощренном терпении, с каким, как уже говорилось, я складывал мое здание по кирпичику. Этих кирпичиков, если вести им счет, — а под кирпичиками я разумею то легкий мазок, то занятную выдумку, то оттеняющий штрих — набралось бы, пожалуй, неисчислимое множество, все тщательно уложенные и пригнанные один к одному. Таково мое впечатление от частностей, от мельчайших деталей, хотя, если говорить чистосердечно, хотелось бы надеяться, что и весь этот непритязательный памятник с точки зрения его общего, более широкого замыс-

ла тоже выстоит. Мне по крайней мере кажется, что я нахожу ключ к этой громаде тщательно и продуманно собранных подробностей, когда вспоминаю, как в интересах моей героини задал себе вопрос относительно того, в чем она с наибольшей очевидностью могла бы проявить себя: что же она будет делать? Ну, пусть на первый случай отправится в Европу, а это для нее вполне естественно и неизбежно уже какое-то приключение. Правда, в наш удивительный век путешествие в Европу даже для «сосудов хрупких» — весьма скромное приключение; но разве не будет правильнее — хотя бы ради того, чтобы избавить их от потопов и циклопов, от трогающих сердца несчастных случайностей, от битв, убийств и внезапных смертей, — если приключения моей героини окажутся более или менее скромными? Вне восприятия их ее сознанием, вне восприимчивости к ним ее сознания, если так можно сказать, они мало что значат; и разве нет красоты и сложности в изображении того, как это сознание неким непостижимым путем претворяет их в самую ткань драмы или, выбирая слово поделикатнее, «истории»? Он был отчетлив, мой замысел, как звон серебряного колокольчика! Хорошим примером такого претворения, случаем

чудесной алхимии, представляется мне то место в романе, когда Изабелла, войдя дождливым вечером в гостиную Гарденкорта то ли после прогулки по мокрым дорожкам, то ли при каких-то иных обстоятельствах застает там мадам Мерль — мадам Мерль, самозабвенно и вместе с тем невозмутимо играющую на фортепьяно, — и под воздействием этого сумеречного часа, под воздействием присутствия среди сгущающихся в комнате теней этой женщины, о которой минуту назад ничего не знала, вдруг прозревает поворотный момент в своей судьбе. Нет ничего хуже, чем, говоря о произведении искусства, без конца ставить точки над i и разъяснять свои намерения, и я вовсе не жажду заниматься этим сейчас, но должен повторить — речь шла о том, чтобы добиться наибольшей внутренней напряженности при наименьшей внешней драматичности.

Нужно было вызвать интерес, взяв самую высокую ноту и при этом сохранив элементы повествования в их обычном ключе, чтобы в случае, если моя затея увенчается успехом, я мог бы показать, какой «захватывающей» является внутренняя жизнь для тех, кто ею живет, хотя ничем особенным она не отличается. Таков был идеал, и, пожалуй, мне нигде не удалось прибли-

зиться к нему с большей последовательностью, чем в сцене бессонной ночи — в начале второй половины книги, — когда моя молодая женщина предается долгим раздумьям, вызванным случайностью, которой предстоит стать важной вехой на ее пути. По сути своей в этой сцене изображены искания пытливого ума, но и двадцать «событий», вместе взятых, не могли бы больше продвинуть действие. Тут нужно было сочетать всю живость события и всю пространственную ограниченность картины. Изабелла сидит у затухающего камина, сидит далеко за полночь во власти смутных подозрений, которые по всему судя, подтверждаются ее последней догадкой. Это изображение того, что своим внутренним взором видит неподвижно сидящая женщина, и вместе с тем попытка сделать ее безмолвное бдение столь же «интересным» для читателя, как неожиданное появление каравана или узнавание пирата. Здесь происходит одно из тех узнаваний, которые так дороги писателю, более того, так необходимы писателю, притом что к его героине никто не подходит и сама она не покидает кресла. Эта сцена, несомненно, лучшее, что есть в романе, но она лишь наиболее точно иллюстрирует общий замысел. Что же касается Генриетты, по поводу

которой я так и не кончил своих оправданий, то этот, боюсь, столь разросшийся персонаж вызван к жизни не столько требованиями замысла, сколько избытком усердия. Мне с самого начала было свойственно в разработке сюжета (коль скоро предоставлялся выбор или грозила опасность) скорее переоснащать его, чем недооснащать. (Многие мои собратья по ремеслу, насколько мне известно, не разделяют здесь мою точку зрения, но я всегда считал, что избыток оснастки — наименьшее зло.) «Оснащая» сюжет «Портрета», я больше всего заботился о том, как бы по нечаянности не забыть, что роман во что бы то ни стало должен быть занимательным. Моя «искусная кладка» таила в себе опасность — и ее нужно было избежать любой ценой, внеся в роман живую струю. Так по крайней мере мне это кажется сейчас. Генриетта, надо полагать, отвечала тогда моему весьма странному представлению о том, что такое живая струя. Замешалось тут и другое обстоятельство. За несколько лет до того, как был начат «Портрет», я переселился в Лондон, где жизнь в ту пору представлялась мне обильно и ярко озаренной светом «интернационального» общения. Этот свет в значительной мере лег и на мою картину. Но это уже другой сюжет. Поистине

всего обо всем не скажешь.

Иван Тургенев[192]

Мы знаем замечательных критиков, которые на вопрос, кто лучший романист нашего времени, не колеблясь, ответят — Иван Тургенев. Проводить параллели — занятие неблагодарное, и мы не станем вдаваться в сравнения, которые могут показаться попросту несправедливыми. Приведенное выше мнение наших друзей служит лишь предлогом, чтобы вкратце изложить собственные впечатления, также в высшей степени положительные. Однако цель наша не в том, чтобы навязать благосклонному читателю свою точку зрения, а в том, чтобы помочь ему еще больше насладиться книгами этого автора.

---

[192] Примечания: 192

Впервые опубликована в 1874 г. в журнале «Норт Американ Ревью» как рецензия на книгу повестей Тургенева «Вешние воды» и «Степной король Лир» в немецком переводе («Frühlingsfluhten. „Ein König Lear des Dorfes“. Zwei Novellen von Ivan Turgeniew, Review. — „The North American Review“, v. CXLIII, April, p. 326–356). В 1878 г. под заглавием „Иван Тургенев“ была перепечатана в книге: „French Poets and Novelists“, by Henry James, Jr. London: Macmillan and Co, 1878.

Джеймс, не владевший русским языком, знакомился с произведениями Тургенева но немецким и французским переводам, которые имелись в домашней библиотеке его отца. К своей первой статье о Тургеневе Джеймс отнесся чрезвычайно серьезно и даже послал ее из Флоренции, где она писалась, отцу в Америку. Генри Джеймс-старший сделал ряд замечаний, с которыми писатель согласился. «Я не сомневаюсь, — писал он отцу в письме от 26 октября 1873 г., — что смогу закончить статью,

и бесконечно благодарен тебе за то, что ты дал мне эту возможность» («Henry James Letters», ed. L. Edel, v. I, Cambridge (Mass.), 1974, p. 405).

Рецензия была отослана Генри Джеймсом-старшим И. С. Тургеневу, который поблагодарил его в ответном письме от 10 августа 1874 г. Автору статьи, Генри Джеймсу-младшему, Тургенев писал: «Ваша статья меня поразила, ибо она вдохновлена тонким пониманием справедливости и истины; в ней есть мужественность, психологическая проницательность и отчетливо выраженный литературный вкус» (см.: *И. С. Тургенев.* Поли, собр. соч. и писем. Письма, т. X, с. 269–270, 445–446). Впоследствии эта статья явилась поводом для визита Генри Джеймса-младшего к Тургеневу в Париж.

Статья «Иван Тургенев» публикуется на русском языке впервые. Текст дан с сокращениями, которые отмечены отточиями ‹…›.

Многие уже наслышаны о Тургеневе, как об известном русском романисте. Всего несколько лет назад даже во Франции, где теперь у него больше всего почитателей, его знали только по имени. Но сейчас все его повести и рассказы — насколько могу судить, без исключения — переведены на французский язык, некоторые им самим; превосходный немецкий перевод лучших его произведений, делавшийся под непосредственным наблюдением автора, публикуется сейчас в Германии, и несколько весьма сносных переводов на английский язык появились в Англии и в Америке.[193] Иван Тургенев пользуется так называемой всеевропейской известностью, которая из года в год растет. Русские, чья литература переживает сейчас период бурного расцвета,

[193] Примечания: 193

На английском языке перевод из произведений И. С. Тургенева — отрывки из «Записок охотника» — впервые появился в 1854 г. в лондонском журнале «Фрэзере мэгезин» («Fraser's Magazine», v. L, p. 209–222). В 1855 г. «Записки охотника» вышли отдельной книгой в Эдинбурге. Переводы эти, сделанные с немецкого и французского языков, изобиловали неточностями и ошибками. В конце 60-х годов в Англии были опубликованы первые переводы из Тургенева с русского языка: в 1869 г. «Лиза» (под таким названием появилось «Дворянское гнездо») в переводе У.Р. С. Ролстона и в 1877 г. «Накануне» в переводе С. Е. Тернера. В Америке первый перевод из Тургенева (с русского) был выполнен в 1867 г. Е. Шуайелером, представившим американскому читателю роман «Отцы и дети». Остальные переводы — в 1872 г. в журнале «Сазери Мэгезин» был напечатан «Степной король Лир», в «Гэлекси» в том же году — «Фауст», а в следующем «Затишье» (под названием «Анчар»), отдельными книгами вышли «Дым» (1871) и

«Дмитрий Рудин» (1873) — делались через языки-посредники.

считают его крупнейшим своим художником. Повести и рассказы Тургенева немногочисленны, и многие из них очень коротки. Он производит впечатление писателя, пишущего скорее по влечению сердца, чем ради денег. Его особенно любят читатели, обладающие развитым вкусом, а ничто, по нашему мнению, так не развивает вкус, как чтение Тургенева.

I

Тургенев — один из немногих чрезвычайно взыскательных к себе художников. Оговоримся сразу: он велик не обилием написанного, а мастерством. Его стихия — пристальное наблюдение. Он не способен к живой, искрометной, смелой выдумке, свойственной Вальтеру Скотту, Диккенсу и Жорж Санд Такая выдумка придает повествователю тьму очарования — на наш взгляд, в целом величайшего. Тургенев ею не владеет; его очарование в другом. Короче, он — писатель, берущий свои впечатления на карандаш. Это вошло у него в привычку, стало, пожалуй, второй натурой. Его рассказы — собрание мелких фактов, жизненных происшествий, людских свойств, списанных, как говорится,

sur le vif.[194] Мы вряд ли ошибемся, сказав, что он подмечает и записывает то какую-нибудь особенность характера, то отрывок разговора, позу, черту, жест, а потом эти заметки могут пролежать хоть двадцать лет, пока не настанет время их использовать, пока не найдется им должное место. «Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски, слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, — и всегда держался того мнения, что — нельзя».[195] Автор такого описания, возможно, не застрахован от просчетов, но никогда не грешит расплывчатостью. У Тургенева страсть к точности, к четкому изображению, к предельно ясным примерам. Иногда начинает даже казаться, что он любит частности, как библиофил любит даже те книги, которые никогда не читает. Тургенев пишет своих персонажей, как художник пишет портрет: в

[194] Примечания: 194
с натуры (фр.).

[195] Примечания: 195
«Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски…» — цитата из романа И. С. Тургенева «Накануне» (гл. III).

них всегда есть что-то особенное, своеобычное, чего нет ни в ком другом и что освобождает их от гладкой всеобщности [...]

Тургенев в кругу французских писателей (Доде, Флобер, Золя, Тургенев), Гравюра с рисунка. ИРЛИ (Пушкинский дом)

Если по манере он — реалист-исследователь, то по натуре — серьезный и внимательный наблюдатель, и в силу этого своего качества охватывает великий спектакль человеческой жизни шире, беспристрастнее, яснее и разумнее, чем любой

другой известный нам писатель. И в этом он всегда остается верен присущей ему точности метода: можно подумать, что он распределил свои темы по рубрикам и движется от одной к другой без многоречивой претензии Бальзака именоваться великим художником человеческой комедии, но с глубоко продуманным намерением все охватить и оценить. С нашей точки зрения, ни один романист, исключая разве Джордж Элиот, не уделяет такого внимания столь многим явлениям жизни, не стремится затронуть их со столь различных сторон. Вальтера Скотта занимают приключения и подвиги, примеры благородства и героизма из старинных баллад, крепкий юмор шотландских крестьян; Диккенса широко и разнообразно занимает все комическое, чудачливое и сентиментальное; Жорж Санд занимают любовь и минералогия. Но все они прежде всего и превыше всего заняты фабулой, ее извивами, поворотами и неожиданностями, заняты взятой на себя задачей развлечь читателя. Даже Джордж Элиот, которую занимает еще и многое другое, питает слабость к закругленным сюжетам и часто растягивает повествование за счет вставных эпизодов, в которых растворяется нравственная суть ее романов. Разительный тому пример — эпизод

с Булстродами в «Миддл-марч» или вся фабула «Феликса Холта».[196] Что касается формы, Тургенев, как мы уже сказали, лишен этой чарующей своим богатством изобретательности, но по части содержания решительно нет такого явления, которое не занимало бы его. Все слои общества, все типы характера, все степени богатства и нищеты, все виды нравов прошли через его руки; его воображение собирает дань как в городе, так и в деревне, с богатых и бедных, мудрых и дураков, dilettanti и крестьян, с трагического и комического, с возможного и невероятного. Он видит все наши страсти и сочувственно вникает в удивительную сложность нашего внутреннего мира. В «Муму» он рассказывает о глухонемом дворнике — крепостном крестьянине — и комнатной собачонке, а в «Странной истории» описывает случай потрясающего религиозного фанатизма. Но при всей его любви менять угол зрения цель у него всегда одна — найти эпизод, персонаж, ситуацию нравственно значимые. В этом огромное достоинство его прозы, в этом же причина того, отчего его излишнее на первый взгляд внимание к частностям никогда не бывает неуместным.

[196] Примечания: 196

«Феликс Холт» — роман Джордж Элиот «Феликс Холт — радикал» (1866).

Он считает, что «сюжет» имеет первостепенное значение в искусстве: есть сюжеты легковесные и серьезные, и последние во сто крат лучше первых, превосходя их тем, что сообщают нам несравненно больше сведений о человеческой душе. В эту душу он всегда старается заглянуть как можно глубже, хотя нередко смотрит через затененное отверстие ‹…›

II

Все свои темы Тургенев заимствует из русской жизни и, хотя действие его повестей иногда перенесено в другие страны, действующие лица в них всегда русские. Он рисует русский тип человеческой натуры, и только этот тип привлекает его, волнует, вдохновляет. Как у всех великих писателей, его произведения отдают родной почвой, и у того, кто прочел их, появляется странное ощущение, будто он давно уже знает Россию — то ли путешествовал там во сне, то ли обитал в какой-то другой жизни. Тургенев производит впечатление человека, который не в ладу с родной страной — так сказать, в поэтической ссоре с ней. Он привержен прошлому и никак не может понять, куда движется новое. Американскому читателю подобное душевное состояние особенно

понятно: появись в Америке романист большого масштаба, он, надо полагать, находился бы в какой-то степени в таком же умонастроении. Тургенев обладает даром глубоко чувствовать русский характер и хранит в памяти все былые русские типы: дореформенных, крепостных еще, крестьян, их до варварства невежественных самодуров-помещиков, забавное провинциальное общество с его местными чудаками и нелепыми обычаями. Русское общество, как и наше, только еще формируется, русский характер еще не обрел твердых очертаний, он непрестанно изменяется, и этот преображенный, осовремененного образца русский человек с его старыми предрассудками и новыми притязаниями не представляется отрадным явлением тому, кому дороги вековые, устоявшиеся образы. Замечательный сатирик, о чем у нас еще будет случай сказать, Тургенев особенно беспощаден к модным умствованиям, характерным для его соотечественников. Явная цель его романа «Отцы и дети» противопоставить этих сторонников нового старому; в большинстве его последних произведений, и прежде всего в романе «Дым», они воплощены в разнообразно гротескные фигуры.

Однако впервые Тургенев заставил говорить

о себе как автор не сатирических, а подлинно поэтических портретов. Его «Записки охотника», опубликованные в 1852 г., явились, как утверждает один из двух переводчиков этого произведения на французский язык, не менее важным вкладом в дело освобождения крестьян в России, чем знаменитый роман Бичер-Стоу[197] в борьбу за отмену рабства в Америке. Это утверждение, возможно, несколько преувеличенное: рассказы Тургенева, составившие «Записки», кажутся нам не столько страстным piece de circonstance,[198] сколько беспристрастным произведением искусства. Но обстоятельства, несомненно, сыграли свою роль, и на русских читателей книга произвела огромное впечатление — впечатление, которое свидетельствует об их немалой культуре. Ибо можно с уверенностью сказать, что ни одно полемическое произведение не было написано в таких не свойственных этому жанру приглу-

[197] Примечания: 197

Имеется в виду роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852), заклеймивший рабство негров в южных штатах США. «Хижина дяди Тома» была с восторгом воспринята американскими аболиционистами. Когда позже, во времена Гражданской войны, Бичер-Стоу была представлена Аврааму Линкольну, президент приветствовал ее словами: «Так это вы — та маленькая женщина, которая вызвала эту большую войну?»

[198] Примечания: 198

произведение на злобу дня *(фр.)*.

шенных, как выразились бы художники, тонах. Автор показывает нам столь мизерную долю бьющих в глаза ужасов, что нравственный смысл его «Записок» очевиден лишь проницательным читателям. Ни один эпизод не служит прямым обвинением «пресловутому установлению» — русскому крепостничеству, и приговор ему вытекает из всей совокупности свидетельств, из множества тончайших штрихов — из того щемящего чувства, которое охватывает вдумчивого читателя, когда он доходит до конца книги, и заставляет его задуматься. Трудно назвать другое литературное произведение, заключающее в себе лучший урок тем горячим головам, которые так любят заводить споры о «чистом искусстве». «Записки охотника» являют собой превосходный пример того, как нравственное содержание придает смысл форме, а форма подчеркивает нравственное содержание. Эта книга отличается всеми характерными достоинствами тургеневской манеры, включая несколько дилетантскую свободу в построении, настолько полюбившуюся многим читателям, что последние романы Тургенева даже показались им в известной мере, если так можно выразиться, скованными. Из всего им написанного «Записки», несомненно, самая

привлекательная его вещь ‹…›.

Последовавший вскоре затем роман «Рудин» может, пожалуй, служить нагляднейшим свидетельством того предпочтения, которое Тургенев оказывает темам, опирающимся на изображение характера — даже, если требуется, непривлекательного характера. У нас не было сейчас возможности освежить в памяти эту историю, но мы не забыли, что в свое время она заинтересовала нас удивительным свойством — атмосферой психологической достоверности, свободной от привычного психологического набора. Тема романа относится к числу тех, которые мало что говорят неразвитому воображению: в ней выведен характер необычайно неровный, неустоявшийся, неопределившийся, идущий в разрез с распространенными романтическими представлениями. Димитрий Рудин, подобно многим другим тургеневским героям, оказывается несостоятельным в нравственном отношении — это одна их тех сложных на свою и чужую беду натур, которые доставляют друзьям так много радостей и так много огорчений, которые способны и вместе с тем неспособны на великие дела; натуры сильные в своих порывах, словах, ответных побуждениях, но слабые

волей, поступками, способностью чувствовать и действовать по собственному почину. Подобный тип, всегда столь же интересный для людей с богатым воображением, сколь непереносимый для людей рациональных, хорошо известен нам по «Орасу» Жорж Санд, запечатлевшей его крупными, свободными мазками; тургеневский герой — тщательно выписанная миниатюра. Тому, кто не читал «Рудина», вряд ли откроется, какие тонкие штрихи способен наносить тургеневский карандаш. Но при всей психологической проницательности Тургенева, равно как и всей широте обобщения Жорж Санд, их живопись была бы невыразительна, а романы скучны, если бы и тот и другая беспрестанно не заботились о драматической стороне повествования. У Тургенева положительно все принимает драматическую форму; он, очевидно, вообще неспособен представлять себе что-либо вне ее, постигать что-либо в виде голых идей; идея в его сознании всегда воплощается в того или иного индивида, с тем или иным носом и подбородком, в той или иной шляпе и жилете, которые так же выражают эту идею, как внешний вид печатного слова — заключенное в нем значение. Абстрактные возможности тотчас претворяются сознанием

Тургенева в конкретные положения, где каждая деталь не менее искусно подобрана и определена к своему месту, чем в интерьерах Месонье.[199] Вот отчего, читая Тургенева, мы всегда смотрим и слушаем, и порою нам даже кажется, что из-за отсутствия путеводной нити пояснений видим много больше, чем понимаем (…)

III

О писателях, пользующихся нашим особым вниманием, всегда хочется узнать больше, чем удается из их произведений, и многих американских читателей, надо полагать, одолевает дружеское любопытство относительно частной жизни и личности Тургенева. Увы, мы вынуждены сознаться, что наши сведения на этот счет крайне скудны. Из сочинений нашего автора мы заключаем, что его вполне можно назвать гражданином мира, что он живал во многих городах, был принят во многих кругах общества, и притом нам почему-то кажется, что он принадлежит к так называемым «аристократам духа» и если

[199] Примечания: 199

Месонье Эрнест (1815–1891) — французский художник, писавший небольшие по размеру жанровые картины в основном из быта Франции, отличавшиеся тщательно выполненным интерьером.

бы человеческая душа была так же зрима, как телесная оболочка, она предстала бы перед нами, поражая изяществом рук и ног, равно как и носа, обличающими подлинную патрицианку. Некий наш знакомый, неудержимый фантазер, даже утверждает, что автор «Дыма» (который он считает шедевром Тургенева) попросту изобразил себя в Павле Кирсанове. Двадцать шансов против одного, что это не так, но все же мы позволим себе сказать, что для читателя, дерзающего иногда строить догадки, очарование тургеневской манеры во многом заключается именно в этом трудно постижимом сочетании аристократического духа и демократического ума. Его пытливому уму мы обязаны разнообразием и богатством показаний о человеческой природе, а его взыскательному духу — изяществом формы. Но стоит ли бесцеремонно доискиваться причин, коль скоро так многозначительны результаты? Ведь главный вопрос, когда речь идет о романисте или поэте — как он видит жизнь? Какова в конечном счете его философия? Когда подлинно талантливый писатель достигает зрелости, мы вправе искать в его произведениях общего взгляда на мир, который он столько времени старательно наблюдал. Это и есть самое интересное из всего,

что открывается нам в его сочинениях. Любые подробности интересны постольку, поскольку помогают уяснить его символ веры.

Читая Тургенева, прежде всего выносишь впечатление, что окружающее представляется ему в безрадостном свете, что он смотрит на жизнь очень мрачно. Мы попадаем в атмосферу неизбывной печали; переходим от повести к повести в надежде встретить что-нибудь ободряющее, но только глубже погружаемся в густой мрак, листаем рассказы покороче в надежде набрести на что-нибудь звучащее в привычном ключе «легкого чтения», но и они рождают в нас ощущение неких сгустков тоски. «Степной король Лир» еще тяжелее, чем «Затишье», «Несчастная» едва ли менее грустна, чем «Переписка», а «Дневник лишнего человека» не освобождает от гнетущего чувства, навеянного «Тремя портретами»…

Пессимизм Тургенева, как нам кажется, двоякого рода: с одной стороны, он вызван печалью непроизвольной, а с другой — как бы наигранной. Иногда горестные истории возникают из взволновавшей автора проблемы, вопроса, идеи, иногда это просто картины. В первом случае из-под его пера появляются шедевры; мы сознаем, что рассказы эти очень тягостны, но не можем

не плакать над ними, как не можем не сидеть молча в комнате, где лежит покойник. Во втором — он не достигает вершины своего таланта; такого рода рассказы не рождают слезы, и мы считаем, что, раз уж нам предлагают просто развлечься, сватовство и свадьба лучше служат этой цели, чем смерть и похороны. «Затишье», «Несчастная», «Дневник лишнего человека», «Степной король Лир», «Тук… тук… тук» — все эти вещи, по нашему мнению, на несколько оттенков мрачнее, чем вызвано необходимостью, ибо мы придерживаемся доброго старого убеждения, что в жизни преобладает светлое начало и поэтому в искусстве мрачно настроенный наблюдатель может рассчитывать на наш интерес лишь при том непременном условии, если по крайней мере он не пощадит усилий хотя бы выглядеть веселей. Вопрос о черных тонах в поэзии и художественной прозе решается в основном так же, как проблема «аморального». Слишком густая чернота — рассудочна, искусственна, она не рождена непосредственно самим событием; разнузданная аморальность — наносна, она лишена глубоких корней в человеческой природе. Нам дорог тот «реалист», который помнит о хорошем вкусе, тот певец печали, который помнит о суще-

ствовании радости.

«Но ведь это живописное уныние», — возразит нам любой более или менее горячий поклонник Тургенева. — «Согласитесь по крайней мере, что оно живописно». С этим мы охотно соглашаемся и, коль скоро нам напомнили о блистательном многообразии и мастерстве Ивана Тургенева, кончаем наши придирки. Что же касается доброй стороны его воображения, то здесь, сколько бы ни воздавали ей дань, невозможно переусердствовать, как невозможно найти достаточно похвал силе и неиссякаемости его таланта. Ни один романист не создал такого множества персонажей, которые дышат, движутся, говорят, верные себе и своим привычкам, словно живые люди; ни один романист — по крайней мере в равной степени — не был таким мастером портрета, не умел так сочетать идеальную красоту с беспощадной действительностью. В пессимизме Тургенева есть какая-то доля ошибочного, но в стократ больше подлинной мудрости. Жизнь действительно борьба. С этим согласны и оптимисты и пессимисты. Зло бесстыдно и могущественно, красота чарует, но редко встречается; доброта — большей частью слаба, глупость — большей частью нагла; порок торжествует; дураки занимают видные

посты, умные люди — прозябают на незаметных должностях, и человечество в целом несчастно. Но мир такой, какой он есть, — не иллюзия, не фантом, не дурной сон в ночи; каждый день мы вступаем в него снова; и нам не дано ни забыть его, ни отвергнуть его существования, ни обойтись без этого мира. Зато нам дано приветствовать опыт, по мере того как мы его обретаем, и полностью за него расплачиваться, — опыт, который бессмысленно называть большим или малым, если только он обогащает наше сознание. Пусть в нем переплетены боль и радость, но над этой таинственной смесью властвует непреложный закон, который требует от каждого: учись желать и пытайся понять. Вот что, по нашему мнению, мы вычитываем между строк тщательно написанных тургеневских хроник. Сам он, как и его прославленные соперники, всегда страстно стремился понять. Во всяком случае, его рассказ о жизни не страдает бедностью содержания: он отдал щедрую дань ее бесконечному разнообразию. В этом огромное достоинство Тургенева; ну а огромный его недостаток — присущая ему склонность злоупотреблять иронией. И все же мы продолжаем видеть в нем весьма желанного посредника между действительностью и

нашим стремлением познать ее. Разумеется, будь у нас больше места, мы не преминули бы показать, что Иван Тургенев не является для нас идеалом писателя — да, да, этот выдающийся талант, обладающий редкостным, тончайшим, как утверждают, умением искусно изготовлять rechauffe[200] действительности. Но, чтобы иметь лучших, чем нынешние, романистов, нам придется подождать, чтобы мир стал лучше. Мы боимся утверждать, что мир, достигнув высшей стадии совершенства, не даст все же повода к злословию; но вполне можем представить себе, что последний романист будет существом, полностью очистившимся от сарказма. Те силы воображения, которые нынче тратятся на критические выпады, писатель будет отдавать прославлению раззолоченных городов и сапфировых небес. А пока мы с благодарностью принимаем то, что дает нам Тургенев, уверенные, что его манера вполне отвечает настроению, какое чаще всего владеет большинством людей. Нам кажется, будь он завзятый оптимист, мы при нынешнем положении вещей давно перестали бы жалеть, что его нет на наших книжных полках. Тот оптимизм, который

---

[200] Примечания: 200
подогретое блюдо *(фр.)*.

присущ большинству из нас, ни один писатель не в силах ни развеять, ни подтвердить, зато перед бедами, которые стольким из нас выпадают на долю, бледнеет любой художественный вымысел. Тем, кто живет обычной жизнью, мир нередко представляется не менее мрачным, чем Тургеневу, а в минуты особенно напряженные и тягостные трудно удержаться от иронической ноты, обращаясь к близоруким друзьям нашим, которые стараются убедить нас, что здесь всем дышится легко.

«Новь» Ивана Тургенева[201]

Только о двух из ныне здравствующих романистах можно сказать, что каждое новое их произведение всегда оказывается событием в литературе. Один из них, столь взысканный рецензентами, автор «Дэниел Деронда», другой — прославленный русский, чье имя стоит в заголовке этой статьи: даже те, кто вынужден читать его в несовершенных переводах, признают Ивана Тургенева одним из глубочайших наблюдателей жизни и тончайшим мастером повествования. Несколько месяцев назад стало известно, что он работает над новым романом, который, судя по замыслу и основным идеям, обещает стать

---

[201] Примечания: 201

Впервые опубликована в 1874 г. в «Нейшн» как рецензия на французский перевод романа Тургенева «Новь» («Ivan Turgenev's Terres Vierges». — «The Nation», 1877, v. XIV, 26 April, № 617, p. 252–253). Рецензия не была подписана.

Генри Джеймс считал «Новь» «слабее» остальных романов Тургенева (письмо к Т. С. Перри от 18 апреля 1877 г. — «Henry James Letters», v. II, p. 108), о чем говорил и самому автору. На рецензию Джеймса Тургенев откликнулся письмом: «…я получил № „The Nation“, в котором помещена Ваша статья о моем романе — и благодарю вас за нее. Хотя вам эта книга понравилась менее других — вы к ней отнеслись очень благосклонно…» (письмо Генри Джеймсу от 4/16 мая 1877 г. — Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. XII, с. 154/451).

Рецензия Генри Джеймса на роман И. С. Тургенева «Новь» переводится

на русский язык впервые.

самым значительным из всего им написанного, и нетерпение иностранных его поклонников, среди которых мало кто знает русский язык, еще усиливалось при мысли, что и после выхода в свет роман этот еще сколько-то времени будет для них недоступен. «Новь» была опубликована в России в самом начале нынешнего года; на французский язык роман перевели с похвальной быстротой — правда, с какой мерой точности, мы не беремся сказать, хотя полагаем, что выполненный под наблюдением автора перевод этот должен быть вполне удовлетворительным. Трудно представить себе более удачный момент для появления — по крайней мере вне России — русского романа. В качестве piece de circonstance[202] более ко времени был бы разве что турецкий роман.[203] Возможно, на родине г. Тургенева бряцание оружием до некоторой степени притупило слух общества к голосу художника, у нас же, беспристрастно, но с живым интересом следящих за происходящими на Востоке событи-

---

[202] Примечания: 202

произведение на злобу дня *(фр.)*.

[203] Примечания: 203

Намек на русско-турецкую войну 1877–1878 гг., за ходом которой пристально следили в европейских странах, в особенности во Франции и Англии.

ями, автор романа, надо думать, легко убедится, что неизменное к нему внимание в данных обстоятельствах лишь обострилось. Россия с ее намерениями, стремлениями, возможностями и национальными особенностями являет собой грандиозное зрелище, и литературная деятельность г. Тургенева составляет его неотъемлемую часть. Это тем более важно, что сюжет его нового романа отражает одну из сторон жизни русского общества, о которой мы немало наслышаны и которая, пожалуй, особенно возбуждает наше любопытство. До иностранцев доходят смутные известия о существовании «тайных обществ» в России, и кое-кто даже питает уверенность, что их революционная деятельность вызывает значительные затруднения внутри страны и препятствует царскому правительству продолжать свои посягательства на чужие земли. Одно из таких тайных обществ и представлено г. Тургеневым в его новом романе, хотя, следует сразу оговориться, что тот кружок, который он выводит, вряд ли способен вызвать серьезные опасения у властей предержащих. Оттого ли это, что тургеневскому таланту вообще свойственно выставлять в ироническом свете все, чего бы он ни касался — даже в какой-то мере и тогда, когда

речь идет о предмете глубоко ему симпатичном, — и живо подмечать в человеческих усилиях их смешные, беспомощные и бесплодные черты, или же оттого, что революционная пропаганда в России на самом деле ведется грубовато, ребячливо, бестолково и потому, так сказать, не имеет веса, во всяком случае, несомненно одно: Нежданов и Маркелов, Остродумов и Машурина, даже Марианна и Соломин оставляют не столько грозное, сколько трогательное и грустное впечатление и даже, добавим, чуть-чуть забавное. Иван Тургенев, как ни один другой писатель, умеет выбрать сюжет: он никогда не пишет на избитые, заезженные темы и неизменно проводит такую donnee,[204] которая сообщает что-то важное и открывает что-то новое. И в последнем романе проявился этот его замечательный дар — проявился намного сильнее, чем если бы, идя на поводу у сюжета, он создал бы повествование о тайнах и неожиданностях, покушениях и побегах. Тургенев, как всегда, подошел к своей теме с нравственной и психологической стороны, углубившись в исследование характеров. Оставив без внимания тривиальные преимуще-

[204] Примечания: 204
главная мысль литературного произведения *(фр.).*

ства подобной темы, он мастерски разработал другие — куда более тонкие. Мудрость его позиции сказалась в глубоком понимании того, что подпольное движение, которое он изображает, дает исключительные возможности для раскрытия характеров, что оно непременно заключает в себе семена острой психологической драмы. Столкновение различных натур, вступивших в союз ради служения общему идеалу — идеалу особенно притягательному для юных сердец с их благородными порывами и «полузнанием», которое столь опасно,[205] — вот в двух словах основное содержание романа «Новь».

В этом романе изображена та часть «молодого поколения», с которой мы уже бегло познакомились в «Отцах и детях» и которая нашла столь яркое воплощение в образе «нигилиста» Базарова; эти вольнолюбивые молодые люди, не имея возможности открыто провозгласить убеждения, расходуют весь пыл на бесплодные действия, в равной доле сочетающие в себе мальчишество и героизм. В центре повествования — молодой человек по фамилии Нежданов, избранный главным персонажем, скорее всего, потому, что,

[205] Примечания: 205

Ссылка на известный афоризм английского поэта А. Попа (1688–1744): «полузнание опасно».

подобно всем тургеневским главным персонажам, может служить превосходной мишенью иронии. Герои Тургенева не являются героями в прямом смысле слова; это богатые по содержанию, но слабые люди, которым отводится роль неудачников, и в игре, называемой жизнью, они неизменно остаются в проигрыше. Что касается героического, то в лучшем случае оно воплощено в какой-нибудь второстепенной фигуре, чья скромная добросовестность помогает сатирически оттенить других действующих лиц. О пристрастии Тургенева к неудачникам, к проигравшим в жизненной игре, о том, как полно он видит их и как досконально знает, можно было бы многое сказать; в глазах иностранных читателей этот тип усилиями Тургенева стал русским par excellence.[206] Возможно, это не совсем так, однако полагаем, что подобная категория людей по крайней мере весьма характерна для России, хотя вряд ли все они столь интересны, какими их сделало искусство Тургенева. Под его пером они стали интересны главным образом потому, что благодаря тонкой и сложной душевной организации, благодаря тому стремлению

---

[206] Примечания: 206
преимущественно *(фр.).*

к «самоуглублению», которым он наделяет всех русских, за исключением лишь круглых дураков и завзятых сумасбродов, они остро осознают свою ущербность. Главный герой Тургенева — почти всегда человек, попавший — как правило, хотя и не по своей вине, — в ложное положение, и в силу превратностей судьбы его попытки найти выход только ухудшают дело. Разительный пример тому — молодой Нежданов, побочный сын дворянина, не признаваемый законной семьей отца; подталкиваемый недовольством, подавленным негодованием и смутными надеждами, он попадает в водоворот подпольных «левых» течений, но роковым образом оказывается брезгливцем, скептиком, «эстетиком» — словом, более аристократом, нежели любой из тех чистокровных аристократов, против которых решил вступить в борьбу. Ему не дано веры, и его постоянно тяготит несогласие с сообщниками, которым это чувство в высшей степени свойственно («верящие», которые окружают Нежданова, мастерски выписаны Тургеневым). Нежданов поступает домашним учителем в семью некоего Сипягина, умеренного либерала благонадежного толка, чьим идеалом в поведении, одежде и манерах является английский помещик, джентльмен с

изрядным состоянием, парламентской выучкой и «прогрессивными» взглядами. Противопоставление страстного горения четырех молодых революционеров учтивому, снисходительному радению о прогрессе этого благоденствующего барина, который рядится в свое вольнолюбие, как в какой-нибудь мундир или фрак, играет в романе существенную роль. В доме Сипягина живет его племянница Марианна Синецкая, которая вместе с Неждановым выступает как промежуточное звено между светским обществом и горсткой революционеров. Тургеневские девушки всегда необычны, и образ этого поразительного юного существа — дворянки по происхождению, но пламенной демократки по духу и убеждениям — пожалуй, одна из наибольших удач в романе «Новь». Как все тургеневские героини, Марианна очень своеобразна и очень жизненна; портрет ее сделан отнюдь не пастелью. Она коротко стрижет волосы, поступает по собственному разумению и, конечно, живя под одной крышей с Неждановым, репетитором ее маленького кузена, сразу обнаруживает, что тот связан с революционерами, после чего, можно сказать, влюбляется в него. Мы говорим «конечно», хотя, по сути, события в романах Тургенева никогда не следуют избитым,

обычным путем; у них всегда более сложная внутренняя логика — свой особый «изгиб». Марианна и Нежданов обмениваются мыслями и нежными признаниями, они очень нравятся друг другу, сближаются и тайно беседуют по ночам. В конце концов они сговариваются бежать из сипягинского дома и посвятить себя революционной деятельности; и вот, наивные создания, они отправляются в путь рука об руку, как брат и сестра, и находят приют у некоего Соломина, тоже радикала, но человека уравновешенного, практического склада, умеющего выжидать. (Соломин превосходно выписан автором.) Есть что-то необычайно чистое и характерное для Тургенева в этой целомудренности двух молодых существ. Они ринулись в погоню за химерами, не имея ни малейшего представления, что и как собираются делать, и при этом деликатность их чувств так велика, что они даже не стремятся обладать друг другом и в минуты нежнейшего epanchement[207] только страстно пожимают друг другу руку, словно присягающие на верность товарищи.

Есть в романе еще один молодой человек по

---

[207] Примечания: 207
излияния чувств *(фр.).*

фамилии Маркелов — характер, полностью противоположный Нежданову, революционер, чей кругозор узок, чья вера безгранична, так что в своем отношении к существующей власти и устоям он подобен выпущенному из пушки снаряду. Этот угрюмый, сумрачный, невзрачный, но непоколебимый и безоглядно-последовательный радикал производит скорее трагическое впечатление. Непоследователен Маркелов только в одном — он влюблен в Марианну и поэтому оказывается соперником более молодого, более привлекательного и располагающего к себе Нежданова. Лучшая сцена в романе — та, когда во время ночной поездки в тряском тарантасе Маркелов дает волю своей ревности к Нежданову, с которым связан служением общему делу. Разумеется, каждый мало-мальски вдумчивый читатель Тургенева знает, что русские, какими он их рисует, резко отличаются по многим чертам от других, ближе знакомых нам, народов, тем не менее мы не встречали у него эпизода, в котором это различие было бы показано с большей наглядностью. Не помня себя от ярости, Маркелов внезапно начинает попрекать Нежданова его внебрачным происхождением, заявляя, что предпочтение, оказанное Марианной, «просто треклятое счастье

всех незаконнорожденных детей, всех в...». Это смертельное оскорбление, и жестоко уязвленный Нежданов, по убеждениям которого подобную обиду можно смыть только кровью, решает тут же покинуть своего соратника. Но, едва успев произнести обидные слова, тот уже сожалеет о них; он заклинает Нежданова остаться, он готов встать перед ним на колени и молить о прощении. Сцена эта весьма удивительна, и автор сам явно понимает ее необычность. Нежданов пожимает руку своему оскорбителю, и три минуты спустя, как поясняет автор, они уже обращаются друг к другу на «ты», словно между ними ничего не произошло; отсюда можно сделать вывод, что русские менее щепетильны в вопросах «чести», чем некоторые другие народы, хотя вместе с тем эта черта их характера, на которую упомянутая сцена проливает свет, кажется нам чрезвычайно интересной, естественной и человечной.

Не будем лишать читателей удовольствия и рассказывать, как бедняга Нежданов выйдет из трудного положения, скажем только, что к подобному выходу уже не раз прибегали герои Ивана Тургенева. Разумеется, жизненный путь этого героя в итоге закончится трагически: революция, в которую осмелился играть молодой «эстетик»,

покажется ему грубой, уродливой, вульгарной и, более того, весьма жестокой; действительность вызовет в нем глубочайшее отвращение. На редкость удачно придуман случай, доводящий его разочарование до предела — история о том, как после очередного похода в народ — к крестьянам, потребовавшим в доказательство того, какой Нежданов славный малый, чтобы тот залпом выпил их спиртного зелья, его привозят домой мертвецки пьяным. Другое дело Марианна, которой одинаково чужды и эстетика и копание в себе: она не утрачивает своих иллюзий и, по всей очевидности, никогда не утратит. Автор оставляет ее на попечении такого превосходного человека, как Соломин; ей под пару этот представитель скрытых в стране потенциальных сил, где этим силам, надо полагать, еще предстоит широко развернуться. Хотя образ Марианны сам по себе, как мы уже отмечали, очень жизненный, все же должен сознаться, что из всех тургеневских девушек эта героиня кажется нам наименее привлекательной; наперекор, вероятно, намерениям автора Марианне недостает обаяния и мягкости: слишком уж она язвительна со своей теткой, госпожой Сипягиной, какой бы чуждой та ей ни была по духу. В романе еще немало персонажей,

которым за недостатком места нам не удастся воздать должное. Особенно хороша Машурина, женщина — борец за «общее дело», крупное, некрасивое, нескладное, но кристально чистое и правдивое существо. Эта ради-калка, добившаяся аттестата акушерки, тайно влюблена в Неждано-ва, который не только ничего об этом не знает, но ужаснулся бы, если бы узнал. Она — одна из тех в высшей степени своеобычных фигур, которые так удаются Тургеневу. Мы также вынуждены пройти мимо госпожи Сипягиной, дамы, отмеченной сходством с Сикстинской мадонной Рафаэля и представляющей женский вариант просвещенного либерализма — представляющей его таким образом, что читателя пробирает дрожь. Тот эпизод в романе, где выведены Фимушка и Фомушка, гротескная старая чета, обитающая среди кофейных чашечек и табакерок рококо, разруган критикой как hors d'oeuvre,[208] как нечто чужеродное, но, пожалуй, такой приговор представляется нам необоснованным. Эта картина старинных суеверий, чудачеств, старческой доброжелательности и благодушия написана, чтобы оттенить грубоватое и озлобленное возбуждение

[208] Примечания: 208
вставной номер *(фр.).*

молодых радикалов, забредших к старичкам; в ней есть «валер», как говорят художники. К тому же она прелестна и сама по себе. «Новь» не страдает недостатком тончайших оттенков; у Ивана Тургенева их всегда очень много, и даже самый искушенный критик не в состоянии собрать их воедино. В романе, о котором идет речь, все они, вместе взятые, подчеркивают замечательное свойство автора — умение сочетать глубоко жизненный материал, fonds,[209] по выражению французов, с тончайшей образностью и поэтичностью.

[209] Примечания: 209
фон *(фр.).*

Иван Тургенев[210]

Перед тем, как бренные останки Ивана Тургенева увезли в Россию, чтобы предать их родной земле, на Северном вокзале в Париже состоялась короткая траурная церемония. Стоя у вагона с гробом покойного, Эрнест Ренан и Эдмон Абу[211] от имени французского народа простились с прославленным чужестранцем, который многие годы был почетным и благодарным гостем Франции. Г. Ренан произнес прекрасную речь, а г. Абу — весьма умную, и оба нашли точные слова, характеризуя талант и нравственную сущность проникновеннейшего из писателей и привлекательнейшего из людей. «По тому таинственному

---

[210] Примечания: 210

Воспоминания о Тургеневе были впервые опубликованы в январе 1884 г. в журнале «Атлантик Мансли» («The Atlantic Monthly», 1884, v. LUI, January, N 315, p. 42–55). Перепечатана в книге: «Partial Portraits by Henry James». London: Macmillan and Co, 1888.

Русский перевод с сокращениями был напечатан в журнале «Минувшие годы» (1908, № 8, с. 48–60), перепечатана в сборнике «Иностранная критика о Тургеневе» (изд. 2. СПб., 1908, с. 131–141) и с некоторыми исправлениями в книге: «Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2 (М., 1969, с. 331–344).

Полный перевод статьи публикуется на русском языке впервые.

[211] Примечания: 211

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель и востоковед. Абу Эдмон (1828–1585) — французский романист и публицист.

закону, — сказал г. Ренан, — который определяет назначение человека, Тургенев был наделен самым высоким из всех возможных даром: он родился человеком, не ограниченным своей личностью». Это место в речи г. Ренана столь выразительно, что я не могу не процитировать его целиком:

«Сознание Тургенева было не просто сознанием отдельной личности, к которой природа оказалась достаточно щедра, а, в некотором смысле, сознанием целого народа. Еще до своего рождения он прожил тысячи и тысячи лет, бесконечное множество упований скопилось в глубинах его души. Он как никто другой воплотил в себе целую расу: поколения предков, столетиями погруженные в сон и безмолвие, благодаря ему ожили и заговорили».

Привожу эти строки ради удовольствия привести их: я понимаю, что имел в виду г. Ренан, называя Тургенева «не ограниченным своей личностью», и давно уже хотел посвятить его светлой памяти несколько страниц, навеянных воспоминаниями о встречах и беседах с ним. Он кажется нам «не ограниченным своей личностью» потому, что, пожалуй, только из его сочинений мы, говорящие на английском, французском и

немецком языках, получили — боюсь, все еще, возможно, скудное и неточное — представление о русском народе. Гений Тургенева воплощает для нас гений славянской расы, его голос — голос тех смутно представляемых нами миллионов, которые, как нам сегодня все чаще кажется, в туманных пространствах севера ждут своего часа, чтобы вступить на арену цивилизации. Многое, очень многое в сочинениях Тургенева говорит в пользу этой мысли, и, несомненно, он с необычайной яркостью обрисовал душевный склад своих соотечественников. Обстоятельства заставили его стать гражданином мира, но всеми своими корнями он по-прежнему был в родной почве. Превратное мнение о России и русских, с которым он беспрестанно сталкивался в других странах Европы, — не исключая и страну, где провел последние десять лет жизни, — в известной мере вновь возбудили в нем те глубокие чувства, которые большинство окружавших его на чужбине людей не могли с ним разделить: воспоминания детства, ощущение неоглядных русских просторов, радость и гордость за родной язык. В сборнике коротких набросков, необычайно интересных, которые он писал все последние свои годы — в немецком переводе этот малень-

кий томик озаглавлен «Senilia»,[212] — , я читаю строки, заключающие сборник и превосходно иллюстрирующие тоску Тургенева по далекой его стране.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».[213]

Эта очень русская ностальгическая нота звучит во всех его произведениях, — хотя нам приходится, так сказать, улавливать ее между строк. При всем том он отнюдь не был проводником, тем паче рупором, чьих-то идей; и убеждения были его собственные, и голос. Он был человеком, в самом

---

[212] Примечания: 212

«Senilia» — первоначальное заглавие цикла стихотворений в прозе, присланных Тургеневым для опубликования редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу в 1882 г. Ниже значилось — «стихотворения в прозе»; под этим заглавием с разрешения Тургенева цикл был напечатан в декабрьском номере журнала «Вестник Европы» в 1882 г. В 1883 г. при жизни Тургенева вышли два немецких перевода, в Лейпциге под заглавием: Senilia (Senilia. Dichtungen in Prosa von Iwan Turgeniew. ьbersetzt von Wilhelm Henckel. Leipzig, 1883) и в Бреслау под заглавием: «Стихотворения в прозе» (Iwan Turgeniew. Gedichte in Prosa. Mit Autorisation des Verfassers ьbersetzt von R. Lцwenfeld. Breslau, 1883).

[213] Примечания: 213

Цитируется стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык».

полном смысле этого слова, и те, кому выпало счастье знать его, вспоминают сегодня о нем, как о выдающемся, достойнейшем человеке. Автору этих строк встречи с Тургеневым доставляли такое же огромное удовольствие, как и чтение его несравненных повестей и рассказов, в которые он вложил столько жизни и души, — даже, пожалуй, большее, так как природа наделила его даром выражать свои мысли и чувства не только пером. Он был необычайно содержательный, чарующий собеседник; его лицо, наружность, нрав, присущая ему внимательность в отношениях с людьми — все это оставило в памяти его друзей образ, в котором его литературный талант был завершающей чертой, не затмевая притом всего остального. Образ этот овеян печалью отчасти потому, что меланхолия была ему глубоко свойственна, — тем, кто читал его романы, вряд ли нужно об этом говорить, — отчасти же потому, что последние годы жизни он провел в тяжких страданиях. Многие и многие месяцы, предшествовавшие смерти, нестерпимая боль почти не отпускала его; не постепенное угасание, а все усиливающиеся муки тяжкого недуга достались ему в удел. Но и бодрости духа, способности наслаждаться было отпущено ему щедрой ру-

кой, — так оно обычно бывает с замечательными людьми, а он был в высшей степени совершенное человеческое существо. Я бесконечно восхищался Тургеневым как писателем еще до того, как имел счастье лично с ним встретиться, и это знакомство, которое было для меня большой честью, очень многое мне в нем открыло. Тургенев — человек и литератор — занял огромное место в моем сердце. Незадолго до первого моего посещения Тургенева я опубликовал статью, в которой изложил свои мысли о его прозе,[214] и, наверно, не будет предосудительным, если я дополню их впечатлениями из живого источника этих мыслей. Я не в силах отказаться от попытки поведать, каким, С моей точки зрения, Тургенев был человеком.

[214] Примечания: 214

Статья «Иван Тургенев» в «The North American Review». См. выше статью и примечание к ней.

Траурное собрание в Париже перед отправлением гроба с телом И. С. Тургенева в Россию.

Гравюра с рисунка К. О. Брокса, 1883 г. ИРЛИ (Пушкинский дом)

Именно эта статья и дала мне повод в 1875 г. посетить Тургенева в Париже,[215] где он тогда жил. Я никогда не забуду впечатления, которое про-

[215] Примечания: 215

Статья «Иван Тургенев». По приезде в Париж в ноябре 1875 г. Джеймс тотчас написал Тургеневу и получил в ответ приглашение на 22 ноября, когда и состоялась их первая встреча.

извела на меня первая встреча с ним. Тургенев пленил меня, и просто не верилось, что при более близком знакомстве он окажется — что человек вообще может оказаться — еще обворожительнее. Однако более близкое знакомство только усилило первоначальное впечатление: он всегда оставался самым доступным, самым заботливым, самым надежным из всех выдающихся людей, с какими мне доводилось встречаться. Предельно простой, естественный, скромный, он настолько был чужд каких бы то ни было притязаний и так называемого сознания своей исключительности, что порою закрадывалась мысль — а действительно ли это выдающийся человек? Все хорошее, все благотворное находило в нем отклик; он интересовался положительно всем и вместе с тем никогда не стремился приводить примеры из собственной жизни, что столь свойственно не только большим, но даже малым знаменитостям. Тщеславия в нем не было и следа, как не было и мысли о том, что ему надобно «играть роль» или «поддерживать свой престиж». Он с такой же легкостью подтрунивал над собой, как и над другими, и с таким веселым смехом рассказывал о себе забавные анекдоты, что в глазах его друзей даже странности его становились поистине дра-

гоценны. Помню, с какой улыбкой и интонацией он однажды повторил мне эпитет, придуманный для него Гюставом Флобером (которого он нежно любил), — эпитет, долженствовавший характеризовать безмерную мягкость и всегдашнюю нерешительность, присущие Тургеневу, как и многим его героям. Он был в восторге от добродушно-язвительной остроты Флобера,[216] больше даже, нежели сам Флобер, и признавал за ней немалую долю истины. Тургенев отличался необычайной естественностью — ни прежде, ни после я не встречал человека в такой мере свободного от какой бы то ни было позы — во всяком случае среди тех, кто, подобно ему, принадлежал к высокообразованному кругу. Как все недюжинные люди, он соединял в себе много различных свойств, но более всего в нем поражало сочетание простоты с умудренностью, которая приходит как следствие разносторонних наблюдений. В кратком очерке, в котором я пытался выразить свое восхищение его творчеством, я почел правильным назвать его аристократом духа, но после нашего знакомства подобное определение показалось мне попросту бессодержательным.

[216] Примечания: 216

Флобер называл Тургенева за мягкость характера «размазней» (фр. poire molle — букв, «мягкая груша»).

Такого рода формулы вовсе не шли к Тургеневу, хотя назвать его демократом (притом что его политическим идеалом была демократическая республика) означало бы аттестовать его не менее поверхностно. Он чувствовал и понимал жизнь в ее противоречиях — человек с богатым воображением, с умением мыслить отвлеченно, далекий всякой узости и буквализма. В нем не было ни грана, ни песчинки тенденциозности, и те (а таковых немало), кому это свойство кажется достоинством, к великому своему огорчению не нашли бы его у Ивана Сергеича. (В написании отчества Тургенева я не пытаюсь следовать русской орфографии, а воспроизвожу его по слуху, как оно произносилось друзьями писателя, обращавшихся к нему по-французски.) Наши англо-саксонские — протестантские, исполненные морализма и условностей — мерки были ему полностью чужды; он судил обо всем со свободой и непосредственностью, которые всегда действовали на меня словно струя свежего воздуха. Чувство прекрасного, любовь к правде и справедливости составляли самую основу его натуры, и все же половина прелести общения с ним заключалась в окружающей его атмосфере, где ходульные фразы и категорические оценки

звучали бы попросту смешно.

Добавлю, что Тургенев оказал мне такой радушный прием отнюдь не из-за моей восторженной статьи о нем: во-первых, она мало что для него значила, а, во-вторых, не в его привычках и обыкновениях было упиваться похвалами критики. При его исключительной скромности вряд ли он придавал вес тому, что могли бы о нем сказать, к тому же у него сложилось мнение, что ему не суждено дождаться здравых суждений о своих книгах, в особенности за границей. При мне он ни разу не упомянул те отзывы, которые, насколько помнится, появлялись о его романах в Англии. Ему было известно, что во Франции у него не так уж много читателей; спрос на его произведения был невелик, и он не питал никаких иллюзий насчет своей популярности. Он с удовольствием узнал, что в Соединенных Штатах есть немало просвещенных читателей, которые с нетерпением ожидают выхода в свет каждой его вещи, но, мне кажется, так и не поверил утверждениям одного, а, возможно, даже двух наиболее рьяных

из числа этих поклонников,[217] будто он может похвалиться тем, что «принят» в Америке. По моему впечатлению, он думал о критике то же, что думают о ней все сколько-нибудь серьезные писатели; а именно: она доставляет удовольствие, занятие и доход тем, кто ею промышляет (и в этом плане приносит большую пользу), и хотя возможно, порою имеет смысл для читателей, для самого художника никакого смысла в ней нет. По сравнению с тем, что неизбежно говорит себе сам художник в процессе творчества, замечания критиков легковесны и преходящи. С другой стороны, из-за широкой гласности, которую получают их писания, они способны раздражать и, более того, расхолаживать тех, кто подвергается их разборам, чем приносят несравненно больше вреда, нежели пользы. И конечно же, Тургенев обошелся со мной так приветливо вовсе не потому (хотя, боюсь, мое объяснение немногим лучше

[217] Примечания: 217

Имеется в виду Генри Джеймс-старший, который писал Тургеневу в Баден-Баден: «Восхищение Вашим гением, выраженное моим сыном, разделяет здесь огромное множество просвещенных людей» (цит. по: *Perry R. B.* The thought and character of William James, v. I. Boston, 1936, p. 139) и, возможно, американский писатель Хьялмар Бойесен, посетивший Тургенева осенью 1873 г. В своих воспоминаниях об этой встрече Х. Бойесен писал: «Воспользовавшись удобным моментом разговора, я рассказал ему о том, что он имеет в Америке многих горячих поклонников» (цит. по: «Литературное наследство», т. 73, кн. 1, с. 420).

тех подозрений, которые оно должно отмести), что мои книги — я неукоснительно посылал их Ивану Сергеичу — заслужили его признание: насколько могу судить, он так и не удосужился их прочесть. О первом преподнесенном ему мною романе[218] он отозвался коротенькой запиской, где говорилось, что его прославленная приятельница, неизменно делившая с ним досуг, прочла ему вслух несколько глав и что одна из них написана de main de maitre.[219] Я очень обрадовался — но, увы, в первый и в последний раз. Итак, продолжал посылать ему мои беллетристические опусы — единственное, чем мог его одарить, — но он ни разу не упомянул о том, что дочитал мой первый дар до конца, как ни разу не обмолвился и словом о всех последующих. Вскоре я перестал на это надеяться и даже понял, почему (а меня это крайне интересовало!) мои писания не могут придтись ему по вкусу. В литературном

[218] Примечания: 218

Имеется в виду роман Генри Джеймса «Родерик Хадсон». В письме от 31 января (19 января) 1876 г. Тургенев писал Джеймсу: «Мы с г-жой Виардо уже начали читать вашу книгу, и я счастлив сообщить вам, какое удовольствие она нам доставила. Сцена (перед отъездом) между Раулендом, матерью Родерика, мисс Гарденд и Страйкером написана рукой мастера» *(И. С. Тургенев.* Поли. собр. соч. и писем. Письма, т. XI, с. 203).

[219] Примечания: 219

рукою мастера (фр.).

произведении он более всего ценил ощущение действительности и не принимал моего способа ее изображать. Мои рассказы и повести, скорее всего, не были в его глазах хлебом насущным. Форма как бы преобладала в них над содержанием; они были слишком tarabiscoté[220] — слово, которое он как-то употребил при мне, характеризуя стиль некой книги, — их украшало чересчур много цветочков и бантиков. Тургенев много читал по-английски и знал этот язык очень хорошо — даже слишком, как мне приходило на мысль всякий раз, когда, находясь в обществе англичан или американцев, он непременно начинал говорить с ними на их родном языке: притом, что справлялся с этим отменно, его речь утрачивала ту легкость и живость, с какими он выражал свои мысли по-французски.

У Тургенева, как я уже говорил, не было предвзятых мнений — разве что одно-единственное: кажется, он был убежден, что англичане и американцы не способны чисто говорить по-французски. Сам он превосходно знал Шекспира и в свое время избороздил английскую литературу вдоль и поперек. Ему не часто выпадал случай говорить

---

[220] Примечания: 220
отшлифованы *(фр.)*.

по-английски, но, если такая необходимость — или возможность — вдруг возникала, он прибегал к выражениям, почерпнутым из прочитанных книг. Это нередко придавало его английской речи чарующую необычность и неожиданную литературную окраску. «Если вы взойдете в буковую дубраву, в России, вешним днем…», — мне запомнилась эта фраза, которую он употребил во время последней нашей встречи. Он постоянно читал английские книги, не гнушаясь заглядывать даже в очередной таухницский выпуск.[221] Из английских писателей (современных) он, помнится, с наибольшим восхищением говорил о Диккенсе и, хотя не закрывал глаза на недостатки английского романиста, очень высоко ценил его умение создавать живые рельефные образы. Но особенно он интересовался новой французской школой, — я имею в виду молодое поколение поборников реализма, «внуков Бальзака». С большинством из них он состоял в приятельских отношениях, а с Гюставом Флобером, наиболее крупным и примечательным писателем, был в

[221] Примечания: 221

таухницкие выпуски — издания немецкого издателя Таухница, выпускавшего массовыми тиражами произведения мировой классики на нескольких европейских языках. Стереотипные издания «Таухниц» имели широкое распространение в Европе.

большой дружбе. Разумеется, он принимал их не без оговорок и не без разбору, не говоря уже о том, что за ним стояли его необъятное славянское воображение и германская культура, доступ в которую был ему широко открыт, тогда как «внуки Бальзака», судя по всему, не могли туда свободно за ним следовать. Однако он с огромным сочувствием относился к их экспериментам, к их направлению в целом, числя, очевидно, и себя среди тех, кто считает, что наилучший; уть для романиста — тщательное изучение жизни. О том, что выходило из-под пера приверженцев противоположного течения, он иной раз бывал весьма низкого мнения. Правда, он редко позволял себе выражать свое неодобрение, разве что по поводу общественной несправедливости или произвола; резкие слова и приговоры не часто слетали у него с языка. Все же помню, как однажды, говоря о романе, который печатался тогда в «Revue des Deux Mondes», он вдруг с необычайной для него твердостью, с необычайной серьезностью сказал:

— Если бы я написал такую плохую вещь, я краснел бы за нее до конца моих дней.

Я не назвал бы его натурой преимущественно или даже в значительной степени артистической, хотя он был, коль скоро позволено провести

здесь разграничение, натурой глубоко поэтической. Тем не менее, живя последние двенадцать лет по большей части среди художников и литераторов, он был вполне способен загореться от пламени их споров. Его заботили вопросы формы — правда, не в такой мере, как Флобера или Эдмона де Гонкура, и у него были свои ярко выраженные симпатии. К госпоже Жорж Санд — возглавлявшей и представлявшей старую, романтическую школу — он относился с большим уважением, но не за ее романы, которые не читал (чего она, впрочем, ни от него, ни от кого иного и не ожидала), а вообще. В ее характере ему виделось большое благородство и искренность. Нежнейшую привязанность, как уже говорилось, он питал к Гюставу Флоберу, отвечавшему ему тем же, и с исключительным интересом следил за его смелыми экспериментами по части формы и выбора сюжетов, всегда предугадывая, когда того ожидала неудача. В те месяцы, которые Флобер имел обыкновение проводить в Париже, Тургенев почти каждое воскресенье отправлялся к нему в самый конец улицы Фобур Сент Оноре и однажды, любезно взяв меня с собой, предста-

вил автору «Мадам Бовари»,[222] который, и на мой взгляд, был во многом достоин восхищения. Именно на флоберовских вечерах в пустоватой и необжитой маленькой гостиной под самой крышей дома, в кругу постоянных участников этих воскресных собраний, уже запечатленных во многих воспоминаниях, талант Тургенева-рассказчика раскрывался с исключительным блеском. У меня недостанет слов описать, как он был прост, естественен, неисчерпаем; о чем бы он ни говорил, все отмечала печать его изысканного воображения. В этой маленькой, наполненной клубами табачного дыма комнате обсуждались, главным образом, вопросы литературного вкуса, вопросы мастерства и формы, и во всем, что касалось эстетики, собеседники придерживались, по большей части, самых крайних взглядов. Разговор на тему об отношении искусства и нравственности, или вопрос о том, должен ли роман преподать читателю урок, мог быть воспринят ими только как наивный и неуместный. Для них это был вчерашний день и незачем было вновь

[222] Примечания: 222

Тургенев, который при первой их встрече с Генри Джеймсом обещал познакомить его с Флобером (письмо Генри Джеймса к Кэтрин Уолш от 3 декабря 1875 г. — «Henry James Letters», v. II, p. 10), тремя неделями спустя, 12 декабря 1875 г., посетил с ним французского писателя и ввел американца в кружок «внуков Бальзака».

к нему возвращаться! Их союз скрепляло единое для всех убеждение, что искусство и мораль совершенно различные категории и последняя имеет с первым так же мало общего, как с астрономией или эмбриологией. От романа требуется лишь одно — быть хорошо написанным; в этом достоинстве заключены все остальные. Наиболее красноречивое выражение вышеизложенная точка зрения получила в то памятное мне воскресенье, когда ces messieurs[223] отводили душу по поводу постигшего одного из них удара. Из-за писем, которые недовольные подписчики слали в журнал, где из номера в номер публиковался «L'Assommoir»[224] Эмиля Золя, печатание романа было приостановлено.[225] В этот вечер досталось не только подписчикам — этому воплощению человеческой тупости, — анафеме были преда-

[223] Примечания: 223
эти господа *(фр.).*

[224] Примечания: 224
«Западня» *(фр.).*

[225] Примечания: 225
Роман Э. Золя «Западня» печатался в газете «Бьен пюблик» с апреля 1876 г.; в начале июня публикация была прекращена на шестой главе по требованию подписчиков, возмущенных «безнравственностью» книги, и возобновлена через месяц в журнале «Репюблик де леттр», где с июля по январь 1877 г. были напечатаны с седьмой по тринадцатую главу. Роман вызвал острую полемику в прессе, что немало содействовало его успеху у читателей.

ны все филистеры вместе взятые. Тургенев и Золя были в высшей степени несходны между собой, но Тургенев, понимавший, как уже говорилось, решительно все, понимал и Золя, отдавая должное несомненной добротности многих его романов. В подобные минуты он держался бесподобно: трудно представить себе поведение более доброжелательное и тактичное, свидетельствовавшее о светлом, свободном, гуманном уме. Он как никто другой желал, чтобы искусство было искусством — всегда, неизменно, неуклонно. Для него это так же не нуждалось в доказательствах, как положение о том, что закон всегда должен быть законом, а лекарство — лекарством. Он первым был готов подтвердить тот факт, что требование всяческих запретов и ограничений исходит не от художников, а исключительно от покупателей, издателей, читателей. Я убежден, что в душе у него слагались примерно такие слова: какой смысл спорить о том, должен ли роман быть «нравственным» или «безнравственным»? От романа так же невозможно требовать, чтобы он был «нравственным», как от картины или симфонии, а делать в этом вопросе различия между теми или иными видами искусства неправомерно. Кто-кто, а уж он не может быть слеп к тому,

что они едины. Словом, думаю, он сказал бы, что подобные различия проводятся в угоду моралистам и что их требования бестактны, поскольку искусство не в их юрисдикции. И в то же время, строя свои предположения, я вспоминаю, что он вовсе не казался человеком, связанным какими-либо формулами, и уж отнюдь не производил впечатления ревнителя или адепта каких бы то ни было установлений. Его взгляд на отношение искусства к жизни прежде всего и лучше всего выражен в его творениях. Он ни на мгновение не забывал о бесконечном многообразии жизни и, решая упомянутый выше вопрос, не стал бы требовать для искусства каких-то особых вольностей — вольностей, за которые так ратовали его французские confrères.[226] Вот это понимание Тургеневым всего многообразия жизни, знание ее необычных, ее малодоступных сторон; широта горизонта несравненно более широкого, нежели парижский горизонт, столь знакомый, столь начисто лишенный таинственности, столь exploité,[227] и выделяли его среди тех, с кем он встречался у Флобера. Он, как говорится, не был

---

[226] Примечания: 226
собратья *(фр.)*.

[227] Примечания: 227
использованный *(фр.)*.

весь как на ладони, у него еще многое оставалось за душой, в ее запасах. И прежде всего была Россия, что — особенно ввиду разыгравшихся там событий[228] — составляло огромный запас. А пока, находясь на улице Фобур Сент Оноре, он являл собою образец дружеской общительности.

Но я уклонился в сторону, не кончив говорить о том, какое огромное впечатление произвел на меня при первой встрече Тургенев — его мужественная величавая внешность. Это впечатление не потускнело даже тогда, когда я убедился, что имею дело с поистине гениальным человеком. Он, несомненно, обладал замечательным умом, но был, сверх того, еще и обаятельный, мягкий красивый мужчина. А что может быть привлекательнее такого сочетания — глубокой, нежной, любящей души, исполненной высшей чуткости, которой отличаются все гениальные натуры, с чисто русской могучей красотой. При таком сложении была бы естественна и даже уместна некоторая грубоватость, но грубости в его натуре не было и следа. Он всегда любил охоту; для него не было большего наслаждения, как с ружьем и

[228] Примечания: 228

Намек на революционную деятельность народников, которая начиная с середины 70-х годов привлекала к себе значительное внимание в европейских странах.

собакой бродить по лесам и степям. Даже в преклонном возрасте Тургенев не отказывал себе в этом удовольствии и несколько раз пересекал Ла Манш единственно ради того, чтобы пострелять отменных куропаток в угодьях своего друга,[229] расположенных неподалеку от Кембриджа. Пожалуй, трудно найти более подходящую фигуру на роль северного Нимрода. Тургенев был очень высок ростом, широкого и крепкого сложения, с благородно очерченной головой, и, хотя черты лица не отличались правильностью, иначе как прекрасным я не могу его назвать. Оно принадлежало к чисто русскому типу: все в нем было крупное. В выражении этого лица была особая мягкость, подернутая славянской мечтательностью, а глаза, эти добрейшие в мире глаза, смотрели проницательно и грустно. Густые, ниспадающие прямыми прядями, седые волосы отливали серебром; борода, которую он коротко стриг, была того же цвета. От всей его рослой фигуры, неизменно привлекавшей к себе внимание,

[229] Примечания: 229

Имеется в виду Вильям Генри Беллок-Холл (1836–1904), свойственник Джордж Элиот по ее второму мужу Дж. Кроссу. По приглашению Беллока-Холла Тургенев дважды (в 1876 и в 1878 гг.) посещал его поместье в Ньюмаркете, где охотился на куропаток (см.: *И.* С. *Тургенев.* Собр. соч. и писем. Письма, т. XII, с. 357; «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. II. М., 1969, с. 141).

где бы он ни появлялся, веяло силой, но при этом глубоко таимой, словно из скромности. Тургенев сам старался забыть насколько он силен. Он был способен краснеть, как шестнадцатилетний юноша. Внешним формам учтивости и церемониям он не придавал значения и ровно столько заботился о «манерах», сколько это необходимо человеку с естественной perstance.[230] При его благородной внешности никакие «манеры» были ему не нужны. Все, что он делал, он делал удивительно просто и нимало не претендовал на непогрешимость. Напротив, я не знаю никого другого, кто в такой же мере был бы способен принимать замечания без тени раздражения. Дружелюбный, искренний, неизменно благожелательный, он казался воплощением доброты в самом широком и самом глубоком смысле этого слова.

Когда я познакомился с Тургеневым, он — после переезда из Баден-Бадена, вызванного Франко-прусской войной, — уже некоторое время жил на Монмартре в большом, стоящем особняком доме, который снимал вместе со своими давнишними друзьями — госпожей Полиной Виардо и ее

---

[230] Примечания: 230
представительность, величественность *(фр.).*

мужем. Иван Сергеич занимал верхний этаж, и я с нежностью вспоминаю небольшой зеленый кабинет, где мне выпало счастье провести в упоительных беседах с ним столько незабвенных и невозвратимых часов. Все в этой комнате было зеленое, и прежде всего стены, ne оклеенные обоями, а обитые тканью. Портьеры тоже были зеленые, как и огромный, столь излюбленный русскими, диван, сооруженный, по-видимому, под стать великану-хозяину, так что людям помельче приходилось не столько сидеть на нем, сколько лежать. Помню характерный парижский белесый свет, проникавший с улицы сквозь окна, завешенные снизу как в ателье художников. В первые годы нашего знакомства он падал на несколько превосходных картин современной французской школы, среди которых выделялось полотно Теодора Руссо,[231] чрезвычайно ценимое Тургеневым. Он очень любил живопись и тонко в ней разбирался. В последний мой приезд — Тургенев жил тогда за городом — он показал мне с полдюжины больших копий с холстов итальянских мастеров, выполненных молодым русским

[231] Примечания: 231

Пьер Этьен Теодор Руссо (1812–1867), французский художник, пейзажист.

живописцем,[232] в чьей судьбе он принимал участие и чьи картины, со свойственной ему добротой, развесил у себя с тем, чтобы привлечь к ним внимание своих друзей. Он считал эти копии отменными, в чем был, несомненно, прав, особенно если учесть, что собственные творения молодого художника немногого стоили. Тургенев, как это не раз бывало, с воодушевлением расхваливал работы своего протеже: подобно всем людям с очень живым воображением, он легко приходил в восторг. У него всегда можно было встретить какого-нибудь молодого соотечественника или соотечественницу, в которых он принимал участие, и эмигранты, равно как почитатели обоего пола, постоянно обращались к нему за помощью. Правда, насколько мне известно от его давних и близких знакомых, эти увлечения чаще всего себя не оправдывали, а между тем он был склонен se monter la tête[233] своими подопечными. Он то и дело открывал

[232] Примечания: 232

Речь, скорее всего, идет о художнике-пейзажисте Иване Павловиче Похитонове (1850–1923), который с 1876 г. жил за границей, сначала в Италии, а затем в Париже, где неоднократно встречался с Тургеневым, высоко ценившим его талант. В 1882 г. Похитонов написал портрет Тургенева, о котором писатель отозвался весьма одобрительно (см.: «Литературное наследство», т. 73, кн. 1, с. 394).

[233] Примечания: 233

безмерно увлекаться *(фр.).*

среди них очередного русского гения, восхищался им месяц-другой, а потом вдруг переставал о нем говорить. Помню, однажды он рассказал мне о некой молодой женщине,[234] посетившей его на возвратном пути из Америки, где она прослушала курс по акушерству в одном из медицинских колледжей; оказавшись в Париже без друзей и без средств, она нуждалась в работе и помощи. Случайно выяснилось, что новая его знакомая пробовала силы в литературе, и Тургенев попросил ее показать ему свои опыты. В ответ она прислала очерк из крестьянской жизни, которую изобразила весьма правдиво. Тургенев решил, что особа эта — самородок, и тотчас отправил ее сочинение в Россию с просьбой его напечатать; он был убежден, что оно произведет большое впечатление, и выражал надежду, что вскоре представит молодую писательницу французской публике. Когда я упомянул об этом одному его давнишнему другу, тот улыбнулся и сказал, что вряд ли мы об этой даме еще когда-либо услышим; Иван Сергеич, сказал он, уже неоднократно

[234] Примечания: 234

Имеется в виду врач и писательница А. Н. Луканина (1843–1908). Закончив в 1876 г. Филадельфийский женский колледж, она, возвращаясь на родину через Париж, осенью 1877 г. познакомилась с Тургеневым, который рекомендовал ее произведения в «Вестник Европы».

открывал удивительные таланты, которые, как правило, оказывались мыльными пузырями. В этом, несомненно, была доля правды, хотя способность Тургенева заблуждаться проистекала не от недостатка вкуса — который, как уже говорилось, был у него безупречный, — а от великодушия; потому-то я и не боюсь коснуться этой его благородной слабости. Он принимал живейшее участие во всех посещавших его молодых русских, они интересовали его больше всего на свете. Их всегда преследовали несчастья, они испытывали нужду и острое недовольство существующими порядками, которые и самому Тургеневу были ненавистны. Изучение русского характера, как известно всем читателям Тургенева, полностью его увлекало и поглощало. Необычайно многосторонний, но не устоявшийся, не до конца развившийся, характер этот с самыми различными задатками и свойствами, неотделимыми друг от друга, открывался перед ним как некий таинственный простор, в котором пока еще невозможно отличить высокие достоинства от слабостей. Впрочем, последние он ясно видел и говорил о них, как я сам однажды слышал, с негодованием, делавшим ему честь, и искренностью, поразившей меня (ведь дело

шло о его соотечественниках!), в особенности о слабости, которую считал в высшей степени пагубной и к которой, как человек сам глубоко правдивый, относился наименее терпимо. Молодые соотечественники, искавшие счастья в чужих краях, волновали воображение Тургенева и будили в нем сочувствие, и нетрудно понять, что при существующих обстоятельствах они вызывали глубокий отклик в его душе. Они очень выделялись на фоне Парижа, с его блистательным однообразием и полным отсутствием неожиданностей (по крайней мере для тех, кто с этим городом давно знаком), и представали перед Тургеневым, словно герои его книг, в таких соотношениях и ситуациях, в которых особенно полно раскрывались. За долгие годы перед ним прошла целая вереница удивительных русских типов. Как-то он рассказал мне, что к нему явилась целая религиозная секта. Секта эта состояла из двух лиц, из которых одно было предметом поклонения, а другое — поклоняющимся. Верховное существо путешествовало по Европе рука об руку со своим пророком. Оба были преисполнены сознанием собственной важности, хотя, надо сказать, весьма удобно устроились: божество всегда имело свой алтарь, а алтарь (в отличие от многих

алтарей) — свое божество.

В его зеленом кабинете царил образцовый порядок, нигде не валялось никаких клочков или обрывков, как это бывает у обыкновенных писателей, — впрочем, таковым он и не был; точно так же содержалась и его библиотека в Буживале, о которой речь впереди. Даже книг почти не было на виду, словно их намеренно убрали с глаз долой. Все следы работы были тщательно устранены. Ощущение комфорта, огромный диван, несколько превосходных картин — вот что запечатлялось в памяти. Я не знаю, когда именно Тургенев работал: по-моему, он не отводил для этого определенных часов или месяцев, в чем разительно отличался от Энтони Троллопа,[235] чья автобиография, где с полнейшей откровенностью выставлен напоказ весь его творческий бюджет, производит весьма любопытное впечатление. В Париже, насколько могу судить, Тургенев писал мало; ему хорошо работалось в летние месяцы, которые он проводил в Буживале, и во время

[235] Примечания: 235

Энтони Троллоп (1815–1882) — английский писатель, автор исторических и нравоописательных романов о провинциальной Англии. «Автобиография» Троллопа, вышедшая посмертно в 1883 г., подтвердила, что к концу жизни он стал литературным ремесленником, писавшим по 40 страниц в день с тем, чтобы поставлять на книжный рынок развлекательное чтение.

поездок в Россию, куда он собирался каждый год. Я говорю «собирался», так как всем, кто часто встречался с Тургеневым, вскоре становилось ясно, что он — из породы кунктаторов. Впрочем, и других русских — тех, кого я знавал — отличала та же, по-видимому, восточная склонность к промедлениям. Но даже если друзья иногда страдали от этой особенности Тургенева, они на нее не пеняли, относя за счет его мягкости и недостатка решительности. В Россию, во всяком случае, он ездил достаточно часто, и в эти поездки, по его словам, ему работалось особенно хорошо. В России, в самой ее глубине, у него было имение, и там, в деревенской тиши, среди сцен и образов, придавших такое неповторимое очарование «Запискам охотника», ничто не мешало ему писать.

Здесь, вероятно, уместно напомнить, что Тургенев обладал крупным состоянием — очень существенное для писателя обстоятельство. Для Тургенева оно оказалось весьма благодатным и, думается, немало содействовало тонкому мастерству его прозы. Он мог писать, сообразуясь со своим вкусом и настроением духа; ему не было нужды менять, тем паче искажать свои замыслы под воздействием сторонних соображений (не считая, конечно, русской цензуры) и ему нико-

гда не угрожала опасность стать литературным поденщиком. По правде говоря, если учесть, что материальные затруднения не подгоняли его, а сам он вовсе не был чужд многообразных искушений ленности, то нельзя не подивиться его трудолюбию — достаточно взглянуть на длинный список его произведений. Как бы там ни было, в Париже он не отказывался от приглашений на полуденный завтрак. Он любил завтракать au cabaret[236] и не раздумывая соглашался на совместную трапезу. Правда, справедливости ради следует добавить, что он никогда не являлся с первого раза. Я позволяю себе упоминать об этой его странности, во-первых, потому, что она, неизбежно повторяясь, вызывала уже только улыбку — улыбались его друзья, улыбался и он сам, а, во-вторых, потому, что так же неукоснительно, как не держал своего слова в начале, в итоге он все же его держал. После того как свидание бывало назначено или приглашение принято, незадолго до условленного срока от Ивана Сергеича прибывала записка или телеграмма: он просил отменить встречу и перенести ее на другое число, которое теперь назначал сам. Иногда вместо этой

---

[236] Примечания: 236
в кафе *(фр.)*.

новой даты назначалась следующая, но если я не помню случая, когда бы он пришел на свидание с первого раза, то не помню и случая, когда бы он вообще не пришел. Друзьям нередко приходилось его ждать, но в конце-концов он никогда не обманывал их ожиданий. Тургенев очень любил удивительные парижские déjeuner[237] — любил, я имею в виду, как пиршества ума. Он был очень умерен в пище и часто за завтраком почти ничего не ел, зато находил, что это превосходный повод для беседы, и даже если вы в принципе были с ним на сей счет не согласны, то, оказавшись его сотрапезником, быстро меняли свое мнение. Говоря о парижских dĕjeuner, я употребил эпитет «удивительный» прежде всего по той причине, что они вторгаются в самую середину дня, деля время между утренним вставанием и обедом на две неравных части и воздвигая своей сытностью такие препятствия для трудов, намеченных на послеполуденные часы, что не приспособившийся еще к парижским нравам иностранец только диву дается, когда же плодовитые французы ухитряются работать. Но не менее удивительно и то, что иностранцу эти поздние завтраки очень

[237] Примечания: 237
завтрак *(фр.).*

скоро тоже приходятся по вкусу, и он постепенно научается склеивать разбитый вдребезги день. Во всяком случае, тот, кому выпадало счастье завтракать с Тургеневым, не находил полуденный час для этого неудобным. Любой час был удобен для встречи с человеком, который воплотил в себе все лучшие стороны человеческой натуры.

Есть в Париже несколько мест, нераздельно связанных в моей памяти со встречами, в которых участвовал Тургенев, и, всякий раз проходя мимо них, я вновь слышу, о чем он тогда говорил. Вот кафе на Avenue de l'Opèra, справа по выходу с бульвара — новое, роскошное заведение с неимоверно мягкими диванчиками — где мы однажды просидели с ним за более чем скромным завтраком чуть ли не до вечера и где, беседуя со мной, он высказал столько полезного и интересного, что я и сейчас с нежностью перебираю в мыслях все подробности этого свидания. В воображении встает декабрьский день, по-парижски сырой и серый; в его сумрачном свете зал кажется еще наряднее и радушнее; смеркается, зажигают лампы; за столиками появляются завсегдатаи — кто выпить абсента, кто сыграть партию в домино, — а мы все сидим и сидим за утренней трапезой. Тургенев говорит почти исключитель-

но о России, о нигилистах, о попадающихся среди них замечательных личностях, о странных своих посетителях, о мрачных перспективах своей отчизны. Когда он бывал в ударе, то умел как никто другой дать толчок воображению слушателей. Меня, во всяком случае, его слова в такие минуты необыкновенно волновали и вдохновляли, и я расставался с ним в состоянии «подспудного» воодушевления, с чувством, что получил мощный заряд бесценных суждений и мыслей; при таком расположении духа шагаешь, помахивая тросточкой, легко перепрыгиваешь канавы, неизвестно почему останавливаешься, словно пораженный чем-то, и вперяешь взгляд в витрину, в которой на самом деле ровным счетом ничего не видишь. Помню другое свидание — в ресторанчике на одном из углов небольшой площади перед Orйra Comique, где нас собралось четверо, включая Ивана Сергеича; двое других — господин и дама — тоже были русские,[238] и последняя соединяла в себе все очарование своей национальности с достоинствами своего пола — сочетание поистине

[238] Примечания: 238

Речь идет о русском художнике Павле Васильевиче Жуковском (1845–1912), сыне поэта В. А. Жуковского, и княгине М. С. Урусовой, с которыми Джеймс познакомился через Тургенева. С П. В. Жуковским Джеймс на протяжении многих лет сохранял очень дружеские отношения.

неотразимое. Заведение это «открыл» Тургенев — в том смысле, что именно он предложил нам воспользоваться его услугами, — помню, однако, что мы не поздравили Ивана Сергеича с его открытием: обед на низких антресолях оказался много хуже, чем можно было ожидать, зато застольная беседа превзошла все ожидания. На этот раз Тургенев говорил не о нигилизме, а о других более приятных жизненных явлениях, и я не помню, что бы он когда-либо держался более непринужденно и обаятельно. Один из сотрапезников — русский господин, — имевший привычку произносить французское adorable,[239] то и дело слетавшее у него с языка, на особый манер, впоследствии, вспоминая о нашем обеде, без конца награждал Тургенева этим эпитетом, выразительно растягивая ударное «а». Не знаю, право, зачем я вхожу в такие подробности — пусть оправданием мне послужит свойственное. каждому из нас стремление сохранить от дружеских отношений, которым уже нет возврата, хотя бы крупицу их человеческого тепла, стремление сделать зарубку, способную воскресить в памяти счастливые минуты.

---

[239] Примечания: 239
восхитительный (фр.).

Всего интереснее были рассказы Тургенева о его собственной литературной работе, о том, как он пишет.[240] То, что мне довелось слышать от него об этом, не уступало по значению ни замечательным результатам его творчества, ни трудной цели, которое оно преследовало, — показать жизнь такой, какая она есть. В основе произведения лежала не фабула — о ней он думал в последнюю очередь, — а изображение характеров. Вначале перед ним возникал персонаж или группа персонажей — личностей, которых ему хотелось увидеть в действии, поскольку он полагал, что действия этих лиц будут своеобразны и интересны. Они возникали в его воображении рельефные, исполненные жизни, и ему не терпелось как можно глубже постичь и показать их

[240] Примечания: 240

Об одной из таких бесед Джеймс сообщал своему другу Т. С. Перри в письме от 3 февраля 1876 г.: «На днях снова был у Тургенева (он написал мне очаровательную записку — я вложу ее, если найду, для Элис), в которой сообщал, что все еще болен, и просил меня зайти. Я пошел и провел с ним весь, весьма дождливый, день Вот уж кто amour d'homme [милейший человек *(фр.)*.]. Говорил он, больше чем когда-либо прежде, о том, как пишет, и сказал, что никогда ничего и никого не *придумывает*. В его рассказах все начинается с какого-нибудь наблюденного им характера, хотя часто этот характер, давший толчок рассказу, может затем оказаться второстепенным персонажем. Более того, он сказал, что никогда не *вкладывает* ничего придуманного ни в героев, ни в обстоятельства. По его мнению весь интерес, вся поэзия, вся красота, все своеобычное и т. д. уже есть в тех людях и обстоятельствах — в тех, кого он наблюдал, — причем в значительно большей мере, нежели он может придумать, и что (качество, в котором он видит ограниченность

своего таланта) черты слишком raffinè [утонченные *(фр.)*.]. слова и выражения слишком яркие или слишком закругленные вызывают у него инстинктивное mèfiance [недоверие *(фр.)*.]; ему кажется, что они *не могут* быть верными, — а то, к чему он в конечном итоге стремится, — это верно передать индивидуальный тип человека. Короче, он в общем рассказал мне, как протекает его творческий процесс, и сделал это бесподобно тонко и совершенно откровенно…» («Henry James Letters», v. II, p. 26).

присущие им свойства. Прежде всего необходимо было уяснить себе, что же в конце концов ему о них известно; с этой целью он составлял своего рода биографию каждого персонажа, внося туда все, что они делали и что с ними происходило до того момента, с которого начиналось собственно повествование. Он, как говорят французы, заводил на них dossier,[241] примерно такое же, какие заводят в полиции на знаменитых преступников. Собрав весь материал, он мог приступить к собственно рассказу, иными словами, он задавал себе вопрос: что они у меня будут делать? У Тургенева герои всегда делают именно то, что наиболее полно выявляет их натуру, но, как отмечал он сам, недостаток его метода — в чем его не раз упрекали — это отсутствие «архитектоники», т. е. искусного построения. Владеть не только отменным строительным материалом, но и искусством строить, архитектоникой, как владели ею Вальтер Скотт, как Бальзак, — несомненно, великое дело. Но, если читаешь Тургенева, зная, как рождались, вернее, как создавались его рассказы, то видишь его художественный метод буквально в каждой строке. Сюжет, в обычном

[241] Примечания: 241
досье *(фр.).*

понимании слова, — вымышленная цепь событий, долженствующая, словно уордсвортовский призрак, «поражать и захватывать»[242] — почти отсутствует. Все сводится к отношениям небольшой группы лиц — отношениям, которые складываются не как итог заранее обдуманного плана, а как неизбежное следствие характеров этих персонажей. Произведения искусства создаются различными путями; писались и впредь будут писаться рассказы, даже превосходные, в которых движение сюжета подобно танцу: одно па сменяется другим — и чем каждое замысловатее и стремительнее, тем, разумеется, лучше, — образуя некую, составленную распорядителем, фигуру. Фигура эта, надо полагать, всегда будет пользоваться успехом у многих читателей, так как, будучи достаточно похожей на жизнь, она все-таки не слишком на нее похожа. Во Франции молодые таланты, защищая то или иное из этих двух противоположных направлений, имеющих многочисленных сторонников, готовы перегрызть друг другу глотку. У нас, в Америке и Англии, еще не достигнут тот уровень,

[242] Примечания: 242

ссылка на стихотворение английского поэта Уильяма Уордсворта (1770–1850) — «Прелестный призрак» («She was a phantom of delight», 1804), строфа 1, строка 10.

когда подобные проблемы вызывают кипение страстей; мы вообще еще не достигли уровня, когда они могут так сильно волновать или даже, честно говоря, быть в достаточной мере поняты. Мы еще не доросли до того, чтобы обсуждать вопрос, должен ли роман быть извлечением из жизни или картонным домиком, выстроенным из открыток с видами, мы еще не решили, можно ли вообще изобразить жизнь. В этом отношении мы явно проявляем крайнюю робость — и скорее стремимся воздвигать барьеры, нежели их брать. У нас само размышление о возможности выбора между двумя решениями вызывает у большинства саркастическую улыбку. И все же отдельные личности могут дерзнуть и признаться — возможно, даже оставшись безнаказанными, — что тургеневский метод представляется им наиболее плодотворным. Этот метод тем уже хорош, что, пользуясь им, писатель в подходе к любому жизненному явлению, начинает, так сказать, с давно прошедшего. Он позволяет рассказать очень многое о людях — мужчинах и женщинах. Разумеется, он вряд ли придется по вкусу тем многочисленным читателям, которые, выслушав наши доводы, ответят: «Вот одолжили! А зачем нам ваши мужчины и женщины? Была бы увле-

кательная история!»

Но при всем том, история Елены очень увлекательна, и Лизы тоже, и «Новь» тоже увлекательная история. Я не так давно перечитал романы и рассказы Тургенева и вновь поразился тому, как поэзия сочетается у него с правдой жизни. Говоря о Тургеневе, нельзя забывать, что наблюдатель и поэт слиты в нем нераздельно. Поэтическое чувство, чрезвычайно своеобразное и сильное, не покидало его никогда. Им навеяны рассказы, написанные Тургеневым в последние годы жизни, после романа «Новь», — рассказы, где столько фантастического и потустороннего. Им проникнуты многие его раздумья, видения, сентенции, вошедшие в «Seni-lia». В мои намерения не входит разбирать здесь сочинения Тургенева — все, что мог и хотел, я сказал о них несколько лет назад, однако позволю себе заметить, что, перечитывая эти сочинения, я, как и прежде, нашел в них два некогда упомянутых мною качества: богатство содержания и всепроникающую грусть. Они словно сама жизнь, а не искусная ее обработка, не réchauffé[243] жизни. Однажды, помнится, говоря об Омэ — провинциальном аптекаре из «Мадам

[243] Примечания: 243
подогретое блюдо (фр.).

Бовари», педанте, щеголявшем «просвещенными мнениями», — Тургенев заметил: исключительная сила образа этого маленького нормандца в том, что он одновременно и индивидуальность, со всеми ее особенностями, и тип. В этом же сочетании кроется исключительная сила тургеневского изображения характеров: его герои неповторимо воплощают в себе единичное, но в то же время столь же отчетливо и общее. Высказывания Тургенева, подобные замечанию об Омэ, заставляют меня задуматься над тем, почему он так высоко ставил Диккенса, у которого это как раз было слабым местом. Если Диккенсу не суждено остаться в веках, то именно потому, что герои его воплощают в себе единичное, но не общее, индивидуальное, но не типичное; потому, что мы не чувствуем их неразрывной связи с остальным человечеством, не ощущаем принадлежности части к тому целому, из которого романист и драматург ваяют свои фигуры. Я все собирался, но так и не удосужился еще раз навести Тургенева на разговор о Диккенсе, расспросить, что он в нем находит. Его восхищение, полагаю, было вызвано тем, что Диккенс — а на это он был мастер — развлекал Ивана Сергеича. Тут пленяла сама сложность изваяния. Я уже упоминал о Флобере и

возвращаюсь к разговору о нем, чтобы добавить, что в дружбе, которая связывала его и Тургенева, было что-то бесконечно трогательное. К чести Флобера надо сказать, что он очень ценил Ивана Тургенева. Между ними существовало немало общего. Оба принадлежали к породе крупных, массивных людей, хотя Тургенев превосходил Флобера ростом; оба отличались предельной правдивостью и искренностью; оба были по натуре склонны к пессимизму. Они питали нежную привязанность друг к другу, но, думается, я не погрешу против истины и такта, если скажу, что со стороны Тургенева к этой привязанности примешивалась еще и доля участия. Что-то во Флобере невольно взывало к подобному чувству. За ним, в целом, значилось больше неудач, нежели удач; огромный запас знаний, огромное усердие, которое он употреблял на шлифовку своих произведений, не приводили к должным результатам. Природа наградила его талантом, но обделила живостью ума, наградила воображением, но обделила фантазией. Его усилия были героическими, но он доводил свои творения до полного блеска, казалось он покрывал их металлическими пластинами, и они, исключая «Мадам Бовари» — безусловно шедевра, — вместо того,

чтобы плыть на всех парусах, шли на дно. Им владела страсть к совершенству формы, к некой исключительной многозначности стиля. Он жаждал создавать совершенные фразы, в совершенстве соединенные, плотно пригнанные друг к другу, как звенья кольчуги. На жизнь Флобер глядел только с точки зрения художника, а к своей работе относился с серьезностью, никогда его не покидавшей. Написать безупречную страницу — а в его представлении безупречная страница означало нечто почти недостижимое — только для этого и стоит жить! Он пробовал вновь и вновь, и уже приближался к цели, и ему даже не раз удавалось коснуться ее, потому что «Мадам Бовари» останется в веках. Но его гению не хватало сердечного жара. Флобер был холоден, хотя отдал бы все на свете за способность гореть! В его романах нет ничего похожего на страсть Елены к Инсарову, на чистоту Лизы, на отчаяние стариков Базаровых, на скрытую рану Татьяны, а между тем он старался — пуская в ход весь свой богатейший словарь — затронуть струны жалости. Но что-то в его душе «давало осечку», не исторгало нужного звука. Иных чувств у него было сверх меры, других — недостаточно. Так или иначе, этот изъян в устройстве, позволю

себе сказать, душевного инструмента, вызывал у тех, кто знал Флобера, особую симпатию к нему. Да, он был могуч и ограничен, но, если угодно, есть что-то человеческое, вернее даже, что-то величественное в сильной натуре, не сумевшей выразить себя до конца. После первого года знакомства с Тургеневым, мне уже не доводилось так часто встречаться с ним. В Париже я бывал сравнительно редко, и не всегда заставал там Тургенева. Но я старался не упускать возможности увидеться с ним, и судьба, большей частью, мне в этом благоприятствовала. Два или три раза он приезжал в Лондон, но на досадно короткий срок. Отправляясь поохотиться в Кембриджское графство, он останавливался в Лондоне и на пути туда и на возвратном пути. Ему нравились англичане, хотя я не убежден, что ему нравилась их столица, где он провел мрачную зиму 1870 — 71 г. Я помню кое-какие его впечатления той поры, особенно, рассказ о визите к некоей «епископше», окруженной выводком дочерей, и описания завтраков, которыми его кормили в меблированных комнатах, где он поселился. После 1876 г. я чаще видел его больным. Его терзали приступы подагры, и порою он не находил себе места от боли, но говорил он о своих страданиях

пленительно — иного слова я не подберу, — как и обо всем прочем. Привычка наблюдать так укоренилась в нем, что даже в своих мучительных ощущениях он подмечал разного рода любопытные черты, находил для них аналогии и очень тонко анализировал. Несколько раз я посещал его в Буживале, городке, расположенном вверх по Сене, где он выстроил себе очень просторное и красивое, но, к сожалению, темноватое внутри шале, рядом с виллой той семьи, которой посвятил свою жизнь. Это прелестное место; оба дома стоят посредине длинного пологого склона, спускающегося к реке и увенчанного лесистым гребнем. В некотором отдалении слева, высоко над окаймленным лесами горизонтом, тянется романтический виадук Марли. Чудесное имение! Там, в Буживале, я и видел его в последний раз, в ноябре 1882 г. Он уже давно страдал недугом, который проявлялся в странных, нестерпимых болях. Но в мой приезд он чувствовал себя лучше и появилась надежда. Она не оправдалась. Ему снова стало хуже и последующие месяцы были ужасны. Зачем такой прекрасный светлый ум должен был затуманиваться, зачем должен был искусственно быть помрачен! Ему бы до последней минуты хранить свою способность внимать

велениям судьбы и участвовать в ее таинствах. Впрочем в тот день, когда я навестил Тургенева, он, как говорят в Лондоне, был в отличной форме и произвел на меня почти радужное впечатление. Ему предстояла поездка в Париж, а так как железной дороги он не переносил, был подан экипаж, и он предложил мне ехать вместе с ним. Полтора часа он говорил без устали — и говорил как никогда блестяще. Когда мы добрались до Парижа, я вышел на одном из внешних бульваров, так как направлялся в другую сторону; стоя у окна кареты, я простился с Иваном Сергеичем и больше никогда его не видел. Поблизости, в прохладном ноябрьском воздухе, под оголенными деревцами бульвара, гудело нечто вроде ярмарки, и из-за ширм балагана, где шло кукольное представление, доносился гнусавый голос Полишинеля. Я начинаю жалеть, что, перечисляя эти подробности, которыми, боюсь, чрезмерно увлекаюсь, я невольно слишком много говорю о Париже: у читателя может создаться впечатление, будто Иван Тургенев офранцузился. Но это отнюдь не так: жизнь в столице Франции была для него не столько необходимостью, сколько случайностью. Париж оказывал на Тургенева немалое воздействие в одних отношениях, но

никакого — в других, а благодаря замечательной русской привычке постоянно освежать ум и память, он всегда держал окна открытыми на широкие просторы, раскинувшиеся далеко за парижскую banlieue.[244] Я рассказал о Тургеневе только то, что вынес из личного знакомства с ним, и, увы, у меня почти не осталось места, чтобы коснуться вещей, заполнявших его существование куда больше, чем соображения, как строить рассказ, — о его надеждах и опасениях, связанных с родной страной. Он писал романы и драмы, но величайшей драмой его собственной жизни была борьба за лучшее будущее России. В этой драме он играл значительную роль, и пышный погребальный обряд, которым почтили его — простого и скромного, — провожая в могилу, достаточно свидетельствует о признании соотечественников. Его похороны, как ни старались втиснуть их в официальные рамки, вылились в грандиозную «манифестацию». И все же, читая отчеты о его погребении, я чувствовал какой-то холод на душе, и почести, которых он удостоился, не вызывали во мне должного одобрения. Вся эта торжественность и великолепие словно вырыва-

[244] Примечания: 244
городская черта *(фр.)*.

ют его из круга близких сердцу воспоминаний, взаимной приязни, вознося на величественный пьедестал всенародной славы. И вот уже те, кто знал его и любил, должны обращать к нему свои слова прощания через этот барьер, препятствующий дружескому общению. Но тут уже ничего не поделаешь. Он был благороднейший, добрейший, прелестнейший в мире человек; его сердце полнилось любовью к справедливости, но в нем было и все то, из чего создаются великие мира сего.

Иван Тургенев (1818–1883)[245]

Пожалуй, вряд ли найдется другой иноземный писатель, который столь же естественно, как Тургенев, занял бы должное место в «Библиотеке для английских читателей»,[246] и дело здесь отнюдь не в том, что он согласился или хотя бы в мыслях имел согласиться угождать или приноравливаться к вкусам упомянутых читателей, поступаясь своей исключительной творческой независимостью; напротив, именно в силу исключительного своеобразия своего гения он еще при жизни завоевал признание иностранной публики. В этом отношении он занимает особое положение: более всего прочего освоил с ним западную публику как раз присущий ему русский дух.

Тургенев родился в 1818 г. в Орле, в самом сердце России, а умер в 1883 г. в Буживале близ Парижа; вторую половину жизни он провел в

---

[245] Примечания: 245

Впервые напечатана как вступительная статья к т. 25 «Библиотеки лучших образцов мировой литературы» («Library of World's Best Literature», v. 25, 1896–1897).

[246] Примечания: 246

«Библиотека для английских читателей». — Имеется в виду указанное издание.

Германии и Франции, чем вызвал у себя на родине неодобрение, часто выпадающее на долю отсутствующих, — расплата за те широкие горизонты или за соблазны, которые им иногда случается открыть по ту сторону рубежа. Тургенев принадлежал к числу крупных помещиков, владельцев обширных земель и многочисленных крепостных; он унаследовал состояние, которое позволяло ему — редкий случай среди писателей — заниматься литературным трудом, не заботясь о заработке, в чем был подобен своему прославленному современнику Толстому, столь отличному от него во всем остальном. Мы можем получить представление о его обстоятельствах, вообразив себе крупного рабовладельца начала века из штата Виргинии или Южной Каролины, сочувствовавшего идеям Севера и ставшего (не столько в силу этого сочувствия, а скорее благодаря своему необыкновенному дару) великим американским романистом — одним из величайших в мире писателей. Родившись в стране, где общественная и политическая жизнь находилась под жесточайшим гнетом, Тургенев в силу сокровенных свойств своей натуры, своего нравственного чувства, вырос свободолюбцем и еще юношей, проучившись несколько лет в

немецком университете, по возвращении домой навлек на себя из-за безобидного выступления в печати такую немилость властей, что был сослан — правда! всего лишь в собственное поместье. Возможно, благодаря этому обстоятельству он и собрал материал для произведения, положившего начало его литературной славе: мы имеем в виду «Записки охотника», вышедшие в свет двумя книгами в 1852 г. Этот замечательный сборник сцен из обыденной деревенской жизни при прежнем крепостном укладе часто ставят в такую же связь с манифестом Александра II об освобождении крестьян, в какую ставят знаменитый роман Бичер Стоу с отменой рабства в южных штатах. Во всяком случае, несомненно, что, подобно «Хижине дяди Тома», эти сельские картины возвестили: час пробил! — с одной только разницей: они не тотчас вызвали бурю, ибо обвинение было предъявлено со столь тонким искусством, что его распознали не сразу, — с искусством, всколыхнувшим не поверхность, а глубины.

Тем не менее, автор довольно быстро приобрел такое влияние, что пользоваться им было безопаснее на расстоянии; он отправился путешествовать, жил за границей, в начале шести-

десятых годов поселился в Германии, приобрел недвижимость в Баден-Бадене и провел там несколько лет — последние годы процветания этого города, насильственно прерванного Франко-прусской войной. После окончания войны Тургенев связал, можно сказать, почти всю свою жизнь с побежденной страной; он обосновался в Париже и построил себе восхитительный загородный дом вверх по Сене и, если не считать наездов в Россию, провел то в столице Франции, то близ нее остаток своих дней. У него было множество друзей и знакомых среди выдающихся художников и литераторов, он так и не женился, продолжал писать, не торопясь и не гоняясь за числом книг, и за эти годы постепенно приобрел так называемую европейскую известность — в данном случае определение «европейская» обнимает и Соединенные Штаты, где у него нашлись особенно рьяные поклонники.

Меж тем достигло расцвета дарование Толстого, который на десять лет моложе Тургенева, хотя, если быть точным, слава его романов «Война и мир» и «Анна Каренина» разнеслась по свету уже после смерти старшего из этих двух писателей. Будучи уже на смертном одре, Тургенев, собрав последние силы, обратился к Толстому, с кото-

рым в течение длительного времени находился в ссоре (о ее причинах здесь говорить не стоит), с письмом, умоляя его не зарывать свой талант и вернуться к литературе, так плачевно, так чудовищно им заброшенной. «Долго вам не писал, ибо был и *есмь*, говоря прямо, на смертном одре..[247] Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же Вам, собственно, чтоб сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!..Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!.. Друг мой, великий писатель русской земли — внемлите моей просьбе!» Эти слова — без сомнения самые трогательные, с какими когда-либо один замечательный художник обращался к другому, — проливают косвенный, или, я даже сказал бы, прямой свет на характер и особенности Тургенева-творца; они об очень многом говорят, и я не могу не пожалеть, что лишен здесь возможности остановиться подробнее на несходстве между этими двумя писателями: мне это помогло бы лучше оттенить портрет Тургенева. Проще

[247] Примечания: 247

«Долго вам не писал...» — цитируется письмо Тургенева Толстому из Буживаля (см.: *И. С. Тургенев.* Поли. собр. соч. Письма, т. XII, кн. 2, с. 180).

всего было бы встать на точку зрения русских, что Толстой понятен только своим соотечественникам, тогда как Тургенев доступен пониманию и зарубежной публики, но это неверно: в Европе и Америке «Война и мир» насчитывает, пожалуй, больше читателей, нежели «Дворянское гнездо», или «Накануне», или «Дым», — факт не столь уж убийственный, как может показаться, для высказанного выше утверждения, что у нас, в западном мире, преимущественно принят автор последних трех произведений. Тургенев в высшей степени является тем, что я назвал бы романистом из романистов и романистом для романистов — писателем, художественное воздействие которого в литературе не только неоценимо, но и неистребимо. Знакомство с Толстым — с безбрежным морем жизни — огромное событие, своего рода потрясение для каждого из нас, и, тем не менее, его имя не связано в нашем представлении с тем непреходящим очарованием художественного метода, с тем чудом искусства, которое светит нам совсем рядом в творениях его предшественника, озаряя наш собственный путь. Толстой — зеркало величиной с огромное озеро, гигантское существо, впрягшееся в свою великую тему — вся человеческая жизнь! — точно слон, который

тащит не один экипаж, а целый каретный сарай. Сам он — грандиозен и вызывает восхищение, но не вздумайте следовать его примеру: учеников, которым не дано его слоновой мощи, он может только сбить с дороги и погубить.

Год за годом в течение тридцати лет Тургенев продолжал — с перерывами, с терпеливым упорством и выжиданиями — наносить твердой, наметанной рукой свои отчетливые узоры. Пожалуй, самая замечательная черта его искусства — лаконичность, идеал, от которого он никогда не отступал (хотя, возможно, более всего к нему приближался в тех вещах, где был наименее краток). У него есть шедевры в несколько страниц, его самые совершенные вещи иной раз самые короткие. У Тургенева очень много небольших рассказов, эпизодов, словно выхваченных ножницами Атропы,[248] но мы пока не располагаем их непосредственным переводом, довольствуясь французскими и немецкими, которые вместо оригинальных текстов (ведь у нас мало кто знает русский) служат источником того немногого, что публиковалось из них по-английски. Что до его романов и «Записок охотника», то благодаря

[248] Примечания: 248

Антропа — в греческой мифологии одна из трех мойр (римск. парок), перерезавшая нить человеческой судьбы.

миссис Гарнетт[249] мы располагаем ее тургеневским девятитомником (1897). Мы затрагиваем здесь очень важную, в нашем мнении, черту писательской судьбы Тургенева — тот разительный факт, что он стал близок даже тем, кто лишен удовольствия читать его на родном языке, кто вообще не придает значения вопросу о языке. А между тем, не касаясь внешних особенностей его творений, невозможно, читая Тургенева, не придти к выводу, что в живом воплощении родного языка он, безусловно, принадлежит к тому замечательному типу писателей, творчество которых убеждает нас в важнейшей истине: у большого художника материал и форма едины, они — две нерасторжимые стороны той же медали; словом, Тургенев, — один из тех писателей чей пример наносит сокрушительный удар давнишнему тупому заблуждению, будто содержание и стиль — и в общем эстетическом плане, и в отдельном художественном произведении — не связаны и существуют сами по себе. И, читая Тургенева на чужом ему языке, мы осознаем, что до нас не доходит звук его голоса, его интонации.

---

[249] Примечания: 249

Гарнетт Констанция (1862–1946) — переводчица на английский язык русской классики: Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и др. Первый том ее переводов тургеневских романов появился в 1894 г.

И тем не менее, перед нами Тургенев — об этом свидетельствует хотя бы то, что мы все же так остро ощущаем его неповторимое обаяние, что в обращенной к нам маске, пусть даже лишенной характерного выражения, так много красоты. Красота эта (коль скоро требуется дать ей определение) в умении поэтически изобразить будничное. В его поле зрения — мир характеров и чувств, мир отношений, выдвигаемых жизнью ежеминутно и повсеместно; но, как правило, он редко касается чудесного, творимого случайностью, — тех минут и мест, что лежат за пределами времени и пространства; его сфера — область страстей и побуждений, обычное, неизбежное, сокровенное — сокровенное счастье и горе. Ни одна из тем, которые он избирал, не кажется нам исчерпанной до конца, но при всем том он умеет вдохнуть в них жизнь изнутри, не прибегая к внешним ухищрениям, подобным пресловутым шипам под седлом лошадей, которыми прежде на римских карнавалах распаляли несчастных животных, заставляя нестись изо всех сил. Тургеневу нет надобности «пускать кровь» интригой; история, которую он рассказывает, ситуация, которую предлагает, разворачивается в полную силу как бы сама собой. Уже в первой его книге полностью

раскрылось то, что я назвал бы лучшей стороной его дара — умение облекать высокой поэзией простейшие факты жизни. Эта атмосфера поэтического участия, насыщенная, так сказать, бессчетными отзвуками и толчками всеобщих потрясений и нужды, окутывает все, чем полнится его душа: ощущение предопределенности и бессмыслицы, чувство жалости и изумления, и красоты. Благожелательность, юмор, разнообразие, отличавшие «Записки охотника», тотчас заставили признать в их авторе наблюдателя, наделенного необъятным воображением. Эти качества, соединившись, окрашивают у него и большое и малое: и повествования о нищете, простодушии, набожности, долготерпении тогда еще крепостного крестьянина, и картины удивительной жизни природы — земли и неба, зимы и лета, полей и лесов, и описания старинных обычаев и суеверий или неожиданного появления какого-нибудь соседа помещика из местных чудаков, и рассказы о тайнах ему поверенных, о странных личностях и впечатлениях, извлеченных им из прошлого, осевших в его памяти, — словом, все, накопленное за долгое, тесное общение с людьми и природой во время упоенных скитаний с ружьем за дичью. Высокий, статный, необык-

новенно сильный, Тургенев со своей любовью к охоте, или, может быть, скорее к тому вдохновению, которое в ней черпал, являл бы собой идеал великолепного охотника, если бы только этот образ не шел в разрез с его врожденной мягкостью и добротой, нередко сопровождающие могучее сложение и крепкие мышцы. По своему внешнему виду Тургенев скорее был образцом сильного человека в часы покоя: массивный, рослый, с голосом юношески звонким и улыбкой почти детской. И что совсем уже не вязалось с его объемистой фигурой — это его произведения, верх душевной тонкости, богатства воображения, прозорливости и лаконизма.

Если к трем уже упомянутым мною — в порядке их напечатания — романам добавить (так же во временной последовательности) еще «Рудин», «Отцы и дети», «Вешние воды» и «Новь», то будут названы краеугольные камни того крепкого памятника — с надежной основой и без единой щели, — который он воздвиг себе своим творчеством. Перечень его меньших по объему вещей слишком длинен, чтобы привести его здесь целиком, и поэтому я ограничусь лишь самыми примечательными: «Переписка», «Постоялый двор», «Бригадир», «Собака», «Жид», «Призраки»,

«Муму», «Три встречи», «Первая любовь», «Несчастная», «Ася», «Дневник лишнего человека», «История лейтенанта Ергунова», «Степной король Лир». Трудно сказать, какому из его романов принадлежит первое место. Одни отдают предпочтение «Дворянскому гнезду», другие — «Отцам и детям». Я более всего люблю его изящный роман «Накануне», хотя, признаюсь, изящество не обеспечивает ему превосходства в ряду столь же превосходных. Бесспорно, однако, что «Новь» — роман, опубликованный незадолго до смерти Тургенева, и самый его длинный — при всех своих достоинствах наименее совершенный.

Главное в этих произведениях характеры — характеры, предельно выраженные и до конца выявленные. Глубокое понимание человеческого характера всегда было путеводной нитью Тургенева — художника; аттестуя его, довольно сказать, что для него многогранность любого характера уже достаточна для создания драмы. Он как никто умеет подробно разглядеть, а потом иронически и в то же время благожелательно изобразить человеческую личность. Тургенев видит ее в мельчайших проявлениях и изгибах, со всеми наследственными чертами, с ее слабостью и силой, уродством и красотой, чу-

дачеством и прелестью, и притом — что весьма существенно — видит в общем течении жизни, ввергнутой в обыденные отношения и связи, то барахтающейся на поверхности, то погружающейся на дно, — песчинку, уносимую потоком бытия. Это-то и придает ему, с его спокойной повествовательной манерой, необычайную широту, уберегая его редкостный дар обстоятельного описания от жесткости и сухости, от опасности впасть в карикатуру. Он понимает так много, что остается лишь удивляться, как ему удается что-либо выразить; при этом, выражая, он всегда только рисует, поясняет наглядными примерами, все показывает, ничего не объясняя и не морализируя. В нем столько человеколюбия, что остается лишь дивиться, как он умудряется владеть материалом, столько жалости, всепроникающей и всеохватывающей, что остается лишь дивиться, как он не утрачивает своей любознательности. Он неизменно поэтичен, и, тем не менее, реальность просвечивает сквозь поэзию, не утрачивая ни единой своей морщинки. Он как никто отмечен печатью прирожденного романиста, что прежде всего проявляется в безусловном признании свободы и жизнеспособности, даже если угодно, суверенности тех существ, которые

он же и создал, и никогда не пользуется дешевым приемом других авторов беспрестанно истолковывать своих героев, то порицая их, то восхваляя, и забегая вперед, заранее внушая те чувства и суждения, какие читателю — пусть даже не очень искушенному — лучше бы обрести самому. И все же тургеневская система, так сказать, сторонних и детальных описаний позволяет увидеть глубины, каких не показать более откровенному моралисту.

Однако утверждая, что Тургенев необычайно щедр на изображение характеров, я должен тут же оговориться: понятие «характер» никоим образом не является у него, как у нас на Западе, синонимом решительности и преуспеяния. Его персонажи — люди, занятые собой и почти беспомощные в своей обособленности, и совершенство, с которым их изображает Тургенев, достигается, как мне кажется, главным образом, показом того, чего они, ради успеха дела, как раз и не делают. Самый наболевший для Тургенева вопрос — это вопрос об отсутствии воли; он постоянно к нему возвращается, живописуя горестные фигуры своих соотечественников, слишком часто, по-видимому, страдающих этим недугом. Он дает нам понять, что наблюдал крушение воли бессчетное

число раз, и трагедии, которые он описывает, что чаще всего трагедии отчаянных, но бесплодных усилий, неизбежного отречения и отказа от надежд. Но если мужчины, по большей части, страдают отсутствием воли, то женщины наделены ею с избытком; представительницы сего пола, населяющие страницы его романов, отличаются поразительной силой духа в добавление к другим, в каждом случае иным, превосходным качествам. Это относится к такому числу женских образов у Тургенева — молодых женщин и девушек, в особенности «главных героинь», — что они, благодаря нравственной своей красоте и тончайшему устройству души, составляют одну из самых замечательных групп среди женских образов, созданных современной литературой. Они — героини в прямом смысле слова, притом героизм их неприметен и чужд всякой рисовки; пожалуй, только они одни и обладают способностью принимать решения и действовать. Елена, Лиза, Татьяна, Джемма, Марианна — я называю их имена и вызываю в памяти их образы, но на каждом в отдельности за недостатком места, увы, не могу остановиться. Написанные тончайшими и нежнейшими мазками, они исполнены подлинной жизни; именно с помощью этого

художественного метода Тургенев во всех своих произведениях убеждает нас и побеждает.

Сам он считал своей слабой стороной чрезмерное увлечение подробностями и отсутствие дара композиции — дара, без которого невозможно добиться цельности впечатления. Но какой другой писатель умел точнее выразить и шире охватить окружающую его действительность, кто еще отличался такой достоверностью, полностью вытекавшей из содержания, из самой идеи произведения! Более того, идея эта, это содержание — искра, высеченная трением жизненных явлений, — неизменно возбуждает к себе интерес, словно не распечатанная еще телеграмма. Его редкостная свобода — при необыкновенной тонкости — в подходе к «внутреннему» миру, миру нашего сокровеннейшего сознания, обладает некой особенностью, которую я, коротко говоря, определил бы и восславил как высокую объективность; именно благодаря этой особенности Тургенева приемы, употребляемые многими и многими его соперниками, кажутся нам грубыми, а предлагаемые ими темы пошлыми.

Приложения

М. А. Шерешевская. Генри Джеймс и его роман «Женский портрет»

Генри Джеймс — признанный классик американской литературы. Его книги широко издают и переводят на иностранные языки, творческое наследие усиленно изучают и исследуют. Ему воздают должное как романисту и теоретику романа, как автору рассказов и путевых очерков, критику и мемуаристу. Имя его известно каждому мало-мальски начитанному жителю англоязычных стран, а издатель, пожелавший выпустить любое из его многочисленных художественных произведений, может быть уверен в коммерческом успехе.

Но так было не всегда. При жизни Генри Джеймса его книги читали мало и очень немногие, в особенности у него на родине — в Соединенных Штатах. Нельзя сказать, чтобы он прозябал в неизвестности: его рассказы, очерки, критические статьи неизменно появлялись на страницах американских и английских журналов, а романы находили издателей. В 1907–1909 гг. в Нью-Йорке вышло Собрание сочинений Генри Джейм-

са, составившее 24 тома. Но при всем том для большинства своих современников он был «писателем для писателей», литературным мэтром, скорее теоретиком художественного мастерства, чем собственно художником. Американцы числили его среди английских авторов, англичане относили к американским, и по обе стороны океана так называемая читающая публика упорно обходила книги Джеймса своим вниманием..

«Почему ты не хочешь — ну хотя бы, чтобы потешить брата, — поучал писателя не оставлявший его своими назиданиями и советами Уильям Джеймс, известный философ и психолог, пристально следивший за литературной деятельностью брата, — сесть и написать новую книгу — без тумана, без заплесневелого сюжета, а с энергичным, решительным действием, без пикировки в диалогах, без психологических разъяснений, с полной ясностью в стиле? Опубликуй ее под моим именем, я подпишусь и вручу тебе половину гонорара...».[250]

Но хотя репутация автора с «самым несуразным методом» и упреки в том, что он стал «курьезом

---

[250] Примечания: 250
Цит. по: *Matthiessen F. O.* The James family. N. Y., 1947, p. 339.

литературы»,[251] не доставляли удовольствия Генри Джеймсу,[252] он был твердо уверен в правильности избранного им пути, в непреходящей ценности своих художественных поисков и находок.

Интерес к Генри Джеймсу, к созданной им теории романа, к его художественным достижениям и открытиям возник уже после смерти писателя, в 20-е годы XX в. Психологическая проза Генри Джеймса, от которой отворачивалось большинство его современников, была теперь воспринята как своеобразная лаборатория психологического романа XX в. Примечательно, что поиски Генри Джеймса, как у него на родине, так и в Англии, совпали с новой волной увлечения Толстым и особенно Достоевским, в которых видели вели-

---

[251] Примечания: 251

См.: «The letters of William James», ed. his son H. James, v. II. Boston, 1920, p. 240, 278.

[252] Примечания: 252

Отвечая в 1902 г. на письмо своего друга У. Д. Хоуэллса, американского романиста и издателя, который, услышав о намерении Г. Джеймса приехать в США, выразил надежду, что его появление на родине «возбудит интерес к его книгам у широкой публики», Джеймс с горечью писал: «Она, т. е. публика, завязла позади, и плотно завязла, по крайней мере до конца моих дней... Отель „Генри Джеймс“, как я полагаю, останется сугубо „частным“ предприятием... При всей его изысканности, ливрейных лакеях и наличии двух клозетов в каждом номере, этот чахоточный парадокс протянет недолго; его неминуемо закроют, а потом откроют под новой вывеской — как „Мэри Джонстон“, или „Кейт Дуглас Уигин“, или „Джеймс Лейн Аллен“. В лучшем случае как „Эдит Уортон“!» (цит.

по: *Mallhiessen F. O.* Op. cit., p. 513). М. Джонстон (1870–1936), К. Д. Уигин (1856–1923) и Д. А. Аллен (1849–1925) — третьестепенные американские романисты, Эдит Уортон (1862–1937) американская романистка, друг и последовательница Генри Джеймса.

ких учителей современного романа.

Судьба литературного наследия Генри Джеймса в значительной мере определяется его жизненной и творческой судьбой, сложившейся под влиянием исторических и культурных событий второй половины XIX в.

Генри Джеймс. 1894 г. Портрет Ф. Берна Джонса

1

Генри Джеймс (1843–1916) родился в Нью-Йорке, тогда еще сравнительно небольшом городе. Как по укладу, так и по духу семья Джеймсов представляла собой необычное явление в Америке середины XIX в., уже охваченной лихорадкой предпринимательства. «Наше сознание, — писал в своих мемуарах Г. Джеймс, — решительно никак не было оснащено для „бизнеса“ в мире бизнеса. В этом отношении мы составляли чудовищное исключение».[253]

На формирование взглядов будущего писателя огромное влияние оказал отец — Генри Джеймс-старший. Американец во втором поколении, он еще в юности проникся отвращением к окружавшей его атмосфере приобретательства и, унаследовав часть отцовского состояния, посвятил себя «поискам истины»,[254] как объяснял

---

[253] Примечания: 253
James H. A small boy and others. N. Y., 1913, p. 57–58.

[254] Примечания: 254
Ibid., p. 60.

он тем, кто интересовался родом его занятий. Мыслитель, педагог, человек с недюжинным общественным темпераментом, он не был ведущей фигурой в духовной жизни своего поколения, но достаточно видной, чтобы снискать признание многих замечательных людей этого времени.[255] Называя себя «сведенборгианцем», Генри Джеймс-старший, весьма вольно толкуя шведского теософа, принимал только нравственную сторону его учения и с большим сочувствием относился к социальной критике Фурье. Вслед за Сведенборгом, он считал, что человеку изначально в равной мере присуще и добро и зло, но что в его воле сделать между ними выбор. Вслед за Фурье он отрицательно относился к существующей «торгашеской цивилизации», видя ее главный порок в том, что она основана на насилии над человеком и своей «неограниченной конкуренцией» содействует развитию дурных сторон его

[255] Примечания: 255

В число близких друзей Генри Джеймс-старшего входили Эмерсон, Торо, Маргарет Фуллер, Бронсон Олкотт и другие трансценденталисты, он поддерживал знакомство с бостонскими литераторами Лоуэллом и Нортоном, писателями Чарлзом Дана и Уошингтоном Ирвингом; его дом посещали Теккерей и другие европейские знаменитости. Находясь в Англии, Генри Джеймс-старший встречался с Карлейлем, Мил-лем, Льюисом, Болдуином, Брауном и другими виднейшими интеллектуальными деятелями середины века. См.: *iVarren A.* The elder Henry James. N. Y., 1934; *Young Fr. H.* The philosophy of H. James Sr. N. Y, 1951.

натуры. В своем неодобрении существующих тенденций социального и нравственного развития Америки он был близок Эмерсону, Торо и другим трансценденталистам, с которыми поддерживал дружеские отношения на протяжении жизни.

Главным делом своей жизни Генри Джеймс-старший считал воспитание своих детей,[256] из которых стремился сделать людей с широкими гуманистическими взглядами, не зараженных духом процветающего делячества. Ни одна школа не удовлетворяла его требованиям: за 12 лет старшие сыновья, Уильям и Генри, сменили более дюжины учебных заведений в Нью-Йорке и Европе, куда в 1855 г. Генри Джеймс-старший повез свою семью, рассчитывая не только на лучшие, чем в Нью-Йорке, школы, но и на воздействие культурных традиций Старого Света.

На будущего писателя Генри Джеймса-младшего, подготовленного к восприятию эстетических богатств Европы обширным кругом чтения, посещением театров и выставочных залов, встречами с европейскими гостями в доме отца, трехлет-

[256] Примечания: 256

В семье их было пятеро: Уильям Джеймс (1842–1910), Генри Джеймс (1843–1916), Гарт Уилкинсон Джеймс (1845–1883), Робертсон Джеймс (1846–1910) и Элис Джеймс (1848–1892). Уильям Джеймс, философ и психолог, и Генри Джеймс, писатель, оставили значительный след в истории мировой культуры.

нее пребывание в Европе наложило большой отпечаток. Не меньшую роль в становлении его литературных и художественных вкусов сыграли новые друзья, которых он приобрел в Ньюпорте, где в 1858 г. по возвращении в Америку поселилась его семья. Ими были художник Джон Ла Фарж и литератор Томас Перри.[257] Первый познакомил Генри с современной французской реалистической прозой — с произведениями Стендаля, Мериме и Бальзака, второй — с романами Тургенева.

Начало Гражданской войны 1861–1865 гг. застало Джеймсов в Ньюпорте. Двое младших братьев — Г. У. Джеймс и Р. Джеймс — вступили добровольцами в войска Северян, для старших это было исключено: Уильям страдал тяжелым нервным заболеванием, Генри получил травму позвоночника при тушении пожара, последствия которой сказывались на протяжении всей его жизни.

В 1862 г. Генри Джеймс-младший поступил в Гарвард на юридический факультет. Однако юриспруденция не увлекла его, и он целиком отдался литературным занятиям, которым теперь уже твердо решил посвятить свою жизнь. В 1864 г.

---

[257] Примечания: 257

См.: *Журавлев И.* Томас Перри — пропагандист русской литературы в США. — «Русская литература», 1974, № 1, с. 223–230.

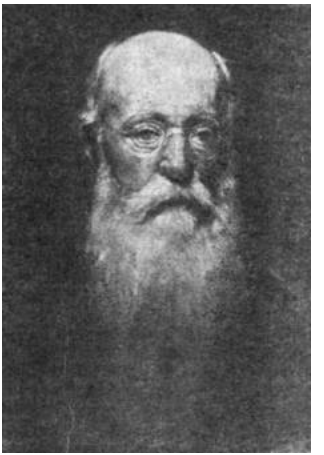
он опубликовал свою первую рецензию и первый рассказ. Как в том, так и в другом жанре молодой литератор сразу же получил признание, и редакторы ведущих американских литературных журналов, издававшихся в Бостоне («Атлантик Мансли» и «Норт Американ Ревью») и Нью-Йорке («Нейшн»), охотно стали привлекать его в свои издания.

И как критик, и как новеллист Генри Джеймс сразу же зарекомендовал себя горячим поборником реализма. Реализм зарождался в Америке в 50-е годы — на несколько десятилетий позже, чем в Европе, — и вначале не дал крупных имен. Джеймс Купер, Эдгар По, Натаниел Готорн, Герман Мелвилл, с чьей деятельностью прежде всего связывалось представление о национальной американской литературе, выражали свой взгляд на мир в романтических образах, аллегориях и символах. Проза повседневной жизни нашла свое отражение в творчестве писателей второго, если не третьего ряда: Кэтрин Марин Седжвин, Даниела П. Томпсона, Джона Нила и других, запечатлевших Новую Англию 40 — 50-х годов, Джона У. де Фореста, Эдуарда Эгглстона, Энди Адамса и их современников, воссоздававших характеры и нравы «дикого Запада» в 60-х.

Каждый из них, в меру своего дарования, рисовал картины «локального» быта, сдобренные щедрой дозой сентиментальности и дидактики. Эта литература, далекая от художественного совершенства и не ставившая себе иных задач, кроме воспроизведения «местного колорита», не могла претендовать на то, чтобы соперничать с подлинными художниками — мастерами романтизма.

С другой стороны, реализм в Америке, так же как и в странах Европы, вырастал, не столько перечеркивая опыт писателей-романтиков, сколько вбирая его в себя и преобразуя. Менялся исходный материал, объектом изображения становился повседневный обиход простых людей, но художественное осмысление житейских будней шло, как правило, по устоявшимся канонам, восходящим к романтической школе. А главное, американский реализм сохранил основную традицию американской романтической школы — выражать свое суждение о мире в этических категориях. В этой своей этической направленности ранние американские реалисты шли по стопам представителей трансцендентализма — Эмерсона и Торо, восстававших против буржуазных институтов и отношений во имя нравственного идеала, во имя сохранения чело-

веком высоких духовных ценностей.



Генри Джеймс, отец писателя. 1880 г. Портрет Фр. Дювенекка

Ранние критические статьи Генри Джеймса[258] направлены как против эпигонов романтизма, так и против плоского бытописательства амери-

[258] Примечания: 258

Критическое наследие Генри Джеймса составляет около 250 рецензий, из которых большая часть написана между 1864–1877 гг., вступительные статьи, теоретические статьи и писательские портреты, две монографии, множество отдельных заметок в связи с памятными датами и т. д.

канских регионистов. Образцы художественного постижения действительности он находил за пределами родной литературы — в европейском реалистическом романе, особенно высоко оценивая среди писателей предшествующего поколения Бальзака, а среди современников — Тургенева. Вместе с У. Д. Хоуэллсом,[259] во многом разделявшим его взгляды, он стремился сделать «уроки» этих писателей достоянием американской культуры. Статьи Джеймса о европейских писателях, в том числе и Тургеневе,[260] так же как и регулярные рецензии на их произведения, явились важным вкладом не только в пропаганду реалистического искусства среди американских читателей, но и в формирование американского реализма.

---

[259] Примечания: 259

Знакомство с У. Д. Хоуэллсом (1837–1920), писателем и редактором, состоявшееся в 1866 г., вылилось в долгую и плодотворную дружбу. См.: *Edgar P.* Henry James. Man and Author. L., 1927. Хоуэллс, сразу же высоко оценивший литературный талант Джеймса («Он очень глубокий человек и, по-моему, на редкость одаренный — настолько, что ему по плечу то, что пока еще никому из нас не удалось — создать подлинный американский роман», — писал он Э. С. Стедману 5 декабря 1866 г. См.: «Life and Letters of W. D. Howells». N. Y.,1928, v. 1, p. 116), считал Джеймса гордостью американской литературы. См.: *Howells Ш. D.* Recollections of an Atlantic editorship. — «Atlantic Monthly», 1907, November.

[260] Примечания: 260

Статья «Ivan Turgenieff», опубликованная в «North American Review» (April, 1874), — одна из первых, знакомивших американского читателя с русским романистом. Джеймсу принадлежит также рецензия на

«Новь» — «Ivan Turgenev's „Virgin Soil“ („Nation“, 1877), мемориальная статья „Ivan Turgĭnieff“ („The Atlantic Monthly“, VIII, 1883) и статья „Ivan Turgènieff, 1818–1883“ („Library of World's Best Literature“, v. 25, 1896–1897).

Как писатель Генри Джеймс начал с рассказа — жанра, который на протяжении всего XIX в. был самым распространенным, самым популярным в американской литературе. Структурные границы американской short story были достаточно широки, чтобы охватывать любое короткое повествование, — от остросюжетной новеллы с неожиданным концом, какой она выкристаллизовалась в творчестве Эдгара По, ее зачинателя и теоретика, до аллегорических медитативных историй с ослабленным или условным сюжетом, как у Готорна.

При всей неравноценности ранних рассказов Генри Джеймса — среди них много подражательных,[261] навеянных чтением Готорна («Романтическое приключение со старым платьем», 1868), Бальзака («Трагедия ошибки», 1864[262]), Мериме

---

[261] Примечания: 261

См.: *Kelley C. P.* The early development of Henry James. — «Univ. of Illinois (Studies in Language and Literature, v. XV)», 1930; *Kraft J.*– The early tales of Henry James. — «Southern Illinois Univ. Press», 1969. Примечательно, что из 29 новелл, опубликованных Джеймсом до 1875 г., только две — «Пламенный пилигрим», 1871 («The Passionate Pilgrim») и «Мадонна будущего», 1873 («The Madonna of the Future») — были включены им в «нью-йоркское издание» (The novels and tales of Henry James. N. Y., Ch. Scribners and Sons, 1907–1909).

[262] Примечания: 262

Эта новелла, печатавшаяся анонимно, была идентифицирована Л. Эделем только в 1953 г. См.: *Edel L.* Henry James. The Untried Years, 1843–1870. Philadelphia, 1953.

(«Последний из рода Валери», 1874), — все они являются этюдами об американцах у себя дома и в Европе, написанными в основном в этическом и психологическом плане. Как справедливо замечает один из исследователей его раннего творчества, Джеймс «рассматривает не события Гражданской войны, а то, как она сказывается на людях, живущих в войну; не то, как люди наживают деньги, а как, нажив их, живут».[263] Композиционно новеллы Джеймса не ломали традиционную схему short story, завещанную Эдгаром По. Но постепенно, от рассказа к рассказу, они теряли сюжетную остроту, а их опорными элементами становились не события и происшествия, а их восприятие и этическая оценка героями. Одновременно менялась и функция концовки, которая могла показаться неожиданной лишь очень невнимательному читателю. Конец рассказа подводил итог внутренней борьбе в сознании героя служил последним штрихом его психологического портрета. По-иному выглядела у Джеймса и роль автора. Он все больше стушевывался за своими персонажами, и его отношение к их чувствам и поступкам выявлялось не с помо-

[263] Примечания: 263
Krajt J. Op. cit., p. 5.

щью прямой дидактики или аллегории, а тоном повествования — чаще ироническим, но иногда сочувствующим или осуждающим.

Уже в этих ранних новеллах наметилась тема противопоставления Нового и Старого Света, которая, многообразно варьируясь, на долгие годы станет для Джеймса одной из основных. «Интернациональная тема», как называл ее сам Джеймс, по сути служила задаче многостороннего анализа американского национального характера с присущим ему комплексом «американизма».

«Американизм» — американский национализм — зародился еще в XVIII в. и был связан с особенностями формирования Соединенных Штатов как государства, с идеями, на которых они основывались, с иллюзиями, которыми их создание сопровождалось. Уже в XVIII в. с расширением американских колоний, осваивающих обильные, «свободные» (исконное население не в счет!) пространства огромного континента, возродилась мечта о «возможности построить заново град человеческий».[264] С Америкой связывались просветительские идеалы нового общества, где человек, не скованный ни сослов-

[264] Примечания: 264

Чайнард Дж. Американская мечта. — «Литературная история Соединенных Штатов Америки», т. 1. М., «Прогресс», 1977, с. 247

ными, ни политическими, ни религиозными цепями, мог бы полностью проявить свои естественные способности и достоинства. Победа в Войне за независимость («Американской революции») и создание Соединенных Штатов, казалось, обеспечивали этой мечте реальное будущее. Закладывая фундамент американского государства, «отцы революции» — Бенджамин Франклин, Томас Джеф-ферсон, Сэмюэль Адамс, Томас Пейн — были незыблемо уверены, что создаваемые ими общественные установления и законы утверждают и охраняют естественные права человека.

Уильям Джеймс – брат писателя. Автопортрет

Сознание участия в небывалом в истории человечества социальном эксперименте завладело умами американцев, перерастая в убеждение своей исторической исключительности, первозданности. Они стали ощущать себя людьми нового типа, не затронутыми пороками старого мира, свободными от его испорченности и предрассудков, — «невинными» людьми. «Американская мечта», как указывает А. С. Ромм, питала идею об «американском Адаме».[265]

«Американская мечта» претерпевала свои взлеты и падения. Первые послереволюционные десятилетия были отмечены патриотическим подъемом, достигшим вершины после победы в войне с Англией (1814 г.). В интеллектуальной жизни страны он проявился в настойчивом стремлении к национальному самоутверждению в духовной сфере — в историографии, литературе, искусстве. Затем наступили годы сомнений в действенности просветительских идей на американской почве. Они нашли свое отраже-

[265] Примечания: 265

См.: *Ромм А. С.* Американская драматургия первой половины XX века. Л., «Искусство», 1978, с. 16–20.

ние в сложных этических коллизиях романов Готорна, в причудливых и мрачных фантазиях По, в трагическом исходе борьбы Добра и Зла в монументальных полотнах Мелвилла. Аболиционистское движение 50-х годов и Гражданская война 1861–1865 г., закончившаяся формальным уничтожением рабства, оживили веру в осуществимость «американской мечты». На гребне этой волны обновленных надежд поднялась поэзия Уолта Уитмена, жизнерадостный юмор молодого Твэна, оптимистическая ранняя проза У. Д. Хоуэллса. Всем им в той или иной степени был свойствен «американизм» как вера в превосходство американской цивилизации над общественными установлениями Старого Света, в превосходстве американского «наивного сознания» над искаженным мироощущением представителей Европейского континента. Естественно поэтому, что проблема национального характера, занявшая значительное место в литературе послевоенного десятилетия, решалась в плане противопоставления «американского Адама» европейскому или европеизированному обществу. Эта антитеза присутствует в поэзии Уитмена, она же лежит в основе книги очерков Марка Твэна «Простаки за границей»

(1869),[266] она же присутствует в ранних романах У. Д. Хоуэллса — «Случайное знакомство» (1873), «Предвзятое заключение» (1875), «Леди с Арустука» (1879).[267] И везде сравнение Америка — Европа делается как само собой разумеющееся в пользу первой.

В 70-е годы Джеймс тоже отдал дань этой проблеме. Однако он подходил к ней иначе, чем Твэн и Хоуэллс. В отличие от них превосходство американца отнюдь не казалось ему аксиомой. Сталкивая своих соотечественников с европейской культурой — действие большинства его произведений этого периода разворачивается в Европе, героями же по большей части являются американцы, — он внимательно в них вглядывается. Что они такое в нравственном, эстетическом, психологическом отношении? Что могут противопоставить Старому Свету? Что ему дать? Что от него получить? Уже самой постановкой этих вопросов, не говоря уже об

---

[266] Примечания: 266

См.: *Боброва М.* Марк Твэн. Очерк творчества. М., 1962; *Ромм А. С.* Марк Твен. М., «Наука», 1977, с. 34–38. Напомним, что очерки Твэна называются «The Innocent Abroad», т. е. в буквальном переводе «Невинные за границей».

[267] Примечания: 267

См.: *Елистратова А. А.* Вильям Дин Гоуэллс и Генри Джеймс. — «Проблемы истории литературы США». М., «Наука», 1964, с. 205–286.

ответах, Джеймс расходился с большинством своих американских современников. Если его герои-американцы превосходили представителей Старого Света чистотой нравственного чувства (в повести «Мадам де Мов», 1874 г., и в романе «Американец», 1877 г., это превосходство становится даже основой сюжета), то пресловутая американская «невинность» сплошь да рядом оборачивается у него духовной неразвитостью — провинциальной ограниченностью, эстетическим невежеством, не делающей чести неотесанностью. Европа же для Джеймса — источник преодоления простоватой «невинности», источник для воспитания и развития чувств.

Ратуя за необходимость освоения европейского опыта, Джеймс главным образом имел в виду культурные, и прежде всего художественные, традиции Старого Света. «Интернациональная тема» в творчестве Джеймса 70-х годов тесно связана с темой американского художника. Американская действительность, где в силу исторических причин такие традиции отсутствовали, была, по мнению Джеймса, скудной почвой для развития художника, которому, помимо материала, требовалось еще и мастерство.

«Американцу, чтобы преуспеть, надо знать в

десять раз больше европейца, — говорит мистер Теобальд, герой новеллы „Мадонна будущего“. — Нам не дано глубинного чутья. У нас нет ни вкуса, ни такта, ни силы. Да и откуда им взяться? Грубость и резкие краски нашей природы, немое прошлое и оглушительное настоящее, постоянное воздействие уродливой среды — все это так же лишено того, что питает, направляет вдохновляет художника, как, утверждая это, свободно от горечи мое печальное сердце. Нам бедным художникам приходится жить в вечном изгнании».[268]

Подобно художнику Френхоферу из «Неведомого шедевра» Бальзака, на который в рассказе Джеймса есть прямая ссылка,[269] американский живописец оказывается творчески бесплодным. Но не потому, что занят поисками самодовлеющего совершенства формы. Поражение Теобальда обусловлено тем, что он пытается создать свой шедевр, не владея должным мастерством, о котором только говорит. Его трагедия в немалой доле сопряжена с «нашим (американским. —

[268] Примечания: 268

The Complete tales and stories of Henry James, ed. L. Edel. L., 1961–1964, v. III, p. 15.

[269] Примечания: 269

Ibid., p. 28.

М. Ш.) недоверием к дисциплине ума и нашей национальной склонностью к трескучим преувеличениям».[270] Мистер Теобальд определяет себя как «половинку гения»: «Мне недостает руки Рафаэля, голова его у меня есть».[271]

Обе темы — «интернациональная» и тема художника, пересекаясь, нашли свое воплощение в романе «Родерик Хадсон»,[272] 1876 г. Герой его американский скульптор поставлен перед выбором: либо остаться в родном Нортгемптоне, провинциальном городке, где нет ни условий, ни надобности в развитии его таланта, либо образовать себя как художника, но покинуть родину. Приняв помощь мецената Роуленда Маллета, решившего употребить свои деньги на общественное благо — формирование художника, Хадсон едет в Рим. Однако, столкнувшись со сложным, многообразным, изощренным миром Европы, молодой американец не выдерживает

---

[270] Примечания: 270
Ibid., p. 17.

[271] Примечания: 271
Ibid., p. 48.

[272] Примечания: 272
Хотя Джеймс называл роман «Родерик Хадсон» своим «первым опытом» в этом жанре, практически первым был роман «Опекун и опекаемая», публиковавшийся в «Атлантик Мансли» в 1871 г. Впоследствии, считая его ученическим, Джеймс не включил его в «нью-йоркское издание».

искуса ни как художник, ни как человек. Талант его глохнет, и сам он гибнет.

«Дилемма художника», как удачно назвал эту тему Л. Х. Пауэре[273] имела для Джеймса личное значение. В 1873 г., когда была написана и опубликована новелла «Мадонна будущего», он, очевидно, уже решил для себя вопрос о переезде в Европу.[274] Решение зрело медленно и было вызвано рядом, причин.

Генри Джеймса, несомненно, тяготил духовный климат Соединенных Штатов, вступивших в новый этап своего развития. 70-е годы — «позолоченный век», как назвал их Марк Твэн, — вошли в историю Америки как эра крушения тех просветительских идеалов, которые легли в основу «американской мечты». Победа

---

[273] Примечания: 273

См.: *Powers L. H.* Henry James. An introduction and interpretation. N. Y., 1970, p. 100.

[274] Примечания: 274

Мысль поселиться в Европе, вероятно, возникла у Генри Джеймса во время пребывания в Италии в 1873 г. и обсуждалась со старшим братом Уильямом, который по приезде в Америку писал ему: «Ты стоишь на развилке своего жизненного пути и от того, что ты решишь, зависит все твое будущее… Перед тобой сейчас такая дилемма: с одной стороны, милая твоему сердцу Европа плюс трудность заработать себе на жизнь литературным трудом, к тому же ненормальность такого существования с точки зрения гигиены ума… с другой, тоскливая жизнь в Америке плюс, возможно, необходимость взять на себя механические, однообразные служебные обязанности, каковые придется исполнять изо дня в день, совмещая их с литературной работой для души… Короче,

не возвращайся, пока не примешь окончательного решения. Если ты вернешься, худшими годами будут для тебя первые; если останешься, тяжкие годы, скорее всего, ждут тебя в конце, когда, к тому же, ничего уже не изменишь» (цит. по: Perry *R. B.* The thought and character of William James. Boston, v. I, 1936, p. 355–356). " Примечательно, что в приводимой выше статье о Тургеневе — безусловно, программной для Джеймса — он писал, что Тургенев производит впечатление человека, оказавшегося «не в ладу с родной страной, так сказать, в поэтической ссоре с ней», что должно особенно заинтересовать американского читателя, так как, «появись в Америке национальный романист большого масштаба, он, надо полагать, находился бы, в какой-то степени, в таком же умонастроении» (см. выше с. 496)

над аграрным югом уничтожила препоны промышленному развитию. Освоение Запада с его нетронутыми естественными богатствами содействовало ускорению этого процесса. Бурный рост промышленного производства, повсеместное строительство железных дорог вместе с неограниченной эксплуатацией природных ресурсов открывали небывалые возможности обогащения. Безудержное стяжательство охватило все сферы общественной жизни. Столпами общества стали ловкий предприниматель и беззастенчивый хищник. Однако в сознании самих американцев экономическое процветание отождествлялось с прогрессом. Богатство, успех в его приобретении и приумножении получили значение нравственной ценности, а энергичная «деятельность» и предприимчивость воспринимались как проявление национального духа. В немалой степени так же оценивалась и деятельность в области искусства и литературы. Именно в этот период зародилось понятие «бестселлер», которым измерялось значение писателя. В Нью-Йорке, где Джеймс провел зиму 1874 г., атмосфера «торжествующей и развязной пошлости»[275] была

[275] Примечания: 275

См.: *Паррингтон В. Л.* Основные течения американской мысли, т. III (1860–1920) — М — Л., 1963, с. 40 — 108.

особенно насыщенной, что не могло не подтолкнуть его к решению покинуть Соединенные Штаты.

Однако важнейшей причиной была творческая. Вместе с У. Д. Хоуэллсом он видел свое предназначение в том, чтобы создать американский реалистический роман, став, подобно Бальзаку, «историком современных нравов».[276] «Оглядываясь вокруг, — писал он Ч. Э. Нортону в 1871 г., — я прихожу к выводу, что и природа, и цивилизация нашей родины дают более или менее достаточно возможностей для литературной деятельности. Только секреты свои она откроет лишь поистине цепкому воображению. У Хоуэллса, мне кажется, его нет (а у меня, конечно, есть!). Чтобы писать об Америке на хорошем, на настоящем уровне, надо быть таким мастером, как нигде».[277]

2

С самого начала своей писательской карьеры Генри Джеймс относился к труду литератора,

---

[276] Примечания: 276
Там же, с. 42.

[277] Примечания: 277
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. I, L., 1974, p 252.

труду художника как к общественной деятельности, требующей от человека всех сил, полного развития своего дарования, подлинного профессионализма, высокого мастерства. Писатель, равно как и всякий художник, считал он, нуждается в школе, в учителях и сотоварищах, способных критически оценить его успехи и неуспехи. «Мне необходим regal (разлив. — *фр.)* умного, будящего мысль общества, — писал он матери из Италии в 1873 г., незадолго до возвращения на родину, — особенно мужского».[278] В Америке он не видел такого общества, иными словами, не находил для себя творческой среды.[279]

Первоначально Джеймс предполагал обосноваться в Париже, где тогда жил Тургенев, где протекала деятельность «внуков Бальзака», как он окрестил для себя Флобера, Додэ, Э. Гонкура, Золя. Вскоре по прибытии в Париж Джеймс посетил Тургенева, и тот оказав ему радушный прием,

---

[278] Примечания: 278

Ibid., p. 450.

[279] Примечания: 279

Позднее, в 1879 г., представляя английскому читателю Н. Готорна и невольно примеряя на себя его судьбу, Джеймс писал: «Каждый человек работает лучше, когда у него есть сотоварищи, делающие одно с ним дело и стимулирующие его советом, примером, соперничеством. Тот, кто работает в одиночку, не имеет возможности извлекать пользу из чужого опыта и споров» *(James Henry.* Hawthorne. L. (English men of letters, ed. by J. Morley, v. VIII). Macmillan, 1887, p. 30–31).

ввел его в кружок французских реалистов.

Встреча с Тургеневым, которой Джеймс давно искал,[280] положила начало многолетним дружеским отношениям, не прекращавшимся до смерти русского писателя в 1883 г.

Ivan Sergeitch — как Джеймс называл Тургенева в переписке — восхищал его не только как крупнейший романист своего времени, у которого он черпал уроки реалистического письма, но и своими человеческими качествами. «Он именно такой, о каком можно только мечтать, — сильный, доброжелательный, скромный, простой, глубокий, простодушный — словом, чистый ангел»,[281] — писал Генри Джеймс писателю У. Д. Хоуэллсу вскоре после первой встречи с Тургеневым. В свою очередь и Тургенев весьма

---

[280] Примечания: 280

Прибыв в Париж 11 ноября 1875 г., Джеймс уже 22 ноября был у Тургенева. Начиная с 3 декабря 1875 г., когда он подробно описывает свой визит к «великому московскому романисту» своей тетке К. Уолш, и до переезда в Лондон в декабре 1876 г., он постоянно упоминает Тургенева в переписке, подробно сообщая своим адресатам о свиданиях и беседах с «бессмертным Иваном Сергеичем» (см.: «Henry James letters», ed. by L. Edel, v. II, 1975, p. 10–74). В конце 1874 г., возвращаясь из Италии в Америку, Джеймс отправился в Баден-Баден с намерением встретиться с Тургеневым (см.: «Henry James letters», ed. L. Edel, v. I, p. 458), однако его не застал, так как Тургенев находился тогда в Карлсбаде. По приезде в Кембридж Джеймс получил от Тургенева письмо с благодарностью за статью в «North American Review» (April, 1874), которую тот нашел интересной и справедливой (см.: *Тургенев И. С.* Поли. собр. соч. и писем. Письма, т. X, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 269).

[281] Примечания: 281
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 23.

расположился к молодому американцу.[282]

Опыт Тургенева, несомненно, интересовал Генри Джеймса и еще в одном плане. Подолгу живя за пределами России, он оставался в высшей степени русским писателем. «Его произведения отдают родной почвой», — отмечал Джеймс в рецензии 1874 г. «Всеми своими корнями он по-прежнему был в родной почве», — повторил он в мемориальной статье 1884 г. Покидая Америку, Джеймс считал, что меняет только местожительство, но не гражданство (в широком смысле слова), он не отказывался с г первоначального намерения написать «настоящий американский роман». В жизни Тургенева, сохранившего живые связи со своим отечеством, он видел пример выполнимости своего замысла: совместить жизнь за пределами Америки с верностью ее культуре. Ошибочность такого взгляда станет ясной ему много позже.

---

[282] Примечания: 282

«Постарайтесь подружиться с Генри Джеймсом, он очень милый, разумный и талантливый человек», — писал Тургенев своему английскому переводчику У. Ролстону *(Тургенев И. С.* Указ. соч., т. XII, с. 63). «Он (Павел Жуковский — русский художник, живший в Париже, с которым Джеймс познакомился через Тургенева. — *М. Ш.)* также сказал мне, — писал Г. Джеймс брату, — что Иван Сергеич отзывался ему обо мне с похвалой «quilla jusqua l'attendrissement» (в которой даже слышалась растроганность. — *фр.)* и в таком тоне, в каком он редко о ком-либо говорит» («Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 42; см. там же: p. 10–74 и статью «Иван Тургенев» (1884) в настоящем издании).

Иначе сложились отношения Генри Джеймса с «внуками Бальзака». В Эдмоне Гонкуре, Додэ, Золя, даже Флобере[283] его не устраивала их эстетическая платформа — отрицание, как он полагал,[284] этической направленности искусства. Поглощенность кружка Флобера вопросами художественной формы казалась ему чрезмерной, а сосредоточенность интересов исключительно на явлениях современной французской культуры при полном невнимании к тому, что происходит в других странах, воспринималась как узость.[285]

С годами он воздаст должное и Флоберу («для многих из нас он. в целом, был образцом романиста»[286]), и Золя — автору «столь огромного интеллектуального предприятия, как Ругон Маккары»,[287] и Додэ, с которым будет поддерживать

---

[283] Примечания: 283

«Он (Флобер. — *М.Ш.).* очень глубок — настоящий Человек. Но как человек он нравится мне больше, чем как художник» («Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, с. 36).

[284] Примечания: 284

«Их союз скрепляло единое для всех убеждение, что искусство и мораль совершенно различные категории, и последняя имеет с первым так же мало общего, как с астрономией или эмбриологией» (см. настоящее издание, с. 513).

[285] Примечания: 285

«Снова провел воскресный вечере Флобером я его cénacle (кружок — *фр).* Странный они народ, и интеллектуально очень далеки от того, что меня привлекает. Они очень ограниченны и, право, вызывают презрение тем, что ни один из них не умеет читать по-английски.

Впрочем, это вряд ли что-нибудь исправило бы — все равно ничего бы не поняли» («Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 20).

[286] Примечания: 286

«*James H.* The future of the novel, ed. L. Edel. N. Y., 1956, p. 127.

[287] Примечания: 287

Ibid., p. 166.

самые дружеские отношения. Но в 1875–1876 гг. их программа, в особенности все, что связано с натурализмом, кажется ему неприемлемой.

«Я почти не вижусь с литературным братством, — сообщал он У. Д. Хоуэллсу через полгода после первого посещения кружка Флобера, — и у меня наберется с полсотни причин, почему я никогда с ними не сближусь. Мне не нравятся их изделия, а им не нравятся ничьи другие, и, кроме того, они не accueillants (приветливы — *фр.*)».[288]

Несомненно, расхождение с «литературным братством» было основной причиной, побудившей его искать пристанища в Лондоне. «Совершенно очевидно, — писал он отцу, — что еще одна зима в Париже не стоит свеч. Единственное, о ком я жалею, — это о моих русских друзьях».[289]

В Лондоне Джеймсу удалось создать себе условия, удобные для творческой работы. Многочисленные, но в основном беглые и необременительные знакомства, которыми он быстро обзавелся

---

[288] Примечания: 288

«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 52.

[289] Примечания: 289

«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 73. Русскими друзьями Джеймса были упомянутый художник П. В. Жуковский, семья покойного Николая Тургенева, княгиня М. С. Урусова.

в светских и общественных кругах, сглаживали чувство одиночества, и в то же время не нарушали его уединения.[290] К тому же, живя в Лондоне, Джеймс приобретал возможность печататься и получать гонорары как в американских, так и в английских изданиях, что обеспечивало ему — Джеймс жил только на литературные заработки — безбедное существование и независимость. Все это вместе убеждало его в правильности выбора, о чем он неоднократно повторял в переписке. «Попросту говоря, Лондон мне чрезвычайно нравится, — писал он Генри Адамсу полгода спустя после переезда. — По-моему, это место как раз для меня… Мне настолько здесь нравится, что я — конечно же, если не случится ничего непредвиденного — брошу здесь якорь на все время моего пребывания в Европе, скорее долгого, чем краткого».[291] Пребывание это, однако, затянулось на всю жизнь.

Первое пятилетие, проведенное в Европе, оказалось весьма плодотворным для литературной

---

[290] Примечания: 290

«Как видите, я сменил над собой небо, и что до неба, сменил на худшее. Но писаться мне здесь будет лучше, а это — согласитесь — для меня главное», — писал он У. Д. Хоуэллсу в 1877 г. («Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 84–85).

[291] Примечания: 291

Ibid., p. 110–111.

карьеры Джеймса. Вышедшие за эти годы роман «Американец» (1877), книга критических статей «Французские поэты и романисты» (1878), объединившая все лучшее, что публиковалось в журналах ранее, монография о Готорне (1879), повести и рассказы, регулярно появлявшиеся в американских и английских периодических изданиях, наконец, венчавший этот период роман «Женский портрет» (1881) утвердили за Джеймсом репутацию серьезного многостороннего литератора.

Основная тема, занимавшая Джеймса-художника на протяжении этих лет, — опять таки «интернациональная». Она является ведущей не только в его романах, но и в наиболее значительных повестях — nouvelle, как он определял свои психологические новеллы, настаивая на их жанровом отличии от традиционной короткой формы, остросюжетной с неизменным неожиданным концом. Сюжетные коллизии повестей «Четыре встречи» (1877), «Дейзи Миллер» (1878), «Европейцы» (1878), «Интернациональный эпизод» (1879) и другие, так же как романа «Американец», основаны на столкновении американца (или американки) с чуждым для «наивного сознания» сложным европейским

миром, либо в лице непосредственных его представителей, либо, и чаще всего, в лице своих европеизированных соотечественников. Это столкновение представлено во многих ракурсах, в разных сочетаниях, на различном национально-бытовом фоне — так, действие «Американца» происходит в Париже, где герой вступает в конфликт с семьей французских аристократов, в «Европейцах» разворачивается в Новой Англии, куда в расчете устроить свою судьбу прибывают европеизированные родственники типичной пуританской семьи американца Уэнтворта, в «Интернациональном эпизоде» переносится с одной стороны океана на другую, и даже в разном ключе — от мелодраматического в «Американце» до комического с тремя свадьбами в конце на манер комедии нравов в повести «Европейцы».

Развертывание «интернациональной коллизии» и анализ американского национального характера не были для Джеймса конечной целью. За столкновениями Нового и Старого света стояла более общая, этически значимая проблема: отношение человека к миру — миру, который, по представлениям Джеймса, следовавшего философским концепциям своего отца, являл собой сложное переплетение добра и зла. Путь героя

(или героини), прочерченный через конфликты большинства его произведений, — это путь от «невинности», отождествляемой с духовной узостью, инфантильностью, неразвитостью, даже ущербностью, к возникновению стойкого нравственного чувства, которое появляется через опыт, приобретенный в столкновении со злом и поражении в этом столкновении. Возведение такой философской основы — принцип, унаследованный от американской романтической школы, прежде всего от Готорна. Но, в отличие от Готорна, облекавшего свою общую идею в прозрачные аллегории, Джеймс скрывает ее под таким плотным слоем реального материала, таким количеством многообразных жизненно-достоверных подробностей и обстоятельств, что даже роман «Американец», где она более или менее просматривается, часто относят к нравоописательным.[292]

Интерес к этической проблематике и выявлению особенностей национального характера определил направление художественных исканий Джеймса. Его внимание было сосредоточено на внутренней, душевной жизни человека, на

---

[292] Примечания: 292

См.: *Jefferson D. W.* Henry James. N. Y., 1960, p. 19.

динамике психических состояний, вызванных его отношениями с другими людьми и окружающей средой. Это определило прозу Джеймса как психологическую.

«Психологические мотивы, на мой взгляд, дают блестящие возможности для живописи словом; ухватить их сложность — такая задача может вдохновить на титанический труд»,[293] — заявлял он в 1884 г., отстаивая психологизм в романе от его противников.

Изображение внутреннего мира человека — одна из исконных задач литературы. На протяжении веков, включая раннюю стадию реализма XIX в., это осуществлялось в прозе через описание душевных движений и чувств, через прямой авторский анализ. Писатель брал на себя роль «всеведущего автора», которому доступно то, что в действительности незримо для постороннего глаза, являясь сугубо скрытым механизмом. Такой анализ при всей его детальности, а впоследствии и многоплановости[294] мог быть принят лишь как художественная условность. Именно

---

[293] Примечания: 293

James H. The art of fiction. — «Longman's Magazine», Sept. 1884. Цит. по: *James H.* The future of the novel, p. 23.

[294] Примечания: 294

См.: *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л., «Сов. писатель», 1971.

поэтому реалисты второй половины XIX в., в частности Флобер, отказались от авторских описаний такого рода и, стремясь к предельной жизненной достоверности, стали передавать модификацию чувств через внешние их проявления — поступок, жест, высказывание.

«По теории господина Флобера, — писал об этом Джеймс, — романист, кратко говоря, должен начинать с внешнего. Человеческая жизнь, как бы говорит он, прежде всего являет собою зрелище, доставляя занятие и развлечение нашему зрению. Только то, что видит глаз, и можно считать достоверным; поэтому отсюда мы и начнем... и здесь же, вполне возможно, кончим».[295]

Достоверно передать внутреннюю жизнь человека во всей ее сложности, многообразности и многоплановости — такова была художественная задача, которая, по мнению Джеймса, ждала своего решения. Задача эта представлялась ему насущной и увлекательной. Вся его последующая литературная деятельность была в основном посвящена практической разработке и теоретическому обоснованию художественных приемов показа душевного мира человека. Его открытия в

---

[295] Примечания: 295
Цит. по: *Matthiessen F. O.* The James family, p. 570.

этой области пополнили сокровищницу мировой литературы, сделав его предтечей крупнейших мастеров психологического романа XX в. В конце 70-х годов, в начале своего творческого развития, он делал на этом пути первые шаги.

Стремление перейти от рассказа к показу претворялось в постепенном изменении специфических свойств повествования, в переориентации его компонентов. Основой сюжета становилось не действие, а действующее лицо — характер, личность героя, поставленного в такие обстоятельства, в которых неминуемо должно было проявиться, раскрыться его внутреннее «я». Именно в таком повороте рождался уже сам замысел будущего произведения, о чем свидетельствует изложенная впоследствии Джеймсом история создания романа «Американец».

«Помнится, как, сидя в конке, я поймал себя на том, что с воодушевлением обдумываю возможный сюжет: положение жизнестойкого, но вероломно обманутого и одураченного, жестоко униженного соотечественника в чужой стране, в аристократическом обществе; главное же — пострадал он от людей, мнящих, что они представляют высшую из всех возможных цивилизацию и принадлежат к среде, во всех

отношениях выше его собственной. Что он будет делать в этой трудной ситуации, как защитит свои права или как, упустив такую возможность, будет нести бремя своего унижения. Таков был центральный вопрос...».[296]

Ни внешний, ни тем более внутренний облик персонажа не экспонировались сразу в начале повествования. Герой раскрывался от эпизода к эпизоду, от сцены к сцене, каждая из которых добавляла, уточняла, проясняла его особенности и свойства. Это постепенное накапливание черт, ведущее к выявлению сути изображаемого характера и создающее предпосылки к его оценке, и составляло движение сюжета.

Вместе с отказом от открытого анализа внутреннего мира героя, который теперь выявлялся по крупицам, по мелочам, из отдельных деталей поведения, реакций, реплик и т. д., отпадала необходимость во «всеведущем авторе». Автору все чаще отводилась функция наблюдателя и регистратора аккумулирующихся свидетельств душевной жизни героя. Но и в этой роли его вскоре заменил один из персонажей — «центральное сознание», как впоследствии назвал

---

[296] Примечания: 296

James H. The art of the novel, critical prefaces by Henry James, ed. R. P. Blackmur. N. Y. — London, 1934, p. 21–22.

его Джеймс, — через призму видения которого преломлялось все, о чем сообщалось в новелле, повести, романе. Впервые такое «центральное сознание» Джеймс использовал в повести «Мадам де Мов» (1874). История и образ молодой американки, вышедшей замуж за французского аристократа, который, женившись на ее деньгах и не питая к ней никаких чувств, желает обеспечить себе «свободу», устроив ее адюльтер с заезжим соотечественником, целиком переданы через точку зрения этого последнего. В романе «Родерик Хадсон» (1875) «центральным сознанием» служит один из основных героев — Роуленд Маллет — меценат и друг художника Хадсона. Дейзи Миллер — героиня одноименной повести — показана через восприятие экспатрианта Уинтерборна — молодого американца, в которого она втайне влюблена и который в какой-то мере является косвенной причиной ее гибели.

Персонаж, выполнявший функцию «центрального сознания», был, как правило, одним из главных действующих лиц и как таковое обрисован со всей полнотой бытовых, социальных, психологических и прочих подробностей. Его видение обусловливалось свойствами собственного характера, особенностями и процессами

собственной душевной жизни, которые, в свою очередь, обнаруживались в ходе повествования. Такое видение не могло обладать, и не обладало, определенностью и категоричностью, свойственными открытому анализу «всеведущего автора». Повествование, таким образом, обретало некоторую зыбкость, неопределенность, многозначность, разнонаправленность.

Видоизменялось и назначение прямой речи персонажей. Диалог использовался теперь не только для того, чтобы сообщить о прошедших, настоящих и будущих событиях и тем самым развертывать сюжет, или для того, чтобы давать непосредственный выход мыслям и чувствам героев и тем самым открыто показывать их внутреннюю жизнь. Слово героя приобретает дополнительные функции. Оно служит свидетельством душевных состояний, выступает как знак скрытых внутренних процессов. Прямая речь не столько раскрывает, сколько прячет глубинное движение мыслей и чувств, не столько обнажает их, сколько маскирует, побуждая к догадке, домысливанию, попыткам обнаружить сокровенные связи.

В 70-х и начале 80-х годов все эти сдвиги в характере повествования только намечались у

Джеймса. Он понимал, что «драматизирует»[297] свою прозу. Тем не менее это был для него лишь один из возможных путей, но не единственный путь. Одна из лучших его психологических повестей — «Вашингтонская площадь» (1879) — была целиком написана в бальзаковской манере. Не ломал традицию открытого авторского анализа и роман «Женский портрет» (1881) — первый признанный шедевр Джеймса.

К началу 80-х годов Джеймсом был уже пройден длинный путь литературной работы — более пятнадцати лет. За эти годы он создал немало художественно совершенных произведений, и все же это были годы учения, ориентации в существующих литературных направлениях — поисков, которые еще не закончились. Джеймс еще не определился окончательно.

3

Осенью 1881 г., впервые за семь лет, прошедших со времени его отъезда в Европу, Джеймс совершил поездку в Соединенные Штаты. Он по-

---

[297] Примечания: 297

Впоследствии, воссоздавая творческую историю повести «Дейзи Миллер», Джеймс вспоминал, что отметил этот сюжет «карандашной пометкой, настоятельно означавшей в данной связи — „драматизируй, драматизируй!“ *(James H.* The art of the novel, p. 267).

сетил Кембридж, где жили его родители, Бостон и Нью-Йорк, куда его звали литературные дела, и Вашингтон, где тогда выступал С лекциями Оскар Уайльд.

Американские нравы, которые он теперь после длительного отсутствия оценивал в значительной мере со стороны, показались ему еще менее привлекательными, чем прежде. «Да простит мне бог, но я чувствую, что безобразно теряю здесь свое время»,[298] — сетовал он. Именно в этот его приезд намечавшееся уже прежде решение остаться в Европе стало окончательным. «Мой выбор — Старый свет. Мой выбор, моя нужда, моя жизнь!»[299] Смерть матери в начале 1882 г. и отца осенью 1883 г. обрывала семейные нити, соединявшие его с родиной. Остальные связи не представлялись ему существенными.

В конце 1883 г. Джеймс вернулся в Лондон. На этот раз его путешествие за океан было экспатриацией, в полном смысле этого слова. И хотя номинально он сохранял американское гражданство и даже, возможно, продолжал ощущать

---

[298] Примечания: 298

James H. The notebooks of Henry James, ed. F. O. Matthiessen and Kenneth B. Murdock. N. Y., Oxford univ. press, 1947, p. 24.

[299] Примечания: 299

Ibid., p. 23.

себя «американцем в Европе», фактически его отношения с родиной становились все отчужденнее. Он укоренялся в Англии и постепенно основательнее входил в ее литературную жизнь. Последующие два десятилетия его творчества в значительной мере связаны с развитием английской литературы «на рубеже веков».[300]

В 80-е годы по монолитному зданию английского викторианства пошли первые, еще не заметные невооруженным глазом трещины. В литературе они обнаружили себя прежде всего в романе, который начиная с 30-х годов оставался ведущим жанром. Во второй половине столетия реалистические традиции Диккенса и Теккерея под пером их преемников подверглись значительному изменению. У Троллопа, Рида, Коллинза, не говоря уже об их менее значительных и менее талантливых современниках и последователях, роман стал в основном занимательным чтением. Повествовалось ли в нем об усредненной повседневности, как у Троллопа, или о семейных мелодрамах и преступлениях, как у Рида и Коллинза, острые сюжетные поворо-

[300] Примечания: 300

Участие Джеймса в литературном процессе Англии конца XIX — начала XX в. дало основание многим критикам считать Джеймса английским писателем.

ты, морализаторство и дидактика были для него непреложным законом.

Размежевание с поздневикторианским романом происходило по разным направлениям. Оно очевидно и в психологизме позднего Мередита, чей «Эгоист» появился в 1879 г., и в неоромантизме Р. Л. Стивенсона, шедевр которого, «Остров сокровищ», увидел свет в том же году, и в творчестве английских натуралистов Дж. Мура и Дж. Гиссинга, выступивших со своими романами о социальных низах в середине 80-х годов, и позднее в эстетизме О. Уайльда, нашедшем наиболее яркое выражение в его романе «Портрет Дориана Грея» (1891). При всем различии и даже противоположности этих течений всех их объединяло неприятие литературного викторианства. С теоретических позиций одним из первых выступил против позднего викторианского романа Генри Джеймс.

В 1884 г., отвечая Уолтеру Безанту — популярному автору слащавых боевиков, проповедывавших филантропию и расхожую мораль, Джеймс в статье «Искусство прозы» отвергал необходимость интригующих сюжетов. «Смысл существова-

ния романа в том, что он отражает жизнь»,[301] — подчеркивал Джеймс, настаивая на праве художника касаться любой ее сферы: «Область искусства вся жизнь, все чувства, все наблюдения, все опыты».[302] Резче всего он возражал против морализаторства в искусстве, против прямых наставлений и поучений, отсутствие которых, по мнению Безанта и его единомышленников, означало отсутствие нравственной идеи. «Вы ставите себе целью написать нравственную картину или изваять нравственную статую: интересно, как вы намереваетесь сие сделать?»[303] — иронизировал Джеймс. В его понимании нравственная идея должна была целиком воплощаться в идее художественной, вытекать из нее и через нее выражаться. «Существует такая точка, — пояснял он, — где моральная идея и идея художественная сходятся; она освещается светом той непреложной истины, что глубочайшее достоинство произведения искусства есть достоинство сознания художника. Если оно высоко, роман, картина,

---

[301] Примечания: 301
James H. The art of fiction. — Цит. по: *James* — The future of the novel p. 5.

[302] Примечания: 302
James H. The art of fiction — Цит. по: *James H.* The future ot the novel, p. 20

[303] Примечания: 303
Ibid., p. 24

скульптура приобщаются к глубинам истины и красоты».[304]

Не удивительно, что в этот период меняется отношение Джеймса к «внукам Бальзака». Посетив в феврале 1884 г. Париж, он возобновляет с ними знакомство. «Я нет-нет да встречаюсь с Додэ, Гонкуром и Золя, — писал он Хоуэллсу, — и сейчас для меня нет ничего более интересного, чем усилия и эксперименты этой маленькой группы с их поистине дьявольским пониманием искусства, формы, стиля — их напряженной жизнью в искусстве. Только они и делают сегодня то, что я признаю… И по контрасту потоки тепловатой мыльной водицы, которые под названием романы выплескивают в Англии, не делают, по моему разумению, чести нашей расе».[305]

Когда в середине 80-х годов в Англии вокруг творчества французских реалистов разгорелись ожесточенные споры, в которых поборники викторианской благопристойности заняли крайне

---

[304] Примечания: 304
Ibid., p. 26

[305] Примечания: 305
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. III, 1980, p. 28.

воинственную позицию,[306] Джеймс встал на сторону «литературного братства». Так, в 1888 г., в разгар кампании против распространения в Англии переводов произведений Золя и Мопассана, Джеймс опубликовал статью о последнем, в которой дал очень высокую оценку его творчества.[307] Позднее, в 90-х годах, он неоднократно печатался в журнале «Желтая книга» (1894–1897), вокруг которого группировались писатели разных направлений, единые в своем неприятии викторианства. Английское издание «Мадам Бовари», вышедшее в 1902 г., было снабжено предисловием Джеймса, в котором, подвергая подробному анализу писательскую манеру Флобера, он писал: «Для многих из нас — для писательского племени в целом — он является великим романистом... У него бесконечно многому можно научиться».[308]

---

[306] Примечания: 306

Произведения французских реалистов были объявлены «тлетворной литературой», для борьбы с которой была создана Национальная лига бдительности. Издатель Г. Вицителли, публиковавший английские переводы книг Флобера, Гонкуров, Золя, Мопассана, дважды подвергался судебному преследованию, а в 1884 г. был приговорен к трехмесячному тюремному заключению.

[307] Примечания: 307

См.: «Fortnightly Review», 1888, March.

[308] Примечания: 308

James H. Gustav Flaubert (Preface to G. Flaubert «Madame Bovary». L., 1902. — Цит. по: *James H.* The future of the novel, p. 127).

Не только в теоретическом плане, но и в своем художественном творчестве Джеймс отдал дань французскому натурализму. По приезде из Америки он целиком отдался работе. «Интернациональная тема» была, по сути, уже исчерпана. Правда, несколько рассказов — «Осада Лондона» (1883), «Леди Барберина» (1884), «Пандора» (1884) — повторяли в новых вариациях мотив столкновений европейских и американских нравов, но мотив этот уже находился на периферии литературных интересов Джеймса. Главные его усилия были сосредоточены на двух романах — «Бостонцы» и «Княгиня Казамассима», которые публиковались почти одновременно в двух американских журналах (первый — в «Сенчери Мэгезин», второй — в «Атлантик Мансли») с конца 1885 по середину 1886 г. Роман «Бостонцы» был задуман Джеймсом еще во время пребывания в Соединенных Штатах и мыслился им как широкое социальное полотно. «Мне хотелось бы, — занес он в свою записную книжку, находясь в Бостоне, — написать сугубо американскую историю, драматическую историю о нашем социальном укладе».[309] Темой романа Джеймс

[309] Примечания: 309
James H. The notebooks of Henry James, p. 46.

избрал феминистское движение, считая, что оно является «весьма характерным и специфическим явлением американской общественной жизни».[310]

Изображая кампанию за женское равноправие как трескучее пустословие, Джеймс стремился показать пристрастие американского общества к реформистской фразе, к пустым фетишам, прикрывавшим дальнейшее перерождение демократии. В этом плане весьма примечательны не только гротескные образы самих феминисток во главе с тщеславной и властолюбивой Олив Ченселлор, но и полукомическая полутрогательная фигура аболиционистки Мисс Бердсай, представленной как живой анахронизм. Групповой портрет бостонцев включал также алчного шарлатана Силе Таррента и беспринципного газетчика Маттиаса Пардона, которые, усвоив дух американского предпринимательства, считали себя в полном праве «делать бизнес» за счет своих падких на сенсации соотечественников.

Сатира Джеймса во многом перекликалась с изображением американской действительности в поздних произведениях Марка Твена и У. Д.

---

[310] Примечания: 310
Ibid.

Хоуэллса. И все же она била мимо цели. Прежде всего потому, что главный ее объект — феминизм — при всех его предосудительных крайностях и неизбежных издержках был в сущности движением прогрессивным, освященным именами Маргарет Фуллер, Элизабет Пибоди (карикатуру на которую современники усматривали в образе Мисс Бердсай) и других самоотверженных женщин, посвятивших себя борьбе против разных видов угнетения и произвола. Кроме того, само решение «женского вопроса», каким оно предлагалось в романе на сюжетном уровне — поставленная перед выбором: семейное счастье или общественная деятельность, главная героиня романа, Верена Таррент, отдавала предпочтение первому, — выглядело плоским и неубедительным, поскольку одно вовсе не исключало другого. Наконец, главным героем «Бостонцев», в уста которого были вложены программные авторские слова, Джеймс сделал южанина Бейзила Ренсома, разоренного Гражданской войной плантатора. Все это дало повод критике обвинить Джеймса в незнании условий американской жизни, а его роман — в искажениях подлинного положения

вещей.[311] Ни у американского, в какой-то мере предубежденного против «Бостонцев», читателя, ни у английского, в целом равнодушного к такой проблематике, книга успеха не имела.

В романе «Княгиня Казамассима» Джеймс обратился к одной из кардинальных тем реализма XIX в. — истории молодого человека, наделенного недюжинными способностями, но обездоленного низким социальным положением. Однако, в отличие от своих литературных предшественников, герой Джеймса — лондонский переплетчик Гиацинт Робинсон — искал не способов возвышения в обществе, а борьбы с ним. Сознание «несправедливости общественного устройства»[312] и ненависть к тем, кто его установил, сблизили героя с революционным движением. Такой поворот темы был закономерен для конца века, ознаменовавшегося обострением классовых противоречий и усилением революционной борьбы. Тема молодой человек и революцион-

---

[311] Примечания: 311

Недоброжелательство к этому роману в Америке было настолько велико, что даже более двадцати лет спустя после его появления, в 1907 г., издатель Скрибнер отсоветовал Джеймсу включать «Бостонцев» в публикуемое им в Нью-Йорке собрание сочинений.

[312] Примечания: 312

James H. Preface to «The Princess Casamassima». — Цит, по: *James H.* The art of the novel, p. 61.

ное народническое движение была затронута в романе Тургенева «Новь» (1877), переведенном на большинство европейских языков и широко известном в Европе. Революционному движению среди французских углекопов был целиком посвящен роман Золя «Жерминаль» (1884), привлекший к себе всеобщее внимание. Своей «Княгиней Казамассима» Джеймс продолжал разработку той же темы на английском материале, следуя не столько Золя, сколько Тургеневу, с чьим Неждановым его герой имел типологическое сходство. Подобно своему русскому прототипу, лондонский переплетчик Робинсон — созерцательная художественная натура — оказывался несостоятельным в качестве революционера и, не находя в себе силы для взятых на себя обязательств, кончал с собой.

Однако в отличие от тургеневской «Нови» и «Жерминаля» Золя книга Джеймса успеха не имела, современниками она попросту осталась незамеченной. Такое равнодушие можно отчасти отнести на счет вкусов викторианского обывателя, отвергавшего любую проблемную литературу, — сходная участь постигла и роман Дж. Гиссинга «Демос» (1866). Однако основная причина коренилась в самом произведении. Несмотря

на блестящие зарисовки Лондона, в которых противоречия богатства и нищеты были воссозданы с живостью и выразительностью, не уступавшими картинам Диккенса, в целом роман не обладал художественной убедительностью. Это прежде всего касалось образов революционеров, изображенных разрушителями, выполняющими свою программу истребления существующей цивилизации, включая и ее культурные ценности. Их облик, их деятельность выглядели надуманно. И хотя подполье, выведенное в романе, отдаленно сопрягалось с распространением в Европе — именно в 80-е годы — анархизма бакунинского толка, так же как и с отзвуками террористических акций «Народной воли» в России.[313] Оно было явно сконструировано не по реальным источникам и носило вымышленный характер.

Не только тематика романов «Бостонцы» и «Княгиня Казамассима» — Джеймс прежде не обращался к социальным темам — свидетельствовала о том, что его творческие поиски протекали и в русле позднего французского реа-

[313] Примечания: 313

К началу 80-х годов относится пропагандистская деятельность в Лондоне народовольца-эмигранта С. М. Степняка-Кравчинского в пользу русских революционеров. См.: *Степняк-Кравчинский С. М.* В Лондонской эмиграции. М., «Наука» 1968.

лизма. Изменения коснулись и его писательской манеры. В обоих романах — особенно в последнем — намного увеличился удельный вес описаний — подробностей быта, социальных нравов и типов. Джеймс изучал окружающую его героя среду: посетил одну из лондонских тюрем, завел специальный словарь «народных выражений».[314] В анализе психологии героя значительное место заняла характеристика психофизических особенностей его натуры, объясняемых фактором наследственности.

И все же следование Джеймса натурализму, как называл свой творческий метод Золя, не шло дальше определенных пределов. Программу натуралистов Джеймс принимал далеко не полностью. В «научном романе» Золя его, несомненно, привлекал принцип логической дедукции в построении характеров — стремление «вывести» их из объективно наблюденных данных, проследить развитие характера в связи с воздействием жизненных обстоятельств и среды, установить причинно-следственную обусловленность поступков, реакций, чувств. Такая характеристика персонажей избавляла от необходимости

[314] Примечания: 314

См.: *Edel L.* Henry James. The middle years, 1882–1895. Philadelphia, 1962, p. 179.

присутствия в романе комментирующего и морализирующего автора. Сам роман становился «серьезной, страстной и живой формой литературного труда и социального исследования... нравственной историей современности»,[315] а заключенная в нем нравственная идея целиком выявлялась через его образную систему. «Роман, — писал Джеймс, — представляет собой историю. Это общее определение, с достаточной мерой точности отражающее суть романа... Свой предмет литература черпает в документах и достоверных сообщениях и, если она не хочет, как принято говорить в Калифорнии, „раздевать" самое себя, ей следует изъясняться уверенным тоном историка».[316] Однако Джеймс не соглашался с положением Золя, что необходимо и достаточно «дать читателю ломоть человеческой жизни»,[317] — положением, которое отождествляло реалистическое искусство с фотографически

---

[315] Примечания: 315

Гонкуры Ж. и Э. Предисловие к первому изданию «Жермини Ласерте». — Цит. по: «Литературные манифесты французских реалистов». Л., 1935, с. 90.

[316] Примечания: 316

James H. The art of fiction. — Цит. по: *James H.* The future of the novel, p. 6.

[317] Примечания: 317

Золя Э. О романе. — Цит. по: «Литературные манифесты французских реалистов», с. 105.

точным копированием фактов реальной действительности. Жизнь сама по себе была, по мнению Джеймса, лишь исходным материалом, из которого художник отбирал художественно значимые явления. Иными словами, Джеймс требовал, чтобы искусство было искусством, а художник — творцом и мастером. С другой стороны, в отличие от натуралистов Джеймс не придавал окружающей среде — природной, бытовой, социальной — всепоглощающего значения. Признавая важность условий человеческого существования, он, вслед за своим отцом, Генри Джеймсом-старшим, считал, что человек не лишен возможности сознательного выбора и несет за него полную меру ответственности перед собой и обществом. Именно поэтому жизненный материал — социальные низы, в судьбе которых воздействие биологических и социальных факторов проявлялось с наибольшей непреложностью и очевидностью, — привлекавший к себе внимание натуралистов, в особенности английских, вызывал у него протест. Фигуры и типы социального дна, населявшие натуралистический роман о «человеке-звере», представлялись Джеймсу наиболее обедненной, неразвитой, неполноценной человеческой натурой, которая не давала

всей полноты показаний о возможностях личности. Словно полемизируя с Золя, и прежде всего с его английскими последователями, Джеймс создал галерею диаметрально противоположных персонажей. Героями значительного числа его произведений, главным образом в 80 — 90-е годы, стали люди, наделенные активным творческим сознанием, — художники в широком смысле слова.

Почти половина рассказов и повестей Генри Джеймса, не говоря уже о двух больших романах — «Родерик Хадсон» (1876) и «Трагическая муза» (1890), — посвящены различным аспектам «жизни в искусстве» (the artist-life), как назвал эту тему сам писатель. Содержанием этих произведений Джеймс сделал вопросы, связанные с социальными условиями и эстетическими проблемами художественного творчества, а героями — людей искусства: писателей, художников, актеров и т. д. Тем самым он открывал для художественного исследования социальный пласт, до тех пор лишь спорадически привлекавший к себе внимание писателей. Тема художник и общество, которой Джеймс уделил особенно много внимания, получила широкое развитие в реалистическом искусстве XX в. Достаточно указать на продолже-

ние этой традиции в романах Р. Роллана, Томаса Манна, Джеймса Джойса, Джойса Кэри и мн. др.

На разработку новой темы Джеймса толкал ряд обстоятельств — исторических, историко-литературных, личных.

Занятие искусством как общественно-значимой профессией не получало признания вплоть до XVIII в. Но и позже к литератору, живописцу, музыканту и другим людям искусства преобладало отношение как к привилегированным слугам, в обязанности которых входило развлекать и прославлять своего господина — некогда индивидуального, а затем массового — публику. Такой взгляд на художника сохранялся в буржуазном обществе, в частности в викторианской Англии, и в XIX в. В противоположность ему в эстетике романтизма поэту, позднее и художнику, отводилась высокая роль провидца и глашатая истины. Его личность противопоставлялась торгашеской цивилизации и была призвана выражать протест против ее бездуховности. Романтическая концепция личности поэта особенно подчеркивалась Томасом Карлейлем, а позднее перенесена и на художника Джоном Рескином, посвятившим себя пропаганде прекрасного как противоядия против викторианского практицизма и ути-

литаризма. В пределах той же романтической концепции художник противостоял буржуа как носитель духа свободы, как личность, не скованная социальными условностями. Такими выступали представители мира искусства в романе Жорж Санд «Консуэло», позднее в романе Мюрже «Богема», рисующим этот мир как островок нищенского, но беззаботного существования, бросающего вызов буржуазной благопристойности и нравственности. Напротив, в европейской реалистической традиции, где значительное место занимал «роман карьеры», в котором прослеживалось продвижение героя в обществе, неизбежно большое внимание уделялось образам преуспевающих художников — литераторам типа Лусто в «Человеческой комедии» Бальзака. Здесь пафос был в разоблачении, в показе перерождения художника в буржуа, превращении искусства в товар.

Джеймса также интересовала эта проблема, но с иных позиций — как «конфликт между искусством и обществом».[318] Этой теме, которая, как он писал, «уже давно представлялась мне одной из нескольких первостепенных по значе-

[318] Примечания: 318

James H. Preface to «The Tragic Muse». — Цит. по: *James H.* The art of the novel, p. 79

нию»,[319] и посвящен его роман «Трагическая муза» (1890). Конфликт между художником и обществом прослеживается здесь на судьбе двух молодых людей, посвятивших себя искусству, — драматической актрисы Мириам Рут и портретиста Ника Дормера. Это две самостоятельные истории, составляющие отдельные сюжетные линии, и, хотя название романа предполагает, что главное место в нем отведено актрисе, борьба Ника Дормера за право реализовать свой талант выступает как равноценная, если даже не более важная, часть в общем замысле книги. Именно Ник Дормер — выходец из аристократической семьи, выражающей типичное для английского викторианства полупрезрение к профессиональному занятию искусством, — вступает в конфликт со своей средой и, отказавшись от парламентской деятельности, от ожидающего его наследства, от женитьбы на светской женщине, союз с которой сулит ему не только семейное счастье, но и успешную политическую карьеру, предпочитает всем этим несомненным в мнении общества благам необеспеченную и лишенную социального признания жизнь художника. Ник Дормер дела-

[319] Примечания: 319
Ibid.

ет «антикарьеру», решая вставшую перед ним дилемму: продвижение в обществе или жизнь в искусстве, в пользу последнего. В пользу искусства делает свой выбор и Мириам Рут. Если Ник Дормер удаляется из общества, которое мешает ему развивать его дар, Мириам Рут отказывается бросить сцену, чтобы войти в это общество женой дипломата. Так же как и Ник, она жертвует искусству не только общественным положением и богатством, но и браком с человеком, которого любит. Как истинный художник, она целиком отдается своему призванию, добиваясь сценического совершенства упорным самоотверженным трудом. В лице своих героев-художников, через сделанный ими выбор жизненного пути Джеймс утверждал, что искусство само по себе является социально важной формой человеческой деятельности, заключающей в себе общественный и нравственный смысл.

Враждебность викторианского общества искусству — тема многих рассказов Джеймса: «Зрелые годы» (1893), «Смерть льва» (1894), «Следующий раз» (1895) и других, где подлинный писатель всегда остается непризнанным, а его произведения непрочитанными. Успех выпадает на долю только тех авторов, которые берут на себя роль

дешевых морализаторов или поставщиков развлекательного чтения. Ни то, ни другое не имеет ничего общего с искусством.

«Она, — говорится о популярной романистке, героине рассказа „Гревил Фейн“ (1892), — сошла в могилу, даже не подозревая, что, обогатив приятное времяпрепровождение современников множеством томов, она ни единым предложением не обогатила родной язык».

4

Рассказы о художниках позволяли Джеймсу экспериментировать с новыми формами психологической прозы, разработкой которых он усиленно занимается на протяжении второй половины 90-х годов.[320] Недаром в критике этот период его творчества получил название «экспериментальный». В большинстве повестей и рассказов этих лет Джеймс последовательно прибегает к единой повествовательной точке

[320] Примечания: 320

Начиная с 1890 г. Генри Джеймс пытается писать для театра. Им было создано несколько пьес, которые так и не увидели сцены, а единственная поставленная при его жизни драма «Гай Домвил» (1895) не имела успеха. Провал пьесы был тяжелым ударом для Джеймса. Однако работа на драматургическом поприще активизировала его стремление создать новые формы психологической прозы, драматизировать повествование.

зрения, используя одного из героев описываемых событий в качестве «центрального сознания», фиксирующего и освещающего то, что попадает в его поле зрения. Передавая авторскую повествовательную функцию одному из действующих лиц, Джеймс выбирает героя, способного остро и полно воспринимать окружающий мир, не только регистрировать, но в какой-то мере анализировать наблюдаемые явления. Таким сознанием обладала художническая индивидуальность, придававшая фиксируемой картине жизни свою, субъективную, зачастую весьма неожиданную, окраску. Другим таким сознанием, используемым Джеймсом в ряде повестей и рассказов «экспериментального периода», становится сознание ребенка.

Образы детей не были новы для английской литературы XIX в. Если для романа XVIII в. вполне справедливо замечание Е. М. Форстера: «Всякий раз, когда на страницах романа возникает младенец, создается впечатление, что его прислали по почте. Новорожденного „доставляют", и кто-нибудь из взрослых героев, приняв его, предъявляет читателям. После чего его отправляют на дли-

тельное хранение...»,[321] то с развитием критики просветительского рационализма в пользу чувства ребенок, как носитель «первоначальной невинности» и естественности, становится одним из важнейших персонажей художественной литературы — сначала поэзии (Блейк, Уордсворт), а затем и романа, наряду с «естественным человеком». Ребенок, как чистое, идеальное, естественное существо, противопоставлялся «испорченному» обществу взрослых с его условностями, неизбежной ложью и нравственным падением. Для таких художников, как Диккенс, с его резкой критической направленностью, «ребенок мог служить символом неудовлетворенности окружающим его обществом, находившимся в процессе столь неприемлемого для него развития... мог стать символом Воображения и Чувства, символом Природы, противостоящей тем силам в обществе, под воздействием которых человечество все больше утрачивало свои естественные, природные свойства».[322] Именно такое значе-

[321] Примечания: 321

Форстер Э. М. Избранное. Пер. с англ. Л., «Художественная литература», 1977. с. 355.

[322] Примечания: 322

Convey P. The image of childhood. The individual and society: a study of the theme in English literature. Baltimore-Maryland, 1967, p. 31.

ние имеют многие детские образы в романах Диккенса, где судьбой ребенка в значительной мере поверяется и осуждается английское общество середины XIX в.

Детские образы у Джеймса стояли вне этой традиции. Его подростки Морган Морин («Ученик», 1891), Мэйзи («Что знала Мэйзи», 1897), Нанда («Сложный возраст», 1899) и другие интересуют писателя не столько как идеальное, «естественное» сознание, но прежде всего как сознание в процессе становления, постепенно постигающее жизнь во всех ее сложностях, превратностях и аномалиях. Так же как и в «больших» романах предшествующего и последующего периода («Женский портрет», 1881; «Крылья голубки», 1902; «Золотая чаша», 1904), основным конфликтом «детских» повестей Джеймса является столкновение «чистого» сознания с испорченностью, жестокостью, лживостью современного общества и обретение этим сознанием подлинно нравственной позиции, которую, познав существующее в мире зло, оно сознательно для себя выбирает. Так, в судьбе Мэйзи Фарандж («Что знала Мэйзи»), оказавшейся втянутой в распри и любовные похождения своих разведенных родителей, неоднократно меняющих своих брачных

партнеров, внимание Джеймса привлекает то, как «возможное несчастье и униженное положение превращается в счастье и благодатное положение для ребенка, окунувшегося в сложности жизни, которые таким образом становятся источником остроты и богатства чувств».[323] Эта творческая задача не означает, что Джеймс снимает проблему осуждения общества. Напротив, делая Мэйзи художественным центром повествования — единственным «регистратором впечатлений», Джеймс тем самым заостряет критическую направленность рассказа. Представленные через призму детского взгляда события и характеры оказываются остраненными: привычные подробности жизни буржуазного общества приобретают неожиданное освещение, а потому кажутся особенно дурными, неприемлемыми, безнравственными. И хотя Мэйзи далеко не все понимает (или неправильно понимает) из того, что предстает ее взгляду, именно это непонимание, при богатстве и остроте восприятия, заставляет читателя глубже осознать и критически оценить развертываемую перед ним

[323] Примечания: 323

James H. Preface to «What Maisie knew». — Цит. по: *James H.* The art of the novel, p. 141.

картину.[324]

В повестях и рассказах 90-х годов, материалом для которых неизменно служили наблюдения писателя над жизнью и нравами высших и средних кругов английского общества, Джеймс усиленно экспериментирует с различными формами повествования. Охотнее всего используя принцип «единой точки зрения» (кроме уже упомянутой повести «Что знала Мэйзи», этот принцип положен в основу повестей: «Пойнтонское имущество», 1897; «Поворот винта», 1898; «В клетке», 1898 и некоторых рассказов), он нередко пользуется также принципом «множественного отражения» («Трудный возраст», 1899). Последний сводился к тому, что представляемые события или характеры отображались многократно через сознание двух («центрального» и «вспомогательного» сознания) или нескольких участников действия, каждый из которых вносил в изображение свое, почти всегда отличное и даже противоположное предшествующему, видение и понимание происходящего. Только сведя

[324] Примечания: 324

Дети, — писал Джеймс в предисловии к повести, — обладают способностью воспринимать больше того, чем могут выразить словами; их видение всегда намного богаче, а понимание сильнее, чем их непосредственный, и вообще весьма продуктивный, словарь» (*James H.* The art of the novel, p. 145).

воедино все эти точки зрения в их совпадениях и расхождениях, читатель мог составить суждение о представленных явлениях и персонажах.

Наиболее полное и законченное выражение художественные искания Джеймса, которыми было отмечено все его творчество, получили в трех последних[325] его романах; «Крылья голубки» (1902), «Послы» (1903), «Золотая чаша» (1904). Внешне по своей тематике они могут считаться возвращением к «интернациональной теме». Действие в них разворачивается в Европе, а основными персонажами являются американцы, по той или иной причине оказавшиеся по другую сторону Атлантического океана и в своих странствиях сталкивающиеся с представителями Старого Света. Однако в отличие от романов, повестей и рассказов первого периода Джеймс не ставит себе в них задачи исследовать американский характер. Намерения его шире, цели — объемнее: он стремится нарисовать нравственную картину окружающего его общества. Причем главное место в этой картине занимают сдвиги в нравственных представлениях, в духовной сути

[325] Примечания: 325

Два романа — «В башне из слоновой кости» и «Чувство прошлого» — не были завершены писателем и изданы посмертно в виде фрагментов в 1917 г.

современного человека, показ и анализ его сознания. Герои романов Джеймса — американцы и европейцы — равно подвластны миру корысти, и если носителями добра в его последних романах оказываются героини-американки (Милли Тил в «Крыльях голубки» и Мэгги Вервер в «Золотой чаше»), то в этой своей роли они выступают отнюдь не как выразительницы американского духа, а скорее общечеловеческих нравственных норм против тех общественных условий, которые приводят к их отрицанию и разрушению.

Разоблачение зла, которое несло с собой буржуазное общество, — тема всей литературы XIX в. Разоблачение это чаще всего осуществлялось через поступки героев, мотивировку этих поступков и их последствия в ходе развертывания фабулы — действия, иными словами, на уровне характеров и сюжета. Возможно, именно поэтому второстепенные характеры в последних романах Джеймса в какой-то мере условны, а сюжеты до некоторой степени банальны и даже мелодраматичны.

Кейт Крой, страшась бедности, не решается соединить свою судьбу с горячо любимым ею человеком — журналистом Мортоном Денширом — и, когда на их пути оказывается смертельно

больная американка, Милли Тил, тайно влюбленная в Денширa, предлагает ему жениться на ней с тем, чтобы завладеть миллионным наследством («Крылья голубки»).

Лэмберт Стрезер отправляется в Европу по поручению своей давней приятельницы, миссис Ньюсем, богатой фабрикантши и владелицы газеты, редактором которой он является. Цель поездки — вернуть в лоно семьи сына и наследника миссис Ньюсем, которого, как она полагает, удерживает в Париже недостойная любовная связь («Послы»).

Выдав замуж свою единственную дочь за обедневшего итальянского аристократа и не желая оставаться в одиночестве, американский миллионер Адам Вервер женится на ее подруге, которая оказывается бывшей возлюбленной его зятя, и их прежние чувства вспыхивают вновь («Золотая чаша»).

Ни один из этих трех «столь затасканных убогих»[326] сюжетов не передает истинного содержания романов, центр тяжести которых лежит не во внешнем, а во внутреннем действии. Содержанием их являются не поступки героев,

[326] Примечания: 326

Wegelin Ch. The Lesson of spiritual beauty: The Wings of the Dove. — «Discussions of Henry James». Boston, 1962, p. 71.

а отношение к ним, «видение» их, постижение и оценка «центральным» и «дополнительным» сознанием или сознаниями, т. е. тем героем или героями, глазами которого или которых воспринимается очерченный в романе мир. Интерес сосредоточивается не на том, что герой или герои делают, а что они при этом думают, какие чувства испытывают, как себя оценивают, чего страшатся, чем руководствуются и т. д. Иными словами, содержанием романов Джеймса является внутренняя жизнь души героя и сложные, перекрещивающиеся, воздействующие друг на друга и противодействующие друг другу, многоступенчатые движения, которые ей свойственны. Так, в «Крыльях голубки», где «центральным сознанием» большей части повествования выступает Мортон Деншир, роман в значительной степени превращается в показ «души» главного исполнителя предательского плана Кейт Крой, удачное осуществление которого должно принести им обогащение и счастье. Путь Деншира, давшего согласие, пусть даже не слишком рьяно, «осчастливить» Милли Тил своим вниманием и тем самым обманувшего ее чувства и проституировавшего свои в надежде завладеть ее миллионами, и пришедшего к осознанию

низости своего поведения к последующему нравственному возрождению, когда, уже достигнув цели, он отказывается от завещанного ему состояния, — Деншира, чувства которого к Кейт Крой перерождаются от всепоглощающей любви к почти безразличию и полному расторжению их союза, хотя он и соглашается выполнить взятые на себя обязательства, — такова одна из главных линий этого богатого внутренним содержанием романа. Так же многопланово, хотя чаще всего через «боковое видение», прослеживается в нем жизнь души двух других его основных персонажей — Милли Тил и Кейт Крой. Милли Тил характеризуется не только как «голубка», т. е. как нравственно чистое в своей первозданной невинности существо, которое противостоит «испорченному» современному миру, но и как «бедная богатая девушка»,[327] для которой именно ее богатство, являясь вожделенной добычей многочисленных хищников, лишает ее того единственного, что могло бы поддержать ее силы и продлить существование, — подлинной человеческой любви и дружбы. Не случайно она становится жертвой происков своей же подруги

[327] Примечания: 327

James H. The Wings of the Dove. — The novels and tales of Henry James (New York Edition), v. XIX, p. 225

Кейт Крой. Но и Кейт Крой с ее обратной шкалой ценностей, в которой деньги занимают если не главное, го первенствующее место, не столько злая сила, сколько жертва общественных условий. Умная, страстная, красивая, она от начала и до конца романа вызывает не столько гнев, сколько симпатию остальных героев, а через них и читателя. Предательство, ценою которого она пытается обеспечить себе и своему возлюбленному место в жизни, задумано, несомненно, ею, но подсказано всем комплексом социальных и нравственных, вернее, безнравственных, отношений того общества, в котором она живет и чьим нормам следует. В итоге Кейт оказывается такой же трагической фигурой, как и Милли: Милли умирает физически, Кейт уничтожает себя духовно. И нельзя не согласиться с одним из исследователей Генри Джеймса, который ставит этот образ в один ряд «с лэди Макбет и Бекки Шарп».[328]

Романом «воспитания сознания» можно назвать книгу «Послы», которую сам Джеймс считал своим наиболее совершенным произведением. В центре повествования — духовное перерождение

---

[328] Примечания: 328

Car gill O. The novels of Henry James. N. Y., 1961, p. 366.

Лэмберта Стрезера, чье «видение», постепенно меняющееся, составляет содержание романа, а характер изменения этого видения в его течении и поворотах — специфическое романное действие.

Выросший и воспитанный в этических законах и нормах, типичных для американского бизнеса, представленного в романе городом Уоллетом и его влиятельной и респектабельной верхушкой — миссис Ньюсем и семейством ее дочери Пококов, Стрезер охотно принимает на себя миссию «посла» миссис Ньюсем: вернуть домой ее «блудного сына» Чада, вырвав его из рук парижской гетеры, — представляется Стрезеру вполне благородным делом. Но по мере того, как у него накапливаются впечатления от Парижа, от Чада Ньюсема и его окружения, от мнимой его соблазнительницы, мадам де Вионэ, меняется не только отношение Стрезера к взятому на себя поручению, но и к самому Уоллету и его обитателям, к их жизненным принципам. Любовная связь Чада с замужней женщиной открывается ему как подлинное высокое чувство, преобразовавшее неуклюжего отпрыска американской фабрикантши в совершенного джентльмена, а мадам де Вионэ, сотворившая это чудо,

оказывается прекрасным существом, полным бескорыстия и жертвенности. В сопоставлении со светлым жизненным опытом Чада Ньюсема собственная жизнь, целиком подчиненная долгу, кажется Стрезеру прожитой впустую. Все его представления о жизни резко меняются. И хотя Чад, преданный устоям Уоллета, по-видимому, готов оставить мадам де Вионэ ради «бизнеса», Стрезер, чья миссия вопреки его собственному желанию тем самым выполнена, возвращается в Уоллет отнюдь не для того, чтобы пожинать плоды одержанной победы, а скорее всего, чтобы подвергнуться там остракизму, так как отныне дороги его и Ньюсемов должны необходимо разойтись в противоположные стороны.

В последующее десятилетие литературная работа Генри Джеймса приняла иной характер. Вернувшись из длительного путешествия по Соединенным Штатам (1904–1905), куда он отправился после почти двадцатилетнего отсутствия, Джеймс приступил к подготовке своего второго прижизненного собрания сочинений,[329] составившего 24 тома. Он произвел тщательный отбор напечатанных ранее романов, повестей и

[329] Примечания: 329

James H. The novels and tales of Henry James («New York Edition»). New York, Charles Scribner's Sons, 1907–1909 (24 vols).

рассказов, внес значительную правку в ранние произведения и снабдил большинство томов обширными предисловиями, в которых изложил свою теорию романа. Помимо этой редакторской и теоретической работы, занявшей целиком 1906–1907 гг., он подготовил к печати сборник очерков «Американские сцены» (1907), вобравший в себя его впечатления от посещения Америки. Смерть старшего брата — психолога Уильяма Джеймса — побудила его взяться за автобиографический цикл, две книги из которого «Маленький мальчик и другие» и «Заметки о сыне и брате» были завершены им соответственно в 1913 и 1914 гг. В этих очерках своего детства и раннего отрочества, отдавая дань памяти отцу, матери, своим братьям и сестре, Джеймс воссоздал духовную атмосферу, царившую в этой своеобразной семье, воспитавшей крупнейшего американского психолога и философа — Уильяма Джеймса — и великого романиста — Генри Джеймса.

Приобретя еще в 1897 г. небольшую виллу — Лэмхаус — в прибрежном английском городке, Джеймс целиком отдавался творчеству. В жизни его почти не было внешних событий. Он остался холост, а его душевные привязанности были отданы главным образом небольшому кругу

друзей из близкой ему по духу художественно-литературной среды, где в молодом поколении он приобрел немало поклонников и последователей. Среди последних были такие значительные писатели, как американская романистка Эдит Уортон, английские прозаики Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд, Хью Уолпол и др. В 1911 г. Джеймс стал почетным доктором Гарвардского университета (США), а в 1912 г. такая же степень была присуждена ему одним из старейших английских университетов — Оксфордским.

Войну 1914–1918 гг. Джеймс, подобно многим своим современникам, воспринял как варварское разрушение культуры. Он отдавал много времени работе в госпиталях, где его знание французского языка помогало общаться с бельгийскими беженцами. Английское правительство отметило его заслуги медалью, а в 1915 г. по его просьбе сделало британским подданным. Смерть — Джеймс умер 28 февраля 1916 г. — избавила его от горького отрезвления, которое пришло к большинству его сверстников, переживших эту войну, и в особенности к молодежи, принявшей непосредственное в ней участие.

Но ни война, ни болезни, преследовавшие его на протяжении всей жизни и особенно в

последние годы, не нарушили его повседневный, упорный, размеренный писательский труд, который он считал своим главным, своим единственным делом, и жизнь его, пользуясь словами, сказанными им самим о Флобере, «была от начала и до конца историей его литературных усилий».[330]

5

«Женский портрет» («The Portrait of a Lady», 1881) Генри Джеймса отмечен почти единодушным и на протяжении столетия неизменным признанием широкого читателя и критики. Историки литературы, за редкими исключениями[331] отводят этой книге первостепенное место не только в творчестве самого писателя, но также в развитии американской[332] и, более того, всей англоязычной литературы. Даже те авторы, которые, подобно Ф. Р. Ливису, отрицательно

[330] Примечания: 330

James H. The future of the novel, p. 126.

[331] Примечания: 331

См.: *Ceismar M.* Henry James and the Jacobites. N. Y., 1963, p. 45–47.

[332] Примечания: 332

«Женский портрет» Генри Джеймса, — указывает Р. Чейс, — первый роман американского писателя, в котором полностью реализованы все возможности этого жанра» *(Chase R.* American novel and its tradition. N. Y., 1957, p. 117).

оценивают «позднего» Джеймса, полагая, что в своем развитии он пошел по неверному пути, «в сторону сверхутонченности, повлекшей за собой утрату четких нравственных критериев»,[333] в «Женском портрете» видят «один из величайших романов, написанных на английском языке».[334]

Уже журнальный вариант «Женского портрета», печатавшегося почти одновременно в Англии (с октября 1880 по ноябрь 1881 г. в «Macmillan's Magazine») и в Америке (с ноября 1880 г. по декабрь 1881 г. в «Atlantic Monthy»), вызвал многочисленные отклики. Сразу по окончании публикации почти все ведущие литературные журналы поместили на него рецензии.[335] Такое исключительное внимание само по себе свидетельствует о том, что новый роман Джеймса был воспринят как значительное произведение, заслуживающее подробного разбора и оценки.

В потоке мнений, в целом одобрительных, похвалы перемежались с упреками. Рецензен-

---

[333] Примечания: 333
Leavis F. R. The great tradition. L., 1955, p. 159.

[334] Примечания: 334
Ibid., p. 126.

[335] Примечания: 335
См.: *Foley R. N.* Criticism in American periodicals of the works of Henry James from 1866 to 1916. Washington, 1944, p. 26–30; *Murry D. M.* The critical reception of Henry James in English periodicals. N. Y., University, p. 45–49.

ты указывали автору на недостатки. К числу наиболее существенных, по общему приговору, следовало прежде всего отнести «беспристрастность», которую Джеймс проявлял к своим героям, поступая так в противоположность корифеям недавнего прошлого — Диккенсу, Скотту, Теккерею, чьи симпатии и антипатии не вызывали у читателя никаких сомнений. Другим упреком, исходившим от большинства рецензентов, было то, что в романе мало действия. Почти все указывали на незаконченность основной сюжетной линии, и в этом отсутствии традиционного конца видели слабость романа. «Этот так называемый „женский портрет", — сетовал английский рецензент, — брошен автором незавершенным в тот самый момент, когда как раз и становится возможным наложить на него подлинно решающие, проясняющие его мазки».[336] Пятьдесят лет спустя все перечисленные недостатки будут восприниматься как достоинства.

Иными словами, первые критики романа оказались достаточно зорки, чтобы рассмотреть черты, отличающие книгу Джеймса от произве-

---

[336] Примечания: 336

«The Portrait of a Lady». «The Athenaeum», Nov. 26, 1881. — Цит. по: Perspectives on James's «The Portrait of a Lady». A collection of critical essays, ed. W. T. Stafford, N. Y., 1967, p. 39.

дений его предшественников и современников, но недостаточно прозорливы, чтобы увидеть в этих отличиях зачатки нового стиля. Даже автор наиболее обстоятельной и серьезной рецензии У. С. Браунелл, высоко оценивший роман, скорее предостерегает, чем поддерживает Джеймса в его стремлении «изобретать новую разновидность литературы».[337] Он же одним из первых указывает на возможные источники романа — романы Джордж Элиот и романы Тургенева.

Сам Джеймс вполне сознавал, какое значение имеет для него «Женский портрет».

Замысел «Женского портрета», очевидно, возник у него в середине 70-х годов, возможно параллельно с работой над романом «Американец». Обсуждая в начале 1877 г. планы своего дальнейшего сотрудничества с «Атлантик Мансли», он писал У. Д. Хоуэллсу, тогда редактору журнала: «Я был бы рад, если бы Вы согласились напечатать повесть выпусков на шесть, а не большую, предоставить Вам что-нибудь такой длины. Сейчас я не стану браться за тот сюжет, который имел в виду, когда прошлый раз мы говорили на эту тему, — его не уложишь в малые

[337] Примечания: 337

Brownell W. C James's «The Portrait of a Lady». — «Nation», v. XXXIV (Feb. 2, 1882), p. 103.

размеры. Это — изображение характера и рассказ об истории женщины, прелестной и психологически интересной, с тонкой и благородной натурой, со многими боковыми „линиями". Лучше обождать и заняться этим тогда, когда буду вполне и от всего свободен».[338] Освободиться Джеймсу удалось нескоро. Ближайший год ушел на подготовку к печати сборника «Французские поэты и романисты» («French poets and novelists», 1878), переработку журнального варианта юношеского романа «Опекун и опекаемая» («Watch and Ward», 1871) для отдельного издания и другие мелкие и крупные литературные произведения. В январе 1878 г. он писал брату Уильяму: «В этом году я собираюсь создать нечто значительное. Как ты можешь себе представить, я устал писать очерки о достопримечательных местах, работать ради хлеба насущного; пожалуй, через полгода сумею все это бросить и сесть всерьез за „творческую" вещь».[339] Именно через полгода он сообщал: «Мой „грандиозный роман", о коем ты спрашиваешь, начат... Это история американки

---

[338] Примечания: 338
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 96–97.

[339] Примечания: 339
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 150

(americana) — женский двойник Ньюмена».[340] Однако Джеймсу потребовалось еще немало времени, чтобы обдумать сюжет романа, и в начале 1879 г. (точная датировка отсутствует) в его записной книжке появился подробный план «Женского портрета», к исполнению которого он приступил весною того же года.

«Весною, — вспоминал он два года спустя, в 1881 г., о ходе работы над романом, — я уехал в Италию. Флоренция была, как всегда, божественна, я много бывал у Бутсов. В прелестном Беллегардо, в отеле Арно, в комнате с глубокой нишей, я начал „Женский портрет“, — т. е. взял старое начало, давно написанное, и полностью переработал… Лето и осень я tant bien que mal[341] трудился над романом, нет-нет да выезжал из Лондона в Брайтон, в августе невыносимый. Фолкетон, Дувр, Сент Ленардс и прочие места. Старался работать и, хотя предполагал на зиму отправиться в Америку и даже взял билет, отказался от этого намерения».[342] Но роман

---

[340] Примечания: 340
Ibid., p. 179. Ньюмен — герой романа «Американец».

[341] Примечания: 341
Зд. — понемногу *(фр.).*

[342] Примечания: 342
James H. The notebooks of Henry James, p. 29.

подвигался медленно, и не только из-за тщательности, с какой Джеймс отделывал его («каждую часть переписывал дважды»), но и из-за «искушений и отвлечений лондонской жизни». В начале 1880 г. Джеймс снова предпринимает поездку в Италию. На некоторое время он задерживается в Париже и на юге Франции, но не прекращает работу над романом даже во время путешествия («Работал там великолепно и был бесконечно счастлив»[343]). В Италии он на этот раз остановился в Венеции, где прожил «три или четыре месяца, писал усердно, каждый день, и кончил — т. е. в основном кончил — мой роман. Поверьте, это была замечательная жизнь, казавшаяся мне порою просто немыслимой, сказочной».[344]

И в ходе написания романа, и во время последующей его публикации Джеймс не раз называл «Женский портрет» то своим «большим», то «грандиозным», то «значительным» романом, а однажды даже в шутку сообщал одной из своих корреспонденток: «он меня обессмертит».[345] По

---

[343] Примечания: 343
James H. The notebooks of Henry James, p. 30.

[344] Примечания: 344
Ibid., p. 31.

[345] Примечания: 345
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 265.

объему содержания, законченности художественной структуры, тщательности стилистической отделки «Женский портрет» должен был превзойти все написанное им ранее, должен был встать в один ряд с теми произведениями «большой литературы», к каковой Джеймс прежде всего относил романы Джордж Элиот и И. С. Тургенева.[346] Неудивительно поэтому, что в его суждениях об этих писателях приоткрываются те требования, которые он предъявлял к собственному творчеству и из которых исходил, создавая свой «большой роман» — «Женский портрет».

Романы Джордж Элиот вызывали у Джеймса двойственную оценку. Недаром свою рецензию на последний из них «Дэниел Деронда» («Daniel Deronda») он построил в виде диалога между Поклонницей этой английской писательницы и ее Противницей, спор между которыми разрешал Критик.[347] В романах Джордж Элиот Джеймса привлекало в первую очередь то, что

---

[346] Примечания: 346

Рецензия Джеймса на «Новь» Тургенева (1877) начиналась со слов: «Только о двух ныне здравствующих романистах можно сказать, что каждое их произведение всегда оказывается событием в литературе», и далее назывались имена Джордж Элиот и Тургенева (см. настоящее издание, с. 502).

[347] Примечания: 347

James H. Daniel Deronda: A Conversation. — «Atlantic Monthly», v. XXXVIII. (Dec. 1876). Цит. по: *James H.* Partial Portraits, L., 1888.

она не ограничивалась в них созданием обычной для английского классического романа (novel) картины социальных нравов, а ставила философско-этические вопросы — о смысле жизни, о судьбе и назначении человека, о выборе им жизненного пути, о его взаимоотношениях с обществом. В ее романах при красочном и многообразном показе социально-бытовой стороны жизни открывалась и ее духовная сторона. «То, что создает Джордж Элиот, — восхищается в упомянутой рецензии Поклонница, — включает в себя мир во всей его полноте, мир у нее необозрим, он охватывает бесконечно много».[348] С нею в конечном итоге соглашается и Критик, добавляя, что «Джордж Элиот всегда дает нам удивительно типичную, хотя и иронически освещенную картину жизни».[349] Второе, что в творчестве Элиот представлялось Джеймсу исключительно ценным, — это многогранные психологические портреты ее героев, стремление объяснить характер и поступки человека не столько внешними обстоятельствами, сколько изнутри. «Она умеет твердой рукой, — резюми-

[348] Примечания: 348
Ibid., p.70.

[349] Примечания: 349
Ibid., p. 81.

ровал критик, — отомкнуть важнейшие тайники человеческого характера».[350] И в то же время Джеймс находил в романах Элиот существенный недостаток: английская писательница не придавала значения художественной структуре своей прозы; ее романы были слишком «рыхлы», «несколько бесформенны».[351] Правда, он тут же оговаривался, что «из жизни, не преображенной искусством, всегда можно извлечь смысл, искусство же, в котором нет жизни, — жалкая поделка. Ее книга („Дэниел Деронда“. — *М. Ш.)* объемлет целый мир».[352]

Примечательно, что все трое участников спора сходятся в одном: писатель, удовлетворяющий каждого из них в отдельности и всех вместе — это И. С. Тургенев.

«Если говорить о том, что нравится Пульхерии, — заявляет Противница Джордж Элиот, упоминая о себе в третьем лице, — то это роман, который прочла года три-четыре назад, но не

---

[350] Примечания: 350
Ibid., p. 79.

[351] Примечания: 351
Этими же эпитетами Генри Джеймс впоследствии выразит свое отношение к романам Толстого.

[352] Примечания: 352
Ibid., p. 92.

забыла. Автор его — Тургенев, название — „Накануне“. Теодора (Поклонница Джордж Элиот. — *М. Ш.)* его тоже читала — ведь она обожает Тургенева. И Константциум (критик. — *М. Ш)* тоже читал, потому что он все читает». «Если бы я прочел „Накануне" только по этой причине, — возражает Константциум, — не о чем было бы говорить. Но Тургенев — мой писатель!».[353]

Последние слова вполне могли быть сказаны самим Джеймсом. Как отмечалось выше, Джеймс всегда, а в особенности в ранний период своего творчества, видел в Тургеневе образец литератора и человека. Принятое им в 1875 г. решение поселиться в Европе было отчасти вызвано желанием лично познакомиться и постоянно общаться с Тургеневым. Свое искреннее восхищение человеческими свойствами «Иван Сергеича» Джеймс неустанно выражал в переписке с родными и друзьями, а впоследствии, уже после смерти писателя, отдал ему дань в воспоминаниях.[354] Свое мнение о литературных достоинствах тур-

[353] Примечания: 353
Ibid… p. 77.

[354] Примечания: 354
Сообщения о Тургеневе, о встречах и беседах с ним, о впечатлениях от него и его окружения, восторженные отзывы о нем составляют значительную часть всех, за редким исключением, писем Джеймса из Парижа за 1875 — 76 гг. См.: Henry James letters, v. II, p. 10 — 74

геневской прозы он в основном высказал в двух критических статьях 1874 г. и 1877 г., написанных еще до работы над романом «Женский портрет». Многое из того, что привлекло внимание Джеймса в творчестве Тургенева, несомненно отвечало его собственным поискам в этот период.

Статья Джеймса «Иван Тургенев» (1874),[355] одна из первых представлявшая американцам тогда еще малоизвестного им русского писателя, начиналась словами: «Мы знаем немало замечательных критиков, которые на вопрос, кто лучший романист нашего времени, не колеблясь, ответят: Иван Тургенев». В романах Тургенева, как и в романах Элиот, Джеймса прежде всего привлекала широта охвата жизненных явлений («Ни один романист, исключая разве Джордж Элиот, не уделяет такого внимания столь многим явлениям жизни, не стремится затронуть их со столь различных сторон»), серьезность и глубина содержания («цель у него всегда одна — найти эпизод, персонаж, ситуацию нравственно значимые»). С другой стороны, благодаря своему художественному методу Тургенев «охватывает великий спектакль человеческой жизни шире,

---

[355] Примечания: 355
См. настоящее издание.

беспристрастнее, яснее и разумнее, чем любой другой известный нам писатель». Его романы не нуждались в искусно построенной фабуле, возбуждая читательский интерес не внешней занимательностью, а тем, что «сообщали много больше о человеческой душе», чем книги с острыми, но менее значительными сюжетами. Тургенев отказался от открытой авторской дидактики. Так, в «Записках охотника» — книге, которая была «не менее важным вкладом в дело освобождения крестьян в России, чем знаменитый роман Бичер Стоу в борьбу за отмену рабства в Америке», нет прямых высказываний против института крепостничества. Вывод читатель делает из совокупности всех показаний, из множества тонких штрихов, из ощущения горечи и печали, которые охватывают его после прочтения книги и заставляют думать.

Три года спустя, в 1877 г., рецензируя тургеневскую «Новь»,[356] Джеймс вновь подчеркивает как величайшее достоинство Тургенева значительность выбираемых им сюжетов, каждый из которых «всегда сообщает что-то важное и открывает что-то новое». А так как это «важное и новое»

---

[356] Примечания: 356
См. настоящее издание.

интересовало Тургенева, по мнению Джеймса, прежде всего в этическом и психологическом плане, то в центре его художественного построения оказывалась не ситуация, не событие или цепь событий, а характер, литературный герой. Но, писал далее Джеймс, — «герои романов Тургенева не являются ими в прямом смысле слова; это — богатые по содержанию, но слабые люди, которым отводится роль неудачников, а в игре, называемой жизнью, они неизменно остаются в проигрыше». Их психологическая драма, их поражение, более внутреннее, чем внешнее, и несет в себе нравственный урок. В этой рецензии Джеймс впервые отметит, что подлинной Духовной силой и мужеством обладают у Тургенева не герои, а героини. «Тургеневские девушки — говорит он, упоминая Марианну, — всегда необычны».

Позднее, в 1897 г., в статье «Иван Тургенев (1818–1883)»,[357] характеризующей творчество русского писателя в целом, Джеймс выразит это свое мнение полнее: «Если мужчины (в романах Тургенева. — *М. Ш)*, по большей части, страдают отсутствием воли, то женщины наделены ею с избытком; представительницы сего пола,

[357] Примечания: 357
См. настоящее издание

населяющие страницы его романов, отличаются поразительной силой духа в добавление, в каждом случае иным, превосходным качествам. Это относится к такому числу женских образов у Тургенева — молодых женщин и девушек, в особенности „главных героинь", что они, благодаря нравственной своей красоте и тончайшему устройству души, составляют одну из самых замечательных групп среди образов, созданных современной литературой».

«Тургеневские девушки», как и героини романов Джордж Элиот — в особенности Мегги Туливер («Мельница на Флоссе») и Гвендолен Харлет («Дэниел Деронда»), несомненно, в какой-то степени определили выбор им героини — молодой американки — на роль центрального характера в его «большом романе».

«Женский портрет», по собственному определению Джеймса, — это роман о молодой женщине, бросающей вызов своей судьбе. Прототипом образа Изабеллы Арчер биографы Джеймса[358] считают его рано умершую кузину Мэри — или, как ее звали в семье, Минни — Темпл. Частая гостья в доме Джеймсов, она была центром

[358] Примечания: 358

См., напр.: *Craltan C. H.* The three Jamses. N. Y., 1932, p. 245; *Dupйe IV.* Henry James. L., 1951, c 114–115.

их детского, а позднее отроческого кружка. Ее преждевременная смерть (в 1870 г.) оставила глубокий след в сознании писателя. Несомненно, черты этой непосредственной, любознательной и независимой девушки отразились в характере Изабеллы (а впоследствии и Милли Тил — «Крылья голубки»[359]). Об этом он писал и сам, отвечая на письмо их общей знакомой Грейс Нортон, узнавшей в Изабелле черты Минни Темпл: «Что касается Минни Темпл, — возражал Джеймс, — Вы и правы и неправы. Я имел ее в мыслях, и моя героиня окрашена тем впечатлением, которое оставила во мне эта выдающаяся натура. Но это не портрет. Бедняжке Минни многого недоставало, и я сделал Изабеллу более завершенной, более законченной».[360]

В жизненном опыте Джеймса Минни Темпл была значительной фигурой. Она оставалась для него символом юности, вступившей в жизнь с надеждой и стремлением найти достойное применение своим человеческим возможностям. «Помнишь, — писал он брату, — как много она

[359] Примечания: 359

См.: *Sandein E.* «The Wings of the Dove» and «The Portrait of a Lady». — PMLA. v. LXIX, Dec. 1954, с 1060–1075.

[360] Примечания: 360

«Henry James letters», ed. L. Edel, v. II, p. 324.

думала о будущем, как охотно размышляла о нем, планируя и мысленно его устраивая».[361] Минни Темпл была для Джеймса олицетворением современной молодой женщины, которую отличает интеллектуальность, духовная независимость, сила и твердость духа. Эти черты, как ему казалось, были в высшей степени присущи молодым американкам. «Интеллектуальная утонченность — она есть у Клоувер Хопер и у Минни Темпл — и стихийная нравственность!»[362] — восклицал он, указывая, каких качеств были, по его мнению, лишены европейские женщины. И еще: «Каждый раз, когда в течение последних трех дней я выходил в свет, в силу окружающих меня обстоятельств, ее (Минни Темпл. — *М. Ш.)* образ беспрестанно возникал передо мной по отличию и контрасту. Она была живым протестом против английской дубовости, английской склонности к компромиссам и условностям, — подобное растение могло произрасти только на американской почве».[363]

---

[361] Примечания: 361
Ibid., v. I, p. 228–229

[362] Примечания: 362
«Henry James letters», ed. L. Edel, v. I, p. 208.

[363] Примечания: 363
Ibid., p. 228.

Образ молодой американки проходит через весь ранний период творчества Джеймса. Уже в новелле «Спутники» («Travelling Companions», 1871), где действие происходит в Европе, а действующими лицами выступают американцы, введены три главных персонажа, которые, поразному варьируясь, все более углубляясь и осложняясь, неизменно будут населять прозу Джеймса вплоть до начала 80-х годов. Это — американский бизнесмен, все интересы которого сосредоточены на «деле», приумножающем его капиталы, это — его дочь, независимая юная американка, жаждущая, приобщившись к европейской культуре, пополнить свой умственный багаж, и американский паломник в Европе, который, преследуя те же цели, даже покинул свою родину.

Образ молодой американки является центральным в рассказе «Мадам де Мов», сюжетно предваряющем «Женский портрет». Обманутая жена обедневшего французского аристократа, женившегося на ней ради ее богатства, она одерживает над ним нравственную победу, проявляя, неожиданно для него, интеллектуальную тонкость и полную духовную независимость.

В ином плане тот же образ, хотя сильно видо-

измененный и намного более многогранный, дан в рассказе «Дейзи Миллер» (1879), оказавшемся самым популярным произведением Джеймса при его жизни. В семнадцатилетней героине этого рассказа наивность и невежество (обратная сторона американской «невинности») сочетаются с независимостью и любознательностью. Ее поведение определяется не столько незнанием светских условностей, сколько презрением к ним, и в то же время непосредственность в проявлении чувств граничит с вульгарностью. Уинтерборну — молодому человеку, глазами которого читатель видит Дейзи, — этот характер кажется и притягательным и отталкивающим. Но герой-рассказчик и автор не одно лицо, и Дейзи, которой ее самоутверждение стоит жизни, подымается почти до трагической фигуры, а Уинтерборн в силу своего отношения к ней, выглядит мелким. Характерно, что в рассказе противостоят Дейзи отнюдь не европейцы, а американские экспатрианты, над утрированной «благовоспитанностью» которых Джеймс всегда тонко иронизировал.[364]

---

[364] Примечания: 364

Образ Дейзи Миллер вызвал возмущение именно в Америке, где его восприняли как «клевету на американскую девушку»; популярность рассказа поначалу имела привкус скандала.

Даже Кэтрин Слопер — героиня повести «Вашингтонская площадь» (1881), очевидно навеянной бальзаковской «Евгенией Гранде»,[365] — внешне столь кроткая и тихая, несет в себе огромный заряд духовной независимости. Ни ее отец, этот бизнесмен от медицины, ни сентиментально-романтическая тетка, ни возлюбленный, расчетливо уповающий на богатство Кэтрин, в конечном итоге не имеют власти над ее решениями и выбором жизненного пути, который она определяет для себя сама.

Все эти джеймсовские героини, предварившие появление Изабеллы Арчер, были как бы своего рода эскизами к ее портрету — портрету молодой женщины, которая, по мнению Джеймса, могла «произрасти только на американской почве».[366]

Центральный образ, тематическое, психологическое, художественное ядро романа «Женский портрет» — образ Изабеллы Арчер, молодой женщины, вернее, девушки, бросающей вызов своей судьбе. Женской судьбой, женским уделом (Джеймс употребляет слово destiny —

---

[365] Примечания: 365
См.: *Kelley C. P.* The early development of Henry James, p. 281.

[366] Примечания: 366
См. в настоящем издании, с. 569.

«судьба-удел», а не fate — «судьба-рок») вплоть до середины XIX в. было замужество. Счастье женщины мыслилось в удачном замужестве, в удачном выборе — чаще ей, а не ею — супруга и повелителя. Не случайно в большинстве английских, а с начала XIX в. и американских романов, как социально-бытовых, так и исторических, история девушки-героини заканчивалась свадьбой. Дальнейшая ее судьба не представляла романного интереса. При этом юная героиня, естественно за некоторыми исключениями, не была личностью. Она награждалась всевозможными качествами — красотой или уродством, кротостью или строптивостью, простодушием или хитростью, но она редко посягала на духовную, более того — на интеллектуальную свободу.

Основное, что отличает Изабеллу Арчер, это присущий ей дух независимости. «Самостоятельность», «независимость», «вольнолюбие» — качество, которое, как справедливо отмечает А. Кеттл,[367] особенно подчеркивается Джеймсом в его героине. Об этой черте характера юной американки сообщается еще прежде, чем она появляется на страницах романа, в телеграм-

[367] Примечания: 367

Кеттл А. Введение в историю английского романа. Пер. с англ. М., «Прогресс», 1966

ме ее тетушки («забрала дочь сестры… вполне самостоятельна»), которая в шутливой форме затем комментируется Ральфом Тачитом и его собеседниками («„самостоятельна" в моральном или финансовом смысле?»).

«Я очень дорожу своей свободой», — бросает она Ральфу, краснея от возмущения при мысли, что тот мог подумать, будто она состоит под опекой его матери. «Характер у нее самостоятельный», — говорит о ней миссис Тачит.

Минни Темпл – двоюродная сестра Джеймса, черты которой запечатлены в образе Изабеллы. Фотография

Дух независимости, владеющий Изабеллой, определяет манеру ее поведения, придает значительность ее внешности, привлекает к ней внимание. «Кто эта своеобразная девушка? Что она такое?» — спрашивает Ральф Тачит, объясняя матери, что очарование Изабеллы не в обычной девической красоте. «В ней есть что-то особенное, что-то свое — вот это меня и поразило». Это «своеобразное», «особенное» в Изабелле, о котором на разные лады, кто одобрительно, кто порицающе, твердят все другие герои романа, начиная от ее американских родственников и кончая европейскими знакомцами, есть дух независимости.

Независимость понимается Изабеллой прежде всего как свобода выбора, в большом и малом, от выбора формы поведения до выбора жизненного поприща, от собеседника до спутника жизни. «Я хочу знать, чего здесь делать не следует», — говорит она тетушке, упрекнувшей ее в нарушении приличий. «Чтобы именно это делать?» — иронизирует миссис Тачит, давая понять, что «самостоятельность» племянницы

не что иное, как строптивость, свойственная ей самой. Но Изабелла отвергает такое толкование: «Нет, — отвечает она, — чтобы иметь возможность выбора».

Изабелла не является противницей замужества вообще, так же как она не отвергает ни обычаев Старого Света, ни порядков Нового. Она готова принять существующие установления, но только в результате свободного выбора. Более всего ей претит слепое следование условностям. «А они здесь не очень привержены условностям?» — спрашивает она об англичанах, выясняя, хорошо ли ей будет в Англии. «А вы не слишком привержены условностям?» — задает она тот же вопрос своему будущему мужу.

Но возможность свободного выбора зиждется на знании и опыте. И второй отличительной чертой юной героини «Женского портрета» является «неутолимая жажда знаний», желание «развить свой ум». Речь здесь идет не только о книжных знаниях, а о познании жизни в целом, во всех ее разнообразных проявлениях, с ее добром и злом, радостью и страданием. Вооружившись такого рода знанием и обладая свободой выбора, человек, по мысли юной американки, несомненно достигнет цели своего существования — счастья.

«Только при этом условии — таково было ее убеждение — стоило жить: быть одной из лучших, сознавать, что обладаешь тонкой организацией... обитать в царстве света, разума, счастливых порывов и благодатно неиссякаемого вдохновения... Половину своего времени она проводила в размышлениях о красоте, бесстрашии и благородстве, нимало не сомневаясь, что мир полон радости, неисчерпаемых возможностей, простора для действия, и считала отвратительным чего-либо страшиться или стыдиться.

В этом представлении о счастье как цели человеческого существования, в этой вере в безграничные возможности личности звучат отголоски еще не изжившей себя «американской мечты», давшей свои последние всходы в учении трансцендентализма. Оптимистические иллюзии Изабеллы, без сомнения, перекликаются с идеями Р. У. Эмерсона, с теми надеждами, которые он возлагал на молодого американца и для которого Америка все еще была страной, «предоставляющей человеческому уму такие возможности, каких не знал ни один другой край».[368]

---

[368] Примечания: 368

Emerson R. W. The complete works of Emerson. L., 1875, v. II, p. 306.

Стремление к независимости и в какой-то мере романтические идеалы навеянные американским трансцендентализмом, обусловливают те решения, которые определяют судьбу Изабеллы Арчер. Отклоняя два весьма завидных в свете общепринятых представлений предложения — брак с американским бизнесменом Гудвудом, так же как и союз с английским лордом Уорбертоном, каждое из которых как бы олицетворяет то лучшее что способна дать цивилизация Нового и цивилизация Старого Света Изабелла прежде всего отстаивает себя как личность. Оба претендента каждый по-своему, посягают на ее свободу, брак как с тем, так и с другим означает для нее подчинение определенному кругу условностей, присущему тому или иному образу жизни. Отказывая Гудвуду, а затем Уорбертону, Изабелла отвергает по видимости противоположные (многие критики видят здесь оппозицию: Америка — Европа),[369] по сути же сходные жизненные системы, основанные на подчинении одного человека другим. Ее выбор падает на человека, стоящего, как ей кажется, вне или, вернее, над этими системами. Гилберт Озмонд рисуется ей

[369] Примечания: 369
См.: *Кеттл А.* Указ. Соч. с 235

романтической фигурой, отшельником, намеренно отдалившимся от общества, чтобы жить высокими духовными интересами.

«Эта картина говорила о таком повороте человеческой судьбы, который более всего трогал Изабеллу: о выборе, сделанном между предметами, явлениями, связями — какое название придумать для них, — малозначащими и значительными, об уединенном, отданном размышлениям существовании в прекрасной стране; о старой ране, все еще дававшей о себе знать; о гордости, быть может и чрезмерной, но все же благородной; о любви к красоте и совершенству, столь же естественной, сколь и изощренной, под знаком которой прошла вся эта жизнь».

Но независимость в мире, где действуют герои Джеймса, невозможна без материального благосостояния, выражением которого являются деньги. Деньги всегда были важным, если не решающим фактором в формировании судеб героев классического буржуазного романа от «Моль Фландерс» Даниэля Дефо до «Ярмарки тщеславия» Теккерея. Наличие, чаще отсутствие денег двигало их поступками, определяло их решения, направляло на жизненном пути. В романах Джеймса герои, как правило, люди состоятель-

ные, не угнетенные заботами о повседневном существовании, но деньги играют для них первостепенную роль. Разрушающая сила денег показана Джеймсом на уровне достатка, а потому выступает более остро. В романе «Женский портрет» деньги также играют важнейшую роль.

Изабелла бедна, и, следовательно, все ее порывы и стремления не могут выйти за пределы мечты. Без денег она практически несвободна в своем выборе и будет вынуждена подчиниться необходимости. Богатое наследство, которое достается ей благодаря ее кузену Ральфу, подымает ее на иной уровень. Деньги Тачита, казалось бы, полностью освобождают ее от власти обстоятельств. Тем более что ей неизвестно, кто даритель, и она ни перед кем не испытывает никаких нравственных обязательств. Изабелла Арчер как бы поставлена в оптимальные условия, необходимые для реализации человеческих возможностей, для выбора человеком своего пути. Но эксперимент кончается неудачей: выбор Изабеллы оказывается роковым. Богатство порождает необходимость отстаивать его, вокруг денег активизируются силы зла, которые Изабелла не способна распознать. Ее брак с Гилбертом Озмондом, скрывавшим за романтической мас-

кой мелкое тщеславие и эгоизм, ввергает ее в пучину тех самых условностей, которых она пыталась избежать. К тому же Озмонду мало завладеть деньгами Изабеллы, он жаждет сделать ее покорной исполнительницей своих планов, своей немой тенью. Свобода выбора оборачивается для юной американки рабством. В этом плане «Женский портрет» можно считать американским вариантом романа о крушении иллюзий, завершающим ряд реалистических повествований на эту тему от Бальзака до Флобера.

Если бы роман заканчивался «крушением иллюзий» и это было бы итогом истории «молодой женщины, бросившей вызов своей судьбе», то следовало бы согласиться с теми исследователями и критиками, которые охотно называют «Женский портрет» Джеймса «потерянным раем XIX века».[370] А так как искания Изабеллы Арчер, несомненно, связаны с «американской мечтой» в ее позднем, отраженном в трансцендентализме варианте, то можно было бы присоединиться к мнению А. Кеттла, что книга эта — одно из глубочайших выражений иллюзии того, что свобода есть качество внутриприсущее человеческой

[370] Примечания: 370

Кеттл А. Указ. соч., с. 233. См. также: *Van Ghent D,* The English novel: Form and function. N. Y., 1953, p. 214–215.

душе.[371] Однако, являясь во многом «дочерью закатного трансцендентализма»,[372] Изабелла Арчер никоим образом не выступает как рупор этого течения, тем паче «американизма».[373] Образ ее шире, а его национальная окрашенность не исключает, а, напротив, усиливает его общечеловеческое звучание. В нем воплощены черты, присущие юности, с ее стремлениями и надеждами, с ее попытками испробовать новый вариант судьбы. Крах этих попыток также носит у Джеймса глобальный характер. В лице мадам Мерль и Гилберта Озмонда Изабелла сталкивается с заключенным в человеке злом. И с этой точки зрения, говоря словами английского писателя Гр. Грина, в «Женском портрете», как и в других своих произведениях, Джеймс «развертывает длинный

---

[371] Примечания: 371

Кеттл А. Указ. соч., с. 243–248.

[372] Примечания: 372

Matthiessen F. O. Henry James. The major phase. N. Y., 1944, p. 163. См. также: *Rahv Ph.* Image and Idea. Norfolk, 1957, p. 62–70; *Cargdl O.* The novels of Henry James. N. Y., 1961, p. 98–99.

[373] Примечания: 373

В этой роли в романе выступает нью-йоркская журналистка Генриетта Стэкпол, задуманная Джеймсом как комический персонаж. Знаменательно, однако, что в ходе развития действия образ этот эволюционирует. Ярая защитница американского образа жизни, Генриетта Стэкпол постепенно, приобщаясь к европейской культуре, утрачивает свой воинственный шовинизм и обретает новую функцию — посредницы между двумя цивилизациями.

свиток человеческой испорченности».[374]

Недаром тот же Грин называет Джеймса «таким же великим в истории романа, как Шекспир в истории поэзии».[375]

Крушение иллюзий, однако, не становится для Изабеллы крушением жизни. Такое крушение испытывают в романе две другие его героини — миссис Тачит и мадам Мерль. Обе они также, каждая по-своему, ищут самоутверждения в самостоятельности. Миссис Тачит полагает и реализует свою независимость в освобождении себя от всех человеческих обязанностей и привязанностей. Она расплачивается непоправимым одиночеством. Для мадам Мерль свобода, более чем для других героев книги, воплощается в богатстве и власти. Ради них она и ведет свою хитроумную предательскую игру. Ее итог — душевное банкротство, нравственная опустошенность, полное одиночество. Это выражено и ее непосредственным признанием Изабелле («Вы очень несчастны, я знаю. Но я еще несчастнее») и бегством в Америку, куда она едет как в добро-

---

[374] Примечания: 374

Greene Gr. The Private Universe (1936). — Цит. но: Greene *Gr.* Collected Essays. L, 1969, p 24.

[375] Примечания: 375

Ibid. p. 401

вольную ссылку, и, наконец, отношением к ней ее дочери Пэнси, испытывающей к ней скрытую неприязнь. Для Изабеллы Арчер развенчание ее иллюзий только ступень в процессе осознания действительности и обретения своей нравственной позиции. Об этом говорит концовка романа.

Отказ Изабеллы вернуть себе «свободу» и ее возвращение в Рим к Озмонду могут на первый взгляд быть восприняты как признание ею своего поражения. Однако это не так. В романе это ее решение мотивируется двумя причинами: прежде всего чувством необходимости нести ответственность за свои поступки («Надо отвечать за свои поступки, — отвечает она на предложение Генриетты покинуть Озмонда. — Я взяла его в мужья перед всем светом, была совершенно свободна в своем выборе, сделала это по зрелом размышлении. Нет, так изменить себе невозможно») и, во-вторых, чувством долга перед падчерицей, которой она обещала поддержку и помощь («Я вас не брошу, — сказала она наконец. — Прощайте, девочка моя»). Но за этими частными доводами лежит более глубокая, более существенная причина. Осознав, что ее представление о жизни было ложным — поверхностным и иллюзорным (последние главы, начиная с 40-й, полны таких

«осознаний»), Изабелла обретает новое видение. Ее прежнее убеждение в том, что «мир полон радости, неисчерпаемых возможностей, простора для действия», дополняется и усложняется открытием, что мир также полон корысти, лжи, страдания и зла. Но это открытие не обращает ее в бегство, которое, по сути, предлагает ей Каспар Гудвуд. Она решает вернуться «в мир», но на этот раз с ясно видящими глазами. Таков итог ее исканий. «Прежде она не знала, где искать защиты, — но теперь узнала. Перед ней был очень прямой путь».

Завершающее слово, «наиболее характеризующая Изабеллу характеристика»,[376] принадлежит в романе Генриетте. «А вы подождите», — утешает она Каспара Гудвуда, и это ее «подождите» относится вовсе не к чаяниям Каспара завладеть Изабеллой,[377] а, скорее, к будущему самой Изабеллы, вступающей в новый этап своей жизни.

Концовка романа «Женский портрет» вызвала

---

[376] Примечания: 376

James, H. The notebooks of Henry James, p. 18.

[377] Примечания: 377

Чтобы избежать возможности такого толкования, Джеймс, редактируя роман для нью-йоркского издания, изменил первоначальный вариант (в издании 1881 г. роман кончался словами Генриетты), дополнив окончание еще одним абзацем. См.: *Mutinies-sen F.* O. Henry James. The major phase, p. 176.

почти единодушное неодобрение современной Джеймсу критики, полагавшей, что история Изабеллы Арчер безосновательно оборвана автором.[378] Сам Джеймс предвидел такого рода нарекания. «Несомненно, меня будут упрекать в том, что роман не окончен, — занес он в записную книжку, — что я не проследил путь героини в данной ситуации до конца — оставил ее en l'air.[379] Это и верно и неверно. Все о предмете невозможно рассказать, можно охватить только то, что группируется вместе».[380]

Это расхождение во мнениях весьма показательно. Оценивая «Женский портрет» по канонам классического реалистического романа, каким он сложился в середине XVIII в. и просуществовал до второй половины XIX в., критика видела в «судьбе» героя прежде всего его *историю;* рассказ о следующих во времени фактах и событиях его жизни, приводивших к успеху или неуспеху во взаимоотношениях с другими персонажами, составлявшими социальный фон. Такая история

---

[378] Примечания: 378
См.: *Folev R. N.* Op. cit.; Murry *D. M.* Op. cit.

[379] Примечания: 379
висеть в воздухе *(фр.).*

[380] Примечания: 380
James H. The notebooks of Henry James, p. 18.

и ее итоги содержала в себе нравственный вывод. С этой точки зрения «судьба» Изабеллы Арчер обрывалась в том самом месте, где автор мог бы сообщить о ней еще много важного и поучительного. Но Джеймс не писал историю своей героини. Для него «судьба» Изабеллы Арчер выражалась в изменении ее отношения к жизни приводившем к сдвигу в ее сознании. С этой точки зрения судьба Изабеллы Арчер была завершена.

Перенесение Джеймсом акцента на внутренний мир героя, на процесс осмысления человеком действительности обусловило преобразования, которые Джеймс внес в поэтику романа. «Женский портрет» занимает в творчестве Джеймса, как и в развитии романа, особое место: он принадлежит еще традиции XIX в. и в то же время полон предвестий XX в.

Первая половина романа, являющаяся своеобразной экспозицией к непосредственному предмету художественного исследования Джеймса — процессу переориентации сознания Изабеллы Арчер, еще почти не выходит за пределы повествовательной структуры, обычной для XVIII–XIX вв. Сюжет включает в себя ряд значительных для истории центрального персонажа событий: отъезд Изабеллы в Европу, сватовство сначала

одного, а затем другого поклонника и ее отказ им, смерть мистера Тачита и его неожиданный богатый дар. Характеристики всех второстепенных персонажей — миссис Тачит, мистера Тачита, Каспара Гудвуда, лорда Уорбертона, Генриетты Стэкпол и других — даны от лица автора, факты их биографий, достаточно обстоятельных, расположены последовательно во времени, объективизированы. В этих героях, как отмечает Дж. У. Бич, «все еще проявляется, причем в немалой доле, своеобразие и живописность, свойственные характерам викторианского романа».[381] Описательная, авторская часть перемежается с диалогом, который по-прежнему служит главным образом самохарактеристике героя, открыто выражающего свои мысли и чувства, а там, где они намеренно их скрывают, автор спешит уведомить об этом читателя в своих комментариях (так, например, неискренние соболезнования мадам Мерль тут же переосмысляются в авторском тексте). Наконец, описания места действия, будь то дом в Олбани, поместье Гарденкорт или лондонский особняк на Уинчестер Сквер, обладают той «полноценностью фактуры», которую сам

[381] Примечания: 381
Beach J. W. The method of Henry James. New Haven 1918 p 206.

Джеймс считал отличительной и крайне важной особенностью реализма Бальзака. Все перечисленные черты типичны для романа XVIII–XIX вв.

Однако даже в первых, в значительной степени традиционных по художественной манере главах романа просматриваются новые элементы структуры. Изабелла Арчер выступает не только как центральный персонаж повествования, но в ряде эпизодов становится центральным воспринимающим сознанием. Наиболее четко это проводится в начале главы 18-й, где впервые на страницах романа появляется мадам Мерль. Характеристика «умнейшей в Европе женщины» — от ее внешнего облика до подробностей биографии — целиком выявляется через восприятие Изабеллы, частично через то впечатление, которое производит на нее гостья миссис Тачит, частично через те сведения, которые она получает от Ральфа и тетки. Характерно, что диалог между Ральфом и Изабеллой, касающийся мадам Мерль, содержит в себе больше намеков, чем прямой информации.

Тенденция использовать центральное сознание как основу повествования становится во второй половине книги преобладающей. Это прежде всего связано с преобразованием сюжета,

для движения которого внешнее действие почти утрачивает все значение. Такие важные происшествия в жизни главной героини, как путешествие по странам Востока, свадьба с Озмондом, первый год супружеской жизни, рождение и смерть ребенка упоминаются в романе вскользь. На первый план выходят события лишь косвенно связанные с историей Изабеллы — сватовство Розьера к ее падчерице и возможное сватовство лорда Уорбертона. Эти внешне второстепенные по значению события важны не сами по себе. Важно отношение к ним основных героев, через которое выявляется для Изабеллы их подлинная сущность. В центре внимания оказываются не внешние события, а течение событий внутреннего порядка — «открытия» Изабеллы. Естественно поэтому, что повествование с авторской точки зрения все чаще подменяется повествованием с точки зрения героя, нередко перерастающим во внутренний монолог, какими, например, являются раздумья Изабеллы в главе 42-й, когда она подводит итог своим ощущениям и наблюдениям.

Все эти изменения в художественной структуре романа, опробованные Джеймсом в «Женском портрете», получили затем более последователь-

ное, теоретически обоснованное и завершенное выражение в дальнейшем творчестве писателя. «Женский портрет» явился первым художественно совершенным произведением на этом пути обновления психологической прозы. Поиски Генри Джеймса, шедшие параллельно с исканиями его великих современников — Толстого и Достоевского в России, Пруста во Франции, привели к значительным художественным открытиям, расширявшим и углублявшим возможности показа внутреннего мира человека, и легли в основу психологического романа XX в.